

М. В. Никитин

КУРС ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ



Учебное пособие

Санкт-Петербург
2007

ББК 81.2Рус-4
Н 62

Печатается по рекомендации ученого совета факультета иностранных языков и решению редакционно-издательского совета РГПУ им. А. И. Герцена

Никитин М. В.

Н 62 Курс лингвистической семантики: Учебное пособие. — 2-е изд., доп. и испр. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. — 819 с.

ISBN 978-5-8064-1183-0

В учебном пособии к курсам языкознания, лексикологии и теоретической грамматики в рамках целостной авторской концепции излагается основная проблематика современной лингвистической семантики. Предназначено студентам, аспирантам и преподавателям филологических специальностей.

ББК 81.2Рус-4

ISBN 978-5-8064-1183-0

© М. В. Никитин, 2007

© Н. М. Сергеева, оформление обложки, 2007

© Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Введение</i>	6
Глава 1. Природа значения и его типология	19
1. Природа значения. Значение и знак	19
2. Типология значения. Основные понятия общей типологии значений	24
3. Контенциональное и экстенциональное значения	29
4. Типология значения в семиотике и структурной лингвистике. Предмет и предел семиотики	43
5. Понятие значения и смысла в логике и психологии	64
6. Лингвистическая типология значений	66
6.1. Понятие лексического и грамматического значений в лингвистической традиции	66
6.2. Уровневая структура языка и лингвистическая типология значений	72
Глава 2. Проблемы лексической семантики: структура лексического значения	85
1. Лексическое значение и понятие (концепт)	85
2. Два вида и два аспекта понятия (концепта)	93
3. Структура лексического значения: интенционал и импликационал	102
4. Компонентный анализ значений	110
5. Структура лексического значения: вторичная сигнификация	115
6. Структура лексического значения: типология сем	127
7. Операциональные модусы понятия-значения	135
Глава 3. Проблемы лексической семантики: семантическая структура слова	176
1. Полисемия и методы ее разграничения. Полисемия на пределе (широко-значность, или эврисемия)	176
2. Деривация значений (тропеизм)	192
2.1. Тропеизм слова	192
2.2. Метафорический потенциал слова и его реализация	204
2.3. Метафора лексическая и грамматическая (синтаксическая)	217
3. Тропеизм признаков слов (семантические механизмы адъективной и глагольной метонимизации и метафоризации)	232
3.1. Исходные понятия. Обоснования семантической классификации прилагательных	232
3.2. Метонимизация признаков слов	240
3.3. Метафоризация признаков слов	254
4. Семантические факторы экспрессивности поэтического слова	276
5. Графы семантической структуры слов. Языковой статус словозначения	302
6. Слово и понятие (концепт)	316
7. Чем различаются «значение» и «смысл», meaning and sense	338

Глава 4. Проблемы лексической семантики: семантическая структура словаря.....	357
1. Семантические макро- и микросистемы словаря (общее понятие).....	357
2. Гипер-гипонимические (родо-видовые) отношения в лексике: вещи и признаки, субстантивы и предикаты, типы субстантивных имен.....	359
3. Гипер-гипонимические (родо-видовые) отношения в лексике: общие категории признаковой семантики, семантические типы предикатных слов.....	366
4. Партитивные отношения в лексике: партитивы и конгломеративы.....	386
5. Семантические микросистемы в словаре: эквонимы, синонимы, оппозитивы (антонимы и конверсивы).....	393
5.1. Эквонимия и эквонимы.....	393
5.2. Синонимия и синонимы.....	393
Глава 5. Лексическая оппозитивность: антонимы и конверсивы.....	397
1. Когнитивные модели оппозитивности.....	397
2. Условия противоположности признаков.....	398
3. Предметно-логическая типология противоположностей признаков.....	404
4. Категориально-логическая типология противоположностей.....	415
5. Условия антонимичности и структура антонимических значений.....	434
Глава 6. Семантические механизмы конверсии.....	443
1. Исходные положения.....	443
2. Базовые модели лексической конверсии.....	455
3. Обобщения. Сложные случаи.....	469
Глава 7. Взаимодействие лексических значений слов в словосочетаниях (комбинаторная семантика).....	481
1. Предмет, задачи и исходные понятия комбинаторной семантики.....	481
2. Семантическая комбинаторика экспликационных и элизионных словосочетаний.....	488
Глава 8. Семантика синтаксических единиц.....	501
1. Вводные замечания.....	501
2. Три аспекта синтаксиса.....	503
3. Понятия конструктивного синтаксиса.....	504
4. Понятия семантического синтаксиса. Валентности предикатов и классы аргументов.....	507
5. Коммуникативные значения и понятия коммуникативного синтаксиса.....	517
Глава 9. Основные понятия прагмасемантики.....	527
1. Четвертый аспект синтаксиса. Понятия прагматического синтаксиса.....	528
2. Совокупное значение высказываний и текстов. Эксплицитный и имплицитный компоненты содержания речи и их взаимодействие.....	532
3. Пресуппозиции в языке и языкознании.....	549
4. Прагмасемантика и теория речевых актов.....	600

Глава 10. Основания когнитивной семантики	633
Введение	633
Раздел 1. Ментальные миры сознания	637
1.1. Мышление рационально-логическое, фидейное и фантазийно-игровое.....	637
1.2. Миф в структуре сознания.....	641
1.3. Пространство и время в ментальных мирах.....	647
1.4. Категоризация мира в сознании.....	659
1.4.1. Тожества и различия с когнитивных позиций.....	659
1.4.2. Вещецентризм обыденного сознания. Вещи, признаки (свойства и отношения).....	667
1.4.3. Категоризация таксономическая и аналогическая. Логика и аналогия в генезисе мышления.....	681
1.4.4. Оценочная категоризация мира.....	689
Раздел 2. Концепт и значение	705
2.1. Развернутые тезисы о концептах.....	705
2.2. Денотат — концепт — значение.....	721
2.3. Душа в заветной лире.....	730
2.4. Концепт и метафора.....	742
2.5. Метафора: уподобление vs. интеграция концептов.....	760
Раздел 3. Заключение: Язык — мир — сознание	772
3.1. Об отражении мира в языке.....	772
3.2. Что рисуют нам картины мира.....	778
3.3. Почему мир не текст.....	787
3.4. Российский уклон в когнитивной лингвистике.....	797
3.5. О понятиях «языковое сознание», «языковая картина (модель) мира», «языковой концепт», «языковое значение» — что это значит?.....	804
Список рекомендуемой литературы	818

Введение

Лингвистическая семантика, или иначе — семасиология — наука о значении в естественных языках. Ее предметом являются значения языковых единиц разных уровней. Она относится к числу лингвистических дисциплин, отличаясь тем, что в фокусе ее интересов лежит не форма языковых единиц и их сочетаний, а содержание, смысл, то, что они означают и выражают.

Речь всякого рода и язык как система, порождающая речь, существуют для того, чтобы передавать значения. Что собой представляют эти значения, каковы их виды и строение, как они закреплены за языковыми средствами разных уровней и распределены между этими средствами, в чем состоит сходство и различие между языками в этом отношении, как сочетаются значения, составляя сложные смыслы, — все это составляет (но не исчерпывает) главные задачи лингвистической семантики, или семасиологии.

Естественно, что ни одна научная или учебная книга по лингвистике не может не коснуться вопросов значения тех языковых явлений, которые она рассматривает. Даже работы по фонетике и фонологии должны считаться с тем, что единицы и комбинации единиц этого уровня языка, хотя и не связаны с каким-либо определенным смыслом, не выражают какого-либо определенного значения, однако предназначены для того, чтобы различать разные значения. Иначе говоря, звуки языка (т. е. фонемы), не будучи носителями значений, существуют для того, чтобы порознь или в комбинациях различать значимые единицы (морфемы, слова).

Что же касается работ по лексикологии, морфологии и синтаксису, то в них, разумеется, невозможно не говорить о значении слов, морфем, словосочетаний, предложений и текстов, поскольку здесь приходится иметь дело со значимыми языковыми единицами, т. е. с единицами, не только различающими разные смыслы, но и связанными с определенными различными смыслами (значениями). В отличие от фонем значимые единицы

двусторонни (билатеральны), они образованы соединением формы и значения, или, иначе говоря, обнаруживают два плана: план содержания и план выражения.

Тем самым семантическая проблематика составляет неприменимую и важную часть лексикологии, грамматики, а также других лингвистических дисциплин. Но ни лексикология, ни грамматика, во-первых, не ограничивают свой предмет значением и, во-вторых, нацелены не столько на значение, сколько на изучение языковых единиц со стороны их формы и формальных характеристик. Значение при этом рассматривается как функция и признак языковых единиц и не рассматривается как целостный самостоятельный объект. Оно оказывается рассредоточенным по уровням и единицам языка.

Между тем очевидна необходимость в подходе со стороны самого значения. Оно нуждается в изучении как самостоятельный научный объект. При таком подходе можно уяснить причину значения и разработать его теорию, установить типологию значений, исследовать структуру значений и их взаимодействие, выявить общее и различное в семантических структурах различных языков, т. е. исследовать то, что скрывается за частными фактами тех или иных конкретных языковых единиц.

Все это и составляет предмет и задачу семасиологии как лингвистической дисциплины. В определенном смысле справедливо утверждать, что семасиология составляет половину лингвистики.

Семасиология, таким образом, обеспечивает цельное, обобщенное и системное рассмотрение проблематики языкового значения на основе общей теории и типологии значения. При этом общая семасиология отвлекается от частных, специфики значения в конкретных языках, а сосредотачивается на общей теории и типологии значения, на общих чертах и принципах строения семантики всех естественных языков. Напротив, частные семасиологии конкретных языков исследуют, как эти общие принципы проявляются в конкретных языках, и в центр внимания ставят особенности семантического устройства того или иного конкретного языка.

Значение — общенаучная проблема. Как будет показано далее, оно обнаруживается не только в естественных языках, но выявляется также в реакциях на любые связанные события. Значение непременно присутствует в любой системе, усваивающей и перерабатывающей для своих нужд информацию о внешнем мире и самой себе. Значение непосредственно связано с отражением и сознанием, а на уровне мыслящего, пользующегося речью человека — с тем, как устроено обобщающее абстрагирующее сознание, как совершаются мыслительные процессы и как умственные состояния одного сознания становятся достоянием другого.

Поэтому, помимо языкознания, значение входит в предмет многих других наук, в первую очередь философии и семиотики (теории знаков), а также логики, психологии, социологии, антропологии, этнографии и срав-

нительной культурологии, кибернетики, теории связи и др. Естественно, что в каждой из этих наук исследуются свои определенные аспекты общей проблемы значения и из всего комплекса, каким оказывается значение, берутся определенные вопросы.

Философия значения интересует прежде всего в связи с разработкой теории познания (гносеологии), логику — в связи с анализом и формализацией языка рассуждений, психологию — в целях исследования информационных процессов в человеческой психике, ее развития и соотношения индивидуального и коллективного сознания людей. Социология сталкивается со значением как фактором взаимодействия социальных групп общества; антропология имеет дело с ним, рассматривая процессы вычленения человека из животного мира, становления человеческого общества; этнография и сравнительная культурология — при описании, сравнении и объяснении общего и различного в культурах различных народов. Кибернетику как науку об управлении и теорию связи, занимающуюся техникой передачи информации, значение интересует в связи с решением задач передачи, приема, хранения и переработки информации.

Комплексный, разноаспектный характер многих лингвистических проблем, в том числе и языкового значения, имеет следствием развитие промежуточных, стыковых научных дисциплин, возникающих в областях взаимодействия лингвистики с другими науками. В связи с этим значение, естественно, входит в предмет таких комплексных дисциплин, как психолингвистика, социолингвистика и этнолингвистика. Само название этих наук показывает, что собственно лингвистический предмет — язык, его единицы, их значение и функционирование — рассматривается с позиций и в интересах соответственно психологии, социологии и этнографии.

При всех различиях в аспектах значения, подходах и целях его исследования в различных науках в основании должна лежать общая теория значения, объясняющая его природу и обосновывающая его типологию и различные возможные аспекты его проявления. Исследования значения в различных науках должны иметь общую теоретическую перспективу, различные специальные теории значения должны исходить из общих научных представлений о природе, типах и аспектах этого предмета, единого в многообразии.

К настоящему времени общей теории значения, которая была бы принята всеми, еще не создано. Основательнее разработаны отдельные аспекты проблемы значения, но их еще предстоит согласовать в общей картине и увязать в общую теорию значения.

Это положение сказывается и в терминологии. Общая наука о значении пока не имеет однословного обозначения (ср.: «теория значения», «наука о значении»). Термин «семантика», имеющий три смысла, ни в одном из них не равнозначен теории значения. «Семантика» означает: 1) значение языковых единиц и выражений, т. е. то, что составляет предмет се-

масиологии; 2) наука о значении языковых единиц и выражений, т. е. то же, что семасиология; 3) раздел семиотики, изучающий денотативные и сигнификативные значения знаков в противовес их прагматическим и структурным значениям. Тем самым этот термин, помимо его специально-употребления в семиотике, обозначает и науку о значении, и само значение, причем значение только языковое, выраженное словесными знаками.

В связи с многозначностью термина «семантика» предпочтительнее науку о значении в естественных языках называть именно семасиологией (от греч. *semasia* — «значение»). Следует, впрочем, иметь в виду, что в англоязычной научной традиции более принято обозначение *semantics*, чем *semasiology*, а на почве романских языков предпочитают говорить в том же (или близком) смысле о семиологии (фр. *semiologie*). Вполне приемлем и компромиссный вариант — лингвистическая семантика.

Чем оправдано выделение в рамках теории значения семасиологии как самостоятельной научной дисциплины? Что объясняет своеобразие языкового значения, настолько значительное, что изучение его может быть обособлено в отдельный предмет? Причины исключительного положения семасиологии в теории значения заключены в особом характере естественных языков как знаковых систем.

Естественный язык — не единственная знаковая система, а словесные знаки, т. е. значимые языковые единицы разных уровней и их сочетания, — отнюдь не единственные и даже не вполне типичные знаки. Наряду с естественными языками в распоряжении людей имеются и используются ими многочисленные разнообразные другие знаки и знаковые системы, такие, как дорожные знаки и различные системы сигнализации, символические обозначения разного рода, жесты, форменная одежда и знаки различий, ритуалы и т. д. и т. п. Осознанная знаковая деятельность вместе с трудовой деятельностью и общественным существованием составляют характерные черты человека, выделившие его из остального мира и обеспечившие уникальную его способность к обобщающему абстрагирующему мышлению.

Изучение знаков и знаковых систем подлежит ведению особой науки — семиотики, разрабатывающей общую теорию знака и исследующей особенности, структуру и значение различных знаков и знаковых систем.

Но в этом многочисленном ряду естественный язык — знаковая система особого рода. Главное и существенное его отличие состоит в том, что он — первичная знаковая система, изначальная, первичная основа человеческого сознания. Формирование человеческого сознания, т. е. сознания понятийного, обобщающего и абстрагирующего, совершается через посредство естественного языка: осваивая свой язык, ребенок впервые приобретает способность к общению и абстракции, его сознание впервые вырывается из плена конкретных образов, представлений и эмоций и

возвышается до уровня понятий и умозаключений. Сознание в действии приобретает качество мышления, т. е. отвлекается от конкретности вещей и явлений и обобщает их как сущности и закономерности.

Другая особенность естественного языка как знаковой системы тесно связана с первой и состоит в его универсальности. Естественный язык не только первичная, но поэтому и универсальная знаковая система, изначально предназначенная и развивавшаяся для наиболее полного обеспечения разнообразных потребностей формирования и выражения мысли.

Все другие знаковые системы вторичны и дополнительные по отношению к естественному языку. Вторичные знаки и знаковые системы, называемые еще в отличие от естественного языка искусственными, возникают и получают первоначальное осмысление на основе естественного языка. Они дополняют естественный язык в специальных условиях, расширяя совокупные возможности формирования мыслей и передачи информации разного рода.

Особо тесная связь естественного языка с мыслью, ее становлением и выражением вместе с тем обстоятельством, что речевая деятельность не только выражает мысли говорящих о мире, но и сама является частью совокупной человеческой деятельности вообще, имеют тот результат, что значение в естественном языке представлено наиболее выпукло всеми существенными сторонами этой проблемы. Выражение значений не только составляет предназначение языка, его сущность, но и его функцию, наиболее полно в нем реализуемую.

Напротив, искусственные языки и знаковые системы выявляют значение в его частных, специальных аспектах в силу того, что и сами эти системы дополнительные к естественному языку и вторичны.

Естественный язык — знаковая система особого рода. Среди других знаковых систем, имеющих в распоряжении человека, он — наиболее универсальная развитая знаковая система. Еще более важно то, что он служит первичной основой развития понятийного сознания человека. Особые качества естественного языка как знаковой системы обуславливают отведение в теории значения особого места для семасиологии как науки о значении в естественных языках. Особенность лингвистической семантики состоит в том, что свой ответ на вопрос о том, как значение существует и проявляет себя в языке, она основывает на ответе о природе и типологии значения вообще. Семасиология не может ограничиться специфической проблематикой значения в естественном языке, по необходимости она основывается на общей теории значения и разрабатывает ее. В области значения лингвистика решает не только собственные задачи, но и общенаучные проблемы. Теория, методология и результаты семасиологических исследований представляют общенаучный интерес, выходящий далеко за пределы лингвистики и связывающий ее с многими другими науками.

В отличие от лингвистики разделы этих наук, посвященные значению, не получают особого названия, так что и предмет — значение, и наука о нем одинаково именуются семантикой. Вместе с тем в семиотике, философии, логике и ряде других наук принято сужать смысл термина «семантика» и принимать под семантикой только один из аспектов значения знаков — их предметно-логическое, референционное значение, а другой аспект значения, обусловленный отношением говорящего к знакам, называть прагматикой. При этом теория значения не получает однословного родового обозначения и тому, что в лингвистике обозначается как семасиология, соответствует в этих науках двуединство семантики и прагматики (или даже триединство семантики, прагматики и синтактики).

Внутреннее строение семасиологии отражает структуру самого языка. Помимо общей теории и типологии значения, семасиология вычленяет в своем составе разделы, соотносимые с уровнями и членениями языковой структуры. Основными уровнями языковой структуры являются уровни фонологический, морфологический, лексический и синтаксический. Единицы фонологического уровня — фонемы не являются значимыми единицами: различая значения, фонема, как уже говорилось, не связывается с каким-либо определенным значением. Однако при известных условиях могут произвольно или намеренно устанавливаться корреляции между формой и значением языковых выражений на фонологическом (фонетическом) уровне, так что определенные звуки языка или их сочетания начинают связываться, пусть даже без должной четкости, с известным значением. Явления эти конкретно известны как звукоподражание (ономатопея), звуковой символизм, паронимия (парономасия, паронимическая аттракция) и народная этимология. Явления этого рода дают основание говорить о специфическом значении, изучение которого образует предмет фонетической семасиологии, или фоносемантики как раздела семасиологии.

Морфологический и синтаксический уровни языка с их единицами и комбинациями единиц — морфемами, словосочетаниями, предложениями и текстами — составляют традиционно предмет грамматики, а также новой лингвистической дисциплины, изучающей текст, — лингвистики текста. В отличие от фонологического уровня единицы этих уровней значимы уже первично, по самой их природе, поэтому изучение их невозможно без взаимосвязанного анализа и формы, и значения. В целом исследование единиц и комбинаций морфологического и синтаксического уровней составляет предмет грамматической семасиологии.

Грамматическая семасиология распадается на категориально-грамматическую, морфолого-грамматическую, функционально-грамматическую и синтаксическую. Категориально-грамматическая семасиология занимается категориальными грамматическими значениями слов — это семасиология частей речи и лексико-грамматических разрядов слов в пределах частей речи.

Морфолого-грамматическая (или просто морфологическая) семасиология обращена к значениям грамматических категорий слов, иначе говоря, это семасиология грамматического формообразования слов. Традиционно и с полным основанием она входит непременной составной частью морфологии как раздела грамматической науки — на равных правах с анализом грамматической формы. В области морфологии изначально и наиболее наглядно проявилась необходимость исследовать языковые единицы в двуединстве формы и функции — значения.

Функционально-грамматическая семасиология исследует содержание и структуру функционально-семантических категорий (или полей), т. е. разноуровневых, лексических и грамматических, средств выражений, функционально объединенных единым категориальным значением. Это относительно новое направление лингвистических исследований имеет дело с системным взаимодействием межуровневых средств единой функционально-понятийной направленности. Например, функционально-семантическая категория (или поле) темпоральности объединяет глагольные формы времени с лексическими средствами временной семантики (наречиями времени и др.), причем глагольные формы образуют ядро этой категории (поля) и системно взаимодействуют с лексическими средствами указания времени действий, событий.

Что касается последнего раздела грамматической семасиологии — семасиологии на синтаксическом уровне, то тут нужно вначале отметить следующее. В последние десятилетия в лингвистике было ясно осознано, что синтаксис естественных языков имеет гораздо более сложную внутреннюю структуру, чем это представлялось ранее. В том, что ранее виделось цельным единым предметом, открылись по меньшей мере три синтаксиса, или три разных аспекта, — конструктивный (или формальный) синтаксис и противостоящие ему и друг другу семантический и коммуникативный (или коммуникативно-прагматический) синтаксисы.

Конструктивный синтаксис ближе всего стоит к синтаксису в традиционном понимании. Иными словами, традиционный синтаксис — это прежде всего синтаксис формы, синтаксис плана выражения, а не плана содержания. Он более всего занимался формальной, а не содержательной структурой предложения. Равным образом, единицы и понятия конструктивного синтаксиса — это категории синтаксической формы, т. е. относятся не к содержательной, а формальной стороне синтаксиса. Таковы понятия членов предложения, главного и зависимого слова или главного и придаточного предложения, не говоря уже о таких понятиях, как способы подчинительной связи: согласование, управление, примыкание и замыкание.

Однако этого перечня достаточно, чтобы убедиться, что привычный круг интересов традиционного синтаксиса сосредоточивался преимущественно на форме синтаксических единиц, на их конструктивной стороне и

мало углублялся в содержательную сторону, в семантическую структуру или, шире, в структуру значения синтаксических единиц. Это имело, в частности, тот результат, что в современной лингвистике сами термины «синтаксис», «синтаксический» связывают прежде всего с описанием формы синтаксических построений, приравнивая их по смыслу к конструктивному (формальному) синтаксису. Напротив, если надо говорить не о форме, а о содержании синтаксических единиц, о структуре значения словосочетаний, предложений, сложных синтаксических целых (синтаксических единиц большего, чем предложение, формата: периодов, абзацев и т. п.) и текстов, то не ограничиваются одним термином «синтаксис, синтаксический», а сопровождают его обязательными уточнителями и говорят о семантическом или коммуникативном (коммуникативно-прагматическом) синтаксисе и используют соответствующие сложно-производные прилагательные «семантико-синтаксический», «коммуникативно-синтаксический».

Содержательный синтаксис исследует, таким образом, тот же объект, что формальный синтаксис, но противопоставлен этому последнему, как исследование структуры значения синтаксических единиц противопоставлено исследованию их формальной структуры. Оба исследуют в едином объекте хотя и связанные, но различные стороны, и поэтому они — дисциплины с одинаковым объектом, но разными предметами исследования.

Содержательный синтаксис, в свою очередь, распадается, как сказано, на синтаксическую семасиологию (чаще, впрочем, называемую синтаксической семантикой, иногда также семантикой синтаксиса) и коммуникативный (или коммуникативно-прагматический) синтаксис. Оба эти раздела семасиологии относятся к числу наиболее интенсивно разрабатываемых областей современной лингвистики, причем в синтаксической семантике уже получены весьма значительные результаты и в значительной мере прояснены и упорядочены исходные представления о предмете, в то время как в коммуникативном синтаксисе эта работа только начата и еще предстоит уточнить сам предмет исследования, его подразделения и структуру, равно как разработать адекватный исследовательский аппарат — систему понятий и методов коммуникативного синтаксиса.

Точности ради надо заметить, что с термином «коммуникативный синтаксис» связывают исследования и содержания, и формы выражения коммуникативных категорий на синтаксическом уровне. Поэтому, строго говоря, к семасиологии относится только содержательная сторона коммуникативного синтаксиса, и точнее было бы в этом случае говорить о коммуникативно-синтаксической семасиологии. Напротив, синтаксическая семантика (или синтаксическая семасиология) имеет дело в первую очередь с определенным аспектом значения синтаксических структур, и лишь во вторую очередь — с формами выражения этого значения.

В чем различие и что составляет предмет синтаксической и коммуникативно-синтаксической семасиологии? Здесь об этом надо сказать только необходимое, отнеся дальнейшие пояснения в соответствующие разделы книги.

Высказывания и целые тексты «рисуют картины» мира, т. е. сообщают о вещах, людях, их признаках, действиях, об их связях и отношениях. Синтаксические значения этого рода, относящиеся к описанию этого мира, к положению дел в нем составляют предмет синтаксической семасиологии.

Вместе с тем речь не только несет информацию о положении дел на описываемом участке мира, но прежде всего развертывается как коммуникативный процесс — процесс общения говорящего и слушающего: говорящий не только сообщает о чем-то, но может спрашивать слушающего (адресата речи) о чем-то, побуждать его к тем или иным действиям и т. д. При этом говорящий (адресант) соображает с условиями и обстоятельствами общения и строит речь с учетом того, что уже известно адресату, а что является новой информацией и т. д. Синтаксические значения этого рода, относящиеся не к референтному миру, а к коммуникативной системе, системе речевого общения, входят в предмет и задачу коммуникативно-синтаксической семасиологии.

Коммуникативно-синтаксическая семасиология вместе с исследованием содержания коммуникативных единиц других уровней — просодических, морфологических, лексико-грамматических — входит в состав коммуникативной семасиологии. Последняя, в свою очередь, составляет содержательный аспект коммуникативной лингвистики.

Наиболее обширным по задачам и наиболее продвинутым по результатам является тот раздел семасиологии — семантики, с которого началось ее развитие как самостоятельной дисциплины, — лексическая семасиология (лексическая семантика). Долгое время общее представление о семантике ограничивалось именно лексической семантикой, и семантику понимали как науку о значении слов. Ныне очевидно, что лексические значения при всей их многочисленности никак не исчерпывают предмет и задачи семасиологии.

Особое, промежуточное между лексической и морфологической семасиологией место занимает семасиология словообразования, или деривационная семасиология, занимающаяся содержательной стороной словообразования, т. е. словообразовательными значениями.

В последние десятилетия в семасиологии приступили к разработке еще одного направления, получившего название комбинаторной семасиологии (или синтагматической семантики). Комбинаторная семантика относится к промежуточной области между лексической и синтаксической семантикой. Она исследует смысловые правила сочетания слов, правила взаимодействия лексических значений слов в словосочетаниях.

Фразеологические сочетания отличны от свободных словосочетаний по многим признакам. Они обнаруживают значительное своеобразие и в содержательном плане. Поэтому есть основания к тому, чтобы выделить особо проблематику фразеологической семасиологии, исследующей значение фразеологических сочетаний, характер и особенности их содержательных структур.

Наконец, исследование текстов с их содержательной стороны, их семантическая организация и типология составляют задачу семасиологии текста.

Такова общая структура предмета семасиологии и составляющих ее частей (разделов).

ТЕОРИЯ ЗНАЧЕНИЯ

1. Общая теория и типология значения
2. Теория значения вторичных знаков и знаковых систем
 - 2.1. Семантика
 - 2.2. Прагматика
 - 2.3. Синтактика
3. Семасиология (референционная и прагматическая) = теория значения первичных знаков и знаковых систем (естественных языков)
 - 3.1. Фонетическая семасиология (фоносемантика)
 - 3.2. Лексическая семасиология
 - 3.3. Грамматическая семасиология
 - 3.3.1. Категориально-грамматическая
 - 3.3.2. Морфолого-грамматическая
 - 3.3.3. Функционально-грамматическая
 - 3.3.4. Синтаксическая семантика
 - 3.4. Деривационная семасиология
 - 3.5. Комбинаторная семасиология
 - 3.6. Фразеологическая семасиология
 - 3.7. Семасиология текста.

Лингвистическая семантика находится в центре интересов современной лингвистики, разделяя лидирующее положение с лингвистикой текста, социолингвистикой и коммуникативно-прагматическими исследованиями языка и речи как рода социальной и психической деятельности человека. Широко осознана необходимость во всемерном развитии семасиологических исследований. Это связано прежде всего с осознанием того факта, что значение представляет собой общенаучную проблему, от решения которой зависит успешное развитие не только лингвистики, но и многих других наук, как теоретических, так и прикладных.

Кроме того, решительный поворот к содержательной стороне языка явился реакцией на ограниченность лингвистического структурализма по-

слевоенных десятилетий, когда господствовали упрощенные представления о соотношении формы и значения в языке, преувеличивалась системность языка и даже существовало убеждение, что возможно и должно описывать язык, не выходя за пределы формы. Ошибочность этих представлений особенно наглядно выявилась, когда оказались безуспешными попытки машинного перевода, построенные на такой теоретической основе. При этом с очевидностью обнаружилось, что соотношения между значениями и языковой формой носят весьма непростой характер и плохо поддаются формализации, что импульсы к структурированию языковой формы идут изнутри и извне, от значения, причем требование должным образом разграничивать значения более императивно и задает предел возможного варьирования формы за счет внутренних импульсов, что вместе с тем значения различаются весьма сложным образом, разнообразными разноуровневыми средствами языковой формы, что значения «размещены» по всей языковой структуре и выявляются в далеко не очевидных соотношениях с выражающими их средствами, что они содержатся не только в закрепленных за ними разноуровневых средствах, но также и в определенных правилах использования этих средств, а часто вообще не выражены как-либо прямо, а содержатся имплицитно.

Более того, с очевидностью обнаружилась недостаточность, даже бедность знаний о природе, содержании, видах и структуре значений. В совокупности эти причины прочно утвердили семасиологию как одну из центральных лингвистических дисциплин, составляющую неотъемлемую часть науки о языке и выводящую эту науку в круг общенаучной проблематики важного теоретического и прикладного характера.

В соответствии с традицией, о которой уже говорилось, в этой книге, предназначенной служить в качестве введения в общую семасиологию, не рассматриваются те частные вопросы теории значения в естественном языке, которые находят достаточное освещение в лингвистических дисциплинах, традиционно учитывающих форму и значение языковых единиц. Это касается большей части вопросов грамматической семасиологии, прежде всего категориально-грамматической, морфолого-грамматической и функционально-грамматической, а также деривационной семасиологии (семасиологии словообразования). О некоторых других областях лингвистической семантики даются лишь общие сведения по причине ограничений на объем книги и в силу неразработанности или отсутствия сколь-нибудь устоявшихся, общепринятых представлений. Это касается фонетической семасиологии (фоносемантики), фразеологической семасиологии и семасиологии текста. Тем не менее, помимо общего представления, указана основная литература, необходимая для того, чтобы приступить к основательному изучению этих областей лингвистической семантики.

Книга имеет учебное назначение и служит в качестве введения в основную проблематику лингвистической семантики. Соответственно она

сосредотачивается на главных разделах современной семасиологии, наиболее интенсивно ныне развиваемых, — общей теории и типологии значений, лексической, комбинаторной и синтаксической семантике, а также вводит читателя в проблематику семасиологии речи — в область прагматических значений высказываний и текстов.

Первая глава книги отведена рассмотрению природы значения и его типов. Последующие три главы посвящены трем основным разделам лексической семантики, а именно — проблемам структуры лексического значения, семантической структуры слова (структуры полисемии) и семантической структуры словаря.

Далее, в пятой главе, рассматривается взаимодействие лексических значений слов в словосочетаниях. Это область комбинаторики значений, промежуточная между лексической семантикой отдельных слов и синтаксической семантикой. Сочетание значений подчиняется определенным правилам, намеренное нарушение которых порождает выразительные эффекты, используемые в поэтической речи.

Следующая, шестая глава, посвящена семантике синтаксических единиц, а точнее — значениям позиций, или мест в синтаксических структурах с предикатами. Эти значения сообщаются словам, заполняющим позиции в синтаксической структуре, и характеризуют денотат слова по той роли, которую он играет в ситуации, описываемой данной синтаксической единицей. Здесь же поясняются коммуникативные значения, которые характеризуют компоненты синтаксических единиц не по их роли в структуре описываемой ситуации, а по отношению к коммуникативному акту — применительно к его участникам и роли в структуре коммуникативного акта.

Наконец, обширная последняя седьмая глава вводит читателя в наиболее сложную и самую современную область прагматической семантики, где теория значения смыкается с прагматикой — лингвистической дисциплиной, изучающей использование языка. Здесь совершается переход от семасиологии языка и теории эксплицитно выраженных значений к семасиологии речи и теории имплицитных значений.

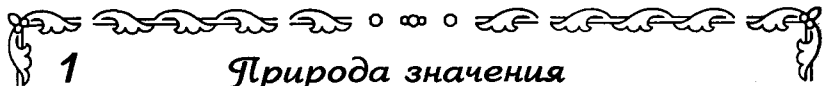
Эта книга — введение в общую семасиологию, а не в частную семасиологию какого-либо конкретного языка. Иначе говоря, в ней излагаются общие для устройства семантических систем языков моменты, а не частные особенности какой-либо идиоэтнической системы. Поэтому, хотя в качестве иллюстративного материала используется, кроме особых случаев, преимущественно русский и частично английский языки, аналогичные явления обнаруживаются в семантическом устройстве любого языка.

Несмотря на учебное назначение, книга не представляет собой адаптированный пересказ разнородных распространенных взглядов. Семантика излагается с позиций целостной концепции, последовательно развивающей определенные базисные представления. Усложняясь и развертываясь, ис-

ходные положения участвуют в формировании семантической теории на разных участках содержательной структуры языка, его единиц и образуемых ими речевых произведений. С тем, чтобы облегчить задачу читателя и позволить ему в каждом случае держать в поле зрения целостную теоретическую перспективу без отсылок к разрозненным местам книги, в каждом случае при необходимости эти базисные представления повторены в сжатом изложении как основа развертывания семантической теории в данном конкретном пункте.

Отдельные части этой книги публиковались в качестве пособий к соответствующим разделам курсов лексикологии и семантики (*Никитин М. В.*

1) Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974;
2) Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). М., 1984;
3) Основы лингвистической теории значения. М., 1988). Здесь они переработаны и существенно дополнены новыми темами с тем, чтобы в совокупности составить целостный курс современной лингвистической семантики.



1. Природа значения. Значение и язык

Прежде всего следует задаться вопросом, что такое значение вообще. Ныне уже стало ясно, что ответ на этот вопрос непрост. Испробованы были разные пути: анализ ситуаций, в которых, как можно считать, наличествует значение (индуктивно-аналитический подход); выдвижение гипотез о природе значения и практическая проверка объяснительной силы этих гипотез (дедуктивно-гипотетический подход); анализ семантики и употребления слова «значение» и семантически близких ему слов, таких, как, например, «смысл», т. е. в конечном счете попытка установить значение «значения» (семанτικο-лингвистический подход).

Поскольку проблема значения имеет общенаучный характер, то в специальных науках в отсутствие общей теории значения создавались специальные, частные теории значения, не претендовавшие на универсальность, но полезные или даже необходимые для целей той или иной научной дисциплины или концепции.

Эти специальные теории проясняли определенные аспекты значения и косвенно демонстрировали его сложность и многосторонность. В особенности много таких теорий создается в философии (гносеологии), логике, лингвистике и семиотике, за которыми далее следуют психология и теория информации, а также и ряд других наук, таких, как антропология, сравнительная культурология, этнография и др. Теория значения при этом не имеет самостоятельной ценности, а играет подчиненную роль как необходимая часть философских, логических и иных систем и концепций. Понятно, что разработка специальных аспектов не снимает потребность в общей теории значения. Частные концепции должны согласовываться с общетеоретическими представлениями, иначе они, как это случается, впадают в

грех преувеличения и выдают полуправду за истину, какую-то часть целого за все целое.

При уяснении общей природы значения необходимо синтезировать и согласовать различные подходы, взаимно подкрепляя и уточняя их друг через друга, а также учитывая и вмещающая специальные концепции значения.

Вопрос о природе значения тесно связан с проблемой знака. Каково их взаимное соотношение? Следует ли ожидать, что всякий раз, когда есть знак, наличествует и значение? Справедливо ли обратное, т. е. верно ли, что значение предполагает знак, его выражающий? Начать необходимо с уяснения понятия знака.

Во Введении уже говорилось о том, что знаковая деятельность, сознательное, намеренное использование знаков составляет одну из существенных особенностей *homo sapiens*, человека разумного, — одну из тех особенностей, которые выделяют общественного человека из мира всех других существ. Без преувеличения можно сказать, что знаки окружают человека со всех сторон и непрерывно им самим производятся.

В современной науке существуют три основных направления в понимании знаков. В узкой трактовке к знакам относят только то, что привычно в обыденном языке обозначается как «знак», т. е. разнообразные общепринятые или согласованные только на данный случай, спонтанно возникшие или намеренно установленные условные знаки и знаковые системы, вроде дорожных знаков, воинских или иных знаков различия, денежных знаков, знаков приветствия (рукопожатий, поклонов, снятия головного убора, объятий, поцелуев и т. п.), обручальных колец, форменной одежды, азбуки Морзе, флажковой сигнализации, значимых жестов и мимики, положений и цветов семафоров, значимых обрядов и ритуалов, разного рода символики, кодов, шифров и т. д. и т. п. При этом, однако, из числа знаков исключают речь, т. е. использование естественного языка.

В другой, более широкой трактовке знака единицы и комбинации единиц естественного языка также относят к знакам, добавляя их к тем, что были указаны выше. Тем самым различают словесные (естественно-языковые) первичные знаки и вторичные (искусственные) знаки.

В наиболее широкой трактовке к знакам причисляют не только первичные словесные и вторичные искусственные знаки, но добавляют еще одну категорию знаков — знаки-признаки (знаки-индексы, или симптомы). Речь при этом идет о причинно-следственных зависимостях явлений и событий, когда одно явление или событие связано с другим и тем самым как будто служит знаком этого последнего, свидетельствуя о его наличии (или отсутствии) в данной ситуации. Например, покачивание ветвей за окном служит «знаком» ветра, шипение воздуха — «знак» того, что лопнула шина, а появление слез означает глубокое переживание.

Нельзя, однако, не видеть принципиального различия между такими фактами, как, например, ношение траура, словами «глубокое пережива-

ние», с одной стороны, и плачем — с другой. Все они сходны в том, что несут для наблюдателя близкое значение — информацию о глубоком переживании. Различие же состоит в том, что плач естественно сопутствует переживанию, в то время как между ношением траура и глубоким переживанием, между словами «глубокое переживание» и самим переживанием нет зависимости, такой, чтобы одно обуславливало другое (или, напротив, обуславливалось бы им), чтобы одно сопутствовало другому в силу обязательных или вероятностных зависимостей самой действительности. Заметим, что возможен плач иного рода: словом «плач» обозначают еще жанр народной ритуальной поэзии — прощальные обрядовые причитания (причеты), сопровождавшие похороны, проводы в рекруты, свадьбы. Плачи такого рода, хотя и допускают импровизацию, весьма традиционны по структуре и средствам, составляют часть обряда и по существу сами являются знаковым действием.

Ношение траура обусловлено общественным установлением, слова «глубокое переживание» вызваны потребностью назвать определенную эмоцию. И то, и другое обозначают скорбь утраты, переживание, но не вызывают их и не ими вызваны.

Указанное различие носит принципиальный характер, оно и проводит границу между знаками и знаками. Нет достаточных оснований для того, чтобы в естественных связях и зависимостях вещей, явлений и событий усматривать знаковое отношение и приравнивать причины следствий или следствия причин к знакам. В понятие знака следует включить: первичные словесные и вторичные искусственные знаки, из числа знаков следует исключить признаки (симптомы, индексы).

Обратимся теперь к уяснению природы значения. Анализ необходимо начать с выявления и рассмотрения ситуаций, которые характеризуются, хотя бы интуитивно, наличием значения, т. е. значимых ситуаций. При этом следует иметь в виду, что слова «значение», «значить» могут быть многозначными (ср.: «значение» — 1) смысл; 2) важность). Поэтому относя ситуации к значимым/незначимым, следует придерживаться определенных смысловых рамок, исключающих смешение разных смыслов.

Первоначальное рассмотрение обнаруживает, что значимая ситуация предполагает связь двух фактов (предметов, событий, явлений) и осознание этой связи наблюдателем. При этом значение в ситуации с этими тремя участниками возникает (т. е. ситуация становится значимой) при том условии, что связь двух фактов оценивается как информационная, т. е. важным оказывается не просто наличие двух фактов и связь между ними, а то, что для наблюдателя один факт сигнализирует о другом в силу известной наблюдателю связи между ними. В значимой ситуации один факт нужен для того, чтобы настроить сознание наблюдателя на другой.

По той причине, что информационное осознание связи двух фактов составляет неперемное условие и компонент значимой ситуации, она не сводится просто к отношению этих двух фактов, а имеет более сложную структуру: первый факт актуализирует в сознании мысль о втором и настраивает сознание на этот последний. При этом второй факт может реализоваться, т. е. осуществиться реально, а может и не осуществиться, оставшись мыслимой возможностью. Ситуация все равно останется значимой — достаточно знания того, что первый факт связан со вторым.

Дальнейший анализ показывает, что значимые ситуации распадаются на два типа — импликационный и знаковый.

Примером значимых ситуаций импликационного типа может служить любой случай, когда на основании одного факта прогнозируют другой, с ним связанный. Значимый характер таких ситуаций проявляется в том, что в речи два таких факта связывают предикатами «значить, означать». Например, качаются ветви, значит, дует ветер: красный закат означает ветреную погоду; слезы означают переживание. Поскольку в известном наблюдателю мире два факта связаны, один факт (событие, явление) для него имплицитно, заставляет ожидать другой. В основе этого типа значимых ситуаций лежит умственная операция импликации. Отсюда и название (подробнее об импликации см. также ниже).

Теперь нетрудно видеть, что значение имеет первый факт и значением этим является импликация второго факта. Там, где есть значение, всегда правомерно спросить, значение чего и какое значение. Важно, впрочем, подчеркнуть, что значением является именно импликация второго факта, а не сам второй имплицитный факт. В более общей форме следовало бы сказать, что значением некоего факта (события, явления, ситуации, пропозиции) являются все возможные импликации из него других фактов. Так, в приведенных выше примерах импликационных значимых ситуаций значениями соответственно являются мысль о том, что дует ветер, как импликация из покачивания ветвей; прогноз ветреной погоды как импликация из красного заката; заключение о переживании по внешнему его проявлению — слезам (заметим, что прогноз, заключение, вывод и т. п. — не что иное, как разновидность импликаций).

Поэтому значением нельзя считать сам имплицитный факт, а только импликацию факта, мыслительную ориентацию на него. Уже потому, что имплицитный факт может не осуществиться, ожидаемое может не наступить, тем не менее субъект был настроен на него имплицитным фактом и значение реализовалось в его сознании. Важно усвоить, что ни в самих вещах, фактах, событиях не может быть ни грана значения. Оно появляется только тогда, когда эта связь осознается кем-то как способ и для целей ориентации в мире. Значение в импликационной ситуации, или просто импликационное значение, — это знание о связях вещей и событий,

актуализированных применительно к данному наблюдаемому факту в конкретных условиях его наблюдения.

Что касается знаковой ситуации, то она всегда значима, ибо знаки специально «изобретены» человеком (даже там, где они, как, например, в случае естественных языков, возникают спонтанно), чтобы служить для целей передачи значений — это их первичное бытие, для которого они предназначены. Примером знаковой ситуации может служить случай, когда некто произносит: «Качаются ветви», а другой слышит и понимает это. В конкретном случае у воспринимающего возникает образ раскачивающихся ветвей, что и является значением знака «Качаются ветви» — знаковым значением. Возможное же заключение о том, что, вероятно, дует ветер, не составляет собственного значения этого знака — его знакового значения, а является импликационным значением — импликацией из факта раскачивания ветвей. Об этом импликационном значении знака «Качаются ветви» скажут, что оно в нем содержится имплицитно, т. е. не выражено в нем явно, эксплицитно, как его знаковое значение, а присутствует в нем косвенно, опосредованно, как побочная информация, индуцируемая знаками в силу знания не столько самих знаков, сколько связей и зависимостей вещей и явлений.

Из сказанного становится ясным различие между двумя типами значимых ситуаций — импликационных и знаковых. В первом случае между двумя фактами наличествует некая естественная, природная связь или зависимость — пространственная (соположение), временная (сосуществование), причинно-следственная и т. п. Во втором случае между двумя фактами нет природной зависимости, их связь условна, носит чисто технический, функционально-знаковый характер. В знаковой ситуации в отличие от импликационной первый факт интенционально, по намерению, значим. Поэтому знаковая ситуация разворачивается параллельно миру действительности и миру сознания как их знаковый аналог и знаковое явление. Знак изъят из своего вещественного бытия, вырван из природных связей и отношений, специализирован в функции носителя и значим не своими импликациями, а закрепленным за ним значением.

Это различие имеет то следствие, что информация в импликационной ситуации замыкается в рамках одного сознания; тот, кто наблюдает некий факт, осознает его импликации. Напротив, в знаковой ситуации информация предназначена для передачи другому сознанию. Семиозис, т. е. знаковая деятельность, общение посредством знаков, предполагает того, кто использует знаки, адресанта, и того, кому эти знаки предназначены, адресата.

Итак, значение возникает при осознанной информационной связи между двумя фактами, при которой один факт (вещь, предмет, событие, явление) актуализирует в сознании мысль о другом и информационно настраивает сознание на этот второй. Собственно значением является мысль об этом втором факте как информационная функция первого факта. Актуа-

лизация мысли-значения происходит в силу естественной или знаковой связи между двумя фактами. Соответственно этому различаются два рода значимых ситуаций и два рода значений — импликационные и знаковые.

Далее следует рассмотреть некоторые важные следствия, которые вытекают из изложенной концепции значения.

Во-первых, значение — факт сознания. Оно замкнуто в сознании и, так сказать, никогда не покидает головы. При сообщении значений, строго говоря, не происходит их передачи: знаки нельзя считать носителями значений в том смысле, что значения не заключены в них, не составляют части материального тела знака. Более точно то представление, что знаки не несут и не передают значения (это метафоры) от одного человека другому, а индуцируют тождественные или сходные значения, возбуждают аналогичные информационные процессы в двух сознаниях. Знаковое общение имеет результатом актуализацию одинаковых или близких значений в голове общающихся, а также модификацию и возникновение новых значений.

Во-вторых, понятие знака производно от значения, первое определяется через второе. Знак — предмет, значимый условно, а не своими природными (естественными) связями. Иначе говоря, знак — предмет, специально назначенный для сообщения значения и в этой функции изъятый из природных (естественных) связей. Знаковое значение не является частью импликаций, свойственных знаку как природному явлению.

В-третьих, значение — понятие более широкое, чем знак. Нет знака без значения, но обратное неверно. Более того, значение в низших, допонятийных формах обнаруживается еще на дознаковом уровне сознания, в частности, у существ, по меньшей мере высших животных, не знающих языка и не располагающих сколько-нибудь развитыми знаковыми системами. В этом плане значение — явление того же порядка, что память, способность к опережающему отражению действительности и планированию действий (поведения), способность к воображению и т. п. В самом общем смысле значение — информация в живых системах, располагающих сознанием.

2. Типология значения.

Основные понятия общей типологии значений

Типология значения, как и типология вообще, есть род классификации, а именно классификации по наиболее существенным различиям в пределах единого класса. Типология значения имеет целью установление и исследование типов значений, т. е. основных существенно различных, хотя и единых по общей природе, видов значения. Как и всякая классификация, типология может строиться на нескольких различных основаниях, — хотя таких оснований не может быть много, — и в этом случае возможны не-

сколько типологий предметов одного класса, не исключających друг друга, а находящихся в дополнительном отношении.

Первая типология значений прямо вытекает из определения его природы — значения подразделяются на импликационный и знаковый типы. Основанием их различения служит характер информационной связи между двумя сущностями. Если в сознании субъекта две сущности (вещи, события, явления) объединены импликационной зависимостью, отражающей их природную (естественную) связь в действительности, то имеет место значение импликационного типа. Уже говорилось, что его содержание составляют мыслительные импликации из некоего факта как его информационная, ориентировочная функция.

В другом случае две сущности не объединены природной зависимостью, но между ними установлена условная намеренная связь с тем назначением, чтобы актуализировать в сознании определенную мысль даже в отсутствие оснований для импликации. Между сущностями нет природной связи, но в сознании субъекта установлена знаковая связь между ними, за знаком закреплена определенная кодифицированная мысль, которая и составляет его знаковое значение.

В случае естественных языков знаковая функция устанавливается первоначально спонтанно как результат простейшего коммуникативного намерения, впоследствии, при развитом языке, — и спонтанно, и намеренно-осознанно, т. е. конвенционально, по договору, точнее, по соглашению о знаках. В случае вторичных (искусственных) знаков и знаковых систем знаковая функция устанавливается также либо спонтанно, либо по соглашению, но всегда интерпретируется посредством естественного языка. Иначе говоря, значения вторичных знаков опосредуются естественным (первичным) языком.

Вообще говоря, импликационные значения как заключения о природных связях не входят прямо в предмет семасиологии. Однако для нее существенно учитывать, исследовать и включать в свой предмет одну разновидность импликационных значений, которые надо называть семиимпликационными. Семиимпликационные значения — те же импликационные значения, но базой импликации служит знаковая деятельность, речь со всеми ее составляющими.

Речь несет информацию двоякого рода. Помимо прямого ее назначения, т. е. кодифицированной знаковой информации, она еще служит источником разнообразной дополнительной информации, извлекаемой из всех составляющих речевую деятельность компонентов и относящихся, так сказать, к ее конкретному исполнению в конкретных обстоятельствах. Эта информация не является собственной принадлежностью знаков как таковых, закреплённым за ними и воспроизводимым значением, она не вытекает из знания самого языка, а усваивается из знания мира и знаковой деятельности людей, не из знаковых, а импликационных связей речевых

фактов. Знак при этом усваивается не только как таковой, как предмет в особой, специальной, знаковой функции, а шире — как предмет вообще, погруженный во все естественные связи мира, в котором он проявляется, — причинно-следственные, временные, пространственные и т. д.

Когда некто говорит среди дня: «Я иду спать», — то значимым является не только объявленное действие (знаковое значение), но интонации усталости в голосе, обстоятельства речи — намерение отдохнуть среди дня, предшествующее знание того, что говорящий много работал до этого (или что он уже обнаружил признаки слабости, недомогания и т. п.). В других обстоятельствах эти слова могут быть поняты как нежелание продолжать беседу, свидетельство нерасположения, косвенное утверждение собственной независимости и т. д. и т. п. Вся эта обширная и разнообразная информация не закодирована в речи, а представляет собой разнообразные импликации из нее, выводимые из всех компонентов всех уровней речевого акта. В совокупности они и составляют семиоимпликационные значения знаковых актов.

Семиоимпликационные значения представляют собой как бы значимую среду, в которую погружены собственно знаковые значения высказываний и текстов. Отношения, в которые вступают эти две значимые составляющие речи, весьма разнообразны. В одних случаях семиоимпликационные значения малосущественны в речевых актах, составляя побочный значимый фон общения. В других — они выступают на равных правах с знаковым значением речи, дополняя, расширяя и мотивируя его. Наконец, те и другие могут вступать в конфликт, как в случаях иронии, гиперболы, литоты, «эзоповых речей», иносказаний и т. п. При этом в игру вступают сложные речемыслительные процессы: говорящий управляет взаимодействием знакового и семиоимпликационного значений, прогнозируя суммарный эффект речи, а слушающий определенным образом разрешает конфликт двух составляющих смысла, мобилизуя свое знание мира и опыт знаковой деятельности. Существенно то, что усваиваемое значение речевых и любых иных знаковых актов всегда является результирующей сложного взаимодействия знакового и семиоимпликационного значений.

Семиоимпликационные значения выводят знаковую деятельность из противопоставления деятельности вообще и превращают первую в продолжение второй, соотнося их как часть и целое, вид и род, частное и общее. Иначе говоря, благодаря семиоимпликационной составляющей речь оказывается не только и не просто «рассказом» о мире и деятельности человека, но и составной частью этого мира и деятельности.

Семиоимпликационные значения входят органической частью в структуру вербальной коммуникации. Более того, как будет показано далее, они подключены к структуре значения самих языковых (словесных) знаков, и это составляет одну из существенных особенностей естественных (первичных) языков, отличающих их от формализованных языков.

Наконец, важным является и то обстоятельство, что взаимодействие языковых и семиоимпликационных значений в речи служит одной из причин изменения кодифицированных значений словесных языков.

Основанием для деления значений на импликационные и знаковые выступает характер связи, устанавливаемой сознанием между означающим и означаемым фактами. Некое импликационное значение может быть содержательно равным или близким некоему знаковому значению, например, для пришедшего на пляж человека сильное волнение на море и слова «купаться опасно» имеют приблизительно одинаковое значение. Различие между ними — в способе его актуализации, импликационном в первом случае и знаковом — во втором.

Импликационные процессы совершаются в психике и на дознаковом уровне (например, в психике животных) и на знаковом уровне (в психике людей). На этих двух уровнях даже сходные импликации должны различаться содержательно. В первом случае они основаны на инстинктах, рефлексорны, имеют узкий диапазон действия, ограниченный потребностями животного, конкретны и привязаны к практической ситуации, во втором — они более глубоки, абстрагированы и обобщены как отражения закономерных связей. Пользование знаками, наличие языка поднимает психику на понятийный уровень, так что и импликационные процессы приобретают несравнимо более широкий, сложный и содержательный характер. Достигнув посредством языков высшего уровня организации, поднявшись с помощью языка на уровень обобщающего и абстрагирующего понятийно-умозаключающего сознания, психика подтягивает на этот уровень все свои операционные формы. Это и создает условия для содержательной близости определенных импликаций и знаковых значений. Однако принципиальное различие между импликационными и знаковыми значениями не следует связывать с их содержательными различиями или сходствами, — это возможные побочные моменты, оно — в характере связи означающего и означаемого фактов — импликационной или знаковой.

По другому важному основанию различаются значения когнитивного и прагматического типов. Сознание представляет собой скоординированное единство прагматических и когнитивных структур. В эти структуры, вырастающие на наследственном базисе, укладывается и организуется собственный опыт индивидуума, тысячекратно обогащенный и скорректированный благодаря языку коллективным опытом человечества. Исходными являются прагматические структуры сознания, отвечающие за субъективную оценку всего наблюдаемого и переживаемого человеком, с точки зрения его интересов и ценностной ориентации в мире.

Параметры ценностно-прагматической ориентации, категории субъективной оценки вещей и событий не столь многочисленны; они построены обычно как двучленные или трехчленные противопоставления: *хорошо* —

плохо; приятно — безразлично — неприятно; интересно — безразлично — неинтересно, скучно; красиво — некрасиво, уродливо, безобразно; добро — зло и т. п.

Но для того, чтобы правильно ориентироваться в мире и оптимально действовать в нем, чтобы верно и перспективно оценивать окружающий мир, необходимо знать его, и знать максимально глубоко, разносторонне, в его существенных признаках, связях и закономерностях, для чего требуется абстрагироваться от непосредственно-потребительского отношения к нему, от сиюминутных субъективных его оценок.

Это объективированное, внепрагматическое знание мира, его сущностей, их признаков, связей и зависимостей упорядочено в когнитивных структурах сознания. У современного *homo sapiens* они непрерывно развертываются и обогащаются, составляя мощную и широкую основу для ориентации в мире, для прагматической деятельности по удовлетворению разнообразных растущих материальных и духовных потребностей и запросов. Субъективные интересы питаются объективным знанием.

Всякое конкретное значение, будь то мысль — импликация из некоего факта или мысль, условно-знаково с ним связанная, неизбежно получает квалификацию как элемент этих двух структур сознания. Это приводит к расслоению значения на когнитивный и прагматический компоненты. Первый относится к информации о мире на том или ином его участке, как он представляется сам по себе, вне субъективной оценки, переживания его индивидом. Этот компонент называю еще познавательным, интеллектуальным (иногда — интеллективным), референционным, денотативным, иногда также семантическим (в особом узком значении термина) или еще сигматическим значением (компонентом значения). Второй компонент значения, как сказано, относится к информации о субъективном отношении, оценке, переживании означаемого факта, субъективной установке индивида на этот факт.

Различаясь по своей природе, когнитивный и прагматический компоненты значения вместе с тем коррелируют друг с другом. Это и понятно, так как различие в субъективной ценности вещей, явлений, событий для человека коренится в различии их объективных свойств. К примеру, три слова — «старик», «старец» и «старикашка» — различаются прагматическими значениями — нейтральной оценкой в первом случае, положительной во втором и отрицательной в третьем. Эти различия коррелируют с различиями в когнитивном компоненте значения слов. «Старик» содержит когнитивный компонент, общий для всех трех слов, — мысль (понятие) о старом мужчине; «старец» добавляет к этому представление о благочестивой, благообразной старости, а «старикашка» — о старике малозначительном, никчемном. Тем самым различие в отношении к объекту обозначения коррелирует, хотя бы в тенденции, с различиями в объектах обозначения.

3. Контенсиональное и экстенсиональное значения

Дальнейшие рассуждения о типологии значений относятся только к знаково-понятийному уровню сознания и касаются знаковых значений и в первую очередь — значений словесных знаков. Иначе говоря, отмечаемые далее категории значения невозможны на дознаковом уровне психики (у животных), а прямо связаны и обусловлены наличием языка как необходимого условия для того, чтобы поднять психику до уровня человеческого сознания — сознания обобщающего, абстрагирующего, понятийно-умозаключающего.

В когнитивном значении имен различаются контенсиональный и экстенсиональный компоненты. Для определения этих видов значения надо предварительно ввести или напомнить ряд важных понятий, относящихся к структуре и категориям языка в их соотношениях с мышлением и миром.

Все, что существует в отражаемом сознанием мире, распадается на две категории — вещи и признаки. Это наиболее общие (предельно общие) категории сущностей, определяемые одна через другую. Вещь — то, что имеет признаки. Признаки — то, что отождествляет и различает вещи. Вещи и признаки не абсолютные, а относительные категории: сущность, которая выступает как признак чего-либо, в другом отношении может выступать как имеющая признаки, т. е. как вещь. Например, белизна является признаком снега, но если ей самой приписан признак, то в этом отношении белизна уже выступает как вещь (ср. *ослепительная белизна*).

При всем разнообразии структур естественных языков все они опираются на то представление о мире (так называемую философию языка), что никакая сущность не выступает исключительно как признак, а может выступить и как вещь, но есть такие сущности, которые предстают исключительно как вещи. К последним относятся физические тела (и их сочетания), т. е. вещи с пространственной границей, пространственно ограниченные вещи.

В структуре естественных языков этому соответствует деление полнозначных слов и частей речи на вещные (имена аргументов) и признаковые (предикатные слова или просто предикаты).

К первым относятся имена существительные и другие субстантивные слова, включая местоимения-существительные, герундии, супин(ум)ы, отчасти инфинитивы, а также субстантивированные прилагательные и субстантивированные слова других частей речи. Ко вторым — прилагательные, глаголы, причастия, наречия, отчасти инфинитивы, а также местоимения-прилагательные.

Не следует, впрочем, ожидать жесткого соответствия между вещами и вещными словами, признаками и признаковыми словами. Обычным для

естественных языков является такое положение, когда единицы определенного разряда помимо своих основных, характерных для них первичных функций обнаруживают еще вторичные функции, причем эти вторичные функции совпадают с первичными функциями какого-то другого разряда единиц. Так, в словосочетании «человек исключительной храбрости» последнее слово, будучи существительным, называет все же признак (ср.: «исключительно храбрый человек»).

Из того, что было сказано о вещах, следует их деление на вещи-тела (вещи в собственном, узком смысле слова) и вещи — абстрактные предметы. Первые выступают исключительно как носители признаков, вторые представляют собой признаки вещей-тел, абстрагированные от них и рассматриваемые как самостоятельные сущности — носители признаков как вторичные вещи. Этому делению соответствует деление существительных на конкретные (классообразующие, вещественные и собирательные) и абстрактные.

Признаки, в свою очередь, подразделяются на свойства и отношения. Свойство — признак вещи, которым она располагает независимо от ее отношения к другим вещам; в данном смысле это собственный признак вещи. Свойства вещи проявляются, обнаруживаются в ее отношениях к другим вещам, но не образуются, не обуславливаются этими отношениями, ср. признаки: *цвета* (красный, белый и т. д.), *внешней формы* (круглый, продолговатый и т. п.), *размеров* (крупный, длинный и т. п.), *структуры* (сложный, сборный и т. п.), *нравственных качеств* (добрый, смелый, гордый и т. д.). Отношение — такой признак вещи, который она делит с другой вещью или вещами и не в том смысле, что несколько вещей имеют одинаковые признаки, а в том смысле, что признак даже единожды, для однократного своего проявления требует нескольких вещей. Отношение — это связь вещей, это признак, как бы упирающийся разными своими концами в разные вещи.

Вещи, участвующие в том или ином отношении, его образующие (конституирующие), называются аргументами этого отношения. Аргументами называют также и слова, называющие участников отношения.

Статус аргументов в отношении может быть одинаковым, и такие отношения называют симметричными (обратимыми, равноправными). Таково, например, отношение соседства: если *А* сосед *В*, то и *В* сосед *А*, т. е. аргументы *А* и *В* — оба соседи. Ср. также отношения дружбы, партнерства, вражды и т. д.

Иным представляется отношение купли-продажи (торговое отношение), где статус аргументов неодинаков: один выступает как продавец, другой — как покупатель, а третий — как товар. Отношения с неодинаковым статусом аргументов называются несимметричными. Их большинство. Ср. также отношения: *обучения* (учитель — ученик — предмет обучения), *изображения* (художник — картина), *узнавания* (узнающий — узнаваемое) и т. д.

Число обязательных аргументов, образующих отношения, может быть различным — от двух и более. Соответственно предикатные слова (предикаты), называющие отношения, различаются числом мест, т. е. числом обязательных аргументов при них. Например, «дружить, дружен» — двуместные предикаты: кто-то дружит (дружен) с кем-то; «завещать» — трехместный предикат: кто-то завещает что-то кому-то; «женить, выдать замуж» — также трехместные предикаты: некто женит кого-либо на ком-то или выдает кого-либо замуж за кого-то. Двуместные и трехместные предикаты — наиболее частый случай, но возможны предикаты, открывающие большее число мест для аргументов. Ср.: «переправить» — четырехместный предикат: кто-то переправляет что-либо (кого-либо) откуда-то куда-либо.

В определенных целях бывает удобно рассматривать свойства как частный случай вырожденного отношения — отношения с одним аргументом. Это позволяет толковать имена свойств как одноместные предикаты.

Разбиение признаков на свойства и отношения лишь частично и весьма непоследовательно коррелирует с делением признаков слов на прилагательные и глаголы. И прилагательные, и глаголы могут включать в свой круг как одноместные, так и многоместные предикаты, ср.: теплая вода, давний друг, одинокое дерево, но — свободный от забот человек, я признателен вам за внимание; он освободил меня от забот, я признаю за ним большой талант, мать состарили заботы, но — климат потеплел, дети спят, время идет, мать состарилась и т. п. И все же нетрудно заметить, что многоместных предикатов больше среди глаголов, а прилагательные чаще одноместны.

Но существует другая, более ярко выраженная тенденция к семантическому размежеванию глаголов, прилагательных и существительных. Глаголы имеют грамматические формы времени и вида, и это позволяет им всякий раз давать временную характеристику признаков, указывать их протяженность, привязку ко времени, характер протекания и динамику изменения во времени. Поэтому глаголы способны указывать признаки широкого временного диапазона от постоянных, стабильных, характерных, устойчиво-сущностных до кратковременных, случайно-преходящих, временных, сущностно-непоказательных, и это справедливо как в отношении разных признаков, так и в отношении разных проявлений одного признака.

Напротив, для прилагательных и существительных возможна лишь статическая констатация признака вне временной динамики, причем у существительных признак связывается еще с мыслью о вещи — носителе признака. На этой основе выявляется отчетливая тенденция, которая, хотя никогда не становится сколько-нибудь жестким правилом, действует как вероятностная массовая закономерность: чем длительнее, устойчивее, стабильнее, постоянное и характернее признак для какой-то вещи, тем больше оснований ожидать, что при описании этой вещи номинация такого признака будет продвигаться по линии от глагола к прилагательному и далее —

к существительному. Например, в ряду «человек веселится — веселый человек — весельчак» признак веселья постепенно движется от временной характеристики, преходящего состояния лица к характерному, постоянно-му свойству личности. Ср. также: *храбриться — храбрый — храбрец; скупиться — скупой — скупец; бодриться — бодрый — бодряк*. О том же говорит неравнозначность выражений: *x* плотничает (столярничает, ведет машину) \neq *x* — плотник (столяр, водитель машины).

Признаки не существуют сами по себе, вне вещей. Они предполагают вещи, у которых они обнаруживаются. Отделить признаки от вещей можно лишь умственно, посредством мыслительной операции абстрагирования, что делается в целях познания мира. Это принципиальное различие в природе сущностей-вещей и сущностей-признаков имеет следствием различие в знаковых (семиотических) функциях вещных и признаковых слов в высказываниях.

Полнозначные слова в высказываниях обнаруживают две семиотические функции — репрезентативную и описательную. Первая из них еще известна как функция обозначения, идентификации или денотации, а вторая — как функция характеристики или квалификации. В разных случаях употребления этих слов эти две функции либо разобщены, либо соединены в одном слове. Иначе говоря, слово в высказывании либо несет только одну из двух функций, либо выполняет обе функции вместе. Функция репрезентации выполняется словом или словосочетанием тогда, когда оно представляет некую вещь в высказывании, являясь ее знаковым представителем (заместителем, субститутотом), а функция описания — тогда, когда слово описывает (характеризует, квалифицирует) вещь, указывая в ней те или иные признаки.

Имена собственные — категория слов, специализированных в функции репрезентации. Идеальное имя собственное ничего не сообщает об обозначаемой вещи, а только представляет ее в речи. На практике, однако, существует тенденция закреплять за разными классами вещей различные имена собственные, так что, зная это распределение, можно уже по имени собственному составить определенное представление об обозначенной вещи, о ее классе и признаках. К примеру, различаются мужские и женские имена, имена людей и клички животных, в определенной мере различны наборы кличек собак и кошек и т. д. Тем самым собственные имена получают способность не только репрезентировать обозначаемую вещь, но косвенно, через указанное распределение описывать ее. Это описание тем определеннее, чем жестче закрепление определенных собственных имен за определенными классами вещей. Напротив, если какие-то собственные имена не обнаруживают четкой привязки к определенным классам, то как словарные единицы они оказываются не информативными.

Нарицательные существительные тем принципиально отличны от имен собственных, что, употребляясь, всегда описывают обозначаемую

ими вещь. Для того чтобы быть поименованной данным нарицательным существительным, вещь должна обнаруживать те признаки, которые составляют значение этого существительного. При этом нарицательное существительное может совмещать функцию описания вещи с ее репрезентацией в высказывании, но может и только описывать, ничего не репрезентируя в речи. В последнем случае описываемая вещь уже должна быть репрезентирована в высказывании другим словом. Например, «Сосед наш неуч» (А. С. Пушкин) существительное «сосед» и репрезентирует некое лицо, и описывает его как соседа, и другое существительное «неуч» только описывает это лицо, уже репрезентированное в предложении именем «сосед», относя его еще к классу «неучей» и тем самым приписывая ему также признаки этого класса. *Еще*

Употребля~~ются~~ вне репрезентации нарицательные существительные чаще всего выступают в качестве именной части сказуемого или в качестве приложения, хотя между этими синтаксическими функциями существительного и семиотической функцией описания нет обязательной зависимости.

Что касается признаков слов, то очевидно, что они не способны к репрезентации, а употребляются исключительно для целей описания. Использование нарицательных существительных вне репрезентации сближает их функционально с признаковыми словами — прилагательными и глаголами, ср.: «сосед наш неуч» и «сосед наш неучен», «он трус» и «он труслив», «он (всегда) трусит».

Двусловный термин «полнозначное (знаменательное, полное) слово» не вполне удобен, поэтому в последующем изложении в том же смысле будет употребляться термин «имя». Имена, таким образом, — все полнозначные слова, включая, наряду с существительными, прилагательными, местоимениями и числительными, также глаголы и наречия. Такое употребление несколько расширяет традицию, исключавшую глаголы и наречия из числа имен, но оно удобно и достаточно мотивировано. Наряду с отдельными полнозначными словами именами будем называть также и словосочетания, имеющие в качестве главного то или иное полнозначное слово. Тем самым «Наполеон, император, известный, он, его, один, первый, победить, давно» — имена, равно как и «первый император Франции, победитель под Аустерлицем, побежденный Кутузовым в России» и т. п.

То, что репрезентируется в высказываниях, будь то именами собственными, нарицательными или иными вещными словами, терминологически именуется как денотат, или референт. Таким образом, денотат, или референт, — это обозначаемая вещь. В несколько более широком смысле денотатом (референтом) считают все то, что может быть обозначено данным именем, именным словосочетанием или даже предложением (высказыванием) и текстом. Мыслительная операция соотнесения обозначаемого слова с тем, что им обозначается, т. е. его денотатом, или референтом, называется референцией (денотацией, предметным соотнесением, или пред-

метной соотносительностью). Если в тексте несколько слов или даже словосочетаний имеют одинаковую предметную соотносительность, о них говорят, что они кореферентны. Например, в рассказе о Наполеоне будут кореферентными обозначения «Наполеон, первый французский император, узник острова Святой Елены» и т. п.

Следует обратить внимание на то, что безденотатными (нереферентными), по определению, являются все признаковые слова, а также вещные слова, употребленные вне репрезентации. Относительно предложений (высказываний) и даже текстов принято считать, что они соотносены со сложными денотатами, и этими денотатами являются описываемые ими ситуации (факты, события, состояния).

Денотаты могут быть как реально существующими, так и мнимыми. Наличие двух слов «денотат» и «референт» иногда используют для того, чтобы фиксировать это различие. При этом «денотат» остается общим термином, употребляемым и для реальных, и для мнимых денотатов, а «референт» используется только для существующих денотатов. Соответственно и термины «денотация» и «референция» различаются: первый — как синоним обозначения речемыслительного действия независимо от реальности или мнимости денотата, а второй — в смысле мыслительно-познавательного действия, соотносящего понятие и имя с вещью и устанавливающего, есть ли у них реальный денотат, и если есть, то каков.

Мнимость тех или иных денотатов может осознаваться людьми, таков характер художественного вымысла, ср. персонажи сказок, басен и многое другое в художественной литературе вообще. Но мнимость может быть и неявной, неосознаваемой, как, например, в суевериях, предрассудках, религиозных и других верованиях. Наконец, реальный или мнимый характер денотата может быть предметом сомнений; исторические романы дают множество примеров, когда реальным денотатам приписываются мнимые признаки (свойства, действия и т. д.), а вместе с тем мнимым денотатам присваиваются единичные признаки, реально имевшие место. В логике об именах с мнимыми денотатами говорят, что им соответствует пустой класс.

Понятно, что разграничение реального и мнимого чрезвычайно существенно для познания. Каждая наука на своем пути преодолевает немало мнимых сущностей и ложных понятий, безосновательно претендующих на реальное существование. Однако в собственно лингвистических целях различение реальных и мнимых денотатов бывает существенным нечасто, лишь в специальных случаях, и тогда это различие необходимо оговаривать. Обычно же бывает достаточно общего понятия денотата.

Теперь, когда введены и пояснены необходимые понятия и термины, вновь обратимся к когнитивному значению и займемся двумя компонентами, из которых оно складывается, — контенциональным и экстенциональным. Значения репрезентирующих слов характеризуются по содержанию и

объему выражаемых ими понятий. Двусловные сочетания «содержание понятия» и «объем понятия» терминологически неудобны и вместо них используются однословные обозначения — контенсионал и экстенсионал. Контенсионал, или содержание понятия, — это совокупность, а точнее структура отраженных в данном понятии (значении, имени) признаков. Экстенсионал, или объем понятия — это множество вещей (денотатов), с которыми соотносится понятие (значение, имя).

Даже если отвлечься от свойственной словам многозначности и взять их в прямом значении, то внимательный анализ, например, конкретных существительных тотчас же обнаружит, что значение каждого из них в различных контекстах не вполне стабильно, а способно варьироваться как по содержанию, так и по объему выражаемого понятия. Оба компонента когнитивного значения — и контенсивный, и экстенсивный — оказываются переменными.

Например, в контексте: «У них давно живет попугай. Этот попугай забавно разговаривает» — имя «попугай» во втором употреблении богаче содержанием, так как включило в свое значение признак «который давно живет у них». В другом контексте: «У них давно живет попугай. А сколько вообще может прожить попугай?» — имя «попугай» имеет каждый раз различный экстенсионал. В первом случае оно соотнесено с неким конкретным попугаем, а во втором — с понятием о классе попугаев, с абстракцией «усредненного попугая».

Вместе с тем очевидно также, что при контекстуальном варьировании прямого значения имени в его контенсионале содержится некое постоянное ядро — устойчивая структура признаков, характерная для данного класса, в наших примерах — те признаки, которые ожидают встретить в любом попугае. Это стабильное ядро, устойчивую часть переменного контенсионала называют интенционалом значения (подробнее об этом интенционале как структурной части виртуального сигнификативного значения слов см. ниже).

Возьмем другой пример. Интенционал понятия «мать» и значение имени «мать» образуется признаками (родитель) и (женский пол), объединенными родо-видовым отношением в структуру (родитель женского пола). Экстенсионал этого понятия и имени, если их взять в их обобщенном смысле, т. е. на уровне класса, включает всех, кто являются матерями.

Нетрудно видеть, что интенционал и экстенсионал находятся в обратной зависимости друг с другом. Чем богаче интенционал понятия (значения, имени), чем больше признаков он содержит, тем беднее экстенсионал этого понятия (значения, имени), тем меньше число вещей (денотатов), к которым приложимо это понятие (имя). Обратное также справедливо. Из двух понятий (родитель) и (мать) у второго более богатый интенционал, но более бедный (узкий) экстенсионал. В самом деле, все матери — родители, но не все родители являются матерями, ими являются также отцы.

Рассмотрим подробнее экстенциональное варьирование значения. Оно обнаруживается у всех конкретных имен, их экстенционал может существенно меняться в различных контекстах. Укажем типичные случаи на примере классообразующих существительных.

Простейший случай: имя репрезентирует (т. е. имеет своим экстенционалом в речи) некоего конкретного представителя того класса, с которым оно вообще соотносится (или группу конкретных представителей этого класса, если имя употреблено во множественном числе). Отнесенность имени к денотату при этом может быть определенной или неопределенной. При определенной отнесенности денотат так или иначе выделяется в своем классе, как, например, в следующем контексте: «Скажите врачу, пусть войдет». При неопределенной отнесенности имени известно, что имеется в виду отдельный представитель класса, но нельзя указать, какой именно. Ср. «Она вышла замуж за (какого-то) врача».

В другом случае, полярном первому, имя репрезентирует в речи класс в отвлечении от его конкретных представителей. При этом содержание высказывания (суждения) может быть справедливо относительно каждого члена данного класса, и тогда имя имеет экстенционалом весь класс. Ср.: «(Всякий, каждый) врач дает клятву Гиппократу»; «Радио — устройство для передачи информации на расстояние посредством радиоволн». Выражения такого рода называют высказываниями (суждениями) общего смысла, а употребление имен в них — родовым.

Но возможно также родовое употребление имен в отвлечении от экстенционала. В таком случае высказывание (суждение) не может быть распространено на весь класс, т. е. оно не может быть справедливым относительно каждого члена класса, но вместе с тем оно не имеет ввиду только некоего конкретного представителя класса. Имя при этом имеет обобщенный (родовой) смысл, выражает общее понятие, но значение его этим и ограничивается, в значении нет экстенционального компонента, имя (точнее сказать, употребление, использование имени) неэкстенционально. Ср.: «Радио изобретено А. С. Поповым в 1895 году» — имеется в виду сам принцип устройств этого рода, его родовая сущность в отвлечении от конкретных реализаций.

Между конкретной и родовой репрезентацией лежат промежуточные случаи. Предложение «Она выйдет замуж за врача» экстенционально неравнозначно и в разных контекстах получает несходные экстенциональные толкования: 1) имеется в виду определенный доктор, известный и говорящему и слушающему, или известный говорящему, но не известный слушающему, или известный слушающему, но не говорящему; 2) существует некий конкретный жених — врач, однако ни говорящему, ни слушающему не известно, который именно; 3) не имеется в виду какое-то конкретное лицо, но жених должен быть из врачей (заметим попутно, что в последнем случае происходит имплицитное сужение объема имени, так что

имеют в виду сказать не просто «любой врач», а «любой врач, который понравится»).

Первый и второй случаи референции не выходят за пределы репрезентации конкретного, но третий, очевидно, промежуточен между репрезентацией единичного и класса. По экстенциональному типу он сходен с референцией в сравнительных конструкциях, когда сравнение производится с любым, безразлично каким, представителем некоего класса (сравнение на уровне общего, а не частного). Ср. «Гарун бежал быстрее лани, / Быстрей, чем заяц от орла» (М. Ю. Лермонтов). Впрочем, последний случай еще более обобщен и еще более приближен к типу родовой репрезентации, так как вообще не предусматривает никакого «поиска единичного в классе».

Отмеченное экстенционально-референционное варьирование значения имен либо вовсе не фиксируется в строе естественных языков, составляя тем самым род имплицитных значений высказываний, либо фиксируется весьма непоследовательно и несистемно посредством артиклей, неопределенных и указательных местоимений и синтаксически — порядком слов. К примеру, предложение «Лошадь спит стоя» может быть понято как высказывание общего смысла и как сообщение о единичном факте.

Обратим внимание на соотношение понятий «репрезентация», «референция» и «экстенционал». Изложение выше обнаруживает, что это близкородственные понятия. Различие между ними состоит в том, что экстенционал — результат соотнесения понятия (значения, имени) с сущностями (денотатами), т. е. с тем, что стоит за понятиями, значениями, именами в отражаемом сознанием мире, с тем, что ими выражается и обозначается (взятым, впрочем, не само по себе, а именно в отношении к понятию или знаку, к выражающей его мысли и обозначающему его имени).

Что же касается референции и репрезентации, это прежде всего операции (действия) соотнесения понятий (значений, имен) с сущностями (денотатами) и лишь метонимически — результат такого соотнесения, т. е. экстенционал. В свою очередь, различие между референцией и репрезентацией сводится к тому, что репрезентация не просто мыслительное действие, а именно речемыслительное (языковое) действие соотнесения имени и денотата в высказываниях, в то время как референция — более общий термин из гносеологии (теории познания), логики, семиотики и лингвистики, описывающий, с чем и как соотносятся понятия, имена и значения виртуально и актуально, в потенции и конкретном акте мысли и речи.

Обратимся теперь к контенсиональному варьированию значения. Если экстенциональное варьирование значения касается денотатов, с которыми соотнесено имя, то контенсиональное варьирование касается состава и структуры, заключенных в значении признаков. Принципиально возможны два случая. Первый затрагивает стабильное ядро значения, его интенционал. При этом варьирование носит характер качественного семантического преобразования имени. Всякое изменение в интенционале создает новое

значение. Эти явления известны как семантический сдвиг (переосмысление, семантическое преобразование имени, перенос значения, семантическое словообразование). Ср. *вечер* — 1) часть суток между светлым временем дня и ночью; 2) вечернее увеселительное мероприятие, «вечер балета»; 3) вечернее времяпрепровождение, «подари мне этот вечер»; 4) время, фаза угасания, старения, «еще не вечер» (в переносном смысле). Явления этого рода будут рассмотрены особо.

В другом случае контенциональное варьирование семантики имен не затрагивает интенционала, он остается неизменным, но значение имени в тексте обогащается сверх интенциональных еще разнообразными дополнительными признаками. Такое возможно лишь тогда, когда имя обозначает некий единичный денотат или — во множественном числе — группу единичных денотатов. Известно, что единичная вещь в отличие от класса обладает бесконечным множеством признаков сверх тех, которые ей присущи как вещи данного класса. Понятие о единичной вещи в связном тексте неизбежно обростает, как снежный ком, новыми признаками. По мере развития текста кореферентные имена единичного денотата вбирают в себя информацию, содержащуюся в предтексте. Ср., например, постепенное приращение содержания имени «дева» в известном четверостишии А. С. Пушкина:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева над вечной струей вечно печальна сидит.

Царскосельская статуя.

Констенциональное варьирование этого рода не затрагивает интенционала и не создает новых значений имени. Оно проявляет две разновидности контенционального значения — сигнификативное и денотативное значения.

Сигнификативные и денотативные значения — две разновидности контенционального значения, в которых оно конкретно себя проявляет. Они связаны с определенными различиями в референции имен. Имя имеет денотативное значение, если оно репрезентирует единичный денотат или группу единичных денотатов, во всех остальных случаях оно несет сигнификативное значение.

Все признаковые слова в силу их нереферентности не имеют денотативного значения, а только значение сигнификативное. Все нарицательные имена в нереферентном употреблении, когда они лишь описывают денотат, репрезентируемый в высказывании другим именем, несут сигнификативное значение. Все нарицательные имена в референтном употреблении также имеют сигнификативное значение, но при том условии, что они репрезентируют не единичное, а класс. Если же они представляют в речи нечто единичное в своем классе, они имеют денотативное значение.

Способностью репрезентировать единичное обладают также имена собственные.

Более того, они специализированы в этой функции и не способны, не переходя в разряд нарицательных имен, репрезентировать класс или описать нечто, репрезентированное в высказывании другим именем. Поэтому именам собственным свойственно нести единственно денотативное значение.

Заметим, что имя несет в речи либо сигнификативное, либо денотативное значение, но и не может совмещать в себе и то, и другое в одном акте употребления. Сами термины нельзя признать вполне удачными, но они распространены и привычны.

Что объединяет все случаи с наличием у имени сигнификативного значения, с одной стороны, и денотативного — с другой? Что общего есть у тех и других в содержательном плане? Для сигнификативного значения это общее состоит в том, что конвенциональное содержание имени исчерпывается совокупностью (точнее, структурой) признаков, характерных для данного класса вещей. При всех референционно-экстенциональных различиях сигнификативное значение имени исчерпывается классообразующими признаками. Здесь проходит граница между сигнификативным и денотативным значением. Денотативное значение имени не замыкается общими для класса признаками, но открывает место и вмещает сверх признаков класса разнообразные другие признаки единичного.

Хотя различие между сигнификативным и денотативным значениями и связано с определенными референционными характеристиками употребления имен, оно коренится прежде всего в признаковом содержании имени. Поэтому сигнификативное и денотативное значения — категории конвенционального, а не экстенционального значения.

Поясним сказанное. Для этого вернемся к примерам на различия в референции имен, но рассмотрим их в конвенциональном плане, т. е. относительно заключенных в значениях признаков. Имя репрезентирует класс в полном объеме: «(Каждый) врач даст клятву Гиппократу», или в отвлечении от объема: «Радио изобретено А. С. Поповым в 1895 году», «Она выйдет замуж только за (любого) врача, (который ей понравится)», «Гарун бежал быстрее лани, / Быстрее, чем заяц от орла». Очевидно, что конвенциональное значение имен «врач, радио, врач, лань, заяц, орел» исчерпывается признаками соответствующего класса.

То же надо сказать о нерепрезентативном употреблении имен для описания денотатов, представленных в высказывании другими именами: «Сосед наш неуч», «Онегин, добрый мой приятель, / Родился на берегах Невы...» (А. С. Пушкин), «Его выбрали председателем собрания», «Шинель служила ему и подушкой, и одеялом» (имена «неуч, добрый мой приятель, председатель собрания, подушка, одеяло»).

Иное дело — репрезентация единичного: понятие о единичном может обраться множеством разнообразных признаков. Даже если о единичном ничего не известно кроме того, что это единичное такого-то класса, репрезентируя его в речи, имя открывает в своем значении место для признаков сверх класса. В этом — принципиальное отличие денотативного значения от сигнификативного. Употребляясь в сигнификативном значении, имя ориентируется на класс и замыкает свое контенсиональное значение признаками класса. Употребляясь в денотативном значении, имя ориентируется на вещь, открывает место признакам единичного и может обраться ими в меру вместиимости памяти.

Минимальное денотативное значение нарицательного имени равно сигнификативному значению того же имени плюс мысль о единичности, т. е. мысль о максимальном конкретном (реальном или мнимом) существовании денотата. Оно отмечается у нарицательных имен, впервые вводящих единичный денотат в текст и знакомящих с ним посредством указания его класса (интродуктивное употребление имен). Рассмотрим следующее сообщение: «В комнату вошел старик. Вошедший был явно взволнован. Он тяжело дышал, и прошло несколько минут, прежде чем незнакомец заговорил. Слова давались старику с трудом». Имена «старик, вошедший, он, незнакомец, старик» кореферентны, они репрезентируют одно и то же лицо. Относительно сообщающего они несут приблизительно одно и то же денотативное значение, так как и персонаж, и сообщение относятся к прошлому опыту рассказчика. Относительно слушающего первое имя «старик» несет минимальное денотативное значение, равное содержанию понятия о таком классе плюс мысль о единичности лица. С разворачиванием сообщения слушающий конституирует образ лица, и повторные номинации этого лица — имена «вошедший, он, незнакомец, старик-2» несут слушающему все более богатое содержание: значение каждого последующего именования лица богаче предшествующего на усвоенную из предшествующих высказываний (из предтекста) информацию об этом лице. В частности, «старик-2» имеет в тексте гораздо более содержательное денотативное значение, чем «старик-1».

Денотативное значение одного и того же имени переменено, неодинаково у говорящего и слушающего, в разных текстах, в разных местах текста. Оно нестабильно по природе и относится к категориям речи. Напротив, сигнификативное значение имени является категорией и языка, и речи. Оно стремится, хотя бы в тенденции, к постоянству, стабильности, содержательному выравниванию у говорящего и слушающего, в разных текстах и разных местах одного текста. Это — императивное требование вербальной коммуникации, одно из непрелюнных условий взаимопонимания.

С учетом сказанного рассмотрим еще один пример. Высказывание «дойдем до деревни и заночуем» может иметь не менее четырех интерпре-

таций в зависимости от того, какое контенционально-экстенциональное содержание вкладывают говорящий и слушающий в имя «деревня»:

1. Ни тот, ни другой не знают данной деревни.
2. И тот, и другой знают эту деревню.
3. Говорящий ее знает, слушающий нет.
4. Слушающий знает, говорящий нет.

«Знать» в этом контексте означает способность отличить, выделить в своем классе. В первом случае имя «деревня» имеет у того и другого денотативное значение минимального содержания. Вместе с тем содержание имени у обоих говорящих максимально сходно и исчерпывается признаками класса плюс мысль о единичности денотата.

Во втором случае это имя имеет у них развернутое денотативное значение, однако образ известной им деревни может быть у них более или менее различным.

Важно заметить, что денотативные значения нарицательного имени имеют постоянную компоненту — минимальную общую часть денотативных значений нарицательного имени, содержательно равную понятию о данном классе, и переменную компоненту, включающую разнообразные частные признаки денотата и варьирующуюся по объему от нуля признаков до — теоретически — бесконечности (предел задается опытом, в каком вещь дана человеку, и возможностями его памяти). Различия в содержании денотативных значений имени относятся прежде всего на счет этой переменной компоненты.

В третьем случае то же имя имеет у говорящего развернутое денотативное значение и минимальное — у слушающего. Четвертый случай подобен третьему с той разницей, что говорящий и слушающий меняются местами.

Наконец, в высказывании, вроде «Ему нравится деревня», помимо четырех указанных случаев, возможен еще пятый: речь может идти о деревне вообще, т. е. не на уровне единичного, а класса, и в этом случае имя несет сигнификативное значение одинаково у говорящего и слушающего.

Лингвистические словари, естественно, не дают денотативных значений слов, они фиксируют их сигнификативное значение. Поскольку именам собственным сигнификативное значение не свойственно, толковые словари могут лишь указать их прагматическое значение и распределение по классам денотатов. Указание денотативных значений имени собственного превращает словарь из толкового в энциклопедический, и делается это тогда, когда среди носителей данного имени есть особо выделяемые. Ср. *Михаил — первый русский царь из династии Романовых, Наполеон — первый император Франции, Гагарин — первый в мире советский космонавт*. Нетрудно видеть, что дается информация не об именах собственных как таковых, а о примечательных носителях этих имен.

Подведем итог рассмотрению контенционального и экстенционального компонентов когнитивного значения. Признаковые слова наряду с неспособностью к репрезентации не обнаруживают и экстенционального значения. Им свойственно лишь констенциональное сигнификативное значение, и они специализированы в семиотической функции описания того, что в высказывании репрезентировано другим именем. Сами по себе они нереперентны.

Все вещные слова способны к репрезентации денотата, т. е. референционному употреблению. Из них имена собственные специализированы в этой функции, но репрезентируют только единичное, а не класс. Не имея собственного интенционала, они не в состоянии описать денотат, а предназначены для того, чтобы выделить его по принятому соглашению как единичное в некоем классе. Тем самым им свойственно только денотативное значение. Возможность описания денотата у имен собственных вторична и появляется как побочное следствие закрепления определенных имен собственных за определенными классами денотатов.

Напротив, имена нарицательные способны репрезентировать как класс, так и единичное в рамках класса, а, кроме того, еще — различные промежуточные экстенционально-референционные разряды между классом и единичным. Имея свой интенционал, они всегда описывают денотат, даже когда совмещают описание денотата с его репрезентацией в речи. Денотат обозначается именем собственным по соглашению, а именем нарицательным — по его (денотата) признакам. Тем самым нарицательные существительные в репрезентирующем употреблении имеют и экстенциональный, и констенциональный компоненты значения. При этом, репрезентируя единичное, они несут денотативное значение, в котором общие для класса признаки растворяются в образе единичного денотата и могут обрастать множеством разнообразных других признаков. Напротив, вне репрезентации единичного нарицательное существительное замыкает свое констенциональное значение структурой общих для вещей данного класса признаков — сигнификативным значением.

В целом типология когнитивного значения имеет следующую структуру:



Следует иметь в виду, что прагматическое и когнитивное значения суть части (компоненты, стороны) значения, равно как экстенциональное и контенсивное значения суть части когнитивного значения, в то время как сигнификативное и денотативное значения являются не частями контенсивного значения, а его разновидностями. Иначе говоря, на первых двух ярусах структуры имеется отношение целого и частей, а на последнем — родо-видовое отношение. Имя может одновременно нести значения когнитивное и прагматическое, контенциональное и экстенциональное, но не может сочетать в одном акте употребления сигнификативное и денотативное значения.

4. Типология значения в семиотике и структурной лингвистике. Предмет и предел семиотики

Имеется другая типология значения, возникшая из идей американского логика и философа Ч. Пирса (1839–1914). Она принята в семиотике и структурной лингвистике и получила широкое обращение, так как была первым серьезным опытом построения теории и типологии значения. Кроме того, она подкупала тем, что предлагала как будто стройную классификацию типов значений на едином основании. Однако тщательный анализ этого основания, а также трудности, на которые наталкиваются попытки развить исходные идеи этой типологии и последовательно осуществить их в исследовательской практике, заставляет серьезно усомниться в адекватности этих представлений о природе и типологии значений.

Значение в этой концепции понимается как отношение знака. Задача тем самым состоит в том, чтобы учесть все возможные отношения знака. В результате будет выявлена типология значений: сколько типов отношений обнаруживается у знаков, столько и существует типов значений. Представляется, что знак вступает в отношение с обозначаемой им сущностью (денотатом), с выражаемым им понятием или представлением (сигнификатом), с теми, кто пользуется знаками, а также с другими знаками. Отношения знака к другим знакам могут быть двоякого рода: 1) на парадигматической оси — отношения выбора или построения из множества знаков того, который удовлетворяет речевой задаче при заполнении определенной позиции в речевой цепи; и 2) на синтагматической оси — отношения совместимости, позволяющие сочетать знаки один с другим в речевых цепочках.

Отношение знака к обозначаемой вещи (денотату) образует его денотативное значение, отношение знака к выражаемому понятию — его сигнификативное значение, отношение между знаком и говорящим —

прагматическое значение, отношение знака к другим знакам на парадигматической оси — его дифференциальное значение, или значимость, а его отношение к другим знакам на синтагматической оси — синтагматическое значение, или валентность.

Типология значения соотносится с тремя разделами семиотики — семантикой, прагматикой и синтактикой. Семантика как раздел семиотики имеет предметом знак в его отношениях к вещам и понятиям, прагматика занимается знаками в аспектах отношения к ним говорящих, наконец, синтактика исследует отношения между знаками на парадигматической и синтагматической осях.

Все типы значений понимаются как дополнительные друг к другу, т. е. как части (стороны, аспекты) целого. Это распространяется и на соотношение денотативного и сигнификативного значений. Считается, что знак совмещает и то, и другое, т. е. что в нем присутствует и денотативный, и сигнификативный компоненты. Отмечают, впрочем, что в одних словах, как, например, абстрактных существительных, сильнее представлено или даже полностью доминирует сигнификативное значение с ориентацией на понятие. В других словах, как, например, конкретных существительных, напротив, усматривается преобладание денотативного компонента значения с ориентацией имени на денотат. Однако и тут считается, что в референционном употреблении, например, предикативном, у существительных представлен единственно сигнификативный компонент.

Остается неясным, как соотносятся оба компонента в значении существительного, репрезентирующего класс, а не единичное.

Вообще не предложено никаких критериев для разграничения денотативного и сигнификативного компонентов значения, и в исследовательской практике их почти или никак не разграничивают, а при компонентном анализе значения выражают в одинаковых терминах (впрочем, как увидим, их и невозможно различить на этих основаниях, кроме как чисто умозрительно). В практическом анализе значений оба компонента объединяют воедино общим термином «денотативное значение» (в расширительном смысле), а также пользуются обозначениями «референционное (референциальное) значение», «семантическое значение» (семантика в узком смысле). За пределами семиотической и структуралистской традиции в том же совокупном смысле говорят о «предметно-логическом, вещественном, когнитивном, интеллектуальном (интеллективном) значении (содержании)».

Что следует сказать о сложившихся в семиотике представлениях о денотативном и сигнификативном значениях? Их анализ обнаруживает, что они образовались в результате смешения, непоследовательного различения нескольких пар понятий: денотативного значения и репрезентативной функции имен, сигнификативного значения и описывающей (характеризующей, квалификативной) функции имен; денотативного значения и экс-

тензионального значения имен, сигнификативного значения и контензионального значения имен; денотативного значения и конкретного значения имен, сигнификативного значения и отвлеченного значения имен. В каждой паре понятий есть значительные области наложения и взаимозависимости, но, даже пересекаясь, они не тождественны.

Сама исходная посылка — денотативное значение возникает в отношении знака к предмету (денотату), а сигнификативное — к понятию (сигнификату) — нуждается в существенном уточнении. Строго говоря, знак не относится прямо к вещи, это отношение всегда, даже в случае единичной вещи, опосредовано понятием (представлением) о вещи: прежде чем узнать и понять вещь, т. е. идентифицировать и обозначить ее, мы должны прежде ее концептуализировать в сознании, т. е. отнести ее к некоему классу, составить понятие о ней, пусть даже весьма общее и неопределенное. Поэтому отношения знака к обозначаемой вещи и выражаемому понятию не вполне равноправны. Знак не обращен одинаково и к вещи, и к понятию. Несокращенная схема их связей имеет вид: вещь — понятие — знак (относительно говорящего) или знак — понятие — вещь (относительно слушающего). Поскольку отношение знака и вещи опосредовано понятием, это разрушает антитезу — значение по отношению знака к вещи и значение по отношению знака к понятию. Содержательно (точнее, контензионально — по составу и структуре признаков) своеобразным оказывается, как мы могли видеть, случай, когда имя обозначает единичное. Если во всех прочих случаях контензиональное содержание имени исчерпывается признаками класса, то здесь открывается место для признаков сверхклассных. Это различие заслуживает обозначения и было отмечено нами терминологически как различие денотативного и сигнификативного значений.

Обратимся ко второму разделу семиотики — прагматике и соответствующему типу значения — прагматическому. По определению, эта область образуется отношениями знаков и тех, кто использует знаки. Здесь снова понятие отношения, будучи само по себе чрезвычайно высоким и вместительным обобщением и в силу этого малосодержательным, — контензионально! — «тощей абстракцией», требует уточнения. Непосредственное отношение, существующее между знаками и теми, кто их использует, — это отношение производства, порождения знаков (говорящий) и осмысления, понимания знаков (слушающий). Эти отношения, являющиеся зеркальным отображением одного другим, относятся к области психологии и физиологии знаковой деятельности, и не их имеют в виду, когда говорят о прагматике.

Прагматика имеет в виду нечто иное. Ее реальный предмет, как он сложился практически в семиотике и лингвистике, не соответствует определению и не может быть очерчен с необходимой определенностью и внутренним единством. Занимаясь важными аспектами знаковой деятель-

ности, существенно расширяя фронт лингвистической и семиотической проблематики, прагматика в ее нынешнем виде объединяет достаточно разнородные исследовательские предметы и задачи. Основанием для их объединения под общим названием служит не столько общность природы и зыбкий признак — отношение «говорящий — знак», сколько противопоставление через отрицание: к прагматике относят то из содержательной стороны знаковой деятельности, что не вмещала прежде лингвистика, разрабатывающая в содержании словесных знаков преимущественно референциальный аспект. Можно с достаточной уверенностью полагать, что в последующем эти предметы вычленились из прагматики в самостоятельные разделы лингвистики и семиотики. Об этом свидетельствует появление таких новых направлений и обозначений в науке, как «коммуникативная лингвистика», «теория речевых актов», «теория речевой деятельности», «теория речевого общения» и т. д.

Уже сейчас очевидно, что лингвистическая прагматика включает по меньшей мере два достаточно независимых предмета: 1) исследование языковых средств и речи относительно выражения прагматических значений (субъективно-оценочных, эмотивных, эстетических, модальных); 2) исследование языковых средств и речи относительно целей и результатов языковой коммуникации. Из них первый входит составной частью в предмет семасиологии языка, а второй относится к семасиологии речи. При этом следует заметить, что прагматическое значение языковых единиц там, где они дополнительно к их когнитивному значению, например, противоположные оценочные значения слов «старец» и «старикашка», возникают не прямо из отношения «говорящий — знак», а из отношения «говорящий — денотат», спроецированного затем на обозначающий этот денотат знак. Иначе говоря, прагматическое значение знака опосредовано отношением говорящего к денотату, оно представляет собой рефлекс, отражение в знаке субъективной оценки и эмоционального переживания денотата. Наконец, о третьей части семиотики — синтактике. Как было сказано, ее предмет образуется отношением знаков между собой, причем отношения знаков на парадигматической оси выбора образуют так называемое дифференциальное значение знака, или значимость (ценность), а отношения знаков на синтагматической оси — их синтаксические значения, или валентность. Здесь обнаруживается ошибочность одного из отправных положений пирсовской семиотики — усматривать значение в любом отношении знака. Справедливо, что значение предполагает отношение и о нем всегда уместно спросить: значение чего? значение для кого? Справедливо и то, что семиотическое значение предполагает отношение знака. Однако не всякие отношения знака порождают семиотическое значение, а лишь те, которые соотносят знаки с чем-либо, лежащим вне их. Поэтому синтактика относится к устройству знаковых систем и знаковых выражений, но не к их содержанию, не к передаваемой ими информации.

В основании пирсовской семиотики заложено и другое неверное положение — включение в число знаков естественных зависимостей вещей (так называемые знаки-индексы, или симптомы). В совокупности эти два ошибочных постулата делают пирсовскую семиотику малоприспособленной основой общей теории знаков. Необоснованное расширение области знаков имеет то отрицательное следствие, что размывает границы семиотики, порождает обманчивую иллюзию универсальности семиотики как науки и глобальности ее предмета, побуждает к необоснованной подмене ею других наук и ведет к спекулятивному вырождению семиотики.

Между тем в этом нет необходимости. Предмет семиотики достаточно широк сам по себе без вовлечения в него незнакового. Подлинные знаки и знаковые системы столь разнообразны, столь широко представлены в человеческой деятельности, столь существенны и специфичны для нее, столь сложны по материальной, духовной и социальной природе и совокупному взаимодействию, объединяющему их в панзнаковую основу человеческого абстрагирующего сознания, что у теории знака нет нужды отодвигать предмет своих занятий на сторону.

Важно заметить, что свой объект — знаки и знаковые системы — семиотика должна исследовать не только в собственно знаковом отношении, но и совокупно во множестве других неспецифических отношений — как физические, психические, социальные и иные объекты, как явления материального, духовного, социального и иных миров. В первом случае семиотика разрабатывает собственные понятия и методы, во втором — она применяет к своему объекту понятия и методы других наук с учетом знаковой специфики объекта. Пример такой двойственности уже указан: семиология включает в поле своего зрения не только семиотические (знаковые, кодифицированные) значения, но и семиоимпликационные значения знаков, хотя последние не специфичны, а имеют ту же природу, что информативность любых событий для человека.

Таковы принципиальные возражения. Однако эта тема требует более основательного, развернутого изложения. Дело в том, что в современной семиотике широко распространилось, вслед за Ч. С. Пирсом, необоснованно широкое представление о ее предмете и научном потенциале. Об этом и пойдет речь в заключительной части этого раздела.

Современная семиотика (семиология) в значительной своей части оставляет странное впечатление. Если оценивать нынешнее ее наиболее влиятельное направление объективно, освободившись от давления сложившихся в нем и гипнотически внушаемых стереотипов, то обнаруживаешь направление без предмета, науку, живущую с чужих капиталов. В нынешнем своем виде семиотика этого рода выглядит необязательной и избыточной. Без нее вполне можно обойтись, так как она заимствует свой предмет у других наук и ничего не добавляет к их усилиям, кроме того, что без необходимости навязывает свою фразеологию. Она пытается свести

под шапкой знаковости психологию и психоанализ, психопатологию и теорию сексуальности, теорию восприятия, внушения, удовольствия; феминизм и маскулинизм; теорию личности, общения и личностных интеракций; теорию коммуникации и теорию значения; оккультизм и ясновидение; идеологию, мифологию и религию; лингвистику, литературоведение, теорию искусств (кино, театр, живопись, музыку и пр.) и поэтику; структурализм, релятивизм, формализм, символизм и многое другое на разных уровнях общего и частного.

При этом диапазон сближаемого оказывается настолько широк, а различия внутри него настолько велики, что семиотические обобщения сводятся к бессодержательной категоризации в терминах означаемого/означающего. Участие семиотики этим и ограничивается, а весь содержательный позитивный анализ осуществляется, помимо семиотики, в рамках концептуально-методологических аппаратов соответствующих наук и дисциплин. Стремясь встать над другими науками, семиотика лишь путается у них под ногами, не добавляя ни новых знаний, ни общей перспективы. Идя этим путем, она вырождается в род квазинаучных занятий, красиво декорированных спекулятивных игр, совершаемых по правилам, но, увы, научно-бессодержательных. История науки полна таких псевдонаучных игр. Они всегда сопровождают ее движение к новым границам и новым обобщениям.

За характерными примерами можно обратиться к «Мифологиям» — сборникам очерков Р. Барта (Barthes R. 1957; Барт Р. 1989). Барт подвергает беспощадному (и справедливому!) анализу социально-политические мифы, создаваемые средствами массовой информации, но их семиотическая интерпретация ничего не добавляет к анализу: она сомнительна и бессодержательна. Барт анализирует картинку на обложке журнала «Пари-Матч»: негр во французской военной форме, подняв глаза, отдает честь французскому национальному флагу. Идея монтажа понятна: создать представление о Франции как державе, которая одинаково дорога всем ее сынам независимо от цвета кожи. Здесь с Бартом можно только согласиться, но сомнительна его семиотическая квалификация средств, создающих это представление. Саму картину он рассматривает как знак первого порядка, в котором означающее — субстанциальная основа изображения (рисунок, цвет, форма как цельная структура), а означаемое (значение) — концепт: негр-военный преданно смотрит на флаг своей страны — Франции. Но этот знак, говорит Барт служит, в свою очередь, означающим структурно более сложного знака второго порядка, значением которого как раз и является представление о Франции как о державе, которую одинаково любят и готовы защищать все ее сыны любого цвета кожи. Внушить такое представление и является коммуникативной целью монтажа.

Все так и есть, но возникают вопросы. Можно ли считать знаками изображения разного рода (с натуры, из головы, монтажи)? А вместе с тем

знакова ли природа всяких отображений (умственных и вещественных), схем, моделей, копий, дубликатов, воспроизведений, подделок и т. п.? Не соотносятся ли субстанция изображения и образ как форма и содержание? И не следует ли тогда связь означаемого и означающего тоже толковать как связь формы и содержания? Однако форма и содержание, как известно, не вполне автономны друг от друга, и как тогда быть с принципом произвольности знака?

Но самым существенным в этом контексте является вопрос: каков механизм осмысления (сигнификации, а шире — семантизации) картинки на уровне «знака второго порядка»? Есть ли в этом механизме что-либо знаковое, т. е. семиотичен ли он по существу, чтобы его можно было исследовать и описывать собственно семиотическими средствами, или же механизм осмысления не содержит ничего специфически знакового, и значение тут сообщается отправителем и извлекается получателем на основе знания связей и зависимостей мира? Если справедливо последнее, то для семиотики тут мало места и в дело должны вступать всякий раз те области знания, к компетенции которых относятся эти связи и зависимости.

Выводы о значении картинки с негром делаются, очевидно, из знания общественно-политической жизни Франции, из знания прессы, ее средств и целей. Картинка как образ вторична по отношению к изображаемому предмету. Сходное значение наблюдатель мог бы извлечь, увидев ту же сцену «в натуре», «живьем». И разница между натурой и картинкой состояла бы в том, что в первом случае ситуация была бы ненамеренной и потому незнаковой, хотя и значимой, а в случае журнальной картинки — намеренной, — значимой, хотя и не знаковой.

У семиотики, безусловно, есть свой собственный предмет, и этот предмет огромен, многопланов, и чрезвычайно важен — знаки и знаковая деятельность разных видов, — но она сбивается, во-первых, в понимании знака и, во-вторых, в исследовании собственно знаков сбивается на то, что в них незнаково. Для определения знака существенно, помимо прочего, то, что он интенционален и у него есть отправитель. Нет коммуникативной интенции, нет и знака, нет отправителя — тоже нет знака. Знак предполагает отправителя с коммуникативной интенцией, которую знак реализует. Однако одного получателя-интерпретатора недостаточно.

В понимании знака семиотика последовала за Ч. Пирсом. Ей следовало бы держаться пути, намеченного Ф. де Соссюром. Пирс обошелся без отправителя знаков, ему достаточно было получателя. Результатом было необоснованное расширение понятия знак, куда попали, помимо подлинных интенциональных знаков, также неинтенциональные псевдознаки без отправителя — индексальные и иконические. Между тем всякий, кто считает красный закат знаком ветреной погоды, а отражение неба в воде — его знаковым субститутотом, должен спросить себя, кто и с какой целью посылает ему эти знаки.

Итак, знак интенционален и предполагает отправителя еще в большей мере, чем получателя. В его определение непременно должно входить то, что это конвенциональный транслятор значений от отправителя к получателю. Он — результат специальной конвенции, в том числе спонтанно (как в случае естественных языков первичной знаковой системы, обеспечившей обобщающе-абстрагирующий понятийный уровень человеческого сознания) возникшей. Эта конвенция связывает условной, в принципе произвольной связью означающее (десигнатор) и означаемое (значение, десигнат) с тем, чтобы посредством означающего отправитель знака мог по своей воле и желанию актуализировать значения в сознании получателя. Связь двух сторон знака произвольна в принципе, но ничего не мешает ей там, где это возможно и желательно, быть так или иначе мотивированной, например, для удобства запоминания и понимания знака.

Такое понимание знака включает в их число естественные языки и вторичные знаковые системы, но исключает все ситуации, в том числе значимые, где нет отправителя с коммуникативным намерением, актуализирующего в получателе определенное, по его замыслу информационное состояние посредством специально согласованных между ними средств — знаков. Тем самым знаковая деятельность выводится из цепей, зависимостей, связей отражаемого сознанием мира (из «фреймов» этого мира) и противопоставляется в параллель ему как его знаковое отражение. Иначе говоря, из знаков исключаются пирсовские индексальные и иконические знаки в той мере, в какой под ними имеются в виду пропущенные через сознание наблюдателя собственные связи и изобразительные подобию вещей и событий.

Корень проблемы и источник заблуждений того направления семиотики, о котором идет речь, и в том, что понимается под знаком, и в том, как понимается соотношение знака и значения. Ошибочно считать, что значение обязательно предполагает знак, его выражающий, что всякая значимая ситуация знакова. Нет знака без значения, но обратное неверно: вполне возможны незнаковые значимые ситуации, т. е. ситуации, где есть значение, но нет выражающего его знака. Общность корня в этих словах в русском не должно вводить в заблуждение. В других языках дело может обстоять иначе. У значения гораздо более широкий объем, чем у знака.

Само значение — явление духовного плана, это информационная зависимость концептов двух вещей в сознании. Значение возникает всякий раз, когда одно информирует о другом и настраивает сознание на это второе как информационно важное. Значение существует в концептуальных связях определенного вида. Концепты как дискретные содержательные сущности сознания объединены концептуальными связями.

Эти связи тройкого рода: импликационные, сравнительно-классификационные и семиотические (знаковые). Первые являются мыслительным аналогом реальных связей сущностей объективного мира. В конечном сче-

те это отражение связей между вещами, событиями, между частью и целым, между вещью и признаками. Один концепт предполагает, вызывает мысль о другом, одно понятие имплицитно другое в силу зависимости, взаимодействия, связи отражаемых ими сущностей. Наиболее явным примером импликационных связей является отражение в сознании причинно-следственных связей, но сюда же относятся связи пространственные, временные, холо-партитивные и иные, т. е. всякого рода линейные связки, соположенности, совместности, сопряженности.

Импликация может быть отражением самых разнообразных случаев совместной встречаемости сущностей: одновременных и разновременных, статических и динамических, взаимонаправленных и однонаправленных и т. д. Здесь надо отметить важный момент: связи отражаемых сущностей могут быть однонаправленными и взаимными, но концептуальные связи всегда взаимны, обратимы. К примеру, не только мысль о причине предполагает мысль о следствии, но и наоборот.

Понятию импликации здесь придается смысл более широкий, чем в логике. Импликация — один из двух, наряду с сравнением-классификацией, способов организации сознания, формирования концептуальных структур. Это один из двух типов мыслительных операций реального мышления, ментальный аналог линейных связей в структуре мира. Логическая импликация — конструкт реальных мыслительных операций импликационного типа с тем ограничением, что учитывает вектор онтологических зависимостей.

Достаточно включить информационную настройку сознания, и импликационные связи порождают феномен значения. Один концепт актуализирует другой, информационно важный, и этот второй оказывается значением первого. В языке это сигнализируется специальной связкой значения *значить*: он устал, значит, быстро уснул; он быстро уснул, значит, устал; следы шин значат (означают), что прошла машина; красный закат означает ветреную погоду, и т. д. Во всех подобных случаях ситуация значима, но не знакова: ни усталость, ни сон, ни следы шин, ни красный закат не интенциональны в функции оповещения. За ними нет ни коммуникативного намерения, ни отправителя. Наблюдатель не принимает их за знаки, не следует этого делать и семиотику.

Другой важный тип концептуальных связей, структурирующих сознание — связи сравнительно-классификационные. Они являются мыслительным аналогом распределения признаков в сущностях мира. Иначе говоря, объективной основой сравнения и классификации являются общности различия сущностей отражаемого сознанием мира по обнаруживаемым ими признакам. Общие признаки могут лежать в области интенционалов сравниваемых понятий, т. е. относятся к числу классообразующих, тогда концепты выстраиваются по родо-видовой вертикали (классификационная или гипер-гипонимическая иерархия понятий) или же выстраиваются на одном

уровне обобщения как виды одного рода (эквонимическая связь понятий). Но сравнение может пойти по линии побочных признаков, по крайней мере для одного из сравниваемых по содержанию понятий, и тогда мы имеем дело со сравнением в узком смысле слова (сравнением-симиляцией, уподоблением), которое служит основой метафор.

Для нас, однако, существенно то, что концептуальные связи сравнительно-классификационного типа, основанные на общности признаков, не порождают значения. И это понятно, так как в этом случае связь между двумя сущностями устанавливается в сознании и отражает не какую-то реальную связь сущностей, не их зависимости и взаимодействия, а только общность присущих им признаков или уровни обобщения признаков. Красный закат похож, но не означает пожар, в то время как красное зарево не столько похоже на пожар, сколько означает его в силу того, что второму свойственно первое. И если вид красного заката наведет на мысль о пожаре или зарево напомнит закат, а закат — зарево, то ни в одном из этих случаев первое не может быть названо значением второго, и соответственно нельзя соединить их связкой значения «значит».

Что же касается семиотических (знаковых) концептуальных связей, связей между двумя сторонами знака — означающим и означаемым, то они для того и устанавливаются, чтобы нести значения, и в этом их отличие от импликационных концептуальных связей. Означающее и означаемое не связаны отношением импликации. Если оно где-то и отмечается, то лишь подсобно. При знаковой связи, как и при импликационной, концепты объединены значимым отношением и той же связкой значения «значит». Первый из них актуализирует второй и настраивает сознание на этот второй как информационно важный: второй является значением первого. Отличие же состоит в том, что для знака значить есть его функция, назначение, чего не скажешь об импликационных связях: событие что-то значит не потому, что за ним закреплено значение, а потому, что наблюдатель знает импликации из него, и они заслуживают внимания для него. Волнение на море и плакат «купаться запрещено» имеют для наблюдателя сходное значение, но в первом случае оно — импликационный результат знания мира, а во втором — семиотический результат знания языка. Представление о том, что дует сильный ветер, можно получить, увидев, как за окном несутся облака, или услышав слова: «дует сильный ветер». В первом случае ситуация незнакова, но значима, и значение — результат импликации: несутся облака, значит, дует сильный ветер. Во втором случае ситуация и значима, и знакова, и значение есть принадлежность знака, его вторая сторона: «дует сильный ветер» означает, что дует сильный ветер.

Таким образом, по характеру связи двух концептов, концепта актуализирующего и концепта актуализируемого, значение распадается на два вида — импликационное (незнаковое) и семиотическое (знаковое, конвен-

циональное, кодифицированное). Применительно к интересующей нас теме важно то обстоятельство, что сами задействованные знаки несут значения обоих видов — собственно знаковое (семиотическое) и импликационное. То, что они несут первое, само собой понятно: для того и существует знак. Но нетрудно увидеть в актуализированном (употребленном) знаке наличие значения второго вида — импликационного. Поскольку его базой, источником (импликатором) в этом случае служит не просто событие, но событие-знак, то эту разновидность значений-импликаций следует назвать по их источнику семиоимпликационными.

В самом деле, знаковый акт всеми своими компонентами, на всех уровнях своей структуры, сам по себе и во взаимодействии со средой своего осуществления служит источником внезнаковых импликаций, т. е. воспринимается не только как знак с его знаковым значением, но анализируется во всей полноте его сторон как целостное явление и тем самым из него извлекается масса разнообразной информации. Эта информация в чем-то дополняет собственно знаковое значение высказываний и текстов, в чем-то осложняет его, а в чем-то противоречит ему, вступает с ним в конфликт и корректирует его. В конечном счете получатель извлекает некий суммарный итог взаимодействия кодифицированного семиотического и некодифицированного семиоимпликационного значения знаковых актов. Первое извлекается из знания языка, второе — из знания мира, людей, знаковой деятельности, из знания того, как используется язык, и это различие существенно, несмотря на то, что никакой жесткой границы между знанием языка и знанием мира нет, прежде всего в силу вероятностной природы самих кодифицированных значений (М. В. Никитин, 1988).

Не только компоненты формы знаковых выражений, но и само кодифицированное семиотическое значение, взаимодействуя с обстоятельствами его реализации, попадают в фокус внимания и служат источником множества импликаций, наращивая суммарное значение знакового акта семиоимпликационными приращениями в силу того, что всякое знаковое событие анализируется не только как событие в знаковой деятельности, но и шире — как событие в мире.

За примерами ходить недалеко, в особенности теперь с утверждением прагматики, определяемой как исследование того, как люди используют язык, ср. такие ее понятия, как косвенные речевые акты и имплицатуры речевого общения. Тембр голоса, его высота, чистота и модуляции, признаки эмоциональной вовлеченности и прочие фонологически нерелевантные особенности-фонации, выбор языковых средств разных уровней и их комбинаторика, мера их уместности и нормативности, их взаимодействие с обстоятельствами коммуникации и сопровождающими их мимикой, жестикуляцией и телодвижениями, лежащими за рамками кодификации, — все это и множество другого служат источниками намеренных и непроиз-

вольных импликаций из знаков словесных и иных. Особенность импликаций в том и состоит, что они не кодифицированы. Они представляют собой выводное знание, вероятностные заключения из конкретных ситуаций употребления знаков. Они опираются в конечном счете на весь человеческий опыт, на структуры вероятностного знания, на разветвленные цепи причин и следствий, совмещенностей и соположенностей. Они предполагают знание множества предметных областей с их связями и зависимостями, в которые их выводит импликационный анализ использования языка. Здесь каждый «знак» имеет значение в зависимости от обстоятельств употребления и поэтому знаком не является. Здесь нет словаря и грамматики в собственном смысле, а есть вероятностные связи и зависимости сущностей и явлений (событий) в отражаемом сознанием и творимом им действительном и мнимом мирах. Даже при жесткой (однозначной) и сильновероятностной зависимости одного события от другого первое не может считаться знаком второго, если за ним не стоит отправитель с интенцией на коммуникацию значения.

Обручальное кольцо — знак с кодифицированным актуальным значением (но на пальце, а не в витрине, где у него значение потенциальное, виртуальное, «словарное»). Если вы увидели кольцо на руке у вашего знакомого, который обещал не жениться, это значит для вас, что он вероятно, все же женился (кодифицированное значение) и, следовательно, нарушил обещание (импликационное значение). Если, однако, вам доподлинно известно, что он, хотя и надел кольцо, остается холостяком, это значит для вас (вероятностная импликация), что вас приглашают перейти из действительного мира, непреложного мира реальностей в мир игровой или обманный. При этом значения надетого кольца остаются за знаком (обручение плюс нарушение обета), но уже не как истинностные, а как мнимые, не как факты истинностного мира, а как факт игры или обмана. Первична, конечно, презумпция истинностного употребления знаков, когда говорящий представляет свои суждения как относящиеся к положению дел в реальном непреложном мире, даже если это почему-либо не так: истинностное утверждение еще не истинное и его еще надо проверить на истину. Игровое общение в этом смысле вторично и должны быть указания на то, что вступают в игру.

Для наших целей, однако, существенно то, что импликационное значение события свободно движется в поле его линейных связей с другими событиями и каждый раз его содержание определяется обстоятельствами осуществления события, а не той достаточно жесткой условной привязкой одного к другому, которая есть между означаемым и означающим знака. Привязка означаемого к означающему потому и должна быть жесткой, что она в принципе произвольна и условна.

Семиотическая интерпретация вещей и событий как означающих бессодержательна и избыточна потому, что приравнивает язык к миру, знание

языка к знанию мира. Тогда окажется, что языков столько, сколько разных обстоятельств употребления знака. В рамках принятой знаковой системы знак должен держаться определенного значения, варьируя его согласно правилам семантической деривации. Знак не может радикально менять свое содержание сообразно обстоятельствам своего употребления. Насколько может, он противостоит им, а уступая их диктату, он теряет качество знака, и тогда незачем, избыточно, непродуктивно анализировать его в терминах знака. От знака остается только основа для импликаций, он теряет свою знаковую сущность и становится просто событием, умножая их ряд и включаясь в структуру их связей. В этой структуре он значим, но уже незнаков. Он выходит за пределы языка, где его значение было кодифицировано, и теперь, чтобы установить его значение, надо знать не словарь и грамматику языка, ставшего в параллель миру, а «словарь и грамматику» мира, включившего в себя знаковые события как часть и продолжение структуры своих связей.

Суть проблемы состоит в том, что не события надо сводить к знакам, а, напротив, знаки расширять до событий. События могут приобретать знаковый характер (семиотизироваться), но лишь, как увидим далее, в специальных условиях: в знаках же, помимо их специфически знаковой сущности, постоянно присутствует родовой событийный (вещной) компонент. По этой причине импликационные значения знаков (семиоимпликационные значения) не могут быть заданы словарно ни жестким перечнем, ни указанием моделей варьирования. Они переменны настолько, насколько многообразны связи и зависимости сущностей и событий в мире. Семиотика бессильна сказать о них что-либо содержательное кроме того, что это импликации от знаков как событий. Здесь она должна уступить место тем областям знания, обыденного или академического (научного), к ведению которых относятся те или иные конкретные связи.

В других обстоятельствах цветная картинка на обложке журнала, которую анализирует Барт, могла означать, что журнал освоил цветную полиграфию. Кольцо на руке разведенного может означать, что ему дорога память бывшего союза или что он располнел настолько, что не может снять кольцо, и т. д.

Иное дело — возможная семиотизация вещей и событий. Вещь, субстанция или событие семиотизируется, если они специально создаются, чтобы служить знаком (например, разные указатели, сигналы, вроде семафоров и т. п.), или же, имея и другие функции, приспособляются и используются в знаковой функции. При этом часто обходятся изображением соответствующей вещи (ср., например, рисованные вывески на лавках, мастерских и т. п.). Семиотизация вещи, для которой знаковая функция дополнительна, побочна к ее основному, прямому назначению, превращает ее в символ. Символ семиотизируется, т. е. приобретает значение, на основе линейных и уподобительных связей вещи, а именно — на основе им-

пликационных и симулятивных связей концепта вещи, так как первые отражаются в сознании в виде вторых.

Сапог или его изображение над входом в сапожную мастерскую служат простейшим символом-знаком этой мастерской, который семантизируется на импликационной основе как метоним целого по части. Его дело — необычным для него положением направить ассоциации в нужном направлении. Поскольку вещь может вызвать множество ассоциаций линейного порядка, семантика метонима нуждается в уточнении, что и делается здесь за счет того, что символ не одинок: он стоит в ряду общей модели обозначения мастерских, лавок и тому подобного по тем предметам, которыми они оперируют.

Значением символа могут быть, понятно, не только импликации целого, но и, напротив, части от целого, а также импликации от вещи к другой вещи, от вещи к признаку и т. п.

При семиотизации вещь изымается из первичных связей, выходит из обычного оборота, меняет «фрейм существования» (отсюда и необычное положение сапога). Вещь противопоставляется миру вещей и переходит в параллельный мир обозначений. При этом она обозначает нечто большее, чем самое себя: она обозначает не вещь, а класс вещей и не тот класс, к которому принадлежит, а тот, который с ней линейно связан — класс сложных целых состояний, ситуаций, элементом которых она является. Сложное, абстрактное, ненаглядное обозначается через простое, конкретное, наглядное.

Что отличает импликационный символ (символ-метоним) как знак от просто значимой импликационной связки? Во-первых, как видим, наличествует отправитель и коммуникативное назначение. Во-вторых, становясь символом, вещь не только наделяется информационно-коммуникативной функцией, но в этой функции изымается из своих предметных связей. Для сознания ее предметная сущность как бы нейтрализуется, она существует в абстракции от самой вещи. Поэтому вещь как символ может быть заменена изображением. Вещь-символ уже не участвует в своих предметных связях, а только автономно указывает на себя и свои предметные связи.

Символ автономен, но его автономность отлична от автономности типичных знаков-несимволов. Символ отсылает к себе как вещи и через себя к своим связям. Знак-несимвол в автономном употреблении отсылает к себе как знаку и через себя к контекстам своего употребления.

Выше был упомянут известный факт возможной иконичности символа — подобия между символом и его денотатом, ср. *колесо Фортуны* как символ превратности судьбы, *весы в руках Фемиды* как символ взвешенной оценки вины, *царственный образ орла и его верховенство* — в прямом и переносном смысле — в своем мире как символ державной власти. Символ всегда мотивирован хотя бы в исходе (со временем мотивировка может затемниться и утратиться), и мотивирован он прежде всего импликаци-

онными зависимостями семиотизируемой вещи. Однако ничто не мешает ему в дополнение к этому быть иконичным, если требуемый смысл позволяет совместить импликацию с подобием. Важно то, что импликация от вещи (события) к ее признакам и связям обязательна для семантизации любого символа, в том числе и иконического. В самом деле, колесо вращается, и это означает смену положения (импликация), этим оно подобно судьбе (симиляция). Орел имеет царственный вид и обитает в самых горных сферах (импликация), и этим подобен верховному властителю (симиляция). Весы колеблются под грузом и показывают его точный вес (импликация), так и суд должен взвесить все обстоятельства дела и справедливо решить его.

Поэтому в основе семантизации иконических символов лежат ассоциации того же импликационного типа, а подобие дополнительно, методом моделирования ориентирует процесс поиска смысла: вещь (событие) не только передает свои признаки и связи денотату символа, но и служит его моделью. Тем самым сказанное об импликационных символах справедливо и относительно симилятивных (иконических) символов, когда вещь (событие) или ее изображение означает нечто подобное себе, но, как правило, более сложной и менее наглядной отвлеченной природы.

Речевая, а шире — знаковая деятельность и ее произведения, с одной стороны, противопоставлены и параллельны миру и деятельности человека как их знаковые аналоги, но, с другой — первое включено во второе и дополняет его как часть, так что знаки и знаковая деятельность продолжают и расширяют мир вещей, событий, человеческой деятельности. Только в первом своем аспекте знаковые продукты имеют специфический, семиотический характер и должны изучаться прежде всего специфическими средствами семиотики. Напротив, во втором аспекте к ним добавляется многое, что не специфично для знаков, и знаки подключаются к миру как род вещей, действий, событий, поступков. Анализ их значения в этом случае, как видим, выходит из компетенции семиотики и требует большего, чем знание языка, кода, знаков. Он требует знания мира на самых различных его участках. Эта часть информации, извлекаемая из знаков, — их семиоимпликационное значение — не ограничивается даже такой достаточно широкой сферой, как знание того, как люди используют язык. В конечном счете здесь приходится иметь дело с совокупным человеческим знанием.

В отвлечении от знаковой специфики знак становится вещью и может быть заново семиотизирован как символ посредством того же механизма символизации вещей — за счет импликации ее признаков и связей. При этом знак изымается из той знаковой системы, которая порождает его и в рамках которой ему положено функционировать. Тем самым он теряет то значение, которое ему положено иметь как продукту этой знаковой системы. Взамен он приобретает способность обобщенно, на уровне класса обозначать на импликационной основе некоторую совокупность обстоя-

тельств, связанных с каким-то конкретным, но примечательным контекстом употребления знака. Так появляется особый смысл у выражений символов, вроде *процесс пошел, ino pasaran!* и т. п.

Таким образом, для того чтобы импликационная зависимость вещей и событий из просто значимой для наблюдателя ситуации превратилась в ситуацию знаково-значимую, надо, чтобы она «попала в руки» отправителю информации, чтобы она управлялась, вызывалась и создавалась им как намеренное информационно-коммуникативное действие. Отправитель должен владеть ею, а для этого ему надо изъять вещь-импликатор из его природной среды, противопоставить и поставить ее в параллель среде как ее информационно-коммуникативное отображение и выражение. Показателем изъятия служит возможность заменить вещь-импликатор изобразительным или иным условным, экономически и коммуникативно более удобным субститутотом. Субституция возможна, поскольку вещь-символ интересна нам не в природном, а в информационном качестве как источник необходимых ассоциаций, стимулятор и актуализатор значений, и мы можем управлять ею в этом качестве.

Символы возникают в тех пределах, в которых человек может управлять порождением вещей и событий в качестве импликаторов значений. Но символ — знак, и как знак он требует изъятия импликатора из своей природной среды, из «фреймов» вещного мира, перехода в параллельный мир обозначений этого мира. Однако у отправителя есть другая возможность актуализировать значения в голове наблюдателя посредством импликаций, не прибегая к знакам. Можно сыграть, создать желаемую импликационную ситуацию, порождая видимость, что она возникает сама по себе, независимо от воли отправителя. Среагировав на нее, наблюдатель извлечет из нее нужное отправителю значение. Попросту говоря, у него возникает требуемая мысль, нужное представление.

Примеров несть числа. Сюда относятся и действия, вызывающие значения посредством хитрости, притворства и обмана, и вполне благовидные приемы намеренно организованной импликации значений. Притворный храп должен создать представление о спящем человеке. Непритворный храп вряд ли кто назовет знаком сна (признак сна не есть знак сна), но и притворный храп не дотягивает до знака: хотя отправитель и вкладывает в него информационно-коммуникативное намерение, но для наблюдателя этот язык не изъят из своих природных связей и намеренным действием не является. Храп станет знаком, когда и отправитель, и получатель договорятся о том, что храп будет свидетельствовать, например, о бодрствовании. Но тогда он действительно изымается из своих естественных связей, ему условно приписывается даже нечто противное этим связям, с ним отправитель и получатель связывают некоторое согласно условию — информационно-коммуникативное намерение отправителя. И этому должна предшествовать договоренность.

Допустим теперь, что конвенции нет, однако наблюдатель разгадал маневр отправителя. Достаточно ли этого, чтобы уловка превратилась в знак того значения, которое замыслил отправитель? Нет, недостаточно, и вот почему. Оказывается, — и здесь это ясно обнаруживается, — что знак произведен, вторичен по отношению к языку, коду, коммуникативной конвенции, как бы они сознательно или спонтанно ни сложились. Сначала знаковая конвенция, общая для отправителя и получателя, потом знак в рамках и в реализацию этой конвенции. Очевидно, что нельзя зависимости мира объявлять знаком, а весь мир — текстом, так как язык не оставил бы места для мира. Этой метафоре часто навязывают прямой смысл, но тогда она изначально подрывает себя, так как снимает проблему: сводя мир к языку (тексту), сводят на нет вопрос об их различии, а дело ведь именно в этом. Понятие знака теряет смысл, если в нем не остается ничего специфически знакового.

Семиотическое, кодифицированное значение знака не может радикально меняться при обозначении и описании разных ситуаций, оно лишь варьирует в определенных пределах и по определенным моделям. Описывая мир, язык следует за сменой ситуаций, меняя знаки, но не значения знаков (это возможно только в определенных пределах и по определенным моделям семантической деривации). Знак ценен стабильностью значения. Напротив, импликационные значения, в том числе и семиоимпликационные, не стабильны, зависят от ситуации и выводятся из обстоятельств осуществления события или употребления знака.

Сказанное очерчивает предел знака и семиотики как науки о знаках. Знаку предшествует конвенция о значении, спонтанно возникшая в случае генезиса естественного языка и сознательно устанавливаемая посредством естественного языка в случае вторичных знаков-кодов. Поэтому знак требует знания языка. Значение шире знака: нет знака без значения, но обратное неверно. Значения извлекаются не только из знаков благодаря знанию языка, но и из событий благодаря знанию мира.

Подлинный полный знак предполагает не только получателя (моррисовского интерпретатора), но еще в большей степени отправителя при том, что оба располагают общим языком или кодом. Знак интенционален, т. е. реализует информационно-коммуникативное намерение исполняющего его отправителя.

Одного интерпретатора (наблюдателя) еще недостаточно, чтобы значимое для него событие считать знаком. Вещи и события продвигаются в сторону знака, когда за ними стоит намеренное их исполнение с целью актуализировать в сознании наблюдателя связанные с ними импликации. На этом пути, безусловно, есть промежуточные градации усиления знаковости.

В целом эта шкала открывается цепочкой двух зависимых событий, где нет ни исполнителя их, ни интерпретатора. Здесь нет ни знаков, ни

значений. Далее появляется интерпретатор, а с ним и значение: первое событие информирует его о втором, причем в иных случаях ему необязательно наблюдать наступление значимого события, достаточно наблюдать значащее событие и знать о связи двух событий. Это дознаковый уровень получения значений. Далее на сцене появляется исполнитель, организатор значащего события, нацеленный на порождение значимых ситуаций. На этом уровне у него есть информационно-коммуникативное намерение, цель сообщить значение, но нет специального инструмента, языка для передачи значений и он пользуется «языком мира», создавая, разыгрывая, наталкивая на значимые ситуации за счет знания импликационных зависимостей вещей и событий. Это предзнаковый уровень передачи значений.

Далее для передачи значений человек идет более экономным и продуктивным путем, чем реконструкция, дублирование, проигрывание мира на каких-то участках его связей. Он прибегает к знакам. Вместо «языка мира», распоряжаться которым в целях коммуникации человек может только в ограниченных пределах, он получает в полное свое распоряжение язык знаков. Теперь ментальные миры, которые человек разыгрывает в своем сознании и воображении, отражая и замысливая действительный мир, получают параллельное отображение и выражение в знаках. Чтобы передать значение, достаточно произнести слово. Для того чтобы осведомить кого-либо о дожде, не надо подводить его к окну, достаточно сообщить: «идет дождь». Чтобы дать знать о ветре, что предпочтительнее: незаметно раскачивать деревья или, положившись на доверие к себе, сказать: «дует ветер»?

Однако на первом этапе, уже став знаком, а именно знаком-символом, вещь, формируя свое значение, продолжает опираться на свои импликационные связи. Эти связи мотивируют семантику символа, и предстоит сделать еще один шаг к принципиальной условности типичного знака. Пока же на уровне символа вещь, хотя и не обязана сохранять себя во всей полноте своих качеств, должна сохранить свой образ: ей необходима узнаваемость как вещи. Она информирует (несет значение), но не о своем бытии, а о бытии того, что с ней импликационно связано (для чего ей, собственно, и необходимо сохранить узнаваемость). В силу того, что она означает свой имплицит, она имеет значение. В силу того, что ее вещное качество для нее уже не существенно, ее может заменить любое узнаваемое изображение. Такое изображение больше, чем картина, потому что оно значимо, т. е. импликационно вызывает мысль о чем-то отличном от того, что на ней изображено (картина сама по себе не означает изображенную на ней вещь, а является ее транспонированным образом).

В силу того, что вещь-символ имеет значение, а собственное ее качество уже не существенно, она становится знаком. Поскольку символ черпает свое значение за счет импликаций из «фрейма» бытования вещи, за ним не стоит целостный язык с его словарем, распределяющим идеи в сис-

теме номинации. Символ еще пользуется «языком мира», однако уже не возможен без конвенции, как бы она ни сложилась, — конвенции об интенциональной информативности вещи-символа, что, собственно, и делает ее знаком. Вещь-символ по условию наделяется внеприродной информационной функцией.

Наконец, делается последний шаг: за вещь-знаком закрепляется кодифицированное значение, в принципе независимое от ее природных связей — по условию (как бы оно ни сложилось), из языка или кода, а не по природе, не из мира.

Однако, как мы видели, даже став знаком, приобретя вторую функциональную природу, став в параллель миру, знак не может отделаться от изначальной своей вещной природы, которая служит субстанциональной основой знаковой функции вещи и, как всякая вещь (событие), знак служит источником импликационных (семиоимпликационных) значений. Беда с этими значениями состоит в том, что, хотя их субстанциональной базой служит знак, они не кодифицированы, содержательно зависят, как можно было видеть, от массы самых разнообразных факторов конкретного употребления знака. Поэтому, устанавливая их содержание, получатель выходит далеко за пределы языка и опирается на совокупное знание мира, в котором знание знаковой деятельности составляет только малую часть, а знание языка (или кода) как системы, породившей знаковые структуры, вообще отодвинут на задний план.

Для анализа этих значений семиотика со своим аппаратом не может предложить ничего, кроме семиотического маскарада — насильственного и неоправданного навязывания своей терминологии. Ее компетенция ограничена тремя областями. Во-первых, готовыми знаками и знаковыми системами с их кодифицированными значениями. Во-вторых, первичной семиотизацией вещей и событий, когда какое-то незнаковое событие, семиотизируясь, становится в каком-то своем импликационном значении если не немотивированным знаком, то по меньшей мере мотивированным знаком-символом. В-третьих, вторичной семиотизацией, когда какие-то знаковые события, повторно семиотизируясь, становятся в каком-то своем некодифицированном импликационном значении вторичным знаком-символом.

Для ясности приведем дополнительные примеры на два последних случая. Наклонение головы может иметь разные значения: что-то рассматривают внизу, уклоняются от ветки, избегают прямо смотреть в глаза и т. д. Семиотизируясь, это движение становится символом-знаком покорности, уважения памяти, признания авторитета, приветствием. Семиотизация отсекает множество возможных импликаций и закрепила за поклоном одно значение. Чтобы знать, что значит поклон, надо знать закрепленное за ним значение. В этом смысле знак значит напрямую: мысли не нужно, опираясь на знание связей мира, пробегать возможные цепочки импликаций и выби-

рать из них одну: голову склоняют, чтобы не смотреть в глаза, потому что это означало бы непризнание превосходства. Знак сокращает этот процесс до усилия памяти.

Восклицание-вопрос «И ты, Брут?!» символизирует ситуацию изумленного негодования на неожиданную измену. Символ обобщен до класса таких ситуаций, и значение восходит к обстоятельствам, в которых он впервые был произнесен.

За пределами этих трех областей, с учетом, конечно, размытости их границ на периферии, семиотика, безусловно, не скажет ничего нового о возникновении, природе, содержании, восприятии, понимании, структуре и систематизации значений, так как здесь из уже достаточно широкой сферы знаков мы вступаем в безбрежный мир знания мира в его связях, зависимостях, сопряженностях и обусловленностях, где есть дело для множества самых различных специалистов, а в конечном счете — для всех знающих людей. В этом безбрежном незнаковом мире характер связи между событием (вещью) и значением продуктивно описывается не в терминах и понятиях семиотики, а с позиций общей теории значения, теории знания и разных ее предметных областей, средствами и методами когнитологии, гносеологии и логики и в еще большей степени психологии — психологии восприятия, понимания и т. д.

Семиотика должна умерить свои аппетиты и отказаться от набегов на неподвластные ей территории. Эти вторжения не идут на пользу ни территориям, ни ей самой. Экспансионизм только дискредитирует семиотику как науку. Ей следует сосредоточиться на собственном предмете. Он достаточно широк и, увы, находится в пренебрежении. Предстоит выполнить громадный объем работы по описанию и систематизации знаков и знаковых систем разного рода, их взаимодействия в панзнаковой базе человеческого сознания, по соотношению вторичных знаков с первичными знаковыми системами — естественными языками, по изучению процессов семиотизации генезиса и функционирования знаков и знаковых систем разного рода, особенностей их материального субстрата, его структуризации в знаковой функции, коммуникативному потенциалу, по исследованию и описанию словаря и грамматики, процессов семантизации, понимания и варьирования значений, особенностей семантики и синтаксиса кодовых систем, возможностей и правил их транспонирования и многому другому, не говоря уже об участии семиотики в решении множества прикладных задач знаковой деятельности человека.


Для этого семиотике (семиологии) следует вернуться к своим основаниям — теории знака и тем представлениям о своем предмете, которые были намечены Ф. де Соссюром. Для этого семиотике следует признать непродуктивной заманчиво широкую универалистскую концепцию знака, которую предложил Ч. Пирс и которой она последовала. Самому Пирсу универсализм знака потребовался не ради него самого, а для того, чтобы

под его флагом заложить дедуктивные основания универсальной формальной логики как «науки об общих обязательных законах знаковости» (the science of the general necessary laws of signs).

Поддавшись соблазну универсализма, семиотика шагнула далеко за пределы своего предмета и неизбежно стала утрачивать качества объективного доказательного научного знания. Культивируя в себе порок спекулятивности, они естественно переместились в те области знания, где это легче сделать, — в литературоведение (literary criticism) и теорию искусства.

В основе нынешних заблуждений семиотики, как мы видели, лежат, во-первых, расширительное понимание знака (включение, вслед за Пирсом, всякой индексальности и иконичности в область знака), во-вторых, неадекватная теория значения и связанное с этим отождествление знака и значения по объему. Первое ведет к включению (ошибочному) всяких импликационных значений в предмет семиотики и бессодержательному распространению на них семиотической терминологии. Второе — к неразличению импликационного и знакового видов значения, неразличению собственно знаковой (функциональной) и вещной (субстанциональной) сторон знака и как следствие — к смешению двух принципиально различных видов значения знаков — конвенционального и (семио)импликационного.

Отсечение этих заблуждений и корректировка исходных понятий знака очерчивают предел и подлинную компетенцию семиотики как науки о знаках и знаковых системах, их функционировании и взаимодействии, о семиотизации вещей и событий, о конвенционализации и кодификации их значений.

 Указаны некоторые характерные для современного состояния семиотики работы (и содержащие их сборники), дающие основание для критической оценки:

- Барт Р. Избранные работы: семиотика, поэтика. М., 1989.
Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения. М., 1988.
Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1995.
Семиотика / Под ред. Ю. С. Степанова. М., 1983.
Труды по знаковым системам. Вып. 1–20. Тарту, 1964–1987.
Barthes R. Elements de semiologie. Paris, 1964.
Barthes R. Mythologies. Paris, 1957.
Coquet J.-C. Semiotique litteraire. 1973.
Derrida J. De la grammatologie. Paris, 1967.
Eco U. A theory of semiotics. Indiana Univ. Press, 1976.
Elam K. The semiotics of theatre and drama. London, 1980.
Greimas A. J. ed. Sign, language and culture. The Hague, 1970.
Greimas A. J. ed. Essais de semiotique poetique. Paris, 1971.
Guiraud P. La semiologie. Paris, 1971.

- Hawkes T.* Structuralism and semiotics. London, 1977.
Heath S. et al., ed. Signs of the times. Cambridge, 1971.
Hervey S. Semiotic perspectives. London, 1982.
Jakobson R. Selected writings. Vol. 2. The Hague, 1971.
Metz Chr. Film language: a semiotics of the cinema. Indiana Univ. Press, 1974.
Morris Ch. Writings on the general theory of signs. The Hague, 1971.
Piers Ch. Collected papers (in 8 vols). Vol. 2. Harvard Univ. Press, 1931–1958.
Riffaterre M. Semiotics of poetry. Indiana Univ. Press, 1978.
Saussure F. de. Cours de linguistique general, 1915.
Scholle S. Semiotics and Interpretation. Yale Univ. Press, 1982.
Sebeok Th. ed. Approaches to semiotics. The Hague, 1969... [серия сборников, изда-
 ется с 1969 г.].
Serge C. Semiotics and literary criticism. The Hague, 1973.
Silverman K. The subject of semiotics. Oxford Univ. Press, 1983.
Wollen P. Signs and meaning in the Cinema. Indiana Univ. Press, 1972.

5. Понятие значения и смысла в логике и психологии

В обыденном языке слова «значение» и «смысл» многозначны и многозначны каждое по-своему, т. е. значительно различаются свойственными им значениями. Вместе с тем в том общем значении, которое у них есть, они синонимичны и в большой мере взаимозаменяемы, ср. «В каком смысле (значении) употребляется это слово, какое оно имеет значение (смысл)?».

В современной логике, однако, эти слова используются как термины с разным смыслом (значением) для обозначения различных аспектов содержания имен. В следующих парах — «Манагуа» и «столица Никарагуа», «Сэр Вальтер Скотт» и «автор романа «Айвенго», «Тихий океан» и «самый обширный океан на Земле» — имена в каждой паре обозначают один и тот же денотат. Но если их объединить связкой, то получатся отнюдь не тавтологические суждения типа «Манагуа есть Манагуа», «Столица Никарагуа есть столица Никарагуа» или «Самый обширный океан на Земле есть самый большой океан на Земле», а вполне информативные суждения: «Манагуа — (есть) столица Никарагуа», «Сэр Вальтер Скотт — автор романа «Айвенго», «Тихий океан — самый обширный (самый большой) океан на Земле».

За счет чего информативны суждения этого рода, что снимает тавтологичность кореферентных имен? Немецкий логик Г. Фреге предложил считать, что кореферентные имена в указанных парах имеют одинаковое значение, но разный смысл. Тем самым словам «значение» и «смысл» было придано терминологическое различие, хотя и не вполне оправданное их обычным употреблением, но фиксирующее важное различие двух аспектов содержания имен. Значение при этом связывается с функцией обозначения,

оно образуется отнесением имени к денотату, его референцией, а точнее — указанием денотата имени. В конечном счете «значение» в этой концепции относится к экстенциональному компоненту содержания имен и имеет приблизительно тот смысл, что и термин «экстенционал».

Напротив, «смысл» в этой терминосистеме близок обычному пониманию слова, он относится к контенциональному (интенциональному) компоненту содержания имен, связан с функцией описания (характеризации, квалификации) денотатов именами и выявляется как структура признаков, определяющих денотат. В логике о смысле говорят, что он — то, что бывает усвоено, когда понято имя.

Иное понимание значения и смысла находим у психологов, а вслед за ними или независимо от них — и у ряда лингвистов. Значение толкуется как стабильная, постоянная часть содержания знаков, общая у говорящих в однородном языковом коллективе и поэтому обеспечивающая понимание в актах речевой коммуникации.

Это — категория коллективного языка, общее достояние говорящих на данном языке, отстоявшаяся, общественно признанная и закрепленная, одинаково взаимно понимаемая часть содержания языковых единиц. Описывая и определяя содержательную сторону слов, проводя в ней разграничения, словари имеют дело именно со значением в этом смысле.

Напротив, смысл — категория личностная, достояние индивида. Смысл языковых единиц подвижен и изменчив от человека к человеку, от текста — к тексту, от одного места текста — к другому. На долю смысла, а не значения относятся различия в понимании одних и тех же единиц языка и их сочетаний в тексте разными людьми, различия в связываемых с ними представлениях, ассоциациях и оценках. Смысл образуется напластованиями на значение, обусловленными особенностями индивидуального опыта и психики.

В оценку этих представлений о значении и смысле надо сказать, что акцент на индивидуально-личностное варьирование содержания словесных знаков вполне правомерен. Взаимопонимание в речи действительно прокладывает себе путь через своеобразие индивидуальных смыслов. Однако основой для него служат отнюдь не некие постоянные одинаковые у всех застывшие «кирпичики» значений, а то общее в представлениях и понятиях людей, что есть в сознании людей при всех индивидуальных различиях и что откладывается в нем как отражение общего в структуре действительности и человеческой деятельности.

Рассматриваемая концепция не дает ответа на главный вопрос: что обеспечивает содержательное постоянство и одинаковость значений, отражением какого аспекта вещей и человеческой практики могут быть такие значения? На деле значений как постоянных образований в сознании говорящих, одинаковость содержания которых существовала бы независимо от опыта людей, вообще нет. Коммуникабельность достигается отнюдь не за

счет оперирования блоками одинакового содержания. Это гораздо более сложный диалектический процесс непрерывного поиска общего в различном. Значения, как и понятия, в той мере сходны и различны, в какой постоянна и вариативна сущность вещей, сходен и различен опыт людей, сравнимы и отличны качественные показатели их психики, близки и различаются их установки и намерения в речи и т. д. Взаимопонимание пробивает себе дорогу в речи не потому, что люди заранее обеспечены неким общим обменным минимумом, одинаковым исходным капиталом значений, а потому, что всегда могут, опираясь на единство мира и собственной природы, отыскать достаточно общего в переменных значениях, даже если это общее также варьируется от случая к случаю — во все уменьшающейся степени. Существенно иметь в виду, что общее в значениях существует на ином уровне конкретности, чем сами значения: общее никогда не дано как предустановленная постоянная сущность, а всякий раз отвлекается от конкретности реализованных значений.

Значение языковых единиц варьируется широко и разнообразно. Это может быть варьирование по линии коллективного и индивидуального, узуального и окказионального, нормативного и аномального, виртуального и актуального (языкового и речевого), внеконтекстуального и контекстуального. Все левые части противопоставлений связаны зависимостями друг с другом и отчасти перекрываются, равно как и правые части, между собой, однако ни одна из пар противопоставлений не сводима полностью к другой. Вместе с тем все они представляют собой разновидности проявления в семасиологии диалектических категорий единичного, особенного и всеобщего, где всеобщее не существует вне единичного и особенного, а является их внутренней сущностью, законом их существования и изменения.

6. Лингвистическая типология значений

6.1. Понятие лексического и грамматического значений в лингвистической традиции

Рассматривая проблематику значения, мы до сих пор обходились без привычных в лингвистике понятий лексического и грамматического значений. Причины этого понятны. Очевидно, что эти и подобные им таксономии значения (словообразовательного, номинативного, морфологического, синтаксического) лежат в иной плоскости, чем категории когнитивного и прагматического, контенсионального (интенционального) и экстенционального, денотативного и сигнификативного значений. Говоря о категориях когнитивного и прагматического значений и о разновидностях когнитивного значения — контенсиональных и экстенциональных,

денотативных и сигнификативных значениях, мы интересуемся значением с его содержательной стороны и устанавливаем наиболее общие его типы с этой стороны. Характер же выражающих их языковых единиц, зависимости, если таковые возможно установить, между типом значения и языковой природой несущих их единиц отступают при этом на второй план.

Напротив, говоря о значениях лексических, грамматических и т. п., мы интересуемся значениями не столько по типу их содержания, сколько по характеру выражения, по характеру их выявления в структуре языковых выражений, по уровневой природе несущих их единиц.

Контроверза лексического и грамматического значений имеет теперь достаточно долгую историю и достаточно широкий диапазон разногласий. Разногласия эти, как нетрудно себе представить, связаны с принятием той или иной общей теории строения языка. Поэтому небезинтересно вначале дать хотя бы самую общую сводку и оценку взглядов по этой проблеме.

Понятие лексического и грамматического значений рассматривается обычно как взаимодополнительные и взаимоисключающие. Как правило, грамматическое значение толкуется как значимый остаток языковой формы, остающийся за вычетом ее лексического значения. Это понимание грамматического значения прочно утвердилось в отечественной лингвистической традиции благодаря лекциям и работам Ф. Ф. Фортунатова, «Русскому синтаксису в научном освещении» Л. М. Пешковского, а также «Синтаксису русского языка» А. А. Шахматова. В этом случае полагают, что грамматические значения отличны от лексических значений и содержательно (концептуально), и по их языковому статусу. Концептуальное отличие грамматических значений состоит в том, что они всегда абстрактны, обобщены и реляционны. Кроме того, отличие грамматических значений от лексических подкрепляется особым языковым статусом каждого из них. Под языковым статусом значения можно понимать способ существования, *modus vivendi* значения в языке, способ его выражения, выявления. Грамматические значения, например, не номинированы, не существуют самостоятельно без лексических значений, показатели грамматических значений семантически и синтаксически не автономны, морфологически они также часто не автономны, объединяясь в цельные единицы с показателями лексических значений. Все это дает неперекрещивающуюся классификацию языковых значений, т. е. одно и то же языковое значение может быть либо лексическим, либо грамматическим, но не может быть тем и другим одновременно.

Вообще же, диапазон колебаний в понимании грамматического значения весьма широк, и у многих авторов этот термин оказывается одновременно и двусмысленным, и нечетким. Нередко имеет место смешение и подмена грамматического значения сопряженными с ним понятиями. Распространенными ошибками этого рода, отмечаемыми в работах, как спе-

циально трактующих этот вопрос, так и касающихся его попутно, являются следующие:

- 1) грамматическое значение отождествляется с отвлеченным;
- 2) грамматическое значение отождествляется с общим (родовым) значением какого-либо класса слов;
- 3) грамматическое значение отождествляется с понятием функции;
- 4) грамматическое значение отождествляется с понятием неспособности к самостоятельной номинации значения тем или иным разрядом единиц языка;
- 5) механистическое понимание общего значения словоформы как арифметической суммы лексического значения плюс грамматическое значение.

Остановимся несколько подробнее на каждой из них.

1. Абстрактное значение и грамматическое значение. Нередко, рассматривая, например, процессы грамматизации знаменательных слов, словосочетаний, считают достаточным доказательством превращения их в грамматическое орудие указание на то, что значение их стало более абстрактным. Действительно, всякое грамматическое значение абстрактно, но этого недостаточно, чтобы отличить его от лексического значения, ибо лексическое значение таких, например, слов, как «отношение», «направление», «принадлежность» и многих других, также абстрактно. Существенным же признаком грамматического значения является то, что оно не номинировано, не названо как особый предмет мысли в высказывании. Оно никогда не выступает как нечто отдельно именуемое, и в этом его отличие от лексического значения. Более того, абстрактность грамматического значения не сопоставима с абстрактностью лексического значения, поскольку первая не осознается говорящим, она не названа сама по себе, а лишь определенным образом модифицирует значение номинирующих единиц языка в высказывании. Не следует искать различие между лексическим значением и грамматическим значением в характере стоящих за ними понятий, его следует искать в особом модусе существования каждого из них, в различиях их языкового статуса. Поэтому показателем грамматикализации является не столько отвлеченность значения, сколько такие признаки, как синтаксическая несамостоятельность значимого элемента (синсеманτικότητα), невозможность образовывать эллиптические предложения, обязанность употребления, морфологическая слитность с показателями лексического значения и т. п.

2. Общее (родовое) значение класса слов и грамматическое значение. Ошибка отождествления общего (родового) значения с грамматическим значением проистекает из того же стремления видеть в грамматическом значении не просто особый модус существования значений в языке, а нечто содержательно отличное от лексического значения. Так, А. И. Смирницкий полагал, что грамматическим значением предлога явля-

ется общее значение отношения предмета к предмету, явлению, ситуации, свойственное всем предложениям, а лексическое значение предлога — то специфическое значение, которым данный предлог отличается от других (Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 1959. С. 367). Однако общее значение разряда слов, поскольку оно не выражено особой единицей того же разряда, а является обобщающей абстракцией, вообще не является выраженным значением, ни лексическим, ни грамматическим, а частью его.

Та же ошибка совершается и тогда, когда утверждают, что грамматическим значением глагола, прилагательного, существительного и т. д. является *resp.* значения действия, признака, предметности и т. д.

3. Функция и грамматическое значение. Утверждая, что части речи существительного присуще общее грамматическое значение предметности, под этим нередко подразумевают нечто вообще отличное от значения, а именно — общность функционально-синтаксических признаков этой части речи, отличающих ее в определенной мере от других частей речи, т. е. особую способность представлять идею в качестве предмета мысли, что конкретно выражается в том, что функция подлежащего, например, является основной синтаксической функцией существительного. Но в этом случае понятие значения подменяется понятием функции.

Надо заметить, что понятие функции в лингвистике весьма расплывчато и многозначно, что способствует незаметной подмене им других понятий, например значения. Достаточно привести два примера. Характеризуя служебные слова, акад. В. В. Виноградов утверждает: «В служебных словах "вещественное значение и грамматические функции совпадают. Их лексические значения тождественны с грамматическими"» (Виноградов В. В. Русский язык. М.; Л., 1947. С. 30). Рассуждая по тому же поводу, А. И. Смирницкий отмечал у служебных слов «грамматическое значение, связанное с грамматической функцией, выполняемой тем или иным словом» (Смирницкий А. И. Морфология... С. 367). В обоих случаях понятие функции перерастает или просто подменяет понятие значения.

Не углубляясь в строгое определение лингвистического понятия функции, можно лишь пожелать, чтобы термин «значение» использовался только применительно к содержательной стороне знака, имеющей некий внеязыковой коррелят. Этого будет достаточно, чтобы трактовать грамматическое значение как значение, а не растворять его в более обширной и неясной категории.

4. Неспособность к самостоятельной номинации значения и грамматическое значение. Все показатели грамматического значения являются неноминирующими элементами. Однако обратное — неверно. Не все неноминирующие элементы являются показателями грамматического значения. Междометия, например, не обладают номинативной функцией,

но это вовсе не означает, что тем самым они выражают какие-то грамматические значения.

5. Грамматическое значение и общее значение словоформы. Традиционный синтаксис представляет собой определенную модель описания предложения, возникшую из рассмотрения языков определенного типа, а именно флективных (или фузионно-символических, по терминологии Э. Сепира). В этой модели смысл синтаксической единицы (словоформы, словосочетания, предложения) рассматривается как сумма сочетания лексического значения и грамматического значения. Грамматические значения объединяются вокруг лексемы как центра и вместе с ней образуют отдельную самостоятельную синтаксическую единицу — словоформу. Такую модель синтаксиса можно назвать субстанциональной, поскольку ее узловыми точками являются лексические значения. Грамматические значения можно рассматривать как своеобразные предикаты к лексическим значениям. В самом деле, в этом случае говорят, что грамматическое значение дополняет, сопутствует, модифицирует основное лексическое значение. Логическим аналогом такой модели синтаксиса является субстанциональная аристотелевская логика.

Такая модель синтаксиса, однако, не может быть универсальной. Она более или менее удовлетворительно описывает синтаксис языков определенного типа, подобно тому, как ньютоновская механика удовлетворительна лишь при описании геоцентрического мира. Можно с достаточным основанием возражать против понимания общего значения словоформы как арифметической суммы лексического значения и грамматического значения. Это понимание механистично. Можно утверждать, что значение словоформы и даже словосочетания едино, что значение словоформы не есть простая сумма сложения лексического значения с грамматическим значением, а значение словосочетания не есть простая сумма (лексическое значение + грамматическое значение) + (лексическое значение + грамматическое значение). Аналогия с математическими действиями может вообще оказаться ложной.

В противовес субстанциональному синтаксису можно предложить релятивную модель синтаксиса, т. е. такую модель синтаксиса, в основании которой положено не лексическое значение, а синтаксическое отношение. Релятивную модель синтаксиса можно назвать конфигурационным синтаксисом, так как в основе его лежит понятие синтаксической конфигурации, или синтаксической структуры. Синтаксическая структура (конфигурация) является типизированной схемой определенного синтаксического отношения. В этой модели не грамматическое значение модифицирует лексическое значение, а напротив, лексическое значение подставляется в синтаксическую конфигурацию, конкретизируя ее смысл, наполняя ее конкретным значением. Иначе говоря, первична схема синтаксического отношения, а лексические значения подставля-

ются в нее, наполняют ее конкретным содержанием. Можно спорить, какая из двух моделей синтаксиса, субстанциональная или реляционная, более универсальна и обладает большей объясняющей силой. Скорее всего и та, и другая по своему справедливы, и обе они находятся в дополнительном отношении друг к другу.

Естественно, что при определении понятий лексического и грамматического значений необходимо избежать подмены их коррелятивными понятиями.

Существует и иной взгляд, при котором лексическое и грамматическое значения выведены из противопоставления друг другу и не являются соотносительными понятиями (наиболее отчетливо эта точка зрения сформулирована в коллективной монографии «О точных методах изучения языка» (М., 1961. Гл. III «О некоторых типах языковых значений»)). Лексические значения при этом противопоставляются синтаксическим, а грамматические — неграмматическим. В этой концепции лексическими называются значения, отражающие нечто лежащее вне языка, они, как правило, референционны. Содержанием синтаксических значений, напротив, являются внутренние отношения между языковыми элементами. Грамматическими же называются те значения, выражение которых в языке обязательно; этим они отличаются от неграмматических, выражение которых необязательно. Это дает перекрещивающуюся классификацию значений, т. е. некоторые грамматические значения являются одновременно (по другому основанию) лексическими, и наоборот. Например, выражение категории числа существительных в индоевропейских языках обязательно, поэтому это значение — грамматическое; вместе с тем этому значению соответствует некоторый внеязыковый коррелят, оно референционно и поэтому является лексическим значением. Напротив, в китайском языке выражение числа необязательно, поэтому в китайском языке это — неграмматическое лексическое значение.

Безусловно, обязательность-необязательность выражения значения — признак, имеющий прямое отношение к языковой типологии значений. Это — важная характеристика значений по способу их выявления в языке. Разумеется, и тут есть свои сложности. Различие значений обязательных/необязательных не всегда просто. В динамике языка, применительно к грамматическим категориям, находящимся в процессе становления или, напротив, исчезающим из языка, можно лишь говорить о мере обязательности/необязательности выражения соответствующего грамматического значения: старые системы и нормы постепенно вытесняются и заменяются новыми, и в разное время обязательность выражения значения может колебаться от 0 до 1. Это тем более справедливо, если принять во внимание различие в нормах функционально-стилевых, диалектных и прочих вариантах языка. К примеру, во многих языках развился артикль, при этом обязательность употребления развивающихся артиклей (и выражаемых ими

грамматических значений) была различной в разное время их становления, а в одно и то же время нормы и обязательность их употребления были различны в прозе и поэзии.

Существенны, однако, другие возражения против рассматриваемой типологии языковых значений.

Во-первых, обращает на себя внимание радикальное переосмысление распространенных терминов. Это было бы оправданным, если бы старые термины не имели права на существование в их принятом смысле. Однако это не так и следовало бы позаботиться о новых терминах для новых понятий.

Во-вторых, рассматриваемая концепция явно опирается на теорию и типологию значения, принятую в семиотике и структурной лингвистике. Поэтому то, что в ней названо синтаксическим значением, оказывается референционно бессодержательным и скорее должно описываться в терминах функций, а не значений, т. е. вообще не имеет права называться значением. Выше уже достаточно говорилось о том, что определение и типология значений, принятые в семиотике и структурной лингвистике, привлекательны лишь на первый взгляд, а на проверку не выдерживают критики в самом их основании. Более того, теперь уже оставлены иллюзии об асемантическом синтаксисе, о возможности описания синтаксиса без обращения к семантике, и в этом плане рассматриваемая концепция уже устарела.

Наконец, лексическое значение в указанном понимании оказывается равным всей заключенной в языковом знаке информации. Оно соединяет в одно то, что в семиотике называют денотативным, сигнификативным и прагматическим значениями. Какого-либо отношения к собственно языковой типологии значений, к специфике организации и выявления значений в структуре языковых знаков это понятие не имеет.

6.2. Уровневая структура языка и лингвистическая типология значений

В отличие от других, лингвистическая типология значений непосредственно связывает их со способом их языкового выражения. По сути дела лингвистическая типология значения не имеет прямого отношения к содержанию и характеру выражаемого значения, а характеризует его по уровневой природе выражающей его языковой единицы. Иначе говоря, это реляционная характеристика значений по лингвистической природе тех единиц, содержание которых оно составляет.

Лингвистическая типология значений прямо связывает значение со способом, характером его языкового выражения. Значение при этом характеризуется не изнутри, например, не по его содержанию, а извне, реляционно, а именно по уровневой природе выражающей его языковой единицы.

Основными категориями лингвистической типологии значений являются значения грамматические, номинативные и коммуникативные, а также синтаксические и словообразовательные (как разновидности грамматических значений), лексические, фразеологические, словосочетательные (как разновидности номинативных значений) и коммуникативные.

В основе различий лингвистических типов значения лежат различия в уровневой, или стратификационной, природе языковых единиц. Языковые единицы могут содержать одно и то же понятие, но, если они принадлежат к разным уровням языковой структуры, их значения будут отнесены к разным лингвистическим типам. Например, слово «маленький», ср. в словосочетании «маленький ключ», и суффикс «-ик», ср. в слове «ключик», значат одно и то же, т. е. связываются с одним и тем же понятием малого, однако за счет того, что «маленький» — уровень слов (лексических единиц), а «-ик» — уровень морфем, их значения будут квалифицированы по-разному: о «маленьком» будет сказано, что оно имеет лексическое значение, а о суффиксе «-ик», что он имеет значение словообразовательное (грамматическое).

Ср. также окончание множественного числа, например «-ы» в «сто-ль», слова «множество», «неединичность» и словосочетание «более, чем один». Их значения по меньшей мере близки понятийно, но значение окончания квалифицируется как грамматическое, значения слов — как лексические, а значения выражения «более чем один» — как словосочетательное. Ср. с тех же позиций значения существительного «вопрос» (лексическое значение) и частицы «ли» (грамматическое значение); значение выражений «тот, для кого совершается действие» или «адресат действия» (словосочетательное значение) и значение окончания дательного падежа «-у», как в слове «Петру» (синтаксическое значение как разновидность грамматического).

В лингвистике не достигнуты полная ясность и единодушие в понимании лингвистических типов значения. Обычно принято противопоставлять понятия лексического и грамматического значений. При этом под лексическим значением понимают семантический инвариант грамматического варьирования слова, т. е. то общее, что есть в значении грамматических форм слова, а разнообразные смысловые дополнения к нему, обнаруживаемые словом в тех или иных формах его грамматической парадигмы, рассматриваются как значения грамматические. К примеру, общим для всех форм числа и падежа существительного «студент» является понятие об учащемся высшего (или среднего специального) гражданского учебного заведения. Оно и составляет его лексическое значение. Дополнительно к этому значению в форме дательного падежа множественного числа «студентам» появляются значения множественности (более чем один) и адресата действия. Эти дополнительные значения квалифицируются как грамматические.

Такое понимание лексического и грамматического значений прочно укоренилось в отечественной лингвистике благодаря лекциям выдающегося русского языковеда Ф. Ф. Фортунатова, прочитанных им в Московском университете, а также работам его учеников и последователей.

Как мы также видели, в другой концепции лексическое значение противопоставляется не грамматическому, а синтаксическому. При этом под лексическим значением понимается всякое референционно обусловленное значение, указывающее на определенные сущности и различия в описываемом мире, т. е. значения, которым нечто соответствует в мире вещей. С этой точки зрения лексическим надо признать значение форм числа, поскольку различие форм единственного и множественного числа соотносится с различием в количестве называемых предметов — один и более чем один.

Синтаксическое значение при таком подходе не имеет референционного содержания, а имеет техническую, чисто языковую функцию связывания слов, построения синтаксических структур. Оно не отмечает каких-либо различий в действительности, а замыкается внутренним миром языка, указывая на связи слов. Например, синтаксическое значение в таком понимании надо приписать формам согласования прилагательных с существительными. Так, различие в формах согласования прилагательного в следующих двух примерах «долгий путь» и «долгая дорога» не отмечает какого-либо различия в денотатах, а служит всего лишь средством указать по роду, числу и падежу определяемое им существительное. Естественно, возникают сомнения, правомерно ли распространять термин «значение» на явления такого рода.

Что касается грамматического значения, то в рассматриваемой концепции оно противопоставлено так называемому неграмматическому значению. Грамматическими называют те значения, выражение которых в определенных лексико-грамматических разрядах слов данного языка является обязательным. К примеру, в любом случае употребления русского существительного его необходимо поставить в ту или иную форму числа и падежа. Тем самым выражение значений числа и падежа обязательно для русских существительных, и это значения грамматические.

Соответственно неграмматическими признаются значения, выражение которых в определенном разряде слов необязательно. Так, в лексико-грамматическом разряде существительных со значением носителя признака выражение этого значения в морфологической структуре слов не является обязательным, ср. «храбрец» и «трус», и по определению такое значение надо отнести к неграмматическим.

Хотя в рассматриваемой концепции отмечаются важные категории лингвистической типологии значений, она не может быть принята по терминологическим соображениям. С одной стороны, для обозначения этих категорий использованы термины, которые в лингвистической традиции

прочно связываются с иным смыслом. С другой стороны, не использованы, пусть и не вполне отстоявшиеся, но более понятные и привычные обозначения этих категорий: лексическим названо референционное (предметно-обусловленное) значение, синтаксическим значением названа функция синтаксической связи, узко толкуется грамматическое значение.

Наконец, в третьей концепции грамматическое значение противопоставляется номинативному. Эта концепция принята в настоящей книге. Суть ее состоит в том, что лингвистическая типология значения прямо связывается с функциональной иерархией единиц языка. Поэтому начать нужно с функциональной уровневой структуры языка.

Естественные языки при всем их типологическом разнообразии обнаруживают в своем строении черты принципиальной общности: все они построены как структуры с одинаковым числом иерархически подчиненных уровней. Единицы языка распределены между уровнями его структуры. Уровни различаются функционально, а именно назначением, ролью составляющих их единиц в выражении смысла. Единицы более высокого в функциональной иерархии уровня обладают всеми свойствами единиц низших уровней, а сверх того — специфическим качеством, которого нет у последних. На каждом уровне единицы могут быть простыми (минимальными, наименьшими) и сложными (составленными из простых).

Низший уровень функциональных языковых единиц составляют единицы, способные к различению смысла и не более. Их можно назвать дистинкторами смысла (дистинктивными, или просто смыслоразличительными единицами). К простым дистинкторам смысла относятся фонемы (в функциональном понимании), тоны, ударения и т. п. Различая смыслы, единицы этого уровня не связаны с каким-либо определенным смыслом.

Единицы следующего уровня и различают смысл, и связываются с определенным смыслом. Поэтому их можно назвать фиксаторами смысла. К ним принадлежат морфемы (в функциональной трактовке), а также служебные слова, не способные номинировать собственный смысл, ср. вопросительную частицу «ли» и слово-формант сослагательного наклонения «бы», предлоги и союзы, не соотносимые с знаменательными словами. К ним же надо отнести такое просодическое средство, как интонация, а также схемы чередования звуков, нулевые морфемы и т. п.

Еще выше по иерархической лестнице размещаются языковые единицы номинативного уровня, способные не только различать и фиксировать смысл, но и номинировать его (номинативные единицы). Номинативность означает способность языковой единицы самостоятельно, без помощи окружения выразить, т. е. актуализировать, вызвать в сознании связанный с ними смысл. Это качество отличает номинативные единицы от фиксаторов смысла. Последние выявляют связанный с ними смысл только в составе единиц номинативного уровня. Звукокомплекс *чан*, будучи произнесен,

вызывает представление о сосуде определенного рода и назначения, но сам по себе не связывается с мыслью (житель некоего места), хотя такое значение есть у морфемы «-чан», ср. «ростовчане, свердловчане». Идея жителя некоего места, хотя и связана с чан, не может быть им актуализирована иначе как в составе номинативных единиц. «Чан» — слово и «-чан» — морфема относятся к разным уровням языковой структуры, первое имеет дополнительное качество номинации, которого нет у второго.

Способность к номинации конкретно проявляется в ряде свойств номинативной единицы, невозможных для единиц низшего уровня. Номинативные единицы сами по себе могут составить высказывание (эллиптические предложения, в определенных случаях также назывные и безличные предложения). Они могут сопровождаться отрицаниями, модальными словами, ограничительными, усилительными и другими уточняющими частицами. Номинативные единицы определенных размеров могут замещаться в тексте местоимениями. В речи к ним может быть поставлен вопрос.

Все эти особенности обусловлены существенным свойством номинативных единиц — способностью актуализировать в сознании говорящих связанный с ними смысл. В конечном счете номинативность прямо связана с автономией языковой единицы от окружения при сообщении связанного с ней значения. Соответственно мере этой автономии различна и степень номинативной способности у разных лексико-грамматических классов слов. Шкала из двух оценок способность/неспособность к номинации — описывает различие на полюсах, между которыми возможны градации.

Можно наметить следующие градации номинативности: 1) существительные и другие субстантивные слова (имена вещей, «вещные слова»); 2) прочие классы знаменательных слов (признаковые, или предикатные слова: прилагательные, глаголы, наречия); 3) основы как компоненты сложных слов; служебные слова (предлоги и союзы), соотносимые с наречиями (ср. «вперед» — наречие и предлог); 4) аффиксы (чаще префиксы), соотносимые с знаменательными словами (ср. «вне» — наречие и префикс, как в слове «внеочередной»); 5) прочие служебные слова (не соотносимые с знаменательными); 6) вспомогательные слова, служащие для образования аналитических грамматических форм, все морфемы, не ассоциируемые со знаменательными словами.

В первой группе номинативность представлена наиболее ярко; субстантивные слова способны составить, помимо эллиптических, назывные (номинативные) предложения. Номинативность в наивысшей мере выступает как способность языковой единицы представить связанные с ней понятия в чистом виде, в отвлечении от его возможных связей, в отвлечении от всякой синтаксической специализации в качестве компонента сложных номинативных структур. Как известно, слова распределены по частям ре-

чи. В основе этого распределения лежит синтаксическая специализация слов, заранее предопределяющая возможные для них синтаксические отношения и функции. Степень синтаксической специализации различна у различных частей речи, и она находится в обратном отношении к номинативной силе слова.

Если, как сказано, понимать под номинативностью способность языковой единицы выразить связанное с ней содержание независимо от сочетаний с другими единицами, способность единицы служить в качестве средства инвентаризации понятий, то следует признать, что способность к номинации в наибольшей мере обнаруживается у имен существительных, а также, конечно, у словосочетаний с главным словом существительным. Эта часть речи наиболее специализирована в номинирующей функции и наименее специализирована в синтаксическом плане. По этой причине всякий раз, когда имеют дело с инвентаризацией понятий, когда ставят задачу дать перечень понятий, взятых сами по себе, то стремятся выразить их номинализированными конструкциями, т. е. представить их в форме существительных или иных субстантивных слов. То же наблюдается всякий раз, когда исследуют значение какой-либо языковой единицы само по себе в отвлечении от ее функционально-синтаксической специализации.

Номинативность свойственна и всем классам признаков (предикатных) слов — прилагательным, глаголам, наречиям, хотя мысль о том или ином понятии у них уже изначально осложнена указанием на их признаковое отношение к чему-либо.

Напротив, служебным словам и морфемам номинативность мало свойственна, и если прослеживается у них, то только в ослабленном виде и только у тех из них, что имеют живую генетическую связь с знаменательными словами.

Что же касается служебных слов, и тем более морфем, не ассоциируемых с знаменательными словами, то здесь уже определенно совершился переход от номинативных единиц к неноминативным. Это проявляется, в частности, в их неспособности составить эллиптическое предложение за исключением разве что специфических случаев ненормативной экономии речи. На вопрос: «Куда идти?» — возможны ответы: 1) «Вперед»; 2) «К мосту», но вряд ли возможно ответить: 3) «К». Даже на альтернативный вопрос, уже содержащий «к», ответить одним предлогом ненормативно, ср. «Куда идти, к мосту или от моста?» — «К».

Неноминативными единицами являются и все вспомогательные слова, служащие для образования аналитических грамматических форм, ср. «быть» как формант сложного будущего времени: «буду петь» и т. п. Даже если вспомогательное слово совпадает по форме с знаменательным словом, от которого оно произошло, первое никак не осознается как семантический или грамматический дериват второго. Многие вспомогательные

слова употребляются как заместители всей грамматической формы: «Будешь ли ты петь?» — «Буду», но и в этом случае они номинируют не собственное значение, а значение всей грамматической формы, включая значение полнозначного слова.

В грамматической парадигме знаменательного слова, если таковая у него есть, наибольшую номинативность проявляет та форма, в которой нейтрализуются оппозиции, представленные в парадигме. Эта форма и представляет слово в словаре. Такой является, например, у русских существительных форма единственного числа именительного падежа.

Простые номинативные единицы, сочетаясь по определенным (и, надо сказать, весьма сложным) правилам, входят в состав синтаксических структур разной степени сложности и образуют сложные номинативные единицы. С этой точки зрения синтаксические построения любого уровня — словосочетания, предложения, сложные синтаксические целые, тексты — являются номинативными образованиями, так как номинируют заключенный в них смысл.

В функциональном плане одни из них, как словосочетание, не обнаруживают нового качества и не выходят за пределы номинативного уровня. Другие, от предложения до текста, перерастают рамки номинации и формируют высший уровень функциональной структуры языка — уровень коммуникативных единиц. В предложении (высказывании) номинативной единице сообщается дополнительное, новое качество — предикация — и производится актуальное (субъектно-предикатное и тема-рематическое) членение смысла с ориентацией на слушающего. Кроме того, выявляются сами позиции говорящего и слушающего и коммуникативные цели высказываний.

На высшем уровне текста речевое произведение приобретает наконец качество полноценной коммуникации. Текст при этом надо понимать широко как реальную единицу коммуникации посредством языка, включая в это понятие все ее формы, не только вторичную письменную речь, но и первичную устную. Текст сводит воедино все функциональные требования к речи — необходимость различать, фиксировать, номинировать и сообщать (коммуницировать) смысл. Текст — единица высшего уровня речевой деятельности, на котором совершается коммуникация и тем самым осуществляется подлинное назначение речи.

Коммуникация требует препарировать смысл и его выражение относительно адресата речи, организовать и сообразовать их содержание и структуру со всем комплексом целей, условий и обстоятельств общения. В совокупности это определяет особое качество единиц высшего уровня функциональной структуры языка. Препарирование смысла и организации речи относительно ее адресата совершается отчасти уже на уровне предложения-высказывания посредством субъектно-предикатного и актуального членения смыслов, но полностью весь комплекс задач коммуникации ре-

шается на уровне текста. И предложение (высказывание), и текст — коммуникативные единицы, но соотносятся они как часть и целое.

Таким образом, любой естественный язык построен как иерархия функциональных уровней, осуществляющих задачи различения, фиксации, номинации и коммуникации смысла, причем по мере движения к вершине иерархии уровни вбирают в себя задачи всех нижележащих уровней и добавляют в него собственное качество. Столь же или, быть может, еще более справедливо сказать, рассматривая иерархию сверху вниз, что на каждом низшем уровне утрачиваются в определенном порядке функциональные качества и языковые единицы все более узко специализируются, обеспечивая в конечном счете наиболее экономное и целесообразное строение языка.

В рамках каждого из основных уровней языковые единицы распадаются на подклассы по разнообразным особенностям, функциональным, строевым (формальным) и иным. Уже говорилось о том, что единицы в пределах одного уровня могут быть простыми и сложными (составными), ср., например, фонемы и слоги на уровне различения смысла. Но на том же уровне известно деление простых единиц — фонем на гласные и согласные, — основанное на различиях их артикуляторно-акустической природы (формы) и функций в звуковом синтезе — анализе речи.

Мы ограничимся только теми подклассами основных функциональных единиц, которые связаны с решением интересующей нас задачи — лингвистической типологией значений, прежде всего займемся единицами уровня фиксации смысла. Единицы — фиксаторы смысла — распадаются на грамматические и неграмматические. Грамматическими называются фиксаторы, никак не связывающиеся с номинацией собственных значений. Неграмматическими называются фиксаторы, которые, напротив, прямо связаны с номинацией своих значений. Например, суффикс *-ик* в слове «ключик» означает приблизительно то же, что и прилагательное «маленький», но в отличие от последнего не служит формой номинации этого значения. Поэтому *-ик* — грамматический фиксатор. Напротив, корень «ключ» в том же слове имеет прямое отношение к форме, номинирующей понятие определенного приспособления для отпирания/запирания дверей и т. п., и поэтому является неграмматическим фиксатором. Другой пример. В словоформе «деятелем» понятие деятеля (агента) содержится трижды: в окончании *-ем*, суффиксе *-тель* и основе *деятель-*. Однако *-ем* и *-тель* не связываются с номинацией этого понятия, и поэтому должны быть, по определению, отнесены к грамматическим фиксаторам. Напротив, основа *деятель-* прямо идентифицируется с формой, номинирующей мысль об агенте действия, и является неграмматическим фиксатором.

К грамматическим фиксаторам относятся окончания, аффиксы, вспомогательные слова, служебные слова, не имеющие наречных аналогов, интонационные контуры, значимые значения звуков, позиции ударения и по-

рядок слов и др. Неграмматические фиксаторы обнаруживаются среди корней и основ слов.

Грамматические фиксаторы, в свою очередь, распадаются на формообразовательные и словообразовательные. Первые образуют грамматические формы слова, вторые — разные слова. Различие между ними основано на упоминавшемся ранее принципе обязательности/необязательности выражения тех или иных значений в строе определенного языка. Формообразовательными считаются те грамматические фиксаторы, значения которых должны быть обязательно выражены в структуре слов определенного лексико-грамматического разряда. Ср. в русском языке показатели времени, наклонения, вида, залога глагола и т. п. Напротив, выражение значений словообразовательных фиксаторов в структуре слов данного лексико-грамматического разряда не является непреложным требованием строя данного языка. Например, в русском языке указание меры действия в рамках структуры глагола не обязательно, хотя для этого имеются соответствующие средства; приставки *пере-* (превышение меры действия) и *недо-* (недостаточная мера действия).

Когда контекст требует назвать меру совершаемого действия, это делают то с помощью приставок, т. е. в рамках структуры глагола, то описательно, прибегая к словосочетаниям, т. е. вне структуры глагола. Ср. *недогрел* — *перегрел*, *недогнул* — *перегнул* (но: *мало любил* — *черезчур много любил*, *не ел сколько надо* — *переел*, *мало старался* — *перестарался*, *мало*, *недостаточно восхищался* — *черезчур*, *чрезмерно*, *слишком восхищался*).

Поэтому показатели времени, вида, наклонения и залога личных глаголов отличны от показателей меры действия тем, что значения первых непременно должны быть выражены в рамках структуры глагола, а значения вторых могут и не найти отражения в структуре глагола. Нельзя употребить личный глагол, не поставив его в форму определенного времени, вида, залога и наклонения. Равным образом, нельзя употребить существительное вне какой-либо формы числа и падежа. В то же время указание на размеры обозначаемой существительным вещи могут содержаться то в рамках структуры существительного, ср. *ключик* — *ключище*, что за ее пределами, ср. *маленький ключ* — *большой ключ*. В этом и состоит различие формообразовательных и словообразовательных фиксаторов.

Идя далее, надо поделить формообразовательные фиксаторы на синтаксические и несинтаксические. Первые указывают на семантические различия в отношениях полнозначных слов, прежде всего субстантивных, в словосочетаниях и предложениях. Точнее говоря, синтаксические фиксаторы указывают, в какие отношения вступают денотаты субстантивных слов в словосочетаниях и предложениях, и характеризуют их по роли (положению, статусу) в этих отношениях. Напротив, несинтаксические фиксаторы указывают признаки денотатов вне их отношений в данной синтак-

сической структуре. Такой же характер, надо заметить, имеют и все словообразовательные фиксаторы. Все синтаксические фиксаторы являются формообразовательными.

Поясним сказанное примерами. Число существительных никак не связано с описанием денотата через его отношения к денотатам других слов в словосочетании или предложении; оно, так сказать, содержит внутреннюю характеристику денотата, указывая сколько их — один или более чем один. Поэтому показатели числа — несинтаксические формообразовательные фиксаторы. Напротив, падежи существительного категоризируют его денотат по отношению к другим денотатам в рамках синтаксической структуры, указывая на него как субъект, или объект, или адресат данного отношения и т. д. Ср. рабочие (субъект действия) строят дом — рабочим (адресат действия) строят дом.

Рассмотрев с тех же позиций глагольные грамматические категории времени, вида, наклонения и залога, нетрудно определить, что первые три категории, равно как и их показатели, надо отнести к несинтаксическим, а залог — к синтаксическим категориям. В самом деле, время, вид и наклонение характеризуют действие вне отношений конкретного предложения. Что же касается залога, то он никак не характеризует само действие, а косвенно, через глагольную форму характеризует существительное, указывая, является ли его денотат субъектом или, напротив, объектом глагольного действия, ср. парламентар приглашает на переговоры — парламентар приглашается на переговоры.

Среди номинативных единиц — словосочетаний (отчасти также предложений) выделяются в особый разряд фразеологические единицы. Известно, что фразеологизмы отличаются от свободных словосочетаний рядом особенностей, в том числе семасиологических и номинационных, а именно особенностей в том, как в них значение соединяется с выражающей его формой, какова в них структура значения и как они обозначают и описывают свои денотаты. Эти особенности различны в различных разрядах фразеологических единиц и прямо связаны с отличиями разрядов фразеологизмов друг от друга.

В целом фразеологические единицы имеют особую природу, помещающую их между словом и словосочетанием (предложением). Соответственно и фразеология составляет отдельную лингвистическую дисциплину, промежуточную между лексикологией и синтаксисом. Здесь нет возможности и необходимости входить в детали фразеологии, а достаточно для уяснения понятий лингвистической типологии значений указать на фразеологические единицы как специфический ряд номинативных единиц — словосочетаний (предложений), в которых «семантическая монолитность (цельность номинации) довлеет над структурной раздельностью составляющих его элементов» (О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов).

Таковы основные представления об уровнях функциональной структуры языка, их подразделениях и составляющих их языковых единицах, которые необходимы для определения категорий лингвистической типологии значения. Напомним то, что было сказано в начале этого раздела. В лингвистической типологии значение характеризуется не по его содержанию или по каким-либо его собственным признакам и особенностям, а по характеру, способу его выражения, а именно по уровневой, стратификационной природе выражающей его языковой единицы. В лингвистической типологии значение характеризуется реляционно, не изнутри, а через выражающую его языковую единицу. Например, значения морфемы *-ик* и прилагательного «маленький» содержательно близки, они соотнесены с одним и тем же понятием о малом, но в лингвистической типологии их значения будут отнесены к разным категориям: одно — к словообразовательным (морфологическим, грамматическим), другое — к лексическим (номинативным), — именно в силу того, что хотя понятия и тождественны, но выражающие их единицы принадлежат к разным уровням языковой структуры. Зная лингвистический тип значения, мы мало что знаем о его содержании, но можем судить о том, как в этом случае выражено понятие, с какого рода языковой единицей оно связано.

Таков принцип лингвистической типологии значений, и теперь можно дать определения основным понятиям этой типологии. Номинативное значение — это значение номинативных единиц, простых и сложных. Это значение всех полнозначных слов и значение служебных слов, деривационно соотносимых с полнозначными. Это также значение всех словосочетаний, причем особой его разновидностью надо считать фразеологическое значение — значение фразеологических единиц. Но это также и значение предложений и всех других единиц, последовательно более высоких уровней, чем предложение, т. е. сверхфразовых единств, сложных синтаксических целых, периодов, абзацев — блоков сверхфразовых единств (сложных синтаксических целых, периодов, абзацев), параграфов, разделов, глав, частей, томов — целых текстов, произведений. В этом проявляется принцип включения, на котором построена уровневая иерархия языковой структуры: единицы всякого вышележащего уровня языковой структуры сохраняют все свойства слагающих их единиц низших уровней и добавляют к ним собственное качество.

Грамматическое значение — значение грамматических фиксаторов разного рода, это, таким образом, та часть значения простых номинативных единиц (полнозначных слов), которая приходится в их структуре на долю грамматических фиксаторов. Как было сказано ранее, особенностью единиц уровня фиксаторов смысла является то, что, будучи связаны с определенным смыслом, сами по себе они не способны номинировать этот собственный их смысл. Грамматические значения подразделяются на формообразовательные — значения показателей грамматических форм слов и

предложений и словообразовательные — значения словообразовательных фиксаторов. Словообразовательное значение — это часть номинативного и разновидность грамматического значения, приходящаяся в структуре производного слова на долю словообразовательных средств.

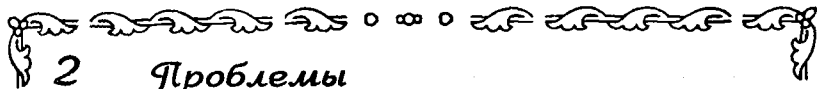
Лексическое значение — то общее, что сохраняется в значении всех грамматических форм полнозначного слова, т. е. семантический инвариант обязательного грамматического варьирования слова. В производных словах значения словообразовательных средств включены как часть в состав лексического значения. Поскольку словообразовательные значения — род грамматических, противопоставление лексического значения грамматическому неправомерно. Правомерно противопоставлять грамматические значения номинативным, и противопоставляются они как разные модусы выявления, актуализации понятий в структуре языковых выражений.

Лексическое значение — не просто абстракция общего от значений грамматических форм слова, оно номинировано. Дело в том, что грамматические формообразовательные оппозиции в значительной мере обнаруживают свойство привативных оппозиций, т. е. проявляют способность нейтрализовать свои противопоставления. Так, форма именительного падежа существительного выражает значение, противопоставляющее этот падеж всем другим падежам и позволяющее, например, отличать агента действия (именительный падеж) или адресата (дательный падеж), орудия (творительный падеж) и объекта действия (винительный падеж), ср. одним топором выстроил плотник дом своему сыну. Вместе с тем из всех падежей существительного именительный падеж способен употребляться независимо от указанных противопоставлений, так что мысль об агенте действия погашается, нейтрализуется, и именительный падеж способен называть уже объект действия, ср. дом был построен одним топором. Тем самым оппозиция падежей в одних случаях обнаруживает качество эквиполентной оппозиции, где каждый падеж выражает свое значение, противопоставленное всем другим, а в других — качество привативной оппозиции, где одна из форм — форма именительного падежа — безразлична к оппозитивным значениям, выражает любое из них и ни одно из них. Как известно, такая форма в привативной оппозиции называется немаркированной. Ей противостоят маркированные формы, всегда сохраняющие за собой положенное им оппозитивное значение.

В категории грамматического числа существительных наблюдается та же тенденция. Эквиполентная оппозиция: один (форма единственного числа) — более чем один (форма множественного числа) — способна превращаться в привативную оппозицию: безразлично сколько (немаркированная форма единственного числа) — более чем один (маркированная форма множественного числа), ср. магазин готового платья, отдел букинистической книги.

Таким образом, форма именительного падежа единственного числа существительных оказывается немаркированной по общим основаниям и номинирует то общее, что есть в значениях всех грамматических форм существительного в отвлечении от противопоставлений по падежам и числам. Лексическое значение поэтому есть род значения номинативного.

Аналогичная картина наблюдается в других частях речи. Их грамматические оппозиции устроены сходным образом: эквивалентные оппозиции допускают преобразование в привативные, и в грамматической парадигме слова обнаруживается максимально немаркированная форма, тяготеющая к тому, чтобы нейтрализовать все оппозиции. Эти формы и номинируют лексическое значение в «чистом виде». Понятно, что именно такие формы должны избираться, чтобы представить данное слово в словаре. Ср. в русском языке именительный падеж единственного числа существительных, именительный падеж единственного числа мужского рода положительной степени прилагательных, неопределенная форма несовершенного вида действительного залога глаголов.



Проблемы лексической семантики: структура лексического значения

1. Лексическое значение и понятие (концепт)

Важнейшими проблемами лексической семантики являются соотношение лексического значения и понятия, структура лексического значения, семантическая структура слова и семантическая структура словаря.

Проблема соотношения лексического значения (и языкового значения вообще) с понятием имеет давнюю историю, однако еще не получила общепринятого решения и до сих пор вызывает оживленные дискуссии. Диапазон представлений об этом соотношении весьма широк. В концепции лингвистической относительности (В. Гумбольдт, Э. Сепир, Б. Уорф, Л. Вайсгербер и др.) для понятия вообще не находится места: считается, что картина мира, какой она представляется сознанию, предопределена строем языка, особенностями его «покроя». Тем самым значения определяются структурой языка и, в свою очередь, определяют видение мира.

В смягченном варианте этой концепции полагают, что в сознании представлены два отдельных концептуальных уровня — уровень значений и уровень понятий. Первый идиотичен, т. е. его членения и структура своеобразны в каждом языке и связаны с особенностями его строя. Вторым универсален, т. е. одинаков у всех людей и независим от конкретного языка. Речевое мышление сопровождается внутренним переводом с уровня понятий на уровень значений, и наоборот. Наличие универсального понятийного уровня обеспечивает успех перевода языка на язык и возможность людям, говорящим на разных языках с разными системами значений, понимать друг друга.

Разновидностью этого варианта надо считать взгляд на значения языковых знаков как концептуальные образования низшего уровня, чем понятия. Подлинными понятиями при этом считают научные понятия, а значе-

ния слов помещают между представлениями и понятиями. Исключение составляют слова — термины, значения которых «дотягивают» до понятий.

В еще более мягком варианте полагают, что и значения, и понятия принадлежат одному концептуальному уровню, что значения — тоже понятия, но понятия содержательно бедные, неглубокие, отражающие только отличительные признаки вещей и соответственно служащие для различения вещей без проникновения в их сущность. Последнее доступно только, опять-таки, научным понятиям, строящимся на существенных признаках вещей.

Тщательный анализ этих концепций с позиций и в интересах различных наук — теории познания, психологии, лингвистики, антропологии, этнографии и сравнительной культурологии — заставляет усомниться в их правильности. То, как люди видят и членят мир, обусловлено не структурой их языка, а действительностью и их деятельностью. Структура сознания производна от структуры деятельности общественного человека и структуры действительности, в которой разворачивается его деятельность. Нет причин, которые побуждали бы его формировать в своем сознании наряду с концептуальным уровнем, отражающим структуру его деятельности и действительности, еще один промежуточный уровень концептуальных единиц, который был бы структурирован сообразно особенностям строя его языка. В этом просто нет необходимости.

Форма языка весьма непоследовательно отражает структуру сознания. Между ними нет жесткой зависимости, и язык может позволять себе значительную свободу варьирования.

Нет также основательных доводов в пользу того, что между концептами — научными понятиями и концептами — словесными значениями непременно должно существовать принципиальное различие, настолько большое в каждом случае, что надо говорить о двух разных концептуальных уровнях сознания. Всякая вещь неисчерпаема. Сами научные понятия — категория историческая. Среди них есть истинные и ложные, глубокие и поверхностные, стабильные и меняющиеся, развивающиеся и оставленные. Последовательно разграничить глубокие научные понятия от приблизительных житейских — задача, безусловно, невыполнимая, поскольку обыкновенные понятия развивают требуемую меру глубины и точности.

Справедливо, что обиходные понятия отстают от научных, а иногда и входят в конфликт с ними, но справедливо и то, что со временем первые подтягиваются ко вторым. В любом случае при всем возможном различии по глубине и адекватности отражения вещей они принадлежат одному концептуальному уровню сознания — обобщающе-абстрагирующему сознанию. В противном случае надо признать, что человек до сих пор находится на допонятийной стадии мышления, так как даже в наше время научной разработкой затронута лишь малая часть предметных областей, охваченных совокупной деятельностью человека, не говоря уже о том, что

у каждого из нас освященные наукой понятия составляют лишь малую часть наших знаний о мире.

Наконец, нет никаких свидетельств в пользу того, что люди систематически расщепляют всякое понятие на две части: одну, служащую только целям различения вещей независимо от их сущности, и другую, отражающую существенные признаки вещей. В таком случае следовало бы ожидать два понятия о таком важном для нас предмете, как человек: 1) двуное бесперое существо с мягкой мочкой уха (бедное «отличительное» понятие — значение) и 2) разумное пользующееся речью существо (глубокое «существенное» понятие). Очевидно, что люди образуют единое понятие о классе вещей, объединяя в нем все общие для класса признаки, существенные и просто отличительные. Последние выделяются особо только для специальных случаев, например, когда понятия о каком-либо классе еще нет, а нужно указать принадлежащие к нему вещи.

Итак, человек не образует о вещи понятий двоякого рода: одно — обиходное, пригодное только для отличения данной вещи от других; другое — ученое, глубокое, построенное на существенных признаках вещи, прогнозирующее множество иных ее признаков и проявлений. У него есть единое понятие, глубина и содержательность которого обусловлены его опытом данной вещи, содержанием и характером всей его деятельности, имеющей данную вещь в качестве ее объекта. Новое более глубокое знание реже отвергает старое знание, оно чаще включает его, указывая его ограниченность. Человек не созерцает вещи, а осваивает их. Для этого ему мало знать отличительные признаки, а надо знать существенные признаки, и он не проводит специального различия между теми и другими и не образует двух понятий об одном — он углубляет единое понятие. Естественно, что в его памяти разные признаки могут быть представлены с разной мерой отчетливости и выпуклости, но и тут не проводятся различия между просто отличительными и существенными признаками — ярким предстает то, что больше всего отработано в опыте, практике, деятельности.

Понятие одинаковой предметной отнесенности (т. е. понятие об одном и том же) у разных людей могут различаться содержанием, глубиной и мерой соответствия сущности вещей, но нет оснований противопоставлять обыденные понятия так называемого здравого смысла и научные понятия как мыслительные сущности разных уровней. В сознании человека нет двух миров — мира строгих и глубоких научных понятий и поверхностных бедных понятий о вещах, достаточных только для их различения. Наука, понятно, предъявляет повышенные требования к значению своих терминов, но принципиального различия между научными и житейскими понятиями не должно быть. Могут быть временные размолвки и известная дистанция. Наука постоянно подтягивает здравый смысл до своего уровня, но это было бы нельзя сделать, если бы они отличались друг от друга как мыслительные формы разного рода и уровня.

Стремление непременно развести понятие и словесное значение как мыслительные сущности разного рода питается — часто неявно — ошибочной, но все еще мощной философской традицией, идущей от Платона через средневековый философский реализм и объективный идеализм к современности. Понятия-идеи в этой традиции рассматриваются как предустановленные независимые от человеческой деятельности самостоятельные сущности идеального порядка, как вневременной идеальный эталон, равноправный с самой вещью и столь же содержательный. Понятие в такой трактовке перестает быть продуктом конкретного познавательного деятельностиного процесса, утрачивает историческую конкретность, отрывается от обстоятельства места и времени, теряет свою «рабочую» природу. Процесс познания вещи при этом представляется как движение к этому предустановленному эталону, как стремление постигнуть и реализовать его в научных построениях.

Между тем понятия, безусловно, являются исторической, меняющейся и развивающейся категорией. Нет понятий как идеального вневременного универсального эталона. Равным образом нет и сугубо национальных понятий, если под этим понимать собственное видение мира, специфическое членение действительности, не мотивированное условиями жизни и деятельностью данного коллектива. Мысль имеет такие членения и такое содержание, какие обуславливаются общественной практикой людей в известный исторический период и условиями того участка объективного мира, в которых разворачивается деятельность людей. И если развитие и углубление понятий совершается в конечном счете повсюду единообразно, то это обусловлено единством вещного мира и общностью магистрального направления развития человеческой деятельности и самого человечества, а вовсе не стремлением реализовать заранее предустановленный эталон. Такого эталона нет, и самое научное понятие не исчерпывает всей сущности вещи. Оно лишь более или менее удовлетворительно для определенного уровня общественной практики людей. История науки показывает, что новые, более глубокие и адекватные понятия, решая одни познавательные и практические задачи, открывают еще более широкий фронт проблем.

Следует всячески подчеркнуть деятельную, «рабочую» природу понятия, его обусловленность конкретными потребностями, условиями и уровнем общественной практики человека. В сознании людей могут быть разные составы понятий, люди могут иметь точные, верные и превратные, ошибочные понятия об одном и том же, их понятия могут быть более или менее глубокими и содержательными, они могут закреплять в понятии существенные и несущественные, реальные или мнимые общие свойства, наконец, у них могут быть понятия о чем-то несуществующем и т. д., но понятие во всех случаях остается понятием, т. е. определенной мыслительной (концептуальной) формой — обобщающей абстракцией.

Понятия, как и любые другие идеальные сущности, производны, вторичны по отношению к действительности и деятельности человека. Это принципиальное положение не отменяется тем, что многие понятия являются в той или иной мере конструктами сознания, а некоторые — и просто фантастичными. В этом нет ничего неожиданного. Сознание и психика к тому и призваны, чтобы не просто фиксировать и анализировать ощущения от внешнего мира, но обеспечивать опережающее отражение действительности. Конструкты сознания — та основа, на которой возможно предвосхищать развитие событий, верно планировать свои действия, делать оправданные прогнозы и т. п. Что же касается несостоятельных фантазий сознания, то практика отводит им подобающее место.

В конечном счете вполне справедливо считать, что в сознании все дано, дифференцировано и структурировано, как в деятельности человека. Всякий человек практически различает и отождествляет предметы своего опыта единообразно с другими людьми в той мере, в какой он сам включен как часть в коллективную деятельность людей; индивидуальная система понятий в той мере однородна коллективной, в какой индивид включен в деятельность коллектива. Основания различения и отождествления понятий и сама структура сознания коренятся в структуре и дискретизации практики. Общность действительности, общность опыта у разных людей, общность их материальной и социальной природы, наконец, общность коммуникативной деятельности обеспечивает достаточно единообразную картину членения мира, достаточную общность содержательного наполнения понятий и принципиальную общность понятийных структур сознания.

Значения словесных знаков — те же понятия, но понятия, связанные со знаком. Языковые значения не представляют собой чего-то содержательно отличного от понятий, не образуют особого концептуального уровня сознания. Они никак не специфичны по своей мыслительной природе. Все их отличие от понятий проистекает из указанного факта — отнесенности к знаку. Хотя появление понятий в фило- и онтогенезе и дальнейшее их функционирование требуют знака в качестве неперменного условия, понятия непосредственно формируются как отражение деятельностных отношений человека с действительностью. Поэтому когда мы говорим о понятиях самих по себе, мы интересуемся прежде всего отношением мыслительных единиц к действительности и человеческой деятельности. Когда же речь идет о значениях, то предмет интереса сдвигается к знаковому выражению мыслительных единиц, к отношениям мыслительных единиц, сформированных как отражение деятельностных отношений человека с действительностью, к выражающим их знакам.

Итак, говоря о понятиях и значениях, мы по существу имеем дело с одним и тем же предметом — концептуальным уровнем абстрагирующих обобщающих единиц сознания, но рассматриваем эти единицы в разных направлениях и с разными целями: в одном случае нас интересует, что они

отражают, в другом — как их выражают. В одном случае нас интересует, как они сформированы, разграничены, что определяет их содержание, структуру и системные связи, в другом — как они соотносены с выражающими их знаками и распределены между ними.

Поскольку значения — те же понятия, они сохраняют за собой все то, что относится к понятиям: их содержание, структура, системные связи, характер отражательной природы и т. д. и т. п. Но поскольку значения — понятия, связанные со знаком, то добавляется еще то, что является следствием этой связи. Связываясь со знаком, понятия становятся семантическими единицами — значениями или частями значений (семами). Совокупности значений образуют семантические системы языков (системы значений). В отличие от понятийных систем, которые обнаруживают несравненно более общих черт, чем различий, причем различия мотивируются внеязыковыми причинами — особенностями среды, истории, культуры и т. п., семантические системы языков, т. е. свойственные им системы значений, весьма своеобразны в каждом языке, и нам надо с самого начала уяснить причины этого своеобразия.

Одна из причин своеобразия семантических систем языков лежит на поверхности — различия в понятиях и понятийных системах народов как отражение различий в обстоятельствах и содержании материальной и духовной жизни народов. При всей подавляющей общности фундаментальных условий жизни у каждого из них имеются свойственные только им специфические реалии культуры, быта, среды и т. п., которым в иной культуре и понятийной системе соответствуют полные или частичные пробелы, так называемые материальные и понятийные лакуны. Понятно, что различия в понятийных системах народов тотчас же отражаются в различиях семантических систем их языков, по меньшей мере на участках этих систем.

И все же своеобразие культур и понятийных систем отнюдь не главная причина поразительного своеобразия семантических систем. Дело в том, что даже максимально возможная близость культур и понятийных систем никак не исключает значительного своеобразия семантических систем, систем значений. Чем это объясняется и каков характер этого своеобразия?

Объяснение достаточно просто и никак не связано с каким-либо специфическим видением мира. Мысль оставляет языку большую свободу в выборе способов ее выражения и даже в степени полноты ее передачи. На этой основе и возникает многообразие языков, которое увеличивается еще более за счет различий в обстоятельствах материальной и духовной жизни народов и, напротив, сглаживается за счет родства и контактов языков, за счет общности мыслительных процессов и за счет общности в структуре и связях самой деятельности человека и действительности. Языки широко пользуются этой свободой, варьируя свои типологические черты и особенности строения на всех уровнях своей структуры.

Своеобразие семантических систем языков — результат прежде всего внутриязыковых причин, непосредственно не связанных с понятийными, мыслительными различиями.

Во-первых, в силу того, что между знаками и понятием не обязательна какая-либо естественная зависимость или сходство (принцип произвольности знака), распределение понятий-значений между знаками не подчинено каким-либо строгим правилам и как результат — своеобразно в каждом языке. Примеры этого обнаруживаются на каждом шагу. Английский глагол *receive* соединяет в себе два понятия-значения, которые в русском языке передаются двумя глаголами: *receive (guests)* принимать (гостей); *receive (letters)* получать (письма). Напротив, русское существительное *кора* сводит вместе в виде трех своих значений три понятия, которые в английском передаются раздельно: *кора (земная) (earth) crust*; *кора (древесная) bark, rind*; *кора (головного мозга) cortex*. Многозначные слова в двух языках не совпадают во всех своих значениях: структура полисемии в каждом языке своеобразна. Это хорошо известно каждому изучавшему иностранный язык. Для этого достаточно сравнить словарные статьи слов одного языка с соответствующими словами другого языка.

Во-вторых, в каждом языке понятия не только своеобразно разведены по языковым единицам как их значения, но и единицы эти могут принадлежать к разным уровням языковой структуры. Иначе говоря, в языках есть различия в распределении понятий по уровням языковой структуры. То, что в одном языке выражается только лексически, словами, в другом языке может также выражаться грамматически, например, морфемами, ср. *англ. little key русск. ключик; англ. fatherless не имеющий, лишенный, оставшийся без отца.*

В-третьих, каждый язык может по-своему комбинировать понятия в значения. Здесь уже речь идет не о том, что одна языковая единица может выражать несколько разных понятий и соответственно иметь несколько разных значений, а о том, что в одном и том же значении языковой единицы могут быть скомпонованы в одно структурно сложное понятие несколько более простых понятий. Такое компонование может осуществляться по-своему в каждом языке. В результате языки, не различаясь наборами понятий и понятийными системами, могут заметно отличаться комбинаторикой, компонованием понятий в значения и, как следствие, различаться значениями и семантическими системами в целом. Ср. *англ. to map русск. укомплектовывать штатами (личным составом); русск. плотничать англ. work as a carpenter*. При переводе это сказывается в том, что выраженное в одном языке словом, в другом нередко выражается словосочетаниями (а иногда и целым предложением), и наоборот.

В-четвертых, допускается также значительная свобода в том, что описываемых вещах и событиях должно быть сказано эксплицитно, а что может быть оставлено имплицитно, домысливаемым из логики контекста и

ситуации речи. При равной коммуникативной установке денотаты подаются с разной мерой эксплицитной разработки. В результате семантические системы разных языков на различных своих участках отличаются плотностью — разреженностью семантических средств. Как следствие, вещи и события изображаются с разной мерой экспликации, прорисовки. Это прежде всего относится к грамматическому строю языков. Развитая система видовых форм позволяет русскому языку основательно прорисовывать видовую характеристику глагольных действий. Ср. в русском и английских языках: *Его вчера обманули. He was deceived yesterday. Его вчера обманывали. He was deceived (not once) yesterday.* Однако русский язык менее «заботит» длительность действия. Одна и та же форма может выражать и обычное, и длительное действие, происходящее в данный момент. Русское *он работает* соответствует в английском *he works* или *he is working*.

Наконец, в случае объектов-континуумов сама действительность не препятствует членению ее различными способами, и это дает в результате различающиеся понятийные и семантические системы. Континуумами называют объекты, части которых недискретны, не отделены друг от друга какой-либо границей, а плавно переходят друг в друга. Это отличает их от дискретных объектов, где границы служат опорой членения. Примером континуумов служит цветовой спектр, образуемый плавным изменением длины световой волны. Различие в длине световой волны воспринимается глазом как разные цвета. Но поскольку волна меняется недискретно, один цвет плавно переходит в другой, и границы их достаточно произвольны. В определенном смысле одинаково справедливо сказать, что тут мы имеем дело с одним непрерывно меняющимся цветом или с бесконечным множеством цветов. По природе континуума допустима множественность способов членения, его дискретизация произвольна. Соответственно семантические системы основных цветообозначений в разных языках насчитывают разное число единиц. В английском их шесть, в русском — семь (за счет различия синего и голубого среди основных хроматических цветов).

Закljučая раздел, повторим его главные мысли. Значения не образуют особого концептуального уровня сознания. Мы видим мир таким, каким он дан нам в наших понятиях, а сами понятия, их содержание, связи и соотношения формируются в прямой зависимости от действительности и человеческой деятельности.

Значение — понятие, связанное знаком. Содержательно значения словесных знаков — те же понятия, но взятые в отношении к выражающим их языковым единицам. Соотношения понятий и знаков, в совокупности составляющие семантические системы языков, своеобразны в каждом языке. Это своеобразие несравнимо больше различий в соответствующих понятийных системах. Понятийные системы представляют собой абстрактно-обобщенное отражение структур человеческой деятельности и действительности. Различия в этих системах производны от различий в матери-

альной и духовной жизни народов и составляют лишь один источник своеобразия семантических систем языков. Главные источники семантических различий языков не имеют отношения к тому, как люди видят мир. Они — не отражательной, а внутриязыковой природы. Ими являются своеобразие систем распределения понятий среди языков, в том числе знаков разных уровней языковой структуры, своеобразие языков в компоновании сложных понятий-значений из более простых, различия в «разрешающей способности» семантических систем (в особенности семантико-грамматических) на разных их участках и, наконец, свобода в членении недискретных денотатов.

2. Два вида и два аспекта понятия (концепта)

Различаются два вида понятий по характеру образующей их абстракции и предмету обобщения: понятие о признаке и понятие о классе.

Понятия о признаке в логике также называются понятиями об «абстрактном предмете». Они образуются абстракцией (отвлечением) общего признака от многих иначе чем-то различающихся вещей. Обобщаемым предметом оказывается не вещь, а признак. В основе понятий о признаках лежит не абстракция обобщения вещей, а абстракция от вещей — так называемая изолирующая, или аналитическая, абстракция. В результате образуется не понятие о классе вещей, а понятие об общем признаке вещей, например, о весе, длине, цвете, скорости, доброте, сознательности и т. д. и т. п.

Напротив, в основе понятий о классе лежит абстракция обобщения вещей с общим основанием, т. е. обнаруживающих какие-то общие для них всех признаки. Классы могут быть реально существующими и мнимыми. Последние в логике называют пустыми классами, например: кентавр, сирена, русалка, гном, леший, домовый и т. п. Но даже если класс и существует в действительности, это не то же самое, что существование единичных вещей этого класса, его реальных представителей. Между ними — различие в уровне конкретности. Конкретно существуют представители класса, класс же является абстракцией, их обобщением. Между вещью и ее классом стоит моделирующая деятельность сознания, выявляющая общее в различном, сводящая бесконечное многообразие мира к конечному и постигающая его закономерности. Класс возникает в результате абстракции обобщения, т. е. мыслительной операции такого моделирования мира в сознании, которая позволяет ему оперировать не образами отдельных единичных вещей, а их обобщенными мыслительными представителями — понятиями.

Понятия о классе иначе еще называются общими понятиями. Применительно к единичным представителям класса общее понятие трансфор-

мируется в единичное понятие, т. е. понятие о некоем единичном представителе данного класса, ср., например, понятие о городской площади вообще и Красной площади в Москве, об улице — проспекте вообще и Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Основными характеристиками понятия являются его контенсионал (содержание понятия) и экстенсионал (объем понятия). Эти термины нам уже известны из обсуждения в первой главе вопроса о значении репрезентирующих имен в речи. Контенсионал единичных понятий о вещах данного класса содержит постоянную центральную часть, называемую интенционалом. Интенционал понятия составляют признаки, общие для данного класса вещей. Контенсионал единичного понятия включает, помимо интенциональных признаков, еще индивидуальные признаки той или иной вещи, не обязательные для данного класса.

Экстенсионал понятия определяется множеством вещей, к которым приложимо данное понятие. У единичного понятия экстенсионал равен единице. Точнее говоря, единичное понятие соотнесено с конкретной единичной вещью. Экстенсионал общего понятия включает все множество вещей с данным общим основанием.

В том же смысле говорят о мощности понятия (класса, множества). Классы различаются содержанием и мощностью. На этой основе разграничивают родовые и видовые общие понятия, ср. рабочий и токарь. У родовых понятий более широкий экстенсионал и более бедный интенционал, включающий меньшее число общих признаков. Видовые понятия, напротив, имеют более узкий объем, но более богатое содержание. Родовые, видовые и единичные понятия относятся к разным уровням обобщения и конкретности.

Отметим одну важную тонкость. Возможны понятия о классах с мощностью в единицу, т. е. класс содержит не более одной вещи, ср. последний монарх на Земле, миллионный пассажир Аэрофлота в будущем году, самый разрушительный тайфун. Это не единичные, а общие понятия с референцией к классу, хотя класс содержит всего одного представителя. Они превращаются в единичные понятия только с установлением референции к конкретно-единичному, и тогда понятие открывает в своем содержании место для признаков сверх тех, что входят в определение класса. Например, о последнем монархе на Земле станет известно, что он был монархом такой-то страны, что он был, скажем, лыс, но носил усы и т. п.

Внимательное рассмотрение понятий о классах обнаруживает, что у них есть два аспекта — индуктивно-эмпирический и конструктивно-логический — и что всякое понятие складывается, существует и развивается в постоянном соотношении и согласовании этих двух аспектов.

Понятие в индуктивно-эмпирическом аспекте возникает в результате индуктивного обобщения. Наблюдая вещи¹, устанавливая в них общее и различное, человек составляет понятие о классах вещей и их признаках. В

этом познавательном процессе целью является получить классификацию, соответствующую природе вещей, такую, которая бы возможно точно отражала распределение и зависимости признаков в вещах, строилась бы на основе существенных признаков и закономерных связей и обладала бы максимальной прогностической силой в том смысле, что позволяла бы предугадывать иные признаки и проявления вещей, позволяла бы человеку правильно ориентироваться в мире и успешно действовать в нем.

При этом человек открывает для себя, что мир диалектичен и имеет вероятностную природу. Он обнаруживает, что границы между классами вещей текучи, зыбки, что эти классы представляют собой нечеткие множества, что отнесение вещей к тому или иному классу не абсолютно. Он также обнаруживает, что всякая жесткая классификация огрубляет, конструирует реальную картину. Оказывается, что признаки, обнаруживаемые у вещей того или иного класса, не все строго обязательны для каждой вещи данного класса, а скорее характеризуются большей или меньшей вероятностью быть обнаруженными у вещей этого класса.

Результатом является индуктивно-эмпирическое понятие с вероятностной структурой как отражение диалектической вероятностной природы мира. Понятие в этом его аспекте не может быть жестко детерминированной закрытой структурой из конечного числа признаков. Оно неизбежно должно быть динамичным, а его содержание в должной мере текучим, подвижным. Содержание понятия в его индуктивно-эмпирическом аспекте имеет вероятностную (стохастическую) структуру. При этом какой-либо признак характеризуется не столько вхождением-невхождением в содержание понятия, сколько степенью вероятности, с какой ожидают его наличия или отсутствия у вещей данного класса. Вероятностные структуры коротко называются стохастизмами.

Понятие при этом строится не по законам двужаночной жесткой логики да/нет, наличествует/отсутствует, а по законам вероятностной логики. Оно строится на той сложной, до сих пор наукой не проясненной основе, на какой люди отождествляют и различают вещи, группируют их в классы и разводят по разным классам, образуют в своем сознании и распознают образы вещей. Содержащиеся в индуктивно-эмпирическом понятии признаки: 1) характеризуются степенью вероятности вхождения-невхождения в понятие, 2) связаны предметно-логическими зависимостями, т. е. образуют структуру, и 3) взаимозависимо варьируются в диапазоне возможных для них значений (здесь в смысле значений-величин).

Разумеется, когда мы говорим о понятии как вероятностной структуре, речь идет не о количественной вероятности в математическом смысле, а о так называемой житейской вероятности, т. е. о приблизительных, но достаточно единообразных вероятностных оценках явлений. Аппарат вероятностных оценок подобного рода — реальность каждого сознания. Вероятности признаков при этом размещаются на соотнесенных шкалах при-

близительных оценок, различающихся мерой детализации и насчитывающих от двух до семи делений: *есть — нет, всегда — часто — редко — никогда, всегда — часто — средние — редко — никогда, всегда — очень часто — часто — средние — редко — очень редко — никогда.*

Индуктивно-эмпирическое понятие своей разветвленной вероятностной структурой вырастает в общую систему знания, откладывающегося в сознании человека как из его собственного опыта, так и из опыта других людей, освоенного им через посредство языка. Стохастический характер индуктивно-эмпирического понятия обусловлен не только природой вещей, обобщаемых в классы, но связан еще с тем обстоятельством, что всякий человек осваивает уже готовый язык и готовую систему обозначения и осмысления вещей. Образуя понятие о некоем классе, человек согласует содержание этого понятия с этой заданной классификацией.

Если некто наблюдает, что таких-то животных называют *кошка*, он отыскивает общие признаки этих животных и образует понятие о классе животных, называемых кошками.

Признаки, составляющие содержание такого понятия, очевидно, отбираются по вероятности их наличия у всех наблюдаемых кошек. В принципе, ни один из этих признаков в отдельности не является строго обязательным для каждой кошки, и если он отсутствует, это еще не исключает отнесения некоего животного к классу кошек, хотя и может дать повод к сомнениям. Отсутствие нескольких обычно ожидаемых признаков увеличивает сомнения и может создать классификационную проблему. Каждый из «типовых» признаков идеальной вероятностной модели *кошки* (размеры; форма головы, лап, хвоста, глаз; длина, характер, цвет шерсти; характер издаваемых звуков; повадки и т. д. и т. п.) может варьировать в некотором количественном или качественном диапазоне, т. е. имеет некий диапазон возможных значений-величин. Нетипичность какого-то признака, отсутствие ожидаемого признака, появление нетипичного признака несколько ограничивают диапазон варьирования других типичных признаков. Чем больше типичных признаков затрагиваются изменениями, тем жестче ограничивается диапазон возможного варьирования других ожидаемых признаков, вплоть до классификационного сбоя, когда сомнения в отнесении к классу перерастают в отказ причислить к классу.

Как видим, варьирование вероятностной структуры описывается как стохастизм, т. е. само оказывается вероятностной структурой.

Вместе с тем в практической деятельности, в решении конкретных ее задач, при осуществлении любых действий вполне правомерно и, более того, необходимо отвлекаться от «текучности» вещей, размытости границ и вероятностной природы мира и руководствоваться хотя и приближительными, но экономными и вполне достаточными для определенных целей жесткими моделями мира, которые хотя и огрубляют, схематизируют или, как говорят, конструктивизируют реальный мир, но зато однозначны, оп-

ределенны и операбельны. Классифицируя вещи, сознание идет двумя путями: 1) постулирует класс и, отыскивая общие для вещей этого класса признаки, образует в результате понятие о классе вероятностной структуры; 2) постулирует признаки и, подыскивая вещи с этими признаками, образует понятие о классе жесткой структуры.

Тем самым понятие единой предметной отнесенности обнаруживает два аспекта — вероятностный индуктивно-эмпирический и жесткий конструктивно-логический. Конструктивно-логическое понятие связано с огрублением действительности. Вещи, их связи и закономерности представляются более жесткими и однозначными, чем в реальном мире, от их текучести, размытости их границ отвлекаются, имеет место конструктивизация действительности в сознании. В отличие от индуктивно-эмпирических понятий, возникающих из рассмотрения вещей, отыскания у них общих признаков, установления зависимостей и параметров признаков и, наконец, объединения вещей в классы по этим признакам (исходной является гипотеза о классе), в этом случае идут обратным путем — исходной является гипотеза о признаках, задается признак (признаки), которому (которым) должен удовлетворять класс вещей. Отсюда и название — «конструктивно-логический аспект понятия».

Понятие существует в постоянном соотношении, противоборстве и согласовании двух своих аспектов. Наличие их обусловлено диалектическим характером процесса познания. Эти два аспекта понятия соответствуют созерцательно-познавательной и познавательно-преобразующей сторонам общественной деятельности человека.

Характерной чертой естественных языков, отличающей их от формализованных семантических языков, надо считать то, что словесные знаки своими значениями связаны не только с понятиями жесткой структуры, как в формализованных языках, но и понятиями размытой вероятностной структуры. Это делает естественные языки первичными универсальными инструментами познания.

Недостатком индуктивно-эмпирических понятий и классификаций является некоторая неизбежная неопределенность, расплывчатость объема и известная текучесть содержания, связанные с их стохастической структурой. Достоинством является то, что в них отражена диалектичность природы самих вещей, и то, что по мере углубления они приближаются к постижению сущности вещей и, следовательно, к их освоению человеком.

Достоинством конструктивно-логических понятий и классификаций является их однозначность, строгость содержания и определенность объема, связанные с тем, что они задаются по определению. Конструктивно-логические понятия строги в том смысле, что постулированные общие свойства обязательно входят в содержание понятия, они детерминированы определением класса, не имеют вероятностного характера, а должны обязательно обнаруживаться у всех предметов этого класса. Оперирование

этими понятиями при соблюдении логических правил дает надежный результат, исключает ошибочность вывода и может быть формализовано как исчисление суждений. Однако для класса, выделенного на логическом основании, безразлично, насколько существенным или несущественным для вещи оказывается признак, лежащий в основании класса. Их недостаток — в том, что они не дают ничего сверх того, что содержится в их определении. Они фиксируют определенный достигнутый уровень знания и для того, чтобы подняться на более высокий уровень, требуют переформулирования. Для этого необходимо обратиться к понятию той же предметной соотнесенности, но в его индуктивно-эмпирическом аспекте. В индуктивно-эмпирических понятиях фиксируется процесс накопления обобщаемых знаний, но для оперирования ими сознание превращает их в логические понятия с детерминированной структурой. Эмпирическое понятие в силу вероятностного характера своей структуры видоизменяет свое содержание по мере накопления опытного знания; содержание логического понятия не может быть видоизменено, а лишь радикально переформулировано. Моделирование мира совершается именно в терминах логических понятий. Коль скоро обнаруживается недостаточная адекватность модели, понятия переформулируются и создается иная модель. Происходит, таким образом, постоянное взаимодействие двух аспектов понятия. Познавательный процесс совершается в постоянном соотнесении логического понятия и построенных на его основе логических моделей с индуктивно-эмпирическим понятием и через него с миром действительности. Индуктивно-эмпирическое понятие вырастает из дознакового сознания и связывает абстрактно-обобщающий уровень сознания с чувственно-наглядным.

Для примера возьмем понятие *зимы*. В индуктивно-эмпирическом аспекте это понятие включает такие признаки, как *время года с декабря по февраль, самое холодное время года, солнце стоит низко над горизонтом и греет слабо, дни коротки, а ночи длинные, деревья сбросили листву, лежит снег, воды скованы льдом, птицы улетели на юг, виден пар от дыхания, люди одеваются тепло, в домах топят* и т. д. и т. п. Ни один из этих признаков не является строго обязательным в совокупности. Скорее они варьируют, принимая разные значения, от наличия до отсутствия. Вместе с тем несомненно большая вероятность их совмещенности в связке. Но мало еще сказать о совокупности вероятностно совмещенных признаков. Они организованы в иерархическую структуру взаимозависимостей, где одно предполагает другое: *лежит снег, и люди ходят на лыжах; становится холодно, и выпадает снег; солнце стоит низко, и становится холодно; день короткий, и становится холодно: солнце стоит низко, и день короткий* и т. д. Иерархия зависимостей позволяет выделить в вещах и соответствующих понятиях существенные признаки, с максимальной вероятностью имплицитующие другие признаки.

Положив в основание какой-либо признак, можно образовать конструктивно-логическое понятие о классе: например, зима — это время года с декабря по февраль. Референционный объем понятия при этом будет очерчен с полной определенностью, однако информационно-прогностическая ценность этого понятия будет зависеть от того, насколько существен признак, положенный в основание: практически нас интересует не просто классификация, а ее импликационный потенциал, возможность судить о совмещенности, связях, зависимостях признаков, т. е. соответствие классификации природе вещей. В силу взаимодействия конструктивно-логического и индуктивно-эмпирического аспектов понятия, о котором говорилось выше, естественно стремление избрать в качестве основания конструктивно-логических понятий существенные признаки. Однако и в этом случае не отменяется факт диалектической «текучести» самих вещей, т. е. и в этом случае имеет место конструктивизация действительности.

Образовав конструктивно-логическое понятие, мы далее сопоставляем его содержание с реальными распределениями, совместностями, зависимостями признаков в вещах. Если при этом обнаруживается недостаточное их соответствие, то понятие переформулируется и образуется новое более адекватное конструктивно-логическое понятие о классе.

Это можно пояснить простым примером. Классу поэтов первым будет дано определение вроде следующего: те, что пишут стихи. Стоит, однако, принять это жесткое определение, как обнаружится, что оно не вполне согласуется с индуктивно-эмпирическим понятием об этом классе. Возникает вопрос, считать ли поэтом творца устных стихов. Утвердительный ответ заставляет переформулировать определение: поэт — тот, кто создает стихи. Но и такое более адекватное конструктивно-логическое понятие о поэте оказывается чрезмерно жестким и не снимает всех вопросов: следует ли считать поэтом пишущего поэтической прозой, поэт ли тот, кто поэт только в душе (ибо А. С. Пушкин сказал: «Блажен, кто молча был поэт»), и т. п.

Жесткие определения вызывают вопросы этого рода потому, что существует индуктивно-эмпирическое понятие о классе вероятностной структуры, с которым должны согласовываться конструктивно-логические построения. Процесс познания разворачивается через преодоление их антиномии.

Понятие в индуктивно-эмпирическом аспекте — изначально вероятностная структура. Это, так сказать, стохастизм первой руки. В таких явных стохастизмах сам набор признаков класса неконечен, неопределен, все признаки характеризуются той или иной вероятностью вхождения/невхождения в определение класса и структурированы в понятии за счет оценок их вероятностей и за счет их предметно-логических связей и зависимостей. Понятие в конструктивно-логическом аспекте также в конечном счете остается вероятностным образованием, но маскирует это тем, что, огрубляя

действительность, дает классу жесткое определение из конечного числа признаков. Однако и в этом случае вероятностная природа понятия обнаруживает себя, как только мы начинаем рассматривать признаки, положенные в определение. *Поэт* — тот, кто создает стихи, но что есть стихи и что значит создавать, и т. п. *Скред* — тот, кто скуп, но каковы границы между скредностью и бережливостью, и т. п. *Труженик* — тот, кто много трудится, но что значит трудиться и трудиться много. Безусловно, мы разбираемся в этом, но разбираемся на более сложной, недетерминистской основе, тем же пока невыясненным наукой способом, каким распознаем образы. Рассматривая признаки жесткого определения, мы снова наталкиваемся на вероятностные образования, на сущности с размытыми краями, на неконечные множества. Жертвуя вероятностью, мы не можем вполне избавиться от нее, а лишь откладываем встречу с ней. Конструктивно-логическое понятие — тоже стохастизм, но стохастизм скрытый, так сказать, стохастизм второй руки. Они отодвигают вероятностный принцип строения мира на второй план, но он обнаруживает себя в вероятностной природе классообразующего признака.

Всякое понятие обнаруживает две стороны — индуктивно-эмпирическую и конструктивно-логическую — и развивается, согласуя их по содержанию и объему. Но если рассмотреть с этих позиций многие классы и многие понятия, то мы сразу же обнаружим, что у одних превалирует одна сторона, у других — другая.

Необозримый теперь и все возрастающий круг артефактов, если понимать артефакты в самом широком смысле, включая все сознательные творения человека для удовлетворения его материальных и духовных потребностей, дает пример понятий с преобладанием конструктивного начала, так как в основание классов положены функции, назначение, цель, принцип, идея, план. Класс создается так, чтобы удовлетворить признаку-назначению. Структура понятия проста и строится по формуле «такой, что служит такому-то назначению». Дефиниции таких понятий и их имен на первом этапе соответственно просты и единообразны. Сложности в толкованиях отодвинуты на второй план и могут обнаружиться, когда потребуются пояснить функцию артефакта: тогда-то проявится стохастическая природа классообразующего признака.

С артефактами сходны в этом отношении и многие понятия о всякого рода человеческих и аналогичных им установлениях, институтах, категориях, рангах, группировках и т. п., в основе которых достаточно четко просматриваются некие признаки, свойства, отношения. Таковы понятия о классах по профессии и роду вообще, родству, статусу в разного рода иерархиях, социальному, имущественному положению, интеллектуальным, психическим, физическим и многообразным иным отличительным чертам.

Но вот классы иного рода. Они могут представлять перед человеком в достаточной качественной определенности, как, например, биологические

виды, тождественность которых обеспечивается генетическим кодом. Но эта определенность основана на свойствах (таких, как генетический код), которые не даны человеку в непосредственном наблюдении, не даны ему явно, а лишь в многообразных косвенных проявлениях. В понятии о классе в таком случае преобладает момент индуктивно-эмпирического обобщения, и оно явно носит характер стохастической структуры. Дефиниция таких понятий и их имен затруднительна, словарные толкования дают лишь иллюзию логического определения. Сами по себе, вне предметного знания они не обеспечивают референцию имен. Ср. характерное определение значения слова «волк» у В. И. Даля: «хищный зверь песьего рода, положительными признаками едва отличимый от собаки». И толкование Даля ничуть не хуже иных. Оно просто показательно. В других толковых словарях могут быть добавлены такие признаки, как «дикий, свирепый, прожорливый, относительно больших размеров, охотится стаей, ранее был широко представлен в Европе, Азии и Северной Америке, теперь же только в малонаселенных частях Северного полушария» и т. п. Очевидны вероятностная природа признаков и необязательный характер дефиниции. Она не может достигнуть своей цели, поскольку пытается предмет вероятностной структуры определить средствами двузначной логики. Толкования подобных слов — наименее ценная часть словарных статей в толковых словарях. С той или иной степенью полноты они воспроизводят энциклопедические сведения о классе. Дефиниция не может смоделировать понятие вероятностной структуры, а дает лишь приблизительный намек на него. Понятно, что определить подобные понятия в энциклопедическом словаре ничуть не проще. Остается та же проблема: есть понятие вероятностной структуры, но нет аппарата, кроме весьма приблизительного, для их описания.

Стохастичность значения подобных слов задана изначально, о семантической структуре и признаках можно говорить лишь в вероятностном смысле. Указав родовой признак, мы не можем жестко очертить круг дифференциальных признаков. В этом состоит отличие явных стохастизмов от скрытых, рассмотренных ранее. В последних дефинициях указывают и родовой, и дифференциальный признаки, и лишь в последующем анализе обнаруживается вероятностная природа этих признаков. Попробуйте определить и сравнить с этой точки зрения определения значений слов *человек*, *кошка*, *рыба*, *ель* и т. п., с одной стороны, и слов *майор*, *токарь*, *начальник*, *мать*, *слепец*, *силач*, *сирота*, *бродяга* и т. п. — с другой.

Вряд ли следует ожидать четкого распределения понятий и слов по двум указанным типам структур. Скорее это полярные случаи с промежуточными градациями. Тем не менее это различие весьма существенно и обуславливает другие важные различия в смысловой структуре и функционировании слов. Слова, выражающие понятия — явные стохастизмы, легче «обрастают» многозначностью, обнаруживают более развернутые смысловые структуры, способны иррадиировать многочисленные метафо-

рические переносы с опорой на различные признаки-семы исходного значения. Они более приспособлены для того, чтобы вводить денотаты в речь, т. е. выполнять так называемую интродуктивную функцию в тексте. Напротив, слова, выражающие понятия — скрытые стохастизмы, более способны к тому, чтобы квалифицировать и характеризовать уже введенные в речь денотаты, т. е. выполнять функцию описания в тексте.

Таким образом, анализируя понятия о вещах, мы установили следующее:

- всякое понятие, отражая вероятностно-диалектическую природу мира, само в принципе является вероятностной структурой;
- понятие существует в диалектическом единстве двух аспектов одинаковой предметной направленности — индуктивно эмпирического и конструктивно-логического; в первом своем аспекте оно выступает как явный стохастизм, а во втором — как стохастизм скрытый, отсроченный, как условно жесткий идеальный конструкт сознания;
- в понятиях о разных классах на первый план выдвинута у одних индуктивно-эмпирическая сторона, у других — конструктивно-логическая; одни постулируют класс ранее признаков и образуются как индуктивно-эмпирические обобщения с изначально вероятностной структурой, другие постулируют некие признаки прежде класса как обязательные и достаточные для его определения и жестко формируют класс по определению, наталкиваясь, однако, на вероятностную природу постулированных признаков. Это позволяет, пусть и с известной долей условности, делить понятия и выражающие их слова — хотя бы на полюсах единой шкалы — на явные и скрытые стохастизмы, причем первые не поддаются строгой дефиниции: для них можно указать родовой признак, но трудно очертить дифференциальные признаки. Таковы, например, таксономические понятия и имена биологических видов.

3. Структура лексического значения:

интенционал и импликационал

Под структурой понимают взаимозависимости частей целого. В том же смысле говорят и о структуре лексического значения: в лексическом значении выявляются известные части (элементы, компоненты), эти части связаны зависимостями, образующими в результате целое — лексическое значение. Поскольку слова часто многозначны, то с самого начала следует иметь в виду, что речь идет об одном из значений слова — прежде всего о прямых значениях слов. Производные от них переносные значения структурированы по тому же принципу, что и прямые, но обнаруживают существенные особенности в характере семантики и номинационных свойствах. Об этом будет сказано особо.

Лексическое значение может сочетать в своей структуре либо оба типа содержания — когнитивное^е и прагматическое^е, либо ограничивается одним из них. Подавляющее большинство слов прагматически нейтральны, и в их значениях представлен лишь когнитивный компонент содержания с определенной внутренней структурой. В этом случае слова сами по себе свободны от выражения субъективных эмоционально-оценочных отношений к денотатам речи. Впрочем, это не мешает им в определенных условиях контекста и ситуации речи получать известную прагматическую окраску. Однако такая их окраска — не собственное их значение, а производное от взаимодействия с контекстом и ситуацией речи. Тем самым она не элемент содержательной структуры слова, а элемент содержательной структуры контекста.

Междометные слова представляют противоположный случай — слов с чисто прагматическим значением.

Остальные слова объединяют в своем значении оба типа содержания. В структуре их лексических значений представлены и взаимодействуют когнитивный и прагматический компоненты. В зависимости от того, какой компонент оказывается ведущим, они распадаются на две группы: слова, в структуре значения которых доминирует когнитивный компонент, и слова с ведущим прагматическим компонентом. И вновь слов первого рода несравненно больше, чем вторых. Эту группу образуют слова, денотаты которых специфичны в одном отношении — их свойства аксиологически релевантны, т. е. затрагивают систему ценностных ориентаций людей и поэтому служат устойчивым источником единообразных эмоциональных реакций и оценок, положительных и отрицательных, большей или меньшей интенсивности. Ведущим в значении слова является описание некоего класса или признака денотатов самого по себе, но ценностная природа этого класса такова, что непременно вызывает эмоции и оценки. Тем самым прагматическое значение возникает как аксиологическая производная когнитивного значения. Ср. *герой, мастер, исследователь, разведчик, вор, преступник, изменник, шпион, защищать, предавать, остроумный, вежливый, тупой, грубый* и т. д.

Эмотивно еще более ярка и нагружена категория слов, в значении которых доминирует прагматический компонент. Ср. *голубчик, милый, дорогой, дурак, болван, тупица, негодяй, мерзавец, сволочь, дрянь, баракло, чепуха, вздор, ерунда, свинство, ничего, здорово*. Предметная область их весьма неопределенна, референционные границы растяжимы, и это отличает их от слов рассмотренной выше группы. Главное в них не то, что обозначается, а его эмоционально-оценочная квалификация, выражение субъективного отношения к нему. Ряды этих слов пополняются за счет выхолащивания когнитивного компонента, ср. *вкалывать, ишачить, калымить, козел, деятель, шеф*. Деградируя в когнитивном плане, слово становится подверженным моде и часто оказывается недолговечной приметой

времени, ср. «прагма-словечки» из современного молодежного жаргона *балдеть, балдеж, балдежный, обалденный; кайф, кайфовать, кайфовый, кайфово; клевый, клево; крутой; потрясный; потрясно* и т. п. Интеллектуальный компонент в таких словах настолько беден и функционально угнетен, что с трудом удерживает слова от расползания из своих аморфных референционных рамок. Прагматическая инфляция приводит слово к когнитивному параличу.

Обратимся теперь к структуре когнитивного компонента лексического значения. Изложенные ранее представления о строении понятий имеют прямое отношение к содержанию и структуре когнитивного компонента лексических значений по той причине, что языковые значения — те же понятия, но понятия, связанные словесными знаками. Для содержания и структуры значения справедливо все, что может быть сказано о соответствующем понятии, с учетом того важного обстоятельства, проистекающего из связи значения со знаком, что в одном значении могут быть скомпонованы в одну структуру несколько понятий.

Кроме того, на значение словесного знака проецируются особенности его парадигматических и синтагматических связей с другими знаками, оно испытывает определенное воздействие паронимических и иных ассоциаций, идущих от его материальной формы, оно также «окрашивается» ассоциациями, идущими от его внутренней формы, контекстов и ситуаций своего употребления и др. Однако значения и понятия — всего лишь две стороны единой концептуальной системы, обращенной и к миру (понятие), и к знаку (значение). Поэтому то, что высвечивается в значении как отражение собственно языковых факторов, проникает и в живую понятийную ткань, осложняя ее новыми связями. Анализ когнитивного аспекта лексических значений, установление их содержания и структуры не может не совпадать в существенных чертах с анализом соответствующих понятий, если видеть в понятиях реальные работающие сущности сознания, а не исследовательские абстракции.

Прежде чем непосредственно обратиться к структуре лексического значения, необходимо определить понятие семантического признака. Семантическим называется признак, отраженный в значении языковой единицы. Иначе говоря, это понятие о признаке, представленное в значении словесного знака. При этом несущественно, исчерпывает ли признак данное значение (как, например, у слов *бодрый, двигаться* и т. п.) или составляет только часть этого значения (как, например, признак *бодрый* в значении глагола *бодриться* = стараться быть бодрым или признак *двигаться* в значении глагола *знать* = заставлять двигаться прочь). Поскольку *бодриться, знать* или, например, *смешной* (= вызывающий смех) — сами признаки, то о них надо говорить как о сложных признаках, а о значении этих слов соответственно надо сказать, что они содержат сложный семантический признак.

Лексическое значение может быть отражением простого признака и этим исчерпываться, тогда оно имеет простую структуру. Таковы значения ряда прилагательных и глаголов, не разложимых на семантические признаки. Они не имеют дефиниций в толковых словарях и могут быть истолкованы только косвенно — через синонимы или через употребление. Перечень их не ясен.

Обычно лексическое значение представляет собой совокупность семантических признаков, относящихся к описанию называемых словом сущностей (класса сущностей). Эти признаки связаны зависимостями и тем самым образуют структуру лексического значения. В структуре лексического значения выделяются две части — интенционал и импликационал. **Интенционал** — содержательное ядро лексического значения, **импликационал** — периферия семантических признаков, окружающих это ядро.

Интенционал — структурированная совокупность семантических признаков, конституирующих данный класс денотатов. Наличие их считается обязательным для сущностей данного класса, точнее — с учетом вероятностной природы мира и его сущностей, — их прежде всех других признаков связывают с данным классом. **Интенционал** — то же, что содержание понятия о классе в логике. Именно интенционалы лежат в основе мыслительных и речевых операций по классификации и именованию денотатов. К примеру, все матери являются женщинами-родительницами, и эти два признака — родитель и женский пол, — связанные спецификационной зависимостью (родо-видовой), составляют интенционал слова «мать» в его прямом значении.

Семантические признаки в интенционале распадаются, в свою очередь, на две части, связанные родо-видовым (гипер-гипонимическим, спецификационным) отношением. Родовая часть интенционала называется гиперсемой (архисемой), видовая часть — гипосемой (дифференциальными признаками). Так, интенционал слова «девочка» — ребенок женского пола, где гиперсема — понятие ребенка, а гипосема — понятие о женском поле).

Признаки не существуют порознь, но связаны многообразными связями и зависимостями. В силу этого одни признаки заставляют помыслить о других с большей или меньшей необходимостью. Равным образом, интенциональные признаки могут с необходимостью или вероятностью предполагать (имплицировать) наличие или отсутствие других признаков у денотатов данного класса. По отношению к интенционалу — ядру значения, совокупность таких имплицуемых признаков образует импликационал лексического значения, периферию его информационного потенциала. Информация о денотате, которую слово несет в тексте, складывается из двух частей: неперменных интенциональных признаков и некоторой части импликационных признаков, актуализируемых контекстом.

Импликация признаков может быть жесткой (обязательной, необходимой), высоковероятностной, слабой (свободной) и отрицательной. В

первых двух случаях интенционал значения имплицитно признает признаки с вероятностью, равной или близкой к 1 (речь, понятно, идет о приблизительных количественных оценках той же житейской вероятности). Совокупность таких признаков образует сильный импликационал значения. Разновидностью его является жесткий импликационал — совокупность признаков особенно сильной импликации с вероятностью равной 1, т. е. с необходимостью имплицитных признаков из интенционала. Признаки сильного импликационала близки к интенциональному ядру, составляя почти непререкаемую часть лексического значения, поэтому они часто попадают в толкования значений в толковых словарях. Это особенно справедливо относительно жесткого импликационала. Тем не менее они остаются за чертой интенционала по той причине, что теоретически возможное отсутствие такого признака в денотате еще не исключает денотат из того класса, к которому он отнесен данным именем.

За примером вернемся к слову *зима*. Его интенционал — время года с декабря по февраль (в Северном полушарии). В сильный импликационал значения входят такие признаки, как *самое холодное время года, выпадает снег, воды покрываются льдом, солнце стоит низко над горизонтом и слабо греет, люди тепло одеваются* и т. д. и т. п. На этом примере явно видны граница и различие между интенциональными и импликациональными признаками: если какая-то зима окажется теплее другого времени года, она тем не менее останется зимой — определяющим признаком является временной интервал.

Надо заметить, что импликация признаков может быть не обязательно истинной, но и ложной или сомнительной. Так, к импликационалу подключены все стереотипные ассоциации, истинные или ложные, традиционно связываемые с каким-то классом: лиса хитра, заяц труслив, медведь неуклюж и т. п.

Вместе с тем импликация каких-то признаков по отношению к интенционалу представляется невозможной или маловероятной — признаки несовместимы. Совокупность таких признаков образует отрицательный импликационал значения или коротко — неимпликационал. Нетрудно видеть, что знание значения и умение правильно пользоваться словом предполагает не только знание того, что входит в его содержание или совместимо с ним, но и осознание того, что с ним несовместимо. Тем самым неимпликационал также вовлекается в значение слова как отрицательный информационный потенциал. Зубы не могут быть смелыми, нож — усмехаться, глаза — гудеть. Атрибуция несовместимых признаков сигнализирует особый характер номинации и комбинаторики значений: *Твои зубы смелы, / Как усмешка ножа, / И гудят, как шмели, / Золотые глаза.* (А. Вознесенский).

Наконец, помимо сильной и отрицательной импликации остается обширная область признаков, о совместной встречаемости которых с данным

понятием можно судить лишь гадательно: их наличие и отсутствие одинаково вероятно и проблематично, они могут быть, а могут и не быть или, точнее говоря, могут быть по данному основанию то одними, то другими. Эта область признаков по отношению к интенционалу какого-то значения образует его слабый, или свободный, импликационал.

Если вернуться к примеру со словом «девочка», то сильный импликационал складывается из всех свойственных и обычно ожидаемых признаков внешности, одежды, поведения девочек, отрицательный импликационал составляют все признаки, расцениваемые как невозможные, несвойственные им, а к слабому импликационалу относятся все возможные признаки, для данного класса признаки приблизительно равной или даже невысокой вероятности, такие, как рослая — невысокая, румяная — бледная, веселая — спокойная — тихая, худая — полная и т. д. и т. п. Основания таких признаков, т. е. понятия роста, цвета кожи, глаз, волос, темперамента, конституции и т. д., представлены явно или неявно в интенционале значения как пустые позиции для заполнения признаками из этих наборов.

Другой пример. Интенционал слова *река* можно определить как естественный поток в берегах относительно большой массы воды. Эти признаки отличают реку от канала (искусственный), озера (не поток), ручья (не большой), морского течения (не в берегах) и т. д. Тем самым определяются обязательные признаки реки, а также очерчивается экстенционал этого класса, круг приложения понятия. Обратим внимание на то, что определение указывает не только набор признаков, но и их зависимости, структуру их связей. Такие признаки, как перепад высоты (наклон русла), увлажненность поймы, наличие водной флоры и фауны, более обильная прибрежная растительность и т. п., не обязательны и поэтому не входят в интенционал, но с необходимостью или большой вероятностью вытекают из содержащихся в нем семантических признаков и тем самым составляют сильный импликационал значения. Признаки, вроде непроточности, горючести, газообразности и т. п. поясняют неимпликационал.

Остаются, наконец, признаки, вроде короткий — длинный, узкий — широкий, быстро — медленно текущий, полноводный и неполноводный и т. д. Признаки такого рода не входят в содержание значения и не отрицаются им, но импликация и тут имеет место. Основания признаков — длина, ширина, скорость течения, величина массы воды и т. д. — заложены в интенционале как своеобразные семантические валентности, как пустые места, подлежащие заполнению. Импликация, однако, носит свободный (слабый) характер: интенционал не предопределяет, какое значение это основание может конкретно принять.

То, что в лексическом значении слова выделяются две, хотя и связанные, но разные части — интенциональная и импликациональная, находит любопытное подтверждение в оксюморонах. Оксюмороны — подчини-

тельные словосочетания, соединяющие несовместимые признаки, ср. женатый холостяк. Несовместимость, однако, оказывается относительной. Оксюморон создает значение — гибрид: он сочетает интенционал одного слова с несвойственным ему импликационалом, который заимствуется у второго слова. Первое слово поступает своим импликационалом, второе — интенционалом. Тем самым обеспечивается возможность выразить диалектику крайних случаев — обозначить класс внутренне противоречивых сущностей.

Оксюморон *женатый холостяк* имеет противоположные осмысления в зависимости от того, какое слово сохраняет прямое значение, а какое подвергается переосмыслению:

- 1) холостяк, ведущий себя так, как если бы он был женатым;
- 2) женатый мужчина, ведущий себя так, как если бы он был холостяком.

Могут быть и другие осмысления: холостяк, принимаемый/выдающий себя за женатого; женатый мужчина, принимаемый/выдающий себя за холостого, и др. В любом случае слово в прямом значении сохраняет свой интенционал и теряет импликационал, который заменяется импликационалом переосмысляемого слова, а последнее, в свою очередь, отбрасывает собственный интенционал. Результатом является значение с логическим конфликтом интенционала и импликационала: 1) холостяк, но вроде как и не холостяк, а женатый; 2) женатый, но вроде как и не женатый, а холостяк. Возможность осмыслить оксюморон основана на различении двух принципиальных частей в структуре лексического значения слов — интенционала и импликационала.

Ранее было показано, что понятия о классах подразделяются по особенностям когнитивной структуры на явные и скрытые стохастизмы. Соответственно и выражающие эти понятия нарицательные имена подразделяются по структурным особенностям их лексических значений на явные и скрытые стохастизмы. В значениях явных стохастизмов, образующихся как индуктивные обобщения — их примером служат имена биологических видов, нет жесткой границы между интенциональными и импликациональными признаками, в интенционале четко определяются лишь родовые признаки (гиперсема), в то время как видовые, дифференциальные признаки (гипосема) нельзя установить с определенностью, и на этом участке интенционал незаметно переходит в сильный импликационал. Ср. в добавление к ранее приведенному из толкового словаря В. И. Даля слову *волк* его же толкование слов: *слон*: известное огромностью своею животное жарких стран; *налим* — рыба... головастая от 4—12 вершков, в стоячих водах и тине, извивается в руках, как утрь.

Напротив, лексические значения скрытых стохастизмов, формирующих класс по признаку, достаточно четко различают интенциональную и импликациональные части, а в структуре интенционала — родовую и видовую части. Толкования начинаются с дефиниций интенционалов и часто

ими ограничиваются. Ср. у того же В. И. Даля: *сват* тот, кто едет сватать невесту по поручению жениха или родителей его; *сватать* = просить в жены; *невеста* = девица, вдова или разводка, сговоренная замуж; *жених* = сговоривший себе невесту или сговоренный с невестою.

Интенционал скрытых стохастизмов представляет собой закрытую жесткую структуру конечного множества признаков. Импликационал в любом случае, у скрытых и явных стохастизмов, — открытая вероятностная структура неконечного множества признаков. Интенционал связан с познавательно-преобразующей стороной деятельности человека, он соответствует конструктивно-логическому аспекту понятия и предполагает известную конструктивизацию действительности, допустимое отвлечение от бесконечности ее связей, переходов и переливов. В импликационалах, напротив, непосредственно отражена вероятностная структура мира. Тем самым в понятиях-значениях сочетаются детерминистский и вероятностный аспекты познавательно-деятельностного процесса.

Интенционал предопределяет область того, что может быть названо данным именем, т. е. его экстенционал. Импликационал отражает разнообразные предметные связи сущностей, т. е. очерчивает ожидаемую область того, что может быть названо в связи с данным именем. Интенционал составляет непрменный постоянный компонент значения имени, а импликационал — его обусловленный и варьирующий в контекстах компонент, зависимый от предметно-логической структуры контекста. Отношение между интенционалом и импликационалом значения можно образно пояснить как отношение между массой и создаваемым ею полем тяготения, притягивающим другие тела.

Как видим, лексические значения представляют собой сложные образования, непосредственно вплетенные в когнитивные системы сознания. Структура лексического значения образуется прежде всего предметно-логическими связями, иррадируемыми его интенциональным ядром и захватывающими в периферию его содержания импликациональные признаки. Структура интенционала образуется логическими зависимостями составляющих его семантических признаков, и прежде всего родо-видовыми, или спецификационными (гипер-гипонимическими) связями. Признаки импликационала также структурно упорядочены своими вероятностными характеристиками и предметно-логическими зависимостями.

В заключение этого раздела важно подчеркнуть, что усвоение и развитие вероятностного подхода к значению — одно из главных условий успешного развития семасиологии вообще и теории лексического значения в частности. Более того, существует прямая связь между стохастической природой значения и теорией распознавания (узнавания) образов. Это проблемы одного порядка. Семасиология в этом пункте смыкается с одной из наиболее сложных и актуальных интердисциплинарных задач современной науки. Нетрудно также видеть, что стохастичность значения объясняет

«мягкий» характер естественных языков, подвижность, текучесть, значительную размытость и неопределенность семантики словесных знаков, что отличает естественный язык от «жестких» логических языков и научных подязыков.

Вероятностный взгляд на природу значения отличает современные представления о нем от традиционных. Ранее лексическое значение представлялось жестким образованием со стабильным составом. Затруднения в дефиниции слов — явных стохастизмов относились на счет неразработанности аппарата определения и толкования значений. В значении видели только его контенсиональную (интенсиональную) часть и игнорировали экстенсиональный аспект когнитивной стороны значения. Помимо собственно значения выделялись также коннотации значения как совокупность разнообразных ассоциирующихся с ним представлений, понятий, эмоций и оценок. Когнитивные и прагматические компоненты в коннотациях четко не разграничивались. Главное же, не были выявлены ни закономерности формирования коннотаций в структуру, ни вероятностная природа этих структур и всего значения в целом.

4. Компонентный анализ значений

Компонентный анализ значения непосредственно связан со структурой лексического значения и строится на той предпосылке, что все значения, кроме тех, что совпадают с элементарными понятиями, состоят из компонентов, а именно содержат более простые понятия, связанные зависимостями в целостную структуру значения. Применительно к значениям принято понятия как части других понятий-значений называть семами. Семы отличаются от значений как части от целого. Кроме того, семы — это такие части значений, которые не выражены в структуре данного языка какой-либо его частью, а выявляются чисто реляционно из сравнения значений или если и выражены в структуре знака, то посредством неноминативной единицы (грамматически, например, посредством морфемы). Сравним слова *трус* и *храбрец*. У них общая родовая сема *лицо* и разные видовые семы *трусливый* и *храбрый*. У первого слова сема *лица* существует чисто реляционно, ее нельзя отнести ни к какой части структуры этого знака. Во втором слове она выражена неноминативной единицей — суффиксом *-ец*.

Нередко сему определяют как простой, неразложимый семантический признак, элементарный предельный смысл, атомарное понятие. Предельно простыми являются понятия, соответствующие или верхнему пределу обобщения сущностей (например, понятия вещи и признака, определяемые друг через друга), или нижнему пределу расчленения действительности, достигнутому в деятельности человека и отраженному в его сознании. Но

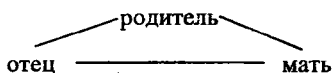
такие ограничения излишни: сема может быть простым и сложным семантическим признаком, для нее существенно лишь то, что этот признак составляет неминимированную часть значения некоего словесного знака.

Тем самым сема и значения не только часть и целое, но также разные статусы существования, выявления понятий в структуре языковых единиц. Одно и то же понятие может иметь статус значения и статус семы. Например, понятие «родитель» является значением слова «родитель» и семой слова «мать» (значение последнего состоит из двух понятий-сем: «родитель» и «женский пол»). Как видим, в этом противопоставлении термин значение получает более узкий смысл — понятие, выраженное номинативной единицей. Когда же противопоставление номинативного и неминимативного статусов понятия в структуре словесных знаков несущественно, то просто говорят о значении, возвращая термину широкий смысл, например, говорят о значениях суффиксов, префиксов, окончаний, порядка слов и т. п.

В том же смысле, что сема, используют иногда термины *семантические составляющие*, *семантические множители*. Близок по смыслу термин *семантический признак*, который нами уже использовался. Однако для семантического признака несущественно, составляет ли он часть значения или совпадает с целым значением. Сема — семантический признак как неминимированная часть значения.

Компонентный анализ значения имеет задачей выявление семного состава и структуры семных связей значения. Его предметом в первую очередь являются лексические значения, но он распространяется также и на значения грамматические.

Выявление общего и различного в компонентном составе значений начинается с сравнения их интенсиналов и экстенсиналов. Семное разложение значений слов является результатом того, что выражаемые ими понятия организованы в иерархические структуры. Их типичным примером является классификационный треугольник:



Понятия в иерархии различаются уровнем обобщения: *отец* и *мать* относятся к одному, низшему, *родитель* — к более высокому уровню обобщения. Понятие и слово более высокого уровня обобщения называются гиперонимом, а понятия и слова низшего уровня по отношению к высшему — гипонимами. Отношения единиц разных уровней обобщения называются гипер-гипонимическими (гипо-гиперонимическими), или родо-видовыми (видо-родовыми). Иногда их просто называют отношением гипонимии.

Понятия и слова одного уровня обобщения называют эквонимами, а их отношение — эквонимическим (отношение эквонимии). В нашем примере *родитель* — гипероним по отношению к *отец*, *мать*. В свою оче-

редь, *мать* и *отец* — гипонимы по отношению к *родитель* и эквонимы по отношению друг к другу.

Экстенсионал гиперонима равен сумме экстенсионалов гипонимов, первый включает вторые. Поэтому экстенсиональное отношение гиперонима к гипонимам называют отношением включения (инклюзивным), а экстенсиональное отношение гипонима к гиперониму — отношением исключения (эксклюзивным). Если же взглянуть на дело с интенциональной стороны, то отношения меняются на противоположные: гипоним имеет более развернутый интенционал и включает гипероним как часть своего содержания, ср. *отец* — родитель мужского пола. Поэтому в интенциональном плане гипероним связан с гипонимом отношением исключения (части содержания), а гипоним с гиперонимом — отношением включения (содержания).

Следует различать гиперонимы ближайшего и отдаленного уровня обобщения. Так, иерархия:



содержит три уровня обобщения, *родитель* — ближайший гипероним к *отец*, а *родственник* — отдаленный. Когда просто говорят о гиперониме, то обычно имеют в виду ближайший гипероним.

Эквонимические и родо-видовые отношения понятий, взаимно предполагающие друг друга, выявляют компонентный состав и структуру интенсионалов. Сравнение эквонимов друг с другом и гиперонимом обнаруживают у них общую часть, содержательно равную гиперониму. Она была названа гиперсемой интенционала. Вместе с тем обнаруживаются различительные признаки, специфические для каждого эквонима. Они образуют гипосему интенционала. Гиперсема указывает общее в понятиях данной предметной области, т. е. их категорию, а гипосема — специфическое, особенное в понятии-значении. Тем самым гиперсема и гипосема связаны в единую структуру категориально-спецификационным отношением.

Для того чтобы установить компоненты содержательной структуры понятия с максимальной детализацией, необходимо, очевидно, установить все возможные оппозиции данного понятия. При этом может обнаружиться, что эти оппозиции организованы в многоступенчатую иерархию обобщений, т. е. содержат более чем два уровня обобщения. Компонентная структура понятия отражает в себе иерархию обобщений, в которую вхо-

дит понятие. Иерархия спроецирована на структуру понятия. Понятие содержит число компонентов, равное числу уровней обобщения. Оно включает в качестве сем все понятия высших уровней обобщения плюс собственный различительный признак (гипосема). При этом семы в структуре понятия подчинены так, что повторяют ступенчатое подчинение понятий в иерархии: понятие *n*-уровня (т. е. максимальное общее понятие) входит в качестве категориального признака (гиперсемы), понятие *n*-1 уровня соответствуют первой ступени спецификации гиперсемы, понятие *n*-2 уровня — второй ступени спецификации и т. д.

Поясним сказанное примером. Интенционал понятия *истребитель* определяется как боевой летательный аппарат тяжелее воздуха для полетов в атмосфере с помощью крыльев и двигателя, предназначенный для уничтожения самолетов и беспилотных средств противника. Нетрудно видеть, что в этой структуре свернута многоступенчатая иерархия последовательных оппозиций: *истребитель* — *бомбардировщик* и др., *боевой* — *транспортный самолет* и др., *самолет* — *вертолет* и др., *летательный аппарат тяжелее воздуха* — *аэростат, воздушный* — *наземный аппарат* и др. Можно укрупнить какие-то блоки определения, и тогда в интенционале окажется меньше сем за счет того, что какие-то семы станут более сложными: *истребитель* — *боевой самолет, предназначенный для уничтожения самолетов и беспилотных средств противника*.

Круг понятий, подлежащих сравнению для выявления их компонентного состава, определяется границами предметной области, а эти границы очерчиваются максимально общим гиперонимом. Иерархия оппозиций в предметной области описывает ее внутреннюю структуру, а вместе с тем состав и структуру понятия — по его месту в иерархии последовательных оппозиций.

Не следует ожидать, что компонентный анализ семантики всегда удастся осуществить с одинаковой степенью четкости. В многих предметных областях противопоставления на нижних уровнях детализации не выявлены с достаточной последовательностью, так что денотатные поля имен отчасти накладываются одно на другое. В конечном счете все определяется тем, насколько разработана в опыте, в деятельности и сознании людей та или иная предметная область. В связи с этим нередко затруднительно установить исчерпывающий набор сем и еще труднее установить их системные соотношения и комбинаторику в структуре значений. История компонентного анализа началась с терминов родства как наиболее благоприятного объекта, но на них же можно показать трудности этого анализа. Древняя их система, отражающая общинно-родовую организацию семьи и родственных связей, содержит категоризации и противопоставления, которые уже перестали быть социально значимыми в наше время. Многие ли из нас уверены теперь в значении таких терминов родства, как «шурин, деверь, свояченица, золовка» и т. п.? И это не удивительно, так как шурин

и деверь, свояченица и золовка сравнивались по своему социально-родственному статусу и соответствующие различия перестали быть сколько-нибудь общественно важными, практически существенными. Система находится в динамике и эволюционирует в сторону упрощений: имена еще известны, но смысл их теряется с утратой релевантных для общества различий. Понятно, что при компонентном анализе подобных систем возникает проблема, как очертить состав терминов сравнения, какие противопоставления признать релевантными. То или иное решение скажется на результатах компонентного анализа.

Можно привести иной пример — системы, развивающейся в сторону большей детализации, увеличивавшей число семантических оппозиций. Таковы названия предметов посуды. В кругу этих имен — *чашка, кружка, стакан, бокал, рюмка, стопка, фужер, пиала, кубок, тарелка, кастрюля, чан, бак, бачок, блюдо, блюдце, сковорода, горшок, чугунок, банка* и т. д., объединяемых родовым понятием *емкость, вместительность для пищи и/или напитка* (это отличает их от таких предметов столово-кухонного обихода, как *нож, вилка, ложка* и т. п.), — можно установить разнообразные оппозиции: 1) по материалу изделия: глина, металл, дерево, стекло, ср. *горшок* и *чугунок, чашка* и *кружка* и др.; для ряда имен это различие нерелевантно, ср. *тарелка, блюдо*; 2) по назначению: приготовление — потребление, потребление напитка — пищи, ср. *кастрюля, сковорода* — *чашка, блюдо*; более частные назначения: для варки — жарения и т. п., ср. *кастрюля* — *сковорода*; 3) по общему размеру (объему): большой — малый, ср. *чан, бак* — *бачок* — *кастрюля*; 4) по соотношению высоты A и ширины B : $A > B$, $B > A$, $A \approx B$; по степени превышения одного параметра над другим — соотношение параметров нерелевантно, ср. *кружка* — *чашка, банка* — *тарелка, блюдо*; 5) отсутствие — наличие ручек — нерелевантно, ср. *пиала, стакан, кубок* — *кружка*; 6) отсутствие — наличие крышки — нерелевантно, ср. *кружка, чашка* — *кастрюля, кубок*; 7) соотношение верхнего A и нижнего B диаметров: $A \approx B$, $A > B$, нерелевантно, ср. *стакан, кружка* — *чашка*.

По-видимому, могут быть выделены и другие признаки, но вряд ли это имеет смысл. Различия в этом кругу имен не отстоялись в систему четких семантических противопоставлений, иерархия признаков четко не выражена. А если нет осознанных, систематических различий в денотатах, нет и сем в значении имен. Денотативный потенциал имени, круг называемых им вещей (его экстенционал) лишь отчасти очерчивается системными семантическими соотношениями данного имени с другими именами той же предметной области, — система этих соотношений лишь слабо намечена, — определяется он не столько из системы, сколько из простого опыта предшествующих именовании и памяти. Этого опыта, хотя бы и не вполне систематизированного, достаточно, поскольку и сами предметы этой области весьма традиционны, мало варьируют в диапазонах своих признаков и комбинаторика самих признаков невелика. Стоит, однако, увеличить

комбинаторику и вариабельность признаков, и возникнут сомнения, как следует назвать непривычный предмет: неотстоявшаяся система семантических различий дает сбой в номинации как следствие сбоев в концептуальной системе. Это нетрудно показать в эксперименте. Следует ли, например, называть тарелкой, блюдом или чашкой такой предмет посуды, который имеет все признаки обычной тарелки, но стенки у которого цилиндрической формы?

Если нет развернутой системы в самих денотатах, в человеческой деятельности, практике на каких-то участках, то не следует ее ожидать и в результатах компонентного анализа слов — имен соответствующей предметной области. Точнее, может быть, сказать: компонентный анализ не может быть более системен, чем действительность и деятельность человека на соответствующих участках. Увязывая компонентный анализ со структурой действительности и человеческой деятельности, мы должны допускать и известную текучесть, динамичную незавершенность, неполную системность результатов этого анализа.

5. Структура лексического значения: **вторичная сигнификация**

Сигнификация — виртуальная способность знаков служить описанию того, что ими обозначается, т. е. нести некоторую информацию (или связываться с некоторой информацией) о своих внеязыковых коррелятах, о том, что является их денотатами. Сигнификация как описание противопоставляется денотации (или референции) как обозначению. Как известно, языковые знаки совмещенно или раздельно несут информацию двоякого рода: 1) о неких сущностях в действительном, возможных (гипотетических) и мнимых (в том числе чисто фантастических) мирах, о их существовании — наличии и признаках (свойствах, состояниях и отношениях); 2) об их модальных характеристиках относительно некоего субъекта или социума (желательность, возможность, необходимость, субъективно-эмоциональное переживание и оценка сущностей). Информация первого рода известна как когнитивная (вещественная, предметно-логическая, денотативная, семантическая, интеллективная-интеллектуальная и т. п.), а информация второго рода — как прагматическая (модальная + эмотивная + субъективно-оценочная и др.). Обе они определенным образом соотнесены одна с другой, коррелируют и взаимодействуют, проецируются из одной плоскости (сферы) в другую и взаимопреобразуются.

Когнитивная знаковая информация, как мы видели, в свою очередь, расслаивается на два соотнесенных аспекта — контенциональный и экстенциональный. Экстенционал знака — это содержание обозначающей

функции знака, это знание и информация о том, с чем и как соотнесен знак. Контенционал знака — это знание и информация о том, что собой представляет обозначаемое знаком. С некоторым огрублением и упрощением различие экстенционала и контенционала можно представить так: зная экстенционал, мы представляем себе, о чем идет речь, а зная контенционал знака, мы еще знаем, что такое его денотат, а именно знаем, каковы признаки того, что обозначено. Контенциональное знание — знание признаков обозначаемых сущностей, а экстенциональное знание — проекция признаков на сущности мира.

Здесь следует дополнительно пояснить различие терминов «контенционал» (контенциональный) и «интенционал» (интенциональный). Контенционал применим как к виртуальному, так и к актуальному значению знаков, это признаковая, описывающая сторона содержания знаков как словарных, так и задействованных, употребленных в речи единиц. Иначе говоря, контенционал — та сторона виртуального или актуального значения, которая относится к описанию обозначаемой знаком сущности в терминах приписываемых и ожидаемых у нее признаков. Что же касается интенционала — то это более узкое и специальное понятие: интенционал — ядро виртуального значения, структурированная совокупность признаков, полагаемых обязательными для сущностей данного класса. Интенционал вместе с сопровождающим его импликационалом относятся к виртуальному аспекту значения.

Сигнификативное значение относится к контенциональной части виртуального значения языковых знаков, т. е. это часть значения, связанная с способностью виртуального знака описывать сущности, которые могут быть им обозначены. Иметь (нести, обнаруживать) сигнификативное значение означает, что виртуальный знак, знак как словарная единица, взятый сам по себе вне речи, информирует о признаках сущностей некоего класса.

Таким образом, сигнификативное значение — это род виртуального значения, а именно виртуальное контенциональное значение знака. При этом нам должно быть понятно, что различие между актуальным и виртуальным значением состоит не столько в том, что первое существует реально в речи, а второе — потенциально в памяти, сколько в том, что актуальное значение может, хотя и не обязательно и не всегда, содержать нечто отличное, нечто большее или меньшее, нечто иное, чем содержание виртуального значения. Иначе говоря, актуальное значение может быть чем-то иным, чем простая актуализация виртуального значения.

Интенционал и импликационал значения составляют основу сигнификативного значения словесных знаков, но не всегда исчерпывают его. Они составляют содержание первичной сигнификации знаков. Но при определенных условиях способность виртуального знака к описанию денотата может дополнительно увеличиваться, и в силу вступают факторы вторичной сигнификации.

Первичная сигнификация — прежде всего результат первичного системного распределения единиц мыслительного содержания среди выражающих их знаков. В этом случае первичная сигнификация — то же, что привычно понимают под первичными значениями знаков. Но к первичной сигнификации относятся также и вторичные производные значения языковых знаков, возникающие в результате тропеического варьирования по определенным известным говорящим и используемым ими правилам семантического образования первичных значений в определенных конститутивных условиях. Иначе говоря, случаи вторичной номинации в их содержательном аспекте также относятся к первичной сигнификации словесных знаков, и не следует смешивать вторичную сигнификацию с вторичной номинацией.

Дело в том, что явления первичной и вторичной номинации составляют разные значения одной языковой единицы, хотя бы и находящиеся в деривационном отношении, когда производное вторичное значение производится от производящего первичного по определенным моделям (правилам). Напротив, явления первичной и вторичной сигнификации относятся к одному и тому же значению языковой единицы и представляют собой разные компоненты одного и того же сигнификативного значения словесного знака.

Итак, первичная и вторичная сигнификация — два разных источника и два разных элемента единого сигнификативного значения имен. Сливаясь в общей функции описания сущности по ее признакам, входя в состав одного «описывающего» значения, эти два элемента различаются своим происхождением, способом своего формирования в имени (хотя первичная и вторичная сигнификация одинаково свойственна как лексическим, так и синтаксическим единицам, как словам, так и словосочетаниям и предложениям и хотя общие выводы и положения распространяемы на те и на другие, в последующем изложении ограничиваемся лексическими единицами — именами, т. е. полнозначными словами (лексемами) и словосочетаниями).

Каковы же основные источники (факторы и способы) вторичной сигнификации?

Во-первых, их источником служат сочетаемостные ограничения на употребление слова в каком-либо его значении (словозначении), при том, однако, условии, что круг разрешенной сочетаемости очерчивается единым понятием, охвачен общей идеей, т. е. понятийно определен. Ср. *карий* = коричневый (о глазах), *каштановый* = коричневый (о волосах), *вороной* = черный (о масти лошадей).

Ограничения на сочетаемость складываются исторически в силу действия тех или иных причин. За ними может ничего не стоять, кроме условности. В таком случае от них не приходится ожидать никакой вторичной сигнификации: они ничего дополнительно не значат, в них нечего пони-

мать, их надо просто помнить. Содержательно не мотивированные сочетаемостные ограничения вполне возможны и обычны. В них нет ничего от языковой семантической системы, семантически они асистемны и принадлежат только норме и узусу языка. Изначально, в первоисточнике их истории, у них могла быть, но отнюдь не всегда и не обязательно, семантическая мотивировка, впоследствии утрачиваемая. Таковы, очевидно, многие фразеологизмы — устойчивые сочетания.

Иначе обстоит дело, если на партнеров по сочетаемости хотя и наложены ограничения, но все эти партнеры объединены общей идеей, за ними просматривается общее понятие, некий отмеченный сознанием говорящих класс существностей в полном его объеме. Понятие о таком классе «маячит» во всех случаях употребления слова, сочетаемость которого ограничена подобным образом. Оно и составляет вторичное сигнификативное содержание такого слова.

Рассмотрим этот случай сигнификации подробнее и опишем его в более строгих и точных терминах. Если на имя (= полнозначное слово любой части речи) наложены сочетаемостные ограничения, то в семантическом и номинационном планах это означает, что нарушено соответствие между интенционалом и экстенционалом имени: экстенционал имени искусственно заужен, и имя не способно обозначить все сущности из числа тех, которые описываются интенционалом имени. Реально разрешенный экстенционал имени оказывается уже того, что потенциально положено его интенционалу, и в этом смысле сочетаемость имени неполноценна. Например, «карий» интенционально равнозначен «коричневому», они обозначают один и тот признак, но экстенционал «карего» ограничен только одним классом коричневых предметов — глазами.

Попутно надо отметить важный момент. Неверно полагать, что признаковым словам вообще никак не свойствен экстенциональный компонент содержания, что они исключительно интенциональны. Взятые сами по себе, они не только интенционально различают и сличают признаки (в широком смысле термина — как ряд существностей, противопоставленный вещам), но и связаны с представлениями о распространении, встречаемости в вещах (экстенсии) этих признаков, т. е. связываются не только с интенциональной, но и с экстенциональной характеристикой признаков. Лишь при речевой актуализации в сочетаниях с вещными словами, после пересечения экстенционалов вещного и признакового слов передают они свою экстенциональную функцию вещному слову, оставляя ему все полномочия на объем и характер референции с обозначаемым.

Возвращаясь к словам с экстенционально-сочетаемостными ограничениями, вроде *карий*, *каштановый*, *вороной* и т. п., мы сразу же отмечаем, что доставляемая ими информация складывается из двух понятий — понятия о признаке и понятия об одном из классов, обнаруживающих такой признак. Конечно, «карий» не обозначает подкласс коричневых глаз, но

«карий» не обозначает и разновидность (подкласс) коричневого, т. е. не обозначает «такого рода коричневый, какой бывает как цвет иных глаз». Оба понятия соединены в семантическую структуру вида «коричневый как признак глаз», «коричневый как признак волос (человека)», «черный как признак (масти) лошади».

Добавочный компонент значения в подобных случаях не модифицирует признак, не осложняет интенционал слова, он лишь добавляет нечто к значению сверх интенционала, а именно указывает скорректированную (суженную) сферу проявления признака. Очевидно его экстенциональное происхождение, но только в силу того, что суженный экстенционал совпадает по объему с определенным классом, и тогда понятие об этом классе добавляется к значению имени как элемент вторичной сигнификации посредством этого имени: имя описывает денотат не только как имеющий данный признак, но и избыточно — как имеющий признаки определенного класса из числа тех, которым свойствен первый из указанных признаков. То, что вторичная сигнификация избыточна, обнаруживается в сочетаниях подобных имен: *карие глаза, каштановые волосы, вороная лошадь (вороной рысак, вороная кобыла и т. п.)*.

Не следует, впрочем, представлять дело так, что избыточно только признаковое слово своим вторичным сигнификативным содержанием. Само понятие избыточности предполагает информативное дублирование содержания в разных частях одного сообщения. Вторичная сигнификация признаковых слов избыточна постольку, поскольку нельзя обойтись без вещного слова, которое хотя и предвосхищено информационно признаковым словом, но необходимо как стержень для нанизывания признаков, описывающих денотат. Но информационно избыточно также любое слово, будь то признаковое или вещное, определяющее или определяемое, если оно идет в речи вслед за другим и дублирует информацию этого последнего.

Если бы суженный экстенционал не совпадал с объемом определенного класса и за ограничением сочетаемости не просматривалось бы ближайшее объединяющее понятие, то не было бы и вторичного сигнификативного приращения в семантике имени. Если же область суженного экстенционала покрывалась бы несколькими разнородными классами, не объединенными общим ближайшим гиперонимом, то вторичное приращение к сигнификативному значению имени, если о нем можно было бы говорить вообще, имело бы вероятностный характер. Так, если бы карими назывались бы не только глаза, но того же цвета волосы, ткани, пигментные пятна на коже, накрашенные губы, но не масть животных, ожоги на коже, изделия из кожи, закоптелые пятна и др., то экстенционал и сочетаемость этого прилагательного остались бы суженными, но в этом ограничении не было бы правила, оно было бы чисто условным и случайным, достоянием памяти, но не понимания, и при этом растворился, исчез бы и

элемент вторичной сигнификации из значения имени (или принял бы неопределенный вероятностный характер).

Вторичносигнификативные компоненты рассматриваемого вида иногда называют, — не уясняя, впрочем, должным образом, их экстенциональное происхождение, — скрытыми семами. Однако для говорящих эти семы в значении столь же явны, как и семы первичной сигнификации. Эти семы, если и скрыты, то в смысле известной сложности для теоретической интерпретации, т. е. это не онтологическая скрытость для говорящих, а известная теоретическая сложность для исследователей семантики. Как было показано, для осмысления их природы требуется учитывать игру экстенционально-интенциональных соотношений в слове.

Предпочтительнее семы этого рода называть привязочными, имея в виду отразить их экстенциональное происхождение — в силу привязки признакового слова к определенному классу вещей, совместимых с данным признаком.

Но не следует ли вообще компонент вторичной сигнификации включить на определенных правах в интенционал значения, т. е. рассматривать его как определенную часть структуры первичных сигнификативных признаков? Пойдя по этому пути, надо, очевидно, считать рассматриваемый компонент дифференциальным признаком в структуре значения, т. е. интенционал пришлось бы считать гиперсемой (родовым признаком, архисемой) значения, а вторичный сигнификативный элемент — гипосемой (видовым признаком) значения.

Нетрудно убедиться, что этот путь неприемлем. В самом деле, в структуре значения прилагательного «карий»/коричневый (о глазах)/ элемент/о глазах/ не соотносен с разновидностью коричневого, т. е. не дифференцирует его. Этим элементом значения признаковое слово информирует не о признаке, а о носителе признака, предвосхищая и/или дублируя полностью или частично интенционал определяемого существительного.

Таким образом, признаковое слово добавляет к своей сигнификации дополнительный вторичный компонент в том случае, если его реальный экстенционал уже потенциально возможного при данном интенционале и совпадает с объемом какого-либо класса из числа тех, что совместимы с обозначаемым признаком. Понятие о таком классе как носителе указанного признака и составляет содержание вторичной сигнификации.

Сходного рода несоответствия между содержанием и объемом понятия обнаруживаются и у многих вещных слов, как, например, *толпа* (людей), *стая* (птиц), *рой* (летучий насекомых), *косяк* (рыбы), *масть* (лошадей), *табун* (лошадей), *стадо* (парнокопытных) и т. п. По содержанию понятия *масть* — то же, что *цвет*, но объем и сочетаемость ограничены классом крупных непарнокопытных (прежде всего лошадей) и именем в этой понятийной области (ее гиперонимами и гипонимами, ср. *масть лошади*, *рысак*, *кобылы*, *жеребенка* и т. п.).

Возможно, хотя уже проблематично, расширение этой области также на крупных парнокопытных (масть коровы?), и тогда дополнительный к понятию цвета признак в значении слова «масть» соответствовал бы объему и содержанию понятия о крупных копытных. По-видимому, в сознании русскоговорящих экстенционал значения слова «масть» организован как концентрическая вероятностная структура понятий, объемы которых находятся в отношении включения с убыванием вероятности и нарастанием обобщенности от центра к периферии:

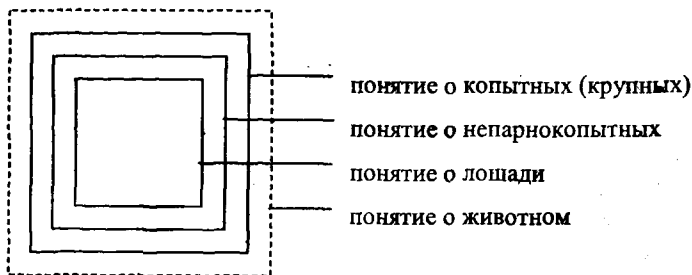


Рис. 1

Иной характер носит структура экстенционала слова «стая». С известным огрублением ее можно представить из двух равновероятных соположенных частей, не имеющих ближайшего родового понятия-гиперонима. Одна из этих частей, по-видимому, в свою очередь, состоит из разновероятностных частей с родо-видовым отношением (отношением включения):

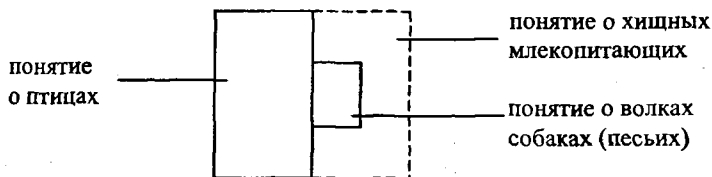


Рис. 2

Напротив, в словах *косяк*, *рой* экстенционал прост по структуре как следствие понятийно четких ограничений сочетаемости — косяк рыбы, рой летучих насекомых.

Существительные *стая*, *рой*, *косяк*, *табун*, *стадо* реализуют с некоторыми вариациями одно понятие — целое, образуемое множеством живых однородных особей. Вместе с тем нельзя не видеть более или менее отчетливой тенденции к видовому варьированию, модификации этого общего понятия в зависимости от того, какие особи составляют целое.

И речь идет не о варьировании понятия по составу целого, а по его характеру (взаимоотношениям особей, поведению особей и целого и т. п.). В значение слов проникает и в той или иной мере отражается видовая специфика целых, обусловленная особенностями составляющих их особей. В иных случаях разница в понятиях вряд ли ощутима: помимо состава, табун лошадей не отличим существенно от стада. Но даже при том, что в обоих случаях характер объединения животных в табун и стадо принципиально не меняется, нет ли уже здесь тенденции различать понятия по характеру целого хотя бы на начальном и весьма аморфном уровне?

В других случаях различие становится более отчетливым, ср. рой и стая, и все же, хотя мы, по-видимому, и связываем с различием между роем и стаей нечто большее, чем различие по составу летающих (насекомые и птицы), понятие о характере объединения тварей вряд ли разошлось на два, как, например, в паре стая и прайд.

Реальная картина, как можно видеть уже на этих простейших примерах, достаточно сложна: чисто экстенциональная дифференциация значений может дополняться интенциональными различиями разной меры отчетливости и существенности, сигнификативные признаки экстенционального происхождения могут вызывать осложнение и дифференциацию интенционалов значений.

Но даже с учетом этого остается момент существенного отличия в структуре значений имен с экстенциональным ограничением рассматриваемого вида и без такого ограничения. Значения первых связаны (несвободны), так как их сочетаемость ограничена и реальный экстенционал имени уже того, что потенциально соответствует данному интенционалу; вместе с тем в значениях проявляются привязочные семы при условии, что ограничение экстенционала очерчено областью определенного класса. У признаковых имен такие семы избыточны в любом случае; напротив, у вещных слов они делают полностью или частично избыточными значения других имен в сочетаниях, а именно имен, указывающих состав объединений или принадлежность признака, ср. табун лошадей, табун арабских скакунов, масть лошади, масть иноходца.

Ничего подобного нет у имен со свободными значениями, т. е. у имен с полномощной (без специальных ограничений) сочетаемостью, не обнаруживающих существенного расхождения между интенциональным и экстенциональным параметрами значения. Таковы, к примеру, имена *цвет*, *пол*, *группа*, *множество* в отличие от *масть*, *табун*, *толпа*, *сборище* и т. п. Так, экстенционал имени «группа» не добавляет никаких новых признаков к интенционалу этого имени. Оба они производны друг от друга и согласованы одно с другим; в группы объединяется все, что объединяется в группы, ср. группа людей, животных, деревьев, зданий, задач и т. д. Точно так же пол и цвет имеет все, что различается полом и цветом. Во всех

этих случаях отсутствует дополнительная информация о составе множества и принадлежности признака.

Напротив, сборище — это не любое собрание существ с неблагоприятными целями, но именно людей. Тем самым к указанному интенционалу добавилась информация о составе.

В признаковых словах вторичносигнификативный компонент составляет особую часть значения дополнительно к интенционалу имени, в вещных словах он включен в интенционал имени на правах дифференциально-го признака (гипосемы). Причина этого — в принципиальном отличии признаковых и вещных слов. Признаковое слово не имеет собственного денотата, оно описывает денотат, представленный определяемым им вещным словом (дополнительно к тому описанию, которое содержится в самом вещном слове).

Разумеется, признак сам может стать вещью — денотатом, поскольку признаки и вещи — относительные, а не абсолютные категории. Вещи — сущности, обладающие признаками; признаки — сущности, различающие и сличающие вещи. Нет таких признаков, которые не могли бы предстать как вещи, т. е. как сущности, обнаруживающие, в свою очередь, некоторые признаки. Но есть сущности, которые всегда предстают исключительно как вещи, — это тела, т. е. сущности с пространственной границей, и объединения, комбинации тел вместе со связывающими их отношениями. Для того чтобы в языке представить признак как вещь-денотат, необходимо признаковые слова перевести в разряд вещных слов, например посредством субстантивации или словообразования (синтаксической и морфологосинтаксической транспозиции). Тогда о признаке может быть нечто высказано как о вещи-денотате.

Очевидно, что в признаковом слове вторичная информация за счет регулярного сужения экстенционала не модифицирует сама первично обозначенный признак, и поэтому не может быть включена ни в интенционал, ни в импликационал значения признакового слова. Вторичная сигнификация в признаковых словах представляет собой именно добавочный компонент значения \supset специальную (и избыточную) информацию об особой сфере бытования признака.

Напротив, вещное слово имеет собственный денотат, непосредственно с ним соотносено, называет и описывает его. Поэтому все содержащиеся в его значении признаки, каково бы ни было их происхождение, — результат ли они интенционального описания денотата или результат экстенционального ограничения, — поставляют единое описание денотата и образуют единую структуру значения — интенционал вещного имени с экстенционально-сочетаемостным ограничением. Гипосему (различительный признак) такого интенционала составляют привязочные семы вторичной сигнификации — понятие о классе, которым ограничен экстенционал имени, а

гиперсему (родовой признак) — понятие об объединении, образуемом представителями этого класса.

Вторичная сигнификация рассмотренного вида, как можно легко заключить по характеру примеров, широко представлена в лексике любых языков. Она связана с неполной системностью лексических соотношений, непоследовательным, незавершенным, осложненным характером системных связей в семантической структуре словаря. Словарь как семантическая структура складывается в целом и в отдельных своих частях не только под упорядочивающим влиянием логической иерархии понятийных отношений, но и под давлением разнообразных, разнородных, нередко противоречивых импульсов, идущих от внешних обстоятельств существования языка и людей, на нем говорящих.

Того же рода вторичная сигнификация обнаруживается в тех экзотических языках, в которых обозначение одних и тех же действий и шире — признаков разнится в зависимости от социальной категории лица, которое совершает действия или обнаруживает эти признаки. Слова-синонимы при этом несут дополнительную информацию — о классе носителя признака (действующего лица). Источником привязочных сем здесь также служат экстенсionalmente-сочетаемостьные ограничения на употребление слов, не мотивированные интенционалом выражаемого признакового понятия, но связывающие сферу распространения признака (действия) с определенным классом лиц. Займемся теперь другим видом вторичной сигнификации, по существу близким рассмотренному. Его иллюстрируют примеры типа *курица кудахчет, свинья хрюкает, овцы (козы) блеют, вороны каркают, коровы мычат, лягушки квакают, сорока стрекочет, птички щебечут, гуси гогочут, утки крикают, собаки лают* и т. п. Особенность здесь та, что между импликационалом и экстенсionalmente признаковых слов нет несоответствия: принимается, что данный признак наблюдается исключительно (или почти исключительно) у вещей (здесь — животных) данного класса и характерен только для него. Однако сам класс выделен на ином основании, и рассматриваемый признак, хотя и может служить как показательный для класса, существенным не является, т. е. не относится к числу конституирующих класс.

В силу того, что экстенсionalmente класса и признака совпадают, имя признака — и в этом сходство с рассмотренным ранее случаем — приобретает привязочные семы, и в его значении появляется дополнительный компонент вторичной сигнификации. Этот компонент также имеет экстенсionalmente происхождение: признаковое слово информирует не только о признаке, но и о классе его носителя в силу одинаковой экстенсии признака и класса.

Следующий вид вторичной сигнификации свойствен именам собственным.

Идеальному имени собственному, т. е. имени собственному как родовому понятию на уровне класса, никак не свойственно описывать свой де-

нотат: сигнификация не входит в число его первичных функций. Как особый тип имен оно специализировано на выделении единичного, указании и репрезентации его в речи независимо от его класса и признаков. Этим объясняется простой факт: нельзя без ошибки одно и то же назвать и человеком, и котом. Употребляя нарицательные имена, мы описываем денотаты, а такие два описания несовместимы в одном денотате. Но можно и то, и другое назвать Бонифацием, так как в принципе имя собственное не связано приписыванием признаков. Идеальное имя собственное предназначено для денотации единичного, но не для сигнификации. Сигнификативное значение как первичная функция ему не свойственно.

Такова принципиальная картина. На практике мы пользуемся ограниченным числом имен собственных и даем одинаковые собственные имена нескольким денотатам, если они достаточно разведены ситуативно и нет постоянного конфликта выбора (ошибок в референции). Еще важнее другое. Определенные группы имен собственных закрепляются, хотя и не строго, за определенными классами денотатов, существует корреляция между теми и другими: мужские имена отличны от женских; имена людей отличны от кличек животных, каждый народ дает, хотя бы частично, свои имена; имена отличаются соответственно возрасту, социальному положению и т. д.

Подобное распределение имен собственных тоже есть род нормативного ограничения, и как только за ним прослеживается связь с определенной категорией, классом лиц, предметов, явлений, оно становится источником привязочных сем, информации о классе. Собственное имя оказывается способным к вторичной сигнификации, отмечая в денотате признаки указанного класса.

В силу сходных распределений они, кроме того, приобретают, хотя и не столь определенные, прагматические значения, т. е. связываются с выражением субъективных отношений и оценок.

Не имея первичного референционного (денотативного) значения как словарные единицы, имена собственные приобретают его при соотношении с единичным, становясь его обозначением. Не обладая по своей родовой природе способностью описывать денотаты, т. е. не обладая первичным сигнификативным значением, они в силу указанных распределений связываются с признаками вторичной сигнификации: они способны описывать свои денотаты, информировать об их признаках.

Почему семантические признаки — результат закрепления определенных имен собственных за определенными классами лиц и вещей не могут считаться принадлежностью первичной структуры значения этих имен и должны быть отнесены к вторичной сигнификации, сигнификации косвенной и обусловленной? Потому что сигнификация этого рода не уравнивает их с именами нарицательными. Наричательное имя одно приложимо ко всем денотатам своего класса, оно употребимо и в единичной, и в родо-

вой соотносительности с ними. Собственное имя, будучи приложимо к определенным денотатам в классе, уже не может быть распространено на все другие в том же классе, хотя бы оно и описывало свои денотаты как члены этого класса в силу своей исключительной связи с данным классом, т. е. за счет косвенной вторичной сигнификации. Иначе говоря, хотя имя собственное теоретически может связаться с любым членом данного класса, оно не может служить именем всех их на уровне единичного, ни тем более на уровне класса.

Имена нарицательные описывают свой денотат через его принадлежность к классу. Имена собственные описывают свой денотат через свою принадлежность к именам членов определенного класса.

Как видим, элементы сигнификации, хотя и обнаруживаются в именах собственных, имеют в них особое происхождение и занимают в структуре их значения особое место, не меняющее специфику этого разряда имен.

Еще один вид вторичной сигнификации обнаруживают те экзотические языки, в которых слова в синонимических парах могут различаться только тем, что один из синонимов употребляется говорящими-мужчинами, а другой — женщинами (мужской и женский языки в рамках одного языка). Здесь также имеет место вторичная сигнификация, но уже иного вида, чем рассмотренные выше: слова-синонимы несут дополнительную информацию, но не о своих денотатах, а о говорящих. Привязочные семы вновь появляются за счет ограничений на употребление слова, интенционально не мотивированных, но очерченных определенным классом. Однако эти ограничения уже не носят экстенционально-сочетательный характер, соответственно и вторичная сигнификация не содержит информации о денотате слова. Ограничения касаются идиолектов, коллективных и индивидуальных, и сигнифицируют тех, кому они свойственны.

Вторичная сигнификация этого вида, как можно убедиться, также имеет самое широкое распространение в языках. Факты из экзотических языков лишь представляют ее редкую и яркую разновидность, а вместе с тем наиболее наглядным образом проявляют этот тип вторичной сигнификации. К нему относятся все случаи функционально-стилистического варьирования речи и выбора языковых средств, мотивируемых не предметом речи, а ее социально-релевантными условиями и обстоятельствами, социально-ролевыми отношениями говорящих, непрямыми целями и задачами общения, а именно все распределения и ограничения на использование языковых средств, не мотивированные их словарными значениями, но служащие косвенным источником метакommunikативной информации в силу соотносительности этих средств с типизированными характеристиками коммуникации.

Случаи этого рода лежат в пограничной зоне сигнификации в том смысле, что выводят собственно знаковое (словарное, кодифицированное,

собственно языковое, семиотическое) значение языковых единиц в более широкую область значимых импликаций из употребления знаков, когда те или иные значения связываются с языковыми единицами не по условию из словаря, а из знания того, как реально используется знак и его единицы, из типичных, отстоявшихся обстоятельств их употребления. Это тем более справедливо, что прирост содержания тут относится уже не к денотативной, а коммуникативной стороне знаковой ситуации.

Но это заставляет несколько расширить само понятие сигнификации сравнительно с тем, что о ней было сказано в самом начале, и определить ее как виртуальную способность знаков нести когнитивную информацию и служить описанию денотативной и коммуникативной сторон знаковой ситуации.

В целом, как видим, вторичная сигнификация основана на конфликте интенциональной стороны значения языковых единиц с нормой их реального употребления. Она обнаруживает себя как дополнительная часть значения единиц при расхождении интенционала знака с его реальными номинационными возможностями при том условии, что ограничения на употребление знака очерчены определенной понятийной сферой. Этим обеспечивается прирост значения знака: сообщаемая им информация не ограничивается тем, что заложено в его интенционале, но дополняется содержанием, очерчивающим реальную сферу его употребления.

6. Структура лексического значения: типология сем

Лексическое значение представляет собой сложное динамичное образование. Составляющие его части различаются многими особенностями: местом и ролью в структуре значения, характером взаимодействия и взаимозависимостей одних с другими и с контекстом, участием в формировании актуального значения, т. е. актуализированного значения слова в конкретном контексте речи, совместимостью — несовместимостью; они своеобразно проявляют себя при переосмыслении слова в словообразовании и т. д. В связи с этим возникает проблема типологии сем, классификация по существенным особенностям того, что выявляется в результате компонентного анализа значений.

Проблема типологии сем не исследована еще должным образом и ждет своей разработки. Существующие классификации часто неполны или умозрительны, основания классификаций плохо разграничены и накладываются одни на другие. На типологию сем нередко переносят представления о видах значений, так что типология сем оказывается той же классификацией значений, но переложенной в терминах сем. В целом

разграничивают такие разряды сем, обычно организованные в оппозитивные пары или ряды из нескольких членов: когнитивные (денотативные, референциальные, предметно-логические, интеллективные) и прагматические (коннотативные, эмотивно-оценочные, экспрессивно-стилистические), экстралингвистически обусловленные и лингвистически обусловленные, центральные и периферийные, актуальные (актуализированные) и потенциальные, явные и скрытые (латентные), обязательные и факультативные (дополнительные), узуальные иokkaзиональные, индуцирующие и индуцируемые, терминологические и нетерминологические, категориальные (грамматические) семы — гиперсемы (классемы, маркеры, архисемы) — гипосемы (дифференциальные/различительные/дистинктивные семы, или дистингвишеры).

Многие из приведенных терминов говорят сами за себя, другие — синонимичны или близки тем, что нам уже известны, третьи — нуждаются в пояснении. Представления о типологии сем, безусловно, производны от представлений о структуре и функционировании значения. Вторые служат базой для первых. Сема — неноминированная часть значения. Наличие частей и структуры в когнитивном компоненте значения представляется несомненным. Известно немало о характере этих частей и их отношениях в структуре. Этого нельзя пока сказать о прагматическом значении слова. Говорить о прагматических (коннотативных, эмотивно-оценочных) семах преждевременно до тех пор, пока не известно о том, на какие части разлагается (из каких частей складывается) прагматический компонент и какую структуру он образует. Правомерней говорить именно о прагматическом компоненте значения, а не о прагматической (коннотативной, эмотивно-оценочной) семе. Иначе специфика последней просто нивелируется, и она становится в ряд с когнитивными семами как одна из них. Что касается когнитивного компонента значения, то и здесь можно только в расширительном, не вполне строгом смысле говорить об экстенциональных семах в противопоставлении семам контенциональным (интенциональным). Здесь также пока не выяснены состав и структура этого аспекта значения, предпочтительно говорить об экстенциональном компоненте (аспекте) значения. Таким образом, в более строгом применении термин «сема» ограничивается контенционально-интенциональной стороной значения.

Из того, что уже известно о структуре лексического значения, можно с достаточным основанием заключить, что контенциональный компонент значения определенно структурирован на части-семы и что эти семы распадаются по их роли и месту в структуре виртуального значения на интенциональные (ядерные, центральные) и импликациональные (периферийные, индуцируемые интенционалом). Ядерная позиция интенциональных сем в структуре значения наделяет их теми качествами, что они актуализированы («явные»), обязательны (наличествуют во всех употреблениях слова

в данном значении) и индуктивны (актуализируют импликационно связанные с ним признаки). Те же качества есть у признаков жесткого импликационала, с необходимостью (т. е. с вероятностью, равной 1) имплицитующих из интенциональных признаков.

Интенциональные семы, в свою очередь, распадаются на семы родовой части — гиперсемы (архисемы, маркеры) интенционала и его видовой части — гипосемы (дифференциальные семы, дистингвишеры). Что касается импликациональных сем, то в действие вступает их вероятностный характер. Их нельзя классифицировать по жестким рубрикам двузначной логики, как это можно сделать с интенциональными семами в силу конструктивно-логической детерминистской природы интенционала. В этом недостаток указанных выше классификаций. Они не учитывают стохастический элемент в значении и пытаются оценить вероятностный объект средствами жесткой логики. О вероятностной семе нельзя сказать, есть ли она обязательно, наличествует или обязательно отсутствует, актуализирована или нет в виртуальном значении. Ее качества вероятностны, она и обладает и не обладает ими. Истинно не наличие или отсутствие их, а мера их вероятности. Поэтому импликациональные признаки виртуального значения нельзя в строгом смысле квалифицировать как потенциальные, они составляют его вероятностную часть. Потенциальным называют признак, которого нет у вещи, но который у нее может быть. Соответственно потенциальной надо назвать такую сему, которой нет в данном виртуальном значении, но которая может появиться в значении слова. Понятие о потенциальном признаке принадлежит жесткой (двузначной) логике, это способ представления ее средствами признаков вероятностной природы. Вероятностный признак при этом эпистемологически редуцируется в жесткий признак двузначного противопоставления: наличный (имеющийся, обязательный, представленный, действительный) — потенциальный (возможный, вероятный, допустимый).

Эпистемологическое (гносеологическое, познавательное) огрубление действительности порождает парадокс: если о наличном признаке мы говорим однозначно, что он есть, об отсутствующем признаке, что его нет у вещи, то о потенциальном признаке одинаково справедливо сказать, что его нет у вещи (как наличного) и что он у нее есть (как потенциальный). Этот парадокс решается при жесткой логике различением двух ипостасей вещи — конкретной и идеальной. В идеальной вещи (понятии о вещи) есть и наличные, и потенциальные признаки, и они различаются, а в конкретной вещи все признаки — наличные (действительные), включая и признаки из числа тех, что в идеальной вещи были потенциальными. Так и о виртуальном значении говорят, что его составляют обязательные актуализированные семы, и это, собственно, и есть виртуальное значение, но, кроме того, в нем есть еще и потенциальные неактуализированные семы. В актуальном значении все семы, понятно, актуализированы, и оно составля-

ется из обязательных сем виртуального значения и части потенциальных сем, актуализируемых в контексте.

В конечном счете, все сводится к противопоставлениям актуализированных — неактуализированных и общих — частных сем значения (об общих и частных семах см. также ниже). Потенциальными для данного значения оказываются такие семы, которые актуализируются, но не всегда. Такое решение весьма огрубляет реальную картину и допустимо лишь как упрощенное представление структуры значения в первом ее приближении. От понятия о потенциальных семах нужно было сделать следующий важный шаг к понятию о вероятностной структуре этого компонента значения, чтобы можно было объяснить природу этих сем, их состав, происхождение, внутреннюю структуру и механизмы актуализации в речи. Ответ на эти вопросы дает более содержательное и адекватное понятие об импликациональных семах. Оно, в частности, помогает понять, что контекст лишь проявляет (актуализирует) потенциальные семы, но не обуславливает их: они обусловлены интенционалом значения. Кроме того, среди импликациональных признаков есть признаки жесткой импликации, которые вообще нельзя объяснить как потенциальные семы.

Вполне правомерно деление сем на индуцирующие и индуцируемые. Существенно, однако, указать, что индукция сем может быть двоякого рода — внутренней и внешней по отношению к виртуальному значению. О внутренней индукции уже было сказано достаточно — это индукция ядром значения своей импликациональной ауры. Ее импульс заложен в интенционале, и она замыкается виртуальным значением, формируя состав и структуру импликационала.

Внешняя индукция направлена извне, от контекста и ситуации речи (их соединяют в одном понятии речевой конситуации) к виртуальному значению. Она формирует актуальное значение слова в речи, производя изменения в составе сем, а иногда и в структуре виртуального значения, так что в актуальном значении погашаются некоторые семы, появляются новые семы, а также может перестраиваться сама структура значения. Это позволяет говорить не только об индуцируемых, но и о погашаемых семах. Тем самым индуцируемые семы в одних случаях противопоставляются индуцирующим, в других — погашаемым и в третьих — просто уже имеющимся в значении семам.

Как уже упоминалось выше, развертывание представления о какой-либо единичной вещи в связном тексте приводит к тому, что имя этой вещи с каждым последующим упоминанием имеет все более богатое содержание — денотативное значение вбирает в себя все новые признаки, прямо сообщаемые или индуцируемые конситуацией. Это простейший и самый массовый случай индуцирования сем, дополнительных к сигнификативному значению нарицательных существительных. Обобщая различия между денотативным и сигнификативным значениями одного имени по семному

составу, мы приходим к необходимости разграничивать общие и частные семы в значении нарицательных существительных. Первые относятся к описанию класса, вторые — частных, индивидуальных признаков единичных вещей.

Индукция и погашение сем в сигнификативных значениях слов, а именно в их интенционалах, связаны с перестройкой структур значений. Тем самым они приводят к качественному сдвигу в значении и образованию нового значения. Они будут подробно рассмотрены в дальнейшем. Здесь достаточно одного примера для пояснения. Позиция обращения предполагает денотат-лицо. Если в эту позицию поставлено иное имя, то в нем индуцируется сема лица, погашается несовместимая с ней сема неодоушевленности, а в целом происходит перестройка значения и возникает новое значение. В обращении «эй, борода!» существительное означает человек с бородой. Попутно это дает возможность отметить еще одно подразделение в типологии сем — семы совместимые и несовместимые, которое, впрочем, является всего лишь частным случаем совместимости/несовместимости признаков (см. ниже).

В словарях после толкований или переводов значений нередко пометы, указывающие сочетательные ограничения на употребление признаков слов в данном значении, ср. *карий* (о глазах), *каштановый* (о волосах). Здесь мы сталкиваемся со связанными значениями, неполномощными в том смысле, что имя в таком значении не охватывает весь класс вещей с данным признаком. Карие глаза — того же коричневого или каштанового цвета, но их нельзя назвать ни коричневыми, ни каштановыми. При этом признаковое слово может быть достаточно четко ограничено описанием определенного подкласса в классе, выделенном по называемому им признаку. Так, в нашем примере, из своего класса коричневых предметов карий описывает только подкласс «коричневых» глаз, а каштановый — подкласс «коричневых» волос. Косвенно, в силу этого сочетаемостного ограничения, не мотивированного семантически, в силу конфликта между семантикой и номинативной неполномощностью признаковое слово получает любопытную добавку к своему значению, такую, что сочетание с именем разрешенного подкласса избыточно, ср. *карие глаза* (а что еще может быть карим?), *каштановые волосы* (а что еще может быть каштановым?).

Природа этой добавки не столь проста. Здесь мы имеем дело с уже знакомой нам по предыдущему разделу проблемой вторичной сигнификации, но уже в контексте типологии сем — в контексте общей систематизации компонентов когнитивной структуры лексического значения. Как мы видели, эту семантическую добавку пытаются интерпретировать как дополнительную скрытую сему, обусловленную сочетаемостным ограничением и содержательно равную признакам разрешенного подкласса. Но такое решение ведет к парадоксу: если есть сочетаемостное ограниче-

ние, то есть и указанная сема, но если указанная сема представлена в значении, то нет сочетаемостного ограничения. Кроме того, следуя этой логике, надо в значение всякого признакового слова, неполномощного и полномощного, включать понятие о классе вещей с данным признаком. Это заводит в логический круг, так как признак определялся бы через класс вещей, образованный этим признаком: *коричневый* — такой, какой есть у коричневых вещей.

Традиционное решение, принятое в словарях, избегает логической ловушки. Словари отказывают слову в дополнительных семах и ограничиваются указанием сочетаемостного ограничения. Проблема переводится из плана семантической сочетаемости в план норм лексической сочетаемости. Лексическая сочетаемость не повторяет семантическую. Она не всегда мотивирована семантически, в ней могут быть произвольно-нормативные установления. Такие установления относятся только к знанию языка вне его связей с миром и человеком, а значит, стоят вне семантики и прагматики.

Однако в рассматриваемых примерах есть нечто сверх чисто нормативного языкового установления — связь признакового слова с определенным подклассом. Она и является условием семантической добавки, которой пренебрегают словари. Эта добавка тотчас же исчезает или становится неопределенной, если сочетаемостное ограничение остается, но в нем не прослеживается связи с определенным подклассом. Услышав разрозненные фразы: 1) «Они карие», 2) «Они коричневые», 3) «Они вороные», 4) «Какого они цвета?», 5) «Они крапленые», 6) «Какой они масти?» — мы заключаем, что речь идет в первой фразе — о глазах, во второй — неизвестно о чем, в третьей — о лошадях, в четвертой — неизвестно о чем, в пятой — о картах, в шестой — неизвестно, о лошадях или картах.

Разумнее принять такой подход: указанная семантическая добавка по своей природе — не контенсионального (интенсионального), а экстенсионального характера: не указывая какой-либо разновидности признака, она уточняет объем референции слова, суженный не мотивированным интенционально-сочетаемостным ограничением. Нормативно полномощному признаковому слову несвойствен экстенсиональный компонент значения — он передан вещным словом. Но в специальных обстоятельствах, как только признаковое слово замыкается рамками определенного класса, выделенного по иному признаку, этот экстенсиональный компонент неизбежно появляется как представление о специфической сфере референции слова, а вслед за ним и представление о собственных признаках разрешенного класса. Таким образом, специфические условия референции признакового слова индуцируют в нем первоначально экстенсиональное приращение содержания, которое, в свою очередь, индуцирует коррелирующий с ним интенциональный смысл.

Помимо рассмотренного случая, индукция дополнительных сем этого рода, как мы видели, наблюдается в признаковых словах следующего типа:

кудахтать, квакать, мяукать, ржать, хрюкать, лаять, блеять, мычать, крякать, гоготать, курлыкать, каркать и т. п. Все они удовлетворяют сформулированному выше принципу — замыкаются рамками определенного класса, который, однако, выделен на ином основании: куры выделяются в класс не на том основании, что они кудахчут, или по меньшей мере не в первую очередь на этом основании, но кудахчут — с разумным допущением — только куры. Все подобные слова не только называют свой признак, но, подобно словам типа *карий, каштановый, вороной, крапленый*, заставляют помыслить об определенном классе. Разница же в том, что здесь экстенционал понятия о признаке и экстенционал значения признакового слова совпадают.

Как следует назвать семы подобного рода? Просто дополнительные? Но это неопределенно, так как любые индуцируемые и все частные семы в определенном смысле дополнительные. Скрытые? Но они скрыты только в одном смысле — для исследователя, т. е. сложны для теоретической интерпретации, а в плане их языкового и речевого существования и функционирования (в онтологическом плане) они не менее явны и актуальны, чем всякие другие семы. Больше оснований назвать их, как было уже сделано, привязочными семами, имея в виду, что они экстенционально привязывают признаковое слово к определенному классу денотатов, выделенному на внеположенном основании.

Семы в значении вещного слова указывают признаки его денотата, характеризуют (описывают, квалифицируют) вещь (класс вещей) по ее признакам. Признаковые слова — таково их первичное назначение — указывают признаки денотатов вещных слов, с которыми они соотнесены. При этом, естественно, они должны указывать такие признаки, каких нет в семном описании денотата самим вещным словом (в значении вещного слова), т. е. указывать признаки из области свободного импликационала вещного слова. Иначе сочетание вещного и признакового слов будет избыточным или по меньшей мере в нем будет дублироваться некая часть информации. Это и происходит в сочетаниях слова с привязочными семами, ср. *карие глаза, вороной конь, кудахтанье кур*. Причина понятна: как признаки привязочные семы не сообщают ничего нового о денотате вещного слова сверх того, что дано в значении вещного слова, они лишь привязывают признаковое слово к классу денотатов с теми же признаками.

Это дает основание дополнить типологию сем противопоставлением привязочных и описывающих сем.

Далее. Рассматривая семантику слов в контекстах, мы обнаружим, что сочетание слова с другими словами имеет тот эффект на его значение, что в нем одни семы выдвигаются на передний план, получают акцентировку, входят в фокус внимания, оттеняются как ситуативно релевантные, а другие, напротив, отступают на задний план осознания, на время затеваются как ситуативно несущественные. Никакой количественной перестройки в

структуре виртуального значения и составе сем при этом не происходит, меняются ситуативно мотивированные акцентировки, угол освещения семной структуры в ее конкретно-речевой реализации. Тем самым значение оказывается динамичной структурой, способной встраиваться в ситуацию и приобретать коммуникативную перспективу. На этой основе в актуальных значениях слов различаются семы оттеняемые (акцентируемые) и семы затеняемые (приглушаемые).

Например, сочетания со словом *окно* акцентируют разные признаки в структуре денотата: сидел на окне — подоконник; стоял в окне — проем; перегнулся из окна — подоконник и проем; открыл окно — створки, рама; разбил окно — стекло; сломал окно — рама, переплет.

Немаловажно отметить деление сем на простые (включая элементарные) и сложные. Так, гиперсемы и гипосемы интенционала и импликациональные признаки часто бывают сложными образованиями, ср. *панель* = отдельная часть поверхности двери, стены, потолка и т. п., обычно выше или ниже уровня других частей.

Таковы основные подразделения в типологии сем вместе с их взаимосвязями и взаимозависимостями. Разграничив в лексическом значении слова прагматический и когнитивный компоненты, а в когнитивном компоненте — экстенциональный и контенционально-интенциональный аспекты и производя компонентный анализ этого последнего, различаем по наиболее существенным коррелирующим основаниям следующие виды сем: интенциональные и импликациональные, гиперсемы и гипосемы, индуцирующие и индуцируемые — с разграничением внутренней и внешней индукции сем по отношению к виртуальному значению, погашаемые и сохраняемые — при реализации слова в конситуациях, совместимые и несовместимые — при сочетании значений, общие и частные — в значении имен нарицательных при обозначении ими единичного, описывающие и привязочные, оттеняемые (акцентируемые) и затеняемые (приглушаемые) в коммуникативной структуре актуального значения, соотносительно простые и сложные — по составу и структуре.

Возможны и полезны также другие разграничения на менее существенных и производных различиях, которые тем не менее проявляют себя в семантическом функционировании слов и должны учитываться. Таковы из отмеченных ранее разграничения сем по обуславливающему их появлению источнику (экстралингвистическому — лингвистическому и иным), по наличию/отсутствию сем в узуальных значениях слова (узуальные — окказиональные семы), по принадлежности сем к разным уровням обобщения в сложной иерархически организованной гиперсеме (категориальные семы — классемы — маркеры), по степени научной разработанности и строгости понятия, составляющего содержание семы (терминологические/нетерминологические семы). Определенный смысл имеет и деление сем на явные и скрытые. Хотя оно не имеет отношения к характеру выяв-

ления сем в речи, как можно было бы ожидать из терминов, оно полезно тем, что отмечает теоретически нестандартный вид сем, интерпретация которых далеко не явна.

Развитие семантической теории, углубления знаний о структуре значения и его функционировании, несомненно, внесут коррективы, пополнят и упорядочат представления о типологии сем, составе и структуре всех компонентов и аспектов значения. Типология сем представляет в свернутом виде, в проекции на содержательную структуру слова все то, что становится известно о лексическом значении, его строении, о семантическом функционировании слова, о семантической деривации, о сходствах и различиях слов по значению, о правилах сочетания значений и т. д.

7. Операциональные модусы понятия-значения

Интенционал и импликационал — наиболее яркие и достаточно очевидные компоненты когнитивной структуры значений. Они связаны с логическим аспектом и классификационной функцией понятий. Они первыми были выявлены при исследовании структуры значений. Они составляют базу для последующего углубления в реальную, гораздо более сложную структуру понятий-значений. Поэтому изложение было начато с них. Однако в последнее время было обнаружено, что ими далеко не исчерпывается полная картина компонентной структуры понятий-значений. И теперь нам предстоит на базе усвоенных первичных представлений нарисовать более развернутую картину структуры понятий-значений, соответствующую современному уровню науки. В дополнение к интенционалу и импликационалу будет указан ряд других компонентов в целостной структуре понятий-значений. Все они образуются на функциональной основе как функциональные аспекты понятия-значения — как его операциональные модусы. В этом ряду и сами интенционал и импликационал получают новое освещение.

Понятие — концепт общего, т. е. обобщенная мысль о сущем и явлениях (вещах, признаках и ситуациях). Оно формируется в сознании и содержится в памяти, им оперирует действующее сознание, т. е. мышление. Если не ограничиваться понятием как логической абстракцией, а рассматривать его в целостности, в полноте его свойств и качеств, как реальную единицу психических структур, т. е. подходить к нему с позиций когнитологии (когнитивной науки), то понятия предстают в качестве структурно чрезвычайно сложных и типологически весьма разнообразных образований.

При этом оказывается, что логический их аспект не только не исчерпывает реального их содержания, но и не описывает полностью всех их операциональных свойств, системы межпонятийных связей и их внутренней структуры. Логическое понятие, которое ранее обычно выдавалось за

подлинный эталон научных представлений о понятии, на деле является достаточно жестким и упрощенным конструктом реального понятия, каким оно проявляет себя в живом генезисе и функционировании.

В последующем изложении анализ структуры понятий будет в значительной мере базироваться на рассмотрении значений слов. Этим путем явно или неявно следовали издавна, и он вполне оправдан, если должным образом учитывать различия между понятием самим по себе и понятием-значением или понятием как частью значения. В конечном счете, хотя и с определенным, но оправданным допущением, можно считать, что значение — то же понятие, но понятие, связанное знаком.

Разумеется, при этом следует учитывать, что то или иное значение может быть комбинацией (или, точнее, структурно организованной конфигурацией) понятий, что то или иное понятие может составлять лишь один из компонентов содержательной структуры совокупного знака, наконец, что то или иное понятие может входить в значение на правах семы, т. е. части значения, непосредственно не выраженной в формальной структуре данного знака.

Первое существенное различие в генезисе, структуре и функционировании понятий надо ожидать между понятиями о физических телах и их структурных комбинациях, с одной стороны, и понятиями о признаках и явлениях (событиях, ситуациях) — с другой. Под физическими телами, как известно, понимают вещи с пространственной границей. Признаки (в широком смысле слова) — все то, в чем вещи сходны и различны.

Понятие тела в обыденном сознании абсолютно в том смысле, что некая вещь может быть либо телом — носителем признаков и базой явлений, либо таковым не является. Напротив, понятия вещи и признака относительны. Вещь — то, что имеет признаки, а признак — то, что различает вещи или делает их сходными. Как только признаку, в свою очередь, приписаны некоторые признаки, он становится вещью в таком отношении. Иначе говоря, есть сущности, выступающие исключительно как вещи, — это физические тела, но нет признаков, которые выступали бы исключительно как признаки, как только им будут приписаны какие-то признаки, они в таком отношении должны уже быть признаны вещами.

Различие в природе понятий о телах и их комбинациях, с одной стороны, и о признаках и о явлениях — с другой, известно в лингвистике как различие между семантикой имен и предикатов, между предметной (вещной) и признаковой семантикой. Оно известно и в логике как различие между понятиями о конкретных и абстрактных предметах. Однако исследована эта область понятийных различий лишь на немногих разрозненных участках. Какие-либо обобщения и фундаментальная разработка с когнитивных позиций тут дело будущего.

Существенной трансформации подвергаются также понятия-значения признаковых (предикатных) слов в вещном, или аргументном, употребле-

ний, т. е. при обозначении ими признаков как вещей сравнительно с собственно признаковым (предикатным) употреблением, когда они называют признаки других вещей.

К этой области когнитивной науки вообще и когнитивной лингвистики в частности примыкает исследование имеющихся существенных различий в природе и структуре понятий о единичном (и соответственно значений сингулярных обозначений) в противовес понятиям о классах, различий в значениях собственных, нарицательных и промежуточных между ними категориях имен.

Другим важным моментом, совершенно не нашедшим отражения в традиционно-логических представлениях о понятии, является вероятностный характер структуры и содержания «живого» понятия. Отражая вероятностную природу мира, его текучесть, отсутствие в нем жестких границ, многозначно-стохастический характер логики действительного мира, понятия и сами оказываются неконечными множествами, концептами с размытыми краями, стохастическими образованиями. При этом признаки характеризуются не столько вхождением/невхождением в содержание понятия, сколько степенью вероятности, с которой ожидают их наличия или отсутствия у сущностей данного класса.

Понятия-стохастизмы формируются как результат индуктивно-эмпирического обобщения действительности. Их содержание организуется в структуру: 1) за счет того, что представленные в их содержании признаки различаются мерой обязательности-необязательности для сущностей данного класса; 2) за счет того, что признаки связаны причинно-следственными зависимостями и отношениями совместной встречаемости (также носящими вероятностный характер), и наконец, также 3) за счет того, что содержание данного понятия соотносится с другими понятиями — и в этом соотношении выявляются сходства и различия в их составах и структуре.

Варьирует также количественная мера признаков, содержащихся в понятии-стохастизме. Тем самым эти признаки дважды вероятностны: по мере их наличия/отсутствия и по количественной мере, т. е. по тому значению (здесь — в количественном смысле), которое они могут принимать, входя в состав понятия. Диапазон количественного варьирования признака без нарушения тождества понятия тем выше, чем меньше число одновременно варьирующих признаков и число параметров варьирования. Напротив, если одновременно в связке варьируют несколько признаков с тем, чтобы сохранить тождество понятия, требуется ограничить диапазон их варьирования.

Именно понятия-стохастизмы образуют ту сложную, до сих пор недостаточно проясненную наукой основу, на которой люди отождествляют и различают вещи, группируют их в классы и разводят их по классам, сталкиваются с классификационными затруднениями и сбоями, решают

задачи, известные как проблема распознавания (узнавания) образов. До настоящего времени не создан аппарат, который бы описывал их структуры, хотя разработка его ведется, таковы, например, стохастические концепции распознавания образов.

В рамках стохастических понятийных структур, возникающих в сознании как отражение вероятностной природы мира, формируются разнообразные вспомогательные, вторичные структуры. Они складываются как фиксация отдельных аспектов функционирования понятия, некоторых типичных существенных моментов его применения в ходе решения людьми мыслительных и практических задач. Иначе говоря, они имеют операциональный характер, являются операциональными модусами понятия некоей единой предметной отнесенности. Это функционально обусловленные типичные разновидности действующего, практически ангажированного понятия.

Такие подструктуры в рамках понятия одной предметной отнесенности (референциально тождественного понятия) нередко сами называются понятиями (ср. *логическое понятие, житейское понятие, нестрогое понятие, рабочее понятие* и т. п.), но при этом нельзя упускать из виду, что фактически они являются аспектами единого понятия.

Полный состав операциональных подструктур-модусов понятия еще предстоит выяснить. Здесь речь пойдет о главных из них — логическом понятии, понятии-образе, понятии-экстремусе и понятии-норме, а отчасти и об их разновидностях.

С самого начала следует иметь в виду, что не все модусы в полном наборе обнаруживаются у каждого понятия, а будучи представлены у него, они выявляются с разной мерой яркости. В этом нет ничего неожиданного, так как сами эти подструктуры формируются в непосредственной зависимости от того, как предстают те или иные вещи и явления человеку, какие их стороны существенны в совокупной деятельности человека. Поскольку разные классы вещей и явлений по-разному даны людям в опыте, по-разному используются и участвуют в формировании мира людей, среды человеческой деятельности и существования, то и их отражение в сознании заметно разнится. Однако в совокупности должен составиться суммарный перечень операциональных модусов, отмечаемых вместе или порознь в структурах понятий разного рода.

Будучи операциональными подструктурами, модусы формируются в недрах глобального понятия единой предметной отнесенности. Они возникают на скрещении объективированного знания о классах сущностей с практикой вещественной и мыслительной (материальной и идеальной) деятельности людей. При этом суммарное знание сущностей отстаивается, приводится в формы, наиболее пригодные для решения типических познавательно-практических задач. Короче говоря, они представляют собой формы структуризации целостного знания для операциональных целей. Мо-

дусы понятия возникают в результате накапливаемого знания о мире сообразно типическим целям, для которых понятия предназначены. Самое общее назначение понятия — то же, что и более низких, слабо обобщающих и слабо абстрагирующих форм сознания — ориентация в мире в целях оптимизации поведения. Это чрезвычайно емкое назначение, и оно распадается на взаимосвязанные функции, которые и реализуются соответствующими модусами понятий.

О каких функциях идет речь и как они распределены среди модусов понятий? Основных — взаимосвязанных, но различных — функций понятия по меньшей мере три: систематизации мира, узнавания его сущностей и структуризации классов сущностей. Функции взаимозависимы, они переходят одна в другую, предполагают друг друга, но в основе своей различны и находят воплощение каждая в своем модусе понятия или в соответствующей разновидности модуса.

Функция систематизации — выявление общего и различного в сущностях, классификация их, установление того, как распределены в них признаки, и соответственно — выявление иерархии свойственных им закономерностей. Эта функция наименее прагматична, но только в том смысле, что предполагает максимально возможную объективацию знания, максимально возможное отвлечение от сиюминутных потребностей и оценок. Иначе говоря, это препарация знания безотносительно к его возможному использованию. Эта функция формирует то, что называют логическим понятием, т. е. формирует логический модус понятия как одну из его операциональных подструктур.

Логический модус понятия формируется в мыслительных операциях упорядочения мира по оси общее — особенное — отдельное, т. е. по оси распределения признаков в сущностях мира, или иначе, как отмечалось, в операциях классификации и систематизации сущностей. Очевидно, что классификация и систематизация — аспекты единого мыслительного действия. Классификация как умственное действие — применение некоей понятийной системы к единичной сущности и классу сущностей с тем, чтобы поместить их в эту систему, установить их место в ней и описать их в ее терминах. Иначе говоря, классификация — акт и результат использования понятийной системы, а систематизация — упорядочение классификационных актов, она сводит их в единую схему и в дальнейшем служит основой для них.

Тесно связана с классификацией, но отлична от нее как ее обратная сторона функция узнавания (опознавания, распознавания, в том числе идентификации и отождествления). Различие, как можно видеть, в векторе мыслительного действия — от сущностей к их систематизации в одном случае и от готовой мыслительной сетки к помещению в нее тех или иных наблюдаемых объектов. Систематизация основана на сличении вещей по общности/различию признаков с учетом меры общности/различия призна-

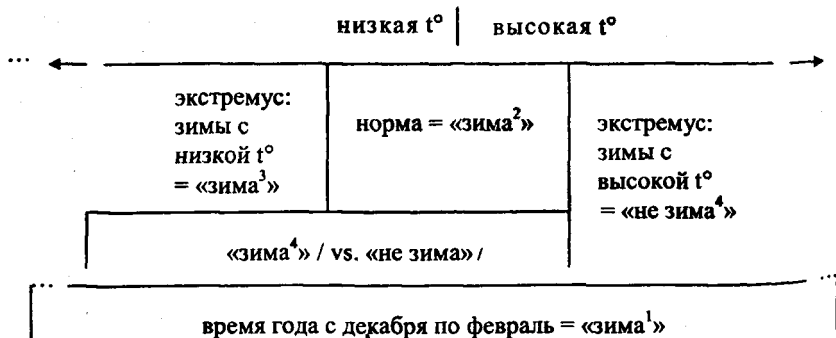
ков и конститутивной роли общих/различных признаков в структуре вещей. Узнавание предполагает сличение вещей с готовым концептом вещи, ее мыслительным коррелятом, который может быть или представлением, если задача узнавания решается на уровне единичного (идентификация и отождествление одной и той же вещи), или понятием, если задача узнавания решается на уровне общего, класса (отнесение к классу).

Операционально задача распознавания решается человеком с учетом доступных ему возможностей восприятия. Ему бывает удобнее отказаться от сущностного анализа вещи и опираться на ее побочные, поверхностные, отличительные признаки, если последние легче поддаются наблюдению и вместе с тем столь же привычно связываются с данной вещью или классом вещей. На этой основе в глобальной структуре понятия формируется операциональный опознавательный модус с возможными его вариантами: *понятие — образ, понятие — символ, понятие — стереотип, прототип, отличительное понятие* (см. ниже).

Обратимся теперь к функциям структуризации класса и соответствующим модусам понятия (структурационным модусам). Поясним ее на примерах. О суровой зиме может быть сказано: «Вот зима¹ так зима³!» О теплой, «сиротской» зиме можно услышать: «Нынешняя зима¹ никакая ни зима⁴». Наконец, о зиме обычной, нормальной скажут: «Зима¹ как зима²». Всякий раз одно и то же слово употребляется с несколько иным содержанием, что и делает эти выражения информативными. В каждом примере первая «зима» репрезентирует свой денотат и описывает его как определенное время года, имя здесь соотносено с логическим модусом понятия.

Напротив, вторые «зимы» в каждой паре употреблены не референционно, а только дескриптивно, причем в каждом случае различаются содержанием. Учет этих различий и позволяет осмыслить тавтологии.

Сказанное можно пояснить схематически. Зимы различаются колебаниями температуры и проистекающими из этого следствиями. Соответственно значения слова «зима» в наших примерах следующими образом размещаются на температурной шкале:



Возможность осмысленной, информативной конфронтации одного и того же имени через связку в утверждениях или отрицаниях свидетельствует наиболее явным и наглядным образом о существовании в структуре единого понятия содержательно различаемых подструктур — модусов понятия, вычленивающих в нем представления о норме и полюсах класса. Разумеется, возможность содержательных тавтологий и конструкций с самоотрицанием не является условием, а скорее следствием существования модусов в понятии. Равным образом, эти конструкции, как будет показано далее, не единственные языковые маркеры этих модусов.

После этих общих соображений перейдем к более детальному рассмотрению трех типов операциональных модусов, начиная с тех, что обусловлены систематизирующей функцией понятия. Для этого вначале напомним ряд исходных понятий.

Опираясь на вещи, позволительно отвлекаться от стохастического характера их реальной природы, упрощать, схематизировать понятие о них. Результатом является логическое понятие о классе сущностей. Правильнее рассматривать его как логический аспект понятия, как подструктуру в рамках понятия — стохастизма, единство которого задается миром и общностью референции. Логическое понятие отличается большей жесткостью, четкостью содержания, но для этого приходится поступаться вероятностной природой мира, размытостью его границ, текучестью классов. Логические понятия моделируют вероятностный мир в терминах двужначной логики. Схематизируя его, они приводят его в вид более удобный для логических операций с ним (систематизация, построение силлогизмов и цепей умозаключений и т. п.).

Понятие-стохастизм отражает реальную картину мира, каким он предстает человеку в опыте и деятельности. Оно образуется в результате индуктивно-эмпирического обобщения. Понятие в его логическом аспекте, напротив, образуется на конструктивно-логической основе. В первом случае исходной является мысль о классе как заранее, до классификации заданной общности, в рамках этой общности отыскивают общие для сущностей этого класса признаки и при этом обнаруживается вероятностный характер общности. Во втором случае идут противоположным путем: некоторые признаки принимаются за классообразующие. Далее устанавливается объем вещей, обнаруживающих эти признаки и результат сравнивается с экстенсионалом понятия-стохастизма. В случае существенного несовпадения объемов логическое понятие переформулируется, состав образующих его признаков пересматривается с тем, чтобы максимально соответствовать экстенсионалу базового понятия стохастической структуры.

Таким образом, понятие существует в постоянном соотношении, противоборстве и согласовании его эмпирической и конструктивной сторон. Первая непосредственно отражает реальность мира и очерчивает границы логического конструирования понятия. Вторая представляет собой логиче-

ский конструкт, жестко задающий состав и структуру классообразующих признаков за счет редукции стохастизма в жесткую структуру.

Вероятностная природа мира может обнаружить себя с очевидностью уже на первом этапе анализа понятий: в дефинициях таких понятий можно с определенностью указать лишь их родовые признаки, в то время как дифференциальные признаки очерчиваются лишь вероятностно. Это понятия — явные стохастизмы (напомним, что фактически речь идет об аспектах, модусах понятия единой предметной отнесенности). Наглядным примером их, как мы видели ранее, служат таксономические понятия о классах, например, биологических (ср.: *человек, кошка, сосна* и т. п.).

Конструктивно-логическое понятие маскирует вероятностную природу вещей и явлений, оно как будто определенно указывает и родовые, и дифференциальные признаки сущностей некоторого класса, но и в этом случае стохастичность мира дает себя знать: перечень признаков в составе понятия очерчен с определенностью, но сами-то эти признаки имеют вероятностную природу! Это, так сказать, стохастизмы второй руки — скрытые стохастизмы, ср.: *слепой, рабочий, блондин, храбрец* т. п.

В целом представляется следующая картина соотношения эмпирического и логического, индуктивного и дедуктивного (конструктивного) в структуре понятий:

1. Существует два рода понятий о классах: индуктивно-эмпирические и конструктивно-логические. Первые образуются как результат индуктивно-эмпирического обобщения и изначально стохастичны. Такие классы (а также и понятия) называются таксономическими. Вторые образуются в результате постулирования конститутивных признаков классов с последующим формированием его экстенционала (объема). Эти понятия скрыто стохастичны. Такие понятия (и классы) называют логическими.

2. Всякое понятие — стохастизм, но в одних вероятностная природа обнаруживается уже на уровне установления набора их дифференциальных признаков (явные стохастизмы, индуктивно-эмпирические понятия), у других — на уровне интерпретации (понимания) дифференциальных признаков (скрытые стохастизмы, конструктивно-логические, или просто логические, понятия).

3. Система таксономических понятий образует базовый концептуальный уровень неперекрещивающегося членения сущностей, на который надстраиваются многочисленные разнообразные разномошные взаимопересекающиеся системы логических понятий. Таксономические понятия обеспечивают признаковую квалификацию («описание») сущностей и предметную привязку понятий. Логические понятия дают разнопризнаковую квалификацию сущностей, а привязка их к сущностям осуществляется через таксономические компоненты в содержании этих понятий.

4. Проецируясь на объем, очерчиваемый таксономическим понятием, в рамках единой предметной отнесенности с ним логическое понятие пре-

вращает таксономическое понятие в конструкт, позволяющий производить с ним логико-мыслительные операции. В этом отношении логическое понятие представляет собой детерминистскую модель вероятностного объекта, всегда дающую несколько упрощенное представление о нем, но позволяющее оперировать им в пределах требуемой точности.

Понятия различаются уровнем обобщения и местом в иерархических гипонимических (род — вид) и партитивных (целое — часть) системах. Соотношения по вертикали этих систем выделяют в структуре понятий общую и специальную части. В совокупности обе эти части образуют интенционал понятия — то, что в традиционной логике обычно именовалось содержанием понятия. Содержание общей части понятий, равняющееся концепту соответственно рода или целого, выявляется в вертикальном, иерархическом соотношении понятий. Что же касается специальной (дифференциальной) части понятий, то ее содержание выявляется из горизонтального соотношения понятий-эквонимов, т. е. из разграничения понятий одного уровня обобщения, принадлежащих к одному роду.

Интенционалы понятий и есть понятие в его логическом аспекте, то, что для краткости называют логическим понятием. Логическое понятие оказывается одной из подструктур, вычлняющейся в общей структуре понятия для целей систематизации понятий, классификационного упорядочения когнитивного знания. Именно систематизация концептов как дискретных содержательных единиц сознания, приведение знания в систему, его упорядочение (Б. Рассел) являются той основой, функцией, на которой формируются логические понятия как регулярные подструктуры в глобальной структуре понятий.

В силу всеобщей связи сущностей признаки, представленные в интенционалах понятий, заставляют помыслить иные связываемые с ними признаки. Совокупность этих признаков образует еще одну подструктуру целостного понятия единой предметной отнесенности. Эта подструктура названа импликационалом понятия. Название указывает способ ее формирования: она образована как совокупность импликаций из интенциональных признаков. Импликационал, в свою очередь, структурирован, во-первых, за счет меры совместной встречаемости признаков и, во-вторых, за счет причинно-следственных зависимостей признаков. Различия в характере импликации признаков расчлняют импликационал понятия на положительный и отрицательный. Положительный импликационал — совокупность вероятно и причинно-следственно упорядоченных признаков, совместных с интенционалом понятия и имплицитируемых из него. В нем особо выделяется сильный импликационал — совокупность признаков сильновероятностной импликации, т. е. таких, которые хотя и не входят в интенционал понятия (логическое понятие), тесно с ним ассоциированы, с вероятностью, близкой 1, иногда равной 1 и в любом случае выше 0,5 (речь, понятно, во всех случаях идет о приблизительной симптоматической

вероятности совмещения признаков в вещах, их совместной встречаемости в связках, как она отражена и представлена в сознании людей).

Другой частью положительного импликационала является свободный импликационал. Это совокупность признаков, которые, не входя непосредственно в состав интенционала понятия, представлены в нем своими основаниями. Речь идет о таких признаках, наличие и отсутствие которых у данного понятия одинаково вероятно и проблематично, они могут быть или не быть, а, точнее говоря, могут быть по данному основанию то одними, то другими. Свободный импликационал понятия складывается из наборов однородных признаков, основания которых представлены в интенционале понятия как пустые позиции для заполнения признаками из этих наборов. Таковы, например, признаки *высокий* — *низкий*, *толстый* — *полный* — *худой* и т. п. относительно понятия о человеке: в понятии представлены лишь основания признаков: *рост*, *вес* — как пустые места, подлежащие заполнению одним из признаков каждого набора.

Отрицательный импликационал — совокупность признаков, несовместимых с данным понятием. Несложное размышление убеждает, что владение понятием и оперирование им предполагает не только положительное знание того, что входит в его содержание и совместимо с ним, но непременно и знание того, что несовместимо с ним, его отрицательный информационный потенциал. Реальность отрицательных импликационалов как части структур реальных понятий скрыто работой фильтров правильного мышления, отсеивающих бессмысленную комбинаторику понятий.

То, что импликационалы составляют особые подструктуры в совокупной структуре понятий, ограниченные от интенционалов, наглядно подтверждается, в частности, оксюморонами, ср. *женатый холостяк*. Отражая предельные случаи вариативности диалектического мира, они представляют собой понятия-гибриды, сочетающие интенционал одного понятия с несвойственным для него импликационалом, заимствованным у другого. Как нетрудно видеть из приведенного примера, понятие-1 (холостяк), сохраняя свой интенционал, поступается импликационалом и в качестве такового использует импликационал понятия-2 (женатый). При этом также отбрасывается интенционал понятия-2.

Импликационал — важная составная часть структуры «живого» понятия, посредством которой понятие отражает вероятностный характер мира и вписывается в глобальную систему его связей как элемент суммарного знания.

Рассмотренные подструктуры понятия — интенциональная и импликациональная вместе с их подразделениями — универсальны в том смысле, что обнаруживаются с той или иной мерой развернутости в любом понятии, и по понятной причине, а именно в силу универсальности тех функций, которые их формируют, — отражать мир таким, каков он есть в его связях, и систематизировать сущности мира по распределению призна-

ков среди них (по общности/различию их признаков в родо-видовых и холлопартитивных иерархиях).

Напротив, описываемые далее подструктуры не обязательно универсальны по той, очевидно, причине, что формирующие их функции не охватывают все без исключения отражаемые сознанием сущности, а только те, где они релевантны, значимы для людей.

Первыми из них более подробно рассмотрим те, которые связаны с структуриацией класса, — структуриационные модусы. Выше уже было указано, что они группируются вокруг представлений о норме и полюсах класса (нормативный и полярный, или экстремальный, модусы).

Класс часто представляется не как масса абсолютно единообразных единиц (это упрощение, однако, допускается при систематизации разнородных сущностей, и оно формирует, как уже говорилось, понятие в его логическом аспекте). Изначально учитывается разнообразие относимых к классу объектов. Учет этого разнообразия приводит к структуриации класса в сознании и усложнению понятийной системы.

Структуриация класса может быть основана на отражении различий его элементов по наличным у них признакам, и результатом будет членение класса на подклассы, а подклассов — на подклассы и т. д. В итоге возникает множество понятий, находящихся в иерархическом (родо-видовом) отношении друг к другу по вертикали и эквонимическом — по горизонтали. Существенно заметить тут, что родовое и видовое понятия — не одно, а разные понятия, несмотря на содержательную близость и принадлежность классификационной схеме.

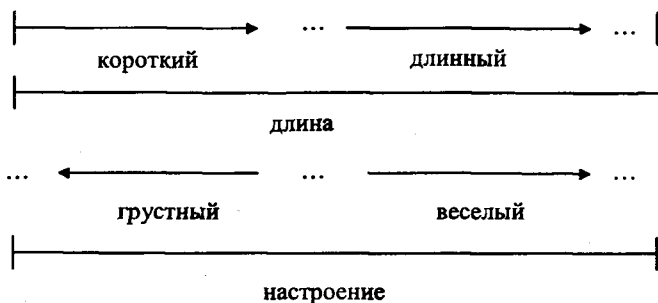
Нас же интересует структуриация иного типа. Модусы понятия сами по себе не составляют разных понятий. В отличие от классификационных понятий они не имеют объема (экстенционала). Это операционные модусы единого понятия, функциональные подструктуры общей глобальной понятийной структуры. Они суть формы, которые принимает работающее понятие, его операциональные проявления. Представления о норме и полюсах (экстремусах) класса по прямому своему назначению устанавливают меру типичного/нетипичного и сверхтипичного для класса и лишь как побочный результат распределяют элементы класса по этим трем категориям. Класс при этом структурируется в рамках одного и того же понятия соответственно мере качества класса в разных его представителях. Поэтому в отличие от предметной классификации эта структуриация класса может быть названа качественной, а нормативный и экстремальный модусы — качественными.

Таким образом, формирование качественных модусов понятия обусловлено тем обстоятельством, что в силу вариативности, диалектичности, текучести мира элементы некоего класса в разной мере типичны для него; сущностные, категориальные признаки класса выявлены в вещах с разной силой. Это обуславливает необходимость в обобщенной качественной

структуризации классов. Качественная структуризация — первичное, грубое членение классов, и производится она с разной мерой четкости и яркости — сообразно тому, насколько такая структуризация конкретного класса значима в деятельностно-практическом отношении.

Из чего складывается содержание операционально-качественных модусов понятия? Оно формируется добавлением к интенциональным признакам признаков сильного импликационала. При этом набор признаков в принципе одинаков для нормативного и двух полярных модусов, но они существенно различаются количественной мерой и качественной характеристикой этих признаков.

Надо иметь в виду, что градация признаков может быть количественной и качественной (качественно-количественной). Например, признаки «короткий» и «длинный» представляют собой количественную поляризацию признака длины, а «веселый» и «грустный» — качественную (качественно-количественную) поляризацию признака «настроение».



Таким образом, представления о норме класса (нормативный модус понятия) складываются обычно из обязательных для данного класса интенциональных признаков плюс привычно связываемые с этим классом признаки сильного импликационала, взятые в среднем интервале их количественных значений. Содержание полярных модусов включает те же признаки, но с высокой или низкой мерой количественно варьирующихся признаков и полярными значениями качественно варьирующихся признаков. Если качественно-варьирующиеся признаки аксиологически значимы, то интервал нормы сдвигается в сторону положительно оцениваемого признака. Понятие нормы в этом случае складывается из интенциональных признаков класса + качественно варьирующиеся импликациональные признаки в среднем интервале их положительных значений.

Поясним сказанное примерами. Для понятия *зимы* (в Северном полушарии) интенциональный классообразующий признак — время года с декабря по февраль. Признак самого холодного времени года имплицуруется

с высокой вероятностью, практически равной 1, однако это не обязательный интенциональный признак, он — из области сильного импликационала понятия. Количественная мера этого признака в интервалах высокого, низкого и среднего значений совместно с необходимыми следствиями каждого интервала значений разграничивает полярные и нормативный модулы этого понятия.

Существительное «мать» в одном из своих значений выражает понятие, интенционал которого — «родительница женского пола». В сильном импликационале признак — забота о потомстве. Количество и качество этой заботы в ее разнообразных проявлениях — основной качественно и количественно варьирующий признак (или признаки), характер и градации которого различают полюса и норму этого класса. И тут надо отметить два обстоятельства. Во-первых, признаки варьируют не только по количественной мере, например, очень заботится — просто заботится — мало заботится, но и по качеству, т. е. признак может принимать противоположные значения: заботится — не заботится. Во-вторых, указанный признак (признаки) аксиологически отмечены, и норма сдвинута в сторону положительного признака, лежит в интервале средних его значений: матери положено заботиться о детях.

Из трех функций понятия — систематизации, узнавания вещей и качественной структуризации класса вещей — последняя наиболее прагматична в том смысле, что наиболее ярко проявляет деятельностно-практическую, рабочую природу понятия, вскрывает операциональный характер его формирования и назначения. В содержании и структуре понятия предусмотрен переход от простого созерцания, чисто умственного постижения вещи к ее использованию, применению, изготовлению, потреблению. Познавательный план смыкается и, более того, основывается на практическом интересе. Объективированное знание произрастает на деятельностно-прагматической почве, включая ценностно-практические представления о вещах. Практика, прагматика и аксиология вещей первыми в меру необходимости находят отражение в совокупном содержании понятия и определяют качественную структуризацию класса.

Всякий раз, когда класс «замешан» на признаках релевантных в ценностно-прагматическом отношении, как только он включает в состав своих характерных черт признаки этого рода, его качественная структуризация совершается на аксиологической основе. Вместе с тем чем более индифферентен класс в деятельностно-прагматическом плане, тем слабее выражены в понятии о нем оценочные модулы и тем слабее он структурирован в качественном отношении вообще.

Таким образом, если не всегда, то в большинстве случаев модулы качественной структуризации оборачиваются аксиологическими категориями по той причине, что деятельностно-практическое освоение вещей начинается с их прагматической категоризации, полезностных оценок, ценност-

ного распределения по свойственным им признакам. В зависимости от категориально-прагматической специфики класса видоизменяются соответствующие модусы понятия.

Это выражается в том, что, проецируясь на аксиологическую шкалу, модус высокой меры классного качества осмысливается как понятие об оптимуме класса, полярный ему модус — как понятие об антиоптимуме класса. Наконец, модус нормы, как уже говорилось, смещается в диапазон средних значений положительно оцениваемого признака. Ср. приведенный пример с модусами понятия «мать».

Итак, при аксиологической отмеченности классов в глобальной структуре понятия-стохастизма вычленяются как его модусы подструктуры, обобщающие представления о членах класса с высокой мерой положительно и отрицательно оцениваемых признаков (модусы оптимума и антиоптимума) и средней мерой положительных признаков (модус нормы). Признаки эти отбираются из сильного импликационала понятия, т. е. из числа логически (классификационно) не обязательных для данного класса, но привычно связываемых с ним. При этом признак аксиологически значим, количественно и качественно вариабелен.

Специально подчеркнем, что условием формирования антиподальных аксиологических модусов является не просто высокая мера конституирующих данный модус признаков, но высокая ценностная отмеченность, положительная или отрицательная. Речь, таким образом, идет не о высокой или низкой количественной мере признаков, а о высокой мере положительно или отрицательно оцениваемых признаков. Полярные аксиологические модусы лежат на краях шкалы с противоположно направленными векторами качества признака в области положительных или отрицательных оценок. Поэтому именно в силу ценностной значимости признака они принимают вид оптимума понятия (оптимального модуса понятия) или антиоптимума-понятия (антиоптимальный модус, так сказать, беспредел — понятие).

Разумеется, с самого начала надо учитывать, что классы различны в аксиологическом плане. Возможны такие классы, что в них есть представители и с ценными, и с дурными признаками. В этом случае оптимальный модус и его противочлен уживаются в одном понятии как два его аксиологических полюса. При этом оптимум-понятие в силу его созидательной, конструктивной природы, в силу предпочтительности, желательности, ценности соответствующих ему объектов (см. также ниже) выступает, очевидно, ведущим, моделирующим членом противопоставления, а его отрицательный антипод смоделирован по его образцу, является его зеркальным отражением со сменой знаков на отрицательные: противочлен дублирует состав и структуру признаков оптимального модуса, проецируя их в область с полярной аксиологией (ср., например, представления об *отличной и скверной собаке, лошади, кошке, квартире, начальнике, подчиненном*,

чтеце, жене, муже и т. д.). Относясь к одному классу, оба модуса имеют общие интенциональные признаки и различаются полярностью парных импликациональных признаков.

Возможен, однако, и другой случай, когда класс конституируется на аксиологической основе. Тогда некий ценностный признак, положительный или отрицательный, входит в интенционал понятия — в число дифференциальных признаков некоего класса (ср. *герой, умелец, умница, смельчак, красавица, отличник, добряк*, с одной стороны, и — с другой, — *разбойник, вор, преступник, плут, обманщик, трус* и т. п.). В понятиях такого рода прагматическая задача оценки представителей класса решена изначально, по определению. В подобных случаях представлен только один, левый (положительный) или правый (отрицательный), конец контрастной аксиологической шкалы. Аксиокласс, т. е. класс, конституированный на аксиологической основе, предполагает двойника со сменой ценностных знаков на противоположные: смелый предполагает труса, умница — глупого, обманщик — честного и т. д. Уже из приведенных примеров можно заметить, что в круг аксиологических признаков, способных конституировать аксиокласс, зачисляются не только оценочные признаки в строгом, узком значении термина, но и признаки — основания оценок, т. е. признаки, служащие объектом оценки, при том, однако, условии, что они устойчиво и единообразно связываются с определенной оценкой.

Обобщим рассуждения на этом этапе. Представление о качестве класса связывается в сознании людей не только с его интенциональными, но и с импликациональными признаками при высокой вероятности их совместной встречаемости. Различные представители в разной мере обладают качеством класса в силу возможной вариативности указанных признаков. На этой основе производится качественная структуризация класса в сознании и формируются качественные модусы понятия. Ими являются модусы нормы и полюсов класса. Вариативность признаков может быть количественной и качественной. В первом случае признак принимает разные количественные значения, во втором — противоположные качественные значения. И в том, и в другом случае они оцениваются как разные меры качества класса. Признак может совмещать оба вида вариативности (качественно-количественная вариативность).

Разумеется, вариативными могут быть один или несколько признаков, релевантных для качества класса. Если вариативны сразу несколько (более одного) признаков, но наблюдается корреляция между ними, то можно ожидать единство в представлениях о норме и экстремусах (полюсах) класса. Напротив, если вариативны несколько классов релевантных признаков, но независимо друг от друга, то следует ожидать множественности операциональных модусов, т. е. множественности представлений о норме и полюсах класса. Например, применительно к книге представления о норме и полюсах множественны и размыты, так как могут строиться по призна-

кам цены, толщины, интересности и др. Множественность модусов, очевидно, оборачивается их размытостью.

Признак может быть прагматически нейтрален и прагматически отмечен. Наиболее ярко выражена структурация классов на прагматико-аксиологической основе. Вариативность признаков в этом случае носит качественно-количественный характер. Проецируясь в область аксиологии, противостоящие модусы осмысляются как оптимум и антиоптимум класса, т. е. как представления о лучших и худших представителях класса. Антиоптимум построен по модели оптимума с переменной оценкой на противоположные. В аксиологически структурированных классах представление о норме смещено в сторону средних значений положительно оцениваемых признаков.

Таким образом, формирование качественных модусов понятия, область их распространения и степень выявленности непосредственно связаны с вариативностью качественно релевантных признаков. Нет вариативности, нет качественной структурации класса, нет и качественных модусов в структуре понятия. Напротив, чем более ярко выражена вариативность признаков, тем отчетливее сформированы модусы в структуре понятия.

Это означает, что классы размещаются на шкале с полюсами от слабо выраженной к ярко выраженной вариативности качества класса в его представителях. Иначе говоря, различаются как полярные случаи монотонные и немонотонные классы — сообразно тому, насколько выявлены в них различия по мере соответствия качеству класса. Это деление, очевидно, производится не столько по собственным свойствам вещей в классе, сколько по тому, как класс дан человеку в опыте, по тому, насколько различия вещей по качеству класса существенны практически. Класс немонотонен, если опыт обнаруживает заметную вариативность членов класса по признакам, относящимся к представлению о качестве класса. Их обычно называют существенными признаками. Мера качества класса в вещи определяется вариативными признаками интенционала и сильного импликационала, и определяется она качеством (положительным или отрицательным) и количеством (большим или меньшим) таких признаков в вещи.

Заметим, что немонотонные классы можно было бы назвать градуальными, если бы не два обстоятельства. Во-первых, градуальность обычно связывают с представлением о постепенном изменении количества и определенной мерой его в разных точках шкалы. Этого, конечно, может и не быть в нашем случае: оценки количества признака могут быть приближительными, симптоматическими, а градации — прерывистыми, ступенчатыми с небольшим числом противопоставлений (если их число увеличивается, они обычно приобретают иерархическую организацию). Во-вторых, градуальность описывает известный вид различий по количеству, но не по качеству. А в нашем случае различие вещей в классе может быть качест-

венным. Так, *скверный полководец* не слабое подобие отличного полководца, а его качественный антипод.

Заметим еще, что если интенциональные признаки класса не предполагают вариативности, хотя бы количественной, это еще не исключает немонотонности класса, так как она может обеспечиваться вариативностью импликационных признаков. Так, интенционал «зимы» задан жестко как время года с декабря по февраль (в Северном полушарии), однако он имплицитно и открывает валентность на вариативный признак температуры.

Основным языковым рефлексом, наглядно подтверждающим существование нормативного модуса понятия, выявляющим его наличие как реальной подструктуры в глобальной структуре понятия, являются, с одной стороны, прямые тавтологические конструкции и, с другой — «вывернутые тавтологии» с отрицанием, тавтологии наоборот, от противного.

Ср. Солдат — всегда солдат. Солдат есть солдат, ему положено своим ходом. Студент как студент. Москва есть Москва, народу — не протолкнуться.

Ср. также: Тот солдат не солдат, который забыл о товарище в бою. Москва не была бы Москвой, если бы в ней не было столько народу.

За счет представления о норме класса, вычлняющегося в структуре понятия, осмыслены отрицания тождества, если нетождественность очевидна. *Ср. Москва не Сочи, прохладно. Солдат — не генерал, ему положено своим ходом.*

Контекст в подобных случаях изъясняет отнюдь не интенционал понятия, эксплицируются вовсе не обязательные для класса признаки, а признаки из сильного импликационала понятия, т. е. такие признаки, которые не обязательны для каждого представителя класса, но обычно, в норме связываются с ним, имеют высокий индекс встречаемости.

Именно вычленение из глобального содержания сигнификации того, что считается нормативным, типичным, характерно-достаточным, усредненно-общим, хотя бы и не вполне обязательным для некоего класса, сообщает смысл прямым и «вывернутым» тавтологиям. Это главная (но не единственная) причина, объясняющая распространенность тавтологических конструкций в живой речи, несмотря на их, казалось бы, логическую избыточность, информационную пустоту. Как правило, контекст тавтологии в той или иной мере поясняет содержание нормативно-типичного для класса.

Обратимся к полюсам классов. Само понятие полюса здесь требует некоторых пояснений. Оно имеет смысл, аналогичный полюсам магнита, а именно — в виду имеются не только крайние противоположные точки, но и противопологающиеся стороны, противопоставление которых, однако, возрастает и наиболее сильно выражено на краях. В силу этой аналогии это обозначение предпочтительнее, чем, скажем, «стороны, края, конечно-

сти» (шкалы). Таким образом, надо считаться с тем, 1) что полюс (экстремус) в нашем случае противопоставлен другому полюсу и противопоставлен норме, даже если норма сдвинута к одному из полюсов; 2) что полюс протяжен и его значения нарастают или падают с вектором; 3) что и полюс, и шкала в целом имеют дискретную иерархическую структуру в сознании, даже если онтологически они нарастают (падают) непрерывно, и что первичное членение этой иерархии трехчленно: норма и два класса.

Условие формирования полюсов то же — немонотонность класса: оппозитивность и/или количественное варьирование признаков, определяющих качество класса. Общие обозначения применительно к классу — полюса, экстремусы, антиподы класса; применительно к понятию — полярные, экстремальные (антиподальные) модусы, экстремус — понятия. Кроме того, требуются обозначения для каждого из противоположных полюсов. Их можно было бы назвать положительным и отрицательным полюсами в том нейтральном, неоценочном условном смысле, в каком, например, различаются положительный и отрицательный электрические заряды, с учетом, впрочем, того обстоятельства, что один из полюсов — положительный — оказывается ведущим: он соответствует максимальной выраженности качества класса, а другой — моделируется по его подобию, является его изоморфным отображением со сменой знаков на противоположные.

Однако вряд ли удалось бы полностью избавиться от оценочных коннотаций. Поэтому термины «положительный и отрицательный полюса» следует оставить за случаями наиболее яркой поляризации — поляризации на прагматической, аксиологической основе. Уже отмечалось, вообще, что яркость качественной структуризации класса обусловлена и зависит от степени практической значимости различий в элементах класса, а ценностные градации наиболее релевантны практически.

Соответствующие модусы в структуре понятия при этом обозначаются как оптимум-понятие (оптимальный модус) и антиоптимум (антиоптимальный модус). Они соответствуют положительному и отрицательному полюсам аксиологически отличных классов.

Что же касается родового названия полюсов качественной структуризации классов как на аксиологической, так и на неаксиологической основе, то их можно обозначить как высокий и низкий полюса (хотя и при этом не удастся, пусть в меньшей степени, избежать ценностных коннотаций). О соответствующих им подструктурах понятия можно говорить как плюс-экстремусе и минус-экстремусе. Первый — представление об элементах с высокой, второй — с низкой мерой или утраченным качеством класса.

Первым внимание привлекает положительный полюс аксиологически отмеченных классов и соответствующий им модус, названный оптимальным модусом, или оптимум-понятием.

Оптимум-понятие обобщает представления о тех элементах аксиологически диверсифицированного класса, которые обладают высокоценными

признаками. Как мысль этот концепт соединяет в своем содержании интенциональные признаки, обязательные для любого представителя класса, и признаки из сильного импликационала с высокой положительной оценкой. Наиболее яркой разновидностью оптимального модуса надо считать понятие об идеале, отмечаемое в классах особо высокой значимости, аксиологические свойства которых определяют качество жизни людей.

По своей аксиологии функционально оптимум вообще и идеал в особенности назначены служить организующим, сплачивающим началом деятельности, мобилизующим моментом, моделью желаний и дерзаний. Оптимум и идеал функциональны, и необходимость в них обуславливает формирование и вычленение соответствующих подструктур в ценностно отмеченных понятиях. При этом оптимум становится идеалом, если речь идет не просто о представителях класса с наивысшей мерой положительно оцениваемых признаков, но и если сами эти признаки особенно ценны среди других положительных признаков. Иначе говоря, в идеале положительные признаки градуированы дважды: по количеству ценного признака и по их ценности сравнительно друг с другом. Идеал — оптимум особой ценности.

В самом деле, для многих классов сущностей необходимо не только понятие о самом классе, но и об оптимуме и даже идеале класса — для целей достижения, созидания, равнения на лучшие образцы этого класса. Формируя среду своего обитания (ноосферу), человек создает, сохраняет те сущности (классы сущностей), которые необходимы для него, несут полезные ему признаки, и трансформирует другие — в сторону усиления в них полезных признаков.

Процесс этот, как стало теперь ясно, совершается далеко небезошибочно, грубо утилитарные решения могут приводить к катастрофическим последствиям, но разумный, осторожный, системно взвешанный корректируемый подход к отбору и селекции полезного, оптимизация среды и условий существования всегда останется магистральным путем человечества. Отсюда и все возрастающий удельный вес представлений об оптимальном в классе. Идеал воплощает и стимулирует прогресс с наибольшей силой.

Идеал креативен, и по этой причине, по этому его назначению наличие в классе идеальных представителей вовсе не составляет обязательного условия к тому, чтобы сложился концепт идеала. Он может сформироваться изнутри сознания как момент опережающего, конструирующего отражения им действительности. От наличных представителей класса требуется только, чтобы в них варьировалась мера ценных признаков. Отсутствие идеала в действительности отнюдь не исключает, хотя, быть может, и осложняет замышление его как желательной возможности.

Речемыслительными маркерами, языковыми рефлексамися полярных модусов вообще и полярных оптимальных модусов в частности и в особенности служат прежде всего слова «настоящий, подлинный, истинный»,

а также многие иные слова, обороты, речения, конструкции, такие, как «что надо, на ять, высший класс (сорт), классный, первоклассный, всем х-ам х, из (всех) х-ов х, х х-ов» (ср. «всем советникам советник, из всех двorcов дворец, из героев герой, царь царей») и т. п. Ср. также обычно употребляемые иронически «лучше (далее) некуда».

Заметим, однако, что прилагательные «настоящий, подлинный, истинный» многозначны. Помимо интересующего нас смысла «выдающийся в своем роде», они означают также: «настоящий» = близкий норме, стандарту вещей данного класса, типичный для класса; подлинный = не являющийся подделкой, имитацией, действительно относящийся к данному классу; истинный = действительный, не ложный.

Восклицания, вроде: *Вот это зима!* — также обращены к максимуму характерных признаков, за ними скрывается представление о максимальном полюсе класса. Ср. также: *Вот зима так зима!* Здесь первая номинация репрезентативна и интенциональна, т. е. называет определенное время года и описывает его, она соотносится с логическим понятием о зиме — временем года с декабря по февраль (в Северном полушарии); вторая номинация предикативна и соотнесена с максимальным модусом понятия, т. е. с представлением о зимах с высокой мерой характерных признаков из области сильного импликационала (высокой мерой качества класса). Это и наполняет смыслом тавтологию: одно и то же имя соотносится с разными модусами содержания.

Фактически выражение *Вот зима так зима!* имеет смысл «Эта зима — настоящая зима», где конфронтация двух употреблений одного имени наглядно обнаруживает, что они соотнесены с разными понятийными модусами.

Обратим внимание на то, что два значения прилагательного «настоящий»: 1) в высокой мере обладающий качеством класса, выдающийся в своем роде; 2) близкий норме, стандарту класса — соотносятся с общими модусами — полярным и нормативным. Как же различаются эти два употребления слова? Если имя при этом прилагательном употреблено в прямом смысле, то «настоящий» указывает полярный модус (первое значение), ср. «настоящая мать» = х — действительно мать и мать очень хорошая. Если же имя употреблено переносно (метафорически), то прилагательное имеет нормативный смысл (второе значение), ср. «настоящая мать» = совсем как обычная мать (если х все-таки не мать в прямом смысле).

В силу того, что структура антиоптимума изоморфно отображает структуру оптимума со сменой ценностей на отрицательные, языковые рефлексy того и другого обычно соотнесены через отрицание. Это, впрочем, не исключает известного своеобразия в наборах средств. Примерами маркеров антиоптимального модуса могут служить следующие (взятые в основном применительно к понятию «мать» с некоторыми добавлениями): *она никакая не мать; она не мать, а черт знает что; какая она мать!*

как мать она не состоялась; настоящей (= здесь нормативный модус) матери из нее не получилось; мать только по названию (очевидно, название, или именование держится более широких рамок логического понятия); далеко (еще) не мать; не *х*, а насмешка какая-то (издевательство, надувательство, обман); *х*-ом тут и не пахнет, и т. д. Во всех этих примерах речь идет все-таки о матери (в смысле логического понятия, но не совсем-таки о матери (в нормативно-аксиологическом смысле), т. е. о матери-то матери, но не такой, какой матери надлежит быть).

Помимо отмеченных наиболее общих указателей полярно-модусного значения имен, достаточно универсальных в употреблении, не зависящих от дифференциации классов, ту же функцию выполняет обширная категория средств, объединяемых в так называемый параметр *magn*. Это слова и выражения со значением высокой меры качества класса, обозначенного другим, определяемым ими словом. Это тоже интенсификаторы с семантикой крайней меры, но от универсальных интенсификаторов их отличает то, что они дифференцированы по классам и соответственно обнаруживают сочетаемостные ограничения, ср. круглый дурак, полный идиот, совершенная дичь, явный бред, чистый вздор, волчий аппетит, верный (преданный) друг, страшно горевать, мчаться во весь опор.

С тех же позиций можно рассматривать синонимо-антонимические ряды, члены которых размещаются на шкале градаций качества одного и того же класса.

Крайние члены в таких рядах представляют собой полярные модусы одного понятия, а средний член — представление о норме класса. Если обозначить весь ряд M , его крайние члены M_+ и M_- , а средний член M_m , то речь идет о том, что M_+ , M_m и M_- не могут рассматриваться как имена подклассов в классе M , равно как M_+ и M_- не могут считаться гипонимами, а M_m — их гиперонимом.

Еще одно дополнительное подтверждение существования и первичности плюс-экстремуса по отношению к минус-экстремусу находим в том любопытном факте, что имена качественной семантики, помимо основного своего значения, не специфицирующего меру качества, нередко развивают дополнительное значение высокой меры качества. Это значение может проявляться и в производных словах. Ср. *качество*: 1) качество вообще (мера не специфицирована), ср. «плохое качество»; 2) высокое качество, ср. «борьба за качество» (= высокое качество); ср. также: 1) «качественные показатели» (от «качества вообще»); 2) «качественный товар» (= товар высокого качества). Ср. также: *здоровье* 1) здоровье вообще ср. «как здоровье?»; 2) хорошее здоровье, ср. «здоровья бог не дал».

Полисемия этого рода лишней раз проявляет действие общего принципа привативной оппозиции на лексико-семантическом уровне. При обозначении общего и частного возможно использование одного слова или одного корня при том условии, что различие в частном идет по линии:

1) количества признака, большего или меньшего; 2) оценки признака, положительной или отрицательной; 3) аксиологического статуса признака, высокого или низкого; 4) практической значимости признака, большей или меньшей; 5) частотности признака, высокой или низкой, и т. п. При этом избирается только то слово, которое указывает первый (левый) из этих парных параметров.

Ср. соответственно:

- 1) *короткий* vs. *длинный* = (и то, и другое) *длина*;
- 2) *погода*: 1. *погода* вообще, ср. «*плохая погода*»;
2. *хорошая погода* (*плохая*), ср. «*погоды нет как нет*»;
- 3) *лев*: 1. *животное* известного вида;
2. *мужская особь* этого вида (vs. *львица*);
- 4)–5) *овца*: 1. *животное* известного вида;
2. *женская особь* этого вида.

Косвенное подтверждение реальности качественных модусов как структурных элементов понятия находим в словарях, идеографических, синонимических и антонимических. Понятийные узлы, связанные с номинацией нормы и полюсов класса, разработаны в языках весьма основательно, представлены широко развернутыми синонимическими, антонимическими и тематическими (гипонимическими) рядами лексики, содержащей высокочастотные единицы. Это говорит о том, насколько важны, практически существенны мыслительные операции качественного членения в пределах тождественного класса.

При этом обнаруживается широкий диапазон вариативности и нюансировки представлений о норме и полюсах, связанный с различиями в прагматической и онтологической природе классов. Главное из этих различий, сказывающееся на представлениях о норме, было уже отмечено: при качественной структуризации классов на аксиологической основе норма сдвинута в сторону положительного полюса, в то время как при аксиологически нейтральном членении она лежит в области средних значений качества класса. Но в представлениях и обозначениях нормы сказываются также разнообразные другие факторы частного порядка, достаточно объяснимые, но с трудом сводимые к общему принципу.

Таковыми частными разновидностями нормы являются канон, стандарт, шаблон, тип, стереотип, эталон, образец, средняя (золотая) середина, мера. Основания, на которых они выделяются и различаются, должны быть предметом особого рассмотрения. Здесь важно указать, что некоторые из них (образец, шаблон) производны от опознавательных модусов и их нормативный смысл вторичен.

Из разновидностей концептов и имен полюсов укажем следующие: *конец*, *край*, *сторона*, *фланг*, *крыло* (например, здания), *борт* (левый, правый). Богатство вариантов, имеющее то же объяснение, что и в случае нормы, наблюдается не только на уровне родового понятия, но к нему до-

бавляются варианты на уровне каждого из полюсов: *начало* (вступление, старт и др.) — *конец* (завершение, финиш, финал и др.).

Разнообразие различаемых вариантов и средств их обозначения еще более возрастает, если принять во внимание признаковые формы их выражения посредством прилагательных, глаголов и наречий, а также вторичные номинации.

Наиболее веским и решающим доказательством являются данные психолингвистических экспериментов по выявлению состава и структуры значений. До сих пор они не были интерпретированы должным образом и оставались на уровне описательных констатаций, но получают достоверное объяснение с позиций развиваемой здесь концепции структуры понятия.

Речь идет о том не отмеченном ранее обобщении, что семы, выявленные в значениях слов психолингвистическими методами, относятся к области интенциональных признаков, но еще чаще лежат они в области сильного импликационала и, что наиболее важно, достаточно четко распределяются между представлениями о норме и полюсе — оптимуме класса. Интенциональные признаки реже выходят на поверхность в эксперименте, так как считаются самоочевидными, они выявляются направленно — в заданиях на дефиницию класса. Психолингвистические эксперименты, таким образом, обнаруживают сформированность модусных подструктур в понятии — интенционала, нормы и полюса (оптимума) класса.

Так, признаки, установленные в экспериментах В. В. Левицкого и И. А. Стернина (см.: *Левицкий В. В., Стернин И. А.* Экспериментальные методы в семасиологии. Воронеж, 1989), легко могут быть перегруппированы и уложены в три указанные категории:

корова 1) (интенциональные признаки (млекопитающее, домашнее, самка, жвачное, парнокопытное, питается травой, мычит; 2) (норма) используется мясо, используется молоко, пасется на пастбищах; 3) (оптимум) теплая, смиренная, добрая, умная, ласковая;

студент 1) учится, слушает лекции, читает книги, молодой; 2) плохо обеспечен материально, неглупый; 3) активный, воспитанный, общительный, веселый.

Эксперименты на заполнение предикативной части сравнительных конструкций устойчиво связываются с положительным полюсом классов:

мужчина — умный, сильный, стройный, красивый, ласковый, смелый, высокий, но также грубый;

растение — зеленое, красное, нежное, хрупкое, высокое, гибкое, стройное, светолюбивое.

Еще сильнее положительный полярный модус выявляется в эксперименте по атрибуции заданных списком признаков тому или иному значению:

профессор — опытный, культурный, справедливый, знаменитый, известный и т. д.

Свободная атрибуция признаков значению выявляет более сбалансированную картину, распределяя признаки по категориям интенционала, нормы и оптимума. Так, в ответ на вопросы о типичном поведении, внешности и характере *летчика* русские информанты сообщают, что он — летает (интенциональный признак); в форме (норма), высокий, подтянутый, смелый, веселый (оптимум) (примеры оттуда же, с. 99). Относительно оценочных слов типа «настоящий, подлинный» и тому подобных как языковых указателей понятийного модуса надо иметь в виду, что они относятся к разряду референционно пустых на уровне словаря слов. Их реальное содержание уточняется всякий раз в контекстах их употребления, в данном случае — в сочетаниях с маркируемыми ими словами. Их назначение — указать тип подструктуры, вычленяемой в глобальном содержании понятия, указать место объекта в оценочно-прагматической структуризации класса, к которому он отнесен. Этим и ограничивается их словарно-языковое значение. В сочетании с именами классов маркеры этого рода приобретают добавочный смысл, каждый раз иной соответственно имени, — они наполняются объективированным, референционно значимым смыслом, начинают описывать объект по признакам, извлекаемым из знания мира на данном участке, из знания аксиологии классов, из представлений о том, какие именно признаки делают объект данного класса отвечающим норме, особо ценным или оцениваемым отрицательно. Прагматическое значение здесь смыкается и переливается в объективированное знание мира, референционную семантику (семантику в узком смысле термина), т. е. в знание объектов оценки.

Важно заметить, что модусы понятия носят не столько пассивно-отражательный характер, не столько связаны с вычленением подклассов в классе, охватываемым данным понятием, сколько носят прескриптивно-деятельностный, предписывающий, установочный для деятельности, поведения и переживания людей характер. Они являются категориями не столько отражающего сознания, сколько сознания опережающего, планирующего, установочного, т. е. в конечном счете являются категориями не столько деятельностно-отражающего, сколько деятельностно-преобразующего, креативного, самоосуществляющего сознания. Импульс идет в этом случае от сознания к миру.

Сложный, двойственный характер природы качественных модусов, отличающий их от понятий о подклассах, особенно наглядно иллюстрируется на примере идеала.

Концепт идеала, безусловно, тоже обнаруживает признаки понятия о подклассе, таком в данном классе, который в максимальной мере обнаруживает наиболее ценные признаки данного класса. Последние при этом рассматриваются как видовые (дифференциальные) признаки подкласса, как его спецификация.

Но вместе с тем как уже отмечалось, совсем не обязательно, чтобы идеал реально существовал среди представителей класса. Он служит аксиологическим ориентиром класса, даже будучи чисто мыслительной моделью наилучшего в классе. В таком случае он вообще выходит за пределы класса и не может отмечаться в его объеме как специфицированный подкласс. В целом его отношение к классу оказывается двойственным. Существовая даже хотя бы в потенции, наряду с другими элементами класса как его лучшая часть, идеал оказывается подклассом этого класса и ему соответствует понятие о подклассе. Напротив, существуя вне состава класса, как чисто мыслительная модель оптимизации класса, идеал соотносен со всем классом как его аксиологическая мера. Сходные рассуждения применимы к нормативному модусу и полярным модусам в целом.

Обратимся теперь к опознавательной функции и соответствующему модусу понятия. Этот модус лежит на полдороге между сущностью и ее обобщенным отражением в понятийной системе. Он составляет часть процесса концептуализации вещей, признаков, явлений, а точнее — служит инструментом этого процесса, мыслительной формой понятия на переходе от мира к его обобщенному мыслительному представлению, и наоборот, — от понятийных систем сознания к действительности. Способ, которым сознание решает задачи концептуализации, — образ. Образ — родовое обозначение опознавательных модусов, общее название промежуточных вспомогательных подструктур — функциональных частей глобального понятия, перебрасывающих мостик от конкретности вещи к абстрактной идее класса.

Само понятие — мысль об общем, о классе сущностей (вещей, признаков и явлений-ситуаций). Как живая операциональная форма мысли понятие имеет сложную структуру, в которой отложились его назначение и генезис, функции и формирование. Образ как составная часть глобальной структуры понятия привязывает понятие к чувственно-воспринимаемой конкретности, наглядности мира и вместе с тем преобразует конкретные параметры ощущений в конкретно-обобщенную мыслительную форму, промежуточную на пути к абстрактно-отвлеченной форме логического понятия о классе.

Концептуализация — осознание класса ощущаемой сущности. Тот же процесс в обратном направлении от понятия о классе к наблюдаемой сущности — экзemplификация класса. На полпути между крайними точками этого процесса — абстрактно-идеальной и конкретно-материальной — лежит, как сказано, промежуточное идеальное образование — образ как операциональный модус понятия.

Память хранит образы единичного. Сознание конструирует из них образы класса и также помещает их в память. Образы единичного конкретны, в них отобраны и сохранены некоторые конкретные признаки единичного в конкретных значениях (= величинах) их параметров. При этом признаки

скомпанованы так, что их набор, параметризация и структура связей образуют целостную идеальную модель единичного.

Но хранимые и по необходимости извлекаемые из памяти образы единичного возникают не только из отражения реально существующего, но и творятся из сознания как его конструкты, причем один и тот же образ единичного может соединять в себе черты как реально наблюдаемого, так и домысленного, в том числе примысленного и мнимого. На этом, в частности, основано создание литературных художественных образов.

Нас, однако, интересуют образы иного порядка — не конкретные образы единичного, а обобщенно-конкретные образы классов. Они также образуются двояким путем: 1) как конструкт из образов единичного, обобщение первого порядка, не порывающее с чувственно-наглядной основой конкретных образов, и 2) как обобщенно-конкретный конструкт сознания, творение фантазии на уровне класса, ср., например, каким рисуется массовому сознанию образ инопланетянина — конкретный, но переменный, переменный, но узнаваемый. Надо полагать, что проблема образа класса — это проблема отбора отличительных конкретных (чувственно воспринимаемых) признаков и допустимого для них диапазона изменчивости — одних вместо других и одних и тех же, но разной количественной меры.

Реальность понятия-образа убедительно доказывается способностью людей достаточно единообразно различать классы вещей даже при достаточно широких диапазонах изменчивости их признаков. Мыслительный механизм этой чудесной способности остается в значительной мере загадкой для современной науки. Разработка теории распознавания образов и попытки кибернетического моделирования этой способности наталкиваются на серьезные трудности. Но сама способность не может быть подвергнута сомнению и в основе ее лежит понятие-образ. Чувственные восприятия вещей, конкретные образы единичного соотносятся с образом класса как его эталон еще на целостном, преаналитическом уровне сознания, на уровне интегрального восприятия и концентрации того, что дано в ощущениях и памяти.

Итак, располагая доказательством психической реальности, структурной вычлененности модусов как элементов глобальной структуры понятия, мы не располагаем пока детальными знаниями об их внутренней структуре, механизмах формирования и функционирования, равно как не располагаем и аппаратом для описания структур такого рода. Очевидно, как и само глобальное понятие, частью которого они являются, это психические структуры стохастической природы. Входящие в их состав признаки заданы не жестко, а вероятностно, равно как вероятностны и возможные количественные значения признаков. Речь опять-таки идет, понятно, не об онтологических вероятностях онтологических признаков, а об отраженной вероятности отраженных признаков, о признаках и вероятностях как они

осознаются человеком и отражены в его психике (так называемая житейская вероятность в отличие от математической).

Таким образом, вероятностны (в указанном смысле) как состав, так и количественные значения компонентов, образующих структуру образа класса. Можно полагать, что и в этом случае действует следующая закономерность, ограничивающая объем возможного варьирования образа без утраты им тождественности самому себе: чем больше число одновременно варьирующихся признаков, тем уже должен быть диапазон их количественного варьирования с тем, чтобы варьирующиеся образы принимались бы за образы одного и того же класса. И наоборот, чем меньше число одновременно варьирующихся признаков, тем шире может быть диапазон их параметров без утраты тождества.

Понятно, что эта закономерность, если она справедлива, еще не отвечает на множество других вопросов о структуре, механизмах построения и функционирования классных образов. Мы еще далеки от ответов на них.

Вероятностная природа свойственна всем модусам понятия, кроме интенсионального (логического понятия). Особенность образного модуса понятия — в том, что он формируется чувственно воспринимаемыми признаками. Поэтому даже с учетом возможной вариативности образ класса нагляден и конкретен — по крайней мере в конкретных своих вариантах. Он конечен по меньшей мере в том смысле, что его вариативность имеет конечный предел. Более того, практически вариативность образа обычно ограничена сравнительно немногими типовыми мыслительными «картинами» класса.

Во всяком случае вариативность класса сама, в свою очередь, имеет вероятностную структуру: возможные конкретные образы класса различаются мерой типичности отображения класса, в разной степени претендуют на право представлять класс как его идеальные (и изобразительные) корреляты. С этой стороны образ класса может быть определен как вероятностно упорядоченное множество конкретных идеальных отображений класса. При этом предполагается, что мера встречаемости конкретного образа пропорциональна типичности отображения им класса.

Как идеальная сущность образ класса занимает промежуточное положение между конкретными концептами единичного и абстрактными концептами общего. Он обеспечивает переход сознания от конкретного наблюдения на уровень обобщающих абстракций и обратное движение мысли от общего к единичному. Возникая на переходе отражения от единичного к общему, от конкретного — к абстрактному, от конечного — к переменному, образ класса связывает понятие с реальностью и операционально обеспечивает две функции понятия — осуществлять концептуализацию вещей и очерчивать тождество класса.

Образ класса моделирует в виде идеального стохастизма наличные в представителях класса чувственно-воспринимаемые признаки в их струк-

турных взаимосвязях, оценивая вероятность их наличия и вероятность возможных для них значений. Вместе с тем чувственно-наглядная конкретность, конечность образа позволяет воплотить его материально, вещественно. Недаром сам термин означает не только идеальные сущности, но также метонимически — их предметные воплощения. Воплощаются как образы единичного, так и образы общего (класса). И те, и другие оцениваются относительно их соответствия образу в замысле, и в этом еще одно подтверждение реальности не только образа единичного, конечного в своих параметрах, но и конечно-вариативного образа общего.

Образ общего имеет, как сказано, двойственный, промежуточный характер, диалектически примиряя в сознании единичное-конкретное и общее-отвлеченное. В силу этого его материальное воплощение допускает множественность трактовок. Воплощения единичного, как известно, также множественны в силу многоаспектности самого единичного и его видения людьми. В определенном смысле единичное также предстает как класс (проявлений) того, что заключено в одну телесную оболочку. Соответственно и образ единичного вариативен и в этом смысле оказывается множеством образов и к нему можно подходить с позиций образа общего.

Различие, однако, — в том, что вариативность образа класса на порядок выше вариативности единичного. Если взять единичное в отношении к одному субъекту в один момент времени, то образ его вполне конкретен, конечен и единичен. Напротив, при тех же условиях класс предстает в множестве конкретных единичных образов или в одном, но вариативном образе класса.

Воплощение, будь то единичного, будь то общего, в любом случае опирается на образ, но мера участия образа в сотворении его материального коррелята различна. Образ лишь генетически отражение вещей. В сложившемся сознании он не только пассивно копирует вещи, но и креативен, так что для одних случаев верно сказать, что образ есть идеальное подобие вещи, а для других, наоборот, — вещь есть материальное подобие образа, т. е. именно его воплощение. Воплощение завершает процесс образотворчества, это его другая сторона, последующая фаза, на которой образ снова овеществляется. Таким образом, процесс в целом складывается из двух взаимодополнительных, но относительно автономных частей — интериоризации вещей и образования образа в сознании, с одной стороны, и экстериоризации образа и его воплощения в вещь, — с другой.

Строго говоря, вещь (предмет) — не единственный материальный коррелят идеального образа, им могут быть сущности иного рода, например ситуации (события). Поэтому здесь необходим обобщающий термин, а точнее, два: один, относящийся к источнику образа, — это прообраз, и другой, относящийся к результату воплощения образа, — это — по той же словообразовательной модели — постобраз. И тот, и другой — предметные сущности, взятые в отношении к идеальной сущности-образу. В том же

мысле говорят также соответственно о прототипе и — метонимически — воплощении (как материальном результате). В них нет корня — образ, и это имеет то преимущество, что не сбивает с толку, разводя идеальный и предметный ряды. В защиту первой пары терминов можно, однако, сказать, что «прообраз» общепринято понимать именно как материальный источник образа, так и — метонимически — ее материальное воплощение (но не прототип).

Прототип — отображаемый коррелят идеального образа на уровне единичного или общего независимо от того, реально ли он существует или мнимо. В своей области понятие прототипа аналогично денотату (или референту), который также приходится считать внешней по отношению к значению знака сущностью, даже если денотат существует лишь в возможности, предположении или вообще только в воображении. Промежуточное положение между реальным и мнимым прототипом занимает прототип, так сказать, рассредоточенный, собираемый из признаков разных сущностей и формирующий синтетический образ единичного.

Синтетический образ единичного принципиально отличается от суммарного образа класса способом формирования. В первом случае структурные позиции образа заполняются признаками, отвлеченными от разных вещей. Во втором — признаки оцениваются по вероятности их наличия и количественным параметрам. В первом случае стремятся получить целостную картину единичного и выходят далеко за пределы чувственно воспринимаемых признаков. Во втором — преследуется цель отыскать общее и характерное в пределах наглядно воспринимаемого и в результате получают стохастизм как предел и структуру варьирования чувственных признаков класса. Синтетические образы иллюстрируют вариативные возможности класса на конкретных примерах в широком диапазоне меры качества класса — от нормы до обоих полюсов. Образ класса, напротив, сводит вариативность чувственной основы класса в целостный стохастизм.

Хотя этот предмет значительно расширяет рамки темы, следует все же, хотя бы в самом общем виде, указать на множественность видов воплощения, равно как и на множественность видов образотворчества. С одной стороны, стоят такие виды деятельности, как копирование, имитация, воспроизведение, реинкарнация, творчество, в том числе художественное и т. д., а с другой, оборотной, духовной стороны, — замышление, планирование, проектирование, фантазирование и т. д. Моделирование также особый вид, но как термин охватывает обе стороны процесса, материальную и духовную, т. е. одновременно описывает и вид воплощения (создание вещественных моделей существующих предметов и явлений и должных быть созданными), и вид образотворчества (идеальные модели как отражение сущего и как замысел).

Различия между указанными видами воплощения и образотворчества идут по многим линиям: 1) по уровню обобщения того, что в исходе и ре-

зультате процесса, — единичное vs. класс; 2) по мере подобия, которая, в свою очередь, зависит от поставленных целей, меры монотонности-разнообразия класса и т. д., ср. различия между копированием, имитацией, воспроизводством, с одной стороны, и моделированием, перевоплощением, (ре)инкарнацией, художественным творчеством — с другой. При воплощении образа существенно, действует ли воплощающий из головы или имеет перед собой материальный образец и насколько точно он должен его воплотить — в той же субстанции, с теми же свойствами, в тех же пропорциях или иначе.

Так, копирование и имитация точно следуют образцу-прототипу и имеют целью тиражирование класса, умножение числа его представителей, но отличаются от воспроизводства меньшей мерой подлинности и урезаны правом представлять класс или замещать единичное-прототип. Вместе с тем моделирование не обязано давать в результате еще одного представителя класса, тиражировать прототип: в отличие от копий и имитаций модель не становится в ряд с оригиналом, а противопоставлена ему как его материальная или идеальная схема, отображение некоторых его сторон, его принципа, устройства и т. п.

Перевоплощение и (ре)инкарнация близки и противоположны по смыслу. Оба с разной мерой обоснованности бросают вызов известному диалектическому принципу единства формы и содержания. Перевоплощение предполагает способность одной телесной оболочки манифестировать, проявлять разные духовные образы — истина как будто не подвергаясь сомнению. Напротив, (ре)инкарнация предполагает, что духовная субстанция может сохранять единство образа в различных телесных ипостасях — вещь скорее всего из области мифотворчества.

Говоря о видах воплощения, можно оставить в стороне перевоплощение и (ре)инкарнацию как особые случаи, относящиеся не к воплощению образа в собственном смысле, а к смене образов его носителем и смене образом его носителей. Собственно воплощения, как сказано, делятся на две группы: к одной относится воспроизведение, тиражирование, копирование, размножение, к другой — моделирование (в смысле создания материальных моделей).

Термины *моделирование*, *модель* приобрели теперь, как уже было замечено, весьма широкое значение, так что и сами образы, а с ними и любые формы отражения мира заносят в число моделей (идеальных). В этом есть определенный резон, и во всяком случае есть потребность в обобщающем понятии и термине. Однако для наших целей из соображений терминологической четкости удобнее придерживаться более узкого и привычного значения этих слов, понимая под моделью материальный аналог существующих или замысливаемых сущностей (материальный аналог материальных или идеальных сущностей).

Различие двух групп воплощений уже было сформулировано. Термин *аналог* хорошо его подчеркивает. В первой группе воплощение создает не аналоги вещей, а сами вещи, не просто подобия, а полные подобия вещей, по своим свойствам назначаемые играть ту же роль. Прототип в этом случае тиражируется, класс умножается, единичное получает двойников со сходными свойствами. Модель — тоже подобие, но подобие неполное, ограниченное в силу того, что полного подобия и не требуется: она всего лишь аналог, не призванный продолжить ряд предметов, умножить их число. Модель служит заместителем прототипа в ограниченном диапазоне свойств и функций. Модель не тиражирует прототип, а противопоставлена ему как отображение, она не вещь того же класса, что прототип, так как не обладает конститутивными признаками класса в требуемой полноте. Напротив, воплощения первой группы — сущности того же класса, что и прототип, — обладают обязательными для класса признаками или по меньшей мере претендуют на то и другое.

Уже отмечалось, что моделирование — понятие весьма широкое. Если даже ограничиться той стороной этого процесса, которая дает на выходе модель как материальный результат моделирования, то и в этом случае нельзя считать всякую модель воплощением образа. Модели овеществляют в виде материальных аналоговых подобий не только то, что доступно чувственному восприятию, но и абстрактные, «ненаглядные» сущности. У этих сущностей нет предпосланного им идеального образа, который бы и воплощался моделью. Напротив, образ таких сущностей вторичен и сам возникает как отражение модели. Что же касается модели, то она творится сложным, не вполне объяснимым, даже загадочным образом из абстрактных представлений, аналогически транспонируемых в некую вещественную субстанцию и форму.

Образ формируется из чувственно воспринимаемой стороны вещей и событий. Соответственно абстрактные, бестелесные сущности не могут иметь прямо отражающих их образов, и если все же глобальное понятие о таких сущностях содержит и операционально опирается на образный компонент, то образ при этом специфичен генетически, содержательно и функционально.

К воплощению образа в сколько-нибудь строгом смысле слова имеет отношение только одна разновидность моделирования — изображение. Иначе говоря, из разнообразных видов моделей только модели изобразительные могут считаться воплощениями образов.

Действительно изображение создает аналоги вещей, но не сами вещи, оно их воспроизводит, но не тиражирует, а это значит, что воспроизводит не полностью, а с некой принятой мерой условности, достаточной неадекватности. Пигмалиону, чтобы ввести Галатею в круг людей, пришлось молить богов вдохнуть в нее душу, скульптурное изображение было совершенным, но не могло устроить скульптора.

При всем разнообразии видов изображений, при всех различиях в способности людей к изобразительной деятельности, не говоря уже о способности к изобразительному творчеству, именно изображения надо, по-видимому, полагать основным каналом объективации образов как идеальных сущностей сознания, инструментом и способом их экстериоризации, выведения на поверхность деятельности, их материальных рефлексом.

Воплощения другого рода, т. е. воспроизводство, воссоздание, тиражирование, копирование, реставрация, обновление и т. п., менее показательны, так как в этом случае деятельность и ее продукт в большей мере опираются на воспроизводимую вещь, следуют не столько за образом, сколько за вещью. Даже если вещи и нет пред глазами, образ ее должен быть затвержен в памяти, и уж он-то должен «стоять перед глазами», а это означает, что образ мало автономен.

Сказанное можно сформулировать иначе: для объективации идеального образа не столько показателен процесс от вещи к образу и обратно к новой вещи того же рода, сколько процесс от образа к изображению, автономизированный от изображаемой вещи. Тут проявляет себя сложившийся образ, а не зеркальное отражение вещи, исчезающее из зеркала с устранением вещи. Последнее — тоже образ, но образ мимолетный, ему еще надо укорениться и стать устойчивой частью структур сознания.

Рисунки, картины, схемы, чертежи, диаграммы, матрицы, жесты, мимика, сравнения, тропы (метафоры, метонимии) в их содержательном аспекте, символы, изобразительные структуры речи и т. д. — все это рефлекс идеальных образов, проявляющие его содержание и структуру. Известно, как затруднен и неопределен выход на понятие — значение в толковых словарях через дефиниции и толкования и как облегчается он посредством самых простых картинок, схем, иллюстраций, диаграмм, таблиц, матриц, чертежей. Путь к абстрактной, обобщенной идее класса, признака, явления, события, т. е. к понятию как мысли об общем, лежит через наиболее яркую и освоенную операционную часть его — идеальный образ.

Мимика, жесты, выражение лица, глаз, имитация манер, походки, голоса, вообще телесных черт и поведения, телодвижения и танцы в их семиотизированно-изобразительном аспекте — каждый из них сам по себе или как сопровождение вербальной речи также экстериоризирует соответствующие элементы идеального образа, в том числе его кинетическую (моторную) составляющую, и изобразительно воплощают их в той же субстанции или транспонируют в другую.

Сравнение, как правило, апеллирует именно к образу того, с чем сравнивают (база сравнения), поэтому база сравнения обычно более (или по меньшей мере столь же) конкретна, наглядна и по меньшей мере во всяком случае известна больше, чем объект сравнения (то, что сравнивают с базой сравнения), а основание сравнения (признак, общий у объекта и базы сравнения) — обычно чувственно воспринимаемый признак.

Обратный ход сравнения ненормативен, но возможен — как художественный прием.

Одна из функций тропов, в особенности метафор, — функция, хотя и не исчерпывающая их назначения, но наиболее существенная, — заключается в том, чтобы осваивать абстрактное через конкретное, ненаглядное — через наглядное, рационально постигаемое — через доступное чувственному восприятию. Троп, как правило, основывается на образе. Метафора — это встреча образов двух разнородных (т. е. не относящихся к одному роду) денотатов, частично перекрещивающихся своими признаками. В силу сближения образов денотат одного из них служит моделью другого и тем самым его изобразительным воплощением.

В целом процесс строится по следующей схеме. Образ-1, т. е. комплекс чувственно воспринимаемых признаков денотата D_1 , подлежащего обозначению или переименованию, отвлекается от общей структуры всех признаков этого денотата. Далее обнаруживается частичное, но достаточное для условий и целей коммуникации сходство признаков образа-1 с образом-2 другого денотата D_2 , и имя этого второго переносится на D_1 , обозначая его уже в целостности его признаков. Образ-2 при этом представляет собой данность, лучше освоенную сознанием, чем образ-2, равно как и понятие о D_2 лучше освоено, чем понятие о D_1 , хотя бы в релевантном для коммуникации аспекте. Во всяком случае, если и то, и другое одинаково освоены сознанием, D_2 с его концептом, образом и именем служат для указания в D_1 нужных признаков. Тем самым образ-2 способствует формированию образа-1, а через свой денотат D_2 — экстериоризации этого образа: D_2 с некоторым приближением моделирует и изобразительно воплощает нужные черты образа первого денотата.

В символах также объективируются составляющие идеальных образов. Но прежде требует пояснения само понятие символа. Когда вещь употребляется в знаковой функции и тем самым становится знаком, хотя бы знаком *ad hoc*, мы говорим о ее семиотизации. Когда со знаком связывают некоторое значение, говорим о семантизации знака. В случае тропов (метафор, метонимий) не приходится говорить о семиотизации, тропеизация совершается на базе готовых знаков. Троп — результат вторичной семантизации знаков, приобретения знаками вторичных значений по моделям семантической деривации от их первичных (исходных) значений.

Символизация же — особый случай семиотизации. Термин «символ» достаточно многозначен, но мы сосредоточимся на главном его значении, в котором он выступает первичным обозначением стоящего за ним явления. В общем виде определение символа сводится к следующему: символ — вещь (или ее изображение) в функции обозначения того, с чем она ассоциативно соотносится за счет ее импликационных, аналогических и гипергипонимических связей. Для символа существенно, что он нагляден (т. е. доступен чувственному восприятию) и что он через конкретное обозначает

абстрактное: его денотаты либо вовсе недоступны непосредственному наблюдению (даны не в прямом, а лишь в опосредованном чувственном восприятии), либо содержат в своей структуре элемент ненаглядности.

Попутно заметим, что синонимами к «символизировать, символизация» выступают «олицетворять, олицетворение». Впрочем, между ними есть известные семантические различия. Главное из них — то, что «олицетворение» имеет еще особый смысл — приписывание духовных свойств неодушевленным предметам. Это, разумеется, не символизация, а разновидность метафоризации.

Типичный простейший случай символизации — семиотизация части для обозначения целого (именно части, а не имени части): элемент некоторой структуры изымается из нее, семиотизируется и становится обозначением всей структуры. Так, вывешенная у входа *пара сапог* — пример простейшего знака — символа, оповещающего о сапожной мастерской или лавке. Развивая далее присвоенную вещи знаковую сущность, ее заменяют изображением, которое может становиться все более условным.

Символизация никак не исключает обратного вектора — от целого к части, от структуры к ее элементу, от вещи к ее признакам. Вещь или ее изображение могут символизировать некую ее неизобразимую структурную часть, характерное, но ненаглядное свойство, качество. Так на эмблемах и гербах изображения *змеи* символизируют приписываемую ей мудрость, *льва* — власть и храбрость, *орла* — величие, *рыб* (например, в монгольской соембе) — неусыпную бдительность и т. п.

Столь же возможен ассоциативный ход мысли об одной вещи к другой, так или иначе с ней связанной, а также в обоих направлениях гипергипонимизации: от вида к роду (обобщение понятия) и от рода к виду (специализация понятия). Эмблема медицины, помимо изображения змеи, включает чашу, которая по цепочке ассоциаций символизирует функцию исцеления: чаша — питье (импликация от сосуда к содержимому) — лекарственное питье (гипонимизация) — лекарство (гиперонимизация) — лечебное средство (еще одна ступень обобщения).

Обобщая на этом уровне, можно видеть, что, помимо гипергипонимического движения мысли, чаще всего символизация основана на импликационных концептуальных связях, отражающих линейные зависимости, взаимодействия и связи сущностей: связи между вещами, событиями, между целым и частью (структурой и элементом), между вещью и ее признаками. На связях этого типа основана также метонимия с тем различием, что метонимия, как и тропеизм вообще, имеет дело с готовыми знаками: метонимия — вторичная семантизация знаков посредством деривации производных значений от уже имеющихся на основе импликационных связей (ассоциаций смежности), а не семиотизация вещей.

Надо иметь в виду, что вполне возможна на той же импликационной основе символизация самих знаков, знаков как вещей.

Примером может служить обобщенно-символический смысл выражений, вроде «И ты, Брут!», «No pasaran!», «Люди, будьте бдительны!»

При этом знак утрачивает свое знаковое качество, т. е. перестает служить в качестве знакового коррелята отражаемого в его значении мира, выходит из противопоставления тому, что им означает, а сам становится частью, элементом более широкой, сверхзнаковой (деятельностно-знаковой) ситуации. Иначе говоря, знаковый акт становится таким же действием, поступком, как прочие, и анализируется с тех же позиций, составляя часть некоторого деятельностного комплекса со знаковым компонентом. На этом уровне знаковые формы (слова, выражения, построения речи и т. д.) могут обобщенно и целостно символизировать комплексы обстоятельств, признаков и участников ситуаций, в которых они были произнесены. Частный знаковый элемент становится обобщающим символом класса сверхзнаковых целостных ситуаций. Имеет место то же явление семиотизации, но семиотизации вторичной, поскольку семиотируется в иной, импликационной плоскости то, что уже было знаком.

Вторичная семиотизация также должна быть отнесена к случаям вторичной семантизации, так как и здесь с означающим связывают новое значение. Но эти случаи принципиально отличны от деривации значений, так как последние основаны на отношениях между денотатами, а первые — на связях знака с комплексом условий и обстоятельств состоявшихся случаев его употребления, т. е. в определенном смысле — с «этологической историей» знака, историей его реального употребления в контекстах, оказавшихся особо примечательными и потому обобщенных и фиксированных символом.

В определении символа указано также, что вещь может быть сближена с чем-либо на основе аналогической ассоциации сходства, подобия и употребления. Стоит придать ей при этом знаковую функцию, т. е. семиотизировать, и она становится знаком-символом своего подобия. Чаще всего аналогически символизируются не сами вещи, а их изображения. Так семантизируется колесо Фортуны, символизирующее своей способностью вращаться переменчивость судьбы.

Аналогический символ построен на том же механизме концептуальных связей, что и метафора, — на ассоциациях сходства и уподобления сущностей, не относящихся к одному классу (симилятивные, или аналогические, концептуальные связи). Разница, однако, как и в случае «импликационный символ vs. метонимия», в том, что метафора возникает на базе готового знака как его вторичная моделированная семантизация (путем семантической деривации исходного значения). Объявлять это вторичным означиванием, вслед за Э. Бенвенистом, мало что добавляет к пониманию знаков и тропейзна знаков. В этом смысле материальный факт семиотируется, т. е. становится знаком, наделяется знаковой функцией только однажды. Он никогда не существует как дважды знак, как знак во второй

степени. Даже автономное и метаязыковое употребление имен превращает их из знаков в материальные факты. При этом они занимают позиции в синтаксических структурах, подобно тому, как эти позиции могут занимать, например, картинками.

Итак, символ — сущность, изъятая из ее природных и концептуальных связей и превращенная в знак этих связей, в знак того, с чем она ассоциативно связана.

Потенциально символ может обозначать все и любое из этого комплекса связей, и в этом состоит смысл известного изречения Оскара Уайльда: «Тот, кто хочет разгадать символ, делает это на свой страх». Однако практически суммарный смысл символа организован как иерархия и разные его интерпретации имеют разные шансы на актуализацию, усиливаемые или ослабляемые контекстом употребления, не говоря уже об отстоявшемся осмыслении символов в коллективном узусе и памяти.

Существенно то, что на какой бы ассоциативной основе ни возникал символ — импликационной, гипер-гипонимической, аналогической или комплексной, — каков бы ни был вектор ассоциаций, все случаи символического творчества допускают единое обобщение: во-первых, имеет место семиотизация вещей и, во-вторых, символизация направлена на представление сложного, отвлеченного, чувственно-ненаглядного через простое, конкретное, чувственно воспринимаемое. Символ позволяет сознанию осваивать и оперировать понятиями о структурно сложных, абстрактных предметах, ненаглядных сущностях, непосредственно недоступных чувственному восприятию. Он возвращает абстракции к конкретным истокам, к тому, от чего они отвлечены, т. е. обеспечивает обратную связь абстракций с их предметной основой.

Диапазон символического абстрагирования весьма широк. В своих простейших формах символ утилитарен, представляет собой простейший вещезнак (знак-вещь или ее изображение) с прозрачной мотивировкой, лишь незначительно продвинутой в сторону абстракции. Но в развитых своих формах символ имеет сложную структуру с разветвленной, многоступенчатой сетью разнородных ассоциаций, мотивировка которых может быть достаточно условной или утраченной.

Так, белый цвет символизирует чистоту, невинность, непорочность. Можно полагать, что символизация началась с представления о белых одеждах людей и людях в белых одеждах, далее следовала импликация: белые, следовательно, чистые, незапятнанные, незаношенные — и уже на этой основе возникает аналогия с чистотой, невинностью, непорочностью как нравственными качествами.

И в простых, и в сложных формах символ проявляет, материализует образ своего денотата, изобразительно воплощает состав и структуру чувственного компонента соответствующего понятия. Символы наглядно демонстрируют, что самые отвлеченные, структурно сложные и обобщенные

понятия опираются и влекут за собой шлейф конкретных представлений. Как операционный модус образ присущ и вычленяется не только в структуре понятий о телах и их комбинациях, но и понятий об абстрактных, непосредственно не наблюдаемых сущностях. Стоя на плечах метафор и символов, сознание заглядывает в эмпирию чистых абстракций и держится за них в разряженном воздухе этих абстракций.

Самовар с чайником, испускающий пар, — всего лишь деталь интерьера, но, будучи семиотизирован, он говорит своим изображением больше, чем пространственный рассказ о некоем образе жизни с добротным устроенным, мирным, здоровым патриархальным бытом. Гражданин усваивает идеалы правосудия не только из рассуждений о правовом обществе, но из символа — Фемиды с повязкой на глазах и весами в руках. Повязка своими импликациями ведет его к представлению о беспристрастии и независимости, а весы аналогически — о взвешенности оценок и суждений.

Образ же самой богини правосудия совмещает импликационное (метонимическое) и аналогическое (метафорическое) ассоциативные начала.

Сказанное никак не исчерпывает средств и способов объективации образа. Перечень рефлексов образа в языковых и неязыковых формах продолжают, например, загадки как фольклорный жанр, явление иконичности знаков (и шире — изобразительных средств языка и речи), образные структуры сознания своеобразно манифестируют свое содержание также в таких языковых и неязыковых явлениях, как внутренняя форма и этимологизация *ad hoc*.

Нетрудно видеть, что фольклорная загадка построена на характерных наблюдаемых чертах загадываемого предмета, и в этом смысле она объективирует его образ. Делается это, однако, своеобразно. Загадка предлагает установить предмет (класс предметов, событий) не по его дефиниции, а через некоторые черты его образа. Ставится задача на сообразительность и воображение в прямом смысле корней этих слов. Нужно угадать предмет по некоторому набору его наглядных признаков, причем в развитых формах загадки предмет и/или его признаки бывают зашифрованы метонимически («по горам, по долам ходит шуба да кафтан») или метафорически («сутул, горбат, все поле прошел, все суслоны перечел» — о серпе).

В самых развитых формах загадки загадываемый предмет зашифрован методом моделирования (развернутая метафора): его черты прямо приписаны другому, прямо объявленному в тексте загадки предмету и через его образ предлагается найти его подобие в указанном диапазоне свойств, которые также по большей части зашифрованы аналогически («сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает»). Такая загадка построена на ходе, обратном обычному процессу семантизации текста, она — крайний случай метафорической коммуникации: никак не вводя в предметную область сообщения (если не считать общей установки на загадку), она предлагает по метафоре восстановить ее прообраз.

Косвенно, но несомненно загадки подтверждают силу и реальность образа, его проявленность как яркой особой структурной части глобального понятия о классе. Недаром тяга к ним обнаруживается в том возрасте онто- и филогенетического развития человека, когда формируются и оттачиваются структуры и механизмы понятийного сознания.

Иконичность, внутренняя форма и ненормативная этимологизация знаков как способы мотивации их значений также, с достаточной очевидностью, базируются на той стороне понятий, которая обращена к образу денотатов, и проявляют черты этого образа. Хорошо известно, что мотивированные знаки имеют значительные преимущества для понимания, запоминания и воспроизведения на начальном этапе внеопытного освоения понятий, и это свидетельствует о том, что путь к абстрактно-обобщенному понятию об объекте лежит через его образ (однако на этапе оперирования освоенными абстракциями мотивировка может обернуться препятствием, она может толкать на узкие или ложные представления об объекте, и сознание освобождается от нее, выходя непосредственно на предмет в полном объеме, не ограничиваясь тем частным его аспектом, который высвечивается мотивировкой). Наконец, с интересующей нас точки зрения в сновидениях и галлюцинациях надо видеть прямое проявление вариативности образов классов. Сновидения и галлюцинации не просто произвольно комбинируют черты образов единичного, хранящегося в памяти, но предполагают нечто большее — образ класса как стохастическую структуру чувственно воспринимаемых признаков. Они представляют собой причудливые комбинации содержания образов, держащиеся, однако, допустимого для каждого класса предела вариативности признаков по возможному их составу, взаимозависимостям, количественным и качественным значениям.

Разнообразие и значимость случаев объективации образа поясняются, конечно, тем, что образ — одна из фундаментальных форм организации психики, лежащая на переходе чувственной конкретности ощущений — восприятий к абстрактно-обобщающему мышлению. Как инструмент сознания образ не может не проявляться многообразно в психической деятельности, равно как и во всех иных формах деятельности с включенным психическим компонентом.

К сожалению, до сих пор проблематика образа изучена отрывочно и избирательно. По сути дела, ей должна быть посвящена особая комплексная научная дисциплина, которая может быть названа имагиологией (имажиологией). Ядро ее составляет когнитологическая проблематика, осложняемая и дополняемая многочисленными интердисциплинарными выходами в гносеологию, лингвистику, психологию индивидуального и коллективного сознания, физиологию и психологию ощущения и восприятия, психиатрию, культурологию, литературоведение, теорию искусств и другие науки с различными их подразделениями и прикладными ответвлениями. Когнитивно-психологические аспекты образа изучены лишь в простейших его

формах. Далее следуют пробелы вплоть до проблематики сложных художественных образов литературы и искусств. В этой последней области многочисленные исследования, нередко интересные и оригинальные в конкретном плане, не сводятся в общую теорию, а философия на этот счет может предложить немного сверх общих и достаточно банальных соображений. В лингвистике до самого последнего времени, даже в когнитивной семантике, воспринимающей плодотворные импульсы от когнитологии, ограничиваются констатациями того, что в значении языковых единиц наличествует чувственно-образный компонент, но мало что известно о его характеристиках и месте в глобальной структуре языковых значений. В целом многоаспектное и целостное развитие имажиологии представляется перспективной и важной научной задачей.

Нами, понятно, преследуется ограниченная, установочная цель — поставить проблему, определить место и указать основные характеристики образа в структуре глобального понятия как одного из существенных его операциональных модусов. Понятие при этом рассматривается, что должно быть ясно из предшествующего изложения, как целостная форма организации психики, поднявшая сознание-мышление на абстрактно-обобщающий уровень и вписавшая этот высший уровень организации в органичную, целостную структуру, в которой сохранены и переработаны под воздействием высшего уровня фундаментальные, базисные чувственные формы низшего уровня.

Таковы основные представления об образе как составной части интегрального понятия и главные аргументы в обоснование такого взгляда на него. В заключение наметим в самом общем виде некоторые существенные моменты дальнейшего развития концепции.

Указанные в начале функции операциональных модусов понятия, которые формируют их и которыми они различаются, нуждаются, конечно, в более основательной разработке. Выше уже отмечалось, что функции эти взаимозависимы, перекрываются и переходят одна в другую, и это, наряду с единством отражаемого понятием предмета (единством предметной отнесенности понятия), обеспечивает интеграцию модусов в целостную структуру глобального понятия. Хотя в случае каждого модуса можно указать центральную, конституирующую его функцию, дело, понятно, не сводится к ней одной.

Так, в случае образного модуса, помимо основного его назначения обеспечивать узнавание сущностей (распознавание, опознание, включая идентификацию, отождествление и как их обратную сторону — различение вещей и явлений), с ним надо еще связывать функцию исполнения (изготовления, реализации, производства и т. п.). Узнавание (в широком смысле), разумеется, не замыкается созерцательным отношением к сущностям, а имеет активно-деятельностное продолжение: образ контролирует, направляет и корректирует изготовление вещей, исполнение действий,

реализацию замыслов (интенций) и т. п. Целенаправленная деятельность сверяет свои результаты с образом.

Общая теория образа, исследование образа с деятельностной стороной и на переходах к частным случаям его формирования и функционирования потребует разработки типологии образов. Эта типология если не будет производной, то во всяком случае будет тесно связана с типологией классов. В ней отразятся различия между классами, и не только по их онтологии, но и в прагматике.

Заранее можно ожидать значительного своеобразия в структуре, содержании образов в зависимости от меры и типологии конкретности — абстрактности классов, монотонности-вариативности классов, от меры их практической освоенности человеком, ценностных и — шире — прагматических характеристик, места и значимости классов в структуре человеческой деятельности, пассивно-деятельностного (созерцательного) или активно-деятельностного отношения людей к классам.

Мера вариативности классов, очевидно, коренится не столько в онтологии вещей, сколько в разрешающей способности человеческой деятельности на определенных участках предметного мира, т. е. зависит не только от самих вещей, но и от «углубления» человека в них. Как бы то ни было, диапазон тут широк: от полной стандартизации классов — до резко выраженного разнообразия, порождающего обоснованные сомнения в тождественности класса. Соответственно возрастает сложность образа — стохастизма, а это прямо связано с типологией и воплощением образов.

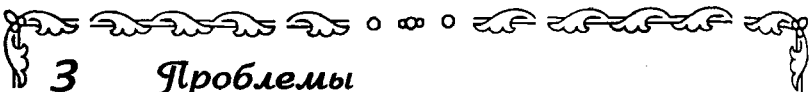
Монотонному классу соответствует простой стохастизм, и воплощается он в шаблонах, штампах, стереотипах. По мере возрастания вариативности в классе усложняется структура его образа и соответственно меняется характер его воплощения: воплощения становятся множественно различными, класс представляют образцы, примеры. Вместе с качественной структуризацией класса ищут и стремятся воплотить образы нормы и экстремусов класса, в особенности нормы оптимума и идеала аксиологически релевантных классов. Воплощение нормы создает в изобразительных искусствах и литературе, особенно в прескриптивных их направлениях, проблему типического, а воплощение оптимума и его антипода — проблемы прекрасного и безобразного, высокого (идеального) и низкого, героя и антигероя. Тип (в значении «нечто типическое для класса») тем отличается от нормы, что в нем из всех признаков, составляющих качество класса, акцентированы чувственно доступные. Иначе говоря, тип — это образ нормы.

Существенны для типологии образов связанные с типологией классов различия по чувственной базе образов, по соотношению и удельному весу сенсорных и моторной чувственных составляющих образа (зрительный, слуховой, тактильный, обонятельно-вкусовой, болевой, двигательный и другие компоненты восприятия).

К образу предмета тесно примыкают — и примыкают именно к образу, а не отвлеченно-обобщенной составляющей понятия о предмете — те характеристики глобального понятия, которые обусловлены эмоционально-оценочным восприятием и переживанием класса, первичным, нерасчлененным аксиолого-прагматическим отношением к нему. Эти характеристики в совокупности составляют особый эмотивный модус глобального понятия. Он тесно связан с когнитивным образом и в известном смысле может быть назван эмотивным образом предмета. Расчленение целостного эмотивного образа переводит его из аксиолого-прагматического в когнитивный план сознания. Суть переключения планов — в мыслительных операциях по предметно-когнитивному обоснованию эмотивного образа, т. е. по существу — в ответе на вопросы, что именно делает предмет хорошим или плохим, приятным или неприятным и т. п. Для типологии образов, очевидно, существенны зависимости между когнитивным и эмотивным содержанием глобальных понятий.

Остается и множество других вопросов общей теории образа, которые не только не были освещены, но и не могли быть поставлены в рамках этой работы, цель которой — представить реальное понятие как структуру взаимодействующих модусов, формируемых функциями понятия. Каковы удельный вес и взаимодействие операциональных модусов в структуре понятий о классах разных типов? Насколько и когда развиты каждый из них? Всякие ли понятия имеют непременно и чувственно-образный и обобщенно-абстрактный компоненты в своих структурах? Не утрачен ли полностью образный компонент у понятий — высоких абстракций? И напротив, не сводится ли само ядро понятия о чувственно-воспринимаемых признаках по существу к их образному представлению? Не приходится ли признать центральным в структуре одних понятий их абстрактно-обобщенный компонент, а других, напротив, — чувственно-образный?

Многообразие этих вопросов, не имеющих очевидных ответов, ничего не отнимает от проблемы, а, наоборот, лишь подчеркивает ее многоаспектность, сложность и значимость всесторонней ее разработки.



3

глава

Проблемы

лексической семантики:

семантическая структура слова

1. Полисемия и методы ее разграничения.

Полисемия на пределе

(широкозначность, или эврисемия)

Словесные знаки легко развивают многозначность. Многие слова имеют не одно, а несколько закрепленных за ними в узусе значений. Чем частотнее слово в речи, тем более оснований ожидать у него развернутую полисемию. Более того, полисемия — конститутивное свойство естественных языков: естественные языки не могут не развивать многозначность своих единиц, так как это позволяет им за счет ограниченного числа единиц экономно выражать гораздо большее число значений. Кроме того, полисемия отражает ассоциативное сближение выражаемых идей.

Признав в полисемии конститутивное свойство естественного языка, мы признаем, 1) значения многозначного слова содержательно связаны; 2) что возможно их содержательное взаимодействие; 3) что общность формы сказывается способом обратной связи на содержании отдельных значений, их ономаσιологическом потенциале и осмыслении; 4) что есть какая-то мера содержательной близости — дистантности значений, позволяющая различать полисемию и омонимию. Кроме того, принятие полисемии равнозначно признанию того факта, постепенно укореняющегося в семасиологии, что слово не имеет жестко очерченного круга связываемых с ним концептов. Его значение подобно гравитационному полю со сгущениями масс и тесным их взаимодействием в центре и ослабевающими к периферии силами тяготения, способными, однако, захватить и вовлечь в свою орбиту, хотя бы на время, те или иные концепты. Тем самым полисемия сталкивает исследователя со сложнейшими проблемами: 1) рас-

членения многозначности и отыскания реальных оснований различения отдельных значений; 2) соотносительных характеристик значений многозначности слова как элементов семантики слова и системы номинативных средств языка.

Цель всякой речи состоит в передаче значений. Сделать это возможно, лишь прибегнув к знакам. Универсальной первичной знаковой системой является естественный язык. Генетически язык выступает в качестве необходимого условия, обеспечивающего абстрактный обобщающий уровень сознания. Однако отношение между десигнаторами (означающими) и десигнатами (означаемым, значением) далеко от одно-однозначного. Между ними существуют сложные перекрещивающиеся отношения (ср. явления полисемии, омонимии, синонимии). Знак обеспечивает понятийно-умозаключающий, человеческий уровень сознания; без языка невозможны высшие структуры связей в мозгу, соответствующие этому уровню сознания. Но, сложившись, эти структуры обладают достаточной самостоятельностью по отношению к механизму, который обеспечил их формирование и в котором они выявляются — к языку. Концептуальные единицы разного рода, говорим ли мы о понятиях и представлениях, говорим ли мы о значениях, — опираются на знак, но содержательно ориентируются на действительность, опыт. В указанном смысле значения независимы от десигнаторов. Внутренние соотношения десигнаторов, построенные исключительно на их форме, не имеют самостоятельной ценности. Они имеют смысл постольку, поскольку отражают известные соотношения значений. Отвлекаясь от генезиса сознания и языка и имея в виду сложившееся сознание и язык, можно сказать, что десигнаторы необходимы постольку, поскольку они способны сигнализировать определенные значения. Любая система десигнаторов, какими бы ни были в ней внутренние формальные соотношения, будет хороша, если она достаточно экономно (а предел колебаний, надо сказать, весьма широк!) обеспечивает эту функцию, в том числе и такая, в которой формальные соотношения десигнаторов не вполне упорядочены (т. е. неоднозначно повторяют соотношения значений). Строгая коммутация единиц планов выражения и содержания является никогда не достижимым идеалом в естественных языках и существует больше в развитии воображении некоторых лингвистов, чем в действительности. Попытки установить последовательный изоморфизм между единицами планов выражения и содержания, между структурами первого и второго приводят к тому, что, отталкиваясь от выражения, приписывают сознанию несуществующие единицы содержания и несуществующие структуры единиц содержания. Идеи этого рода коренятся в отождествлении языка с сознанием, свое крайнее выражение они находят в гумбольдтианских представлениях о том, что структура языка предопределяет структуру мышления (В. Гумбольдт, Э. Кассирер, И. Трир, неогумбольдтианство, Э. Сепир, Б. Уорф). Исходя из этих позиций, приходится всякие случай-

ности в составе и строении языка возводить в ранг закономерных особенностей его структуры и считать их показателями «национального мышления».

На деле же значения имеют структуру, системную организацию, навязываемую в конечном счете структурой отражаемого мира и глубиной его разработанности в опыте. Между структурой значений и структурой форм, их выражающих, нет последовательного изоморфизма. Отсутствие упорядоченной коммутации единиц плана выражения (десигнаторов) и плана содержания (значений, десигнатов) особенно наглядно у номинативных единиц языка (слова и словосочетания).

Но иначе и не может обстоять дело в естественном языке. В общественной практике людей непрерывно происходят изменения, осмысляемые сознанием. Язык наследует свой материал и структуру от предшествующих эпох, он должен выражать нечто постоянно изменчивое по составу и объему. Для этого он использует старый свой материал, подчиняя его новым задачам выражения, или вводит новые единицы. Его система не может быть ни изоморфной сознанию, ни совершенной. Она вынуждена постоянно перестраиваться. Завершенная система плоха тем, что недостаточно динамична в условиях непредсказуемых изменений.

Структурализм, безусловно, ценен тем, что акцентировал в языке аспект системности его единиц, но он плох тем, что гиперболизировал этот аспект сверх меры. Характеристика единиц через их соотношения в системе может быть достаточной, только если имеем дело с завершенной системой. Следует ясно представить себе, что системность в языке есть результат корреляций его единиц со значениями. В естественных языках нет до конца упорядоченной корреляции между его единицами и значениями, нет последовательной коммутации единиц плана выражения с единицами плана содержания, а значит, нет и последовательно системных соотношений внутри единиц плана выражения. Гипертрофированное представление о системности языка вынуждало структуралистов ставить значимость на место значения.

Но если нет до конца упорядоченной корреляции между десигнаторами и десигнатами и, как результат, нет последовательно системных соотношений между десигнаторами, то изучение последних тем более невозможно без обращения к значению. Этот вывод никак не парадоксален, если учесть, что в условиях неполной системности внутренняя — через систему — характеристика единицы не может быть достаточной.

Лингвистика в том виде, в каком она сложилась к настоящему времени, является преимущественно наукой о десигнаторах словесных знаков. Формальной стороне отдается предпочтение перед содержательной. Классификационные схемы строятся преимущественно исходя из формы, а не значения. К примеру, если одно слово имеет несколько значений, то, за исключением особых случаев (омонимия), считается, что они составляют од-

ну единицу. Напротив, если несколько разных слов выражают одинаковые или близкие значения (синонимия), они признаются разными единицами. Однако в классификациях грамматических морфем предпочтение отдается значению перед формой (например, в английском языке *-(e)s-, -en*, а также некоторые чередования звуков объединяют в одну морфему множественного числа по общности значения, несмотря на различие десигнаторов: *box — boxes, ox — oxen, goose — geese*). Равным образом и супплетивные грамматические формы объединяют в одном слове. Русское «крестить» имеет значения: 1) «обращать в христианство» и 2) «осенять крестом», которые по общности десигнатора лексикограф склонен рассматривать как два значения одного слова. Те же значения в английском языке передаются двумя десигнаторами: 1) *baptize*, 2) *cross*, и считаются разными словами. Денотаты русск. «кишка» в английском могут быть названы словами 1) анатом. *intestine, gut* и 2) *hose* (рукав для полива, шланг). Лексикограф определяет число слов соответственно числу десигнаторов, причем слову «кишка» будут приписаны два, а то и одно значение.

Таким образом, значения довольно автономны от формы (десигнаторов). Содержательная дискретизация значений обусловлена действительностью и опытом (хотя в генетическом плане десигнаторы и собственные знаки составляют неперемное условие значений понятийного уровня). Между значениями и десигнаторами существуют сложные, перекрещивающиеся соотношения. Актуализация и манифестация этих соотношений соответственно коммуникативной задаче и составляют существо речевой деятельности. Эти два положения имеют методологический характер и должны учитываться при решении всех проблем лингвистической теории значения, в том числе и проблем полисемии.

Насколько отчетливо разграничиваются значения? — Насколько четко и глубоко разработана в человеческой деятельности и опыте соответствующая предметная область, насколько важны и резко проводятся различия в самой человеческой практике. Степень упорядоченности, разграниченности и систематизированности значений зависит от структуры человеческого опыта и деятельности в соответствующей предметной области. Значений в некотором континууме выделяется столько, сколько подразделений в нем существенны для человеческой практики. И значения эти настолько дискретны, насколько существенна и отработана в опыте дискретизация соответствующего участка денотативной сферы. Известно, что мысль испытывает возрастающие трудности на пути от конкретного к абстрактному, от частного — к общему все более высокого порядка, от понятия о вещах — к понятиям о признаках (свойствах и отношениях). Ее четкость на этом пути в общем затемняется, а границы понятия как бы размазываются. Соответственно этому имена обнаруживают, как правило, более четкий семантический состав, чем имена признаков. Именно известной аморфностью, текучестью логико-предметного содержания признаков

объясняется то обстоятельство, что при изучении семантики глаголов и прилагательных исследование их референционно-содержательной стороны иногда подменяется анализом их валентностно-дистрибутивных и дифференциальных характеристик. Последнее тоже важно, но при этом еще не выходит за пределы изучения языковой формы. А переход в область содержания не так прост, ибо содержание не организовано в структуры изоморфно языковой формы.

Равным образом, разницу в значении некоторых идеографических синонимов бывает затруднительно сформулировать по той причине, что в них отражена незаконченная дифференциация понятия.

Таким образом, описание семантики слов, фиксирование свойственных им значений неизбежно связано с известным огрублением, конструктивацией, схематизацией действительного положения вещей. Следует быть готовым к тому, что некоторые из проведенных различий значений и некоторые определения содержания значений неизбежно окажутся более жесткими, чем реальность речевой деятельности.

Лингвисты нередко подчеркивают исключительную важность языка в осуществлении духовной жизни людей, и это справедливо как по существу, так и по соображениям престижа лингвистики, которого она заслуживает. Но вместе с тем надо признать, что, во-первых, некоторые формы в языке соответствуют прошлому духовной жизни, во-вторых, некоторые формы приспособлены для нового содержания и, наконец, содержание языковых форм выявляется настолько определенно, насколько разработан в деятельности и духовной жизни людей соответствующий участок действительности.

Значения, как и всякого рода другие идеальные (психические) сущности, производны, вторичны по отношению к действительности и человеческой практике. Это принципиальное положение не отменяется тем, что многие из концептов (т. е. разного рода дискретных единиц сознания) являются в той или иной мере конструктами сознания, а некоторые и просто фантастичны. В сознании человека все дано и дифференцировано так, как в деятельности человека. Значения важны как звено деятельности человека, обеспечивающей ему возрастающую независимость от природы. Людей в конечном счете интересуют денотаты значений, но для того, чтобы ориентироваться среди денотатов, общественный человек должен еще ориентироваться и среди значений. Таким образом, всякий пользующийся языком подготовлен к тому, чтобы практически различать и отождествлять значения единообразным образом. Он подготовлен к этому всем опытом его коммуникативной деятельности как части совокупной человеческой деятельности. Он практически различает и отождествляет десигнаты единообразно с другими людьми в той мере, в какой он сам включен как часть в коллективную деятельность людей; индивидуальная «система значений» в той мере однородна норме коллективного языка, в какой индивид вклю-

чен, разумеется, в широком смысле, в деятельность коллектива. Вместе с тем первая составляет часть второй.

Итак, основания отождествления и дифференциации значений коренятся в структуре и дискретизации практики. Общность действительности, общность опыта у разных людей, общность коммуникативной деятельности обеспечивают достаточно единообразную картину дискретизации семантических континуумов у разных людей и обеспечивают достаточную общность содержательного наполнения значений. Напротив, различия в указанных факторах соответствуют определенным различиям в составе и строении индивидуальных семантических систем и в содержательной глубине значений.

Мы должны вспомнить, что настойчивые попытки полностью исключить значение из лингвистики и строить описание языка на чисто формальных соотношениях, предпринимавшиеся последовательными структуралистами в предшествующие десятилетия, оказались несостоятельными. В любом случае требуется, как минимум, информант с его «магической» способностью определить тождество или различие значения языковых форм. С позиций ортодоксального структурализма, вырывающего язык из контекста человеческой деятельности, такая способность действительно выглядит загадочной. Вместе с тем несомненно, что эта способность выявляет какую-то сущностную черту естественного языка, речевой деятельности и без надлежащего объяснения этой способности не может быть адекватного представления о языке. Выше было показано, что способность отождествлять разграничивать значения языковых форм коренится в структуре человеческой практики, фиксированной сознанием. В этом смысле словарь является некоторой моделью разрешающей способности человеческого сознания.

Положения о том, 1) что нет последовательного изоморфизма между структурами содержания (значения, десигнатов) и структурами выражения (десигнаторов, формы, собственно языковыми структурами) и 2) что основания сопоставления, различения и отождествления значений языковых знаков коренятся в структуре человеческой деятельности, в дискретизации действительности и опыта, отложившейся в сознании, имеют важные следствия для семасиологии.

Во-первых, из них следует вывод о принципиальной невозможности решить семасиологические проблемы на основе одних только формально-языковых критериев без обращения к так называемым внеязыковым факторам. Ниже будет показано, что последовательное исключение «внеязыковых факторов» при демаркации полисемии заводит в логический круг.

Во-вторых, из них следует предостережение против чрезмерно ригористического подхода к фиксации и определению значений. Жесткие однозначные формулировки значений, совершенно необходимые для определенных целей в одних случаях, в других могут чрезмерно схематизи-

ровать и искажать зыбкость границ и текучесть семантики знаков естественного языка. Кроме того, если значения выявлены с той степенью отчетливости, какая имеется в дискретизации соответствующего участка человеческого опыта, то в некоторых пунктах сама структура человеческой практики в силу ее недостаточной, незавершенной дискретизации на данном участке не дает семасиологу оснований однозначно ответить на вопрос, следует ли вычленить особое значение у многозначного слова или объединить два словоупотребления одним значением. Фиксируя значения в словаре, мы не можем не столкнуться с проблемами дискретизации и структуризации, не решенными в самой человеческой практике.

Дискретизация и структуризация человеческой практики — главный критерий отождествления различения значений и окончательная инстанция, к которой семасиолог должен апеллировать в сложных случаях. Однако практическое использование этого критерия для определения семантического состава языковых форм *en masse* было бы затруднительно. Поэтому на практике пользуются более удобными рефлексам этого критерия в самом языке, а именно — соотношениями слов и синтаксических структур, сложившимися как отражение дискретизации человеческой практики. При этом эксплицитно или имплицитно — чаще имплицитно — исходят из представления, что если с одним десигнатором связываются несколько десигнатов, достаточно различаемых сознанием, то эти различия так или иначе, на том или ином уровне выявлены в языке и может быть найдена единообразная процедура или несколько процедур определения по формально-языковым признакам, имеем ли мы дело с одним и тем же или двумя, тремя и т. д. разными значениями. Используют порознь или в комбинации следующие методы разграничения значений многозначного слова: дистрибутивный, валентностный, трансформационный, субституционный и переводный методы, сравнение содержательных определений значений, и компонентный анализ. Между указанными методами существует принципиальное различие. Первые пять: дистрибутивный, валентностный, трансформационный, субституционный и переводный методы — являются формальными, поскольку стремятся, насколько возможно, исключить обращение к содержанию значений. Последние два — сравнение содержательных определений значений и близкий к нему метод компонентного анализа значения — являются содержательными, так как намеренно ориентированы на содержание значений и строятся на сравнении содержательных интерпретаций, истолкований значений. Наша задача здесь — рассмотреть логические основания формально-лингвистических методов демаркации лексической полисемии с тем, чтобы оценить их возможности.

Дистрибутивный метод (речь идет о лексической дистрибуции). Различия в сочетаниях данного слова с другими словами и классами слов не могут служить средством демаркации разных значений этого слова. Не

дистрибутивные различия диагностируют значения многозначного слова, а напротив — различия в окружении, лексические классы сочетающихся слов определяются на основе различий в семантике слова. Иначе говоря, исходными являются значения, а различия в дистрибуции проводятся соответственно им. К примеру, рассмотрев сочетания *birds fly*, *aircraft fly*, *pilots fly*, *the children flew (to meet their mother)*, *the door flew (open)*, *time flies* (птица летит, самолет летит, пилот летит, поезд летит, время летит), мы установим у глагола *fly* (лететь) два значения:

- 1) «лететь» = передвигаться по воздуху и
- 2) «лететь» = быстро передвигаться, мчаться.

Эти два значения различаются нами не потому, что мы обнаружили два лексических класса слов в окружении глагола: класс со значением «предмет, летающий по воздуху» и «предмет, не летающий по воздуху». Напротив, мы различаем эти лексические классы, поскольку нам дано различать значения: перемещаться по воздуху и перемещаться быстро. Различие двух таких классов слов предполагает, что мы различаем ситуацию летящей птицы от ситуации «летящей» двери, и это различие настолько практически существенно, что отложилось в нашем сознании как разные понятия. Таким образом, сказав, что различия в лексической дистрибуции демаркируют значения многозначного слова, мы попадем в порочный круг: чтобы определить первые, надо уже знать вторые, чтобы провести лексические разграничения в дистрибуции слова, надо уметь разграничивать его значения.

Таким образом, лексическая дистрибуция слова не может служить решающим объективным показателем демаркации значений. При решении вопросов дискретизации семантики многозначного слова и оценки семантических расстояний этот критерий нельзя взять в качестве отправного пункта. На него можно ссылаться в ряду других показателей для подтверждения гипотез о дискретизации и расстояниях в семантическом пространстве, но доказательной силы он не имеет.

Валентностный (речь идет о синтаксической валентности) и **трансформационный** (речь идет о синтаксических трансформациях) методы. Методы основаны на том практически подтверждаемом представлении, что семантические различия в многозначной форме выявляются посредством различий в ее синтаксическом «поведении», через свойственные ей синтаксические различия. Если слово многозначно, то объективным и наглядным показателем демаркации его значений могут служить различия в его синтаксических валентностях и трансформациях.

Использование валентностного и трансформационного метода, безусловно, делает семасиологический анализ слов более строгим и объективным. Однако и в этом случае нет оснований полагать, что значение сводится к формальным особенностям употребления слова, что каждое отдельное значение является функцией характерных для него дистрибуций и транс-

формаций. Во-первых, синтаксический метод в семасиологии не универсален. Не все семантические различия выражены синтаксически. Нет последовательной корреляции между семасиологическими и синтаксическими структурами. Не всякие разряды слов удобно исследовать этим методом. Во-вторых, синтаксический метод в семасиологии основан на индуктивном обобщении. Не вполне ясно, из каких постулатов может быть выведена указанная корреляция, ее основания в языковой структуре. В связи с этим, хотя и отмечается множество очевидных случаев корреляции между структурой синтаксиса и структурой полисемии, объем этой корреляции, ее пределы не очерчены. Индуктивное обобщение остается индуктивным обобщением, и в каждом конкретном случае приходится заново проверять, правомерна ли экстраполяция синтаксиса в семантику. А это значит, что определяющий критерий лежит вне языковой формы. В-третьих, результаты синтаксического метода не должны сколько-нибудь существенно расходиться с интуитивным членением значений. Принципиальное расхождение обозначало бы несостоятельность метода. В задачу метода ставится не полное описание формально-синтаксических характеристик слова, а выявление с помощью этих характеристик его содержательной структуры. Если бы обнаружилось значительное несоответствие между результатами интуитивно-практического и формально-синтаксического членения полисемии, это означало бы, что последний метод замыкается в себе, «работает на себя», что нет достаточной корреляции между двумя планами. Итак, формально-синтаксический метод в семасиологии хорош как средство объективации интуитивно-практического разграничения значений, он формализует интуитивно-практический анализ семантики слова, уточняет его и определяет дискретизацию значения в интуитивно неясных случаях.

Надо сказать, что и при формально-синтаксическом методе, по-видимому, нельзя полностью избежать логического круга. Когда определяют, какие из синтаксических различий (валентности, трансформации) диагностируют различные значения слова, а какие нет, то при этом, очевидно, неявно опираются на интуитивно-практическую дискретизацию содержания, базирующуюся на опыте, знании.

Нет ничего ошибочнее представления, что значение есть функция различий в лингвистической форме (например, синтаксических: дистрибутивно-валентностных характеристик, трансформационных соотношений и др.). Идя этим путем, мы не получим ничего сверх того, что будет задано в определениях формы, т. е. получим не более чем совокупные формальные характеристики языковых единиц, например значимости и т. п. Если же пытаться установить значения (а не значимости) исключительно по их рефлексам в лингвистических формах, то неизбежен логический круг: исходят из интуитивно-практического членения значений (т. е. отталкиваются от концептуальных членений, сложившихся в сознании в результате человеческой деятельности, опыта действительности), затем рассматривают

их отображения и соответствия в языковой форме и, наконец, это последнее объявляют основанием демаркации значений. Значение — не функция синтаксической характеристики и шире — языковой формы, а отражение в сознании существенных подразделений человеческой деятельности, т. е. в конечном счете — функция деятельности, опыта, практики. Таким оно является, несмотря на ламентации блумфильдianцев по поводу того, что при этом лингвист оказывается недостаточно компетентным и не может дать содержательного определения многих значений. На это следует возразить, что и язык существует не для того, чтобы лингвист мог компетентно и удобно описать его. Естественный язык есть первичная универсальная знаковая система, обеспечивающая обобщающе-абстрагирующий характер человеческого сознания, общественно согласованная в целях обмена продуктами этого сознания. Можно привести примеры, когда с формальной стороны выполнены все условия и в языке отмечаются четко систематизированные, формальные различия, которые, однако, лишены всякого значения в сколько-нибудь строгом смысле этого термина, содержательно пусты, так как у них нет никакого референционного и концептуально-мыслительного обеспечения. Наглядный пример — грамматический род.

Метод субституции. Процедура семантической демаркации многозначного слова посредством равнозначных (синонимических) субститутов строится следующим образом. Для слова во всех свойственных ему окружениях (дистрибуциях) и контекстах определяются возможные синонимические замены. Далее эти субституты группируются по общности состава и делается вывод, что в семантике выделяется не меньше разных значений, чем найдено субституционных групп. Для примера рассмотрим английское прилагательное *solid* (см. табл. 1):

Таблица 1

Возможные окружения	Равнозначные субституты	Значения	Возможные окружения	Равнозначные субституты	Значения
s. argument	dependable	1	s. hour	whole	2.1
" ball	whole	2.1	" measure	three-dimensional	3
" business firm	dependable	1	" pier	dependable	1
" character	dependable	1	" sense	dependable	1
" colour	whole, unbroken	2.2	" silver	whole, pure	2.3
" figer	three-dimensional	3	" South	whole, unanimous	2.4
" flesh	substantial	4	" sphere	whole	2.1
" furniture	dependable	1	" tire	whole	2.1
" geometry	three-dimensional	3	" vote	whole, unanimous	2.4
" gold	whole, pure	2.3	" fuel	stable-shaped	5

Выявляются пять значений по общности — различию субститутов, причем второе значение на той основе распадается на четыре подзначения (оттенка).

Посредством аналогичной процедуры можно для демаркации полисемии воспользоваться антонимическими связями слова. Для примера возьмем прилагательное *lean* (см. табл. 2):

Таблица 2

Окружения	Антонимы	Значения	Окружения	Антонимы	Значения
1. day	rich	1	1. meat	fat	2
" crops	rich	1	" mixture	rich	1
" diet	rich	1	" ore	rich	1
" dog	fat	2	" pay	high	3
" earnings	high	3	" stock	fat	2
" harvest	rich	1	" years	rich	1
" man	fat	2	" wages	high	3

Можно совместно использовать синонимию и антонимию для взаимной проверки результатов демаркации. Например, для прилагательного *fast* (см. табл. 3):

Таблица 3

Окружения	Синонимы	Значения	Антонимы	Значения
f. colour	steady	1	unsteady	1
" film	quick	2	slow	2
" friend	steady	1	unsteady	1
" horse	quick	2	slow	2
" milker	quick	2	slow	2
" motion	quick	2	slow	2
" reader	quick	2	slow	2
" society	dissipated	3	moral	3
" train	quick	2	slow	2
" trip	quick	2	slow	2
" watch	quick	2	slow	2
" woman	dissipated	3	moral	3
" worker	quick	2	slow	2
" life	dissipated	3	moral	3
" surface	quick	2	slow	2

Метод имеет дополнительные эвристические возможности: в известной мере он позволяет судить о структуре полисемии, о соотношениях значений многозначного слова. Словозначение может обнаруживать несколько синонимических замен и несколько антонимов. Оценив степень совпадения-различия их составов, можно получить количественное выражение семантических расстояний между значениями полисемантического слова. При этом обнаружится, что не вполне правомерно ставить все значения в один ряд. Некоторые из них окажутся полностью дискретными. Дискретность значений не означает, понятно, их омонимии, так как при

компонентном разложении значений одного многозначного слова на составляющие понятия у них обнаружатся общие семантические части (семы). Это те, у которых нет совпадения в наборах синонимов и антонимов (непересекающиеся множества). Другие обнаружат большую или меньшую степень близости. Это те, у которых в наборах субститутов имеются общие члены (пересекающиеся множества). В этом случае дискретизация полисемии идет уже на ином, более тонком уровне (дискретизация второго и т. д. порядка). Если s_1 — множество субститутов к словозначению m_1 , а s_2 — к словозначению m_2 , то семантическое расстояние D между m_1 и m_2 можно определить как отношение пересечения (произведения) s_1 и s_2 к сумме (объединению) s_1 и s_2 :

$$D = \frac{s_1 \cap s_2}{s_1 \cup s_2},$$

т. е. как отношение числа общих для обоих словозначений субститутов к числу всех субститутов обоих словозначений (считаемых один раз).

Например, развернутая (но не исчерпывающая) таблица (табл. 4) субститутов прилагательного *calm* может иметь такой вид:

Таблица 4

Окружения	Синонимы	Значения	Окружения	Синонимы	Значения
c. breathing	quiet, regular	1.1	c. person	quiet, tranquil	1.2
" face	quiet, tranquil	1.2	" pulse	quiet, regular	1.1
" life	quiet, tranquil	1.2	" sea	quiet, still	1.3.1
" look	quiet, tranquil, peaceful	1.2	" temper	quiet, tranquil, peaceful	1.2
" mind	quiet, tranquil	1.2	" tone	quiet, tranquil	1.2
" of you	impudent	2	" weather	quiet, still, windless	1.3.2

Выявляются два дискретных значения. В значении 1 обнаруживаются 3 варианта, причем в варианте 1.3 различаются два оттенка: семантическое расстояние между 1.3.1 (*calm sea*) и 1.3.2 (*calm weather*) ближе ($D = 23$), чем между 1.3.1 и 1.2 (*quiet temper*) или 1.1 (*quiet pulse*), где $D = 13$.

Что следует сказать, оценивая субституционный метод? Во-первых, метод этот не универсален, так как далеко не ко всем многозначным словам обнаруживаются синонимы, тем более антонимы. Во-вторых, там, где они обнаруживаются, не может быть уверенности, что они распространяются на все значения многозначного слова: у некоторых словозначений нет синонимических замен и, таким образом, не все значения могут быть выявлены этим методом, а семантическая структура слова может получить неадекватное отражение. В-третьих, отмечаются случаи, когда результаты демаркации посредством синонимии и антонимии не совпадают. Ср. прилагательное *light* (табл. 5):

Окружения	Интуитивно-практическое членение	Hornby	Синонимы	Значения	Антонимы	Значения
light blue	1	1	fair	1	dark	1
" colour	1	1	fair	1	dark	1
" complexion	1	1	fair	1	dark	1
" day	2	2	illuminated	2	dark	1
getting light	2	2	illuminated	2	dark	1
light hair	1	1	fair	1	dark	1
light room	2	2	illuminated	2	dark	1

Возможно также заметное расхождение интуитивно-практической демаркации от членения методом равнозначных субститутов. К примеру, словари справедливо отличают семантическую близость *gain* в сочетаниях *gain on the pursuers* и *gain on the pursued*: в обоих случаях реализуется инвариантное значение «наращивать успех (в состязании, борьбе с кем-то, чем-то)». Напротив, субституты *resp. get farther from* и *get nearer to* наводят на ложную мысль о двух энантиосемичных (полярных) значениях.

Наконец, для того, чтобы широко использовать этот метод и получать однозначные результаты, надо иметь полные перечни синонимов и антонимов. Между тем из лексикографической практики и теоретических исследований синонимии известно, что составы синонимических рядов и содержательные соотношения в таких рядах часто не могут быть установлены с должной определенностью. Синонимы, равно как и антонимы, даже если их устанавливать применительно к конкретному словополучению, не равноценны содержательно и нормативно. Не говоря уже о различиях в стилиевой принадлежности и эмотивно-прагматической экспрессии, они различаются по степени нормативности в данном окружении: одни синонимы имеют широкую дистрибуцию и соответственно высокий индекс субститутивности, у других этот индекс низок, хотя это и нельзя отнести за счет более узкой семантики. К примеру, *harsh* в сочетаниях с *judge, judgement, punishment, law, measure* и т. п. имеет в качестве субститута *severe* и, очевидно, выражает одно значение. Другой субститут *Draconic (Draconian)* невозможен при *judge*. Однако нет основания приписывать *harsh* (или *severe*) особый оттенок, реализующийся в *harsh (severe) judge* и т. п., так как *Draconic* просто фразеологически связано. Возможности субституции определяются не одним семантическим фактором, но и принятой в языковой традиции нормой лексической сочетаемости.

Содержательно синонимы, как правило, не вполне равнозначны. В число синонимов к слову, обозначающему некий признак *P1*, обычно зачисляют слова с значением признаков *P2, P3* и т. д., если эти признаки встречаются в вещах совместно и связаны жесткой или сильновероятностной импликацией. Интенционалы этих слов отличны, но отли-

чие не столь очевидно, а значительная совмещенность экстенционалов заставляет сближать их семантику. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на синонимические ряды слов в любом словаре синонимов.

Все эти соображения приводят к выводу, что разграничение полисемии посредством синонимической субституции нельзя сделать строгой процедурой с однозначным результатом, а количественная оценка семантического расстояния между словозначениями этим методом может быть только приблизительной. Парадигматические отношения в семантике также не образуют завершенной и четко обработанной системы. Системность выявляется как тенденция упорядочить семантические соотношения единиц, состав и связи которых находятся в постоянном движении.

Нельзя полагать, что значение есть функция парадигматических отношений значимых единиц. Иначе, как и в рассмотренных ранее случаях, мы бы попали в логический круг. В самом деле, когда мы вычленим значения на основе парадигматических связей слова, нам необходимы перечни синонимических субститутов и антонимов. Но установление равнозначности-разнозначности единиц предполагает, что мы опираемся на уже имеющиеся разграничения, что в нашем сознании уже проделана работа по дискретизации концептов. Более того, эта дискретизация уже выявлена в структурах человеческой деятельности. Задача, таким образом, может состоять только в том, чтобы выявить сложные, перекрещивающиеся, многозначные корреляции между концептами и десигнаторами и — где возможно — установить систему, закономерности, порядок в этих корреляциях.

Метод перевода. Этот метод предполагает в качестве условия, что несмотря на различие языков и их лексико-семантических систем, имеется достаточная общность сознания, его единиц и структур, т. е. в конечном счете предполагает достаточную общность действительности и деятельности разноязычных коллективов. Если какое-то слово имеет несколько переводных эквивалентов и эти эквиваленты в языке перевода не являются синонимами, то это служит основанием разграничивать в рассматриваемом слове по меньшей мере столько значений, сколько установлено таких переводных эквивалентов. К примеру, русск. «лицо» имеет английские эквиваленты *person, personage, character, face, the right side*. Из них *personage* и *character* — синонимы; *person*, с одной стороны, и *personage, character* — с другой, хотя и близки семантически, синонимами, вероятно, не являются. Тем самым у русск. «лицо» выявляются по меньшей мере четыре значения (три, если *person, personage* и *character* — синонимы).

Поскольку, однако, некоторые значения одинаково совмещены в корреспондирующих словах двух языков, этот метод во множестве случаев не позволит выявить все значения интересующего нас слова. В приведенном примере не выявляется значение «лицо как грамматическая категория», так как англ. *person* означает не только «лицо как личность, человек», но и

«лицо как грамматическая категория». Этот недостаток можно устранить отчасти, если значительно расширить число языков перевода. Но и в этом случае не может быть гарантии, что удастся выявить все значения рассматриваемого слова, так как возможно, что какие-то значения окажутся смещенными в корреспондирующих словах всех сравниваемых языков.

Подведем общий итог рассмотрения формально-лингвистических методов разграничения лексической полисемии. Так называемое чутье языка («лингвистическая компонентность»), позволяющее установить общность — различие смысла языковых выражений, имеет под собой более глубокие основания, чем владение формальными характеристиками языковых единиц и их соотношениями в системе языка (т. е. владение языком как формой). В конечном счете оно коренится в связях и соотношениях между структурой языка и структурой человеческой деятельности, отраженной в сознании.

Решая лингвистические проблемы, связанные со значением, в частности семасиологические проблемы, нельзя замыкаться в формальных характеристиках и формальных соотношениях языковых единиц. Неизбежно обращение к тому фактору, который теперь принято называть внеязыковым. Конечным критерием при решении семасиологических проблем являются те структуры концептуальных единиц, которые складываются в сознании как непосредственное отражение структуры человеческой деятельности, общественной практики и которые связаны сложными перекрещивающимися отношениями со структурами десигнаторов (формой языка, формой выражения). Иными словами, нельзя исследовать значение в естественных языках, не обращаясь к тому, как люди понимают мир, что знают о нем, что делают в нем и как к нему относятся. В противном случае семасиолога подстерегает опасность логического круга. Замыкаясь в языковой форме, он, кроме того, склонен подменять объект исследования и вместо естественного языка анализирует упрощенные статические модели его.

Общая оценка формально-лингвистических методов демаркации лексической полисемии сводится, таким образом, к следующему. Значения как когнитивные единицы сознания непосредственно обусловлены структурой действительности и человеческого опыта (человеческой деятельностью в широком смысле слова). Они выявлены и разграничены в сознании с той степенью четкости, с какой разработан в опыте соответствующий участок человеческой деятельности. Различия в значениях многозначного слова так или иначе выявлены в форме выражения, однако формальные средства их выявления разнородны и, по-видимому, не может быть единой чисто формальной процедуры демаркации полисемии, т. е. универсального алгоритма, построенного на строго формальных показателях и полностью исключающего обращение к содержательным интерпретациям значения.

Этот общий вывод, однако, не должен быть истолкован как отрицание формально-операционных приемов. Напротив, исследование рефлексов

содержательных различий имеет безусловную ценность, и в частности должна быть продолжена разработка формальных приемов демаркации полисемии. В этом нет никакого парадокса. Исследование корреляций между структурами содержания и выражения, между сознанием и естественным языком — это основная задача лингвистики, и в частности семасиологии. Когда удастся установить на каких-то участках и уровнях этих корреляций более четкие системные зависимости, более последовательный изоморфизм двух планов, то тем значительнее выводы лингвистики.

Однако правильная оценка возможностей формально-лингвистических методов требует ясного представления о их методологических основаниях. Они эффективны и лежат на магистральном направлении семасиологии, но при том неперменном условии, что не переоценивают их возможности и не абсолютизируют формальные рефлексы содержательных различий. Структурация содержания не мотивирована различиями в форме выражения и лишь непоследовательно отражена в ней. Первично знание содержательных структур, обусловленных действительностью и человеческой деятельностью. Им и руководствуются, разграничивая значения языковых единиц. Формальные различия при этом играют подсобную роль, непоследовательно выявляя то, что уже фиксировано сознанием. Противоположный взгляд — пустая декларация, так как на практике толкает семасиолога в логический круг.

Таким образом, полисемия — конститутивное свойство естественных языков, особенность, вытекающая из их природы. Развитая полисемия, наряду с развитой синонимией, столь же характерной для естественных языков, не должны рассматриваться как недостатки естественных языков, хотя они и могут затруднять построение корректных цепей умозаключений. Это органические качества естественных языков, позволяющие им служить в качестве первичной универсальной основы обобщающе-абстрагирующего человеческого сознания.

В основе различения многозначного слова лежат те же механизмы, которые управляют различием — отождествлением понятий и самих сущностей отражаемого сознанием мира, и это не исключает неясных промежуточных случаев, когда бывает сложно определить, имеем ли мы дело с одним и тем же или различными значениями. В собственно лингвистическом плане различие значений проявляет себя в особенностях сочетаемости, в различных наборах трансформаций, равнозначных (синонимических) замен и антонимических слов, переводных эквивалентов и др. У каждого значения они свои, и это служит подсобным средством лингвистической объективации гипотез о разграничении полисемии. Той же цели эффективно служат компонентный анализ значений и сравнение их дефиниций и толкований.

Производя разграничение значений многозначного слова, устанавливая их содержание и сравнивая их по содержанию, мы убеждаемся, что

значения связаны друг с другом отношениями семантической деривации, что одно значение возникает от другого по определенным моделям семантического словообразования (семантического словопроизводства) и что все они вместе образуют своими связями семантическую структуру слова. В отличие от омонимии разные значения одного многозначного слова связаны в единую структуру тем, что имеют в своем содержании существенную общую часть.

2. Деривация значений (тропеизм)

2.1. Тропеизм слова

Семантическая структура слова (иначе — смысловая структура слова или структура лексической полисемии) проявляет себя в двух взаимосвязанных аспектах. В одних случаях под ней подразумевают прежде всего совокупность узуальных значений слова, связанных отношениями семантической деривации. В этом случае язык рассматривается в плане узуса (узуальным называют общеизвестное значение слова, соответственно как таковое регистрируемое словарями, а узусом — совокупность общепотребительных единиц и средств языка). В других случаях, при подходе к языку как системе единиц и соотношений, с семантической структурой слова связывают в первую очередь представление о потенциальных возможностях семантического варьирования слова с данным исходным значением.

Нетрудно видеть, что оба подхода имеют дело с одним предметом и различаются лишь ракурсами его рассмотрения. В первом случае обращают внимание на узуальные результаты действия механизмов переосмысления слов, во втором — в центре внимания сами механизмы (правила, закономерности) семантического словопреобразования.

Как связаны между собой значения многозначного слова и каковы механизмы семантической деривации, образования одних значений от других? Это одна и та же проблема в статическом и динамическом аспектах. Значения многозначного слова объединены содержательными связями. Эти связи — того же порядка, что связи понятий. Понятия не существуют порознь, а, напротив, связаны множественными связями, организующими их в структуре сознания. Эти связи называются концептуальными связями (от «концепт» понятие, представление, дискретная содержательная единица сознания). Поскольку содержательные связи значений — те же концептуальные связи, необходимо указать основные типы концептуальных связей. Этих типов три — импликационный, классификационный и знаковый (конвенциональный, семиотический).

Импликационные связи — это когнитивный (мыслительный) аналог реальных связей сущностей объективного мира, их взаимодействий и зави-

симостей. В конечном счете это отражение связей между вещами, между частью и целым, между вещью и признаками, между признаками. Одно понятие предполагает, вызывает мысль о другом, т. е. имплицитно другое понятие, если предполагается какая-то зависимость, взаимодействие, связь отражаемых ими сущностей. Наиболее явным примером импликационных связей являются причинно-следственные, но к ним же относятся связи пространственные, временные, отношения частей и целого и др. Импликация может быть отражением самых разнообразных видов реальных связей: одновременных и разновременных, статических и динамических, жестких (детерминистских) и вероятностных, взаимонаправленных и однонаправленных и т. д. Заметим важный момент: онтологические связи (связи отражаемых сущностей) могут быть однонаправленными (детерминация) и взаимными (интердепенденция), но концептуальные связи всегда взаимны, обратимы. К примеру, не только понятие причины предполагает понятие о следствии, но и наоборот.

Импликация в таком широком понимании является одним из двух (наряду с классификацией; см. далее) универсальных способов организации сознания в концептуальные структуры. Частным случаем импликационных связей являются метонимические связи значений, включая синекдоху.

Импликационные связи значений широко представлены в семантических структурах многозначных слов. Многие из них могут быть описаны как метонимические, но отнюдь не все. Вот почему понятие импликационной связи более емко, чем понятие метонимии — ассоциации по смежности. Оно охватывает и объясняет больше случаев семантического варьирования слов.

Конкретные виды онтологических связей, служащие основанием импликации, весьма разнообразны: материал — изделие, причина — следствие, исходные — производные, действие — цель, процесс — результат, часть — целое, признак — вещь, соположенность в пространстве, следование во времени, зависимость явлений, признаков и т. д. и т. п. Ср. *огонь* 1) пламя; 2) свет; 3) стрельба; *здоровый* 1) не больной; 2) полезный для здоровья, ср. *здоровый климат*: каузативная связь следствия из причины; *писать* 1) изображать, передавать речь графически; 2) сочинять; *плавать* 1) передвигаться, держаться в (на) воде; 2) служить на кораблях в плавании; *мазать* 1) покрывать чем-либо жидким; 2) пачкать, загрязнять, покрывая чем-либо жидким; *сидеть* 1) занимать определенную позу; 2) оставаться без дела, ср. *сидеть дома*; 3) отбывать заключение.

Некоторые модели семантического варьирования слов — и прежде всего на импликационной (метонимической) основе — имеют настолько массовый характер, настолько привычны и частотны, что сдвиг значения в силу его заурядности и освоенности автоматизирован и не ощущается говорящими как номинационное усилие. О таких моделях семантического варьирования говорят как о регулярной полисемии. Ср. модели: *населен-*

ный пункт — его жители, ср. *сбежалась вся деревня*; помещение — собравшиеся в нем, ср. *рукоплескал весь зал*; учреждение, организация — их работники, ср. *собрался весь институт*; трудовая операция или иное регулярное действие — место их выполнения, ср. *встретимся на работе*, *отправился на сборку* и т. д.

Разновидностью импликационных связей в семантической структуре слова является конверсивная связь значений. Конверсивными называются взаимообусловленные признаки вещей — аргументов несимметричного отношения, появляющиеся у них только как результат этого отношения. Обычно конверсивные (конверсные) понятия передаются разными грамматическими формами или разными словами (т. е. грамматически или лексически; подробнее о конверсивных отношениях см. ниже), но возможен и семантический способ их выражения, когда они содержатся как разные значения одного слова. Этот случай легко укладывается в импликационный тип (связь взаимообусловленных признаков), но его трудно описать в терминах метонимии. Ср. *печальный* 1) печальный, ср. *на печальные поляны льет печальный свет она* (А. С. Пушкин); 2) опечаленный, ср. *печальная дева*; *живой* 1) живущий; 2) оживляющий, ср. *живая вода, слово, дело*; *глухой* 1) не слышащий, плохо слышащий; 2) не слышимый, плохо слышимый, ср. *глухой ропот*; *лечить* 1) ср. дантист лечит зубы больному; 2) ср. больной лечит зубы у дантиста; *учить* 1) ср. мать учит ребенка счету; 2) ср. ребенок учит счет. То же у прилагательных *грустный, радостный, беспокойный* и других, у глаголов *чинить, красить, шить* и др.

Обратимся теперь ко второму типу концептуальных связей — классификационному. **Классификационные связи** — мыслительный аналог распределения признаков в вещах. Объективной основой классификационных связей понятий и значений являются общности сущностей объективного мира по обнаруживаемым ими признакам. В отличие от импликационных связей в этом случае сущности объективного мира не объединены какими-либо реальными отношениями, связями, зависимостями, взаимодействиями (их наличие или отсутствие несущественно), но обнаруживает известную общность признаков. Связь между двумя сущностями устанавливается в сознании, но отражает не какую-то реальную связь сущностей, а общность присущих им признаков.

Классификационные связи — второй наряду с импликационными связями важнейший универсальный способ организации концептуальных структур сознания. Классификационные связи могут быть двоякого рода — 1) гипер-гипонимические (родо-видовые, категориально-спецификационные, инклюзивно-эксклюзивные) и 2) симилиативные.

Гипо-гиперонимические связи устанавливаются между понятиями разного уровня обобщения. В зависимости от направления связи, т. е. в зависимости от того, какое понятие и, в частности, какое значение многозначного слова берется за отправное, различаются связи специализации

(инклюзивная, родо-видовая) и связь генерализации, обобщения (экслюзивная, видо-родовая). Инклюзивная связь соответствует отношению менее содержательного понятия — гиперонима к более содержательному понятию гипониму, а экслюзивная связь, напротив, — отношению более содержательного понятия к менее содержательному, т. е. гипонима к гиперониму. В плане объемов (экстенсионалов) понятий гипо-гиперонимической связи соответствует отношение более широкого и более узкого понятий. Наконец, в диахроническом (а, точнее сказать, генетическом, динамическом) плане те же соотношения описываются известными терминами «суждение» и «расширение значения».

Гипо-гиперонимические связи широко представлены в семантических структурах как имен вещей, так и имен признаков (свойств и отношений). Из трех терминов «гипо-гиперонимический», «инклюзивно-экслюзивный», «видо-родовой» (связи) предпочтительнее первый, так как третий обычно связывают с соотношением классов вещей, а не признаков, второй же нехорош тем, что способен описывать отношение понятий как по их интенционалам (содержанию), так и экстенционалам (объему). Возможность этого рода связей в семантике имен признаков объясняется тем, что противопоставление *вещь* — *признак* не абсолютно, а относительно. Две сущности осмысливаются как признаки по отношению к какой-то вещи или вещам, но по отношению друг к другу они могут быть осмыслены как две вещи или как вещь и признак. Вырождаясь в вещи, признаки также образуют классы, и в этом смысле класс свойств или отношений может входить в более общий класс свойств или отношений.

Примеры гипо-гиперонимических связей в семантической структуре имен вещей достаточно известны и можно ограничиться немногими. Очень часто в общенародном языке слово выступает как гипероним — имя общего, родового значения, а в подязыках более специальное терминологическое значение, ср. *сопротивление* 1) сопротивление (в общем смысле); 2) *полит.* движение сопротивления; 3) *технич.* сохраняемость, устойчивость; ср. *сопротивление материалов*; 4) электрическое сопротивление и т. п.

Особо надо отметить гипо-гиперонимическое варьирование по линии класс — подкласс с высокой (положительной) — низкой (отрицательной) степенью классообразующего признака. Ср. *погода* 1) погода (любая), 2) хорошая погода, ср. *ожидать у моря погоды*; *здоровье* 1) здоровье вообще, ср. *здоровье всего дорожке*; *качество* 1) качество (любое), 2) высокое качество, ср. *борьба за качество*. То же в словах *случай*, *шанс*, *возможность* и др.

Русскому языку весьма свойственно семантическое варьирование имен животных, когда одно и то же слово имеет значение и животного какого-то вида, и животного определенного пола этого вида, а именно: I. 1) вид животного, 2) самец этого вида; ср. «медведь, тигр, лев, слон, крокодил, муравей» и т. п.; II. 1) вид животного, 2) сам-

ка этого вида; «кошка, коза, свинья, лань, антилопа, щука, стрекоза» и т. п. Напротив, терминам английской зоосемии привативная оппозиция мало свойственна. Вместо двух терминов тут обычно встречаем три: общий термин вида и два термина для каждого пола с эквивалентной оппозицией, ср. *goat* «коза», *he-goat* «козел», *she-goat (nanny-goat)* «коза»; *sheep* «овца», *ram* «баран», *ewe* «овца».

Примеры гипо-гиперонимических связей в семантической структуре признаков слов: *бороться* 1) добиваться чего-нибудь, преодолевая препятствия; 2) схватившись друг с другом, стараться осилить; *судить* 1) высказывать, составить мнение, суждение; 2) рассматривать чье-либо дело в судебном порядке; 3) в спортивных играх следить за соблюдением правил игры и разрешать возникающие споры; *бежать* 1) быстро передвигаться при помощи ног; 2) быстро передвигаться, ср. *ток бежит по проводам*; *хоронить* 1) прятать, 2) хоронить мертвых; *мертвый* 1) лишенный биологической формы движения, совсем или почти утративший активность любого рода, ср. *мертвый язык, сезон, сон, штиль*.

Обратимся к симулятивной классификационной связи. Она имеет место в том случае, когда общая часть не исчерпывает содержания ни одного из концептов: помимо общих семантических признаков, концепты содержат еще различающие их признаки, каждый свои. Это отличает симуляцию от гипо-гиперонимических связей. Кроме того, общая семантическая часть не равна гиперониму сопоставляемых концептов. Это отличает симуляцию от экономических связей: при симулятивной связи концепты не соотносятся как эквонимы.

Симулятивные связи обычно описываются как метафорические. Однако первый термин предпочтительнее, так как в отличие от второго он охватывает содержательные связи и словесных знаков, и понятий, включает собственно метафору и сравнение. Главное же — он сообщает проблеме теоретическую перспективу, помещает семантические связи этого рода в широкий контекст мыслительных связей, указывает их познавательную природу и раскрывает их механизм, не замыкаясь узким планом выразительных средств языка. Поэтому общее понятие об этом роде концептуальных связях лучше обозначать термином *симулятивный*, *симуляция*, а термин *метафорический*, *метафора* — в соответствии с обычной практикой и принятыми определениями. Заметим, что определения метафоры обычно страдают тем, что просто указывают на общность признаков, но этого еще недостаточно: не всякая общность признаков лежит в основе метафоры и — шире — симуляции (см. определение в тексте). Использовать только для частного случая симулятивных связей, а именно — для случаев переименования на симулятивной основе, если при этом какое-то имя не является основным принятым обозначением денотата и отличается от первичного своего значения и основного имени денотата переносностью значения и неполной (ослабленной) номинативностью.

Например, у следующих слов пары значений объединены симилиативной связью: *облако* 1) скопление стгутившихся водяных паров в воздухе; 2) сплошная масса летучих частиц, ср. *облако пыли*; *стена* 1) вертикальная часть здания, сооружения; 2) сплошная ограда; *мягкий* 1) мягкий на ощупь при надавливании; 2) легкий, нежный, приятный на ощупь, вкус, слух, зрительно и т. д., ср. *мягкий свет, звук, климат, погода, движение, характер, сердце* и т. п. Однако метафоры нет. И первые, и вторые словозначения являются привычными именованиями соответствующих денотатов. Ср. со случаями явной метафоры: *детка (крошка)* 1) дитя, младенец; 2) *субст.* милая, любимая (о девушке, женщине); *пустыня* 1) бесплодная песчаная суша; 2) ненаселенное, безлюдное место; *грязь* 1) то, что пачкает; 2) мерзость, пакость, гадость; *впитывать* 1) вбирать влагу; 2) жадно воспринимать; *крутой* 1) крутой (о склоне); 2) с сильно выраженным качеством, ср. *крутой поворот, характер, перемена, меры, яйцо, каша, кипятки*. Симилятивная связь резко выражена; вторые значения явно переносны; значения взаимодействуют, так что в производном (втором) значении отчетливо проявляется исходное (первое). Вторые словозначения не являются основными принятыми именами соответствующих денотатов. Их номинативность, т. е. способность самостоятельно, без помощи контекста и речевой ситуации (вне речевой установки, мотивации) назвать, «представить» соответствующий денотат и актуализировать в сознании соответствующее понятие, ограничена специальными условиями.

Симилятивная связь понятий может быть отражением реальной общности свойств у соответствующих референтов. Сходство восприятия и общность содержания понятий основываются на наличии общих свойств в отражаемых сущностях. Это случай предметно-логической симиляции. Общность содержания понятий может не отражать реальную онтологическую природу референтов, но может быть результатом приписывания референтам некоторых общих свойств. Вместе с тем референты *A* и *B*, даже не обнаруживая какой-либо реальной или приписанной общности, могут в силу особенностей отражающей системы, присущего ей механизма отражения восприниматься сходным образом, производить сходное ощущение. Это случай синестезической симиляции. Связь соответствующих понятий основывается не на общности их содержания, а на сходстве ощущения, восприятия, впечатления, или иначе, сходство понятий обусловлено не природой референтов, а способом их восприятия.

Известно, что оба случая симилятивной связи широко представлены в семантических структурах слов. Примеры предметно-логической симиляции: *костяк* 1) костный каркас тела; 2) остов, основа чего-либо; *обезьяна* 1) человекообразное (животное); 2) кто-либо слепо, глупо подражающий; *вянуть* 1) терять свежесть; 2) стареть, утрачивать молодость; 3) терять желание, энтузиазм; *крайний* 1) *расположенный на краю*; 2) *чрезвычайный, последний в ряду*. Примеры синестезической симиляции: *слепой* 1) не зря-

чий; 2) не замечающий, не воспринимающий, умственно «слепой»; *твердый* 1) прочный; 2) верный, стойкий; *ломать* 1) нарушать целостность физических тел изгибанием, давлением, ударом; 2) подавлять (волю, сопротивление и т. п.); 3) радикально менять что-либо. Ср. также *провал в памяти, светлое воспоминание, живой укор, бойкие речи* и т. д. и т. п.

Синестезические связи концептов устанавливаются посредством механизма вторичных ощущений, т. е. механизма «ощущения ощущений», позволяющего сличать и различать первичные ощущения объективных сущностей. Сходство восприятия онтологически не тождественных признаков, однородность ощущений, включая даже ощущения разными органами чувств, сходство нервных реакций приводят к синестезическому сближению концептов онтологически разнородных сущностей. Примеры этого рода достаточно известны, ср. *грубый материал, голос, вкус, манеры, ошибка, пища, слово, лезть, нарушение, черты лица, работа, подсчет* и т. д.

На синестезической основе сближаются образы простых, внешних, физических действий (явлений) и действий (явлений) сложных, внутренних, умственных и эмоциональных. При этом у имен признаков развиваются более абстрактные значения от более конкретных: *схватывать* 1) начинать крепко держать; 2) понимать; *окружать* 1) заключать в круг; 2) создавать вокруг кого-нибудь какую-нибудь обстановку, устанавливать к кому-нибудь то или иное отношение, ср. *окружать вниманием, заботой*.

Частным случаем синестезических связей является эмотивная симуляция, при которой концепты сближаются по сходству эмоциональной оценки. Содержательная общность двух концептов при этом может быть минимальной. В предметно-логическом (собственно семантическом, денотативном) плане два концепта могут не иметь ничего общего, для сближения их достаточно сходства субъективно-эмоциональной оценки соответствующих референтов (т. е. общего прагматического компонента содержания). Ср. прямые значения слов и их эмотивно-оценочное употребление в сниженной речи: *вишивый, паршивый, законный, мощный, хилый, культурный, железный, жуткий* и т. д. и т. п. Предметно-логическая и эмотивная симуляция нередко дополняют друг друга, как, например, в прямом и оценочном употреблении слов *дикарь, свинья, кобыла, медведь, слон, фашист* и др.

Таковы основные типы содержательных связей словозначений. Ими определяются соотношение и взаимодействие значений многозначного слова и увязывание этих значений в единую смысловую структуру, а также описываются с содержательной стороны пути возникновения у слов новых значений на базе имеющихся. В любом случае содержательной зависимости, импликационной или классификационной, понятия обнаруживают известную общность содержания. Соответственно и пары значений многозначного слова, объединяемые этими связями, обладают общей семантической частью. Однако роль этого общего компонента в структуре

исходного и производного значений различна и зависит от типа содержательной связи. Сравним их по этому признаку.

Для того чтобы в компактной и наглядной форме представить соотношение исходного и производного значений, прибегнем к символизации. Эта простейшая формализация не только придает рассуждениям экономный вид, но имеет эвристическую ценность: интерпретация производных символов проливает новый свет на механизмы семантической деривации.

Договоримся о символах. Значения (точнее — интенционалы значений) будем изображать заглавными буквами, семы — строчными. Если значение и сема — одно и то же понятие, будем изображать их одной и той же буквой, заглавной в первом случае, строчной — во втором. Чтобы различать части интенционала, будем изображать его в виде дроби, помещая внизу гиперсему, вверху — гипосему. Импликациональные признаки помещаем справа от «дроби». В соответствии с имеющейся практикой резервируем x, y, z для обозначения переменных (неопределенных) признаков, r, R — признаков-отношений, знаками плюс и минус отмечаем полярные взаимообусловленные (конверсивные) признаки, символ импликации, — включения в класс (множество). В дальнейшем также используем $k(m)$ для обозначения класса (множества), P, p — признаки вообще, C, c — понятия, M, m — значения, D — вещи, Dnt — денотат, $W(N)$ — слово (имя).

Начнем с импликационной связи значений общего вида (метонимия и синекдоха). В этом случае интенционал исходного значения становится гипосемой производного. Ср. *вечер m1A* — определенная часть суток, $m2$ — вечернее (а) увеселительное мероприятие (б):

вечер $m1A$;

$m2 \frac{a}{b}$ при $a \rightarrow b$.

Фактически гиперсема оказывается переменной, и это обеспечивает множественное варьирование слова в импликационном (метонимическом) поле. Ср. *подари мне этот вечер*, где *вечер m3* вечернее времяпровождение; прохладный вечер ($m4$ погода вечером), и т. д. В целом семантика слова с исходным значением A варьируется в импликационном поле так, что оно может, хотя бы окказионально, выступить с производным значением. Формула $m2 \frac{a}{b}$ при $a = -x$, где x — любой класс, у которого возможны подклассы с конституирующим признаком a . Некоторые из этих значений укрепляются в узусе и регистрируются словарями. Эта возможность реализуется в первую очередь у производных значений, основанных на сильной импликации и отвечающих большой номинативной потребности.

Обычно метонимию определяют как семантический сдвиг, основанный на ассоциации по смежности. Теперь ее можно определить не только по предпосылке сдвига, но и по характеру семантического преобразования:

метонимия — семантическое преобразование, при котором исходное значение импликационно индуцирует гиперсему производного значения, а само составляет его гипосему.

При конверсивной импликации общая часть в двух значениях равна понятию о несимметричном отношении R , обуславливающем в вещах-аргументах этого отношения полярные взаимосвязанные признаки $P+$ у одной и $P-$ у другой. Полярные признаки различают аргументы по их статусу в отношении. Поэтому они составляют гипосемы конверсивных значений, а общая их часть образует их гиперсемы. Так, в конверсивных значениях глагола *торговать*: $m1$ продавать, ср. *торговать конями*; $m2$ покупать, ср. *торговать коней* — отношение торговли составляет их общую гиперсему, а признаком покупающего и продающего — различающие их гипосемы:

$$\begin{array}{l} \text{торговать} \\ m1 \frac{P+}{R}; \\ m2 \frac{P-}{R}. \end{array}$$

При импликационной связи гипосема производного значения перебрасывает мостик к исходному значению. Если она исчезает из значения или утрачивает дифференцирующую роль, то значение обобщается, приравниваясь по содержанию к гиперсеме. Вместе с тем утрачивается связь исходного и производного значений. Ср. *стол* 1) известный предмет мебели; 2) отдел в учреждении, ср. *паспортный стол*. Когда говорят: *вечер состоится в полдень*, то имеют в виду не вечернее увеселительное мероприятие, а просто увеселительное мероприятие.

При гипонимической связи общая семантическая часть двух значений (интенционалов значений) равна одному из них: одно из значений включено в другое на правах гиперсемы, а различающая их часть составляет гипосему одного из значений. Ср. *медведь* $m1A$ — определенный вид в биологической классификации — семейство животного; $m2$ самец (b) этого вида животного (a):

$$\begin{array}{l} \text{медведь } m1A; \\ m2 \frac{b}{a}. \end{array}$$

Обычно метонимию противопоставляют с метафорой и никак не соотносят с гипонимией. Между тем сравнение формул метонимии и гипонимии показывает, что метонимия противостоит именно гипонимии: они различаются ролью общей семантической части в структуре преобразования, в метонимии она составляет гипосему производного значения, а при гипонимии — гиперсему одного из значений.

Наконец, при симилиативной (метафорической) связи значений общая часть — семы импликационала (обычно) и интенционала (реже) исходного значения, которые в производном значении играют роль гипосемы. Что же касается гиперсемы производного значения, то, как и в случае метонимии, ею служит понятие о классе, в котором выделяется подкласс, конституируемый признаком — гипосемой. Ср. *медведь m1*: интенционал — определенный вид животного (*A*), импликационал: мохнатый, косматый (*b*); неуклюжий, увалень (*c*); большой, громоздкий (*d*); медленно соображающий, туподум (*e*); покладистый, добродушный (*f*); лакомка (*g*); косолапый (*h*); сильный (*i*); малообщительный, бирюк (*j*); опасный в гневе (*k*); лежебока (*l*), и т. д. Любой из этих признаков порознь или в той или иной связке может участвовать в образовании производных значений на симилиативной основе. Одни из этих значений стали узуальными, другие — остаются окказиональными или потенциальными: неуклюжий человек, мужчина, неуклюжий большой косолапый мужчина, неуклюжий, большой, добродушный, сильный мужчина и т. д.

Переменной оказывается не только гипосема производных значений, но и их гиперсема. Последнее менее очевидно, но вполне справедливо: слово «медведь» может быть отнесено не только к неуклюжему мужчине, но конситуативно к любому неуклюжему существу. Таким образом, общая формула семантического варьирования слова в симилиативном (метафорическом) поле выглядит так:

$$\text{медведь } m1 \ A - b, c \dots n;$$

$$m2 \ \frac{x}{y},$$

где *x* — любой признак или связка признаков из импликационала или гипосемы исходного значения *m1*, а *y* — понятие о любом классе, в котором выделяется подкласс, конституируемый признаком *x*.

Как видим, сравнительно с метонимией, метафора имеет больший диапазон (свободу) варьирования за счет того, что переменной оказывается не только гипосема, но и гиперсема производного значения. Однако сколько бы широким ни было поле варьирования семантики, оно не вполне беспредельно за счет того, что само имеет вероятностную структуру, определяемую вероятностной мерой импликациональных признаков и степенью номинационной потребности в новом значении. Потенциальные метафорические значения имеют разный шанс реализоваться, и он вновь определяется силой ассоциативной связи и остротой номинативной потребности.

Потенциал семантического варьирования слова в метафорическом и метонимическом полях весьма широк, и это наталкивает на важные выводы об устройстве системы номинативных средств естественного языка. Эта система имеет двухуровневое строение: уровень прямых обозначений, являющихся непосредственной, первичной функцией словесных знаков, и

уровень переносных, производных от прямых обозначений, являющихся вторичной номинативной функцией уже «занятых» слов.

На уровне первичных номинаций естественные языки достаточно жестки и терминологичны (однозначны), связь между понятием и словом сколько можно определена и устойчива. Однако этот уровень не способен удовлетворить все запросы в номинации понятий, оценок и эмоций, в экономном выражении когнитивных и прагматических содержаний. Рост словаря лимитируется объемом памяти. Но недостаточность системы первичных обозначений компенсируется системой вторичных номинаций. Возможности выражения мыслей и оценок при этом неизмеримо возрастают без увеличения числа средств выражения, без количественного роста словаря, но ценой меньшей определенности вторичных значений. Переносные значения значительно зависят от контекста и уточняют свой смысл, вписываясь в логику его связей.

Возьмем в качестве дополнительного примера слово *собака*. В переносных смыслах оно реализует разнообразные импликации из своего прямого значения: верность, преданность; самоотверженность, самоотказ; самоуничтожение, малоценность; скверные условия существования; агрессивность, сварливость, злобность; нечто, вызывающее пренебрежение, презрение, и т. д. Метафоры и сравнения с этим словом реализуют эти признаки то порознь, то в связках, причем далеко не всегда ясен состав этих связок, а следовательно, размыта и сама вторичная семантика слова. Читатель без труда сам подберет примеры.

Если отвлечься от узуальных вторичных значений, то на уровне вторичной номинации у слова как словарной единицы языка, строго говоря, нет определенных значений, а есть правила содержательного варьирования первичного (исходного) значения в трех полях — импликационном (метонимическом), симилиативном (метафорическом) и гипонимическом. Его значения на этом уровне — лишь вероятностные функции концептуальных связей. Возможность вторичных номинаций с размытой семантикой превращает естественный язык в мягкую знаковую систему, в которой связь знака и значения достаточно свободна. Заметим, однако, что наличие каких-то вторичных узуальных значений необходимо для того, чтобы говорящий мог практически усвоить правила содержательного варьирования слов, понимать и порождать вторичные окказиональные значения.

Слово в прямом значении осмысливается по памяти. Слово в переносном значении осмысливается по правилам варьирования прямого значения. Для того чтобы знать, что значит слово в прямом значении, надо помнить его значение. Для того чтобы знать, что значит слово в переносном значении, надо знать его исходное прямое значение, а сверх того знать кое-что о мире, его сущностях, их связях, о закономерностях ассоциирования понятий.

Слово в переносном значении осмысливается по определенному алгоритму. Покажем его действие на примере. Стихотворная строка: *Проклю-*

нет снежные скорлупы трава (И. Кашежева), — очевидно, означает: пробьется сквозь снежную корку трава. Этот смысл выявляется в несколько шагов и допущений. На первом шаге устанавливается достаточный контекст, позволяющий определить предметно-референционную область высказывания. Это позволяет судить о том, какие слова употреблены в прямых значениях (снежные, трава), а какие своими первичными значениями не вписываются в гипотезу о предметной области сообщения (проклонет, скорлупы). На следующем шаге эти последние переосмыслиют: руководствуясь знанием мира, его связей, общими универсальными связями ассоциирования понятий, отбирают из первичных значений подлежащих переосмыслению слов такие семантические признаки, которые отвечают гипотезе о строении предметной области, и эти признаки организуют в структуры — вторичные значения. При этом совокупное содержание прямого значения переосмысливаемого слова, т. е. интенциональные и импликациональные признаки прямого значения, очерчивают границы семантического поиска, а предметно-логические связи вещей и понятий гипотезируемой предметной области указывают направление этого поиска и вынуждают отбирать те семантические признаки, которые логически вписываются в общую картину. Они и составляют содержание и структуру вторичных значений слов в данном контексте.

Понятно, что между уровнями первичной и вторичной номинации, прямых и переносных значений нет резкой картины. Память закрепляет вторичные значения напрямую за словом, минуя алгоритм и правила семантизации из контекста, и продвигает значения в узус, а употребление стабилизирует и фиксирует их содержание. Но эти процессы никак не снимают потребности и различий в двух уровнях системы номинативных средств языка.

Второй уровень необходим для того, чтобы естественные языки могли преодолевать неадекватность номинативной системы потребным задачам выражения. Это — способ выразить трудно выразимое и обозначить то, для чего в норме нет прямого обозначения, причем выразить и обозначить, не увеличивая словарь единиц выражения и их синтаксическую сложность.

Транспозиция семантической стороны слова беспредельно расширяет возможность языкового выражения. Но очевидно и другое — достигается это за счет известной содержательной неопределенности, нестрогости выражения. Значение выражения самого по себе утрачивает четкие границы. Оно страдает референционной расплывчатостью и в значительной мере черпает свой смысл из целого, из речевой ситуации и контекста. Для его осмысления недостаточно усилия памяти и языковой компетенции. Оно приглашает к мобилизации знания, к игре ума и упорядоченному комбинированию смыслов, их отбору и увязке в целостную картину. Если тропы имеют для людей эстетическую ценность, то это потому, что они задают сознанию творческую задачу восполнить недосказанное. Они не просто языковое действие и языковая игра, а знание мира и творческое усилие ума.

2.2. Метафорический потенциал слова и его реализация

В структуре лексического значения слов, если вести речь о когнитивном его аспекте, выделяются две части — интенционал и импликационал (Никитин, 1997. С. 106 и сл.). Интенционал представляет собой структурированное множество семантических признаков (сем), которыми денотат должен располагать, чтобы быть причисленным к данному классу. В этом множестве выделяются признаки родовые (гиперсема интенционала) и видовые (гипосема), в совокупности квалифицирующие денотат как относящийся к некоторому подклассу в рамках ближайшего более широкого класса.

Импликационал также предстает как структурированное множество семантических признаков, но множество открытое, ассоциативно образуемое возможными импликациями из интенционала. Импликациональные признаки не являются строго обязательными для сущностей данного класса, но могут быть помыслены в связи с ним с той или иной мерой вероятности, образуя тем самым информационную ауру слова. Импликационал структурирован за счет взаимосвязей признаков, т. е. за счет их совместной встречаемости, совмещенности в связках, как она отражена в сознании говорящих. Кроме того, импликациональные признаки различаются мерой вероятности, с которой ожидают их совместной встречаемости в связках. Особо информативны, конечно, признаки сильной импликации (речь, понятно, идет об информации в качественном, а не количественном смысле).

При метафорическом переосмыслении слов именно импликациональные признаки в первую очередь, не исключая, впрочем, признаков интенциональных, вовлекаются в перестройку семантики слова. Какая-то часть этих признаков в той или иной комбинации образует содержание дифференциальной части (гипосемы) производного метафорического значения. Что же касается его родовой части (гиперсемы), то она привносится и осмысливается извне — из той новой предметной области, в которую метафора переключает слово сообразно контексту и ситуации речи, а в конечном счете — сообразно замыслу говорящего (Никитин, 1997. С. 224 и сл.).

Импликационал отличается от известного, но аморфного понятия коннотаций тем существенным моментом, что указывает способ своего формирования и тем самым очерчивает свой состав. Объем и содержание этой информационной ауры различны у разных слов, и именно богатство поля импликаций, и в первую очередь сильных импликаций, определяет потенциал возможного метафорического варьирования слов. Равным образом могут различаться состав и объем импликационала у слов-аналогов (корреспондирующих слов) в разных языках (т. е. слов, совпадающих по прямому главному значению), и соответственно различны их тропеические потенциалы. Импликационал слова прямо связан с культурой народа и со-

держательной стороной истории языка и его номинативных единиц. Набор признаков и структура сильного импликационала и как результат — тропический потенциал и направления семантической деривации тесно зависят от характера концепта, составляющего прямое значение слова.

Сходство признаков P_1 и P_2 в денотатах D_1 и D_2 , служащие основанием для возможного переноса имени $N_1(D_1)$ на D_2 и соответствующей метафорической перестройки (сдвига) прямого значения $M(N_1)$, может быть разной природы. На этом различии и строится типология метафор. Сходство может корениться в самих аналогически сравниваемых вещах, и тогда имеем дело с онтологической метафорой двух видов — прямой и структурной. В первом случае признаки $P_1(D_1)$ и $P_2(D_2)$ идентичны (тождественны) в том смысле, что имеют одинаковую физическую природу, ср. *медведь* 1) вид животного — неуклюжего; 2) неуклюжий человек. Во втором случае сходство носит структурный характер, так что признаки P_1 и P_2 , не будучи физически тождественными, играют сходную роль в структуре двух денотатов. Так, сходство между приемом гостей, приемом пищи и приемом информации, схватыванием вещей и схватыванием идей коренится, конечно, не в онтологии признаков самих по себе, а в сходстве их роли в структуре событий, что и позволяет моделировать и описывать одно событие через другое. Любая метафора основана на аналогическом моделировании более сложного для когниции и именования через что-то более простое, наглядное, доступное для понимания и освоенное практически. Но в случае онтологической метафоры в одном, более простом, случае моделируется физическое сходство или даже физическая однородность признаков, а в другом, более сложном и ненаглядном, — моделирование опирается на сходство структурное.

В обоих этих случаях сходство признаков существует в вещах до сравнения и лишь обнаруживается в нем. Отсюда и название — *онтологическая метафора простая прямая и сложная структурная*.

Однако возможно иное положение дел, когда признаки схождения хотя в конечном счете и коренятся субстанционально в сравниваемых сущностях, но онтологически различны и по физической природе, и по структурной роли, а момент схождения возникает лишь при восприятии: своим сближением они обязаны механизмам восприятия или сходству субъективно-оценочного эмоционального переживания денотатов воспринимающим субъектом. Это случаи синестезической и эмотивно-оценочной метафор. Здесь сходство проявляется вне сравниваемых денотатов и порождается не онтологией вещей, а имеет эпистемическую природу — порождается механизмами переработки информации и должно быть отнесено на их счет.

Онтологическую метафору, прямую и структурную, сближает с синестезической (и отличает от эмотивно-оценочной) то, что в каждом случае так или иначе, всякий раз по-своему, стремятся опосредованно, на основе какого-то схождения обозначить и описать объект сравнения (вещь, признак

или событие) по собственным признакам этого объекта. Поэтому эти три вида метафор сводятся в общую категорию когнитивных метафор, и им противостоит метафора эмотивно-оценочная, предполагающая переключение из когнитивного плана сознания в прагматический. В целом, таким образом, имеем следующую типологию метафор по характеру признаков сходства:



Приведем примеры: *обезьяна* 1) как вид животного, 2) кривляка (прямая онтологическая метафора); *бороться* 1) как в «бороться на ковре»; 2) как в «бороться со сном» (онтологическая структурная метафора); *сырой* 1) как в «сырое мясо», 2) как в «сырое решение»; *мягкий* 1) как в «мягкий грунт», 2) как в «мягкий упрек», 3) как в «мягкий характер», 4) как в «мягкие нравы», 5) как в «мягкая вода» и т. д. (синестезические метафоры); *собачий* 1) относящийся к собаке, 2) скверный, очень плохой; *светлый* 1) как в «светлая комната», 2) хороший, как в «светлое будущее» (эмотивно-оценочные метафоры).

Синестезическая метафора заслуживает отнесения, как сказано, к метафорам когнитивного круга, поскольку она представляет собой способ осмысления и именованя того, что наблюдается в описываемом мире, а не того, что отмечается и называется сверх того в прагматических отношениях говорящих к тому, что описывается. Однако своеобразие синестезии настолько велико, что выводит ее из онтологических метафор и в определенном отношении ставит в ряд с эмотивно-оценочной метафорой, так что их можно свести в одну категорию эпистемических метафор.

Переключение из онтологии вещей в эпистемологию субъекта и из когниции в прагматику сопровождается изменением в механизмах метафоры и отражается на метафорическом потенциале слов. У слов с семантикой сенсорных ощущений и с эмотивно-оценочной семантикой метафорический потенциал прирастает за счет возможности сдвига прямого значения на основе сходств по восприятию, эмоциональной реакции и субъективной оценке. Механизм метафоры при этом видоизменяется, поскольку она уже

не базируется на импликациях онтологического плана, а переключает онтологические признаки в иной план — в область их синестезических и эмотивно-оценочных коррелятов.

Любопытно отметить, что синестезическая и в особенности эмотивная метафора, каждая в совокупности своих реализаций, напоминают разнонаправленные воронки со сменой входа и выхода. При синестезии воронка обращена узким входом к достаточно ограниченному числу признаковых слов, описывающих сенсорные признаки, а из широкого раструба воронки «изливается» гораздо большее число их синестезических пересмыслений — метафор, нечетко разграниченных и недостаточно систематизированных в обыденном сознании, более абстрактных по природе и потому качественно более аморфных признаков из области чувственных (соматических) и духовных состояний, психических реакций, переживаний, ощущений и впечатлений более тонкой природы, чем показания базисных чувств.

Напротив, при эмотивно-оценочном сходстве денотатов (вещей и признаков) широкий вход воронки обращен к многочисленному кругу имен, денотаты которых способны вызвать острую эмотивно-оценочную реакцию, а на узком выходе воронки все они сплавляются в ограниченное число метафорических значений — переносных синонимических именовании базисных оценок и эмоций разной меры интенсивности.

Существенно, впрочем, заметить, что метафоры во многих случаях синкретичны: сходство или тождество онтологических признаков дополняется сходством на уровне восприятия и/или переживания соотносимых денотатов. Тем самым, относя метафору к одному из трех типов, мы часто указываем не единственный, а преобладающий тип сходства — по онтологии сущностей, по сходству сенсорного их восприятия, по близости эмотивно-оценочного эффекта, нередко сочетающихся воедино в той или иной пропорции.

Какие факторы обуславливают метафорический потенциал слова? Определяющим является характер сильного импликационала, его объем, содержание, структура (взаимозависимости признаков) и вероятностная мера признаков (сила, яркость ассоциирования признаков). Импликационал концепта-значения очерчивает возможный размах и направления тропеического варьирования слова. Вопрос состоит в том, при каких категориальных особенностях слова можно ожидать развитой характер его импликационала. Как статистическое правило, можно утверждать, что ассоциативное богатство слова и его тропеический потенциал в той или иной мере коррелируют со следующими частично взаимосвязанными категориальными признаками слов: полнозначность и автосемантичность слова vs. служебно-грамматический и синсемантический характер слова, исключение — предлоги; назывной vs. деиктический характер семантики слова; конкретный vs. абстрактный характер семантики слова; индуктивно-

эмпирический (таксономический) vs. дедуктивно-логический (конструктивно-логический) характер значения слова, или, иначе, мера таксономичности слова; когнитивно-прагматическая значимость концепта; частотность концепта-значения. Соответствие этим критериям (первым в паре) позволяет прогнозировать достаточно высокий потенциал тропеического варьирования (при соответственно достаточно богатом импликационале), возрастающий по совокупности левых признаков. Напротив, прогноз снижается, если слово обнаруживает противоположные (вторые в паре) признаки (подробнее см.: Никитин, 1997. С. 95 и сл.).

Заметим, что факторы перечислены не в порядке их значимости для формирования тропеического потенциала, а по принципу последовательного экстенсионального включения: объем категорий последовательно убывает от более широких к более узким, так что каждая вышестоящая категория слов включает в себя как часть нижестоящую (нас, понятно, интересуют прежде всего левые члены оппозитивных пар). Вероятный прогноз величины тропеического потенциала возрастает по мере движения сверху вниз, т. е. наибольший объем сильного импликационала и соответственно наибольшие возможности семантического варьирования следует ожидать у слов частотных (из служебных — у предлогов), прагматически и когнитивно значимых, конкретной семантики, назывных, полнозначных.

Поясним дополнительно значимость этих категорий для тропеического потенциала слов-концептов.

Полнозначность и связанная с ним автосемантичность слова, способность самостоятельно, без помощи других слов актуализировать в сознании и служить именем некой идеи, способность составить эллиптическое предложение и выступить членом предложения, безусловно, свидетельствуют о высоком уровне операционального освоения концепта, его содержательной структуры и функциональных характеристик. Этих качеств нет у служебных синсемантических слов. Они специализированы в той или иной грамматической функции и «полностью поглощены» ею. По этой причине они не способны к автономной номинации связанных с ними идей и если и развивают полисемию, как, например, предлоги, то развивается она не изнутри их, автономно, а из их сочетаний с именами. Назывной характер семантики слов напрямую обращает их к миру, его сущностям на уровне классов и единичного, к их признакам, свойствам и отношениям. В отличие от них деиктические слова лишь опосредованно, через отношение к компонентам в структуре коммуникативного акта «выходят на мир» и отражающие его концепты. Полисемия вырастает в отношениях слова к многообразию мира и его связей, а деиктическое слово лишено возможности прямого выхода в мир и поэтому лишено возможности переосмысления через ассоциативные связи концептов, каждый раз для него разных. Если оно и варьирует семантически, то через дополнительные связи с контекстами и особенности своего употребления.

У слов конкретной семантики больше возможностей метафоризации, чем у слов абстрактных, по самой познавательной природе метафоры как способа освоения абстрактного, более сложного и ненаглядного знания методом аналогического моделирования на основе концептов конкретного.

Особого пояснения требует мера таксономичности слова (подробнее об этом см.: Никитин, 1997. С. 95 и сл.). Анализ понятий о классе обнаруживает, что в них сосуществуют и взаимодействуют два аспекта — индуктивно-эмпирический и дедуктивно-логический, всякое понятие складывается, существует и развивается в постоянном соотношении и согласовании этих двух сторон. Понятие в индуктивно-эмпирическом аспекте возникает в результате индуктивного обобщения. Существование классов принимается заданным, класс постулируется до классификации, и задача состоит в том, чтобы вскрыть признаки, обеспечивающие единство класса. При этом обнаруживается размытость границ между классами, и результатом является индуктивно-эмпирическое понятие о классе с вероятностной структурой (стохастизм) как отражение диалектической вероятностной природы мира. Понятие в этом его аспекте таксономично, своей разветвленной структурой оно вырастает в общую систему знания. Поэтому у понятий в этом их аспекте можно ожидать разветвленную сеть ассоциативных связей.

Но параллельно возможен и осуществляется в соотношении с первым другой подход к классификации (категоризации) вещей — дедуктивно-логический, когда постулируют некоторый признак (или связку признаков) и, подыскивая вещи с этим признаком, образуют дедуктивно-логическое (конструктивно-логическое) понятие о классе жесткой структуры, но с той же предметной отнесенностью.

Всякое понятие обнаруживает две эти стороны и стремится согласовать их по содержанию и объему. Однако у одних превалирует одна сторона, у других — другая и соответственно различна мера таксономичности слов. Индуктивно-эмпирический аспект явно преобладает в именах биологических видов и иных природных объектов. Стохастичность значения подобных слов задана изначально, о составе и границах семантических признаков можно говорить лишь в вероятностном смысле. Можно указать родовой признак класса (гиперсему значения), но нельзя жестко очертить круг дифференциальных признаков (гипосему).

Им противостоит необозримый уже теперь и все возрастающий круг артефактов — классов, в основание которых изначально положен вполне определенный признак — некое назначение, функция, цель, идея, план. Класс создается так, чтобы соответствовать признаку-назначению. В понятиях о таких классах, а равным образом и в значениях их имен превалирует дедуктивно-логический аспект. С артефактами сходны в этом отношении и многие понятия о всякого рода человеческих и аналогичных им установлениях, институтах, категориях, рангах, группировках и т. п., в основе которых достаточно четко прослеживаются конституирующие класс признаки.

Таковы понятия о классах по профессии и роду занятий вообще, родству, статусу в иерархиях, социальному, имущественному положению, интеллектуальным, психическим, физическим и многообразным иным отличительным чертам.

Вряд ли следует ожидать четкого распределения понятий и слов по двум указанным типам структур. Скорее это полярные случаи с промежуточными градациями. Тем не менее различие по мере таксономичности весьма существенно и обуславливает другие важные различия в смысловой структуре и функционировании слов. Таксономичность слова, по-видимому, — наиболее важный среди других фактор, обуславливающий развернутость импликационала как части семантической структуры слова и соответственно определяющий широту его ассоциативных связей и возможности тропеического варьирования. Слова — явные стохастизмы легче «обрастают» многозначностью, обнаруживают более развернутые смысловые структуры, способны иррадиировать многообразные метафорические связи с опорой на развернутую структуру своих импликациональных признаков.

Фактор когнитивно-прагматической значимости концепта-значения еще более важен, чем все предшествующие, и должен пониматься широко как «удельный вес» данного концепта в совокупной духовной деятельности людей, а его денотата — в практической деятельности людей и суммарной культуре народа. Ведущим компонентом здесь является прагматическая значимость концепта, которая является проекцией прагматических свойств денотатов на структуру представлений о них. Прагматическая ценность денотата и концепта, в свою очередь, обуславливает необходимость в должной разработке собственно когнитивной стороны концепта и определяет в конечном счете, насколько прояснена и прорисована содержательная структура концепта, каков объем, содержание и структура его содержательных связей и место в совокупной структуре знания. О когнитивно-прагматической значимости концептов судят интуитивно, но объективную ее оценку, очевидно, дает частотность выражения того или иного концепта в речи с учетом, разумеется, того обстоятельства, что выражаться он может синонимическими средствами разных уровней языковой структуры (словами, словосочетаниями, морфемами и т. д.). Сама по себе частотность, является, конечно, внешним, техническим выявлением значимостных величин.

Таковы общие факторы, в большей или меньшей степени, суммарно или порознь вероятно определяющие потенциальную «расположенность» слова к деривации тропеических значений. В более узком масштабе определенных лексико-семантических групп дополнительно появляются частные факторы, обусловленные субкатегориальной спецификой лексических значений в этих группах. За счет этой специфики деривация возможных метафорических значений получает единообразное направление, как

можно было видеть на примере слов с сенсорной семантикой, регулярно порождающих синестезические метафоры, и слов с ярко выраженным прагматическим компонентом в импликационале, регулярно переключающихся в область метафорических эмотивно-оценочных значений.

У слова нет конечного перечня значений, а есть некое прямое исходное (в синхронном смысле) значение и модели семантической деривации, породившие некоторое число узуальных значений и способных еще породить неконечное число производных значений. Некоторые из них, впрочем, уже могут быть отмечены как образованные *ad hoc*. Эта динамическая структура и есть потенциал семантической вариативности слова, проявляемый в действии. Однако у разных значений, теоретически возможных у слова *in potentia*, разный шанс осуществиться. С этой точки зрения семантико-деривационный потенциал слов представляет собой вероятностную структуру теоретически возможных значений. Есть два момента, прежде других определяющих возможность реализации того или иного значения при данном слове. Это, во-первых, потребность в номинации соответствующего концепта и, во-вторых, сила, яркость ассоциативной связи двух концептов, исходного и переносно обозначаемого (принадлежность к сильному импликационалу исходного словозначения). Совокупное действие этих двух факторов повышает шанс реализации производного значения. Однако сами по себе эти факторы разнородны, они могут действовать как в унисон, подкрепляя друг друга, так и самостоятельно, так что высокая значимость одного может компенсировать малую значимость другого: например, при высокой потребности означить что-либо могут обойтись невысокой семантической мотивировкой переноса имени. Узуальная полисемия, очевидно, больше обязана фактору номинативной потребности — с опорой на стереотипные массовые модели ассоциирования концептов. Нестандартная метафора, в особенности художественно-выразительная (образно-поэтическая), напротив, предполагает более широкий диапазон менее стереотипизированного аналогического ассоциирования и поэтому более зависима от контекста.

Объективировать гипотезы о метафорическом потенциале слов можно, разумеется, только посредством зафиксированных случаев переносного употребления слов на основе аналогического сходства с учетом метафор как узуальных, так и окказионально-разовых. Сумма таких реализаций переводит догадку в факт. В нашу задачу теперь входит систематизировать возможные варианты соотношений между словом в прямом значении как базой метафор и производными от него метафорами, или короче, между прямым словозначением и производными от него метафорами. Такая систематизация, с одной стороны, позволит судить о соотносительной значимости слов как баз порождения метафор, а с другой — позволит взглянуть на проблему со стороны концептов, сопоставив их по способу выражения — прямому или переносному.

В конечном счете все сводится к сопоставлению когнитивно эквивалентных концептов по способу их выражения, прямому или переносному. Сопоставление производится с двух сторон: в одном случае с позиций слова в его прямом значении в направлении поля его значений-derivатов, а в другом — с позиций «чистого» концепта по направлению к полю выражающих его слов независимо, но с учетом способа выражения — прямо-значного (первичная номинация) или переносного, опосредованного прямой номинацией, непрямозначного (вторичная номинация).

В первом случае имеем дело с проблемой аналогической аттракции, аналогическим сгущением ассоциативных связей вокруг концепта — прямого значения слова, с полем тяготения и иррадиации метафорических сближений, образуемым прямозначно обозначенным концептом. Во втором с оборотной стороной той же проблемы — аналогической дисперсией, разбросом концепта по словам с разными прямыми значениями при ассоциативном сближении их денотатов. Иначе говоря, в одном случае устанавливается, что еще может быть обозначено словом с неким прямым значением на основе аналогического сходства денотатов, а во втором случае — как еще может быть выражен данный концепт (или класс близких концептов) за счет аналогического переосмысления и синонимического сближения (синонимизации) слов с разными прямыми значениями.

Представляется, что изложенный подход дает более верную и надежную перспективу исследования когнитивных механизмов метафоры, ее роли и функций в речемыслительных процессах сравнительно с более узким решением этих проблем в получившей известность концепции «когнитивной и языковой метафор» Лакоффа и Джонсона (Lakoff and Johnson, 1980), ср. понятие «прототипной метафоры» у М. Н. Лапшиной (Лапшина, 1998).

Каким же образом с изложенных нами позиций систематизируются двусторонние аналогические связи концептов относительно характера их выражения — прямого и переносного?

С самого начала следует ожидать различия в метафоризации предметных и предикатных слов (имен и предикатов). Денотаты предметных слов обладают многими признаками, которые порознь или в связке могут служить основанием аналогического сравнения, и соответственно возможна метафоризация имени по разным линиям, одной или несколькими. Что касается собственно предикатных слов, то тут не может не сказаться своеобразие признаков семантики, и возможность метафоризации обставлена у них дополнительными условиями. Легко и множественно, по разным направлениям, как мы видели, метафоризируются признаковые слова сенсорной семантики (синестезические метафоры). Напротив, признаковые слова с первичной эмотивно-оценочной семантикой в силу этого не метафоризируются, а сами пополняют свой состав за счет переосмысления когнитивно (денотативно) значимых слов, так что метафоризация направлена к ним, а не от них.

Что же касается прочих разрядов слов с признаковой семантикой, то у них, как, например, у качественных прилагательных (так называемых первородных признаковых слов) метафоризация вполне возможна и может идти по разным линиям аналогического ассоциирования признаков, но не напрямую от первичного прямого значения, а от сочетаний признаковых слов с субстантивными и на промежуточной основе метонимических сдвигов (см.: Никитин, 1997. С. 257, 279 и сл.; см. также Резанова, 1986; Агеева, 1990; Варламов, 1995; Кононова, 1998).

Вначале рассмотрим предметные (vs. признаковые) метафоры, т. е. аналогические сближения двух предметных денотатов $D1$ и $D2$, в результате которого прямое имя $N(D1)$ становится также метафорическим именем $D2$. Затем займемся признаковыми метафорами, когда признаковое слово $N1(P1)$ становится метафорическим именем признака $P2$.

Для последующего изложения важно заметить два момента, вытекающих из того, что было сказано выше: уподобляются не только вещи по их признакам, одному или многим, но могут сравниваться, отождествляться или уподобляться и сами признаки, так что в основании уподобления вещей могут лежать как признаки тождественные, так и только подобные. Заметим еще, что сравнение — понятие более широкое, чем уподобление (аналогия). Результатом сравнения может быть классификация, если основание сравнения лежит в области родовой части (гиперсемы) понятий (значений), а может быть аналогия (уподобление), если признаки сходства находятся за пределами интенционала понятий (значений), т. е. за пределами классов-образующих признаков (подробнее об этом см.: Никитин. С. 1).

В случае предметных метафор основание сходства может варьировать от одного признака P до многих $P1, P2 \dots Pn$. Чем больше признаков входит в основание сравнения, тем выше моделирующее качество метафоры. Например, метафорический перенос «соловья» на сладкоголосого певца основан практически на одном признаке качества пения. У другого зоонима «заяц» при переосмыслении в *безбилетного пассажира* база сравнения шире и включает такие признаки, как опасливость, настороженность, суетливость. Еще шире эта база у зоонима «медведь», допускающего переосмысление по разным комбинациям таких стереотипных ассоциаций, как *неуклюжесть, громоздкость, туповатость, косолопость, пристрастие к меду* и др. Домашние животные тесно контактируют с человеком и поэтому связываются с широким полем ассоциаций, иногда специализированных, а иногда многообразных. Так, с собаками связаны представления не только многочисленные, но и разнородные, такие, как *верность, преданность, самоотверженность, сервильность, агрессивность, сварливость, скверные условия существования, малоценность, униженность* и др. Эти признаки в разных связках обнаруживают себя во множестве речений на тему «четвероногого друга».

Таким образом, моделирующий потенциал предметных метафор размещается в диапазоне от одного до многих признаков, служащих основанием уподобления денотатов и переноса имени с денотата — базы аналогического сравнения на денотат — объект сравнения. Об этих крайних случаях можно говорить как об однопризнаковых и многопризнаковых предметных метафорах.

До сих пор речь шла о метафорах с одним объектом сравнения — однопредметных метафорах с разным потенциалом моделирования одного объекта (одно- и многопризнаковых). Но, как известно, возможно и другое положение вещей — радиальная многопредметная метафора, когда денотат $D(N)$ своими признаками или связками признаков служит базой уподобления не одному, а многим разным денотатам. При этом количество признаков-оснований сравнения может варьировать от одного до многих, а сами признаки могут быть как различными для разных денотатов-объектов сравнения, так и одинаковыми (тождественными или подобными). Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания в теории метафоры, и объяснение его надо искать в специфике аналогии как мыслительной операции, лежащей в основе метафоры: аналогия менее строга и более свободна по сравнению с классификацией, так как опирается не на интенционал (гиперсеми) понятия-значения, а на признаки из его импликационной ауры.

Ср. англ. *arm* 1) рука; 2) передняя лапа; 3) рукав; 4) рукав реки, узкий залив; 5) плечо рычага; 6) спица колеса; 7) стрела крана, крыло семафора; 8) ножка циркуля; *coat* 1) пиджак, пальто; 2) мех, шерсть, шкура, оперение; 3) оболочка, плева; 4) покров, слой; 5) грунт; в) обшивка и др.; *eye* 1) глаз; 2) глазок для наблюдения; 3) ушко иголки; 4) петелька; 5) колечко для прикрепления чего-либо; 6) глазок в сыре.

Все эти разновидности предметных метафор с разной мерой моделированности объектов сравнения логически упорядочиваются следующим образом: узуальные реализации предметных метафор могут быть однопредметными и многопредметными (радиальными) и каждая из них может быть однопризнаковой или многопризнаковой. Отсюда следует важное обобщение: метафорический потенциал слова расщепляется на два аспекта: 1) объем (количество) денотатов, метафорически описываемых в узусе посредством данного слова (однопредметность или многопредметность метафорических переосмыслений), или короче: объем метафорического моделирования посредством данного слова, и 2) глубина метафорического моделирования (однопризнаковость или многопризнаковость предметных метафор).

Теперь в интересующем нас сочетаемостно-семантическом плане рассмотрим признаковые метафоры — метафоры с семантикой признака. Как уже было указано, метафоризация и шире — тропеизация признаковых слов совершается не напрямую от идеи прямозначно выраженного призна-

ка, а от признака в связке с типовыми денотатами, которым свойствен этот признак. Фоновое присутствие этих денотатов определяет направления тропеизации признаков слов. В сочетаемостно-семантическом аспекте признаковой метафоры обращают на себя внимание два момента: источники метафорического выражения какого-то одного признака у разных денотатов и источники метафорического выражения разных признаков одного денотата. В первом случае отмечаем следующее: поиск и отбор метафорических средств выражения какого-либо одного признака, идентичного у разных денотатов, совершается из разных источников за счет метафоризации признаков слов с разной исходной семантикой. Это означает, что обнаруживается некий круг различных прямозначно выраженных признаков и соответственно прямозначно выражающих их признаков слов (широкий раструб воронки), которые в результате переосмысления стягиваются в синонимическую или по меньшей мере в семантически близкую группу слов, объединенных вокруг общего родового понятия (узкий выход воронки). Иными словами, разные признаковые слова, называющие прямыми своими значениями разнородные признаки, в результате метафоризации способны конвергировать и обозначить единый признак при том условии, что в их импликационалах имеются общие семы. При этом семантические различия прямозначных предикатов при переосмыслении нивелируются и сплавляются в одно общее переносное (когда-то!) значение, варьируясь преимущественно по линии меры, количества, интенсивности, прагматической оценки признака и т. п. Ср. *время идет, течет, летит; время идет, бежит, тянется*.

Затем это новое значение распространяется на другие денотаты с этим признаком: идет война, заседание, переоценка (ценностей) и т. д. и т. п. («идет» — здесь осуществляется, совершается, имеет место). В целом в этом процессе интерес представляет не только круг прямозначно выраженных признаков и соответствующих признаков слов, не только их производные метафорические смыслы и модели их деривации, но важно принять во внимание также круг денотатов, нетождественные признаки которых подверглись однозначному (или близкочисленному) переосмыслению. Наконец, интерес представляет, как сказано, круг денотатов метафорически обозначенного признака, т. е. распределение по денотатам внутри образованного переосмыслением синонимического ряда — распределение, сохраняющее следы различий в производящих признаковых значениях:

(человек etc.) *идет* — *идет* (время);

(поток etc.) *течет* — *течет* (время).

Во-вторых, поиск и отбор метафорических средств описания одного денотата с разных сторон, т. е. описания денотата по разным его признакам, также совершается из разных источников. Ср. *мысли зреют, текут, сбиваются, разбегаются, проникают (в самую суть)* и т. д. и т. п.:

(плод) *зреет* — *зреет* (мысль);

(поток) течет — течет (мысль);

(человек) сбивается с пути — сбивается (мысль).

Разумеется, из этих источников — баз сравнения — одни поставляют меньше, другие больше непрямозначных переосмысленных предикатов для описания денотата — объекта сравнения. Хорошо известно широкое использование человека в качестве меры всех вещей с метафорическим переносом антропоморфных признаков во многие предметные области. Здесь мы имеем дело с моделирующим потенциалом слов, который, как уже было сказано, весьма различен у прямозначных слов разной семантики. Однако принципиально важно то, что в фокусе внимания при метафоризации находится не денотат — средство описания, а денотат — объект описания. Его признаки могут быть многообразными, и для адекватной их репрезентации трудно или невозможно обойтись единственным источником аналогий.

Важно, таким образом, усвоить ту мысль, что импульс и направление поиска и отбора метафорических характеристик денотата подаются отнюдь не базой сравнения (тем, с чем сравнивают). Импульс и направление задаются именно объектом сравнения (тем, что сравнивают), тем концептом этого объекта, его образом и пониманием, которые с той или иной мерой четкости, в тех или иных формах репрезентации сложились в сознании на деятельностной основе. Этот концепт предшествует и направляет, контролирует и оценивает отбор словесных средств своего выражения. Опережающее формирование этого концепта на деятельностной основе оберегает нас от иллюзорной экспансии метафор, кладет предел аналогическому уподоблению и гарантирует познавательную ценность метаязыка.


Увы, современная наука дает массу примеров обольщения метафорой, гипноза языковой формы, когда в метафоре видят не столько средство переключения из одной предметной области в другую (только средство разрушения границ и контаминации предметных областей, когда расширяют буквальный смысл метафоры и подчиняют ей видение объекта вопреки деятельностно обусловленному представлению о нем. Концепт порождается не метафорой, а деятельностью. В познавательном процессе метафора не генерирует понятия и представления, а служит повивальной бабкой, помогая им выйти на свет из сумерек сознания.

Именно этот недостаток свойствен концепции языковых и концептуальных метафор Лакоффа и Джонсона (Лакофф и Джонсон, 1980), которая получила широкую известность и затем безоговорочно была подхвачена многими исследователями. В этой концепции в метафорическом процессе приоритет отдан базе сравнения, в результате чего упускается из виду множественность и разнородность признаков объекта сравнения и, как следствие, множественность возможных баз сравнения для совокупного метафорического описания его признаков. Итогом является пе-

реоценка исключительной роли какой-то одной базы сравнения. Этой ошибке способствовал отчасти отбор примеров, на анализе которых строится концепция Лакоффа и Джонсона. В частности, авторы не заметили того обстоятельства, что широкая возможность метафорического моделирования концепта «спор» посредством предикатов концепта «война» в большой степени обусловлена их общей родовой принадлежностью к конфликтам.

Как мы указывали, моделирующий потенциал метафорического описания каких-то денотатов различен для разных слов, и с этой стороны концепция Лакоффа и Джонсона должна быть поддержана при том, однако, условии, что приоритетна позиция объекта сравнения с многообразными признаками. Эти признаки невозможно описать в рамках одной базы сравнения. Поэтому она по необходимости не полна и не единственна.

Подводя общий итог, можно выразить надежду, что изложенный в этой статье подход, во-первых, позволяет уточнить представления о метафорическом и моделирующем потенциале слов и формирующих его факторах, во-вторых, должным образом акцентирует сочетаемостно-семантический аспект процессов метафоризации, до сих пор не привлекавший достаточного внимания, и, в-третьих, позволяет прояснить соотношения и зависимости между денотатами и признаками, с одной стороны, и их прямозначным и метафорическим представлением — с другой.

 *Агеева Н. Г.* Типология и механизмы глагольной метонимии в современном английском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1990.

Варламов М. В. Типологические особенности метафоры в сопоставлении с глагольной и субстантивной форой: Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1995.

Кононова И. В. Метафорическое варьирование семантики английского глагола: Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1998.

Липшица М. Н. Семантическая эволюция английского слова. СПб., 1998.

Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1986.

Резанова Н. И. Метонимическое варьирование английских прилагательных: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1997.

Lakoff G., Johnson M. *Metaphors we live by.* Chicago; London, 1980.

2.3. Метафора лексическая и грамматическая

Есть общее и специфическое в механизмах метафоризации слов разных лексико-грамматических разрядов. Общий принцип метафорической деривации словозначений состоит в том, что когнитивный механизм метафорической перестройки (сдвига) затрагивает не только и не столько устойчивое ядро исходного значения, его интенционал, сколько прежде всего и более всего окружающую это ядро содержательную ауру, его импликационал — структурированное множество семантических признаков, импликационно связываемых с ядром значения. Именно признаки из этого

множества, наряду с признаками интенциональными, прежде всего вовлекаются в процесс метафорического переосмысления слова и составляют в разнообразных комбинациях содержание дифференциальной части производного метафорического значения, его гипосемы (Никитин, 1997. С. 224 и сл.).

Что же касается родовой части производного значения, его гиперсемы, то она привносится и осмысливается извне — из той предметной области, в которую метафора переключает слово сообразно контексту и ситуации речи.

К примеру, «дремота» в прямом своем смысле обозначает сонливое (полусонное — «клонит в сон») психофизиологическое состояние (интенционал значения с гиперсемой «психофизиологическое состояние» и гипосемой «сонливое»). В импликациях этого концепта, образующих его информационный ореол (импликационное значение), содержатся признаки неподвижности, спокойствия, безмолвия, расслабленности и т. п. При переходе в другую предметную область, — что составляет непереносимое условие метафоры, — например, в область состояния некой физической среды, воздушной, водной и др., именно эти признаки в различных комбинациях входят в метафорическое значение этого слова, составляя его гипосему, ср. *своей дремоты превозмочь не хочет воздух* (А. С. Пушкин), где *дремота* — неподвижное, безветренное, «расслабленное» (гипосема) состояние атмосферы (гиперсема). Ср. также *воды дремлют, дремлет чуткий камыш* и т. п. («дремать» — находиться (= испытывать) в полусонном психофизическом состоянии > находиться в состоянии физического покоя).

Таков общий принцип. Но механизм метафоризации и тропеизации вообще обнаруживает определенную специфику, видоизменяясь у предикатных слов сравнительно с предметными. Противопоставление предикатное vs. предметное слово не следует смешивать с разграничением признаковое vs. вещное (субстантивное) слово. Дело в том, что первая пара понятий отражает онтологический, а вторая — эпистемический аспект той наивной (обыденной) философии так называемого здравого смысла, которая лежит в основании строения естественных языков (при том, понятно, условии, что они рассматриваются не со стороны их формы, а со стороны содержания, со стороны выражаемых ими значений). Философия здравого смысла, не будучи, отнюдь, вполне справедливой, твердо держится того убеждения, что в онтологии мира первично не явление (событие, действие, воздействие, взаимодействие, процесс, состояние, связка вещь и ее признаки), а предмет как физическое тело с пространственной границей и различные комбинации таких предметов, образующие сложное целое. У предметов далее при их рассмотрении обнаруживаются признаки, сходные и различные, они взаимодействуют, вступают в комбинации и обнаруживают динамику, т. е. изменяются во времени и пространстве. Однако

в любом случае признаки предметов, их свойства и отношения вторичны и являются результатом абстракции, отвлечения от них. Сами по себе, вне предметов, они как будто не существуют. Признаки, таким образом, описывают вещи по линиям сходств и различий.

Раз встав на такую точку зрения, далее приходится признать, что сами признаки, в свою очередь, могут обнаруживать признаки второго и последующих порядков, каждый раз, правда, числом все меньше. На этой основе возникает противопоставление вещи и признака как относительных эпистемических категорий, где все зависит от вектора рассмотрения: всякая сущность может предстать умственному взору как вещь или признак в зависимости от того, приписываются ли ей какие-то признаки, или, напротив, она сама описывает что-либо, ибо вещь в этой философии мира есть то, что имеет признаки, а признаки — то, что есть у вещей, то, что в чем вещи сходны и различны. Одни только физические тела и их комбинации предстают исключительно как вещи.

Нетрудно заметить, что в основание грамматики частей речи положено не онтологическое противопоставление предмета и признака (физического тела и его свойств и отношений), а эпистемическое разграничение вещи как предмета мысли и признаков как всего того, что относится к описанию предмета мысли. Существительное своей формой представляет любую сущность, будь то физическое тело или признак, как эпистемическую вещь, о которой что-то может быть высказано. Все остальные части речи синтаксически специализированы в признаковой функции: их форма указывает на то, что они предназначены описывать денотаты других слов.

Таким образом, вещными, или субстантивными, словами являются те слова, которые представляют свой денотат как эпистемическую вещь, как нечто, чему могут быть приписаны какие-то признаки (свойства и отношения). Своей формой они предопределяют возможность сделать денотат предметом мысли, указать его признаки и высказаться о нем. Напротив, признаковые слова не только обозначают признаки, но еще синтаксически специализированы в признаковой функции: своей формой они указывают предуготованность служить описанию чего-то другого.

Предикат — понятие, перенесенное в лингвистику из логики отношений, и по первоначальному замыслу в нем полагалось видеть некую одностороннюю идеальную сущность, не признаковое слово, а чистую идею выражаемого признака, прежде всего отношения, в отвлечении от признаковой или вещной функции обозначающего его слова. Иными словами, под предикатом следовало понимать выраженную мысль об онтологическом признаке в отвлечении, однако, от конкретного ее выражения. По способу выражения предикат способен к транспозиции: он не замыкается рамками не только признаковых слов, но и знаменательных слов, т. е. может быть и глаголом (прилагательным, наречием), и существительным,

знаменательным и служебным словом. Предикаты в таком понимании противопоставлены именам в узком смысле термина — обозначениям онтологических вещей и образуемых ими структур.

Кроме того, предикат нередко составляет только часть семантики признакового слова по той причине, что в структуре словозначения идея предиката может осложниться другими семами.

Поскольку лингвисты, в отличие от логиков, чистой идее предпочитают нечто более осязаемое, а именно — материально выражающее ее слово, то под предикатом стали понимать слова со значением онтологического признака в отвлечении от признаковой или вещной эпистемической функции (прежде всего глаголы, затем прилагательные, наречия и служебные слова наряду с их транспозитивными формами — прежде всего существительными). На практике же понятие предиката по объему и содержанию часто приравнивают признаковому слову.

После этих замечаний понятна необходимость в дополнительной паре терминов — предикатные и предметные слова. Предикатное слово — более широкое понятие, чем признаковое слово, поскольку предикатные слова, выводя признак на онтологический уровень, подключают в свой состав в дополнение к признаковым словам их субстантивные и иные транспозиции (ср. предикаты разных уровней производности у Ю. С. Степанова (Степанов, 1981)). Вместе с тем предметные слова — понятие более узкое, чем вещное (субстантивное) слово, это имена физических предметов — тел и их комбинаций, того, что имеет признаки, но прямо не является признаком чего-либо, а разве что опосредованно через признак-отношение к другому денотату. Относясь к онтологическому уровню естественно-языковой философии мира, предметные имена составляют лишь прототипическую часть эпистемических вещей.

Сказанное выше имеет то отношение к нашей теме, что специфику в механизмах метафоризации слов разных лексико-семантических разрядов следует искать не на эпистемическом уровне различий вещных и признаковых слов, а на онтологическом уровне различий между именами и предикатами, т. е. в противопоставлении слов предметных и предикатных. Здесь проходит первая и наиболее заметная граница, и обусловлена она тем принципиальным различием, которое житейская философия мира усматривает между первичным уровнем существования — объектами-телами, обладающими признаками, но сами признаками не являющимися, — и вторичным уровнем существования — признаками, умственно отвлекаемыми от тел, но самостоятельно, вне тел, не существующими. Субстантивная транспозиция признаковой идеи в эпистемическую вещь не в состоянии принципиально изменить ее онтологической природы, поэтому и в позиции актанта для предикатных слов остается в силе своеобразие механизмов метафоризации, обусловленное изначально их признаковой онтологией.

Это уточнение необходимо, чтобы очертить объем признаковой метафоры, границы, в пределах которых проявляется ее отличие от метафоры предметной. Однако транспозитивные формы вторичны по отношению к признаковым словам, и в конкретном анализе особенностей признакового тропеизма достаточно опираться именно на признаковое слово, поскольку оно, так сказать, дважды признаково: по определению признаковое слово соединяет в своей форме признаковую семантику с признаковой функцией.

Но в чем состоит специфика признаковой метафоры, чем она обусловлена и в чем проявляется?

Изначально она обусловлена, понятно, теми особенностями признаковой семантики, о которых сказано выше и которые отличают ее от предметной семантики. Не существуя самостоятельно, вне вещей, понятие о признаке не самодостаточно: за его тканью просвечивают предметы, от которых он отвлечен. Поскольку один и тот же признак обнаруживается у вещей разных классов, признаковая метафора возникает отнюдь не напрямую от признакового значения как его трансформация по некой деривационной модели, а косвенно предполагает и проявляет ассоциативные связи этого признака с определенными классами предметов, у которых этот признак обнаруживается. Это особенно наглядно демонстрирует признаковая метонимия, но таков же и механизм признаковой метафоры (Никитин, 1997).

Справедливость этого положения была подтверждена в серии работ по признаковому тропеизму, выполненных под руководством автора (см. Агеева, 1990; Резанова, 1986; Варламов, 1995; Кононова, 1998).

Например, метонимическое значение *незрелый, неспелый* у английского прилагательного *green* обязано вероятностной импликации не напрямую от зеленого вообще, а от зеленых яблок (ягод и т. п.), при том что есть масса зеленых предметов, не связанных с идеей незрелого. Развертывая импликации от других подклассов зеленого, то же прилагательное обрастает иными метонимическими значениями: *нездоровый* (применительно к цвету лица), *находящийся в стадии роста, расцвета* (о растительности), *свежий* = не подвергшийся обработке (об овощах и фруктах), *свежий* = недавний, нестарый (например, о ране) и т. д.

На той же основе имплицитно атрибутированного признака, в неявной привязке к определенным классам вещей, но уже следуя ассоциациям сходства, подобия, возникают признаковые метафоры, когда признак, (если о нем судить по исходному прямому значению слова) переключается во внеположенные ему предметные области и соответственно переосмысливается путем аналогического моделирования. Ср. у того же прилагательного: *green* — комбинаторика импликациональных признаков и аналогическое переключение предметных областей порождает метафорические значения:

1) «завистливый» (< позеленевший от зависти); 2) «полный сил, энергии, здоровья», как в а *green old age* (< зеленый → сочный → в стадии расцвета); 3) «неопытный, несведущий, мало знающий, не достигший умственной зрелости» (< зеленый → находящийся в ранней стадии развития, но не достигший должного качества). И импликации, и аналогии, как можно видеть на этих примерах, изначально опираются на типовые связки признака с разными предметами: *зеленый* — лицо, *зеленый* — растительность, *зеленый* — плод и т. п.

Обратимся теперь к сочетаемостному аспекту метафоры. В контекстах метафорическое слово не только выражает некую идею свойственным ему особым, непрямым способом, но выражает ее, как правило, в сочетании с другими словами и соответственно как часть какой-то более сложной мысли в составе синтаксической структуры. В самом общем плане, если ограничиться для начала двучленными подчинительными словосочетаниями, тут возможны два случая: 1) одно из слов — метафора, другое — прямое обозначение, причем, в свою очередь, метафора может быть в этом сочетании либо именем вещи, либо именем признака этой вещи; 2) оба слова метафоричны.

Переосмысление слов не влияет на формальную организацию синтаксической единицы: она сохраняет ту схему формальных валентностей, которая продиктована изначальным прямозначным употреблением, синтаксические валентности остаются на дотропеическом уровне. Нет большой необходимости, но все же лучше условиться о терминах для обозначения тех компонентов, взаимодействие которых образует структуру синтаксической метафоры. Синтаксическая структура, как и всякий знак, билатеральна, в ней есть форма и значение. Соответственно есть формальная синтаксическая структура, которая постоянна притом, что имеет разные значения с разной содержательной структурой.

Структура содержит синтаксические позиции, которые она открывает для нормативного заполнения словами, денотаты которых способны выступать в роли соответствующих аргументов при предикатах. Ненормативное заполнение позиций способно при определенных условиях создавать специальные содержательные эффекты (значения), в том числе метафорического плана.

Структура с незаполненными позициями тем не менее связана с определенным кругом кодифицированных, узואльно закрепленных за ней значений — обобщенных абстрактных схем, которые тем не менее реально существуют в сознании носителей языка как модель для выражения определенных типов отношений между аргументами. Соответственно говорим о заполненных и незаполненных структурах. Кодифицированные обобщенные значения структур — это их прямые (буквальные, первичные) значения. Возможные иные значения структур, независимо от способа их

индуцирования, называем вторичными. Если же механизм их проявления — аналогическое моделирование, то они обозначаются как вторичные метафорические.

Когда какая-то единица употреблена во вторичном значении, то об этом значении говорим как о реальном значении (для данного случая употребления единицы). При этом, однако, первичное значение составляет фон такого употребления лексической или синтаксической единицы и служит вместе с предметным контекстом (предметной областью сообщения) источником формирования и моделирования вторичного значения.

Ныне достаточно осознано, что категоризация аргументов (иначе — семантических падежей, ролей, актантов, партиципантов) и предикатов в семантическом синтаксисе имеет смысл только применительно к прямо-значному описанию ситуаций, к употреблению слов в прямых значениях и, более того, применительно к описанию мира на простейшем уровне наглядных физических действий, процессов, состояний, событий и ситуаций — применительно, так сказать, к прототипическому миру сознания. Аппарат семантического синтаксиса мало пригоден для того, чтобы в его терминах определять классы метафорически обозначенных аргументов и предикатов. И дело тут в том, что переключение предметных областей в метафорическом речемыслительном процессе есть переключение из областей мыслительно простых, наглядных и освоенных, категориально разработанных в области более сложные для понимания, ненаглядные для восприятия, с иной, неясной категоризацией, постигаемой не прямо, а аналогически.

В самом деле, что за актанты «лес» и «дремота» и каков семантический класс предиката «страхнуть» в таком примере «лес страхнул с себя дремоту»? Приемлемо ли в них видеть: лес — агент, дремота — объект (или пациенс), страхнуть — волевое воздействие, т. е. толковать их аналогично прямозначному выражению «слуга страхнул пыль с сюртука»? Ведь прямой смысл нашего примера не более и не менее как «лес зашевелился = что-то заставило лес зашевелиться», а это значит, что в денотате этой фразы нет ни выраженного агента, ни волевого воздействия, но есть объект в позиции агента.

Эти рассуждения приводят нас к важной идее — идее грамматической (синтаксической) метафоры. Всякая метафора, и лексическая, и грамматическая, выявляется в соотношении ее реального смысла в прямозначном выражении с особым способом его представления — непрямым аналогическим (симилятивным). Система номинативных средств языка, представляющая собой структурированный инвентарь средств именования идей, имеет в естественных языках двухуровневое строение: 1) уровень прямых обозначений, принимаемый за начальную норму обозначения и возникающий в результате первичного распределения и закрепления именований за идеями (означаемыми), и 2) уровень переносных именований (уровень

вторичной номинации), возникающий посредством моделированной деривации от прямых обозначений.

(Но номинативными единицами являются не только слова-лексемы, но и синтаксические единицы, включая предикативные, с тем различием, что первые обозначают денотаты сами по себе, а вторые обозначают не разрозненные денотаты из «инвентарного перечня», а так называемые положения дел, события, ситуации, явления — денотаты в проявлениях и отношениях. Сверх значений входящих в нее слов синтаксическая структура имеет еще обобщенное синтаксическое значение — типовую модель с позициями, связывающую аргументы через предикат в целостную структуру. Заполняя позиции в этой структуре, имена наделяются дополнительно синтаксическими значениями соответственно роли их денотатов.)

Синтаксические структуры, подобно лексемам, сплошь и рядом многозначны, и эта их синтаксическая полисемия структурирована, хотя, впрочем, еще менее четко, чем лексическая. Так или иначе, в ней различимы значения первичные и вторичные, даже если речь идет только о значениях узуально кодифицированных. Например, первичным обобщенным значением синтаксической структуры: существительное в именительном падеже + переходный глагол в действительном залоге + существительное в винительном падеже (в русском языке), — надо, по-видимому, считать отношение волевого физического воздействия агента на объект. Другие же многообразные формулы значений этой формальной структуры представляют собой последующие расширения этой исходной идеи, в разной степени отдаляющиеся от нее, вплоть до перехода полисемии в эврисемию, когда за общностью формы не стоит ничего общего в значениях и за ней остается только дифференциальная функция — отличить эту структуру по форме от других.

При всей обобщенности и абстрактности означаемого синтаксических структур их значение хорошо осознается говорящими и является объективным фактом их речемыслительной деятельности. Наглядное подтверждение этому находим в случаях намеренного осмысленного нарушения схем формально-синтаксической валентности для создания содержательных эффектов посредством наложения (контаминации) таких схем одна на другую. Речь идет о случаях вроде «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Здесь, вопреки лексическому наполнению, требующему семантико-синтаксическую модель совместного отношения с контрагентом « X ужинает/танцует с $У$ », предложена модель волевого воздействия X на $У$ с импликациями подчинения $У$ воле X . Конфликт двух формул разрешается естественно в пользу той, что выражена эксплицитно, хотя и не нормативно: модель проявляет и навязывает свое значение.

Существенно, однако, то, что, помимо и в явное отличие от положенного ей диапазона узуальных значений, синтаксическая структура может

быть при определенных условиях нагружена иным несвойственным ей значением, вторгающимся в область прямозначных узуальных значений других формальных структур. Этим условием является намеренное ненормативное заполнение позиций в структуре для достижения определенных содержательных целей. Результатом взаимодействия кодифицированного значения структуры с несвойственным ей лексическим наполнением является грамматическая (синтаксическая) метафора.)

Метафора, как и иные тропы, проявляет себя как совокупность целого ряда взаимозависимых сторон, образуемых разными отношениями метафорического слова, и прежде всего: 1) его отношением к денотату (номинативный, или ономаσιологический, аспект, аспект вторичной номинации); 2) отношением метафорического значения к прямому словозначению (семасиологический аспект, аспект семантической деривации); 3) отношением к другим словам в синтагматике (сочетаемостный аспект, синтагматика тропа); 4) функциональными отношениями метафоры в когнитивном, прагматическом и стилистическом аспектах.

Сочетаемостный (а точнее, семантико-сочетаемостный, или комбинационно-семантический; см.: Никитин, 1983), аспект, хотя он меньше привлекал внимание, не менее важен, чем другие, так как реальное значение тропа сигнализируется и формируется не только в соотношении с денотатом и его прямозначными обозначениями, но и в соотношении с его окружением в синтаксисе. Кроме того, все эти аспекты взаимозависимы.

Для наших целей, однако, достаточно указать на то, что понятие синтаксической метафоры не равнозначно сочетаемостному аспекту лексической метафоры. Лексическая метафора, вторгаясь в ткань синтаксической структуры, специфична (ненормативна) относительно первичного значения слова и по способу обозначения денотата (непрямому), и по семантической сочетаемости. Это справедливо и для случаев синтаксической метафоры, так как она обязательно предполагает наличие каких-то лексических метафор в позициях синтаксической структуры, и в том, и в другом случаях результатом является специфическая, образная репрезентация денотата.

Различие же состоит в том, что в одних случаях синтаксическая структура сохраняет свое прямое значение и семантическое изменение замыкается пределами какой-то ее позиции, в которой денотат получил переносное обозначение. Он только и моделируется посредством соотношения прямого (буквального) и переносного (реального) значения имени сообразно контексту. Иначе обстоит дело в случаях синтаксической метафоры. Здесь дополнительно к непрямозначному обозначению и моделированию денотатов в отдельных позициях аналогически моделируется сама семантико-синтаксическая структура их реального отношения, и моделью служит первичное прямое (буквальное) значение структуры.

Иначе говоря, различие между лексической и грамматической метафорой состоит в том, что первая обращена к номинации некоего денотата самого по себе, в отрыве от его возможных связей и его проявлений. Это, так сказать, метафора инвентаризационная. Грамматическая метафора обращена к номинации положений дел, событий, ситуаций, явлений. В этом смысле это метафора событийная. В составе синтаксических единиц лексическая и грамматическая метафора сочетаются и предстают в единстве как разные аспекты единого метафорического выражения: какие-то или все позиции в синтаксической структуре заполняются лексическими метафорами, и вместе с тем метафорически переосмысливается само исходное значение синтаксической структуры, как было видно на примере «лес *стряхнул с себя дремоту*».

Лексическая метафора начинается с осознания того, что действие, описываемое глаголом «стряхнул», не может быть описано этим глаголом в его прямом значении, оно лишь подобно денотату последнего. Поэтому глагол, чтобы он был уместным и понятным, должен быть переосмыслен сообразно новому своему денотату. Представление об этом денотате-действии задается новой предметной областью, в которую вступил глагол. Знание этой области помогает отобрать из прямого словозначения согласующиеся с ней семантические признаки и дополнить их новыми сообразно ситуации. В прямом значении глагол истолковывается: «стряхивать» $m1$ = сбрасывать x с y (гиперсема) *резким движением* (гипосема), *чтобы избавиться от x* (признак в импликационале значения). Структура переносного значения $m2 \approx$ *избавляться от x* (гиперсема) *волевым усилием* (гипосема), при $x \approx$ нежелательное психофизическое состояние, ср. *часовой стряхнул с себя дремоту*.

Сходный механизм действует и при семантизации другой лексической метафоры «дремота» в том же примере *лес стряхнул с себя дремоту*.

Что же касается грамматической метафоры, то она также начинается с осознания того, что структура непрямолично описываемого положения дел не может быть принята такой, какой она представлена синтаксической структурой, взятой в ее прямом значении: требуется переосмыслить отношение аргументов в структуре так, как диктует знание описываемой предметной области в согласии с ним. Уже в более простом случае, как в примере «часовой стряхнул с себя дремоту», где только одно слово употреблено не в прямом значении, предикат меняет семантический класс, подстраивая свой смысл под нефизический объект «дремота», так что смысловая структура события в прямозначном выражении имеет вид не «агент — физическое воздействие — объект воздействия + место объекта до воздействия («с себя»)), а «субъект психофизического состояния — волевое усилие субъекта — психофизическое состояние субъекта как объект волевого усилия».

Итак, в сочетаемостном аспекте лексические метафоры приводят к переосмыслению синтаксических структур и порождают грамматические

(синтаксические) метафоры. В синтагматике лексическая и синтаксическая метафоры оказываются оборотными сторонами единого метафорического речемыслительного процесса, его взаимодополнительными сторонами. В этом процессе самая сложная часть приходится на долю говорящего: выбирая синтаксическую структуру, он должен предугадать и получить нужный смысловой эффект от ненормативного заполнения позиций в ней. Что же касается слушающего, то он имеет дело с готовым продуктом, и его задача состоит в том, чтобы определиться с предметной областью сообщения, на этой основе установить, какие имена в нем употреблены в прямом, а какие — в переносном смысле, и далее семантизировать слова в переносном значении, отобрав нужное из их прямых значений и дополнив их смысл сообразно с гипостазированной предметной областью.

Попутно заметим, что понятие грамматической метафоры парадоксальным образом связано с вопросом о специфике первобытного мышления и содержательной специфике имени в языке первобытного человека. Со времен немецких философов-романтиков стало общим местом говорить о мифологизме первобытного мышления как его определяющей особенности в отличие от пришедшей ему на смену стадии мышления рационального. Одновременно полагают, что мифологизм, анимизм и антропоморфизм первобытного сознания имел неизбежным следствием принципиально иной характер семантики древнего имени — его изначальную размытость и метафоричность уже в исходе значения имен. Не входя в обсуждение этой проблемы (критику и иное решение см.: Никитин, 1998), укажем, что рассуждение об изначальной метафоричности древнего имени содержит логическую ошибку, так как оценивают прежнее в понятиях нового: если произошел принципиальный сдвиг в характере сознания, в видении мира, то то, что представляется метафорой с позиций рационального мышления, неизбежно ею было для первобытного мышления.

Речь идет о том, что для антропоморфного анимистического сознания круг агентов (и объектов) волевых действий представляется гораздо более широким и как следствие на равных правах с людьми, героями, духами и богами включают в число агентов одухотворяемые сущности: стихии, природные силы, явления, предметы, эмоции, состояния и т. д. Персонализация для мифологического сознания — отнюдь не стилистический прием эпохи рационализма, а видение мира. Имена этих одухотворяемых сущностей становятся метафорами не раньше, чем осознается иллюзорность такого видения мира (а изживается она, заметим, не скоро, не просто и не вполне). И пока этого не произошло, и *лес*, и *страхнул*, и *дремота* в нашем примере *лес* *страхнул* *с себя дремоту* принимались бы за прямозначно употребленные слова.

Обещанный же парадокс состоит в том, что признание первобытного сознания по природе мифологическим, анимистическим и антропоморфным отнюдь не обручает древнее имя с метафорой. Первобытное сознание

не в состоянии выявить метафору как нечто отличное от рационально-рассудочного компонента. Оно синкретически сплавляет их в единую идеальную сущность. Как ни парадоксально, своему вычленению метафора обязана продвижению разума по пути рационального познания мира. Как категория и способ выражения мысли она проявляется и высвечивается на фоне последнего, т. е. в конечном счете так или иначе, на фоне и в сравнении с прямым значимой репрезентацией идей.

Иначе говоря, не следует смешивать метафоричность выражения и иллюзорность мышления, метафору как способ вторичного означивания и мифологизм как вид фидейного мышления (Никитин, 1998). Они не обязаны идти рука об руку.

Но всякий ли раз, когда какие-то позиции в синтаксической структуре заполнены словами в переносном значении, есть основания говорить о грамматической (синтаксической) метафоре как дополнительном компоненте метафоризации выражения сверх метафоры лексической? Конечно, нет. Одного этого условия недостаточно. Необходимо, чтобы буквальное (прямое) значение синтаксической структуры вступило в конфликт с ее реальным осмыслением, т. е. в конечном счете не совпадало бы со смысловой структурой прямо значимой репрезентации реального смысла. Необходимо переключение предметных областей на уровне синтаксической структуры, а это означает заполнение каких-то позиций в синтаксической матрице внеположенными ей аргументами и/или предикатами, в результате чего структура переключается из области ее кодифицированных узально закрепленных за ней прямых значений в область значений, прямо значимо отведенных другим структурам в первичном распределении функций. Эффект такого переключения достигается при заполнении позиций лексическими метафорами, но не всякий раз, а при том условии, что метафора выводит свой реальный денотат из класса аргументов, нормативно положенных синтаксической структуре в ее первичном статусе при данном предикате. Если же лексическая метафора, меняя денотат, оставляет его в рамках положенного в данной позиции класса, не вступая в конфликт с предикатом, то переключение не имеет места и, следовательно, нет места и для синтаксической метафоры: дело ограничивается лексической метафорой. Ср. примеры, вроде «Осел останется ослом (хотя осыпь его звездами)» — при том условии, конечно, что «осел» отнесено к человеку.

Метонимический сдвиг значения сам по себе, если в заполненной структуре нет метафор, также не способен породить эффект переключения предметных областей ни на уровне лексем, ни на уровне синтаксических структур. Это заложено в природе метонимии: она основана на линейных импликационных связях, зависимостях и взаимодействиях (см.: Никитин, 1997), а что предполагает единство предметной области. «Переключения» (= семантические сдвиги) при метонимии замкнуты сферой первичного

денотата имени и идут по линиям сопряженных с ним сущностей. В результате метоним не только не приводит к переосмыслению синтаксической структуры, но, напротив, синтаксическая структура отторгает метоним в его прямом значении и требует согласовать его значение с той позицией, которую он занимает в ней.

Ср. с этой точки зрения: «(Медленно в море) кренился закат. / Пристань гудела. / Фыркали сейнеры, рыбкомбинат / брался за дело». (В. Коржиков); «Красота спасет мир» (Ф. М. Достоевский); «Земля пропахла горем (и махрюю)» (З. Вальшонок); «Макбет зарезал сон» (В. Шекспир); «Чаек качал простор» (Н. Тихонов): простор > море > волны. Вместе с тем по-своему сочетаемостный аспект при метонимии проявлен столь же четко: надо обратить внимание на то, что предикат при метонимическом имени отвергает прямозначное его осмысление и привязан своей семантикой к описанию денотата переносного значения. В этом смысле имя-метоним и его прямозначный предикат разнонаправлены. Так, в случае синекдохи если имя целого употреблено в значении части, то и предикаты к нему описывают часть. Если же, напротив, имя части имеет значение целого, то предикаты тоже могут относиться только к кругу предикатов целого. Сходным образом семантически соотнесены прямозначное имя и предикат-метоним при нем, с той, конечно, разницей, что теперь предикат, вступая в конфликт с прямым значением имени, требует переосмыслить самое себя.

В целом применительно к их прямым значениям имя и предикат в тропеизированных (т. е. содержащих метафору или метонимию) словосочетаниях семантически рассогласованы, несовместимы и в этом смысле разнонаправлены: каждый из них требует иного семантического партнера, сигнализируя необходимость в переосмыслении.

Метафоризация синтаксической структуры невозможна также при одностных предикатах. Тропеическое (метафорическое или метонимическое) выражение аргумента и/или предиката в этом случае не может изменить принципиальное мета-отношение между ними: и при прямозначном, и при тропеическом их выражении они соотносятся как имя вещи и имя признака, что и составляет обобщенное синтаксическое значение структур с одностным предикатом. Ср. «Море смеялось». (М Горький). «(В сугробах марта) / слабело и текло водою серебро». (Б. Ахмадулина). «Прет на рожон / Азовского моря корыто». (Э. Багрицкий).

Это означает, что синтаксической метафоризации подвергаются лишь структуры с многостными предикатами и при том условии, что какие-то позиции в них заполнены лексическими метафорами, такими, что для осмысления структуры требуется выйти в предметную область отношений, отличную от исходной.

Общепотребительность, высокая частотность, переход в узус — та-кие же враги конкретной метафоры грамматической, как и метафоры лек-

сической, и приводят к выветриванию начального образа. Ср. «Как в наши дни вошел водопровод...» «Мне и рубля не накопили строчки». (В. Маяковский). Ср. также: *Мои труды не принесли мне признания* и т. п.

Наконец, остается последнее и главное условие, чтобы грамматическая (синтаксическая) метафора состоялась: две смысловые структуры, исходная и результирующая, должны находиться в аналогическом отношении сходства, подобия, так что первая моделирует вторую. Аналогическое моделирование результирующего смысла на основе исходного прямого составляет суть семантического механизма синтаксической метафоры, как и всякой метафоры вообще.

Существенным для синтаксической метафоры является, таким образом, способ осмысления реальной ситуации через буквальное значение структуры. При этом две семантико-синтаксические структуры, прямая (буквальная) и переносная (реальная), не просто различны, но первая более конкретна, наглядна, в когнитивном отношении более проста, прототипична, она первична в онтогенезе и филогенезе речемыслительной деятельности. Аргументы в позициях этой структуры — разные вещи, физические предметы, а не признаки вещей (свойства, отношения, состояния, действия, процессы и т. п. — денотаты так называемых предикатных актантов). Поэтому она способна служить аналогической моделью переноснозначимой семантико-синтаксической структуры, структуры эпистемически более сложной, вторичной, — служить метафорическим способом постижения зависимостей и мета-отношений между вещью и ее признаками, между признаками в самом широком смысле и самом широком диапазоне.

В лингвогенетическом плане (филогенетически и онтогенетически) грамматическая метафора начиналась с неразличения так называемых абстрактных предметов и прототипических («подлинных») вещей, когда метафоры собственно еще нет. Далее сознание проходит путь отвлечения признаков от вещей и формирования понятий об абстрактных предметах как сущностях, отличных от реальных предметов, через промежуточную стадию уподобления первых вторым. Для этого потребовалось выразить идею признака в форме существительного (ибо существительное в наивысшей мере обладает номинативной способностью — способностью представить идею в качестве предмета мысли и речи) и поставить его в позиции предметных аргументов — уподобить признак предмету.

Если D — вещь, а P — признак, то становление грамматической (синтаксической) метафоры проходит путь: 1) $P = D$ (отождествление) > 2) P как D (уподобление) > 3) P как бы, но не D (аналогическое моделирование). На этом последнем этапе буквальный смысл синтаксической структуры уже не может быть принят за ее реальный смысл. Она должна быть переосмыслена соответственно рационально-рассудочному пониманию мира. Это означает появление грамматической (синтаксической) метафоры.

Завершим рассуждения о синтаксической метафоре анализом двух строк из известного стихотворения Н. А. Заболоцкого «Можжевельный куст», которые могут дать сводное представление о семантических механизмах, на которых основано это явление: «...остывающий лепет изменчивых уст, / легкий лепет, едва отдающий смолой, / проколовший меня смертоносной иглой». Воссоздавая картину изображенной в тексте ситуации, мысль пробегает цепочки ассоциаций в узловых пунктах ее и устанавливает денотаты и структуру отношений между ними:

лепет > речь (легкий лепет > тихая речь) > известие;


игла > протыкание > причинение физической боли *X* (знак аналогического переключения) орудие причинения душевной боли; прокол > причинил боль; смертоносный = губительный;

лепет прокол смертоносной иглой = известие причинило губительное душевное страдание (переключение из физического ряда в душевный).

Лепет — метонимия, «проколовший» и «смертоносная игла» — не просто кореферентны, но находятся в отношении уподобления по эффекту воздействия.

Но по прямому значению синтаксической структуры «игла» поставлена в позицию инструментального агента, а «лепет» занимает место волевого агента. Тем самым возникает диатеза двух семантико-синтаксических структур: конфликт и уподобление прямозначного и переносного (реального) осмысления: 1) агент — намеренное действие — объект — инструмент и 2) известие — адресат известия — воздействие известия — сила воздействия.

Как видим, имеет место переключение из области физических воздействий с тремя актантами в область духовного воздействия с двумя актантами (сообщение — адресат) + дополнительная характеристика силы духовного воздействия, причем первичная семантико-синтаксическая структура служит аналогической моделью вторичной.

 *Агеева Н. Г.* Типология и механизмы глагольной метонимии в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1990.

Варламов М. В. Типологические особенности адъективной метафоры в сопоставлении с глагольной и субстантивной метафорой: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1995.

Кононова И. В. Метафорическое варьирование семантики английского глагола: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1998.

Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1997.

Никитин М. В. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). М., 1983.

Никитин М. В. Миф в структуре сознания // Актуальные проблемы стилистики декодирования, теории интертекстуальности, семантики слова и высказывания. СПб., 1998.

Резанова Н. И. Метонимическое варьирование семантики английских прилагательных: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1986.

Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.

3. Тропеизм признаков слов (семантические механизмы адъективной и глагольной метонимизации и метафоризации)

3.1. Исходные понятия.

Обоснования семантической
классификации прилагательных

Цель состоит в том, чтобы выявить особенности метонимий и метафор у прилагательных и глаголов и, если при этом обнаружится существенное отличие тропеизации признаков слов от вещных, уточнить общие представления о метонимии и метафоре с учетом обнаруженного своеобразия. Вряд ли подлежит сомнению, что при всем многообразии подходов к метонимии, и в особенности метафоре, расхожие представления о них, на которые опираются и которыми реально оперируют в рассуждениях о родовой сущности тропа, сложились на базе вещных слов, и в первую очередь имен классов телесных (физических) сущностей, т. е. имен сущностей с пространственной границей. Остается открытым вопрос: насколько эти представления приложимы к признаковым словам? Признаковая семантика ведь не только специфична, но и противопоставлена вещной. Не следует ли заранее ожидать столь значительных отличий в процессах и механизмах тропеического переосмысления слов с признаковой семантикой, что потребуется существенно уточнить общие представления о метонимии и метафоре?

Для начала пояснения требует само понятие признакового слова. Семантическая структура естественных языков имеет в своем основании так называемую житейскую философию здравого смысла. Это такой взгляд, согласно которому в устройстве мира, среди его сущностей, первична вещь как физическое тело с пространственной границей. Мир населен этими телами и разнообразными их комбинациями, связанными в нечто целое. Вместе они составляют первичные предметы мира. Предметы, или вещи, обладают признаками, за счет которых они отождествляются и различаются на уровне единичного (одной и той же вещи) и класса (одного и того же класса вещей). Признаки — вторичные сущности мира, так как они не существуют сами по себе, а отвлекаются от вещей. Даже имея некую субстанциональную основу, они составляют часть субстанции вещей.

Здравый смысл склонен различать собственные признаки вещей и признаки-отношения вещей, даже если при последующем рассмотрении он обнаруживает, что какие-то из собственных признаков вещей на поверку оказываются продуктом отношений. Собственный (имманентный, внутренний) признак вещь как будто не делит с другими вещами, хотя он может быть одинаково свойствен разным вещам, — но каждый порознь. От-

ношение — такой признак, который существует по взаимодействию (связи, соотносительности, зависимости) вещей. Он предполагает как минимум две вещи — аргументы отношения. Отношение и есть связь вещей — аргументов, оно опирается в них своими концами.

Для здравого смысла существенно выявлять признаки характерные, существенные, обязательные, постоянные, стабильно наблюдаемые у какой-то вещи или класса вещей, независимо от того, являются ли они собственными (внутренними, имманентными) признаками или ее отношениями. Характерные признаки называют свойствами вещи и противопоставляют признакам преходящим, окказиональным, нестабильным, нехарактерным, несущественным. Нетрудно видеть, что три части речи — глагол — прилагательное — существительное — последовательно закрепили за собой (но только в общей тенденции) различные участки шкалы характерности признаков для вещей — мера характерности возрастает от глагола через прилагательное к существительному.

Вещи и признаки — наиболее общие категории сущностей, извлекаемых сознанием из анализа и обобщения структур, в которых ему является действительный мир, а именно — из анализа и обобщения того, что — с разными оттенками смысла — называют событиями, ситуациями, явлениями, фактами, положениями дел. Концепты (понятия и представления) вещей и их признаков совокупно с их связями и зависимостями составляют, так сказать, операционные «словарь и грамматику» сознания (англ. *the mind*). Работающее сознание, т. е. мышление, приводит в действие и порождает мысли, которые, получая языковое выражение, оказываются — за некоторыми существенными вычетами — высказываниями о существовании вещей или высказываниями о существовании признаков, включая признаки-отношения. Иначе говоря, они оказываются высказываниями о событиях, ситуациях, явлениях и т. п. С языком мысль пробегает путь от наблюдения и анализа структуры фактов, соотношения мыслительных структур с языковыми к выражению фактов, действительных и мнимых, в форме высказываний.

Однако на онтологическую грамматику здравого смысла, которая в центр представлений об устройстве мира ставит предмет, по необходимости накладывается эпистемическая грамматика знания. Всякая сущность, включая признаки, может и должна стать предметом рассмотрения, и у нее могут быть обнаружены свои признаки, благодаря которым возможно ее отождествление и различение. Если в признаке открываются признаки, он становится эпистемической вещью. Идя этим путем, мы поднимаемся с одного уровня на другой, к с каждым уровнем у «вещей» становится все меньше признаков, пока не останется единственный (сомнительный) признак — их существование (действительное или мнимое).

Таким образом, в эпистемической грамматике сознания всякая сущность может предстать как вещь и признак в зависимости от того, рассмат-

ривается ли она как носитель признаков или же как признак какой-то сущности. Лишь некоторые сущности — физические тела — предстают исключительно как вещи. Существенно то, что языковая грамматика ориентирована прежде всего на эпистемическую грамматику знания и толкует предмет как эпистемическую вещь, закрепив это представление в части речи существительного. Категориальная специфика существительного (так называемое грамматическое значение предметности) заключена в способности этой части речи представлять идею как предмет речи. Что же касается прилагательных и глаголов, не говоря уже о наречиях, то все они заранее синтаксически специализированы в признаковой функции — описывать некий денотат, представленный в речи другим словом.

Таким образом, признаковыми словами мы называем слова, обозначающие признаки и грамматически (синтаксически) специализированные в признаковой функции: употребляясь, они не просто называют признак, но называют чей-то признак; им не свойственно представлять признак как эпистемическую (и грамматическую) вещь.

Признаковые слова — это прежде всего прилагательные и глаголы, но не все прилагательные и глаголы (равным образом признаковыми могут быть и слова других частей речи — числительные, наречия и местоимения). Относительные прилагательные, во всяком случае многие, обозначают не признаки, а вещи, некоторое отношение к которым составляет признак денотата определяемого, ср. «материнское поле». Вообще, строго говоря, прилагательные в часть речи объединяет отнюдь не обозначение признака, а указание на признаковую функцию слова, что не одно и то же. Если относительное прилагательное означает вещь в признаковой функции, а не признак, то и тропеизация таких прилагательных имеет в своем источнике семантику существительного, от которого образовано относительное прилагательное, т. е. совершается по моделям переосмысления основного значения существительного.

Глагол к признаковой функции добавляет временную спецификацию признака (действия, воздействия, взаимодействия, процесса, состояния, движения, превращения, изменения и т. п.). Однако опять-таки далеко не все глаголы обозначают собственно признаки, а их модальность, фазу и пр., ср. модальные, фазовые глаголы.

Признаковые слова иначе называют предикатными. В принципе есть существенное различие между понятиями предиката, с одной стороны, и признакового, или предикатного, слова — с другой, даже если во многих случаях этим различием можно пренебречь без особого ущерба для рассуждений, как это часто делается. В отличие от слова предикат не двусторонняя единица, не соединение означающего с означаемым, т. е. не знак, а только концепт, идея, мысль с признаке — о том, что есть общего и различного в вещах. Этот концепт может совпадать со значением признакового слова, но может быть и так, что он составляет только часть его лекси-

ского значения, осложненную различными семантическими множителями, как, например, в каузативных глаголах, где идея некоторого признака осложняется категориальной семой каузации, ср. сидеть — сажать, лежать — класть и т. п.

Обратим внимание на то, что онтологически класс каузативных действий на порядок выше по разнообразию своего исполнения, чем соответствующий ему класс результирующих действий. Например, в дополнение к разнообразию способов лежать прибавляется еще разнообразие способов класть. В самом деле, лежать можно по-разному, но и класть можно тоже по-разному, причем, как положить *X*, зависит в некоторой степени от того, как *X* должно лежать. Внутреннее единство класса действий (точнее, состояний) лежать образуется идеей определенной позы (положения), а класс класть — понятием некоего результирующего положения.

Эти рассуждения справедливы и относительно других классов признаков слов, где идея признака осложнена категориальным понятием — гиперсемой, по отношению к которой признак выступает дифференциальным спецификатором, или гипосемой, т. е. указывает подкласс категории. Ср., например, глаголы с категориальной семантикой становления, начала — прекращения, конца существования признака (аспектуальные и видовые, лексические и грамматические категориальные значения): *загораться* — *гореть* — *сгорать* // *зажечь* — *жечь* — *сжечь* // *начинать гаснуть* — *гаснуть* — *угасать* / *начинать гасить* — *гасить* — *погашать*.

Нетрудно видеть, что эти категориальные понятия в определенном порядке накладываются одно на другое (включают одно другое) — *начинать (кончать) каузировать признак и т. п.*

В целом осложнители семантики признака делятся на две группы — категоризаторы и спецификаторы. О первых было сказано, это родовые (категориальные) понятия, по отношению к которым признак выступает спецификатором, дифференциальной частью. Иначе говоря, в этом случае две части структуры результирующего понятия находятся в отношении гиперсемы и гипосемы, родовой и видовой части понятия.

Вместе с тем концепты, осложняющие семантику предикатного слова, могут модифицировать, уточнять саму идею признака, т. е. выступать ее спецификаторами. В этом случае мысль о признаке оказывается гиперсемой значения, а осложнители оказываются на роли гипосем. Осложнители при этом указывают качественные разновидности признака, или же они специфицируют разнообразные варианты его осуществления, высвечивая те или иные потенциальные моменты в виртуальной структуре осуществления признака.

Таким образом, осложнение семантики признакового слова идет либо по линии категоризации признака, либо по линии его спецификации, причем спецификация может быть качественной (спецификация качества признака) или обстоятельственной (спецификация обстоятельств осуществле-

ния признака). Ср. последовательная категоризация: *слепой* — *слепнуть* (= становиться/слепым) — *слепить* (= каузировать становиться слепым); качественная спецификация признака: *гнать* (= заставлять двигаться быстро, «гнать лошадей») — *гнать* (= заставлять двигаться прочь, «гнать мух»); *move* (= передвигаться) — *walk* (= передвигаться на ногах) — *shuffle* (= передвигаться, шаркая ногами); обстоятельственная спецификация: *come* (= подходить, проходить, приближаться) — *go* (= уходить); *carry* (= носить) — *bring* (= приносить).

Ср. также: последовательная категоризация: *чернеть* (= быть черным) — *чернеть* (= становиться черным) — *чернить* (= каузировать быть/становиться черным), *стоять* — *ставить* (= заставлять стоять); обстоятельственная спецификация признака: *ставить* — *приставить* — *подставить* — *надставить* — *переставить* и т. п.

То, что здесь названо категоризацией признака *P*, не должно пониматься как указание, выявление собственной категории признака, его ингерентной классификации. Это категоризация признака относительно тех денотатов, в которых он выявляется, по характеру его осуществимости в денотатах — он у них появляется, наличествует, исчезает, каузируется и т. п. Категориальные осложнители образуют такие значения признаковых слов, которые описывают модус осуществления признака в денотате, которому он приписан. В этом смысле мы имеем дело с бытийно-признаковой категоризацией.

Каузативное осложнение предиката наиболее радикально преобразует его семантику, поскольку при этом признаковое слово означает уже не каузируемый признак *P1*, а иной каузирующий признак *P2*, не *P1* как результат воздействия, имеющее результатом признак *P1* у объекта воздействия. В этом случае *P1* возникает (или исчезает, трансформируется и т. д.) у денотата *D* не в процессе самоосуществления, а в результате воздействия. В последующем предстоит выяснить, какие компоненты и как вступают в игру при тропеизации признаковых слов — концепт признака, категориальный и спецификационный осложнители. Как формируется семантика тропа при исходном признаковом значении, каковы механизмы метонимического и метафорического переосмысления и как участвуют в них различные компоненты исходного признакового значения — порознь, все вместе как цельный концепт или в той или иной комбинации? Ответ на эти вопросы должен составить важную часть дальнейшего анализа.

При семантической деривации признаковых значений нас, таким образом, ожидают две главные проблемы: 1) какова специфика ассоциативного варьирования признакового концепта? 2) какое влияние на ассоциативное переосмысление признакового слова оказывает наличие в его семантике осложнителей признакового концепта (осложненность структуры признакового значения)? Предметом рассмотрения оказываются в сравнении простые и осложненные признаковые лексические

значения прилагательных и глаголов. И о первых, и о вторых обычно говорят как о предикатах, хотя вторые если и являются предикатами, то осложненными, т. е. выражают мысль о признаке вкупе с характером его осуществления.

Однако языковая база признаковой идеи не замыкается прилагательными и глаголами (а также некоторыми разрядами наречий, числительных и — с учетом деиктичности значения — адъективными местоимениями). Это лишь первичный — и синтаксически специализированный в признаковой функции — уровень выражения признака. Сама же идея признака автономно — как инвентарь и предмет мысли — выражается существительными или во всяком случае нуждается в субстантивной транспозиции признакового слова с той или иной мерой формальной выраженности и завершенности этого преобразования. В этом обнаруживается субстанциональный фундамент философии естественных языков: изначально в своем строении они исходят из представления о первичности вещи как тела, несущего признаки. Опираясь на философию здравого смысла, люди построили языки для сообщений о вещах — об их наличии и наличии у них признаков. Однако рассуждать требуется также и о признаках. Поэтому там, где имена признаков не просто означают признаки, но для них изначально задана еще и признаковая функция, в сочетаниях слов необходим механизм субстантивной транспозиции (синтаксической деривации, по Куриловичу), сбрасывающий эту функционально-синтаксическую специализацию посредством перевода в класс вещных слов. Это дает возможность говорить о признаках как носителях свойств и отношений, т. е. говорить о них как об эпистемических вещах. Признаки становятся аргументами ситуаций, но ситуаций второго уровня, так как в таких выражениях за предикатным актантом уже стоит некое положение дел — ситуация первого уровня.

В транспозитивных парах, вроде *петь — пение, курить — курение, производить — производство; кричать — крик, бежать — бег, выгонять — выгон; гордый — гордость, белый — белизна, теплый — тепло (теплота), знойный — зной; счастливый — счастье, радостный — радость* и т. п., признаковые слова (глаголы и прилагательные) первичны в том смысле, что с них начинается становление и освоение понятия о данном признаке, абстрагируемом от вещей. Но те же слова вторичны по отношению к своим субстантивным транспозитивам в том смысле, что на последние в первую очередь опирается сознание, инвентаризируя и упорядочивая наличный набор понятий. С учетом этого можно сказать, что признаковые слова первичны генетически (в плане генезиса понятия о признаке), а их субстантивные корреляты первичны номинативно (в плане номинации понятия о признаке). Понятно, это связано с большей синсемантичностью прилагательных и глаголов и максимальной автосемантичностью существительных, что, по сути дела, означает то же самое, что разная мера синтаксиче-

ской специализации разных частей речи, которая находится в обратном отношении к мере их номинативной способности.

Очевидно, что генетическая первичность для сознания признакового слова, несмотря на его синтаксическую специализацию, коренится в общей закономерности генезиса сознания — его восхождении от конкретного к абстрактному.

Очевидно также, что генетический вектор транспозитивности, всегда постоянно направленный от признакового слова к его субстантивному корреляту, может совпадать, а может и не совпадать, — как видно хотя бы из приведенных выше примеров, — с вектором формальной деривации (формальным вектором синтаксической; транспозиции), который направлен то от признакового слова к субстантиву, то наоборот, то оба они произведены по форме независимо друг от друга.

Пора уточнить термины и ввести новые. Итак, признаковыми словами мы называем синтаксически специализированные в признаковой функции полнозначные слова с лексическим значением признака. Прежде всего это прилагательные и глаголы. Синтаксическая транспозиция отлична от синтаксической деривации тем, что ограничивается только содержательно-функциональной стороной снятия или наделения слова той или иной синтаксической специализацией, в то время как синтаксическая деривация — понятие более широкое и включает как содержательно-функциональную сторону смены словом части речи (транспозицию), так и соответствующее этому процессу формально-деривационные изменения в словах. Результат транспозиции — транспозитив, например субстантивный, адъективный, глагольный, адverbальный.

Для экономии места желательно однословное обозначение вместо термина «признаковое слово». На эту роль фактически претендует «предикат», но плохо с ней справляется в силу многозначности и неразборчивости: то ли это концепт признака, то ли признаковое слово; то ли значение признакового слова, то ли часть значения признакового слова; то ли одно признаковое слово, то ли и признаковое слово, и его субстантивный транспозитив. Для этих целей можно предложить «дескриптив» = имя признака в признаковой функции. Дескриптивы, т. е. признаковые слова, все являются именами признаков (включая глаголы, которые обычно, следуя античной логико-грамматической традиции, исключали из имен, в отличие от прилагательных). Однако имена не то же, что слова. Слово субстанционально по отношению к имени, быть именем — определенная функциональная характеристика некоторых разрядов слов. Имена признаков не только признаковые слова, но и существительные с лексической семантикой признака. Именами признаков являются все слова с лексической семантикой признака независимо от того, специализированы они или нет в признаковой функции синтаксически. Если слово называет признак, сам ли по себе, или как признак другой сущности, или как при-

знаковую сущность, в свою очередь обнаруживающую признаки, — оно всякий раз выступает как имя признака, ибо такова его референционная особенность.

Имя признака по отношению к имени вещи, которую оно описывает в подчинительном словосочетании, называется экспликантом. Если же имя признака само, в подчинительном словосочетании описывается каким-то признаком, то оно уже выступает как описываемое, как эпистемическая вещь (экспликандум). Например, в выражении «ослепительная белизна снега» признаковое имя «белизна» оказывается экспликантом по отношению к «снегу» и «экспликандумом» к «ослепительная».

В целом в этой области имеем, таким образом, четыре сопряженных, но подлежащих строгому различению понятия: дескриптив (прилагательные, глаголы) — атрибут (определение, приложение, предикатив) — имя признака (дескриптивы и их субстантивные транспозитивы) — экспликант (имя признака в отношении к имени вещи).

Генетическая первичность прилагательных и глаголов в процессах становления признаков имеет тот результат, что их семантические структуры дают более полную, ассоциативно развернутую картину полисемии сравнительно с субстантивными транспозитивами. Как известно, так обычно соотносятся семантические структуры производящего и производного слов: второе воспроизводит семантическую структуру первого, но часто неполностью. В нашем случае картина та же, хотя, как уже отмечалось, нередко дескриптив и его субстантивный транспозитив могут иметь разные векторы формальной производности. Важен вектор генезиса понятия, отвлечения признака от вещей. Существительное с семантикой признака представляет продвинутый этап, когда от рассуждений о вещах переходят к рассуждениям о признаках, от конкретных предметов — к абстрактным, т. е. оперируют отвлеченными сущностями.

Однако транспозиция дескриптива в существительное открывает новые возможности для переосмыслений, невозможные для глаголов и прилагательных. Изначально признаковое слово, став существительным, может быть ассоциативно, на импликационной (метонимической) основе переосмыслено как обозначение вещей, связанных с данным признаком, составляющих «фрейм» его бытования. Тем самым *ik* переосмыслениям слов по схемам «*имя* = 1 вещи = 1 > *имя* = 1 вещи = 2» и «*имя* = 1 признака = 1 > *имя* = 1 признака = 2» добавляется еще > семантический процесс по схеме «*имя* существительное = 1 признака = 1 > *имя* существительное = 1 вещи с признаком = 1». Понятно, что, исследуя тропеизм прилагательных и глаголов в рамках этих частей речи, т. е. не затрагивая их транспозицию, мы остаемся в рамках ассоциаций *признак* = 1 > *признак* = 2. Это и будет предметом рассмотрения.

В чем состоят основные особенности семантики прилагательных и глаголов, которые сказываются на механизмах тропеизации этих слов?

Следует сказать, что тропеизация признаков слов (дескриптивов) настолько своеобразна, что заставляет существенно уточнить и расширить общие представления о метонимии и метафоре, о тропеизации вообще. Обнаруживается недостаточность или узость того их понимания, которое сложилось на базе тропеизма конкретных, «телесных» имен. Своеобразие признакового тропеизма, как следует ожидать, коренится в специфике семантики признаков слов. Равным образом, и внутри самих признаков слов особенности моделей тропеизации прилагательных сравнительно с глаголами также обуславливаются их семантической спецификой: прилагательные тяготеют в общей тенденции к обозначению стабильных признаков вещей, признаков характерных, сущностных, постоянных, устойчивых, долговременных и т. п., с чем связано отсутствие их временной прорисовки прилагательными (прилагательное своей формой не указывает, как признак осуществляется во времени, не дает его временной характеристики); напротив, глаголы тяготеют, опять же только в общей, но четко выявленной тенденции, к обозначению признаков временных, переходящих, нестабильных, нехарактерных, сиюминутных, что опять-таки связано с их временной характеристикой в форме глагола.

3.2. Метонимизация признаков слов

Обратимся к метонимии признаков слов, сначала прилагательных, затем глаголов. Метонимия вообще — проекция мыслительных связей импликационного характера на семантическое варьирование слов. При этом под импликацией понимается явление гораздо более широкое, чем известное понятие из логики, импликация — один из двух, наряду с классификацией, универсальных способов структуризации сознания, а именно мыслительный аналог связей действительного мира. Импликация в этом широком смысле — мыслительная операция установления линейной зависимости между концептами в сознании как отражение реальных (а иногда и мнимых) связей между реальными (а иногда и мнимыми) сущностями реального (а иногда и мнимого) мира. Совокупность этих импликаций образует импликационные структуры сознания — мыслительный аналог устройства миров. Это отражение реальных (а иногда и мнимых) связей мира: между вещами, между признаками, между признаками и вещами, между частями и целым, между частями в целом и т. п.

Импликация в этом смысле описывает определенный, как указано выше, тип мыслительных операций, реально осуществляемых сознанием. Сравнительно с этим импликация в логике — вторичный, в значительной мере искусственный научный конструкт; в основе он имеет реальные мыслительные операции импликационного ассоциирования концептов, но накладывает на них дополнительные ограничения, мотивированные потребностями определенной теоретической модели представления

мыслительных операций, даже если в какой-то части эти ограничения не дают точного представления о том, как совершаются мыслительные процессы в реальности живого сознания.

В основе метонимического варьирования признаков слов лежат импликационные зависимости признаков, такие, что наличие признака P_1 у вещи D_1 заставляет с необходимостью или вероятностью, обычно достаточно большой, предполагать наличие признака P_2 у той же вещи D_1 или у другой вещи D_2 , связанной с вещью D_1 некоторым отношением. При этом, как правило, речь идет не о единичных вещах, а о классах вещей. Благодаря наличию этой связи имя P_1 может стать еще именем P_2 , т. е. N_1 (P_1) может обозначать также P_2 в силу зависимости $P_1 > P_2$. Тем самым у N_1 наряду с его первичным значением m_1 (P_1), которое оно получило в результате изначального (обычно спонтанно сложившегося) распределения концептов по именам, появляется еще значение m_2 (P_2), которое либо остается окказиональной реализацией импликационных зависимостей, либо при определенных обстоятельствах может закрепиться узуально.

Поскольку P_1 имеет некоторое неконечное поле импликационно ассоциируемых с ним признаков, то теоретически каждый из них может быть, хотя бы *ad hoc*, обозначен именем N_1 (P_1). Однако это поле вероятностно структурировано, поскольку разные пары признаков отличаются разной вероятностью совместной встречаемости. Соответственно и поле возможного метонимического варьирования N_1 имеет вероятностную структуру. Чем меньше вероятность совместной встречаемости признаков P_1 и P_2 , тем меньше шансов у P_2 быть обозначенным посредством N_1 (P_1). Во всяком случае для этого потребуются большая номинативная потребность. Впрочем, причины, по которым прибегают к N_1 (P_1) для обозначения P_2 при $P_1 > P_2$, весьма, как известно, разнообразны. P_2 может не иметь своего имени. Может быть и так, что имя есть, но не удовлетворяет некоторым потребностям коммуникации: например, не содержит когнитивных или прагматических (эмотивно-оценочных, экспрессивных и т. п.) коннотаций, не ложится в стихотворный размер и т. д. Кроме того, потребность в тропическом обозначении (посредством сдвига в значении имени) может быть обусловлена специфическим типом речевого общения — игрового, обманного (мистификация и т. п.), табуированного, обучающего (например, посредством догадки), скрытного (при необходимости соблюдать тайну) и т. д.

Потребность в метафорическом обозначении часто обусловлена способностью метафор посредством моделирования помочь сознанию через конкретное освоить нечто трудное для постижения, неявное, ненаглядное, отвлеченное, сложное для понимания.

Попутно следует отметить важный момент. Импликация — мыслительная операция, и ее вектор обратим. Она не следует только направлению онтологических зависимостей, но может быть направлена, например, от понятия о следствии к понятию о вызвавшей его причине. Это объясни-

мо: если в реальном мире причина и следствие не могут поменяться местами и вектор направлен от первой ко второму, то в сознании мысль о причине может вызвать мысль о следствии, а может быть и наоборот — мысль о следствии может актуализировать мысль о причине. Если импликатором назвать актуализирующую мысль, а импликатом — мысль актуализируемую, то можно сказать так: онтологическим содержанием и импликатора, и импликата может быть в зависимости от обстоятельств и причина, и следствие.

Равным образом, и при метонимическом сдвиге признаков слов: $P1(N1)$ может быть как причиной, так и следствием $P2(N1)$, т. е. метонимия может с равным успехом следовать направлению как от причины к следствию, так и наоборот.

Важно иметь в виду, что причинно-следственная связь между $P1$ и $P2$ отнюдь не исчерпывает природу возможных зависимостей признаков. Столь же часто, если не чаще, сознание затрудняется свести зависимость $P1$ и $P2$ к причинно-следственной, но, не колеблясь, отмечает связь $P1$ и $P2$ — это связь простой совместной встречаемости, пространственной (соположенность, совмещенность и т. п.), временной (одновременность или последовательность) или какой-либо еще иной. Тем самым причинно-следственная зависимость оказывается специальным — и более жестко определенным — случаем совместной встречаемости признаков, событий и явлений.

Например, признаки похолодания и листопада — приметы осени, связанные как причина и следствие, а листопад и отлет птиц на юг — не менее жестко связанные признаки с простой связью совместной встречаемости.

Наконец, прежде чем перейти непосредственно к механизмам и моделям метонимической тропеизации прилагательных и глаголов, упомянем один важный момент различия между производящим и производным признаковым значением, который, однако, в последующем изложении специально рассматриваться не будет. Производные признаковые значения, и метонимические, и метафорические, отличаются языковым статусом в том смысле, что на слово в производном значении обычно наложены дополнительные ограничения: в своем производном значении оно, как правило, не вполне свободно в реализации своего номинационного потенциала. Иными словами и в определенном смысле можно сказать, что слово в производном значении чаще всего значит больше, чем норма позволяет ему обозначить.

Наиболее существенный момент в механизме признаковой метонимизации состоит в том, что импликационное ассоциирование признаков $P1 > P2$ опосредовано представлением о вещах (классах вещей) с признаком $P1$, который у этих вещей жестко или вероятно связан с признаком $P2$. Таким образом, если $N1(P1)$ — имя признака $P1$, а $K1$ — некий класс вещей, у которых привычно отмечают в связке признаки $P1$ и $P2$, то при

метонимизации $M1$, когда оно становится также метонимическим обозначением $P2$, мысль опирается на представление о $K1$. Именно это промежуточное представление обеспечивает возможность метонимизации признакового слова от $P1$ к $P2$, так как отнюдь не всегда, не в любых классах отмечается связка этих признаков.

Например, признак зеленого не обязательно связан с признаком незрелого, неспелого, но у многих фруктов, овощей и вообще у многих растений, ср. яблоки, помидоры, злаки и т. д., дело обстоит именно так, и именно они становятся базой для развития у предикатного имени «зеленый, зелень» значения-метонима «неспелый, незрелый».

Метонимизация может проходить несколько стадий, пробегая их все или застывая в каком-то пункте.

На первом этапе представление о $P2$, импликационно связанном с $P1$, не образует особого значения, а составляет импликационную часть первичного значения имени $M1(P1)$, т. е. относится к коннотационной части когнитивного значения имени, к импликациям из его интенционала. В этом случае сочетаемость $M(P1)$ не выходит за пределы имен/классов вещей, у которых отмечается признак $P1$. Однако в семантике речевого использования $M1$ уже различаются случаи, когда $M1$ имеет значение $m1.1$ с непроявленной импликацией $P2$, т. е. $m1.1(M) = P1$, и случаи, когда эта импликация актуализирована в речи, так что $M1$ уже имеет значение $m1.2(M) = P1 > P2$. Например, «коричневый» может означать просто (коричневый), как в «коричневый цвет», но может означать (коричневый и, значит, загорелый), как в «ты стал совсем коричневый». На этом этапе имеет место варьирование значения в метонимическом поле, но нет еще оснований говорить о появлении в семантической структуре слова особого значения — метонима, хотя бы ocasionального, не говоря уже об узуальном.

На втором этапе метонимическая импликация отпочковывается от производящего значения и приобретает качество уже не созначения, а отдельного производного значения, так что $M1$ означает не только $m1.1 = P1$ и $m1.2 = P1 > P2$, но также $m2 = P2 < P1$, т. е. $P2$, потому что $P1$. Этот этап метонимизации отмечен, например, у прилагательного «зеленый», поскольку для него возможно употребление, вроде следующего: «не ешь это яблоко, оно зеленое». Здесь слово имеет значение $m2 = P2 < P1$ (неспелый, потому что зеленый). Есть спелые яблоки, и, очевидно, «зеленый» в этом случае означает не просто (зеленый) и не (зеленый, поэтому неспелый), а именно (неспелый, потому что зеленый). Зеленого цвета яблоки тоже могут быть спелыми, но велика (или, во всяком случае, значима) вероятность ошибиться.

Логически выражение «не ешь это яблоко, оно зеленое» максимально оправдано при значении «зеленый» $m2 = P2 < P1$ (неспелый, потому что зеленый), а не при $m1.2 = P1 > P2$ (зеленый и поэтому (вероятно) неспелый). Однако в реальном языковом общении говорящий далеко не всегда упот-

ребляет логически нормативные «формы выражения мысли, а часто ставит перед слушающим задачи по домысливанию или даже переосмысливанию отклоняющихся от нормы выражений. Иначе говоря, для данного случая возможно предположить осмысление «зеленый» $m1.2 = P1 > P2$ (зеленый и поэтому вероятно, неспелый), хотя, по-видимому, можно доказать в психологическом эксперименте, что в нашем примере значение $m2$ более нормативно, чем $m1.2$.

Но есть другой, более убедительный аргумент в пользу того, что у этого прилагательного значение $m2$ достаточно обособлено в его семантической структуре. Дело в том, что имеется еще метафорическое значение $m3 =$ (незрелый) в смысле (недостигший полного (духовного) развития, неопытный, несведущий). Эта метафора опирается именно на $m2 =$ незрелый и возникает как его семантический дериват посредством моделирования абстрактного на конкретной основе.

На первом этапе метонимизации $m1.2 = P1 > P2$ сочетаемость признакового слова замыкается именами классов вещей, обнаруживающих связь признаков $P1$ и $P2$. На втором этапе при $m2 = P2 < P1$ сочетаемость ограничена теми же пределами. Различие не выходит из семантической сферы, и состоит оно в перестройке структуры значения: интенциональный и импликационный признаки меняются местами, так что $N(m1.2)$ описывает неспелых зеленых, а $N1(m2)$ — зеленых неспелых, или иначе — в первом случае речь идет о том, что зелено и к тому же неспело, а во втором — о том, что неспело и к тому же зелено. Смена вектора зависимости признаков логически и семантически значима, и это можно подтвердить примером лексического уровня: два слова «муж» и «женатик» содержат одинаковый набор семантических признаков, но не являются синонимами в силу различий в векторе зависимости признаков: *муж* = *male married one*, *женатик* = *married male one*.

Указанные два этапа метонимизации признаковых слов, развивая этот процесс от первого ко второму, очерчивают его предел. Если бы у прилагательного «зеленый» развивалось бы еще значение (неспелый (независимо от цвета, даже если не зеленый)), то оно вышло бы за предел метонимического ассоциирования концептов, т. е. потеряло бы импликационную мотивацию, и сочетаемость такого словозначения резко разошлась бы с сочетаемостью исходного словозначения. В пределах же двух этапов метонимизационного процесса: 1) *зеленый* > /зеленый и поэтому неспелый/, 2) /зеленый и поэтому неспелый/ > /неспелый, потому что зеленый/, — сочетаемость каждого из словозначений остается в пределах класса имен тех, которые зелены, сужая его, однако, до подкласса тех, которые зелены и неспелы (неспелы и зелены). Именно это объясняет тот интуитивно отличающийся исследователями факт, что метонимия, сравнительно с метафорой, производит впечатление более гладкого, преемственного, нескачкообразного ассоциативного процесса. Ее экстенционал включен как часть в экс-

тенсионал производящего словозначения, даже когда на втором этапе своего развития метоним стремится порвать с ним интенсionalmente, перестраивая структуру зависимости частей в значении.

Иное дело метафора. Понятно, что в *зеленый т3* = *не достигший полного духовного развития, духовно незрелый*, прилагательное описывает нечто, для чего признаки «зеленый», «неспелый» или их связка совершенно безразличны, несущественны. А это означает скачок в экстенсionale прилагательного, разрыв с прежней его сочетаемостью: в лучшем случае экстенсионалы исходного и производного метафорического словозначений лишь частично — и незначимо — пересекаются. В этом и состоит смысл утверждений в скачкообразности метафоры.

Различия в моделях метонимизации прилагательных связаны с указанным ранее принципиальным различием двух разрядов в этом классе признаков слов, которые частично — но лишь частично — соотносятся с делением прилагательных на качественные и относительные. Напомним, что хотя всем прилагательным как признаковым словам свойственна признаковая функция, но не все они обозначают признаки в собственном смысле слова. Многие из них обозначают вещи, отношение к которым составляет признак определяемого прилагательным слова. Сама же форма прилагательного извещает не о слове с признаковой семантикой, а о слове с признаковой функцией. Такого рода прилагательные обозначают, таким образом, аргументы отношений в признаковой функции, т. е. часть определений другого аргумента — того, который назван определяемым словом в атрибутивных сочетаниях с этими прилагательными. Заметим, что само отношение в подобных словосочетаниях лексически не поименовано, оно содержится имплицитно, ср. *лесная сторожка* = /лес — сторожка — место-нахождение > расположенная в лесу сторожка/.

Тем самым необходимо разграничивать прилагательные собственно-признаковые и аргументно-признаковые. Это деление имеет прямое отношение к моделям тропеизации прилагательных. Только у первых свои механизмы метонимизации и метафоризации, отличные от предметных существительных. Вторые же прежде всего дублируют — обычно не в полной мере — модели тропеизации и семантическую структуру переносов соответствующих существительных и лишь затем способны привносить известную специфику в эти модели и механизмы, обусловленную признаковой функцией этих слов и семантическим своеобразием отдельных разрядов аргументно-признаковых слов.

Промежуточное положение между собственно-признаковыми и аргументно-признаковыми прилагательными занимают прилагательные субстантно-признаковые, которые означают субстанцию, материал, вещество, образующие денотаты определяемых существительных. Описываемая субстантно-признаковым прилагательным вещь выступает как форма, которую в данном случае принимает субстанция, ср. *деревянная ложка, дере-*

ванный дом. Отношение между субстанцией и формой ее проявления, разумеется, несколько отлично от отношения между двумя аргументами, в принципе автономными друг от друга, но вступившими в некую зависимость. Материал нельзя считать чем-то сторонним для вещи, которая из него создана, однако и в этом случае тропеизация прилагательного не специфична сравнительно с соответствующим существительным, а унаследована более или менее полно от него.

Как показало исследование метонимии в английских прилагательных, выполненное под руководством автора Н. И. Резановой (*Резанова Н. И. Метонимическое варьирование семантики английских прилагательных: дис. ... канд. филол. наук. Л., 1986*), основными факторами, обуславливающими разнообразие в видах и механизмах метонимических переносов, помимо принадлежности прилагательного к одному из трех указанных выше семантических типов (собственно-признаковые, аргументно-признаковые и субстантно-признаковые), являются следующие:

- 1) совместная — в одном объекте или раздельная — в разных объектах встречаемость импликационно зависимых признаков: $P1 (D1) > P2 (D1)$ или $P1 (D1) > P2 (D2)$;
- 2) импликация признака от признака;
- 3) импликация вещи по признаку.

Импликация признаков может основываться на 1) на причинно-следственных зависимостях, причем может быть направлена как от причины к следствию, так и наоборот; 2) на простой неспецифицированной совместной встречаемости признаков. В обоих случаях совместно встречаемые признаки существуют либо одновременно, либо следуют один за другим и обнаруживаются либо у одной вещи, либо у разных, связанных неким отношением вещей. Наконец, существенно то, что импликационный потенциал признака формируется в сознании не непосредственно от признака к признаку, а через посредство классов вещей, у которых этот признак обнаруживается в связке с другим признаком.

В совокупности это привело Н. И. Резанову к разграничению четырех основных типов метонимических переносов прилагательных: простого адъективного, каузативного, индикативного, контракционного. Внутри каждого из них отмечаются свои разновидности.

Простая адъективная метонимия имеет место у собственно-признаковых прилагательных при совмещенности зависимых признаков в одной вещи. Зависимость разнообразна: причина — следствие, следствие — причина при большой вариативности конкретных причин следствий (статальные, динамические и пр.), неспецифицированная совмещенность признаков — во всех случаях обязательная или вероятностная. Ср. *чистый* 1) не грязный, 2) не использованный; *сырой* — 1) не обработанный для употребления, 2) не готовый для употребления; *короткий* 1) не длинный, 2) не занимающий много времени. Очевидна привязка метонимий к опре-

деленным классам вещей с данными признаками — соответственно: 1) белье, платье и т. п.; 2) продукты, полуфабрикаты и т. п.; 3) дорога и т. п.

Каузативный тип метонимического сдвига предполагает конверсивную зависимость признаков в вещах, связанных отношением каузации. Это зависимость признака $P1$ в вещи $D1$, каузирующей существование конверсивного признака $P2$ в вещи $D2$. Ср. *здоровый* 1) не больной, 2) дающий здоровье = каузирующий быть не больным, например, *здоровый человек* — *здоровый климат*; *слепой* 1) не видящий, плохо видящий, 2) каузирующий быть слепым, например, *слепой человек* — *слепая ночь* (тьма); *печальный* 1) опечаленный, 2) печалющий, например, *печальный юноша* — *печальное известие*.

Метонимия индикативного типа основана на знаках подобной или собственно знаковой импликации «свидетельствования»: признак $P1$ свидетельствует, отмечает существование признака $P2$ как его условный, внешний индикатор. Ср. *зеленый* 1) как цвет и 2) как сигнал свободного пути; например, *зеленый свет* и *зеленая улица*. Связь признаков $P1$ и $P2$ в этом случае не только не специфицирована, но и в принципе произвольна, установлена общепринятым соглашением. В лучшем случае $P2$ является лишь внешним проявлением, дальним отголоском $P1$: $P2$ лишь сигнализирует на поверхность наличие глубинного $P1$, ср. *решительный* 1) полный решимости, 2) свидетельствующий о решимости, например: *решительный человек* — *решительный отказ*.

В основе контракционного типа адъективной метонимии лежат семантико-синтаксические процессы переподчинения и контракции, предполагающие вытеснение среднего термина в трехчленных цепочках последовательным подчинением слов, в результате чего первый член цепочки замыкается на третий, минуя второй: $N1 > N2 > N3 (< N2)$, ср. «трехгранная откровенность штыка» (Э. Багрицкий) $<$ откровенность трехгранного штыка, «длинный воздух коридора» (Б. Ахмадулина) $<$ воздух длинного коридора, «зеленый шум» (А. Н. Некрасов) $<$ шум зеленых дубрав (лесов, кустарников, трав и т. д.). Надо сказать, что это метонимия особого рода — от признака к классам вещей с этим признаком. Само прилагательное не меняет своего значения (или может не менять своего значения), оно лишь служит базой импликационного поиска вещей по признаку, который должен восстановить пропущенный средний термин (при переподчинении он вытесняется на периферию сочетания, а при контракции вообще опущен).

Отнесение этих случаев к метонимии довольно условно, поскольку семантическая модель таких словосочетаний ненормативна и требует домысливать или просто поставить на место средний термин. Импликация проходит путь не от признака к зависимому признаку, а от признака к вещам с этим признаком. Общее у этих случаев с типичной метонимией как сдвигом значения слова то, что в основе их и там, и тут лежит импликация ли-

нейно связанных концептов. Прилагательное в словосочетаниях с контракцией и переподчинением как-бы субстантивируется семантически, но не грамматически, оно означает класс вещей с данным признаком, не меняя, однако, своего грамматического класса, т. е. оставаясь прилагательным. Здесь имеет место тот же семантический процесс, что при обычной субстантивации прилагательных, только без смены части речи, ср. *белый* = (белый человек).

Надо заметить, что контракция — достояние не только поэтической речи, имеется немало случаев узуальной, привычной контракции, вроде «белой олимпиады, белой (красной) армии, сумасшедший дом» и т. п.

Денотаты среднего и третьего терминов чаще всего разные, так сказать, автономные вещи, но в частных случаях могут соотноситься как часть и целое, как целое и часть и, наконец, как признак и признак, ср. «залатанный старик» (А. Преловский) = старик в залатанной одежде, «коробелая рука» (А. С. Пушкин), «быстрый лед» = лед быстрого скольжения.

Возможны и случаи смешанного типа на основе сочетания некоторых из четырех основных типов.

Нетрудно заметить, что признаковая специфика семантических прилагательных исключает для них все разновидности метонимического переноса, которые предполагают линейные зависимости вещей — импликации от вещи к другой вещи, как то: место — предмет, лицо — предмет, предмет — лицо и т. п.

Обратимся теперь к глагольной метонимии. Родовая общность признаковой природы прилагательных и глаголов сказывается в том, что у тех и других обнаруживаются сходные типы метонимизации. Вместе с тем есть и различие, которое, очевидно, надо связывать с особенностями глагольной семантики — с временной характеристикой глагольного признака и соответственно с его преходящим, — разумеется, только в общей тенденции — характером, а также с развернутой валентностной структурой глагола, моделирующей структуру его сочетаемости и синтаксических связей.

Как было установлено в другом, также выполненном под руководством автора исследовании (Агеева Н. Г. Типология и механизмы глагольной метонимии в современном английском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1990), у глаголов обнаруживаются два типа метонимической деривации значений: простой и осложненный. В рамках первого отмечаются виды: каузальный, коллигативный, индикативно-знаковый, каузально-целевой и синекдохальный, а во втором типе — каузативный, конверсивный и обстоятельственный.

Принципиальная схема развития метонимического значения у глагола та же, что у прилагательного. В основе лежит импликация от признака к признаку (одной и той же вещи или разных, но линейно соотносимых вещей), и процесс проходит те же стадии. На первом этапе импликация со-

ставляет часть семантики исходного значения, оставаясь в поле его варьирования как контекстно подтверждаемое содержательное приращение, из тех, что ранее называли оттенками значения. На втором этапе импликация отпочковывается в отдельное словозначение, связанное, однако, с исходным значением «пуповиной» производности. При этом происходит перестройка в семантической структуре значения — смена вектора зависимости сем в значение Ср. «заткнуть рот» (англ. *gag*) *m1.1* буквальный (прямой) смысл, как в «заткнуть рот тряпкой»; *m1.2* — (заткнуть рот и поэтому лишить речи); *m2* = (лишить речи, заткнув рот).

Более того, тождественность общей схемы метонимизации прилагательных и глаголов обнаруживает себя в том, что возможен последующий, третий, этап тропеизации, когда метонимическое значение *m2* обобщается и служит базой для метафорического значения *m3*, смоделированного по *m2*: в нашем примере *m3* = /насиловать лишить речи/. Возможность этой метафоры доказывает реальность *m2* как отдельного словозначения, которым и завершается собственно метонимический процесс.

Различие между простой, собственно лексико-семантической глагольной метонимией и сложной, семантико-синтаксической состоит в том, что в первом случае не происходит существенного преобразования валентностно-семантической и валентностно-синтаксической структур глагола, а в случае сложного типа это происходит, так что дело не ограничивается импликационным семантическим сдвигом, а, кроме того, имеет место сдвиг в категориально-семантическом значении и в структуре семантико-синтаксических и формально-синтаксических валентностей глагола.

Простая каузальная метонимия основана на причинно-следственной зависимости признаков-действий (с векторами как от причины к следствиям, так и от следствия к причинам), а коллигативная — на неспецифицированной их зависимости признаков, ср. *sweat* 1) потеть; 2) тяжело работать; *complete* 1) заканчивать, завершать; 2) делать совершенным. Нетрудно видеть, что этому есть прямая аналогия в адъективной метонимии.

Каузально-целевая метонимия имеет в основании ассоциирование целей и способов их достижения. Этот вид признаковой метонимии несколько специфичен для глаголов, поскольку связан с идеей целенаправленных действий. Однако он недалек по своей концептуальной природе от каузальной связи (можно вспомнить, что Аристотель видел в цели конечную причину). Вектор семантической деривации опять-таки обратим, т. е. может быть направлен как от цели к действию-способу ее достижения, так и наоборот, ср. *dilute* 1) разбавлять жидкость, разводить, растворять; 2) лишать краску насыщенности, яркости; *discipline* 1) дисциплинировать; 2) наказывать для привития дисциплины.

Возможна синекдохальная партитивная модель ассоциирования признаков, когда один из них составляет часть другого, имеющего более сложную структуру, причем чем вектор деривации может быть направлен

как от части к целому, так и от целого к части, ср. *breathe* 1) дышать; 2) жить; *live* 1) жить; 2) питаться (*live on*). Индикативно-знаковый вид простой-глагольной метонимии аналогичен соответствующему виду адъективной метонимии и основан на связи признака и его условного заместителя, индикатора. Зависимость между ними остается линейной: хотя индикатор и выходит за границы онтологии признака, но воспринимается как его продолжение, рефлекс, хотя бы и присвоенный условно. С учетом того, что жесткой границы между знаками нет, этот случай семантической деривации предполагает все же семиотизацию действий, даже если сохраняется естественная мотивация конвенционализированного признака. Ср. *shut* 1) закрывать; 2) прекращать работу (о магазинах, кафе и т. д.); *unveil* 1) снимать покрывало; 2) торжественно открывать (о памятнике).

Конверсивный вид глагольной метонимии, также имеющий свой аналог в моделях семантической деривации прилагательных, предполагает жесткую зависимость конверсивных признаков в разных вещах, связанных несимметричным отношением. Глаголы, как и прилагательные, описывая такие отношения, способны развивать в своей семантике энантиосемию конверсивного вида. В таком случае глагол описывает конверсивное отношение с позиций разных его аргументов по их статусу в этом отношении. Изменение семантики глагола сопровождается при этом перестройкой валентностных схем. Ср. *smell* 1) пахнуть (*the flower smells well*); 2) нюхать (*the girl smells the flower*). Аналогичным примером в семантике прилагательных может служить *curious* 1) любопытный / = возбуждающий любопытство/, ср. *a curious glance, a curious news*. В первом значении прилагательное описывает аргумент, в котором возбуждено (каузировано) любопытство, во втором — аргумент, возбуждающий (каузирующий) любопытство, входным образом, но независимо от идеи каузации, глагол в первом своем значении описывает аргумент *X*, эманлирующий признак *P*, а во втором — аргумент *Y*, устанавливающий эманацию признака *P* (*X*).

В принципе любой из конверсивных признаков может стать основой деривации другого, так как они взаимно предполагают друг друга и в этом смысле равноценны, будучи рефлексам несимметричного отношения в аргументах. Однако в семантической структуре признаков слов с конверсивной семантикой одно из конверсивных значений может быть первичным, а второе — производным. Соответственно первое обычно более свободно в реализации своего номинационного потенциала, в то время как на второе чаще всего наложены определенные ограничения.

Кроме того, конверсивная энантиосемиа каузального типа у глаголов вторгается в область значений, выражаемых залогом (актив — пассив) и под давлением последнего вытесняется в свободную семантическую нишу — выражение не столько одного из полярных конверсивных признаков, сколько каузированного состояния. Таким образом, по меньшей мере в тенденции, признаковое слово конверсивной семантики оставляет за собой

выражение признака каузирующего аргумента и каузированного им в других вещах признака (состояния, свойства). Это в особенности справедливо относительно прилагательных, ср. *healthy climate — healthy person, mortal wound — mortal man* и т. п. Но эту же тенденцию обнаруживают и глаголы. Если в случаях типа: *sell* 1) продавать (*he sells the books*); 2) продаваться (*the books sell well*); *freeze* 1) замораживать; 2) мерзнуть, замерзать, — глагол выражает оба полярных конверсивных признака, то в случаях типа: *wash* 1) стирать (*to wash the cloth*); 2) стираться (*the cloth washes well*); *feed* 1) кормить; 2) кормиться, есть, питаться, — в семантической структуре глагола выражена одна, каузирующая сторона конверсивного противопоставления, а другое значение выражает каузируемый признак независимо от каузации — как собственное свойство вещи.

Обратим внимание на то, что каузация — лишь один из видов возможных несимметричных отношений — отношений, в которых аргументы различаются статусом (ролью) и соответственно — полярными конверсивными признаками, возникающими и существующими у аргументов только в данном отношении. Что дело не ограничивается одной каузацией, видно уже из приведенных примеров, ср. *smell* 1) пахнуть; 2) нюхать; *sell* 1) продавать; 2) продаваться и т. п.

Обстоятельный вид глагольной метонимии специфичен для глаголов и связан с наиболее радикальной перестройкой как структуры значения, так и валентностно-сочетаемостных схем глагола. Однако и в этом случае основой деривации значения остается линейная, импликационная зависимость концептов исходного и производного значений, хотя тут она наиболее свободна, и поэтому деривационный поиск нуждается в поддержке со стороны синтаксической структуры и ее лексического наполнения.

Этот вид глагольной метонимии назван обстоятельным потому, что он основан на ассоциировании действия с обстоятельствами его осуществления. Примером могут служить случаи типа «мимо грохочут поезда». Звук ассоциирован с порождающими его обстоятельствами. Поскольку они могут быть разнообразными, преобразованное значение уточняется из синтаксической структуры, в которую помещается глагол, совокупно с ее лексическим наполнением на уровне семантических классов слов. В результате исходное значение преобразуется по типичной для метонимии схеме: оно сохраняется в производном значении в качестве его гипосемы (дифференциального признака), а гиперсема домысливается из обобщенного значения синтаксической структуры, конкретизируемого ее лексическим наполнением, ср. *грохотать* 1) производить грохот; 2) двигаться, производя грохот. Нетрудно видеть, что исходное значение составляет гипосему производного и играет в нем роль обстоятельного уточнителя.

Обстоятельная модель семантического преобразования весьма свойственна для глаголов с семантикой звучания: издавать звук — дви-

гаться, издавая звук, — с различной мерой узуального освоения таких метонимов. В целом сравнение адъективной и глагольной метонимии обнаруживает значительное сходство в механизмах и моделях (видах и разновидностях) тропеизации, что надо отнести на счет общей природы признаков семантики. Как уже отмечено, деривация метонимов на основе импликационного ассоциирования причин и следствий (в том числе условий и результатов) или на основе неспециализированной совместной встречаемости, пространственной и временной сцепленности признаков (одновременной или последовательной) имеет прямые аналоги в обоих частях речи. То же можно сказать и об индикативном, или условно-знаковым, типе (виде) тропеизации, равно как и о конверсивной деривации, включая деривацию каузативного вида.

Вместе с тем специфика признаковой семантики в каждом случае: отсутствие — наличие временной характеристики признака, большая/меньшая стабильность и характерность признака, меньшая/большая развернутость структур семантической и формальной валентности прилагательных и глаголов и соответственно меньшая — большая (определяющая) проективность этих структур на структуру словосочетаний и предложений со словами этих частей речи, — обуславливает заметное своеобразие метонимического варьирования прилагательных и глаголов. Контракционный тип специфичен для прилагательных, обстоятельственный — для глаголов. Спектр конверсивной деривации значений более широк у глаголов, в то время как у прилагательных он в основном сводится к каузативной зависимости.

Интересно и другое обобщение: в чем признаковая метонимизация отлична от субстантивной (вещной) и как исследование первой видоизменяет общее представление о метонимии и ее механизмах. Природа признаков такова, что понятие «смежности», на котором основано понимание вещной метонимии, а с ней и общее традиционное представление о метонимии, перестает работать и приносить пользу даже как метафора. Вместе с тем более четко выявляется общая основа этого типа ассоциирования концептов (понятий и представлений) — импликация и сформированные на ее основе импликационные концептуальные связи сознания. Конкретные модели импликационного ассоциирования вещей, кроме причинно-следственной и индикативно-знаковой связи, а также простой, неспецифицированной, совместной встречаемости сущностей, не совпадают. Строго говоря, и мыслительная связь между вещью-причиной и вещью-следствием представляет собой свернутую связь между признаками этих вещей, редуцированную пропозицию: одна вещь выступает причиной другой в силу каких-то своих признаков и имеет она своим следствием не просто другую вещь, а ее появление (пропозиция осуществления вещи) или изменение. Другие многочисленные импликации (инференции) от вещи к вещи, вроде «материал — изделие», «емкость — наполнение», «автор —

произведение», «объект знания — отрасль знания» и т. д. и т. п., конечно, не свойственны признаковой метонимии.

Таким образом, признаковая метонимия выявляет реальный смысл метафоры «смежность денотатов» в традиционном понимании механизмов этого тропа. В результате мы приходим к гораздо более широкому и адекватному обобщению: в основе метонимической тропеизации лежит импликационное ассоциирование концептов как отражение совместной встречаемости, линейной зависимости сущностей, будь то вещей или признаков, а генеральная модель метонимической деривации значений во всех ее разновидностях сводится к тому, что исходное (производящее) значение составляет гипосему значения метонима, в то время как его гиперсема домысливается из круга концептов, импликационно связанных с исходным значением.

Ср. *вечер m1* = определенная часть суток; *m2* = вечернее увеселительное мероприятие; *m3* = вечернее времяпровождение, как, например, в «подари мне этот вечер»; *m4* = погода вечером, как в «был дождливый вечер» и т. д.

Сходным образом прилагательное *зеленый m1* = зеленого цвета, *m2* = неспелый, потому что зеленый; *m3* = свежий, потому что зеленый (о траве, растительности); *m4* = сочный, потому что зеленый (о траве, растительности); *m5* = молодой, нестарый, потому что зеленый (о траве, растительности) и т. д. Акцентирован один из признаков, или они мыслятся в связке.

Так же в глаголе *закрывать m1* = затворить; *m2* = прекращать работу, затворив вход; *m3* = преграждать доступ, закрыв (*m1*) проход; *m4* = охранять, оберегать, закрыв чем-либо; *m5* = не давать видеть, скрывать, закрыв чем-либо, и т. д.

Как видим, семантика слова метонимически варьирует в поле импликационных связей исходного концепта, и это варьирование всякий раз происходило по одной и той же принципиальной схеме. В символически обобщенном виде эта схема (генеральная модель варьирования семантики слова в метонимическом поле) может быть представлена в следующем виде:

$$\left. \begin{aligned} m1(w) &= A \\ m2(w) &= \frac{a}{b} \\ m3(w) &= \frac{a}{c} \\ mi(w) &= \frac{a}{x} \end{aligned} \right\} \text{при } a \leftrightarrow b \text{ } c \dots i.$$

Пояснения к символике, *w* — слово, *m1* — исходное значение, *mi* — любое из метонимических значений; в числителе — гипосема (дифференциальный признак), в знаменателе — гиперсема (родовой признак), \leftrightarrow оз-

начает импликацию концептов, которая в принципе может быть обоюдо-направлена; один и тот же концепт обозначен одной и той же буквой, заглавной, когда она составляет значение слова, и строчной, когда она составляет только часть значения (сему).

Понятно, что у разных потенциальных метонимов разные шансы реализоваться и это зависит от номинационной потребности в них, а также от меры ассоциативного сближения концептов: поле импликационного ассоциирования, как и всякого ассоциирования концептов, представляет собой, помимо прочего, вероятностную структуру. Это означает, что связи ассоциированных концептов имеют вероятностную оценку (разумеется, в терминах приблизительной, так называемой житейской вероятности).

3.3. Метафоризация признаков слов

Метафора, как известно, предполагает сходство денотатов, на основе чего имя одного становится также именем второго в силу того, что это второе вообще не имеет имени и нуждается в обозначении или же имеет свое первичное имя, которое, однако, по какой-либо причине не отвечает вполне целям коммуникации и в чем-то необходимом уступает метафоризируемому имени.

Сходство выявляется в сравнении, и этот тип мыслительных операций, операций сличения и различения, поиска общего и различного, сопоставления, отождествления, идентификации, разграничения и классификации противопоставлен мыслительным действиям импликационного типа. Результатом мыслительных операций сравнения сущностей являются компаративные структуры сознания.

Компаративные концептуальные связи придают глубину представлениям о мире и лежат, таким образом, в измерении, перпендикулярном импликационным структурам сознания, так как отражают не линейные зависимости сущностей, а являются мыслительным аналогом распределения признаков в сущностях. Они сводят разнообразие мира к единообразному и различному, типологизируют его сущности и выстраивают их в иерархии общего. Проецируясь на линейные связи сущностей, классификация вскрывает закономерное в них.

Сравнение как мыслительная операция осуществляется для понимания (или более полного понимания) чего-то менее известного или менее понятного через соотнесение с чем-то более известным и понятным. Сравнивают, чтобы установить черты общего и различного у сравниваемых объектов (аргументов сравнения) и тем самым понять менее известное через более известное хотя бы в тех пределах, которые требуются для данного случая. Аргументы сравнения обозначались по-разному, но обозначения плохо прививались, поэтому наряду с словесными терминами дадим сим-

воле: A_+^C — аргумент сравнения, с которым сравнивают (объект или база сравнения); A_-^C — аргумент, который сравнивают (объект сравнения); P_c — признаки, общие для A_+^C и A_-^C (основание сравнения). В частном и крайнем случае A_+^C (база сравнения) обладает лишь тем преимуществом перед A_-^C (объектом сравнения), что у A_+^C есть должное обозначение, в то время как у A_-^C или нет имени вовсе, или нет имени такого, какое требуется для данного случая.

Сравнение предполагает ту или иную меру знания своего объекта, но концептуализация A_-^C осуществляется через A_+^C , так как для мерила сравнения уже найдено место в концептуальной системе и эта система спроецирована и отразилась в содержании и структуре этого концепта.

Если отвлечься от тех случаев сравнения, когда мерило сравнения — единичная сущность, а вести речь о сравнении с чем-то на уровне класса, то обнаруживается, что сравнение может вестись по двум направлениям — по линии интенциональных признаков понятия о мериле сравнения и по линии его импликационных признаков. Речь идет о том, что всякое понятие о классе открывает в своем содержании две части — интенциональную и импликационную. Первая представляет собой отражение в структуре понятия той иерархической концептуальной системы с различными уровнями обобщения, в которую помещено данное понятие. Интенционал — структурированная совокупность признаков, обязательных для сущностей данного класса. В свою очередь, он распадается на две части — родовую (гиперсеми) и видовую (дифференциальные признаки класса, или гипосема).

Импликационную часть содержания понятия образуют те признаки сущностей данного класса, которые, не будучи обязательными для всех сущностей этого класса, так или иначе связываются с ним как положительные или отрицательные импликации из классообразующих признаков.

Импликационные признаки в совокупности образуют информационную вероятностную ауру понятия, его импликационал. Они организованы в структуру за счет своих вероятностных характеристик и внутренних взаимозависимостей.

Когда сравнение идет по линии интенциональных, классообразующих признаков мерила сравнения, мы имеем дело со сравнением-классификацией. Когда же оно идет в противоположном направлении, по линии импликационных признаков, мы имеем дело со сравнением-анalogией, или симуляцией. Соотнося зайца с кроликом и безбилетным пассажиром, в обоих случаях сравнивают, но в первом идут по лестнице родо-видовых обобщений и имеют дело с классификационным сравнением, а во втором — имеют дело со сравнением по аналогии, так как усматривают сходство объекта с мерилем сравнения (зайцем) на уровне ниже классообразующих признаков последнего. Это и есть область метафор: она имеет место отнюдь не при любом сходстве денотатов, а только при анало-

гическом, т. е. сходстве вне классификационных схем за рамками родовых сближений. Это сходство сущностей по импликационным признакам при различии признаков родовых.

Сравнение как синтаксическая структура является только частным проявлением некоторого суженного спектра мыслительных операций сравнения. Метафора имеет более широкую мыслительно-операционную базу, чем синтаксическое сравнение, и поэтому лишь частично коррелирует с ним. Кроме того, и нормативно-языковая база метафоры несравнимо более широка, чем у синтаксического сравнения. В совокупности это объясняет несводимость одного к другому.

Таким образом, к сравнению прибегают ради установления сходств и различий и в конечном счете для того, чтобы категоризировать объект сравнения через соотношение с уже категоризированным объектом — базой сравнения. Основание сравнения, т. е. общие признаки двух сравниваемых сущностей, могут совпадать с гиперсемой базы при различии в дифференциальных признаках, и тогда сравнение устанавливает однородность (эквоницию) сущностей: они принадлежат к разным подклассам одного класса.

Сравнение может установить преемственную во времени общность телесной оболочки вещей, и тогда они отождествляются как одна вещь в возможных ее ипостасях, сколь бы ни было велико различие между ними (а оно может быть настолько велико, что меняет не только класс сущности, но и ее таксономический статус).

Может случиться и так, что сравниваемые вещи обнаруживают общность дифференциальных (видовых) признаков при различии родовых, ср. сестра, дочь, девочка; машинистка, секретарша; львица, тигрица — все они, относясь к разнородным классам, сходны по видовому признаку — женскому полу; это как будто дает основание перевернуть вектор категоризации, объединить их в один ряд, сделав дифференциальный признак родовым, но такой род рассыпается, так как его членение не основано на едином *principium divisionis*.

Можно еще при сравнении понятий о роде и виде обнаружить, что общие для них признаки исчерпывают содержание первого, а во втором дополнены видовыми.

В целом, если у сравниваемых сущностей обнаруживают общие родовые признаки при различии видовых, то они относятся к разным видам одного рода. Если сравнение установило общность только родовых признаков, то установлена общность рода, а вопрос о виде сущностей остается открытым. Если идентичны и родовые, и видовые признаки, сущности относятся к одному роду и одному виду. Все это элементарные классификационные операции, и в иллюстрации они не нуждаются. Интереснее, как мы видели, тот случай, когда две сравниваемые сущности обнаруживают общность (тождественность) дифференциальных признаков при различии родовых,

ср. сын — ребенок мужского пола и отец — родитель мужского пола; жена — female spouse и дочь — female child и т. п. Ср. также холостяк = неженатый мужчина, девица — незамужняя женщина. В подобных сближениях сущности разнесены по разным классам: хотя они имеют общий признак, не он положен в основание классификации.

Возможен и такой случай, когда общий признак двух разнесенных по классам соответственно именованных сущностей составляет гиперсема одного имени и гипосема другого ср. холостяк = unmarried male one и муж = male married one; девица = unmarried female и жена = female married one. Еще более показательна следующая пара, где в обоих словах одинаков состав сем в интенционале, но различен их статус в структуре (различен вектор их зависимости), и этого вполне достаточно, чтобы понятия и значения различались: муж = male married one и женатик = married male, one (гипосема и гиперсема поменялись местами).

Для нас в этом анализе существенно одно: все варианты сближения сущностей по признакам не имеют отношения к метафоре и не могут послужить основой для метафоризации имен, пока сходство/тождество признаков замкнуто рамками интенционалов двух концептов. Метафора начинается с выходом сравнения в область их импликационалов.

Итак, метафора непременно предполагает некоторую, большую или меньшую, меру сходства в признаках за пределами интенционала базы, т. е. в импликационале понятия о базе сравнения. С этой точки зрения интересны примеры, вроде «лес (мачт)». Интуиция относит их к метафоре, но верно ли это? Анализ как будто склоняет видеть в них обобщение исходного значения: лес = 1) относительно большой и достаточно плотный массив деревьев; 2) относительно большой и достаточно плотный массив однородных единиц (как в «лес мачт»). Но, присмотревшись внимательнее, мы увидим, что толкание переносного значения неточно: оно упускает из виду некоторые дополнительные признаки, а именно признаки из импликационала представлений о дереве — нечто достаточно высокое, с поперечником много меньше длины с ветвями (такелажем) и др. Именно эти признаки выводят лес-1 из своей классификационной области в аналогичскую и, минуя этап простого обобщения семантики, дают в итоге лес-2 — метафору, в структуре которой они, эти импликациональные признаки, играют роль гипосемы, так что лес-2 = многочисленный, плотный массив высоких стволообразных единиц. По той же причине некорректными оказались бы выражения, вроде «лес домов, камней» и т. п.

Традиционное представление о метафоре как о переносе наименования на основе сходства денотатов справедливо лишь для имен собственных, когда имя собственное, обозначающее некоторый примечательный денотат с характерными признаками (преимущественно в функции описания и оценки с ослабленной способностью к репрезентации класса и его представителей).

В остальных же случаях, т. е. для имен нарицательных и признаков слов, определение метафоры должно быть уточнено: это перенос наименования с одного класса сущностей (вещей и признаков) на другой на основе частичного сходства их импликационных признаков, т. е. на основе аналогического сходства классов.

Основание для сравнения и аналогического сближения сущностей может корениться в онтологии сущностей, т. е. в их собственных признаках, которые они обнаруживают независимо от операции сравнения. Сближения такого рода лежат в основе онтологических метафор. В этом случае основанием сближения сущностей в сознании служат физически тождественные признаки, одинаковые по природе.

Однако в отличие от интенциональных сближений сущностей, которые непременно предполагают онтологическую тождественность (идентичность) признаков, аналогические сближения, даже если у них есть свой коррелят в онтологии сущностей, могут базироваться не только на онтологической идентичности признаков, но и на их моделированном, гомоморфном (отображательном) сближении, т. е. на идентичности признаков не по их онтологической природе, а по месту в структуре прототипа — базы сравнения и моделированном объекте сравнения. Например, *медведь как животное* и *медведь как неуклюжий человек* полагаются сходными по онтологически идентичному (признаку неуклюжести). Напротив, сходство между приемом гостей и приемом информации, схватыванием вещей и схватыванием идей основано не на онтологии признаков, а на их структурной роли при отображательном моделировании одной сущности через другую. Моделирование имеет место в обоих случаях, но в одном случае, более простом и наглядном, оно предполагает физическую однородность признаков, а в другом, более сложном и ненаглядном, — оно довольствуется структурным их сходством.

Однако в обоих случаях сходство признаков существует до сравнения и лишь обнаруживается в нем. Поэтому здесь мы имеем дело с онтологической метафорой — прямой и транспонированной, основанной на сходстве физической природы и структурной роли признаков сходства. Вместе с тем признаки сходства, хотя в конечном счете и коренятся субстанционально в самих сравниваемых сущностях, могут быть обязаны своим сближением самим процессам и механизмам восприятия сущностей и их субъективно-оценочному эмоциональному переживанию воспринимающим субъектом. Оба эти случая служат основой синестезической и эмотивной метафор. В обоих случаях денотаты обязаны сближением не собственным признакам, не субстанциональной онтологической близости, а сходству в характере их восприятия и переживания. Сходство порождается не онтологией объектов, а механизмами переработки, и представления информации должно быть отнесено на их счет.

Случаи онтологической и синестезической метафоры хорошо известны, менее известна метафора эмотивная — перенос на основе сходства эмотивно-оценочного впечатления о денотатах.

Синестезическая и в особенности эмотивная метафоры, каждая в совокупности своих примеров, напоминают разнонаправленные воронки. При синестезии узкий вход воронки обращен к достаточно ограниченному числу признаков слов, описывающих сенсорные признаки, а из широкого выхода воронки «изливается» гораздо большее число их синестезических переосмыслений — метафор, широкий диапазон разнообразных и разнородных, нечетко разграниченных и недостаточно систематизированных, более абстрактных по природе и потому качественно более аморфных признаков, относящихся к описанию чувственных и духовных состояний, психических реакций, переживаний и ощущений более тонкой сферы, чем показания базисных чувств.

Напротив, при эмотивной симиляции широкий вход воронки обращен к многочисленному кругу имен вещей, признаков и событий, способных вызвать острую эмоциональную реакцию, а на узком выходе воронки все они сплавляются в ограниченное число эмотивных метафор — переносных наименований связанных с ними базисных оценок и эмоций разной меры интенсиности.

Существенно заметить, что в множестве случаев метафоры синкретичны еще в том смысле, что сходство или тождество онтологических признаков дополняется сходством на уровне восприятия и/или переживания соотносимых денотатов. Тем самым, относя метафору к одному из трех этих видов, мы часто устанавливаем не единственный, но преимущественный тип сходства — по онтологии сущностей, по сходству сенсорного их восприятия, по сходству эмоционально-оценочного эффекта, нередко сочетающихся воедино в той или иной пропорции.

Приведем примеры: *обезьяна* = 1) как животное, 2) кривляка (онтологическая прямая метафора); *бороться* = 1) как в «бороться на ковре», 2) как в «бороться со сном» (онтологическая транспонированная метафора); *сырой* = 1) как в «сырое мясо», 2) как в «сырое решение» (онтологическая транспонированная); *мягкий* = 1) как в «мягкий грунт», 2) как в «мягкий выговор», 3) как в «мягкий характер», 4) как в «мягкие нравы» и т. д. (синестезические метафоры); *вишневый* = 1) завшивевший, скверный, очень плохой; *собачий* = 1) относящийся к собаке, 2) скверный, очень плохой; *вонять* = 1) издавать дурной запах, 2) совершать нечто дурное, скверное; *капитальный* = 1) основательный, 2) очень хороший; *мощный* = 1) обладающий мощью; 2) очень хороший (эмотивные метафоры).

Онтологическую метафору, прямую и транспонированную, сближает с синестезической (и отличается от эмотивной) то, что в каждом случае так или иначе, всякий раз по-своему стремятся опосредованно, на основе некоторого сходства обозначить какие-то признаки в самом объекте сравнения.

Поэтому они сводятся в общую категорию когнитивных метафор, которым противостоит метафора эмотивная, связанная с переключением из когнитивного плана сознания в эмотивно-оценочный. В целом, таким образом, по характеру признаков сходства имеем следующие разновидности метафоры:



Поскольку сущности (классы сущностей) могут обладать открытым (неконечным) множеством признаков, импликационно связываемых с ними, аналогическое уподобление одной сущности другим может идти по многим линиям. Этим обеспечивается семантическое варьирование соответствующего имени в метафорическом поле: потенциально имена располагают открытым множеством возможных метафорических переосмыслений. Какая-то часть из них попадает в узус, другие — остаются окказиональными, третьи никогда не реализуются в речи. Возможность реализаций потенциальной метафоры зависит прежде всего от номинативной потребности и силы (яркости) аналогического ассоциирования концептов.

С учетом сказанного семантическое варьирование в метафорическом поле слова w с исходным значением (интенсионалом значения) $m1 = A$ можно символически в общем виде представить так. Условимся, как и ранее, помещать гипосему в числитель условной дроби, а гиперсему — в знаменатель. Импликационные признаки будем помещать справа от интенционала. Будем также одни и те же понятия (концепты) изображать одинаковыми буквами, заглавными, если они составляют значение (интенционал значения) слова, и строчными, если они оказываются только частью в структуре значения, т. е. семами:

$$m1(w) = A, b, c, \dots i \dots$$

$$m2(w) = \frac{b}{x}$$

$$m3(w) = \frac{c}{y}$$

$$mi(w) = \frac{i}{z}$$

.....

Пояснения. Переменные x, y, z обозначают классы, в которых возможны подклассы, конституированные соответственно признаками b, c, i . Символ i обозначает любой из признаков в импликационале слова w с исходным интенционалом A , а также любую связку импликациональных признаков w . Таким образом, $mi(w) = i/z$ является обобщенной формулой варьирования слова в метафорическом поле, при том, конечно, условии, что денотат D исходного словозначения $m1$ схож с денотатом $D2$ метафорического словозначения $m2$ признаком b , а в общем случае денотат $Di(mi)$ схож с $D1(mi)$ признаком i .

Пример. Импликационал слова «собака» включает разнообразные семантические признаки: агрессивность, злобность, преданность, заискивание, скверные условия существования и пр. Все эти признаки порознь или в той или иной связке находят свое отражение в метафорических сдвигах значения слов этого корня, ср. *«собачья жизнь, собачиться, собаке — собачья смерть, собачья верность»* и т. д.

Тем самым метафору можно определить как перенос наименования с одного денотата или класса денотатов на другой на основе их аналогического сходства. Общая схема семантического словообразования при метафорическом сдвиге состоит в том, что признаки сходства двух (классов) денотатов относятся к импликационалу исходного словозначения, а в производном составляют его гипосему, при этом гиперсемой производного значения может быть понятие о любом классе, в котором возможны подклассы, конституируемые признаками сходства. Сами признаки сходства могут быть онтологической природы или корениться в способе восприятия или характере эмотивно-оценочного переживания денотатов.

Эта общая схема действует и при метафоризации признаков слов. Ср. *сырой* 1) насыщенный влагой — невысохший, невысушенный — не подвергшийся должной физической обработке и поэтому неготовый к использованию, 2) умственно, творчески не обработанный должным образом и поэтому не готовый к использованию, ср. *«сырые идеи, сырой (газетный и пр.) материал»*.

Обращает на себя внимание типичное для признаков слов развертывание метафорического процесса. Во-первых, как при любой признаковой тропеизации (ср. выше с метонимией), в расчет принимается характерная субстанциональная база признака, его бытие в вещах, так что метафора отвлекается не просто и не напрямую от признака и связанного с ним импликационного фона, а от характерных вещей (классов вещей) с этим признаком. Субстанциональная база признака конкретизирует актуализацию импликациональных признаков исходного словозначения и формирует моделирующий потенциал признаковой метафоры. В нашем примере субстанциональной базой служит, очевидно, класс и образ растительных, прежде всего древесных объектов как материал для использования человеком.

Во-вторых, задействованная часть импликационала исходного значения развертывается в сторону обобщения и сравнение денотатов осуществляется по обобщенному импликациональному признаку, ср. *сырой* 1) насыщенный влагой — не высохший, не высушенный — не подвергшийся должной физической обработке и поэтому не готовый к физическому же использованию. Для метафоры это общее правило: процесс метафоризации проходит промежуточную стадию генерализации основания сравнения (признака сходства денотатов). Сравнение осуществляется по этому обобщенному признаку *p*, только затем, аналогически перейдя на новую субстанциональную базу (в нашем примере — предметы духовного творчества), признак снова конкретизируется методом моделирующего сравнения применительно к новой сфере своего бытия. В нашем примере конкретизация обобщенного признака при его аналогическом переносе состоит в том, что «не готовый к использованию» трансформируется применительно к продуктам духовного творчества, «не доведенный "до ума" и поэтому не готовый к духовному использованию».

В-третьих, очевиден обязательный для метафоры аналогический ход сравнения — перенос в иную классификационную и предметную сферу, в нашем примере — из физической в духовную. Иначе говоря, сравнение тут основано не на интенциональной, а импликациональной базе признаков исходного понятия. Поэтому *сырая доска* и *сырая статья* принадлежат к разным классификационно-предметным областям и сходны они отнюдь не по сырости/влажности (хотя, понятно, сырая статья может содержать немало «воды»), а по некондиционности каждая в своей сфере.

Сходным образом обстоит в общем плане дело с глагольными метафорами, так что можно обойтись минимальными пояснениями. Например: *захлебнуться* 1) о людях — испытать попадание жидкости в дыхательные пути — пострадать, задохнуться от этого — лишиться жизни, потеряв дыхание — лишиться жизни, стать недвижимым; 2) о какой-либо акции, в особенности военной, потерпеть неудачу и прекратиться, ср. *атака захлебнулась*. Это пример нестандартной метафоры с осложненной структурой в силу того, что она основана на затянутой импликации в несколько шагов. Применительно к атаке исходный образ моделирует и актуализирует в производном, помимо общей идеи неудачной акции, представления об опасности для жизни и «захлебнувшихся» криках атакующих.

Приведем еще пример признаковой глагольной метафоры с более простой структурой: *дремать* 1) (о людях, животных) находиться в состоянии неглубокого сна — быть в состоянии расслабленного покоя; 2) (о предметах вне класса реально дремлющих, как, например, «шхуна дремала») находиться в состоянии расслабленного покоя, не обнаруживать активности, движения. Здесь метафора возникает на первом шаге импликационного развития исходного значения с обобщением расслабленный

покой — неподвижность и опять же переходом из одной предметной области в другую при аналогическом их сходстве.

В случае вещной метафоры домысливается гиперсема производного значения — из числа классов, в которых возможны подклассы, конституируемые признаком сходства (см. определение метафоры выше), например: *медведь* 1) определенный вид животного, полагаемого неуклюжим; 2) неуклюжий человек (обычно, но вообще любое неуклюжее существо).

Как можно видеть, есть сходство в семантических механизмах метафоры и метонимии: в обоих случаях признак сходства составляет гипосему производного значения. Кроме того, в обоих случаях множества денотатов, обозначаемых исходным и производным словозначениями, вневположены, ср. с обобщением или специализацией значения, когда множества включены одно в другое. Различие же заключается в том, что в одном случае признак сходства в исходном значении играет роль интенционала (метонимия), а в другом — берется из области импликационала (метафора). Кроме того, в одном случае денотаты линейно сопряжены, а в другом — сходны.

И при метонимии, и при метафоре гиперсема производного значения домысливается. Иначе говоря, домысливается род тропеически обозначаемых денотатов. Для говорящего такое домысливание не составляет труда, обозначаемое для него уже задано, надо лишь найти ему адекватное имя. Для слушающего тут может быть проблема, и он решает ее, опираясь на модель тропеизации, ситуацию и контекст речи и непосредственное наблюдение обозначаемого.

Надо сказать, что гиперсема (родовой признак) в структуре любого понятия (а равным образом, и значения) вычленяется с той мерой отчетливости, с какой сознанием отработана классификационная схема, родовидовая или холо-партитивная, в которую помещают данное понятие. Во многих случаях человеческая практика лишь слабо и непоследовательно намечает ее, допуская значительную неопределенность и пробелы в иерархии последовательных обобщений. Это справедливо относительно семантической структуры многих разрядов существительных, и тем более справедливо относительно семантики признаков слов. Еще более это справедливо относительно тропеических производных значений, поскольку троп часто вторгается в область обозначения того, что потому и не обозначено в языке, что еще должным образом не освоено в сознании и практике людей, а в случае метафоры троп стремится постичь структуру неявного, сложного, моделируя ее аналогически через структуру освоенного, простого.

Поэтому во многих случаях в семантике признаков тропов, в особенности метафорических, плохо проработана и лишь частично намечена внутренняя родо-видовая структура их интенционалов. Иначе говоря, в них часто слабо выявлена гиперсема, и место тропеически выраженного при-

знака, в особенности метафорического, в родо-видовой (или холо-партиитивной) иерархии осознается часто лишь на уровне самых обобщенных категориальных представлений: свойство, качество, состояние, действие (движение, воздействие и т. д.), процесс и т. п., в то время как бывает затруднительно указать ближайший род признака.

Тем самым общие схемы механизмов признаковой тропеизации, хотя и справедливы в принципе, должны приниматься с определенной мерой условности, особенно что касается признаковых метафор. По самой природе тропа как средства вторичной, опосредованной семантизации словесного знака, уже задействованного в системе первичного распределения концептов по номинативным единицам, тропы на первой стадии своего существования лишь нащупывают свой интенционал, и структура этого интенционала часто неопределенна, достаточно аморфна, подвижна, представляет скорее поиск, чем сложившееся образование с четким разделением родовой (холистской) и видовой (партиитивной) частей.

Практически это означает, что при анализе семантики признаковых тропов, в особенности метафор, можно обходиться без вычленения гиперсем всякий раз, когда иерархия признаков лишь слабо намечена сознанием.

Однако в любом случае, и при метонимии, и при метафоре, осуществляется осознанный переход из одной предметно-понятийной области в другую, совершается категориальный сдвиг, т. е. денотат тропеического значения заведомо исключается из класса, очерчиваемого гиперсемой исходного значения и переводится в иной. Каким бы ни было представление новой внеположенной предметной области, оно составляет родовую часть производного значения, с разной мерой определенности вычленимую в его структуре. Четкость представления о гиперсеме производного теряется на пути от онтологической метафоры к синестезической и утрачивается при метафоре эмотивно-оценочной. Это понятно. Синестезическая метафора силится описать широкую гамму интериорных, ненаглядных, скрытых от прямого наблюдения ощущений, переживаний, латентных психических функций — описать их в терминах первичных, простейших ощущений благодаря «прямому замыканию» первых на вторые. От сравнения самих сущностей здесь переходят к сравнению ощущений от них, однако целью метафоры остается идентифицировать, назвать и описать некий признак посредством синестезического сходства его с известным признаком из иной таксономической сферы. Что же касается эмотивно-оценочной метафоры, то ее цель не именование признака, а эмотивно-оценочная квалификация вещи без попытки раскрыть онтологическое основание такой квалификации.

Далее рассмотрим конкретные примеры метафорической тропеизации признаковых слов, сначала адъективных, затем глагольных с тем, чтобы убедиться, насколько справедливы и адекватны изложенные выше общие представления о механизмах признаковой метафоры.

Прежде всего вернемся к относительным прилагательным. Как было сказано ранее, относительные, а точнее — аргументно-признаковые прилагательные называют не признаки в собственном смысле слова, отношение к которым составляет признак денотата, определяемого этими прилагательными. Своей формой прилагательное лишь указывает на признаковую функцию слова, но отнюдь не всегда на признаковое значение.

Применительно к метафоре (и тропеизации вообще) это имеет то следствие, что аргументно-признаковое относительное прилагательное лишь дублирует тропеические процессы и семантическую структуру соответствующего существительного, сообщая им признаковую функцию, и не более того. Иначе говоря, метафорические значения относительного прилагательного строятся на импликационных признаках соответствующего существительного. Так, если в импликационале существительного «базар» имеются семантические признаки «беспорядочный шум массы людей, разбившихся на группы, где каждый преследует свои интересы и выражает их» и т. п., то они и становятся основой метафорических значений существительного и относительного прилагательного *базарный* = 1) имеющий некое отношение к базару, ср. *базарный день*; 2) свойственный базару в смысле шума, ругани, беспорядка, ср. у В. И. Даля *базарная, площадная брань*. Сходным образом в глаголе *базарить*: хотя конверсия существительного в глагол в прямом значении «торговать — покупать на базаре» не отмечена, но есть метафора на той же импликациональной основе «вести себя как на базаре — шуметь, кричать, ругаться».

Процесс метафоризации собственно признаковых прилагательных (и признаковых слов вообще) разворачивается на той же основе, что и в случае признаковой метонимии: метафора базируется не непосредственно на прилагательном в прямом значении, а опирается на характерную для него прототипическую субстанциальную базу, выявляемую в характерной для прилагательного сочетаемости с существительными, структуре его субстантивной валентности. По существу это представление о некотором характерном подклассе в классе вещей, образованном данным признаком. Впредь будем представление о таком классе называть моделирующим прототипом, или просто прототипом. Их может быть не один, а несколько, связанных в обобщенный прототип. В совокупности или порознь они формируют круг импликаций (инференций), на которых базируются возможные метафорические переосмысления признакового слова.

Для примера возьмем английское прилагательное *bare* в сравнении с его синонимами *naked* и *nude*. Для *bare* моделирующим прототипом служит представление о классе объектов, поверхность которых лишена нормативно положенного для них покрова, для *naked* это представление сужено до неприкрытого человеческого тела (и это объясняет большую, сравнительно с *bare*, экспрессивность (эмотивность) метафор с этим при-

лагательным), для *nude* к этому еще добавлено представление о намеренно обнаженном теле — демонстрация наготы.

В значительной мере импликационалы *bare* и *naked* совпадают, и это объясняет наложение метафорических полей двух слов, ср. *bare (naked) trees, facts, truth, room, rock* и т. д. Однако есть и заметные различия, заложённые в исходных образах. Разница не ограничивается экспрессивностью метафор. Субстанциональный прототип для *naked* имплицитно представляет о незащищенности, выставленности напоказ, лишенности необходимого ограждения от среды, потребности быть дополнением, ср. *naked soul, flame, light, faith, word* и т. п. У *bare* прототип иной, и помимо точек совпадения он имплицитно представляет о недостаточности, минимуме или отсутствии необходимого, желательного, нормативного, ср. *bare floor, cupboard, majority, necessities of life*.

В русском языке в этом пункте находим картину и сходную, и отличную. Обнаруживаются те же два исходных моделирующих прототипа: непокрытая поверхность и нагое тело. Однако они иначе скомбинированы и распределены по словам. «Голый» содержит в исходе оба моделирующих образа, «нагой» — только второй, причем с облагороженной эмотивно-оценочной прагматикой. Поэтому «голый» соединяет в метафорическом развитии тенденции, разведенные в английском по двум словам, ср. *голые стены, на голом полу, голыми руками, на голу ногу, с одной стороны, и голое тело, голый чистоган, голословный, голая истина* и т. д. — с другой.

Разумеется, лексико-семантические системы языков весьма своеобразны, потенциал семантического развития реализуется лишь отчасти и в каждом языке по-своему, так что в результате даже при сходстве изначальных импульсов к метафоризации, при общности импликациональной ауры исходных значений узус и идиоматика разных языков совпадают лишь частично: в игре участвует множество разнонаправленных факторов.

В исходе представлений о гладком лежит тактильное ощущение (ср. *гладить по голове* и т. п.) от ровной, без шероховатостей коже, шерсти, шкуре, ткани. Обобщаясь, это представление распространяется на иные поверхности — водную, травяную, древесную и т. д. Гладкое часто называется ровным, но это не одно и то же: в основе ровного лежит визуальное ощущение, гладкое, не обязательно ровное, ровное же обычно и гладкое. Ровное надо видеть, но можно ощущать и наощупь гладкое надо ощутить тактильно, например, проведя рукой: оно не создает препятствий движению, по нему легко скользится.

Первичный субстанциональный образ гладкого сопряжен с импликацией представлений о беспрепятственном движении, действии, с одной стороны, и о здоровом упитанном организме — с другой. На этой основе и возникают метафоры двойного рода, как в *все прошло гладко, без сучка и задоринки* и *от чего казак гладок поел да и на бок*. Ср. также *гладкие речи, гладко стелет*.

Со своей стороны исходное значение прилагательного «ровный» опирается на представление о поверхности без резких перепадов, ландшафте «спокойном» и, следовательно, легко обозримом, не содержащем неожиданного (поэтому и «спокойном»), не меняющемся резко. От этих импликаций и идут метафоры «ровного цвета, ровного характера» и т. п.

Однако ровный — не плоский, потому что ровное не только двумерно (плоскость), но и практически одномерно, а главное — ровное допускает сглаженные перепады, а плоское — нет. В исходе представлений о плоском лежит что-то вроде струганной доски, оно предельный случай ровного и настолько монотонно, что с ним связаны отрицательные коннотации унылого, однообразного, скучного, примитивного и жесткого, ср. *плоские шутки*.

Первородной метафорой было освоение представлений о времени и временных признаках мира и его сущностей на основе перемещений в пространстве. Перемещение само по себе вовлекает оба фактора — и пространство, и время, необходимое на его осуществление. Мы проходим от точки А к точке В, и с нами проходит время. Тем самым перемещение моделирует время, а скорость его определяет меру времени. Эта первородная метафора от статических пространственных структур через перемещение в них к динамике времени и временным признакам вещей широко представлена в семантических структурах признаков слов (а также служебных) с исходной семантикой перемещения (движения в пространстве) — обстоятельство хорошо известное. Но она также представлена у признаков слов со статической пространственной семантикой, если они описывают пространственную структуру вещей. Временное значение у признаков слов такого рода возникает как результат мысленного передвижения по такой структуре с последующим моделирующим переходом мысли от пространственной протяженности к временной. Субъект перестает сам перемещаться по структуре, он как бы останавливается на месте, включает счетчик времени и мысленно заставляет структуру двигаться навстречу себе, отмечая временные параметры элементов структуры. Но в итоге то, что было характеристикой пространственной структуры в целом, становится временным признаком вещей, их характеристикой на оси времени.

Так, антонимы «частый — редкий» в привычных своих значениях описывают множества с большой — малой плотностью элементов, ср. *частый (редкий) ельник, зубы, ткань, дождичек* и т. п. Во временном значении: они описывают большую — малую насыщенность времени однородными событиями или большую — малую встречаемость одного и того же события или вещи во времени, ср. *частые (редкие) дожди, встречи, ссоры; частый гость, частая песня* (скорая и бойкая, по В. И. Далю), ср. также «*частить*» — говорить часто, скороговоркой.

Заметим, что редкая встречаемость ассоциативно связывается с чем-то особым, примечательным и даже выдающимся среди прочих в положи-

тельном или отрицательном оценочном смысле, и это дает повод к метонимическому развитию, прилагательного *«редкий»* — выдающийся, ср. *редкий минерал, редкого ума* (человек), *редкая птица* (долетит). В итоге слово приобретает функцию и смысл интенсификатора классообразующего качества, как в *«редкий мерзавец, редкий организатор»* и т. п.

Представление о жидком состоянии вещества как состоянии текучем сложилось, безусловно, на субстанциальной основе воды как наиболее массовом и типичном проявлении этого агрегатного состояния. Оно и составило первичное значение прилагательного *«жидкий»*. Текучесть связана с меньшей плотностью, вязкостью, неспособностью держать форму — признаками, по которым вещества выстраиваются в ряд: твердые — коллоидные — суспензии (взвеси) — смеси, примеси и растворы: на жидкой основе — жидкости — плазма — газ. Импликация этих признаков обуславливает метонимическое варьирование прилагательного *«жидкий»*, ср. *жидкий чай, жидкая каша* (= кашлица), *жидкий суп, жидкий кисель, жидкий студень* и тому подобные сочетания с этим прилагательным, описывающим малую меру твердых примесей, слабую плотность коллоидов, слабость растворов и т. п.

Опираясь на те же импликационные признаки первичного субстанционального прототипа — воды, но аналогически переключаясь в область нежидких, твердых тел, мы получаем метафорические производные значения: *жидкий* = недостаточно твердый, недостаточно плотный, недостаточно резистентный, не держащий форму, а для массивных тел из множества единиц также — редкий, разреженный, ср. *«жидковат ты, братец; жидкие волосы, жидкий голос»* (по синестезической аналогии) и т. п.

Обратимся теперь к примерам глагольной метафоры. Прежде, однако, еще раз привлечем внимание к некоторым важным общим моментам. Для говорящего троп начинается с того, что нужно освоить, уложить в сознании и дать имя чему-то так или иначе данному, уже имеющемуся в мысли. Делается это через соотнесение с чем-то другим, более освоенным и поименованным. При метонимии соотнесение опирается на импликационные связи сущностей, при метафоре соотнесение основывается на аналогическом сходстве. Если объект сравнения — признак, то его берут, как и в случае метонимии, в некоторой вещной привязке, а именно в характерной, прототипической предметно-признаковой связке. Иначе говоря, признак берут совместно с тем, что составляет его субстанциальную базу. Эта база, вероятно, представляет собой вероятностную структуру, и ее можно выявить в психолингвистическом эксперименте.

Далее признак, подлежащий метафорическому осмыслению и именованию моделируют аналогически. Для него подыскивают другой, более наглядный, более конкретный, более освоенный и поименованный признак, который также берут в характерной для него прототипической предметно-

признаковой связке (субстанциальной базе). Сходство двух признаков, моделируемого и моделирующего, может быть онтологическим, т. е. они могут быть тождественными по природе, а могут быть и результатом умственного сближения, квазитожественного сходства — по общности, сходству ролей двух признаков в моделирующей и моделируемой предметно-признаковых связках (что же касается сходства самих аналогически сравниваемых сущностей — именно сущностей, а не их признаков, — то оно может быть, как указано, онтологическим, синестезическим и змотивным).

Определив моделируемую и моделирующую базы (обе — предметно-признаковые связки), далее устанавливают проекционные отношения между ними, т. е. ставят компоненты одной структуры в отношение отображения с другой, ищут изоморфизм (гомоморфизм) между ними. В итоге моделируемый признак, уже частично, первоначально постигнутый сознанием, получает имя, и природа его дополнительно проясняется для сознания через свое отображение в более наглядной модели — по сходству двух предметно-признаковых структур.

Понятно, что слышащий метафору идет обратным путем: он должен по моделирующему признаку, взятому в прототипической предметно-признаковой связке, представить себе его коррелят в иной предметно-признаковой связке. При этом слушающий опирается на исходное значение признакового имени и несвойственный этому значению метафорический контекст. Первое приводится в соответствие со вторым посредством моделирования одной предметно-признаковой связки через другую: сведения об одной поставляет признаковое слово в своем исходном значении, о второй — контекст его метафорического употребления.

Валентностная структура глагола, в целом гораздо более развернутая, чем у прилагательных, играет решающую роль в моделировании его метафорического потенциала, причем в первую очередь при тропеизации реализуются проективные возможности обязательных валентностей, а во вторую — потенциальные латентные элементы в структуре глагольной ситуации, так что в целом глобальная структура ситуации моделирует структуру возможного семантического преобразования глагола в метафорическом поле.

Для глагола «топить» прототипическая ситуация увы, антропоцентрична, в лучшем случае — зооцентрична: *топить людей, животных* (ср. то же в англ. *drown*). Поэтому в исходном значении *тл* — *погружать в жидкость* индуцирован импликациональный признак — *лишать жизни*, который через промежуточную стадию обобщения «*прекращать существование*» при смене предметной области становится основанием сравнения и при переключении областей моделирует аналогические признаки в аналогических ситуациях разной меры изоморфности: *топить студента на экзамене вопросами, топить горе в вине*. При

этом, разумеется, кладут конец не жизни, а чему-то другому и не просто прекращают существование этого другого (иначе это было бы простым обобщением значения), а всякий раз своеобразно — соответственно природе моделируемой ситуации. Заметим, однако, что в примере с этим словом когнитивный фактор — дифференциация разновидностей «утопления» — сильно приглушен фактором эмотивным: метафорические значения окрашены идеей «погубления».

В связи с этим примером отметим один общий момент. Человек, как известно, часто служит и предметом мысли, и мерой вещей, отчего метафора сплошь и рядом антропоцентрична. По той же причине и предметные связи признаков при прочих равных условиях отдают предпочтение человеку в качестве субстанциональной базы своего выявления. Ход времени передают через сравнение с передвижением человека (стертые метафоры): время не стоит на месте, идет, бежит. Но недискретность времени, каким оно представляется обыденному сознанию, плавность, незаметность его хода требуют выйти за рамки антропоцентрических аналогий: *время течет, летит, мчится* и т. п.

Глагол «стоять» оброс множеством значений, в которых реализовались разнообразные импликации (коннотации) одной и той же прототипической ситуации — образа стоящего человека. Стоять, т. е. вертикально держаться на месте, связывается с неподвижностью, устойчивостью, отсутствием перемен, занимаемой и удерживаемой позицией, неким положением вещей, выдержкой, терпением и т. п. И все эти импликации способны к обобщению, переключению из позиционно-пространственного в иные планы, моделируя множество аналогических статических ситуаций. Для разнообразия можно сослаться на английский глагол *stand*, который, в отличие от русского, употребляется как переходный и переходно-каузативный, и поэтому обнаруживает более широкий валентностный репертуар как в исходных, так производных значениях, ср. примеры из словаря: *the house will stand another century, as affairs now stand, the agreement must stand, he stands in need of help, who stands first on the list, to stand one's ground, he cannot stand that woman* и т. д.

Другим, еще более ярким и разветвленным примером антропоцентризма тропов служат многочисленные метафоры количественного роста, увеличения. Идея увеличения часто избирает в качестве субстанциональной прототипической базы представление о растущем в высоту человеке или растении: растут цены, производство, расходы, знания и т. д. и т. п. Обратного движения ни человек, ни растения не знают, поэтому уменьшение в размерах ищет для себя базу сравнения в другом, например в падении вещей. При этом движение относительно вектора гравитации — база более универсальная: с падением ассоциируется уменьшение количества, с подъемом — увеличение (цены, производство, ветер, энтузиазм масс то падают, то оказываются на подъеме). Почему подъем — это больше, а падение —

меньше? Очевидно, за счет интуитивного осознания, что падение означает уменьшение гравитационной энергии, а подъем — ее прирост.

Жизнь в условиях силы тяжести обусловила сравнительный статус и оценку высокой и низкой позиций, а это, в свою очередь, послужило базой для тропического осмысления множества связанных с этим понятий слов: высокий — много, много — часто хорошо, низкий — мало, высокий — часто хорошо, низкий — мало, мало — часто плохо, низкий — часто плохо. Ср. 1) в количественном смысле: *высокие — низкие цены* и т. п.; 2) в оценочном смысле: *высокие — низкие чувства* и т. п. Оценочное противопоставление высокого и низкого, возникшее на гравитационной основе, было подкреплено различием в аксиологии человеческого верха, обители духа, разума и чувств, и человеческого низа, вместилища греха и грязи.

Связав идею подъема с человеком, получаем нечто иное: глагол «подниматься» применительно к людям и животным содержит в пресуппозиции мысль о переходе от неактивных положений «лежа», сидя к активному «стоя», и эта импликация порождает метафоры пробуждения к действию, ср. *народ поднялся на борьбу, поднялась буря* и т. п.

В более широком плане у прилагательных с семантикой размера высокая мера признака часто связывается со сдвигом семантики к положительной оценке, а малая — к отрицательной. Это справедливо не только относительно прилагательных высокий/низкий, где это объясняется указанным различием в представлениях сопутствующих идеям верха/низа, выше/ниже, но и относительно ряда других антонимов этого круга. Ср. *широкий — узкий: человек широких взглядов, широкой натуры, широкое поле деятельности — узкий взгляд на дело, узкие представления, узколобый; глубокий — мелкий: глубокий ум, глубокие суждения, глубокомысленный — мелкие придирки, мелочность, мелкие замечания, мелкий чиновник*. В основе такого размежевания прилагательных лежит, должно быть, то упрощенное, но практически часто подтверждаемое представление, что из большого можно сделать малое, но не наоборот и поэтому много в общем лучше, чем мало, что, разумеется, неверно как общий принцип, так как надо еще задаться вопросом, о количестве какого по качеству признака идет речь.

Применительно к противопоставлению широкого и узкого в игру еще вступает, вероятно, прототипическое представление о широком (узком, малом) поле, о пространстве как собственности, владении, которые дают больше возможностей, более поместительны и позволяют развернуться. Для глубокого (vs. мелкого) ту же роль играет образ глубоких вод, скрывающих, в отличие от мелководья, много неочевидного.

Следующий пример еще нагляднее проявляет механизм признаковой глагольной метафоры. В прямом своем значении *обскакать* означает опередить, едучи верхом вскачь. Прототипическая ситуация вовлекает идею состязания, соперничества, поэтому в импликационале глагола наличие

ствуется признак «победить, взять верх в конном состязании». Обобщаясь, этот признак, служит основой для метафорических сдвигов по этой линии «преуспеть в чем-то сравнительно с кем-то». Валентностная структура исходного словозначения задает рамку моделируемой ситуации с двумя актантами «кто-то опережает кого-то», однако переключение предметной области требует заново указать: опередить в чем, и этот актант, задавая новую субстанциальную базу моделируемого признака, обеспечивает актуальное значение метафоры, конкретизируя ее обобщенный смысл, например, *обскакать по службе* означает опередить в служебном продвижении.

Таким образом, существенный для признаковой метафоризации момент состоит в том, что обобщается не непосредственно исходное значение, а импликация от него. Обобщение собственно исходного значения *обскакать* = *m1* «опередить, едучи верхом вскачь» дало бы что-то вроде «опередить кого-то пространственно в движении». При этом второе понятие включило бы в свой объем первое, в то время как метафора, как и всякая аналогия, предполагает внеположенность понятий (= выход в иную предметную область). Нельзя сравнивать две сущности по виду и роду, например, нельзя сравнивать Наполеона и Жозефину, его как человека и ее — как женщину. Можно сравнивать понятия о виде и роде.

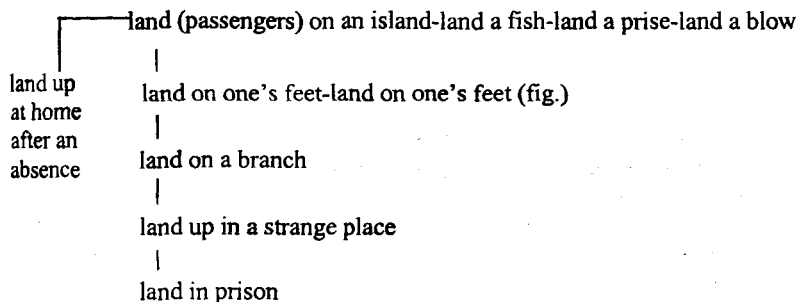
Смоделированная метафорой предметно-признаковая связка сама, в свою очередь, может стать прототипической субстанциальной базой для последующей метафоризации того же признакового слова, так что результатом будет вторичная метафора (двухуровневая метафора). Ср. в английском: *land v. tr.* = *m1* доставлять пассажиров и т. п. на землю; *m2* (первичная метафора от *m1*) выгнать (из воды) на берег (о рыбе и т. п.); *m3* (вторичная метафора от *m2*) добиться чего-то ценного: *to land a good job, a contract, a prize, an appointment*.

Вторичные метафоры по отношению к первичному значению обнаруживают большую меру идиоматичности, чем первичные. Они менее мотивированы, механизм их порождения нестандартен, поскольку должен работать дважды, уводя результирующий смысл еще дальше от первичного.

Но и первичные метафоры, естественно, различаются мерой мотивированности vs. идиоматичности тропического смысла, т. е. мерой его прозрачности, угаданности, стандартности. Если отвлечься от влияния контекста и ситуации речи, то мера выводимости смысла метафоры и тропа вообще зависит от силы ассоциативного сближения концептов в импликационных и аналогических (симилятивных) полях.

С учетом сказанного о возможной ступенчатости разной меры идиоматичности метафорических значений рассмотрим в целом семантическую структуру глагола *land* (в части его узуальных значений). В семантическом исходе глагола *land*, который может быть непереходным и переходным каузативным, лежит стереотипный образ высадки людей на берег. Импли-

кации-инференции от этой прототипической ситуации, которые, обобщаясь и аналогически переключаясь во внеположенные предметные области, порождают метафорические значения глагола, идут, как можно видеть из словарей, по следующим направлениям: *достигать земли — достигать цели; достигать земли — достигать тверди — надежного пристанища; сходить на берег — заканчивать путешествие — странствия, блуждания; сходить на берег — оказываться в каком-либо месте — оказываться в каком-либо положении, ситуации; сходить на берег — оказываться в каком-либо месте постоянного пребывания.* Переходность дополняет к этим значениям идею каузативности. В совокупности эти импликации (инференции) реализуются в тропических значениях, организованных в цепочки последовательной производности, развивающие разные направления импликаций от базисного прототипа с промежуточным обобщением и сдвигом в новые предметные области. Результат сводился к следующей схеме деривационных зависимостей, иллюстрированных примерами типичной сочетаемости. В них последовательно «меркнет» исходный образ берега — суши — земли, а с ним и идея причаливания — высадки — приземления:



Глаголы *поднимать* — *ронять*, *валить* возвращают нас в область действия силы тяжести и к тем ассоциациям, которые связаны с противопоставлением верх/низ, выше/ниже. Первый из них, впрочем, сочетает в себе обе идеи: занятие более высокого положения и вставание на ноги, поэтому его метафорическое переосмысление идет по обоим линиям: количественный рост и переход к активной деятельности (плюс идея каузации), ср. *поднимать цены — поднимать народ на борьбу.*

Ронять и *валить* различаются тем в первичных своих субъектно-объектных значениях, что описывают обусловленные субъектом падения каких-то объектов, первое — по прямой, а второе — того, что стоит вертикально и падает по дуге (для их антонима «поднимать» это различие нерелевантно). Таковы исходные образы, и импликации от этих предметно-

признаковых связей моделируют метафорические сдвиги в значениях этих двух глаголов на фоне общей ассоциативной системы *верх/низ*, *выше/ниже* и разводят их семантически: *ронять* — выпустить, не удержать, лишиться совсем или иметь в меньшем количестве или худшем количестве, ср. *ронять слово, замечание; ронять перья, рога; ронять честь, достоинство; валить* — приводить усилием и намеренно в лежащее положение, ср. *свалить с ног ударом, свалить* (но не «уронить») *дрова на дворе, свалить врага* (фиг.) и т. п.

Для сравнения любопытно обратиться к английскому глаголу *drop*. В отличие от русского «ронять» он не дифференцирует субъектно обусловленные действия (когда роняют намеренно или как результат недосмотра, упущения со стороны субъекта) и «безвольное» падение вещей. Это обеспечивает глаголу больший простор ассоциативного домысливания и как результат — более развернутую семантическую структуру. Исходный образ — прототип — сведен к идее простого падения физического тела под действием силы тяжести. Обобщив идею моделирующего стохастизма и вместе с этим сняв валентностные ограничения, получают большую свободу семантического варьирования слова, так что оказывается возможным употреблять глагол в ситуациях, где падают и роняют намеренно и непроизвольно, где — метафорически — падают цены, затихает голос и прекращается переписка, где высаживают пассажиров, опускают в речи слова и звуки, бросают предмет разговора, друзей и привычки, роняют замечания, пропускают при вязании стежки и теряют деньги. Ср. *to drop with fatigue prices dropped, his voice dropped, the correspondence dropped, where shall I drop you, to drop one's h's, to drop the subject, to drop a bad habit, to drop a hint, to drop money*.

Однако глагол *drop* иллюстрирует еще один важный аспект тропеизации: не только одна метафора бывает вставлена в другую и служит для нее моделирующим прототипом, как мы видели на примере глагола *land*, но и сам исходный, первичный прототип может опираться на некий стертый, затуманенный этимон, утраченную вовсе или частично и уже неосознаваемую практически, вне этимологического анализа внутреннюю форму, которая тем не менее через узуально закрепленные производные от нее значения продолжает очерчивать пределы и структуру семантического варьирования слова. Речь идет о том, что у слов с уже утраченным или стертым этимоном последний еще долго продолжает стеснять рамки семантического рассеивания слова и его сочетаемости, накладывая свои ограничения на моделирующий потенциал слова.

Тем самым тропеическая структура слова оказывается матрешкой вставленных друг в друга прототипических образов, явных, осознаваемых, и стертых, ушедших из фокуса сознания. Более того, с этой точки зрения сама метафора есть борьба с прототипом, преодоление его посредством промежуточного обобщения, снятие, расшатывание задавае-

мых им пределов семантического разброса, испытание жесткости навязываемой им модели.

В самом деле, глагол *drop* этимологически восходит как производное к существительному со значением капля воды (ср. глагол того же корня *drip* = капать), и их семантическое родство было подчеркнуто, когда др. а. *dropjan* и *dropa* совпали в исходной форме как конверсионная пара вследствие фонетических процессов среднеанглийского периода. И хотя глагол далеко ушел от своего этимона, обобщив свое значение до представления о свободном падении любых тел под действием силы тяжести, тем не менее полуосознаваемый этимон — не без поддержки со стороны существительного и узуса его исторической преемственности — все еще оказывает моделирующее влияние, так что при всем метафорическом разбросе предпочтение отдается тем случаям, где просвечивает образ падения/роняния отграниченных единиц, как в *drop a brick, letter, anchor, lamb, syllable, remark, hint*.

В отличие от *drop* более древний, первообразный глагол *fall* не имел — во всяком случае в исторически обозримом прошлом — таких прототипических связей и, развиваясь, остался в своей нише непереходности, а конверсионность ограничил простой субстантивной транспозицией плюс представление о разовом акте падения. Однако в этих, более узких, рамках он метафоризировался по тем же направлениям ассоциирования идей — в рамках импликаций от потери высоты, симулятивно переносимых на предметные области безотносительно к силе тяжести. Ср. *the lambs are beginning to fall, the river falls into the lake, to fall into a trap, to fall in battle, the scheme fell flat, также существительное fall: the Fall of Roman Empire, the Fall of Man*.

Наконец, бросание многим отлично от падения: это действие намеренное и предполагает агента и объект. Прототип включает представление об усилении, преодолевающем силу тяжести или добавляющем к ее действию. Но брошенное тело, теряя момент движения, снова попадает во власть гравитации и должно потерять высоту. На втором плане бросания как волевого акта находится импликация цели. Эти составляющие в структуре исходного образа моделируют возможные направления метафорического развития соответствующих глаголов в разных языках, обеспечивая — при всем их своеобразии в силу многих причин — значительный параллелизм семантических структур. Ср. *бросать* и *throw* в русском и английском: они сходны в области таких представлений, как *бросать камни, сбрасывать одежду, набрасывать шарф на плечи, отбрасывать голову, разбрасываться во сне, сбрасывать седока, кожу, бросать кости в игре, бросать свет, сомнение, бросаться деньгами, словами* и т. д. (но отличны в областях *давать вечеринку, приносить приплод, впадать в обморок, открывать доступ, лить воду* и т. д., где, в отличие от русского, ситуации могут быть описаны в английском языке с помощью того же *throw*).

4. Семантические факторы экспрессивности поэтического слова

Поэтическое, или художественное, слово экспрессивно. Изучение его особенностей основывается на теории экспрессии (экспрессивности, выразительности) в ее приложении к лексическому аспекту поэтической речи. В определение экспрессивности, безусловно, входит способность производить, оставлять сильное, глубокое или по меньшей мере заметное впечатление. Однако сказать, что экспрессивность — это способность впечатлять, явно недостаточно, так как многие вещи и события производят сильное впечатление и прочерчивают глубокий след в сознании, не обнаруживая, однако, ни грана экспрессивности, ср. крушение поезда, раскат грома, внезапный испуг, беспомощный ребенок и т. д. Очевидно, что определение экспрессивности как способности производить заметное впечатление недостаточно. Оно не указывает всех необходимых признаков. Их надо дополнить признаками интенциональности и знаковости экспрессии. Эти признаки последовательно сужают область проявления экспрессии. Поясним их. Экспрессивность интенциональна, намеренна, т. е. относится к сознательным, волевым проявлениям (точнее, к сознательно, намеренно проявленным способностям). Экспрессивность знакова, поскольку в прямом и строгом смысле этого термина она связана со знаковой деятельностью: она отмечается как особый содержательный признак некоторых продуктов знаковой деятельности. При этом речь идет о знаках в широком их понимании, включая и такие явления, в которых интенциональная знаковость составляет лишь некоторый их аспект, не исчерпывая, а иногда и не определяя их природы, ср. изобразительные и пластические искусства (например, танец, одежды и т. д.).

Экспрессивность (экспрессия) — это сила впечатления от мысли как функция способа ее выражения. В этом состоит ядро понятия экспрессивности и это косвенно подтверждается этимологией термина. Другие значения термина производны от основного и возникают как результат семантического варьирования на метафорической основе употребления с последующим обобщением (гиперонимизацией) понятия-значения.

Предельный случай обобщения наблюдаем, когда экспрессию видят в неодушевленных предметах и явлениях, например, когда, видя сильное волнение на море, восклицают: «Какая мощь, какая экспрессия!». При этом слово «экспрессия» употребляется фигурально и предполагает персонификацию (метафора моря как одушевленного существа, намеренно создающего впечатляющий эффект) и последующее обобщение семантики слова со снятием метафоры: слово начинает обозначать любой фактор, в том числе и намеренный (неинтенциональный).

Промежуточный характер носит семантика слова, когда об экспрессивности говорят применительно к произведениям искусства. При этом, чем выше стоит искусство на шкале мыслительного наполнения (изобразительные искусства), тем ближе понятие экспрессивности к его исходному смыслу — сила впечатления от передаваемой мысли как функция способа ее выражения. И наоборот, чем ниже помещается вид искусства на указанной шкале, тем дальше уходит термин в сторону уподобительно-обобщенного осмысления «способность производить сильный эффект» (хотя и по неясным причинам), ср. пластические искусства и архитектура.

В любом случае отправной точкой исследования экспрессивности служит теория восприятия. Понятно, что взяв за предмет поэтическое слово, мы имеем дело с экспрессивностью в ее изначальном смысле — способностью языковых единиц варьировать силу впечатления от выражаемой мысли в зависимости от избранных способов ее подачи. Задача, таким образом, состоит в том, чтобы, сообразуясь с общими принципами человеческого восприятия применительно к речемыслительной плюс художественно-образной специфике предмета, систематизировать разнообразные разноуровневые способы экспрессивации речи, их комбинаторику, сравнительные возможности, потенциал и области приложения (распределение) и, наконец, самое главное — содержательную прагматику экспрессивности: причины, цели, эффекты в контекстах целенаправленного речевого воздействия и взаимодействия, в том числе эстетического.

С самого начала надо иметь в виду, что поэтическое слово — функция поэтического текста (шире — поэтической речи), а не наоборот. Иначе говоря, не художественное слово создает художественное произведение, а, напротив, установка на поэтическую речь делает слово поэтическим, сообщает ему экспрессивность. В соотношении части и целого ведущим является целое. Установка формирует поэтический контекст, и в контексте поэтического целого слово приобретает качество экспрессивности.

И если в этом соотношении за какими-то словами экспрессивность и поэтический флер устойчиво закреплялись как словарное качество (поэтизмы), то это свидетельствует лишь о стабильном действии устойчивой установки (или даже консервативной поэтической традиции). Поэтизм отличается от своих обыденных синонимических собратьев тем, что, не меняя когнитивного содержания, перманентно фиксирует установку на возвышенное переживание денотата и благодаря этому формирует поэтический текст. Отказавшись от благородства чувствований, современная поэзия отказала поэтизмам в душевном расположении, уравнила все слова в правах перед текстом и тем самым сделала их всех одинаково зависимыми от поэтического целого.

Но остались и никуда не могли деться различия в самих вещах и признаках, явлениях и событиях и, главное, различия в том, как они субъек-

тивно переживаются людьми, какие эмоции они в них вызывают и как они ими оцениваются. Источник поэтического чувства из души поэта переместился в вещной мир. Ранее он сам населял мир поэзией, теперь он извлекает ее из мира, пропуская его через свою душу. Для нас, впрочем, существенно лишь то, что современная поэзия обнажила обусловленность поэтических качеств слов его функцией в составе поэтического целого. Но все дело в том, что это собственное качество слова как словарной единицы само по себе может вовсе не иметь касательства к экспрессии, однако необходимо для того, чтобы в слове проявилось сообщенное извне качество особой выразительности.

Последствия мы увидим множество примеров этого. Здесь же для пояснения воспользуемся аналогией из другой области. В свободном словосочетании «сухой лист» каждое слово приходит со своим значением, аддитивно сообщая его целому. Первичны значения словарных единиц, производно от их комбинации значение целого. Напротив, в устойчивом словосочетании «сухое вино» первично значение словосочетания, а прилагательное наделяется тем значением, которое остается на его долю за вычетом из целого значения существительного. Значение сообщается из целого. Сходным образом поэтизмы, подобно словам в свободном словосочетании, сообщают экспрессивность целому выражению. Напротив, в массе прочих случаев заурядные слова наделяются экспрессивностью за счет общей поэтической установки целого сообщения, подобно тому как слова в устойчивых словосочетаниях наделяются новым значением из разложения значения целого.

В фокус внимания попадают значимые вещи, признаки, события. Одни из них явно значимы, другие потенциально значимы и регистрируются сознанием на случай возможной значимости. Адресат речи имеет дело именно с последними, так как значимость устанавливается не им самим, а говорящим. Со своей стороны говорящий учитывает это обстоятельство и строит так свою речь, чтобы убедить в ее значимости и произвести нужное впечатление: должная мера экспрессивности заложена в основе всякой речи.

Всякие изменения в положении и течении дел, в статике и динамике наблюдаемого мира попадают в разряд реально или потенциально значимых и поэтому заслуживающих внимания и регистрации сознанием. Вместе с тем реально или по меньшей мере потенциально значимыми и поэтому регистрируемыми оказываются отклонения от нормы в наблюдаемом положении или течении дел. При этом норма образуется достаточно разнородными, хотя и коррелирующими, представлениями 1) об обычном усредненном положении дел (как в статике, так и в динамике), 2) о привычном освоенном положении дел, 3) о желательном, 4) о должном положении дел.

Соответственно регистрация сознанием впечатлений от того, что ему доставляют органы чувств, представляют собой либо селективные реакции

на наблюдаемое при наличной установке, сформировавшемся интересе, пробудившемся желании, имеющемся намерении, либо познавательные реакции на отклонения наблюдаемого от нормативных представлений, антиципаций, прогнозов. Просто говоря, это означает, что люди (и все существа с сознанием) обращают внимание на то, что для них имеет значение или необычно. В одном случае наблюдаемое требует непосредственных реакций, в другом — коррективов в сознании.

Экспрессивно такое выражение, которое обеспечивает высокую меру внимания к себе за счет своей формы, своего строения. Природа денотата экспрессивного выражения в принципе не существенна. Сообщения в предметах, вызывающих сильные эмоции и по самой своей природе оставляющих глубокое впечатление, отнюдь не экспрессивны, если заключены в банальную форму. Понятно, однако, что должна существовать естественная зависимость между прагматической значимостью денотатов и стремлением к экспрессии выражения. Вместе с тем чрезмерная экспрессия по поводу тривиальных предметов грешит ложным пафосом и грозит выродиться в пародию.

Экспрессивность — сравнительная впечатляющая сила способов языкового выражения некоторого когнитивного содержания. Измеряется она, однако, не относительно некоторого экспрессивно нейтрального выражения идеи, а относительно универсальной школы эмоциональных усилий, вкладываемых говорящим ради впечатляющего эффекта своей речи. Это означает, что языки располагают пусть достаточно разнообразными, вариативными и распределенными, но в каждом случае ограниченными наборами средств экспрессивности, размещаемых на шкале экспрессивности. Сколько ни были бы сложными алгоритмы выбора и комбинирования этих средств, но именно по ним, по их месту на шкале, устанавливается мера экспрессивности выражения, а не относительно некоторого (по-видимому, вообще существующего только в научной абстракции) нейтрального стандарта, лишённого какого-то бы ни было прагматического заряда. Норму как координату отсчета надо искать среди самих экспрессивных средств.

Шкала экспрессивности, как это вообще свойственно для градуальных (градационных) систем естественных языков, представляет собой систему иерархически соотнесенных схем градуального членения признакового континуума, дающих последовательно все более дробную его прорисовку: 1) экспрессивно, 2) малой экспрессии vs. большой экспрессии, 3) малой экспрессии vs. средней экспрессии vs. большой экспрессии, 4) очень малой экспрессии vs. малой экспрессии vs. средней экспрессии vs. большой экспрессии vs. очень большой экспрессии и т. п. При этом один и тот же термин участвует на разных уровнях членения, отличаясь порядком признака и его экстенсией (здесь — количеством).

Известно, что простейшими средствами экспрессивности, широко используемыми в любого рода эмоциональной речи, являются эмоциональ-

ная интонация, ударение и повтор, дополняемые паралингвистическими и невербально-знаковыми средствами, такими, как интенсивность (сила) и длительность звучания (ср. размеры шрифта на письме), мимика, жестикация и т. п. В них особенно наглядно проявляется совмещение экспрессивности с эмотивностью, вообще свойственное не только для нее, но и для других прагматических содержательных категорий. Экспрессивные средства выражают не только прагматическую установку говорящего на безусловное доведение до адресата значимостных акцентов в речи, но неизбежно свидетельствуют об эмоциональном переживании им этих моментов. Экспрессивная (и эмотивная) сила средства градуирована по количественному параметру средства. За точку отсчета берется нуль эмоции, приравниваемый нулю экспрессивности. Этим же определяется отсчетная величина количественного параметра эмотивно-экспрессивного средства.

Сказанное в принципе вполне справедливо и относительно повтора, хотя субстанционально он, понятно, опирается на единицы разных уровней — фонетического, морфемного, лексического и синтаксического (от словосочетания и выше) и композиционного, — и это привносит значительное своеобразие на каждом уровне.

Итак, простейшие случаи экспрессивности построены на принципе количества эмотивно значимого языкового средства за счет корреляции между эмотивностью и экспрессивностью выражения. Субъективное переживание говорящим элементов содержательной структуры высказываний и текстов через выражающие их языковые средства становится сигналом той значимости, которую им придает говорящий и которую он хочет довести до адресата. Количественная мера одного определяет меру второго. Соответственно этот тип экспрессии может быть назван количественно-эмотивной экспрессией. Он универсален и отнюдь не специфичен для художественной (поэтической) речи.

Специфичен для художественной речи другой тип экспрессивности, который может быть назван качественной содержательно-образной экспрессией. Элементы ее, понятно, встречаются в любом речевом стиле, но в таком случае мы имеем дело с неспецифическими вкраплениями в них элементов художественной речи, сколько бы обширными или даже необходимыми они ни были.

Таким образом, соотношение экспрессивности и художественности слова представляется следующим образом. Когда мы говорим о поэтическом или художественном слове, то имеем в виду не только слова как словарные единицы (некоторые из них, поэтизмы, изначально, виртуально принадлежат поэзии, хотя, быть может, поэзии определенного рода), сколько слова как актуализированные единицы речи, которым под воздействием поэтического контекста сообщается качество художественности. Всякое художественное слово, виртуальное или актуальное, экспрессивно, но не всякое экспрессивное слово художественно. Экспрессивность быто-

вой и художественной речи типологически различна. Первая основывается на количестве эмотивно значимого параметра вербальных единиц, вторая носит не количественный, а качественный характер и существует на содержательно-образной основе.

Специфическая экспрессивность поэтического слова связана с особенностями семантизации слова в художественной речи, с большей свободой семантического варьирования, широкой возможностью тропеической деривации. Будучи более функцией, чем собственным свойством слова, качественная экспрессивность, как содержательно-прагматический признак, связываемый в речи с некоторой языковой единицей, проявляет себя как функция контекста, как сообщенное свойство, спроецированное на нее в рамках единицы более высокого ранга. Не меняя никаких своих материальных, в том числе количественных, параметров, слово при этом меняется качественно, содержательно.

Какие психологические факторы обеспечивают впечатляющую силу слова в содержательном плане? Во-первых, антиципация повышенной экспрессии заложена изначально в художественном произведении, особенно поэтическом. Если отвлечься от поэзии как техники и иметь в виду ее общую целевую устремленность, то не будет большим преувеличением видеть в ней (во всяком случае в ее характерных проявлениях) язык если не экстатических состояний души, то во всяком случае состояний большого воодушевления, близких к экзальтации (это, понятно, не относится к использованию «поэтических технологий» для множества неспецифических целей, например, игровых, комических и т. д.). В конечном счете, поэзия — язык экстатических состояний. Тем самым сама поэтическая установка естественным образом настраивает и автора, и адресата на впечатляющее начало. С формальной, технической стороны эта установка подкрепляется и усиливается сверхнормативной (сравнительно с массовой обыденной речью) упорядоченностью художественной речи, в особенности собственно поэтической. Достаточно упомянуть такие явления, как ритм, размер, рифма, повторы, градации, контрасты, синтаксический параллелизм, композиционные приемы и пр.). Все они усиливают эффект неслучайности словоупотребления.

Другой фактор — это активация творческого начала в осмыслении речи. Художественная речь в значительной мере строится на вовлечении адресата в процесс порождения — осмысления и домысливания ее содержания. Этот процесс стимулируется отстранением, новизной, нестандартностью выражения. Необычны средства и способы номинации, неожиданна, часто парадоксальна сочетаемость, своеобразна «грамматика сочетания смыслов» и как следствие — постоянная необходимость выходить за пределы автоматизма речепонимания. Искусство слова предполагает серьезные усилия не только со стороны автора, но и со стороны адресата, и это делает слово живым и впечатляющим.

Наконец, образность как конституирующий принцип художественного мышления обеспечивает живую наглядность, телесную смоделированность денотата художественного слова и как следствие — четкость и силу впечатления от него.

Уже на уровне слова указанные факторы концентрированно проявляются в тропеизме художественного слова, в моделях живой семантической деривации, контекстуально зависимого семантического варьирования. Тропы обеспечивают новизну семантического и остроту прагматического содержательных зарядов в поэтическом сообщении и соответственно приобретают выразительную силу за счет образности и активации творческого речемыслительного начала. Нестандартность тропической номинации мобилизует тезаурус знаний по линиям сопряженности признаков (метонимия), распределения признаков (метафора) и иерархии признаков в вещах (гипонимия).

Тропеический аспект содержательной выразительности поэтического слова хорошо известен, и здесь достаточно ограничиться его констатацией ради полноты общей картины. Но этот аспект составляет лишь часть более общей проблемы — содержательного потенциала художественного слова. Тропеизм — та часть содержательного потенциала слова, которая очерчивается моделями варьирования исходных (производящих) значений на метонимической (включая синекдоху), метафорической и гипергипонимической основе. Между тем совокупная структура содержательного потенциала слова содержит немало других элементов (компонентов), каждый из которых может быть актуализирован в определенных обстоятельствах художественного контекста и намеренно помещен в фокус внимания.

При этом, в отличие от тропеических сдвигов, словарное значение не подвергается мутации, оно сохраняется, осложняясь за счет актуализации и «рематизации» (фокализации) потенциальных компонентов — тех из них, которые каждый раз вызываются к жизни значимыми обстоятельствами общения и лингвистического контекста. Высвечивание потенциальных компонентов семантической структуры слова делает его содержательно более емким и в этом смысле более выразительным: художественное слово способно выражать больше содержания, чем то же слово в обыденном употреблении.

Но при этом надо признать, что поэтическим делает слово установка на поэтическую речь. До этого соответствующие его качества существуют лишь потенциально. Поэтому в понятии поэтической речи (поэтического языка) взаимосвязаны два смысла: это, с одной стороны, относительно целостные речевые продукты, порождаемые соответствующей речевой установкой, и, с другой — сама установка на поэтическую (художественную) речь, порождающая эти продукты. Суть же самой установки состоит в допущении максимальной свободы контекстуально мотивированной семан-

тизации слова. Поэтическая установка представляет собой санкцию на перевод слова в особое агрегатное состояние его семантики, в котором максимально мобилизован его выразительный потенциал и максимально ослаблены и поставлены в зависимость от контекста связи между означающим и означаемым. Поэтический контекст — катализатор такого состояния.

Результатом является гиперсемантизированная речь, где единицы выражения нагружены большим смыслом, сравнительно с тем, какой им был бы приписан в нормативном употреблении при сбалансированном соотношении между словарем и грамматикой, с одной стороны, и контекстом — с другой. Таким образом, поэтическая (художественная) речь изначально допускает максимальную экспансию означаемого и в результате получает гиперсемантизированные сообщения, смысл которых лимитируется возможностями контекстуальной интерпретации.

Нетрудно заметить, что здесь мы склонились ко второму из двух значений термина *выразительность*: 1) впечатляющая сила знака; 2) содержательная сторона знака; то, что знак выражает. Термин *экспрессивность* (и тем более *экспрессия*) ограничен первым значением. И если все же возможно говорить об экспрессивности тропов, аллюзивных выражений и гиперсемантизированной речи вообще, то это свидетельствует о том, что истинно поэтическое выражение не только много выражает (гиперсемантизировано), но и сильно впечатляет. Истоки его впечатляющей силы, очевидно, следует искать именно в соединении качеств: относительная ненормативность выражения сочетается с его интерпретируемостью, гиперсемантизацией и образностью (при этом речь идет о ненормативности относительно норм обыденной речи, так называемой полуотмеченности ненормативности преимущественно семантико-сочетательной).

Таким образом, в согласии со сложившимся словоупотреблением термины разграничиваются следующим образом: «экспрессивность (экспрессия)» — впечатляющая сила избранного способа выражения мысли, «выразительность» — впечатляющая сила выражения, обусловленная содержательностью избранного способа ее выражения; «содержательность» — мера содержания (значения), относимая на счет способа выражения мысли. Поэтическое слово экспрессивно и, более того, выразительно, т. е. экспрессивно и содержательно.

Таковы исходные представления. Далее задача состоит в том, чтобы продемонстрировать многообразие составляющих потенциальной содержательной структуры слова и выявить механизмы актуализации этих компонентов значения в поэтической речи. Иначе говоря, задача состоит в том, чтобы показать на уровне современных представлений о структуре значения словесных знаков, в чем реально состоит специфика семантики художественного слова, из каких источников и как она формируется, что обеспечивает содержательную экспрессивность поэтического слова. Мате-

риалом для анализа послужит современная русская поэзия, начиная с ее «серебряного века», и в первую очередь символизм с его напряженным вслушиванием в содержательные теритоны души и слова.

Начнем с краткого суммарного перечня компонентов содержательной структуры слова, о которых подробно было сказано выше. Как мы могли видеть, отражая вероятностную природу мира, значение слова само является вероятностным образованием — стохастизмом. Изначально оно распадается на коррелирующие между собой когнитивную и прагматические части. Первая содержит объективированную информацию о сущностях (вещах и признаках) и событиях, реальных или хотя бы мнимых. Вторая — информация о субъективном эмотивно-оценочном отношении говорящих к денотатам слов.

Когнитивная часть значения в свою очередь распадается на контенсиональную и экстенсиональную части. Первая — информация о сущности или событии (явлении) в терминах связываемых с нею признаков, вторая — представление о том, кому эти признаки приписаны.

Ядром контенсиональной части значения нарицательных слов является интенционал — совокупность обязательных признаков, которые денотат должен обнаружить, чтобы получить право на данное имя, чтобы быть им описан. Интенционал — структура из двух частей — родовой (гиперсема) и видовой (гипосема). В силу взаимосвязей и зависимостей признаков интенционал значения окружен периферией семантических признаков, эти признаки имплицитируются из интенциональных признаков и образуют информационное поле интенционала — импликационал значения. Импликационал — вероятностная структура, признаки в которой сцеплены взаимными зависимостями и распределены по вероятностям их импликаций из интенционала. Соответственно выделяются признаки сильного, свободного и отрицательного импликационала. Первые, хотя в принципе и не обязательны для данного класса денотатов, имплицитируются из интенционала с большой вероятностью. Признаки отрицательного импликационала — те, которые несовместимы с данным интенционалом и образуют его отрицательный информационный фон. Признаки свободной импликации — те, которые потенциально могут быть и не быть в денотатах, описываемых данным интенционалом. Интенционал — всего лишь одна из подструктур, в которые стягиваются семантические признаки, отмечаемые в глобальной структуре того или иного лексического значения (словозначения, ЛСВ). По существу интенционал — то, что известно как логическое понятие (иногда как просто понятие), это логический модус лексического значения, одна из его операциональных подструктур.

Модусы значения возникают как операционные подструктуры в его совокупном содержании, реализующие основные когнитивные функции слова. Эти функции суть классификация сущностей, первичная структуризация класса и идентификация сущностей. Классификации (в широком

смысле как одной из основных мыслительных операций) соответствует логический модус значения (интенционал значения, логическое понятие). Структуризация в рамках тождественного класса образует понятия о норме и экстремусах (качественных полюсах) класса, в частности, в аксиологически маркированных классах понятия об идеале и его антиподе (антиидеале, «беспределе»).

Наконец, функция идентификации (опознания, узнавания, установления тождества) сущностей на уровне класса или единичного формирует понятие (представление, концепт) о так называемом прототипе — вероятностном наглядном образе класса или единичной сущности как вспомогательном операциональном средстве отождествления восприятий.

Актуализированное слово выражает в речи не просто то или иное лексическое значение (словозначение), но один из указанных его операциональных модусов.

Как мы видели, в выражении «зима как зима» — зима — 1) — соотносено с логическим понятием о зиме как времени года с декабря по февраль (в Северном полушарии), «зима» — 2) — с понятием о норме зимы (обычная зима). В восклицании «вот зима так зима» зима — 1) опять-таки соотносена с логическим понятием, а «зима» — с понятием об одном из экстремусов, качественных полюсов класса зим (суровая зима). Наконец, в высказывании «никакая это не зима» речь ведется о другом полюсе класса — сиротской зиме, причем за фактическим «это» стоит логическое понятие зимы, а отрицается отнюдь не оно, а понятие о нормальной (типичной) зиме.

Попутно надо заметить, что в разных случаях понятие нормы обобщает представления то о наиболее частотном в классе, то об усредненном концепте класса, то о должном, желательном и т. п. Тем самым понятие о норме нередко прагматически мотивировано. Известно, что в аксиологически отмеченных классах понятие нормы сдвинуто в сторону положительных, ценных признаков. Так, любить своих детей — норма для матери.

Важно то, что, сочетаясь, слова участвуют в формировании когнитивного смысла целого не просто на уровне лексических значений, а на более тонком уровне когнитивных модусов значения. Так, с выражением «работающие матери» связано представление не просто о работающих родивших женщинах (логическое понятие), но о работающих родивших и растящих своих детей матерях (понятие о норме матери).

В содержательно-признаковом плане операциональные модусы значения представляют собой разные комбинации семантических признаков, определяющих качество класса, — семантические структуры из сочетания интенционала с признаками из области импликационала значения, обычно сильного. При этом для структурационных модусов нормы и экстремусов релевантны не только сами признаки, но и их количественная мера.

Со своей стороны, представления о структуре целого — структуре событий, ситуаций, фреймов, сценариев и т. п., даже если эти структуры и представления о них носят вероятностный характер, корректируют и осложняют смысл отдельных слов в сочетаниях и высказываниях, описывающих такие структуры. Так, в выражении «при утере билета пассажир к посадке в самолет не допускается», речь, разумеется, ведется об авиабилете, о потерявшем авиабилет пассажире и о самолете, вылетающем тем рейсом и в тот срок, какие указаны в утерянном авиабилете.

Контекст направляет отбор и актуализацию определенных признаков из импликационала значения, параллельно с высвечиванием («рематизацией») определенной части его интенциональных признаков. Жизнь слова в тексте в значительной мере определяется взаимодействием импликационалов слов, прежде всего сильных, и искусство поэтического слова в немалой степени заключено в управлении этим взаимодействием. За счет этого модифицируется, осложняется, обогащается и прицельно ориентируется семантика слова и высказывания.

Контекст формирует актуальную семантику слова и сам формируется ею, и этот взаимозависимый процесс управляется целеустановками текста и его частей. В этом процессе этологического взаимодействия словарной семантики с конситуацией — конкретно и в частности — с значениями других слов в высказывании — тексте — из интенциональных и импликациональных признаков слова одни высвечиваются, подчеркиваются, выводятся на передний план, отбираются и актуализируются, проявляются, а другие, напротив, затушевываются, отодвигаются, уводятся из фокуса внимания, подавляются и даже отсеиваются. Более того, контекст может не только заострять определенные признаки, но и подталкивать импликационное развитие, задавать направление обогащения отобранных признаков, с одной стороны, и отсекаать, воспрепятствовать потенциально возможные линии развертывания семантики слова, с другой. В итоге формируется актуальное значение слова, его выразительный потенциал становится актуализированной реальностью в определенной своей части.

Этот тип семантического варьирования слова не связан с перестройкой структуры значения в его центральном звене — интенционале. Происходит лишь фокализация определенных сем в интенционале, отбор и актуализация опять же определенных сем из импликационала значения.

Другой тип реализации семантического потенциала слова, тропеизация, основан, как уже отмечалось, на структурной перестройке исходного (производящего) значения по моделям семантической деривации значений. Если в первом случае имеем дело с варьированием одного значения, сохраняющего тождество интенционала, то во втором случае — с разными значениями с отличными интенционалами. Тропеизм, как понятно и как уже отмечалось, — мощный источник выразительности, за счет моделей

семантической деривации слово бесконечно расширяет перечень потенциально возможных значений.

Параллельно с этими процессами формирования актуального когнитивного значения слов совершается не менее важный процесс формирования эмотивно-ценностной (эмотивно-оценочной) структуры слова. Осуществляется он, как сказано ранее, за счет корреляций между когнитивными и эмотивно-оценочными компонентами содержания посредством переключения мыслительных единиц когнитивных структур сознания на их корреляты в прагматических эмотивно-ценностных структурах сознания.

До сих пор мы имели дело с базисной стороной содержательного потенциала слова, с тем первичным отношением, которое конституирует значимую знаковую единицу, а именно отношением между означающим и означаемым, а также с естественно сопутствующим ему эмотивно-оценочным прагматическим переживанием денотатов. Первое образует знак, второе неизбежно сопутствует ему.

Когнитивное и эмотивно-оценочное значения не исчерпывают содержательного потенциала слова. Готовый знак дополнительно обрастает целым рядом других содержательных моментов вторичной природы, производных от его функционирования и системных парадигматических связей. С самого начала мы разделяем семантические обертоны слова на две части по их происхождению: одни относятся на счет значимых на момент общения былых контекстов употребления слова, другие — на счет вхождения слова по тем или иным параметрам его структуры в определенные ряды, группы, парадигмы единиц, объединяемых каким-то общим значением, некоторой значимой доминантой.

Воплощенный и пущенный в оборот знак начинает отсвечивать общим смыслом контекстов своего употребления, если таковой удастся отвлечь из них вообще или применительно к данному контексту словоупотребления. Этот потенциальный коннотативный компонент когнитивного и прагматического (эмотивно-оценочного) значения, актуализируемый в речи при поддержке контекста, называют аллюзивным. Чаще всего аллюзия прицельна и коннотирует контекстные обстоятельства того случая словоупотребления или фразеупотребления, который чем-либо примечателен и должен всплыть в памяти. Так, *процесс пошел* теперь на какое-то время обозначает не только начало какого-то процесса, но связывается с представлением о процессе, который разворачивается далеко не по замыслу инициатора (плюс ироническая оценка незадачливого инициатора). Ср. того же рода коннотации в *судьбоносный*.

Обратимся теперь ко второму источнику семантических обертонов. Здесь обнаруживается целый перечень параметров структуры слова, по которым оно парадигматически смыкается с другими словами и приобщается к инвариантному в их семантике.

Во-первых, приращения семантического потенциала слова, реализуемые как актуальные модификации его словарной семантики в контекстах, имеют своим источником реанимацию внутренней формы, т. е. возвращение к жизни изначального образа, положенного в основу именования денотата, и связанных с этим образом ассоциаций.

Во-вторых, источником служит паронимическая подзарядка слова: отождествляясь в силу сходства десигнаторов со своими паронимами, слово вбирает в себя их семантику.

В-третьих, возможна реанимация омертвелой — применительно к словарной семантике данного слова — словообразовательной модели.

В-четвертых, наряду с некоторым словозначением контекст может актуализировать его семантико-деривационные связи, возможна одновременная реализация нескольких значений многозначного слова или по меньшей мере «просвечивание» через призму актуализированного словозначения других компонентов семантической структуры многозначного слова в виде созначений. Это происходит в контекстах, намеренно допускающих известную неопределенность, неоднозначность осмысления многозначного слова. Тем самым в речевой семантике слова могут уживаться, актуализироваться или по меньшей мере параллельно просвечивать несколько смыслов одновременно. *Бедный обряд* в известном стихотворении А. Блока: «Вхожу я в темные храмы, Бедный свершаю обряд...» — обозначает не только простой, незамысловатый обряд, но готовно развертывает весь ряд сопряженных созначений многозначного прилагательного, относящихся к описанию как обряда, так через него — того, кто совершает обряд: потаенный; несчастный, вызывающий сострадание. Тем самым создается коннотативная глубина поэтического сообщения и задается тональность читательского сопереживания лирическому герою.

В-пятых, коннотативна сама принадлежность слова к тому или иному функционально-речевому стилю, регистру, социальному жаргону или предметному подязыку за счет когнитивных представлений и эмотивно-оценочных характеристик, связываемых с этими подсистемами.

В целом слово способно при поддержке контекста стягивать в свой содержательный потенциал и актуализировать в своем речевом содержании общее и частное в значении любых группировок, в которые оно входит по тем или иным параметрам своей формальной и значимой структуры.

До сих пор мы были заняты отправным понятием экспрессивности и реестром семантических факторов, опираясь на которые поэтическая установка сообщает экспрессивность слову независимо или при поддержке факторов формальной структуры текста и составляющих его единиц. Нас интересовал инвентарь семантических свойств слова, которые могут послужить поэту основой для того, чтобы придать слову впечатляющую силу. Теперь необходимо показать их в действии. Для этого недостаточно

простых иллюстраций к отмеченным факторам: при необходимости их можно привести в избытке к каждому из них. Необходимо аналитический подход поменять на синтетический, от таксономатики средств перейти к их функционированию в структуре поэтического целого, поскольку, во-первых, слово с определенными семантическими свойствами приобретает качество экспрессивности в составе целого в результате определенного взаимодействия этих его свойств с другими смысловыми элементами целого и, во-вторых, взаимодействие семантики слов, в том числе и порождающее эффект выразительности, нередко идет одновременно по нескольким параметрам содержательной структуры слов.

Поэтому, не упуская из виду инвентарь компонентов содержательной структуры слова, потенциально способных служить субстанциональной базой для экспрессивной функции, мы обратимся к рассмотрению механизмов семантической экспрессивизации слова как функции поэтического сообщения, как результата взаимодействия параметров его семантической структуры с семантической структурой поэтического целого.

Вместе с тем подход со стороны целого позволит пополнить инвентарь семантических средств экспрессивности и в целом расширить и уточнить представления о компонентах содержательной структуры слова.

Рассмотрение начнем с известного трехстишия О. Мандельштама, написанного им летом 1915 года в Крыму:

Бессоница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладой когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Стихотворение завораживает (недаром оно так нравилось Марине Цветаевой). В нем тот же ритм (александрийский стих), что в мерном накатывании тяжелых волн. Он задан тремя номинативными предложениями в самом начале, и источник его назван в последних строчках.

Кроме того, пульсирует ритм осмысления: можно убедиться, что нечетные строки, особенно в первой строфе, задают более сложную задачу понимания, они больше нагружены дополнительным подразумеваемым значением, требуют больших усилий по дешифровке и восстановлению их полного смысла. Напротив, следующие за ними четные строки, как правило, дают смысловую разрядку, их значение лежит ближе к поверхности,

доступнее прямому осмыслению. Имеет место волнообразный ритм нагнетения-разрежения смыслов, своего рода семантические систола-диастола, семантический аналог подъема-падения волн на море.

Но семантический ритм лишь подхватывает фонетический ритм, ритм в плане выражения. Мерному подъему и падению волн соответствует размер долника — перемежение ударных стоп с безударными, достаточно регулярное, хотя и с общим перевесом ударных стоп.

Уже первое чтение оставляет предчувствие совершенной, цельной смысловой структуры, но не все ее части и их взаимодействие осознаются одновременно, а проступают постепенно, как фотопленка при проявлении. Первым схватывают конкретные эксплицитные смыслы, затем разворачиваются сети имплицитных импликаций, заполняя пустоты, оставленные опорными эксплицитными смыслами. В итоге высвечивается целостная смысловая структура, образованная взаимодействием явно и неявно выраженного. Искусство поэтического смыслотворения состоит в порождении сообщений, гиперсемантизированных таким образом и в такой мере, что эксплицитный каркас текста, явно выраженные в нем опоры позволяют экономно реконструировать полный смысл сообщения, нарисовать целостную его картину, достаточно однозначно восстановив (а в иных случаях и домыслив, доосознав за автора) имплицитные компоненты смысла в их взаимодействии с эксплицитными в целостной семантической структуре сообщения.

Семантическая структура поэтического сообщения и его осмысления в чем-то сходны с хорошо построенным детективом и его дешифровкой: в обоих случаях эксплицитной информации выдается не более, но и не менее, чтобы можно было восстановить ее пропущенные звенья и в итоге воссоздать целостную картину.

При этом гиперсемантизированное сообщение (message) отличается от нормативно семантизированного сообщения того же когнитивного содержания прагматическим (стилистическим) воздействующим зарядом: первое побуждает слушателя (читателя) к сотворчеству осмысления, самостоятельному домысливанию, пускает в ход семантико-мыслительные механизмы знания. Кроме того, воспроизведение слушателем хода авторской мысли в ее первородном, логически не препарированном виде восстанавливает в первозданном виде все ее прагматические мотивации, эмоционально-ценностный фон и коннотации сообщения. Мысль заново рождается живой во всех ее связях: когнитивное значение сообщения не разведено с прагматикой причин и целей сообщения, обуславливающих его мотивов и сопряженных с ним эмоций и оценок.

Шифр к поэтическому сообщению должен быть заключен в нем самом или известен до него: в нем должно быть сказано достаточно и не более, чтобы воссоздать и пережить денотат сообщения согласно замыслу автора. Смысловая динамика текста, в особенности поэтического, в значи-

тельной мере представляет собой направленное, согласованное развертывание импликационалов ключевых слов. Это хорошо иллюстрирует первая строка стихотворения. Поскольку в тексте слова оказываются элементами описания сложных, развернутых ситуаций, их интенционалы должны быть совместимы полностью (иначе при необходимости происходит моделированная переструктуризация интенционалов — сдвиг значения, переосмысление слов), а из их импликационалов отбираются и актуализируются определенные признаки, также совместимые и вписывающиеся в гипотезируемую развертываемую структуру сообщения.

В нашем случае (первая строка стихотворения) импликационалы слов в значительной мере совпадают с импликационалами высказываний, поскольку высказывания образованы словами (номинативные предложения) и открывают стихотворение без названия. В принципе, однако, импликационалы слов и высказываний различаются по существу: во-первых, импликационалы высказываний имеют в своем содержании коммуникативно обусловленные компоненты, вытекающие из знания структуры, участников и других компонентов высказывания, условий, обстоятельств, целей высказывания и т. п., во-вторых, в импликационалах высказываний есть компоненты содержания, обусловленные предтекстом и контекстом высказывания. Более того, комбинаторно-семантическое взаимодействие слов имеет тот результат, что из их импликационалов отбираются определенные признаки, совместимые с описанием целостной структуры сложных ситуаций.

Поэтому импликационал высказывания должен получить особое обозначение. В целом он представляет собой совокупность имплицитных суждений, которые по отношению к эксплицитному значению данного высказывания являются: 1) его предметно-логическими условиями, 2) его предметно-логическими следствиями, 3) его предметно-логическими простыми сопряженностями. Первые известны как пресуппозиции, вторые — как постсуппозиции, третьи можно обозначить как синсуппозиции высказываний. Все это разновидности мыслительных операций одного типа — импликации, если под импликацией понимать не тот специальный конструкт, которым оперируют в логике, а род операций реального мышления. Импликация в таком случае понимается как мыслительный аналог связей (зависимостей, взаимодействий) действительности.

Пресуппозиции при этом оказываются ретроспективными (по отношению к высказыванию) импликациями в том смысле, что они представляют собой невыраженную мысль об условиях и причинах, следствием которых является денотат интересующего нас высказывания. Иначе говоря, пресуппозиции — представления об устройстве предметной области и коммуникативного акта, которые надо принять или — обычно — просто знать, чтобы осмыслить денотат и иллюкуцию высказывания как их следствие. Например, в пресуппозициях сообщения «Ро-

няет лес багряный свой убор» (А. С. Пушкин) имеется представление о продвинутой осени.

Постсуппозиции же — перспективные импликации из эксплицитного значения высказывания, т. е. невыраженные в нем мысли о возможных следствиях из него. Здесь уже само высказывание служит основой для суждения о следствиях. Иначе говоря, постсуппозиции — представления об устройстве предметной области и коммуникативного акта, которые надо принять или просто знать, чтобы осмыслить денотат и иллюкуцию высказывания как их условие (в частности, причину). В постсуппозициях той же пушкинской строки содержится, например, представление о том, что земля под деревьями усыпана желтой листвой.

Наконец, синсуппозиции — это совокупность невыраженных в высказывании суждений о том, что просто сопутствует, совместно встречается с тем положением вещей, которое выражено в высказывании, хотя и не является ни условием (причиной), ни следствием этого положения вещей. Это то, что может быть помыслено в связи с данным высказыванием, хотя бы и в отсутствие условно(причинно)-следственной зависимости.

Синсуппозиции — весьма широкий класс импликаций, поскольку сплошь и рядом нам известно, что вещи, признаки и события несомненно связаны друг с другом обязательной или вероятностной зависимостью, однако не известно, почему и как они зависят друг от друга. Так, к синсуппозиции нашего примера относится представление об улетающих на юг птицах.

Понятно, что требуется рядовое обозначение для пресуппозиций, постсуппозиций и синсуппозиций. Им может быть консуппозиция как совокупность имплицитных импликаций из высказывания независимо от природы той связи, которая служит основанием для импликации.

В линейных цепочках связанных высказываний совершается последовательный отбор из консуппозиций предшествующего высказывания того содержания, которое совместимо с эксплицитным значением последующего высказывания, и в этом взаимодействии эксплицитных и имплицитных значений последовательно формируется семантическая структура текста. Разумеется, этот процесс предполагает выдвижение догадок о разворачивании смысла, их подтверждение, отбрасывание, корректирование и в конечном счете взаимосогласование эксплицитных значений и отбираемых консуппозиций высказываний в целостные структуры (подробнее о тех же понятиях консуппозиции, пресуппозиции, постсуппозиции и синсуппозиции см. также ниже).

Для иллюстрации вернемся к первой строке трехстишия О. Мандельштама: «Бессоница. Гомер. Тугие паруса». Среди консуппозиций бессоницы весьма вероятно стремление занять себя чем-то, и «Гомер» тотчас проявляет эту импликацию, осмысляясь вслед за «Бессоница» как чтение Гомера — занятие при бессоннице. В этом контексте *тугие пары*-

са понимаются как навеянный чтением образ морской экспедиции героев Гомера — экспедиции, как вскоре выясняется из текста, «ахейских мужей» к Трое.

Но чем мотивирована метафора летящей клином журавлиной стаи? Источник ее в той же бессоннице. Взор лежащего (это подтверждается упоминанием изголовья в последней строчке) мучающегося бессонницей поэта обращен вверх, там ночной экран его сознания, на который воображение проецирует образы прочитанного. Оттого корабли взмыли, «поднялись над Элладой». Их паруса подобны крыльям больших птиц. Это именно большие птицы, летающие не беспорядочной стаей, а строгим порядком, как строй кораблей. И это птицы мигрирующие, покидающие вырастившую их родину — отсюда идея единого вывода — ради манящей цели «в чужих рубежах». Как видим, выбор метафорических имен обусловлен качествами их импликационалов — способностью имплицитно живописать и акцентировать нужные черты в образе денотата. Понятно, в принципе это могли быть не журавли, а иные подобные им птицы, например лебеди, но оценочные коннотации более нейтральны у журавлей, чем лебедей, а главное *журавль* открывает аллитерационный ряд: *журавлиный — чужие — рубежи — божественная — мужи — движется — кого же — тяжким*.

Поезд, конечно, употреблен в том расширенном смысле (*состав любых транспортных средств*), в каком ранее говорили о «царском поезде», и, возможно, через ассоциацию именно с этим сочетанием предваряет упоминание о царях в следующей строфе. «Божественная пена (на головах царей)» для читателей, очевидно, значима аллитерацией («ж»), высокой оценочной коннотацией и, возможно, косвенным ассоциированием представлений о пенорожденной богине любви и божественном происхождении царской власти. И уж, несомненно, этот образ развивает импликацию тугих парусов — ветер, волнение, барашки на море.

Произведение имеет замкнутую рамочную семантическую структуру. Замкнутую — потому что оно открывается и замыкается одним и тем же внешним по отношению к центральной идее стихотворения («все движется любовью») моментом — бессонница, изголовье. Рамочную — потому, что в сообщение о чтении вставлено сообщение об образах, навеянных чтением, и далее — о следующей из них обобщающей максиме. Принцип найден, он панхроничен, он объемлет всех, и мысль, пробежав века, возвращает автора к себе. Цикл завершился, Гомер «умолкает», и остается явь — тяжелые наматы моря, по существу того же, что когда-то носило на себе героев Эллады и до сих пор несет память и «квитийствует» о них. Но бессонница сводит явь со сном, действительность с воображением, и волны, кажется, качают изголовье.

Общий принцип бытия, извлеченный из событий былого, находит параллель в настоящем и имплицитно достраивает его картину так, что бы-

лое моделирует настоящее. Содержание текста осложняется параллельным имплицитным приращением, появляется неявно выраженный моделированный подтекст: элементам структуры былого соответствуют домысливаемые элементы структуры настоящего. Как в Иллиаде, здесь есть свое море (черное — Черное), своя Троя — Крым, свой корабль — изголовье, свои мужи и свой поэт, движимые той же целью, и, видимо, своя Елена.

Важно заметить, что семантические приращения этого рода образуются не способом импликаций, а посредством моделирования: структура эксплицитного значения моделирует второй, имплицитный пласт смысла. Это именно моделированный подтекст. Есть поэтические жанры, как, например, басня, конституируемые способом моделированного подтекста (подробнее см. ниже). Если импликации имплицитно развертывают (развивают, продлевают) эксплицитный смысл, то моделирование образует параллельный ему имплицитный смысл изоморфной структуры. Здесь поэт использует оба способа наращивания смысла.

Для иллюстрации других источников семантической экспрессии, а частично и для дополнительных пояснений к уже отмеченным обратимся к стихотворению Н. Тихонова, написанному в 1922 году.

Баллада о гвоздях

Спокойно трубку докурил до конца,
Спокойно улыбку стер с лица.
«Команда, во фронт! Офицеры, вперед!»
Сухими шагами командир идет.
И слова равняются в полный рост:
«С якоря в восемь. Курс — ост.
У кого жена, дети, брат —
Пишите, мы не придем назад.
Зато будет знатный кегельбан».
И старший в ответ: «Есть, капитан!»
А самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце над водой.
«Не все ли равно, — сказал он, — где?
Еще спокойней лежать в воде».
Адмиральским ушам простукал рассвет:
«Приказ исполнен. Спасенных нет».
Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Событие и его оценочное обобщение поданы с максимальным лаконизмом, коррелирующим, с одной стороны, со скупостью языка военных признаков и донесений, и с жесткой динамикой события и напряженным его переживанием одинаково участниками, рассказчиком и читателями — с другой. Эффект жесткого лаконизма подкрепляется парной рифмовкой строк и простым эллиптированным синтаксисом.

Воспеваются беззаветное мужество и аристократизм военного долга моряков, рассказывается как будто о конкретном событии, но конкретная национальная «прописка» героя не несущественна и поэтому погружена в область домысливаемого: косвенным образом, посредством импликаций из внешнего и внутреннего контекста, а также фоновых знаний можно заключить, что речь идет об английском военном корабле, который по приказу совершает дерзкое нападение на противника, очевидно немцев, заведомо обрекая себя на гибель ради военной необходимости; ср.: стихотворение написано в 1922 году, т. е. вскоре после Первой мировой войны; назван курс ост, т. е. корабль идет с запада.

Еще более существенна в дешифровке роль «(знатного) кегельбана». Во-первых, это метафора, раскрывающая характер боевой задачи — огонь на поражение каких-то объектов (ср. шары и кегли в этой игре), во-вторых, поскольку «кегельбан» — объект атаки, немецкая этимология этого слова косвенно указывает противника. Наконец, приравнивание боевых действий к игре вместе со сниженной их квалификацией «знатный (кегельбан)» призваны подчеркнуть — и это проходит через весь текст — невозмутимость, способность к юмору перед лицом смертельной опасности, нелюбовь к пафосу — черты стереотипных представлений об английском национальном характере.

Нагнетение смысла — наиболее характерный прием семантической экспрессии. В рассмотренных примерах наглядно проявляются две его существенно различные разновидности — прямой или косвенный повтор одного и того же смысла как прием смысловой эмпазы и гиперсемантизации. В первом случае намеренно завышается норма одного и того же смысла, приходящегося в среднем на единицу выражения с тем, чтобы подчеркнуть его особую значимость в общей структуре смысла. При прямом смысловом повторе намеренно повторяется одна и та же единица выражения в одном и том же значении (или ее явные синонимы):

Спокойно трубку докурил до конца,
Спокойно улыбку стер с лица.

При косвенном смысловом повторе один и тот же смысл также повторяется намеренно как характерная черта ситуации или ее элементов, но статус его в плане выражения иной — он имплицитен и представляет собой тождественные или понятийно близкие импликации из экспликационных значений частей текста.

Близкими к семантическому повтору надо считать те случаи нагнетения смысла, когда последовательно и намеренно эксплицитными и имплицитными средствами выражения подчеркивают наличие у денотатов понятийно близких, если и не тождественных, свойств и качеств.

Что же касается гиперсемантизации, то этот ряд нагнетения смысла имеет место, как известно, тогда, когда в среднем на единицу выражения

приходится ощутимо больше смысла, чем принято в норме. Гиперсемантизация высказываний и текстов достигается за счет того, что актуализируются разнообразные латентные потенциальные компоненты содержательной структуры словесных знаков, и прежде всего вступают в действие импликационалы слов, консуппозиции высказываний, потенциалы семантической деривации слов и семантической комбинаторики слов в словосочетаниях, а также возможности порождения параллельного имплицитного смысла по модели эксплицитного значения высказываний и текстов (моделируемый подтекст).

«Адмиральским ушам простучал рассвет»: нормативным выражением этой мысли было бы что-то вроде: «На рассвете адмирал получил телеграфное донесение». Достоинство авторской формы с синекдохой и персонализацией состоит в том, что она не переключает полностью внимание на лицо, отдавшее приказ, а оставляет его на втором плане; ранее оно мыслилось в пресуппозициях текста, теперь продвинуто в круг эксплицитных значений, но помещается вне фокуса сообщения — важен не адресат донесения, а судьба экипажа. Адмирал остается силой за кадром. Важно заметить многообразие и своеобразие экспрессивных функций тропов. Здесь они служат оптимальному распределению акцентов в семантической структуре, поддерживая нужный режим рематизации смыслов.

Гиперсемантизация сочетания «сухими шагами (командир идет)» — результат переподчинения и контракции: шаги сухого командира — сухие шаги (контракция). Для осмысления контракционного сочетания необходимо домыслить пропущенный средний термин. Здесь это сделать несложно, так как он содержится в том же предложении, но в иных случаях он попросту отсутствует. Контракция — характерная черта семантического строя современной поэзии. Ранее ее толковали как смещенный эпитет, но этот термин неточно и неполно описывает явление: в контракционном сочетании оба слова могут употребляться в их прямом значении, сдвиг значения отнюдь не обязателен, хотя и возможен как дальнейший ход в осмыслении словосочетания (о контракции см. подробнее ниже).

Контракции гиперсемантизированы за счет невыраженности среднего термина. Однако рассматриваемый пример иллюстрирует еще один прием нагнетения семантики — одновременную реализацию двух значений многозначного прилагательного *сухой*: 1) сухощавый, 2) нерасположенный к проявлению эмоций. Это случай речевой лексической многозначности. Оба значения одновременно просвечивают одно через другое при поддержке контекста. Второе — подчеркнутым ранее спокойствием капитана, а в последующем — гипотезой о стереотипах поведения англичанина. Это же стереотипное представление приписывает сухопарость английскому джентельмену.

«Лежать в воде» — относительно простой случай семантического выражения единицы за счет отнесения ее к некоторому семантическому ряду

(парадигме, группировке), объединяемому общностью семантики (семантическим инвариантом): единица заражается этим общим значением. Условиями семантического заражения являются формальная близость единиц по составу и структуре элементов формы и поддержка контекста. В этих условиях единица заражается семантикой другой единицы или целого ряда единиц с общим семантическим инвариантом.

В нашем примере глагол «лежать» наряду с основными значениями *m1* «находится в горизонтальном положении» имеет еще, среди прочих, связанное значение *m2* «покоиться (об усопших)», обнаруживаемое в сочетаниях типа «*лежать в земле (сырой)*» и т. п. При поддержке контекста этим значением заражается и словосочетание «лежать в воде», которое совпадает с исходным по синтаксической модели и частично по лексическому составу.

«И слова равняются в полный рост» — предтекст заставляет однозначно антиципировать команду равнения, и это определяет смысл появляющейся на ее месте метафоры: командир полностью владеет собой и ситуацией, слова его приказа четки и принимаются в полную меру их значимости.

Впрочем, антиципация команды настолько сильна, что предложение совмещает два значения — не только «равняются» слова, но и равняется экипаж (а не слова). Предикат, прямозначно несовместимый с аргументом, и переосмысливается как метафора, и упорствует в своем прямом значении, отторгая заявленный аргумент и имплицитно устанавливая тот, который навязывается предтекстом и прямым значением предиката. Это особый случай речевой многозначности (двузначности) высказываний, когда контекст провоцирует двойное осмысление предиката — прямое и переносное. Здесь имеет место взаимнообратимый семантический процесс — утверждение и снятие признакового (предикатного) тропа (в нашем случае — утверждения и снятия метафоры «(слова)» равняются в полный рост»), причем снятие тропа связано с отказом предиката от приписанного ему аргумента.

Наконец, метафорическое обобщение, сообщающее балладе характер притчи:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Выразительность здесь также обусловлена чисто семантическими факторами — гвозди становятся символом идеального человеческого материала, требуемого временем (потом, увы, оказалось, что право определять требования времени имеют только вожди, и символ депозитизировался, деградировал до простых винтиков). Нас, однако, интересует иное. В этих строках тоже есть речевая двузначность (семантическая амбивалентность), но другого, надо сказать, более простого и обычного вида: она появляется

за счет двузначного осмысления «гвоздей» — переносного, метафорико-символического и прямого. В самом деле, когда автор говорит «гвозди бы делать из этих людей», он может иметь в виду только прямой смысл слова, поскольку из этих людей не нужно делать людей, надежно преданных долгу, — они ими уже являются. По этой причине «гвозди» в финальной строке не могут не реализовать прямое значение. Но вместе с тем тут же возникает и переносное значение — в высшей мере надежный твердый человек, неуклонно исполняющий свой долг (метафора образована за счет импликациональных сем прямого значения, синэстетически транспонированных из области физических признаков в область моральных качеств). Необходимость в тропическом осмыслении последних «гвоздей» возникает потому, что как-никак, а из людей не сделаешь гвоздей, и сохраняя коммуникативное доверие к автору — наипервейший постулат речевого общения, особо важный для поэзии, — приходится искать в «гвоздях» переносный смысл: автор что-то хотел сказать, и он умеет сказать, и если он выражает мысль нестандартно, то он все равно не выходит из пределов допустимого и доступного пониманию и, более того, по условиям и целям коммуникации он избирает оптимальный способ выражения.

Попутно и в связи с семантическим анализом этих двух строк мы не можем не обратить внимания на один момент, проявляющий существенное различие между реальным живым, в частности художественным, мышлением и мышлением логическим. Первое несводимо ко второму без остатка, а включает в себя второе как одну из форм, в которых оно совершается. Содержание двух рассматриваемых строк, столь важных в общей содержательной структуре стихотворения, оказывается, вообще не может быть транспонировано в логическую форму в том смысле, что нельзя указать строгие правила переложения (трансформации) одной формы в другую. Дело в том, что первая и вторая строки находятся в логическом отношении антецедента и консеквента импликационного суждения. Речь, понятно, может идти только о содержательной импликации в духе традиционной логики обыденного мышления. Но такая логика справедливо запрещает рассматривать следствия из неосуществимых условий как пустое, ничего не дающее занятие. В самом деле, если из людей гвозди не изготовишь, то какой смысл рассуждать о качестве таких гвоздей.

(В этом плане строки соотносятся, как если бы они были частями импликации в духе математической логики, где не обязательна причинная связь (или иная естественная зависимость) между посылкой и заключением. Но поэты, конечно, не переходят с обыденной логики на математическую. Как и все люди, они пользуются тем же реальным мышлением, формы которого не ограничиваются логическими, а включают также мышление интуитивное, подсознательное, образное, фантастическое во взаимодействии всех форм друг с другом.)

Таким образом, свою обобщающую мысль — «вот образец самого надежного человеческого материала, максимально полезного для общества» — автор выражает в алогический (логически бессмысленной) форме, вполне, однако, понятной читателю — посредством суждения, относящегося ни к действительному, ни к возможному, а к миру ирреальных фантазий: если бы можно было делать гвозди из таких людей, а это, конечно, невозможно, то это были бы более крепкие гвозди, чем реально возможные. Логика здравого смысла, понятно, запрещает сравнивать по крепкости или по любым иным качествам то, чье существование невозможно. Читатель, однако, без особого труда распутывает логическую невянтицу за счет метафорического переноса. Гвозди становятся символом лучшего в классе людей и исчезают как денотат. Баллада однозначно ведет рассказ о самых крепких среди людей по верности общественному долгу. Ее обобщающая мысль небезупречна с логической точки зрения, но зато впечатляет образностью.

Завершим иллюстрированный анализ факторов, сообщающих выразительность поэтическому слову, вернувшись к О. Мандельштаму:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.
(Май 1935 г., без названия)

Это стихотворение самыми скромными средствами — всего в пределах четырех строк — иллюстрирует огромный потенциал выразительности, заложенный в импликационном факторе поэтического слова, главном факторе содержательной экспрессивности слова. В широком смысле импликациональный фактор семантики включает обе составляющие смысловых импликаций из словесных знаков, два из основных источника — импликационалы слов и консуппозиции (пресуппозиции, постсуппозиции и синсуппозиции) высказываний. Возможность максимально мобилизовать и ввести в семантическую игру импликационный фактор семантики составляет одно из главных достоинств поэтической речи, один из главных ее семантических инструментов (наряду с тропеической транспозицией знаков).

Импликационный фактор, конечно, обращен к когнитивной стороне семантики словесных знаков, но за счет корреляции между когнитивным и прагматическим компонентами значений параллельно происходит обогащение эмотивно-оценочного содержания поэтических сообщений и в конечном счете усиление их воздействующей экспрессивной силы.

Содержательная перспектива стихотворения образуется, во-первых, за счет тропеического переосмысления и доосмысления слов, словосочетаний и предложений.

«Лишить морей», конечно, метонимически сокращает предикатное выражение с несколько неопределенным смыслом, приблизительно равным «лишить возможности бывать и жить на морях» (подразумевается, вероятнее всего, — по обстоятельствам жизни О. Е. Мандельштама — Черное и Балтийское моря), а в более широком смысле — лишить свободы передвижения (поэт был выслан в Чердынь, а затем в Воронеж, где и было написано стихотворение), и в этом широком смысле выражение оказывается синекдохой — обозначением целого по части.

Метафоры «разбег и разлет» символизируют свободу свободного поэтического творчества. То, что творчество именно поэтическое и «я» — именно поэт, следует только как импликация из того факта, что перед нами стихотворение, хотя «шевелиющиеся губы», понятно, задают импликациям нужное направление.

Вторая сторона не только поддерживает общую горькую тональность, но еще сообщает стихотворению возвышенный тон классической трагедии. «Дать стопе упор насильственной земли» в когнитивном плане означает не более, чем «заставить силой ходить по нежеланной земле», в свою очередь метонимически обобщается до «сослать» в привычном словоупотреблении. Различие — в благородной одической силе исходного выражения, которая утрачивается в привычных для понимания парафразах. Автор переквантовал ситуацию, переразложил выражаемый смысл и дал его компонентам нестандартное облагороженное выражение, ср. стопа — ноги, упор стопы — шаги ног. «Насильственная земля» возникает из «на насильственно навязанной земли» и существует на фоне разрушенного фразеологизма «на насильственная смерть», заражаясь его семантикой в силу тождества структурной модели.

Наконец, шевелящиеся губы — символ нравственной силы поэта, метоним сдавленного, но неубитого поэтического голоса.

Как видим, и образ поэта, и обстоятельства его жизни раскрыты с большой глубины и впечатляющей силой, и раскрыты по преимуществу за счет импликационного фактора — согласованной актуализации представления импликационных признаков и консуппозитивных, причем пусковым механизмом их актуализации служит нестандартная сочетаемость.

Подведем общий итог. Помимо сигналов в форме выражения смыслов, специально выделяющих их из общего потока и обеспечивающих эффект впечатления, те же цели достигаются собственно семантическими средствами. Формальные сигналы экспрессивности, сигналы особой значимости выражения (повтор, ударение, интонация, интенсивность фонации и т. д.) основываются на общем принципе восприятия — неслучайности повышенных энергетических и материальных затрат на форму выражения.

В основе же собственно семантических факторов экспрессивности лежит принцип нестандартности выражения смыслов. Поэтому экспрес-

сивность этого рода базируется на презумпции коммуникативно-семантического доверия: принимается, что адресант лучшим образом выражает требуемый смысл, даже если избираемая им форма выражения смысла семантически нестандартна, осложнена и даже парадоксальна.

Семантические средства выразительности вступают в действие, проявляют себя, имея в качестве условия и фона поэтическую установку, установку на обостренно-эмоциональное переживание сообщения (message). Уже отмечалось, что если отвлечься от поэзии как техники, не будет большим преувеличением видеть в ней язык экстатических состояний души.

В условиях установки на поэтический (художественный) модус сообщения собственно семантические средства приобретают впечатляющую силу, наделяются выразительным эффектом, если они, как можно было видеть, отличаются следующими в значительной мере взаимозависимыми свойствами: характеризуются образностью (принцип образности), требуют творческого участия в осмыслении сообщения (принцип соавторства), выделяются нестандартностью выражения смысла (принцип нестандартности) и, наконец, отличаются нагнетением, высокой мерой имплицитного смысла (принцип гиперсемантизации — со стороны отправителя, или домысливания — со стороны получателя).

Нетрудно видеть, что средства семантической выразительности в значительной мере взаимосвязаны. Образность — способ постижения посредством моделирования сложного через простое, абстрактного через конкретное, ненаглядного — через наглядное, неявного — через явное, трудного — через легкое, неосвоенного — через освоенное. В силу цельности конкретного образа он позволяет аналогически домыслить состав и структуру явно не выраженного. Нестандартность выражения побуждает к усилиям и «соавторству» в семантизации и осмыслении текста. Гиперсемантизация также отрицает автоматизм семантизации и осмысления текста и предполагает нестандартность выражения для того, чтобы избежать семантического «рыскания», смысловой неопределенности и произвола для того, чтобы за счет моделирующей цельности образа направить процесс осмысления гиперсемантизированного нестандартного сообщения по определенному руслу.

На пределе гиперсемантизации текст становится семантически парадоксальным, загадочным и даже невнятным, и это должно быть компенсировано для реципиента. Если полноценное осмысление текста предполагает знание обстоятельств предметного и коммуникативного контекста, в которых он возникает, то получатель должен либо быть осведомлен об этих обстоятельствах, либо же быть в состоянии извлечь знание или по меньшей мере догадку о них из имплицитной смысловой структуры текста. Но в последнем случае к семантической структуре текста предъявляются особые требования: эксплицитный и имплицитный смыслы текста должны

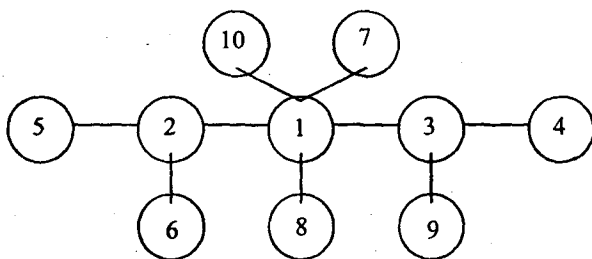
быть увязаны в целостную структуру, с должной мерой полноты и однозначности восстанавливаемой во всех своих необходимых компонентах. В этом и состоит искусство порождения выразительных гиперсемантизированных сообщений.

5. Графы семантической структуры слов. Языковой статус словозначения

Содержательные связи узуальных значений многозначного слова образуют схему, каркас его семантической структуры. Установив эти связи, можно представить узуальную семантическую структуру слова графически (в виде графа). Например:

1. Место

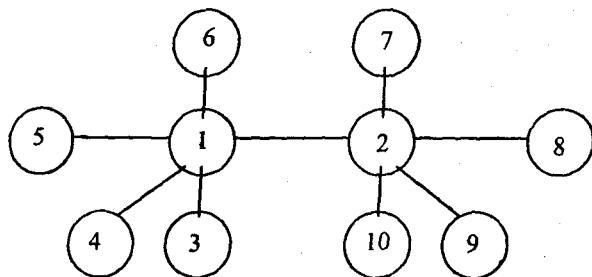
- 1) пространство, которое может быть занято, ср. *место под застройку*;
- 2) пространственное положение, ср. *занять место в строю*;
- 3) помещение, емкость какого-либо назначения, ср. *место занятий, место для мусора*;
- 4) предмет специально для сидения, ср. *зал на 300 мест*;
- 5) положение в какой-либо иерархии, системе, структуре, ср. *занимать первые места в соревнованиях*;
- 6) служебная должность, ср. *устроиться на место*;
- 7) отрывок из произведения, ср. *одно место в романе*;
- 8) окружающая среда, ср. *места там красивые*;
- 9) отдельная вещь как багаж, ср. *багаж из двух мест*;
- 10) место событий, действия, ср. *место происшествия*.



2. Подниматься

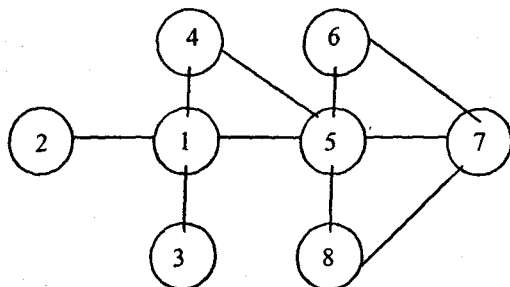
- 1) вставить на ноги, ср. *подниматься из кресла*;
- 2) перемещаться вверх, ср. *подниматься на крышу*;
- 3) просыпаться, вставать с постели и заниматься делами, ср. *поднялись ни свет, ни заря*;

- 4) возникать, начинаться, ср. *поднимается буря*;
- 5) трогаться, двигаться, ср. *подниматься в путь*;
- 6) пробуждаться к активным действиям, ср. *подниматься на борьбу*;
- 7) увеличиваться, расти количественно, повышаться в уровне, ср. *цены поднялись*;
- 8) становится лучше качественно, развиваться, ср. *поднимается боевой дух*;
- 9) возвышаться над уровнем местности, ср. *лес поднимается стеной*;
- 10) (о тесте) разрастаться в объеме, подходить.



3. Зеленый

- 1) зеленого цвета, ср. *зеленый лист*;
- 2) покрытый зеленью, ср. *зеленый дол*;
- 3) (болезненно) бледный, ср. *лицо стало зеленым*;
- 4) сырой, свежий, ср. *зеленый корм*;
- 5) неспелый, незрелый, ср. *а виноград-то зелен*;
- 6) молодой и неопытный, ср. *человек еще зеленый*;
- 7) молодой и безрассудный, ср. *зелено жить* (В. И. Даль);
- 8) молодой и неумный, ср. *зелено говорить* (В. И. Даль).



Понятно, что подобные графы, отражающие только непосредственные и опосредованные связи значений по содержанию, представляют собой

весьма упрощенную модель семантической структуры слова. Не говоря уже о том, что следует еще уточнить критерии наличия/отсутствия непосредственной связи между парами значений (пока они еще довольно приблизительны и интуитивны), в таких графах лишь грубо оценено семантическое расстояние между отдельными значениями (например, значения / и 5 на третьем графе ближе друг к другу, чем / и 6, на одно расстояние). На самом же деле семантическое пространство многозначного слова и его семантическая структура организованы гораздо более сложным образом: для того чтобы представить их более адекватно, требуется не плоскостная, а объемная модель, с тем, чтобы отразить «сгущения семантических масс», их взаимное расположение и «силы гравитации» между «массами» — значениями.

Не менее важно и другое обстоятельство. Разные значения неравноценны по их языковому статусу. Для адекватного представления семантической структуры слова недостаточно очертить каркас содержательных связей, но необходимо также охарактеризовать значения по их языковой потенции, по совокупности функциональных, системных и количественных признаков: по свойственным им прагматическим коннотациям, функционально-стилевому распределению, парадигматическим связям в лексико-семантической системе, синтагматическим связям в системе языка и количественным показателям в речи, т. е. по таким признакам, как эмоционально-экспрессивное содержание, принадлежность к функциональным подъязыкам, степень идиоматичности, номинативности, связанности словозначения и др. (см. ниже).

Однако даже упрощенные модели семантической структуры слова, вроде приведенных выше, дают, сравнительно с обычной словарной статьей, более наглядное и верное представление о том, как устроена семантика слова, как связаны значения, прямо или опосредованно, насколько далеко отстоят они друг от друга, как совершается переход от одних значений к другим, какие из значений центральны и замыкают на себя семантику слова, а какие периферийны и имеют мало связей. Они позволяют судить, насколько компактна семантическая структура слова и как сильны в ней центростремительные связи или, напротив, насколько семантика слова склонна к распаду, как сильны в ней центробежные силы. Графы зримо демонстрируют, насколько общность слова как формы дополняется внутренней содержательной общностью его значений или же остается последним фактором объединения в одну структуру содержательно далеких значений, лишь опосредованно связанных друг с другом. Коротко говоря, они позволяют увидеть семантическую структуру слова. Модели такого рода полезны для построения типологии семантических структур и описания лексико-семантической системы в одном языке, для построения сопоставительной типологии семантических структур и сравнительного изучения лексико-семантических систем в разных языках, а также для решения

прикладных задач (например, при обучении лексике иностранного языка). Кроме того, их анализ и интерпретация, вероятно, небезинтересны с точки зрения процессов порождения речи (выбор слова) и ее понимания (семантизация слова).

Языковое значение — это понятие, связанное знаком. В силу этого, помимо содержательной стороны, значению свойственны соотносительные собственно языковые характеристики, которые можно объединить общим понятием языкового статуса значения. Языковой статус того или иного значения — это совокупность признаков, указывающих реальные возможности употребления слова с этим значением. Статутные признаки значения определяют его место в системе языковых средств номинации. Ими определяется реальное существование значения в данном языке. Статутные признаки не описывают того, что входит в содержание значения, а отмечают собственно языковые правила, нормы, ограничения на употребление слова в определенном значении.

Значения многозначного слова различаются не только содержанием и местом в семантической структуре, но и статусом. Каждое из них не только взаимодействует с другими словозначениями внутри семантической структуры, но является также частью общей системы номинативных средств языка, т. е. взаимодействует с другими словозначениями за пределами семантической структуры слова. В этих соотношениях и выявляется языковой статус словозначения. Проблема языкового статуса значений была введена в лингвистику акад. В. В. Виноградовым как проблема типов лексических значений.

Статус значения в значительной мере определяется ограничениями на употребление слова в данном значении, дополнительными к тем ограничениям, которые обязательны для слов этого синтаксического класса. Описывая статус значения, следует установить, насколько полно реализуются возможности номинации, свойственные словам определенного лексико-грамматического разряда.

Рассмотрим основные факторы и признаки, определяющие языковой статус значения как элемента общей системы номинативных средств языка. При этом мы убедимся, что для полной характеристики того или иного значения, в отличие от понятия, недостаточно знать его содержание, но надо еще указать целый ряд несодержательных признаков, очерчивающих его употребление. Статутные признаки организованы в оппозитивные пары. В целом, помимо содержания, следующие особенности могут различать значения и определять их языковой статус.

1. Способ номинации: прямое vs. переносное значение. О различии первичной и вторичной номинации было достаточно сказано выше. Здесь следует лишь добавить следующее. Не только слово в переносном значении выражает понятие не прямо, а через соотнесение с первичным своим значением, не только семантика вторичной номинации расплывчата, раз-

мыта и зависима от контекста, но и номинативные возможности слова в переносном значении обычно ограничены, и в этом смысле статус переносных значений ущербен и ограничен, сравнительно с прямыми значениями слов. Переносные значения не вполне свободны, они связаны по нескольким параметрам, о которых будет сказано ниже.

2. Референционная самодостаточность: достаточные vs. недостаточные значения. Некоторые значения референционно недостаточны и нуждаются в поддержке окружения, контекста и ситуации речи, чтобы выразить связанное с ними понятие. Другие значения в такой поддержке не нуждаются. Ср. *голова* 1) определенная часть тела; 2) передняя часть, ср. *голова колонны*; *нос* 1) известная часть лица; 2) передняя часть, ср. *нос корабля, лодки*; *дом* 1) вид строения; 2) династия, ср. *дом Романовых*; *поезд* 1) железнодорожный состав; 2) любой состав сухопутных транспортных средств, ср. *санный поезд*; *разведчик* 1) агент; 2) тот, кто открывает новое, ср. *разведчик недр*; *багаж* 1) перевозимый пассажиром груз; 2) запас духовных ценностей, ср. *культурный багаж, багаж знаний*; *барабанить* 1) играть на барабане; 2) стучать громко, ритмически. Вторые значения нуждаются в уточнении.

Вербальные уточнители значения не обязательны после первого упоминания, но в этом случае имеем дело с эллипсисом словосочетания. Они вообще не требуются, если ту же роль выполняет ситуация речи и логика контекста, препятствующие актуализации номинативно более «выпяченных» значений. Выражение «прекратите базар» будет правильно понято на собрании, однако все дело в том, что одни значения, номинативно недостаточные, нуждаются для актуализации в дополнительных уточняющих условиях, а другие, номинативно самодостаточные, такой поддержки не требуют. Если кто-то начнет разговор с того, что скажет: «Сегодня я побывал на базаре», — то вряд ли его поймут в том смысле, что он просто присутствовал на шумном сборище.

Степень номинативной (референционной) самодостаточности является важным показателем языкового статуса словозначений в семантической структуре слова и системе номинативных средств языка, наглядным различителем первичной и вторичной номинаций, прямых и переносных значений.

3. Частотность: более частотные vs. менее частотные словозначения. Противопоставление словозначений по частотности не требует особых пояснений: частная актуализация, рекуррентность значения в речи усиливает связь десигнатора с данным десигнатом.

4. Мотивированность значения морфологической структурой десигнатора: структурно мотивированные vs. немотивированные словозначения. Пояснение начнем с примеров. Следующие слова обнаруживают два значения: *дарение* 1) действие дарящего; 2) объект дарения; *производство* 1) как действие; 2) как место действия. Первые и вторые значе-

ния статутно неравноценны. Предпочтение отдается первым, поскольку при равенстве прочих условий они еще мотивированы морфологической структурой: суффиксы *-ение*, *-ство* образуют отглагольные существительные со значением действия, а не предмета, связанного с ним. В общем виде: из двух значений слова, десигнатор которого имеет структуру, связанную с достаточно определенной концептуальной областью, предпочтителен статус того, содержание которого входит в эту область (иными словами, согласуется с морфологической структурой, с «внутренней формой» слова).

5. Полнота словообразовательных рядов (парадигм): словозначения с более полными vs. менее полными словообразовательными рядами. Из двух значений одно может иметь более развернутый словообразовательный ряд, в то время как ряд другого значения менее полон. Предпочтительнее статус первого. Ср. *багаж* 1) перевозимый пассажиром груз; 2) запас духовных ценностей. Словообразовательный ряд первого значения: *багаж* — *багажный* — *багажник*. У второго значения нет производных.

Вообще говоря, в статутном плане важна не только полнота словообразовательной парадигмы словозначения, но объем всего словообразовательного гнезда данного словозначения. Важна также суммарная частотность слов такого гнезда. С точки зрения статуса они как бы связаны круговой порукой.

Если имеется слово *N1* со значениями $m_{1,1}$ и $m_{1,2}$, такими, что $m_{1,2}$ — значение переносно-производное от $m_{1,1}$, и слово *N2* с значением $m_{2,2}$, таким, что m_2 — его первичное прямое значение, то *N1* в значении $m_{1,2}$ обычно реализует лишь часть словообразовательного ряда (парадигмы), свойственного *N1* в $m_{1,1}$. Кроме того, *N1* в значении $m_{1,2}$ имеет обычно более бедную словообразовательную парадигму (ряд), чем *N2*. Ср. *баран* 1) самец определенного вида животных ($m_{1,1}$); 2) тупица ($m_{1,2}$). Словообразовательный ряд *N1* в $m_{1,1}$ и $m_{1,2}$: *баран*, *бараний*. Словообразовательный ряд *N2*: *тупой*, *тупица*, *глупость*, *тулец*. То же у пар слов *осел* — *глупец*, *лиса* — *хитрец*, *лев* — *храбрец*, *ворона* — *ротозей*.

В словообразовательной семье скромный, скромно, скромность, скромница, скромник, скромничать три значения слова *скромный*: 1) застенчивый; 2) не претендующий на многое; 3) ограниченный, стесненный (в средствах) и т. п. — представлены следующим образом: первое — во всех шести словах, второе — в пяти (кроме *скромница*), третье — только в первых трех. Это согласуется с интуитивным представлением: первые два значения имеют приблизительно одинаковый статус, третьему присущ более «скромный» статус.

Глагол *подкупать*: 1) добиваться желаемого взяткой; 2) располагать к себе; семья: *подкупать*, *подкуп*, *неподкупный*; m_1 — все три слова, m_2 — только в глаголе, ср. *подкупает его искренность*.

Следует, однако, заметить, что указанные зависимости не обязательны, а обычны, т. е. имеют характер общей тенденции. Возможны словообразовательные семьи (ряды, парадигмы) одинаковой мощности и для производящего и для производного значений. Это особенно справедливо для слов с немногими значениями, малочисленными словообразовательными рядами. Ср. *лиса* 1) известный вид животного; 2) хитрец — одинаковый ряд для прямого и переносного значений: *лиса* — *лисий*. Аналогично в словах *осел, баран, овца, медведь, змея, сокол, орел* и др.

6. Полнота формообразовательных парадигм: словозначения с полной vs. неполной парадигмой. Некоторые значения используют всю парадигму формоизменения, у других парадигма неполна (дефектна). Весомей статус первых. Ср. *танец* 1) пластические телодвижения; 2) вид увеселительного мероприятия (только во мн. числе); *хлеб* 1) выпечка из муки; 2) зерно на корню (только во мн. числе); *лес* 1) как вид ландшафта; 2) как вид строительного материала (только в ед. числе); 3) как строительная арматура (только во мн. числе); *стол* 1) как род мебели; 2) еда, пища (только в ед. числе); *огонь* 1) то, что горит; 2) свет; 3) стрельба (только в ед. числе); 4) жар, лихорадка (в ед. числе); 5) вдохновение (ед. число); *колоть, резать, ломать* 1) виды разрушительных действий; 2) виды болевых ощущений (только в третьем лице ед. числа глаголов).

7. Объем разрешенных синтаксических функций: значения без ограничения vs. с ограничениями синтаксических функций. Некоторым значениям разрешены не все синтаксические функции из полного их перечня, свойственного данному синтаксическому классу. В этом смысле такие значения не вполне свободны синтаксически, и их статус ушербен. Ср. *чистый* 1) не грязный, ср. *чистый пол, пол — чистый*; 2) явный, полный, ср. *чистое разорение*, но не разорение было чистым — прилагательному в этом значении запрещена предикативная функция (любопытно отметить, что для прилагательного полный в исходном значении эта функция разрешена, ср. *полное разорение, разорение было полным*). Ср. также *прямой* 1) не кривой; 2) явный, несомненный.

8. Круг синтаксических валентностей: значения с более широким vs. ограниченным кругом валентностей. Значения слова могут отличаться тем, что формулы синтаксических валентностей одного из них составляют лишь часть набора валентностей другого. Весомей статус последнего. Ср. *вести* 1) направлять движение кого-либо (чего-либо); 2) иметь результатом (только в сочетании с предлогом *к* + имя результата).

В более общем случае предпочтителен статус значений с более мощным набором валентностей, независимо от того, включены или не включены валентности одного значения в валентности другого, пересекаются они или нет.

9. Объем лексических дистрибуций: значения с широкой vs. узкой лексической дистрибуцией. Круг лексической сочетаемости (а также

обобщенных формул этой сочетаемости = лексической валентности) у одного значения может составлять лишь часть другого. Предпочтителен, естественно, статус последнего. В общем случае можно просто сравнивать мощности двух дистрибуций независимо от того, включены ли они одна в другую или нет, пересекаются они или нет.

Есть два рода правил, определяющих круг нормативной лексической сочетаемости значения в синтаксических структурах с подчинительной связью: импликационально-логические и коллокационно-языковые. Поясним различие между ними на примере атрибутивных сочетаний «имя вещи + имя признака». Примем, что M — множество классов вещей, с которыми совместим признак P_1 и несовместим признак P_2 ; $N_1, N_2 \dots N_n$ — имена классов во множестве M , A_1 — имя P_1 , A_2 — имя P_2 (т. е. A_1 имеет значение P_1 , а A_2 — значение P_2). Условимся также, что P_1 относится к области слабого (свободного) импликационала имен $N_1 \dots N_n$, а не к их интенционалам, жестким или сильно-вероятностным импликационалам. Что же касается несовместимого признака P_2 , то он принадлежит области неимпликационалов $N_1, N_2 \dots N_n$. Сочетая N_1 и A_2 подчинительной связью, получаем в любом случае сочетание, логически не нормативное. Напротив, любое сочетание N_1 и A_2 с подчинительной связью между ними логически нормативно.

Однако импликационально-логической нормативности недостаточно, чтобы разрешить сочетание двух лексем в естественном языке. Объединение их подчинительной связью должно еще удовлетворять собственно языковым правилам лексической сочетаемости (лексемотактики), которые называют коллокационными. В этом случае на сочетаемость лексем накладываются ограничения, дополнительные к импликационально-логическим. Ограничения эти не связаны с логикой сочетания концептов, они мотивированы устройством языка и его историей, сложившимися в нем системами корреляций между знаками и понятиями и отстоявшейся традицией употребления. Если таких дополнительных ограничений нет, то значение имеет полную мощность сочетаемости и о нем говорят, что оно фразеологически свободно. Если, напротив, в норме выявляются коллокационные запреты, не мотивированные импликационалом словозначения, то его сочетаемость неполномощна и о нем говорят как о фразеологически связанном.

Очевидно, что при сравнении статусов значений важно оценивать их не только по мощности их лексических дистрибуций, но и по признаку полномощности vs. неполномощности их лексической сочетаемости. В первом случае значение полностью реализует свой номинативный потенциал: слово способно назвать любой денотат из числа тех, для которых характерен признак, составляющий содержание значения. Во втором случае этот потенциал не может быть реализован полностью: слово называет меньше, чем могло бы, судя по значению. Это и составляет ре-

альный смысл противопоставления свободных значений несвободным (связанным).

Для иллюстрации обратимся к словам с конверсивной энантиосемией, т. е. совмещающим в своих семантических структурах полярные конверсивные значения, о которых говорилось выше. Полярные конверсивные значения прилагательных различаются коллокационными ограничениями. Атрибутивное сочетание прилагательных с существительными представляет собой одну синтаксическую структуру, и семантические различия внутри ее связаны с семантикой сочетающихся слов. При этом если денотат существительного может обнаруживать оба полярных конверсивных признака P_+ и P_- (разумеется, в отношении к разным вещам), то прилагательное, отражающее в своей семантической структуре P_+ и P_- , в сочетаниях с таким существительным нормативно используется только в одном из полярных значений, а именно в том, которое является его главным (основным) статутно преобладающим значением. Это значение прилагательного полномерно (свободно) в указанном выше смысле: прилагательное в этом значении может сочетаться с любым существительным, денотат которого способен обнаружить данный признак.

То же прилагательное в полярном конверсивном значении употребляется лишь с существительными, денотаты которых способны обнаруживать лишь этот конверсивный признак, но не противоположный. Более того, в этом вторичном значении прилагательное, как правило, несвободно в сочетаемости и не исчерпывает всего круга классов денотатов, с которыми такой признак совместим; это его значение вторично, фразеологически связано, объем сочетаемостей узок и ограничен установившейся традицией, семантическая модель не реализуется на полную мощность, это значение с неполномощной коллокацией.

Ср.: *печальный* 1) опечаленный; 2) печальный, наводящий печаль. *Печальный*-1 сочетается с именами классов людей и полностью исчерпывает множество способных обнаружить этот признак (основное значение с полномощной коллокацией). С теми же именами это прилагательное не употребляется во втором значении «наводящий печаль», хотя этот признак совместим с денотатами этих классов. *Печальный*-2 сочетается с именами классов неодушевленных вещей, неспособных принимать признак опечаленный (новость, результат, событие, урок и т. п.), но не охватывает полностью соответствующее множество: коллокация неполномощна, ее границы нечетки и определяются традицией, значение связано фразеологически. Сочетания *печальный*-2 с конкретными неодушевленными существительными ощущаются как ненормативные, но это же справедливо относительно многих существительных других лексико-грамматических разрядов. Так, ненормативны сочетания *печальное поле, движение, цель, знание* и т. п. и т. д.

Продолжим рассмотрение факторов, определяющих языковой статус значений.

10. Логические ограничения сочетаемости в результате взаимодействия значений: значения ограничивающие vs. ограничиваемые. Если слово имеет значения с гипо-гиперонимической связью, то возможен такой случай, что значение-гипоним накладывает логические ограничения на лексическую сочетаемость значения-гиперонима, запрещая те сочетания, которые ложны или логически не корректны для значения-гипонима. В таком случае явно предпочтителен статус гипонимического значения. Например, английское существительное *man* обнаруживает значения 1) мужчина; 2) человек. В силу воздействия первого значения значению *man* человек запрещены сочетания вроде **A woman is a man* или **Here is Mrs Smith, the man we spoke about*. Употребление *man*-2 ограничено общей соотносительностью (высказываниями общего смысла о классах типа *Man is mortal*).

Ограничения этого рода возможны и при импликационной связи словозначений часть/целое. Значение части может быть настолько более ярким в семантике слова, что запрещает сочетания того же слова в значении целого, если эти сочетания ложны или не корректны относительно первого значения. Ср.: *день* 1) светлая часть суток; 2) сутки. Не вполне корректно выражение «день (*m2*) — это сутки», поскольку оно алогично относительно «день» (*m1*). Однако выражения с *день*-1: *день — это часть суток; день, ночь — сутки прочь* и т. п. — представляются вполне корректными. Разрешены те выражения с *день*-2, которые справедливы и для *день*-1. Ср.: *прошли еще три дня*. Такое неравенство в статусе *день*-1 и *день*-2 связано с тем, что русский язык располагает еще словом «сутки». Последнему нет *vis-a-vis* в английском, а *day*-1 «светлая часть суток» и *day*-2 «сутки» имеют приблизительно равный статус.

11. Набор вариантов слова: значения с вариантами словесного выражения vs. без вариантов. Одно значение может иметь меньший набор вариантов выражения, чем другое. Это различие встречается редко и мало существенно, но при равенстве прочих факторов весомей статус значения, имеющего варианты. Ср.: *елка* 1) вид хвойного дерева (основной вариант — ель); 2) новогодний праздник с елкой.

Последние два фактора касаются только существительных.

12. Употребление в семиотических функциях обозначения (репрезентации) и описания (характеристики) денотата: значения, которым свойственны обе функции, vs. значения, которым более свойственна одна функция описания. Переносным значениям не столь свойственно репрезентировать денотат, сколь описывать его. Поэтому они «отдают предпочтение» синтаксическим функциям предикатива, приложения (обособленного), определения и сравнения.

Надо заметить, что в определенных условиях имя несет только семиотическую функцию описания независимо от того, какова его синтаксическая функция. Таковы, например, первые имена в выражениях, вроде *флейты водосточных труб, змея улицы* (В. Маяковский), *дробинки икринок, торпеды горбуш* (Р. Рождественский). Их называют сравнениями-метафорами.

«Репрезентативная недостаточность» переносных значений, их специализация в описании денотатов наглядно проявляется при первичном именовании денотатов в текстах, особенно при введении в речь денотатов, не мотивированных контекстом и ситуацией. В семантической структуре текстов-сообщений позиции введения и идентификации денотатов обычно заполняются именами с широким экстенционалом в их прямых значениях. Их статус более свободен, они не ограничены в семиотических функциях. Это одна из причин, почему переносные и прежде всего метафорические значения вторичны, сравнительно с прямыми.

13. Употребление в частной и общей соотнесенности: значения, которым одинаково свойственна и общая и частная соотнесенность, vs. значения, которым менее свойственна общая соотнесенность. Наричательное существительное в высказывании репрезентирует или класс (общая соотнесенность), или индивидуальных представителей класса (частная соотнесенность). Переносным значениям нарицательных имен не свойственно употребление в общей соотнесенности. Такое их использование ненормативно и создает по этой причине некий дополнительный эффект, например комический. Ср.: *заяц* 1) определенный вид животного; 2) безбилетный пассажир: высказывание общего смысла *зайцы боятся ревизоров* производит юмористический эффект в силу фонового присутствия первичного прямого значения.

Таковы главные соотносительные собственные языковые (формально-языковые vs. содержательно-языковые) признаки, определяющие в совокупности статус значения в семантической структуре слова и в системе номинативных средств языка.

Статутные признаки значений тесно связаны с проблемой главных (основных) и второстепенных значений, а точнее — с проблемой соотносительной ранжировки значений одного слова. Эта проблема предпочтительности одних значений перед другими: насколько прочно в языковом сознании слово ассоциировано с тем или иным значением в условиях снятой речевой установки. Многозначное слово связано с несколькими понятиями. Эти связи номинационно могут быть равноценными или в разной мере неравноценными относительно предпочтительности. Имеющиеся исследования приводят к выводу, что преобладает второй случай. Одному значению обычно отдается предпочтение перед другими в равных условиях актуализации в отсутствие речевой установки, при предъявлении слов вне всякой контекстуальной и ситуационной обу-

словленности. Хотя и возможны отклонения в зависимости от пола, возраста, профессии и других факторов, в психолингвистических экспериментах с очевидностью обнаруживается, что при достаточной лингвистической однородности информантов все они достаточно единообразно и стабильно отдают предпочтение одним и тем же значениям перед другими. Такие значения принято называть главными, или основными, а другие — второстепенными.

Однако таков лишь преобладающий случай, а в целом картина выглядит и сложнее, и многообразнее. В семантических структурах разных слов степень предпочтительности одних значений перед другими и яркость выявления главного значения варьирует в широком диапазоне — от явного преобладания одного значения над другими до полного равенства нескольких значений, когда у слова оказывается несколько основных значений, приблизительно равноправных по статусу, так что нельзя отдать заметного предпочтения ни одному из них. И при наличии главного значения — типичный случай — оно выявляется всякий раз с различной степенью контраста и яркости, равно как различна и затененность неглавных значений.

Что определяет степень предпочтения одного значения перед другими, на чем основывается языковое сознание, разграничивая главные и второстепенные, равноценные и неравноценные значения слова? Очевидно, в основе этих явлений лежит суммирование статутных признаков значений. Градуирование значений многозначного слова по главенству — это суммарное, итоговое выражение статуса значений. Основанием разграничения главного и второстепенных значений является различие в их языковом статусе, в наборах, определяющих этот статус признаков.

Выше были рассмотрены собственно языковые (не содержательные) основания статутных признаков. К ним следует добавить еще два противопоставления: значения конкретные vs. абстрактные и словозначения с большим vs. меньшим числом содержательных связей в семантической структуре слова. Это уже оппозиции содержательного плана. Первая опирается на фундаментальную особенность сознания: абстрактные концепты возникают на базе конкретных в результате отвлечения признаков или обобщения по признакам. Будучи исходной, идея конкретного отработана в сознании с большей четкостью и яркостью. При равных условиях конкретное значение с большей силой «навязывается» слову, с большей легкостью всплывает в памяти. Поскольку проблема главного и второстепенных значений — это проблема преимущественного «права на десигнатор», то признак конкретности/абстрактности оказывается существенным для соотносительной характеристики значений.

Второе противопоставление основывается на числе содержательных связей значений в семантической структуре слова. Одни значения имеют семантические части, общие с большим числом других значений того же

слова, а другие — с меньшим. Первые занимают центральную позицию в семантике слова, вторые — периферийны. Это хорошо было видно на графах семантической структуры слов, например, у слова *подниматься* центральны значения 1, 2 (5 связей) и периферийны остальные (1 связь). Можно полагать, что это различие также сказывается на соотносительной оценке значений. Чем больше семантических связей, тем актуальнее связь слова с понятием: актуализация многих периферийных значений слова всегда сопряжена с актуализацией понятий — частей одного и того же значения.

Имеются, таким образом, следующие основания соотносительной характеристики значений: 1) способ номинации; 2) референционная достаточность; 3) частотность; 4) мотивированность морфологической структуры десигнатора (соответствие «внутренней форме» десигнатора); 5) полнота словообразовательных рядов (парадигм), объем словообразовательных гнезд, суммарная частотность слов словообразовательного гнезда; 6) полнота формообразовательных парадигм; 7) объем разрешенных синтаксических функций; 8) круг синтаксических валентностей; 9) объем и полнота лексической сочетаемости; 10) логические ограничения сочетаемости в результате взаимодействия словозначений; 11) представленность значений в вариантах слова; 12) употребление в семиотических функциях обозначения и описания денотата; 13) употребление в частной и общей соотнесенности; 14) степень конкретности/абстрактности значений; 15) число содержательных связей с другими значениями в семантической структуре слова.

По каждому основанию значение может получить положительную или отрицательную оценку, а именно: 1) прямое vs. переносное; 2) референционно достаточное vs. недостаточное; 3) более частотное vs. менее частотное; 4) мотивированное структурой десигнатора vs. немотивированное; 5) имеющее более полный vs. менее полный словообразовательный ряд (парадигму), большее vs. меньшее словообразовательное гнездо, большую vs. меньшую суммарную частотность слов такого гнезда; 6) имеющее полную vs. недостаточную парадигму формообразования; 7) не ограниченное vs. ограниченное в репертуаре синтаксических функций; 8) имеющее более широкий vs. менее широкий круг синтаксических валентностей; 9) имеющее более широкую vs. менее широкую лексическую дистрибуцию, полномощную vs. неполномощную лексическую сочетаемость; 10) ограничивающее лексическую сочетаемость другого словозначения vs. ограничиваемое в сочетаемости; 11) имеющее десигнаторные варианты vs. не имеющие их; 12) не ограничиваемое vs. ограничиваемое в функции репрезентации единичного и 13) класса; 14) конкретное vs. абстрактное; 15) центральные vs. периферийные в содержательной структуре слова.

Соотносительный статус значения определяется всей совокупностью признаков. Если два значения при равенстве прочих признаков отличаются

по одному основанию, то главным является то значение, у которого соответствующий признак положителен, а второстепенным — то, у которого этот признак отрицателен. Практически, однако, приходится иметь дело с гораздо более сложной картиной: статутные признаки сравниваемых значений не равны по нескольким основаниям, и совокупность содержит как положительные (левые), так и отрицательные (правые) признаки. В подобных случаях значения оцениваются, очевидно, по суммарным соотношениям положительных и отрицательных признаков. Одному значению отдают предпочтение перед другими, и оно ощущается в языковой интуиции как главное, если, сравнительно с другими значениями, совокупность его статутных признаков обнаруживает заметный суммарный перевес положительных признаков.

Статутные признаки неравноценны для ранжировки значений. Можно полагать, что определяющими являются: а) способ номинации, б) референционная самодостаточность, в) частотность, г) словообразовательные связи (основание 5 в перечне), д) синтагматические лексические связи (основание 9) и е) конкретность — абстрактность значения. Остальные признаки «срабатывают» во вторую очередь, когда определяющие признаки вступают в конфликт и не отдают явного предпочтения какому-то одному значению в общей «очереди на слово».

В пояснение рассмотрим таблицу, в которой сведены основные статутные признаки четырех существительных, трех глаголов и одного прилагательного:

	гасить		голова		голос		глубокий		сидение		голод		гладить		гадать	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
А	Х	Х	+	-	+	-			-	+	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Б	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	Х	Х	Х	Х
В	+	-			+	-	+	-	-	+	+	-				
Г	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	+	-	Х	Х	Х	Х
Д			+	-	+	-	+	-	Х	Х	+	-	Х	Х	Х	Х
Е	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	+	-	Х	Х	Х	Х

Буквы в вертикальном ряду слева обозначают основания статутных признаков в перечисленном выше порядке. У каждого слова рассмотрены по два значения: *гасить* 1) прекращать горение, свечение; 2) ликвидировать (денежную) задолженность; *голова* 1) известная часть тела; 2) ум, рассудок; *голос* 1) звук слышимой речи; 2) право выразить мнение; *глубокий* 1) не мелкий; 2) миновавший начальную пору, ср. *глубокая ночь*, *старость*; *сидение* 1) действие от сидеть; 2) опора при сидении; *голод* 1) ощущение потребности в еде; 2) недостаток, нехватка, ср. *книжный голод*; *гладить* 1) ласкательно проводить рукой по поверхности; 2) утюжить одежду; *гадать* 1) предсказывать судьбу; 2) предполагать.

Знак + отмечает положительный (левый из пары) признак, знак – указывает отрицательный (правый) признак при сравнении значений по данному основанию, Х означает приблизительно равенство левого и правого признаков, при пустых клетках значения не сопоставлялись по данному основанию.

Учены следующие словообразовательные связи: гасить¹, гашение; гасить², погашение; голова¹, головной, (больше)головый; голова², голова-стный; голос¹, голосовой, голосить, голосистый; голос², голосовать, голосование; глубокий¹, глубь, глубоко, глубоководный, глубина; глубокий² (связей нет); сидение¹, сидеть, сидячий; сидение² (связей нет); голод¹, голодать, голодание, голодный, голодовка, впроголодь; голод² (связей нет); гладить¹, гладкий, поглаживание; гладить², глажение, гладильный; гадать¹, гадалка, гадалый, гадание; гадать², гадание, гадательный, догадка. При полном анализе должны учитываться также вторичные относительно рассматриваемого значения словообразовательные связи, т. е. однокорневые слова, отражающие рассматриваемое значение, но производные не от рассматриваемого лексико-семантического варианта, а от какого-то другого слова в его первичном словообразовательном ряду, например, к глубокий¹ — глубина — глубинный. Помимо этого, должны учитываться и все сложные слова, в которых представлено рассматриваемое значение.

Из таблицы видно, что первые значения в словах *гасить*, *голова*, *голос*, *глубокий*, *голод* четко выявляются как главные сравнительно с вторыми значениями по целой совокупности признаков. В слове *сидение* предпочтение отдается второму, производному значению, хотя первое, исходное, значение также обнаруживает положительный признак, кроме того, оно структурно мотивировано. В подобных случаях одно значение выявляется как главное, но с меньшей яркостью противопоставления второстепенному.

Наконец, в словах *гладить*, *гадать* оба значения статутно равноценны по признакам и не дают оснований полагать какое-либо из них главным.

6. Слово и понятие (концепт)

Помимо проблемы соотношения словозначения (лексического значения) и понятия, которая была рассмотрена ранее, существует еще проблема соотношения слова и понятия. По существу это проблема того, как соотносятся семантическая структура слова и структура понятия.

Как мы видели, значения многозначного слова неравноценны по их статусу в структуре полисемии — среди них выделяются главные и второстепенные, производящие и производные, прямые и переносные, первичные и вторичные и т. д.

Структура полисемии имеет центрическую организацию, обычно она моноцентрична, реже — полицентрична. В любом случае одно из слово-значений — главное прямое — занимает в ней особое, доминирующее положение, и соответствующее ему понятие играет определяющую роль в формировании семантической структуры слова.

По сути дела, структура этого понятия, его многообразные ассоциативные связи задают область семантического варьирования слова. Ассоциативное пространство понятия — производящего значения — очерчивает рамки той сети, в узлах которой могут реализоваться при соответствующих условиях производные значения. Из них некоторые попадают в узел, другие остаются окказиональными реализациями, третьи существуют только как потенциальные возможности семантического варьирования главного значения.

В исследовательских целях можно пойти обратным путем — от семантической структуры слова к структуре понятия, которое легло в основу семантики слова как его основное (главное прямое значение), и к структуре иррадируемого этим понятием ассоциативного поля. При анализе многих понятий этот путь имеет несомненные преимущества перед прямым установлением структуры понятия через исследование отражаемых им участков действительного мира и человеческой деятельности. Структура полисемии — данность более непосредственно выявленная, чем структура понятия, анализ ее, как правило, проще, производится с меньшими затратами времени и усилий, чем анализ соответствующих понятий. Установление структуры понятия предполагает трудоемкий анализ структуры мира и человеческой деятельности на соответствующем участке отражаемого сознанием мира, в то время как анализ семантической структуры слова, хотя и не может быть проделан вполне автономно от знания мира и человеческой деятельности, тем не менее — при должной осторожности и оглядке на структуризацию мира, деятельности и сознания — может в значительной мере опираться на языковые данные. Эти данные могут быть получены более простым и экономным способом и с учетом необходимой коррекции могут послужить достаточно надежными рефлексам понятийно-деятельностных структур. По меньшей мере они могут послужить источником эвристической догадки.

Таким образом, путь от семантики к понятию и через них — к структурам деятельности человека в действительном мире имеет свои преимущества, особенно при рассмотрении явлений, сущность которых несомненно очевидна. Исходная посылка состоит в том, что структура понятия отражается в семантической структуре языковой единицы, и задача заключается в том, чтобы показать, как элементы первой участвуют в формировании второй, очерчивая область семантического варьирования слова и обозначая наиболее вероятные пути развития его многозначности.

В этом смысле на пути от семантики к понятиям словарь может послужить источником научных концепций или средством их корректировки. Он может наталкивать на некоторые нетривиальные и несамоочевидные обобщения относительно сущности и структуры сложных денотатов. Путь от семантической структуры слова к понятию особенно ценен для семиолога и лексикографа. В своей практике им приходится сталкиваться с обширными пространствами научной целины — ничейной земли, не получившей должного отражения в отстоявшейся проблематике отстоявшихся научных дисциплин. Сталкиваясь с такими предметами и областями, семиолог и лексикограф должны в силу необходимости, хотя бы для своих целей и неявно, создавать концепции сущности и структуры таких денотатов, т. е. так или иначе осмысливать их теоретически.

Но и применительно к изучаемым в науке объектам анализ семантических структур обозначающих их слов может быть небесполезен. Покажем, как путь от семантики к понятию способствует уяснению последнего на примере анализа сложного понятия игры посредством обследования семантической структуры соответствующих слов в русском и английском языках.

Игра — широко распространенный, весьма разнообразный и регулярный род человеческой деятельности. Материальная (предметная) деятельность человека совершается в трех мирах — непреложном, игровом и обманном. Первый управляется причинно-следственными зависимостями, игровая и обменная деятельности специфичны и связаны с непреложным миром сложными отношениями включения/исключения. Важно, что в каждом из трех миров деятельность человека осуществляется по своим, отличным для каждого случая правилам. В частности, прагматика игрового общения управляется правилами, существенно отличными от известных принципов и максим прагматингвистики.

Игровая деятельность — весьма широкая категория, она включает в себя и позволяет увидеть в должной перспективе как частные свои проявления то, что известно как карнавализация (М. М. Бахтин) и смеховой мир (Д. С. Лихачев и др.).

Игра, очевидно, — род деятельности. Впрочем, о некоторых играх надежнее говорить как о действиях, они как бы не дотягивают до деятельности.

Деятельность обычно предполагает не просто действия, но действия целенаправленные, относительно длительные, регулярные и характерные, существенные для их субъекта, и действия не простые по структуре, а сложные (системы действий). Игра как родовое действие, несомненно, — характерная, даже необходимая для человека деятельность, но отдельные игры, как, например, партию в шахматы, деятельностью вряд ли назовешь. Итак, в родовом плане игра — особого рода деятельность, но в плане конкретном — особый род целенаправленных действий.

Но в чем особенность игры как родового действия-деятельности? И соответственно — как определить центральное прямое значение слова «игра»? Обычно отмечают непроизводительный характер игровой деятельности, а в качестве ее существенного признака указывают то, что мотив этой деятельности заключен не в ее результатах, а в ней самой.

Игры, конечно, непроизводительны, но только в грубо вещественном смысле слова.

Они, безусловно, удовлетворяют определенным потребностям, но не в виде материального продукта. Этот признак лишь сближает игры с множеством других, неигровых действий, также не порождающих каких-либо вещественных артефактов.

Таковы все виды психической деятельности (интеллектуальной, эмоциональной, волевой, модальной и т. п.), физической деятельности, направленной не на создание вещей, а на простую их модификацию, на обращение с ними, использование их и т. п., все действия — пространственные перемещения и т. д. Отметив непроизводительный характер игровой деятельности, мы еще не приблизились сколько-нибудь заметно к пониманию ее сущности. Экстенсionalmente этот признак слишком широк и включает многие виды деятельности, помимо игровой.

Верно ли, что мотив игровой деятельности заключен не в ее результатах, а в ней самой? Это изящное определение, увы, бессодержательно. Мотив (точнее мотивация) всегда вышшен по отношению к той деятельности, которая им вызывается и которая его удовлетворяет. Сказать, что мотив игры заключен в ней самой, означает просто отрицание всякой мотивации в игровой деятельности.

Но так ли это? Безусловно, нет. Игра — также мотивированная деятельность, но мотивация здесь не лежит на поверхности, не сводится прямо к вещественному результату и удовлетворению непосредственной материальной потребности.

Мотивации игровой деятельности носят более сложный, скрытый характер. Они достаточно разнообразны, но все их разнообразие проистекает из стремления индивида к самоосуществлению в условиях и обстоятельствах действительного мира.

Всякий индивид не только пассивно существует в предложенных ему обстоятельствах действительного мира, но активно реализует заданный ему потенциал самоосуществления, отстаивает свойственную ему родовую и индивидуальную качественную определенность. При этом вступая в разнообразные отношения, противодействия и взаимодействия с внешним миром, индивид не только приспосабливается к этому миру, не только преобразует его как среду своего существования и осуществления, но и строит в дополнение к действительному миру собственный игровой мир на перекрещивании внешнего мира с собой. Игра нужна ему затем, чтобы освоить внешний мир, подготовиться и успешно действовать в нем сообраз-

но его законам и правилам. Она нужна индивиду также и для того, чтобы перестроить и видоизменить внешний мир и, более того, расширить и дополнить его сообразно своим запросам и требованиям.

Наконец, помимо комплекса приспособительных, познавательных и творческих функций, игры используются как средство психологической защиты от внешнего мира, духовного противостояния ему, борьбы с его невзгодами, неустройством и неблагополучием. И речь, понятно, идет не о том, что в игре забываются от тревог и волнений жизни, а о том, что аксиология игры, хотя бы и квазиреальная, может отвергать ценностные системы реального мира и этим освобождать от него, хотя бы иллюзорно — только в сознании и только на время.

Комплекс таких «духоборческих» функций наглядно обнаруживают формы игровой деятельности, частично (но не полностью), сводимые в понятие карнавализации (М. М. Бахтин) и смехового мира: шутовство, клоунада, буффонада, травестирование, гротеск, скоморошество, ерничание, пародирование, передразнивание, карикатура, шутка, ирония, сатира и т. д.

К ним близки игры чисто развлекательного свойства, профилактически выполняющие родственную, но более широкую «оздоровительную» функцию — функцию духовного и физического здоровья, тренировки и разрядки тела, души и ума.

Как видим, игры имеют свои мотивацию, свой *raison d'être*, и этих резонансов у них предостаточно. Но это возвращает нас к изначальному вопросу — определению сущности игры. Разумеется, математическая теория игр тут не поможет. Очевидно, что она касается не всех игр, а только игр, основанных на случае, и, кроме того, берет только особый, вероятностный аспект игр, но так, что выходит за рамки собственно игр в более широкую область случайных процессов. Во всяком случае теория игр, в отличие от теории игры, не касается философии игровой деятельности.

Где же следует искать сущность игры, в чем родовое отличие игровой деятельности, общая основа всех игр? Интуиция должна подтолкнуть обобщение в правильном направлении — к представлению, пока еще смутному и неточному, о деятельности невясерьез, не вполне обязательной, свободной от необходимости, не связанной всеми условиями действительного мира. Особенность игры как деятельности в том, что она осуществляется не по правилам, навязываемым субъекту действительностью, а по правилам, которые субъект навязывает действительному миру. В собственно игровых моментах своей деятельности субъект высвобождается из сетей необходимых связей и зависимостей реального мира, в том числе причинно-следственных, и в этом смысле игровой мир противопоставлен реальному и отличен от него. Играющий связан лишь правилами игры. Он не принимает на себя во всей полноте ответственность и зависимость от диктата действительности. Актер, играющий Отелло, не ждет ареста после

спектакля, равно как и слуги закона не спешат исполнить свой долг по отношению к нему. Более того, и само преступление — условность игры.

Но реальный мир позволяет расслаблять свои объятия, но никогда не размыкает их полностью. Игрок свободен от него лишь в пределах своей игровой роли.

Поскольку же, вступая в игру, игрок лишь берет на себя новую обязанность — играть по правилам игры, но не может стряхнуть ничего от своей субстанции, ролей, функций, отношений и качеств в реальном мире, он по-прежнему подчинен ему, его закономерностям, законам и правилам. Обезумев от ревности, Канио обращает игру в жизнь, и последствия ужасны (но театр вновь обращает жизнь в игру, и убийца выходит раскланиваться вместе с жертвой). Играющий может выйти из связей и зависимостей реального мира лишь одним способом — вступив в игровой мир, но и это не освобождает его полностью, так как реальный мир продлевает себя в игровом, и в этом смысле противопоставление игры и реальности снимается: игровой мир оказывается частью мира действительного. Но игра добавляет свое к реальному миру; вырастая из него, опираясь на него и сливаясь с ним, она дополняет реальную деятельность игровой, подчиненной собственным правилам и в своих пределах свободной от необходимостей действительности. Этим сущностным аспектом игровой мир противоплагается действительному. Тем самым в отношениях двух миров диалектически совмещены отношения между частью и целым и отношения между целыми.

Игры чрезвычайно многообразны, и это многообразие затемняет черты их родовой общности. Возможно классифицировать игры по множеству взаимодополнительных оснований, каждое из которых указывает какой-либо более или менее существенный аспект игр и может быть интересным и значимым для определенных целей. Игры могут быть коллективными и индивидуальными (основание — число участников и структура игровых отношений), немашинными и машинными (использование игровых автоматов в качестве партнера и т. п.), неинструментальными и инструментальными (требующими, помимо игроков, некоего инструментария, инвентаря, подготовленного места и т. п.), интеллектуальными и физическими, или атлетическими (а также смешанными по этому основанию), соревновательными (на победителя) и несоревновательными, вероятностными (игры случая, удачи, азартные игры) и невероятностными, практическими (т. е. решающими некоторую практическую задачу, например, деловые игры, военные игры, вроде штабных и полевых учений, развивающие игры) и развлекательными, массовыми и немассовыми, зрелищными и незрелищными и т. д. и т. п.

Заметим попутно, что обыденная категоризация игр нередко оперирует — и успешно — с размытыми классами — стохастизмами с вероятностной структурой, обобщая игры сразу по нескольким признакам с разным

удельным весом. Например, понятие спортивных игр не очерчено жестко. Это соревновательные коллективные игры, преимущественно двигательные, но не исключающие полностью интеллектуальных игр, ср. шахматы, шашки, однако и не включающие их полностью, ср. карты, домино; преимущественно, но не обязательно зрелищные; существен аксиологический момент, общественный престиж игр: это игры с общественно признанной ценностью (чего нет у карт, домино).

Типология — классификация по наиболее существенному основанию, а наиболее существенны признаки с максимальной прогностической силой: один признак с необходимостью или вероятностью имплицитно подразумевает максимум других признаков той же вещи (события, явления). Типологически наиболее существенным представляется деление игр на моделирующие и немоделирующие. Это различие связано с характером правил игры.

Игры непременно предполагают правила. Правила управляют игровой деятельностью.

Понятно, что правила присущи не только игровой деятельности, но дело в том, что не всякая неигровая деятельность управляется правилами, она может совершаться и без правил, в то время как никакая игра невозможна без правил.

Правила — людские установления, в отличие от законов, которые могут быть как установлениями, так и не зависящими от человека необходимостями и регулярностями природы, т. е. ее закономерностями. Правило отличается от закона (в его первом смысле) тем, что правило — это нежесткий, менее категорический, неимперативный закон, закон с пониженной обязательностью.

В случае моделирующих игр правила представляют собой осколок реального мира на каком-то его участке, некую схематическую модель действительности, часто подправленной и трансформированной. Таковы драма (в ее игровом аспекте, точнее, быть может, сказать, лицедейство во всех его проявлениях), многие практические игры (деловые, военные), «взрослые» игры детей и т. д.

Не всякое моделирование носит характер игры, а только то, которое, будучи действием и действием, моделирующим некий прототип, не оставляет после себя никакой овеществленной модели, и не связывает действующих лиц — субъектов игрового моделирования какими-либо последствиями — по крайней мере формально.

В игре материальна лишь она сама, это единственный вещественный продукт игровой деятельности. У нее нет иного результата, кроме удовлетворения тех духовных и физических потребностей, которые ее мотивируют, и в этом смысле игра, как говорилось, непроизводительная деятельность. Моделирующие игры мотивированы прежде всего духовными потребностями гностического и прагматического планов, и в первую очередь потребностью деятельностного, в определенном смысле практическо-

го, экспериментального освоения реального мира, не без вступления в поток этого мира, без принятия всех его обязательств, без подчинения его потребностям и неизбежностям. Игра в этом аспекте — протест против необратимости времени, единственная, но, увы, иллюзорная возможность многократно входить в один и тот же поток, повторно проживать одну и ту же действительность. В этом смысле игра останавливает ход вещей и возвращает вспять течение времени.

Но и в моделирующих играх полная свобода от проживаемого реального мира невозможна. Напротив, двойственность игры как антипода и части действительности обнаруживает себя наиболее ярко. И не только в том смысле, что всякая игра также проживается ее участником, что она занимает время, пространство и требует усилий, но и в смысле более глубоких и непосредственных связей с миром.

Моделирующие игры предполагают большую или меньшую степень идентификации и даже отождествления игровых ролей и шире — всех элементов игровых структур с реальными прототипами — лицами, вещами, структурами, событиями и явлениями, разумеется, на разных уровнях обобщения — конкретизации и с равной мерой воспроизведения — отвлечения. Поскольку интересы и оценки (в самом широком смысле — как центральные категории прагматики) входят в круг мотивов и целей игры, характер моделирования и сам выбор прототипов оказываются далеко не случайными и могут опосредованно, но не менее энергично вмешиваться в процессы реальной жизни и влиять на них. Более того, игра может стать инструментом такого вмешательства.

И тем не менее надо настаивать на том, что по своей сущности игра изъята из реального мира и противопоставлена ему как действие «с ограниченной ответственностью». Что дело обстоит именно так, наглядно обнаруживается из сравнения моделирующих игр с простой имитацией, например с передразниванием.

Сама по себе имитация, хотя и близка моделированию и в определенном смысле лежит в основе его, отличается от него целевой установкой. Модель не предназначена заменить прототип в действии, она заменяет его во всех иных отношениях, кроме действительного. В ее задачу не входит тиражировать, размножить прототип, создать еще один его действующий экземпляр.

Она не претендует на действительную или, хотя бы в воображении, мыслительную замену оригинала полностью или в каких-либо его чертах. Она внеположена и оригиналу, и его классу. Модель подобна оригиналу, но не настолько, чтобы стать им или хотя бы умножить его ряд. Иначе говоря, она не претендует на отождествление с оригиналом ни на уровне единичного, ни на уровне класса. Ее не пускают в оборот наравне с оригиналом, и у нее нет тех же прав на существование, что у оригинала. Поэтому ее можно создать и разрушить, не отвечая той мерой ответственности,

что за оригинал. Модель замещает свой объект лишь в специфических отношениях — для целей его изучения, создания (или воссоздания), оценки.

Напротив, имитация, хотя и основывается на тех же процессах сравнения и воспроизведения признаков прототипа, противопоставляется моделированию тем, что имеет целью так или иначе, полностью или частично служить действующим подобием оригинала, быть выданным и сойти за него целиком или в каких-то его чертах, на уровне единичного или класса.

Крайние случаи игрового моделирования находим в смеховом, карнавальном мире — моделирование от противного, с переменной знаков оценки на противоположные.

Структура прототипа сохраняется в игровой модели в пределах, обеспечивающих узнавание прототипа, но ее элементы наделяются такими признаками, что их принятая, «официальная», «уставная» оценка меняется на противоположную — отрицательную. По существу меняются не столько признаки прототипа, сколько их параметризация — соответственно новой их игровой оценке. Примеры игр такого рода теперь хорошо известны и приводились здесь в связи с «духоборческой» функцией игр.

В смеховых играх наглядно проявляются три функциональные достоинства, в той или иной мере свойственные всем моделирующим играм. Во-первых, они воспроизводят реальный мир, во-вторых, освобождают от него, в-третьих, заменяют, а точнее, дополняют его приемлемым необходимым субститутотом, но, увы, — лишь на время и в ограниченных пределах, пока признается игровая конвенция — соглашение об игровом характере действий.

Другой тип игр — немоделирующие игры — еще более многочислен и разнообразен.

Его примеры легко отыскиваются среди видов игр, упомянутых выше, — интеллектуальных и атлетических, вероятностных и невероятностных, соревновательных и несоревновательных и др., ср. *шахматы, футбол, азартные игры, пятнашки, игры в «чижса», в «классики»* и т. д. Их особенность в том, что правила, на которых строится игра, не порождаются моделированием какого-то участка реального мира, а изобретаются, придумываются, а не транспонируются.

В этом смысле они оригинальны. Игры этого рода раздвигают мир реальной действительности не ее игровыми аналогами, а оригинальными добавлениями.

Иногда в основе таких игр стремятся усмотреть то же моделирующее начало. Так, о шахматах и вообще о соревновательных играх говорят, что они моделируют жизнь как борьбу, а рулетка и вообще вероятностные игры — жизнь как удачу. Но это очень не точно. Они не моделируют борьбу или удачу, а сами содержат в себе элемент борьбы или удачи. Они не моделируют жизнь, а сами являются ее игровой частью. Шахматы, к примеру, не моделируют ни какой-либо вид борьбы, ни борьбу в целом. Напро-

тив, они сами по себе — свой особый вид интеллектуальной борьбы, демонстрирующий общие законы интеллектуальной борьбы и частные особенности интеллектуального соперничества в шахматах.

Другое дело, что моделирующий и немоделирующий типы — лишь крайние полюса, между которыми немало игр промежуточного характера в разной мере свободных/несвободных от элементов моделирования, ср. игру в казаков-разбойников и т. п.

Теперь время подключить к понятийному анализу игры семантический. Рассмотрим смысловую структуру соответствующих английских слов в сопоставлении с русским. Первое, что ожидает нас в английском языке: на самом общем уровне понятийная сфера разбита двумя словами — *game* и *play*, первое — с глагольной конверсной парой, второе — только существительное.

Напротив, в русском вся область обобщена единым словом «игра».

В чем принцип английского разбиения? Очевидно, в разграничении моделирующих/немоделирующих игр. Первые связаны с *play*, вторые — *game(s)*. Употребление *play* в родовом смысле, распространявшееся и на область теперешнего *game: play = a particular amusement, sport* — теперь архаично.

Вместе с тем родовая общность игр, т. е. родовое понятие игры, требует выражения, и эта потребность находит способ реализоваться. Во-первых, в рамках обыденного языка и обыденного словоупотребления происходит обычное для естественных языков частичное, в ограниченных пределах преобразование эквиполентной лексической оппозиции *play — game* в привативную с нейтрализацией в *play* дифференциального признака (моделированность игры), так что *play* обобщает свое значение до родового обозначения игры (немаркированный член оппозиции). На этой основе, во-вторых, в рассуждениях об игре вообще возможна терминологизация *play* как родового термина, т. е. окказиональное, по необходимости обобщение значения слова *ad hoc*.

Попутно отметим важный момент. Наличие двух имен в английском отнюдь не означает, что говорящий на английском языке осознанно делит игры на моделирующие и немоделирующие. Язык предлагает ему это членение, и он следует ему в своей речевой практике, но следует неосознанно, безотчетно, в силу языкового узуса, соблюдая по памяти принятую норму номинации без ее содержательного истолкования. В таких случаях понятийная структура коллективного языка оказывается богаче индивидуального сознания.

Но равным образом и в русском языке наличие единого термина не равносильно осознанной дефиниции игры, ее содержательному истолкованию. Интегральные и дифференциальные признаки игры содержатся в виде сем в значении этого слова, но на поверхность сознания они всплывают только при их номинации, т. е. в операциях дефиниции, толкования, объ-

яснения, рассуждения, экспликация, интеграция, перефразирования. До этого же употребление слова управляется памятью и интуицией.

Структура полисемии как множества деривационно связанных значений формируется как результирующая многих факторов и прежде всего: 1) номинативных потребностей; 2) возможностей наличной системы номинативных средств; 3) системных связей номинативных единиц, т. е. их места как элементов общей системы номинативных средств и, наконец, взаимодействия указанных факторов с 4) потенциалом смыслового варьирования данного слова в метафорическом, метонимическом, гипонимическом и партитивном полях. В результате из этого потенциала реализуется, проникает в узус и закрепляется в словаре лишь некоторая часть возможных значений.

Что же отстоялось в семантике английских *play* и *game*. По каким линиям пошло развитие их семантических структур в сравнении с русским «игра»? Как отразилась структура понятия игры в двух языках?

Словари отмечают у *play* следующие значения, сгруппированные в 4 комплекса и разбиваемые внутри на подгруппы (даны с типичными примерами):

1.1.a: использование по назначению: *gun play in the streets*;

1.1.v.1: *устар.* конкретная игра, развлечение, спорт;

1.1.v.2: процесс, ход игры: *rain interfered with play*;

1.1.v.3: момент, действие в игре: *it's your play*;

1.1.v.4: активная часть игры, как-то гейм, сет, тайм;

1.1.c.1: *устар.* половой акт;

1.1.c.2: ласки перед половой близостью;

1.1.d.1: вид активного отдыха, развлечение, забава, спорт;

1.1.d.2: шутка, смех: *he said it in play, not in earnest*;

1.1.d.3: забавная многозначность: *play on (of) words*;

1.1.e: азартная игра: *loose a fortune in play*;

1.1.f.1: *диал.* праздник;

1.1.f.2: *диал.* ярмарка;

2.a.1: способ, метод, манера: *a play to get smb's finger-prints*;

2.a.2: предприятие, афера, авантюра: *a big oil play*;

2.v.1: действие, употребление: *his sense of humour was in play*;

2.v.2: живое, энергичное действие: *a play of wit*;

2.v.3: перемежающееся действие: *the play of light*;

2.v.4: движение, перемещение: *shaft end play*;

2.v.5: размах, амплитуда движения: *ample play*;

2.c.1: временный интерес: *give smb. a great play*;

2.c.2: рекламирование, популяризация: *give a heavy play to smth*;

2.c.3: усилия возбудить интерес к чему-либо: *he made a big play for*

the girl;

3.a: постановка на сцене;

3.в: пьеса;

3.с: пантомима;

4: проигрывание (пластинки и т. п.)

Поскольку *play* соединяет в себе маркированное значение с немаркированным обобщенным, оно содержит два комплекса значений, ассоциативно развивающих понятия моделирующей игры и игры вообще. В обоих случаях развитие идет преимущественно на импликационной (метонимической) основе, а также на основе гипер-гипонимической, или родовидовой (расширение — сужение значения), в меньшей мере — на метафорической (симилятивной) основе. В первом случае комплекс имплицативных ассоциаций реализуется в следующих производных значениях: пьеса, пантомима; исполнение, постановка пьесы, пантомимы, спектакль. Ср. *a play by B. Shaw, to see a play at the theatre, the play was a success*.

Другой комплекс значений, базирующийся на понятии об игре вообще, представляет собой гораздо более обширную и разветвленную структуру ассоциированных концептов. В ней в качестве производных значений отразились:

– во-первых, разнообразие сторон, аспекты игровой деятельности; ср. *play* как процесс игры: *rain interfered with play* как структурная часть игры: *it is your play* как активная часть игры и т. п.;

– во-вторых, частые виды игр; ср. *play* как азартная игра на деньги: *he lost his fortune in play* как активная, атлетическая игра: *cooperative play* как игра на театре, как пантомима;

– в-третьих, утрата понятием игры отличительных признаков и его обобщение по линии гиперсемы, родового признака; ср. *play* как действие, процесс, проявление вообще (необязательно игровое): *gun play in the streets, in play, out of play, a play of wit; play* как движение, перемещение: *shaft end play, an inch of play*;

– в-четвертых, утрата понятием игры отличительных признаков игры с обобщением по линии импликационных ассоциативных признаков, привычно связываемых с игрой, т. е. генерализация слова по линии его импликационных сем; ср. *play* как шутка, развлечение, забава, удовольствие (необязательно игровое): *he said it in play, not in earnest, all work and no play*, ср. также семантику производных *playful, playfully*.

Обобщенное значение игры как действия вообще с погашенными дифференциальными признаками игры, в свою очередь, служит отправным пунктом для последующей деривации значений: 1) действие > движение (т. е. пространственное действие, перемещение): *shaft end play*; 2) движение > размах, амплитуда движения: *ample play*. В обоих случаях имеет место последовательное сужение (специализация, гипонимизация) значения.

Отмечаемые словарями три значения 2.с.1. — 2.с.2. — 2.с.3. «временный интерес»: *give smb. a great play*; рекламирование, популяризация: *give a heavy play to smth*; усилия вызвать интерес к чему-либо: *he made a big*

play for the girl — на деле относятся не к *play*, а к сочетаниям *play* с широкосмысленными глаголами, т. е. они комбинаторно обусловлены. Само же существительное проявляет одно и то же значение «действия, обусловленные неким интересом». Тем самым это значение — еще один случай гипонимизации промежуточного гиперонима: игра как действие вообще. Интерес как мотив конкретно проявляет себя как то, что должно быть вызвано у других или проявлено у себя и выказано для других.

Важно заметить, что все вторичные значения, как правило, не свободны, а реализуются с разнообразными ограничениями. Их языковой статус и способность к номинации соответствующего понятия ущербны.

Внимательный анализ обобщения значения *play* «игра > действие» побуждает к двум важным выводам. Процесс генерализации начинается с метафорического уподобления игре разнообразных действий. При этом основанием уподобления служит не столько аналогия игрового и неигрового действий по каким-либо их собственным признакам (онтологическая аналогия), сколько сходство по эмотивно-оценочному переживанию их, по субъективному отношению к ним (прагматическая аналогия). С одной стороны, стоят собственно игровые действия, с другой — действия, не игровые по природе, но «замешанные» так или иначе на неподлинности, введении в заблуждение, подстройке под действительность, обмане сознательном или невольном, «ненатуральные» по характеру. Ср. глагольные фразеологизмы этого круга: *play for time*, *play for safety*, *play it cool*, *play it one's own way*; *play the great lady*, *play the man*, *play a joke (a trick)*. Таким образом, генерализация значения проходит через этап метафоризации (1) при том условии, что концепты исходного и производного значений сближаются на эмотивно-оценочной, прагматической основе (2).

Первые, игровые, действия отграничены от подлинного мира действительности и, даже оставаясь частью его как целого, противопоставляют себя «миру всерьез» как целое целому. Вторые, обманные, действия претендуют на подлинность, естественность, истинность, выдают себя за действительность, стремятся как бы продлить, тиражировать действительность, но реальны они не как факт, а лишь как подделка под фактическое, подлинное, истинное положение дел. Они реально имеют место как факты искажения подлинного мира, а также как факты несостоятельных, неоправданных претензий на фактуальность.

Сходство между теми и другими — в отношении к действительному, включающему, несущему нас как поток миру: и притворные, обманные, ложные действия, и действия игровые стоят за его пределами, но стоят по-разному. В одном случае действия претендуют на то, чего в них нет, — реальную основу факта. Напротив, игра как факт самоценна. Создание иллюзорных представлений, или попросту обман, не входит непременно в ее цели, хотя она вполне может использоваться как средство, способ, инструмент обмана.

Однако проблема разграничения игры от неигры не решается так просто, и есть масса случаев, когда граница между ними относительна, и игра смыкается с жизнью, с миром-потоком. Гиперболическое выражение случаев этого рода находят в присловьях, вроде «Вся жизнь — игра, весь мир — театр, а люди в нем актеры».

Той же в принципе природы и социологические представления об обществе как о многомерной системе социальных ролей, попеременно и одновременно исполняемых индивидами.

В той мере, в какой поведение людей определяется необходимостью и социальной нормой, ограничивающими свободу выбора, вряд ли действия людей могут считаться игрой, даже если в них и привносится игровой элемент. Например, обряды, ритуалы, священнодействия отнюдь не игра. Они фактуальны, даже если это только фактуальность внушенная. Действия шаманов, колдунов, ведьм и магов становятся игрой лишь в той мере, в какой они перестают приниматься всерьез, уходят из жизни людей и становятся этнографическими спектаклями.

Конечно, камлание воспринимается по-разному шаманом и этнографом, но фактуальность/игорность действия определяется относительно исполнителя, а не зрителя.

Содержательная сторона слова (семантика в широком смысле) не сводится к перечню узуальных значений и структуре их связей. Узуальные значения дополняются потенциально возможными результатами семантического варьирования. Потенциал семантической деривации новых значений слова представляет собой вероятностную структуру. Строение этого стохастизма определяется силой ассоциирования представлений и понятий (концептов), переживаний и оценок, связываемых людьми с узуальными значениями, и в первую очередь с основными прямыми значениями слов.

На этой основе можно говорить не просто о семантике слова, но о его семантическом потенциале, имея в виду под ним не просто состав узуальных значений и структуру их деривационных связей, но его содержательный заряд, предпочтительные линии его семантической реализации и развития. Таким образом, семантический потенциал слова — это вероятностная структура референционно-сигнификативных и оценочно-эмотивных признаков, дополнительных к комплексу узуально представленных в слове семантических признаков и с разной силой ассоциируемых с ними.

Различные потенциальные значения имеют разный шанс реализоваться на базе данного слова и тем более попасть в узус, и это зависит прежде всего от того, есть ли в них номинативная потребность и с какой легкостью ассоциированы исходный и производные компоненты.

Для того чтобы объективно оценить семантический потенциал слова и через него выявить структуру соответствующего понятия, слово должно

быть взято в составе парадигматических рядов и синтагматических цепочек, т. е. необходимо учесть его системные семантические связи по линиям синонимии, антонимии, эквонимии, гипер-гипонимии, словообразования, словосочетания, транспозиции, грамматической перекатегоризации и т. п.

В поставленных нами целях необходимо в первую очередь привлечь к рассмотрению существительное *game* и глагол *play*.

Приводим для справок семантический состав этих слов (указаны наиболее важные значения):

game n.

- 1) вид игры или спорта: *football is a game*;
- 2) набор для игры: *the shop sells games*;
- 3) часть игры, гейм; партия: *a game of chess*;
- 4) (тайные, рискованные) действия в расчете на успех: *double game*;
- 5) уловка, хитрость: *I'll have none of your little games*;
- 6) шутка, помеха: *to make a game smb*;
- 7) развлечение, забава: *game and glee, what a game*;

play v.

- 1) действовать как игрок: *he is playing chess*;
- 2) забавляться, упражняться: *cats play with a string*;
- 3) шутить: *to play a trick*;
- 4) исполнять (роль, пьесу): *he plays the main part*;
- 5) выдавать себя за кого-либо, притворяться кем-либо: *to play the great lady*;
- 6) исполнять (музыку и т. п.): *to play a sonata*;
- 7) говорить, играть (о радио и т. п.);
- 8) направлять (что-либо на что-либо): *play water*;
- 9) легко двигаться, блуждать: *a smile played on her lips*.

Сравнение двух существительных укрепляет в убеждении, что разграничение между ними идет по линии моделирующих/немоделирующих игр при параллельной частичной перестройке эквиполентной оппозиции в привативную с нейтрализацией и обобщением значения *play*. Тенденция к семантической неотмеченности *play* поддерживается глаголом того же корня. Глагольность не свойственно *game* (за исключением значения «играть в азартные игры»), и глагол *play* совмещает в себе выражение всех видов игровых действий.

С этим связан еще один момент различий, дополнительно выявляемый из сравнения существительных *play* и *game*: *game* тяготеет к выражению субстанциональных аспектов игр, а *play* — процессуальных, первое связывается с более конкретным представлением о конкретных играх, а второе — с более обобщенным представлением об игре вообще, первое представляет игру в комплексе участников, их действий, правил, необходимых условий игры, второе ставит в фокус игровое действие. Эти моменты определяют различие в динамике семантических потенциалов *game* и *play*.

Разграничение *play* и *game* по признакам «моделирующие/немоделирующие игры» пересекается, таким образом, с фокусировкой по признакам «игра как действие — игра как комплекс». В результате возможно частичное наложение на круг моделирующих игр, ср. *play doctors and nurses* — *a game of doctors and nurses*, кроме того, отмечается еще семантический параллелизм в значениях *игра как уловка, хитрость; шутка, потеха; развлечение, забава*.

Подведем итог. В целом, как можно видеть, анализ семантической структуры игры (т. е. игры в ее знаковом отражении) нельзя осуществить без параллельного анализа структуры понятия игры и без построения — с той или иной мерой эксплицитности — некоторой теории игровой деятельности, хотя бы и в самом общем плане первого приближения. Структура полисемии слов этого круга настойчиво подчеркивает и наглядно выявляет в представлениях об игре то, что 1) она имеет деятельностьную природу и поэтому может быть обобщена до представлений о деятельности, действия, движения вообще; 2) что это деятельность «невсерьез, с ограниченной ответственностью» и поэтому сопряжена с признаками забавы, удовольствия, отдыха, упражнения, веселья, шутки; 3) что это деятельность — по правилам, задаваемым либо моделированием действительного мира на каких-то его участках, хотя бы и со сменой ценностных знаков на противоположные, или по специально изобретенным правилам, и поэтому игры распадаются на моделирующие и немоделирующие; 4) что, наконец, это деятельность, не только составляющая часть действительного мира и поэтому связанная его зависимостями и подчиненная его законам, но и противопоставленная ему, управляемая собственными правилами и в этом, собственно игровом, аспекте свободная от цепей причин и следствий. Поэтому и в структуре понятия игры, и в семантических структурах выражающих его слов четко выявлена линия ассоциаций, связывающих с игрой представления о неподлинности, облегченном характере игровой деятельности. На пределе ассоциации этого рода сближают игру с обманом, хитростью, уловками, иллюзиями, вымыслом.

На этом пункте размышления об игре в ее словесно-знаковом и деятельностьно-понятийном аспектах подводят к важному общему заключению.

Действительный (реальный) мир противостоит не только идеальным (мыслительным) мирам, так или иначе его отображающим, конструирующим и искажающим, но парадоксальным образом имеет противопоставления себе внутри себя, т. е. противостоит самому себе. Непреложный мир, т. е. действительность как сеть причинно-следственных зависимостей, как поток, несущий вещи в пространстве и времени, противопоставлен двум более ограниченным тоже действительным мирам — игровому и обманному. В терминах христианской доктрины сказали бы, что непреложный мир

создан и управляется богом, игровой — человеком, а обманной — дьяволом. Вместе с тем все они — части общего мира действительности, и все утверждаемое о каждом из них может оцениваться в терминах истины и лжи, факта и вымысла (фантазии, иллюзии, домысла, выдумки, мифа, бреда, сказки и т. д.).

Иначе говоря, констатации об этих трех мирах мыслятся и/или подаются и/или являются на деле (включая констатации существования) либо фактуальными (фактически имеющими место в действительности), либо мнимыми. Модальные констатации распределяются среди фактуальных (констатации желания, долженствования и необходимости) или мнимых (условно-следственные и вероятностные констатации о ситуациях, событиях, о существовании вещей и признаков).

«Обман, обманной мир (мир обмана)» — не лучшие обозначения. Хотя известна ложь во спасение, а вынужденные, неизбежные и оправданные микро- и макрообманы заурядны и массовы, обман в абстракции от конкретных обстоятельств оценивается отрицательно. Это справедливо, но лишь как суммарная, итоговая оценка обмана в конечной перспективе, на уровне класса, но не относительно конкретных случаев обмана, как действие, как третий из действительных миров, в котором, увы, тоже живет человек, не следует помещать целиком в мнимый мыслительный мир. Конечно, он начинается с замысла, с проекций, фантазий на образ подлинного мира и на этом этапе принадлежит к мыслительному миру, но как действие на этапе осуществления он уже вступает в действительный мир, становится его частью. Намерение обмануть — еще не обман, хотя с намерения он начинается. Сам же обман переводит мир замыслов, планов, идеальных построений в мир действительности — с той, конечно, особенностью, что в этом случае мыслительное конструирование намеренно искажает действительный мир. Обмануть значит умышленно породить ложное представление, ввести в заблуждение.

Обман, понятно, не знаковое действие, хотя он чаще совершается в знаковой форме. Однако помимо обмана словом, обычен и обман действием. Игра также не знакова, хотя понятно, может, во-первых, выполняться на знаковом материале или, во-вторых, ей может быть конвенционально придана знаковая функция.

Здесь нет необходимости и возможности входить в пространственный анализ обмана. Для наших целей достаточно указать, что это один из двух, наряду с игрой, видов деятельности людей, находящихся в особом отношении к действительному миру. Как и игра, обман парадоксально-диалектически относится к действительному миру, как его часть и как нечто особое, как целое, столь же действительное, но вместе с тем отличное от действительного мира. Для обмана это отличие — по признаку неподлинности, намеренного искажения действительного мира, для игры — по

признаку неполной — только в рамках конвенциональных правил — ответственности играющих за свои действия, т. е. по признаку изъятия действий из связей и зависимостей непреложного мира.

И обман, и игра действительны (реальны), фактуальны постольку, поскольку они имеют место, совершаются, осуществляются не только в воображении, замысле, уме. Вместе с тем это особая действительность: действительность обмана — в намеренной фальсификации непреложной действительности, действительность игры — в добавлении к непреложной действительности деятельности невясерьез, с ответственностью, ограниченной рамками правил.

Вступая в игру, принимают ее правила; живя в непреложном мире, подчинены его законам; пускаясь в обман, пытаются сбросить его диктат. Обман — попытка фальсифицировать непреложную действительность, исказить подлинный мир, намеренно приписав ему несуществующие сущности, а существующим сущностям — несуществующие у них признаки.

Итак, игра входит в круг трех соотнесенных миров — непреложного, игрового и обманного. Что же лежит в основе сопряжения этих трех миров? На каком общем основании они выделяются, что сводит их вместе? Теперь, когда уяснено различие между ними, спросим, что общего у них и исчерпывают ли они полностью свое основание, на котором выделены. Не следует ли продолжить их ряд, например, иллюзорным миром, миром ошибок и т. п.?

Безусловно, в глобальной системе интересными должны найти свое место и эти последние. Но за пределами или в пределах того основания, на котором выявлены три указанных мира? Внутренняя общность, единство этих последних состоит в следующем: они выявляются в рамках целесообразной предметной деятельности относительно условий ее осуществления. На самом общем уровне, в первом своем членении условия целесообразной предметной деятельности сводятся и распределяются по трем указанным сферам. В самом деле, когда кто-либо выступает как король Испании, он прежде всего сообразует свое поведение с тем, является ли он таковым на самом деле (непреложный мир) или только мнит себя таковым, не вводя никого в заблуждение на этот счет (игровой мир) или, напротив, сознательно обманывая окружающих (обманный мир).

Иллюзорный мир не продолжает этот ряд, так как он существует лишь мнимо, а не предметно. Он не существует в действительности или в действительности существует не таким, каким мнится. Напротив, все три указанных мира предметны, фактуальны, существуют в действительности. Даже если они начинаются с замысла, как в случаях обмана и многих игр (прежде всего моделирующих), они предполагают овеществление замысла. Замысел выводится в предметный (материальный) мир.

Но как быть с теми случаями, когда иллюзорные представления не осознаются как таковые, когда в силу тех или иных причин заблуждения

принимаются за факт, а ошибки полагаются соответствующими действительному положению вещей?

До тех пор, пока иллюзии, заблуждения и ошибки остаются лишь фактом сознания, они, разумеется, не продлевают рассматриваемый нами ряд видов предметной действительности, выделяемых применительно к наиболее общим условиям их осуществления. Но вот они стали основой такой предметной целесообразной, хотя и ошибочной, деятельности. Не следует ли поставить мир ошибочной деятельности (мир ошибок, ошибочный мир) в ряд с деятельностью в непреложном, игровом и обманном мирах?

По-видимому, для этого нет достаточных оснований. Скорее деятельность, основанная на иллюзорных представлениях, заблуждениях и ошибках (ошибочная деятельность) составляет разновидность обманного мира, если последний понимать более широко, чем он был ранее представлен. Этот мир не потеряет однородности и единства, если в него включить не только осознанный вольный или невольный обман других, но и ошибочные действия, проистекающие из неосознаваемых заблуждений, иллюзий и ошибочных представлений, из невольного самообмана (точнее, самообманутости). Единство обманного мира держится на том, что в обоих случаях имеет место более или менее серьезный конфликт, рано или поздно, впрочем, не всегда) выявляемое «разночтение» между тем, что приписывают подлинному миру, и тем, каков он есть на самом деле.

На этой основе в предметный мир обманно-ошибочных действий попадают не только Лже-Дмитрии, Пугачев, княжна Тараканова, Берлага, двойники, но и Дон Кихот, марктовенский нищий, невольно попавший в наследники английского престола, и даже гоголевский душевнобольной бедняга Поприщин, который не только полагал себя испанским королем, но и внушал это кухарке Мавре и своим сослуживцам.

В конечном итоге анализ понятия и слова друг через друга, в их взаимном соотношении вполне эвристичен — он вскрывает содержание и структуру того и другого.

Более того, в рассматриваемом случае он наталкивает на важные разграничения общекатегориального характера. Суммарно они сводятся к системе попарных противопоставлений общекатегориальных понятий:

1. Отражаемый мир vs. отражающий мир (мир отражения). Это относительное противопоставление, так как все, что относится к миру отражения (ощущения, представления, понятия, мыслительные операции и т. д.), само может стать на разном уровне (ср. *мысли о мыслях* и т. п.) объектом отражения и в этом качестве попасть в отражаемый мир. Иначе говоря, нет ничего в отражающем мире, что бы не могло стать частью отражаемого мира.

2. Материальный (вещественный, вещный, предметный) мир vs. идеальный (мыслительный, мыслимый, воображаемый). Это абсолютное противопоставление, так как ничто из сущностей первого мира не принадле-

жит второму, и наоборот; иначе говоря, это противопоставление того, что отражается, само не будучи отражением тому, что есть отражение.

3. Фактический (истинный, подлинный) мир vs. мнимый (иллюзорный, обманный). Это также абсолютное противопоставление свершившегося и свершающегося мыслимому, неосуществившемуся, возможно-му и фантастическому, в том числе ирреальному, т. е. мыслимому, но невозможному в силу нарушения законов действительного (реального) мира. Противопоставление фактического мнимому развивает и обостряет противопоставление материального — идеальному, но не сводимо к нему как часть целого. Развивает и обостряет в том смысле, что идеальное здесь не сводится к отражению материального, но в значительной мере освобождается от его пут и последовательно автономизируется от него, никогда, впрочем, не достигая независимости. При этом мнимое продвигается по пути от несуществующего, но возможного к несуществующему невозможному.

Вместе с тем противопоставление фактического мнимому не сводимо как часть к противопоставлению материального идеальному, так как фактическое может быть и идеальной природы.

Особо надо заметить, что «истинный» и «подлинный» лишь частично синонимичны «фактическому», так как, — помимо значения 1) «фактический, имеющий (имевший) место в действительности» имеют еще значения: 2) (о суждениях, утверждениях) соответствующий действительности, отражающий реальное положение дел; 3) наиболее типичный, характерный для своего класса лиц, вещей, признаков, событий, — «подлинный» имеет еще значение «не поддельный».

Что касается слов «иллюзорный» и «обманный», то они скорее не синонимы к слову «мнимый», а его гипонимы. «Мнимый» описывает как ситуации с наличным, но ложным или ошибочно представляемым денотатом (мнимость признаков), так и ситуации с приписыванием реальному миру мнимых сущностей (мнимость денотатов).

Семантика «иллюзорного» относится скорее к последнему случаю. Наконец, «обманный» описывает узкий класс мнимостей: ситуации намеренного порождения ошибочных, ложных представлений.

4. Непреложный мир (мир-поток, вероятностный мир причинно-следственных зависимостей, вписанных в пространственно-временные координаты) vs. игровой мир («невсамоделишный» мир деятельности по придуманным правилам, мир ограниченной ответственности).

5. Подлинный мир vs. мир обмана. Обман как действие представляет собой намеренную попытку снять преграду между фактическим и мнимым.

Левые члены этих пяти противопоставлений сближены в плане выражения: все они могут быть обозначены термином «действительность», его синонимами и их адъективными и адвербиальными производными.

В самом деле, все отражаемое, материальное, фактическое, непреложное, равно как подлинное, может быть описано как действительное, обозначено как действительность в одном из пяти смыслов. Полисемия термина затемняет различие пяти противопоставлений, скрадывает то обстоятельство, что термин противопоставлен разным словам, не сводимым в одну синонимическую группу.

Иначе говоря, его значение варьирует, но нетождественность смысла не очевидна.

Подтвердим это примерами употребления слова «действительность», его транспозитов и синонимов в контекстах пяти оппозиций:

1. Отражаемый vs. отражающий миры.

Ср. «в действительности он думает иначе»: здесь действительность — нечто отражаемое из области идеального, причем отражаемое неправильно: смысл тот, что чьи-то представления о чем-то интерпретированы неверно.

2. Материальный vs. идеальный миры.

Ср. «одно дело в мыслях (мечтах, фантазиях, теории, планах) — другое в действительности (реальности, на деле, практике)». Здесь действительность = материальный мир в противовес идеальному.

3. Фактический (фактуальный) vs. мнимый миры.

Ср. «действительные (реальные, фактические) потери оказались меньше, чем ожидали», «действительность подтвердила прогноз», «принимать желаемое за действительное», «планы осуществлялись полностью лишь в теории, но не на практике», «в действительности убедить людей оказалось сложным делом» и т. п.

4. Непреложный vs. игровой миры.

Ср. «на сцене он играл злодеев, хотя в действительности был натурой доброй и милосердной». Уже говорилось, что игра (как и обман) может быть фактуальной и мнимой. Поэтому противопоставление действительно-непреложного и игрового может замыкаться рамками фактуального, как в приведенном примере.

5. Подлинный vs. обманный миры.

Ср. «в действительности он не тот, за кого себя выдает». Выше уже указывалось, что хотя обман основан на мнимых неподтвердимых предположениях, как событие он столь же фактуален или мним, как и всякое другое действие. Какого рода действительность подразумевается в примерах, как приведенный выше? Очевидно, тот же непреложный мир, который противостоит и игровому, с тем, однако, отличием, что противопоставление идет не по линии дополнений к нему, а по линии фальсификации.

Как мы видим, термин «действительность» вместе с его транспозитивными производными и синонимами («действительный, действительно; реальность, реальный, реально; дело, сущность, существо, практика» и т. п.) неоднозначен, вступает в семантически отличные противопоставления,

проходя весь ряд пяти оппозиций. Неоднозначность семантики, допускаемая им, объясняет возможность стилистически небрежных, но семантически правильных высказываний, где фигурирует в разных смыслах в рамках одного предложения. Ср. «хотя он действительно (фактуальный смысл) играл только злодеев, в действительности (в реальной жизни — семантика «строгого», непреложного «мира всерьез») он был натурой доброй и мягкой».

На какой основе оказывается возможным такое варьирование семантики? По существу оно носит метонимический характер и возникает на основе и по причине значительного наложения экстенционалов всех пяти понятий, перекрытия их объемов. В центре лежит представление о материальном мире, который принадлежит исключительно к отражаемому, но не отражаемому миру (с учетом, впрочем, возможной относительности, условности разграничения идеального и материального). Он также исключительно фактуален, т. е. лежит вне мнимостей.

Последние все идеальны. Наконец, ему свойственны качества непреложности и подлинности. Заметим, однако, что ни в одном случае материальное не исчерпывает объемы отражаемого, фактического, непреложного и подлинного миров, оставляя что-то в каждом из них на долю идеального.

Однако представление о действительном формируется на более широкой основе, включающей и материальное, и идеальное. Его ядром является понятие сущего, того, что существовало и/или существует, а также того, что с несомненностью полагается долженствующим существовать в будущем. Действительным считается все, что существует (существовало, долженствует существовать) независимо от мысли о нем, т. е. независимо от того, помыслено о нем или нет. Быть действительным означает, таким образом, что нечто, составляющее материальный или идеальный объект мысли, существует вне мысли о нем.

В каждом из пяти, кроме одного (см. ниже), противопоставлений это представление о действительном осложняется и модифицируется дополнительными представлениями и тем самым этот термин употребляется то как гипероним (в обобщенном, родовом смысле сущего), то как гипоним (в специальном смысле особенного сущего); в противопоставлении отражаемого vs. отражающего миров сущее действительно в силу того, что оно — объект отражения (действительное = сущее отражаемое; например, кентавр — не сущее, так как он не объект отражения, он не предмет мысли, но лишь мысль о предмете (не существующем, но мысль о кентавре — сущее и сущее отражаемое, как только мы начинаем рассуждать об этой мысли).

В противопоставлении материального и идеального к идее действительного добавляется признак материальности (действительное = сущее материальное).

В противопоставлении фактического vs. мнимого миров идея действительного представлена в чистом, неосложненном виде (действительное =

сущее, т. е. существующее независимо от мысли о нем). Термин «факт, фактический, фактуальный», таким образом, обозначает то же, что «действительность, etc.» в родовом смысле. В этом обобщенном значении как гипероним он получает возможность подменять последний и в более узких, специальных случаях, но, понятно, с обедненной на уровне рода сигнификацией этих случаев, домысливаемой из контекста.

Ср.: 1. «В действительности (= фактически) он думает иначе». 2. «Одно в мыслях, другое в действительности (фактически)». 3. «Действительность подтвердила прогноз» = «прогноз подтвердился фактически» (замечим, что возможно еще иное значение: «прогноз фактически подтвердился» = подтвердился по существу, в основном, в главном); замечим еще, что в первом своем значении выражение «прогноз подтвердился фактически» плеонастично, так как подтверждение прогноза и есть его осуществление, превращение в факт, точнее — его фактуализация. Фактуализация — явление из области так называемого опережающего отражения действительности, соответствие мыслей — замыслов, планов, прогнозов, предписаний фактам, действительности, их осуществление. 4. «Играв злодеев, он в действительности (фактически) был мягким человеком». Здесь «фактически» сигнализирует не просто сущее в противовес мнимому, а сущее из непреложного мира. Тем самым семантика сдвигается к противопоставлению внутри сущего на той основе, что игровое еще не подлинно сущее. 5. «В действительности (фактически) он не то, за что себя выдает». Здесь «фактически» сигнализирует мир подлинно сущего в противовес мнимообманному.

7. Чем различаются «значение» и «смысл», *meaning and sense*

Мы уже знакомы с различием понятий значения и смысла и видели, что в логике, психологии и лингвистике с ними связывают разное содержание. Здесь мы снова возвращаемся к данной проблеме, но с иных позиций — отталкиваясь от семантики этих двух слов. Иначе говоря, прежде всего нас интересуют не понятия значения и смысла, а семантические структуры слов «значение» и «смысл», их содержательные сходства и различия. Это и поясняет, почему эти два слова в заголовке поставлены в кавычки. Нас интересует, каким путем пошли сами языки в различении семантики этих слов, какое принципиальное различие связывают они с этими словами?

Совпадает ли это различие, спонтанно отстоявшееся в языке, с какой-либо из тех терминологизаций, которые придают этим словам в научных концепциях? Не поможет ли семантический анализ и в этом пункте пролить свет на те понятийные разграничения, которые наиболее существен-

ны и значимы для мышления и речемыслительной деятельности? Для ответа на эти вопросы надо установить и сравнить семантические структуры двух слов, установить и интерпретировать линии принципиального разграничения их семантики.

Далее данные, полученные для русского языка, надо сравнить с данными в других языках. Все ли языки идут сходным путем, различая соответствующие пары слов?

Полного сходства здесь, разумеется, не приходится ожидать, так как семантические структуры корреспондирующих слов в разных языках редко совпадают полностью (речь идет о словах в разных языках, которые совпадают в основном прямом значении). Важно, однако, другое — совпадают ли в языках разграничение семантики в этих парах слов с одной из известных концепций значения и смысла или же языки идут своим путем, выдвигая — и, по-видимому, не случайно — какой-то иной наиболее существенный для мышления и речи понятийный акцент?

Таким образом, ставятся две тесно сопряженные задачи: 1) как устроены семантические структуры и по каким линиям идет разграничение семантики слов «значение» и «смысл» и 2) чем содержательно различаются понятия значения и смысла. Нас будут интересовать не столько специфическое терминологическое содержание, связываемое — нередко весьма произвольно — с этими обозначениями в тех или иных концепциях значения, сколько линии семантического различения этих слов и содержательного разграничения соответствующих им понятий, спонтанно отстоявшиеся в естественном языке и обыденном мышлении.

Следует иметь в виду, что понятийные разграничения, скрытые в семантических структурах слов абстрактной семантики, действительно криптологичны в том смысле, что они не осознаны, освоены говорящими только на речеповеденческом уровне. Для того чтобы осознать, какие понятия сведены в семантической структуре абстрактного слова в качестве его значений, осознать, в чем состоят их различия, мера и характер близости-дистантности, их необходимо дефинировать, истолковать. Полисемия обнаруживает структуру мысли и мира на своем участке только в результате понятийного анализа, не непосредственно в речевой деятельности, а как результат метасемантического анализа. Практически это означает, что хотя говорящие вполне способны корректно применять то или иное слово, очерчивая им понятийно однородную область денотатов, это отнюдь не означает, что они также способны точно указать признаки класса этих денотатов.

Сходным образом, верно различая синонимы в употреблении, они часто затрудняются определить, в чем состоят их семантические различия. Компетенция исполнения (употребления, применения, действия) не тождественна компетенции объяснения (теоретической способности).

Важно, однако, еще следующее. Семантический анализ — род понятийного анализа с тем, однако, существенным ограничением, что он не вполне автономен от показаний языковой формы, а, напротив, максимально, насколько это возможно, с ней согласуется. Оставаясь в рамках реально существующих понятийных разграничений, не вводя произвольных мыслительных сущностей, не насилуя мысль в угоду языковой форме, семантический анализ из всех возможных понятийных членений приписывает языковым единицам в качестве их значений те, которые, не совпадая полностью со структурой языковой формы, ближе других соответствуют ей.

Все понятийные системы, включая семантические, формируются как отражение структур человеческой деятельности и мира, но семантические системы языка отличаются еще максимально возможным для понятийных систем гомоморфизмом структурам языковой формы.

Как уже сказано, в многочисленных научных концепциях (логических, философских, психологических, лингвистических, семиотических и др.) термины «значение» и «смысл» наделяют специфическим содержанием, отнюдь не связывая себя тем разграничением этих двух слов, которое заложено в самом естественном языке. Со «значением» и «смыслом» как терминами связывают различения в содержании знаков референции — денотации, отнесения — указания, экстенционала *versus* сигнификации, описания, классификации, интенционала (логика), коллективного, общего для говорящих *versus* индивидуального в содержании знаков (психология), языкового, узуального, словарного *versus* речевого, окказионального, контекстуально обусловленного (лингвистика) и т. п.

Разумеется, сколько бы ни были условными и произвольными эти терминологизации, они имеют свое оправдание как попытки обозначить реальные модусы, ипостаси, аспекты содержания словесных законов. Нас, однако, не может не интересовать другое. Насколько эти попытки согласуются с теми семантическими разграничениями, которые предлагаются самими языками? В чем суть этих разграничений, отстоявшихся в языках естественным образом, по каким они идут линиям? Можно заранее с большой долей уверенности полагать, что спонтанно сложившееся различие в семантике «значение» *vs.* «смысл», во-первых, фиксирует некоторое противопоставление, весьма существенное для значимого функционирования языка, и, во-вторых, это противопоставление не может быть идниотничным, свойственным только, например, русскому языку, а напротив, достаточно универсально и при всем своеобразии семантических систем отдельных языков должно так или иначе, с теми или иными, даже очень большими сопутствующими, отличиями отмечаться во множестве языков. Уже на первый взгляд эта общность в различии просматривается в противопоставлении лексических пар: *русск.* значение *vs.* смысл, *англ.* meaning *vs.* sense, *фр.* signification *vs.* sens, *нем.* Bedeutung *vs.* Sinn и т. д. — разуме-

ется, с учетом весьма значительного в каждом случае своеобразия семантических структур слов, этимологии, истории и путей формирования семантики, системных соотношений и места в лексико-семантических системах каждого языка.

В чем же суть этого противопоставления, что общего между этими парами, по какой линии идет их разграничение? Ограничимся для анализа английским и русским языком.

Вначале, однако, напомним один существенный для теории значения момент. На первых порах содержательную (значимую) сторону знаков будем называть значением — независимо от противопоставления значения и смысла. Значение в этом широком смысле шире знака. Это имеет тот смысл (как видим, параллельно мы нарабатываем конкретные примеры реального употребления интересующих нас слов), что возможны незначимые ситуации. В целом, как мы видели ранее, возможны два рода значимых ситуаций (т. е. ситуаций, в которых наличествует значение) — импликационные и знаковые, или семиотические. Импликационная значимая ситуация имеет место в сознании всякий раз, когда один концепт имплицитно подразумевает другой и настраивает сознание на этот второй как информативно важный. Имплицитируемый концепт при этом выступает как значение концепта имплицитирующего и отражаемого им объекта. Импликационная связь двух концептов отражает разнообразные линейные связи соответствующих им объектов — причинно-следственные, пространственные, временные и иные связи, зависимости, взаимодействия и простую совмещенность, бытование в связке вещей, признаков и событий.

Понятие импликации при этом имеет более широкий смысл, чем то специальное, техническое, узкое значение, которое придается этому термину в логике. Здесь оно обозначает мыслительную операцию на основе одного из трех принципиальных типов концептуальных связей — импликационных, классификационных и знаковых (семиотических). Импликационные связи — мыслительный аналог реальных (линейных) связей действительности между вещами, признаками и событиями, целым и частью, вещью и ее признаком.

Для полноты картины напомним также, что классификационные связи, включая аналогические (симилятивные связи уподобления), являются мыслительным аналогом распределения признаков в сущностях мира — вещах и событиях. Наконец, знаковые связи устанавливаются с усвоением знаковых систем между концептами означающего и означаемого, и концепт означаемого выступает как значение концепта означающего и отражаемого им объекта (манифестанта, или экспонента, материального тела, или вещественной оболочки знака).

Существенно, что материальным коррелятом классификационных мыслительных связей являются отнюдь не реальные связи сущностей (взаимодействия, зависимости, обусловленности, совмещенности в связ-

ках, совместная встречаемость), а, как сказано, распределения признаков в сущностях мира. Если о них мы говорим как о связях, то не в смысле отражения ими реальных (линейных) связей действительности, как в случае импликационных связей, а о связях только мыслительных, устанавливаемых сознанием между концептами частного и общего, вида и рода, элемента и класса, элементами одного класса, уподобляемыми элементами разных классов. Это мыслительные связи от импликации и сравнения (эквиваленции и аналогии). В отличие от импликации и означивания (семиотизации), мыслительная операция классификации, т. е. мыслительная операция установления классификационной связи двух концептов, не создает значимой ситуации. Значения тут нет.

Итак, если некто наблюдает красный закат и из этого заключает, хотя бы предположительно, что следует ожидать ветреной погоды (импликационная связь двух концептов — заката и погоды), то для него имеет место значимая ситуация: предположение о ветреной погоде составляет импликационное значение красного заката. Когда некто слышит: «Ожидается ветреная погода», — и понимает это, то также имеет место значимая ситуация, но уже со знаковым (семиотическим) значением. Знаковая ситуация может давать повод для извлечения из нее импликаций, не вытекающих непосредственно из ее кодифицированного значения, а из знания мира, людей и того, как ими реально используется язык. Это также значение импликационное, с той лишь разницей, что базой для него служит знаковый факт. Значение в этом случае может быть названо семиоимпликационным.

Так, в определенных обстоятельствах утверждение «Завтра будет ветреный день» будет понято как намерение сменить тему разговора, и это будет семиоимпликационным значением этого утверждения.

Однако если вид тигра наведет кого-то на мысль о своей кошке (классификационная связь концептов), то эта ассоциация концептов не будет значимой. В отличие от двух предшествующих случаев, где один концепт был значением другого, здесь спровоцированный образ не может быть назван значением провоцирующего. Это нетрудно проверить, если попробовать соединить два аргумента предикатом-связкой значения «(х) значит, означает (у)»: 1) красный закат означает ветреную погоду; 2) «красный закат» значит «*red sunset*» (или «красный закат» означает (то же), что небо-свод при заходе солнца окрашен в красный цвет), но не 3) *тигр (наличие, появление тигра) означает мою кошку (наличие, сходство с моей кошкой).

Возвращаясь к теме соотношения значения и знака, видим теперь, что значение имеет место и в незнаковых импликационных ситуациях. Нет знака без значения, но обратное неверно. Непродуктивна в семиотике традиция вслед за Ч. Пирсом расширительно толковать знак и считать, что условия и причины служат для интерпретатора знаками следствий (так называемые знаки-индексы).

Теперь обратимся непосредственно к нашему предмету. Для анализа семантических структур и различий в интересующей нас паре слов существенно в каждом случае привлекать их производящие и дериваты. С учетом этого прежде всего обращает на себя внимание то различие, что в «значении» преобладает глагольное начало, а в «смысле», напротив, субстантивное — в том смысле, что «значение» производно от «значить» и неполностью наследует семантический потенциал последнего, а «смысл» сам имеет глагольные дериваты «смыслить, осмыслить» и др., проявляющие некоторую часть содержательной структуры существительного. Сходным в принципе образом соотносятся пары — *англ. meaning — sense, нем. Bedeutung — Sinn*. Для первых из них в деривационно-семантическом плане первичны глаголы, соответственно *mean* и *bedeuten*, а для вторых первичны сами существительные *sense* и *sinn*, в то время как их производные лишь частично реализуют их семантику. Это видно из словарных данных. Ограничимся рассмотрением семантических структур двух английских и русских пар.

В английском глаголе *mean* сведены вместе значения *m1* — *значить, означать* и *m2* — *намереваться, быть намеренным, иметь намерение, иметь в виду как цель*. Иначе говоря, глагол сочетает обозначение собственно значимой функции, знаковой и импликационной, с обозначением намерения, и в этом его семантическое своеобразие. Ср.: *m1.1 rain means* «дождь», *m1.2 dark clouds mean rain*; *m2 he meant to go there*. Намерение — мыслительный акт целеполагания, причем целью является некоторое внешнее по отношению к намерению событие, которое предстоит осуществить субъекту намерения (тому, кто намеревается). Обычно это событие желательно для агента, но не обязательно, и в этом одно из отличий намерения от желания (другое отличие — в том, что осуществить желаемое событие надлежит не обязательно субъекту желания).

Такова семантика предиката намерения и структура ситуации намерения. Впрочем, для английского *mean* цель ограничена преимущественно событиями-действиями субъекта, а события-состояния скорее требуют других глаголов намерения, например *intend*.

Существенно заметить, что событие входит в ситуацию намерения только как замысел, план, т. е. как идеальный образ. Соответственно в семантике предиката оно представлено лишь как валентность на действие-цель.

Возможно абсолютное употребление *mean* в интенциональном значении *m2*. При этом, однако, в силу того, что неинформативно просто объявить намерение, не указав его цель, требуется как-то его квалифицировать, ср. *he means well*. Фактически абсолютное употребление ограничивается простейшими оценками намерения — хорошее или плохое. Оно сочетательно связано, т. е. фразеологично. Вместе с тем это употребление идиоматично: оценочное наречие косвенно представляет цель — любые дейст-

вия, которые могут быть расценены как хорошие (или плохие) для их адресата: *he means to do well for x*. Что дело обстоит так, а не иначе, видно из того, что подобный идиоматизм невозможен для *intend*: нельзя сказать *he intends well*, надо: *he intends to do well*. Идиома начинается там, где не работает модель.

В сфере коммуникации намерение становится интенцией говорящего, в частности и чаще всего — намерением выразить и сообщить некую мысль. Так перебрасывается мостик от значений *m1* «значить» и *m2* «иметь намерение» к значению *mean m3*, которое может быть истолковано как «иметь в виду в качестве выражаемой мысли», ср. *I meant John; what do you mean by winking at me*. В этом случае *mean* отмечает не просто факт некой мысли в голове, но мысли именно выражаемой, сообщаемой — мысли в акте коммуникации. В этом отличие *mean3* от глаголов мышления.

Вместе с тем референционное значение — отсылка к денотату, как в примере *I meant John*, которое в словарях подают за особое, всего лишь частный случай *mean3*. В самом деле, *I meant John* означает, что говорящий имел в виду Джона, но, по-видимому, не выразил мысль в этой части однозначно. Вообще, *mean3* для того и употребляется, чтобы прояснить, какая мысль действительно стоит за выражением, чтобы снять возможные неясности, сомнения, недомолвки, ошибки в понимании, коммуникативно-семантические сбои.

Вернемся, однако, к значимым функциям *mean*, т. е. к знаковому значению *m1.1* «значить» = *signify* и импликационному значению *m1.2* «значить» = *imply*. Знаки имеют знаковые значения, события — импликационные. Знак как событие также несет импликационное (семиимпликационное) значение. К этому можно еще добавить, что события (и вещи), семиотизируясь, т. е. становясь знаками (а именно знаками-символами) облекаются знаковыми значениями. Различие в семантике русского глагола «значить» и английского *mean* проявляется, в частности, в том, что по-русски можно сказать «знаки значат» (*m1.1*) и «события значат» (*m1.2*), но нельзя сказать «говорящие значат», а надо: «говорящие имеют в виду, выражают мысли». В английском же возможно и первое, и второе, и третье, т. е. *mean* имеет более широкую семантику, чем «значить», за счет по меньшей мере *m3*: *signs mean (m1.1)*, *events mean (m1.2)*, *speakers mean (m3)*.

Кроме того, и русский, и английский глаголы развивают на базе импликационного значения *m1.2* оценочное значение *m4* «быть важным» (для кого-либо), ср. «работа значит для него очень много» *work means very much to him*. Ситуация, описываемая *m4*, имеет следующую структуру: имеется некоторая сущность (событие или вещь), признаки которой (свойства и проявления) аксиологически релевантны для некоторого субъекта. Из этой ситуации обозначаются субъект, аксиологически значимая для него сущность и мера значимости. Указание тех свойств, качеств, проявле-

ний, которые делают некоторую вещь или событие аксиологически значимыми, возможно, но не обязательно. Их наличие имплицуруется, но выражение импликации факультативно.

Что остается из этого состава значений в производных существительных?

Английское *meaning* утратило значение намерения *m2*, теперь оно архаично, в нем практически не представлено также *m4* «важность, релевантность, существенность». Центральным для семантики *meaning* надо считать *m1.1*, т. е. знаковое значение. *Meaning* вмещает его во всех его ипостасях, как значение словарно-языковое и контекстуально-речевое, узуальное и окказиональное, кодифицированное и *ad hoc*, виртуальное и актуальное, прямое и переносное, как значение языковых единиц разных уровней и как значение комбинаций этих единиц, как значение вербальных и невербальных знаков и т. д. Что касается импликационного значения *m1.2*, то хотя его наличие у существительного *meaning* и нельзя полностью отрицать, ср. пример из Оксфордского словаря (*shorter Oxford Dictionary*) *what is the meaning of all this parade*, очевидно, что этот лексико-семантический вариант весьма ущербен: его номинационный потенциал сужен. Например, была бы стилистически весьма специфичной трансформация *dark clouds mean rain — the meaning of dark clouds is rain*.

А приведенный в Оксфордском словаре пример, по-видимому, предполагает семиотизацию ситуации, т. е. близок знаковому значению *meaning m1.1*.

То же характерно и для русского «значение»: импликационное значение *m1.2*, в отличие от знакового *m1.1*, если и не исключено, то имеет ущербный статус. Вряд ли нормативно, например, преобразование: «красный закат означает ветреную погоду — значение красного заката — ветреная погода». Значение *m4* «важность», напротив, составляет неотъемлемую часть семантики русского существительного. Впрочем, «важность» весьма приблизительно истолковывает этот ЛСВ. Содержанием его является оценка чего-либо (обычно действия, поступка, но также вещи и др.) по тем следствиям, которые им вызываются. Говоря о значении какого-либо денотата в этом смысле, имеют в виду, что он дает, оценивают результаты и следствия его осуществления, и корреспондирующими словами в английском выступают *importance, significance*.

У существительного «значение» нет, да и не может быть значения намерения *m2*, так как его нет в производящем глаголе «значить». Английское и русское существительные — дериваты из разных этимологических истоков, и различие в исходе внутренних форм сказывается на их семантических структурах.

Сходства и различия в семантических объемах русских и английских пар можно показать наглядно на картограммах, где слева указаны понятия-

значения, а в колонках правее — семантические (или понятийные) площади, покрываемые соответствующими словами.

Картограмма

иметь намерение, намерение (m_2)	mean	intention	намереваться	намерение
иметь в виду сказать > выражаемая мысль (m_3)		meaning	иметь в виду	выражае- мая мысль
(иметь) знаковое значение ($m_{1.1}$)			значить	значение
(иметь) импликационное значение ($m_{1.2}$)		importance		
быть важным, важность (m_4)				

Соотнося слова с понятиями, обозначенными слева, можно видеть, какие значения им свойственны, в каких значениях они сходятся и расходятся.

Обратимся теперь к паре «sense — смысл». Источники их в английском и русском различны: английское слово обращено к понятиям ощущения, восприятия, чувства, русское — к мысли, пониманию. Английское *sense* в исходе имеет целую совокупность метонимически и гипонимически связанных значений, группирующихся вокруг представлений о физических каналах восприятия внешних и внутренних раздражений от мира, их разновидностей, механизмах, функционирований, результатах, способности к физическим ощущениям, а также — на периферии этого круга значений — способности к интуитивным и умственным операциям оценки, анализа, квалификации, в широком смысле — разнообразным духовным проявлениям, проявлениям психической активности, «движениям души». При этом *sense*, во-первых, дает обобщенное представление обо всех этих психофизических, интуитивных и умственных способностях и, во-вторых, охватывает весь комплекс и все составляющие этих способностей — его частные проявления, функционирование, процессы и результаты.

Таким образом, с этой стороны своей семантики *sense* охватывает импликационно связанный комплекс представлений от чувства и интуиции до разума и понимания в различных их аспектах — от обобщенного представления о них как способности до случаев их проявления.

Другой семантический центр этого существительного, максимально отстоящий от первого и представляющий по сути дела иное омонимичное слово — это значение *m1.1*, знаковое нам понятие знакового значения в различных его ипостасях, ср. *various senses of a polysemous word*. В этом значении *sense* синонимично *meaning*. Заметим, что обозначение импликационного значения для *sense* в отличие от *meaning* не свойственно. Значение «то, что имеет в виду выразить говорящий; выражаемая мысль» также свойственно *sense*, ср. у Шекспира: *you miss my sense*, хотя номинационный статус этого словозначения *sense*, несомненно, менее ярк, чем у *meaning*: ныне более нормативно *you miss (do not get) my meaning*.

Промежуточным между ними и достаточно автономным от них, чтобы также рассматриваться как особое слово, является *sense* в значении «смысл». Анализом этого понятия предстоит заняться чуть позднее, пока же ограничимся интуитивным представлением о нем и лишь укажем, что в этом значении английское слово семантически весьма близко соответствующему русскому и вступает в круг понятий, обозначаемых в двух языках, как *use*, *idea*, *point*; польза, прок, резон и т. д.

Sense «смысл» достаточно дистанцировалось семантически от *sense* «чувство», однако остается вопрос о промежуточном понятийном звене, ассоциативном мостике между ними. Та же проблема встает и относительно *sense* «смысл» и *sense* «значение (знака)». Номинационный перенос и сопровождающий его семантический сдвиг от идеи чувства к понятию смысла происходит, очевидно, по модели «необходимое условие осуществления некоторого признака (качества, свойства, способности, predispositionности и т. п.) — признак, предполагающий это условие для своего осуществления». Ощущение — тем более что *sense* обобщает представления о разнородных физических и даже духовных, по меньшей мере интуитивных видах психической активности — составляет условие разума. Чувство доставляет материал для осмысления, разум осмысляет доставляемое чувствами. Иначе говоря, деривационно семантический процесс пробегает здесь всю цепочку импликационно связанных ассоциаций «чувство + интуиция — разум, понимание — смысл».

Что же касается перехода от *sense* «смысл» к *sense* «знаковое значение», то для него имеется глубокое и теоретически важное основание. Этот сдвиг косвенно подтверждает примат деятельностного принципа формирования семантики языковых единиц перед семиотическим. Он свидетельствует о том, что наделение языковых единиц значением и формирование семантической системы языка совершаются не в простом распределительном процессе закрепления определенных понятий за определенными единицами, а является результатом анализа целостного содержания речевых произведений в контексте их произнесения. При освоении языка речь осмысливается от целого к частям в контексте условий и обстоятельств ее бытования. Изначально речь и ее единицы — действия, поступки, исполненные некоторым смыслом и подлежащие осмыслению, и только впоследствии при освоенном языке смыслы становятся также знаковыми значениями языковых единиц, а речевые произведения — не только речевыми актами, не только частью человеческой деятельности, но и знаковыми аналогами этой деятельности и действительного мира.

Производные от *sense* реализуют, как правило, лишь узкую часть суммарной семантики существительного: *sense* *v.* чувствовать, ощущать; *sensitive* *adj.* чувствительный; *sensible* *adj.* разумный и т. д.

Обратимся к русскому существительному «смысл». Благодаря своей деривационной основе и более простой семантической структуре оно луч-

ше служит прояснению интересующего нас противопоставления, представляя его в более чистом виде. Разобравшись с семантикой этого слова, мы решим большую часть задачи — установить реальное направление, которое задается естественными языками, по меньшей мере многими, различением пар *значение — смысл, meaning — sense, Bedeutung — Sinn* и т. д.

Безусловно, одно из значений существительного «смысл» — идея знакового значения *m1.1*, ср. «известен ли смысл этого слова». Это значение, однако, не является центральным для этого слова и не определяет специфику его семантики, его собственный «значимый облик». Напротив, в этом значении оно дополнительно к существительному «значение» и не входит в синонимический ряд, открываемый этим последним как доминантой. Два слова системно взаимодействуют, и «смысл» своими дериватами восполняет словообразовательную «немоощь» «значения», ср. *смысловые оттенки, смысловое варьирование, смысловая структура слова* и т. п.

Однако номинационный потенциал этого словозначения ограничен, и нельзя, к примеру, сказать «сколько смыслов этого слова фиксирует словарь», надо: «сколько значений...».

Центральным и характерным для «смысла» является выражение именно того понятия, которое противопоставляет его «значению» и которое составляет цель нашего поиска. Итак, что же такое смысл? (Полагая, что в этом случае интересующие нас значение и понятие по существу совпадают, мы можем обойтись без кавычек.)

Анализ многочисленных случаев употребления этого чрезвычайно частотного словозначения (ЛСВ) приводит к выводу, что смысл — это умственная (мыслительная, интеллектуальная) оценка и оценка по преимуществу человеческих действий, поступков, а также допускающих контроль физических и психических (мыслительных и эмоциональных) состояний человека. Таким образом, смысл оказывается релятивным оценочным признаком человеческих действий и состояний.

Относительно чего же оцениваются действия и состояния в этом случае? Ответ на этот вопрос наиболее существен для понимания того, что такое смысл.

Действия, поступки, состояния человека и других живых существ, способных к выбору, контролю и оценке своей активности, квалифицируются как имеющие смысл или не имеющие смысла, как имеющие больший или меньший смысл, как осмысленные или бессмысленные в той или иной мере относительно их соответствия должному, необходимому, желаемому, целесообразному в данной ситуации. Смысл — мера проявления разума, оценка действий и состояний относительно соответствия их требованиям необходимости, целесообразности, желания и долга.

Применительно к знаковым ситуациям смысл — разумность речей, но не столько со стороны их соответствия денотатам, сколько относительно их соответствия, уместности, вписанности в обстоятельства и цели комму-

никации. Тем самым в силу двузначности слова «смысл» *m1.1* «знаковое значение» и *m4* «ситуативная оправданность действия, состояния», выражения с этим словом применительно к знаковым ситуациям сами могут быть амбивалентными, ср. «не вижу смысла в этом замечании» полагает либо формулировку замечания, либо неуместность замечания, хотя бы и вполне понятного. Смысл некоторого предпринимаемого действия — результат знания тех цепей связей и зависимостей, в которые оно включено, результат понимания и оценки тех следствий, которые оно влечет. Дериваты существительного наглядно проявляют эту сторону смысла, ср. «смыслить» — знать и понимать, «осмыслить» — понять, «переосмыслить» — понять иначе (однажды понятное). Однако «переосмыслить, переосмысление» связано также со знаковым значением *m1.1* — придать другое значение. Отчасти это справедливо и для других производных «смысла».

Оценка разумности действий (интеллектуальная оценка) — основной момент в семантике этого ЛСВ, его дифференциальный признак. Однако возможна его нейтрализация, и тогда возникает вариант этого словозначения, который истолковывается просто как замысел, цель (со стороны замышления, а не исполнения). В этом случае, говоря о смысле какого-либо действия, имеют в виду, зачем, с какой целью оно осуществляется, ср. «в чем смысл этого хода».

Кроме этих двух значений, «смысл» имеет еще одно. Выше было отмечено, что в отличие от английских глагола и существительного *mean* — *meaning* русские «значить — значение» не располагают словозначением «иметь в виду (в мыслях) — то, что имеется в виду (в мыслях)». Как и в случае с адъективной транспозицией «значения» («значение — смысловой»), этот его недостаток компенсируется существительными «смысл», ср. *подлинный (явный, тайный, невыраженный, скрытый, реальный) смысл поступка, заявления* и т. п. Для английского *sense* такое словозначение не свойственно.

Наконец, имеют свой «смысл» разнообразные человеческие творения, созданные или возникшие для некоторых целей (телеологические объекты, артефакты в широком смысле) и сочетающие свое незнаковое назначение со знаковой функцией, например, предметы искусства, культов, мифы, обряды, обычаи, ритуалы, церемониалы, перформативные акты со скрытой, неявно выраженной семантикой и т. п. То, что называют смыслом таких объектов, является их целью, назначением, функцией, а поскольку они и возникают ради функции, то телеология определяет их строение и становится также их сущностью, сутью, существом. Тем самым у «смысла» появляется еще одно словозначение, синкретизирующее понятия назначения, выражаемой мысли и сущности применительно к объектам такого рода, ср. смысл коронации, обручения, поминок, сооружения пирамид, возведения храмов и — прямо — смысл таких пирамид, храмов, памятников и т. п.

Существенная особенность таких артефактов (включая предметы и действия) в том, что они не только воплощают замысел, но и выражают его. Поэтому указанное синкретическое словозначение имеет два возможных источника развития: 1) отталкиваясь от идеи намерения — замысла артефакта или 2) отталкиваясь от представления о мысли, подлежащей выражению в артефакте. Русский язык использует второй путь: «смысл как мысль, подлежащая выражению» — «смысл как выражаемая и воплощаемая мысль». Существительное «значение» плохо подходило для этой цели, так как в его семантике нет ни идеи замысла, ни идеи того, что подлежит выражению, т. е. нет ни одного из стартовых условий для развития синкретического словозначения.

Напротив, если английский язык предпочел *meaning* в качестве означающего для синкретического понятия «сущность как воплощенный замысел», ср. *the inner meaning of the Russian ballet (wodehouse)*. В самом деле, *meaning* лучшим образом подходит для этой цели, так как содержит обе семантические предпосылки: 1) значение намерения предоставлено в глаголе *mean* и хотя в узусе существительного прослеживается лишь рудиментарно, но поддерживается потенциально на уровне деривационной схемы; 2) идея того, что имеют в виду выразить, составляет одно из регулярных узуальных значений *meaning*. Что же касается *sense*, то в его семантике отмечается только вторая предпосылка с заметно ущемленным против *meaning* номинативным статусом.

Теперь можно дополнить картограмму семантических объемов рассмотренными словами и словозначениями:

Картограмма

(иметь) намерение	mean	meaning	значить	значение	С М Ы С Л	sense		
быть важным → важность								
(иметь) импликационное значение								
(иметь) знаковое значение								
иметь в виду → выражаемая мысль								
суть, сущность, главное								
уместность, разумность								
разум								

Следует, впрочем, иметь в виду, что значения в картограммах обозначены весьма приблизительно: 1) толкования в крайнем левом столбце скорее намекают на соответствующее понятие, чем дефинируют его; 2) в этом столбце соединены толкования признаков значений и их субстантивных транспозиций; 3) указаны только те значения слов, которые имеют отношение к поставленной задаче — пояснить направление семантического размежевания между парами *meaning* — *sense*, значение — смысл; 350

4) порядок следования понятий/значений в крайнем левом столбце определяется задачей наиболее наглядно показать и сопоставить семантически объемы, покрываемые интересующими нас словами (помещены в столбцах правее крайнего левого), и лишь во вторую очередь принимается во внимание внутреннее сцепление (меру близости — дистантности) понятий; 5) наконец, следует иметь в виду и то, что из сопоставляемых признаковых значений одни синтаксически ориентированы относительно субъекта, указывая его признаки (иметь намерение, иметь в виду, иметь разум), а другие ориентированы относительно производимых им действий и знаков, указывают реляционные признаки этих последних (быть важным, иметь импликационное или знаковое значение, быть уместным).

Существенно еще заметить, что картограммы, позволяя наглядно увидеть и оценить сходства и различия в семантических объемах корреспондирующих слов, не указывают, однако, различий в номинативном потенциале совпадающих словозначений, их реального языкового статуса, а именно возможных сочетаемостных лексических и синтаксических, а также стилистических и иных возможных ограничений, налагаемых системой, нормой и узусом языка на выражение данного понятия данным словом.

Тем не менее картограммы подсказывают направление и причины семантического размежевания слов, поскольку это размежевание не в последнюю очередь обуславливается, с одной стороны, влиянием смежных, ассоциативно связанных словозначений, представленных в семантической структуре слова, а с другой — наличием других слов с понятийно сходными словозначениями, которые, однако, погружены в среду с иной структурой полисемии.

Для достоверности заключений о семантическом размежевании метод сопоставления семантических структур дополняется совокупностью других методов и приемов. Во-первых, ими служат лингвистический эксперимент на возможность/невозможность взаимозамен рассматриваемых единиц в разнообразных контекстах, причем учитывается как равнозначность/неравнозначность взаимозамен, так и возможный смысл или бессмысленность неравнозначных замен. Во-вторых, той же цели служит анализ более широкого круга средств — синонимических и антонимических рядов для интересующего нас слова в определенном контексте, а также средств перевода его на другие языки. В-третьих, учитываются также трансформационные возможности выражений с данными словами. Наконец, — и это уже отмечалось, — показателем анализа сочетаемостных возможностей слова (лексическая и синтаксические дистрибуции) и др.

По соображениям места здесь могут быть приведены лишь конечные результаты анализа с помощью указанных методов и приемов. Они сводятся к следующему.

Уже первого взгляда на картограмму достаточно, чтобы убедиться, что языки обнаруживают сходства и различия в направлениях размежева-

ния семантики интересующих нас пар слов. Обобщим результаты исследования сначала применительно к каждому языку и затем в сопоставлении двух языков.

В русском языке «значение» и «смысл» разведены более четко, чем в английском. Они совпадают по содержанию в обозначении знакового содержания. По-видимому, эта значимая функция первична для «значения» и вторична для «смысла». Момент распределения понятий между словами весьма существен. Хотя нередко исключения, но в целом языки стремятся держаться такого правила в строении своих номинативных систем: первичное распределение понятий должно дать непересекающиеся множества слов — у каждого свое главное прямое значение (повторяем, что это всего лишь тенденция с многочисленными исключениями). Напротив, слова пересекаются в своих вторичных неглавных значениях.

Семантика «смысла» двувершинна: ему свойственны не одно, как это обычно бывает, а два статутно равноправных прямых значения: 1) смысл как то, что имеет в виду говорящий, и 2) уместность, разумность, оправданность действий. То же следует сказать и об английском *sense*. Это первичные значимые функции «смысла» и «sense» (за вычетом, разумеется, значений, связанных с понятием о чувстве). В других своих смысловых ипостасях они «неоригинальны» в том отношении, что это их вторичные означаемые, и в них они пересекаются с другими словами, для которых эти понятия (знаковые значения) являются их первичными или также вторичными значимыми функциями.

Напротив, первичная семантика «значения» одновершинна, так как отмечаемые нами два варианта «знаковое значение» и «импликационное значение» принципиально сводимы к одному родовому понятию значения: значение вообще — это такой концепт, который актуализируется в сознании некоторым стимулом и на который сознание настраивается как на информационно для него важный. Под это определение подходит как значение знаков, так и значение событий (импликационное значение).

Английское *meaning* имеет большую область наложения на семантику *sense*. Они совпадают в значениях: некое знаковое значение; то, что имеют в виду; суть. Они расходятся понятиями: некое импликационное значение (свойственно *meaning*, но не *sense*), разумность действия и разум (свойственны *sense*, но не *meaning*). Семантику *meaning* надо признать двувершинной: для слова одинаково свойственны как статутно равноправные прямые первичные значимые функции — то, что имеет в мыслях говорящий, и некое знаковое или импликационное значение. Ни русская, ни английская пары слов не содержат в своих семантических структурах ничего такого, чтобы посредством их терминологизировать противопоставление индивидуального и коллективного семантического кодов, связав первый с «смыслом/sense», а второй — с «значением/meaning». Не дают повода к

этому немецкие и французские пары *Sinn* — *Bedeutung* и *sens* — *signification*.

Само по себе такое противопоставление обоснованно (если, конечно, учитывать различие в уровнях реальности индивидуального и коллективного языков) и безусловно нуждается в обозначении. Однако надо отдавать себе отчет в том, что терминологизация этого различия посредством противопоставления пар слов *смысл* — *значение*, *sense* — *meaning*, *Sinn* — *Bedeutung* и т. д. условна и произвольна, так как не подкрепляется естественноязыковым размежеванием семантики слов в этих парах. Это, конечно, не означает безусловного запрета на такую искусственную терминологизацию, но надо иметь в виду, что здесь словам придаются дополнительные значения по соглашению, что эти значения не извлекаются из их семантических структур и поэтому при анализе соответствующих понятий, составляющих указанные противоположности, нельзя опираться на показания нормативного употребления этих слов. Аргументы придется искать вне языка.

Равным образом нет оснований усматривать в этих парах слов противопоставление виртуально-языкового и актуально-речевого в содержании знаков, связывая первое с *значением*, *meaning*, *Bedeutung*, *signification*, а второе — с *смыслом*, *sense*, *Sinn*, *sens*. Между словами интересующих нас пар нет принципиального различия при обозначении ими аспектов знакового содержания. Различие в их употреблении, сочетаемости, лексической дистрибуции и семантических валентностях по этому примеру их семантики (знаковое значение) объясняется не понятийным расхождением, а лингвистическими, формальными и историческими моментами. В более широком плане различие между словами в каждой паре отнюдь не связано с различием в содержании знаков, а именно не фиксирует и не зависит от того, является ли означаемое знаком виртуальным или актуальным, языковым или речевым, кодифицированным или окказиональным, прямым или переносным, контекстуально, сочетаемостно, комбинаторно свободным (словарным) или обусловленным, прямо или непрямо выраженным, эксплицитным или имплицитным, референционно оно или безденотатно и т. д. В этом пункте языки, по меньшей мере русский, английский, французский, немецкий и др., весьма сходны. Предложенное Г. Фреге противопоставление *Bedeutung* (значение) как референция, обозначение — *Sinn* (смысл) как сигнификация, описание представляет собой пример терминологизации, не мотивированной языком.

В другом, понятно, языки могут различаться. Например, немецкое *Bedeutung* по структуре полисемии ближе русскому «значение», в то время как *Sinn* в целом более сходно с английским *sense* и французским *sens* в силу общего романского источника. Вместе с тем английское *meaning* имеет семантическую структуру весьма отличную от своих коррелятов в дру-

гих языках, а французский язык в этом пункте специфичен в целом, так как вообще не имеет четко выраженной антитезы двух терминов.

Но к каким же разграничениям склонились сами языки в спонтанных процессах своего развития? Какие различия они зафиксировали? Разграничения могут идти по разным параметрам, и разные языки обнаруживают большее или меньшее своеобразие.

В русском и немецком языках сильно и четко подчеркнуто различие понятий значения как оценки прагматической релевантности некоторого положения дел и смысла как прагматической оценки полезности некоторого действия — за счет соответствующих лексико-семантических вариантов слов «значение» = важность и «смысл» = разумность, уместность, полезность, целесообразность. И значение, и смысл в этом их понимании являются прагматическими оценками с той разницей, что 1) значение наиболее широкая прагматическая оценка, констатация прагматической релевантности, которая может быть положительной и отрицательной. Поэтому то, что не имеет значения, не может быть ни хорошо, ни плохо. А смысл — частный случай положительной оценки (поэтому то, что не имеет смысла, не может оцениваться хорошо) по параметру полезности, уместности, успешности, оправданности; 2) значение — оценка любых положений дел (событий, бытований, действий и т. д.), а смысл — оценка волевых, намеренных, целенаправленных действий, усилий относительно того, насколько они обеспечивают осуществление тех замыслов, целей и интересов, ради которых они предпринимаются; 3) некое положение дел имеет значение (или не имеет значения) для кого угодно, лишь бы оно было для него значимо; напротив, действие имеет смысл (или не имеет смысла) в конечном счете только относительно того, кто его предпринимает с определенной целью, преследуя определенные интересы. Такова «анатомия», общие и различительные признаки значения и смысла в том их понимании, которое в первую очередь откладывается в обыденном сознании и с разной мерой яркости выявляется и фиксируется в семантических структурах естественного языка.

Понятно, что те же понятия существуют как значения и выражаются в любом языке и речь может вестись лишь о том, как выражено их различие в семантических системах разных языков. В английском языке значение «важность, значимость» (чего-либо) отсутствует в семантике *meaning*, и *sense* как разумность, обоснованность, целесообразность (действия) по этой линии противопоставлено *importance*, *significance*. Хотя *meaning* и содержит в своей семантике импликационную значимую функцию (значение как импликация на основе одного события другого, информационно важного события, причем представление об имплицуруемом событии оказывается значением имплицурующего события), оно не делает, в отличие от русского и немецкого языков, следующего шага — к выражению мысли о прагматической релевантности события.

Принятое русским языком распределение понятий между словами, т. е. лексико-семантическая система, в интересующем нас пункте подчеркивает еще разграничение того, 1) что содержится в голове, в мыслях говорящего субъекта, т. е. того, что он хотел бы выразить, от того, 2) что содержится и может быть извлечено из самого выражения, из знаков. О первом в русском нельзя сказать, как о значении, а надо говорить как о выражаемой мысли; нельзя, например, сказать: «мое значение состоит в том, что...».

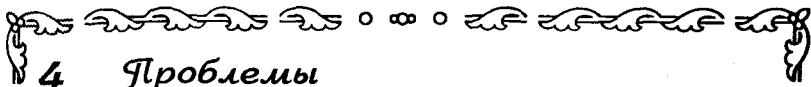
Напротив, *meaning* покрывает оба понятия, так что нормативно и *the meaning of my words*, и *my meaning is...* Таким образом, русский язык более наглядно выявляет идею отчуждения мысли от говорящего и закрепления ее за знаком, т. е. идею знакового значения. Сходное положение в немецком языке. Остается вопрос: почему языки «избирают» свой путь лексико-семантической дифференции, а не идут навстречу запросам философов, логиков, психологов, семиотиков и лингвистов? Ведь последние стремятся найти обозначения не произвольным конструктам, а терминологизировать реально существующие аспекты семантики знаков. Ответ, по-видимому, надо искать в приоритетах номинации. В первую очередь и максимально контрастно обозначается то, что обеспечивает необходимую разрешающую способность взгляда на мир. Первыми обеспечиваются потребности в номинации и формальной дифференциации тех понятий и представлений, сущностей и явлений, которые приоритетны в структуре человеческой деятельности и соответствующей ей картине мира. Дифференциация понятий на этом уровне их полезности, существенности осуществляется, как правило, во всяком случае как общая тенденция, посредством лексической дифференциации.

На втором уровне номинационной потребности оказываются те понятия и представления, денотаты которых осмысливаются не столько как самостоятельные сущности, сколько как аспекты, стороны, модусы проявления и существования уже обозначенных сущностей. Они составляют область номинации посредством семантического варьирования (полисемии). Понятие о всякой прагматически релевантной сущности, будь то вещь, признак, отношение, действие, состояние или процесс и т. д., окружено комплексом импликационно связанных представлений об аспектах ее проявления, модусах ее существования, и связь между ними настолько тесна, что остается возможность обозначить одним словом (или словосочетанием), так что тождество обозначения соотносится с значительным тождеством представления.

Понятно, что и на этом уровне при познавательном-опытном углублении в мир, более дробном его квантовании детали выносятся на передний план дифференциации, входят в реестр необходимых сущностей и лексических номинаций. Но прежде чем раздельно обозначить множество агрегатных состояний снега, как в эскимосском, надо иметь раздельные обо-

значения для воды и льда, не говоря уже о разных жидкостях, твердых и сыпучих телах.

То же и в нашем случае. Приоритетно обозначение и первична дифференциация представлений об уме (разуме — интеллекте), понимании, мысли, смысле, значении, намерении, замысле. Что же касается представления о модусах реального существования, проявления и функционирования значений (как мысли в знаках), то, сколько бы ни были они реальными и сколько бы ни нуждались — на определенном уровне углубления в предмет — в обозначении, все они по отношению к первому ряду понятий представляют собой тесный комплекс импликационно связанных представлений о разных ипостасях одной сущности — значения. В первую очередь разводятся на уровне лексем представления о значении как мысли в знаках и смысле как проявлении разума в действиях, в том числе знаковых, а во вторую — на уровне словозначений представления о различных аспектах бытования значений. В той мере, в какой понятийные разграничения приобретают статус самостоятельных предметов мысли, обозначение их стремятся возвести на лексемный уровень.



4 Проблемы

глава лексической семантики:

семантическая структура словаря

Семантические связи слов словаря могут быть парадигматическими и синтагматическими. Синтагматические связи проявляются в речевых цепочках, при объединении слов в подчинительные словосочетания. В семантических связях этого рода отражаются связи и зависимости сущностей действительного мира, и они подлежат рассмотрению в комбинаторной и синтаксической семантике в связи с изучением значения синтаксических единиц.

Парадигматические связи языковых единиц лежат, как известно, в плоскости, поперечной разворачиванию речевой цепи, они обеспечивают глубину линейного процесса речи в каждом ее пункте. Это связи выбора и замены (субституции).

Многообразные парадигматические связи слов по значению организуют словарь языка в сложную семантическую структуру.

1. Семантические макро- и микроструктуры словаря (общее понятие)

Главным фактором смыслового упорядочения словаря являются гипер-гипонимические (родо-видовые, категориально-спецификационные) и партитивные семантические связи. Их действие распространяется на весь словарь, благодаря им словарь предстает как целостная иерархическая структура. При этом, однако, обнаруживается, что семантическое пространство языка на разных его участках «заселено» с разной плотностью и имеет различную глубину проработки, что в конечном счете обусловлено

мерой освоения, разработки и важности соответствующих предметных областей в совокупной структуре человеческой деятельности.

К основным видам семантической связи слов относятся также связи синонимические, оппозитивные (антонимические и конверсивные) и эквонимические. Все они, однако, принципиально отличны от гипер-гипонимии (или просто гипонимии) и партитивных отношений тем, что образуют не глобальные семантические структуры словаря, а семантические микро-структуры (микросистемы) слов на отдельных участках словаря. Иначе говоря, они вскрывают дополнительные локальные связи, «чаги» семантической организации словаря в различных его пунктах. Хотя при этом, понятно, каждый раз проявляются некие общие типы семантических связей — синонимический, оппозитивный и эквонимический, но все дело в том, что «чаги» микросистемы синонимов, антонимов, конверсивов и т. п. существуют порознь, отдельно один от другого, не составляют связанных частей общей системы.

Некоторые виды семантических связей, и прежде других синонимия, антонимия и гипонимия, достаточно подробно освещаются в курсах введения в языкознание и лексикологию, и здесь относительно их можно ограничиться только дополнительными пояснениями. Другие менее известны, и им надо уделить больше внимания.

Устанавливая связи слов по значению, имеют дело с семантической классификацией. Как соотносится семантическая классификация с понятийной и в чем отличие семантического уровня от понятийного? Семантическая классификация не выходит за пределы понятийных членений и структур, но принимает в расчет их отображение в языковых формах, а именно — соотносится со структурой языка при определении уровня обобщенности понятий-значений и соотносится с компонованием простых понятий в сложноструктурные понятия-значения.

Понятийная классификация считается единственно с природой вещей, структурой действительности, тем членением сознания, которое обусловлено структурой человеческой деятельности. Семантическая классификация — та же понятийная классификация, но с оглядкой на знак, на выражение понятий в определенной знаковой системе. Семантическая классификация имеет дело с теми же понятиями, но принимает в расчет ту их организацию, то членение понятийной сферы, которые согласуются и со структурой человеческой деятельности, и со структурой языка.

Семантическая классификация отнюдь не идет на поводу у формы языка и не создает каких-либо особых концептуальных единиц, отличных от понятий, и не структурирует сознание каким-либо особым образом, отличным от структурирования его самой действительностью, общественной практикой и деятельностью человека. Она опирается на деятельностно обусловленную структуру мысли как единственно реальную, но из всех возможных моделей ее организации, квантования и комбинирования поня-

тий выбирает ту, что максимально приближена к структуре их языкового выражения при том, однако, непременном условии и пределе этого приближения, что структуре мысли не навязывается ничего, что бы ни было обусловлено структурой мира и деятельности.

В конечном счете, семантическая классификация есть классификация значений, т. е. понятий, компануемых, различаемых и выражаемых формами данного языка. Реальность семантической классификации — мысль, структурированная сообразно с особенностями языковой формы, но лишь настолько, насколько это структурирование не идет в разрез с зависимостью мысли от действительности и деятельности. Сама по себе форма языкового выражения, своеобразная в каждом языке, никогда не выступает определяющим, ведущим фактором структурирования понятийной сферы.

2. *Гипер-гипонимические (родо-видовые) отношения в лексике: вещи и признаки, субстантивы и предикаты, типы субстантивных имен*

Первое членение семантической иерархии слов нам уже известно — деление слов на вещные (субстанциальные, субстантивные) и признаковые (призначные, предикатные). Далее предстоит рассмотреть каждую из этих групп. Но прежде чем заняться семантической классификацией вещных, а затем предикатных слов, необходимо уточнить необходимые термины и границы между этими двумя классами слов.

Ранее было предложено обозначать все полнозначные слова, а также подчинительные словосочетания родовым термином *имена*. Такое терминопотребление удобно, хотя и значительно расширяет лингвистическую традицию, исключавшую из имен глаголы и наречия, а также словосочетания (но включавшую в число имен такие предикатные слова, как прилагательные и числительные). Вместе с тем существует идущая из логики тенденция противопоставлять имена предикатам, причем и те, и другие определяются чисто функционально: имена — все слова и словосочетания, выступающие в суждениях как обозначения каких-либо объектов (денотатов) как на уровне единичного, так и на уровне классов; предикаты — все слова и словосочетания, называющие в суждениях то, что высказывается о субъекте (предмете) суждений. Однако в логике есть и традиция широкого понимания имен. Так, Г. Фреге одинаково называл именами названия отдельных предметов и названия функций — свойств и отношений.

В условиях конфликтующих терминологических традиций можно в качестве однословного обозначения вещных слов пользоваться термином *субстантив*, стоящим ближе других к требуемому смыслу. Таким образом,

имена (= полнозначные слова) делятся на субстантивы (вещные слова) и предикаты (признаковые слова), и теперь предстоит уточнить границу между ними, так как помимо терминологической проблемы, существует еще более важная проблема разграничения субстантивов и предикатов по объему и содержанию этих двух понятий. В самой широкой трактовке субстантивами можно назвать все слова (и словосочетания), способные выступить как аргументы в синтаксических структурах. При таком чисто функциональном семантико-синтаксическом подходе в число вещных слов попадут не только все существительные, количественные числительные, субстантивные местоимения, инфинитивы и герундии, а также все субстантивизированные слова, но также и наречия — сирконстанты, ср. направляюсь домой, (это) произошло ночью.

Круг субстантивов несколько сузится за счет исключения наречий — сирконстантов, если вещными считать слова, способные занимать позицию подлежащего. Если в первом случае понятие вещи совпадает с понятием аргумента, то во втором вещь — то, о чем что-либо может быть высказано, т. е. то, чему могут быть приписаны какие-либо признаки. Это функциональный логико-грамматический подход к определению вещного слова. При этом понятие субстантива совпадает с логическим субъектом суждения, выраженным словом в позиции подлежащего, а понятие признакового слова — с логическим предикатом — сказуемым, выраженным словом. При этом также понятие субстантива ограничивается словами, способными репрезентировать свой денотат в речи независимо от того, репрезентируется ли ими единичное или класс и совмещают ли они репрезентацию денотата с его описанием или ограничиваются одной его репрезентацией (имена собственные).

Идя далее по пути сужения понятия субстантива, можно ограничить его только именами, способными репрезентировать единичное независимо от того, способны ли они репрезентировать класс. К примеру, в русском языке инфинитив глагола в меньшей мере способен к репрезентации единичного действия, чем существительное той же семантики, ср. *беседа была интересной* — *беседовать было интересно*, *беседа была короткой* — **беседовать было коротко*.

Следующий шаг на том же пути будет сделан, если под вещами и признаками понимать не относительные, способные к взаимопереходу категории, а категории абсолютные, взаимно исключающие друг друга. Для этого под вещами следует понимать физические тела — вещи с пространственной границей и образуемые ими совокупности, структуры, целые. Все другие сущности должны быть поняты как их признаки. Соответственно подлинными субстантивами тогда надо признать только имена физических тел и их объединений, ср. *человек*, *зверь*, *дерево*, *лес*, *долина* и т. п., а во всех остальных именах надо видеть предикаты, ср. *поход*, *косьба*, *белизна*, *сон*, *храбрость*, *здоровье* и т. п.

И, наконец, круг субстантивов будет предельно сужен, а круг предикатов максимально расширен, если из числа вещных слов исключить и включить в число предикатов еще те имена, которые способны к нерепрезентационному, безденотатному употреблению в речи, описывая то, что репрезентировано в высказывании другим именем. При этом надо посчитать несущественным то, что в других случаях своего употребления эти имена обозначают и репрезентируют денотаты. Субстантивы и предикаты вновь различаются на функциональной основе по способности к нерепрезентирующему употреблению. Класс субстантивов при таком подходе ограничивается именами собственными.

Каждый из этих подходов к разграничению вещей и признаков, с одной стороны, вещных и признаков слов — с другой, представлен и с большей или меньшей последовательностью проводится в семасиологических работах. В принятой в этой книге концепции вещи и признаки рассматриваются как относительные категории, способные к взаимопереходу, так что одна и та же сущность может представлять как вещь, если в ней открываются признаки, и как признак, если она рассматривается как характеристика, как свойство или отношение другой вещи.

При этом мы обнаружим два типа сущностей: те, что предстают только как вещи, и те, что предстают то как признаки вещей, то как вещи с признаками. Первые — физические тела и их объединения, вторые — все прочие сущности: качества, состояния, процессы, действия и т. п.

Соответственно этому разграничение вещных и признаков слов (субстантивов и предикатов) производится на семантическом основании, которое пересекает деление слов на лексико-грамматические классы (части речи), пересекает членение синтаксических структур на конструктивно-синтаксические единицы (подлежащее и сказуемое, главное и зависимое слова), семантико-синтаксические единицы (аргументы и предикаты), коммуникативно-синтаксические и логико-грамматические единицы (темы и ремы, субъекты и предикаты), но совпадает с семиотическими функциями имен в высказываниях (функции репрезентации и описания, репрезентация единичного и репрезентация классов).

Субстантив и предикат — не более чем семантические характеристики слов: быть субстантивом означает быть именем признака, или, проще говоря, субстантив — имя вещи, а предикат — имя признака. В силу относительности категорий вещи и признака имена распадаются на три ономазиологических типа: 1) называющие только вещи (имена собственные), 2) называющие только признаки (прилагательные, кроме субстантивированных, глаголы, кроме инфинитивов и др.), 3) называющие то вещь, то признак (нарицательные существительные).

Первые — это имена исключительно репрезентирующие (обозначающие), вторые — исключительно описывающие, третьи — и репрезентирующие, и описывающие, причем, как уже указывалось ранее, функция

репрезентации денотата у нарицательных имен всегда совмещена с его описанием, и в этом случае нарицательное имя — субстантив; вместе с тем нарицательное имя может употребляться только для описания денотата, репрезентированного в высказывании другим именем, и тогда оно — предикат.

Как видим, наряду с чистыми ономаσιологическими типами имен, субстатным (вещным) и предикатным (признаковым), имеется и двойственный, смешанный тип — субстантно-предикатный (вещно-признаковый), представленный нарицательными именами. Соответственно нарицательные существительные должны рассматриваться и среди вещных слов, и среди признаков слов.

Преимущество принятой здесь концепции состоит в том, что оно ближе других к той философии здравого смысла, которая, как указывалось ранее, отразилась в строении естественных языков: никакая сущность не предстает исключительно как вещи. Не настаивая на взаимоисключающем разграничении вещей и признаков, этот подход избегает затруднений в квалификации многих сущностей, промежуточных между категориями вещи и признака, ср. *эхо, выстрел, крик, звук, залп, волна, ветер, дождь, гроза, отверстие, дыра, число, час, часть, смерть, суд, вече, государство, хозяйство, восстание, пир, свадьба, музыка, игра, путь, рейс, маршрут, признак, мечта, душа, мысль, ум, рассудок, сознание, информация, новость, торговля, право, правило, закон, обряд, чума, голод, эпидемия, зло, добро, помощь* и т. д.

Допуская предметно-признаковую двойственность нарицательных существительных, этот взгляд не подрывает тождественности, например, абстрактных существительных, развивающих конкретные значения, т. е. позволяет считать такое существительное одним многозначным словом, ср. *проход* 1) действие по глаголу проходить, 2) место этого действия; *работа* 1) как действие, ср. *работа спорилась*; 2) как место этого действия, ср. *на работе*; 3) как результат этого действия, ср. *чья-то работа*. Тем более не требуется считать разными словами признаковое и вещевое употребление абстрактных существительных, ср. человек изумительной смелости — смелость этого человека изумительна.

Первичная семантическая классификация субстантивов, принимающая в расчет также определенные грамматические различия между ними в формообразовании и словообразовании, сочетаемости и согласовании, хорошо намечена в традиционных грамматиках. Существительные с должным основанием на то подразделяются на конкретные и абстрактные, конкретные — на классообразующие, вещественные и собирательные, абстрактные — на имена признаков разного рода: качества, действия, процессы, состояния и др. (см. подробнее в разделе о типологии предикатов). В логике вещи — признаки известны как абстрактные предметы. К их именам относятся, помимо самих имен вещей — признаков, также имена ос-

нований признаков, т. е. обозначения рода признаков, ср. *высокий* — *низкий* = *высота, рост*; *длинный* — *короткий* = *длина*; *тяжелый* — *легкий* = *вес*. Для имен оснований первичной является именно субстантивная форма, а адъективная — либо вообще отсутствует, либо производна от субстантивной. Напротив, для имен самих признаков первичной обычно оказывается адъективная форма, а субстантивная — производна и слабее отработана в норме и узусе.

Классификация конкретных вещевых слов на последующих уровнях семантической иерархии пока еще не разработана с должной мерой тщательности и полноты, хотя уже выявлены отдельные важные фрагменты. Классобразующие имена подразделяются на имена одушевленных и неодушевленных сущностей, одушевленные, в свою очередь, — на имена лиц и нелиц, а неодушевленные — на имена природных сущностей и искусственных, созданных человеком артефактов. Каждый из этих разрядов допускает различные последовательные и параллельные — на разных основаниях — разбиения, однако здесь они не могут быть рассмотрены.

Одна и та же вещь может быть объектом многочисленных классификаций на разных основаниях, по разным признакам. Равным образом одно и то же множество вещей может служить базой для различных понятий и понятийно-семантических пересекающихся классификаций. Разнообразные особенности употребления и поведения слов в речи связаны с соотносительной мощностью их экстенсиналов.

На этой основе имена подразделяются на широкозначные, т. е. имеющие широкий объем и бедный семный состав, и узкозначные, т. е. имеющие узкий экстенсинал и более развернутый семный состав.

Кроме того, как нам уже известно, в классификации может превалировать одно из двух соотносимых начал — индуктивно-эмпирическое или дедуктивно-логическое обобщение, и результатом могут быть соответственно понятия — явные стохастизмы и понятия — скрытые стохастизмы. В первом случае, когда обозначаемый именем класс является результатом индуктивно-логического обобщения, общность вещей постулируется ранее, чем выявлен конституирующий ее общий признак. Во втором, когда обозначаемый именем класс — результат дедуктивно-логического обобщения, общий признак постулирован ранее класса, и класс подобран по признаку. Уже говорилось, что в значении разных конкретных имен преобладает одно из этих двух начал, и это не только отражается на их семантических структурах, но и на разнообразных особенностях их употребления и поведения в речи, места и роли в высказываниях и текстах.

Имена — явные стохастизмы — тяготеют к функциям введения денотатов в речь, их первоначальной репрезентации. Это в особенности справедливо для широкозначных стохастизмов: обозначаемый ими широкий класс может служить базой многочисленных перекрещивающихся разбиений — классификаций на разнообразных основаниях. Имена — скрытые

стохастизмы, в значениях которых более четко очерчен конститутивный признак класса, в силу этого легко «осваивают» предикатные употребления и широко используются неререференционно в функции описания того, что в речи репрезентируется широкозначными стохастизмами.

Вернемся к первому разделению вещных слов. Более внимательный анализ покажет, что, помимо двух известных, традиционно различаемых категорий: конкретных субстантивов — имен физических тел и их комбинаций — и абстрактных существительных — имен признаков физических тел, — существует достаточно обширный промежуточный класс вещных слов с нечеткими границами. Их примеры были приведены выше. Теперь следует присмотреться к особенностям денотатов этих слов, которые — при всей размытости этой группы — отличают их от чистых тел и явных признаков.

Пространственная граница очерчивает физическое тело. Оставаясь в рамках этих границ, которые со временем тоже могут меняться, тело принимается за тождественное себе, за одно и то же, какие бы с ним ни происходили изменения.

Это тождественность единичного. Но есть денотаты, как у слов *отверстие, нора, пещера, зияние, ров, канава, шурф, колей, царапина*, — их граница образуется границей других субстанциальных тел, сами они невещественные части организованного пространства, сформированные определенным образом пространственные пустоты. Пространственно они дополнительны к типичным физическим телам. И те, и другие имеют пространственную границу, но у одних она заполнена определенной субстанцией, а у других — нет, и границы последних — обратная сторона первых.

Однородные и разнородные физические тела комбинируются, соединяются, связываются более или менее тесными отношениями и образуют нечто целое, единую вещь. Мера спаянности этого целого может быть весьма различной, но это несущественно, пока за частями видят целое. Структурная бесконечность, неисчерпаемость мира в каждом его пункте одинаково требует как разложения целого на части, так и отвлечения от частей в пользу целого. Последнее хорошо сформулировано в известной поговорке как требование видеть лес за деревьями.

Субстантивы, обозначающие целое, за которым все же, хотя и на заднем плане, проглядывают составные части, называются, как известно, собирательными, ср. *куча, рожь, крупа, рота, толпа, транспорт, крестьянство* и т. п. Если в собирательном целом на фоне его массовидности, т. е. множественности составляющих его физических тел, на первый план выдвигается представление о связующих их в целое отношениях, зависимостях, взаимодействиях, то за счет выявленности структурообразующего признака такое целое продвигается из класса конкретных вещей в класс, промежуточный между вещами-признаками, ср. *ледоход, разлив, суд, вече*,

государство, хозяйство, революция, бунт, восстание, пир, свадьба, голод, чума, эпидемия (как массовые действия), спектакль, игра, встреча, балет, собрание, митинг и т. п.

За признаком стоит вещь, от которой он отвлечен. Как только носитель признака теряет определенность и его денотат понимается как вещь-видный, имя попадает в промежуточный класс между абстрактными и конкретными, ср. *эхо, звук, ветер, дождь, гроза, засуха, метель, ураган, тайфун, мрак, тьма, темнота, информация, новость, время, сознание, ум, рассудок, мечта, мысль, душа, закон, правило, обряд, порядок, право, поэтика, физика, лингвистика, наука, зло, добро*. К этой же промежуточной категории денотатов надо отнести меры, эталоны, планы, схемы вещей и т. п., ср. *верста, аришин, пуд, кубометр, гектар, рейс, маршрут, модель* и т. п.

Таким образом, помимо вещей-тел и вещей-признаков, существует еще промежуточная категория вещьпризнаков, и соответственно среди нарицательных имен, помимо конкретных и абстрактных, обнаруживается еще промежуточный семантический класс вещьпризнаковых (конкретно-абстрактных) имен существительных.

Проблема семантической классификации предикатных, или признаковых, слов чрезвычайно объемна и сложна. Как уже говорилось, к ним относят все слова, которые способны обозначать признаки (в самом широком смысле слова), в первую очередь глаголы и прилагательные, но также существительные, числительные, местоимения, наречия и словосочетания в признаковой функции. Ядро этой обширнейшей категории составляют слова, способные только к описанию, но не к репрезентации своих денотатов в речи. Но в нее зачисляют и все другие слова в чисто признаковом употреблении, даже если в других случаях своего употребления они совмещают описание с репрезентацией денотата. Тем самым в число предикатных слов попадают нарицательные существительные, но только в чисто признаковом — описывающем, но не репрезентирующем — употреблении, и предикатность (признаковость) понимается как функциональная, а не субстанциональная категория слов. В противовес этому, однако, предикатными словами считают также все абстрактные существительные со значением признака (свойства, отношения, действия, состояния, процессы, качества и т. п.), даже если они употреблены в репрезентирующей функции. Ср. *ветеран продолжил рассказ о наступлении дивизии*: продолжать рассказ, наступление — предикатные слова, причем последние два репрезентируют единичные денотаты — события. Основанием для такого понимания абстрактных признаковых существительных служит особый характер их денотата: они выступают как предикатные актанты (включенные предикаты), их денотатом является ситуация, вставленная в другое событие.

Таким образом, из знаменательных слов за пределами слов-предикатов остаются имена собственные. Однако и они не лишены признаковой функции в составе элизийных словосочетаний и предложений (как зави-

симый компонент), где есть отношения и его аргументы, но нет самого предиката отношения, ср. книга Петрова, эта книга Петрова. Отсюда видно, что следует все же разграничивать признаковое (предикатное) слово и признаковую (предикатную) функцию. Последняя возможна практически для всех знаменательных слов, но не все полнозначные слова способны к безденотатному употреблению, в котором они только описывают денотат, репрезентируемый другим именем.

3. *Гипер-гипонимические (родо-видовые) отношения в лексике: общие категории признаковой семантики, семантические типы предикатных слов*

Как мы уже видели, первичное членение сущности отражаемого сознанием мира разграничивает вещи и признаки. Различение вещи и признака лежит в основе и структуры мысли, и структуры языка. Эти фундаментальные категории отражены в структуре языкового выражения, т. е. в синтаксисе; они отражены в грамматической структуре словаря.

Признаки отвлекаются сознанием от вещей, и для обыденного сознания они представляют собой категорию еще более абстрактную, чем вещь. Границы в типологии признаков между различными их разрядами весьма приблизительны, разряды наложены один на другой, их составы достаточно текучи. Равным образом и семантические типологии признаков слов весьма приблизительны и обнаруживают значительный разбой у разных авторов, что лишь проявляет размытость границ в самом языковом сознании. Поэтому изложение этого вопроса — семантической классификации признаков слов (или, что то же самое — гипонимических отношений в признаковой лексике) — по необходимости не может носить завершеного, строго логического характера и должно включать наиболее характерные, хотя и различающиеся, взгляды на систематизацию и понимание разрядов признаков слов.

Начать, однако, следует с уяснения логических оснований первичной категоризации слов признаковой семантики — с уяснения исходных представлений об общих категориях признаковой семантики.

Признаковая семантика — значения признаков, или предикатных (в отличие от вещных, или субстантивных), слов. Устанавливая общие категории признаковой семантики, имеем дело с классификацией признаков значений на самом обобщенном уровне. Здесь снова возникает необходимость уточнения различий между семантической и понятийной классификациями. Ответ как будто прост: семантика занимается не понятиями, а значениями, соответственно и семантическая классификация систематизирует значения, а понятийная — понятия.

Но эта простота иллюзорна, так как ни о понятиях, ни о значениях, ни тем более о их соотношении не известно достаточно, и на практике одно постоянно подменяется другим.

Для сближения семантического с понятийным немало оснований, так как понятие и значение принадлежат к одному и тому же концептуальному уровню сознания — уровню обобщающего абстрагирующего сознания. Более того, понятия и значения — одни и те же идеальные (отражательные) сущности одного и того же концептуального порядка. Различаются они не уровнем и содержанием, а ориентацией: понятия ориентированы на то, что они отражают, а значения — на знаки, которые их выражают. Одни и те же дискретные содержательные сущности сознания, взятые в отношении к отражаемому миру, выступают как понятия, а взятые в отношении к выражаемому их миру знаков — как значения. Значение — понятие, связанное знаком.

Различие в ориентации понятий и значений имеет следствием не различия в уровне и содержании тех и других, а различия в их организации. Содержание и системные отношения понятий (понятийные структуры сознания) формируются как отражение структуры мира и структуры деятельности общественного человека. Содержание и системные соотношения значений (семантические структуры сознания) определяются тем, как понятия распределены по языковым знакам, в том числе по знакам разных уровней языковой структуры.

Значения, во всяком случае в их когнитивном аспекте, часто просто совпадают содержательно с понятиями, а если отличаются от них, то тем, что в разных языках ради экономии и удобства выражения, определяющих ту или иную модель покроя языка, по-разному комбинируют, компануют в одном значении несколько разнородных связанных понятий, образуя из простых сложные понятия, например, каузация + состояние: *открывать, закрывать, поднимать, сажать*; становление + признак: *краснеть, бледнеть, смелеть, понижаться, повышаться* и т. п.

Соответственно отдельные значения корреспондирующих слов в разных языках могут различаться комбинацией понятий в них, ср. известные примеры англ. *come, go* и русск. *иди*, или же могут различаться уровнем квантования, прорисовки действительности, более или менее детальным, ср. англ. *hand, arm* и русск. *рука*.

Понятийные классификации строятся с оглядкой на сущности отражаемого ими мира и в конечном счете являются классификациями этих последних — с поправкой на уровень обобщения и возможные заблуждения. Семантические классификации строятся с оглядкой на знаковое выражение понятий и, никогда не постулируя никаких иных концептуальных сущностей сверх понятий, принимают во внимание распределение понятий по знакам и компановку понятий в знаках. В этом и состоит различие понятийных и семантических классификаций.

Семантические классификации не выходят за пределы концептуального уровня понятий, это те же понятийные классификации, но из множества понятийных классификаций семантическими являются только те, которые согласуются с распределением и компоновкой понятий в знаках. Подобно понятийной, семантическая классификация не требует, чтобы ее подразделения и структура в целом находили обязательное последовательное отображение в форме словесных знаков. Изоморфизм или гомоморфизм двух планов возможен, но не обязателен.

Семантическая классификация двойственна в том, что классифицирует не понятия, а знаки, но классифицирует знаки по значениям, т. е. по выраженным ими понятиям, и в этом смысле она — также понятийная классификация.

Будучи классификацией знаков, семантическая классификация максимально считается с их формой и теми подразделениями, которые диктуются формой знаков, но, будучи классификацией знаков по выражаемым ими понятиям-значениям, она считается с формой знаков лишь в тех пределах, которые понятийно оправданы, согласуются с понятийными разграничениями. С самого начала она учитывает неоднозначный характер соотношений формы и содержания в языке и принимает во внимание характерные для естественных языков явления полисемии, омонимии, синонимии, имплицитности.

Как известно, одно и то же множество значений может быть разбито несколькими способами, не исключаящими один другого. По той же причине следует с самого начала принять возможность многих семантических классификаций на разных основаниях, находящихся в дополнительном отношении друг к другу.

Уточним теперь наиболее общие категории значений признаков слов. При этом к рассмотрению необходимо привлечь не только те, которые привычно связываются с представлением о семантике прилагательных (например, общекатегориальные понятия признака, свойства, качества и т. п.), но и те, которые обычно связываются с семантикой глаголов (понятия движения, действия, процесса и т. п.). И прилагательные, и глаголы — признаковые слова, и в их семантике много общего не только в функциональном плане, но и по общекатегориальному составу выраженных ими значений, ср. *эта книга мне интересна — эта книга меня интересует, он злопамятен — он помнит зло, он завистлив — он всем завидует*.

Поэтому многие категории значений одинаково свойственны как прилагательным, так и глаголам и выражаются среди тех и других. Таковы значения состояния (*больной, болен — болеет*), отношения (*влюблен — любит*), местонахождения, пространственного положения (*расположен — располагается*), оценки (*он ценен для нее — она ценит его*, с конверсивным отношением глагола и прилагательного), каузации (*новость печальна —*

новость печалит, радостное известие — известие радует), свойства (*летучий — летает, ломкий — ломается, пахучий — пахнет*) и т. д.

Практически нельзя найти таких категориальных значений в одной из этих двух частей речи, которые так или иначе не были бы представлены в другой. Они различаются не столько набором категориальных значений, сколько удельным весом определенных категориальных понятий в составе выражаемых значений. И прилагательное, и глагол объединены в том, что это слова с признаковой функцией. Они специализированы в признаковой функции, т. е. изначально своей формой указывают на то, что они не составляют самостоятельного предмета речи, а описывают денотат, представленный в речи другим, субстантивным (вещным) словом. В связи с этим им не свойственна функция обозначения (репрезентации, денотации), они не обнаруживают денотативное значение, а специализированы в сигнификативном значении — они описывают обозначенное другим именем.

Почему следует говорить о признаковой функции прилагательных и глаголов как общем их функциональном отличии, а нельзя сказать, что все признаковые слова, включая и все прилагательные, называют признаки (в широком смысле слова)? Дело в том, что далеко не все прилагательные означают признаки, но все они, как и все глаголы, указывают на признаковую функцию слова. Многие относительные и все притяжательные прилагательные означают отнюдь не признак в собственном смысле слова, а некую вещь, ср. *материнское поле, отцов пиджак, зубной врач* и т. п. Подобные прилагательные образуют с существительным элизионные словосочетания в том смысле, что в этих атрибутивных словосочетаниях названы два денотата, находящиеся в некотором отношении, причем само это отношение в словосочетании отдельно не поименовано, т. е. имеет место элизия имени отношения. Именно это отношение и является собственно признаком денотата, обозначенного в словосочетании существительным. Само же прилагательное при этом именуется не признаком, а один из аргументов отношения и указывает своей формой на признаковую функцию этого последнего применительно к денотату существительного. Ср. *поле принадлежит матери — поле, которое принадлежит матери — поле матери = материнское поле* (подробнее см. в главе V).

Прилагательные, именующие аргумент в признаковой функции к другому аргументу при элизии имени отношения между ними, составляют первое подразделение в семантической классификации прилагательных. Их можно назвать аргументно-признаковыми словами, имея в виду, что они называют отнюдь не признак, а аргумент в признаковой функции — так сказать, «аргументный конец» признака-отношения.

Но если прилагательные и глаголы сходны по набору категориальных значений (хотя и не по их удельному весу), то в чем состоит принципиальное семантическое различие этих частей речи? Ответ известен: глаголы дают обязательную временную (и модальную) характеристику признака,

указывают его привязку ко времени (когда и как во времени, темпоральные и аспектуальные признаки, признаки признаков). Аспектуально-временные и модальные характеристики признаков могут содержаться в прилагательных только как часть их лексических значений, т. е. изначально обособляют такие прилагательные в особые семантические группы. Напротив, в глаголах эти характеристики дополнительно обрисовывают выражаемый признак, составляя обязательную грамматическую часть семантики глагола (его грамматические значения).

Это грамматическое отличие двух частей речи определяет уже отмеченные тенденции в распределении признаков среди прилагательных и глаголов. Признаки более стабильные, постоянные, характерные, достаточно автономные от временной характеристики имеют тенденцию стягиваться в часть речи прилагательных, выражаться как прилагательные. Еще большая стабильность, постоянство признака как привычная характеристика достигается его выражением в субстантивной форме.

Напротив, глаголам свойственно выражать признаки переменные, временные, не сущностные, а преходящие.

Признаки с отчетливым преобладанием одной из трех ипостасей характерности-устойчивости (с большой — средней — малой мерой характерности-устойчивости) стягиваются к соответствующей части речи. Если признак обнаруживает все три ипостаси у тех или иных вещей, то эти его ипостаси выражаются по преимуществу, хотя бы в тенденции, в форме соответствующей части речи. При этом отчетливо проявляется сама тенденция распределения признаков по трем частям речи в зависимости от меры характерности признака. Ср. *хитрец* — *хитрый* — *хитрит*.

Однако распределение это, конечно, проявляет себя именно как общая тенденция, а не жесткое правило.

Уточнение общих категорий семантики признаков слов следует начать с понятий вещи и признака. Все, что существует, собирательно обозначается как сущее, а порознь — как сущности. Относительно того, подлинно ли их существование, сущности делятся на реальные (подлинные, действительно существующие) и мнимые.

Последние подразделяются на возможные и ирреальные. Возможные сущности не нарушают закономерностей действительного мира и могли бы существовать в возможных мирах. Признание возможных миров не обязательно связывать с допущением индетерминизма в состоянии и развитии действительного мира, основанием для них служит варьирование случайного в рамках необходимого.

Напротив, ирреальные сущности нарушают законы бытия и возможны лишь в фантазии.

По их месту в познавательном процессе сущности относятся к одному из трех миров: миру отражаемых сознанием сущностей (отражаемому миру), отражаемому миру сознания и выражающему миру знаков. Это деле-

ние не совпадает с различием физических (материальных) и духовных (идеальных, психических) сущностей. С учетом всеобщей материальности мира и вторичности идеального различие физических и духовных сущностей абсолютно в том смысле, что они образуют два непересекающихся множества: всякая сущность является либо физической, либо духовной, но не той и другой одновременно.

Напротив, отнесение сущностей к отражаемому, отражающему или выражающему миру относительно. Все, что отражается сознанием, включая духовные сущности, т. е. собственные сущности сознания, и сущности выражающего мира, принадлежит к отражаемому миру постольку, поскольку оно сделалось объектом отражения. Вместе с тем духовные и знаковые сущности принадлежат соответственно к отражающему или выражающему мирам, если они взяты в отношении к объектам отражения и выражения. Иначе говоря, всякие сущности — физические, духовные и знаковые — могут быть объектом отражения и выражения и при этом относятся к отражаемому и выражаемому мирам.

Наиболее общими категориями сущностей отражаемого (и выражаемого) миров являются вещи (предметы) и признаки. Это первичное деление сущностей, и оно также относительно. Вещь и признак определяются друг через друга: вещь — то, что имеет признаки; признак — то, чем различаются и в чем сходны вещи. Признак выступает как вещь, когда он, в свою очередь, обнаруживает признаки. Таким образом, любая сущность может выступить как вещь, но некоторые вещи выступают исключительно как вещи; это физические тела (т. е. вещи с пространственной границей) и их совокупности.

В процессах познания и практики человек к собственным признакам вещи (онтологические признаки) может добавлять свои в целях опознания вещей, напоминания о каких-то их сторонах и т. п. Таким образом, эпистемологическими признаками выступают не только те, что являются отражением онтологии вещей, но и присвоенные вещам меты (метки, приметы). В определенном отношении и знак может играть роль признака — приметы вещи.

Заметим, что в отличие от широкого философского понимания признаков как одной из двух наиболее общих категорий сущностей, противопоставленной вещам, в обыденном языке признак толкуется уже и конкретнее — как то, что позволяет узнать («признать») вещь, т. е. как отличительный признак. В философском смысле признак охватывает все свойства (отношения), состояния и проявления вещи. Это столь же универсальная категория, как и категория вещи.

Основания, по которым признаки распадаются на категории, т. е. наиболее общие разряды, различны. Их по меньшей мере несколько. Это обстоятельство нередко не учитывается в семантических классификациях слов, как правило, стремящихся свести их значения в единую иерархию. Сложность состоит в том, что в обыденной практике и обыденном языке

нет отстоявшихся систем последовательной иерархизации и обозначения разрядов признаков. То, что предлагают языки на этот счет, если строго следовать их практике, носит характер категоризации весьма приближенной, непоследовательной и размытой на границах разрядов.

Этим нередко пользуются исследователи, весьма свободно и достаточно произвольно интерпретируя имеющиеся обозначения разрядов признаков.

Первое различие надо провести между признаками-отношениями и признаками-неотношениями. Ни тот, ни другой член пары не имеют в обыденном языке устоявшихся обозначений, потому приведенные здесь названия достаточно условны.

Один из них «отношения» опирается на определенную философскую и логическую традицию, и этим можно воспользоваться, заведомо расширяя, обобщая и терминологизируя слово сравнительно с обычным его употреблением.

Под отношением в этом широком смысле надо понимать такой признак, который вещь делит с другой вещью или вещами, и делит не в том смысле, что они обнаруживают один и тот же признак, а в том, что признак-отношение для своего осуществления требует нескольких вещей — аргументов отношения, это признак как бы с несколькими аргументными концами, он не замыкается в своей целостности одной вещью, но упирается в несколько вещей, он осуществляется между вещами.

Можно было бы сказать, что он существует в связи вещей, но связь и есть отношение в этом широком смысле.

Отношениям противостоят признаки, осуществимые в одной вещи, признаки, не делимые между вещами в указанном выше смысле. Их иногда называют свойствами, но это слишком далеко расходится с обыденным пониманием этого слова. В привычном смысле свойство, или способность вещи — это характерный (существенный, показательный) признак вещи, привычно связываемый с нею, обычно ею проявляемый и потому с достаточной вероятностью прогнозируемый в связи с данной вещью. Свойство нельзя противопоставлять отношениям, так как некоторые свойства вещей суть отношения (но отношения характерные), ср. *свойство магнита — притягивать железо*. Кроме того, нехарактерные или несущественные, факультативные или временные признаки вещей не называют свойствами, даже если они — собственное неделимое достояние одной вещи (или каждой вещи порознь). Так, красный цвет вряд ли назовут свойством всякого спелого яблока, потому что не для всякого спелого яблока характерен красный цвет.

Свойство отсылает к глубинным неявным существенным признакам класса вещей или единичной вещи. Оно нередко скрыто от непосредственного наблюдения (ненаглядно) и в таких случаях не вполне тождественно своим внешним проявлениям, как потенциальное не полностью исчерпы-

вает себя в конкретной реализации, а лишь обнаруживает, являет себя органам чувств. Обозначая такого рода базовые, имманентные, сущностно-скрытые свойства, обычно говорят о свойствах-способностях. Ср. *скоропортящийся*, но *испорченный*, *гнилой*, *кислый*, *прогорклый*, *свежий*; *влюбчивый*, но *влюбленный*, *любящий*; *чувствительный*, но *взволнованный*, *печальный*, *грустный*, *счастливый*, *радостный*; *прожорливый*, но *сытый*, *голодный*; *трусливый*, но *трусивший*; также *хищный*, *плотоядный* и т. п.

Нередко различие между свойством-способностью и его проявлением сводится к различию потенциального признака и его реализацией, и в таких случаях можно ожидать их выражения одним и тем же словом или формой. Ср. *агрессивный*, *воинственный*, *тенистый*, *зрячий*, *видящий* (видеть), *слышать*, *подлый* и т. д.

Как видим, «свойство» не годится как термин *vis-a-vis* отношения, и приходится соответствующий тип признаков, за неимением лучшего, обозначать через отрицание как «неотношение». Прилагательные и другие признаковые слова соответствующей семантики будем обозначать как реляционные и нереляционные.

В силу импликационных обертонов, наслаивающихся на основное значение, семантика признаков слов достаточно размыта, и противопоставление прилагательных со значением нереляционных и реляционных признаков относительно. Так, признак *интересный* содержит в импликациях «для кого, чем», «книга интересна географу тем, что в ней много карт». Но акцент на качество вещи переводит прилагательное из реляционных в нереляционные, ср. *географу попалась интересная книга*; заметим, что при этом параллельно круг возможных аргументов отношения расширяется, становится неопределенным и информационно мало значимым.

Различие реляционно- и нереляционнопризнаковых слов имеет результатом в числе обязательных валентностей (мест): первые многоместны (не менее двух валентностей), вторые одностепенны. Это различие, впрочем, также относительно и не жестко, как не жестко и относительно само различие слов с реляционными и нереляционными значениями. Сравнительно с глаголами, прилагательные отчетливо тяготеют к нереляционной семантике, к выражению признаков ситуаций простой структуры; в отличие от глаголов они более вещецентричны, т. е. ориентированы на описание вещи, а не ситуации, качества вещи, а не ее отношений. Реляционное прилагательное склонно уводить в тень, эксплицитно недопроявлять аргументы отношения (кроме одного), при условии что они информационно несущественны или самоочевидны. Если, например, говорят: «на дальней станции сойду», это значит, что станция удалена от места отправления — «дальний» относительно некоей координаты отсчета, которая всякий раз должна устанавливаться.

Независимо от того, насколько это справедливо, обыденное сознание держится того взгляда, что вещи существуют автономно от отношений, что

они не формируются отношениями, но вступают в них. Вещь представляется первичной сущностью сравнительно с признаками. Хотя прогресс научного знания наталкивает на убеждение, что субстанциональный и релятивистский взгляды на мир взаимодополнительны и что столь же правомерно бывает рассматривать вещь как пучок отношений, обыденное сознание, отражающееся в семантике естественных языков, реализует свой постулат о первичности вещи в том, что приписывает вещи собственные признаки, т. е. помимо признаков-отношений и наравне с ними постулирует категорию нереляционных признаков, даже если углубленный анализ и вскрывает их реляционный характер. Тем самым в семантике прилагательных приходится сталкиваться с противоположными процессами: редукцией реляционных признаков к нереляционному их представлению, и наоборот, — нереляционно представленных признаков к реляционным.

По другому основанию признаки — и реляционные, и нереляционные — делятся на динамические и статические. Первые связаны с изменением, вторые нет.

Динамическими признаками, или действиями, называются признаки, вызывающие изменение вещей или предотвращающие изменение вещей. Понятие динамики обычно связывается с энергетическими затратами. Статические признаки, напротив, не предполагают изменений, они связаны с представлением о покое вещей, систем.

Изменение — качественная и/или количественная нетождественность признаков вещей во времени. Среди изменений особо выделяются пространственные изменения, т. е. изменение положения вещи в пространстве, изменение ее пространственных координат. Изменение пространственного положения не связывается с изменением самой вещи, и это выделяет пространственные изменения среди прочих изменений.

Напротив, разнообразные непространственные изменения обычно относят к самой вещи (или к системе, связке вещей, целому, ситуации, в которой вещь участвует) независимо от их значительности, глубины, существенности, т. е. независимо от того, насколько нетождественность признаков изменяющейся вещи затрагивает ее тождественность самой себе.

Движение (перемещение) в его прямом первичном смысле и есть пространственное изменение (движение в его широком философском смысле — то же, что изменение в обыденном языке). По самой природе движения — нереляционные признаки, и простейшие предикаты движения имеют одну валентность — на то, что перемещается. Однако хорошо известно, что в предикатах идея перемещения легко комбинируется с другими совместимыми с движением характеристиками: способом движения (*идти, ползти*), средой перемещения (*идти, плыть, летать*), скоростью (*идти, бежать, мчаться*), направления, пределов, каузации движения и другими разнообразными сопутствующими характеристиками, взятыми порознь или совме-

стно одна с другой (ср. также *идти, карабкаться, переходить, двигать, толкать*).

При комбинации с реляционными признаками предикат переходит в разряд реляционных поливалентных, ср. из приведенных выше примеров *перебегать, двигать, толкать*.

Непространственные изменения могут быть нереляционными и реляционными, ср. *рост (расти), отдых (отдыхать), старение (стариться), таяние (таять)* и т. д. — нереляционные непространственные изменения; *курение (курить), награждение (награждать), разговор (оазговаривать), узнавание (узнавать)* и т. д. — реляционные непространственные изменения, нереляционные непространственные изменения, осложняясь в выражающих их предикатах дополнительными совместными признаками, могут — аналогично предикатам перемещения — переходить в разряд реляционных, ср. *расти — растить* (= расти + каузация изменения) — *до-расти* (= расти + достижение меры) — *перерастить* (= расти + превышение меры).

Разумеется всякое изменение совершается в рамках определенного пространства, и, говоря о непространственных изменениях, мы имеем в виду то, что не фактор пространственных координат является определяющим для них.

Нереляционные изменения касаются, естественно, их единственного носителя, той вещи, с которой они происходят. Сложнее обстоит дело с реляционными изменениями. Разумеется, все аргументы динамического отношения претерпевают то или иное изменение в результате взаимодействия, но нередко от изменений в определенных аргументах отношения отвлекаются как от нерелевантных. С учетом этого все же возможны разнообразные случаи: релевантные изменения могут усматриваться в различных аргументах ситуации динамического отношения и в самой ситуации в целом. Наиболее наглядный и простой случай — воздействие. Это тот случай динамического отношения, когда действие-отношение имеет целью и/или результатом изменение аргумента-объекта или предотвращение изменений в нем, ср. *купать лошадь и беречь лошадь*. Поэтому воздействие — каузация изменения в объекте или предотвращение их. Аргумент — субъект воздействия рассматривается как претерпевающий некое изменение (хотя бы пространственное), если он совмещает в динамическом отношении качества субъекта и объекта воздействия. Как известно, для этих целей в языках могут использоваться специальные средства — языковые формы с возвратным и взаимовозвратным значением.

С этих позиций находит естественное и простое объяснение особенность эргативных языков выражать одинаковой падежной формой субъект действия при непереходных глаголах и объект действия при переходных глаголах. Становится очевидной основа для их сближения. В них действительно есть важный общий момент: и то, и другое обозначают денотат,

претерпевающий некое изменение, и этим они отличаются от субъекта воздействия.

В ситуации воздействия изменение сосредоточено в объекте. В близкой ей ситуации создания изменение касается самой ситуации: начальная ситуация меняется за счет того, что в результате действия в ней появляется новый объект, ср. *ремонттировать дом — строить дом, стирать платье — шить платье*.

Близость двух видов ситуаций обеспечивается тем, что действую предшествует его идеальное опережающее проигрывание в сознании: объект в каждом случае существует как идеальная сущность — либо как отражение действительной сущности, либо как план, замысел, прогноз, ожидание. Поэтому создающий аргумент — это преимущественно лицо, сущность с волевым планирующим началом.

Иначе же конструкция с предикатом создания содержит либо метафору (ср. *дерево дало плоды, завод приносит доход*), хотя бы стертую, либо персонификацию. В первом случае предикат подвергается переосмыслению, а конструкция — фразеологизации.

Помимо ситуации создания возможны, как легко себе представить, самые разнообразные и многочисленные примеры, когда изменение касается не столько аргументов динамического отношения, сколько всей ситуации в целом, или же оно в равной мере касается ситуации в целом и всех или некоторых ее аргументов, ср. *крестьянин купил/продал лошадь, Петр женился на Маше*.

Наконец, надо специально указать случаи, когда изменения в динамическом отношении касаются преимущественно субъекта действия как токового, ср. *старик перешел улицу*.

Разумеется, всякий раз, когда отмечаются изменения в каком-то аргументе ситуации, они касаются косвенно и ситуации в целом, поскольку аргумент есть часть ее (элемент системы — в широком смысле). И тем не менее вполне правомерно различать изменения на уровне аргументов и всей ситуации в целом.

Вопрос в том, сосредоточены ли они в частях целого, и лишь вторично в силу связи части с целым, элемента с системой касаются всей ситуации, или же эти изменения, не затрагивая сколько-нибудь осязательным образом аргументов самих по себе, взятых вне данного отношения, оказываются изменениями в системе отношений аргументов, т. е. изменениями ситуации в целом.

Говоря об изменениях как критерии различения динамических и статических ситуаций и признаков, важно, наконец, указать, что применительно к языку и семантике языковых единиц речь идет не столько об изменениях в их физическом, природном, онтологическом, независимом от наблюдателя аспекте, сколько об изменениях как наблюдаемых, регистрируемых сознанием фактах, т. е. речь идет об изменениях в аспекте их реле-

вантности, значимости для наблюдателя, для оценки субъектом условий его существования, условий его взаимодействия со средой. Иначе говоря, речь идет об изменениях в аспекте их восприятия. Регулярный, неизменный, монотонный физический или физиологический процесс, динамические характеристики которого представляются несущественными или ускользают от обычного наблюдения, например, *сон, стояние на месте, свечение лампы*, обычно принимается за статический признак.

Изменения пространственного положения реже других связаны с существенными изменениями самих вещей. Это обычно признаки нехарактерные, преходящие, временные. Они требуют временной спецификации и соответственно выражаются обычно глаголами. Однако и здесь немало исключений — прилагательных со значением движения при том общем условии, впрочем, что движение составляет более или менее характерный признак некоего класса денотатов, ср. *ходячий* (больной), т. е. не столько *ходящий*, сколько *способный ходить*.

Наиболее близким синонимом понятия динамических признаков, реляционных и нереляционных, является действие. В обыденном языке действие — причина изменений, то, что вызывает изменение, а кроме того, и причина отсутствия изменений, если последние должны были бы иначе наступить. И в том, и в другом случае действие — то, что преодолевает «момент инерции» в системе. Таким образом, «здравый смысл» соотносит действие и изменение как причину и следствие. При этом воздействие и движение (= перемещение) оказываются частными случаями действий, реляционных в первом случае и нереляционных — во втором.

Но у действия в обыденном языке есть еще более узкий и конкретный смысл — осознанный волевой акт, направленный на то, чтобы вызвать или предотвратить изменения. Действия при этом производятся одушевленными существами, и их дополнительно отличает интенция к действию, даже если она в иных случаях вынужденна, спонтанна или рефлекторна. В русском языке производный от «действия» глагол «действовать» ограничен этим более узким смыслом. Такова же семантика английского глагола *act*, хотя здесь он выступает производящим словом по отношению к существительным *act* и *action*.

В той мере, в какой состояния являются изменениями, наступающими в результате действий, действия и состояния могут быть связаны как причины и следствия. В силу той же зависимости все три рода признаков: действие — изменение — состояние — могут выражаться однокорневыми формами (заголовыми, видовыми, словообразовательными), ср. *разбивать* (действие) — *разбитый* (состояние), *насыщение* (действие) — *сытость* (состояние).

Даже в широком своем значении «действие» как термин философии здравого смысла «не дотягивает» вполне до того, чтобы быть родовым обозначением любого динамического признака. К этой области подключено еще понятие процесса, которое также не вполне отстоялось, но в обы-

денном понимании нацелено на динамические признаки, удовлетворяющие двум условиям: спонтанность и длительность. Хотя процесс и не исключает полностью волевое начало, он акцентирует скорее самопроизвольный характер действия, его саморазвитие.

Параметры саморазвития и относительной длительности изменений часто связаны с выделением фаз в процесс. Примерами процессов служат рост, гниение, распад, таяние, остывание и т. п.

Когда некто занят нагреванием металла, он производит действие, но результат этого действия — постепенное нагревание металла — есть процесс, совершающийся с металлом. В свою очередь, результат этого процесса — нагретость металла — есть состояние металла. Как видим, одно и то же отглагольное существительное может совмещать значения импликационно связанных признаков действия и процесса: *нагревание* семантически производно от *нагревать* и *нагреваться*. Точно также и *изменение* производно от *изменять* и *изменяться* и также соединяет в своей семантике мысль о действии и процессе. Нетрудно видеть, что в подобных случаях имеется в виду, строго говоря, не действие вообще, а его частный случай — воздействие. Постепенность выделяет процессы из других динамических признаков (из действий вообще), а ингерентность изменения, т. е. его внутренне обусловленный характер, противопоставляет процессы воздействия. Таким образом, процессы — это постепенные ингерентные (самопроизвольные или обусловленные) изменения вещей и систем.

Самопроизвольные процессы, понятно, относятся к нереляционным признакам.

Агенты — их причины — либо отсутствуют, либо не поддаются установлению, либо, наконец, несущественны. Ср. из приведенных выше примеров *рост*, *гниение*, *распад*, *таяние*, *остывание*. Обусловленные процессы, хотя и совершаются в ингерентных формах, принадлежат к реляционным признакам. Соответственно в семантике означающих их предикатов содержатся места для обусловливающего процесс агента — причины. Ср. *воспитание*. Наконец, *разложение*, *развитие* — примеры предикатов со смешанной семантикой обусловленных — самопроизвольных процессов.

Статические признаки, как и динамические, могут быть нереляционными и реляционными и могут выражаться как прилагательными, так и глаголами. Ср. нереляционные статические признаки: *белый* — *белеть* (быть белым), *тяжелый*, *круглый* и другие предикаты цвета, веса, формы вещей и т. д., *лежать* — *лежащий*, *стоять* — *стоячий*, *сидеть* — *сидячий* и т. д.; реляционные статические признаки: *располагаться* — *расположенный* (где-то), *находиться*, *пребывать* (где-то) и другие предикаты местонахождения; *выше*, *ниже*, *правее*, *левее*, *южнее*: *севернее*, *больше*, *меньше*, *слаще*, *шире*, *красивее* и другие предикаты сравнения вещей по местонахождению, количеству, мере признака и др.

Особо выделяются признаки-состояния. Состояние — образ бытия вещи, системы, целого в некий момент или интервал времени, это характеристика бытия вещи (системы, целого) по некоторым существенным для нее параметрам. Ср.: *В каком он состоянии? — Здоров (болен, гневается, спокоен, возбужден, в плохом, приличном, рабочем, нерабочем состоянии, погружен в мысли, рассеян, озабочен, в прострации и т. д.).*

Состояния могут быть реляционными и нереляционными, статическими и динамическими. Реляционные статические состояния: *гнев* (отец гневается на сына, но ср.: *сын прогневил отца* (действие)), *любовь* (мать любит сына), *скорбь* (мать скорбит о сыне), *переживание* (мать переживает за сына) и т. д.

Реляционные динамические состояния: *ветер растрепал волосы* (состояние волос, но действие ветра), *камень порос мхом, борода изменила его внешность, пыль забила поры, ткань испачкана краской* и т. п. Нереляционные статические состояния: *сок, болезнь, уныние, скука, экстаз* и т. д. Нереляционные динамические состояния: *волчок крутится, народ лыкует, вода кипит, река замерзла, воск затвердел* и т. п.

Таковы наиболее общие категории признаков. Как можно было видеть, первоначально признаки подразделяются на двух независимых дополнительных основаниях: 1) на реляционные (R) и нереляционные (\bar{R}), т. е. на признаки — отношения и признаки — неотношения, и 2) на динамические (D) и статические (Si).

RD	$\bar{R}D$
RSi	$\bar{R}Si$

В их рамках выделяются более специальные подразделения признаков: свойства — любые характерные для вещей признаки, динамические или статические, реляционные и нереляционные: состояния — образы бытия вещи, признаки, характеризующие ее существование в определенный момент времени, они также могут быть реляционными и нереляционными, статическими и динамическими.

При этом признак считается динамическим, если он связан с изменением, и статическим, если он не предполагает изменения. Признак реляционен, если для его осуществления требуется не менее двух вещей, и нереляционен, если для его осуществления достаточно одной вещи. Самоизменение есть нетождественность признаков вещей и вместе с тем результат действий и процессов. Действие в широком смысле — признак, каузирующий изменения, или, проще, каузация изменений. Воз-

действие — кузация изменений в объектах действий, включая случаи совмещения объектов действий с его субъектами. Движение — изменение пространственного положения, т. е. перемещение. Процессы — самопроизвольные длительные изменения. Действие и процесс, с одной стороны, и изменение как результат (следствие) действия и процессов определяются друг через друга. Но определение изменения как неотжественности признаков вещи самим себе во времени выводит понятие изменения из круга и позволяет определить на его основе понятия действия и процесса.

Все указанные общие категории признаков, а также производные от них частные категории представляют собой результат аналитической абстракции — отвлечения от вещной отнесенности признака. Атрибуты вещей при этом овеществляются и выступают для сознания как самостоятельные сущности с возможными собственными признаками. Это отвлечение совершается на базе суждений о принадлежности признаков. Абстракции признаков предшествует вычленение признаков из вещей, т. е. мысль о существовании тех или иных признаков у тех или иных вещей.

Бытийные предложения как предложения о существовании и наличии вещей противопоставляются всем иным предложениям, и эти последние являются не чем иным, как предложениями о существовании признаков у вещей.

Иначе говоря, в определенном смысле все утвердительные предложения суть бытийные предложения — утверждения о существовании, наличии самих вещей в некоторой пространственно-временной и обстоятельной среде.

Общие категории признаков — не что иное, как понятия о наиболее широких классах признаков. Они же лежат в основе категоризации значений признаков слов. Как сказано в начале работы, семантические классификации при всем их разнообразии в различных языках лежат на переключениях формально-языковых членений с понятийными, а на высших уровнях категоризации семантических фактов семантическое целиком возводится к понятийному.

Теперь, когда пояснены логические основания категоризации признаков на первичном уровне, можно с этих позиций систематизировать и оценить те различия в понимании этих категорий, которые обнаруживаются, с одной стороны, в различных научных концепциях признаковой семантики, а с другой — в обыденной языковой практике употребления соответствующих слов.

В логике признаки нередко подразделяются на свойства и отношения, а выражающие их предикатные слова — на предикаты свойств и отношений. Эти обозначения получают тут обобщенный терминологический смысл, не вполне совпадающий с обыденным употреблением. В привычном словоупотреблении они используются как названия частных видов

предикатов. Иначе говоря, термины *признак*, *свойство*, *отношения* имеют как обобщенный родовой, так и более узкий видовой смысл и тем самым иной раз обозначают собственную разновидность. Так, в лингвистике традиционно принято, помимо вещей (предметов, субстанций), различать действия, процессы, состояния, свойства — качества и отношения. Набор и понимание этих категорий могут заметно отличаться у разных авторов и поэтому нуждаются в пояснении.

Все указанные категории имеют полевую структуру, т. е. могут угравивать свою определенность и переходить в другую категорию. С учетом этого различие между ними надо видеть в следующем. Действие — динамический признак как волевой акт аргумента — агента. Процесс — динамический самопроизвольный признак. Действия и процессы как динамические признаки имеют фазисную структуру, т. е. в них обычно можно видеть начало, продолжение и окончание. Состояние — неволевой нефазисный признак вещи на какой-то момент или отрезок времени; главное, что отличает состояние от действия и процесса, — то, что это не динамический, а статический признак. Динамический признак не просто отнесен к какому-либо времени, но развертывается во времени. Напротив, статический признак только отнесен ко времени, но не развернут, не протяжен во времени, он дает как бы временной срез вещи по какому-либо параметру на какой-либо момент. Состояние может быть результатом или причиной изменений вещи, но само по себе оно промежуточное звено между изменениями. Предикаты состояния как и предикаты действий и процессов могут быть одноместными и многоместными. Ср. действия: *бежать, работать, курить, сыпать, разбивать, взвешивать, направлять, гнать, гнаться, учить*; процессы: *учиться, расти, старить, испаряться, улучшаться, выздоравливать*; состояния: *быть здоровым, болеть, любить, ненавидеть, презирать, спать, быть сонным*.

Свойство — 1) любой одноместный признак; 2) любой одноместный признак, за вычетом действий, процессов и состояний; 3) любой характерный (существенный, обязательный, отличительный, примечательный, обычный, частотный, устойчивый, стабильный) признак вещи, может быть как одноместным, так и многоместным, т. е. отношением; в этом же смысле говорят о признаках — качествах (следует заметить, что в силу давней грамматической традиции под качественными признаками в лингвистике принято еще понимать все признаки, способные варьироваться по интенсивности). Понятие качества как характерного устойчивого признака независимо от числа мест вводит в типологию признаков противопоставление по устойчивости (характерности, необходимости) — эпизодичности (случайности, преходящему характеру) признака. Выше мы уже имели возможность заметить, что по линии глагол — прилагательное — существительное возрастает тенденция обозначения преходящего — устойчивого — постоянного признаков.

Отношение — 1) любой — многоместный признак; 2) любой многоместный признак за вычетом действий и процессов, т. е. любой нединамический многоместный признак.

В силу давления понятия о признаках-качествах отношение еще более сужает свой смысл до обозначения многоместных нединамических несущественных признаков и сближается с многоместными несущественными признаками-состояниями.

Например, *любить, презирать, ненавидеть* могут быть квалифицированы и как состояния, и как отношения. Среди статических признаков — отношений надо особо отметить такие, в которых один из аргументов служит как бы координатой или точкой отсчета, по отношению к которой определяется другой аргумент, например, его положение. Подобная координата может быть имплицитна и пониматься как самоочевидная, например, место и время коммуникации, положение говорящих, место, структура и время обсуждаемых событий и предметов. Упоминание такого аргумента неинформативно, и реляционный признак в выражении принимает вид одноместного предиката, ср. *далекий, близкий, левый, правый, средний, начальный, конечный, противоположный* и т. п.

Уже на первом этапе рассмотрения предикатов по их значениям выявляется, что их соотношения строятся не столько по принципу многоступенчатой иерархии последовательных членений, сколько как одновременное наложение нескольких оснований деления, причем не всякий раз основание классификации охватывает весь корпус предикатов, а чаще приложимо лишь к определенной их части.

Достаточно универсально лишь наиболее формальное и отчасти искусственно жесткое деление на одноместные и многоместные предикаты. Другие членения по динамическому/нединамическому, волевому/самопроизвольному, устойчивому/эпизодическому характеру признаков переkreшиваются и прилагаются к неполному множеству предикатов.

К ним добавляются многие другие основания классификации разной мощности, объема и содержания, находящиеся то в отношениях последовательного членения (отношение иерархии), то параллельного членения (отношение пересечения).

Прежде всего надо указать уже упоминавшееся деление на предикаты существования и все прочие предикаты. Первых немного, и они, как уже говорилось, стоят особняком, ср. *существовать, быть* (= существовать), *иметься* и т. п. Их назначение — предикация мысли о существовании, бытии, наличии вещей. Все прочие предикаты — признаковые слова в собственном смысле. Их назначение — указание самых разнообразных признаков вещей и ситуаций (событий, явлений), и они составляют всю массу предикатов.

Существенно также членение предикатов по отнесенности признаков к физической и духовной сферам. Между предикатами физической и ду-

ховной сфер выявляются важные промежуточные группы предикатов речевой деятельности и социальной активности. К первой относятся так называемые глаголы говорения, ср. *говорить, сказать, шептать, кричать, молвить* и т. д. Примерами второй служат глаголы *арестовывать, благодарить, награждать, преследовать, рекомендовать* и т. п.

Предикаты этой семантической области могут принимать в качестве объекта либо некую вещь (лицо), — ср. примеры выше, — либо целую ситуацию, ср. *запрещать (курение), поддерживать (горение), призывать (к протесту)* и т. п.

Предикаты духовной сферы (иногда их именуют интенциональными предикатами) весьма разнообразны по семантике и включают предикаты умственных действий (умственной деятельности), ср. *думать, полагать, размышлять, вспоминать*; предикаты информации и знания, ср. *сообщать, информировать, передавать, извещать, знать, быть в курсе, помнить* и т. п.; предикаты духовного (психического, эмоционального) состояния, ср. *тревожиться, беспокоиться, переживать, радоваться, восхищаться* и т. д.; предикаты духовного (психического, эмоционального) воздействия, ср. *тревожить, беспокоить, радовать*; предикаты субъективно-оценочных (эмоционально-оценочных) отношений, или просто оценочные предикаты, ср. *нравиться, любить, одобрять, хвалить, ругать, осуждать* и т. п.; предикаты чувственного (зрительного, слухового) восприятия и действия, ср. *видеть, смотреть, слышать, слушать, наблюдать, следить* и т. д.; к ним близки так называемые предикаты «внутреннего зрения», ср. *воображать, представлять*; предикаты умозаключения, или логического вывода, аргументами — субъектами у одних из которых могут быть лица, у других — ситуации, у третьих — и лица, и события, ср. (ученый) *установил, пришел к выводу, заключил, обосновал; прилет птиц означает наступление весны*; (ученые, расчеты) *доказали, показали, подтвердили, опровергли* и т. п.

Отмечают и многие другие более специальные разряды и группы предикатов духовной сферы, связанные, в частности, с делением самой духовной сферы на интеллектуальную (мыслительную, умственную), чувственно-эмоциональную (эмотивную и субъективно-оценочную) и волевую. Пропозициональные объекты при некоторых умственных предикатах различаются тем, что при одних пропозиция-объект должна рассматриваться как факт, а при других — только как возможность.

Это служит основанием для деления предикатов на фактивные и нефактивные. Так, в предложении, *я знаю, что он пришел* пропозиция *он пришел* после глагола *знать* должна рассматриваться как факт, а в предложении *я думаю, что он пришел* после глагола *думать* — только как возможность. Ср. также *сожалеть, забывать, помнить* (фактивные глаголы); *предполагать, утверждать, заключать, воображать* (нефактивные глаголы).

Что касается предикатов физической сферы признаков, то нетрудно представить себе, сколь разнообразными могут быть их понятийные и понятийно-семантические расчленения, хотя в собственных целях лингвистики, психологии и гносеологии более интересными представляются предикаты и признаки духовной сферы.

По другому общему основанию предикаты разделяются на каузативные и некаузативные. Каузативные значения — один из характерных случаев комбинирования (компанования) понятий в сложные понятия — значения. Каузация — наделение предмета признаком. Некаузативный предикат просто указывает некий признак, а каузативный — наделение этим признаком, ср. *сидеть* — *сажать*, *стоять* — *поднимать*, *спать* — *усыплять*, *бояться* — *пугать*, *страшиться* — *страшить*, *радоваться* — *радовать*, *быть спокойным* — *успокаивать*, *быть пьяным* — *спивать*, *полагать* (*считать*, *верить*, *думать*) — *уверять* (*заверять*, *убеждать*, *доказывать*) и т. д. В семантике приведенных каузативных глаголов представлены и мысль о воздействии, и мысль о терминальном признаке — результате (следствии, цели) этого воздействия.

Целостным значением каузативного глагола является обуславливающее воздействие.

Мысль о конкретном обусловленном воздействии признаке не обязательно должна входить в семантику каузативного предиката, как в приведенных выше глаголах.

Она может остаться за его пределами, а в нем самом содержаться лишь как семантическая валентность, подлежащая заполнению, как родовая идея результирующего признака, ср. *заставлять*, *вынудить*, *обусловить*, *причинить*, *нанести*, *вызвать* (*боль*, *страдание*) и т. п. Это чисто каузативные предикаты, значение которых ограничивается мыслью об обуславливающем воздействии вкупе с представлением о модусе, способе, характере воздействия и не содержит мысли о конкретном признаке, обусловленном воздействием. В отличие от них предикаты типа *сажать*, *класть*, *ставить* и т. п. можно назвать каузативно-следственными.

Важными общими основаниями деления корпуса предикатов являются также противопоставления и разграничения предикатов количественных и качественных.

Различие количественных и качественных (неколичественных) предикатов достаточно самоочевидно: первые называют количественный признак вещей, вторые — неколичественный. Количественный признак может быть определенным или неопределенным. В первом случае это число вещей или их счетный порядок, ср. значения количественных и порядковых числительных. Во втором случае — приблизительная мера количества вещей, ср. значения количественных местоимений и неопределенно-количественных прилагательных *несколько*, *мало*, *много*, *сколько-то*, *многочисленный*, *малочисленный*, *многие*, *некоторые* и т. п.

Еще одно важное противопоставление разграничивает предикаты реальные и модальные. Подавляющее большинство предикатов представляют признак как факт, и в этом смысле о них можно говорить как о реальных предикатах. Иначе говоря, реальным называется предикат, который представляет свой признак как осуществленный (существующий у тех или иных вещей). При этом вовсе не существенно, обнаруживает ли вещь такой признак на деле или нет. Несущественно и то, считают ли говорящий или слушающий такой признак действительно наличным у вещи. Важно лишь то, что признак представлен как осуществленный факт настоящего, прошлого или будущего. Реальные предикаты противопоставлены модальным. В отличие от реальных модальные предикаты указывают не сами признаки, а их осуществимость, точнее сказать, модусы их осуществления в вещах — возможность, желательность, необходимость и т. п. Модальный предикат — это предикат события, оценивающий его осуществимость и указывающий модус его осуществления. Он относится не просто к какому-либо предикату реального признака, а к экспликационной структуре вещь — признак, отмечая умственный (ментальный) характер признакового отношения и указывая модус его осуществления. Ср. *хочу (могу, должен, надо) петь; спел бы; несомненно (безусловно, с необходимостью, определенно, конечно, обязательно, вероятно, возможно, может быть, маловероятно, чтобы, вряд ли) пел*.

Далее отметим группу фазисных (фазовых) предикатов, указывающих временные фазы существования признаков, ср. *начинать(ся), приступать, продолжать(ся), длиться, завершать(ся)* и т. п. Это чисто фазисные предикаты, значение которых ограничивается мыслью о фазе (вкуче с возможными осложняющими представлениями о качественных особенностях, характере протекания фазы), ее субъективно-эмоциональной оценке, ср. *война разразилась, день угас, вьюга все еще бесновалась, свершалась ночь*. Мысль о конкретном признаке, фаза которого отмечается, остается при этом за пределами семантики предиката и представлена в нем только как семантическая и синтаксическая валентность, подлежащая заполнению, как избыточная родовая идея некой членимой длительности. В других глаголах (глагольных формах) идея фазы может быть совмещена с мыслью о самом членимом на фазы признаке (действии, процессе и т. д.), ср. *закурил, зашел, вызвал* и т. п., и в таких случаях говорят об аспектуальных предикатах (взрывных значениях).

Чисто фазисных предикатов немного, но относительно невелико и число каузативных и модальных предикатов. Тем не менее это весьма важные части словаря предикатов. Реальный вес той или иной группы предикатов (и языковых единиц вообще) определяется не их числом, а частотностью в речи. Модальные, каузативные и фазисные предикаты — единицы высокозначимые и высокоупотребительные.

Предикаты этих групп сходны еще в том, что на их признаковую функцию наложены существенные ограничения: сами по себе они не указывают какие-либо признаки классических предметов — физических тел, т. е. вещей, имеющих пространственную границу, а указывают определенные аспекты признаков тел: модусы их осуществления, фазы существования, их обусловленность. Поэтому без собственно признаков слов модальные, каузативные и фазисные предикаты не способны составить полное предложение с именами тел и их местоименными заместителями.

Ср. они могут (что?); их вынудили (к чему?); они продолжают (что?).

Недостаточность признаковой функции вместе с синтаксическими (сочетательными и позиционными), заместительными и некоторыми морфологическими особенностями служит основанием к тому, чтобы выделить модальные, чисто каузативные и фазисные предикаты в особый класс функторов — семантических единиц, требующих непрямого восполнения предикатными актантами, служащих вершиной конструкций с предикатными актантами. Функторы считают либо ущербными предикатами, либо вообще непредикатными единицами, ставя их в ряд вещные слова — признаковые слова — функторы. Более справедлив первый взгляд, так как указанные выше ограничения на признаковую функцию слов этих семантических разрядов не исключают полностью их автономного предикатного употребления, ср. *согласие возможно, переговоры начались, признание было вынужденным.*

В класс функторов подключаются многие единицы весьма разнообразной семантики — побуждения, неожиданности, намерения, ожидания, веры, замышления, видовой характеристики действия и т. п., ср. *давай (играть, сыграем); взял да и (сбежал); жду (ожидая), что (он придет); верю, что (он придет), верю в (его способности); собираюсь (уходить), думаю (написать); думаю, что (он придет); рассчитываю, что (он придет), рассчитываю на (его приход) и т. д. и т. п.* К ним близки все предикаты психической и речевой деятельности, если и поскольку их семантика связана с отражением, замышлением и оценкой ситуаций.

4. Партитивные отношения в лексике: партитивы и конгломеративы

Отношения «часть — целое» в онтологическом (предметном) плане — то же самое, что отношения «элемент — структура (система)». Части суть элементы целого, и совокупность их отношений составляет структуру целого. Термин «целое» подчеркивает единство вещи, а термин «структура» акцентирует внимание на составной характер целого, и в прямом своем смысле отсылает к строению целого, к образующим его

отношениям частей. Однако метонимически термин «структура» распространяется на обозначение самого целого, и в таком употреблении «структура» и «целое» становятся синонимами. Термины «система» и «структура» оба относятся к сложным объектам, т. е. целым, но различаются в первичных своих смыслах направлением, в котором эти объекты рассматриваются: от частей к целому — система, от целого к составным частям — структура.

Таким образом, целое — то же, что структура и система в расширенном метонимическом смысле: в первичном своем значении целое является прямым обозначением сложного объекта, а структура и система — его организации, строения, ср. выражения *структура сложного объекта, структура целого; сложный объект как система, целое как система*. Исследование целого ныне известно как исследование систем. Соответственно другим обозначением части служит элемент, ср. *элемент системы, элемент структуры, элемент целого*. Очевидно, что отношения «часть — целое» пронизывают весь мир снизу доверху, от микро- до макрокосмоса, от элементарных частиц до галактик. Они охватывают вещи всех уровней сложности, организуя их в многообразные многоступенчатые иерархии частей — целых, элементов — систем (структур). Эти отношения столь же универсальны и глобальны, как многообразные многоступенчатые иерархии вещей, образуемые общностью присущих ей признаков и закономерностей.

Понятие о части и имя этого понятия обозначаются как партитивы. Однако терминология этой области еще не вполне сформирована, в ней есть пробелы, и она требует дополнения и уточнения. Понятие о целом и имя этого понятия пока еще никак не названы, и для этой цели может быть предложен термин «холоним» (от греч. *holos* — весь, целый). С тем, чтобы выровнять терминологию по общей модели, другим возможным обозначением понятия и имени части вместо партитива могли бы быть партоним или мероним (от греч. *mer* — часть). Эти обозначения хорошо подстраиваются в ряд гипероним, гипоним, синоним, антоним, холоним, в то время как партитив, помимо традиции, находит поддержку в конверсиве. Само предметное (онтологическое) отношение целого и части может быть названо холопартитивным или просто партитивным. Так же называется и отношение холонима к партитиву (партониму), но здесь — на уровне понятий, имен и их значений — полезным окажется еще термин «партонимия», который необходим как однословное субстантивное обозначение партитивного отношения имен и понятий целого и части и который естественно продолжает ряд терминов «синонимия», «антонимия», «гипонимия».

Отношения «часть — целое» обследованы еще совершенно недостаточно как в онтологическом плане, так и в планах понятийном (гносеологическом) и семантическом, и если в этой области, в отличие от синони-

мии, антонимии, а ныне также конверсности и гипонимии, мало проблем и расхождений во взглядах, то по одной только причине — о предмете мало что известно. Между тем партитивные отношения играют важнейшую роль в мире, сознании и языке. Их следует поставить вровень с родовидовыми отношениями: и те, и другие глобальны, т. е. распространяют действие на весь словарь и организуют его в целостные иерархические структуры — гипонимические и партитивные.

Родовидовые отношения отражают иерархию общего — частного в вещах, партитивные отношения отражают иерархию связей (взаимодействий, зависимостей) вещей. Основанием первых является единство мира в его разнообразии, основанием вторых — целостность мира в его членениях. Как и гипонимические отношения, партитивные связи имен пронизывают весь словарь и сообщают его семантической структуре целостную перспективу. В разных частях словаря эти связи представлены с разной мерой четкости, но существенно то, что семантическая структура словаря имеет два глобальных измерения — гипонимическое и партитивное (партонимическое). В самом деле, в семантике имен не может не отразиться тот факт, что все сущности сходны между собой в большей или меньшей мере на разных уровнях обобщения единого мира и все сущности взаимодействуют между собой прямо или опосредованно на разных уровнях связей целостного мира.

Вместе с тем есть принципиальное отличие между гипонимией и партитивностью.

Первая основана на сходствах/различиях вещей, вторая — на связях (взаимодействиях, зависимостях) вещей. Гипонимические связи имен — род классификационных концептуальных связей, отражающих уровни сходств/различий вещей, даже если эти вещи никак не взаимозависимы. Партитивные связи — род импликационных концептуальных связей, предполагающих и отражающих связи взаимодействующих, взаимозависимых вещей. Части взаимодействуют, взаимосвязаны в структуре целого. Партитивные отношения — импликационный аналог классификационной гипонимии.

Партитивные отношения, как и гипонимические, могут быть многоступенчатыми, ср. *отделение — взвод — рота — батальон* и т. д. (партитивность); *капитан — офицер — командир* (гипонимия). Многоступенчатость обеспечивает глобальный характер гипонимии и партонимии, причем уровням обобщения в гипонимии соответствуют уровни цельности в партонимии. И те, и другие могут перекрещиваться в том смысле, что на одно и то же множество вещей могут быть наброшены несколько различающихся партитивных или гипонимических сеток. Наконец, возможны и такие целые, структура которых служит моделью рода, а партитивное членение на части совпадает с гипонимическим членением на виды. Приме-

ром может служить мебель, где виды мебели есть вместе с тем и части необходимого гарнитура мебели.

Другие примеры дают посуда, кухонная утварь, инвентари орудий, процессов и операций какого-либо производства и т. д.

Будучи вторым универсальным измерением словаря, организующим его целостную структуру, партонимия, однако, выявлена в нем с меньшей яркостью, чем гипонимия. При выборе из двух возможностей квалификации денотата — по его месту в гипонимических или партитивных иерархиях, и мышление, и язык отдают предпочтение родо-видовому определению. Так, стул определяется прежде всего как вид (предмет) мебели, служащий для сидения, а не как часть мебельного набора, служащая для сидения.

Ограничения на партитивную дефиницию имен связаны с различием двух типов целых — органических и неорганических (механистических). В органической системе свойства частей целиком определяются свойствами целого и целое является условием существования части. Вещь как элемент такой системы определяется через целое, а имя ее класса имеет своей гиперсемой понятие о части такого целого. Имена такого рода и составляют круг собственно партиномов. Ср. *рука* — часть тела от плеча до ногтей (по В. И. Далю); *крыло* — член или часть тела птицы и насекомого, служащая для полета (по В. И. Далю); *день* — светлая часть суток. К собственно партиномам относятся все имена, определяемые через общее понятие части и его частные разновидности. Сами имена разновидностей частей, понятно, также относятся к партиномам. Ср. *абзац*, *атрибут* (вещь как атрибут чего-либо), *ветвь* (в прямом и переносном смысле), *глава*, *деление* (циферблата и т. п.), *деталь*, *добавка*, *добавление* (оба в предметном смысле), *доля*, *ингредиент*, *кусок*, *кусочек*, *компонент*, *ломоть*, *миг*, *мгновение*, *орган*, *осколок*, *отдел*, *отделение* (в предметном смысле), *отрасль*, *отрывок*, *подразделение*, *партия* (товара и т. п.), *половина* (также *треть*, *четверть* и т. п.), *порция*, *параграф*, *приложение*, *приклад* (к костюму), *раздел*, *сегмент*, *секция*, *сектор*, *составляющая*, *статья* (договора, закона), *строка*, *строфа*, *том*, *фрагмент*, *фракция*, *член*, *частица* (чего-либо), *цитата*, *элемент* и т. д.

Неорганические (механистические) целые представляют собой множества вещей со свободной структурой, такой, что зависимости частей от целого не столь жестки, чтобы формировать качество вещей и быть условием их существования. Целые такого рода могут быть названы конгломератами. Степень автономии/зависимости вещей в них может быть различной, но в любом случае качество вещи не формируется в объединении такого рода, вещи участвуют в нем своими несущественными свойствами, причем одна и та же вещь может вступать во множество конгломератных отношений.

Если вещь способна существовать независимо от того или иного конкретного целого, если для нее свойственны множественные партитивные связи, ее классифицируют вне отношений часть/целое. Имена вещей таких классов если и содержат в своих значениях сему партитивного отношения, то помещают их в периферию своего значения, в его импликационал. Этим они отличаются от явных партитивов, у которых, как мы видели, партитивная сема входит в гиперсему интенционала, т. е. составляет родовой признак значения.

Возможна, однако, пусть не обязательная, но высокая мера зависимости между вещью и неорганическим конгломератом, так что с мыслью о вещи некоего класса привычно связывается представление о ее участии в конгломератном множестве определенного рода. В результате имена таких вещей содержат общую сему партитивного отношения в сильных импликационалах своих значений. Примером могут служить имена *стол, стул, диван, окно, лампа (свет, огонь), пол, потолок, стена, дверь* и т. д., объединенные общей идеей комнаты. Нередко такие слова называют тематическими, а лексические объединения такого рода — лексико-тематическими группами.

К сожалению, понятие тематической общности получает разноречивое толкование у разных исследователей, часто весьма широкое и неопределенное. Поэтому в интересах научной строгости указанные семантические отношения следует обозначить как конгломеративные, слова, связанные конгломеративными отношениями, — как конгломеративы, а образуемые ими лексико-семантические общности — как конгломеративные группы. Как видим, партитивы отличаются от конгломеративов тем, что общая сема партитивного отношения у группы партитивов отыскивается в гиперсеме, а у группы конгломеративов — в импликационале их значений.

Партитивным отношениям, как и гипонимическим, свойственна иерархичность, что и обеспечивает глобальный характер отношений. Однако и этот признак у партитивов выражен значительно слабее, чем в гипонимической организации словаря.

Практически это выражается в том, что отношение транзитивности в иерархических цепочках партитивов нередко отсутствует или представляется сомнительным.

Транзитивность имеет место как отношение между единицами *а, в, с*, если исходя из того, что *а* может быть описано как *в*, а *в* может быть описано как *с*, можно заключить, что *а* может быть описано также как *с*. Например, при *а = в* и *в = с* отношение между *а, в, с* транзитивно, так как верно, что *а = с*.

В гипонимических иерархиях транзитивность обычно не утрачивается, ср. *железо = металл = вещество* и *железо = вещество, где =* представляет связку. Напротив, было замечено, что в партитивных цепочках

транзитивность сохраняется далеко не всегда, причем условия ее наличия или отсутствия не ясны. Ср. *ветвь — крона — дерево*: ветвь — часть кроны, крона — часть дерева, ветвь — часть дерева; *ноготь* (конечная) фаланга (пальца) — *палец — кисть* (руки) — *рука — тело*: ноготь — часть конечной фаланги пальца, ноготь — часть пальца, ?ноготь — часть кисти руки, ?ноготь — часть руки, *ноготь — часть тела.

Понятие партитивного отношения отражает и обобщает многообразные реальные зависимости вещей, и можно с достаточным основанием полагать, что ограничения на транзитивность в партиномических цепочках, помимо собственно логических причин, обуславливаются еще представлениями о соизмеримости части и целого по размеру, функции, числу промежуточных звеньев и т. п., т. е. по многочисленным параметрам практического сопоставления частей и целых, что в совокупности и образует сложную вероятностную структуру понятия о партитивных отношениях, складывающуюся в сознании людей в непосредственной зависимости от опыта их деятельности. Гипонимические отношения выявляют и отражают иерархию и структуру общего в вещах, и в них сильно подчеркнут собственно логический, систематизирующий, классификационно-упорядоченный аспект, обеспечивающий транзитивность отношений в иерархических цепочках. В партиномических отношениях упорядочивающий аспект отступает перед многообразием реальных связей и зависимостей вещей в структурах целого.

Партитивы — имена частей, и этим они отличны от имен — предикатов партитивного отношения. Предикаты партитивности достаточно разнообразны, но количественно они никак не идут в сравнение с многочисленным множеством имен частей.

Примерами партитивных предикатов служат глаголы и сочетания 1) *включать, состоять (из), содержать, иметь, схватывать, делиться (на), у чего-либо есть что-либо*; 2) *быть частью, участвовать, входить в (состав), относиться (к)* и т. д. Разнообразие партитивных предикатов создается за счет того, что указываются разновидности партитивных отношений и описываются они то с позиций целого (примеры первой группы), то с позиций части (примеры второй группы), т. е. предикаты соотносятся как конверсивы, пусть нестрогие.

Любой партитив способен в рамках своей семантики репрезентировать (обозначить) в речи вещь, описываемую как часть какого-то целого. Однако некоторые партитивы — немногие относительно их общего числа — способны еще и к предикатному употреблению: в сочетании со связочными глаголами они выступают как предикаты партитивного отношения. Это служит основанием для деления партитивов на две группы — непредикатные и предикатные партитивы.

Различие между двумя группами партитивов наглядно выявляется в том, что они несут разную информацию в ответах на вопрос «что это?».

т. е. при идентификации вещей по их классу. При ответе «это часть» о вещи известно только, что она находится в партитивном отношении, остается неизвестным ни ее таксономический класс (характеристика вещи по свойствам), ни особенности ее как части, ни таксономический класс целого, к которому она принадлежит (свойства ее целого).

В высказываниях, где названы оба аргумента партитивного отношения — и часть, и целое, — ср. *нос* — часть лица, партитивы, подобные слову *часть*, выступают как предикаты партитивного отношения. Отсюда и их название предикатные партитивы.

В таком употреблении функционально они сходны с глагольными предикатами партитивного отношения, ср. *уборка* — часть ее обязанностей — *уборка входит в ее обязанности*.

Напротив, если на вопрос «что это?» получен ответ «это нос», то о вещи становится известным многое сверх партитивного отношения, это такая-то часть такого-то целого. Партитивы подобного рода таксономичны и таксономичны дважды: они информируют о свойствах части и о свойствах ее целого. Их содержание исключает предикатное использование и, помимо специальных случаев, делает избыточными упоминание целого, ср. *«это нос лица».

Категория предикатных партитивов не очерчена резко, и, как следствие, граница между предикатными и непредикатными партитивами размыта промежуточными случаями. Партитив способен к предикатному употреблению в той мере, в какой его семантика оставляет неопределенной разновидность партитивного отношения, класс обозначаемой им вещи и класс целого, к которому он отсылает. Наиболее «чистым», обобщенным предикатным партитивом является лишь часть, в то время как другие предикатные партитивы содержат — одни в меньшей, другие в большей степени — таксономические «примеси» в своей семантике: они указывают более или менее явно, помимо разновидностей партитивного отношения, еще и свойства частей и свойства целых. В их лексических значениях, помимо сем партитивности и субстантивности, содержатся признаки качественной и количественной характеристики денотатов. Так, предикатные партитивы *доля*, *половина*, *треть*, *четверть* и тому подобные дополняют партитивное отношение его количественной неопределенной или определенной характеристикой; фрагмент, осколок, деление, подразделение, атрибут, добавление, добавка указывают качественные разновидности отношения «часть — целое»: способ образования части, ее значимость для целого и т. п.; *деталь*, *ингредиент*, *кусок* — *кусочек*, *частица* — *частичка*, *орган*, *член*, *отдел*, *отделение*, *подразделение*, *партия*, *порция*, *сегмент*, *секция*, *сектор* содержат более или менее очевидные ограничения на характер (классы) частей и/или целых; компонент, элемент столь же широко референциально, как часть, но в отличие от части не нейтрален стилистически, а коннотируют научный подъязык.

5. Семантические микросистемы в словаре: эквонимы, синонимы, оппозитивы (антонимы и конверсивы)

Реализуясь в различных узлах гипергипонимической и партитивной иерархии словаря, локальные семантические связи образуют лексико-семантические микроструктуры — совокупности слов, объединенных системными соотношениями. К этим связям относятся эквонимия, сононимия и оппозитивность (антонимия и конверсность). Некоторые из локальных семантических связей, как синонимия, антонимия и конверсность (как разновидности оппозитивности значений), достаточно известны и составляют предмет обширной литературы, другие, как эквонимия, мало известны и мало изучены. В случае эквонимии и синонимии мы ограничимся уяснением природы явления. Лексические оппозитивы рассмотрены детальнее и поэтому вынесены в отдельную главу.

5.1. Эквонимия и эквонимы

Эквонимия — семантическая связь между именами — эквонимами. Эквонимами называем слова одного уровня обобщения при общем гиперониме. Гипероним — имя родового понятия. Имена видовых понятий по отношению к их общему гиперониму называются гипонимами, а по отношению друг к другу на одном и том же уровне обобщения — эквонимами. Иначе говоря, эквонимы — это гипонимы одного уровня обобщения, взятые в отношении друг к другу. Так, имена *отец*, *мать* — гипонимы относительно гиперонима *родитель*; те же имена в отношении друг к другу — эквонимы. Значения эквонимов имеют общую семантическую часть, содержательно равную их ближайшему гиперониму и составляющую гиперсему их интенционалов.

Вместе с тем значения эквонимов различаются за счет их гипосем, указывающих дифференциальные признаки каждого вида. Эквонимические связи широко представлены в словаре. Они действуют в сечении словаря, поперечном гиперонимической иерархии, и совокупно с нею упорядочивают словарь как классификационную сеть.

5.2. Синонимия и синонимы

Проблема синонимии — одна из вечных проблем лингвистической семантики, не получающих общепринятого решения, несмотря на непрекращающиеся усилия как по теоретическому осмыслению явления, так и по практическому составлению словарей синонимов. Обычно решение вопроса ищут на пути разграничения понятия и значения, рассматривая си-

нонимы как слова, связанные с одним понятием, но различающиеся оттенками значения. Когнитивная природа этого различия остается не ясной, так как различия в значении синонимов должны быть отличными от тех различий, которые есть в семантике эквонимов, а доминанта синонимического ряда не может быть приравнена гиперониму.

Можно полагать, что под общим названием *синонимия* объединяют несколько разнородных, хотя и схожих внешне явлений. Главное из них — явление переключения в значении знаков с одного содержательного аспекта на другой, а именно переключения когнитивного содержания знака в план прагматического значения. Это явление прежде других заслуживает особого наименования: если сохранить за термином «синонимия» прежний нестрогий расширительный смысл, то явление переключения аспектов в содержании знаков может быть названо прагмонимией, а имена, охватываемые этим явлением, — прагмонимами. Возможен и другой путь — сохранить за содержательным семантическим переключением прежние обозначения *синонимия*, *синонимы*, но придать им более узкий строгий смысл.

В чем состоит семантическое переключение знака из когнитивного плана в прагматический? Оно основано на том, что между когнитивным и прагматическим аспектами знака существует определенная корреляция: объективированное значение денотатов проецируется в плоскость субъективно-эмоциональных оценок и переживаний. Прагматическое значение ищет свое обоснование в структуре когнитивного знания, а последнее находит свой смысл и применение в прагматических заключениях. Явление прагмонимии (или синонимии в узком смысле слова) наблюдается тогда, когда имена поступаются различиями в когнитивном значении для выражения нужных прагматических значений.

Так, если в письме призывают адресат не просто ответить, а откликнуться или отозваться, то, переводя имена из ситуации поиска в ситуацию эпистолярного общения, нивелируют, нейтрализуют определенную часть когнитивного содержания этих глаголов (поиск, призывные крики и т. д.), но актуализируют прагматические корреляты погашаемого когнитивного содержания — усиленное побуждение к ответу, особая его желательность, ценность контакта и т. п.

Тем самым существо проблемы синонимии (прагмонимии) состоит не столько в установлении семантических различий между синонимами и природы этих различий, сколько в выявлении этих условий, при которых имена могут приглушать различия в когнитивной семантике и переключать их в прагматический план. Синонимия — не только словарная данность языка, но еще больше коммуникативно-прагматическое речевое действие.

В связи с этим целесообразно различать между синонимией как процессом переключения семантических планов (в этом случае точнее говорить о синонимизации) и синонимией как результатом, данностью этого процесса. В последнем случае синонимы должны быть определены как ко-

референтные (узуальные и окказиональные) обозначения с общим когнитивным и различным прагматическим значением.

Для того чтобы синонимизировать два или более имени, необходимо, чтобы имена находились в эквонимическом, партитивном или гипергипонимическом отношении и различия в их когнитивных значениях позволяли прагматическую переинтерпретацию. Переключение семантических планов так или иначе сигнализируется прагматической установкой речи. Семантический механизм переключения состоит в поиске и актуализации прагматических коррелятов нивелируемых элементов когнитивного значения имен. Нивелируется дифференциальная часть (гипосема) интенсионала, и от когнитивного значения синонимизированного значения остается только родовой элемент (гиперсема). Тем самым экстенционал синонимизируемого имени расширяется и на этой основе становится возможным отношение имени ко всем денотатам широкого класса.

Экстенционально синонимы приравниваются к доминанте синонимического ряда, отличаясь от нее прагматическими добавками. Это обеспечивает кореференцию синонимов в объеме их гиперонима-доминанты. Процесс синонимизации сопровождается обобщением когнитивного значения имени, но с тем существенным отличием от гипонимии, радикально меняющим общую картину процесса и его восприятия, что параллельно совершается переключение отсекаемой части когнитивного значения в область эмоционально-оценочного содержания.

Для пояснения возьмем известные примеры синонимов. Имена *лиц, мордашка, рожица, личико, морда, рыло, рожа, мурло* содержат в своих значениях не только прагматические оценки денотатов, но и признаки — основания оценок. Тем самым они не только относят свои денотаты к классу лиц, но и указывают — пусть нестрого и расплывчато — некоторые подклассы в этом классе. Синонимизация нейтрализует эти различия, но акцентирует связанное с ними эмоционально-оценочное содержание. При этом экстенционал имени выходит за рамки своего подкласса, и каждое имя может быть в принципе — под горячую руку, или, напротив, ласкательно — распространено на любое лицо, объективно милое или безобразное.

Если в первичных значениях имена не эквонимичны, синонимизация проходит промежуточный этап деривации метафорических значений, приводящих слова к общему гиперониму. Так, существительные *заря, рассвет, почин, восход, пролог* развивают метафорические значения, подводящие их под родовое понятие начала чего-либо. В этих переносных значениях они синонимизируются, переключая различительные признаки метафор на выражение оттенков положительной оценки.

Ср. также ряды *конец, закат, финал, финиш, эпилог; призрак, иллюзия, мираж, дым, химера*.

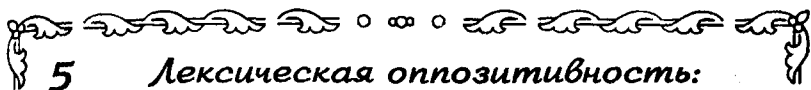
Наряду с явлениями семантического переключения и их результатами в число синонимов включают также следующее: 1) случаи — довольно

редкие — полной равнозначности и полной или почти полной эквивалентности слов, что делает их вполне взаимозаменяемыми, — это так называемые абсолютные синонимы, ср. *языкознание* — *лингвистика*, *безбрежный* — *бескрайний*, *гарем* — *сераль* и т. п.; 2) случаи гиперонимии, эквонимии, соотношения целого — часть без прагматического переключения, особенно если дифференциальные признаки подкласса или части размыты, ср. *художник* — *живописец*, *набросок* — *эскиз*, *действие* — *эффект*, *знаток* — *эксперт*, *испытание* — *экзамен*, *снаряжение* — *одежда* — *экипировка*, *вывоз* — *экспорт*, *зародыш* — *эмбрион* и т. п.; 3) равнозначные слова, различие в употреблении которых связано не с тем, что они выражают, а с тем, кто, когда, где, для кого ведет речь, т. е. с внеференционными и внепрагматическими условиями и обстоятельствами речи, ср. *щенок* — *кутенок*, *красноречие* — *элоквенция*, *риторика*; *выразительность* — *экспрессия*, *восхищение* — *экзальтация*, *рай* — *эдем*, *любовь* — *эрос*, *письмо* — *эпистола*. К указанным внеференционным и внепрагматическим условиям и обстоятельствам речи относятся все факты несодержательного языкового варьирования, связанного с различиями в стилях, регистрах, общеизвестных социальных и территориальных формах единого языка и т. п. Рассмотрение словаря по типологизированным обстоятельствам использования языка сообщает словарным единицам привязочные семы — дополнительную информацию об этих обстоятельствах, а ценностные (аксиологические) характеристики различных сфер использования языка служат основой для прагматической дифференциации относящихся к этим сферам слов, и тем самым пополняется синонимический (прагмонимический) фонд языка. Так, сообразно престижу социальных структур, просторечным словам свойственна сниженная стилистическая оценка, а «ученая» книжная лексика представляется облагороженной.

Как видим, синонимия (прагмонимия) питается из двух источников: 1) за счет прагматической переинтерпретации нейтрализуемых различий в когнитивном содержании имен — эквонимов и 2) за счет прагматической переинтерпретации привязочного компонента когнитивного значения имен, т. е. в конце концов за счет прагматической оценки сферы бытования слова.

Словарь языка или даже словарь отдельного человека не представляет собой четко отлаженной системы единиц, упорядоченных по всем параметрам соотношений и функций этой системы. Мера системности словаря различна на разных его участках, и в отдельных своих пунктах словарь не столько система, сколько конгломерат единиц, которые память свела вместе из разнообразных источников и которые вовлекаются в соотношения и функции системы по мере необходимости.

Синонимия показательна в этом отношении. На периферии синонимии находятся питающие ее множества имен, слабо упорядоченных размытыми эквонимическими, гипонимическими и партитивными соотношениями или непоследовательно дифференцированных по экосферам языка.



1. Когнитивные модели оппозиивности

Лексические оппозитивы, т. е. слова с противоположным значением, составляют часть проблем лексической семантики. Они образуют локальные очаги лексических микросистем в семантической структуре словаря, образуемые каждый раз действием одного семантического фактора — противоположностью словарных значений. Они заслуживают более основательного рассмотрения (и поэтому выделены в отдельную главу), так как наглядно демонстрируют особенности и возможности когнитологического подхода к исследованию семантики. В отличие от логики, занимающейся формализацией речемыслительных процессов, когнитология исследует реальные структуры знания и реальные данности живого мышления. Применительно к оппозитивам когнитивная семантика отвечает на вопрос, как, почему и когда люди усматривают противоположное в значении слов, т. е. исследует модели и механизмы семантического противоположения.

Оппозитивы — удобное родовое обозначение языковых единиц с противоположным значением. В таком случае антонимы и конверсивы оказываются видами оппозитивов. Но такое обозначение не общепринято. Обычно все лексические оппозитивы называют антонимами, включая в их число конверсивы как особую разновидность антонимии. В дальнейшем изложении мы будем следовать этой привычной для читателя традиции. При этом, однако, мы будем держать в виду, что нам требуется уяснить не только отличия конверсивов от прочих антонимов, но также уяснить сущность и отличия той группы антонимов, которая остается за вычетом конверсивов и для которой изначально и было дано название антонимов.

2. Условия противоположности признаков

Сначала требуется выяснить, когда признаки считаются противоположными, иначе говоря, выявить условия, при наличии которых люди рассматривают две сущности противоположными. Как уже было сказано, мы будем исходить из широкого представления об антонимии и считать антонимиями любые семантически контрастные пары слов одной речи. Антонимия содержит парадокс, обуславливающий теоретическую сложность этого понятия: при всей противоположности значений антонимы, несомненно, относятся к наиболее тесным семантическим сближениям в лексике. Очевидно, что этот логический парадокс решается как диалектическое единство противоположностей. Существенно, однако, не ограничиваться, как это обычно делается в лингвистических исследованиях антонимии, интуитивными представлениями о семантическом контрасте, полагая, что он самоочевиден и может быть всякий раз указан, а попытаться уяснить его сущность и на этой основе уточнить границы и типологию антонимии, равно как логическую и семантическую основу сближения противоположных значений.

Противоположность вообще — это возможный максимум различий. Категориальное понятие противоположности имеет сложную логическую структуру. Как и всякая абстракция, оно формируется на основе конкретных представлений, наиболее простых, наглядных и практически важных, — в первую очередь пространственных, кинетических и чувственно-оценочных, — которые используются как модель для освоения и объединения более сложных и отвлеченных явлений. При всех различиях частных случаев отождествление их в категорию противоположности производится по общему признаку возможного максимума различий: противоположным признается то, что максимально отлично по признаку, положенному в основание сравнения.

Для углубления в тему необходимо предварительно пояснить систему отправных понятий. К ним относятся следующие: вещи и признаки, признаки — свойства и признаки — отношения, онтологический и семантический признаки, признаки совместимые и несовместимые, импликационные и классификационные связи концептов. Уяснение этой цепочки понятий позволит подойти к понятию семантической противоположности и его типологии. О некоторых из них уже было сказано достаточно, и здесь лишь напомним главное.

Вещи и признаки, как уже говорилось, — наиболее общие категории сущностей. Все, что дано в отражаемом сознанием мире или в отражающем мир сознании, является вещами или признаками. И вещи, и признаки — не абсолютные, а относительные категории, определяемые взаимно одна через другую. Между ними нет жесткой границы — это пересекающиеся множества. Вещь — то, у чего есть признаки; признак — то, что обнару-

живается у вещей. Сравнение вещей выявляет признаки, одинаковые и различные; признаки выявляют тождество, сходство и различие вещей. Вещь связывает признаки в единую сущность; изменения в признаках нарушают тождественность вещи.

Есть сущности, выступающие исключительно как вещи; таковы физические тела с пространственной границей и их совокупности (агрегаты, ансамбли). Все остальные сущности выступают то как вещи, то как признаки в зависимости от того, рассматриваем ли мы их как нечто, обладающее признаками, или как нечто, являющееся признаком чего-либо, например, *эхо, волна, отверстие, свет, выстрел, чувство, болезнь, движение* и т. д. и т. п. Итак, вещи и признаки — не столько онтологические, сколько гносеологические категории, определяемые ракурсом рассмотрения — *внутри сущности (вещь) или вовне (признак)*.

Можно принять, что признаки распадаются на свойства и отношения. Свойства — собственные признаки вещи, приписываемые ей самой вне отношения к другим вещам, поэтому свойство целостно и вещестремительно, т. е. это признак, не расщепленный между разными вещами. Отношение — расщепленный признак вещи, разделяемый ею с другими вещами. Особенность признака — отношения в том, что он принадлежит нескольким, как минимум двум, вещам сразу и не в том смысле, что разные вещи обнаруживают один и тот же признак, а в том, что разные связанные признаком-отношением вещи обнаруживают каждая свою часть единого расщепленного между ними признака. Свойства замыкают вещь в себя как целое.

Отношения выводят вещь в комплекс более сложных целых как их часть, поэтому они «вещебежны».

Свойства присущи вещи вне отношения к другим вещам, они проявляются в отношениях, но не создаются ими, хотя определенные свойства predisполагают вещь к определенным отношениям, а определенные отношения побуждают вещь к формированию определенных свойств.

Ни в философии, ни в лингвистике нет сколько-нибудь достаточно разработанной общей типологии вещей, ни тем более общей теории и типологии признаков — свойств и отношений. В науках и практической деятельности разрабатываются отдельные участки и аспекты таких типологий сообразно тем или иным потребностям. Лингвистика, пожалуй, первой ощутила необходимость в общей типологии сущностей — вещей, свойств, отношений. Отсутствие такой систематики или случайный ее характер практически ощущаются теперь при подготовке идеографических словарей (тезаурусов), семантической классификации лексики, в особенности признаковых (предикатных) слов и т. п. Состав семантических разрядов, различия между ними, отнесение слов к тому или иному разряду оказываются, как мы видели, неопределенными и весьма произвольными. О глаголах, к примеру, говорят, что они выражают действия, процессы, состояния, су-

ществование, отношения и т. п., но оставляют без ответа вопросы о том, полна ли и последовательна ли классификация, каковы смысл и критерии ее разрядов, интуитивно отнюдь не очевидных.

В отсутствие теории признака лингвистика тем более охотно приняла предложение логики довериться языку и, не вдаваясь в онтологию признаков и относительность различия между признаками-свойствами и признаками-отношениями, разграничивать свойства и отношения по числу мест (валентностей) выражающих их предикатов: одноместные предикаты выражают свойства, многоместные — отношения.

Это предложение принято и здесь. Язык, безусловно, заслуживает доверия в конечном счете, хотя следует учитывать его непоследовательность, не прямой, неоднозначный характер корреляций между языковыми формами и содержанием.

Признак, отраженный (представленный) в значении языковой единицы, называем семантическим признаком. При этом несущественно, исчерпывает ли признак содержание данного значения или составляет только часть (компонент) этого значения. Семантический признак может быть выражен либо номинативной единицей (например, словом) составляя ее значение, либо неноминативной единицей (например, морфемой), либо, наконец, может выявляться в данной единице чисто реляционно как часть ее значения, не соотносимая с какой-либо структурной частью этой единицы. В последних двух случаях семантический признак составляет часть номинативного значения, выражаемого той или иной номинативной единицей, и квалифицируется как сема.

Признаки подразделяются на совместимые и несовместимые в зависимости от того, свойственно или несвойственно им встречаться в вещах совместно, в связке, т. е. в зависимости от того, исключает или не исключает один признак наличие у вещи другого.

Несовместимость (как и совместимость) признаков редко абсолютна, а чаще относительна и ограничена условиями места, времени, отношения и т. д.

Практически это означает, что в мире и в сознании совместимость/насовместимость признаков имеет вероятностный (стохастический) характер, причем в последнем случае речь идет, конечно, о так называемой житейской вероятности, или вероятности здравого смысла, т. е. о приближенных вероятностных оценках. Два признака несовместимы, если невозможно их наличие у вещи в одном ее месте, в один момент времени, в одном и том же отношении к другой вещи.

Совместимость/несовместимость признаков устанавливается, понятно, в рамках общераспространенных представлений, т. е. речь идет о житейской картине мира, обыденных физических и иных представлениях, о так называемой философии и знании здравого смысла. Эти представления формируют «философию естественного языка», т. е. его семантическую

структуру, хотя, как известно, они нередко отстают от научного знания, расходятся с ним и постоянно подтягиваются до него. Будучи достаточно единообразными в однородном языковом коллективе, представления о совместимости/несовместимости, очевидно, варьируются применительно к разным участкам мира. Суммарные приближенные оценки совместимости/несовместимости той или иной пары признаков размещаются на шкалах трех (пяти) семи делений: *часто — средне — редко; всегда — часто — средне — редко — никогда; всегда — очень часто — часто — средне — редко — очень редко — никогда*. Эти шкалы, понятно, совместимы и отличаются большей/меньшей детализацией признаков областей.

На абсолютную несовместимость (равно как и совместимость) признаков наложены жесткие ограничения: трудно отыскать пары признаков, которые бы ни одна вещь не обнаруживала бы никогда и нигде. Как уже сказано, о полной несовместимости двух признаков приходится говорить не вообще, а применительно к конкретной вещи в конкретных обстоятельствах места, времени, применительно к конкретной части ее структуры, касательно какого-то конкретного ее отношения к другой вещи и т. п. В этом нет ничего неожиданного, это следствие диалектичности и вероятностной природы мира. Стоит признать вероятностный характер совместимости/несовместимости признаков, и четко проявятся основания этой интуитивной систематизации признаков. Совместимыми оказываются признаки с достаточно высокой вероятностью совместной встречаемости и в вещах, а несовместимыми — признаки, редко или вовсе не встречающиеся в связке.

Противоположные признаки, лежащие в основе семантической противоположности языковых единиц, — те же несовместимые признаки, но с дополнительным качеством. Это качество — максимум различия, максимум несовместимости признаков. Задача, таким образом, состоит в выявлении условий, с которыми связывается представление о максимуме возможных различий в признаках.

В последующем из стилистических соображений в качестве синонима «противоположность» будем использовать также «контраст», «оппозиция» и их производные.

В качестве отправного тезиса надо принять следующий. Чтобы два понятия-значения считались противоположными, необходимо, чтобы их содержание или исчерпывалось противоположными семантическими признаками, или же — при наличии у них общего родового признака — их видовые (дифференциальные) признаки были противоположными.

Не всякие несовместимые признаки противоположны; они могут быть просто различными по роду (разнородные несовместимые признаки, ср. *малолетний* и *женатый*), по качеству (однородные качественно различные признаки, ср. *красный* и *зеленый*), по количеству (однородные количественно тождественные, но количественно различные признаки, ср. *теплый* и *горячий*). Естественно, что противоположным могут быть только признаки од-

ного рода (качественная противоположность), т. е. только признаки с общим основанием. Основанием признака называем то общее в признаках, что позволяет соотносить и объединять их в классы, т. е. основу (критерий, принцип) общности признаков. В конечном счете основание есть общий признак признаков.

Общее основание противоположных признаков нередко скрыто, затемнено их противоположностью, уступает в яркости противоположности и как бы перечеркнуто ею. Нередко оно не имеет принятого обозначения, ср. *длинный* — *короткий* = длина, *тяжелый* — *легкий* = вес, но *хороший* — *плохой* = ?, *смелый* — *трусливый* = ?

Однако противоположность — лишь крайний случай общности и предполагает как максимум различия, так и некое обобщающее начало, общую основу, даже если понятие об этом общем не получило устоявшегося обозначения. Последнее типично для качественных противопоставлений и менее для количественных. Сознание и язык в этом случае задерживаются на уровне частного, более конкретного и испытывают затруднение в освоении общего, более абстрактного, целого.

К примеру, смелость и трусость описывают полярные типы психической организации по общему признаку — типическим реакциям на экстремальные ситуации. Это и есть общее основание этих признаков, основа для самого тесного их сближения, несмотря на полярность. Но каково имя этого основания? В обыденной практике, не занимаясь специально природой этих качеств, мы обходимся без общего имени и не испытываем нужды в нем до тех пор, пока практически встречаемся с задачей обозначить лишь конкретные проявления этой стороны психической организации. В принципе, эти общие имена возможны, ср. *мужской* — *женский* = пол. Чтобы уяснить условия, при которых два несовместимых признака составляют противоположность один другому, надо ввести понятия признакового пространства и структуры признака.

Признаковым пространством (ПП) называем множество (класс) вещей, образуемое неким признаком. Нас, однако, будет интересовать не столько пространство отдельного признака, сколько совокупное пространство признаков с общим основанием. Пространство основания (ПО) — это совокупное множество (класс) вещей, образуемое признаками с общим (единым) основанием. Оно складывается из подмножеств (подклассов) вещей, образуемых отдельными признаками с единым основанием. Так, ПО (цвет) складывается из ПП (зеленый), ПП (красный) и т. д.; ПО (температура) — из ПП (горячий), ПП (теплый), ПП (прохладный), ПП (холодный); ПО (хороший — плохой) — из ПП (хороший) и ПП (плохой).

Пространство основания упорядочено, если существует некий принцип (параметр, признак) определенного размещения относящихся к нему подмножеств. Например, ПО (температура) упорядочено возрастанием/убыванием количества признака: *холодный* — *прохладный* — *теплый* —

горячий. Напротив, в обыденных представлениях ПО (цвет) слабо упорядочено. Двухпризнаковое пространство основания, например, ПО (*хороший — плохой*) можно рассматривать как частный (и простейший) случай упорядоченного пространства.

Отражая реальную диалектику вещей и признаков, упорядоченное признаковое пространство допускает обычно некий зазор, средину между двумя смежными признаками, некую грань перехода от одного признака к другому — нечеткое подмножество вещей «ни то — ни се», т. е. описываемых ни тем, ни другим смежным признаком, ср. *ни теплый — ни горячий, ни длинный — ни короткий, ни хороший — ни плохой*.

Понятие признакового пространства — не просто исследовательская абстракция. Им описывается способ, которым сознанием моделирует экстенциональные соотношения признаков. Не отражая естественных или функциональных группировок вещей и не относясь поэтому непосредственно к постижению природы вещей, оно относится к постижению признаков и их распределения в вещах.

Теперь можно сформулировать условия противоположности признаков. Два несовместимых признака с общим основанием принимаются за противоположные в двух случаях. Эти два признака (с учетом возможного зазора между ними) способны покрыть (исчерпать) все пространство их основания, ср. *длина = длинный — короткий, пол = мужской — женский, воевать = нападать — защищаться*.

Или же два несовместимых признака не покрывают полностью пространство их основания, но это пространство (точнее, его мыслительная модель) упорядочено, и указанные признаки максимально удалены в нем друг от друга, ср. *холодный — прохладный — теплый — горячий*.

Иначе говоря, идея противоположности возникает тогда, когда в различии не дано третьего (точнее, не дано ничего сверх двух) или же, если и дано, то различия упорядочены общим принципом в симметричную систему, где противоположными сознаются части, максимально и равно удаленные от оси (центра) (см. также ниже о градации противоположностей, о сильной и слабой противоположности).

В дальнейшем предстоит подтвердить справедливость общего принципа на разнообразных случаях семантической противоположности и рассмотреть конкретные его модификации, которые в совокупности и обуславливают типологию семантических противоположностей вообще и лексической антонимии в частности.

Уже сейчас можно заметить, что общий принцип и понятие противоположности строятся посредством моделирования простейшего случая противоположности в прямом ее смысле — пространственной. Структура пространственной противоположности используется как модель, распространение которой конституирует широкий класс противоположностей самой разнообразной предметно-логической природы. Во всем онтологиче-

ском разнообразии противоположностей просвечивает исходная пространственная модель как объединяющее мыслительное начало (см. также ниже).

Возможны две типологии семантических оппозиций. Основанием первой служит собственная природа оппозитивных признаков, т. е. в основании классификации кладутся наиболее общие категориальные отличия оппозитивных признаков, рассматриваемых сами по себе независимо от тех предметных областей, к которым эти признаки относятся. Первая типология носит наиболее обобщенный характер, оппозиции признаков в ней описываются как импликационные vs. классификационные, качественные vs. количественные (см. ниже). Эта типология может быть названа категориально-логической типологией семантических оппозиций.

Во второй типологии оппозиции описываются по предметной принадлежности признаков, т. е. по аспектам предметного мира и предметным областям, к которым относятся признаки, — оппозиции пространства, движения, времени, формы, поверхности, состава, структуры, цвета, эмоций и т. д. и т. п. Эта типология допускает различную степень детализации соотносительно числу и иерархии предметных областей, в которых устанавливаются отношения противоположности.

Эту типологию можно назвать предметно-логической типологией оппозиций.

Понятно, что здесь она может быть рассмотрена только в самых общих ее чертах.

Именно в оппозициях этого типа прежде всего обнаруживает себя моделирующая роль пространственных представлений о противоположности как исходном шаблоне моделирования и интеграции разнообразных явлений в один класс и единое понятие.

3. Предметно-логическая типология противоположностей признаков

Рассмотрение видов семантической противоположности и лексической антонимии следует начать именно с предметно-логической их типологии по той очевидной причине, что открывающие ее пространственные оппозиции лежат в основе всего понятия противоположности как объединяющее моделирующее его начало. В рамках этой работы надо прежде всего описать разновидности пространственных оппозиций и выявить их модификации и осложнения при переносе их в качестве моделей в другие предметно-логические области. Задача, таким образом, состоит в выявлении набора и системы моделей противоположности.

Пространственный контраст, как сказано, — простейший случай и основа для моделирования противоположности понятий. Его собственная модель существует в двух разновидностях — осевого и центрического мо-

делирования пространственной структуры объектов. Первый случай связан с нахождением хотя бы мысленных осей или осевых плоскостей и применяется к объектам несферической формы, но может быть распространен и на последние при том условии, что сферичность объекта почему-либо не принимается в расчет. Противоположными при этом считаются части пространственной структуры, расположенные ортогонально по отношению к оси на приблизительно равном и максимальном удалении от нее, ср. *противоположные концы, края, стороны, части, берега, стены и т. д.*

Важно, что противоположными признаются именно части пространственной структуры, а не составляющие эти части элементы. Так, говорят о противоположных сторонах или концах улицы — две перпендикулярные оси, — но не о противоположных домах, а о домах один напротив другого. Пространственная противоположность — не простой пространственно-реляционный признак вещи, а реляционная характеристика части пространственной структуры. Аналогично положение и при семантических контрастах иного рода.

Центрически моделируется пространственная структура объектов, систем, которые можно хотя бы приблизительно представить в виде окружности, круга, сферы или шара. В этом случае противоположными признаются прежде всего структурные части системы в диаметральной оппозиции друг к другу, т. е. расположенные на приблизительно равном и максимальном удалении от центра по прямой. Тем самым выполняется необходимое условие противоположности — максимум различия по существу для системы признаку (здесь — по расстоянию).

Ориентирование объектов по различным пространственным координатам имеет, в частности, тот результат, что заставляет различать разные виды пространственных контрастов и давать разные имена соотносительным полярным признакам. Не переставая быть противоположными, они квалифицируются по противопоставлениям избранной системы координат, ср. *верхний — нижний, левый — правый, передний — задний, северный — южный, западный — восточный*. Тем самым, будучи проявлен лексически, осевой пространственный контраст образует антонимию, которую иногда называют антиподальной.

К ней близка векторная антонимия, лексически реализующая кинетический контраст, контраст противоположно направленных механических движений.

Пространственная ориентация движения, т. е. направление движения, производится относительно тех же координат, что и ориентация объектов по их местонахождению, только статика положения заменяется динамикой перемещения, ср. *вверх — вниз, влево — вправо, на север — на юг, на запад — на восток и т. д.* Физический смысл векторной противоположности очевиден: максимум усилий для преодоления инерции при изменении направления движения, максимальная скорость — при

прочих равных условиях — удаления объектов друг от друга в случае движения их из одной точки и максимальная скорость их сближения при следовании к одной точке и т. д.

В плоскостных или объемных объектах, представляемых хотя бы приближенно в виде круга или шара, возможно центрическое противопоставление: противоположность в статике центра и периферии как частей пространственной структуры объекта, а в динамике — движений к центру и от центра структуры. В статике это контраст концентрических слоев объекта по их удалению от центра, возможно малому и возможно большому. В динамике это различие между движениями по радиусам с векторами к центру и от центра, ср. *подъем* и *падение* тел по радиусу земного притяжения. Центрические противоположности возникают потому, что в реальных центрических системах центр и периферия отличаются не только пространственно, расположением, но и иным более существенным, конституирующим данную систему признаком, например, наличием центростремительных и центробежных сил. Центр и периферия локализованы пространственно. Пространственно они отличны, но не противоположны. Они противопоставлены по непространственному качеству системы.

Системообразующие факторы, налагаясь на пространственную структуру объекта, выявляют качественные различия в частях пространственной структуры объекта, преобразуют чисто пространственные противопоставления и заставляют противопоставлять части пространственной структуры и направления движения в ней, которые максимально различаются по существенным признакам, конституирующим данную систему.

В связи с этим возможен конфликт осевой и центрической противоположностей в таких системах. Если A и B — противоположные точки на периферии шара, а C — центр шара, то движения от A к C и от C к B имеют одинаковый осевой вектор, но противоположны как центростремительное и центробежное движения. Напротив, движения от C к A и от C к B имеют противоположный осевой вектор, но оба квалифицируются одинаково как центробежные. Также и движение от A к C и от B к C , имея противоположные осевые векторы, оба сходные как движения центростремительные. Два противопоставления совпадают только при различении движений от A к C и от C к A (от B к C и от C к B).

Таким образом, контраст пространственных понятий — основа моделирования более отвлеченных видов противоположности — может быть осевым или центрическим и каждый из них — статическим (контраст расположения) или динамическим (контраст направления). Динамическая противоположность предполагает статическую и осложняет ее мыслью о движении. В каждой из четырех разновидностей конкретные пространственные оппозиции обусловлены каждая своим способом внешней пространственной ориентации объектов, что и дает в лексическом выражении разнообразные пары пространственных антонимов.

Следует подчеркнуть, что нередко один и тот же объект может рассматриваться как структура и с осевой и с центрической противоположностью. Отвлечение от сферичности (круглости) позволяет усмотреть в предмете структуру с осевой противоположностью частей. Напротив, если в некруглом, даже линейно вытянутом предмете середина почему-либо выявлена как отдельная часть его структуры, это дает повод и основание для центрического противопоставления частей его структуры, ср. *центр* (середина) — *края* (концы) *ковра* (гобелена) и т. д.

Одновременно сохраняется возможность усмотреть в таком предмете осевой контраст частей, причем за ось, хотя бы даже и весьма протяжную, принимается середина объекта, ср. *верх* — *них* *ковра* (гобелена) и т. д.

В конечном счете осевая и центрическая противоположности сходятся в общем представлении о целом из двух частей с разграничительной линией (или полосой) между ними.

В условиях силы тяжести максимально различны и контрастны расположение и перемещение по горизонтали и вертикали, и, хотя векторы при этом только ортогональны, это тоже случай противоположности, равно как и инерциальная противоположность движений вперед — назад. Направление тяжести как координата обуславливает контраст положений стоя и лежа. Для многих классов предметов (*деревья, здания, горы* и т. д.) этими двумя положениями и исчерпываются статистически преобладающие позиции (вертикаль — норма существования, горизонталь — прекращение существования вообще или активного существования).

Если же добавляются еще иные положения, например, сидячая поза, то они промежуточны, сравнительно с крайними положениями стоять и лежать.

В вытянутых плоскостях движения по длине в любом из двух направлений обобщено как движение вдоль, и тогда оно противопоставлено движению поперек как своей противоположности по принципу максимально возможного для такой системы различия (хотя векторы опять же различаются на 900, а не на 1800). Но заметим, что в системах, ориентированных по сторонам света ортогональные различия севера — востока, движения на север — на восток и тому подобные не максимальны и поэтому не получают статуса противоположности.

Вогнутое—выпуклое — случай осевой пространственной оппозиции. В основе ее лежит противоположность векторов сферического уменьшения/увеличения объема тела вовнутрь — новые относительно оси — условной плоскости поверхности.

Статический контраст умственно моделируется как результат действия сил с противоположным вектором. *Внутренний* — *внешний* — статическая оппозиция на основе того же дихотомического различия — *взаимоисключения* вещей по оппозитивным признакам нахождения *внутри* — *вовне* (*снаружи*) некоего отсчетного тела (координатной системы) или

внутри — на поверхности его, ср. *внутренний, глубинный — внешний, поверхностный*.

Наветренный — подветренный — другой пример статического осевого контраста, предмет ориентирован относительно ветра, его стороны различаются тем, обращены ли они к ветру.

Пространственные оппозитивы не только несут с собой представление о расщеплении пространственной структуры на две части, но и диалектически связаны с представлением о единстве пространственной структуры. Это объясняет парадокс тесного сближения, явной понятийной связи оппозитивных пространственных понятий. Единство пространственных оппозитивов — в единстве пространственной структуры объекта, и противоположность, по сути дела, есть простейшее представление этой структуры. Понятия о противоположном и разъединяются, и тесно связываются потому, что они — результат расщепления целого — пространственной структуры объекта на простейшие составляющие.

Можно также видеть, что векторная противоположность, противоположность движений по их направлению основана на пространственной противоположности.

Первая выявляется на фоне второй и предполагает ее: движения с противоположными векторами ориентированы относительно противоположных частей пространственной среды, в которой они совершаются. Движения противоположны, если направлены к противоположным частям некой пространственной структуры.

Поэтому тесная связь понятий векторной противоположности обеспечивается отнюдь не единством движения или движущегося объекта. За ней стоит представление о единой пространственной структуре, относительно которой ориентированы движения.

Временные понятия также обнаруживают структуру противопоставлений, в основе которой лежит та же исходная пространственная модель. Это неудивительно, так как менее наглядные понятия времени осваиваются посредством более конкретных пространственных представлений. Хорошо известна как семантическая универсалия возможность временного переосмысления слов с пространственным значением, ср. временные наречия, предлоги, союзы.

Временной ряд может быть двучленным, трехчленным и многочленным, ср. *долгий — краткий; скоро, вскоре — нескоро, нескоро; рано — поздно; раньше — позже; ранее — теперь — впредь; давно — недавно — теперь — скоро — вскоре — нескоро*.

В нечетном ряду средний термин обозначает точку или интервал отсчета времени в обе стороны, т. е. именуется ось симметрии, относительно которой организуются временные противопоставления. Указываемое им время абсолютно (например, дата) или относительно (например, момент речи). В многочленном ряду, как и в пространственном, сильно противо-

поставлены крайние члены, ср. *прошлое* — *будущее*. Кроме того, противопоставлены средние равноудаленные от оси термины, ср. *недавно* — *вскоре*, а также любые левые и правые члены по отношению к осевому (центральному) термину, ср. *раньше* — *теперь*, *позже* — *сейчас*, *прошлое* — *настоящее*, *будущее* — *настоящее*. Наконец, есть противопоставление внутри пар, левых и правых относительно оси, ср. *давно* — *недавно*, *скоро* — *нескоро*.

В каждом подобном случае ограничивают общее пространство признака — будь то временного, пространственного или любого иного признака — каким-либо его участком, упорядоченным тем же способом, что и все пространство признака.

Этот участок делят на две непересекающиеся части, что связано с противопоставлением признаков, обеспечивающих такое деление хотя бы и на низшей ступени иерархии противопоставлений. В самом деле, если ожидают чей-либо приход, то заботятся о том, скоро или нескоро это произойдет, а то, что приход должен состояться в будущем (а не в прошлом), относят уже к пресуппозициям ожидания.

Вообще оппозитивность признаков предполагает способность однородных признаков вычленять в упорядоченном пространстве их основания две части, которые либо полностью покрывают это пространство (сильная оппозиция), либо расположены симметрично на краях этого пространства (сильная оппозиция), либо, наконец, не находятся на краях пространства, но симметрично равноудалены от оси или центра пространства (слабая оппозиция).

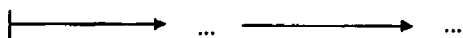
Части пространственной структуры сами по себе равноправны, их различение начинается с ориентации структуры относительно внешних координат. Напротив, временная структура объектов с самого начала упорядочена необратимостью времени. Поэтому существенно по-разному обозначать то, что в модели времени стоит слева и справа от точки отсчета, то, что относится к прошлому, и то, что относится к будущему. Соответственно два равноотстоящие от временной оси события обозначаются как *недавнее прошлое* и *ближкое будущее*, ср. также: *произошло недавно*, *давно*, *раньше*, *до чего-либо* — *произойдет скоро*, *нескоро*, *позже чего-либо*. Напротив, в неориентированной пространственной структуре равноудаление частей от оси или центра получает одинаковое обозначение независимо от того, расположены они слева, справа, спереди, сзади, выше или ниже: *далеко* — *рядом* — *тут/здесь* — *рядом* — *далеко*.

Как и в пространственной модели, нечетный временной ряд редуцируется в двучленный с сильной оппозицией при невыраженной оси симметрии, ср. *рано* — *поздно*, *ранее* — *позднее*, *скоро* — *нескоро*, *долгий* — *краткий*, *долговременный* — *кратковременный*, *в прошлом* — *в будущем*, *начало* — *конец* и т. п. (Или, наоборот, простейшая двучленная оппозиция развертывается в более детализированную).

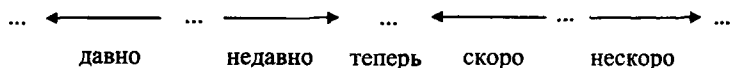
Основанием для временных противопоставлений могут служить: 1) временные признаки событий, не связанные с местом на временной оси (фаза действия, краткость — длительность, разовость — повторяемость, окказиональный или временной характер и т. п.), ср. *начало — конец, краткий — долгий, мгновенный — длительный, разовый — повторяющийся, временный — постоянный* и т. п.; 2) временные признаки событий по их месту на оси времени относительно точки отсчета (*рано — поздно, в прошлом — в настоящем — в будущем, до чего-либо — после чего-либо* и т. п.); 3) временные признаки событий, сочетающие первое с вторым, то есть количественно-временную характеристику события с его относительной временной локализацией, например, автономны *современный — несовременный*, в отличие от *одновременный — неодновременный*, означают соотношенность — несоотношенность вещей и событий не с любым, а только с настоящим временем, т. е. *одновременность — неодновременность* с настоящим.

Ср. также *старый — новый (друг)* во временном значении в отличие от *прежний — нынешний*.

Время измеримо, и характеристики (признаки) вещей и событий по их длительности и отстоянию во времени образуют количественные оппозиции. Как и в случае других количественных противопоставлений, относительная мера длительности и временного отстояния индивидуальна для разных классов или групп сопоставимых классов, т. е. различна в абсолютном измерении. Длительность ограничена нулем с одной стороны; нарастая, она переходит из малого диапазона через средний зазор к диапазону большей длительности, который может быть открыт к бесконечности:



Отстояние по времени от точки (интервала) отсчета может быть открыто в обе стороны:



Другие временные оппозиции имеют характер качественных, ср. *временный — постоянный, разовый — повторяющийся, начало — конец, прошлый — настоящий, прошлый — будущий*.

Объединяющее начало временных противопоставлений — сама идея времени в разных ее аспектах, а именно: относительные характеристики событий в их проекции на ось времени (локализация во времени, длительность, характер протекания во времени и т. п.).

Специфика временного аспекта вещей, сравнительно с пространственным, особенности понятия времени и его структуры имеют результатом определенное своеобразие временных противопоставлений. Используя пространственные аналогии, временные оппозиции видоизменяют их сообразно специфике временных различий и соотношений. Но, несмотря на разницу в содержательном наполнении, сохраняется пространственная основа моделирования: временные оппозиции формируются по аналогии с осевой и (реже) центрической противоположностью.

Можно видеть, что все временные оппозиции объединены общим представлением о целом, в котором выделяются две части, и эти две части либо исчерпывают целое (совместно с разделяющим их осевым зазором), либо, не исчерпывая целого, расположены в упорядоченном множестве частей симметрично на равном и возможно максимальном удалении от некой оси. Целое, о котором идет речь, — общее основание противоположных признаков, а представление — мыслительная модель пространства признаков. В качестве оси, расчленяющей признаковое пространство на симметричные части, выступает при четном числе признаков зазор «ни *A* — ни не-*A*», при нечетном — признак, занимающий центральное положение в упорядоченном множестве.

Первый случай («третьего не дано») иллюстрируется оппозиitivностью в двучленных множествах однородных временных признаков: *мгновенный* — *длительный* (основание — длительность явления), *разовый* — *повторяющийся* (возобновляемость действия), *первичный* — *вторичный* (очередность появления), *временный* — *постоянный* (стабильность явления, признака). В трехчленных рядах (второй случай), ср. *начало* — *середина* — *конец* (*начало* — *продолжение* — *окончание*), *прошлое* — *настоящее* — *будущее*, размещение членов упорядочивается вектором времени, осью служит средний член и сильно противопоставлены крайние члены: *начало* — *конец*, *прошлое* — *будущее*. Вместе с тем переключение на центрическую оппозицию дает противопоставления: *прошедшее* — *настоящее*, *настоящее* — *будущее*, — что связано с эгоцентрическим восприятием и переживанием настоящего. Заметим, что возможная оппозиция «начало — продолжение» предполагает редукцию ряда в двучленный, где «продолжение» представляет и самое себя, и «конец».

Принципиально важное отличие состоявшегося прошлого и возможного будущего имеет следствием то, что понятийные ряды прошлого и будущего значительно обособлены друг от друга и коррелирующие понятия часто получают в них независимые обозначения и не вступают в отношения синонимии и антонимии.

Например, логическая временная последовательность: *давно* — *недавно* — *теперь* — *скоро*, *вскоре* — *нескоро* — распадается на две независимые части: ретроспективную и проспективную. В оппозицию входят «давно — недавно; скоро, вскоре — нескоро», но не «давно — скоро, не-

давно — нескоро», равно как не синонимичны «давно» и «нескоро», «недавно» и «скоро». Напротив, обозначения предшествования и последования безотносительно к настоящему антонимичны, ср. «раньше — после». «Раньше, прежде» в ряду «раньше, прежде — теперь, сейчас — впредь, в будущем» соотнесены с настоящим и входят в оппозицию «раньше, прежде — теперь, сейчас», но не «раньше — впредь».

Рамки работы не позволяют продолжить систематический анализ других видов предметно-логических оппозиций, хотя, несомненно, в этом анализе, связывающем гносеологию, логику и психологию мышления с лингвистикой, должно обнаружиться немало интересного. Для нас существенно подтвердить гипотезу об общем принципе и условиях оппозитивности и очертить основные разновидности моделей, аналогически формирующих этот класс явлений и обуславливающих единство и структуру этого понятия.

Не вдаваясь в детальный анализ, необходимо, однако, указать те разновидности моделей, которые могут быть дополнительно выявлены при широком охвате предметно-логических оппозиций.

Соотнесенные движения одного тела или разных тел от A к B и от B к A — случай векторной противоположности. Их антонимические обозначения возникают тогда, когда эти действия ориентированы относительно некоторых координат: *подниматься* — *опускаться*, *входить* — *выходить*, *прилетать* — *улетать*, *сходиться* — *расходиться*, *сбегаться* — *разбегаться* и т. п. Важно заметить, что эти действия по отношению друг к другу имеют перевернутую, или обратную, пространственную структуру: начало одного пространственно соответствует концу другого, проходятся одни и те же участки пути, но в обратной последовательности.

Эта простая модель обобщается и аналогически переносится на разнообразные действия и процессы, структуры которых зеркально отражают одна другую, развертываясь в обратной последовательности. Структуры процессов состоят из одинаковых частей, но эти части выявляются во времени с зеркальной симметрией, ср. *заряжать* — *разряжать*, *вырыть* — *зарыть*, *собирать* — *разбирать*, *закрывать* — *открывать*, *испарять* — *конденсировать*, *заплетать* — *расплетать*, *сцеплять* — *расцеплять*, *слепить* — *разлепить* и т. д.

Не следует настаивать на полном зеркальном тождестве двух действий. Этого нет и в исходной модели обратного движения. Чтобы двинуться обратно, необходимо сначала достичь некоторой точки, отличной от исходной, и затем отправиться от нее назад, но на обратном пути не обязательно строго следовать ранее пройденному маршруту и непременно возвращаться в исходную точку. Чем с большей точностью один процесс (действие) зеркально воспроизводит другое, тем более наглядна противоположность их структур. Но противоположными осознаются и действия (процессы) с неполной, но достаточно большой мерой зеркального изо-

морфизма и даже гомоморфизма, ср. *наполнять* — *опорожнять*, *наливать* — *выливать*, *включать* — *выключать*, *зажигать* — *тушить*, *засекретить* — *рассекретить*, *создавать* — *разрушать*.

Эту разновидность противоположности называют обратной. Здесь предложено объяснение ее онтологической природы и способа, которым она моделируется сознанием. Любопытно заметить, что у слов «обратный, обратно» нет антонимов (в самом деле, что противостоит «обратному рейсу»? «Рейс туда»? Но «туда» немаркировано по вектору движения). Возможен парафраз, но нет антонимической пары. Однако понятие есть, оно содержится в пресуппозиции к обратному. Для таких понятий (туда в отличие от обратно) нет принятых обозначений потому, очевидно, что необходимость в них невелика. Их появление шло бы вразрез с принципом информативности — принципом, который управляет формированием и функционированием системы языковых средств вообще и номинативных средств в частности. Принцип информативности составляет реальный смысл того, что неточно понимают и называют как принцип экономии.

Отработаны в выражении те понятия и те части понятийных систем, соотношений и противопоставлений, которые в сообщениях информативны, а само собой разумеющееся, обязательное, обычное, норма вещей, сильные пресуппозиции и импликации именуется только в особых случаях, когда в том есть потребность.

Поэтому их имена менее отработаны, деривационно не первичны, фонетически длинные, морфологически или синтаксически сложны. Можно взять дополнительный пример: к «лгать» нет антонимического глагола, а есть сочетание «говорить правду». Причина, разумеется, отнюдь не в том, что ложь настолько редка, что указание ее чрезвычайно информативно. Дело тут в том, что нравственное общественное установление требует правдивых речей и тем самым относит говорение правды к этическим пресуппозициям речевого общения. В данном случае метафора от ситуации, когда тело, ранее прошедшее путь от *A* к *B*, движется от *B* к *A*. Предложенное объяснение раскрывает сущность обратной противоположности — это оппозиция структур. Соответственно эту разновидность противоположности и антонимии можно еще назвать структурной.

Таким образом, при определенных условиях структуры осознаются противоположными. Но противоположными могут быть не только указанные выше динамические структуры, но, как можно ожидать, и структуры статические.

Разумеется, статическая структура может возникать как результат динамического процесса, и тогда ее противоположностью является структура, образующаяся с обратной последовательностью выявления частей, ср. прямой — обратный (порядок слов). Принципиально сходны с динамической и те случаи противоположности статических структур, для которых установлен определенный порядок «считывания» их структур, определен-

ная последовательность рассмотрения их частей. Как видим, в моделировании контрастов возможен и обратный обычному путь — от динамики к статике.

Но возможна статическая структурная противоположность, для которой нет прямого аналога в контрасте динамических структур. Примером служит различие негатива и позитива. Оппозитивность этого вида может быть обобщена следующим образом.

Если вещи *D1* и *D2* имеют изоморфные структуры и элементы структуры *D1* имеют свои отображения в *D2*, тождественные им по всем признакам, кроме одного основания, по которому их признаки противоположны, то противоположны и структуры *D1* и *D2*, т. е. различие структур осознается как максимальное. Ср. также различие объекта и его отражения; образа и прообраза.

Осевая противоположность моделирует разнообразные пространственные и непространственные структуры, как статические, так и динамические. При этом осью служит либо зазор, условная середина, либо реальная средняя часть структуры вещей, процессов, признаков пространств, а противоположными оказываются их крайние части, начала и окончания процессов. Это объясняет антонимию пар, вроде *нос — корма, голова — ноги, голова — хвост, начало — конец процесса, начало — конец процессии* (временная, динамическая аналогия пространственно-статической структуры объекта на основе его мыслительного «считывания» — восприятия по частям с определенным вектором), *голова — хвост процессии* (статическая аналогия), *здороваться — прощаться* и т. п.

Противоположность начальной и конечной фаз процесса, действия может дополняться реверсивностью их структур, ср. *прилив — отлив, разгораться — тухнуть* и т. п.

Дихотомия противоположностей, как уже отмечалось, выступает как самое яркое проявление конструирования действительности сознанием, жесткого ее упорядочивания, укладывания в двузначную схему, основанием которой служит диалектичность мира как единства противоположностей. Однако вероятностный характер мира, текучесть его границ, реальная размытость категорий не могут, естественно, не отразиться в сознании и языке и, в частности, не могут не сказаться на моделировании признаков пространств и семантических противоположностей. Сказывается и возможная нечеткость представлений о тех или иных участках мира, а также изменения на тех или иных участках общественной практики людей.

К примеру, успехи народного просвещения сдвигают противоположность «грамотный — неграмотный» к оппозиции «грамотный — малограмотный». Зыбкость границ между эмоциями, чувствами и приблизительность наших представлений о них имеют результатом значительную неопределенность и подвижность антонимии в этом лексико-семантическом разряде, ср. *любовь — ненависть, любовь — презрение, любовь —*

равнодушие, ненависть — равнодушие, презрение — уважение, уважение — пренебрежение, пренебрежение — привязанность и т. п. Эмоциональное переживание человеком возрастных изменений сдвигает «пожилой» с позиции среднего, осевого термина ряда «молодой» — пожилой — старый» в область правого противочлена.

Требование обязательной содержательности произведения приравнивает семантику «пустой, бессодержательный» в этих контекстах к «малосодержательный», так что «малосодержательный» понимается или как эвфемизм к «пустой», или как антоним к «содержательный».

4. Категориально-логическая типология противоположностей

Обратимся к категориально-логической типологии семантических противоположностей, и в первую очередь к импликационным и классификационным оппозициям.

Концепты вещей и признаков (понятия и представления) не существуют в сознании порознь, но объединены концептуальными связями в когнитивные структуры сознания. Равным образом и оппозитивно связанные признаки демонстрируют частный случай концептуальных связей. Наиболее общими типами концептуальных связей, как мы уже знаем, являются связи импликационные и классификационные.

Импликация — мыслительный аналог реальных связей действительности, отражение связей, зависимостей, взаимодействий между вещами, между частью и целым, между вещью и признаком, между признаками. Термину «импликация» при этом придается более широкий смысл, чем в логике, и под ним понимается один из двух (наряду с классификацией, см. ниже) способов организации сознания, упорядочения представлений и понятий в структуре.

Признаки *P* и *R* импликационно связаны, если из наличия (или отсутствия) *P* у вещи следует заключить с той или иной вероятностью о наличии (или отсутствии) *R* у той же вещи или иной вещи. Импликационно связанные признаки могут быть совместимыми (ср. зеленый и неспелый, молодой и неопытный, больной и слабый) и несовместимыми (ср. зеленый и зрелый, молодой и опытный, больной и сильный).

Особым случаем несовместимых импликационно-связанных признаков являются признаки конверсивные. Именно конверсивность признаков лежит в основе семантической противоположности импликационного вида.

Конверсивные признаки возникают в несимметричных отношениях и представляют собой соотносительные реляционные характеристики аргументов такого отношения.

Отношение симметрично, если статус аргументов в нем одинаков. Таково, например, отношение соседства: если A сосед B , то B — сосед A . Напротив, если статус аргументов отношения неодинаков, то отношение несимметрично. Примером может служить отношение торговли, где различен статус продающего и покупающего.

Если две вещи $D1$ и $D2$ связаны несимметричным отношением $R1$, то реляционные признаки $P1(D1)$ и $P2(D2)$, приобретаемые вещами-аргументами в этом и только этом отношении $R1$, являются конверсивными (конверсными).

Соответственно понятия о таких признаках $C1(P1) — C2(P2)$, о классах вещей, образуемых такими признаками, $K1(D1) — K2(D2)$ и их имена $N11(P1) — N12(P2)$ и $N12(K1) — N22(K2)$ также называются конверсивными. Ср. *продавать — покупать, продавец — покупатель; родить — родиться, родитель — ребенок; давать — брать, субст. дающий — берущий*. Соотносительный и реляционный характер конверсивных признаков очевиден: дающий предполагает берущего, и наоборот. Признак в одной вещи имплицитно парный признаку в другой вещи.

Конверсивный признак — не собственное свойство вещи, с которым бы она вступала в отношение, а реляционный признак, приобретаемый ею в отношении. Следует заметить, что не всякий реляционный признак конверсивен. Конверсивный признак $P1$ у вещи $D1$ предполагает $D2$ с $P2$, причем и $P1$ и $P2$ обусловлены отношением R между $D1$ и $D2$. Если же признаки $P1(D1)$ и $P2(D2)$ обусловлены одинаковым отношением R каждой из этих вещей $D1$ и $D2$ к третьей вещи $D3$, то результирующие реляционные признаки $P1(D1)$ и $P2(D2)$ могут при определенных условиях взаимно предполагать друг друга и быть противоположными, но не будут конверсивными признаками. Например, верхний и нижний — реляционные соотносительные признаки, взаимно предполагающие друг друга и противоположные, но это не конверсивные признаки, так как они возникают не непосредственно из отношения «верхней и нижней вещей», а из взаиморазмещения вещей относительно направления силы тяжести. То же можно сказать о парах *передний — задний, левый — правый, северный — южный, западный — восточный, центральный — периферийный, средний — крайний; вперед — назад, налево — направо; север — юг, центр — периферия* и т. п. Во всех этих случаях признаки реляционны, соотносительны и взаимно предполагают друг друга. Но они не конверсивны, так как возникают не непосредственно из отношения вещей друг к другу, а из отношения каждой из вещей к некой третьей вещи — ею в этих примерах является пространственная координата.

Какие особенности конверсивов обеспечивает их противопоставление? Причина, обуславливающая поляризацию конверсивных понятий в сознании, их контраст (*противоположность*), достаточно очевидна. Различие между парными конверсивными признаками по их роли в несиммет-

ричном отношении всякий раз оказывается максимальным и взаимодополнительным. Они и взаимно предполагают друг друга в аргументах отношения, и взаимно исключают друг друга в одном аргументе. Они делят между собой пополам признаковое пространство, основанием которого служит отношение аргументов. Поэтому они осознаются и квалифицируются как противоположные.

Даже если в самих аргументах нет ничего такого, что помешало бы им поменяться ролями, например, берущему стать дающим, продающему — покупающим и т. п., система с несимметричным отношением наделяет каждого из них одним из двух соотносительных реляционных признаков, взаимно исключающих и дополняющих друг друга. Нельзя, впрочем, не видеть, что абсолютная взаимозаместимость аргументов несимметричного отношения — случай не столь частый. Статус того или иного аргумента требует от него определенных свойств. Поэтому к различию в конверсивных признаках может добавляться различие в статутно-конгруэнтных признаках, т. е. в признаках, совместимых со статусом аргумента. Иначе говоря, различие аргументов по несовместимым конверсивным признакам усиливается различием в признаках, совместимых/несовместимых с данной ролью. Определенная роль требует определенных качеств, а качества предопределяют — хотя бы в тенденции — возможные роли.

В отличие от обязательных конверсивных признаков статутно-конгруэнтные признаки аргумента часто имеют вероятностный характер. К примеру, завещающий и наследующий различаются не только ролью в акте завещания — наследования, но и, весьма вероятно, возрастом, здоровьем и т. д. Различие в статутно-конгруэнтных признаках усиливает противопоставление конверсивов.

Общее условие конверсивной противоположности — наличие систем (структур) с несимметричным отношением частей. Несимметричные отношения типологически весьма разнообразны. Более того, они гораздо более многочисленны, чем симметричные отношения. Это связано с тем, что симметричные отношения онтологически те же несимметричные отношения, но с мыслительно нивелированным или просто несущественным различием в статусе (ролях) аргументов. Иначе говоря, предикаты симметричных отношений связаны с обобщением уровня отношений, отвлечением от различий в статусе аргументов или с несущественностью этих различий. Ср. *супружество* — *супруги*, но *муж* — *жена*; *борьба* — *противники*, но *наступающий* — *защищающийся*; *игра* — *игроки*, но *выигрывающий* — *проигрывающий*; *(воз)действие* — *актанты* (участники, партиципанты), но *субъект* (агент) — *объект* и т. д. Ср. также примеры симметричных отношений без последующей дифференциации ролей, так как она несущественна: *соседство* — *соседи*, *партнерство* — *партнеры*, *дружба* — *друзья*.

Разумеется, не приходится ожидать, что для каждой пары конверсивов найдется ближайший родовой термин, переводящий несимметричное отношение в симметричное, т. е. исключающий из своей семантики конверсивный признак. Родового термина часто нет, а если он и есть, то может отстоять на несколько ступеней обобщения. Полная парадигма лексических обозначений для отношения и его участников должна бы содержать: 1) предикаты — имена конверсивных признаков (глаголы, прилагательные, наречия); 2) их номинализированные формы — субстантивные транспозиции; 3) имена аргументов отношения, названных по этому отношению; 4) нивелирующий предикат отношения; 5) его номинализированная форма и 6) нивелированное имя аргументов отношения. Но естественный язык часто не заполняет свои матрицы полностью и единообразно, а обходится неполным инвентарем форм или же заполняет пробелы в своих схемах подключением разноуровневых средств или приданием каким-то средствам вторичных функций. См. таблицу 6 (цифры соответствуют обозначениям выше).

Таблица 6

1	2	3	4	5	6
нападать, атаковать — защищаться (обороняться)	нападение, атака — защита — оборона	нападающий, атакующий — защищающийся, обороняющийся	воевать, враждовать	война, военные действия, вражда	враги, противники
attack (v) — defend (v)	attack (n), offensive	attacker — defender	fight	war hostilities	enemies fighters
женатый — замужняя	(пробел) — замужество	муж, супруг — жена, подруга	состоять, быть в браке	брак, супружество	супруги (без формы ед. ч.)
(пробел) — (пробел) жениться — выходить замуж	(пробел) — (пробел) женитьба — (пробел)	husband, man — wife жених — невеста	married вступать в брак	marriage wedlock вступление в брак	spouse брачующиеся
(пробел) — (пробел)	(пробел) — (пробел)	(пробел) — (пробел)	разводиться	развод	(пробел) — (пробел)
(пробел) — (пробел)	(пробел) — (пробел)	(пробел) — (пробел)	divorce (v)	divorce (n)	(пробел) — (пробел)

Примечание: «пробел» означает отсутствие нормативной лексической номинации соответствующего понятия, что, разумеется, не исключает возможности выразить его иными средствами.

Как уже сказано, асимметричные отношения многочисленны и разнообразны. Общая типология их даже не намечена, хотя лингвистика прежде других наук ощущает потребность в ней в связи с изучением предикатных (признаковых) слов, в особенности глаголов, их семантической классификацией, исследованием семантических группировок в лексике, в частности конверсивов, и анализом семантической структуры синтаксических единиц в терминах предикатно-аргументных отношений и т. д. Ролевой синтаксис в духе Ч. Филлмора (падежная грамматика) основывается, по сути дела, только на одном виде несимметричных отношений — на предикатах и аргументах физического воздействия.

Отношения с иной онтологией подводятся под схемы падежной грамматики с изрядной долей насилия и искусственности. Перспективы развития семантического синтаксиса упираются в типологию отношений.

В плане интересующей нас проблемы семантической противоположности следует попутно заметить, что при многоместных предикатах воздействия аргумент — субъект воздействия объединяет в себе несколько концов семантико-синтаксических оппозиций. В отличие от других аргументов он содержит несколько оппозитивных синтаксических значений. Так, в предложении «Дедушка сделал внуку свисток» подлежащее — и агент, и адресант действия.

Сколько бы ни была ваша типология несимметричных отношений сама по себе, здесь нет необходимости углубляться в нее. Для наших целей достаточно уяснить принципиальную общность обширного класса семантических противопоставлений в лексике, основанных на соотносительных конверсивных признаках в лексических значениях слов. Семантическая структура пары конверсивных предикатов содержит общий семантический признак (гиперсему) — понятие об отношении и дифференциальный признак (гипосему) — понятие об одном из соотносительных полярных взаимоисключающих конверсивных признаков. В существительных-конверсивах, называющих аргументы несимметричного отношения по этому отношению, к гиперсеме, т. е. общему (родовому) признаку, добавляется еще соответствующая субстанциональная сема лица, предмета. Так, *продавец* — тот, кто участвует в торговом отношении (гиперсема) так, что продает (гипосема), а не покупает.

Обратимся теперь ко второму типу категориально-логических оппозиций — к семантическим оппозициям на классификационной основе. Речь идет о том типе семантической противоположности, с которым обычно и связывается представление об автонимии. Этот тип представлен многочисленными парами слов, вроде *длинный* — *короткий*, *большой* — *маленький*, *тяжелый* — *легкий*, *сильный* — *слабый*, *горячий* — *холодный*, *живой* — *мертвый*, *живой* — *неживой*, *светлый* — *темный*, *черный* — *белый*, *кислый* — *сладкий*, *сладкий* — *горький*, *бережливый* — *расточитель-*

ный, далекий — близкий, добрый — злой, добрый — скупой, приятный — неприятный, хороший — плохой и т. д. и т. п.

Приведенные слова также обозначают признаки, принимаемые нами за несовместимые противоположные, но природа признака здесь иная, чем у конверсивных пар.

Конверсивные признаки возникают только в несимметричном отношении одной вещи к другой, так что конверсивный признак у одной вещи существует лишь постольку, поскольку есть другая вещь с противоположным конверсивным признаком, а некое отношение этих двух вещей и есть непременное условие появления у них противоположных признаков. В приведенных примерах дело обстоит иначе. Некто весел отнюдь не обязательно в силу того, что некто другой грустит. Для его веселости может быть множество причин. Она может быть свойством его характера, результатом его отношений с кем-то (чем-то) третьим и, наконец, может вызываться по разным причинам — либо весельем, либо грустью других.

Рассматриваемые признаки, конечно, коррелятивны (соотносительны), поскольку каждому есть своя пара с единым основанием, но между двумя такими признаками нет импликационной связи — два признака не взаимодействуют таким образом, что один является условием существования другого. Если они и взаимосвязаны, то только в сознании как результат систематизации сознанием отражаемого им мира: ночь темна не потому, что день светел, а в сравнении с ним. В этом отличие рассматриваемых признаков от конверсивных: пара конверсивных признаков связана и в сознании, и в действительности, причем первое является отражением второго.

Здесь возникает соблазн связать два типа противоположности соответственно с признаками-свойствами и признаками-отношениями. Но это было бы ошибкой.

Понятно, что признаки-свойства не могут составить конверсивной пары признаков, их оппозиции не объединяет импликационная связь. Однако противоположные признаки-отношения образуют не только конверсивные пары, но и оппозитивные пары без импликационной связи, т. е. того же типа, который теперь подлежит рассмотрению. К примеру, признаки «далекий — близкий» релятивны, но образуют коррелятивную пару без импликационной связи, поскольку возникают не из отношения один к другому, а к чему-то третьему — точке отсчета.

Таким образом, признаки ставятся в соответствие один другому и образуют соотносительные, в том числе противоположные, пары в двух случаях. В первом случае соотносительность и противоположность признаков возникает из отношения (связи, зависимости, взаимодействия) вещей как взаимообусловленные характеристики вещей в этом отношении. В сознании также признаки связаны отношением импликации (импликационной связью). Это конверсивная противоположность. Соответствующие ей лек-

сические оппозиции одной части речи можно назвать конверсивной антонимией.

Во втором случае коррелятивность и противоположность признаков никак не требует в качестве условия, чтобы вещи, обнаруживающие данные признаки, как-либо взаимодействовали, обнаруживали какую-то природную связь и зависимость. В этом случае признаки связываются сознанием, и эта связь представляет собой частный случай классификационного типа концептуальных связей.

Классификация в широком смысле — второй важнейший (наряду с импликацией) способ организации сознания, упорядочения представлений и понятий в когнитивные структуры. Классификационные связи — мыслительный аналог распределения признаков в вещах. Их назначение — в том, чтобы вскрыть общее/различное в вещах, установить закономерности в бесконечном разнообразии мира, свести индивидуальную неповторимость вещей к обозримой иерархии типов, прогнозировать проявления вещей, их признаки и реальные связи и тем самым позволить отражающей системе оптимальным образом строить свое поведение в окружающем ее мире.

Соответственно этот тип корреляции признаков, включая противоположность признаков, можно назвать классификационной. Классификационные связи упорядочивают признаки по их собственному содержанию, по их физической природе, воздействию на органы чувств, производимому ощущению и механизмам восприятия, условиям, характеру и следствиям их проявления и т. д.

Следует признать, что это «и т. д.» скрывает не только множественность оснований систематизации признаков, но еще больше, как уже было отмечено выше, недостаточность наших знаний о том, что лежит в основе интуитивной таксономии признаков, что обуславливает наши представления о сходстве/различии признаков, их однородности/разнородности, идентичности/неидентичности, тождественности/нетождественности, о типологии, системных соотношениях и иерархии признаков и оснований признаков. О систематике признаков известно еще меньше, чем о систематике вещей, и это связано с недостаточной разработанностью этого предмета не только в науке, но и в самой практике и языке.

По другому общекатегориальному основанию оппозиции признаков надо разделить на качественные и количественные. Основание этого деления — уже не в характере связи двух оппозитивных признаков, импликационной или классификационной, а в различии оппозиций по известной общекатегориальной дихотомии количества и качества. Следует заметить, что конверсивные оппозиции — всегда оппозиции качества, в то время как при классификационно связанных оппозитивах возможны оппозиции и по качеству, и по количеству. Количественный контраст как будто менее очевиден, чем качественный, и не сразу заметен. Но когда о признаках, вроде «длинный — короткий», говорят как о разных (и противоположных) при-

знаках, то реально имеют дело с количественным различием в качественно тождественном признаке длины. Качественная оппозиция сталкивает качественно различные признаки с общим основанием, ср. пол = мужской — женский. При количественной оппозиции противоплагаются количества качественно тождественного (одного и того же) признака, т. е. в основу кладутся контрастные оценки количества признака.

В целом по отношению к категории количества признаки делятся — и делятся не жестко, а вероятно, с возможными переходами — на три группы: 1) те, для которых количественная оценка не характерна, ср. *живой, мертвый*; 2) те, для которых характерны только относительные оценки количества признака, ср. *приятный, неприятный* и 3) те, для которых возможны как относительные, так и абсолютные количественные оценки, ср. *длина*. Для последних установлены меры измерения количества признака. Указанные группы следует назвать неизмеримыми (неколичественными), относительно-количественными (неопределенно-количественными) и мерными признаками. Это обозначение, отсылающее к понятию меры, лучше, чем «размерные признаки». На дистрибуцию слова «размер» наложены ограничения: «размер» подходит для площадей и объемов, ср. «размеры поля, пальто, шляпы, куба» и т. п., но мало подходит для обозначения линейных и всех непространственных измерений: возможен «линейный размер», но нельзя сказать «размер линии, границы, дороги» и т. п. — все это «длина». Не говорят также «размеры скорости, силы» и т. п. Те же обозначения распространяемы на имена признаков.

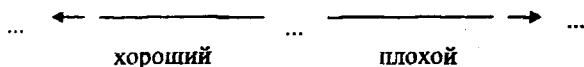
Деление оппозиций на количественные и качественные, однако, основывается не на возможности/невозможности количественной оценки того или иного признака, а на характере отношения между двумя оппозитивными признаками — количественном и качественном. В самом деле, два соотносимых признака, в том числе и противоположных, могут быть различными либо количественно, ср. *короткий — длинный*, либо качественно, ср. *хороший — плохой, свернуть — развернуть, купить — продать*. Количественные оппозиции образуют мерные признаки, а неизмеримые (неколичественные) и неопределенно-количественные (относительно-количественные) признаки образуют только качественные оппозиции.

Количественные и качественные оппозиции моделируются с существенным различием.

У первых точкой отсчета служит нуль признака, от которого количество его нарастает и, достигнув определенной меры, переходит через зазор от малой меры к большой, причем оппозитив большой меры, в отличие от малой, не закрыт в свою сторону:



Качественные оппозиции сводят два однородных, но качественно различных признака. Их никак нельзя представить образованными качественным нарастанием (уменьшением) одного и того же качества. Здесь два качества, и зазор является границей между двумя качествами, а не между количествами одного качества. Если качественная оппозиция сталкивает неопределенно-количественные признаки, то нарастание количества в модели происходит в двух противоположных направлениях от зазора, и это нарастание двух разных качеств:



Очевидно, что при количественном противопоставлении исходят не из каких-то абсолютных мер признака, а из относительных его величин, различных в абсолютном выражении у разных классов вещей, т. е. исходят из количества признака больше или меньше некоторой средней, нормальной, эталонной величины у данного класса вещей. Дело в том, что людей интересует не столько сравнение предметов разных классов по абсолютной мере признака, сколько относительное сопоставление по этому признаку внутри каждого класса. Поэтому в каждом классе вещей (или группе сопоставимых классов) относительная приближенная мера признака имеет разную абсолютную величину. Короткий нос является таковым по отношению к длинному носу, а самые длинные носы короче коротких рук.

Количественная семантика мерно-признаковых слов относительна, абсолютная мера признака для нее не существенна, она вступает в игру в рамках того или иного класса и предполагает знание приблизительных соотношений в классе по количеству признака. Эти слова описывают по одной модели соотношения вещей внутри каждого класса порознь.

Вообще противопоставление по какому-либо основанию есть обобщение противопоставлений по этому основанию в разнообразных классах вещей, образуемых независимыми от этого основания признаками. Когда мы говорим о любом пространстве основания, например длины, то не следует представлять множества, образуемого подмножествами длинных и коротких предметов с зазором между ними. Понятие о пространстве основания, как и о всяком признаковом пространстве, образуется обобщением в два этапа: на первом этапе это множества длинных и коротких предметов определенных классов, а на втором этапе — модель, обобщение этих множеств в отвлечении от конкретного классообразующего признака, но отнюдь не сумма всех длинных вещей в отношении ко всем коротким вещам независимо от их класса.

При классификационной оппозиции признаков, как и при конверсивной, зачастую имеются антонимы — имена оппозитивных признаков, но

отсутствует имя их основания, а если и есть родовый термин, то он может отстоять на несколько ступеней обобщения. Ближайшее родовое слово — имя основания можно ожидать только в оппозициях мерных признаках. В других случаях его наличие — скорее исключение из общего правила. Это правило, по-видимому, состоит в том, что имя непосредственного основания оппозитивных признаков можно ожидать лишь там, где признаковая область освоена человеком не только практически, но и осмыслена теоретически — в силу того, что эта область почему-либо существенна для человека. Показателем этого служит, в частности, установление количественной меры признака.

Полная парадигма лексических обозначений для классификационно связанных признаков должна бы содержать: 1) предикаты — имена признаков; 2) их номинализированные формы — субстантивные транспозиции; 3) имя основания однородных признаков и его номинализированную форму; 4) имена носителей признака, поименованных по этому признаку. Практически эта парадигма, если и заполняется, то разнородными средствами выражения, нередко в их вторичной функции.

Имя основания, там, где оно есть, может быть словом того же корня, что имя одного из оппозитивных признаков. У мерных прилагательных при этом избирается прилагательное высокой меры признака, ср. «короткий — длинный = длина». Но имя основания, в том числе и у мерных признаков, может быть словом иного корня, не представленного в именах оппозитивных признаков, ср. «легкий — тяжелый = вес». Имена основания обычно существительные; адъективные транспозиции, хотя и возможны, мало им свойственны, ср. *вкусный — невкусный = вкус, вкусовой; красный, желтый, зеленый... = цвет, цветной, цветовой*.

Транспозиционная недостаточность имен оснований мерных признаков компенсируется тем, что имя оппозитивного признака высокой меры выступает не только как член эквиолентной оппозиции, но способно к немаркированному употреблению с нейтрализацией противопоставления и переходом оппозиции в привативную. Так, о длине и длинного, и короткого предмета можно спросить: «Какова его длина? Насколько он длинен?» Вопрос «Насколько он короток?» уместен только о предмете, который полагают коротким.

Выбор в качестве немаркированного члена прилагательного высокой меры признака, равно как и нередкое совпадение его по корню с именем основания, объясняется, по-видимому, тем, что большое количество признака ярче и нагляднее представляет признак вообще. Транспозиционная недостаточность имен оснований, свойственная им форма существительного и отсутствие или малоупотребительность адъективных (и вообще признаковых) форм также имеют простое объяснение: речевая потребность в «чистом» их выражении невелика, основания признаков реже становятся предметом внимания, чем сами признаки, потребность в адъективных

формах имен оснований предполагает более обобщенный уровень констатаций о признаках.

Многочисленные случаи, когда классификационные оппозиции признаков не имеют ближайшего имени основания, а имеющееся имя или отстоит на несколько ступеней обобщения, или вообще отсутствует, иллюстрируются следующими примерами: *хороший* — *плохой* = оценка, *приятный* — *неприятный* = оценка; *веселый* — *грустный* = эмоция, *счастливый* — *несчастливый* = эмоция, эмоциональное состояние; *сладкий* — *кислый* = вкус, *сладкий* — *горький* = вкус, *пресный* — *соленый* = соленость (?), вкус; *близкий* — *далекий* = удаление (отдаленность), расстояние; *левый* — *правый* = сторона; *сложение* — *вычитание* = арифметическое действие, *умножение* — *деление* = арифметическое действие; *добрый* — *злой* = ?; *бережливый* — *расточительный* = ?; *шумный* — *тихий* = ?

Как было показано, конверсивный семантический контраст обусловлен представлением о двух «концах» несимметричного отношения, о полярном различии аргументов в таком отношении. На чем же основана классификационная оппозиция признаков? Какое общее представление, единая умственная модель лежит в основе разнообразных классификационных оппозиций?

В основе лежит та же пространственная модель. Разнообразные оппозиции объединяются возможностью такого моделирования пространства основания признаков или, иначе говоря, такого упорядочения множества вещей с данным основанием, что модель этого множества может быть уподоблена простейшим случаям противоположности в прямом первичном значении этого термина — пространственной структуре с расположением частей структуры напротив друг друга или динамической структуре с противоположными векторами механического движения.

При этом возможны несколько случаев. Оппозитивные признаки могут исчерпывать множество по данному основанию, упорядочивая его делением на две части. В этом случае моделью служит осевая пространственная противоположность, а оппозитивные признаки называются *контрадикторными*, ср. *живой* — *неживой*, *органический* — *неорганический*, *известный* — *неизвестный*, *правильный* — *ошибочный*, *истинный* — *ложный* (при двузначной логике), *входит* — *выходит*, *прибывать* — *убывать*, *поднимать(ся)* — *опускать(ся)*, *стареть* — *молодеть*, *богатеть* — *беднеть*, *деградировать* — *возрождаться*, *находить* — *терять*, *сложение* — *вычитание*, *умножение* — *деление*, *возведение в степень* — *извлечение корня*, *дифференцирование* — *интегрирование*, *вступать в брак* — *разводиться*, *постоянство* — *изменчивость*, *покой* — *движение*.

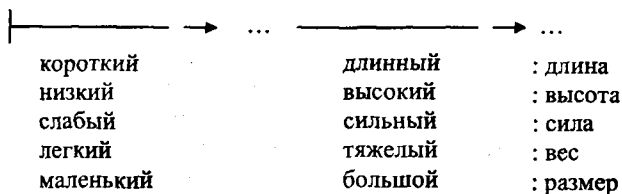
Чтобы получить контрадикторную оппозицию, надо поделить пространство основания на два исчерпывающих его признаковых пространства. Однако сделать это можно двумя способами. Первый иллюстриру-

Пунктир указывает на относительный, подвижный характер границ между температурными фазами (даже в пределах одного класса предметов). Границы эти могут сдвигаться от класса к классу — семантика температурных прилагательных также относительна, горячий лоб, к примеру, находится в температурном диапазоне теплого металла, но усредняющей общей мерой часто служит тепловая норма человека, и это универсальный фактор: человеку свойственно избирать себя в качестве меры вещей.

Модель симметрична, и положение относительно оси существенно. Помимо сильного контраста крайних членов, есть слабый контраст средних равноудаленных от оси членов: прохладный — теплый.

Если множество не упорядочено по какому-либо параметру основания, то остается лишь различие признаков, но нет противоположности (контраста, оппозиции). Так, в обыденной практике цветовое пространство мало упорядочено и цвета больше различаются, чем противопоставляются. Однако любое структурирование, упорядочивая множество, выявляет противоположности насыщенных/ненасыщенных цветов, ярких/тусклых, теплых/холодных, коротковолновых/длинноволновых и т. п.

В житейских представлениях температурное пространство не ограничено в оба конца (что показано на модели пунктиром), так как абсолютный нуль температуры не был известен. Обычно же мерные признаки имеют нулевую точку отсчета, но не ограничены со стороны высокой меры основания. Их модель тем самым имеет следующий вид:



Мерные признаки иллюстрируют оппозицию на количественной основе, когда признак «мягко скользит» по шкале количества, т. е. имеет явный и достаточно широкий диапазон количественного варьирования. При этом между оппозитивными признаками появляется средний термин, имеющий более узкий количественный диапазон и служащий осью отсчета в обе стороны. Обычно он не имеет специального лексического обозначения для каждого основания, а, напротив, одинаков у различных оснований: *средней длины, среднего роста, среднего размера, среднего веса*. Этимология обозначения этого осевого звена наглядно подтверждает пространственную основу моделирования признаков/оснований.

Мерные признаки с единым основанием, конечно, разные признаки, но различаются они количеством, а не качеством признака: длинный и ко-

роткий — и то, и другое длина, тяжелый и легкий — вес. Это количественные признаки. Однако использование разных слов для их обозначения, создающее известную иллюзию различий в качестве признака, по видимому, не случайно: различные обозначения фиксируют границы качественно существенных или, по крайней мере, практически важных изменений в количестве признака. Варьирование количества в пределах одной фазы основания выражается уже не лексически, а сочетанием имени признака с интенсификаторами и квантификаторами.

Другой вид классификационной оппозиции признаков — оппозиция качественная, когда в отличие от количественного контраста оппозитивные признаки качественно различны, хотя и имеют единое основание. Ср. *живой — мертвый, живой — неживой, органический — неорганический, светлый — темный, белый — черный, кислый — сладкий, горький — сладкий, добро — зло, горе — счастье, бережливость — расточительность, хороший — плохой, скверный — отличный, приятный — неприятный, тихий — шумный, скромный — нескромный*. Заметим, что некоторые пары входят в один ряд как его сильные и слабые противопоставления: *скверный — плохой — хороший — отличный — белый — светлый — серый — темный — черный*. Таким образом, ряд с качественной противоположностью может содержать более двух членов, упорядоченных по единому параметру и вступающих в противопоставления сильные (крайние члены ряда) и слабые (средние члены).

Качественный контраст — яркое проявление диалектичности мира и сознания. Сближение оппозитивных понятий и имен основывается на диалектическом единстве противоположностей. Качественное различие делает контраст признаков более резким. За редкими исключениями родовое имя общего основания или отсутствует вообще, или отстает на несколько ступеней обобщения. В этом плане качественный контраст сходен с конверсивным. Ближайшее общее имя свойственно только количественному контрасту признаков.

Следующие явления в качественных оппозициях признаков заслуживают отдельного упоминания.

Качественная оппозиция прямого непрямому возникает на количественном различии между двумя точками и связанном с этим количественном различии во времени и усилиях, требующихся для прохождения из одного пункта в другой. Она интересна тем, что если прямое непосредственно воплощено в прямом, то не прямое конкретно проявляет себя как кривое или ломаное, т. е. оппозиции на одном конце расчленяется на несколько противочленов.

Следующие пары: *положительный — отрицательный, плюс — минус, разум — безумие, разрешать — запрещать, утверждать — отрицать, поощрять — наказывать, динамика — статика, синхрония — диахрония*,

количество — качество, целое — часть, пространство — время, необходимость — случайность, истина — ложь, порядок — беспорядок, порядок — непорядок и т. п. и т. д. — при всем их предметно-логическом разнообразии относятся к одному виду противоположности — качественным (контрадикторным) оппозициям. Во всех подобных случаях два качественно различных признака имеют единое основание (однородны) и вместе с зазором исчерпывают пространство этого основания. Моделью служит осевая пространственная противоположность.

Между двумя противочленами возможны промежуточные термины, но, если множество из более чем двух членов упорядочено, первоначальные противочлены занимают в нем крайние позиции и остаются в отношении максимального различия. Ср. *да — нет, да — возможно — вряд ли — нет; всегда — никогда, всегда — часто — средне — редко — никогда*. При этом множества разной мощности различаются «разрешающей способностью», т. е. уровнем квантования признакового пространства, степенью его детализации. С этим также связано варьирование семантики слов по линии большей или меньшей обобщенности — специализации.

Возможны, впрочем, двойственные случаи, соединяющие качественный контраст с количественным, и тогда можно ожидать общее имя. Ср. *нищий — бедный — состоятельный, зажиточный — богатый* = имущественное состояние, состоятельность.

Нетрудно заметить общую тенденцию: многочленный оппозитивный ряд, дающий более детальную прорисовку количественно упорядоченного признакового пространства, может редуцироваться до двучленной оппозиции, дающей более огрубленную, обобщенную картину с меньшей степенью разрешения. Речь, понятно, идет не об историческом процессе, который обычно развертывается в обратном направлении — в сторону большей детализации понятийного пространства (поля), а о системном взаимодействии двух самостоятельных рядов с одинаковыми именами — развернутого и простого. Ср. *нищий — бедный — состоятельный, зажиточный — богатый* и *бедный — богатый; белый — светлый — серый — темный — черный* и *светлый — темный*. В составе двучленного ряда антонимы означают не то же самое, что в многочленном ряду. Их значение обобщается, каждый стремится полностью занять свой «фланг» оппозиции, признаки из контрастных становятся контрадикторными, а недостаточная прорисовка предметной области может быть компенсирована за счет сочетаний с разными интенсификаторами и квантификаторами признаков.

Здесь мы сталкиваемся с частным случаем подвижности семантики, характерной для словесных знаков, — гипер-гипонимическим (родовидовым) варьированием значений. Это явление объясняет, почему логику нелегко подыскать «чистые» примеры контрадикторных признаков.

Отрицания (отрицательные аффиксы или частицы) не являются универсальным средством образования конрадикторных значений. Этого и не следует ожидать, поскольку наряду с однокорневой производной антонимией, ср. *приятный* — *неприятный*, имеется разнокорневая антонимия, ср. *хороший* — *плохой*. Язык не был бы экономен, если бы производно-отрицательные антонимы просто дублировали семантику разнокорневой оппозиции. Следует, напротив, ожидать их семантической дифференциации.

Попутно надо заметить, что образование конверсивных пар средствами отрицания невозможно. За вычетом словосочетаний конверсивные значения выражаются лексически, ср. *давать* — *брать*, грамматически, ср. актив и пассив глагола, а также лексико-семантическими вариантами слова, ср. *печальный*: 1) такой, что печалит, «печальные поляны», 2) опечаленный, «печальный юноша», отрицание не сдвигает конверсив в область его противочлена, ср. *не брать* = *давать*, *unlocked* = *be locked*. Отрицание замыкается областью классификационных противопоставлений, и это составляет одну из черт различий между конверсивным и классификационным контрастом признаков.

В бинарных лексических оппозициях производно-отрицательные антонимы называют конрадикторный признак в отсутствие разнокорневых антонимов, ср. *приятный* — *неприятный*, *вкусный* — *невкусный*. В оппозициях из большего числа членов они, естественно, называют контрарный признак, ср. *вкусный* — *безвкусный* — *невкусный*, *полезный* — *бесполезный* — *вредный*. Имеется значительное и, очевидно, неслучайное сходство между языками в выражении одинаковых оппозиций признаков одинаковыми способами — разнокорневым и производно-отрицательным.

Однако остается неясным, когда и почему языки прибегают к разным корням, когда и почему они обходятся отрицательными аффиксами и частицами.

Отрицательные слова (частицы), хотя и не специализированы строго в выражении конрадикторного оппозиционного признака, являются, конечно, простейшим и наиболее универсальным средством семантического противопоставления. Напротив, отрицательным аффиксам даже при высокой их продуктивности свойственны дистрибутивные ограничения, причем логические мотивы этих ограничений часто также непонятны. Их можно описать, но трудно объяснить.

С учетом того, что префиксальные противочлены то сами образуют оппозитивную пару, то подключаются к контрасту разнокорневых пар, можно выявить в русском языке следующие виды классификационных лексических оппозиций по способу выражения входящих в их состав противочленов. Они представлены характерными примерами:

- 1) *приятный* — *неприятный*,
- 2) *светлый* — *темный*,

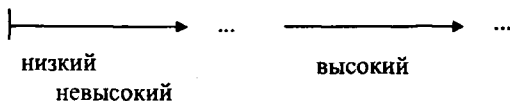
- 3) высокий — невысокий, низкий,
- 4) живой — мертвый, неживой,
- 5) хороший, неплохой — нехороший, плохой.

Первый случай — чистая производная антонимия, разнокорневых противочленов нет.

Второй — чистая разнокорневая антонимия, производные («несветлый», «нетемный») не употребительны. Третий — смешанная несимметричная группа, отсутствует один из производных противочленов («ненизкий»). Четвертый случай — смешанная полная симметричная группа. К заданным выше и остающимся без ответа вопросам добавляются еще следующие. Неясно, почему в одних случаях разнокорневые антонимы оба не имеют производных противочленов, в других случаях оба их имеют и, наконец, его имеет только один из разнокорневых антонимов, и почему именно этот, а не другой.

Проблема семантической дифференциации разнокорневых и производно-отрицательных антонимов возникает, понятно, в третьем и четвертом случаях. В первом она снимается отсутствием разнокорневого противочлена. Во втором — отсутствием узувального производного: «несветлый», «нетемный». Они, правда, возможны как окказиональные искусственно смоделированные образования и имеют тогда конрадикторный смысл, равно как и соответствующие сочетания с отрицанием: «не светлый; не темный; не светлый, а ... ; не темный, а ...».

В третьей группе семантика производного покрывает область синонимичного ему разнокорневого антонима плюс промежуточная область между двумя признаками, тот зазор между ними, который описывается разделительными конструкциями: «ни высокий, ни низкий». Однако давление разнокорневого синонима приводит к тому, что семантика производного ограничивается областью этого зазора с некоторым наложением на область своего партнера:



Наложение семантики отрицательно-производного на семантику его синонима ограничивается типичной (средней, обычной) мерой количества признака, характерного для определенного класса вещей. Отрицательно-производный синоним останавливается в этом интервале шкалы количества признака и не заходит за него в сторону максимально большей меры признака. Этим он отличается от значения своего разнокорневого синонима, который не посягает на зазор между оппозитивными признаками в двучленном количественном ряду, но зато не ограничен

обозначением своего признака в сторону его возрастания. Указанное различие в семантике разнокорневого и производного синонимов выявляется в возможностях их сочетаемости со словами-интенсификаторами, указывающими предельно высокую и запредельно низкую меру признака, ср. «совершенно грязный», но «совершенно нечистый»; «невысокого, почти низкого роста».

Отрицательное производное предполагает бинарную оппозицию признаков, по причине указанного наложения оно не становится вполне средним термином как в тернарной оппозиции «низкий — средний — высокий». Поэтому возможно сказать: «он был невысокого, даже (почти) низкого роста; он был не высокого, но и не низкого роста; он был невысокого, точнее, среднего роста» («точнее» указывает на переход от бинарной к более дробной тернарной оппозиции), но нельзя сказать: «он был невысокого, даже (почти) среднего роста», так как при этом смешивались бы бинарная и тернарная оппозиции.

Отмеченная особенность семантики производного противочлена объясняет прагматику его использования. Наложение на область его синонима позволяет использовать производный термин для характеристики объектов, явно лежащих в области этого синонима, а выход производного в область зазора позволяет погасить коннотации (импликации и оценки), связанные с областью синонима. К примеру, человеку низкого роста приемлемей услышать, что он невысокого роста.

В многочисленной оппозиции разнокорневых противочленов не все они могут рассчитывать на производный антоним; обычно им приходится обходиться простым отрицанием, ср.:

холодный — прохладный — теплый — горячий,

не холодный — не прохладный — не теплый — не горячий.

Сочетания с отрицанием имеют в каждом случае контрадикторный смысл. Там же, где появляется производный антоним, ср. «негорячий», он не образует контрадикторной пары с производящим словом, а распространяет свою семантику только на область зазора производящего с ближайшим противочленом плюс известное наложение на семантику этого противочлена. Так, «негорячий чай» — это чай ни горячий, ни теплый, но никак не холодный.

В четвертой группе каждый из разнокорневых антонимов имеет свой производный противочлен. Один из этих последних ведет себя так же, как производный антоним в третьей группе, т. е. его семантика включает область зазора и отчасти накладывается на область синонима. Другой же из производных ограничивается исключительно оставшейся частью пространства основания, не претендуя на зазор.

Его семантика совпадает с его разнокорневым синонимом, и они разнятся только прагматическим содержанием:

...	←	хороший	→	плохой	→	...
		неплохой		нехороший		
...	←	малый	→	большой	→	...
		небольшой		немалый		
...	←	мало	→	много	→	...
		немного		немало		

Остается неясным, почему распространение на область зазора не свойственно обоим производным противочленам, не удастся прогнозировать при качественной антонимии, какой из двух производных антонимов будет избран на роль перекидного моста. В случае оппозиции мерных признаков эта функция, как уже отмечалось выше, больше свойственна производному антониму с семантикой меньшей меры признака, ср. примеры 2 и 3 выше.

Выше было показано, что противоположность признаков может быть импликационной (конверсивной) и классификационной. Теперь, когда рассмотрены природа и особенности контраста в каждом случае, необходимо обратиться к другому аспекту проблемы и уяснить, что обеспечивает однородность противоположных признаков, общность единого основания при полярности составляющих. Вопрос этот небезинтересен как в широком теоретическом (гносеологическом и психологическом), так и собственно лингвистическом планах. Нетрудно видеть, что ответ на него позволяет понять, почему сознание сближает противоположные понятия и почему антонимы, несмотря на семантическую антитезу, одна из самых тесных и очевидных группировок в лексике.

Интуиция, пожалуй, не испытывает больших затруднений, определяя, какие признаки однородны, а какие нет. Однако теоретически этот вопрос не из легких.

В случае конверсивных признаков ответ достаточно ясен. Единство полярных конверсивных признаков обеспечивается единством порождающего их отношения: несимметричное отношение предполагает и наличие, и поляризацию аргументов.

Общее основание количественных контрастов также очевидно: два количественно оппозитивных признака качественно однородны, качественно это один признак (= основание), варьирующий по количеству.

Сложнее обстоит дело с качественными оппозициями. В этом случае два оппозитивных признака — разные признаки, а объединяющее их понятие может отстоять на несколько ступеней обобщения. Так, *радостный* — *грустный* — два разных, взаимно отрицающих друг друга признака, а по-

нятие эмоционального состояния объединяет не только *их*, но и такие контрастные пары, как *довольный — недовольный, возбужденный — подавленный, взволнованный — равнодушный, счастливый — несчастный* и т. д. В отличие от количественных оппозиций качественные, за редкими исключениями, не имеют ближайшего гиперонима, однокорневого с одним из членов оппозиции, или ближайшего гиперонима с корнем, отличным от членов оппозиции. Качественное различие оппозитивных признаков проявляется также в том, что невозможно немаркированное употребление имени одного из оппозитивов в значении основания противопоставления. Их нейтрализация невозможна. Вопрос «Насколько умен *X*?» содержит в presupпозиции, что *X* сколько-то умен, а ответ «*X* глуп» не только информирует о *X*, но и отвергает presupпозицию вопроса — глупость не малая мера ума, а его качественная противоположность.

Отсутствие ближайшего гиперонима качественной оппозиции может быть просто языковой проблемой: нет слова, но есть понятие основания. Однако дело, по-видимому, не просто в лексической недостаточности языков, но в мыслительной природе этих оппозиций, в степени их аналитической освоенности сознанием человека и практической важности в его деятельности. Есть качественные оппозиции с достаточно наглядной, хорошо осознанной и практически актуальной основой противопоставления. Здесь основание оппозиции может рассчитывать на общепринятое имя, ср. *мужской — женский* = пол. Но таких случаев, по-видимому, немного, и язык, отражая освоенную человеком глубину признаковой структуры мира, оставляет нас на уровне недостаточного обобщения, с именами конкретных оппозитивов, но без родового термина. И, если надо обозначить это категориальное понятие наличными средствами, приходится называть обе его оппозитивные части, как в выражениях *ходить взад-вперед, бегать туда-сюда; проблема отцов и детей, войны и мира, души и тела, идеального и материального* и т. п.

Но и в количественных оппозициях мерных признаков с наличным гиперонимом видно, что обобщенный уровень родового понятия менее и, очевидно, позднее освоен в плане средств его номинации.

5. Условия антонимичности и структура антонимических значений

Антонимия связана с выражением противоположных признаков. Необходимыми условиями антонимии принято считать однословность единиц и принадлежность их к одной части речи. Условия эти, по-видимому, несколько чрезмерны и оставляют за чертой антонимии немало семантических противоположностей не только контекстуально-речевого, но и регу-

лярно-языкового характера. По указанному определению нельзя, строго говоря, считать антонимичными выражения «на север — в южном направлении», хотя «север — юг», «северный — южный» и, очевидно, «на север — на юг» — очевидные антонимы. Точно так же и выражения «входить — быть на выходе (= выходить)» не удовлетворяют условию антонимичности. На деле, однако, комбинаторно-семантический анализ значений покажет, что подобные пары, несмотря на структурно-грамматические различия, по значению разнятся только противоположными семантическими признаками.

Вместе с тем традиционные ограничения на антонимию имеют определенное оправдание. Когда есть пара единиц с противоположным значением, но тождественных по возможно большему числу признаков (однословность, принадлежность к одинаковой части речи), не выявляет ли это оппозицию и равенство обоих понятий-противочленов с наибольшей четкостью? И все же, хотя антонимия в привычном представлении и образует ядро отстоявшихся в языке семантических противоположностей, для полного их выявления и анализа потребуется выйти за пределы традиционных ограничений.

Такое расширение границ антонимии — дело особого исследования. Здесь предстоит указать условия лексической антонимии, т. е. указать условия, при которых два слова одной части речи с разной семантикой могут считаться антонимами. Принимается, что такие слова не могут различаться грамматическими значениями, а только своими лексическими значениями. Первый случай очевиден: если лексические значения двух слов исчерпываются противоположными семантическими признаками, то такие слова антонимичны. Условия же противоположности признаков были очерчены выше. Первый случай охватывает антонимию признаков слов (прилагательных, глаголов, наречий) и их субстантивных транспозиций: *добрый — злой, добро — зло; холодный — теплый, холод — тепло; приходить — уходить, приход — уход; дружить — враждовать, дружба — вражда*.

Но антонимами надо считать также пары слов, лексическое значение которых не исчерпывается противоположными признаками, а содержит нечто сверх их.

Условие этого второго случая антонимии состоит в том, что значения слов должны содержать общую родовую часть (гиперсема), в то время как различающие их видовые части значения (гипосема) должны исчерпываться противоположными признаками, ср. *север — юг, восток — запад, вход — выход, храбрец — смельчак — трус, слепец — зрячий, друг — враг, плюс — минус, субъект — объект, учитель — ученик, родитель — ребенок, соратник — противник, комедия — драма, блондинка — брюнетка, душа — тело, война — мир* и т. п.

Север: гиперсема — стороны света, гипосема — северная; юг: гиперсема — сторона света, гипосема — южная. Вход — место (гиперсема), где

входят (гипосема); *выход* — место (гиперсема), где выходят (гипосема). *Храбрец* — тот (гиперсема), кто храбр (гипосема); *трус* — тот (гиперсема), кто труслив.

Плюс — знак (гиперсема) сложения (гипосема); *минус* — знак (гиперсема) вычитания (гипосема). *Субъект* — тот в ситуации воздействия кого-то на кого-то/что-то (гиперсема), кто воздействует (гипосема), *объект* — тот в ситуации воздействия кого-то на кого-то/что-то (гиперсема), на кого воздействуют (гипосема), и т. д.

Если же различие в семантике двух слов исчерпывается противоположными признаками, но эти признаки составляют лишь часть гипосем двух слов, то такие слова не составляют семантической противоположности один другому. Ср. *река* — поток (гиперсема) относительной большой массы воды в естественных берегах (гипосема) и *ручей* — поток (гиперсема) относительно небольшой массы воды в естественных берегах (гипосема).

Антонимия имен оппозитивных признаков (первый рассмотренный случай) представляет семантическую противоположность в наиболее чистом, полном и явном виде. К семантике имен не примешано ничего общего сверх понятия о едином основании, признаков, сами значения исчерпываются понятиями об оппозитивных признаках как взаимоисключающих реализациях (проявлениях) этого основания. Это прямая признаковая противоположность и прямая признаковая антонимия.

Во втором указанном выше случае антонимии мы имеем дело с именами классов, конституируемых оппозитивными признаками. В наиболее обобщенном случае семантика такого имени состоит из двух сем: «носитель признака *P*» (т. е. из общей для всех их гиперсемы «носитель признака») и различающего их понятия об одном из противоположных признаков.

Практически, однако, гиперсема сужает и конкретизирует свое понятие до подклассов носителей, т. е. равняется по смыслу не носителю вообще, а носителю некоего определенного рода, например, *носитель* — человеческое существо, *носитель* — взрослое человеческое существо, *носитель* — лицо, для которого признак является его постоянной характеристикой, профессиональным занятием и т. п. Так, «учитель» — прежде всего лицо, для кого учить — профессиональное занятие, и лишь в потенции любое существо (не обязательно человек), взявшееся учить (не обязательно как профессиональное или даже характерное постоянное занятие).

Такой семантический прирост в именах признаков, в том числе дипозитивных, семантические добавки сверх мысли о признаке и вещи — его носители — несколько смягчает, затеняет понятийный контраст антонимов этого рода. Чем богаче содержанием общая часть в значении имен с оппозитивными гипосемами, тем менее резок их семантический контраст, ср. *мужчина* — *женщина*, *рабочий* — *крестьянин*, *блондин* — *брюнет* и т. п.

Наконец, в семантическое противопоставление могут вовлекаться слова, в лексических значениях которых отыскиваются противоположные признаки, но эти признаки никак не исчерпывают ни всего значения слов, ни их гипосем (видовых, дифференциальных признаков), а составляют только часть гипосем или даже относятся к коннотационной периферии семантики слов (к импликациональным частям их значений), ср. *лед — пламень, земля — небо, воск — камень, кошка — собака, вода — огонь, тюрьма — воля, ноги — руки, голова — хвост, подвал — чердак, пол — потолок, горы — долины, горы — равнины, море — суша, зять — теща, деревня — город, ни рыба — ни мясо, ангел — дьявол, бог — сатана, ад — рай, оазис — пустыня, заяц — орел, животные — растения, конь — (трепетная) лань, черепаха — Ахиллес, Моцарт — Сальери, Птоломей — Коперник* и т. д. Это косвенная субстанциальная противоположность и антонимия.

Хотя различие в семантике этих слов несводимо к противоположным семантическим признакам, они выступают как конкретно-символическое представление пары таких признаков, абстрактная антитеза признаков осваивается через конкретные образы их носителей, но при этом отвлекаются от многочисленных иных признаков вещей, выводящих их из дихотомического противопоставления друг другу. Антонимические пары такого рода либо привычны, узуальны, либо окказиональны, разовы.

Остается, наконец, сказать о явлениях смещения (расширения) семантического контраста и антонимии, которые можно иллюстрировать таким примером: «Сумеешь ли ты превозмочь все то ложное и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских испытаниях, где трудно различимы даже противоположности — любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, благо и порабощение...» (В. Распутин). Прямой противоположностью любви выступает нелюбовь, а блага — зло, но измена лежит в области сильных импликаций нелюбви, а порабощение — зла, и антитеза импликационно смещается на них: *любовь — измена, благо — порабощение*. В общем смысле это можно представить так: если P_1 — прямая противоположность признака P_2 , а P_2 связан сильной импликацией с P_3 , то P_3 вовлекается в область противопоставлений P_1 : $P — P_2 — P$. Это косвенная признаковая противоположность и антонимия. Импликационное смещение противоположности приводит в конечном счете к расширению и размыванию (нечеткости) границ семантического контраста и антонимии.

В заключение суммируем главные мысли этой главы.

1. В основе антонимии лежит понятие противоположных признаков.

Противоположность есть род различия, а именно: различия, представляющегося максимальным. Противоположность дихотомична. Противоположные признаки — частный и особый случай несовместимых однородных признаков. Признаки представляются противоположными, если они исчерпывают собой признаковое пространство их основания или макси-

мально симметрично удалены друг от друга в упорядоченном пространстве их основания. Слабое противопоставление обнаруживают также признаки симметрично, но не обязательно максимально удаленные друг от друга в упорядоченном признаковом пространстве.

2. Прямыми антонимами являются пары слов, лексические значения определенных лексико-семантических вариантов которых исчерпываются понятиями о противоположных признаках или же содержат при общей гиперсеме гипосемы, равные противоположным семантическим признакам. Существительные конкретной семантики, в значении которых содержатся противоположные семантические признаки, не составляющие собою, однако, ни всего значения слов, ни их гипосем, могут вступать в отношение косвенной антонимии как средство конкретно-образного представления оппозиции абстрактных признаков при условии контекстуального отвлечения от других компонентов семантики этих слов. Наконец, признаковое слово, связанное сильной импликацией признаков с другим признаковым словом, также способно вступать в отношение косвенной антонимии с семантическим противочленом (прямым антонимом) этого последнего.

3. Категориальное понятие противоположности формируется путем аналогического распространения конкретных представлений о пространственной осевой и центрической, статической и динамической противоположности на признаки иной, менее наглядной и конкретной онтологической породы. Первые служат основой моделирования вторых, обеспечивая формирование и единство понятия противоположности. Понятие противоположности распространяется на все случаи, где структура признаков пространств, моделирующих экстенциональные представления о распространении признаков в вещах, может быть уподоблена модели конкретной пространственной противоположности того или иного вида.

Родовое единство семантических противоположностей и антонимов различных видов выявляется в общих для них формальных рефlekсах, прежде всего синтаксических, которые могут служить операционными тестами и подтверждением антонимии. Это в первую очередь синтаксическая конструкция «не..., а...». Сама по себе она способна указывать лишь различие (нетождественность) референтов вставляемых в нее имен. Но добавление лексических индикаторов противоположности, вроде «напротив, наоборот, противоположность (противоположный)» и т. п., ограничивает различия оппозитивными, и конструкция конфронтирует слова с противоположными значениями, ср. «не темный, а, напротив, светлый», «не летом, а, наоборот, зимой», «не на север, а в противоположном направлении — на юг», «не раскручивать, а, наоборот (напротив), — скручивать».

4.1. Типология оппозиций, а следовательно, и антонимии может строиться на двух основаниях — предметно-логическом и категориально-логическом. В первом случае оппозитивные признаки и антонимические пары систематизируются по тем аспектам и областям предметного мира, к

которым они относятся. Исследования в этом направлении должны обнаружить как исходную пространственную модель дихотомического членения разнообразных участков и аспектов отражаемого сознанием мира, так и модификации этих моделей, особенности оппозитивных членений, обусловленные спецификой той или иной предметной области, того или иного аспекта предметного мира.

Среди моделей противоположности предметно-логического плана особый интерес представляет обратная противоположность — противоположность структур динамических и статических явлений. Моделью процессов с противоположными структурами служит представление о движениях с противоположными векторами между двумя точками. По той же модели устанавливается оппозитивность статических структур при условии, что рассмотрение («считывание») их с установленным вектором дает результат, аналогичный соотношению структур движений туда и обратно. Кроме того, статические структуры признаются противоположными как обратные еще в том случае, когда они полностью совпадают по всем признакам, кроме одного основания, по которому соотносенные части структур характеризуются противоположными признаками.

4.2. Вторая, категориально-логическая, типология предполагает, что оппозитивные признаки рассматриваются независимо от областей и аспектов предметного мира, к которым они принадлежат, но по характеру связи между двумя противоположными признаками — количественной или качественной, импликационной или классификационной. Иначе говоря, оппозитивные отношения рассматриваются по их общекатегориальной природе, по их принадлежности к категориям качества — количества, импликации — классификации.

Концепт противоположного объединен концептуальной связью с другим концептом — его противочленом. Подобно концептуальным связям вообще, эта связь может быть одного из двух типов — импликационного или классификационного. Импликационная оппозиция концептов отражает онтологическую связь и противоположность вещей, взаимодействующих в несимметричном отношении. Это противоположность конверсивных понятий.

При классификационной связи концептов два оппозитивных понятия не предполагают взаимодействия из референтов в отражаемом сознанием мире. Онтологическая связь между ними не обязательна. Их референты могут быть независимы друг от друга и в отличие от импликационной связи не составляют одно условие существования другого. Классификационные оппозиции в отличие от импликационных (конверсивных) не отражают какого-либо онтологического единства взаимодействующих противоположностей, это эпистемологические противоположности, творимые сознанием как способ первичного упорядочения различий вещей на основе двузначной логики.

Таким образом, и импликационные, и классификационные оппозиции упорядочивают сущности отражаемого сознанием мира по их различиям, но только в случае импликационных (конверсивных) оппозиций это упорядочение отражает реально существующие связи взаимозависимых и взаимодействующих сущностей, в то время как классификационные оппозиции, не отражая каких-либо реальных связей сущностей, связывают их в сознании для того, чтобы жестко систематизировать их по их различиям на бинарном принципе.

Все импликационные (конверсивные) оппозиции носят качественный характер. Классификационные оппозиции могут быть качественными и количественными.

5. В традиционном представлении антонимия связывается только с лексико-семантическими оппозициями классификационного типа. Понятие противоположности, однако, не ограничивается этим типом, но распространяется и на импликационные связи. Конверсивы однородны с антонимиями классификационного типа в том, что и те, и другие — противоположности. Поэтому необходим общий родовый термин, объединяющий их обоих. В этой работе расширен экстенционал традиционного термина «антонимия». Но, возможно, более основательным решением терминологической проблемы было бы оставить за термином «антонимия (антоним)» его привычный смысл и объем, т. е. обозначение лексико-семантических оппозиций классификационного типа, а в родового обозначения противоположностей любого типа — и классификационного, и конверсивного — предложить нововведения, вроде «оппозитивы» или «контрастивы».

6. Семантическая противоположность как будто содержит в себе парадокс: значения, максимально различные, оппозитивные, вместе с тем тесно сближены (равно как и выражающие их слова). Этот парадокс кажущийся. Оппозитивность и близость (соотнесенность) понятий — значений (и выражающих их слов) не противоречат друг другу. Однородность оппозитивных понятий, единство их основания обеспечивают тесную связь (соотнесенность) оппозитивов, в то время как представление о максимальном различии, оппозитивность понятий — значений обусловлены дихотомическим способом вычленения частей в общем основании — делением общего основания на две взаимоисключающие части или же выделением в упорядоченном основании двух симметрично удаленных частей. Таким образом, понятия оппозитивны на нижнем уровне обобщения как гипонимы и сближены на верхнем уровне обобщения в едином гиперониме (основании). Оппозитивность никак не означает, что понятия и значения максимально далеки и не соотнесены. Она лишь род близкоразличного.

7. Лексические (однословные) имена оснований оппозитивных признаков, т. е. ближайшие родовые слова (гиперонимы), обычно отсутствуют при качественной оппозиции (импликационной и классификационной) и чаще, хотя и не всегда, наличествуют при количественных противопостав-

лениях. Нередко родовые термины, если они и есть, отстоят на несколько ступеней обобщения, т. е. не являются ближайшим гиперонимом. В количественных оппозициях из двух имен оппозитивных признаков обнаруживает способность к нейтрализации и гиперонимическому употреблению имени большей меры признака. Нейтрализация (привативное отношение) мало свойственна качественной классификационной антонимии и совсем не свойственна именам-конверсивам.

Лексическое имя основания (ближайший однословный гипероним) оппозитивных признаков там, где он есть, при количественном противопоставлении либо совпадает по корню с именем признака большей меры, либо имеет особый корень.

Имя основания качественных оппозиций в тех редких случаях, когда оно есть, имеет особый корень, не совпадающий с корнями оппозитивных признаков; в конверсивных оппозициях оно связано с нивелированием статусов аргументов несимметричного отношения и с обобщенным представлением его как отношения симметричного.

Необходимо широкое сопоставительное изучение языков относительно сходств и различий в обозначении оснований оппозитивных и иных однородных признаков, употребления (функционирования) имен оснований (признаковых гиперонимов) и имен — немаркированных членов признаковых оппозиций (количественного типа).

8. Двучленные антонимические ряды, прежде всего количественные, могут разветвляться в многочленные с более дробным членением пространства основания и с большей специализацией (сужением) значения входящих в них слов. Напротив, многочленные ряды с детальной прорисовкой упорядоченного пространства основания, с сильным противопоставлением крайних и слабым — некрайних симметрично расположенных членов могут свертываться в двучленные оппозиции при параллельном обобщении (расширении) семантики входящих в него слов.

9. При разнокорневой количественной антонимии один из дополнительной пары аффиксально-отрицательных антонимов распространяет свою семантику на область зазора. Кроме того, оба аффиксально-отрицательных антонима в отличие от синонимичных им первичных разнокорневых антонимов не способны к обозначению максимально большего количества признака, а ограничивают свою семантику только обычной (средней, типичной) мерой (нормой) количества признака в данном классе вещей.

10. И последнее. В логике разграничиваются контрадикторные и контрарные признаки. В первом случае признаковое пространство покрывается двумя признаками, во втором — их больше, и противоположные признаки на краях пространства разделены другими. Оба эти случая нам уже известны. Но надо обратить внимание на две разновидности контрадикторной антонимии — она может быть интенциональной и интенционально-экстенциональной. Примером одной могут служить пары *живой* — *мерт-*

вый, короткий — длинный, интересный — неинтересный и т. п. Примером другой — белый — небелый, сухопутный — несухопутный, первый — непервый и т. п.

Разница состоит в том, что в одном случае у каждого из двух антонимов есть свой интенционал (и соответствующий ему экстенционал). Оба признака качественно определены и известны людям из опыта независимо друг от друга, хотя и в сопоставлении друг с другом — таком, что в совокупности оба признака покрывают пространство некоторого общего для них основания.

В другом случае качественно определенным является только один из двух признаков (назван первым в парах). Он известен непосредственно, из опыта, у этого антонима есть свой интенционал. А вот парный ему признак лишен качественной определенности. В самом деле, реально нет цвета небелый, это может быть либо красный, либо зеленый, либо серый, либо черный и т. д. Также и несухопутный может быть либо воздушным, либо водным, а непервый — вторым, третьим, десятым и т. д. Такие признаковые слова не имеют интенционала, их значение только экстенционально и определяется, только отталкиваясь от качественно определенного парного слова, — то, что остается за вычетом экстенционала опорного антонима, любой из качественно определенных признаков в рамках остаточной области.

Таким образом, контрадикторная противоположность может быть интенциональной (качественной) и интенционально-экстенциональной.

Термин «конверсия» в лингвистике по меньшей мере двузначен. С одной стороны, он обозначает вид оппозитивного семантического отношения между словами, о котором говорилось в предшествующей главе. С другой стороны, в более давней традиции он используется для обозначения особого случая словообразования без специального словообразовательного средства. В этой главе речь пойдет о конверсии во втором смысле. Чтобы избежать смешения двух смыслов, о первом еще говорят как о конверсности, или конверсионности. Однако для обозначения результата в обоих случаях говорят о словах-конверсивах.

Конверсия и в формальном, и в семантическом аспектах рассматривается в словообразовании. Однако отсутствие специального словообразовательного средства сводит отношение производящего слова и производного конверсива к чистой семантической деривации с той, однако, существенной разницей, что эта деривация не в рамках одного слова, как в случае тропической деривации (метафора, метонимия, гипонимия), не в рамках одной, хотя бы и вариативной, семантической структуры, не в рамках одной грамматической парадигмы, а деривация словообразовательная, дающая разные слова, каждое со своей семантической структурой и грамматической парадигмой.

1. Исходные положения

Конверсия противопоставлена всем типам форменного словообразования, где есть то или иное специальное словообразовательное средство (суффикс, приставка и др.) как особый тип словообразования бесформенного. Относясь в своем содержательном плане к проблемам лексической

семантики, конверсия (как и все словообразование) лежит на полдороге между проблематикой семантической вариативности слова и проблематикой словарных семантических связей (речь идет о лексическом, а не синтаксическом, транспозитивном словообразовании, которое лежит на полдороге между лексикой и грамматикой).

А. И. Смирницкий предлагал считать словообразовательным средством при конверсии различие в грамматических парадигмах дериватора и деривата, но сколь бы остроумной не считать эту мысль, надо признать, что это побочная, не контитутивная функция парадигмы: парадигма не формирует новое слово, не определяет словообразовательный акт, не задает направление деривации, а лишь помогает различению дериватора и деривата. Грамматическая парадигма если и оформляет дериват, то только в том смысле, что вслед словообразовательному акту, завершает его на постсловообразовательном этапе как единицу определенного лексикограмматического разряда. Парадигма образует новое слово не более, чем возложение риз превращает мирянина в церковнослужителя.

Конверсия, как хорошо известно, широко распространена в английском языке, но не только в нем. В английском она выявлена наиболее наглядно в силу того, что лишённые положительно выраженных грамматических показателей дериватор (производящее слово) и дериват (производное слово) совпадают в своих исходных (грамматически предельно немаркированных) формах. Такое совпадение, однако, не может считаться обязательным условием конверсии, и тут надо отдать должное А. И. Смирницкому: важно, чтобы между формами конверсионных дериватора и деривата либо вообще не было бы никакого положительного морфологического различия, либо это различие сводилось бы единственно к морфологическим показателям грамматических парадигм.

Этим, как показал А. И. Смирницкий, существенно расширяется объем конверсии во многих языках даже неаналитического строя, как например, в русском. Однако наш анализ построен преимущественно на материале английского языка как наиболее показательного для этих целей.

Нас занимает главная проблема конверсионного словообразования, а именно в какой мере моделировано семантическое отношение конверсионных дериватора и деривата, насколько семантически упорядочена, поддается прогнозу, неслучайна, мотивирована семантика конверсионного деривата при данном дериваторе.

И форменное, и бесформенное словообразование начинают с одинаковых предпосылок и завершаются сходным результатом в том смысле, что в исходе стоит семантика дериватора, в середине — определенная номинационная потребность и модель ее реализации, а в финале — новое слово соответствующей семантики с теми или же иными, чем у дериватора, категориально-грамматическими свойствами. Однако в случае форменной деривации словообразовательное средство связано с определенной се-

мантикой и снимает неопределенность в возможных значениях деривата. Результат деривации смоделирован достаточно однозначно (за вычетом возможной полисемии деривационного средства).

При конверсии нет жесткой направляющей деривационно-семантического процесса, его неопределенность вырастает на порядок, и если процесс как-то управляется, допускает какой-то прогноз, то организован он на иных принципах и достигает иных результатов.

Уяснение природы и особенностей семантического моделирования при конверсии и составляет нашу задачу в этой главе.

Вначале сформулируем в тезисной форме основные положения, а затем рассмотрим их с должной аргументацией и детализацией.

1. Конверсивная деривация отнюдь не хаотична и произвольна, как ее иногда представляют. Она лишь отличается иным принципом семантической деривации, на порядок ниже форменного словообразования. Это принцип свободно направленного импликационного ассоциирования концептов вещей и признаков.

2. Семантика конверсионного деривата смоделирована, но не жестко, а как стихастизм, и не на уровне всего словообразовательного типа, а на уровне отдельных лексико-семантических групп.

3. Сами семантико-деривационные отношения в конкретных парах устанавливаются и соответственно должны рассматриваться на уровне словозначений.

4. Различаются конверсия транспозитивная и словообразовательная. При транспозитивной конверсии когнитивное значение слова не меняется, меняется его синтаксическое качество. При словообразовательной конверсии дериватор меняет когнитивное (лексическое) значение, одновременно меняя или сохраняя синтаксическое качество (т. е. переходя или не переходя в другую часть речи).

5.1. Наибольшая семантическая свобода конверсивной деривации отмечается в модели с вектором $V-N$ и $Adj-N$ и наименьшая — в моделях $Adj-V$ и $N1-N2$.

Это означает увеличение в указанном порядке предсказуемости значения конверсионного деривата или — что одно и то же — увеличение в обратном порядке неопределенности в возможной семантике деривата.

5.2. В форменном словообразовании семантический класс деривата задается словообразовательным средством (с учетом возможности его полисемии) и специализируется семантикой дериватора. В неформальном словообразовании потенциальная семантика деривата представляет собой вероятностно структурированное поле концептов, импликационно связанных с концептом дериватора. Иначе говоря, семантика деривата лежит в вероятностном поле импликационных ассоциаций, порождаемых дериватором.

Вещи некоторого класса обладают множеством характерных признаков, для которых существенна временная характеристика. В принципе, каждый из них может быть импликатором ассоциативно-мыслительной операции с вектором от вещи к ее признакам. Это объясняет множественность конверсионной деривации по модели $N—Y$ (а в более общем случае $N—P_2$, где N — имя вещи, а P_2 — имя признака).

Эта множественность имеет вероятностную структуру: осуществимость деривации с той или иной конкретной признаковой семантикой (а в случае моделей $P_2—N$ — с вещной семантикой) зависит от меры вероятностного ассоциирования двух концептов — вещи определенного класса и ее признаков, признаков и вещей определенных классов с этими признаками. Другим не менее действенным фактором, определяющим шанс осуществимости деривата той или иной семантики, является, конечно, наличие/отсутствие готовых средств номинации концепта, требующего выражения.

Кроме того, хорошо известно, что существует ряд противопоказаний несемантической природы, препятствующих осуществлению конверсионной деривации: многосложность дериватора, наличие у него морфологической структуры, принадлежность к лексике некоренного состава.

6. Конверсию можно понимать как весьма широкий класс явлений, включающий, как сказано, два подкласса — транспозитивную (грамматическую) и лексическую конверсию. В обоих случаях дериватор и дериват в материальном плане отличаются лишь грамматическими парадигмами. В семантическом плане дериватор и дериват транспозитивной конверсии отличаются только так называемыми категориальными частеречными значениями, а точнее различаются транспозицией синтаксического ранга выражаемой идеи, его повышением или понижением, переводом из разряда вещей (того, что имеет признаки) в разряд признаков (того, что есть общего и различного в вещах) или, наоборот, — из разряда признаков (того, что описывает что-то отдельно поименованное) в разряд вещей (того, что имеет описывающие его признаки). Можно еще сказать иначе: при транспозитивной конверсии пара слов различается в семантическом плане только тем, что одно представляет свой денотат как вещь (сущность с возможными признаками), а другое — как признак (сущность, вне вещи не существующую).

Как можно видеть, вещь и признак понимаются как категории не абсолютные, а относительные, определяемые одна через другую: вещь — то, что имеет признаки, признаки — то, что имеется у вещи, то, что в чем вещи сходны или различны.

Рассмотрение некоторой сущности как вещи или признака зависит от того, рассматривается ли она в отношении к своим признакам (вещь) или же рассматривается в отношении к некоторой вещи как ее признак.

Абсолютна лишь категория физических тел (сущностей с пространственными границами) и их комбинацией. Они суть вещи *par excellence*, т. е. всегда вещи и никогда не признаки (речь, понятно, идет о той субстанционально-признаковой философии мира, которая лежит в основе естественных языков. Их концепция мира кладет в его основание субстанцию, а не признак, тело, а не свойства и отношения).

Понятно, что транспозитивная конверсия возможна только для предикатных слов, а точнее, только для тех слов, денотатом которых не являются вещи — физические тела или их объединения (плюс упомянутые выше внесемантические ограничения).

Принято считать, что принадлежность к разным частям речи, т. е. различие в категориальных частеречных «значениях», достаточно для того, чтобы отнести две формы к разным словам. Тут все, разумеется, зависит от того, как определяется слово. Несомненна когнитивная близость или даже тождество транспозитивных форм, содержательно отличающихся только категориально-грамматической частеречной принадлежностью. Поэтому ничто не мешает считать их, как это нередко делается, разными словами, но одной лексемой с одним и тем же лексическим значением.

К транспозитивной конверсии надо отнести и все другие случаи смежных частей речи, где нет специального словообразовательного транспозитивного средства, а все формальное различие ограничивается сменой грамматических парадигм. Иначе говоря, помимо моделей чистой транспозиции «существительное — глагол» и «глагол — существительное», которые привычно относят к конверсии, сюда надо отнести по меньшей мере случаи субстантивации «прилагательное — существительное», «герундий — отлагательное существительное», адвербиализации «прилагательное — наречие», конверсии наречий в предлоги (*absolute and conjoit use of adverbs*).

Однако простая автономная транспозиция, т. е. постановка слова в позицию другой части речи без усвоения им грамматической парадигмы этой части, очевидно, не может рассматриваться как случай подлинной конверсии. Автономная транспозиция — всего лишь abortивная конверсия, начальная фаза несостоявшейся конверсии.

Для лексической конверсии смена части речи не обязательна, хотя чаще всего дело обстоит именно так. Как показал А. И. Смирницкий, вполне возможна конверсия в пределах одной части речи: *физик — физика, ботаник — ботаника* и т. п.; *Александр — Александра, Серафим — Серафима* и т. п., ср. также шутивное у Маяковского «клоп — клопа». Конверсия внутри части речи лексична, т. е. сопровождается изменением лексического значения, но в отличие от межчастеречной лексической конверсии тут нет никакой неопределенности: отношение слов в конверсивной паре держится вполне определенной семантической модели: *ученый-специалист — наука, мужское имя — женское имя, существо мужского пола —*

существо того же класса женского пола. Понятно, что при конверсии внутри части речи меняется не тип грамматической парадигмы, свойственной словам данной части речи, а разновидность (подтип) общего типа частеречной грамматической парадигмы. Однако этой смены достаточно, чтобы принципиально отличить конверсию внутри части речи от семантической деривации значений на тропеической (метафорической, метонимической и гипонимической) основе. В последнем случае деривация, хотя и связана с появлением новых лексических значений в слове, замыкается в рамках одного слова и одной грамматической парадигмы.

Таким образом, лексическая конверсия связана с изменением лексического значения, обычно транспозитивна, но возможна и в рамках одной части речи, в первом случае однозначна, во втором предполагает вероятно структурированный выбор моделей возможных семантических отношений слов в паре.

7. В синхронном плане, если модель конверсионного отношения сколько-то устоялась, активна (продуктивна), различие дериватора и деривата в формальном плане утрачивает смысл, формальный вектор конверсии оказывается обратимым.

Следуя опять-таки А. И. Смирницкому, надо признать, что конверсия не требует совпадения слов в исходных формах, важно, чтобы они различались исключительно формообразовательными грамматическими показателями. Если десигнатор одного из слов в конверсионной паре более сложен, чем десигнатор другого, ср. *ботаника* — *ботаник*, то и в этом случае он не может претендовать на роль деривата, а другое слово в паре — на роль дериватора, так как в синхронном плане операции прибавления к форме уравниваются в правах как равноценные преобразования.

Иначе обстоит дело с семантическим вектором деривации. Только при (не лексической) транспозитивной конверсии содержательный вектор обратим в синхронном плане, а различие дериватора и деривата имеет исключительно диахронический смысл (реальность только для историка языка). Во всех же случаях лексической конверсии, транспозитивной и нетранспозитивной, одно из слов в паре имеет значение более простой структуры, а другое — более сложной, так как его значение включает первое в свою структуру на правах компонента.

Семантический вектор деривации в таком случае направлен от первого ко второму, в семантическом отношении первое является дериватором, а второе — дериватом, даже если исходная форма первого имеет более сложный десигнатор, чем у второго. Так, в паре «*ботаник* — *ботаника*» деривация направлена от второго к первому, поскольку десигнат первого имеет более сложную структуру, включающую десигнат второго: специалист в науке «*ботаника*» — наука «*ботаника*». Вряд ли приемлемо толковать это соотношение с обратным вектором: ученый-ботаник — наука, которой занимается ботаник. Объяснение по меньшей мере для случаев этого

рода, очевидно, состоит в том, что только одно служит условием существования другого: ботаники появляются потому, что возможна наука ботаника, а не наоборот, однонаправленность семантического вектора деривации обусловлена здесь необратимостью условия и следствия.

8. Транспозиция предполагает либо повышение, либо понижение в синтаксическом ранге выражаемого концепта. Напомним, что это возможно только для понятий о первично несубстанциональных («нетелесных») денотатах, т. е. для понятий об отвлекаемом от тел и их комбинаций. Как известно, ранг предикатных понятий движется по линии «вещь — признак — признак признака». Поэтому невозможна транспозитивная конверсия на уровне признак — признак, например, прилагательное — глагол, так как и то, и другое — признаковые слова одного (второго) синтаксического ранга и отличаются лишь тем, что глагол дает временную характеристику признака. В пределах одного синтаксического ранга возможна лишь лексическая конверсия слов, непременно связанная с изменением и грамматической парадигмы (как минимум, разновидности типа грамматической парадигмы), и самого лексического значения.

Известно, что различие деривационных пар «имя — глагол» может осуществляться за счет средств доморфемного (фонологического) уровня — позиция ударения, озвончения конечной согласной: ср. *'conflict* — *con'flict*, и *house[-s]* — *to house[-z]*, *proof* — *prove* и т. п. Представляем, однако, что функция таких средств ограничивается уровнем чистой транспозиции — простым различением частей речи. Явления этого рода нельзя относить к формальным средствам лексического словообразования, так как за ними не закреплена никакая модель изменения лексического значения. Поэтому пары такого рода в плане соотношения их лексической семантики надо рассматривать в общем ряду с обычными случаями межчастеречной конверсии. Деривация в них следует и управляется теми же моделями, что конверсия с единственным формальным различением пар за счет грамматических парадигм.

Чистая транспозитивная конверсия возможна только по линии «вещь (существительное абстрактной признаковой семантики) — признак (прилагательное или глагол)», «признак (прилагательное или глагол — причастие) — признак признака (наречие)». Наличие или отсутствие этих видов конверсии и развитость тех или иных подвидов чистой транспозитивной конверсии без возможного тропеического их развития и перехода в конверсию лексическую — все это дело конкретного языка и зависит от его грамматического строя, сложившейся в нем системы средств указания синтаксического ранга признаковых концептов, т. е. системы средств транспозиции, рангового движения признаковых концептов и параллельной трансформации синтаксических структур.

Теперь, очертив общую картину, сузим задачу в соответствии с поставленной целью и займемся тем, что непосредственно нас занимает —

поисками семантического порядка во внешне хаотичной конверсионной деривации. С самого начала мы не можем ожидать порядка больше, чем может предложить сама лексическая конверсия. Он носит, как было сказано, вероятностный характер и сводится к мотивированной мере предпочтения дериватов определенной семантики перед другими в поле возможного разброса при данном дериваторе. Установив вначале возможность конверсивной деривации от данного слова, далее ожидают встретить дериваты определенной семантики, каждый со своей мерой осуществимости.

Если какой-то из таких ожидаемых дериватов не осуществился в узусе при данном дериваторе, это еще не подрывает вероятностную структуру деривации, так как она осуществляется в массе однотипных случаев, т. е. существует как статистическая реальность (речь, понятно, опять-таки может идти только об обыденной, так называемой житейской вероятности с приблизительными оценками осуществимости событий).

Как сказано, нас будут занимать по преимуществу семантические модели конверсивной деривации $N \rightarrow V$, случай, однако, наиболее сложный в силу того, что здесь имеется высокая мера семантического разброса дериватов. Однако всякий раз, когда достаточная регулярность модели обеспечивает ее взаимообратимость, на равных правах будут привлекаться для анализа случаи с обратным вектором $V \rightarrow N$.

С самого начала необходимо разграничить базисные семантические конверсии $N \rightarrow V$ и вторичные, осложненные модели конверсии, возникающие на базе первых посредством тропеического развития первичных дериватов. Вторичные конверсивные дериваты значительно менее системны относительно значения — основания деривации, базисные модели затемнены в силу последующих семантических преобразований. Они еще более скрывают моделированность деривации, и без того носящую вероятностный характер, особенно в тех случаях, когда промежуточное звено — первичный дериват — в силу тех или иных причин не представлен в узусе и содержится в семантической структуре глагола специфическим образом — как виртуальная (потенциально не исключимая) возможность.

Но помимо базисных моделей в их чистом, первичном и осложненном вторичном виде (осложненном за счет последующего семантического развития), возможны еще атипичные, слабо моделированные случаи конверсии, плохо поддающиеся семантическому прогнозу. Их базой служат ассоциации заднего плана, отдаленные, иногда прихотливые связи концептов, второстепенные зависимости в структуре понятий о вещах и ситуациях. Нестандартная конверсия редка, количественно не идет в сравнение с моделированной конверсией, но вместе с осложнениями регулярной конверсии создает неверное представление об общей хаотичности семантических осложнений при конверсивной деривации.

Базисные семантические модели непосредственно связаны с семантикой существительного-дериватора и ею обусловлены, разумеется, в вероятностном смысле. Их немного, и они вполне прогнозируемы. На этом первичном уровне лексической конверсии деривация вполне моделирована — опять-таки в вероятностном смысле как структура, образуемая мерой потенциальной осуществимости дериватов той или иной семантики.

Если же она все же остается неочевидной для исследователя, то это объяснимо.

Во-первых, нет словообразовательного средства, обеспечивающего единство семантики дериватов; семантика деривата обусловлена — и обусловлена лишь вероятностно — семантикой существительного, а она различна в каждом случае, хотя, понятно, речь идет о различиях не на уровне единичных значений, а на уровне семантических классов. Во-вторых, базисная модель часто не представлена в чистом виде, а, как уже говорилось, осложнена и поэтому завуалирована последующими семантическими изменениями. Более того, во многих случаях дериват базисной модели имеет ущербный языковой статус в том смысле, что на его употребление наложены различные ограничения. Часто модель реализуется в форме страдательного причастия, но мало употребительна или практически не известна в узусе в других формах, первичных по отношению к причастию II (личных, инфинитиве, герундии, причастии I). Тем не менее при наличии причастия II эти формы надо признать возможными, хотя бы потенциально, а факт конверсии по такой модели осуществленным. Ср. *wood* = лес > *покрывать лесом, но *wooded land* «местность, покрытая лесом».

Впрочем, небезоснователен и другой взгляд на случаи такого рода, когда у глагольного деривата имеется только форма «страдательного залога». В них не усматривают конверсии, а относят к форменному адъективному словообразованию, рассматривая *-ed* как словообразовательный суффикс с семантикой указания на то, что денотат основы выступает в качестве части того целого, которое обозначается определяемым существительным: *wooded land* = *land with a wood or woods on it*; *landed estate* = *estate with land*.

Согласимся, что перед нами промежуточный случай между форменными словообразованиями и конверсией. Чем более ущербна глагольная парадигма (а здесь она почти тотально ущербна), тем меньше оснований говорить о потенциальном наличии отсутствующих в узусе грамматических форм. Вместе с тем как только парадигма дополняется хотя бы еще одной узуальной глагольной формой, так укрепляются позиции конверсии N—V перед форменным адъективным словообразованием.

Посттранспозитивные изменения в семантике глаголов идут по двум направлениям. Во-первых, как и в случаях транспозитивной конверсии, значение деривата варьирует в импликационном (метонимическом) и си-

милитивном (метафорическом) полях, а также по оси обобщения — специализации значения (гипер-гипонимия).

Во-вторых, значение деривата варьирует в пределах, допускаемых системой языка, переходя из одного лексико-грамматического разряда в другой, а именно за счет осложнения базисного лексического значения деривата субкатегориальными семами, например, каузация признаков (что сопровождается переходом глаголов из непереходных в переходные).

Мера семантической определенности/неопределенности конверсионной деривации зависит от меры стохастичности семантических структур существительных.

Семантика любого слова в конечном счете носит вероятностный характер в силу вероятностной природы отражаемого ею мира. Но у одних слов стохастичность значения обнаруживается только при рассмотрении природы семантических признаков, составляющих структуру их интенционалов. Таковы, например, имена функциональных классов. У других же слов это обнаруживается уже при попытках установить состав дифференциальных признаков класса, когда значение явно предстает уже на этом уровне анализа в виде стохастизма, нечеткого множества. Таковы, как мы видели, таксономические имена, например, биологических видов.

Это два полюса, между которыми существует множество промежуточных случаев.

Удаляясь от функциональных и иных классов вещей, образованных по общности одного признака, и продвигаясь в сторону таксономических классов, мы наблюдаем, как возрастает неопределенность в семантических моделях конверсии. Это вполне объяснимо. Понятия о классах физических объектов, как отмечалось, образуются двойким образом. В одном случае в основу идет признак, и по нему формируют понятие о классе вещей, объединенных наличием этого признака. Признак задан априорно и к нему подыскивают класс. При конверсии таких имен в глаголы выявление такого конститутивного признака не составляет труда, он лежит в основе семантики деривата, и деривация моделируется с большой мерой определенности, если не однозначно.

Таксономические классы конституированы иным образом. Они результат индуктивного обобщения. Изначально постулирует наличие класса объектов, отграниченного от других классов, а далее необходимо отыскать общие для объектов этого класса признаки. При этом обнаруживается, что понятия о классах такого рода, отражая вероятностную природу мира, сами стохастичны уже на уровне дифференциальных признаков. Признаки входят в содержание понятий не жестко и однозначно, а с той или иной мерой вероятности наличия/отсутствия.

Это понятия — явные стохастизмы. В отличие от таксономических понятий такие понятия — скрытые стохастизмы: их вероятностный харак-

тер обнаруживается не в составе классовобразующих признаков, а при рассмотрении семей природы признаков.

Для наших целей существенно то обстоятельство, что таксонимические понятия многопризнаковы и многопризнаковы вероятностно: признаков может быть много, но они отличаются мерой характерности для данного класса. Кроме того, в любом понятии интенционал (ядро понятия, логическое понятие) обрастает аурой импликационных признаков, с той или иной мерой вероятности имплицитруемых из интенциональных признаков. С этими признаками также необходимо считаться, так как они также могут служить основой конверсивной деривации.

Таким образом, большая неопределенность в моделировании лексической конверсии глаголов из имен таксонимических классов обусловлена многопризнаковостью и вероятностной структурой понятий о таксономических классах. Более того, потенциал лексической конверсии и возможная семантика глагольных дериватов сами отчетливо приобретают характер вероятностных структур.

Не следует, однако, ожидать жесткой границы между эмпирическими и логическими понятиями о классах. Это два полюса обобщений — индуктивного и дедуктивного.

Граница между ними размыта массой промежуточных случаев, и это сказывается на мере прогнозируемости дериватов по их семантике. В принципе, в любом понятии имеются и взаимодействуют два аспекта, две операциональные подструктуры — вероятностная эмпирическая и жесткая логическая, и развитие понятия совершается через соотнесение этих подструктур, через сверку логических конструкторов с эмпирическими представлениями о некоем классе.

Несомненно, однако, и то, что в представлениях об одних классах (таксономических) превалирует вероятностное начало, ср. человек, волк, растение и т. д., а в других — жестко детерминированное (по составу и структуре конституирующих класс признаков), ср. *храбрец, школьник, сын* и т. д.

Таким образом, в структуре значения имен с многопризнаковой семантикой представлено некоторое множество конституированных признаков: 1) дифференциальные признаки класса носят вероятностный характер и 2) признаки слабее структурированы по их роли в конституировании класса, их иерархия относительно обязательности для данного класса выражена менее ярко. В отсутствие четкой сущностной иерархии признаков прогноз семантики глагольного деривата становится неопределенным, семантическое отношение дериватора и деривата слабо моделировано и допускает значительный разброс, следуя линии разных признаков в силу того, что они приблизительно равноценны в формировании индуктивно-эмпирического понятия о классе.

Общий принцип состоит в том, что семантика глагольного деривата при лексической конверсии обусловлена с той мерой определенности, с какой иерархизирована структура классообразующих признаков в семантике существительного.

В предельных случаях наиболее слабой моделированности семантики деривата глагол обозначает любое действие, структура которого так или иначе связана с денотатом существительного — дериватора. Ср. *birch* = *береза* — наказывать розгами; *skin* = *кожа*; *шкура* — сдирать шкуру и т. п.

Деривация подобного рода, чтобы осуществиться, требует дополнительной поддержки, например, эмотивного контекста. Обращает на себя внимание то, что идиоматизм деривации, ее немоделированный характер явно коррелирует с эмотивно-оценочной нагруженностью выражения. Нестандартность когнитивной семантики лучше отвечает прагматическим задачам.

Однако случаи этого рода в общей массе конверсии достаточно редки и носят характер конверсивной идиоматики на пределе той свободы, которая ею допускается. Что же касается массива случаев, то глагольная конверсия таксономических имен с «плюралистически-признаковой» семантикой следует тем же моделям импликационных зависимостей концептов вещи и ее признаков-действий, что и у имен нетаксономических классов. Следует, но с существенной разницей: деривация менее прогностична, может идти от одного словосочетания по линии нескольких признаков. С очевидностью проявляется ее вероятностная природа, неоднозначность, меньшая моделированность.

Выбор семантической модели деривации в предпочтение другим возможным может быть поддержан рядом факторов.

Во-первых, наличием стереотипных общепринятых ассоциаций, привычно связываемых с данным классом денотатов. В структуре значения эти признаки лежат в области сильного импликационала. Ср. *peacock* = *павлин* > вести себя, как павлин, напыщенно и хвастливо. Стереотипность и общезвестность ассоциации повышает ранг признака в иерархии и подталкивает деривацию в направление к нему.

Во-вторых, существенное влияние оказывают представления, фреймы типичных структур, в которых участвует и с которым привычно ассоциируется денотат существительного, и прежде всего роль, место, функция, характер проявления денотатов данного класса в этих структурах. В языковом плане связи этого рода выявляются в характерных для имени лексических и синтаксических валентностях, аргументных позициях. Характерные роли вещей в типичных для них ситуациях определяют семантические пути конверсии имен этих вещей в глаголы, служат основанием для предпочтения одних признаков перед другими в качестве базы деривации.

Так, шрамы для обыденного опыта людей прежде всего релевантны в двух ситуациях, их наносят, и они образуются при заживлении. Обе эти ас-

социации реализованы при конверсии английского существительного *scar* = *шрам* > 1) рубцеваться (о ране), ср. *the cut has scarred over*; *scar* = *шрам* > 2) наносить, оставлять шрам.

Таковы исходные положения и общая картина семантических механизмов конверсии.

Далее необходимо установить и систематизировать модели деривации, виды семантических преобразований, регулярно, хотя бы и на вероятностной основе, порождающие от дериваторов дериваты определенной семантики.

2. Базовые модели лексической конверсии

Займемся теперь систематическим описанием базовых моделей лексической конверсионной деривации глаголов от существительных. Примем следующие символы: *N* — существительное, *D(N)* — денотаты класса, обозначаемого *N*, *V* — глагол, *тире* — символ конверсии, * — символ тропического развития семантики, после = следует толкование значения на уровне семантического разряда (модели деривации) или конкретного словозначения.

Если существительное имеет инструментальную семантику, т. е. обозначает артефакт, создаваемый и служащий для выполнения некоторого действия *Act*, то конверсионный глагол вероятнее всего обозначает это действие:

1.1. *N1—V1* = действие, для осуществления которого *D1(N1)* специально предназначено в качестве инструмента:

ср. *ski (s)* = *лыжи* — кататься на лыжах

shell = *снаряд* — обстреливать снарядами

knife = *нож* — резать * убивать ножом.

Это, пожалуй, самая распространенная и наиболее регулярная модель конверсионной деривации глаголов, ср. *mask, hook, hurdle, rope, fence (off)* и множество других.

Разновидностью ее, расширяющей представление об инструменте, является конверсия по модели «средства осуществления действия > действие»:

1.2. *N2—V2* = действие, для осуществления которого специально предназначено *D2(N2)* в качестве инструмента или средства:

ср. *sail* = *парус* > плыть под парусами.

Дериват далее обобщал свое значение по двум направлениям: *sail* «плыть под парусами» — 1) двигаться под парусом (не обязательно по воде) и 2) плыть (о судах — не обязательно под парусами) двигаться за счет паруса (парусов).

Дальнейшее расширение класса «инструмент — средство» приводит к понятию о функциональном классе, т. е. о классе вещей D_3 , служащих для осуществления какой-то функции $D_1 > D_2 > D_3$. Вещь D_3 может быть и не может быть артефактом, может быть и может не быть специально предназначена для осуществления функции F , но в любом случае эта функция весьма характерна, типична, сущностна для D_3 .

На этой основе существует обобщенная модель конверсии вида:

1.3. $N_3 - V_3$ = функция, для осуществления которой обычно служит D_3 (N_3):

ср. *wall* = стена > обнести стеной (*wall in*).

Таким образом, для имен функциональных классов базовая семантическая модель конверсионной деривации основана на представлении о назначении класса, которое и задает ожидаемую семантику глагола — деривата = действие, осуществляющее назначение, шире — функцию класса.

Надо особо подчеркнуть, что при этом речь может идти не о любой возможной функции денотатов данного класса, а именно об их типичной, характерной функции, для которой они предназначены. Так, *to carpet* означает не просто покрывать коврами что-либо, а устилать пол и/или увешивать стены коврами, т. е. осуществлять прямое, первичное, типическое назначение ковров.

Этот момент существен не только для этого, но и для других случаев лексической конверсии. Благодаря этому снимается или существенно ограничивается возможный разброс семантики деривата.

Ядром представлений о функциональных классах служат предметные функциональные артефакты, изготовленные самими людьми для определенных целей. Но это представление далее обобщается, вбирая в себя любого рода классы вещей, изготовленные, изобретенные и природные, естественные, возникшие и существующие сами по себе, но попавшие в орбиту человеческой деятельности и служащие людям для определенных целей. Деятельностная природа человеческого сознания как принцип его формирования, развития и структуризации наглядно обнаруживает себя в этой области ассоциирования концептов. Для всех подобных имен конверсия в глаголы идет обычно от представления о функциональном денотате к представлению о действиях, осуществляющих эту функцию, назначение, типичное, обыденное, привычное, характерное использование денотатов.

Тут же заметим важный общий момент: все модели лексической конверсии $N - V$ так или иначе объединяются вокруг идеи осуществления, а именно самое общее направление всех случаев конверсии этого типа задается представлением о действиях, осуществляющих, выявляющих, проявляющих некоторый характерный признак (свойство, качество, функцию) класса денотатов.

Другая группа моделей также построена по принципу включения как иерархия обобщающих абстракций, так что одно, более конкретное, соотношение концептов входит в другую формулу, более широкую и отвлеченную.

Если $N4$ обозначает класс денотатов $D4$, для которых некоторое действие является конститутивным, нормативным или по меньшей мере характерным признаком, то это может служить основой для конверсии по модели:

2.1. $N4 (D4) — V4 =$ действовать как $D4(N4)$:

ср. *cook* = *повар* — готовить пищу (также и конверсив мысли о конститутивном или характерном признаке класса денотатов $D(N)$, которому, однако, глагол сообщает темпоральную характеристику. Модель приобретает вид:

2.4 (1.4.) $N7(D7) — V7 =$ осуществлять (проявлять, обнаруживать классобразующий или характерный признак $D7 (N7)$), быть $D7(N7)$:

ср. *witness* = *свидетель* — быть свидетелем

bore = *причина, источник скуки* — заставлять скучать

top = *верх* — служить, быть верхом чего-либо

cause = *причина* — служить, быть причиной.

Обобщаясь до этого уровня, модель служит родовой формулой для всех ранее рассмотренных случаев. Она сводит к единой максимально обобщенной схеме оба направления деривации, функциональное и поведенческое:

$D1 < D2 < D3 < D7 > D6 > D5 > D4$.

Однако помимо двух моделей действия есть еще одно направление или, если угодно, измерение, в котором разворачивается регулярная лексическая конверсия существительных в глаголы и которое в предельном обобщении также сближается и смыкается с первыми двумя. Его можно назвать метаморфным. Это деривация по линии, во-первых, становления, приобретения образа $D(N)$ и, во-вторых, становления, превращения в $D(N)$. Иначе говоря, эта модель существует в двух разновидностях — уподобительной (симилятивной) и преобразовательной, различных настолько, насколько различны подобие и прототип. Модель уподобительной конверсии:

3.1. $N8(D8) — V8 =$ становиться, как $D8(N8)$:

ср. *hook* = *крючок* — скрючить (палец и т. п.) крючком

cross = *крест* — скрестить (ноги и т. п.)

fan = *веер* — располагать(ся) веером.

Модель преобразовательной конверсии:

3.2. $N9 (D9) — V9 =$ становиться $D9 (N9)$:

ср. *flower* = *цветок* — расцветать (то же *blossom*)

crowd = *толпа* — столпиться (то же *throng, band*)

cock = *стог* — складывать (сено) в стог, стожить.

Подобно поведенческой, эта модель имеет каузативные варианты и поэтому может быть в общем виде представлена: (cause to) become (like) $D(N)$, ср. выше *cock*.

Поскольку модель в ее разновидности «становиться как $D(N)$ » только уподобляет нечто классу D , но не включает в него, она оказывается содержательно близкой деривационной моделям действия, функциональной и поведенческой. В этом пункте три измерения (направления) конверсионной деривации сближаются: действовать как $D(N)$ — служить в качестве $D(N)$ — становиться как $D(N)$. Различаются же они настолько, насколько различны назначение, использование и уподобление.

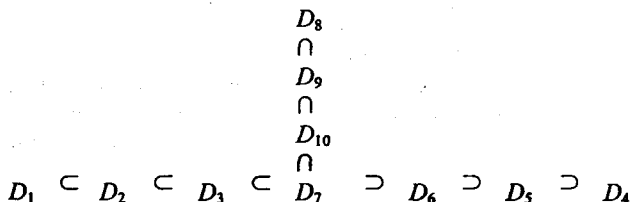
Наконец, переход в новое качество предполагает и бытие в этом качестве, так что идея становления, преобразования, смены класса обычно сочетается в конверсионных глаголах с идеей пребывания в новом качестве (становиться D — быть D): $N10 \rightarrow I10$ = быть $D10(N10)$.

Обычно это те же пары $N9 \rightarrow N9$ с двойной семантикой «становиться D — быть D ».

Ср. *flower* = *цветок* — расцветать — цвести (то же *blossom*)

crowd = *толпа* — столпиться — толпиться (то же *throng*).

Но тем самым и это направление деривации смыкается с двумя другими в модели «быть $D(N)$ » как предельной стадии обобщения (ранее была обозначена $D7$):



Остается последний класс регулярных моделей лексической конверсии, достаточно надежно прогнозируемых из разряда семантики существительного. По характеру зависимостей между значениями имени и глагола его следует назвать результативно-следственным. Пояснения начнем с типичных примеров:

roof = *крыша* — служить, быть крышей; покрывать крышей

room = *комната* — снимать комнату (также *lodge*)

load = *груз* — нагружать, грузить

house = *дом* — обеспечивать жильем (также *home*)

dress = *платье, одежда* — одевать(ся)

skin = *шкура, кожа* — зашивать (о ране)

spot = *пятно*, покрывать(ся) пятнами

style = *стиль, фасон* — стилизовать

place = *место* — помещать, давать место.

Модель деривации неочевидна, даже если снять обычное для конверсии $N \rightarrow Y$ каузативное осложнение значения, ср. *roof, load, place* и другие случаи.

В чем же общность этого четвертого направления деривации? Для уяснения надо выйти за пределы семантики дериватора и деривата и принять во внимание семантическое отношение между конверсионным глаголом и субъектами глагольного действия: глагол приписывает действие своим субъектам как их признак.

В инструментально-функциональных моделях конверсии субъект действия и носитель функции (инструмент, средство и т. п.) не кореферентны, это разные вещи — аргументы одного отношения ср. *the enemy was shelling the town*. В этой ситуации три аргумента — *enemy, shells* и *town*, — но глагольный дериват инкорпорирует в свою семантику средства действия в качестве дифференциального признака (гипосемы).

Напротив, в «поведенческих» моделях субъект действия и носитель глагольного признака, в том числе и функции, кореферентны, это одна вещь, и глагол указывает признак этой вещи, уподобляя или непосредственно относя свой субъект к классу денотатов, обозначаемых тем существительным, с которым этот глагол соотнесен, ср. *the man witnessed the incident = the man was a witness of the incident*. Дериват также инкорпорирует в свое лексическое значение признаковую часть семантики дериватора, но не в качестве аргумента ситуации, а на правах качественной характеристики действия. В синтаксических структурах с такого рода глагольными дериватами понятие о $D(N)$ вообще не референтно.

Сходным образом и в метаморфных моделях предмет характеристики и носитель глагольного признака кореферентны, предмет характеризуется через уподобление или отнесение к некоторому классу, а глагол — дериват включает в структуру своего значения признаковую часть семантики существительного — дериватора на правах гипосемы — качественной характеристики действия.

Поэтому поведенческая и метаморфная модели близки по кореферентности (тождественности) предмета описания, а различаются они семантикой — поведенческих действий, проявлениями классообразующего признака в одном случае и семантикой становления, уподобления и преобразования в другом.

В силу своей семантики поведенческим дериватам не свойственно преобразовываться в каузативные структуры. Напротив, такое преобразование (точнее, семантическое осложнение структуры) вполне обычно у дериватов метаморфной модели. Но при этом предмет характеристики (в этом случае предмет преобразования или уподобления) переходит с позиции субъекта на позицию объекта при каузативном деривате. Ср. *the stream ponds there — they ponded the stream there*.

С учетом различий поведенческие и метаморфные модели можно рассматривать как варианты кореферентного типа лексической конверсии. Со своей стороны инструментально-функциональные и поведенческие модели сходны в том, что представляют тип осуществления данного (а не становления нового) конституитивного признака класса.

После этих пояснений к результативно-следственному классу моделей конверсионной деривации рассмотрим приведенные выше типические примеры с тех же позиций. Очевидно, что глаголы описывают ситуации, в которых отношением связаны несколько вещей-аргументов. При этом дериват включает в структуру своего значения один из аргументов опять-таки на правах гипосемы (дифференциального признака): *room* = *снимать комнату*, *жить в снимаемом жилье*; *plan* = *строить планы*; *skin* = *покрывать кожей*. Очевидно также, что в синтаксических структурах с такими глаголами субъект действия и денотат существительного-дериватора, т. е. $D(N)$, нетождественны. Ср. *he rooms with his aunt* «он снимает комнату у тетки», *the submarine surfaced* «подлодка всплыла на поверхность», ср. также каузативный вариант *they surfaced the road with gravel* «они покрыли поверхность дороги гравием».

Нетрудно видеть близость рассматриваемых случаев к моделям инструментально-функционального типа. Они сходны по признаку нетождественности (некорреферентности) $D(N)$ и субъекта действия в синтаксических структурах, образуемых глагольным дериватом V от $D(N)$. В обоих случаях денотатом структур являются ситуации-отношения с несколькими аргументами. Описание ситуации специфично в том смысле, что отношение, связывающее аргументы, поименовано через один из аргументов и в купе с ним.

Остальные аргументы именуется вне данного отношения. Это позволяет избежать семантической избыточности и, напротив, делает описание ситуации информативным в двух измерениях: сообщается и о том, каково конкретное отношение, и о том, кто занимает позиции аргументов этого отношения.

Выбор аргумента, имя которого служит базой для деривации и обозначения отношения, единствен и определяется простым принципом: избирается тот аргумент, понятие о котором входит в качестве элемента в структуру понятий об остальных аргументах ситуации. Иначе говоря, избирается тот аргумент, понятие о котором проще, элементарнее и составляет видовую часть понятий о других аргументах отношения. Например, в структуре ситуации найма жилья элементарным, отправным является представление об аргументе — снимаемом жилье, и эта мысль входит как элемент структуры других аргументов этой ситуации: тот, кто снимает жилье — снимать жилье — тот, у кого (или с кем) снимают жилье — снимае-

мое жилье. Соответственно имя такого аргумента и становится базой глагольной деривации, Ср. *he rooms with his aunt* (*he rooms with his friend*).

Аналогично обстоит дело и в инструментально-функциональных моделях. Так, например, за конверсией *N—V knife* стоит представление о ситуации со следующими обязательными участниками-аргументами, связанными действием убийства: тот, кто убивает ножом, — убивать ножом — тот, кого убивают ножом, — нож как орудие убийства.

Если отношение названо независимо от имен аргументов, последние все в норме именуются вне этого отношения, ср. *he rents a room with his aunt: the man killed his room-mate with a knife*. То же правило действует и в случае глагольной деривации с тем, однако, различием, что имя аргумента с относительно простой понятийной структурой исчезает из описания ситуации как таковое, но исчезает не бесследно: оно конвертируется в глагол и включается в состав его семантики, ср. *he rooms with his aunt: the man knifed his room-mate*. Синтаксическая структура становится более экономной, описание ситуации сокращается на одну аргументную позицию.

Сходство сходством, однако остается вопрос, что объединяет рассматриваемые случаи конверсивной деривации глаголов в семантическом плане и отличает их от инструментально-функциональных моделей. Есть ли у них своя общая формула деривации?

При всех возможных вариациях эта формула сводится к тому, что выполнение действия, обозначаемого конверсионным глаголом *V*, имеет следствием или результатом наличие *D(N)* у субъекта этого действия:

4.1. $N11(D11) \rightarrow Y11 = \text{иметь } D11(N11)$:

ср. *He rooms at his aunt's — he has a room at his aunt's*

The wound skins over — there is skine over the wound

She dressed quickly — she had a dress on

The table is spotted with ink — there are inkspots on the table.

В каузативном варианте структур с такими дериватами *D(N)* попадает, естественно, в «экосферу» объекта при глаголе и модель приобретает вид:

каузицировать *X* иметь *D(N)* = *cause x to have D(N)*.

Ср. *He placed the child on the cot — the child had a place on the cot,*

He roofed the shed with strips of bark — the shed had a roof of bark strips.

He numbered every piece — every piece had its number.

В связи с результативно-следственной моделью «действовать так, чтобы имелось *D(N)*», может возникнуть предположение: не должна ли существовать симметричная ей причинно-обуславливающая модель — модель конверсии, при которой *D(N)* было бы фактором, обуславливающим или даже служащим причиной того действия, которое обозначалось бы конверсионным глаголом, т. е. модель «*D(S)* действует так, как обусловлено *D(N)*».

Но такая параллель результативно-следственной модели есть, и она реализована более определенным образом — в виде двух первых моделей деривации орудийно-функциональной и поведенческо-функциональной. Семантика обусловливания действительно отражена в конверсионной деривации в расщепленном виде — как модель отношения между орудием действия и действием как орудийной функцией, с одной стороны, и отношения между носителем качества и осуществлением этого качества его носителем — с другой. И то, и другое относится к обусловливающим факторам реализации признаков.

«Иметь $D(N)$ » обобщает и описывает широкий класс ситуаций, когда некий денотат так или иначе вовлекается в систему «притяжения» того или иного объекта, оказывается более или менее важным, близким или далеким, прямым или косвенным элементом его «экосистемы». Всякий объект окружен множеством вещей, вовлекаемых в сферу его существования и составляющих концентрические части его микрокосма, — от частей самого объекта к его «ближнему и дальнему зарубежью». Ср. «моя рука, одежда, мать, школа, страна» и т. п. Это и составляет обобщенную семантику глагола «иметь» и его синонимов, ср. в русском языке конструкцию «у х есть у», в английском языке — *have* и *there is (are)*. Этим же очерчивается широкая область $D(N)$, т. е. область денотатов, имена которых — при соблюдении известных внесемантических условий — могут стать базой для конверсии в глаголы по модели $N(D) \rightarrow V = D(N)$ или каузировать иметь $D(N)$.

Конкретные разновидности этой модели (и соответственно конкретные значения глаголов) достаточно разнообразны, и это связано с различиями видов «имения» (для некаузативных словозначений) и «получения в имение» (для каузативных словозначений). Это разнообразие, в свою очередь, обуславливает вариативность толкований в словарях, где формулы *have D(N)* и *cause to have D(N)* получают вид, как-то: *possess, get, receive, take, obtain, asquire, secure, occupy, use* и др.; *furnish, supply, provide, accommodate, equip, outfit, fit up, fix up, endow* и др.

Начинаясь с актов воли — действий, целенамеренно, сознательно направленных на результат или следствие, ср. *dress* = одежда — *одеваться*, *supper* = ужин — *ужинать* (то же *breakfast* = завтрак — *завтракать*) и т. п., эта модель подвергается аналогическому расширению, выходит далеко за пределы волевых творений и включает любые действия, отмеченные по результату или следствию, ср. *orbit* = орбита — 1) выводить на орбиту (= каузировать х иметь $D(N)$, 2) двигаться по орбите (х имеет $D(N)$)).

Более того, модель «иметь $D(N)$ » = *ух* (субъект) *есть/имеется $D(N)$* » предполагает дополнительную возможность обобщения. В «экосферу» субъекта владения вовлекаются не только представления о вещах, внешних по отношению к нему, но так или иначе, с той или иной мерой сопряженности

вовлеченных в орбиту субъектоцентрического мира. Как объекты имени рассматриваются собственные части субъекта и даже собственные признаки субъекта — его качества, свойства, потенциальные способности, реальные проявления и т. п. Ср. «иметь наглость, смелость, обнаруживать чувство юмора» и т. п.

Благодаря этому рамки модели « $D(N) \rightarrow V = \text{иметь в результате } D(N)$ » расширяются, и она включает случаи, где $D(N) = \text{признак } P$, т. е. существительное уже означает некоторый признак, а конвертируясь в глагол, не просто транспонирует понятие с понижением в ранге и временной характеристикой, но еще с изменением значения лексемы: дериват означает не просто наличие признака, но приобретение признака:

$N(D = P) \rightarrow Y = \text{приобретать } D(N) = P$, т. е.

$D(S)$ приобретает признак $P = D(N)$.

Ср. *age* = возраст, также большой и больший возраст — старится, старить.

(Заметим, что имена качественных признаков (= признаков, варьирующих свое количество) часто совмещают два значения — простую идею признака с идеей о большом количестве признака, ср. *quality* = качество, в особенности высокое качество. Тот же случай семантического варьирования обнаруживает дериватор *age* = 1) возраст, 2) большой или больший возраст).

На основе метафоры овеществления и отчуждения признака совершается переход от чистой межчастеречной транспозиции «глагол — существительное» к мысли о вещах — носителях глагольного признака и их метонимическому конверсионному обозначению. На той же основе мысль совершает и обратный переход $N \rightarrow V$ от представления о классе вещей, образованном общностью признака P , к мысли о таком признаке, как автономной сущности, и далее к представлению об осуществлении такого признака и его глагольному обозначению совокупно с временной характеристикой в качестве «принадлежности» субъекта глагольного действия (при некаузативном глаголе) и его объекта (при каузативном глаголе).

Ср. *lash* = *стегать*, *хлытать* — акт стегания (конверсивная транспозиция) — то, чем стегают, хлыт (лексическая конверсия глагола и метонимическое развитие существительного); *whip* = *хлыст* — хлыстать; *treat* = *угощать* — доставлять удовольствие (метонимическое развитие) — угощение (как герундий) — то, что доставляет удовольствие, угощение в вещественном смысле (лексическая конверсия глагола).

Формула « x имеет D (y у x есть D)» при $D = \text{признак}$ несет, разумеется, только один референционный (когнитивный) смысл « x обнаруживает признак P ».

Нормативно эта ситуация обозначается не столько формулой имени вещи « $N1(x)$ имеет $N2(P)$ », сколько формулами наличия признака у вещей

1) $N1(x)$ есть $A(P)$, 2) $N1(x)$ есть $K(P)$ и 3) $N1(x)$ Y , где $N1(x)$ — имя x , $N2(P)$ — субстантивное имя P , $K(P)$ — имя класса носителей P , а V — обозначение P с временной прорисовкой (глагол). Тем не менее возможность формулы имени для ситуации обладания признаком сближает конверсионные модели $N(D) \rightarrow V = \text{действовать так, чтобы иметь } D(N) \text{ и } N(D) \rightarrow V = \text{действовать как } D(N)$.

Возможна перестройка синтаксических структур с дериватами этого рода, такая, что денотат подлежащего и глагол оказываются кореферентными (разумеется, только в той части $D(N)$ значения глагола, которая унаследуется им от конветурируемого существительного). При этом результативно-следственная модель конверсии сближается с моделями инструментально-функциональной, поведенческой и метаморфной, так что модель (cause to) have $D(N)$ становится синонимичной модели (cause to) serve as $D(N)$ или (cause to) be $D(N)$:

4.2. $N12(D12) \rightarrow V12 = \text{(cause to) have} \rightarrow \text{to be } D12(N12)$.

Ср. *the building housed two families — the building provided a house for two families — served as house for two families — was a house for two families*.

Таковы наиболее частотные, наиболее регулярные базовые модели лексической конверсии существительных в глаголы. Возможны и другие базовые модели, имеющие, однако, ограниченный объем действия. Если существительное (P) означает некоторый признак действия как автономную абстрактную сущность (абстрактный предмет), то возможна конверсия по модели:

$N(P) \rightarrow V = \text{действие с признаком } P$.

Ср. *speed = скорость* — быстро двигаться.

Поскольку скорость — признак движения, то модель естественно сузжается до признака движения.

Применительно к словам с семантикой ощущений, восприятия органами чувств возможна конверсия $N \rightarrow V$ (или $V \rightarrow N$) по следующей семантической модели:

$N(D/P) \rightarrow V = \text{воспринимать, ощущать } D/P$.

Ср. *smell, scent = запах* — нюхать

taste = вкус — *ощущать* — пробовать на вкус, иметь вкус

view = вид — рассматривать

look = смотреть, выглядеть — вид, внешность (looks).

В этой модели существительное имеет денотатом сущности, промежуточные между вещью и признаком, а именно — оно обозначает не вещи, воспринимаемые тем или иным органом чувств, а то в вещах, что служит субстанциональной основой, непосредственным объектом ощущения и восприятия — запах (при обонянии), наружный вид (при зрительном восприятии), вкус.

Заметим, что глаголы *smell* и *scent* располагают конверсивными (именно конверсивными, а не конверсионными!) словозначениями, описывающими две части, из которых складывается ситуация восприятия, — часть со стороны субъекта обоняния *smell* = нюхать и со стороны объекта обоняния *smell* = пахнуть. Так же соотносятся, как конверсивы, значения глагола *taste* = ощущать на вкус и иметь вкус.

Но сходным образом расщеплена и семантика глагола *look* = смотреть и выглядеть, причем первому словозначению соответствует транспозитивное существительное *look* = взгляд, а второму — конверсивно (sic!) соотнесенный с *look* = взгляд конверсионный (sic!) лексический дериват *look(s)* = вид, внешность.

Глаголы зрения и слуха различают способности к восприятию и акт восприятия, с одной стороны, и акт целенаправленного восприятия — с другой: *see* — *look*, *hear* — *listen*. У глаголов слухового восприятия нет субстантивных конверсионных дериватов, у глаголов зрительного восприятия они есть, и для этой цели избран *look* — предикат целенаправленного зрительного восприятия, а не *see*. Выбор сделан в пользу *look* по причинам не семантического свойства. Теоретически и тот, и другой глагол могли стать базой для конверсии транспозитивной и транспозитивно-лексической — каждый, конечно, со своими семантическими отличиями. Косвенно это подтверждается наличием *sight* = вид, генетически связанным с *see* и синонимичным *look(s)* = вид.

Для полноты картины требуется более полный обзор конверсионных процессов с обратным вектором — от глагола к существительному, тем более что, как было сказано, регулярная модель обратима и действует в обоих направлениях.

Конверсия *V—N* может ограничиться эталоном транспозиции (чистая транспозиция). Это означает, что понятийное содержание слова, его когнитивное лексическое значение остается неизменным, а меняется только его грамматическое значение: повышаясь в ранге до существительного, слово приобретает возможность представлять свой денотат как субъект суждений — о нем что-то может быть высказано, в этой форме он может стать предметом рассуждения.

Из существительных только абстрактные предикатные имена могут подвергаться чистой трансформации, ср. *gore* — *горевать*, *интерес* — *интересоваться*, *стон* — *стонать* и т. п. Для конкретных существительных в силу особенностей их семантики (физическая, а не синтаксическая предметность) это невозможно, и конверсия в глагол сопряжена с изменением не только части речи (грамматической парадигмы), но и лексического значения — транспозиция + сдвиг в понятии.

Чистая конверсионная транспозиция *N—V* или *V—N* — дело вполне обычное в английском языке, ср. *travel* = путешествие — путешествовать,

stop = останавливаться — остановка, *cry* = кричать — крик, ср. также *shriek*, *moan* и т. п. И все же в силу того, что глагол дает временную характеристику признака, а существительное нет, возникают возможности для тонкой семантической нюансировки в пределах от простой синтаксической транспозиции выражаемого признакового понятия до модификации понятия и сдвига в лексическом значении, т. е. от транспозитивной конверсии до транспозитивно-лексической.

Так, для многих существительных, называющих явления духовной и эмоциональной и физиологической сфер, свойственна конверсия в глаголы по модели:

$N(D) \rightarrow V$ = испытывать (проявлять, обнаруживать) $D(N)$.

Ср. *fear* = *страх* — страшиться

hunger = *голод* — голодать

wonder = *удивление* — удивляться.

В каузативном варианте эта модель имеет вид:

$N(D) \rightarrow V$ = каузировать x испытывать $D(N)$.

Ср. *wonder* = *удивление* — удивляться, удивлять.

Модель вполне обратима:

ср. *scare* = *пугаться*, *пугать* — испуг.

В подобных случаях глагол описывает то, что относится к проявлениям состояний души и тела, в то время как существительное охватывает части и всю структуру этих сложных категорий: и проявление, и состояние. Это и объясняет неполную тождественность понятия транспозиции.

При лексической конверсии $V \rightarrow N$ глаголы, становясь существительными, приобретают значение аргументов тех ситуаций, которые этими глаголами обозначаются. Проблема состоит в должном выборе аргумента. Разумеется, функцию аргумента при данном предикате могут выполнять вещи разных классов, но все они объединяются в один класс, конституируемый аргументной ролью. Дело за тем, чтобы обозначить этот класс посредством конверсии предиката — глагола.

Если глагол — одноместный предикат, то выбрать не из чего и семантика конверсионного существительного предопределена:

tramp = *бродяжничать* — бродяга.

Если условиться, что *Act* — действие, а $D(Act)$ — класс по действию *Act*, то этот пример представляет конверсию по модели:

$V \rightarrow N(D) = Act \rightarrow D(Act)$.

Нетрудно, однако, убедиться, что перед нами вариант перевернутой «поведенческой модели» $N(D) \rightarrow Y$ = действовать, как свойственно $D(N)$. При этом значение конвертируемого глагола входит в семантику деривата на правах гипосемы (дифференциального признака): *a tramp* = *one who tramps* (бродяга = тот, кто бродяжничает).

В случаях, когда конвертируемый глагол — многоместный предикат, выбор аргумента и семантики деривата определяется также из структуры

значения глагола — по его гипосеме. Последний вычленяется из семантики глагола и образует интенционал деривата — существительного как конститутивный признак класса денотатов, обозначаемых этим вновь образованным существительным.

Если при этом гипосема — понятие об орудии или средстве действия, то оно естественно и составляет значение субстантивного деривата, и мы имеем ту же орудийно-функциональную модель конверсии $N(D) \rightarrow V =$ действовать в свойственной $D(N)$ функции орудия, средства, но с инверсией деривационно-семантического процесса:

$V \rightarrow N(D) = Act \rightarrow D$ (орудие, средство Act).

Ср. *lash* = *сметать хлыстом* — хлыст

gargle = *полоскать рот, горло* — жидкость, средство для полоскания рта, горла.

Ассоциативное поле этой модели весьма широко и включает в себя не только орудия и средства действия в собственном смысле, но и все необходимые для его осуществления условия, сверх деятеля и возможного (но не обязательного) объекта — например, устройства, оборудование, место (в функциональном смысле), т. е. все необходимые для осуществления действий условия и средства в широком смысле слова.

Ср. *show* = *показывать, выставять для показа, демонстрация, — выставка, показ, шоу*.

Очевидно, такой же широкий спектр имен средств-условий надо ожидать и в обратной «орудийно-средственной» модели $N(D) \rightarrow V =$ осуществлять назначение $D(N)$.

Ср. *mint* = *монетный двор* — чеканить монету.

При гипосеме результативно-следственного объектного (фактитивно-го) характера глагол конвертируется в существительное соответствующей семантики — вещь как следствие, результат действия:

$V \rightarrow N(D) = Act \rightarrow D$ (результат, следствие, продукт).

Ср. *make* = *изготавливать* — изделие — * вид, марка изделия

bore = *бурить* — отверстие, скважина

find = *находить* — находка

Как можно видеть, это зеркальное отражение результативно-следственной модели $N(D) \rightarrow V =$ действовать так, чтобы иметь в результате $D(N)$.

Идея осуществления признака как общий принцип лексической междоменной конверсии снова, но теперь уже с обратным вектором от признака к вещи задаст общее направление ассоциирования концептов. В моделях конверсии типа $V \rightarrow N$ уже признаку, в частности действию, подыскивается класс денотатов, в которых он существует как характерный и которые являются по своей сущности субстанциональной базой действий (шире — признаков).

Возможна, в частности, как мы видели, конверсия по фактивной модели «действие — класс объектов, образуемых этим действием». В силу того, что действие здесь первично по отношению к объекту (действие — условие, причина; объект — следствие, результат), генетически эта модель обычно проявляется с вектором от глагола к существительному, ср. *make* = *делать, изготавливать* — *изделие* — * *модель, марка, вид изделия*.

Однако теоретически ничто не препятствует тому, чтобы идея такого класса объектов первично нашла бы выражение среди существительных и далее конверсия сработала бы в направлении к глаголу, т. е. была бы выражена конверсионно и мысль о конститутивном действии. Речь ведь идет о выражении мысли, а не о ее генезисе. Разумеется, для того чтобы сложилась мысль о классе вещей — продукте некоторого действия, требуется готовое представление (понятие о таком действии). Оба понятия, видимо, предполагают друг друга как компоненты мыслительного расчленения единой ситуации. В сложившемся представлении о такой ситуации ассоциации направлены взаимнообратно от любого компонента ее структуры к любому другому, поэтому и выражение, обозначение компонентов по их роли в ситуации может начаться — по меньшей мере, теоретически — с каждого из них.

Обобщаясь, модель обозначения «действие — класс вещей, конституруемый действием» приобретает вид «действие — класс необходимых аргументов действия». Для обозначения разных классов аргументов в структуре действия язык может располагать специальными формальными средствами отглагольной деривации, формообразования и транспозиции, ср. «сочинитель, сочинение» при «сочинять» *trainer, trainee* при *train* и т. п. Но возможен — с учетом уже имеющихся в распоряжении языка моделей номинации — и конверсионный способ обозначения аргументов ситуации при данном предикате. По своей семантике такой дериват представляет собой как бы отчуждение семантической валентности от предиката и ее именование, ее лексическое выражение.

Ср. *tramp* = бродяжничать — бродяга

master = тот, кто владеет ситуацией — владеть ситуацией

match = то, что составляет пару чему-нибудь — составлять пару чему-нибудь, быть парой чего-нибудь.

Любой случай лексического словообразования, форменного или конверсионного, сопряжен с лексикализацией семантических валентностей производящего слова.

Поэтому реализация дериватора и деривата в одной синтагме давала бы эффект семантической избыточности, ср. *tramps tramp, masters (of a situation) master (the situation), x matches his match*.

Надо заметить, что аргументы конверсионных предикатов отличны от классов аргументов, которыми оперируют в семантическом синтаксисе (партиципанты, семантические роли, падежи, актанты). Отличие — в

уровне обобщения: участники — максимально обобщенные классы вещей по роли в отношениях как члены семантической структуры синтаксических единиц, обозначающих эти отношения.

Денотаты имен участников в предложениях поименованы (за исключением особых случаев) отнюдь не по той роли, которую они играют в семантической структуре синтаксической единицы с определенным предикатом. Они именуются вне и независимо от ролей, задаваемых предикатом, и это делает синтаксическую структуру информативной в двух измерениях: она описывает и предикатную ситуацию, и вовлеченных в нее различных участников. Что же касается аргументных значений, то они дополнительно накладываются на лексическую семантику имен как функция места имени в семантико-синтаксической структуре.

В принципе, любой из аргументов, входящих в структуру семантических валентностей предиката (а в конечном счете в структуру ситуации, свернутую в семантику предиката), может быть обозначен посредством транспозиции и лексической конверсии предиката. Фактически же конверсия вступает в дело там, где номинативная система языка не представляет иных средств обозначения.

В основе лексической конверсии существительных в глаголы и глаголов — в существительные лежат импликационные зависимости концептов, а именно ассоциирование концептов вещи и ее признаков с обратными векторами. При векторе лексической конверсии от глагола к существительному значение деривата достаточно определено (если не принимать во внимание, конечно, возможное дальнейшее его развитие): оно лежит в области семантических валентностей предиката, т. е. в области классов аргументов при данном предикате. Возникают конверсионные существительные-конверсивы (существительные-конверсивы обозначают классы вещей, описываемых по их роли в тех или иных отношениях).

При обратном векторе лексической конверсии от существительного к глаголу неопределенность в семантике потенциального деривата, как говорилось, увеличивается в меру множественности характерных признаков, каждый из которых может, в принципе, быть положен в основу деривации.

3. Обобщения. Сложные случаи

Остается не менее существенная часть исследования — теоретическая интерпретация, обобщение результатов анализа и рассмотрение более сложных случаев конверсии, «выплескивающихся из берегов» базовых семантических моделей.

1. Вряд ли вполне справедливо считать, что конверсия даже в ее экстремальном варианте, как в аналитических и аморфных языках, — с морфологическим совпадением слов разных частей речи в исходных грамма-

тических формах, снимает принципиальное различие между существительным и глаголом — различие, которое Э. Сэпир справедливо считал наиболее значимым и устойчивым для языков независимо от их типологического «покроя». Конверсия размывает лишь морфологические границы этого различия.

За вычетом чистой транспозиции, т. е. грамматических механизмов повышения/понижения в синтаксическом ранге выражаемой признаковой мысли, тем или иным аналогом которых располагает любой язык, конверсия оставляет в силе принципиальное различие в семантике конкретно-вещных и абстрактно-признаковых слов — в содержании и структуре их значений. Широкое распространение конверсии с массовым совпадением форм лишь переносит центр тяжести из различения с морфологии слова на синтаксические факторы — с образа словоформы на синтаксическую модель. Этот путь экономен, но лишь до определенного предела. Во-первых, образ синтаксической структуры формируется с опорой на форму и порядок следования единиц, занимающих позиции в этой структуре, а во-вторых, единица в структуре семантизируется либо прямо по показателям ее формы, либо семантизация ее требует обращения к показателям синтаксической структуры, в которую вставлено слово. Выиграв в одном, теряют в другом, и наоборот. Важен оптимальный баланс двух принципов кодирования/декодирования. И все же надо признать, что в флективных языках он нарушен в сторону потерь.

2. Семантические механизмы лексической конверсии опираются на универсальный мыслительный аппарат импликационного ассоциирования концептов по линии «вещь — признак».

Блок ассоциативных представлений, имеющий центром ту или иную сущность — вещь или признак, класс вещей или (про)явлений, представляет собой вероятностную структуру (стохастизм). На уровне слов в качестве центра таких стохастизмов выступают значения слов — сами тоже вероятностные структуры. Ассоциативные блоки описываются в современной науке в таких терминах, как *гештальдт*, *установка*, *фрейм*, *сцена*, *ситуация*, *событие*, *сценарий* и т. п., а на семантическом уровне — как интенционал и импликационал слова, семантические валентности слов, аргументно-предикатные структуры и т. п.

Базовые модели лексической конверсии $N \rightarrow V$ отталкиваются от интенционала того или иного значения существительного. На этой основе осуществляется ассоциативный поиск признака, выбор его и привязка в качестве значения к глагольному деривату. Существенным моментом в определении признака оказывается то, что он должен описывать денотаты субъекта, которому предиктирован глагол. С учетом этого регулярная, массовая лексическая конверсия существительных в глаголы укладывается, как было показано, в четыре продуктивные модели.

Первой следуют имена функциональных классов, классов по назначению, функции, служащих в качестве орудий и средств осуществления действий — орудийно-средственная модель. При этом $D(S)$ — денотат субъекта действия (речь, понятно, идет о субъекте глагола-деривата в действительном залоге) — и $D(N)$ — денотат конвертируемого имени — не тождественны. Модель имеет, как мы видели, смысл: $N(D) \rightarrow V = D(S)$ использует $D(N)$ по его характерному назначению, т. е. действует соответственно назначению $D(N)$, осуществляет функцию $D(N)$. Ср. для наглядности и в дополнение к приведенным выше примерам: *dam* = дамба — перегораживать дамбой.

Вторая модель, условно названная поведенческой, предполагает тождество $D(S)$ и $D(N)$ или подобие между ними. Модель имеет смысл: $D(S)$ действует как или подобно $D(N)$. С учетом этого различия модель так же, как и все остальные, основана на представлении об осуществлении характерных, типичных, конституитивных признаков класса. Однако в этом случае эти признаки не ограничиваются собственно назначением или даже функцией, что еще более важно для этой модели, признак связан с описанием $D(S)$: глагол предиктирует свое назначение своему субъекту. Ср. для наглядности: *judge* = судья — судить.

Третьей была указана модель « $D(S)$ становится (подобным) $D(N)$ ». Как и во второй модели, $D(N)$ не имеет реферанта, отдельного от $D(S)$, они тождественны, и $D(N)$ используется для описания $D(S)$. Но в отличие от второй модели $D(S)$ не обнаруживает, а приобретает качество $D(N)$ и лишь в результате становится $D(N)$ или подобным ему. По этой причине модель названа метаморфной. Ср. *master* = хозяин, владелец — становится хозяином, овладевать.

Наконец, четвертая регулярная модель — способ выразить через конверсию $N(D) \rightarrow V$ также отношение между $D(S)$ и $D(N)$, когда действие $D(S)$ обеспечивает наличие $D(N)$. Это результативно-следственная модель. Она сходна с первой моделью и отлична от второй и третьей нетождественностью $D(S)$ и $D(N)$. У них разные референты, находящиеся в том отношении, что $D(S)$ располагает, имеет $D(N)$. Дериват имеет значение «действовать так, чтобы иметь $D(N)$ ». Ср. *patch* = заплатка — латать.

В каузитивных вариантах моделей объект действия перемещается в позицию объекта воздействия при деривате.

Каждая модель вмещает и обобщает множество конкретных разновидностей. Общие названия моделей — орудийно-средственная, поведенческая, метаморфная, результативно-следственная — достаточно условны, и каждая из моделей содержит случаи, лишь с натяжкой подводимые под эти определения. Более того, как уже указывалось, вполне реальна «переключка» между моделями. В рамках одной модели наблюдается движение к более обобщенным вариантам, и в этих обоб-

щенных вариантах одна модель перекрывается другими. Некоторые конкретные случаи конверсии могут быть интерпретированы по разным моделям, не говоря уже о том, что одно существительное может служить базой для конверсии по разным моделям с различающимися значениями деривата. В конечном счете во всех моделях конверсии $N-Y$ просматривается общий исходный принцип: в основе лежит идея осуществления. В одних случаях (первые три модели — орудийная, поведенческая и метаморфная) — это осуществление конститутивного, нормативного или по меньшей мере характерного признака класса $D(N)$ в $D(S)$: субъект производного глагола действует так, что осуществляется конститутивный, нормативный или просто характерный, типичный для класса $D(N)$ признак. Этот признак отвлекается от $D(N)$, называется посредством конверсии существительного $N(D)$ в глагол V , снабжается темпоральными характеристиками и переадресовывается новому денотату — субъекту глагола.

В других случаях (результативно-следственная, факитивная модель) осуществлен и наличествует сам $D(N)$ — субъект действует так, что осуществляет $D(N)$.

Тем не менее основания моделей достаточно четко разведены друг от друга. В основе каждой из них лежит своя прототипическая структура, с которой сопоставляются конкретные случаи конверсии. Прототипические структуры антропоморфны и антропоцентричны, ориентированы на человека на типические и наиболее существенные категориально обобщенные аспекты его деятельности — орудийной, поведенческой, метаморфной и объектной. Прототипический образ, лежащий в основании моделей, при их обобщении действует как моделирующая метафора, позволяющая свести воедино обширный класс явлений.

3. Семный состав производного значения формируется на базе производящего, структура его образуется как зеркальное отражение последнего — способом инверсии, оборачивания значения существительного. Само понятие о $D(N)$ сохраняется в производном на правах гипосемы, отчего структура имеет как бы циклический вид. Лишь возможное последующее обобщение значения деривата устраняет движение дефиниции по кругу. Категориальная сема (гиперсема) деривата уточняется за счет конкретного лексического значения производящего.

Ср. 1) *knife* = орудие, чтобы резать — убивать — резать — убивать ножом, т. е. орудием, предназначенным для того, чтобы резать — убивать;

2) *mother* = родитель женского пола (интенционал), которому свойственно заботиться о семье (нормативный признак) — вести себя, как мать, т. е. заботиться о ком-то, как заботится мать; *echo* = звук, отражающий и воспроизводящий другой — отражать и воспроизводить звуком другой звук;

3) *master* = тот, кто осуществляет свою волю, — становится и быть тем, кто осуществляет свою волю; *couple* = единая сущность из двух единиц — становится и быть единой сущностью из двух единиц, действовать так, чтобы образовать единство из двух;

4) *draft* = черновик, набросок — действовать так, чтобы иметь набросок, т. е. сочинять или записывать или запоминать черновой вариант какого-либо текста (речи, документа, письма).

4. Как сказано, по содержанию лексическая конверсия субстантивных слов в признаковые, и наоборот, базируется на механизме импликаций, а именно здесь в полной мере проявляются линейные, импликационные зависимости, связывающие концепты вещей и их признаков (в том числе действий). В силу того, что отсутствует семантически ориентированное формальное словообразовательное средство, которое бы направляло соотношение значений дериватора и деривата в определенное русло, единственным регулятором семантики служит структура импликационных связей между концептами вещей и их признаков.

Но эти связи наличествуют и проявляют себя также и при регулярном форменном словообразовании — в моделях лексического (не чисто транспозитивного) образования признаков слов от субстантивных, и наоборот. Они лишь вводятся в более четкие рамки в меру семантической определенности словообразовательной модели с форменным средством, но проявляют себя как сила, диверсифицирующая эту модель и ставящая ее в зависимость от конкретных лексических значений производящих слов.

По этой причине исследование моделей лексической конверсии значимо и в более общем плане. С одной стороны, оно проливает свет на концептуальные структуры и процессы ассоциирования по линии вещь — признак, а с другой — на семантические механизмы словообразования, как конверсивного, так и форменного. Закономерности семантического моделирования конверсионной деривации сохраняют силу для форменного междустеречного словообразования.

Для подтверждения укажем несколько примеров из русского языка, число их читатель может без труда умножить. Деривация в них с семантической стороны точно следует тем моделям, которые нами были выявлены на английском материале.

Модель 1 — орудийно-функциональная « $D(S)$ использует $D(N)$ по его прямому назначению»: тормоз — тормозить, хлыст — хлестать (ср. также бич — бичевать с метафорическим развитием), соль — солить (а также перец — перчить и т. п. — при контаминации с моделью 4, ср. также сахар — *сахарить — засахаренный).

Модель 2 — поведенческо-функциональная (функционально-качественная) « $D(S)$ действует как или подобно $D(N)$ »: учитель — учительствовать, мастер — мастерить, предводитель — предводительствовать, нищий — нищенствовать, вдова — вдоветь и т. д.

Модель 3 — метаморфная « $D(S)$ становится (как) $D(N)$ »: сатана — сатанеть (с метафорическим развитием), группа — группировать(ся), куст — куститься, ветвь — ветвиться.

И в этой, и в других моделях на последующем этапе в игру могут вступать модели форменного словообразования и видового формообразования, уточняя конечную семантику деривата каждая сообразно своей идее, ср. «осатанеть, овдоветь, перегруппироваться, разветвляться; намастерить, засолить, пересолить, недосолить» и т. п.

Модель 4 фактитивная (в широком смысле, точнее — результативно-следственная) « $D(S)$ действует так, что в результате наличествует $D(N)$ ». Примеры многочисленны, особенно если учесть деривацию второго, форменного этапа: кольцевать, (по)золотить, позорить, временить, светить, чертить, жениться, товар — отоварить, затовариться, обилечивать, окровавить, озеленять, застеклить и т. д.

5. Как уже указывалось, семантическая неопределенность лексической конверсии возрастает с продвижением от классов с четкой дефиниционной структурой к таксономическим естественным классам, к понятиям — явным стохастизмам с размытой, нечеткой вероятностной структурой дифференциальных признаков. В многопризнаковой структуре относительно равноценных признаков многие из них могут стать основой конверсии, и хотя конверсия следует тем же базовым моделям, выбор модели и ее прогноз становится менее определенным. К тому, что, в принципе, один признак может служить базой конверсии по разным моделям, добавляется еще то обстоятельство, что она может следовать в разных направлениях, базирясь на разных признаках одновременно.

Это еще более увеличивает впечатление семантической непредсказуемости конверсии и еще более скрывает от наблюдателя правила, модели и порядок, которому она подчинена при видимой хаотичности. Однако правила и порядок, управляющие конверсией, реально существуют, хотя и носят более сложный, менее очевидный характер. Неочевидность этих правил в целом обусловлена сочетанием нескольких моментов. Отчасти о них порознь говорилось выше. Сведем их здесь воедино.

Во-первых, как уже отмечалось, существуют многие внесемантические ограничения на конверсию. Они могут носить системный, регулярный характер, заведомо исключаяющий возможность конверсии. Вместе с тем ограничения могут быть несистемной природы, когда нет никаких причин семантического или системного свойства, по которым конверсия не должна осуществляться, т. е. теоретически и нормативно она могла бы состояться, но тем не менее в узусе не наблюдается единственно в силу традиции: ее нет, потому что ее не было.

Во-вторых, общность конверсионной модели не подкреплена и не закреплена и не выявлена формальным показателем, а напротив, раство-

рена в частных, конкретных лексических значениях дериватора и деривата. Модель должна быть абстрагирована от них как общее в семантике деривационных пар, не сгруппированных заранее за счет формальных показателей.

В-третьих, в отличие от форменного словообразования сам порядок, моделированность лексической конверсии $N \rightarrow V$ носят иной, вероятностный характер, что особенно наглядно проявляется в случае имен классов с размытой сферой дифференциальных признаков.

В-четвертых, эффект непредсказуемости косвенно усиливается за счет того, что дериваты нередко смоделированы не по одному основному (главному) значению производящего имени, а восходят к разным его значениям, в том числе второстепенным, фразеологически связанным, а также восходят, как уже отмечалось, хотя и к одному значению, но к разным признакам денотата этого значения или же, восходя к одному значению и одному признаку, следуют разным моделям деривации.

В-пятых, немало случаев, когда изначально ясная семантическая модель конверсионной деривации оказалась затемненной в силу последующих изменений в семантической структуре слов.

В-шестых, общие базовые модели лексической конверсии универсальны, но реализуются всегда в конкретном лексическом значении деривационных пар, так что модель и конкретное значение деривата соотносятся как общее и частное, обобщенно-абстрактное и частно-конкретное. Общее в семантике приходится извлекать из конкретики частных значений дериватов, не располагая ориентиром в виде общего формального показателя модели.

К тому же значение деривата неизбежно, как это свойственно значениям естественно-языковых знаков, обрастает множеством импликаций, формирует свое метонимическое и метафорическое поля, варьирует по гипер-гипонимической вертикали. Этим затемняется не только общая модель деривации, но в известной мере и точные очертания ее продукта — первичного значения деривата.

Наконец, на первичное значение деривата наслаиваются, осложняют и перестраивают его структуру семы каузации, причем результирующее каузативное значение во всех его разновидностях также не имеет специального формального показателя внутри слова и находит выражение лишь вовне — в лексическом заполнении позиций синтаксической структуры.

Такова сводка причин, скрывающих от исследователя внутренний порядок лексической конверсии. Неопределенность, надо иметь в виду, существует прежде всего и более всего для исследователя, она носит теоретический, а не практический характер: для говорящих «правила игры», алгоритмы конверсионного кодирования/декодирования специфических трудностей не представляют.

В условиях, когда значение дериватора стохастично, состав и структура его дифференциальной и нормативной частей размыты и включают множество относительно равноценных признаков, неопределенность деривационного выбора, как было замечено выше, частично компенсируется и снимается за счет сопряженных со значением и косвенно отражаемых в нем факторов — представлений о типичных случаях, фреймах бытования денотата $D(N)$ и структуре семантических и синтаксических валентностей $N(D)$, т. е. структуре лексико-семантической и синтактико-семантической сочетаемости $N(D)$. Лексическая конверсия $N \rightarrow V$ для своего осуществления явно нуждается в выдвигании какого-то семантического признака в значении существительного на передний план как дифференциального или нормативного для данного класса денотатов или в подкреплении его представлениями о его специфичности, эмотивно-оценочной значимости и т. п., т. е. так или иначе об особой маркированности признака среди других. Одним словом, необходимо такое качество семантического признака, которое бы достаточно однозначно направляло ассоциативный процесс «вещь (класс) — признак» по определенному руслу.

По этой, очевидно, причине энергия лексической конверсии $N \rightarrow V$ заметно затухает у типичных таксономических имен естественных классов, даже если выполнены все прочие несемантические условия.

Размытость семантических структур, многопризнаковость и относительная равноценность дифференциальных признаков не дают надежной опоры для направления деривации. Она может появиться лишь с привязкой к таксономическому имени и классу каких-либо, например стереотипных, ассоциаций, как у некоторых зоонимов. Ср. *fox* = лиса — хитрость.

Сказанное требует детальных пояснений на примерах.

В любом случае лексической конверсии значение дериватора конкретизирует модель деривации. Ср. *dam* = дамба — 1) возводить дамбу. Конверсия идет по результативно-следственной модели «действовать так, чтобы иметь $D(N)$ ». Поскольку $N(D)$ в этом случае означает дамбу, а дамба — сооружение, то и в значении деривата это находит прямое отражение.

Вместе с тем дамба — сооружение с назначением подпора воды, и дифференциальный признак служит основой для конверсии на орудинофункциональной модели 1 «использовать $D(N)$ по назначению» (при тождественности $D(S)$ и $D(N)$ и функционально-поведенческой модели 2 «служить в качестве, быть $D(N)$ » при тождественности $D(S)$ и $D(N)$). Тем самым порождаются еще два словозначения *dam* = 2) сдерживать, подпирать (воду) дамбой и 3) служить дамбой. Обобщаясь через уподобление (метафора), второе значение порождает еще одно *dam* = 4) сдерживать (напор чувств, поток красноречия и т. п.).

Сходным образом одно и то же значение дериватора, следуя разным моделям деривации, развивает дериват с несколькими значениями в следующих дополнительных примерах:

mat = коврик, *mat* — 1) стелить коврик (модель 1), 2) служить ковриком (модель 2);

fan = веер — 1) обмахивать(ся) веером (модель 1), 2) служить веером (модель 2), раскладываться как веер (модель 3) метаморфная «становиться как D(N)» — D(S) и D(N) тождественны; значения 2–3 имеют тропическое развитие: 2–3 = овеять (о легком ветерке и т. п.), 3–4 = продвигаться, расходясь веером;

placard = плакат — 1) информировать посредством плакатов (модель 1), 2) развешивать плакаты (на стенах) и т. п.

Вместе с тем одна и та же модель может базироваться на разных признаках, например, на разных функциях артефакта, порождая разные значения деривата, каждое из которых по-разному конкретизирует категориальный смысл модели:

rope = веревка — 1) связывать веревкой, 2) отгораживать веревкой (в обоих случаях модель 1);

shoulder = плечо — 1) подпирать плечом, 2) оттирать, прокладывать дорогу плечом (модель 1);

palm = ладонь — 1) трогать ладонью, 2) шлепать ладонью (модель 1);

finger = палец — 1) трогать пальцем, 2) вертеть в руке, 3) играть на музыкальном инструменте с помощью пальцев (все — модель 1).

Семантизация производного глагола совершается в несколько взаимозависимых, связанных обратной связью приемов: определение модели с учетом словозначения существительного, дальнейшее уточнение семантики деривата за счет опять же взаимозависимых факторов лингвистического сочетаемостного контекста и описываемой или предметной ситуации.

В конечном счете действует совокупность взаимозависимых факторов:

- многопризнаковость (в частности, многофункциональность) денотата D (N);

- многомодельность деривации;

- множественность самих классов денотатов D (N) и соответственно семантических разрядов имен N (D);

- множественность ситуаций бытования фреймов для каждого D (N) и их классов и соответственно этому множественность вариантов осмысления деривата в сочетаемостных контекстах.

Совокупное параллельное действие этих факторов может порождать дериваты со значительным разнообразием семантических вариантов:

water = вода — 1) обрызгивать, поливать водой; 2) обрабатывать (ткань) водой (модель 1); 3) разбавлять водой; 4) пить водой; 5) ходить на водопой; 6) набирать воду, запастись водой; 7) добавлять «воду», (фигурально — в рассказ и т. п., ср. № 3); 8) источать воду, слезы, слюну (модель 4).

Примеры подобного рода наглядно показывают, что многопризнаковость, многофункциональность денотата, стохастический характер семанти-

ки дериватора ставят деривационный прогноз в зависимость от ситуации бытования, использования денотата. В собственно языковом, семантическом плане это означает возрастающую зависимость от сочетаемостного контекста. Однако на этом уровне сходство в тезаурусах говорящих, в знании мира и структур ситуаций обеспечивает им достаточно однозначное осмысление дериватов при том, что объем моделированной деривации, ее семантическое пространство неизмеримо возрастают.

В примерах ниже прихотливый, казалось бы, характер деривации находит объяснение и сводится к предсказуемым моделям, если учесть, что деривационный процесс базируется на разных словозначениях дериватора, в том числе и весьма специальных:

man = человек, но также (во мн. ч.) личный состав — набирать, укомплектовывать личным составом (модель 4, каузативный вариант);

board = доска — настилать доски, заколачивать досками (модель 1), но также = стол — пища — питание (в пансионе) — кормить, питаться в пансионе и т. п. (модель 4); также = настил — палуба, борт — садиться на корабль, поезд и т. п. — брать на abordаж (в основе модель 4); также = доска — стол — комитет, комиссия — представлять кого-либо комиссии (в основе модель 4).

Благодаря импликационным (метонимическим) связям концептов не только имена орудий, но разного рода устройств, сооружений, мест, специально предназначенных для какой-либо функции, конвертируются в обозначение этих функций:

shop = лавка, магазин — делать покупки

jail (также *prison*) = тюрьма — сажать в тюрьму.

Ср. (с обратным вектором $V-N$) *show* = показывать — выставка, показ, шоу.

Теоретически *shop* могло дать конверсив — торговать, но этот вариант имел меньше шансов на реализацию по той скрытой причине, что множество покупателей несравненно больше множества торговцев, т. е. невольно было отдано предпочтение этому варианту конверсии, при котором позиция приглагольного субъекта вмещала бы наибольший круг денотатов и удовлетворяла бы интересам более широкого круга я-говорящих.

В суммарных представлениях о структуре бытования денотатов тех или иных классов на передний план выдвинуты те, что наиболее значимы для людей в деятельностном, аксиологическом и эмотивном планах. Эти представления находят отражения в соответствующих частях структуры значения слов — в составе интенциональных, нормативных, импликационных и эмотивно-оценочных подструктур (модусов) значения. Деривация нередко выходит за пределы конститутивных (интенциональных) признаков денотата и находит опору для себя в типичных, нормативных, наиболее частотных и наиболее значимых фреймах бытования денотатов — зна-

чимых для максимально широкого круга говорящих. Структурация представлений о бытовании денотатов, достаточно единообразная у говорящих, служит мощным фактором снятия значительной доли неопределенности в деривационном процессе.

Ср. *garden* = *сад*(ук) — работать в саду;

summer (*то же winter*) = *лето* — проводить лето (зиму);

birch = береза — сечь (березовыми) прутьями;

table = *стол* — выкладывать на стол — предъявлять подготовленный документ;

centre = *центр* — 1) иметь центром (в центре), 2) ставить в центр, 3) отмечать центр, 4) выбивать (мяч), выбрасывать (шайбу) в центр;

time = *время* — 1) осуществлять (что-либо) в нужный момент, время (определять, выбирать нужный момент, время для осуществления чего-либо), 2) определять длительность какого-либо события, 3) распределять события по времени должным образом;

ring = *кольцо* — 1) окружать (модель 3 «становиться и быть как кольцо»), 2) окольцовывать, продевать кольцо (модель 4 в каузативном варианте «заставлять быть с кольцом»), 3) набрасывать кольцо (в игре), 4) чертить кольцо (вокруг чего-то), обводить что-либо кольцом, 5) ходить по кругу.

Позиция в кресле выделяла председателя собрания, поэтому *to chair* могло означать не просто *to have the chair*, но в ситуации собрания метонимически — *to be the chairman*, равно как возгласы *chair! chair!* означают обращение к председателю собрания. Существует еще одно значение глагола, связанное с ситуацией выборов. В случае победы сторонники кандидата сажали его в кресло и носили по улицам как триумфатора: *chair* = *носить на руках в кресле*.

Ср. также значения дериватов:

home = 1) дом, также среди прочих значений:

2) место, которое надо достичь (в играх);

3) обеспечивать жильем (модель 4, каузативный вариант);

4) возвращаться, лететь домой (о почтовых голубях);

5) направляться к цели.

Во втором и третьем значениях семантизация деривата поддерживается, вероятно, наличием *home* — наречия с векторным значением «домой» (в отличие от статического *at home* «дома»).

skin = *кожа*, также *шкура* — 1) покрываться, обрастать, зарастать кожей, заживать (о ранах и т. п.) — модель 4, 2) снимать, сдирать кожу, шкуру — ситуативно обусловленная эмантисемическая деривация по противоположению модели 4 в каузативном варианте «лишать *x D(N)*, заставлять *x* не иметь *D(N)*».

Особо следует упомянуть случаи конверсионных глаголов типа *dismember*, *unearth*, *outgeneral*. Они любопытны тем, что представляют со-

бой дериваты, образованные по продуктивным моделям форменного словообразования от несуществующих конверсионных отсубстантивных глаголов: *member* *n* — **to member* — *dismember*; *n. earth* — **to earth* — *to un-earth* = земля — *закапывать в землю — выкапывать из земли. Здесь мы имеем дело с трехзначными цепочками, среднее звено в которых — конверсионный дериват — существует лишь потенциально, как виртуальная единица, не попадающая в речь и тем не менее успешно служащая базой для деривации актуальной единицы.

Модели конверсии здесь срабатывают, но лишь с опосредованным выходом в речь: *to member* означало бы *have members, furnish with members* (результативно-следственная модель) и от этого понятия идет дериват *dismember* «лишать членов, отрубать члены». В свою очередь, *to earth* означало бы закапывать в землю» (в основании — назначение «использовать $D(N)$ в обычной функции»), соответственно *unearth* имеет противоположное значение.

Оказиональное образование *to outgeneral* = показывать более высокий класс командования войсками, «перегенералить» образовано по той же модели, что *outlive* = прожить дольше, *outmanoeuvre* = показать лучший маневр, но с той существенной разницей, что в отличие от, например, *manoeuvre* = маневр — маневрировать — в узусе нет конверсионного глагола *to general*. Достаточно виртуальной формы, общей схемы, чтобы модель сработала: *general* = генерал — *генералить — *outgeneral* = «перегенералить».

7 глава

Взаимодействие лексических значений слов в словосочетаниях (комбинаторная семантика)

1. Предмет, задачи и исходные понятия комбинаторной семантики

Эта глава посвящена области семасиологии, еще не получившей общепризнанного наименования. Речь идет о взаимодействии лексических значений слов в словосочетаниях, о закономерностях сочетания смыслов отдельных полнозначных слов (имен), объединяющихся в сложные номинативные единицы, о соотношениях между значениями слов-компонентов и значением целого сочетания.

Отсутствие общепринятого обозначения показательно: в лингвистике до сих пор нет достаточно разработанной теории, соответствующей этой предметной области. Хотя задача разработки теории «сложения смыслов» и общее направление этой разработки были достаточно четко сформулированы Л. В. Щербой еще в 1931 году, попытки этого рода были предприняты не ранее 60-х годов. На это есть несколько причин, и прежде всего недостаточность лингвистических представлений о значении, его типологии, и структуре, с одной стороны, и недостаточная разработанность синтаксической теории — с другой.

Для обозначения рассматриваемой области чаще других используют термины «комбинаторная семантика» и «синтагматическая семантика», а соответствующий раздел семасиологии называют комбинаторной семантикой или синтагматической семасиологией. Когда же речь идет о самом взаимодействии значений, говорят о комбинаторике или синтагматике значений. Термины эти не вполне удачны. Синтагматика значений, синтагматическая семантика и соответственно синтагматическая семасиология могут быть сами по себе поняты в гораздо более широком смысле, и тогда

они охватят то, что входит в предмет синтаксической семантики (синтаксической семасиологии). Вместе с тем когда говорят о комбинаторике значений, комбинаторной семантике и соответственно комбинаторной семасиологии, то имеют в виду, понятно, не произвольные, какие угодно, комбинации значений, а возможные осмыслимые комбинации значений в синтагматических цепочках (с синтагматической связью между значениями) — прежде всего в подчинительных сочетаниях полнозначных слов. С учетом этого эти термины приняты здесь. Еще одной альтернативой к комбинаторной семасиологии мог бы быть термин «сочетаемость семасиология».

Ранее представления о сочетании значений сводились в общем к следующему. В свободных подчинительных словосочетаниях каждое полнозначное слово вписывает свое лексическое значение в рамках той или иной синтаксической структуры со свойственным ей синтаксическим отношением, и в этом смысле совокупное значение словосочетания равняется сумме значений сочетающихся слов — действует аддитивное правило сочетания значений. Иное дело идиоматические сочетания. Здесь исходным моментом является значение целого фразеологизма: идиоматически употребленное слово не сообщает свое значение целому, а, напротив, если и наделяется значением, то с позиций целого — как значимый остаток значения фразеологизма, приходящийся на долю идиоматического слова. В связи с этим значение идиоматического словосочетания не равно сумме значений частей. Для него вообще недействительны правила сочетания смыслов — первично значение целого. Так, в свободном словосочетании «сухой лист» каждое слово участвует своим смыслом в образовании совокупного значения, а в фразеологизме «сухое вино» то же прилагательное, хотя и выполняет функцию указания подклассов вин, имеет значение признака этого подкласса лишь постольку, поскольку известно значение и структура значения целого сочетания — целое наделяет значением части идиоматического сочетания.

Сложность задачи состоит в том, что нельзя непосредственно наблюдать действие правил сочетания значений. В речи содержатся готовые результаты комбинирования слов в осмыслимые сочетания, а правила этого комбинирования, которые действуют как фильтры внутренней речи, не пропускающие во внешнюю речь неправильных образований, ускользают от прямого наблюдения.

Тем не менее обнаружить их можно. Конкретизируем предмет и проблематику комбинаторной (сочетаемой) семасиологии на нескольких примерах. Говорящие знают практически, что сочетания, вроде *приток реки*, *невеста солдата*, *свидетель события* и т. п., имеют смысл, могут пояснить этот смысл. Они также знают практически, что сочетания-перевертыши *река притока*, *солдат невесты*, *событие свидетеля* неправильны и поэтому не употребляют их в речи. Но сформулировать условие

этого практически известного запрета, т. е. выразить его теоретически, совсем нелегко. Продолжив рассмотрение перевертышей, мы убедимся, что в каких-то случаях они вполне возможны, причем обычно имеют иной смысл, чем исходное сочетание, ср. *невеста брата — брат невесты, друг соседа — сосед друга, водитель машины — машина водителя* и т. п., а иногда, хотя и редко, перевертыши имеют приблизительно тот же исходный смысл, ср. *подумал с нежной печалью — подумал с печальной нежностью, с лихим весельем — с веселой лихостью*.

На этих примерах мы убеждаемся, что существуют сложные скрытые правила семантического сочетания слов, допускающие одни выражения и запрещающие другие, различающие смысл одних выражений и отождествляющих смысл других. Вскрыть эти правила, объяснить условия и результаты их действия и составляет задачу комбинаторной семасиологии.

Другой пример. По-видимому, все согласится, что сочетание признакового и вещного слова избыточно, плеонастично или даже тавтологично, если первое слово дублирует полностью или частично значение второго. Так оно и есть во многих случаях, ср. *масленное масло, прямоугольный квадрат, хищный тигр*. Однако это правило, очевидно, неприменимо к случаям вроде *правый правый, левый левый, начало начала, первый из первых* и т. п., хотя они отвечают указанным выше условиям. Ср. также *отцов отец*.

Точно так же согласится, что сочетание признакового и вещного слова бессмысленно, если в их значениях содержатся несовместимые признаки, — требуется переосмыслить слова так, чтобы снять конфликт признаков. Так оно и есть во многих случаях, ср. *неродной отец, живой труп, песня без слов, посмертная жизнь*. Однако это правило, очевидно, не действует в случаях, вроде *правый левый, левый правый, начало конца, последний из первых*, где определение и определяемое сохраняют свое первоначальное значение, хотя они и антонимичны. Ср. также *отцова мать*.

Как видим, реальные правила избыточности и несовместимости сочетаний, практически хорошо известные говорящим, имеют весьма тонкий неочевидный характер и нелегко поддаются теоретическому осмыслению. Это также составляет одну из задач комбинаторной семасиологии.

В целом предмет и задачу комбинаторной семасиологии составляют правила сочетания и взаимодействия лексических слов в синтагматике, а также связанные с видимым нарушением комбинаторно-семантических правил содержательные и выразительные эффекты.

Взаимодействующие лексические значения не исчерпывают, а составляют часть общей семантики словосочетаний, в которую входят также грамматические значения, и в частности синтаксические значения — та семантическая рамка, в которую вставляются сочетающиеся значения. Совокупная семантика словосочетания входит в предмет синтаксической семантики, исследующей семантическую структуру синтаксических единиц.

Однако комбинаторная семасиология не включена как раздел в синтаксическую семантику, несмотря на близость их предметов. Они различаются не только объемом рассматриваемых признаков, но и подходом: синтаксическая семантика имеет дело с результатом взаимодействия значений и исследует готовую семантическую структуру синтаксических единиц разных уровней (прежде всего предложения), а комбинаторная семантика занимается правилами сочетания значений, самим их взаимодействием, дающим в итоге этот готовый результат — суммарное значение синтаксической единицы, результирующую семантико-синтаксическую структуру, которая и составляет предмет синтаксической семантики.

В комбинаторно-семантическом плане существенно различать два рода словосочетаний — экспликационные и элизионные. Экспликационными называем подчинительные словосочетания, в которых денотаты имен соотносятся как вещь и ее признак (свойство или отношение). Семантико-синтаксическое отношение имен в таком подчинительном сочетании называем отношением экспликации, а аргументы этого отношения — соответственно экспликандумом (имя вещи) и экспликантом (имя признака). Вектор экспликации направлен от имени признака к имени вещи и не меняется при смене вектора синтаксического подчинения (т. е. вектора формально-синтаксической зависимости). Например, сочетания *белый снег*, *снег бел*, *белизна снега* — экспликационные, и в них имя вещи *снег* — экспликандум, а имена признака этой вещи *белый*, *бел*, *белизна* — экспликанты. Как видим, экспликационные сочетания не то же самое, что атрибутивные (определительные), поскольку экспликацией описываются глубинно-синтаксические отношения (отношения денотатов) и тут не существенно, какое из двух слов подчинено другому и является ли их связь непредикативной или предикативной. Важно лишь, чтобы денотаты имен соотносились как вещь и ее признак. Ср. также *дети спят*, *спящие дети*, *сон детей*: *дети*, *детей* — экспликандумы; *спят*, *спящие*, *сон* — экспликанты.

Признаки-свойства выражаются одноместными предикатными словами (в первую очередь глаголами и прилагательными). Признакам-отношениям соответствуют многоместные предикаты (в первую очередь глаголы, отчасти также прилагательные), т. е. предикаты, указывающие более одного аргумента. В этом случае экспликационное отношение отмечается в каждой паре «имя вещи (аргумента) — имя признака (отношения)». Например, в выражениях-трансформах «писатель пригласил детей», «писатель, пригласивший детей», «дети, приглашенные писателем», «приглашение детей писателем» экспликационное отношение обнаруживается не только между предикатными словами с идеей приглашения и именем первого аргумента — субъекта (писатель), но и между предикатными словами и именем второго аргумента (дети), т. е. не только в случаях *писатель пригласил (детей)*, *писатель, пригласивший (детей)*, *приглашение пи-*

сателем (детей), но и в случаях (писатель) пригласил детей, дети, приглашенные (писателем), приглашение детей (писателем).

Экспликационное отношение конкретно принимает вид атрибутивно-го или комплетивного (определятельного или дополнительного) словосочетания. Их разграничение основывается на соотношении векторов подчинения и экспликации. Вектор подчинения направлен от зависимого слова к главному, вектор экспликации — от имени признака (экспликанта) к имени вещи (экспликандуму). Связь атрибутивна, если два вектора совпадают по направлению, ср. *яркий свет, разбитое стекло*. Связь слов в экспликационном сочетании комплетивна, когда векторы подчинения и экспликации не совпадают по направлению, ср. *яркость света, разбить стекло, народное признание*.

Но, кроме экспликационных, возможны еще двучленные подчинительные словосочетания иного семантико-синтаксического типа — элизионные словосочетания. Речь идет о весьма обычном и распространенном типе сочетаний, вроде *отец матери, отец солдата, винтовка солдата, отцов пиджак, мать солдатская, приток реки, город у озера, озеро у гор* и т. п. Хотя зависимое слово в таких сочетаниях и называют определением, а все сочетание определятельным (атрибутивным), очевидно, что зависимое слово не называет признак денотата главного слова. Скорее оно называет другую вещь, известное отношение к которой составляет признак денотата главного слова. Иначе говоря, денотат специфицируется через отношение, но так, что само отношение не названо отдельным именем, а назван другой аргумент отношения как спецификатор первого. Отношение составляет обязательный компонент семантической структуры таких сочетаний, но оно отдельно в них не поименовано, имеет место как бы лексическая элизия отношения, отсюда и название этого семантико-синтаксического типа сочетаний — элизионные.

Таким образом, экспликационным называется любое подчинительное словосочетание, в котором два полнзначных слова соотносятся как имена вещи и ее признака, а элизионным — любое подчинительное словосочетание, в котором оба полнзначных слова являются именами аргументов некоторого отношения, причем само это отношение в словосочетании отдельно не поименовано, а зависимое слово выступает в признаковой функции к главному слову как аргументная часть неназванного отношения. Иначе говоря, элизионное словосочетание — это подчинительное сочетание имен — аргументов некоего отношения с признаковой функцией аргумента — зависимого слова.

Аргумент с признаковой функцией может быть выражен не только существительным, но также личным и притяжательным местоимением, ср. *письмо сыну — письмо ему, письмо сына — его письмо*. Более того, как показывают примеры выше, он может быть выражен относительным и притяжательным прилагательным, ср. *мать солдата — мать солдатская*,

пиджак отца — отцов пиджак, а также *детская литература — литература для детей*, *таежный поселок — поселок в тайге*, *дорожное происшествие — происшествие на дороге*.

Здесь мы наталкиваемся на важный вывод. Определяя прилагательное, обычно сходятся на том, что прилагательное обозначает признак. Признаковое значение считается общей семантической чертой, объединяющей слова этой части речи. Однако это не совсем так, и этот критерий прилагательных нуждается в существенном уточнении. Разграничение экспликационных и элизионных словосочетаний, достаточно очевидное и существенное в комбинаторно-семантическом плане, наталкивает на вывод, что отнюдь не всегда и не всякие прилагательные обозначают признак в строгом смысле термина. Многие относительные и все притяжательные прилагательные обозначают не признак, а вещь в признаковом отношении к другой вещи — денотату главного слова элизионного словосочетания. В самом деле, *материнское поле* — это поле, как-то относящееся к матери, как-то с ней связанное.

Становится очевидным, что то общее, что есть в содержании всякого прилагательного, т. е. их общее категориальное значение, строго говоря, есть указание не признака, а признаковой функции слова, что не одно и то же. Верно, что многие прилагательные обозначают признаки, таковы качественные прилагательные, но неверно, что все прилагательные называются признаками.

Общее в значении всех прилагательных — подготовленная синтаксическая специализация в признаковой функции. Быть прилагательным означает указывать собственной формой признаковую функцию слова. Прилагательное сигнализирует своей формой, что его денотат поставлен в признаковое отношение с некой вещью. Если этот денотат — признак, то прилагательное непосредственно и называет признак вещи. Если же денотат прилагательного — сама вещь, то прилагательное сигнализирует признаковую функцию: эта вещь есть аргументный конец некоего неназванного отношения, составляющего признак того денотата, который в сочетании обозначен существительным.

Отношение аргументов в словосочетаниях элизионного типа — ни лексически, ни как-либо иначе — не выражено и содержится лишь имплицитно, если зависимое слово — прилагательное или адъективное местоимение, ср. *картофельное поле* — *поле под картофель*, *картофельный суп* — *суп из картофеля*, *картофельный бунт* — *бунт из-за картофеля*. Напротив, если зависимый аргумент выражен существительным или субстантивным местоимением, то отношение аргументов получает определенное выражение в словосочетании, и тут различаются три случая.

Во-первых, оба аргумента могут быть поименованы по связывающему их отношению, т. е. описываются именами классов, образуемых этим отношением, ср. *муж своей жены* (название спектакля), *слуга двух господ*

(название пьесы), *мать своих детей* (название спектакля), *автор сочинения, водитель машины* и т. п. Нетрудно видеть, что сочетания такого рода плеонастичны, так как один аргумент отношения с необходимостью предполагает другой. Оба слова в таких сочетаниях — имена конверсивных классов.

Во-вторых, один из аргументов отношения описывается по этому отношению, а другой назван вне этого отношения, — и это всегда аргумент — зависимое слово, ср. *мать солдата, невеста летчика, хозяин собаки, адресат письма, властитель дум и чувств народных, знаток фольклора, собиратель сказок, приток Волги, защитник Ленинграда, член правительства, председатель комитета, солдатская вдова (мать)* и т. д. и т. п. Нетрудно видеть, что отношение «задается» главным словом словосочетания, которое и называет один из аргументов отношения, и квалифицирует (описывает) это отношение, в то время как зависимое слово сочетания квалифицирует другой аргумент вне отношения к первому или называет его именем собственным. Падежные окончания или иные синтаксические показатели (формы согласования, порядок слов) при этом к выражению отношения непосредственно не причастны, они лишь помогают определить главное слово, содержащее квалификацию отношения аргументов. Как видим, во втором, как и в первом, случае отношение аргументов слито, амальгамировано с главным словом элизионного сочетания и составляет часть его гиперсемы (родового признака), ср. *защитник*: гиперсема = тот, кто (лицо) + защита; гипосема = активный признак.

Поскольку именно главное слово — конверсив задает отношение аргументов в таких сочетаниях, перемена мест имен часто имеет результатом бессмысленные выражения, ср. **река притока, *Волга притока*.

Третий случай, когда оба аргумента отношения квалифицируются и называются вне этого отношения, столь же обычен в элизионных сочетаниях, как и второй. Ср. *винтовка солдата, книга о детях, книга для детей, детская литература, таежный поселок, дорожное происшествие, крыша дома, ветви дерева, стакан чая, дорога к морю, дорога по склону, полет над морем, бег под гору* и т. д. и т. п. В случаях этого рода отношение, связывающее два аргумента, не находит выражения в способе их описания (в их квалификации). Выражается оно синтактико-грамматическими (не лексическими) единицами: падежными окончаниями, предлогами (последлогами), порядком слов, которые в этом случае, в отличие от первого и второго, семантически содержательны. Когда описывают семантику синтаксических показателей, то их значения устанавливают не в описанных выше сочетаниях I и II рода, а в сочетаниях III рода или в выражениях без лексической элизии имени (в выражениях с номинированным отношением).

Таким образом, в выражениях с лексической элизией имени само отношение не исчезает бесследно: в первом и втором случае оно амальгами-

ровано с именем одного из аргументов — главным словом сочетания, а в третьем случае содержится в синтаксических показателях при зависимом слове. Естественно, что выражения такого рода не имеют ничего общего с эллиптическими.

Различение экспликационных и элизионных словосочетаний необходимо, так как взаимодействие значений в них управляется разными правилами. Причина состоит в том, что в экспликационном словосочетании оба имени относятся к описанию одной вещи, и поэтому оба описания должны быть согласованы друг с другом, в то время как в элизионном словосочетании имена описывают каждое свой денотат, поэтому два описания обнаруживают меньшую зависимость одно от другого.

2. Семантическая комбинаторика экспликационных и элизионных словосочетаний

Экспликационные словосочетания весьма многочисленны, но порядок их рассмотрения определяется простым соображением. Экспликант (имя признака) может относиться к одной из трех частей семантики экспликандума (имени вещи) — к его интенционалу и сильному импликационалу, свободному (слабому) импликационалу или отрицательному импликационалу (неимпликационалу). В таком порядке их и следует рассматривать.

Рассмотрим первый случай — экспликацию признаков интенционала и сильного импликационала. Если эксплицирующее значение содержательно равно интенционалу эксплицируемого слова, то к значению этого последнего, естественно, ничего не прибавляется, семантика дублируется, и словосочетание тавтологично, ср. *квадратный квадрат, масло масленое, тайный секрет, случаются происшествия* и т. п. Равным образом, информационно избыточны и неэкономны (плеонастичны) словосочетания, в которых дублируется не весь интенционал, а только его часть, ср. *прямоугольный квадрат, гром гремит, метель метет, ветер веет* и т. п.

Однако сочетания с двукратной экспликацией части или всего интенционала достаточно обычны в речи и выполняют ряд функций. Сочетания этого рода, в которых экспликант предиктирован, используются для определения, толкования, изъяснения слов, а через них — понятий и денотатов, ср. *квадрат — прямоугольный равносторонний четырехугольник, тигр — хищник, свинья всяедна, слон имеет хобот, секрет — это тайна*.

Непредикатные сочетания, в которых экспликант полностью или частично дублирует интенционал экспликандума, а также признаки сильного импликационала, семантически избыточны (тавтологичны или плеонастичны). При их осмыслении вступает в силу правило амальгамации тождественно многократно выраженного содержания: один и тот же признак регистрируется сознанием единожды, сколько бы раз он ни был заявлен.

Ср. *прямоугольный квадрат, хищный тигр, белый снег, слон с хоботом* и т. п. По аналогии с операциями над множествами это комбинаторно-семантическое правило называется правилом конъюнкции (конъюнкционным правилом). Суть его сводится к тому, что один и тот же признак денотата представлен в результирующем суммарном значении сочетания только один раз независимо от того, сколько раз он содержится в значениях слов — компонентов сочетания.

Однако и такого рода избыточные выражения находят применение в языках для различных целей. Их используют в чисто структурных функциях как средство предикации события и указания его времени, ср. *гром гремит, мела метель*; как способ избежать синтаксические ограничения при развернутой характеристике действий, ср. *прожить жизнь, полную риска и приключений* (нельзя сказать *прожить рискованно и с приключениями*); как способ выразить высокую меру признака, ср. *дивное диво, ранней ранью, чудо из чудес, ошибка ошибок, всем гордецам гордец* и т. п.

Словосочетания, в которых экспликант называет признак из области свободного (слабого) импликационала экспликандума, представляют собой нормальный комбинаторно-семантический тип, ср. *длинная дорога, сухой лист, трава зелена, производительность труда, успешное наступление, жара лета* и т. д. Поскольку свободно имплицуруемый признак — это такой признак, который может быть, а может и не быть у денотатов данного класса, атрибуция такого признака денотату информативна, и в словосочетании действуют аддитивное правило комбинаторики значений: слово-экпликант привносит свое значение в суммарное значение словосочетания, денотату приписывается дополнительный признак сверх тех, которые указаны в нем словом — экспликандумом. Тем самым словосочетание обозначает подкласс в классе экспликандума.

Обратимся к словосочетаниям с экспликацией негимпликациональных признаков. Напомним, что негимпликационал — совокупность признаков отрицательной импликации, т. е. семантических признаков, несовместимых с интенционалом экспликандума. Если бы естественные языки были строго логичными, то сочетания, в которых экспликант приписывает экспликандуму признак, несовместимый с его интенционалом, были бы запрещены. Между тем сочетания такого рода вовсе не какая-нибудь редкость. Напротив, они проистекают из сущностных особенностей естественного языка и показательны для природы. Сочетания этого типа особенно свойственны поэтической речи. Ср. примеры из современных поэтов *свободный раб, соленая работа, честный пот, белый пир, белая музыка, белая зависть, спящая гроза, остывающий лепет изменчивых уст, шинель жухлых трав, штиль изнывал, шхуна дремала, работает бессоница, бесечно мучилась, треугольная груша*. Полная оценка смысла этих примеров требует, естественно, более широкого поэтического контекста, и здесь они приводятся лишь для уяснения семантического типа сочетаний:

эксликант как будто принадлежит к области предикатов, логически противопоставленных экспликандуму — к области его негиппликационала.

Следует с самого начала уяснить себе, что никакое сочетание несочетающихся, взаимоисключающих признаков не может быть осмысленным. На деле осмысленное сочетание слов с несовместимой семантикой всего лишь видимость, скрывающая и сигнализирующая семантические процессы переосмысления слов и домысливания словосочетаний, такие, что в результате восстанавливается совместимость смыслов. Негиппликациональные словосочетания не отменяют логику сочетания смыслов, напротив, они опираются на нее и сигнализируют необходимость запустить семантические механизмы, которые бы восстановили эту логику как единственно возможную. Логическая норма не может быть нарушена без утраты смысла, ее нарушение лишь видимость. Реально негиппликациональные словосочетания нарушают не нормы логики и мышления, а нормы именования вещей и сочетания слов.

Как возникают и как осмысляются негиппликациональные словосочетания? По этим наиболее существенным для них признакам их надо подразделить на три группы.

Во-первых, негиппликациональные словосочетания возникают как результат переподчинения и контракции. Переподчинение имеет место в цепочках из трех полнзначных слов с последовательным подчинением, когда происходит перестройка в подчинении и крайние члены цепочки вступают непосредственно в подчинительную связь, минуя средний термин, который, однако, еще сохраняется в переподчиненной цепочке. Ср. *трехгранная откровенность штыка* (Э. Багрицкий) < *откровенность трехгранного штыка*; *длинный воздух коридора* (Б. Ахмадулина) < *воздух длинного коридора*. Это явление еще известно как смещенный эпитет.

Если в цепочках с переподчинением средний термин вообще изъят, то имеет место контракция. Ср. *Красная Армия, бронзовый век* (< *век бронзовых орудий*), *сумасшедший дом, белая олимпиада, белая страда, белый рейс, голубой патруль, зеленая жатва, быстрый лед, серебряный тренер*. Весьма обычна и имеет относительно более давнюю историю контракция антропоморфного типа, а именно приписывание признаков, свойственных человеку как целому, частям человеческого тела, атрибутам человека, вещам, с ним связанным и т. п. Ср. *оробелая рука, рукою чистой и безвинной* (А. С. Пушкин), *нетерпеливое (робкое, пристыженное, горделивое, надменное и т. п.) движение, жест, кивок, взгляд и т. д.*

Неантропоморфные контракции были мало свойственны поэзии XIX века, и зеленый шум Н. А. Некрасова был смелой и выразительной фигурой речи. Переподчинения и контракции — характерные приметы современной поэзии.

Вытalkingивание среднего термина трехчленной цепочки при переподчинении и контракции приводит к тому, что экспликандум приобретает

экспликанты из области своего негиппликационала. При этом оба слова употребляются в прямых своих значениях. Необходимости в их переосмыслении нет. Для осмысления переподчинений и контракций требуется другое: надо восстановить логически нормальное подчинение, а при контракции — восстановить пропущенный средний член цепочки.

Контракция — частный случай компрессии выражения. Доля смысла, приходящаяся на единицу выражения, увеличена против средней нормы, сочетания гиперсемантизированы. Однако при этом расшатываются принятые в языке нормы соотношения между формулами лексической сочетаемости слов и формулами положенного им смысла. Возникающие при этом гиперсемантизированные лексически полутмеченные структуры нуждаются поэтому в поддержке более широкого контекста с тем, чтобы можно было уточнить связанный с ними смысл. Сама по себе структура с контракцией страдает референционной неопределенностью.

Так, зеленый шум, по замыслу Н. А. Некрасова, очевидно, не просто шум зеленых дубрав, но начинающих зеленеть дубрав, и не только дубрав, но и лесов, рощ, деревьев, кустарников, трав, листвы — шум всех растений, пробуждающихся к новой жизни на весеннем ветру. Наконец, это символ радостного и стремительного пробуждения всего живого. Контракция позволяет избежать затруднений в именовании этого обширного содержания. Будучи референционно расплывчатым, контрактционное сочетание не препятствует ассоциативному домыслению и свободно вмещает авторский замысел. Но нельзя не видеть, что достигается это ценой известной аморфности, неопределенности значения. Содержание выражения само по себе не имеет четких границ, смысл в значительной мере черпается из контекста и очерчивается с должной определенностью за счет домысливания в рамках предметно-логических связей контекста.

Вторая группа негиппликациональных словосочетаний иллюстрируется следующими примерами: *сладкая боль, горькая радость, унылый оптимист, свободный раб, бесславный подвиг, грустный весельчак* и т. п. В подобных сочетаниях сталкиваются несовместимые понятия и нет какого-либо пропущенного среднего члена, как в контракциях. Однако несовместимость признаков оказывается относительной и снятой для данного случая. Действительно, наш опыт подсказывает нам, что противопоставления не всегда абсолютны и возможно определенное наложение противоположных признаков. Противоположные признаки могут встретиться у одного и того же объекта, но 1) одновременно, 2) одновременно, но в отношении к разным вещам, 3) одновременно, но с разными параметрами, например, один признак может быть постоянным, характерным для вещи, а противоположный ему — временным, преходящим, спорадическим и т. д.

Чтобы осмыслить оксюморонные сочетания этого рода, не надо, опять-таки, переосмысливать слова, они употреблены в прямых своих зна-

чениях, но требуется понимание тех условий, которые снимают противоположность признаков, делают ее относительной.

Наконец, третий случай негиппликациональных словосочетаний, — как и второй, называемых оксюморонами, — сталкивает снова с реально несовместимыми признаками. Ср. 1) *красноречивое молчание, мертвый язык (капитал; сезон, тишина), живой стиль (речь, краски; участие, отклик; дело), свой парень Света, сестра была мне матерью, море смеялось* (М. Горький); 2) *живой труп, посмертная жизнь, песнь без слов, сказать без слов, неродной отец, черное (белое, зеленое) золото*. Сюда относятся все случаи тропического употребления слов как метафор и метонимий (вторичная номинация), так как переносный характер значения обязательно предполагает негиппликациональный — относительно прямого значения — характер словосочетания.

В сочетаниях этого типа прямые значения слов несовместимы, но слова переосмыслены и употреблены во вторичных значениях так, что несовместимость признаков устранена. Однако несовместимость первичных значений просвечивает как фон актуальных вторичных значений и создает эффект сочетания несовместимых понятий.

Переосмыслению может подвергаться либо экспликант, либо экспликандум, либо они вместе. В первой группе приведенных выше примеров переосмыслено имя признака, во второй — имя вещи.

В словосочетаниях рассматриваемого вида происходят два взаимосвязанных согласованных процесса, нацеленных на единый семантический результат, а именно: 1) переосмысление слова как результат соотнесения его с новым для него понятием — это деривационно-семантический процесс обозначения некоего понятия средствами вторичной номинации; 2) переосмысление слова как результат взаимодействия лексических значений сочетающихся слов, — это комбинаторно-семантический процесс. Взаимодействие несовместимых прямых значений приводит к тому, что из двух несовместимых признаков погашается признак в переосмысленном слове, его место в значении словосочетания заступает остающийся из противоположных признаков, а значение самого переосмысляемого слова в комбинаторно-семантическом процессе обобщается. Ср. *сказать* = выразить словами, *сказать без слов* = выразить словами + без слов = выразить без слов, в результате *сказать* = выразить. Параллельный деривационно-семантический процесс может быть еще более глубоким и, также устраняя из совокупного значения словосочетания один из конфликтующих признаков, не только обобщает за счет этого значение переосмысляемого слова, но может еще перестраивать всю структуру значения по описанным выше моделям семантического варьирования слова — импликационной (метонимической) и симулятивной (метафорической). Так, в сочетаниях *черное золото* комбинаторно погашается сема желтого цвета, а референция к нефти не только погашает семы желтого цвета и металла, но перестраивает на

симилятивной (метафорической) основе значение слова «золото» — нечто ценное.

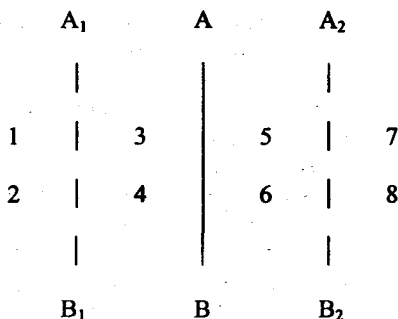
Рассмотрение негиппликационных словосочетаний с действительно несовместимыми признаками в прямых значениях экспликанта и экспликандума выявляет третье комбинаторно-семантическое правило — правило дизъюнкции, т. е. погашения одного из двух несовместимых семантических признаков. Все три комбинаторно-семантические правила — конъюнкционное, аддитивное и дизъюнкционное — имеют сферой действия только экспликационные подчинительные словосочетания имен вещи и ее признака (свойства или отношения), причем правило конъюнкции вступает в силу, когда экспликант дублирует признаки интенционала или сильного импликционала экспликандума, правило аддиции — при экспликации признаков свободного (слабого) импликционала, а правило дизъюнкции — в тех случаях, когда экспликант лежит в области отрицательного импликционала экспликандума и в прямых значениях экспликанта и экспликандума содержатся действительно несовместимые признаки.

Как мы видели, если экспликант и экспликандум содержат в прямых значениях несовместимые семантические признаки, то сочетание, называемое негиппликационным, может быть осмыслено в трех случаях. Во-первых, обнаруживается, что имеет место переподчинение предикатов в цепочках из трех последовательно подчиненных членов, так что средний термин либо вытесняется из своей позиции (переподчинение) или вообще устраняется (переподчинение плюс контракция). При осмыслении таких словосочетаний восстанавливается (домысливается) и средний термин цепочки, и его позиция в цепочке, и это снимает несовместимость признаков в экспликанте и экспликандуме. Во-вторых, обнаруживается, что несовместимость признаков не абсолютна и не распространяется на описываемый случай. При осмыслении таких словосочетаний устанавливаются условия, снимающие несовместимость признаков. В-третьих, обнаруживается, что или экспликант, или экспликандум, или, наконец, оба они не вписываются своими прямыми значениями в гипостазлируемую предметную область, и тогда соответствующее слово переосмысливается таким образом, что устраняется несовместимость семантических признаков и денотат слова вписывается как деталь в сетку связей предметной области. При осмыслении таких словосочетаний действует комбинаторно-семантическое правило дизъюнкции.

Особый вид экспликационных словосочетаний составляют выражения вроде *начала, начало конца, конец начала, правый правый, правый левый, левый левый, левый правый, первый из первых, первый из последних, (ему) нравится любить, (ему) нравится ненавидеть, (он) начал закуривать, (наказание) ниже низшего предела, (к кораблям и каютам я) привык привыкать* и т. п. Внешне они напоминают рассмотренные нами избыточные

и оксюморонные словосочетания, однако очевидно, что их комбинаторно-семантическая природа совсем иная: в них нет никакой амальгамации и никакого избыточного содержания, как нет несовместимости и погашения признаков. На них не распространяются конъюнкционное и дизъюнкционное правила комбинаторики значений, несмотря на тождественность или антонимичность значений экспликанта и экспликандума, которые к тому же употреблены в прямых своих значениях.

Такие квазитавтологические и квазиоксюморонные словосочетания возможны при обозначении авториерархических релятивных признаков. О таких признаках еще говорят, что они различаются порядком признака. Релятивный признак обладает свойством автоиерархичности (свойством порядка), если образуемый им класс может делиться на подклассы на том же и противоположном основании:



Объекты на схеме (обозначены цифрами) делятся относительно центральной оси AB на левые (1, 2, 3, 4) и правые (5, 6, 7, 8). В свою очередь, и левые, и правые могут далее поделиться на левые и правые относительно оси A_1B_1 и A_2B_2 . Тем самым 1, 3 могут быть обозначены как левые левые, 2, 4 — как правые левые, 5, 7 — левые правые, 6, 8 — правые правые.

Комбинаторика таких сочетаний управляется тем же аддитивным правилом. Экпликант называет признак, дополнительный к тем, которые содержатся в экспликандуме, словосочетание обозначает подкласс в классе экспликандума. Но для осмысления такого словосочетания надо знать еще порядок признаков, различать уровни автоиерархического членения. Порядок признака, очевидно, составляет экстенциональный компонент семантики релятивных автоиерархических признаков слов.

Обратимся к взаимодействию лексических значений слов в элизийных сочетаниях.

Правила конъюнкции тождественных и дизъюнкции несовместимых семантических признаков не распространяются на сочетания с элизией имени отношения. Несмотря на полное (как *отец отца*) или частичное

(как *отец матери* — общая сема *родитель*) совпадение интенционалов, тут невозможна конъюнкция повторяющихся сем. Равным образом нет в них и дизъюнкции, выбора одной из несовместимых сем (ср. *отец матери, дочери полковника* — имена содержат несовместимые семы пола). Причина состоит в том, что в элизионных сочетаниях имена называют не вещь и ее признак, а две разные вещи — аргументы какого-то отношения. Семантические признаки не взаимодействуют, поскольку они относятся к описанию разных вещей.

Семантика элизионных сочетаний описывается не на уровне семных разложений и семных структур слов — компонентов, а на уровне целых их лексических значений. Иными словами, для того чтобы понять, прогнозировать и описать результирующее значение элизионного сочетания имен, нет нужды опускаться на уровень семного состава и структуры их значений.

Тем не менее и в элизионных сочетаниях действует некоторая особая разновидность конъюнкционного правила. Действие этого правила обнаруживается в том случае элизионных сочетаний, когда оба аргумента квалифицированы и поименованы по этому отношению, ср. *жена мужа, хозяин слуги, слуга хозяина, отец сына, торговец товарами, сочинитель (автор) сочинения, начальник подчиненных* и т. п. Ср. также *муж моей жены*, (и нет) в *творении творца* (Ф. Тютчев).

Речь идет, как видно, об атрибутивных сочетаниях имен парноконверсивных классов. На сигнификативном уровне такие сочетания явно плеонастичны. Как и аналитические экспликационные сочетания типа *хищный тигр*, они не образуют имен классов (точнее, подклассов), отличных от обозначенного главным словом:

торговец — тот, кто торгует (чем-то);

товар — то, чем торгует (кто-то);

торговец товаром — тот, кто торгует тем, чем (он) торгует;

товар торговца — то, чем торгует тот, кто (им) торгует;

сын — прямой потомок мужского пола;

мать — прямой предок женского пола;

сын матери — прямой потомок мужского пола прямого предка женского пола;

мать сына — прямой предок женского пола прямого потомка мужского пола.

Парно-конверсивные противоположные признаки, содержащиеся в интенционалах главного и зависимого слов, жестко имплицитуют один другой. Указание противоположной пары не добавляет ничего нового к конверсивному понятию, так как они изначально предполагают друг друга. К примеру, факт, описываемый сочетанием *муж моей жены*, сводится к тому, что говорящий женат.

Однако импликация, существующая между парно-конверсивными признаками, отлична от обычной жесткой импликации двух признаков тем, что признаки принадлежат не одной, а двум разным вещам. Поэтому этот случай нельзя полностью свести к комбинаторно-семантическим правилам экспликационных сочетаний. Во всяком случае он не может быть описан как дизъюнкция несовместимых семантических признаков. Условием дизъюнкции является подчинительное сочетание, в котором разные имена содержат несовместимые семантические признаки, приписывая их одной вещи. При дизъюнкции один из таких признаков погашается, а другой заступает вместо него в семантике сочетания. Здесь же связанные парно-конверсивные признаки не только исключают друг друга (в одной вещи), но и взаимно предполагают друг друга (в разных вещах). Поскольку P_+ и P_- приписаны разным вещам, для дизъюнкции нет места.

Рассматриваемый случай ближе конъюнкционному правилу комбинаторно-семантического воздействия. При конъюнкции тождественных семантических признаков не отдается предпочтения какому-либо из них. Ни один из них — ни в экспликандуме, ни в экспликанте — не погашается. Они сплавляются в один признак. Дважды названное мыслится как одно и принимается в расчет единожды. В нашем случае, хотя признаки не тождественны и приписаны разным вещам, они связаны жесткой импликацией. Сходство, таким образом, состоит в том, что в обоих случаях сочетания семантически избыточны. Экспликант в одном случае и зависимое слово — в другом не сообщают новой информации о денотате экспликандума или главного слова. Различие же в том, что в одном случае конъюнкция основана на простой прямой тавтологии, а в другом — на сложной тавтологии от противного (ср. *замужняя жена* и *жена мужа*).

Сами конверсивные признаки есть как бы рефлекс отношения в свойствах аргументов. Фиксируясь в лексических значениях имен классов по отношению, они описывают не только отношение, но и способ участия аргумента в отношении, его статус в отношении. Иначе сказать, содержательно конверсивный признак — это отношение плюс статус одного из аргументов этого отношения: агент, объект, инструмент, посредство, адресат и т. д., ср. *продавец — покупатель — товар, отправитель — получатель, начальник — подчиненный* и т. п.

Если в занимающих нас сейчас сочетаниях восстановить имя отношения (т. е. трансформировать их таким образом, что имя отношения будет выражено лексически вне имен аргументов), то семантически избыточными могут оказаться имена обоих аргументов. Причина состоит в том, что имя отношения выражает не только отношение аргументов, но может указывать и статус аргументов в этом отношении. В таком случае оказываются избыточными парно-конверсивные признаки в лексических значениях имен обоих аргументов. Например, мать родила сына, значит, не более чем женщина родила мальчика. Во избежание недоразумения надо отметить,

что в русском языке выражения, вроде *мать родила сына*, допускают два осмысления: 1) женщина родила мальчика, 2) чья-то мать родила мальчика. Слуга служит у хозяина, значит, всего лишь *х* служит у *у*. Нет, однако, необходимости формулировать особое комбинаторно-семантическое правило для таких трехчленных конструкций. Для них достаточно правил комбинаторики экспликационных сочетаний: лексические значения имен аргументов взаимодействуют порознь с лексическим значением имени — многоместного предиката по правилам конъюнкции тождественных семантических признаков, ср. *мать родила* = женщина родила, *родила сына* = родила мальчика.

Атрибутивные сочетания имен парно-конверсивных классов, при всей их избыточности, достаточно обычны в речи. Не говоря уже о нарочитом использовании логического круга таких сочетаний ради комического эффекта, ср. *муж моей жены*, следует отметить два случая ординарного их употребления. В первом случае зависимое слово имеет ограничивающее определение, ср. *слуга жестокого хозяина*. В силу корреляции между денотатами парно-конверсивных классов сочетание обозначает подкласс экспликандума, парный подклассу, называемому зависимым словом с определением. Во втором случае экспликандум, так же как и экспликанд, имеет денотативное значение, причем индивидуальные признаки денотата экспликандума выявляются через корреляцию с денотатом экспликанта. Ср. *слуга этого хозяина*: благодаря корреляции между денотатами двух классов возможно идентифицировать денотат одного из классов через парный ему денотат другого класса.

Возможны, наконец, и такие элизионные сочетания, в которых создаются условия для дизъюнкционного правила. Если для денотатов имен в их первичных значениях невозможно отношение, которое им приписывается в элизионном сочетании, то при семантизации такого сочетания надо переосмыслить какое-то имя так, чтобы получить совместимые понятия. Несовместимость аргументов семантически отражается в том, что в значениях имен элизионных сочетаний в первичном значении имени, не соответствующего ономастиологической норме, погашаются семантические признаки, обуславливающие несовместимость аргументов. Тем самым несовместимость аргументов устраняется, а значение имени обобщается. Ср. 1) *корабль* = водное транспортное средство, *воздушный корабль* = воздушное транспортное средство, в результате *корабль* — транспортное средство; 2) *корабль* = водное транспортное средство, *пустыня* = песчаная суша, *корабль пустыни* = транспортное средство для песчаной суши, в результате *корабль* = транспортное средство. Как видим, значение слова *корабль* обобщается в результате комбинаторно-семантического взаимодействия, и оно означает в словосочетаниях не водное транспортное средство, а транспортное средство вообще. Обобщенное значение может остаться фактом комбинаторики, а может и фиксироваться в узальной семантической

структуре слова наряду с первичным. В последнем случае память хранит не только комбинаторное правило, но и его результат, значение отвлекается от словосочетания и само служит базой для новых сочетаний, ср. *космический корабль*.

Рассмотрим еще один пример *отец нации*. В прямом значении слово *отец* имеет интенционалом — лицо — родитель мужского пола, а в числе импликациональных признаков — глава семьи, пекущийся о своих домочадцах. *Нация* — собирательное имя соотечественников, в сочетании это имя сохраняет свое прямое значение и, комбинаторно взаимодействуя со словом *отец*, погашает в нем семы *родитель*, *семья* (домочадцы), так что интенционал последнего обобщается до лицо мужского пола, сохраняя в импликационале семы *главный*, *пекущийся о ком-либо*. Погашение и сохранение сем в переосмысляемом слове обуславливается возможными отношениями между лицом и нацией. Параллельно этому комбинаторно-семантическому процессу разворачивается согласованный с ним деривационно-семантический процесс: переосмысляемое слово соотносится с новым понятием и перестраивает состав и структуру своего значения на симулятивной основе. С поправкой на неизбежную прагматическую ущербность дефиниции оно означает теперь не более и не менее как лицо мужского пола зрелого возраста (гиперсема), стоящее во главе некоего сообщества и пекущееся об этом сообществе (гипосема).

Таким образом, правило дизъюнкции, погашения признаков, распространяется и на элизионные сочетания, если в значении слов обнаруживаются семантические признаки, несовместимые с отношением аргументов. Во всех остальных случаях несовместимость признаков нерелевантна для элизионных сочетаний, поскольку они (признаки) относятся к описанию разных вещей.

Суммируем главные понятия и положения комбинаторной семиологии.

Лексические значения слов, объединяющихся в подчинительные словосочетания, комбинируются и взаимодействуют по определенным правилам. В основе нормативной комбинаторики значений лежит знание совместимости признаков, складывающееся в опыте и деятельности людей. Существенным в комбинаторно-семантическом плане является разграничение экспликационных и элизионных словосочетаний. В первых денотаты слов сочетаются как вещь и признак, а соответствующие им слова — как экспликандум (имя вещи) и экспликант (имя признака). Экспликант соотносится с той или иной частью структуры лексического значения экспликандума — интенционалом, сильным, слабым или отрицательным импликационалом. Экспликационные словосочетания управляются тремя комбинаторно-семантическими правилами — конъюнкции тождественных, дизъюнкции несовместимых и аддиции свободно имплицуруемых семантических признаков.

Суть этих правил проста. Если экспликант своей семантикой дублирует признаки, содержащиеся в значении экспликандума, то это ничего не добавляет к описанию денотата словосочетания и происходит амальгамация, слияние в один таких признаков в совокупном значении (правило конъюнкции). Напротив, если имена вещи и ее признака содержат несовместимые семы, которые нельзя одновременно приписать денотату словосочетания, то одна из несовместимых сем должна быть погашена, а соответствующее слово переосмыслено (правило дизъюнкции). Конъюнкция сем имеет место тогда, когда значение экспликанта лежит в области интенционала или сильного импликационала экспликандума, а дизъюнкция — когда экспликант относится к отрицательному импликационалу (негимпликационалу) экспликандума. Наконец, признаки экспликанта складываются с признаками экспликандума (аддитивное правило), если экспликант относится к свободному (слабому) импликационалу экспликандума.

Иное дело элизионные сочетания. В этом случае имена называют не вещь и не признак, а две вещи, связанные некоторым непоименованным отдельно отношением. Поэтому каждое имя описывает свой денотат и для конъюнкции и дизъюнкции признаков нет оснований, кроме случаев такого имени аргументов, которое избыточно или несовместимо с их отношением.

Совместимость (аддация) признаков, амальгамация (конъюнкция) тождественных и погашение (дизъюнкция) несовместимых признаков составляют непреложную логико-семантическую основу комбинаторики значений. Нарушение этих правил невозможно без того, чтобы сочетание не лишилось смысла. При порождении и осмыслении речи комбинаторно-семантические правила действуют как фильтры, отсеивающие избыточные и некорректные выражения. Если же фильтры пропускают такие выражения, то это сигнализирует, что с ними связывают какое-то иное, вторичное значение или же что они нагружены какими-то иными функциями, помимо семантических. Естественный язык, в особенности в его поэтической разновидности, широко использует эффект мнимого нарушения правил комбинаторики лексических значений как способ передачи мыслей, оценок и субъективных отношений, не находящих адекватного выражения в привычном узусе речи.

Таковы основания комбинаторной (сингматической, сочетаемостной) семасиологии, ее отправные понятия и главные закономерности, управляющие комбинаторикой лексических значений слов, их взаимодействием в сочетаниях. Основываясь на них, в дальнейшем предстоит установить и исследовать более тонкие частные правила семантической синтагматики, которые до сих пор существуют лишь в их практическом проявлении как факты речи, но не выявлены и не осмыслены теоретически. Требуется не

только выявить эти более тонкие частные закономерности взаимодействия значений, но и установить объем и условия их действия и связанные с ними содержательные эффекты.

Для этого необходимо охватить исследованиями разнообразные классы лексических и синтаксических структур, различные лексико-грамматические и лексико-семантические разряды слов и различные виды словосочетаний, включая фразеологические. Следует, в частности, отметить, что к настоящему времени уже имеются интересные наблюдения и обобщения, касающиеся комбинаторно-семантической мотивированности устойчивых фразеологизмов. Весьма перспективен детальный анализ в рамках отдельных разрядов экспликационных и элизионных словосочетаний. Комбинаторная семасиология — один из самых новых разделов лингвистической семантики и здесь многое может служить предметом исследовательской работы, в том числе студенческой.

1. Вводные замечания

Основными синтаксическими единицами являются словосочетание, предложение и текст. По современным представлениям текст понимается широко как подлинная единица вербальной коммуникации, письменной и устной, в единстве всех установок, мотивов, целей, условий и обстоятельств ее осуществления. Тексту свойственны признаки цельности и связности. Максимальный объем текста практически не имеет предела, а минимальный текст равняется предложению (высказыванию), и в этом случае предложение приобретает качества целостного акта коммуникации. Предложение — минимальная коммуникативная единица, обладающая качеством предикативности. В последнее время с термином «предложение» связывают в первую очередь представление о конструктивной и содержательной схемах (формальной и содержательной структурах) предикативной единицы в их взаимосоотношении, а саму реальную, актуализированную минимальную единицу коммуникации называют высказыванием. Словосочетание тем отличается от предложений — высказываний, что не обладает качеством предикативности и коммуникативной единицей не является. Тем не менее словосочетание не только сложная номинативная единица, но и в силу того, что оно объединяет в одно целое два или более полнозначных слова, это простейшая синтаксическая единица, образованная как целое соотносением двух синтаксических структур — формальной (конструктивной) и содержательной (семантической).

Кроме основных синтаксических единиц, как мы уже могли видеть, возможны еще промежуточные синтаксические единицы, образованные комбинациями основных и, в свою очередь, промежуточных единиц меньшего формата. Если слово — предложение — текст (наряду с фоне-

мами и морфемами) — основные и обязательные единицы языка, обнаруживаемые каждая в любом тексте, то промежуточные единицы отнюдь не обязательны для всякого текста, а только для текстов с последовательно все более развернутой структурой. Слова соединяются в словосочетания, простые словосочетания объединяются в развернутые непредикативные структуры, вплоть до периодов, предложения-высказывания объединяются в тематические единства — сложные синтаксические целые (сверхфразовые единства, абзацы), те в свою очередь складываются в дотекстовые сложнотематические объединения последовательно все большего формата типа параграфов, разделов, глав, частей, томов и т. п., и все они на том или ином этапе интегрируются в цельном связанном тексте.

Синтаксические единицы любого уровня и формата — также двусторонние значимые единицы, соединяющие выражение (форму) с содержанием (значением) и как значимые единицы они входят своей содержательной стороной в предмет семасиологии.

Взаимодействующие лексические значения слов, понятно (и на это указывалось ранее), не исчерпывают совокупное значение синтаксических единиц, даже самых простых. К ним прежде всего добавляются несинтаксические грамматические значения морфологических (синтетических и аналитических) форм словоизменения, таких, как грамматическое число существительных, время, вид, наклонение глагола и т. п. Далее в расчет непременно должны быть приняты синтаксические значения, объединяющие слова в синтаксические структуры, различающие их по взаимоотношениям их денотатов и составляющие собственные значения синтаксических структур — ту схему значимых соотношений, позиции которой заполняются словами с их взаимодействующими лексическими и несинтаксическими формообразовательными значениями.

Заполняя определенное место в определенной синтаксической структуре, слово приобретает дополнительные значения, и эти значения появляются у него только как элемента этой структуры. Поэтому они и называются синтаксическими. Разумеется, имеются определенные средства выражения, маркирующие синтаксические отношения слов, их семантические роли в синтаксических структурах и приобретаемые ими синтаксические значения. В свою очередь, синтаксические значения отражают роли денотатов в ситуациях, их характеристику как аргументов тех или иных отношений. Так, в выражениях *сказано отцом (отцу) об отце* одно и то же слово характеризует свой денотат как субъект/адресат/объект одного и того же действия.

Язык — средство коммуникации, его основное назначение — служить для передачи, обмена значений. Именно на уровне коммуникативных единиц реализуется эта функция языка, и на этом уровне значение представлено наиболее полно, многообразно и непосредственно во всех его разновидностях и комплексном взаимодействии. По отношению к этому уровню

все единицы низлежащих уровней с их значениями и операционными правилами являются строительным материалом, строевыми единицами, и только здесь они становятся собственно функциональными единицами. Поэтому вопросы семантики синтаксиса наиболее многообразны и сложны. Они интенсивно разрабатываются с послевоенного времени, и ныне получены значительные результаты прежде всего в области семантики простого предложения, прагматических значений высказываний, а в последние десятилетия — в области семантической организации значения синтаксических единиц большего формата, чем предложения, — вплоть до текстов.

Все эти вопросы в силу их многообразия, сложности, а во многих случаях — специального и просто еще поискового характера выходят за рамки назначения и объема настоящего курса и здесь в соответствии с целями курса надо ограничиться основаниями семантической теории на синтаксическом уровне, главными отстоявшимися представлениями о характере и структуре значения на этом уровне, которые входят в общую теорию значения в естественных языках и необходимы как основа для специального изучения семасиологической проблематики семантического синтаксиса, коммуникативной лингвистики и прагмалингвистики, лингвистики текста (семасиологическая проблематика составляет главное их содержание).

2. Три аспекта синтаксиса

В исследованиях последних десятилетий было с полной определенностью установлено, что привычный традиционный синтаксис, который, в частности, составляет непрерывную часть школьного обучения родному и иностранным языкам, представляет собой гораздо более сложное и многослойное образование, чем это представлялось ранее, и скрывает в себе по меньшей мере три или даже четыре, хотя и соотносенных, но подлежащих четкому разграничению синтаксиса, или, точнее, аспекта синтаксиса. Речь идет о конструктивном (или формальном), семантическом, коммуникативном и коммуникативно-прагматическом синтаксисах. Первый из них относится к плану выражения синтаксических единиц, остальные — к плану содержания.

Синтаксические единицы, будучи знаками, хотя бы и сложными, в силу этого двусторонни и имеют каждая свое означающее (форму, десигнатор) и означаемое (содержание, значение, десигнат). В свою очередь, каждая из этих сторон имеет собственную структуру, а означаемое сверх того расслаивается на несколько содержательных планов — референционно-семантический (называемый семантико-синтаксическим), коммуникативно-синтаксический и коммуникативно-прагматический. Таким образом, формальная, или конструктивная структура синтаксических единиц одно-

временно соотносена с несколькими содержательными планами — прежде всего референционно-семантическим и коммуникативным.

Традиционный синтаксис имел дело преимущественно с формальной стороной синтаксических единиц — словосочетаний, предложений и в меньшей мере сложных синтаксических целых. В результате термины «синтаксис» и в особенности «синтаксический», когда они употребляются без уточнения, закрепились за одной — формальной (конструктивной) — стороной синтаксических единиц. К примеру, когда говорят о синтаксической структуре, обычно имеют в виду структуру ее формальной стороны. У содержательной стороны синтаксических единиц, понятно, также есть своя организация, своя структура и свои единицы, соотносённые в этой структуре, но чтобы обозначить их, надо уточнять, что речь идет о семантико-синтаксической или коммуникативно-синтаксической структуре.

Наконец, чтобы закончить с особенностями современного терминопользования, надо отменить в терминах семантический синтакс и семантико-синтаксический (аспект, структура) семантика не равнозначна значению любого рода вообще, а только его референционному (предметно-логическому, вещественному, интеллектуальному) аспекту — когнитивному значению и не включает прагматический и коммуникативный компоненты значения синтаксической единицы.

Соответственно синтаксическая семантика как раздел синтаксической семасиологии имеет своим предметом прежде всего референционно-когнитивный аспект содержания синтаксических единиц (предложения и словосочетания), т. е. описание ситуаций (событий, фактов, обстояния дел) в терминах объективированного значения и лишь косвенно выходят на прагматический и коммуникативный компоненты значения синтаксических единиц, оставляя их в качестве прямого предмета на долю прагматической, коммуникативной лингвистики, теории речевой деятельности, теории речевого общения и теории речевых актов — дисциплин, в значительной мере перекрывающих друг друга, не размежевавшихся пока должным образом ни по предмету исследования, ни по пониманию его, ни по методологическому подходу к нему.

3. Понятия конструктивного синтаксиса

Начнем с конструктивного (формального) синтаксиса. Его структура и единицы на уровне словосочетания и предложения достаточно хорошо разработаны в традиционной грамматике. Категории, единицы и понятия традиционного синтаксиса выделялись применительно к плану выражения синтаксических единиц. Недостаток, однако, состоял в том, что к выделению единиц и категорий на формально-конструктивной основе традиционная грамматика примешивала еще содержательные категории, в одних

504

случаях коммуникативно-синтаксические, в других — семантико-синтаксические. В результате единицы (элементы, компоненты) синтаксической структуры выделялись на смешанных, разнородных, формально-содержательных основаниях. Получающиеся классификации не были и не могли быть вполне удовлетворительными, так как между формой и содержательной функцией в синтаксисе нет однозначного соотношения, одно не имеет изоморфного отображения в другом. Поэтому одно и то же синтаксическое явление могло попадать одновременно в несколько разных разрядов классификации. Например, сочетание *полет над морем* может быть расценено как определительное (атрибутивное) или дополнительное (комплетивное), или обстоятельственное.

И все же традиционный синтаксис отдавал приоритет форме синтаксических единиц, и если снять в его определениях содержательные критерии, не считать их обязательными, то в итоге имеем достаточно обоснованную систему понятий о конструктивных элементах и средствах синтаксических структур уровня предложений и словосочетаний. Это хорошо известные понятия о членах предложения, средствах синтаксической связи, подчинительных и сочинительных словосочетаниях, главном и зависимом слова подчинительных словосочетаний. Все они относятся к описанию формальной структуры синтаксических единиц.

Главные члены предложения подлежащее и сказуемое коррелируют с коммуникативно-синтаксическими категориями субъективно-предикатного (логико-грамматического) и тема-рематического членения предложения, но корреляция не жесткая, существует лишь как общая тенденция. Субъект предложения (укоренившийся переводной буквализм, означающий предмет речи, то, о чем говорится в предложении), данное и известное в предложении часто, но не обязательно выражены в русском языке субстантивом в именительном падеже. Они могут выражаться и косвенными падежами, ср. — *она нездорова* — *ей нездоровится*, *она имеет много недостатков* — *у нее много недостатков*. Такой же характер носит и корреляция между сказуемым, с одной стороны, и предикатом (т. е. тем, что говорится о субъекте предложения), новым и неизвестным в предложении. Легче указать подлежащее и предложение по их формальным признакам — именительный падеж субстантива и личная форма глагола — как конструктивные центры формальной структуры предложения, чем провести в нем членение на субъект и предикат, тему и ремю.

Второстепенные члены предложения дополнение, определение и обстоятельство коррелируют, хотя и весьма свободно и непоследовательно, с членениями в семантико-синтаксической структуре предложения. Тем самым формальное разграничение подлежащего и дополнений (в русском языке за счет различия именительного и косвенных падежей) оказывается важным конструктивным моментом в структуре предложения, отмечаящим переключение формы с выражения коммуникативного членения

на выражение референционных отношений ситуации. Само подлежащее (форма именительного падежа субстантивного слова в русском языке) порознь участвует в обоих членениях — коммуникативно-синтаксическом и семантико-синтаксическом.

Главное и зависимое слово — также категории конструктивного синтаксиса. С ним не связываются никакие референционные или коммуникативные различия, а лишь отмечается, какое слово осуществляет внешние синтаксические связи всего словосочетания за его пределами — внешние связи словосочетания замкнуты на главное слово, оно представляет все словосочетание в синтаксических образованиях большего формата.

Чисто конструктивная роль способов синтаксической связи: согласования, управления, примыкания, замыкания (рамки) — не нуждается в пояснении, очевидна их принадлежность к синтаксису формы. Они лишь способы указания подчиненной соотнесенности одних слов с другими, способы соотнесения главного и зависимого слов.

Сочинительная связь слов также не предназначена служить показателем какого-либо их содержательно-синтаксического, референционного или коммуникативного, равенства. Сочинениями могут быть даже понятия вещи и ее признака, ср. *солдат и его доблесть*. Сочинение вторично по отношению к подчинению, и сочинительная связь между словами указывает лишь на то, что все они находятся в одинаковом синтаксическом отношении к некоему слову вне сочинительного рода. Поэтому сочинение — всего лишь экономный способ «записи» соподчиненного ряда, сокращенное представление языком тождественных мыслительных отношений. Что же касается самого подчинения, то, как уже сказано, оно тоже не отражает содержательные зависимости вещей или понятий, а организует слова соответственно внешним связям словосочетания.

Разумеется, никак нельзя предствить дело таким образом, что формальная структура синтаксиса строится вообще произвольно и, так сказать, свободна от всяких обязательств по отношению к когнитивному, прагматическому и коммуникативному содержанию предложений. Напротив, членения в синтаксической форме не автономны, а призваны отразить содержательные различия. Содержательные элементы любого плана находят то или иное выражение в форме синтаксических единиц; все дело, однако, в том, насколько регулярно и обязательно их выражение в каждом случае, насколько переменны средства выражения одной и той же содержательной функции, как четко они специализированы в той или иной функции.

Фактически мы сталкиваемся с тем положением, что число выражаемых синтаксических значений больше различий в синтаксической форме, что одна и та же синтаксическая форма совмещает в себе выражение многих разноплановых и одноплановых значений и, напротив, одна и та же содержательная функция может решаться различными формально-синтак-

ческими средствами. Это и приводит к необходимости автономного членения структур каждого уровня на единицы по внутренним критериям с последующим выявлением сложных систем много-многозначных соответствий между единицами разных уровней (планов, аспектов) синтаксиса. Максимальный порядок, который удастся установить среди содержательных функций формальной единицы, состоит в том, что эти функции могут подразделяться на первичные (основные, главные) и вторичные. Равным образом и содержательные задачи имеют основные и побочные средства выражения.

4. Понятия семантического синтаксиса.

Валентности предикатов и классы аргументов

После этих необходимых пояснений, касающихся формальной стороны синтаксических единиц, обратимся к тому, что относится к предмету семасиологии, — к содержательным аспектам синтаксиса, и в первую очередь к референционному аспекту значения синтаксических структур. Как мы уже знаем, соответствующий раздел семасиологии принято обозначать как семантический синтаксис.

В семантическом синтаксисе принято считать, что предложения являются сложными знаками — именами ситуаций. При этом ситуация понимается весьма широко как любого рода денотат синтаксических единиц. В том же широком смысле говорят о событиях, фактах, положении (обстоянии) дел. Возникающий логический круг: денотатом синтаксической единицы является ситуация, т. е. то, что является денотатом синтаксической единицы, — разрешим, если удастся определить ситуацию вне ее выражения, а для этого ситуацию надо определить как денотат, отличный от вещей (им соответствуют знаки — вещные слова и словосочетания) и признаков (им соответствуют знаки — признаковые или предикатные слова и словосочетания).

Реально знаками являются именно предикативные единицы — предложения (высказывания), в то время как слова и словосочетания представляют собой два уровня «заготовок» для подлинных знаков и воспринимаются как знаки именно потому, что есть эллиптические и номинативные предложения по составу равные слову или словосочетанию, но с дополнительным качеством коммуникативной единицы. Итак, задача состоит в том, чтобы уяснить природу денотатов реального естественного языкового знака — коммуникативной единицы.

В гносеологическом плане ситуации в этом широком понимании соответствуют соотнесение вещи и признака (свойства или отношения), т. е. экспликация как мыслительное действие. Логическим коррелятом этого

соотнесения является суждение, или пропозиция. Следует, впрочем, заметить, что под пропозицией нередко еще понимают обобщенную схему отношений в суждении на уровне классов аргументов и предикатов вне конкретных обстоятельств места и времени. Предикативность также нерелевантна для пропозиции, и тем самым она охватывает как ситуации предложений, так и ситуации словосочетаний. Равным образом для пропозиции нерелевантны любые коммуникативные и прагматические характеристики предложений-высказываний. Пропозиция сводится к обобщенной объективированной схеме отношений в синтаксической единице на уровне классов аргументов и предикатов, не локализованных в пространстве и времени. В конечном счете она представляет собой понятие о классе ситуаций с обобщением по всем составляющим ситуации.

В этом смысле пропозиция составляет глубинную структуру ситуаций и основу для равнозначных трансформаций и перефразирований синтаксических структур с заполненными позициями, ср. *(он) переводит текст — текст переводится (им) — переводимый (им) текст — перевод текста (но не текст перевода)*.

Итак, когнитивное значение простейшей синтаксической единицы — результат речемыслительного действия экспликации, приписывания вещам свойств и отношений по пропозиционным моделям. Но нас интересует онтологическая природа денотатов синтаксических единиц, тот реальный смысл, который лингвисты стремятся выразить расширительным употреблением терминов *ситуация, событие, положение (обстояние) дел*. Онтологической основой всех этих взаимосвязанных мыслительных и речемыслительных форм и действий: экспликации, пропозиции, суждения, синтаксической единицы — той объективной, реальной основы, отражением которой все они являются, надо считать существование (в философском смысле) вещей и признаков (свойств и отношений) в конкретных модусах явления (проявления). Именно явление (проявление) как модус существования сущностей — та онтологическая категория, которая составляет цель терминологического поиска, выразившегося в приблизительных неточных обозначениях *событие, ситуация, факт, положение (обстояние) дел*. Существование вещей и признаков, обнаруживающих себя в конкретных модусах явлений, и есть тот общеродовой денотат предложений и словосочетаний, который позволяет объединить в одном классе то, чье единство ранее ускользало от обобщения и лишь принудительно описывалось как событие, ситуация и т. п., ср. *ребенок спит, охотник убил волка, была зима, слоны живут в Азии и Африке, тигр хищен, в Америке нет слонов, выпадение осадков, осадки выпадают здесь только в виде дождя, выпавший снег, снег бел, Ленинград севернее Москвы, Наполеон — первый император Франции, наследник всех своих родных* и т. д. и т. п.

С этой точки зрения все предложения естественным образом распадаются в первом членении на те, денотатом которых является существование

вещей (бытийные назывные, или номинативные предложения), и те, дено-
татом которых является существование признаков — свойств и отношений
(все многообразие остальных предложений). Это объясняет, почему пре-
дикаты существования (вещей) обособлены и должны рассматриваться от-
дельно от всех других предикатов, называющих разнообразные свойства и
отношения. Существование вещи не входит в число ее онтологических
признаков. Существование онтологического признака — в его принадлеж-
ности вещам. Вещь проявляет себя в признаках, признаки проявляют себя
в вещах.

Простейшая синтаксическая единица в неэллиптированном (полном)
виде содержит, как минимум, имя вещи и имя признака, связанные под-
чинительным отношением. (Сочинительное сочетание, как мы видели,
вторично по отношению к подчинительному как «сокращенная запись»
одинакового семантико-синтаксического отношения и формально-син-
таксической подчинительной связи компонентов сочинительного соче-
тания с неким словом за пределами сочинительного ряда. Поэтому сочи-
нительное сочетание не элементарно). Значения имен вещи и ее
признака связаны отношением экспликации, а сами имена в этом отно-
шении называются экспликандумом и экспликантом. Наконец, сами
вещь и признак, взятые в отношении друг к другу, именуются как аргу-
мент и предикат. Свойство — предикат одного аргумента, и в этом слу-
чае простейшая синтаксическая структура двучленна (по числу членов
синтаксической структуры), ср. *ребенок спит, спящий ребенок, сонный
ребенок, (этот) ребенок соня* и т. п.

Отношение — предикат нескольких аргументов, и в этом случае
простейшая синтаксическая структура содержит более чем два члена:
предикат отношения и присущее ему число аргументов. Соответственно
увеличивается и число экспликаций в синтаксической структуре: их
столько, сколько аргументов при предикате, имя предиката отношения
эксплицирует каждое из имен аргументов. Аргументы отношений еще
называют актантами, партиципантами и ролями (семантическими). Эти
обозначения переносятся также и на аргументы свойств. Существует
тенденция рассматривать свойства как частный случай вырожденного
отношения — как отношение с одним аргументом. При этом оппозиция
«вещь — признак» (свойство или отношение) сводится к оппозиции
«вещь — отношение».

Предикаты отношений различаются не только по качеству отношений,
но и по связанному с этим качеством характеру и числу аргументов при
каждом из них. Число аргументов при предикате иначе известно как число
мест, или валентностей, предиката. Соответственно различают предикаты
одноместные, двуместные, трехместные и т. д. Одноместны предикаты
свойств, многоместны предикаты отношений. Возможное число мест (ва-

лентностей) в общем невелико, предикатов с четырьмя, а тем более пятью местами мало, преобладают одноместные, двуместные и трехместные предикаты, ср. одноместные предикаты: *спать, идти, бежать, летать, расти, красный, смелый, быстрый* и т. п.; двуместные предикаты: *пить, курить, седлать* (кто, что), *выходить* (кто, откуда); *близкий* (что, к чему), *далекый* (что, от чего), *сведущий* (кто, в чем) и т. п.; трехместные предикаты: *давать* (кто, что, кому), *брать* (кто, что, у кого), *завещать* (кто, что, кому), *наследовать* (кто, что, от кого), *занимать* (кто, что, у кого); четырехместные предикаты: *знать* (кто, кого, откуда, куда), *переселять* (кто, кого, откуда, куда), *расплачиваться* (кто, с кем, чем, за что), *посылать* (кто, кого, откуда, за чем); пятиместные предикаты: *переправлять* (кто, кого, откуда, куда, через что), *перевозить* (кто, кого, откуда, куда, на чем) и т. п.

В мысленном образе ситуации статус элементов ее структуры различен, и они представлены в нем сообразно их информационной ценности как в разной мере обязательные — факультативные, актуализованные — имплицитные, существенные — вторичные. Иначе говоря, понятие о ситуации имеет вероятностную структуру с более или менее жестко очерченным ядром и размытой периферией. Это опять-таки, как и в случае вероятностной структуры лексического значения слова, обусловлено стохастичной природой мира.

В связи с этим не всегда бывает возможным однозначно разграничить обязательные и факультативные валентности предикатов. Что же касается наиболее универсальных элементов всяких ситуаций, таких, как место, время, условие, причины событий и т. п., то именно в силу их самоочевидной универсальности и обязательности они обычно (за исключением специальных случаев) малоинформативны и отступают на задний план мыслительной структуры — понятия о классе ситуаций.

Имена предикатов (предикатные имена, предикатные слова, признаковые слова, а часто и просто предикаты) своими значениями передают структуру ситуации и тем самым выражают мысль о качестве отношения, его аргументах, их числе и характере. Иными словами, предикатные слова включают в свое значение семантические валентности, т. е. соединяют понятие о качестве отношения с понятиями об аргументах отношения на уровне классов. Тем самым аргументы отношения в семантике предиката представлены как маркированные пустые места, подлежащие заполнению именами вещей, которые вовлекаются в это отношение.

Благодаря этому предикатные слова играют ведущую роль в качестве конструктивных центров синтаксических единиц, в особенности при множественности аргументов. Они служат своего рода несущими элементами структуры, к которым крепятся все остальные ее части, причем в несущем элементе заранее предусмотрены места для крепления этих частей. Конст-

руктивная роль имен — предикатов еще более выявлена и подчеркнута в плане выражения, в формальной стороне синтаксических структур. Различие аргументных ролей при данном предикате находит то или иное выражение в форме синтаксических единиц и составляющих их слов — прежде всего посредством падежей, служебных слов, порядка слов. Выражение одинаковых семантических валентностей у разных предикатных слов может быть весьма разнообразным и идиоматическим, вместе с тем одна и та же форма субстантивных слов при разных признаковых словах может вмещать разные семантические валентности. Так, в русском языке аргумент — объект владения может выражаться винительным, творительным падежами субстантивных слов или еще иначе, ср. *иметь землю, у него много земли*. Творительный падеж существительных может соотноситься с самыми различными классами аргументов — агентом, инструментом, (по)средством, объектом, местом, временем, причиной действия, ср. *написано писателем, написано пером, написано чернилами, люблю картину, иду лесом, случилось весной, напуган темнотой*.

Много-многозначный характер соотношений между классами аргументов и синтаксическими формами приводит к необходимости различать в словах наряду с их семантическими (семантико-синтаксическими) валентностями и независимо от них валентности синтаксические (формально-синтаксические, конструктивно-синтаксические) — это формулы выражения свойственных слову семантических валентностей в терминах грамматических разрядов сочетающихся слов и способов синтаксической связи между ними. Иначе их еще называют морфосинтаксическими или коллигационными правилами сочетаемости слова. Ср. *торговать* 1) им. п. — агент торгового отношения + твор. п. — объект орговли, мы торгуем пушиной; 2) им. п. — агент торгового отношения + предлог с + твор. п. — взаимный контрагент торговли, мы торгуем с многими странами; продавать им. п. — анегг продажи + дат. п. — контрагент + вин. п. — объект продажи, охотник продал ружье соседу.

Валентность слова — та же сочетаемость с той разницей, что валентность — потенциальная сочетаемость как свойство формы и значения слова, а сочетаемость — реализация этого свойства. В целом реальная сочетаемость слова формируется как результат целого набора разноплановых валентностей или сочетаемостных правил, главными из которых являются правила сочетаемости понятийные (предметно-логические), семантические, лексические (коллокационные), лексико-синтаксические, морфолого-синтаксические (коллигационные, формально-синтаксические). Их существование, действие и различия наиболее ярко обнаруживаются от противного — в нарушениях норм сочетаемости, например, в лингвистическом эксперименте. Нарушение сочетаемостных (валентностных) правил может иметь следствием нарушение определенных других правил или ограничи-

ваться только данным правилом — все зависит от того, какое правило нарушается. Так, в сочетании *мясистая искренность* нарушена логика сочетания понятий и как следствие нарушены правила семантической и лексической сочетаемости, сочетание *коричневые глаза* не противится понятийной сочетаемости, но нарушает семантическую и как следствие лексическую сочетаемость. В каждом языке есть множество случаев, когда сочетаемость ограничена лексически и это ограничение никак не связано с нарушением понятийно-семантических правил, а чисто традиционно, ср. *полный провал, абсолютная правда, полный идиот, круглый дурак*, но не **абсолютный провал, полная правда, круглый идиот, полный дурак*. Здесь проявляются чисто лексические нормы сочетаемости (коллокационные нормы). Сочетание *человек искренности* идет вразрез с лексико-синтаксической нормой сочетаемости: конструкция человек + род. п. существительного с значением качественного признака допускает заполнение позиции определения только существительными с собственными определениями, ср. *человек большой искренности*, или существительными, не имеющими однокорневого прилагательного того же лексического значения, ср. *человек долга*. Это ограничение сочетаемости не мотивировано понятийно-семантическими запретами, вместе с тем природа запрета не чисто лексическая (лексемы *человек* и *искренность* могут сочетаться в составе, например, *человек большой искренности*), а носит комплексный лексико-синтаксический характер.

Наконец, морфолого-синтаксические правила диктуют грамматическую форму сочетающихся слов. О них уже было сказано, и здесь надо только добавить, что они столь же жестки и непреложны, как и полярные им правила понятийной сочетаемости, в то время как промежуточные между ними семантические, лексические и лексико-синтаксические правила действуют в их рамках как дополнительные нормативные ограничения на сочетаемость.

Простейшая (элементарная) синтаксическая структура содержит предикат с обязательными актантами. И предикат, и актант являются узлами структуры, и каждый из них может быть синтаксически нечленимым или, напротив, в свою очередь, может оказаться синтаксической структурой. Кроме того, к обязательным актантам добавляются факультативные и в первую очередь универсальные атрибуты всяких явлений (событий, ситуаций) — указатели их места, времени, причины, условий и т. п., вписывающие явления в координатные сетки и связи мира. Актанты этого рода, не входящие явно в значение предиката как его обязательные семантические валентности, называют сирконстантами. Следует специально заметить, что мысль о месте, времени и т. п. события может прямо входить в семантическую структуру предиката как обязательная валентность, и в этом случае обстоятельства места, времени и т. д. оказываются обязательными актан-

тами, а не сирконстантами синтаксической конструкции, ср. *приблизиться к дому* — актант (нельзя сказать, например, *приблизиться у дома, от дома, по дому*); *бежать к дому, у дома, от дома, от дома, по дому* — сирконстанты.

Аргументами при предикатах выступают не только вещные, но и признаковые слова, транспонированные в существительные, а также в форме инфинитивов, герундиев (например, в английском языке), ср. *любить родину* — *любить пение соловьев, любоваться березовой рощей* — *любоваться закатом солнца, способствовать успеху, стараться успеть, уклоняться от ответа, избегать встречи, начинать посадку, приступать к корчевке, хотеть пить, надеяться на помощь* и т. д. Конструкции такого рода называют конструкциями с предикатными актантами. В глубинной структуре одна ситуация как бы вставлена в другую, и эта сложная, в несколько ярусов смысловая структура получает компактное, экономное выражение в поверхностной структуре предложения или словосочетания. Соответственно предикат по отношению к его предикатному актанту называют включающим предикатом, а сам предикатный актант — включенным предикатом. Нередко вещный актант в поверхностной синтаксической структуре скрывает сложное предикатное выражение и имплицитно равен предикатному актанту (часто множественному), ср. *предпочитаю кашу* = *предпочитаю есть кашу/варить кашу/кормить кашей* и т. д.

Таковы главные из отправных представлений семантического синтаксиса, с которыми приступают к исследованию семантической структуры конкретных предложений и словосочетаний. Анализируя с этих позиций разнообразные синтаксические единицы, соотнося их семантическую (смысловую, глубинную) структуру с формальной (конструктивной, поверхностной), в итоге выявляют различия в классах аргументов по их смысловой роли в семантической структуре синтаксических единиц, по их внутренней семантико-синтаксической структуре, по зависимостям между синтаксической и лексической семантикой аргументов. Такого же рода анализ выявляет различия в классах предикатов по их лексической семантике и семантическим структурам, формальным и семантическим валентностям, по содержательным и конструктивным функциям в структуре синтаксических единиц. Конечным результатом является построение типологии аргументов и предикатов в их взаимоотношении, их систематизация по разнообразным существенным параметрам как структурных смысловых и конструктивных частей синтаксических единиц и, наконец, представление семантических структур разнообразных предложений и словосочетаний в терминах этих классификаций.

Семантическая классификация аргументов практически не имеет нижнего предела членения, т. е. деление (рубрикацию) можно довести до каждой отдельной аргументной роли конкретных слов. При этом класси-

фикация постепенно становилась бы чисто понятийной, так как не могла бы опираться на синтаксические различия предложений и словосочетаний, а разве что на различия лексические. Однако у классификации аргументов должен быть некий верхний предел максимально возможного их обобщения, за которым пришлось бы вообще не считаться с наличием синтаксическими и лексическими различиями. На этом верхнем исходном уровне деления семантические классификации аргументов, хотя и оперируют универсально-понятийными категориями, должны быть в той или иной мере идиозмичными, т. е. своеобразными по набору этих категорий у тех или иных языков. Набор семантико-синтаксических и семантико-лексических категорий не может быть вполне одинаков у всех языков в силу особенностей их синтаксического и лексического покрова и в силу различия их систем вывода информации в эксплицитный и ввода ее в имплицитный планы выражения.

Вопросы семантической классификации аргументов и предикатов, их семантической структуры, равно как семантической структуры образуемых ими предложений и словосочетаний, к настоящему времени еще не вышли из стадии разработки, и тут еще немного отстоявшихся общепринятых результатов. Нет единообразия и в терминах. Как отчасти уже упоминалось, аргументы иначе обозначаются как семантические агенты, партиципаны, семантические роли, семантические падежи или семантико-синтаксические функции. Они подразделяются на обязательные восполнители семантической структуры предикатов, или комплементы, и факультативные распространители синтаксических структур, указывающие универсальные атрибуты всяких явлений (место, время, условие, причина и т. п.) и называемые сирконстантами. По номенклатуре сирконстанты сходны с обстоятельствами и обстоятельственными предложениями традиционного синтаксиса, хотя надо иметь в виду, что традиционная грамматика не разграничивала обстоятельств-комплементов и обстоятельств-сирконстантов, хотя при их понятийной близости между ними есть принципиальное семантико-синтаксическое и конструктивно-синтаксическое различие: комплементы составляют неотъемлемый элемент семантической и формальной структуры синтаксических единиц, а сирконстанты — нет.

Ниже указаны основные классы комплементов, которые прежде всего необходимо различать:

Агент — производитель действия, может быть одушевленным, и в этом случае говорят о субъекте действия, ср. *ребенок играет*, или неодушевленным, его иногда называют элементаривом, ср. *война разметала людей*. Элементаривы производят физические действия, субъекты — физические и духовные действия, субъект духовного действия (ощущения, восприятия, мышления и т. п.) иногда называют экспериенсивом, ср. *ребенок снится сон*.

Объект — элемент ситуации действия, на который оно направлено, может быть одушевленным, и в этом случае называется пациентом (пациентивом), ср. *ребенка уложили спать*, или неодушевленным, ср. *дети поливают грядки*. Само действие также может быть физическим и духовным, объект духовного действия называют иногда перцептивом, ср. *вспомнились дни прожитые*. Объект может наличествовать до действия и, подвергаясь ему, утрачивать свое качество, приобретать новые признаки, становиться качественно другим. Он может также отсутствовать до действия и появляться как его результат и т. д. В целом объекты еще более разнообразны, чем агенты действия.

Инструмент (инструментатив) — комплемент, указывающий орудие действия, ср. *написано пером*.

Средство (посредство, медиатив) — семантико-синтаксическая функция имени, называющего то, посредством чего осуществляется действие, ср. *написано чернилами*.

Адресат (бенефициатив) — участник действия, в пользу или во вред которого оно осуществляется, ср. *уступи место инвалиду*.

Реципрокант (контрагент) — участник симметричного отношения, ср. *Ваня дружен с соседским мальчиком, ветвь переплелась со стволом, они спутали его с Петром, его приняли за Петра, он похож на Петра, они торгуют со многими странами*.

Реципроканты имеют отчетливо парный характер. Есть целый ряд других парных категорий, которые, будучи соотнесены в рамках одной синтаксической структуры, пополняют перечень основных семантико-синтаксических отношений аргументов: сущее — элементы сферы сущего (признаки, части, принадлежности, обозначения и т. д.), ср. *у него хорошее здоровье, у него хороший голос, у него хорошая мать, у него хороший дом, у него хорошее имя* и т. п., аргумент — именование иногда выделяют в особый класс как ономаснатив, ср. *нарекли Иваном*; форма — субстанция формы, ср. *черпак сделан из бересты, памятник отлит из бронзы*, аргумент — субстанцию иногда называют композитивом; форма — трансформации, преобразования, формы, ср. *шинель служила одеялом, ее нарядили гусаром*.

Список семантико-синтаксических функций аргументов дополняется классами обязательных комплементов — сирконстантов, и факультативных аргументов — обстоятельств, уточняющих координаты событий в пространстве, времени, их причинно-следственные зависимости, условия осуществления и т. п. Ср. *река вышла из берегов, путешествие растянулось на месяц, авария вызвала остановку завода* и т. п.

Номенклатура, системные отношения и обозначения классов аргументов подлежат разработке и уточнению, равно как и зависимости между синтаксической семантикой аргумента, лексическим значением имени-

аргумента, значением и семантической структурой предиката. Пока они намечены лишь в первом приближении.

Можно заметить, что в ряде пунктов семантико-синтаксическая классификация аргументов сближается с традиционно-грамматической классификацией членов предложения. Это обусловлено тем, что традиционная номенклатура безуспешно пыталась соединить в своих единицах оба основания их выделения — формальное с семантическим. Увы, план выражения не отображен однозначно в план содержания, и единицы каждого плана надо вычленять автономно на собственных критериях. Лишь после этого оба плана должны быть соотнесены друг с другом и единицы одного уровня должны быть поставлены в соответствие единицам другого уровня. При этом структура синтаксической единицы будет представлена как схема соотношений между единицами двух коррелятивных планов. Такие схемы называются диатезами. Ср.:

Диатеза 1

формальная структура синтаксической единицы			
подлежащее в им. падеже	глагол в активном залоге	дополнение в дат. падеже	дополнение в вин. падеже
<i>дедушка</i>	<i>сделал</i>	<i>внуку</i>	<i>свисток</i>
агент	предикат	адресат	объект
семантическая структура синтаксической единицы			

Диатеза 2

формальная структура синтаксической единицы			
подлежащее в тв. падеже	глагол в страдатель- ном залоге	дополнение в дат. падеже	дополнение в им. падеже
<i>дедушкой</i>	<i>сделан</i>	<i>внуку</i>	<i>свисток</i>
агент	предикат	адресат	объект
семантическая структура синтаксической единицы			

Диатеза 3

предложение	<i>казак</i>	<i>оседлал</i>	<i>коня</i>
формальная структура	начальная позиция, подлежащее в им. падеже	глагол-сказуемое в действительном залоге	конечная позиция, дополнение в вин. падеже
семантическая структура	агент действия	предикат действия	объект действия
коммуникативная структура	тема	рема	

предложение	конь	оседлан	казаком
формальная структура	начальная позиция, подлежащее в им. падеже	глагол-сказуемое в страдательном залоге	конечная позиция, дополнение в тв. падеже
семантическая структура	объект действия	предикат действия	агент действия
коммуникативная структура	тема		рема

5. Коммуникативные значения и понятия коммуникативного синтаксиса

Тема коммуникативного значения, уже возникающая в предшествующем разделе в связи с понятием диатез, возвращает нас к типологии значений по содержанию. Коммуникативное значение, как мы сейчас увидим, дополняет деление значений на когнитивные и прагматические еще одним содержательным типом. Значения этого типа непосредственно связаны с семантикой предикатных синтаксических единиц, все они, за исключением значений грамматического лица, относятся к значениям синтаксическим, поэтому удобнее их рассмотреть в связи с семантикой синтаксических единиц, хотя само понятие коммуникативного значения принадлежит также содержательной типологии значений.

Ранее (глава I) мы видели, что когнитивное и прагматическое значения являются основными содержательными типами значений. Это первичное разделение значений по природе, характеру их содержания. На дознаковом уровне сознания, до появления у человека языка они существуют нераздельно как два аспекта единого значения. С появлением языка, с возвышением сознаний на знаковый отвлеченно-обобщающий, собственно-человеческий уровень происходит непрерывная все углубляющаяся разработка систем объективированного значения как основы для все более успешного решения человеком его прагматических задач. Когнитивная сфера сознания все более автономизируется от прагматической. Однако корреляция между ними, их согласование сохраняется как неперемное условие существования и той, и другой.

Вместе с развитием когнитивных структур сознания на знаковом уровне развиваются и системы когнитивных знаковых значений. Значения на дознаковом уровне не имеют развитой структуры и существуют только на конкретно-образной основе представлений. На знаково-понятийном уровне совершается не только обособление когнитивной стороны значений от прагматической, но и происходит усложнение са-

мой структуры когнитивного значения: в нем вычленяются контенциональный и экстенциональный аспекты, в контенциональном — денотативный и сигнификативный.

Но с появлением языка в ряд с когнитивным и прагматическим типами значений подключается еще один содержательный тип значения — коммуникативный. Коммуникативные значения не содержат какой-либо информации о непосредственном предмете речи, о ее денотатах или субъективной оценке, а относятся к организации, строению и изъяснению самого коммуникативного процесса. Они сходны с прагматическими значениями в том, что подключены к когнитивным значениям языковых единиц, наслаиваются на них в виде важного, необходимого, но дополнительного содержания. Поэтому их объединяют в одну категорию коммуникативно-прагматических значений и средств выражения или же — при широком толковании прагматики — рассматривают коммуникативные значения и средства как разновидность прагматических. Все же не следует упускать из виду своеобразия собственно-коммуникативных значений: они относятся к пояснению коммуникативного процесса, позиций его участников, назначения и целей коммуникации, ее коммуникативной структуры и т. п. Как указывалось во Введении, коммуникативные значения составляют предмет коммуникативной семасиологии и вместе со средствами их выражения рассматриваются в коммуникативной лингвистике.

Надо особо указать, что термином «коммуникативное значение» отнюдь не обозначают все совокупное содержание языковых единиц коммуникативного уровня: предложений (высказываний) сверхфразовых единиц (сложных синтаксических целых, периодов, абзацев) — параграфов, разделов, глав, частей — целых текстов. У него более узкий смысл. Коммуникативные значения — только части совокупного значения коммуникативной единицы, а именно, те части ее значения, которые представляют собой информацию о самой коммуникации, ее целях, структуре и элементах. К коммуникативным значениям относятся прежде всего значения грамматического лица, актуального членения и коммуникативного типа предложений.

Коммуникативная природа грамматического лица, его прямая связь со структурой вербальной коммуникации очевидна. Назначение грамматического лица — в указании позиции участника в коммуникативном акте, в различении адресанта и адресата речи. Собственно коммуникативными категориями являются только первое лицо — лицо говорящего и второе лицо — лицо другого участника речи, к кому она обращена. Что же касается так называемого третьего лица, то оно не поставлено в один ряд с первым и вторым лицами, а противопоставлено им обоим и коммуникативной категорией отнюдь не является, разве что чисто негативно — как категория исключенного из участников коммуникации.

С этим связано важное различие между личными местоимениями первого — второго лица, с одной стороны, и третьего лица — с другой. Местоимения третьего лица выполняют роль слов-заместителей, средств повторной номинации того, что названо в тексте своим именем, собственным или нарицательным. Напротив, местоимения *я* — *мы*, *ты* — *вы* ничего не замещают, а сигнализируют одну из двух позиций в коммуникации. Неверно было бы думать, что *я* замещает слова говорящий, адресант, а *ты* — слушающий, адресат речи. Сказать говорящий вместо *я*, означает, что этот *я* вытеснен с позиции говорящего кем-то другим, более того, вообще вытеснен из числа участников коммуникации на данный ее случай.

Актуальное членение предложения иначе известно как коммуникативная перспектива предложения. Оно выявляет в предложениях (повидимому, не во всех и не всегда) две части, различающиеся коммуникативным содержанием (назначением) и вместе образующие целостную коммуникативную структуру. По сути дела, выявляются три тесно связанных, но не вполне тождественных членения: предложение членится: 1) на субъект, т. е. то, о чем говорится, и предикат, т. е. то, что говорится о субъекте речи; 2) на данное и новое; 3) на известное и неизвестное. Первое членение называется субъектно-предикатным, вторые два — темарематическим. Членение на данное — новое, известное — новое производится, понятно, с точки зрения слушающего.

Известно, что средствами актуального членения — не всегда, впрочем, регулярными и обязательными — служат интонация, логическое ударение, специальные конструкции, вводные слова и словосочетания, а в некоторых языках также порядок слов, специальные частицы, служебные слова, как, например, артикли, и морфемы.

Потребность в указанных членениях предложения, наличие средств этого членения, их коммуникативный характер вполне очевидны. Налицо и функция, и средства ее осуществления. Бесспорно, что они коммуникативно значимы. Но являются ли они еще и значащими? Иначе говоря, можно ли коммуникативные функции этого рода отнести к значениям, хотя бы коммуникативным? Правомерно ли, говоря о средствах субъектно-предикатного и темарематического членения предложения, усматривать у этих средств не просто функцию (роль, назначение) в коммуникативной организации предложения говорящим для слушающего, но функцию-значение и при этом иметь в виду значение в достаточно строгом терминологическом смысле, а не в одном из возможных у этого слова обыденных смыслов — важность, существенность, актуальность? Ведь не всякая функция всяких языковых средств есть значение.

Однако основания связывать чисто коммуникативные функции с значением есть. Для того чтобы говорить о значении какого-либо явления, необходимо, чтобы с ним связывали, из него извлекали информацию. Рассмотрим несколько примеров.

1.1. *Однажды пришел к нам старик.*

1.2. *Однажды старик пришел к нам.*

Два предложения различаются порядком слов, и это различие информативно.

Слушающий заключает, что в 1.1 о старике сообщается впервые, релеренция неопределенна, а в 1.2 предполагается предтекст с этим лицом: о старике уже известно кое-что сверх того, что он старик. После 1.1 должен последовать послетекст, и старик должен быть его темой, а после 1.2 ожидается информация не о старике, а о том, что связано с его акцией. Как видим, информация, которую в этом случае надо отнести на счет различий в порядке слов, существует, хотя и замыкается рамками самого коммуникативного процесса. Значения такого рода называют коммуникативными пресуппозициями предложения (высказываний), т. е. подразумеваемыми предпосылками предложения, которые надо принять, чтобы предложение вписалось в коммуникацию как ее структурная часть.

2.1. *Однажды пришел к нам этот старик.*

2.2. *Однажды этот старик пришел к нам.*

Различия в коммуникативных пресуппозициях могут состоять в том, что 2.1 ориентирует на то, что последует, а 2.2 фокусирует внимание на сам факт прихода.

3.1. *Этот старик пришел к нам.*

3.2. *Этот старик пришел к нам.*

3.3. *Этот старик пришел к нам.*

В коммуникативной пресуппозиции — возможность альтернатив в разных узлах ситуации, снимаемая предложением: 3.1 — именно этот, а не иной старик; 3.2 — пришел-таки, а мог не прийти; 3.3 — к нам, а не к другим. Посттекст также должен быть различным и будет развивать следствия соответственно либо из факта идентификации (отождествления) лица (3.1), либо из факта его прихода (3.2), либо, наконец, из факта прихода к нам.

4.1. *Старик построил дом.*

4.2.1. *Дом построил старик.*

4.2.2. *Дом построен стариком.*

В коммуникативной пресуппозиции разные представления об информированности слушателей: говорящий исходит из того, что не знают, что совершил старик (4.1) или кто построил дом (4.2.1 и 4.2.2). Соответственно надо ожидать различий в структуре пред- и посттекстов.

Конкретные цели коммуникации весьма разнообразны. Говорящими руководят многочисленные потребности и обязательства, желания и необходимости, которые они стремятся осуществить посредством речи. При всем их разнообразии коммуникативные цели сводятся к трем наиболее общим категориям — сообщению, вопросу и волеизъявлению. В первом случае цель речи — сообщить какую-то информацию, что-то констатировать, о чем-то поведать, рассказать, изъяснить. Сообщение представляет

собой, таким образом, коммуникативно-информационное действие (информационное речевое действие).

Вопрос — также коммуникативно-информационное действие с той, однако, разницей, что его цель не сообщить информацию, а запросить о ней. В этом случае говорящий нуждается или по меньшей мере выражает потребность в информации и приглашает слушающего занять позицию говорящего — сообщающего. В определенной мере справедливо рассматривать вопрос и сообщение как единое информационное действие, в котором говорящий и слушающий меняются местами. Это не вполне справедливо лишь потому, что говорящий как инициатор речи всякий раз имеет возможность сам определять круг сообщаемой или запрашиваемой информации.

Волеизъявления — коммуникативно-прагматическое действие. В этом случае знаки, в том числе и в первую очередь словесные знаки (речь), используются говорящим для того, чтобы побудить слушающего к чему-либо, воздействовать на него посредством речи, вызвать требуемую реакцию.

Вообще говоря, никакая речь не может быть и не предназначена быть чисто информационной. Напротив, всякая речь изначально прагматична, нацелена на те или иные практические — в самом широком, правда, смысле — материальные или духовные последствия, действия, реакции, результаты. Однако сообщения и вопросы прямо не понуждают слушающего выйти из мира информации в действительный мир, непосредственно не апеллируют к сфере практических действий и реакций. Практические следствия из сообщений и вопросов могут быть в высшей мере актуальны для слушающего, но переформулировать их в команды он должен сам. Напротив, волеизъявления как речевые действия непосредственно предназначены для того, чтобы вызвать действия неречевые.

Конкретно волеизъявления (акты воли) проявляют себя как требования (команды, приказы, повеления), установления, просьбы, желания и т. п. Все их можно было бы иначе обозначить как побуждения, если бы можно было понимать это существительное в каузативном смысле как регулярное производное от глагола «побудить», побуждение кого-то к чему-либо. Нормативно оно, однако, используется в некаузальном смысле синонимичного стремления, преходящего, кратковременного желания.

Трем основным коммуникативным целям — сообщению, вопросу и волеизъявлению (побуждению) — соответствуют три коммуникативных типа предложений — повествовательных, вопросительных и повелительных. Родовые различия в целях коммуникации при этом закрепились в формальных различиях структуры предложений. Тем самым сообщение, вопрос, побуждение получили каждый свое выражение и о них надо говорить как о коммуникативных значениях соответствующих средств выражения. Как известно, средствами, различающими коммуникативный тип

предложения, служат в первую очередь интонация, порядок слов, вопросительные слова, а также специальные частицы и морфемы.

Следует, впрочем, иметь в виду, что коммуникативный тип предложения устанавливается прежде всего по структурным, формальным признакам. В конкретных обстоятельствах он может выражать несвойственное ему коммуникативное значение. Например, риторический вопрос является вопросом лишь по форме, а по коммуникативной цели — это эмоционально усиленное экспрессивное утверждение, т. е. род сообщения. Но это означает лишь то, что следует различать первичную и вторичные функции коммуникативного типа предложения. Повествовательное, вопросительное и повелительное предложения имеют каждый свое первичное, типовое коммуникативное назначение — соответственно сообщение, вопрос и побуждение — и вторичные, коммуникативные функции, в которых они пересекаются друг с другом.

Сообщения, как правило, не тождественны сообщаемому. Первое принадлежит речи, второе — тому отражаемому миру, о котором что-то сообщается. Высказывания-побуждения уже перекидывают мостик между речью говорящего и действиями, реакциями слушающего, но, понятно, сами по себе практическими действиями они еще не становятся. Возможны, однако, сообщения, равнозначные практическому действию. Такие предложения (высказывания) называют перформативными. Их примерами могут служить следующие: Я заявляю протест (я протестую). Прошу всех встать. Объявляю вас мужем и женой. Посвящаю эти стихи матери. Я призываю к порядку. Нарекаю (называю) ребенка Иваном.

Особенность предложений-перформативов в том, что обобщаемое в речи действие совпадает с самим актом речи, акт речи оказывается тождествен практическому действию. В этом пункте речь перестает служить мыслительным аналогом действительного, а сама оказывается таким же действием, как и всякое другое, сама становится сообщаемой внеположенной себе действительностью. Такое совмещение события-сообщения и события — предмета сообщения возможно только при том условии, что это — сообщение говорящего о своем действии в момент речи, причем таком действии, следствия которого вступают в силу в результате его объявления. Таковы протест, просьба, побуждение — повеление, приказ, заявление о чем-либо, объявление чего-либо, декларация, отказ, опровержение, призыв к чему-либо, наречение — называние, представление к чему-либо, присвоение почетного имени, награждение, посвящение, проклятие, клятва, обещание, обязательство, завещание и т. д. Поэтому перформативные предложения всегда — сообщения от первого лица в настоящем времени о таких его акциях, которые тотчас становятся действительными по одной причине сообщения о них. Если о двух предложениях: *Я поклялся* (1) и *Я клянусь* (2) — спросить, свидетелями чего мы являемся в каждом случае, то ответы будут различны: первое —

сообщение о клятве, а второе — сама клятва (о перформативах подробнее см. ниже).

В плане выражения перформативы — те же повествовательные предложения. Это, по-видимому, свидетельствует о том, что языковое сознание не усматривает в них коммуникативной цели особого типа, которая была бы принципиально отлична от сообщения.

К коммуникативным нередко причисляют значения грамматического времени и так называемого дейксиса, т. е. средств указания *этот* — *тот*, *здесь* — *там*, *сейчас* — *раньше*, *сейчас* — *после* и т. п. Рассмотрим, правомерно ли это.

Грамматические времена настоящее, прошедшее и будущее соотносят физическое время с моментом речи или той временной протяженностью, к которой событие принадлежит, и указывают время событий относительно этого подвижного, нефиксированного в физическом времени отрезка. Темпоральная характеристика события при этом привязывается к коммуникационной координате — моменту речи — и получает значение относительно ее.

Нетрудно убедиться, что и дейктические средства *этот* — *тот* и т. п. получают свое значение относительно участников и времени речи, используемых как точки отсчета.

Указательные местоимения фиксируют положение денотатов в пространстве и времени относительно коммуникативных координат — пространственного положения говорящего/слушающего и времени речи, противопоставляя то, что близко и далеко от этих центров. Часто от пространственно-временного положения (локации) денотатов вообще отвлекаются и их разделяют на близкие эти и далекие те просто потому, фигурируют ли они в данный момент речи или в другие, более ранние или возможные будущие ее отрезки. Когда, к примеру, говорят: *Я решил ту проблему*, — то в виду могут иметь проблему, о которой речь шла ранее.

Как видим, значения грамматического времени и дейксиса реляционные, т. е. их содержанием являются не абсолютные признаки денотатов (абсолютное время, абсолютное местоположение), а признаки относительные, причем устанавливаются они относительно места, времени, участников коммуникации, а также других элементов ее структуры. Не простая отнесенность, но отнесенность к структурным элементам коммуникации составляет особенность семантики этих средств.

Однако этой особенности еще недостаточно, чтобы причислить их к коммуникативным значениям, подобным значениям первого и второго лица, актуального членения и коммуникативных целей предложения. Последние замкнуты на коммуникацию и не выходят из ее круга. Они ничего не добавляют к сведениям о денотатах речи, ее предмете, а информируют только о самой коммуникации, позициях ее участников, ее коммуникативной структуре и коммуникативном назначении.

Напротив, грамматическое время и дейксис нацелены именно на денотаты речи, на установление их временных и пространственных координат. Так или иначе, с большей или меньшей определенностью они переводимы в признаки референционной семантики — косвенно, через отношение к элементам коммуникативной структуры они сообщают внекоммуникационные признаки денотатов. Зная время и место речи, мы в состоянии с той или иной мерой определенности поместить глагольные действия на абсолютной шкале времени. На той же основе денотаты получают более определенную пространственную, временную или иную привязку, даже если эти их признаки отмечены только дейктически, как этот — тот, мой (наш) — твой (ваш).

У коммуникативных значений нет своей специфики по характеру, средствам выражения. Когда они выражаются интонацией, логическим ударением (тоном), порядком слов, служебными словами (частицами) и морфемами, они должны быть квалифицированы как значения грамматические. Если же они выражены номинативными средствами: полнозначными словами и словосочетаниями типа вводных или синтаксическими единицами уровня предложения и выше, — то они имеют статус значений номинативных.

Специфика коммуникативных значений в двух частях: 1) они имеют коммуникативное содержание, т. е. организуют и изъясняют коммуникативный процесс, и при этом 2) в рамках целого — коммуникативной единицы любого уровня — сами они не составляют предмета речи, а подстроены к ее референционному содержанию.

Совокупное содержание коммуникативной единицы, и прежде всего предложения, складывается, таким образом, из трех частей. Первая часть — когнитивное значение коммуникативной единицы. Это реальный или мнимый конкретный или обобщенный образ мира на том или ином его участке, объективированный отвлечением от его субъективных оценок, эмоционального переживания и коммуникативной перспективы. Эту часть содержания предложений иначе называют их глубинной структурой, референциальным, денотативным, предметно-логическим значением. В том же смысле нередко еще говорят о номинативном аспекте значения или просто о номинативном значении предложений. Это обозначение наименее удачно терминологически, хотя возникло оно из справедливой мысли о том, что предложения в определенном аспекте должны рассматриваться как номинативные единицы, а именно как имена событий.

Вторая часть содержания коммуникативных единиц — их прагматическое значение. Как уже отмечалось, прагматические значения дополнительные, подключены к когнитивному содержанию номинативных единиц любого уровня и своим содержанием проявляют субъективные оценочно-эмоциональные отношения говорящих к предметам когнитивных значений, к денотатам речи. Однако теперь, когда рассмотрены основные типы

коммуникативных целей высказываний — сообщение, вопрос и волеизъявление (побуждение), можно сделать существенное уточнение и вопрос о соотношении когнитивного и прагматического компонентов содержания высказываний.

Нормативно в высказываниях-сообщениях прагматическое значение составляет дополнительный пласт информации, который надлежит усвоить слушающему помимо основного их содержания — когнитивного значения. Другими словами, в норме для высказываний-сообщений когнитивное значение является первичной коммуникативной функцией, а прагматическое — вторичной. Если же они меняются ролями, что возможно, и подлинной целью сообщения оказывается выразить оценочно-эмоциональное отношение к сообщаемому, то это воспринимается как отступление от нормативного соотношения когнитивного и прагматического в сообщениях и возникают дополнительные содержательные эффекты прагматической природы. Слушающий понимает, что это не даром, и ищет причину, например, стремление говорящего завуалировать оценки и эмоции.

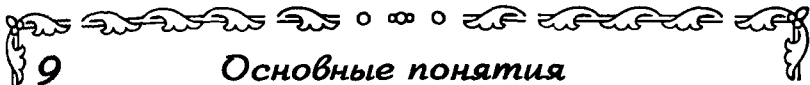
Иначе обстоит дело с высказываниями — волеизъявлениями (прежде всего повелительными предложениями) и высказываниями — вопросами (прежде всего вопросительными предложениями). Здесь соотношение меняется. Нормативно в повелительных предложениях на первый план коммуникативного намерения выдвинуто прагматическое значение — выражение акта воли, а когнитивное содержание подчинено ему как его конкретизация. Вопросительное предложение нормативно выдвигает на первый план коммуникативное значение как первичную цель высказывания, а когнитивное содержание лишь уточняет, о чем запрашивается информация.

И в этих случаях соотношение видов информации — когнитивной, с одной стороны, прагматической или коммуникативной — с другой, — может измениться — тут же в пользу когнитивного значения. Но выдвигание когнитивной информации в качестве коммуникативной цели повелительных и вопросительных предложений также воспринимается как раздвижение рамок первичной нормы и сообщает им некоторое дополнительное содержание. В тех же риторических вопросах прирастает прагматическое содержание: риторический вопрос отличается от простого утверждения тем, что отвергает сомнения в справедливости утверждения.

Третья часть содержания коммуникативных единиц — рассматриваемые здесь коммуникативные значения, относящиеся к строению и целям коммуникации. За рамками высказываний-вопросов коммуникативные значения нормативно всегда дополнительные к когнитивным значениям высказываний-сообщений и прагматическим значениям высказываний-волеизъявлений. Более того, в структуре текстов или их частей нередко предложения или даже более крупные синтаксические построения, не развещающие когнитивное содержание текстов (или их частей), а поясняющие

строение коммуникации, ее организацию. В сообщениях такого рода, если абстрагироваться от текста, в который они помещены, и рассматривать их сами по себе, имеется и собственное когнитивное содержание, и дополнительные к нему коммуникативные значения. Однако когнитивное значение в этом случае совпадает с коммуникативной функцией таких вставных предложений относительно целого текста. Поэтому то, что выступает как когнитивное значение сообщений о денотатах коммуникативной природы (т. е. сообщений об элементах коммуникации и ее структуре), с позиций целого текста, по их функциям в целом тексте должно быть квалифицировано как коммуникативное значение, дополнительное к когнитивному содержанию целого текста.

Коммуникативные значения вполне совпадают с когнитивными и ничем иным больше не являются, кроме как когнитивными значениями сообщений и текстов, только в одном случае, — когда их делают предметом изучения, как, например, в этом разделе книги. То же можно сказать и о прагматических значениях. Рассматривая их как самостоятельный предмет, мы высказываем о них суждения с когнитивным содержанием.



Прагмасемантика исследует ту часть совокупного значения высказываний и текстов, которая относится к интенциям речи, т. е. к тем прагматическим задачам, которые говорящий решает посредством речи. Задачи эти весьма многообразны и связаны с воздействием на слушателя-читателя (реципиента), побуждением его к действию, формированием оценок и мнений, информированием, запросом информации и т. д. Значительная доля этих прагмазначений выражается не напрямую посредством кодифицированных языковых средств соответствующей семантики, т. е. эксплицитно, а особым образом — имплицитно, за счет большей или меньшей специфичности использования языковых средств, которая и сигнализирует дополнительное прагмазначение. Эти источники добавочного содержания высказываний и текстов и будут в центре внимания. Здесь мы вступаем в область семасиологии речи, в то время как семантика кодифицированных эксплицитных средств разных уровней (морфологического, лексического, синтаксического) относится в равной мере и к семасиологии языка (виртуально), и к семасиологии речи (актуально).

Изложение в этой главе подчинено особому плану. В первых двух разделах дается суммарный очерк основных понятий прагмасемантики высказываний и текстов, необходимый для введения в эту область. На этой базе в последующих двух разделах предлагается более углубленная, аналитическая разработка центральных разделов прагмасемантики высказываний — теории пресуппозиций и теории речевых актов. Тем самым читатель подводится к «переднему краю» и получает возможность самостоятельного, критического осмысления современной лингвистической проблематики в том пункте, где семантика смыкается с прагматикой. При этом анализ возвращает читателя к исходным понятиям семантической концепции, изложенной в начале книги, и он может оценить ее эвристические возможности на высшем, финальном уровне речевой деятельности.

1. Четвертый аспект синтаксиса.

Понятия прагматического синтаксиса

Ранее говорилось о расслоении синтаксиса на три плана (аспекта) — один формальный (формальный, или конструктивный синтаксис) и два содержательных (семантический синтаксис и коммуникативный синтаксис). Теперь к ним следует добавить еще один содержательный аспект — прагматический синтаксис.

В семиотическом плане речь представляет собой знаковый аналог действительности и деятельности человека. Она как бы протекает параллельно миру и является отражением и выражением вещей, действий, событий. Но вместе с тем всякая речь представляет собой часть действительного мира, всякий раз она совершается с определенной целью — сообщить, спросить, побудить к действию, повлиять на состояние, поведение, оценки и отношения собеседника. Тем самым речь является также всякий раз поступком, практическим действием, вплетенным в совокупные системы действий и отношений людей. Речевая и — шире — знаковая деятельность не только противопоставлена действительному миру и деятельности людей как их выражение, их знаковый аналог, но вместе с тем является продолжением и частью действительного мира и деятельности людей.

Деятельностный подход к языку, т. е. рассмотрение языка и его речевых продуктов как целенамеренных действий, вписывает язык в систему социальной деятельности людей и позволяет вскрыть не только его назначение и организацию, но и способы его участия в осуществлении человеческих целей. Анализ при этом направлен не только и не столько вовнутрь языка, на его структуру и систему его единиц, сколько вовне языка — на продукты языковой способности, на речь, на реальное функционирование языка и его единиц, на взаимодействие всех компонентов языковой деятельности — интра- и экстралингвистических. Единицами такого анализа служат прежде всего высказывания и тексты, так как только на уровне не ниже высказывания обнаруживается деятельностьная природа речи и происходит интеграция собственно языковых и внеязыковых (конситуативных) факторов общения.

Речь как действие наиболее очевидно проявляет себя на примере перформативных высказываний. Как мы видели, высказывания с определенными глаголами, также называемыми перформативными, в настоящем времени первого лица оказываются не только сообщениями о действиях, но и самими действиями. Высказывание *Я тебя проклинаю* не только сообщает о проклятии, но и является актом проклятия. Напротив, *Он тебя проклинает* — только сообщение о проклятии, но никак не равнозначно самому проклятию. Перформативность свойственна целому ряду глаголов, но только в настоящем времени первого лица.

Что очерчивает круг перформативных глаголов и перформативных высказываний вообще и почему у глаголов только формы первого лица настоящего времени могут быть перформативными? Ответ на эти вопросы прямо связан с деятельностью природы языка, и его надо искать в том, что всякая речь есть речь говорящего и действием она является только в момент говорения и может быть действием только говорящего. В отсутствие личного глагола (например, при его трансформации в существительное) перформативное высказывание все равно остается сиюминутным актом говорящего, ср. *просьба всем встать*. Круг перформативных высказываний и перформативных глаголов определяется их специфической семантикой: они означают действия, которые осуществляются посредством сообщения о них. Иначе говоря, значением перформативов являются ситуации (события), существование которых требует сообщения о них. Все они — общественные акции говорящего, действительные в силу их объявления.

Три собственно речевых (коммуникативных) действия — сообщение, вопрос и побуждение — находят регулярное выражение в специально закрепленных за ними в языковых системах средствах — синтаксических, морфологических и фонетических. Тем самым выражение коммуникативных значений сообщения, вопроса и побуждения являются первичными функциями этих средств. Так, прямое значение предложений повествовательной структуры — сообщение, вопросительных предложений — запрос об информации, предложений с глаголом в повелительной форме — побуждение к действию. Диапазон выражаемых указанными средствами значений неизмеримо возрастает за счет их взаимодействия с лексическими средствами разнообразной семантики, используемыми для наполнения коммуникативных структур, а также за счет комбинирования разноуровневых коммуникативно-значимых средств. В совокупности это позволяет широко варьировать спектр передаваемых коммуникативных значений в рамках трех основных коммуникативных функций — сообщения, вопроса и побуждения.

Однако содержательные возможности высказываний еще более возрастают за счет намеренного помещения коммуникативных структур в неконгруентные конситуации, а именно за счет использования их в контекстах и ситуациях, несовместимых с первичным прямым их значением. Так, в конситуации, где нет места сомнению, риторический вопрос лишь подчеркивает силу утверждения. В других случаях вопросительная структура может подать побуждение к действию как мягкую просьбу и расположить исполнителя к ее выполнению. Ср. *Вам пора закрыть окно!* и *А не пора ли вам закрыть окно?*

В отличие от прямых речевых актов, когда коммуникативно-синтаксические структуры используются в высказываниях в их первичной функции: повествовательная — для выражения сообщения, вопроситель-

ная — вопроса, а повелительная — побуждение к действию, — здесь мы имеем дело с косвенными речевыми актами (косвенными речевыми действиями). Намеренный конфликт прямого коммуникативного значения синтаксической структуры с контекстом и ситуацией речи служит сигналом к тому, чтобы осмыслить соотношение прямого значения структуры и смысла, навязываемого конситуацией речи. Их взаимодействие выявляет подлинный смысл высказывания. Этот результирующий речевой смысл образуется посредством импликаций из прямого смысла высказываний при его соотношении с контекстом и ситуацией речи.

Здесь мы вновь встречаемся с понятием семиимпликационного значения, т. е. с тем значением, содержанием которого являются импликации из всех компонентов речевого акта. Значение косвенных речевых актов включает в себя семиимпликационный компонент — импликации из прямого значения коммуникативных структур, индуцируемые конситуацией речи. Восклицание председателя собрания *Шумно, товарищи!* принимается не как простая констатация, а как призыв к тишине.

Это добавочное содержание косвенных речевых актов не только импликационно, т. е. является результатом умозаключения, но оно еще имплицитно, т. е. является не явно выраженным, а домысливаемым значением. Попутно надо предостеречь против смешения понятий импликация и имплицитность. Несмотря на близость корней, у них не так много общего, так как импликация — не единственный способ индуцирования имплицитных смыслов. Импликация в принятом здесь широком смысле — мыслительный аналог отражаемого мира, мыслительная операция, основанная на отражении сознанием реальных связей сущностей. Имплицитность — домысливание прямо не выраженного содержания (подробнее об имплицитных значениях см. ниже). Импликации могут быть как явно выраженными (эксплицитными), так и подразумеваемыми (имплицитными).

Косвенные речевые акты широко распространены и немногим менее обычны, чем использование семантических построений по их прямому первичному коммуникативно-прагматическому назначению. Более того, косвенные речевые акты отнюдь не ограничиваются непрямым употреблением коммуникативно-синтаксических структур в специальных прагматических целях. Они имеют место всякий раз, когда по той или иной причине прагматическое содержание передается не прямозначно предназначенными для его выражения средствами, а погружается в имплицитные импликации, которые слушающий должен извлечь из выраженной речи.

Говорящий достигает это тем, что намеренно отступает от нормативных, ожидаемых средств и структур выражения и выбирает такие средства и способы выражения, которые своим прямым эксплицитным смыслом вступали бы в конфликт с речевым ожиданием и конситуацией общения и подталкивали бы слушающего к нужным умозаключениям.

Косвенные речевые акты и образуют четвертый (третий содержательный) аспект синтаксиса. Его называют прагматическим (коммуникативно-прагматическим) синтаксисом. Первый и второй содержательные аспекты синтаксиса имеют своим предметом эксплицитные прямые (кодифицированные) значения синтаксических единиц, а именно: семантический синтаксис — референционное содержание синтаксических единиц, коммуникативный синтаксис — коммуникативные синтаксические значения, существующие как отражение в структуре языка и его синтаксических единицах принципиальной диалогичности всякой речи. Третий содержательный аспект синтаксиса имеет дело с намеренно имплицитными семантическими приращениями синтаксических единиц уровня высказываний и выше, возникающими при несовпадении и взаимодействии прямых значений синтаксических единиц с конситуативными условиями их употребления.

Косвенные речевые акты — способ решения прагматических задач общения: семантические приращения в них прагматически релевантны для общающихся. Говорящие выбирают оптимальную стратегию речевого общения с учетом человеческого фактора, особенностей восприятия собеседниками тех или иных сообщений, их реакции на те или иные побуждения и т. д. Может быть множество причин, почему лобовое, прямое эксплицитное выражение мысли, воли, желания оказывается нежелательным или неэффективным и задачи общения могут быть лучше достигнуты, если прибегнуть к непрямому речевому действию, уведя прагматическую нагрузку высказывания в невыраженные импликации с тем, чтобы слушающий самостоятельно пришел к мысли о них.

Прагматическая функция — главный *raison d'être* косвенных речевых действий. Этим объясняется название этого содержательного аспекта высказываний и текстов как прагматического (коммуникативно-прагматического) синтаксиса. Конкретные прагматические задачи и значения косвенных речевых действий весьма многообразны. К ним прибегают, чтобы подчеркнуть силу убеждения, апеллировать к вниманию, смягчить предписание (распоряжение), проявить уважение (почтение, расположение, внимание, вежливость, такт), пощадить чувства, расположить к себе (к выполнению просьбы, действия), установить более тесный контакт, привлечь к общему делу. И это лишь немногие примеры прагматических функций и эффектов косвенных речевых действий. Их многообразие демонстрирует, насколько тесно речь вплетена в человеческие отношения и действия, насколько сильно понимание речи зависит не только от знания языка как системы кодифицированных знаков, но также от знания языка как практической деятельности. Реальное содержание речи оказывается богаче кодифицированных эксплицитно выраженных в ней знаковых значений.

В следующем разделе будут рассмотрены конкретные случаи косвенных речевых актов с импликацией разнообразных характерных прагматических значений.

2. Совокупное значение высказываний и текстов. Эксплицитный и имплицитный компоненты содержания речи и их взаимодействие

Теперь хорошо известно, что слушающий извлекает из высказываний и текстов много иной информации сверх того, что составляет их прямое кодифицированное и выраженное языковыми средствами значение. Эксплицитное значение актов вербальной коммуникации не исчерпывает доставляемой ими информации. Оно составляет лишь часть их совокупного значения и взаимодействует с другой его частью — имплицитным значением.

Прежде чем говорить об источниках и функциях имплицитных значений, необходимо более четко очертить область значений эксплицитных. При этом необходимо еще раз обратить внимание на тот принципиальный момент общей теории значения, что значение существует не только в знаковой ситуации (семиотическое, или знаковое, значение), но наличествует также в незнаковой импликационной ситуации всякий раз, когда из наличия чего-либо умозакljučают о чем-то другом, связанным с первым (импликационное значение). Как уже указывалось, знаковая ситуация несет не только кодифицированное знаковое значение, но, будучи звеном человеческой деятельности, сама подвергается причинно-следственному анализу и служит источником многочисленных импликаций, т. е. дополнительно к знаковому значению несет также разнообразные семиоимпликационные значения. В речи семиотические и импликационные значения взаимодействуют, и это взаимодействие составляет предмет семасиологии речи (коммуникативной семасиологии как части коммуникативной лингвистики).

Знаковый компонент коммуникации не ограничен одними вербальными (словесными) средствами. В вербальную коммуникацию вплетаются многие знаки вторичных знаковых систем: жесты, символика и др. В совокупности они составляют невербальные знаковые средства, дополняющую вербальную коммуникацию. Им также присущи собственные кодифицированные знаковые значения, и вместе с тем они также служат базой импликационной, выводной информации.

Между собственно знаковыми и незнаковыми (импликационными) источниками информации расположены так называемые паралингвистические средства. Это размытая пограничная область между знаками и незнаками. К ней относят прежде всего звуковые средства, сопровождающие речи, такие, как степень громкости, паузы и т. п. Они позволяют судить об эмоциональном заряде речи, ее смысловых акцентах и т. п. По существу они ближе к явлениям биолого-психического плана, чем к конвенциональным знакам, однако сопоставление их у разных народов обнаруживает в них значительную долю условности.

С учетом этого в состав эксплицитных значений речи входят: 1) кодифицированные (словарные) значения языковых единиц, включая собственные обобщенные значения синтаксических структур; 2) результирующие значения комбинаций языковых единиц, образуемые действием комбинаторно-семантических правил (правил семантической синтагматики); 3) кодифицированные значения невербальных знаковых средств; 4) узуальные значения паралингвистических средств; 5) семиимпликационные значения высказываний (текстов) на первом шаге импликаций.

Поясним этот перечень. Эксплицитное значение высказывания складывается из двух частей: семиотического и семиимпликационного значения, включая паралингвистический компонент. Семиотическое эксплицитное значение представляет собой либо прямую реализацию в речи словарно-языковых значений, либо результат комбинирования этих значений по комбинаторно-семантическим правилам и образования сложных речевых значений с возможным переосмыслением словарно-языковых значений по правилам их взаимодействия с контекстом.

Семиимпликационная часть эксплицитного значения, включая значение паралингвистических средств, извлекается из семиотически нерелевантных признаков означающей стороны высказывания, воспринимаемых и служащих источником импликаций. Эта часть значения также эксплицитна: она выражена — осознанно или неосознанно — в том смысле, что у нее есть своя материальная форма — те или иные особенности речевого акта во всей его полноте и конкретности, хотя, понятно, эта информация идет не от знания языка, а от знания мира, людей и того, как они пользуются языком.

К примеру, услышав, *Ты лгун*, сказанное мягким тоном, с улыбкой, осипшим голосом, могут заключить, что адресат, по утверждению адресанта, говорит неправду (семиотическое значение); адресант, однако, не досадует на это; у адресанта простужен или сорван голос (семиимпликационные значения, в том числе паралингвистические). Несмотря на разнородность, все эти значения эксплицитны — у них есть материальное выражение.

Самое общее определение имплицитного значения сводится к тому, что это прямо не выраженные, но осознаваемые значения коммуникативных актов. Среди имплицитных значений необходимо сразу же выделить намеренные и непроизвольные. Первые входят в замысел (интенцию) коммуникации и представляют особый интерес. Вторые — побочная информация коммуникативных актов. Всякий намеренный имплицитный смысл, будь то на уровне высказывания или текста, простой или сложный (развернутый) по содержанию и структуре, дополняющий или вытесняющий эксплицитное значение высказываний (текстов), может быть назван — в соответствии с обыденным употреблением этого термина — подтекстом.

В отличие от эксплицитных имплицитные значения не имеют непосредственного материального выражения, но это не значит, что они вообще никак не выявляются материально и что о них можно судить как о содержании без формы. У них есть своя сложная форма выявления — выявления не прямого, а опосредованного: имплицитные значения производны от взаимодействия эксплицитного значения с совокупными условиями его реализации. В этом смысле они — значения от значений. Формой их выявления служит эксплицитное значение вкупе со значимым фоном его реализации.

Существенными моментами теории имплицитности являются прежде всего источники и способы выявления имплицитных значений, характер их взаимодействия с эксплицитными значениями и функции имплицитного в содержательной структуре речи.

Одним из главных источников имплицитных смыслов являются импликации из эксплицитного значения высказываний. При этом базой имплицитных значений служат как эксплицитные семиотические значения, так и эксплицитные семиоимпликационные значения высказываний. В приведенном выше примере *Ты лгун* из семиотического значения: адресат, по утверждению адресанта, говорит неправду — неявно следует, что адресанту известно больше, чем полагал адресат. Это импликация первого шага. Из нее может последовать целая цепочка импликаций. Например: *он говорит, что я солгал — значит, ему все известно — значит, Петров все ему рассказал, так как он мог узнать об этом только от Петрова — значит, Петров не заслуживает моего доверия* и т. д. Всякая импликация из семиотического значения высказывания уже на первом шаге является его имплицитным значением. Последующие шаги импликаций также входят в имплицитное значение высказывания.

Аналогично обстоит дело и с семиоимпликационным значением высказывания с той, однако, разницей, что импликация первого шага здесь является эксплицитным значением, а имплицитны все импликации, начиная со второго шага. В нашем примере: *осипший голос (признак) — значит, простужено горло* (I шаг импликации, эксплицитное значение признака), — *значит, выпил-таки холодного пива, хотя я не советовал* (II шаг импликации, имплицитное значение), — *значит, он не посчитался с моим советом* (III шаг импликации, имплицитное значение) — *значит, он вообще мало считается со мной* (IV шаг импликации, имплицитное значение).

Невыраженные импликации из эксплицитного знакового значения высказываний подразделяются на пресуппозиции и постсуппозиции. Для определения этих понятий необходимы предварительные пояснения.

Отношения вещей нередко однонаправлены, так что вещи в них не могут поменяться ролями. Таковы, например, обычно отношения условия и следствия: *выстрел может обусловить ранение, но ранение не мо-*

жет обусловить выстрел. Импликация свободна от этого ограничения. Она является не онтологическим, а мыслительным отношением, связывающим не вещи, а мысли о вещах. Потенциально импликация взаимобратима. Например, условие имплицитно обуславливает следствие, а следствие имплицитно обуславливает условие. Так, мысль о выстреле может связываться с мыслью о ранении, и наоборот. Как указывалось выше, импликационное отношение устанавливается между концептами (представлениями и понятиями) сущностей как отражение зависимостей, взаимодействий, пространственных, временных, причинно-следственных связей этих сущностей. Две мысли, связанные импликационным отношением, отличаются в нем местом в развитии мыслительного процесса: один концепт, импликатор, имплицитно обуславливает другой связанный с ним концепт, имплицит, причем связь между концептами отражает реальные или мнимые связи соответствующих концептам сущностей.

Языковой формой (отнюдь не единственной), выражающей импликацию, служат условные предложения. Важно заметить, что в условных предложениях придаточное соотносится не столько с условием, сколько именно с мыслью — импликатором, а главное предложение — не столько со следствием, сколько с мыслью — имплицитом. Это доказывается тем, что придаточные таких предложений могут выражать не только условия, но и следствия, а главные предложения соответственно — не только следствия, но и условия. Особенно наглядно это проявляется в возможности взаимозамены придаточного и главного условных предложений. Ср. 1) *если он сильно устал (условие-причина), то, значит, быстро заснул (следствие)*; 2) *если он быстро заснул (следствие), то, значит, сильно устал (условие-причина)*.

Всякое высказывание, включая и те, которые открывают речь, опирается на значимый фон предпосылок и сопровождается значимым шлейфом следствий. Его смысл должен вписаться как часть в целое некоего предметного мира, в систему его связей и закономерностей. Иными словами, всякое высказывание имплицитно предполагает некую содержательную «среду обитания», в структуре которой оно приобретает смысл. Эти имплицитные фон и шлейф образуются посредством импликаций из эксплицитного значения высказывания. Тем самым любое высказывание служит импликатором условий и следствий своего эксплицитного значения, пусть невыраженных. Совокупность этих импликаций подразделяется на ретроспективные и проспективные. Первые обычно называют пресуппозициями, вторые могут быть названы постсуппозициями. Будучи невыраженными, они составляют важную часть имплицитных значений речи.

Пресуппозиции — невыраженные импликации из высказываний, а именно импликации вспять, в направлении, обратном развертыванию речемыслевого процесса. В этом смысле они — ретроспективные

импликации. Пресуппозиции — совокупность имплицитных суждений, которые относятся к эксплицитному смыслу высказывания как условия к следствию.

С содержательной стороны пресуппозиции высказываний подразделяются на коммуникативные и референционные. Всякое высказывание совершается в определенных обстоятельствах коммуникации и являются следствием определенных коммуникативных интенций. Коммуникативные пресуппозиции — необходимые знания и допущения об обстоятельствах и условиях, в первую очередь о целях, намерениях акта коммуникации, обеспечивающих его коммуникативную уместность. Так, сообщение предполагает потребность в информации. Если ее нет, возникает коммуникативный сбой: зачем вы об этом мне говорите?

Всякое высказывание предполагает некую предметную область, в рамках которой его можно осмыслить как сообщение о некоем фрагменте этой области. Референционные пресуппозиции — допущения об устройстве предметной области высказывания, которые необходимо принять для того, чтобы осмыслить высказывание как сообщение о фрагменте в этой предметной области. Элементарной референционной пресуппозицией является допущение о существовании тех или иных сущностей в предметной области. Более сложный компонент референционных пресуппозиций высказывания составляют допущения об условиях осуществимости пропозиции с данными аргументами и предикатами, которая составляет референционный (денотативный) эксплицитный смысл этого высказывания.

Пресуппозиции надо отличать от проспективных импликаций — постсуппозиций высказывания. Если первые — условия уместности и осмысленности высказывания, то вторые — логические выводы, следствия из него, возможное выводное знание. Надо заметить, что некоторые авторы приравнивают понятие импликации к постсуппозиции. При этом импликация противопоставляется пресуппозиции. Однако такое сужение импликации неправомерно, поскольку это мыслительное действие может быть направлено не только от условий к следствиям, но и от следствия к условиям. Это гораздо более широкое понятие. Пресуппозиции и постсуппозиции — частные случаи имплицитных импликаций.

Эти положения можно проиллюстрировать на известном примере, с которым связано введение понятия о пресуппозиции, — на высказывании *Король Франции лыс*. К его пресуппозициям относятся допущение о существовании в момент высказывания монархии с здравствующим монархом, а также представления о статусе и суверенитете монархии (королевство, а не империя и не княжество), о вероятном возрасте суверена и т. п., т. е. все суждения, относительно которых высказывание выступает в качестве следствия. Сами пресуппозитивные суждения пред-

ставляют собой ретроспективно восстанавливаемые условия осуществимости смысла высказывания.

К проспективным импликациям того же примера относятся все умозаключения — выводы, имеющие его в качестве своего условия (малой посылки), точнее сказать, все связанные с ним суждения — следствия, например: *король Франции лыс и это не доставляет ему удовольствия, заставляет его завидовать нелысым сюзеренам и вассалам, располагает его к ношению париков, отличает его от всех нелысых* и т. д.

Все импликации — и пресуппозитивные, и постсуппозитивные — могут быть жесткими и вероятностными (в первую очередь сильновероятностными) и вместе с высказыванием могут относиться не только к предметным областям и мирам реальным, но также возможным, мнимым и смешанным, ср. пример выше.

Другой важный источник имплицитных значений речи заключен в вероятностной природе самих кодифицированных значений, обусловленной вероятностной природой мира. Это в первую очередь касается лексических значений слов, заполняющих позиции в синтаксической структуре высказываний (предложений). Как мы видели, к обязательному ядру лексического значения, его интенционалу, подключается периферия семантических признаков, имплицитируемых из интенционала, — импликационные значения. Различие интенционала и импликационала основывается на принципиальной семантической антиномии — антиномии кодифицируемой, предписываемой знаку, условленной информации и информации импликационной, выводной, сходной с информацией пресуппозиций и постсуппозиций, условий и следствий из смысла высказываний. Вторая погружает первую в зависимости мира, вписывает ее в целостные системы связей. Имя соединяет в своем лексическом значении эти два вида информации и тем самым в естественном языке разрешается антиномия кодифицируемого и имплицитируемого, готового и нарабатываемого знания в знаках.

Очевидно, что именно импликационалы имен становятся одним из важных источников имплицитных значений в высказываниях и текстах, развязывая цепочки импликаций из словарно-языковых значений имен и обогащая высказывания (тексты) информацией, выводимой из знания мира (энциклопедического знания), не имеющей прямого выражения, но дополнительно нарабатываемой и усваиваемой из имен в конситуациях. Но при этом надо признать, что в силу вероятностной природы мира, знания и значения нет строгой границы между эксплицитным и имплицитным смыслами высказываний и текстов. Подключенность импликационала к значению имен увеличивает информационную мощь естественных языков, их вращение в знания и опыт говорящих, но достигается это ценой известной неопределенности реального содержания естественно-языковых выражений, за счет размывания границ между эксплицитным и имплицитным

значениями, между тем, что выражено и что домысливается, между интенцией говорящего и пониманием слушающего (в этом одна из причин — хотя и не главная — смыслового плюрализма текстов, в особенности художественных, множественности их интерпретаций). Так, в разных контекстах и ситуациях речи представление о нерабочем дне будет составлять часть то эксплицитного, то имплицитного содержания имени *суббота*, а то и вовсе не будет связываться с ним.

Рассмотренные группы составляют первую группу источников имплицитных смыслов. Они объединены тем, что имеет место расширение смысла за счет импликаций из эксплицитных знаковых значений высказываний и кодифицированных значений — интенционалов имен. Информационная емкость этой области имплицитного необыкновенно велика. Границы ее размыты, и ее можно представлять как информационный потенциал поля, образуемого знаковыми значениями имен и высказываний. Какие-то из этих имплицитных смыслов имен и высказываний получают эксплицитное выражение в подтексте, и с этой точки зрения развитие текста, формирование его семантической структуры предстает как реализация импликационного потенциала имен и высказываний, актуализация и развертывание импликационных сеток, потенциально заложенных в предтексте.

Вторую группу источников имплицитных значений составляют явления компрессии языковых структур в речи, носящие моделированный характер. Они достаточно известны, и о них можно сказать кратко. Совершаются они по общим для данного языка правилам речевой редукции формы языковых структур. Сюда относятся разнообразные разноуровневые нормативные способы упрощения, сокращения и замещения полных развернутых языковых структур (каталитических структур) компрессируемыми речевыми вариантами выражения, которые, однако, без особого труда соотносятся с исходными каталитическими образцами. Характерный пример — эллипсис, но таковы также разнообразные стяжения, контаминации, аббревиатуры, замещения с пропуском каких-то элементов, окказиональные субстантивации, контракции, свертки, конспекты, рефераты и т. д.

Компрессию от других источников имплицитных значений отличает редукция именно формы выражения мысли по определенным правилам, и эти правила позволяют восстановить редуцированные элементы каталитической (полной) формы, а с ними — приходящийся на их долю смысл. Здесь нет места для импликаций, приращения смысла как в предшествующих случаях, а есть восстановление смысла редуцированных (компрессируемых) форм. И смысл, и его форма восстанавливаются достаточно однозначно благодаря тому, что указываются предтекстом, посттекстом, ситуацией речи и правилами редукции.

В основе компрессии языковых структур лежит стремление к речевой экономии.

Иначе обстоит дело в следующей, третьей группе — группе семантических пропусков. Семантический пропуск предполагает пробел не столько в выражении, сколько в самой мысли, и восстанавливается он не по правилам редукции языковых структур, примененным в обратном направлении, а по правилам мышления. В логическом плане семантические пропуски представляют собой сбои, нарушения — намеренные или невольные — нормального хода импликационных процессов в речи, разрывы в импликационных сетях текста, пропуск шага (такта), одного или нескольких, в цепочках импликаций, ненормативные импликационные провалы, зияния в смысловом развертывании текста. Соответственно заполнение семантических пропусков происходит как импликационный мыслительный процесс.

Тексты содержат выраженное выводное знание в том смысле, что какие-то их части — и весьма многие — представляют собой явные или скрытые умозаключения или даже целые цепочки умозаключений. В этих случаях с большей или меньшей логической последовательностью, с более или менее строгим следованием формулам силлогизмов реализуются импликации из того, что содержится в предтексте, если предтекстом просто считать часть текста, предшествующую любому интересующему нас кусочку текста. Что при этом воспринимается как нормативное развертывание импликаций, а что осознается как пропуск текстов, что нормально погружается в пресуппозиции рассуждения, а что из развернутых силлогизмов должно быть в норме выражено эксплицитно, что и как обуславливает и обеспечивает привычный баланс эксплицитного и имплицитного в построении выводных частей текстов, — эти вопросы еще ждут исследования. Очевидно, однако, что нормы соотношения эксплицитного и имплицитного в импликационном движении текстов хорошо известны говорящим практически и они тотчас же отметят как случаи избыточной эксплицитности, так и чрезмерной имплицитности, разрывов в импликационных цепях, нуждающихся в восполнении.

Речь полна семантических пропусков, которые стали привычной нормой и восполняются автоматически. К примеру, нормой является, по-видимому, пропуск и соответственно имплицитный характер не более чем одной посылки в импликациях типа дедуктивных умозаключений и именно так называемой большой посылки при условии, что эта посылка оказывается общеизвестной истиной. Так, высказывание *Иван — мой брат, я люблю его* имплицитно предполагает большую посылку (общее суждение):

Всякий имеющий брата должен любить его.

У меня есть брат Иван.

Я, как должно, люблю брата Ивана.

Нормативная имплицитная импликация восстанавливается без труда, ненормативная — требует умственного усилия. При этом восполнение пробела в цепи создает эффект, который может быть обыгран: вывод оказывается сильно акцентированным.

Акцентированный вывод возвращает внимание к своим посылкам и в результате акцентируется вся цепочка импликаций с пропуском звена. Впрочем, прагматика причин и эффектов семантических пропусков может быть весьма разнообразной.

К примеру, в английском анекдоте спрашивают: *Как погиб Макферсон?* — и получают ответ: *Он выдернул кольцо, но пожалел выбросить гранату.* Слушатель должен сам восстановить имплицитное следствие: Макферсон подорвался на собственной гранате. Семантический пропуск побуждает пройти весь путь рассуждений, мобилизуя имплицитный фонд фоновых значений: *Макферсон — шотландец — шотландцы скупы — их скупость сильнее страха смерти, так как шотландцу Макферсону было жаль выбросить гранату с выдернутым кольцом, а такая граната взрывается и это означает неминуемую смерть.* Самостоятельность вывода усиливает субъективно-прагматическую ценность и эмоциональный заряд сообщения.

Следующая, четвертая группа объединяет два самостоятельных типа имплицитности, которые, однако, сходны в том, что в обоих случаях имеет место специализация значения имен и словосочетаний: словарно-языковые единицы — гиперонимы — осмысляются как гипонимы. Эти случаи имплицитности можно обозначить: первый как конситуативная (референционная) имплицитная гипонимизация, второй — как сочетаемостная имплицитная гипонимизация.

Первый случай прост. Если, к примеру, контекст или ситуация речи однозначно указывают на медведя, то имя *зверь* применительно к этому животному будет понятно не только в собственном родовом смысле, но на этот случай наполнится видовым значением: с ним свяжут образ медведя. Тем самым в речевом содержании имени возникнет на время имплицитная конситуативно обусловленная добавка, равная дифференциальным признакам понятия о медведе. Нетрудно видеть, что конситуативная гипонимизация родовых имен в речи — явление весьма обычное. Понятно, что она не отражается на словарном значении — ни на интенционале (содержании), ни на экстенционале (объеме) имени. Это специализация содержания и сужение объема имени на случай, гипонимизация *ad hoc*. Она распространяется как на простые (однословные), так и на сложные имена — словосочетания.

Попутно заметим, что гипонимизацию *ad hoc* следует отличать от указанного ранее в главе II контенционального варьирования значения имен единичного в связном тексте, когда представление о единичных вещах или

лицах непрерывно обогащается за счет того, что о них становится известно из речи. Это варьирование никак не затрагивает интенционалы имен ни в словаре, ни в речи, так как касается не общих признаков класса, а частных признаков единичного. Кроме того, оно эксплицитно, и тем самым не имеет отношения ни к гипонимизации, ни к имплицитности.

Второй случай сложнее. Он наблюдается в значении словосочетаний независимо от контекста. В них могут быть и часто возникают имплицитные приращения смысла сверх словарных значений сочетающихся имен и семантико-синтаксического отношения между ними, свойственного синтаксической структуре как ее значение. Эти приращения обуславливаются знанием мира, вещей, отношений между вещами и метаотношений между вещами и признаками. Это знание навязывает себя как имплицитная добавка к обобщенному комбинаторно-языковому значению словосочетаний. В результате значение словосочетания даже вне контекста и ситуации речи осложняется, специализируется: реальное значение словосочетания оказывается богаче, чем предусмотрено семантико-синтаксической системой языка, так что комбинаторно-языковое значение заполненной синтаксической структуры и реально связываемый с нею даже вне контекста смысл соотносятся как гипероним и гипоним, как более широкое и более узкое понятия.

В синтаксических структурах имена занимают открываемые этой структурой позиции и подчиняются выражаемому этой структурой семантико-синтаксическому отношению. Семантико-синтаксическое отношение составляет собственное значение синтаксической структуры, оно первично и навязывает себя лексическому наполнению: имена наделяются синтаксическими значениями соответственно их позициям в синтаксической структуре. Семантико-синтаксическое отношение типизировано, обобщено, оно ориентировано не на имена того или иного частного значения, а на семантико-грамматические разряды имен. Когда же в синтаксическую структуру вставлены определенные имена, возможно конкретизировать общий тип их отношения, уточнить его за счет знания мира применительно к данному частному случаю. Возникающие при этом приращения смысла имплицитны, так как не могут быть отнесены на счет какого-либо элемента формы словосочетаний.

Сказанное прежде всего относится к подчинительным сочетаниям прилагательного с существительным, в которых прилагательное и существительное относятся не к одной и той же вещи, а к двум разным вещам — денотатам, причем оба денотата поименованы вне связывающего их отношения. В таких словосочетаниях имплицитны представления о конкретном отношении двух денотатов. Ср. *дверной замок* — замок, которым запирают (отпирают) дверь; *дверной проем* — проем, в котором помещают дверь; *дверная петля* — петля, на которой вешают дверь и т. п.; все это конкрет-

ные виды обобщенного значения — находящийся в некотором отношении с чем-либо. Иногда эти имплицитные приращения приписывают прилагательным как их отдельные значения, но это не верно. Относительное прилагательное своей формой указывает только признаковую функцию имени, т. е. добавляет к мысли о своем денотате мысль о том, что этот денотат находится в некотором отношении с денотатом главного слова и этим отношением поясняет его. Ни вид, ни тип отношения не указываются, указывается только его наличие. Представление о конкретном характере отношения между двумя денотатами извлекается не из значения прилагательного, а из знания отношений вещей определенных классов.

Там, где признак (свойство или отношение) прямо назван, т. е. в подчинительных сочетаниях имен признака и вещи, дело, понятно, обстоит иначе. Они не дают прямого повода говорить об имплицитных приращениях в словосочетаниях, взятых вне контекста, поскольку сам признак является отвлечением от вещей. Сочетания этого рода скорее демонстрируют варьирование содержания признака в разных классах вещей, а с ним и значения соответствующего признакового слова. Но вместе с этим демонстрируется размытость границы между кодифицированным знаковым значением и имплицитным знанием вещей и признаков в их соотношениях.

Так, основное значение прилагательного *свежий* образовалось на базе представлений о вещах с качествами, подверженными порче, утрате, относительно легко идущими на убыль. Прилагательное описывает вещи в фазе сохранности такого «нежного» качества, ср. *свежий хлеб, молоко, масло, рыба, вода, овощи, цветы, краски, цвет лица, силы, войска, вести*. При том, что сохраняется тождественность понятия, оно в каждом случае обрастает разными ассоциациями сообразно специфике вещей: «онтология свежести», ее физическая природа своеобразна в каждом случае. Ср. *свежий хлеб* — недавно выпеченный, мягкий, душистый, не черствый; *свежее молоко* — недавно надоенное, не кислое; *свежее масло* — не прогорклое; *свежая рыба* — не тухлая, не подвергшаяся обработке для сохранности (не соленая, не копченая, не вяленая, не мороженная) и т. д.

Пятая группа имплицитности связана с намеренной многозначностью высказываний и текстов. Известно, что контекст и ситуация речи способствуют снятию полисемии языковых единиц, вытеснению возможных параллельных смыслов. В речи обычно обеспечивается однозначность высказываний: это, однако, не исключает вовсе возможность намеренно многозначных высказываний и целых текстов, т. е. одновременную реализацию нескольких сопрягаемых смыслов, равно как и понимания некоторых высказываний и текстов одновременно в нескольких связанных смыслах. Обычно параллельно могут реализоваться не более двух смыслов в одном высказывании. При том, что и этот случай для речи нечастый и осо-

бый, речевая многозначность должна считаться не только допустимой, но и практикуемой возможностью.

Надо различать эксплицитную и имплицитную двузначность высказываний (текстов). Эксплицитная полисемия речи основана на параллельной реализации двух (или более) значений многозначных единиц при том условии, что для обоих смыслов находится единый контекст, в котором оба смысла не исключают друг друга, а как-то сопряжены. Оба значения имеют средства поддержки в контексте, каждый свои, поэтому их речевой статус, право на актуализацию оказываются приблизительно одинаковыми. Ср. подборку примеров из «Литературной газеты»: у художников *руки кончаются кистями*, т. е. кистями — частью рук и инструментом для рисования; *плагиатор всегда не в своем уме*, т. е. сошел с ума и пользуется чужим умом; *берегись автомобиля — ты можешь стать его владельцем*, т. е. берегись попасть под автомобиль и берегись приобрести автомобиль; *большой спрос на женихов часто порождает необдуманное предложение*, т. е. предложение руки и сердца, и предложение товара; у *хорошего писателя каждый шаг — печатный*, две метафоры: одна *отпечатать шаг*, другая от *шага-действия* (имеющего результатом публикацию).

Имплицитная многозначность — род подтекста, второй возможный при определенных условиях пласт значения, дополнительный к эксплицитно выраженному смыслу высказываний (текстов), имплицитно с ним сосуществующий. Существенные особенности этого рода подтекста состоят в том, что это параллельный имплицитный смысл, содержание и структура которого смоделированы эксплицитным смыслом текста. Эксплицитный и имплицитный смыслы в этом случае находятся в отношении моделирования. Поэтому подтекст этого рода надо назвать моделированным.

Характерным примером моделированного подтекста служит басня. Сам жанр, как только он становится ясен слушающему, сигнализирует удвоение смысла посредством моделирования. Мораль басни помогает установить предметную область моделируемого имплицитного смысла и указывает направление моделирования. В подтексте басни И. А. Крылова «Волк на псарне» — вторжение Наполеона в Россию, события и персонажи в ней метафорически моделируют Отечественную войну русского народа в 1812 году. Известно, что когда басню читали М. И. Кутузову, при словах *Ты сер, а я, приятель, сед!* он снял свой картуз и потряс седой головой.

Имплицитный моделированный смысл, будучи по замыслу сообщающего более важным, чем буквальный смысл сообщения, тем не менее не перечеркивает этот открытый смысл, а сосуществует с ним и нуждается в нем как модели. Текст осмысливается в двух взаимодействующих как модель

и моделируемое смысловых плоскостях — эксплицитной и имплицитной. Ситуация общения или сам эксплицитный текст содержат косвенные или прямые сигналы и указания к моделированию.

Надо сказать, что существуют поэтические тексты, сплетающие в одно два параллельных текста и два параллельных эксплицитных смысла, поставленных в отношение моделирования. Это так называемые абемейные композиции. Они особенно свойственны народной поэзии, но не только ей. Абемейная композиция строится обычно как параллельные перемежающиеся описания явлений природы и переживаний лирического героя, причем первое служит образом второго. Уподобление их может быть столь сильным, что предостерегают против их полного совмещения, как в известной песне, ставшей народной:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.

Текст с моделированным подтекстом — тоже род амебейной композиции с той существенной разницей, что один из параллельных смыслов, коммуникативно главный, имплицитен — в определенном смысле у него нет своего «текста». Из этого проистекает его прагматическое своеобразие. Проблема моделированного подтекста — проблема мотивов, причем и механизмов двойной — открытой и скрытой — семантизации. Ее решение в ответе на вопросы, когда, почему и зачем (в каких обстоятельствах, по каким причинам и с какими результатами) прибегают к имплицитному выражению смысла через интенционально подчиненный ему и моделирующий его эксплицитный смысл. Моделированный подтекст, там, где он есть, сообщает тексту дополнительную прагматическую перспективу; если его вывести на поверхность, т. е. выразить эксплицитно, изменится прагматика текста — характер и способ его воздействия.

Заметим специально, что подтекст такого рода образуется не механизмом импликации, а моделирования. Моделирование параллельного, коммуникативно важного смысла — неординарный, структурно и исполнительски сложный прием речевой стратегии. Однако он достаточно распространен в простых и сложных формах речевой деятельности, на уровне высказываний и текстов, в обыденной и художественной речи как жанрообразующий фактор и как элемент литературных форм. Соответственно этому содержание, структура и функции подтекста различаются уровнем развития и сложности. Есть (или были) литературные и фольклорные формы, для которых моделированный подтекст является конститутивным, жанрообразующим признаком, т. е. моделированный подтекст той или иной разновидности составляет образующую их особенность. Таковы, по-

мимо басни, сатирическая сказка, средневековое моралите; таковы также пословицы и парадоксальные речения (вроде *тише едешь, дальше будешь*). На моделированном подтексте основаны также неканонические устные и письменные высказывания и целые тексты, строящиеся как иносказания, аллегории, намеки, «эзоповы речи».

Другие литературные и фольклорные жанры, если не вполне образуются приемом моделированного подтекста, то содержат его как возможный или даже обычный элемент своих содержательных структур. Таковы прежде других жанры и формы народного эпоса и мифа, в частности космогонического, художественной фантастики, сатирической литературы, памфлета, фельетона, театра марионеток и т. д.

Наконец, в шестой группе источником имплицитных значений является конфликт эксплицитного знакового значения высказываний (текстов) с значимым фоном речи. Этот конфликт разрешается в пользу то первого, то второго и, если он носит намеренный характер, служит средством выявления прагматических значений — субъективных оценок и отношений говорящего. Естественно, что эксплицитное значение не может вступить в противоречие с собственными импликациями (со своими пресуппозициями и постсуппозициями), с моделируемым им параллельным смыслом или со смыслом, приходящимся на долю выражающих его, но компрессированных структур. Если принять за исходное некое эксплицитное знаковое значение, то в целом конфликт смыслов возможен: 1) между ним и другими эксплицитными знаковыми значениями того же текста; 2) между ним и эксплицитными незнаковыми значениями того же акта коммуникации, а также между ним и имплицитными импликациями из этих незнаковых значений; 3) между ним и тем, что можно назвать значимым фоном коммуникации (знакового общения).

Все три случая конфликта представляют интерес и подлежат систематическому изучению в теории общения и речевой деятельности. Но здесь возможно остановиться на наиболее важном случае — конфликте между эксплицитным значением высказываний (текстов) и значимым фоном речевого общения.

Говорящие вступают в общение, обладая различными, но соизмеримыми запасами знаний мира и языка (тезаурусами), системами ценностей и социальных установлений, регламентирующих их речевое поведение. Часть знаний относится непосредственно к акту общения и представляет собой достоверные и гипотетические суждения о ситуации, участниках, предмете и жанре, мотивах и целях общения и т. п. В совокупности все указанные моменты составляют значимый фон коммуникации, своего рода экологическую среду, в которой реализуется высказывание. Выраженные значения так или иначе взаимодействуют с элементами этой среды. Взаимодействие эксплицитного значения высказывания с его значимым фоном

развертывается в широком диапазоне: высказывание своим эксплицитным значением либо добавляет нечто к значимому фону, либо дублирует какую-то часть этого фона, либо вступает с ним в конфликт, опровергая его или опровергаясь им.

Намеренный конфликт эксплицитного значения высказываний (текстов) с их значимым фоном используется адресантом как способ имплицитного выявления прагматических значений, его субъективно-оценочных отношений к предмету речи, адресату и т. д. Разрешение конфликта в пользу имплицитного значения конкретно проявляются как ирония, гипербола, литота и фальшивая оценка.

Ирония — тот случай, когда высказывание с положительной оценкой заведомо вступает в конфликт с дотекстовым предзнанием об объекте оценки или с постзнанием о нем, вытекающим из текста. Эксплицитная положительная оценка при этом отвергается, и высказывание принимается как намеренное уничтожение объекта оценки в силу того, что у нее нет права на заявленный положительный признак.

Гипербола и литота также выявляются в соотношении выраженного значения высказывания с принятым знанием денотата — как завышение или занижение реальной меры того или иного объявленного признака, и делается это из прагматических причин — с тем, чтобы подчеркнуть значимость реальной меры признака.

Эти три фигуры речи общеизвестны, и читатель может убедиться в справедливости их анализа на любых примерах иронии, гиперболы и литоты. В ряд с ними надо еще поставить речевую фигуру фальшивой оценки. Фальшивая оценка — род злословия, а именно притворное выражение фальшивых положительных оценок, маскирующее истинную цель — намерение досадить, унизить. Например, восклицание при встрече: «Как ты поправилась!» по нынешним временам вряд ли будет принято как комплимент. В отличие от иронии, где объявляемый положительный признак заведомо отсутствует, здесь признак наличествует, но заведомо фальшива его положительная оценка: реально признак расценивается как отрицательный и говорящим, и слушающим. Подлинный смысл не выражен, он имплицитруется из конфликта видимого прагматического значения буквальной оценки и реального места признака в принятой системе ценностей. Эта аксиологическая система утверждает свою оценку, отвергая буквальную.

Во всех этих прагматических фигурах речи не только буквальный смысл опровергается знанием мира и людей, но еще к содержанию высказываний (текстов) подключается прагматический компонент — имплицитная субъективная оценка. Более того, имплицитировать эту оценку без прямого ее выражения и составляет подлинное назначение этих фигур. Семантические соотношения в них подчинены прагматической задаче. По-

видимому, есть и другие, помимо четырех указанных, прагматические (стилистические) фигуры речи или их разновидности, основанные на том же принципе: во всех их значимый фон отвергает эксплицитное значение и столкновение заведомо ложных или неточных утверждений с установленным знанием и принятыми ценностями создает прагматически значимые эффекты речевого общения.

Наконец, противоположные случаи, когда конфликт эксплицитного знакового значения и значимого фона разрешается в пользу знакового смысла текстов. Речь при этом призвана подавить собственный значимый фон, скорректировать его роль в понимании адресатом прагматической интенции сообщения, не дать ему проявиться в формировании оценок. Следует, впрочем, иметь в виду, что подавляемый значимый фон входит, хотя и в этом угнетенном качестве, в игру смыслов и составляет необходимую часть сложного результирующего смысла.

В качестве подавляемого значимого фона могут выступать общеизвестные факты и истины, общепринятые нормы, правила, установления и оценки, распространенные убеждения, мнения и взгляды — все, что входит в норму и узус человеческого поведения и в привычную картину мира. Существуют литературные жанры, основанные на конфликте этого рода, и в них, помимо указанного, частным случаем подавляемого значимого фона может быть некий известный текст, или класс текстов, или же некие характерные для них отличительные особенности. Таковы жанры бурлеска, травести и пародии. Бурлеск переводит в заниженный регистр возвышенную тему или текст и тем самым отвергает общепринятую высокую (положительную) оценку. Тот же эффект развенчания в травести достигается тем, что обыденное или низкое излагается средствами высокого стиля. Пародии, равно как шаржи и карикатуры в изобразительном искусстве, имитируют структуру и отличительные признаки оригинала (прообраза), одновременно травестируя его, снижая принятую его оценку или самооценку. В любом случае выраженный смысл вступает в конфликт с значимым фоном семиозиса, первый обеспечивается средствами подавления второго, и в итоге в тексте выявляются имплицитные оценочные значения. Извлекаются они посредством того же мыслительного (логического) механизма импликаций — умозаключений.

Установка на прагматические факторы общения свойственна подтексту (= намеренной имплицитности) любого рода, в том числе рассмотренным выше случаям намеренных семантических пропусков и моделирования. Как мы видели ранее, прагматический компонент значения всегда так или иначе коррелирует с когнитивным и часто оба компонента выражаются совмещенно. Однако столь же возможны языковые единицы и речевые произведения, в которых на первый план выдвинут один из двух компонентов содержания. Особенность речевых актов с запланированным внут-

ренним семантическим разладом сравнительно с другими случаями имплицитности состоит в том, что они нацелены на прагматическую оценочную информацию, а имплицитный когнитивный прирост в них побочен. В других же случаях имплицитность ограничивается когнитивным содержанием или соединяет в себе наравне оба рода содержания, как в случаях семантических пропусков и моделирования.

Обобщая представления о механизмах имплицитности, можно видеть, что имплицитные значения возникают на базе эксплицитных значений из их взаимодействия с значимым фоном, контекстом и ситуацией речи и формируются посредством мыслительных операций импликации, восполнения и моделирования. Импульсом к выявлению имплицитных значений и запуску мыслительных механизмов импликации (умозаключения), восполнения (восстановления) и моделирования (метафоризации) служит соотношение эксплицитного значения с гипостазируемым содержанием коммуникации: анализируя совокупность значимых обстоятельств общения, включая наличную выраженную речь, слушающий выдвигает и в ходе общения корректирует гипотезы о совокупном значении речи (высказываний и текстов) и, соотнося это совокупное гипостазируемое содержание с наличным выраженным значением, определяет, что, как и почему осталось за рамками выраженного. В этих речемыслительных процессах совокупный смысл синтаксических единиц прирастает за счет импликаций — умозаключений из эксплицитного значения имен, высказываний и текстов, осложняется за счет параллельного моделируемого смысла и восполняется за счет восстановления значения компрессированных структур, импликационной реконструкции семантических пропусков и гипонимизации имен и словосочетаний.

Имплицитные значения, таким образом, представляют собой важный и неперенный, информационно чрезвычайно емкий компонент вербальной коммуникации, дополняющий и модифицирующий эксплицитные значения речи и вписывающий их в совокупную содержательную структуру коммуникации. Имплицитные значения наглядно демонстрируют, что вербальная коммуникация «спутана» сетями импликаций, «погружена» в действительный мир и деятельность человека. В них ярко проявляется деятельностная природа речи. Имплицитные значения представляют собой частный и важный случай проявления одной из основных антиномий знаковой деятельности: любая знаковая деятельность и первичная из них — речь, с одной стороны, противопоставлена миру и человеческой деятельности как их знаковое отражение, а с другой — является частью, продолжением, разновидностью деятельности общественного человека. Имплицитные значения составляют важную часть совокупного значения единиц речи, а их изучение составляет важный аспект теории речевой деятельности и коммуникативной лингвистики.

Как видим, содержащаяся в речи информация значительно богаче той, которая в ней непосредственно выражена. Более того, эксплицитное значение не только не исчерпывает всего содержательного заряда речи, но нередко не составляет его наиболее важной части. Имплицитные смыслы существенно дополняют выраженные значения и взаимодействуют с ними. Искусство речи как деятельности состоит не только в том, чтобы выражать нужные значения эксплицитно, но и в том, чтобы умело порождать имплицитные значения и управлять взаимодействием эксплицитных и имплицитных смыслов.

3. Пресуппозиции в языке и языкознании

Противопоставление языка и языкознания, вынесенное в название, разумеется не случайно. Речь пойдет о том, что, занимаясь пресуппозицией с 60-х годов, лингвистика покорно следовала путем, предложенным логикой, и, увы, исследовала не то, что реально есть в языке (заметим тут же, что, говоря о языке, имеем в виду естественный язык вне противопоставления речи, т. е. в том общем смысле, который включает также его функционирование).

Логика, конечно, заслуживает самого почтительного отношения — прежде всего как инструмент научных рассуждений. Только эта сторона логики реально обеспечивает универсализм ее действия и престиж среди других наук. Иначе обстоит дело с предметом исследования, здесь логика сходит с пьедестала и становится в ряд с другими дисциплинами. Тут у нее нет особых преимуществ: всякая наука имеет дело со своими заботами, и все они равны перед своими проблемами.

Между тем и применительно к своему предмету лингвистика привыкла отдавать первенство логике, действовать с оглядкой на ее предписания. С Античных времен и до Декарта отношения двух сестер, логики и грамматики (лингвистики), строились под диктат первой, а в Новейшее время логический анализ языка в различных школах неопозитивизма, лингвистической философии и так называемой общей семантики косвенным образом укреплял в лингвистах чувство теоретической неполноценности. Даже неуступчивость естественного языка попыткам достаточной формализации для целей машинного перевода, кибернетики и теории искусственного интеллекта странным образом обращалось против него и культивировало в лингвистах тот же комплекс.

Положение стало меняться принципиальным образом только в последнее время в связи с развитием и успехами когнитологии (включая когнитивную психологию и когнитивную лингвистику) и прагматики, когда впервые начала осознаваться и осмысляться неслучайность, значимость,

содержательная наполненность тех особенностей языковой формы, которые ранее служили основанием для упреков в несовершенстве языка (полисемия, омонимия, синонимия, трансформации и транспозиции, перефразирование, тавтологии и плеоназмы, семантические декомпозиции и свертки, тропеизм, имплицитность, нестабильность и синкретизм значений и форм, размытость и неконечность значений и др.)

Сказанное, однако, никак не ставит под сомнение полезность для лингвистики идей, связанных со строением и построением логических языков. Отказ от сотрудничества был бы грубейшей ошибкой. Методологический изоляционизм не сулил бы лингвистике ничего хорошего, кроме крена в спекулятивные построения в духе тех, которыми, например, отчасти грешит структурализм. Напротив, сравнение с формальными и формализованными языками — нечто большее для теории естественного языка, чем просто аналогии: логические языки в редуцированном и упорядоченном виде отражают некоторые существенные стороны естественного языка. Упорядочение помогает уяснить соответствующий аспект естественного языка, но совершенство логических языков неполно в том смысле, что не охватывает всех целей, которым служит естественный язык. Логические языки создаются для определенных ограниченных целей посредством редукции целого до частей, отвлечения от комплекса взаимозависимых функций языка.

Поэтому вопрос о соотносительных достоинствах естественного и логических языков глобально решается в пользу первого, а в частностях может решаться в пользу вторых: логические языки не могут заменить естественный язык в целом, они более пригодны для своих целей, но мало пригодны или вовсе не пригодны для всего комплекса функций, назначенных в осуществление естественному языку. В методологическом плане это означает, что от логики как языка не следует ожидать чрезмерного, она не может моделировать ничего в естественном языке сверх того, что закладывают в постулаты логического языка. Не плохой естественный язык заменяется хорошим логическим, а первый дополняется и корректируется вторым.

К пресуппозиции эти рассуждения имеют прямое отношение: пресуппозиции были найдены как логическая проблема в рамках определенной логической концепции, т. е. в конечном счете в рамках определенного языка. Понятие пресуппозиции было введено, как известно, Г. Фреге (1892), фундаментально развито П. Стросоном (1950, 1952) и далее разрабатывалось, особенно начиная с 60-х годов, многими логиками и лингвистами (см. список основных авторов и работ в конце работы. В 70-х годах понятие пресуппозиции было замечено и вошло в оборот советской лингвистики, однако подключения к его разработке немногочисленны, за некоторыми исключениями используются представления, имеющиеся в западной логико-лингвистической литературе).

Научный контекст, в котором появляется понятие пресуппозиции, — логический анализ естественного языка, в котором обнаруживается, что естественные языковые выражения не проявляют логическую (подлинную!) структуру мысли с должной полнотой и точностью, что обуславливает необходимость в разработке формальных языков и, по меньшей мере, в корригирующей формализации естественных языков. У Г. Фреге тема пресуппозиции возникает в связи с введенным им разграничением значения и смысла имен. Теперь достаточно очевидно, что на решениях, предложенных Г. Фреге, отразился уровень представлений о языке, значении и речемыслительной деятельности, свойственных его времени — концу прошлого века. Это с несомненностью проступает, например, в недоступной в свете позднейших знаний о семантике терминологизации нем. *Bedeutung*: Фреге приравнял значение референции.

Но и Стросон шестьдесят лет спустя не мог опереться на адекватную научную базу: он развивал фрегеанское направление в логическом анализе языка применительно к пресуппозиции за четверть века до того, как произошёл радикальный поворот в воззрениях на язык с позиций функционально-деятельностного и прагматического подходов.

Начав с того, что впоследствии было названо экзистенциальной пресуппозицией (пресуппозицией существования), Фреге ввел истинностное понимание пресуппозиций. Пресуппозицией считается та часть истинностного содержания языковых выражений за вычетом ассертивной, которая сохраняется и остается истинной при отрицании (т. е. при преобразовании выражения в отрицательную форму). Впоследствии пресуппозитивное содержание приписывали то предложениям, то утверждениям, то высказываниям, то самим говорящим, а кроме того, усматривали его у единиц низших уровней (синтаксических конструкций, знаменательных и служебных слов, например, некоторых семантических классов глаголов, наречий, частиц, союзов, грамматических категорий и форм), а также связывали пресуппозицию с информацией, извлекаемой из семантических ограничений на сочетаемость слов.

Г. Фреге исходил из представлений, которые сразу же разводили естественный и логический языки: логический язык строился на основании, принципиально отличном от естественного, в него закладывалась другая философия. Он полагал, что в предложениях, в которых о чем-то что-либо утверждается, всегда существует очевидная пресуппозиция: сингулярное имя имеет референта. При этом пресуппозиция, составляя часть совокупного содержания предложения, не входит, однако, частью в его ассертивное значение. Суммарное значение предложения, таким образом, складывается из ассертивной и пресуппозитивной частей.

Исключение пресуппозиции из ассертивной части значения Фреге обосновал следующим рассуждением. Если бы предложение

(1) *Кеплер умер в нищете*

содержало бы также и мысль

(2) *Имя «Кеплер» кого-то обозначает, т. е. существует некто по имени Кеплер,*

то отрицанием (1) было бы не (3)

(3) *Кеплер не умер в нищете,*
как это есть на самом деле, а (4)

(4) *Кеплер не умер в нищете, а имя «Кеплер» нереперентно.*

Утвердительное (1) и отрицательное (3) предложения имеют в своем значении общую истинную часть (2). Это и есть пресуппозиция в (1), как, впрочем, и в (3), так как она выдерживает тест на отрицание, оставаясь истинной в (1) и (3).

Но следует ясно представлять себе, что, исключая экзистенциальную пресуппозицию из ассертивного значения, надо признать, что в предложениях признаки приписываются именам, а не их денотатам. Это радикально расходится с той философией, на которой основан естественный язык, а, попросту говоря, никак не согласуется с представлением говорящих о своей речи и, более того, противоречит тем правилам, на которых они ее строят.

Попутно заметим один момент, хотя он и не существен для оценки концепции Г. Фреге. Избранный им пример нехорош, так как семантически непрозрачен еще по одной причине: отрицание в (3), хотя и стоит при глаголе, но отрицает не его, а «в нищете».

Кеплер не умер в нищете = Кеплер умер не в нищете.

Но в таком случае пресуппозицией (1) по определению надо считать:

(5) *Существует некто по имени Кеплер, и он умер.*

Иначе говоря, в пресуппозицию (1), помимо экзистенциального, подключается часть ассертивного значения.

Естественный язык построен на той предпосылке, что за символами надо видеть значения (смыслы), а за значениями в конечном счете — денотаты (референты), хотя бы мнимые. Формальная (символическая, математическая) логика предлагает замкнуться уровнем символов, и это побуждает к осторожности в принятии ее допущений для объяснения механизмов естественного языка. Поскольку рано или поздно достоинства любого языка определяются практическим применением, желательно, чтобы язык позволял пройти максимально долгий и продуктивный путь.

Б. Рассел (1905, 1957) считал подход Г. Фреге ошибочным и непродуктивным. Предложенное им самим решение не нуждалось в особом понятии пресуппозиции, так как не выводило содержание за рамки ассертивного значения предложений. Семантика предложений описывалась им в терминах выдвинутой им теории дескрипций, сводивших ее к простейшим утверждениям. Так, полагается, что утверждение о субъекте определенной дескрипции на деле скрывает конъюнкцию трех пропозиций: *Король*

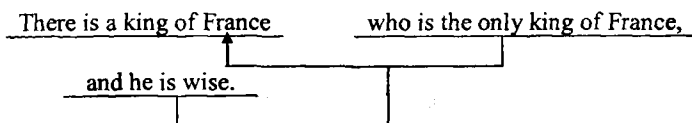
Франции мудр = есть некий король Франции, и нет другого короля Франции, и он мудр.

Концепция Рассела держалась целых полвека, пока Стросон не восстановил в правах пресуппозицию, существенно модифицировав ее начальный вариант (см., напр., Levinson 1983, 172 и след.). Во-первых, он открыл этому понятию выход к прагматике. Он по-прежнему разграничивал ассертивный и пресуппозитивный компоненты значения утверждений, как и Фреге, связывал пресуппозицию с сохранением истинностного значения при отрицании (семантическая пресуппозиция), но поставил истинностное значение в зависимость от обстоятельств (например, времени, места и т. д.) употребления предложений, так что истина и ложь оказались функциями не предложений, а их использований — актов утверждения.

Во-вторых, в противовес Б. Расселу, не усматривавшему принципиальных различий между пресуппозициями и логическими импликациями, Стросон еще более резко, чем Фреге, настаивал на их разнородности. Этой же позиции, заметим, держался Остин. Впоследствии импликацию потеснили еще больше, так сказать, «уплотнили», поселив «на той же площади», на равных правах, помимо импликации и пресуппозиции, еще и конвенциональные импликатуры Грайса. Таким образом, единство выводного знания, которое ранее, казалось, порождалось из общего источника импликации, теперь распалось.

Если же концепции Фреге—Стросона и Рассела рассматривать не как элементы дедуктивно построенных логических систем, а опустить их из эмпирей формальных наук на почву эмпирических наук, т. е. конкретно в данном случае пытаться оценить их объяснительные возможности применительно к анализу речемыслительных процессов, то у каждой из них обнаружатся достоинства и недостатки. Во всяком случае обе они имеют известное отношение к этому анализу, но дают различающиеся картины одной и той же части речемыслительного акта. Если угодно, они исходят из разных пресуппозиций строения речемыслительного акта. Концепция Рассела известным образом, с некоторой (неполной) глубиной квантует допредикационное содержание и структуру суждения (предложения, утверждения). Ее упрекали за то, что в ней не отражена иерархия элементарных пропозиций, но это не совсем так: последовательность пропозиций в записи отражает их уровневую зависимость.

Логическое квантование мысли у Рассела в какой-то мере сходно с лингвистическим анализом по непосредственно составляющим, продолжая его на уровне глубинного разложения смыслов ниже формально выраженного, например в *the king of France is wise*:



С тех же позиций, на переходе к оценке эмпирико-интерпретационных возможностей специально-логических постулатов и допущений и построенных на них логических систем, концепция пресуппозиции Фреге—Стросона предстает как abortивная попытка поставить суждение (предложение, утверждение) в контекст его появления, рассматривать его в рамках значимого фона и, более того, — в рамках некоторого, пусть чисто мыслительного, предтекста. Латентно концепция, особенно в стросоновской версии, содержала призыв покончить с автономией, самодостаточностью суждения как мыслительной формы. В этом был громадный потенциал научного развития, и этим она должна была привлечь к себе — особенно лингвистов и прагматиков.

Однако случилось это не сразу. Обнаружилось, что консерватизм и инерция свойственны логике не меньше, чем другим наукам. Не только в конце XIX, но и в середине XX столетия создатели концепции вряд ли отдавали себе полный отчет в ее научных импликациях. Более того, усилия логиков, а вслед за ними и лингвистов при анализе пресуппозиций направились отнюдь не вовне предложения-высказывания (утверждения, вопроса, повеления), а вовнутрь — на вычленение в его семантике пресуппозитивного компонента, выявление и каталогизацию связанных с его выражением средств. Другие примеры логического консерватизма: упорное, с трудом преодолевавшееся нежелание впустить в свой круг и освоить такие категории, как вопрос, побуждение, модальности, истинностно-неотмеченные типы суждений, т. е. типы суждений, помимо истинных и ложных, и др.

Не только в направлениях логического анализа языка, но и в лингвистической семантике устоялось представление о пресуппозиции как части значения языковых выражений, которая имеет значение истины и сохраняет его при отрицании.

Истина при этом понимается, строго говоря, не как соответствие суждения действительности и даже не как искреннее убеждение в соответствии суждения действительности, а как подача суждения как соответствующего действительности. Поскольку поданное таким образом суждение может явно расходиться с реальной действительностью и может оцениваться в конечном счете как ложное, то лучше говорить о формальной истинности суждения и об истинностном значении выражения (значения истины). Например, высказывание с типичным фактивным глаголом-включателем пресуппозиций: — *Он сожалеет о якобы пролитом молоке* — имеет несколько истинностных интерпретаций. Тот, кто «сожалеет», знает, верит или просто подает дело так, что молоко пролито. Автор же высказывания либо сомневается в истинности такой подачи, либо знает, что она ложна. Очевидно, что сам фактивный глагол не требует истинности как соответствия действительности, а довольствуется подачей заложенного в

его семантической валентности события как факта. Более того, надо принять как общий принцип: истинность/ложность не заложены в структуре языка как конститутивный принцип, язык, конечно, предусматривает средства для выражения и выявления этой категории, но функционирование этих средств выведено за пределы его структуры — в речемыслительную деятельность. Послушно следуя указанным логикой путем, лингвисты вместе с логиками прилежно занялись инвентаризацией языковых средств, отвечающих условию пресуппозиции (заметим, однако, что при этом было оставлено как непродуктивное для лингвистики расчленение содержания предложений-высказываний на ассертивную и пресуппозитивную части). Таких средств оказалось немало. Сводный перечень Карттунена (цит. по Levinson 1983, с. 181) содержит 31 разряд. Сами по себе эти средства отнюдь не являются носителями пресуппозитивного значения, они лишь «открывают дверь» для него в высказывание, требуют и пропускают в высказывание только пресуппозитивные значения: сопряженные с ними части высказывания имеют значение, отвечающее условию пресуппозиции. В этом смысле эти средства могут быть названы включателями пресуппозиций (*presupposition-triggers*).

К их числу, помимо определенных дескрипций, связанных с пресуппозицией существования, наличия (экзистенциальной, или бытийной пресуппозицией), относятся средства ситуативной пресуппозиции. Последние могут быть названы средствами пропозитивной пресуппозиции в том смысле, что они пресуппозиционируют целые ситуации (действия, процесса, состояния, долженствования, отношения и пр.). Свойство пресуппозиционировать ситуации обнаруживают, как известно, фактивные глаголы (*знать, сожалеть, осознавать* и т. п.); имплицативные глаголы (англ. *manage, forget*); глаголы с семантикой смены состояния (начала, продолжения, прекращения действия); глаголы и наречия с семантикой возобновления, повторности действия; другие глаголы, как, например, *брать, давать, покидать, оставлять, входить, приходить, уходить, прибывать* и т. д.; многие частицы (*даже, только, тоже, разве* и др.), предлоги, союзы временной семантики; синтаксические конструкции с логическим ударением или синтаксическим выделением какого-либо члена; сравнительные конструкции; неограничительные (описательные) придаточные определительные предложения и т. д.

Уже отмечалось, что пресуппозитивный компонент усматривают также в значении грамматических форм, например, вида, наклонения, времени, числа и др., а также в сочетаемостных ограничениях.

Все перечисленные средства как будто удовлетворяют условию пресуппозиции: из общего содержания предложений-высказываний с этими средствами может быть отвлечена часть — некое суждение, истинностное значение которого сохраняется при отрицании таких предложений-высказываний.

Ср.: *he comes to see us > he is away (but he comes to see us), he does not come to see us > he is away (and he does not come to see us).*

Аналогичным образом ведут себя и другие средства — «размыкатели» пресуппозиций. Заметим, что отрицание должно относиться к глагольному слову с наивысшим рангом грамматического подчинения в данном предложении. Например, в сложно-подчиненном предложении — к личному (в частном случае — модальному) глаголу главного предложения.

Ср.: *Когда он вышел, еще было темно > он вышел — Когда он вышел, еще не было темно > он вышел.*

Казалось, перед лингвистической теорией пресуппозиций оставались лишь задачи уяснить природу и специфику этого компонента значений, равно как уяснить семантическую природу и специфику тех языковых средств, которые, в отличие от других, способны связываться с этим компонентом значения, способны и требуют впустить его.

Увы, в дальнейшем ясность не только не была достигнута, но картина еще больше затемнилась. Оказалось, что при некоторых условиях, в определенных контекстах включатели пресуппозиций не срабатывают и пресуппозиции снимаются, аннулируются. Эта особенность — устранимость пресуппозиций — заставляет усомниться в том, что пресуппозиции — особый компонент значения, который должен быть изъят из семантики языковых единиц и который выводится из них по особым правилам вывода.

Типичные случаи снятия пресуппозиций должны быть рассмотрены, но сделано это будет позднее — с позиций той концепции пресуппозиции, которая будет развита далее. Здесь же достаточно общего представления о них. В целом оно как будто сводится к тому, что пресуппозиция снимается, если она вступает в противоречие с фоновыми знаниями о мире и фоновыми представлениями относительно и на момент данного акта общения. Так, совсем не обязательно, чтобы событие, входящее в пресуппозицию фактивных, имплицативных глаголов, союза и др., всегда было бы осуществлено.

Ср.: 1) «*X* жалеет, что *У* уехал (prsp. *У* уехал) — *X* не жалеет, что *У* уехал (prsp. *У* уехал), но ср. *X* не жалеет, что *У* уехал, так как *У* и не уезжал»;

2) «*X* будет жалеть, что *У* уехал (prsp. *У* уехал или уедет) — *X* не будет жалеть, что *У* уехал (prsp. *X* либо уехал или уедет, либо не уехал или не уедет, как, например, в контексте: хорошо (для *X*), что не было билетов (для *У*), теперь *X* не будет жалеть, что *У* уехал, prsp. *У* не уехал)».

Здесь prsp. означает не строго пресуппозицию в духе Фреге, поскольку не везде выдерживается критерий отрицания, а имеет смысл «из чего надо полагать, что (*X*) действительно (уехал/не уехал)».

Ср. также: *Он женился до получения диплома* (prsp. он получил диплом) — *он не женился до получения диплома* prsp. он получил диплом, он женился после получения диплома, ср.: *Он был женат до получения ди-*

плома (prsp. он получил диплом) — он не был женат до получения диплома (prsp. он получил диплом). Однако пресуппозиция снимается: *Его отчислили до защиты курсовой работы* (prsp. он не защитил курсовую работу) — *его не отчислили до защиты курсовой работы* (prsp. он защитил курсовую работу). Ср. также: **его отчислили до успешной/неуспешной защиты курсовой работы* (бессмысленные утверждения) — *его не отчислили до успешной защиты курсовой работы* (prsp. он успешно защитил курсовую работу, его не отчислили, так как он успешно защитил курсовую работу) — *его не отчислили до неудачной защиты курсовой работы* (prsp. он не защитил курсовую работу, его отчислили после неудачной защиты курсовой работы).

Из примеров видно, что развязывание и свертывание пресуппозиций зависит не только от семантики языковых единиц, но в конечном счете от взаимодействия и корректировки этой семантики обстоятельствами той внеязыковой ситуации, в описание которой они вставлены, и той коммуникативной ситуации, в рамках которой они задействованы: в конечном счете наличие/отсутствие, объем и содержание пресуппозиций корректируются тем, что допускает и заставляет ожидать или, напротив, не допускает и полагает устройство описываемого мира и обстоятельства коммуникации.

Другие сомнения в онтологической реальности фрегеанской пресуппозиции возникают в связи с так называемыми проективными правилами пресуппозиций (presupposition projection rules). Эта буквальная калька с английского означает правила суммарного подитоживания пресуппозиций в сложных предложениях и сложных синтаксических целых с несколькими частными пресуппозициями, т. е. суммирование, сохранение-снятие пресуппозиций простых предложений в условиях их взаимодействия в качестве частей более сложных синтаксических построений. Эти правила носят довольно прихотливый характер, плохо поддаются обобщению, так что их приходится в значительной мере формулировать *ad hoc*, устанавливая для каждого случая так называемые пробки (затычки) и фильтры, соответственно воспрепятствующие или разрешающие проникновение пресуппозиций в итоговое значение.

Заметим, что истинностная концепция пресуппозиции такова, что приходится говорить, 1) что какие-то выражения имеют пресуппозицию, но она ложна, т. е. они имеют что-то, что может быть названо пресуппозицией, но, строго говоря, ею не является, 2) что другие выражения имеют пресуппозицию, но она может быть снята, т. е. пресуппозиция у них и есть, и нет. Это, понятно, не отрицает еще онтологическую реальность явления, но заставляет по меньшей мере усомниться, правильно ли увидены его сущность и границы. См., например, статью «Пресуппозиция» в «Лингвистическом энциклопедическом словаре», автор Е. В. Падучева).

Например, если вы услышите вне контекстов игры и обмана, фантазии и лжи искреннее сообщение: *Вчера меня навестил император Франции,* —

то вы должны принять presupпозицию существования императора Франции, хотя бы только для мира говорящего. Но если от того же лица вы услышите: *Мне представилось* (почудилось, показалось, я вообразил, подумал, поверил и т. п.), *что вчера меня навестил император Франции*, — то после таких глаголов пропозициональной установки ничто не обязывает вас признавать ту же presupпозицию — она, если и была, то аннулирована в суммарном смысле.

Такова общая картина перенесенных из логики и усвоенных лингвистикой представлений о presupпозиции. Наша задача теперь состоит в изложении иного взгляда на presupпозиции, который бы исходил не из дедуктивной логической схемы, подправляющей естественный язык, подыскивающей в нем иллюстрации для себя и анализирующей его с точки зрения своих построений, а такого взгляда на presupпозицию, который бы исходил из эмпирической основы естественного языка, возможно лучшим образом согласовывался бы с реальными основаниями естественного языка и обыденного мышления, с той практической философией мира и логикой здравого смысла, которые управляют речемыслительной деятельностью.

Для этого необходимо напомнить, хотя бы в тезисной форме, некоторые общие предпосылки из теории значения, сопоставить операции и категории речемыслительной деятельности, имеющие отношения к проблеме, с соответствующими логическими конструкциями, уяснить эмпирическую реальность presupпозиции и, наконец, рассмотреть с позиций альтернативного подхода типичные случаи логической квазипresupпозиции.

Еще раз суммируем их в виде тезисов о значении.

1. Значение шире знака. Нет знака без значения, но обратное неверно. Значение в любом случае предполагает информационную зависимость двух концептов в сознании, когда один концепт актуализирует другой и настраивает сознание на этот второй как информационно важный (концепт — любая дискретная содержательная единица сознания). В этой зависимости актуализируемый концепт и есть значение.

Есть два рода значений — импликационные и знаковые. В первом случае два концепта связаны импликационной связью, во втором — знаковой. Импликационные связи концептов — мыслительный аналог, отражение реальных связей действительности, зависимостей, взаимодействий, совместной встречаемости сущностей в пространстве и времени, связей между вещами, между целым и частью, вещью и ее признаками и т. п.

Их антиподом являются классификационные связи концептов. Последние не отражают каких-либо реальных связей сущностей в действительном мире. Они являются отражением и мыслительным аналогом распределения признаков в вещах. В этом случае сущности связаны не в действительности, а в сознании за счет сходств/различий в признаках. Классификационная связь концептов не порождает значения.

Знаковая (семиотическая) связь концептов — связь между означаемым (десигнатом) и означающим (десигнатором) как идеальными сущностями — психическими образами денотата (референта) знака и его материальным телом (манифестантом, или экспонентом знака). Как известно, эта связь в принципе произвольна, специально предназначена для передачи значений. При этом значения не возникают как результат импликаций, а в известном смысле на известном уровне записаны за знаками и расписаны за ними, они кодифицированы.

2. Импликация — мыслительная операция, в которой устанавливается (выявляется, фиксируется, идентифицируется) импликационная связь концептов. Импликационная связь — результат импликации. Совокупный результат импликаций откладывается в сознании как глобальная структура концептуальных импликационных связей. Наряду с классификацией импликация — один из двух универсальных способов организации сознания. Как реальное мыслительное действие импликация объединяет гораздо более широкий круг концептуальных зависимостей, чем тот, который предписан ей в логике. Логическая импликация — более узкий конструкт реальной импликации. Отражая вероятностную природу мира, импликации также имеют вероятностный характер. Жесткая детерминация связей — лишь частный случай общего вероятностного правила.

В отличие от онтологической детерминации сущностей, которая может быть либо однонаправленной, либо взаимонаправленной, импликация как связь концептов всегда обратима: причина вызывает следствие, но не наоборот, однако мысль о некоторой причине вызывает мысль о ее следствиях, и наоборот, — мысль о следствии имплицитно представляет о возможных его причинах. В этом одно из принципиальных отличий реальной импликации от логической. Последняя учитывает вектор онтологической зависимости.

Обратимость импликационной связи проявляет себя в естественном языке, в частности, тем, что придаточное условных предложений может выражать как онтологическое условие, так и следствие. Ср. *Если он выпил всю воду, то* (значит) *стакан пуст* — *Если стакан пуст, то* (значит) *он выпил всю воду*. Тем самым форма придаточного выражает не мысль об условии, а мысль-импликатор, т. е. мысль, развязывающую импликацию, которая онтологически может быть и условием, и следствием. Соответственно и главное предложение соотносится то со следствием, то с условием, т. е. выражает имплицитруемую мысль, мысль-имплицат.

Однако схема придаточное-следствие + главное-условие все же вторична, так как обычно требует указывать, что между двумя ситуациями есть еще отношение значения. Это делается посредством связки значения — глагола «значить», что при обратной схеме не обязательно, хотя и вполне возможно, так как отношение импликационного значения присутствует в обоих случаях, но с переменной мест аргументов этого отношения. Ср. *Если*

он опоздал, то (значит) они уехали без него. — Если они уехали без него, то (значит) он опоздал.

Вместе с тем математическая логика, хотя и не безразлична в принципе к вектору предметной зависимости антецедента *A* и консеквента *B*, полностью выхолащивает его тем, что эмансипирует себя от любого предметного содержания антецедента и консеквента и от любого предметного значения их зависимости.

Реальная импликация выходит за рамки зависимостей, укладываемых в формулу «если *A*, то *B*». Помимо причин и следствий, условий и результатов, взаимозависимостей и взаимодействий, отношений вещей, она охватывает отношения частей и целого, совмещенности сущностей в одной связке, пространственные и временные связи простой совместной встречаемости, сопутствия, следования и предшествования (при условии, что они представляются неслучайными, регулярными, прогнозируемыми, хотя бы зависимость и не была ясна), а также отношения (метаотношения) вещей и их признаков. Основание их внутреннего единства, объединяющее их в один тип мыслительных действий, должно быть ясно: импликационные связи суть отражение и мыслительный аналог реальных связей действительного мира, обеспечивающих его целостность и структурированность на разных участках и уровнях. Существенно то, что они отражают связи, существующие до и независимо от их отражения.

Известно, насколько отличны истинностные зависимости антецедента и консеквента логической импликации, с одной стороны, импликатора и импликата реальной импликации — с другой. Главное отличие состоит в том, что реальная импликация основана на знании мира (включая знания о мире знаковой деятельности) и представляет собой мыслительные констатации действительных и мнимых связей между ситуациями (событиями, положением дел) в этом мире. И эти мыслительные констатации находят то или иное, весьма разнообразное языковое выражение сообразно содержанию и целям коммуникации.

Логическая импликация соединяет отношением обусловленности высказывания о положениях дел, каждое из которых, независимо друг от друга, оценивается с точки зрения истинности/ложности, и на основе истинностных зависимостей антецедента и консеквента определяется истинность или ложность всего имплицативного суждения (высказывания). Иначе обстоит дело с реальными импликациями. Они строятся на допущении реальной связи между двумя положениями дел и представляют собой вероятностные заключения об истинности суждений-имплицатов в условиях зависимости от суждений-имплицаторов. Реальные импликации представляют собой заключения-выводы об обязательном или вероятностном, безусловном или обусловленном существовании некоторого положения дел в силу того, что известно о существовании некоторого другого положения дел, связанного с первым некоторой реальной связью.

Для реальных импликаций (т. е. для импликаций как типа реальных мыслительных операций, для импликаций обыденного мышления, импликаций здравого смысла) существенна не столько истинность/ложность (истинностная оценка, истинностное знание) импликатора и импликата, сколько наличие/отсутствие и характер связи между теми положениями дел (ситуациями, событиями), с которыми соотнесены импликатор и импликат. Допустим, что два европейца услышали после Венского конгресса утверждение «Наполеон вернулся с о. Св. Елены» и один поверил ему, а другой знал, что это не так. Несмотря на эти различия, импликационный потенциал этого утверждения у обоих был бы сходным. Как импликатор, эта мысль вызвала бы у них близкий круг импликатов. Разница могла бы быть в их готовности запустить механизм импликаций и в практической значимости импликатов для каждого из них: один бы реально озабочился последствиями, у другого они не возникли бы. Причина понятна: одни и те же импликации расценивались бы одним как вероятно-осуществимые, а другим — как чисто умозрительные.

3. Речь несет информацию двоякого рода. Помимо прямого ее значения, т. е. кодифицированной знаковой информации, она еще служит источником разнообразной дополнительной информации, извлекаемой из всех составляющих речевую деятельность компонентов и относящихся, так сказать, к ее конкретному исполнению в конкретных обстоятельствах. Эта информация не является собственной принадлежностью знаков как таковых, закрепленным за ними и воспроизводимым значением, она не вытекает из знания самого языка, а усваивается из знания мира и знаковой деятельности людей, не из знаковых, а импликационных связей речевых фактов. Знак при этом усваивается не только как таковой, как предмет в особой, специальной, знаковой функции, а шире — как предмет вообще, погруженный во все естественные связи того мира, в котором он проявляется, — причинно-следственные, временные, пространственные и т. д.

Когда некто говорит среди дня: «Я иду спать», — то значимым является объявленное действие (знаковое значение), но интонации усталости в голосе, обстоятельства речи — намерение отдохнуть среди дня, предшествующее знание того, что говорящий много работал до этого (или что он уже обнаруживал признаки слабости, недомогания и т. п.). В других обстоятельствах эти слова могут быть поняты как нежелание продолжать беседу, свидетельство нерасположения, косвенное утверждение собственной зависимости и т. д. и т. п. Вся эта обширная и разнообразная информация не закодирована в речи, а представляет собой разнообразные импликации из нее, выводимые из всех компонентов всех уровней речевого акта. В совокупности они составляют семиимпликационные значения знаковых актов.

Семиимпликационные значения представляют собой как бы значимую среду, в которую погружены собственно знаковые значения высказы-

ваний и текстов. Отношения, в которые вступают эти две значимые составляющие речи, весьма разнообразны. В одних случаях семиимпликационные значения малосущественны в речевых актах, составляя побочный значимый фон общения. В других они выступают на равных правах со знаковым значением речи, дополняя, расширяя и мотивируя его. Наконец, те и другие могут вступать в конфликт, как в случаях иронии, гиперболы, литоты, «эзоповых речей», иносказаний и т. п. При этом в игру вступают сложные речемыслительные процессы: говорящий управляет взаимодействием знакового и семиимпликационных значений, прогнозируя суммарный эффект речи, а слушающий определенным образом разрешает конфликт двух составляющих смысла, мобилизуя свое знание мира и опыт знаковой деятельности. Существенно то, что усваиваемое значение речевых и любых иных знаковых актов всегда является результирующей сложного взаимодействия знакового и семиимпликационного значений.

Семиимпликационные значения выводят знаковую деятельность из противопоставления деятельности вообще и превращают первую в продолжение второй, соотнося их как часть и целое, вид и род, частное и общее. Иначе говоря, благодаря семиимпликационной составляющей речь оказывается не только и не просто «рассказом» о мире и деятельности человека, но и составной частью этого мира и деятельности.

Семиимпликационные значения входят органической частью в структуру вербальной коммуникации. Более того, как будет показано далее, они подключены к структуре значения самих языковых (словесных) знаков, и это составляет одну из существенных особенностей естественных (первичных) языков, отличающих их от формализованных языков.

Наконец, важным является и то обстоятельство, что взаимодействие языковых и семиимпликационных значений в речи служит одной из причин изменения кодифицированных значений словесных знаков.

Основанием для деления значений на импликационные и знаковые выступает характер связи, устанавливаемой сознанием между означающим и означаемым фактами. Некое импликационное значение может быть содержательно равным или близким некоему знаковому значению, например, для пришедшего на пляж человека сильное волнение на море и слова «купаться опасно» имеют приблизительно одинаковое значение. Различие между ними — в способе его актуализации, импликационном в первом случае и знаковом — во втором.

4. Отражая вероятностную природу своих денотатов, значения словесных знаков сами имеют вероятностную структуру, т. е. являются стохастизмами, открытыми структурами неконечного множества семантических признаков. Входящие в состав значения признаки не могут быть исчерпаны перечнем, они различаются вероятностью вхождения/невхождения в значения и структурно упорядочены своими вероятностными характеристиками и предметно-логическими зависимостями.

Более того, словесный знак не только полисемантичен по природе, но и не имеет конечного перечня свойственных ему значений за счет метонимической, метафорической и гипергипонимической деривации вторичных значений от первичного.

Импликационные процессы имеют прямое отношение к стохастическому характеру семантики словесных знаков. К интенциональным признакам, образующим ядро обязательных признаков значения, подключается открытое множество периферийных семантических признаков. Поле этих признаков формируется за счет импликаций от обязательных интенциональных признаков и составляет то, что было названо импликационалом значения.

Вместе с тем метонимическое варьирование семантики также основано на импликационных связях концептов — того, что уже назван словом, и того, что может быть дополнительно назван тем же словом. Наконец, метафорический сдвиг значения опирается на признаки из области импликационала исходного значения.

У одних имен стохастичность очевидна уже при первых попытках толкования их семантики. Это имена классов, понятие о которых формируется как результат индуктивно-эмпирического обобщения. Таковы, например, имена биологических видов, дефиниция которых спотыкается при указании их дифференциальных признаков. У других, как, например, имен функциональных классов и вообще у всех имен классов, конституируемых дедуктивно на основе какого-то признака, стохастический характер семантики обнаруживается задним числом, при рассмотрении самих признаков.

К теме пресуппозиций это имеет то отношение, что логическая концепция пресуппозиции исходит из традиционного взгляда на значение как жесткое закрытое образование со стабильным составом, так что можно резко разграничить то, что к нему относится, от того, что лежит вне состава и структуры данного значения. Однако это представление слабо согласуется с реальной природой семантики естественных языков, имеющей, как показывают современные исследования, вероятностный характер. Учет этого обстоятельства может, как увидим, побудить к радикальному пересмотру взгляда на пресуппозицию.

Таким образом, сами кодифицированные значения имеют вероятностную структуру, обусловленную вероятностной природой мира. Это в первую очередь касается лексических значений слов, заполняющих позиции в синтаксических структурах высказываний-предложений. Как сказано, к обязательному ядру лексического значения, его интенционалу, подключается периферия семантических признаков, имплицитных из интенционала и в совокупности составляющих импликационал значения. Различие интенционала и импликационала основывается на принципиальной семантической антиномии — антиномии кодифицируемой, пред-

писываемой знаку, условленной информации и информации импликационной, выводной, по способу происхождения сходной с информацией пресуппозиций и постсуппозиций (см. ниже), условий и следствий из исходного значения. Вторая погружает первую в зависимости мира, вписывает ее в целостные системы его связей. Слова соединяют в своем лексическом значении оба вида информации, и тем самым в естественном языке разрешается противоречие кодифицируемого и имплицитного, готового и нарабатываемого, «уставного» и выводного знания в знаках. Так, в значение слова «зима» входят не только признаки «время года с декабря по февраль (в Северном полушарии)» — интенционал значения, но и признаки «самое холодное время года, птицы улетели, выпадает снег, замерзают реки, катаются на лыжах и коньках, люди становятся толще, так как тепло одеваются, виден пар от дыхания» и т. д. и т. п.

Очевидно, что именно импликационалы имен становятся одним из важных источников имплицитных значений в высказываниях и текстах, развязывая цепочки импликаций из словарно-языковых значений и обогащая высказывания (тексты) информацией, выводимой из знания мира (так называемого энциклопедического знания), не имеющей прямого выражения, но дополнительно нарабатываемой и усваиваемой в конситуациях речи. При этом, однако, надо признать, что нет строгой границы между эксплицитным и имплицитным смыслами слов, высказываний и текстов. Подключенность импликационала к значению имен увеличивает информационную мощь естественных языков, их вращение в знания и опыт говорящих, но сопровождается известной неопределенностью реального содержания естественно-языковых выражений — за счет размывания границ между эксплицитным и имплицитным значениями, между тем, что выражено и что домысливается, между интенцией говорящего и пониманием слушающего. Так, в разных контекстах и ситуациях речи импликация — представление о нерабочем дне — будет составлять часть то эксплицитного, то имплицитного содержания имени суббота, а то и вовсе не будет связываться с ним.

5. Необходимо также учитывать семантические валентности как специфическую часть семантики, особо развитую у предикатных слов и в максимальной мере у глаголов. Они представляют собой своего рода стыковочные узлы определенного профиля, замыкающие на себя слова определенных семантических разрядов в определенной грамматической форме и с определенными аргументными значениями. Благодаря развитой валентностной структуре предикатное слово, в особенности глагол, содержит в свернутом виде образ целой ситуации с ее потенциальными участниками и характеризующим ее признаком (действием, процессом, состоянием, свойством, отношением и т. д.). Не напрашивается ли этот аспект значения на то, чтобы усмотреть в нем род пресуппозиции? Но каков тогда смысл пресуппозиции?

6. Необходимо еще учитывать разнотипность знаковых значений по соотношению языковой и речевой семантики слов, по способу наполнения их тем содержанием, которое реально связывается с ними в речевом акте, т. е. по характеру речевой семантизации слов. Она различна у прямо референтных и опосредованно референтных слов (ср. назывные и дейктические слова), у референтно-описывающих и референтно-оценивающих слов и т. п. Для теории пресуппозиции существенно учитывать семантическую специфику слов, дающих свернутое описание ситуаций (событий) по некоторым типовым отношениям к другим ситуациям (отношения следования-предшествования и т. п.) по признакам прогнозируемости и т. д.

Такова семантика, например, многих частиц. Они как будто дают повод усматривать в значении высказываний с частицами пресуппозитивный компонент. Так ли это? Возможно ли приравнять к пресуппозиции значение, выраженное в предложении-высказывании, по той только причине, что выражено оно специфически — экономно, свернутым образом?

Теперь можно перейти к следующему этапу в наших рассуждениях. Сформулируем — опять же в тезисном виде — альтернативный взгляд на пресуппозицию, имея в виду некую реальность речемыслительных процессов и структур, не сводимую к другим категориям.

1. Пресуппозиции не составляют часть эксплицитно выраженного значения высказываний и текстов (включая диалоги). Они относятся к имплицитной, прямо не выраженной части информации, извлекаемой в актах коммуникации.

2. Пресуппозиции как имплицитная часть суммарного значения проявляются на уровне не ниже предложения-высказывания. Языковым единицам докоммуникативных уровней (так называемым строевым единицам языка), равно как их комбинациям докоммуникативного уровня, пресуппозиция не свойственна.

3. Всякое высказывание, включая и те, которые открывают речь, опирается на значимый фон предпосылок и сопровождается значимым шлейфом следствий. Его смысл должен вписаться как часть в целое некоего предметного мира, в систему его связей и закономерностей, с одной стороны, и в целостную картину определенного акта коммуникации — с другой. Иными словами, всякое высказывание предполагает значимый фон, некую содержательную «среду обитания», в структуре которой оно приобретает смысл. Этим фоном служат, как сказано, представления о некоем предметном мире, участок которого описывается высказыванием (предметный фон), и представления о совокупных обстоятельствах коммуникации (коммуникативный фон). Поскольку предметный и коммуникативный фоны нередко сопряжены и взаимодействуют, это оправдывает объединение их в едином понятии значимого фона.

Собственное эксплицитное значение высказывания вступает во взаимодействие со значимым фоном. Высказывание осмысливается не только из

собственной формы, но из отношений его собственного, знакового (в определенном смысле буквального, прямого, кодифицированного) значения со значимым фоном. При этом к знаковому значению высказывания добавляются дополнительные смыслы. Они появляются как результат импликаций из условий и обстоятельств реализации высказывания. Принимается, что избранная реализация не случайна, а продиктована некоторыми причинами и намерениями, так что по ней, как по следствию, можно восстановить эти причины, хотя бы они и скрывались за пределами выраженного значения. В игру вступает знание того, как реально испрльзуется язык. Знание языка дополняется импликационным анализом речи. Высказывание превращается в объект причинно-следственного анализа, в дополнение к кодифицированному, оно служит источником импликационного, а точнее — семиоимпликационного значения, так как здесь имеем дело с импликациями из семиотических фактов.

Конечной целью говорящих является не просто извлечение семиотических плюс семиоимпликационных значений, а суммарного итога их взаимодействия. Взаимодействие эксплицитного значения высказываний с значимым фоном и предтекстом как его частью может быть простым, аддитивным, когда одно дополняет другое, но оно может быть и весьма сложным, когда одно вступает в конфликт с другим, и этот конфликт может разрешаться то в пользу значимого фона, то в пользу собственного значения высказывания.

4. Частным (и важным) случаем имплицитных семиоимпликационных значений являются импликатуры речевого общения Грайса. Это импликации из взаимодействия эксплицитного значения высказываний с той частью значимого фона, который составляет нормы, конвенции и антиципации регулярного (правильного, нормативно-успешного) речевого общения. Их механизм — тот же импликационный анализ реальных высказываний относительно их соответствия этим нормам, конвенциям и обусловленным ими антиципаниям речевого процесса. Правила регулярного речевого общения моделируют речевой процесс и прогнозируют некий нормативный конструкт высказывания (допускающий, понятно, вариативность в определенном диапазоне). Если реальное высказывание не отклоняется от него, оно имплицитирует нормативный контекст значимого фона. Если отклоняется и, как можно полагать, неслучайно, то пускается в ход опыт и знание речевой деятельности и устанавливаются невыраженные причины этих отклонений. В результате суммарное значение высказываний прирастает или модифицируется за счет имплицитных приращений импликационного происхождения.

5. Ту же импликационную природу имеют имплицитные приращения в косвенных речевых актах с той, однако, разницей, что импликации извлекаются из взаимодействия прямых («уставных», первичных) значений высказываний, которые они имели бы в качестве прямых речевых актов, с

реальным значимым фоном их употребления. Такое их употребление может, конечно, само стать нормой для определенных обстоятельств речевого общения, но нормой вторичной: остается функциональная вторичность, фоновая ненормативность, сигнализирующая намеренную специфичность высказывания относительно первичного назначения его формы. Прямое значение высказывания не исчерпывает или не вписывается в прогнозируемый из его значимого фона тотальный смысл. Это несовпадение понимается как осознанное действие, намеренный прием. Его причины и цели устанавливаются методом импликаций, развязываемых высказыванием в обстоятельствах значимого фона на базе знаний мира, людей, языка и речевой деятельности.

Конфликт снимается тем, что запускают механизм импликационного анализа: основываясь опять-таки на знании того, как используется язык, устанавливают скрытые причины и цели несоответствия между высказыванием и коммуникативным намерением, гипостазлируемым из его значимого коммуникативного фона.

6. В указанных выше случаях невыраженные приращения к значению высказываний имеют источником конфликтное взаимодействие эксплицитного значения с разными элементами коммуникативного значимого фона (речь, понятно, идет о конфликте в широком смысле = рассогласование, несоответствие, несовпадение, ненормативность, хотя бы фоновая и т. п.).

Но высказывание, как сказано, осмысляется еще в контексте предметного фона. Его смысл погружен в связи и структуру описываемого им предметного мира как некий фрагмент в нем. Высказывание взаимодействует с предметным фоном своего прямого значения и в силу этого неизбежно предполагает, заставляет помыслить о том, что лежит за порогом его собственного значения в ближайшей, значимой среде предметного фона.

Тем самым любое высказывание служит импликатором условий и следствий своего эксплицитного значения, в том числе и тех, которые остаются невыраженными в речи. Совокупность этих импликаций подразделяется на ретроспективные и проспективные. Первые и есть presupпозиции, вторые — postsupпозиции. Будучи невыраженными, они составляют еще одну важную часть имплицитных значений речи.

Presupпозиции и postsupпозиции — невыраженные импликации из эксплицитного значения высказываний, спроецированные в его предметный фон. Presupпозиции — импликации вспять, в направлении, обратном развертыванию причинно-следственных процессов. Presupпозиции — совокупность имплицитных суждений, которые относятся к эксплицитному значению высказывания как условия к следствию. Это круг ближайших суждений об условиях осмысленности высказывания и осуществимости его денотата (обозначаемого им положения дел). В основе presupпозиций

лежат знания, представления, допущения об устройстве предметной области высказывания, которые необходимо принять, чтобы осмыслить высказывание как сообщение о фрагменте в этой предметной области.

Пресуппозиции надо отличать от проспективных импликаций — постсуппозиций высказывания. Постсуппозиции — импликации в поступательном направлении причинно-следственных процессов — это совокупность имплицитных суждений, относящихся к эксплицитному значению высказывания как следствия к условию, это круг суждений о ближайших предметно-логических следствиях из эксплицитного значения высказываний.

Условно-следственной связью считается такая зависимость положений дел $E1$ и $E2$, когда осуществимость $E2$ предполагает жестко или вероятно осуществление $E1$. Простейший ее случай — фиксированный порядок следования $E1$ и $E2$, очередность их осуществления. Они заставляют предполагать более глубокую зависимость между событиями, но природа этой зависимости кажется скрытой. Более сильный и явный случай условно-следственной зависимости — зависимость условий-причин и следствий-результатов (причинно-следственная связь).

Условием события $E2$ называется такое событие $E1$, осуществление которого влечет за собой с необходимостью или вероятностью осуществления событий $E2$. Условие — положение дел, открывающее возможность осуществления другого положения дел — следствия. Возможно отрицательное условие, т. е. событие, препятствующее осуществлению другого события, так что наличие первого предполагает неосуществление второго. В конечном счете этот случай сводим к общему: неосуществления события может быть расценено как событие, а именно как осуществление неосуществимого события.

Следствие — событие, для осуществления которого с необходимостью или вероятностью требуется, чтобы ранее или одновременно осуществилось другое событие.

Причины — особый род условий. Причина — такое положение дел $E1$, которое влечет за собой с необходимостью или вероятностью другое положение дел $E2$, и это последнее расценивается как изменение той системы, к которой оно относится. Причина — условие изменения. Результат — следствие — изменение, т. е. такое обусловленное положение дел, которое расценивается как изменение той системы, к которой оно принадлежит. В частном случае причина может не вызывать, а препятствовать изменению, т. е. обуславливать статус-кво системы, но этот случай сводим к общему: причина здесь изменяет тенденцию к изменению в системе. Соответственно и следствием-результатом таких причин оказывается отсутствие изменений в системах.

Нужно заметить, что лингвисты нередко приравнивают импликацию к постсуппозиции. При этом пресуппозиция противопоставляется имплика-

ции. Однако такое сужение импликации неправомерно, поскольку это мыслительное действие может быть направлено не только от условия к следствиям, но и от следствия к условиям. Импликация — широкое родовое понятие (кстати говоря, она может быть как невыраженной, имплицитной, так и выраженной, эксплицитной). Пресуппозиции и постсуппозиции — частные случаи имплицитных импликаций. И те, и другие организованы в структуры предметно-логическими зависимостями. И те, и другие могут быть частично по мере необходимости выражены в посттексте.

Все импликации — пресуппозитивные и постсуппозитивные в том числе — могут быть жесткими и вероятностными (в первую очередь сильновероятностными) и вместе с высказыванием могут относиться не только к предметным областям и мирам реальным, но также возможным, мнимым и смешанным. Пресуппозиции одного высказывания могут быть более богатыми, чем его постсуппозиции, и наоборот. Разные высказывания различаются потенциалами (т. е. богатством/бедностью) своих импликаций, в том числе пресуппозиций и постсуппозиций.

7. Различие пресуппозиций и постсуппозиций существенно постольку, поскольку существенно различие условий и следствий, причин и результатов, того, что предшествует, и того, что последует. Это различие может быть несущественным или неустановимым или, наконец, может просто отсутствовать. Дело в том, как уже упоминалось, что столь же возможны жесткие и вероятностные связи простого соположения, совмещенности, совместной встречаемости в связке, простой пространственный и временной параллелизм наличия и отсутствия вещей и событий без видимой обусловленности, без явной зависимости и наличного взаимодействия — простая коллигация сущностей, композиция вещей и событий (если слово *композиция* взять в первичном этимологическом смысле). Принимается, что между вещами, явлениями и событиями есть связь и даже, возможно, зависимость, но природа этой связи и зависимости остается неясной, неопределенной, опосредованной, отдаленной или просто несущественной.

В сознании такие положения дел объединены той же импликационной связью: одно вызывает представление о другом, импликатор имплицитно импликат в силу коллигации денотатов. Однако нет ни пары импликат-условие при импликаторе-следствии (пресуппозиция), ни пары импликат-следствие при импликаторе-условии (постсуппозиция), а имеет место кон-суппозиция = импликация простой совместной встречаемости: есть связь, но природа ее не прояснена.

Так, среди множества импликаторов пушкинского «Роняет лес багряный свой убор» надо числить: глубокая осень, похолодало, день стал короткий, солнце греет слабо, деревья становятся нагими, земля усыпана листвою, птицы улетают на юг и т. д. Некоторые из них находят выражение в посттексте, ср. *сребрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто поневоле, пылай камин*, другие так и остаются имплицитными. Определен-

но к пресуппозициям надо отнести, по-видимому, представления о наступлении глубокой осени, холодов, к постсуппозициям — обнажение деревьев и просматриваемость леса, ковер из листьев на земле. Однако жесткое распределение импликатов на условия и следствия затруднительно, все они объединяются в общую категорию импликаций сопутствия, совместной встречаемости, неслучайной ожидаемой связи.

Как уже говорилось выше, в естественном языке формула «если A , то (значит) B » безразлична, к аргументным значениям A и B в том смысле, что каждое из них может быть и причиной, и следствием и оба могут меняться местами в этой формуле. Иначе обстоит дело с формулой « A и B ». Она ориентирована на порядок онтологической зависимости событий A и B : сначала причина (A), затем результат (B), сначала — условие, затем — следствие, сначала то, что раньше, затем то, что позже. Если нет импликации, то, естественно, нет и «и» между A и B (за исключением, понятно, ситуации простого перечисления). Но более того, если даже есть импликация, но импликация не зависимости, а простой синсуппозиции, то, по-видимому, избегают соединять аргументы союзом. Ср. 1) *Наступает осень, и дети идут в школу*, но **дети идут в школу, и наступает осень*; 2) *звонит звонок, и начинается урок*, но **начинается урок, и звонит звонок* (возможно только если перевернуть зависимость во времени: по началу урока давать звонок); 3) **земля усыпана листвой, и птицы улетают на юг*; *птицы улетают на юг, и земля усыпана листвой* (кроме ситуаций простого перечисления).

Таким образом, к понятиям пресуппозиции и постсуппозиции добавляется третий термин — консуппозиция. Но он же имеет и более общий смысл как родовое понятие, объединяющее все три вида имплицитных предметно-логических импликаций из эксплицитного значения высказываний. В самом деле, во всех трех случаях имеет место совместная встречаемость событий, но в иных она еще осложняется условно-следственными, причинно-следственными, темпоральными и иными зависимостями и взаимодействиями. Простая совместная встречаемость денотатов — минимальное обязательное условие импликации любого вида. Это позволяет сохранить за термином «консуппозиция» видовой и родовой смыслы, в противопоставлении и вне противопоставления с пресуппозицией и постсуппозицией. При необходимости, однако, в видовом смысле при подчеркнутым противопоставлении трех видов импликации можно говорить, во избежание путаницы, не о консуппозиции, а о синсуппозиции, синсуппозитивной импликации.

Тем самым мы окончательно вырываемся из объятий логической концепции пресуппозиций. Начав с логического конструкта, смысл и действие которого ограничены узкими (но строгими!) рамками дедуктивной концепции формального языка, мы выходим на эмпирическую категорию — обобщение одной стороны реальных речемыслительных связей и процес-

сов. Консуппозиции — та часть имплицитного значимого потенциала высказываний, которая образуется ближайшими импликациями (пресуппозитивными, постсуппозитивными и синсуппозитивными) из их когнитивного (предметно-логического) эксплицитно выраженного значения.

Консуппозиция — та же импликация, но с важным ограничением: это импликация из кодифицированного значения высказывания, прямо не выраженная ни в нем самом, ни в его предтексте. Совокупность этих импликаций структурирована их предметно-логическими зависимостями и служит базой посттекста.

Когда понятие пресуппозиции входило в лингвистический оборот и стало постепенно обнаруживаться, что его нельзя легитимизировать по первоначальному замыслу, оно стало незаметно менять свой смысл и дрейфовать в сторону того, что здесь обозначено консуппозицией. Практически имеются на выбор два термина: один, известный, но обремененный своей историей и в силу этого неоднозначный и неопределенный (пресуппозиция), и другой, новый, но однозначно семантизированный как речемыслительная категория (консуппозиция).

8. Небесполезно подвести некоторый итог концептуально-терминологической стороны проблемы. Безусловно, за терминами «импликация» и «пресуппозиция» сохраняется тот специальный смысл, который им придается в рамках определенных концепций построения формальных логических языков. Вместе с тем надо признать, что в этом специальном смысле они мало пригодны для описания реальных речемыслительных процессов и операций и мало продуктивны при перенесении в лингвистику и когитологию. В них есть эмпирический субстрат, но они жертвуют им в пользу дедуктивной схемы, так что в них нельзя усматривать обобщение соответствующих категорий речемыслительных процессов.

За логикой остается приоритет, термины остаются, но заново осмысляются как категории живых языка и мышления. При этом понятие импликации и импликационных концептуальных связей обобщает широкий круг мыслительных операций и их результатов, являющихся аналогом реальных связей, зависимостей и взаимодействий отражаемого сознанием мира. В этом качестве импликация противопоставлена, с одной стороны, классификации и классификационным концептуальным связям как ее результатам, а с другой — семиотизации (означиванию) и семиотическим концептуальным связям как ее результатам.

Импликации эксплицитны, если они специально выражены в языке, и имплицитны, если не имеют прямого выражения. Поскольку языковые факты сами служат всеми своими сторонами источником импликаций, они несут информацию двоякого рода — кодифицированное (знаковое) эксплицитное значение и импликационное значение, эксплицитное и имплицитное. Понятия пресуппозиции, постсуппозиции, консуппозиции, а также синсуппозиции относятся к разным аспектам имплицитной информации,

извлекаемой за счет импликаций из взаимодействия эксплицитного значения высказываний с значимым фоном его реализации. Сходны они именно в том, что: 1) все — результат импликаций; 2) прямо не выражены и 3) не составляют часть кодифицированного значения высказываний, а различны они в том, с какой частью значимого фона взаимодействует эксплицитное значение.

Надо иметь в виду, что источником информации служит не только эксплицитное значение высказываний, но все его стороны, все его материальные и идеальные составляющие. Импликационному анализу подвергаются выбор средств выражения, характер фонации, явления аффекта и все сопровождающие вербальную коммуникацию паралингвистические средства, кинесика и проксемика речи, паузы, молчание, композиция (организация) речи и т. д. и т. п. Здесь же из всего многообразия вычленен только один источник импликаций, содержательно наиболее нагруженный и разнообразный, — собственное выраженное значение высказываний.

Его взаимодействие со значимым коммуникативным и предметным фоном порождает наибольший объем релевантной имплицитной информации. Импликационный анализ высказывания на значимом коммуникативном фоне производится относительно правил (норм) и конвенций речевого общения и результатом являются импликации относительно участников и реального содержания коммуникации (так называемые имплицитурные речевого общения Грайса). Тому же анализу подвергается высказывание в соотнесении с иерархией нормативного распределения содержательных коммуникативных функций среди коммуникативных языковых единиц, и результатом являются импликации того же порядка — практические выводы о реальном содержании, целях и участниках коммуникативного акта.

Наконец, импликации из собственного значения высказываний возникают за счет того, что его денотат «прописывают» в некоторой предметной области и семантика высказывания «выплескивается» в эту область, импликационно продлевается, поскольку известно устройство, статика и динамика связей в ней. Высказывание обрастает консуппозициями — имплицитными значениями, возникающими на основе ретроспективных и проспективных условно-следственных импликаций (пресуппозиции и постсуппозиции) и импликаций на основе простой сопряженности событий (синсуппозиции).

Повсеместно действует один и тот же механизм имплицирования. Различия лишь в том, что его запускает, что подвергается анализу и какого рода знание (знание чего) вовлекается в анализ и служит базой заключений.

Тем самым удастся вскрыть общность операционно-мыслительного механизма предметной имплицации и имплицатур речевого общения. Первоначально (а во многом и до сих пор) в прагматике считалось невозможным свести имплицитурные речевого общения, пресуппозиции (в логическом

понимании) и логическое следование (entailment) к единому знаменателю, хотя нередко удавалось все же показать, что в конечном счете за ними скрывается общая основа — логическая импликация. Теперь это очевидно, у них действительно единая операционно-мыслительная основа, но сводимы они не к импликации — логическому конструкту, а к импликации как операционной категории реального мышления. Это меняет взгляд на соотношение логики и когнитологии. Реальную импликацию нельзя рассматривать как испорченную версию ее логического двойника. Напротив, логическая импликация — жесткий конструкт первой, полезный для ограниченных целей.

9. В логической концепции пресуппозиция рассматривается как часть значения высказывания с особым качеством: она остается истинной при отрицании. Кроме того, ее получают способом, отличным от логического вывода. Действительно, целостное значение высказывания и часть его значения сами по себе — разные значения, но все дело в том, что часть целостного эксплицитного значения, содержась в нем, также является значением выраженным, эксплицитным. Это означает, что реальная проблема пресуппозиции скрывается не внутри рамок эксплицитного значения (там остаются свои проблемы — проблемы структуры этого значения и др.), а поджидает нас вне собственного значения высказывания. Иначе говоря, проблема пресуппозиций и шире консуппозиций — это проблема природы и структуры внешнего когнитивного поля высказывания, ореола имплицитных значений, иррадируемых собственным значением высказывания в его предметную область.

В конечном счете проблема сводится к определению границ выраженного значения, к установлению того, что относится к нему, составляя частично и в целом его содержание, и того, что лежит за его пределами, т. е. является другим значением и даже не частью первого. Приняв вероятностную концепцию значения, мы, естественно, не можем ожидать жесткой границы между значениями, но размыта она только в рамках некоторого интервала, а за его пределами два значения могут быть достаточно четко идентифицированы как разные.

Практическим критерием служит связка реальной импликации «если *A*, то значит *B*». Связка «значит» между высказываниями *A* и *B* невозможна, во-первых, если между денотатами *A* и *B* не усматривают неслучайной связи (т. е. отсутствует импликационная связь между *A* и *B*), и, во-вторых, если одно высказывание дублирует полностью или частично значение другого (т. е. связь *A* и *B* не информативна). Напротив, возможность этой связки между *A* и *B* говорит о признании реальной неслучайной связи между денотатами *A* и *B*. Связка свидетельствует, что связь высказываний *A* и *B* информативна и носит импликационный характер.

Ср.: 1) *Если у тебя не было зонта, то, значит, ты сильно промок. — Если ты сильно промок, то, значит, у тебя не было зонта.*

В пресуппозициях (в широком смысле — консуппозициях) промежуточные шаги импликаций: был на улице, шел дождь и др.

2) **Если Кеплер — известный астроном, то, значит, снег белый. — *Если снег белый, то, значит, Кеплер — известный астроном.*

3) **Если Кеплер — известный астроном, то, значит, Кеплер (он) известен. — *Если Кеплер известен, то, значит, Кеплер (он) — известный астроном. — *Если Кеплер — астроном, то, значит, Кеплер (он) — известный астроном. *Если Кеплер — известный астроном, то, значит, Кеплер — известный астроном.*

Читатель, несомненно, заметит, что некоторые из высказываний могут быть уместными и коммуникативно значимыми в специальных контекстах. Но эти особые условия не подрывают действие связи реальной импликации как показателя этой мыслительной операции. Напротив, условие осмысленности этой формулы сохраняется: находится-таки, хотя бы неординарный, экстралингвистический контекст. Например, если в некотором перечне имен нашлось место для астронома, то для кого-то это может означать (!), что это, по всей вероятности, известный астроном. Последний пример с тавтологией может быть осмыслен как уступка настойчивому утверждению об известности Кеплера: почему-то принимается, что утверждающий непременно прав, если он утверждает, что *A*, то, значит, так оно и есть. Импликатор здесь не более чем воспроизведение утверждения, имплицат — подтверждение его истинности. Импликация основана на безусловном признании истинности *A* единственно в силу того, что оно высказано таким-то лицом.

Примеров презумпций этого рода несть числа, взять хотя бы историю той же пресуппозиции в лингвистике.

4) **Если Кеплер умер в нищете, то, значит, существовал некто Кеплер. — *Если существовал некто Кеплер, то, значит, Кеплер (он) умер в нищете.*

Критерий отвергает пресуппозицию существования как информативную импликацию из *A*, которая бы имела собственное значение независимо от *A*; *B* не обнаруживает качества имплицата, а должен быть принят как часть значения *A*.

Такова в основных чертах альтернативная, собственно лингвистическая концепция пресуппозиции. На этом пункте необходимо перейти к последней задаче — интерпретации с этих новых позиций основных фактов и положений логической концепции. В последующем положении термин пресуппозиции сохраняется для удобства читателей в его привычном, логическом смысле, а именно в смысле «то, что принято называть пресуппозицией». Анализ должен показать, что единство этого круга явлений иллюзорно.

1. Выше мы видели, что пресуппозиция существования не отвечает условию и критерию реальной импликации и должна быть принята как

часть значения высказывания. Поскольку попытки исключить эту часть содержания имен из ассертивного значения утверждений, как это предлагал Г. Фреге, оказалось неконструктивной для теории естественного языка, та там ее и следует оставить, но дать иное объяснение особенностям их содержания, и в частности той особенности определенных дескрипций, что мысль о существовании их денотата не затрагивается отрицанием высказывания. Объяснение, думается, лежит на поверхности.

Известно, что текст, т. е. любого рода, устный или письменный, монологический или диалогический заверченный коммуникативный акт, имеет определенную идеальную модель строения, с которой он соотносится как конкретное исполнение. Эта модель предписывает начинать с введения денотатов, помещая их в пространственно-временную сетку действительного или мнимого мира на каком-то его участке (хронотоп в широком смысле). Введение наделяет их имена тем элементом содержания, которое остается с ними в тексте, — представлением о существовании их денотатов. Иные денотаты не нуждаются в этом, они введены изначально за счет своей уникальности, общеизвестности, из предзнания, ситуации и контекста речи. Какие-то денотаты вводятся по ходу текста. Во всех случаях результат одинаков — пресуппозиция существования как представление о «прописанности» денотатов в предметной области и, более того, о «вписанности» в нее. Существенно не только представление о наличии такого-то денотата, но и импликации из этого наличия для денотата и среды его «обитания». В конечном счете изначально пресуппозиция среды, предметной области. Она предпослана пресуппозиции существования денотатов.

Сравнительно с идеальной моделью реальный текст может начинаться как бы из середины. Именно такой характер носят обычно примеры на пресуппозицию существования — нечто вроде подслушанного фрагмента из чужого разговора. Естественно, что понять их можно, лишь имплицитно восстановив мотивированность фразы, обуславливающий и оправдывающий ее предметный и коммуникативный фон. При этом идеальная модель сообщения диктует в числе прочего и некоторый имплицитный предтекст введения определенных дескрипций. Он и сообщает именам то, что затем принимается за пресуппозицию существования, а на деле является функцией предтекста или предзнания. Иначе говоря, пресуппозиции существования — не что иное, как знания слушающего о «населении» предметной области сообщения на момент до высказывания.

Отрицание высказывания не может повлиять на пресуппозицию существования по той простой причине, что оно отрицает не само существование денотата, а наличие того или иного признака у существующего денотата.

2. Наличие пресуппозиции проверяется отрицанием. В некоторых случаях отрицательные конструкции, не снимая пресуппозицию полностью, ставят ее под сомнение: высказывание с отрицанием может быть ос-

мыслено пресуппозитивно, но допускает также понимание, не оставляющее места пресуппозиции. Примером служат высказывания с так называемым логическим ударением, синтаксическим или иным (посредством частиц) выделением той или иной позиции в синтаксической структуре предложения. Характерный случай — английские расщепленные предложения (*split sentences*):

It was John who met Mary. — Именно Джон встречал Мэри.

(Пресуппозиция: кто-то встречал Мэри).

It wasn't John who met Mary. — Вообще не Джон встречал Мэри.

(Пресуппозиция: кто-то встречал Мэри).

Но ср.: *It wasn't John who met Mary, because no one met her.* — Вообще не Джон встречал Мэри, так как никто ее не встречал.

Анализ подобных случаев принципиально важен и не только для теории пресуппозиции. Случаи этого рода наглядно выявляют действие центрального принципа речевой деятельности, регулирующего подачу информации в актах коммуникации, определяющего ее отбор, дозирование, квантование и организацию для слушающего. Это принцип должной информативности высказываний (ПДИВ, *utterance required informativeness principle* — URSP). Частично он перекрещивается с принципом кооперации Грайса, вбирая в себя максимы релевантности и количества, но исходит из другой теоретической предпосылки. Дело в том, что Грайс решал проблему факторов, управляющих речевыми процессами и определяющими реальное содержание речевых актов, исключительно со стороны межличностных отношений, ограничившись при этом их идеальным случаем. Ему не удалось разрешить дилемму взаимодействия предметно-когнитивного и коммуникативно-обусловленного компонентов содержания. Осталось неясным, как они соотносятся в суммарной информации, доставляемой высказыванием. Число принципов и максим речевого общения, основания их выделения, взаимозависимости и иерархия остаются открытыми проблемами.

Принцип должной информативности шире, чем комбинация максим количества и релевантности информации. Он исходит из более общего постулата, чем необходимость в сотрудничестве, а именно из принципа целеобусловленности речи, т. е. ее неслучайного, мотивированного характера: всякий раз, генетически и сиюминутно, она обусловлена некоторой целью, потребностью, интересом в решении некоторой задачи — и всякий раз не непосредственно, а опосредованно — в информационном процессе с вовлечением адресата. Высказывание всякий раз предполагает некий значимый фон, базу информированности участников речи (фоновые знания) и некоторый интерес (потребность, мотивацию), удовлетворяемый в информационном процессе через высказывание.

При всей вариативности произносимого оно всякий раз не случайно по цели, предмету, содержанию и объему закладываемой в него информа-

ции и обстоятельствам ее сообщения. Говорится то, столько и так, как целесообразно. Исключения лишь возвращают к принципу должной информативности речи. Информация отбирается, дозируется, квантуется, организуется и подается сообразно целям говорящего в обстоятельствах речи.

Так, интересуясь на остановке, долго ли вам ждать транспорта, вы спросите: 1) Давно ушел? 2) Давно ушел автобус? 3) Давно ушел пятый? — в зависимости от того, имеется ли там 1) только один маршрут, 2) один автобусный и троллейбусный маршруты, 3) один пятый маршрут, 4) имеется ли неавтобусный маршрут с тем же номером. В противном случае ваши высказывания будут информационно избыточными или недостаточными. В первом случае они будут без необходимости переводить имплицитные пресуппозиции в эксплицитную форму, что заставляет подозревать особые неочевидные цели и обстоятельства коммуникации, во втором — могут приводить к сбоям в коммуникации. В особых случаях высказывания нарушали бы принцип должной информативности (информационной уместности, информационной обоснованности). Они не вписывались бы должным образом в информационную структуру коммуникативного акта и требовали бы коррекции.

В одном из частных своих проявлений указанный принцип создает пресуппозиции. Сообщаемая в речи информация либо просто заполняет информационные пустоты в сознании слушающего, либо вступает в известное противодействие с уже имеющимися у него на этот счет представлениями, антиципациями, прогнозами, предрасположениями, заблуждениями. Иначе говоря, в коммуникационном процессе имеет место либо простое заполнение информационного вакуума, насыщение информацией, либо ее перечеркивание, замена, корректирование, перестановка акцентов, перестроение и т. п. Если рассмотреть с этой точки зрения утвердительные и отрицательные предложения, то хотя и те, и другие имеют отношение к обоим информационным процессам, удельный вес отрицания во втором из них, несомненно, значительно выше. По этой причине информационная и формальная структура отрицания вторична и производна от утверждения.

Безусловно вторичны в указанном смысле предложения с логическим выделением тех или иных членов. Они возникают из следующей информационно-коммуникативной предпосылки говорящего: у слушающего имеется верное представление о существовании некоторой предметной ситуации, но некоторые моменты в этом представлении должны быть скорректированы, укреплены или отвергнуты. Коррективы, однако, не ставят под сомнение исходное представление о ситуации. Оно и составляет пресуппозицию таких высказываний, которая, понятно, сохранится и при отрицании, так как, опять-таки, отрицается не сама ситуация, а некий ее элемент, ср. примеры выше. Принцип должной информативности, который иначе еще можно назвать принципом информационной уместности, имеет

прямое отношение к делу: он обуславливает пресуппозитивное качество предложений с логическим выделением. Действие его просто: входить в детали можно, если есть целое; утверждать или отрицать существование тех или иных элементов ситуации имеет смысл лишь тогда, когда налицо сама ситуация, чтобы уточнить ее частности, надо принять существование ее самой.

3. Среди свернутых ситуаций, обозначаемых глаголами, возможны, во-первых, такие, для осуществления которых необходимо, чтобы осуществилась какая-то другая ситуация, т. е. две ситуации находятся в отношении следствия, результата и условия, причины. Их нельзя назвать глаголами следственной семантики (т. е. чем-то вроде каузативных глаголов, но с обратным вектором каузации), так как это означало бы, что идея следствия составляет родовую часть их лексического значения (гиперсему, или иначе — классему, архисему). Скорее это глаголы валентно-следственной семантики в том смысле, что они открывают валентность на условие, следствие которого они обозначают, — следственные по отношению к заполненной валентности. Если ситуация — следствие, составляющая значения глагола, обуславливается многими причинами, то представление о таких причинах входит в семантику глагола в самом обобщенном виде — как семантическая валентность на некоторый класс ситуаций, который конституируется единственным признаком — способностью каузировать данное следствие. Понятно, что такая валентность требует раскрытия: за рамками глагола в качестве его компонента указывается каузирующее положение дел. Таковы, например, фактивные глаголы.

Теперь понятно, что предложения с такими глаголами содержат условия для пресуппозиции: существование события — условия, причины каузатора заложено в их семантике. Для того чтобы сожалеть, горевать, огорчаться, восхищаться, радоваться и т. п., необходимо, чтобы состоялось событие, способное вызвать эти состояния. Отрицание при таких глаголах не затрагивает пресуппозиции, так как отрицается только следствие при наличном условии. Иначе говоря, отрицательная конструкция имеет тот смысл, что некое наличное условие, которое, вообще говоря, могло бы вызывать определенное следствие, в этом случае не сработало. Ср. *Я не был огорчен тем, что он уехал* (пресуппозиция: «он уехал» — та же, что в *я был огорчен тем, что он уехал*).

Но как быть с возможным продолжением отрицательной конструкции «*Х не был огорчен тем, что У уехал, так как У никуда не уехал*», которое как будто аннулирует пресуппозицию «он уехал»? Действительно здесь погашается истинностная пресуппозиция факта: отъезд *У* не совершился. Это, однако, не затрагивает потенциальной зависимости двух событий, из которых одно может быть условием осуществления другого. Существо высказываний этого рода в том, что сообщение переключается из области фактического в область гипотетического, из действительного — в условно-

мнимое. При анализе надо учесть коммуникативную ситуацию, которую предполагают выражения с таким поворотом, а именно — говорящий *JR* отрицает то, что утверждалось (или хотя бы предполагалось) его собеседником *JR*, исходящим из того, что *У* уехал. В первой части «*Х* не был огорчен» *JR* повторяет мысль *JR*, снабжая ее отрицанием, а вторую часть «*У* уехал» просто воспроизводит (и, может быть, слово в слово), так как эта часть приобретает смысл «*У* якобы (будто бы, как утверждается и т. п.) уехал».

Таким образом, отъезд из разряда фактов переводится в разряд мнений (мнений *JR*), поскольку далее он вовсе отрицается. Остается в силе условно-следственная зависимость между отъездом и огорчением, но не более как гипотетическое суждение «*Х* был бы огорчен, если бы *У* уехал». Поскольку не было отъезда, не было и огорчения, а утвердительная форма индикатива «*У* уехал» не более как цитация *JR*.

То же объяснение получает снятие пресуппозиции в условных предложениях. Известно, что они действуют как «затычки, стопперы» пресуппозиций даже при наличии в предложении типично пресуппозитивных единиц, таких, как, например, фактивные глаголы. Ср.:

1. Если бы *У* уехал, *Х* был бы огорчен его отъездом.
2. Если *У* уехал, *Х* был огорчен его отъездом.
3. Если *У* уедет, *Х* будет огорчен его отъездом.

Во всех этих примерах отъезд не более чем возможность, которая могла или уже потеряла шанс осуществиться в прошлом и проблематична в настоящем и будущем. Ситуации выведены в область предположений, мнений (в том числе цитируемых мнений): условие гипотетично и это обуславливает гипотетичность следствия. Индикатив глагола не должен вводить нас в заблуждение, события не подаются как факт. Но если условие заведомо гипотетично, то какие выводы могут быть сделаны на его счет из глагола, обозначающего его следствие, тоже гипотетическое? Для пресуппозиции существования условия как факта нет никаких предпосылок. Никак нельзя представить дело так, что пресуппозиция здесь где-то есть, но против нее выставлен заслон и поэтому она погашается. В таких высказываниях ее нет изначально, и надо не искать, а радикально менять взгляд на нее.

4. Не трудно представить себе, что реальные зависимости между ситуациями весьма разнообразны. Это относится и к отношениям обусловливаемости. В лингвистическом плане это означает, что когда ситуации свертываются в значение глаголов и отношения зависимости ситуаций отражаются в структуре глагольных значений как их валентности, то следует ожидать многообразия типов глагольной семантики и промежуточных случаев между ними.

Во всяком случае это справедливо применительно к глаголам, которые обозначают перцептивно-когнитивные и иные состояния сознания,

обусловливаемые внешними и внутренними факторами (так называемыми раздражителями нервной системы). Эти факторы-условия могут быть вещами и ситуациями (событиями, положениями дел). Мера зависимости перцептуально-когнитивных состояний и процессов сознания от наличия-отсутствия провоцирующих их и отражаемых факторов колеблется в широком диапазоне.

Соответственно различной оказывается и мера пресуппозитивности, свойственная семантике различных семантических разрядов глаголов, выражающих эти обусловленные чувственные и умственные состояния и процессы. На одном полюсе находятся предикаты сомнения, предположения, полагания, мнения, веры и утверждения. Они постепенно, в таком порядке продвигаются в направлении к пресуппозиции обуславливающего факта, но даже самый сильный из них предикат веры не в состоянии полностью гарантировать его существование. Вместе с тем их антиподы — предикаты неверия и отрицания (опровержения, непризнания и т. п.) не способны полностью отвергнуть существование обуславливающего фактора.

Что же касается отрицательных конструкций со всеми этими глаголами, то мера пресуппозиции этого фактора в них обратно пропорциональна той, которую показывают утвердительные формы.

Ср.: 1) *Я сомневаюсь, что он был искренен* (малая вероятность искренности) — *я не сомневаюсь в том, что он был искренен* (большая вероятность);

2) *Я считаю, что он был искренен* (достаточная вероятность искренности) — *я не считаю, что он был искренен* (низкая вероятность);

3) *Я верю, что он был искренен* (высокая вероятность) — *я не верю, что он был искренен* (почти неискренность).

Вера останавливается перед порогом, за которым стоит полная уверенность в истине, даваемая знанием. Если же она перешагивает этот порог, она может попасть в объятия иллюзорных истин: ее инструмент — интуиция, а последняя, хотя и является самым экономным способом постижения истины и принятия правильных решений в условиях недостаточной информации, увы, не гарантирует от ошибок и ложных заключений. Со своей стороны знание, давая гарантии истинности, должно всякий раз предъявлять необходимые доказательства.

Знание — когнитивное состояние сознания, истинно отражающего действительность, иначе говоря, знание — истинностное когнитивное состояние сознания. Его обуславливающий фактор — отражаемый объект, существование его является предпосылкой знания, а условием — соответствии отражения действительности. Глагол «знать» среди своих прочих значений обозначает это состояние, поэтому существование обуславливающего фактора — вещи или положения дел — «вмонтировано» в его

значение как семантическая валентность. Предстоит, однако, объяснить сохранение пресуппозиции при отрицании знания (при незнании).

Отрицание ставит суждения *A* и *не-A* в контрадикторное отношение. Знание в этом случае имеет место, если субъект знания может сделать истинностный выбор между ними, а незнание — если этот выбор для него невозможен. Иначе говоря, в одном случае известно, какая из двух альтернатив *A* или *не-A* истинна, а какая нет, и это знание, а в другом случае неизвестно, какая из двух взаимоисключающих альтернатив соответствует действительному положению вещей, а какая нет, и это незнание. Следует различать знание/незнание субъекта вообще и знание/незнание говорящего субъекта (знание-незнание «я»). В силу принципа эгоцентризма языка, предусматривающего в своем строении, как всякая речь — это речь говорящего, ориентированная на место, время и субъекта речи, точка зрения субъекта вообще подчинена точке зрения говорящего. Это означает, что при речевом выражении истинностного выбора между *A* и *не-A*, делается ли он самим говорящим или другим лицом, этот выбор в конечном счете рассматривается относительно говорящего и на момент речи, т. е. оценивается с позиций знания/незнания говорящего «я». Позиция «я-сейчас» является определяющей.

Знание/незнание с позиции «я-сейчас» может совпадать и не совпадать с знанием/незнанием с позиций первого (второго и третьего) лица и настоящего (прошедшего) времени. Сами предикаты называют ситуации знания/незнания безотносительно к лицу или времени, но конструкции с этими предикатами различают ситуации совпадения/несовпадения в знании/незнании с позиций двух субъектов знания/незнания: того, кто говорит сейчас («я-сейчас»), с одной стороны, и всех других, кто не отвечает этой дескрипции, т. е. «не-я» и «я, но не сейчас», — с другой.

Формула «*X* + предикат знания без отрицания или с отрицанием + союз «что» (англ. *that*, фр. *que*, нем. *das*) + *A* или *не-A* (суждение об объекте знания — положении дел как обуславливающем знание факторе)» — это формула знания с позиций «я-сейчас». Этим объясняется сохранность пресуппозиции при отрицании.

В самом деле, даже если в этой формуле предикат отрицается, т. е. утверждается незнание с позиций «не-я» или «я, но не сейчас», истинное положение дел известно говорящему: «я-сейчас» сделал истинностный выбор, и он таков, каково суждение после союза. Ср.:

Он не знает, что она поет (пресуппозиция: но я знаю, что она поет).

Он не знал, что она не пела (пресуппозиция: но я знаю, что она не пела).

Я не знал, что она поет (пресуппозиция: но теперь я знаю, что она поет).

Я не знал, что она поет (пресуппозиция: но теперь я знаю, что она не поет).

Как видим, мистическое качество пресуппозиции — сохранность части значения при отрицании и здесь получает объяснение. Ранее его предпочитали не объяснять, и недаром — объяснение не лежит на поверхности.

Когда же дело доходит до незнания самого «я-сейчас», то отступать уже некуда, знание на этот момент почерпнуть неоткуда, и формула «я не знаю, что A (не- A)» ничем не оправдана, она становится логически противоречивой: формула призвана утвердить знание говорящего, но ставит его в конфликт с его незнанием. Поэтому она неприемлема логически, ср.: **я не знаю, что она поет.*

Тем не менее она может быть осмыслена, для этого требуется специальный контекст. При этом сохраняется, хотя и не без оговорок, пресуппозиция: *я не знаю, что она поет* = *я не знал, что она поет, но теперь узнаю, что она поет, хотя еще и не решил, так ли это.* Это прочтение формулы предполагает особый коммуникативный «фрейм»: в предзнании «я» ничто не заставляло думать, что она поет, но появились доводы в пользу этого (например, это утверждает собеседник и т. п.) и «я» рассматривает эти доводы, находясь на полдороге между A и не- A . Чем сильнее, категоричнее доводы в пользу истинности A (не- A), тем более искусственны и менее оправданны высказывания «я не знаю, что A (не- A)», ср. «я не знаю, что Волга впадает в Каспийское море». В прошедшем времени и с непервым лицом эти выражения, однако, вполне нормативны, ср. «я не знал, что Волга впадает в Каспийское море», «он не знал, что Волга впадает в Каспийское море». Объяснение указано выше.

Как видим, незнание первого лица может быть скорректировано знанием говорящего. Что же касается их знания, то тут конфликта нет: в указанной формуле знание непервого лица, попадая в речь говорящего, тут же становится знанием «я», если ранее «я» им не располагал, ср. «он знает, что она поет», «ты знал, что она поет».

Но и прошлое знание «я» остается с ним на момент речи, ср. «я знал, что она поет». То, что он знал в прошлом, он знает и сейчас. Если же какое-то прошлое знание выветрилось из памяти, то для «я-сейчас» оно попадает в область незнания как в настоящем, так и в прошлом. Например, если «я» знал, что X носил бороду, и помнит об этом, то «я» и сейчас знает, что X носил бороду. Но если он знал об этом, но забыл, то ему остается единственно рассуждать с позиций незнания: «я не знаю, носил ли X бороду или нет, однако раньше я как будто знал, носил ли X бороду или нет, но потом забыл».

Итак, нас не должно смущать отрицание при предикате знания, так как оно говорит лишь о незнании с позиций субъекта при предикате. Если же за этим следует «что A /не- A », то истинность A (не- A) все равно подтверждается, но уже с позиций «я-сейчас». Таково назначение этой конструкции — утверждать об истинности A (не- A) так, как она сформулирована.

Подлинной формулой незнания для ситуации с противоречивыми *A* и *не-A* является схема «*X* + предикат знания с отрицанием + то ли *A*, то ли *не-A*» (англ. *X* + предикат с отрицанием + союз *whether (if) + A (не-A)*). Ср. «я не знаю, поет ли она (или нет), *I don't know whether she sings or not*». Для этой ситуации это формула, так сказать, тотального незнания: говорящий не подправляет, а разделяет незнание субъекта при предикате, ни тот, ни другой не в состоянии сделать истинностный выбор из двух альтернатив в противоречивой ситуации.

По крайней мере так подается дело.

Для полноты картины надо упомянуть «гибридные» конструкции:

- 1) *X* знает, поет она или не поет.
- 2) *X* знает, что она поет или не поет.
- 3) *X* не знает, что она поет или не поет.

Логически они дефектны, так как монтируют предикат знания в формулу выражения незнания (1), монтируют неразрешенную дизъюнкцию *A* и *не-A* в формулу выражения знания (2), наконец, монтируют предикат незнания в формулу выражения знания (уже, следовательно, знания с позиций «я-сейчас»), но с неразрешенной дизъюнкцией *A* и *не-A*. Они семантизируются, но в специальном смысле, обусловливаемом ненормативной комбинаторикой. Первая из них — сообщение о знании, но не сообщение знания: утверждается, что *X* известен истинностный выбор, но не говорится, каков он. Вторая — утверждение о том, что *X* не устраивает ничего сверх указанной альтернативы — *tertium non datum*. Наконец, последняя предполагает, что *X*, напротив, предполагал нечто сверх альтернативы *A* и *не-A*, но ошибся, т. е. *X* исходил из ошибочного представления о непротиворечивости *A* и *не-A*. В этом последнем случае для первого лица настоящего времени предиката незнания справедливо то, что сказано выше о возможностях осмысления формулы «я не знаю, что... > я не знал, но узнаю, что...».

Разумеется, во всех случаях формулы выражения знания, когда сообщается не просто о наличии/отсутствии какой-то обуславливающей знание ситуации, а наличии/отсутствии в ней отдельных ее элементов, деталей, это всякий раз только подчеркивает presupпозицию наличия-отсутствия самой ситуации. В силу вступает принцип должной информативности (информационной уместности, обоснованности, оправданности, целесообразности — должной препарации информационного процесса): о деталях имеет смысл говорить, если наличествует целое. При этом снимаются логические ограничения на формулу «я не знаю, что *A (не-A)*». Ср. *я знаю, что она пела* (prsp. *она что-то пела*) — *я не знаю, что она пела* (prsp. *она что-то пела*) vs **я не знаю, что она пела*.

5. Специальную проблему представляет сохранность presupпозиции при глаголе *manage*, ср. *he managed to come in time* — *he did not manage to come in time* (prsp. *he tried*). Аналогично в формах совершенного вида

русск. глагола *добиться* (но не в формах несовершенного вида, ср. *он добился ее оправдания* — *он не добился ее оправдания* (prsp. *он добивался, но ср. он добивался ее оправдания* — *он не добивался ее оправдания*).

Пресуппозиция здесь обусловлена тем, что значение результативности усилий, а именно здесь — успеха вмонтировано в семантику глагола в качестве гипосемы (дифференциального признака): *manage* = *try successfully*. В целом глагол означает (в этом значении) успешные усилия с целью осуществить некое действие, субъект которого кореферентен с субъектом усилий. Что касается русского глагола, то он обозначает приблизительно то же, но субъект результирующей ситуации преимущественно не тождествен субъекту усилий, хотя это и не является жестким правилом, ср. примеры выше.

Сохранность пресуппозиции — представления о намеренных усилиях — обеспечивается в подобных случаях тем, что отрицание не распространяется на все значение предиката: отрицается лишь дифференциальный признак. Объясняется это тем, что отрицание успешных попыток не обязательно означает отсутствие всяких попыток, но оставляет место для безуспешных попыток: *he did not manage to come* = *he failed to come*. Разумеется, антоним *fail* должен обладать такой же способностью к той же пресуппозиции: *he failed to come* — *he did not fail to come* (prsp. *he tried*), хотя, понятно, пресуппозиции утвердительных и отрицательных форм будут в каждом случае полярными: *he managed to come* (prsp. *he tried and he came*) — *he failed to come* (prsp. *he tried but he did not come*), *he did not manage to come* (prsp. *he tried but he did not come*) — *he did not fail to come* (prsp. *he tried and he came*).

Теоретически вполне возможное полное отрицание предиката (см. ниже) в подобных случаях непродуктивно и потому не принимается. Если бы отрицалась всякая попытка, то страдала бы «прорисовка» ситуации, ее описание обобщалось бы и снималась бы сама необходимость в глаголе *manage*: *he did not manage to come in fince* означало бы не более, чем *he did not come in fince*. Не было бы представления, что опоздание случилось вопреки стараниям.

По той же причине неприемлемо полное отрицание предиката «добиться», так как значение «он не добился ее оправдания» свелось бы к «ее не оправдали».

Не входя в детали, следует заметить в более общем плане неслучайность отмеченного выше соотношения значений форм совершенного и несовершенного вида: нередко (но отнюдь не всегда) значение несовершенного вида входит в значение совершенного вида с качеством пресуппозиции, сохраняясь при отрицании, ср. *он съел суп* — *он не съел суп* (prsp. *он ел суп*).

Пресуппозиция тесно связана с отрицанием. Выше было указано, что неполнота отрицания предиката является одним из условий, обеспечиваю-

ших пресуппозицию — сохранность остающейся части значения предиката при отрицании. До сих пор мы пользовались понятием отрицания как достаточно очевидным. Здесь, однако, возникла необходимость пояснить его.

Так же как несуществование вторично по отношению к существованию, так и отрицание вторично по отношению к утверждению. Отрицание всякий раз есть утверждение о несуществовании, и оно имеет силу в рамках некоторого «хронотопа» (в широком смысле), т. е. в определенных обстоятельствах места и времени. Различается отрицание ситуации и элемента ситуации, что, более точно, означает отрицание существования ситуации или ее элемента. Отрицание элемента, как мы видели, вторично в том смысле, что предполагает существование самой ситуации. Отрицание элемента означает, что его позиция в структуре ситуации заполнена не им. Отрицание ситуации означает отсутствие у субъекта суждения предиктируемого признака, что влечет за собой представление о ложности утвердительного суждения.

Существование и истинность связаны, но лежат в разных плоскостях. Существование — эпистемологический признак сущностей, существовать — значит, наличествовать в некоей пространственно-временной рамке предметной области, не существовать — отсутствовать. Истинность — эпистемологический признак суждений и выражающих их высказываний, а именно их соответствие отражаемому миру. Высказывание истинно, если существует то, что в нем утверждается. Практически, однако, как уже указывалось, приходится иметь дело не собственно с истинностью, а истинностным значением, т. е. подачей высказываний как соответствующих истине.

Предикат суждения отрицается полностью или частично. Это означает, что обозначаемый им признак не может быть предиктирован субъекту суждения вообще или может быть предиктирован лишь частично.

В связи с этим отрицательные высказывания сами по себе нередко двусмысленны, ср. *он не приплыл* = 1) он не прибыл по воде (полное отрицание); 2) он прибыл, но не по воде (частичное отрицание — отрицание дифференциального признака).

Обратим внимание на то, что при отрицании атрибутивных словосочетаний отрицается обычно только дифференциальный признак, т. е. в данном случае признак, выражаемый определением, и это также случай частичного отрицания. Ср. *он не был крупным ученым* = он был ученым, но не крупным. Грубо говоря, чаще отрицается только определение, но не определяемое (в частности, прилагательное, но не существительное). Очевидно, здесь снова проявляет действие принцип оптимального препарирования информации: для полного отрицания достаточно было бы отрицать принадлежность к классу, и это логически влекло бы отрицание принадлежности к подклассу. Если же определение сохраняется при отрицании, то отрицается наличие именно выражаемого им признака. Тем самым и здесь

создаются условия для пресуппозиции логического толка: он был крупным ученым — он не был крупным ученым (прср. он был ученым).

Заметим еще, что иногда отрицание смещено относительно того, что реально отрицается. Нередко оно стоит при предикате предложения, но относится не к ситуации а к ее элементу. Ср. *Kepler did not die in misery* (утверждение, скажем попутно, ложное) = *Kepler died not in misery*. Это может приводить к двусмысленности выбора между частичным и полным отрицанием, если только ее не разрешает логика контекста, логика предметного мира или логика подачи информации: он не пришел повидать нас = 1) он не пришел вообще, 2) он пришел, но не повидать нас, 3) он пришел повидать, но не нас.

В определенном смысле даже полное отрицание никогда не является настолько полным, чтобы оставлять абсолютный признаковый вакуум. Отрицание признака P у денотата D исключает D из экстенционала этого признака, но тем самым вводит его во взаимодополнительную область экстенционала $не-P$. В совокупности взаимодополнительные экстенционалы P и $не-P$ охватывают весь класс сущностей с общим, родовым основанием контрадикторных признаков. На момент отрицания признак $не-P$ очерчен лишь экстенционально и не имеет интенционала. В этом смысле он бессодержателен, не имеет качественной определенности, не специфицирован онтологически, не известен из опыта, а выведен чисто логически. Он вторичен по отношению к P как его экстенциональная контрадикторная противоположность. В отличие от него P определен интенционально, т. е. имеет качественную и в конечном счете онтологическую определенность. Для того чтобы $не-P$ могло существовать независимо от P , оно должно наполниться интенциональным содержанием, понятие о нем должно сложиться независимо от P , хотя бы и в соотношении с ним.

Возможность интенционального, качественно определенного осмысления $не-P$ отнюдь не исключена и зависит от интенциональной, качественной структуры экстенционала $не-P$. Если последний слабо или вовсе не структурирован, то $не-P$ в той же мере остается интенциональной пустышкой, незаполненной экстенциональной «емкостью», ср. *недеревянный* = ? *каменный*, ? *кирпичный*, ? *стеклянный*, ? *глиняный*, ? *пластмассовый* и т. д. Если же, напротив, пространство $не-P$ заполнено единым качественно определенным признаком, то отрицание P становится интенционально определенным, т. е. выражает независимо сформированное представление о контрадикторно сопряженном признаке, ср. *не живой* = *мертвый*, *не мужской* = *женский*, *не плохой* = *хороший*, *не женатый* = *холостой*, *не холостой* = *женатый* и т. п.

Если же пространство $не-P$ достаточно четко структурировано и состоит из некоторого конечного множества качественно определенных признаков, то отрицание P , понятие и имя $не-P$ имеют интенционально-вероятностный смысл, т. е. предполагают выбор из некоторого числа каче-

ственно определенных признаков, ср. *не красный* = одного из цветов, кроме красного.

Таким образом, полное отрицание имеет экстенциональное значение, вводя описываемый референт в контрадикторно-сопряженную область. Оно же имеет интенциональное значение, равное понятию об общем основании контрадикторных признаков. Наконец, оно связывается дополнительно с признаковой семантикой постольку, поскольку сопряженная с отрицаемым признаком контрадикторная экстенциональная область имеет сколько-нибудь четкую признаковую структуру. В таком случае, в особенности если эта область покрыта одним признаком, занята одним классом сущностей, отрицаемое выражение наполняется сигнификативным значением, т. е. не только очерчивает свой экстенционал, но описывает входящие в него сущности, указывает их признаки. Это явление вторичной сигнификации. Оно достаточно широко распространено и за пределами отрицания.

Вторичная сигнификация назывных слов и словосочетаний (номинативных единиц) — приобретение ими дополнительного сигнификативного значения благодаря особенностям привязки их экстенсионалов к определенным классам сущностей.

Вторичная сигнификация имеет место, как мы видели, во-первых, когда имя *N* (здесь = номинативная единица, т. е. все назывные слова, включая прилагательные, глаголы и наречия и словосочетания с ними в качестве главных слов), выражающее понятие *C1*, имеет экстенционал, приблизительно равный экстенсионалу другого понятия *C2*. В результате близости экстенсионалов мысль *C2* просвечивает как вторичная сигнификация *N*, ср. *кудахтать* — кудахчут только куры, поэтому глагол несет информацию и об издаваемом звуке, и о том, кто его издает; ср. также *хрюкать*, *блеять*, *ржать*, *каркать*, *мычать* и т. п. То же и в указанных выше примерах с отрицанием *не живой* = *мертвый* и т. п.

Во-вторых, явление вторичной сигнификации вследствие экстенсиональных совпадений имеет место также в случае, если имя *N*, выражающее понятие *C1* с экстенсионалом *Э1*, употребляется так, что его реальный экстенционал *Э2* уже *Э1* и составляет часть экстенсионала *Э3* понятия *C3*.

Ср.: *карий* (о глазах коричневого цвета): *C1* = понятие о коричневом; *Э1* — все коричневые сущности, все, что коричнево; *Э2* = коричневые глаза; *Э3* = все глаза; *C3* = понятие о глазах. То же в словах *вороной*, *каштановый*, *табун*, *прайд* и т. п.

Того же происхождения сигнификативные значения имен собственных. Идеальное имя собственное ничего не описывает, оно специализировано в том, чтобы указывать без всякой сигнификации, называть, репрезентировать денотат в речи, не описывая и не относя к какому-либо классу. Но практически определенные имена собственные распределены между определенными классами, и результатом этой экстенциональной специали-

зации является то, что понятие об этом классе и его признаках связывается с данным собственным именем.

Наконец, чтобы закрыть эту тему, уводящую нас от отрицания и пресуппозиции, заметим, что в признаковых словах информации о носителях признаков как вторичная их сигнификация относится, конечно, к валентностной части их семантической структуры, т. е. «карие» означает не «карие глаза», а именно «карие» (глаза).

6. Нередко, хотя и определяют пресуппозицию с логических позиций, на деле выходят за рамки логической пресуппозиции, включая в это понятие то, что не удовлетворяет критерию сохранности при отрицании. Так, пресуппозицию связывают с целым рядом частиц и наречий, таких, как «также, тоже, даже, почти, уже, еще, опять, снова, только» и т. п. Например, считается, что в пресуппозицию высказывания «он тоже пришел» входят «кто-то еще пришел, кроме него», хотя эта пресуппозиция не сохраняется при отрицании: он тоже не пришел (prsp. *кто-то еще не пришел, кроме него*). Ср. еще «он снова пришел» (prsp. *он приходил ранее*) — «он снова не пришел» (prsp. *он не приходил ранее*). Как видим, здесь впору говорить о сохранности пресуппозиции противоположного смысла.

Если последовательно идти этим путем, то границы пресуппозиции расширятся безмерно. Она окажется встроенной в семантику множества слов. При этом в одних случаях она будет удовлетворять критерию отрицания, ср. *он пришел в третий раз* (prsp. *он уже приходил два раза*) — *он не пришел в третий раз* (prsp. *он уже приходил два раза*), в других же ее сохранность не обеспечивается, и она теряет отличие от логического следования (entailment), ср. *он потратил два фунта* (entailment — *он потратил более, чем один фунт*) — *он не потратил два фунта* (entailment — *у него осталось не менее, чем два фунта*). Наконец, во множестве случаев пресуппозиции частично сохраняются, частично теряются при отрицании, ср. *он забыл только третье правило* (prsp. *всего правил не менее трех; он помнит все правила, кроме третьего; он помнит не менее двух правил*) — *он не забыл только третье правило* (prsp. *всего правил не менее трех; он помнит только третье правило; он забыл не менее двух правил*).

Ср. также с этой точки зрения значения степеней сравнения прилагательных и наречий, упоминавшихся ранее форм совершенного вида глаголов, форм множественного числа существительных, порядковых числительных, значения многих слов, вроде возвращаться, следовать, обратный, последний, левый, верхний и т. д. и т. п., т. е. значения многих форм и слов, так сказать, с относительно-координатной семантикой реляционно описывающих денотаты относительно некоторых координат, точек отсчета, в том числе норм, шаблонов, стандартов, образцов.

Что же в действительности подразумевают под пресуппозитивностью этих выражений? Очевидно, нечто иное, чем логическая пресуппозиция, поскольку критерий отрицания становится не релевантным. Но пробле-

матична здесь и реальная невыраженная импликация, т. е. выводное невыраженное знание, которое не составляет части выраженного значения высказывания, но имплицуется из него за счет знания мира в его связях и зависимостях. Реальная импликация предполагает не одну, а две разные ситуации (даже если они составляют одна часть другой) с условно-следственной зависимостью, в ней не дублируется, не перефразируется одна и та же информация, а нарабатывается новая информация; она требует, чтобы имплицат не был референционно равнозначен имплицатору, а давал бы значимый прирост информации о положении дел в описываемом мире.

Как мы помним, у реальной импликации есть критерий — возможность связать части импликационного построения связкой «значит». Однако эта связка двузначна и помимо импликационного значения, когда она связывает имплицатор и имплицат, она имеет еще семиотическое значение, связывая десигнатор и десигнат. В качестве уточняющего критерия импликационного значения связки может служить возможность перестройки импликационной формулы «если *A*, то, значит, *B*» в причинную «*B*, потому что *A*». При этом имплицатор *A* должен соответствовать условию, а имплицат *B* — следствию. Если же *A* — следствие, а *B* — условие, то перестройка имеет вид *A*, потому что *B*. Ср. *если он сильно устал, то, значит, быстро уснул — он быстро уснул, потому что устал; если он быстро уснул, то, значит, он сильно устал — он быстро уснул, потому что* (так как, поскольку) *сильно устал*. Заметим, что в нестрогой речи придаточное причины (шире — условия) нередко утрачивает онтологический смысл и приравнивается имплицатору, обозначая то причину, то следствие. При этом устанавливается полный параллелизм импликационной и причинной формул, так что возможно сказать *он сильно устал, потому что быстро уснул* — в обоснование утверждения о сильной усталости (смысл: я утверждаю, что он сильно устал, по той причине, что он быстро уснул).

Рассматриваемые случаи плохо удовлетворяют условиям реальной импликации. Импликационная формула для них либо вовсе не нормативна, либо допустима с натяжкой, причем связка «значит» приобретает скорее семиотический смысл — истолкования семантики имплицатора, так что из последнего выветривается десигнат ситуации, и он остается только ее десигнатором. Перестройка импликационной формулы в причинную, за некоторыми исключениями, оказывается невозможной. Важно то, что импликационная формула для рассматриваемых случаев информационно как бы пробуксовывает: в ней не усматривают прироста информации, она полностью или частично дублирует описание одной и той же ситуации как тавтология или перифраз. Если же и можно усматривать две ситуации, одну для имплицатора *A*, другую для имплицатора *B*, то смысл имплицата все равно не столько выводится из смысла имплицатора, сколько содержится в нем.

Последнее обстоятельство является решающим: то, что называют presupпозицией для рассматриваемой группы средств, является частью их семантики, и дело лишь в известном своеобразии их семантики.

Ср. типичные примеры с этими средствами на предмет уместности импликационной фоомулы и смысла связки «значит»:

- 1) если он снова пришел, то, значит, он уже приходил ранее;
- 2) если он тоже пришел, то, значит, пришел еще кто-то, кроме него;
- 3) если он пришел в третий раз, то, значит, он приходил уже два раза;
- 4) если он забыл третье правило, то, значит, всего правил не менее трех;
- 5) если он вернулся, то, значит, он уезжал;
- 6) если он потратил два фунта, то, значит, он потратил более одного фунта;
- 7) если там стояли столы, то, значит, там стоял по меньшей мере один стол;
- 8) если рабочие строят дом, то, значит, дом строится рабочими;
- 9) если Иван дал книгу Петру, то, значит, Петр взял книгу у Ивана;
- 10) если он выше ее, то, значит, она ниже его;
- 11) если он стоит слева от нее, то, значит, она находится справа от него;
- 12) если он выкопал яму, то, значит, он копал ее.

Общее, что есть у всех указанных случаев, — неинформативность импликатов в силу того, что они дублируют содержание импликаторов полностью или частично или же связаны с ними жесткой однозначной импликацией, настолько самоочевидной для говорящих, что она составляет часть семантики соответствующих выражений, а именно входит в жесткий импликационал их значений. Поэтому формула носит квазиимпликационный характер, она в значительной мере искусственна и ненормативна. Связка «значит» осмысливается как сигнал истолкования и сверки значений имен и высказываний. По меньшей мере она стоит на переходе от импликации к семантике.

Анализ подтверждает это. Например, наличие хотя бы одного предшествующего аналогичного события заложено в семантике «снова, опять». Произносящий «снова, опять» уже знает об этих предшествующих событиях, и поэтому нет нужды имплицировать их. Слушающему же остается довериться говорящему. Оба они знают, какой класс ситуаций описывается признаком снова, опять, т. е. они знают семантику соответствующих слов: событие, у которого есть предшественники — хотя бы одно аналогичное событие с теми же участниками. Для того чтобы сказать «*X* пришел в третий раз», надо, чтобы о двух предшествующих приходах *X* было бы уже известно говорящему, и ему нет необходимости в выводном знании: он просто должен знать семантику слова «третий», чтобы применить его к новому появлению *X*. Но то же требуется и от стороннего человека, услышавшего эту фразу. Для него проблема сведется к тому, чтобы знать семантику «третий» и принять истинность высказывания.

Для глагола «возвращаться» представление о том, что есть координатная точка и она должна быть ранее покинута, также встроено в его семантику и представляет собой необходимое условие того, чтобы движение с обратным вектором было квалифицировано как возвращение. Слов с подобной структурой семантики великое множество: они выражают признаки, ориентированные относительно некоторых координат и/или относительно другого признака. Представление об ориентационных координатах и/или признаках входит в семантику и дает повод говорить о пресуппозициях.

Фактически здесь этим термином обозначают признаки, наличие которых обязательно для некоторого класса (в особенности для классов ситуаций), т. е. интенсиональные признаки класса плюс признаки сильного импликационала: для того, чтобы X принадлежало классу $K(x)$, надо, чтобы X обнаруживало признак $P(x)$. Это и есть смысл «пресуппозиции» в таком словоупотреблении, ср. *диктатура предполагает насилие*.

Обратим внимание на то, что термин «пресуппозиция» как существительное входит в пару с глаголом «предполагать» в значении «с необходимостью обнаруживать (признак)». Существительное «предположение» в этом смысле не употребляется, а соотносится с глаголом «предполагать» только в значении англ. *suppose — supposition*.

Возвращение — движение, ориентированное относительно точки отсчета как движение к ней, но не только это, — это еще движение к точке отсчета, которому предшествовало движение той же вещи от нее. У него, таким образом, «две пресуппозиции». Признаки, ориентированные только относительно координат, имеют, конечно, более простую структуру, но и в этом случае не обойтись без пресуппозиции в указанном выше смысле — ею надо признать, как сказано, представление о том, относительно чего ориентирован признак. Это еще более расширяет круг пресуппонирующих средств, значений, понятий. В их число попадают все имена (в широком смысле), семантика которых образована реляционными признаками. Реляционные, или релятивные, признаки — не сами отношения, а признаки сущностей, образуемые их отношениями к другим сущностям. Тем самым в число имен с пресуппозициями надо относить дейктические имена с координатами коммуникативного акта и все другие имена с любыми иными координатами, ориентирующими их значение: *далекий — близкий, высокий — низкий, впереди — сзади — сбоку — сверху — внизу, вперед — назад — вбок — вверх — вниз, продвигаться — пятиться, наступать — отступать*.

Выше уже указывалось, что такими координатами могут служить представления о норме, стандарте, эталоне, а также о принятой системе измерения, оценки количества и качества признака, о требуемом при данных обстоятельствах количестве и качестве признака и т. п. Все эти представления по той же логике и на тех же основаниях должны войти в

число «пресуппозиций», и границы этого понятия будут окончательно размыты.

Пример 6 — *если он потратил два фунта, то, значит, он потратил более одного фунта* и пример 7 — *если там стояли столы, то, значит, там стоял по меньшей мере один стол* — безусловно ненормативны с позиций реальной импликации, обыденного мышления и естественного языка. Они показывают различие между реальной импликацией и логическим следованием (entailment). Когнитивная ненормативность таких импликаций, несмотря на их истинность, опять-таки связана с их неинформативностью, самоочевидностью. Утверждение о количественном целом справедливо относительно части этого количества. Этот принцип затвержен так прочно из опыта, что никогда не всплывает в фокус сознательного импликационного усилия, импликация *если и есть*, то автоматизирована на досознательном уровне.

Фактор стереотипности/новизны, элементарности/осложненности, стандартности/нестандартности, меры информативности и значимости не существен для логической импликации, но важен для импликационных операций реального мышления. Конверсивные импликации (примеры 8–11), по-видимому, стоят на переходе от импликаций формальных, механических, бессодержательных, незначимых, неосознаваемых к импликациям информативно значимым, осознанным, требующим мыслительного усилия. Два разных признака P_1 (D_1) и P_2 (D_2) двух разных вещей D_1 и D_2 называются конверсивными, если они взаимно обуславливают друг друга: P_1 (D_1)— P_2 (D_2). Понятия о таких признаках и конституируемых ими классах, равно как имена таких признаков и классов также называются конверсивными. Признаки конверсивны в двух случаях.

Во-первых, если вещи D_1 и D_2 связаны несимметричным отношением R , то это отношение обуславливает у этих вещей конверсивные признаки P_1 (D_1) и P_2 (D_2), взаимно предполагающие друг друга и существующие только в этом отношении (конверсивность можно распространить и на симметричные отношения, но при этом в силу одинаковости статуса аргументов пара связанных конверсивных признаков выражается одним понятием и одним именем: если A — сосед B , то и B — сосед A . Различие — только в принадлежности признаков аргументам).

Конверсивные признаки определяют статус аргументов в несимметричном отношении, характеризуют аргументы по их участию в отношении. Наиболее очевидным образом значения конверсивных признаков выражаются формами действительного и страдательного залогов, противопоставляющих агента отношения-действия объекту. Грамматикализация этого противопоставления свидетельствует о высокой мере освоенности такого рода взаимообусловленности конверсивных признаков: она стала регулярной чертой грамматического строя языка. Понятно, что намеренная ее кон-

статация в импликационной форме тавтологична, ср. пример 8) *если рабочие строят дом, то, значит, дом строится рабочими.*

Возможны и столь же обычные более сложные случаи конверсивной зависимости, когда ситуация-отношение менее однородна и в той или иной мере расщепляется на две ситуации, взаимной или однонаправленной. Это видно из примера 9, если его развернуть:

если Иван дал книгу Петру, то, значит, Петр взял книгу у Ивана;

если Петр взял книгу у Ивана, то, значит, Иван дал книгу Петру;

если Петр берет книгу у Ивана, то, значит, Иван дает книгу Петру;

но не: **если Иван дает книгу Петру, то, значит, Петр обязательно берет книгу у Ивана.*

Как видим, в той мере, в какой признаки обуславливают один другой, будь то в одной вещи (ср. контрадикторные признаки выше) или в разных вещах (как рассматриваемые конверсивные признаки), и о зависимости их достаточно известно, импликация отступает из области активного сознания (= мышления) в память, и надобность в ее выражении отпадает, импликационная формула как мыслительное действие при этом оправдана лишь в целях изъяснения и сверки семантики имен и высказываний.

Второй случай конверсивности признаков имеет более сложное объяснение, хотя в плане пресуппозитивности он ничем не своеобразен, см. пример 10 — *если он выше ее, то, значит, она ниже его* и пример 11 — *если он стоит слева от нее, то, значит, она находится справа от него.*

Допустим, имеется множество элементов, образованное количественно варьирующимся признаком P (например, протяженностью по вертикали), и это множество упорядочено так, что элементы расположены линейно с возрастанием количества признака в одну сторону (и соответственно — с убыванием в противоположную). С тем, чтобы квалифицировать каждый элемент по этому признаку, можно принять некоторую меру количества и тогда каждый из них будет квалифицирован по количеству P . Можно также принять некоторую точку или интервала отсчета, например, усредненное значение P , и тогда каждый элемент множества относительно этой точки поместится в свое подмножество, получит свое название по этому подмножеству (например, высокий или низкий), и подмножества не будут пересекаться (как и в первом случае). Понятно, что в обоих этих случаях никакая импликация из одного признака в одном элементе не будет возможна, так как они не обуславливают друг друга.

Но можно еще квалифицировать каждый элемент множества M по тому же признаку P , но относительно любого другого элемента. Тогда мы сможем констатировать, что некий элемент i (M) имеет такое же, большее или меньшее, количество P сравнительно с j (M). При этом каждый элемент множества, кроме предельно малых и предельно больших по количеству P , попадет одновременно в подмножества больших, меньших или одинаковых по количеству P .

Для такой квалификации элементов относительно друг друга (а не относительно, скажем, нормы) потребуются свои обозначения. Ими в данном случае служат степени сравнений. Они обычно сохраняют тот же корень (кроме случаев супшетивности), что и положительная степень, в силу единства основания сравнения, и вместе с тем они достаточно отличны от нее, с тем чтобы отграничить результаты сравнения с нормой от сравнения друг с другом. Нас, однако, интересует то, что при сравнении друг с другом квалификация одного элемента обязательно сопряжена с одинаковой или противоположной квалификацией другого элемента, а именно того, с которым сравнивают, т. е. имеет место конверсивная обусловленность, жесткая взаимная импликация противоположных (или одинаковых) признаков.

В чем же отличие этого случая конверсивности от рассмотренного ранее? Оно состоит в том, что там два аргумента непосредственно взаимодействуют друг с другом, а здесь этого нет — их сравнивает между собой некто третий. Строго говоря, в отношении вступают и отношение существует не между сравниваемыми объектами, а между сравнивающим субъектом и теми объектами, которые им сравниваются. Следствием этого различия является то, что в первом случае с аргументами что-то происходит, так или иначе имеют место изменения как результат конверсивного отношения, а во втором случае если что и происходит в результате конверсивного отношения, то не в объектах, а в субъектах сравнения — наработка знания об объектах. Чтобы различить эти случаи терминологически, первый из них можно обозначить как конверсивность взаимодействий, а второй — как конверсивность сопоставлений, имея в виду закрепить различие между отношением как взаимодействием, зависимостью, связью и отношением как сопоставлением, сравнением, соположением.

Мы рассмотрели частный случай конверсивного сопоставления, когда основанием служит количественно варьирующий признак. Возможны, однако, и другие основания для конверсивности этого рода — прежде всего пространственное и временное размещение вещей и событий относительно друг друга. Общая модель конверсивного сопоставления выглядит следующим образом. Имеется множество элементов, образуемое признаком, которое обеспечивает их линейное расположение. Задается обратный вектор признака либо изнутри возрастанием/убыванием количества признака в противоположных направлениях, либо извне — введением координат. Первое касается элементов с количественно варьирующимся признаком, второе — размещение элементов на пространственной и временной осях. Далее вводятся разные обозначения признака для противоположных направлений вектора, и теперь каждый элемент может быть описан относительно любого другого по такому векторно ориентированному признаку: « A выше B — B ниже A ; A бежит впереди B — B бежит позади A ; A находится к северо-западу от B — B находится к юго-востоку от A , A случилось раньше B — B случилось позже A » и т. п.

Временной вектор один, он задается ходом времени и либо совпадает с ним по направлению, либо противоположен ему. Пространственных векторов много, они задаются разнообразными координатами — ориентирами, относительно которых определяется местоположение элементов: «вверх-вниз, вперед-назад, налево-направо, на север-на юг, *X* сверху (выше, над, на) *У* — *У* снизу (ниже, под) *X*».

Уже отмечалось, что в результате такого разбиения каждый элемент множества, кроме крайних, может быть отнесен к любому из двух подмножеств, но по отношению к разным элементам множества. Общим моментом является и то, что для ориентированного таким образом множества вводится дополнительный ориентир, позволяющий разбить его на две взаимоисключающие части: *верх* — *низ* (платья), *передняя* — *задняя* (дверца), *левая* — *правая* (рука), *северные* — *южные* (города) и т. п.

Перечень видов конверсивного сопоставления может быть продолжен за счет отношений часть-целое (партонимия), вид-род (гипонимия), отношения перехода из класса в класс (смены признаков) и др., ср. если *X* как целое содержит *У* как часть, то, значит, *У* как часть содержится в *X* как целом; если *X* как вид относится к *У* как роду, то, значит, *У* как род включает *X* как вид; если юноша становится стариком, то, значит, старик был юношей.

В интересующем нас плане, однако, существенна однородность всех случаев конверсивности признаков. Под пресуппозицией здесь опять-таки понимают автоматизм, освоенность, элементарный характер импликаций взаимообусловленных признаков, отчего эксплицитная ее констатация представляется неинформативной, самоочевидной. В силу этого она ненормативна, за исключением разве тех специальных случаев, как здесь, когда она сама становится объектом анализа.

Сходным образом анализируется происхождение и характер пресуппозиции в глагольных формах и лексемах со значением совершенности действия, ср. пример 12) *если он выкопал яму, то, значит, он копал ее*.

Завершение действия требует, чтобы оно, как минимум, совершалось.

Представление о совершении действия входит как необходимая предпосылка представления о его результативном завершении и соответственно составляет часть семантики соответствующей глагольной формы или лексемы. Обратная импликация носила бы, однако, вероятностный характер: если он копал яму, то, значит, он, возможно, и выкопал ее.

Анализ в этом разделе сводится к следующему выводу: применительно к словам реляционной семантики под пресуппозицией подразумевают структурную часть их значения, а именно тот признак, отношение к которому конституирует собственное значение реляционного слова или формы. В предельном случае конверсивов оба признака, и тот, который составляет значение реляционного слова, и тот, по отношению к которому это значе-

ние сформировано, определяются один через другой. В частном случае признаком, отношение к которому конституирует реляционное значение, выступает ситуация, ср. значения и пресуппозиции частиц, глаголов вроде *возвращаться* и т. п.

7. Наконец, пресуппозициями называют еще те дополнительные коннотации, которые не обусловлены системно-языковыми соотношениями языковых знаков с денотатами и сигнификатами, а наслаиваются на их значения в силу причин прагматического порядка, ограничений и особенностей их реального использования — за счет привязки к определенному кругу говорящих, характеру отношений между говорящим и слушающим, обстоятельствам и целям общения, стилевой принадлежности и т. д.

Добавочная информация о том, кто говорит — каковы отношения участников коммуникации, каковы обстоятельства и цели общения и т. п., — также квалифицируется как пресуппозиции языковых выражений. Например, переход на «вы» между друзьями содержит в пресуппозиции отчуждение, а фамильярный стиль — неформальные отношения.

Очевидно, что в таком расширительном словоупотреблении уже ничего не осталось от логической пресуппозиции. Вместе с тем понятие не столь уж размыто. Оно не выходит за пределы реальной импликации. В данном случае это импликации из явлений семиотического порядка, т. е. то, что ранее было названо семиоимпликационными значениями. Как уже говорилось, языковой факт служит не только носителем собственного кодифицированного, знакового значения, но становится объектом причинно-следственного анализа и, как таковой, источником импликаций. В этом случае они базируются на зависимостях между выбором знака и коммуникативно-прагматическими обстоятельствами его использования. Это тоже род импликатур, только в отличие от импликатур Грайса они относятся не к условиям оптимизации речевого общения в системе взаимодействия «говорящий — слушающий», а к другим частям целостной структуры коммуникативного акта — прежде всего к условиям (обстоятельствам) его осуществления. «Пресуппозиция» здесь — тот же субстантивный транспозит глагола «предполагать» в его импликационном значении с той, однако, разницей, что пресуппозиции импликации только из знаков (из их значения и их употребления). В отличие от связки «(А) значит/означает (В)», которая имеет два значения — импликационное и семиотическое, связки «если (А), то (В)» и «(А) предполагает (В)» показывают только импликацию. Область применения связки «предполагать (предопределять, детерминировать)» импликации из незнаков и использования (употребления) знаков. Область существительного «пресуппозиция» — импликации из значения и употребления знаков. Таким образом, «пресуппозиция» и «предполагать» сходятся в транспозитивную пару только при обозначении импликаций из употребления (использования) знаков.

Подведем общий итог. Основное сказано, и он может быть кратким. Мы взяли на себя труд объяснить происхождение загадочного свойства многих языковых выражений в составе высказываний — сохранять фактивность части содержания высказываний при их отрицании. Наша цель шла вразрез обычному направлению рассмотрения пресуппозиций: задача была не составить и увеличить реестр этих средств, а установить образующие его факторы, определить условия и причины сохранности и снятия пресуппозиции в логическом понимании.

Стимул был задан логикой, но результаты анализа выходят далеко за пределы логической концепции. Когнитологическое исследование категорий и процессов реального мышления мало что оставляет от логического конструкта. Послужив отправным толчком, он трансформируется до неузнаваемости. Обнаруживается, что основанием для него в живых речемыслительных процессах является невыраженная реальная импликация. Именно в этих рамках варьирует содержание термина «пресуппозиция». Не будучи онтологической реальностью, логический конструкт не в состоянии удержаться в своих границах и «расползается» в живом словоупотреблении. Но предел этой экспансии очерчен достаточно четко: за термином скрываются мыслительные операции реальной импликации, отправной точкой которых служит семантика и употребление знаков. Импликационный процесс при этом не выражен (имплицитен) в том смысле, что мысль-имплицит не номинирована эксплицитно в рамках данного высказывания, которое по отношению к ней выступает ее эксплицитным импликатором. В ход пускаются совокупные взаимосвязанные знания мира, людей, языка и речевой деятельности, и совокупный смысл высказывания препарируется, продлевается, прирастая и трансформируясь за счет прямо не выраженных импликаций.

Импликационные процессы при этом обращены вовнутрь и вовне высказывания. Вовнутрь — поскольку происходит невыраженная импликационная дешифровка семантики компонентов высказывания в той мере, в какой в семантических структурах единиц отражены импликационные зависимости признаков и ситуаций. Именно к этой стороне процесса, не охватывая ее полностью, обращена логическая пресуппозиция. Импликации этого рода не добавляют чего-либо нового к значению высказываний, поскольку уже содержатся в семантике его компонентов. Они лишь актуализируют, рематизируют, выводят в фокус сознания определенные составляющие выраженных значений. За ними можно было бы закрепить обозначение «(семантические) презумпции», употреблявшиеся Е. В. Падучевой.

Более значимы импликации, обращенные вовне собственного смысла высказывания. Они проецируют денотат высказывания в структуру и связи предметного мира и текста, с одной стороны, а высказывание в це-

лом — в структуру и связи коммуникативного процесса и текста — с другой, и в результате обеспечивают существенный прирост и трансформацию той суммарной информации, которая закладывается в высказывание и извлекается из него.

Принципиальная природа импликационных процессов во всех случаях одинакова. Различия отмечаются прежде всего по направлению процесса, его источникам и мере новизны, информативности импликата. Эти различия можно закрепить терминологически. Импликации, обращенные вовнутрь и вовне кодифицированного смысла высказываний, проявляющие импликационные зависимости в семантике языковых единиц, с одной стороны, и выводящие смысл высказывания за пределы его собственного значения, осложняющие и корректирующие его смысл — с другой, могут быть названы соответственно внутренними и внешними импликациями из высказываний и языковых единиц.

Различия по признаку информативности, новизны импликаций относительно собственного значения высказываний и семантической структуры текста могут быть обозначены как различия между аналитически-значимыми и коммуникативно-значимыми импликациями. Это различие коррелирует с разбиением импликаций на внутренние и внешние. Как мы могли видеть, внутренние импликации (логические пресуппозиции) коммуникативно значимы только в специальных условиях «коммуникационного ремонта» — изъяснения и сверки семантических средств. Вместе с тем это различие коррелирует с важным «параметром» деления импликаций на импликации простой структуры, одноходовые, самоочевидные, хорошо освоенные, с одной стороны, и импликации сложной структуры, многоходовые, требующие умственного усилия — с другой.

Для внешних импликаций, в свою очередь, существенны различия по двум параметрам. Во-первых, по источникам импликаций: структуре и связям описываемого предметного мира, с одной стороны, структуре и связям коммуникативного процесса — с другой. Это различие можно фиксировать терминологически как различие предметных импликаций и коммуникационных импликаций, или имплицатур. Во-вторых, разбиение импликаций по онтологическому содержанию эксплицитного имплицатора и имплицитного импликата, а именно содержат ли они мысль об условии (причине) или следствии (результате). Как мы видели, по этому признаку невыраженные внешние импликации разбиваются на пресуппозиции и постсуппозиции.

В этом случае термин «пресуппозиция» означает отличное от логической пресуппозиции, а именно импликацию суждений, которые являются условиями по отношению к собственному значению высказывания. Соответственно постсуппозиции — суждения — следствия по отношению к

высказыванию. Иначе говоря, по отношению к нему они являются ретро-спективными и проспективными импликациями.

Зависимость признаков и ситуаций, даже будучи жесткой, нередко не может быть квантифицирована как зависимость условий, причин и следствий, результатов. Таких случаев множество, характерный пример — народные приметы: зависимость есть, но природа ее остается открытой. Основание для импликаций сохраняется, но снимается различие пресуппозиций и постсуппозиций. Импликации такого рода названы консуппозициями. Вместе с тем этот термин предложен и для родового понятия — для обозначения внешних имплицитных импликаций, когда не установлено или снято разграничение условий и следствий. Консуппозиция в этом обобщенном смысле противопоставлена внутренней аналитической импликации и означает то же, что внешняя имплицитная импликация, т. е. любые прямо не выраженные прирост и/или трансформация смысла высказываний на импликационной основе — за счет знаний мира и речевой деятельности.

Вполне правомерно говорить об имплицитных импликациях. Имплицитность — невыраженность, импликация — мыслительная операция, два понятия, пересекаясь, лежат в разных плоскостях. Импликация может быть выраженной (эксплицитной) и явно, словесно невыраженной (имплицитной). Более того, импликации хотя и важный, но не единственный мыслительный механизм формирования имплицитных смыслов. Другими являются механизмы восполнения и моделирования. Например, имплицитный подтекст басен задается не импликацией, а моделированием: эксплицитное значение служит моделью невыраженного смысла.

И последнее. Движение от узкого конструкта логической пресуппозиции в широкую область реальной импликации, соотношения и взаимодействия эксплицитного и кодифицированного значений, с одной стороны, имплицитных и наработанных смыслов — с другой, связано с радикальным обновлением представлений о природе и структуре значений, знаний и речемышлительной деятельности в их взаимосвязях. Переходя от логических конструктов к целостным реальностям речемышления и отдавая должное логике как инструменту научного познания, необходимо учитывать в качестве комплекса отправных принципов по меньшей мере следующее: 1) будучи употреблен, знак сочетает в своем значении знаковый и незнаковый аспекты, и эти аспекты взаимодействуют; 2) значения вообще и знаковые значения в частности являются неконечными вероятностными образованиями открытой, сложной, многокомпонентной структуры, вpleт-енной в целостную структуру знаний; 3) речь представляет собой сложный информационно-деятельностный процесс, в котором обмен значениями связывается с обстоятельствами и целями общения, так что в конечном счете сообщение значений значимо как поступок, а поступок значим как сообщение значения.

4. Прагматическая семантика и теория речевых актов

Здесь наш предмет — само понятие речевых актов, а задача состоит в том, чтобы прояснить их общетеоретическую перспективу. В этом есть необходимость, так как со времен Остина (Austin), введшего это понятие в оборот лингвистики и прагматики, а затем Серля (Searle) было задано направление смотреть вовнутрь предмета (типология и структура речевых актов, перечень и функционирование перформативов и т. п.), в то время как надо посмотреть и вокруг — разобраться с природой и особенностями речевого действия и его местом в совокупной структуре средств человеческой деятельности. Телеология, назначение, функция определяют родовую сущность речевого акта; главное в нем — спросить средством, способом, инструментом человеческих целей.

Парадоксальным образом теория речевых актов, введя высказывания в круг человеческих поступков, далее не столько развивала представления о деятельностной природе языка — речи, не столько стремилась к распространению этого подхода на всякого рода высказывания, сколько, напротив, ограничивала круг речедействий высказываниями с выраженной перформативностью. Остальные, т. е. подавляющая масса высказываний, в лучшем случае попадала в разряд косвенных речевых актов. Нормой речевого акта оказалось, таким образом, высказывание с выраженным эксплицитно или по меньшей мере имплицитно подразумеваемым перформативом, а его нормативное отсутствие или нормативная невозможность эксплицитно восстановить перформатив выводили высказывание из сферы речевых актов, за исключением особых случаев «иллокутивного самоубийства» (Vendler), т. е. перформативов с такой семантикой, что их употребление перечеркивало бы иллокутивный эффект, требуемый от высказывания (*льстить, лгать, обманывать, шутить* и др.)

Но это сужает объем действия прагматического фактора в языке — речи и обнаруживает недостаточность общих представлений, из которых первоначально исходила теория речевых актов. Необходимость в расширении этих представлений и разработка общетеоретических оснований речевых актов достаточно хорошо осознана в прагматике (Levinson).

На деле язык насквозь прагматичен. Филогенетически и онтогенетически язык начинается с прагматики, и в принципиальных чертах своего строения он прежде всего предстает как эгоцентрически ориентированный механизм, предназначенный обслуживать и продвигать прагматические интересы говорящего. Другое дело, что в структуру этого механизма встраиваются средства — средства передачи объективированных значений, за счет чего достаточно компактная прагматическая структура бесконечно усложняется и расширяется во всех своих звеньях. Начинаясь с прагматики, язык беспредельно обрастает семантикой. Но все более бога-

600

тая нюансировка семантической стороны значений в конечном счете необходима говорящему для решения прагматических задач общения, впрочем, тоже все более широких и тонко структурированных.

Очевидно, что в этом плане устройство и развитие языка — речи — отражает и обслуживает соотношение и развитие прагматических и когнитивных структур, обслуживающих первичные интересы жизнедеятельности человека, но для все более успешного удовлетворения этих интересов сознание всемерно развивается и наращивает когнитивные структуры объективированного знания. Взаимодействие тех и других помогает человеку оптимальным образом «устроиться в мире». Разумеется, утверждая, что в основании языка лежит прагматико-эгоцентрический фактор (фактор интересов-целей и позиция я-говорящего), мы имеем в виду не уровневую структуру языка (она вторична и производна от указанного фактора), а базисный принцип строения и функционирования языка. Он создает механизм, ориентированный на всякого говорящего и свободно позволяющий смену говорящего. Он изначально определяет структуру языка и речи, т. е. является базисным принципом структуры речевой деятельности. Конкретно он проявляет себя в таких категориях речевой деятельности, как категория лица и принципиальная диалогичность всякой речи, категория времени и принцип отсчета времени в языке — речи, тема-рематическое членение высказывания и категории строения текста, деиктическая структуризация пространства и времени и соответствующая ориентация вещей и событий относительно говорящего и т. д.

Если позволено сравнение, то язык менее похож на очки, так как годится и для близоруких, и для дальновзорких; как инструмент, он ближе к биноклю, так как может быть настроен на любое зрение, но отличен от него, так как вообще не требует подстройки. Это качество языка обусловлено тем, что, будучи создан обществом, он воссоздается каждым говорящим для себя ради общения — воссоздается каждый раз самостоятельно, но по общественному образцу. Как инструмент общения говорящего он принимает в расчет участников коммуникации, но расчет этот делается говорящим и делается, исходя из интересов и целей говорящего.

Но если прагматика говорящего и структурный эгоцентризм (локвоцентризм) лежат в основании языка — речи, то надо признать, что лингвистика только сейчас подобралась к пониманию сущности своего предмета. До последнего времени она следовала путем, указанным мыслителями Древней Греции. В течение долгого времени, через Средние века и Новое время, в языке видели преимущественно инструмент объективированной мысли, а из продуктов речевой деятельности для анализа отбирали те, что достаточно обезличены и не несут видимой печати обстоятельств и целей их появления. Исследование содержательной стороны ограничивалось главным образом семантикой, импульс к исследованию и его направление задавались классической логикой.

Между тем осознание центральной роли прагматического фактора требует надстроить и перестроить некоторые этажи в теоретическом здании лингвистики, а в ряде принципиальных моментов — поменять вектор в понимании и исследовании языка на противоположный. Потребовалась и происходит существенная переориентация лингвистики относительно сущности, функционирования и определяющих факторов строения языка. Этот процесс связан с развитием коммуникативной лингвистики и прагматики и отражает параллельные процессы в сопряженных науках — развитии когнитивной науки и новых логик прежде всего.

Конечно, новые подходы не отменяют того, что сделано на предшествующих этапах лингвистики, они в большей своей части дополнительные или же расширяют предмет исследования, но в какой-то — и достаточно существенной — части они должны заметно скорректировать объективистские представления о мышлении, речемыслительной деятельности и языке.

В частности, это касается понимания семантики и ее соотношения с прагматикой.

То, что здесь должно произойти и фактически происходит в представлениях лингвистов, сводится к следующему: семантика субъективируется, а точнее — становится более субъектно ориентированной и тем самым проникает в традиционный предмет прагматики, как он понимался в семантике и структурной лингвистике. Иначе говоря, приходится постоянно волей-неволей заниматься и говорить о семантике в прагматике.

Если семантика, так сказать, прагматизируется, то со стороны прагматики тот же процесс выглядит как семантизация прагматики. С очевидностью выявляется невозможность практически разграничить семантику и прагматику по предмету на основе того определения, что предмет семантики очерчивается отношениями знака к денотату и сигнификату, а предмет прагматики — отношениями между знаками и их пользователями. Классификационно-идентифицирующие возможности этого определения иллюзорны в силу крайней расплывчатости, операционной всеядности термина «отношение». Каждый раз он значит иное: знак не относится к денотату сам по себе, а его скорее к нему относят, или же денотат соотносят с неким знаком; знак не относится к сигнификату, а скорее связан с ним, вызывает, актуализирует его в сознании.

Известный семантический треугольник, в вершинах которого находится знак, обозначаемая им вещь и выражаемое им понятие, не столько прояснил состав знака, сколько породил заблуждение относительно его структуры и зависимости частей. Дело в том, что знак не подобен двуликому Янусу и не обращен одновременно в противоположные стороны — к вещи (денотату) и понятию (сигнификату, концепту-десигнату). Отношение знака к денотату всегда опосредовано сознанием, тем или иным кон-

цептом. Концепт, как мы видели, — любая дискретная содержательная единица сознания, идеальная дискретная сущность. По уровню обобщения он может быть понятием, т. е. мыслью в общем, и представлением, т. е. мыслью о единичном. В свою очередь, понятие может быть концептом класса, т. е. мыслью о сущностях с общим конститутивным признаком, и концептом признака, т. е. мыслью об общем, отвлекаемом от сущностей, о том, что есть общего и различного в вещах сознания. При обозначении вещь вначале концептуализуется и затем соотносится со знаком; при обратном процессе услышанный знак сначала соотносится с концептом (понятием или представлением), а через него с вещью.

Таким образом, процесс развертывается в обоих направлениях по схеме: вещь — концепт — знак.

Что же касается прямой связи *денотат* — *знак*, то она вторична и устанавливается как результат автоматизации, полного освоения трехзвенной цепочки.

Еще один существенный момент касается понятия денотата. Следует различать идеальный и вещественный (материальный, сущий, действительный) денотаты. Их различие иногда закрепляют разведением терминов «денотат» и «референт». Многие денотаты как на уровне единичного, так и класса в полной мере и частично сущности всего лишь мнимые, мыслительные конструкторы, плод воображения и фантазии. Другие, если и не вполне мнимы, то не могут быть удостоверены и установлены. Сплошь и рядом реальное смешано с гипотетическим. Вымышленные персонажи и события соседствуют с реальными. Нередко мы останавливаемся на пороге реального, довольствуясь идеальными построениями. В иных же случаях примеряем их к действительности. Кутузов у Л. Толстого интересен исторически, а князь Андрей?

Но дело не только в этом. В связном тексте один и тот же денотат может быть назван и описан разными именами, вместе с тем разные денотаты одного текста могут быть обозначены одним и тем же именем. Но всякий раз имена и описания должны быть отнесены к должным денотатам, наполняя содержанием единый образ единичного или класса в сознании. Далее этот денотат соотносится с действительностью. Таким образом, есть два рода денотации-референции или, сказать иначе, она осуществляется в два этапа: отнесение имен и описаний к идеальным денотатам и соотнесение идеальных денотатов и имен с действительностью. Это два весьма отличных процесса, и лингвистику больше занимает первый из них, а логику и теорию познания — второй.

Отношение говорящего к знаку опосредовано его отношением к денотату знака, и в этом случае отношение означает субъективное эмотивно-оценочное переживание денотата, переносимое на знак; но, пользуясь растяжимостью термина, под это же отношение подводят и много другого, со-

всем иной природы — семантизацию знака через говорящего и момент речи (деиксис, глагольные времена), привязка определенных знаков к определенным пользователям.

Единства прагматики, по-видимому, нет. Оно образовалось отрицательным образом — в нее попадало все из содержательных областей языка (т. е. областей, связанных с передачей значений разного рода), что не находило места в безличностной лингвистике прошлых лет — лингвистике без говорящего и без акта говорения.

Эта лингвистика лишь косвенно выходила на проблематику внесемантических содержаний (некогнитивных значений), а в целом оставалась в счастливом неведении основного теоретически трудноразрешимого парадокса речевой деятельности.

В структуре речевой деятельности и рефлексивно в структуре языка содержится — среди прочих — и практически преодолевается одна принципиальная антиномия. Речевое действие, с одной стороны, противопоставленно миру и деятельности человека, являясь их знаковым аналогом, их мыслительно-языковым отражением, а с другой — оно является их продолжением, своеобразным, но тоже событием и поступком. Иначе говоря, акт речи, с одной стороны, стоит вне актов деятельности и явлений как их знаковая параллель, а с другой — продолжает этот ряд. Тем самым речь и мир, речь и деятельность находятся, с одной стороны, в отношении отображения как два соотнесенных, но самостоятельных целых, а с другой — в отношении включения как часть и целое. В решении этого парадокса, очевидно, и содержится ответ на вопрос о предмете и соотношении семантики и прагматики.

В целом, по-видимому, есть не одна, а несколько разных «прагматик», т. е. новых областей контенсивной лингвистики, с которыми они столкнулись, выйдя за пределы языка как знакового аналога мира. Что их несколько и они различны, видно хотя бы из простого обзора и сопоставления ныне практикуемых — хотя бы только по определению — прагматик. Две из них уже были указаны. Первая — это прагматика как область отношений знака и пользователя. Уже было указано, что это определение основателей семиотики не способно определить предмет прагматики с какой-либо определенностью. Тем более оно не способно задать структуру этого предмета. Это прагматика по определению и, увы, не более. Вторая прагматика — это тоже упомянутая область выражения прагматических значений, сопутствующих основному когнитивному содержанию имен, высказываний, текстов и их частей. Это наиболее традиционная интерпретация того, что следует понимать под отношениями между знаком и пользователем. Тут, несомненно, имеется свой предмет: под прагматическими значениями понимается та часть содержания знаков сверхкогнитивного их значения, из которой в отличие от когнитивной информации узнают нечто не о денота-

тах знаков, а о субъективном переживании их, эмотивно-оценочном отношении к ним говорящих.

Третья прагматика — прагматика в принятом теперь понимании. Она полагает, что ее объединяет исследование того, как используется язык. Нетрудно видеть, что два определения прагматики — изначальное семиотическое (исследование отношений между знаками и пользователями) и нынешнее (исследование использования языка) — совсем не равнозначное и по предмету перекрываются лишь частично. Сходны они, пожалуй, в том, что оба одинаково неопределенны, одинаково неспособны очертить свой предмет.

Единство прагматики в ее нынешнем виде столь же иллюзорно, как и в прежнем. Кое-что она берет в свой предмет из последней — деиксис и средства указания времени событий относительно момента речи. Вместе с тем в предмет нынешней прагматики включается многое другое разнообразной природы, а именно теория речевых актов, принципы речевого общения, теория речевого воздействия, имплицитное в речевом общении (имплицитурь речевого общения), анализ структур речевого (в особенности диалогового разговорно-бытового общения) и т. д. Однако то, что выше было названо второй прагматикой (исследование эмотивно-оценочных обертонов отношения говорящего к денотатам своих высказываний), обычно оставляют в стороне.

Если сопоставить вторую прагматику и деиксис, то как будто есть основания для их сближения: и тот, и другой вид содержания конституированы отношением между знаком и говорящим. Но это чисто внешний аргумент, способный разве лишь затемнить принципиальное различие этих двух видов содержания. Одно относится к выражению чувства, эмоций, желаний и оценок, другое — род реляционной семантики с той особенностью, что это семантика относительно говорящего и — как в случае глагольного времени, например, — относительно других компонентов структуры речевого акта. Это семантика на первом этапе перехода от «я» к миру.

Вместе с тем деиксис имеет мало общего с другими предметами современной прагматики, равно как и эти последние достаточно независимы друг от друга. Всех их насильственно объединяют либо в общую область отношений «знак — говорящий», либо в «использование языка». Между тем дело в том, что лингвистика вышла в новый круг предметов и обнаружила непригодность имеющихся схем систематизации. Поэтому третья практикуемая прагматика, как и прежая, едина лишь иллюзорно, ни то, ни другое определение не обеспечивает общности предмета, и она образуется по негативному признаку — непринадлежности к предметам прежней лингвистики. Сняв обет верности ложным постулатам, лингвистика обеспечит себе более широкий взгляд на новый круг достаточно разнородных яв-

ний и сможет непредвзято соориентироваться в структуре их связей и соотношений.

Здесь нет ни возможности, ни необходимости входить в структуру нового предмета лингвистики. Достаточно указать общие черты явлений этого уровня и соответствующие им особенности лингвистического анализа. Здесь лингвистика выходит на метасемиотический уровень, язык смыкается с деятельностью. Языковая семантика смыкается с причинно-следственным анализом языковых фактов как части совокупной человеческой деятельности, т. е. знание языка смыкается со знанием мира, включая знание речевой деятельности (того, как используется язык). Эксплицитное кодифицированное значение высказываний и текстов дополняется, взаимодействует и модифицируется имплицитной информацией, извлекаемой из всех компонентов речевого акта.

На этом уровне снимается антиномия языка (как устройства, порождающего речь) и речи (как процесса и продукта речевой деятельности). Это уровень целостных коммуникаций, единицы которого — разной степени сложности (коммуникативные единицы) — выходят за пределы строевой структуры языка. В силу этого они всегда функциональны, многомерны и требуют междисциплинарного многоаспектового анализа, сочетающего усилия со стороны лингвистики и смежных наук.

Реляционная семантика от говорящего и времени речи (денотические значения) и субъективная семантика средств эмотивно-оценочной квалификации денотатов все же принадлежат, пусть к особым, частям семантики. Если локоцентризм лежит в основе языка, это расширяет объем семантики. И имплицитные значения высказываний — также предмет семантики, хотя функционально в той мере, в какой они используются как способ решения задач речевого общения, как средство речевых действий, они сочетают семантику с прагматикой.

Прагматика открывается теорией речевых актов. Здесь ее ядро, в этом ее специфика. Не следует жестко противопоставлять ее семантике. Они отнюдь не антиподы в области значения, т. е. не делят между собой пополам лингвистический объект в его содержательной части. Иначе говоря, семантика и прагматика не противопоставлены жестко как два взаимоисключающих типа значений. Вся область значений покрывается семантикой, ее предмет значительно шире значений, представляемых как объективированное знание. Он охватывает и те значения, которые ориентированы относительно координат речевого акта, и в первую очередь относительно говорящего, и те значения, которые выражают эмотивное переживание и субъективную оценку денотатов, и те значения, которые выражают представления говорящего о модальности высказываемого, и т. д. С позиций локоцентризма вполне оправдано и объяснимо то, что в обычном словоупотреблении семантику приравнивают значению вообще и что семиоти-

ческое сужение этого термина воспринимается как искусственная терминологизация.

Вполне правомерно поэтому говорить о семантике в прагматике. Это означает всего лишь, что говорится о содержательной стороне языковых форм, на уровне речевых актов. Семантика принадлежит той стороне речевой деятельности, которая создает знаковые аналоги мира, а служит осуществлению речевых актов, т. е. функционально смыкается с прагматикой — той стороной речевой деятельности, которая продлевает отражаемый сознанием и языком мир. Своим взаимодействием и взаимопереклещением семантика и прагматика разрешают антиномию двух сторон речевой деятельности.

Речевые акты составляют часть более широкого класса — речевых действий. Попробуем уточнить родовую специфику речевых действий. Для начала отмечаем, что с освоением речи человек и филогенетически, и онтогенетически существенно расширяет диапазон своей деятельности. Язык позволяет ему совершать действия, которых он ранее не знал вовсе, например, *давать имена и называть по имени, сообщать, спрашивать и отвечать, обещать, клясться и вообще брать обязательства, проклинать, облекать правом и вообще лишать его, признавать (ошибки и т. п.)*.

Вместе с тем язык позволил наглядно выявить и диверсифицировать множество других акций, которые ранее существовали лишь в зачаточном, полужнаковом-полуповеденческом состоянии, ср. *просьба, побуждение, выражение положительных и отрицательных эмоций, разрешения и запреты, приветствия* и т. п.

Кроме того, пользование языком требует выполнения множества действий, отнюдь не выходящих в область знаковых поступков (т. е. действий посредством использования знаков), а необходимых для того, чтобы речь состоялась, необходимых для осуществления речи независимо от ее коммуникативной интенции, для формирования речи во всех звеньях и аспектах ее структуры, всех ее формах и проявлениях. В широком смысле это также речевые (знаковые) действия, относящиеся прямо к речи, а не к ее предпосылкам, условиям и последствиям. Примером служат такие действия, как *произносить, говорить, рассказывать, читать, диктовать, писать, упоминать, беседовать, обсуждать, аргументировать, молиться, справляться (= узнавать), рекламировать, допрашивать, переводить (с языка на язык), интерпретировать, рекламировать, интервьюировать, опровергать, оправдывать, публиковать* и т. д. и т. п.

Очевидно, что когда говорят о речевых актах вслед за Остиным и Серлем, имеют в виду не всякие речевые действия, а речевые действия особого рода, действия-поступки. В чем же их особенность? По-видимому, она не была вполне уяснена самими основателями теории речевых актов. Состоит же она в следующем. Речевые действия бывают двоякого рода в зависимости от того, к какой стороне антиномии речевой деятельности они

относятся: одни принадлежат языку-речи как знаковому аналогу совокупной (в том числе знаковой) деятельности, другие — языку-речи как знаковой части совокупной человеческой деятельности.

И те, и другие — речевые действия в широком (и собственном) смысле слова. Но вторые отличаются тем, что сопряжены с действиями не речевыми, смыкая тем самым речь как знаковый аналог мира, с самим миром и продлевая, расширяя его за счет знаковой деятельности. Как аналог мира, называющий и описывающий его на каких-то его участках, речевое действие остается знаковым фактом, отображающей параллелью мира, но если оно еще связано с какими-то фрагментами этого мира, то знак выходит за свои пределы и за счет этой связи сам становится частью отображаемого им мира. Для того чтобы терминологически вычленил речевые действия этого рода из всей массы речевых действий, следует оставить закрепившееся за ними обозначение — речевые акты. Речевые акты — особая часть речевых действий (а те в свою очередь — часть речевых явлений).

Каким суммарно условиям должны отвечать речевые действия, чтобы приобрести качество речевого акта (речевого поступка)? Как и все речевые действия — это знаковые действия (но с дополнительным качеством поступка). Речевые действия складываются из действий говорящего и слушающего, речевые акты — действия говорящего, хотя, понятно, на всякое речевое действие говорящего есть речевой поступок (речевой акт). Как и *всякие действия говорящего (в тех пределах, пока он выступает именно как говорящий)*, речевые акты — это коммуникативные акты, т. е. акты информационного общения (но с дополнительным качеством поступка, т. е. деятельностного, поведенческого — в широком смысле слова — общения). Поэтому, будучи актами говорящего, речевые акты рассчитаны на слушающего и в этом смысле социальны. Будучи актами говорящего, речевые акты осуществляются только в речевом действии, вместе и одновременно с речью, и осуществляются они на уровне коммуникативных единиц речи, т. е. не ниже высказывания. Поэтому, если вид речевого акта эксплицитно назван в высказывании, то типичной и характерной (но отнюдь не обязательной и единственной) лексико-грамматической формой его выражения служит глагол в I лице настоящего времени действительного залога.

Речевой акт есть осуществление интенции говорящего посредством речи, это — коммуникативно-целевой аспект речевых произведений (прежде всего высказываний), взятых в целости их конситуативных связей. Совокупное значение высказываний расслаивается на когнитивный и прагматический компоненты. Прагматический, в свою очередь, — на эмотивно-оценочный и коммуникативно-целевой (а последний, как мы увидим далее, — на коммуникативно-информационный и коммуникативно-прагматический). Когнитивный компонент значения дает объективированное

представление о денотате высказывания, прагматический — пропускает это представление через призму говорящего, дополняя и модифицируя когнитивное содержание высказывания представлениями о целях говорящего и его субъективном эмоционально-оценочном отношении к компонентам ситуации речевого общения.

Для наших целей существенно подчеркнуть наличие в любом высказывании коммуникативно-целевого слоя значения: всякое высказывание несет представление, более или менее богатое, не только о том, о чем в нем говорится, но также о том, зачем оно говорится. Всякое высказывание имеет целевой аспект и в полной мере или частично явно или скрыто служит осуществлению интенций говорящего. Та явная часть интенции говорящего, которая реализуется данным высказыванием, составляет собственную интенцию высказывания (как сказано, она может совпадать с интенцией говорящего полностью или составлять только часть ее). Тем самым всякое высказывание с его коммуникативно-целевой стороны оказывается речевым актом — прямым и явным (открытым), если собственная интенция высказывания совпадает с явной интенцией говорящего, косвенным и скрытым, если полного совпадения нет (см. далее).

Перформативными надо считать те высказывания, в которых интенция высказывания совпадает с его денотатом (когнитивным значением). В таких высказываниях интенция названа и предсказана, и сообщение интенции имеет силу ее осуществления.

Поясним это примерами. При анализе существенно учитывать различие двух ипостасей говорящего — говорящий как человек (денотат «я», говорящий как целостность признаков сверх того, что он говорит) и человек как говорящий (собственно говорящий, говорящий как таковой). Если сторонний наблюдатель услышит: «Я рассказываю детям сказку», то он может задаться вопросом: «что делает этот человек по его словам?» — и это будет вопрос о денотате высказывания, о говорящем как человеке: он рассказывает детям сказку. С другой стороны, наблюдатель может спросить: «Что делает этот человек?», — имея в виду человека как говорящего, и тогда вопрос имеет смысл не о чем идет речь, а какого рода коммуникативное действие имеет место. В конечном счете этот вопрос сводится к тому, зачем ведется речь, в силу того, что всякая речь целенамеренна и так или иначе, прямо или косвенно осуществляет некоторое намерение, замысел говорящего. Речь прагматична, в основе ее лежит интенция, а ее денотативное содержание избирается соответственно целям, которые преследует говорящий, и способу, к которому предпочитает или вынужден прибегнуть для реализации своих целей посредством речи.

Тем самым, имея в виду говорящего как такового, наблюдатель уже задается вопросом о коммуникативном назначении высказывания, об интенции говорящего, и ответом ему будет: говорящий сообщает (кому-то), что он рассказывает детям сказки.

В этом случае денотат и интенция не совпадают, и высказывание, равно как и глагол «рассказывать» (хотя рассказывание, конечно, тоже речевое действие), не являются перформативами.

Другое дело, если наблюдатель слышит: «Я клянусь вернуться». Здесь денотат высказывания — клятва (что делает этот говорящий как человек? — он клянется), но и интенция говорящего — тоже клятва (что делает этот человек как говорящий, зачем он это говорит? — он клянется; говоря это, он клянется; он говорит, чтобы поклясться — цель его речи — поклясться). Момент сообщения о клятве, безусловно, также присутствует, но он слит с актом клятвы. И это понятно: клятва принадлежит к речевым актам, совершение которых должно быть обязательно удостоверено эксплицитной констатацией, конкретно в этом случае — сообщением о принятии нерушимого обязательства крайней крепости.

Но дело даже не в этом. И более «мягкий» речевой акт, который вполне может быть осуществлен в не прямой форме (например, нестрогое обязательство — обещание, ср. «обещаю вернуться» — «я вернусь») все равно должен быть заключен в оболочку высказывания. Речевой акт совершается в речевой форме высказывания; чтобы стать фактом, он должен быть объявлен либо эксплицитно — в форме перформативного высказывания, либо имплицитно — как вывод об интенции говорящего, проистекающий из взаимодействия эксплицитного значения высказывания с его значимым фоном. Когда арестованному говорят: *вы свободны*, — это равносильно формальному акту освобождения: *я освобождаю вас из-под ареста* (вы освобождаетесь из-под стражи).

В иных обстоятельствах значимого фона «вы свободны» означало бы нечто иное, например, повеление начальствующего лица удалиться. Но такова общая природа имплицитного выражения — его смысл зависит от контекста.

Речевая интенция — то же намерение, но реализуемое посредством речи, и это определяет объем намерений и характер их осуществления. Само понятие намерения, казалось бы самоочевидное, требует некоторого уточнения в прагматическом контексте.

Намерение — компонент достаточно сложной духовно-вещественной структуры и требует пояснения. Само оно относится, конечно, к духовной части этой структуры и начинается с духовных же предпосылок — осознанных потребностей, желаний и интересов. Осознание последних побуждает к адаптационной деятельности, с тем чтобы восстановить равновесие системы.

Намерение — начальный этап, на котором от пассивного осознания дисбаланса переходят к активной части целенаправленной деятельности. Намерение — замысел действий, направленных на осуществление цели, которая бы удовлетворила начальный импульс — необходимость, потребность, интерес, желание. Целенаправленные действия и сама цель принад-

лежат уже осуществляющей намерение части структуры. Намерение конкретизирует себя в виде цели и побуждает к действию. Действия направляются целью, имея ее в качестве идеального и материального ориентира, который в первом случае — надо осуществить, а во втором — достичь. Действие по отношению к цели выступает как способ ее осуществления, а цель по отношению к намерению — как его осуществление. К структуре намерения относится план осуществления цели. Намерение предполагает цель и во многих случаях не возбраняется взаимозаменять их обозначения, так как одно предполагает другое и оба предполагают всю цепочку «намерение — действие — цель». В других же случаях, когда надо оставаться в пределах узкого спектра каждого из них, эти метонимические переносы и домысливания были бы неточностью. Можно осуществлять намерение и цель и добиваться осуществления того и другого, но добиваться можно только цели, но не намерения.

Не все намерения осуществляются, более того, не всегда делаются попытки их осуществить. Неосуществленное намерение остается лишь замыслом действий, всего лишь поставленной целью, а неосуществленная цель предполагает либо неадекватность и неудачу целенаправленных действий, либо вообще остается в сфере идеального как невоплощенный замысел.

Речевые интенции — намерения говорящего, воплощаемые посредством речи (высказываний). В связи с расщеплением говорящего на просто лицо и лицо говорящего приходится различать между его человеческими (личными) и речевыми намерениями (интенциями). Кроме того, приходится различать между речевой интенцией говорящего и интенцией высказывания. За основу принимается их согласованность: в принципе интенция высказывания воплощает намерение говорящего, хотя бы частично. Однако говорящий может обыграть интенцию высказывания в своих необъявленных целях, которые он осуществляет сложным, косвенным путем, ставивая явную интенцию высказывания с значимым фоном речи. При этом интенция высказывания оказывается лишь начальным звеном импликационных переходов к выявлению реальной интенции говорящего. Речевые стратегии — пути, избираемые говорящим для осуществления своих намерений посредством речи в объеме ее возможностей.

Говоря о целях и интенциях высказываний, мы, конечно, метонимически переносим на них то, что свойственно говорящему. Однако интенция высказывания имеет тот смысл, что определенные элементы структуры высказывания (интонационные, грамматические, лексические) привязывают высказывания к определенным интенциям говорящего, так что последнее оказывается так или иначе эксплицитно выраженными в высказывании с той или иной мерой определенности. Цели и результаты, увы, не всегда совпадают. Причины неуспеха, понятно, представляют интерес и входят в предмет прагмалингвистики — прежде всего в аспекте адекватно-

сти/неадекватности речевых стратегий, т. е. соответствия целенамеренных речевых действий намерениям и целям говорящего. В связи с этим важно заметить следующее. В представлениях Дж. Остина, создателя теории речевых актов, иллокутивные силы соответствуют тому, что здесь названо интенцией высказывания. Далее в его концепции происходит сбой на результаты, следствия, реальный эффект высказывания (перлокутивный эффект). Но результаты высказывания не полностью и не всегда совпадают с речевыми интенциями.

Тем самым в концепции Остина, а с ней и в традиционной версии теории речевых актов остается зияние: концепция не охватила речевые интенции говорящего в полном объеме, а именно в той части, где 1) они не исчерпываются и не совпадают с интенцией его высказываний и 2) где реальные результаты речей (перлокутивный эффект) расходятся с интенционально-речевыми ожиданиями говорящего. Речь идет об имплицитных речевых интенциях говорящего, выражение и осуществление которых он строит на игре, взаимодействии эксплицитной интенции высказывания со значимым фоном речи. Между тем лингвистическая прагматика, безусловно, должна отразить причины, по которым прибегают к имплицитному способу выражения значений, в том числе интенционально-речевых, равно как механизмы и содержательные эффекты этого способа. На этом имплицитном уровне если и можно говорить об интенции высказывания, то не в смысле собственного постоянного выражения интенционального заряда высказывания, а в случае индуцированного переменного прагматического значения, имплицитно связывающегося с высказыванием в некотором конкретном контексте за счет взаимодействия эксплицитного значения высказывания с прагматически значимыми компонентами контекста его употребления (значимым фоном).

В речевых интенциях говорящего различаются, как уже было указано, два уровня — коммуникативно-информационный и коммуникативно-прагматический, причем первый подчинен второму. На первом уровне цели говорящего состоят в сообщении или запросе информации, и это различие в целях коммуникации отстоялось в формах коммуникативных типов предложений — повествовательного и вопросительного. Как формы они различаются совокупностью интонационных, лексических и грамматических средств. Содержательно они противопоставлены первичными коммуникативными значениями сообщения и вопроса. Во вторичных своих функциях эти формы пересекаются, ср. риторический вопрос — сообщение и полувопрос как функция повествовательной структуры. Однако вторичные значения произведены от первичных и осмысляются на фоне последних. Целевая природа этого различия очевидна: говорят, чтобы сообщить или, напротив, спросить. На этом уровне коммуникация еще не вышла за пределы информационного обмена и речевое действие говорящего еще не сомкнулось с его заречевыми поступками.

Между тем сообщают и спрашивают не только и не столько ради того, чтобы что-то поведать или узнать; движение и рост информации (знания в самом широком смысле слова), конечно, не самоцель, за ними стоит удовлетворение тех или иных потребностей и интересов, т. е. решение некоторых прагматических задач. С них начинается язык филогенетически и онтогенетически, их он сохраняет в развитом состоянии в качестве своей функциональной основы, даже при том, что с ростом знаний прогрессивно растет самоценность информационного обмена, накопления сведений про запас, а с ними — и собственная телеологическая значимость сообщений и вопросов.

Императив глагола и повелительное предложение принадлежат другому — коммуникативно-прагматическому интенциональному уровню и отнюдь не выстраиваются в ряд с коммуникативными типами сообщения и вопроса. Здесь мы вступаем в область чистой прагматики — волеизъявлений говорящего адресату. Язык напрямую становится орудием адресанта в осуществлении его замыслов — средствами адресата. Последний побуждается совершить то, что угодно говорящему — от ответа на вопрос до вещественного действия. Императив более чем сообщает о волевых устремлениях, он их воплощает: недостаточно принять их к сведению, требуется их выполнить. Информационный момент подчинен прагматическому. Императив — грамматическая форма, в чистом виде реализующая речевой акт побуждения.

Императив отстоялся как регулярное выражение наиболее острого речевого акта. С этой формой связался максимум прагматических возможностей, которые язык может поставить в распоряжение говорящего. Но сильная прагматика императива имеет ограниченный диапазон, это прагматика побуждения, так сказать, «заставительная» прагматика. За ее пределами остается множество иных коммуникативно-прагматических интенций говорящего.

Вместе с тем внутри диапазона побуждения возможны градации от категорического приказа, требующего беспрекословного повиновения, до скромной просьбы, готовой к отказу. Диверсификация побуждений заставляет комбинировать императив с разнообразными интонационными и лексическими средствами, прибегать к косвенному выражению за счет конституционных импликаций или, напротив, прямо называть разновидность побуждения перформативами директивной семантики (приказывать, повелевать, велеть, требовать, просить, умолять и т. д.).

Однако императив и образуемое им повелительное предложение, понятно, всего лишь одна из отстоявшихся форм реализации прагматических интенций говорящего, причем интенций одного только круга, пусть и достаточно широкого, — побудительных. Необходимо охватить все коммуникативно-прагматические интенции единым взглядом.

Речевые интенции говорящего на коммуникативно-информационном уровне исчерпываются двумя целями — сообщить и спросить. Напротив, прагматические интенции бесконечно разнообразны, это все цели, достигаемые говорящим посредством высказывания. В распоряжении говорящего при этом два способа. Как уже отмечалось, он может прямо объявить прагматическое назначение высказывания посредством разноуровневых средств соответствующей семантики.

Чаще, однако, имеет место другой случай: цель прямо не объявляется, она имплицитно проявляется из взаимодействия эксплицитного значения высказывания с значимым фоном его употребления. Если принять, что D — денотат высказывания — предложения S , то говорящий действует по схеме: он дает знать посредством S , что, по его словам, имеет место D_1 (S_1), преследуя при этом как цель осуществление D_2 (S_2) в силу зависимости между D_1 и D_2 в ситуации общения.

Поскольку всякое высказывание преследует некоторую цель, понимание высказывания непременно включает домысливание этой цели, если она не выражена эксплицитно. Как минимум, она может состоять в сообщении или вопросе о некотором положении дел (и тогда она выражена в языковой форме). Как максимум, она дополняется прагматическими целями высказывания, и если эти цели, как это обычно бывает, не выражены эксплицитно, они также должны быть домыслены.

Восстанавливаются, впрочем, не только имплицитные цели коммуникации, но при необходимости и пропущенные звенья импликационных цепочек от денотата высказываний к их интенции. При этом ход импликаций направляется значимым фоном речи. Ср.:

1. Больше ноги моей здесь не будет — Обещаю, что больше ноги моей здесь не будет.

2. Его имя — Иван — я устанавливаю, что его надо называть Иваном, о чем и сообщаю.

3. Теперь его имя — Иван — я запрещаю называть его, как это имеет место, прежним именем, называйте его Иваном.

4. Здесь душно. — Просьба открыть окно, так как здесь душно (ход мысли: душно — это нежелательно — делу поможет, если открыть окно — сделать это сподручней адресату — говорящий косвенно просит адресата открыть окно).

5. Здесь душно. — Предлагаю перейти в другое помещение, так как здесь душно (ход мысли: здесь душно — это нежелательно — делу поможет в этой ситуации, если перейти в другое помещение — говорящий косвенно предлагает перейти в другое помещение).

Информационно-коммуникативные интенции сообщений и вопросов образуют первый базовый уровень речевых интенций. На них при необходимости наслаиваются прагматические интенции — второй уровень речевых интенций. Лишь в случае императива выражение прагматиче-

ской интенции побуждения, — очевидно, наиболее важной в реестре прагматических задач, решаемых посредством языка, — выходит непосредственно на первый план как первичная содержательная функция поведительной формы предложения, минуя сообщение и вопрос. Тем самым побуждение становится в один ряд с ними, но только в плане формы коммуникативных типов предложения. Что же касается типа речевой интенции, сообщение и вопрос, с одной стороны, побуждение, с другой — относятся к разным уровням в иерархии речевых интенций — базовому несущему и вторичному насаивающемуся. Благодаря этому прагматические интенции, в том числе и побуждение, могут добавляться к коммуникативным, не снимая их, но перекрывая и уводя на задний план внимания. Прагматические интенции речи выражаются эксплицитно или имплицитно, причем эксплицитное выражение прагматико-речевых интенций надо считать прагматически-маркированной, заостренной формой речи: перевод фокуса внимания с информационного обмена на цели этого обмена превращает цель коммуникации в предмет сообщения. При этом высказывание становится перформативным в той мере, в какой эксплицитное объявление речевой интенции социально значимо в системе «говорящий — адресат», т. е. является социально-речевым поступком говорящего.

Итак, высказывание перформативно, если речевая интенция выражена эксплицитно, помещена в фокус внимания (рематизирована, составляет предмет сообщения, предиктирована) и социально значима в том смысле, что требует от тех, кто выступает в качестве адресатов речи, чего-то большего, чем простая регистрация информационно-обменных процессов. Перформатизация высказывания, т. е. объявление его цели, придает ему вид структуры с модусной и диктальной (интенциональной и пропозициональной) частями: зачем что-то говорится.

Очевидно, однако, что возможности информативного употребления у разных предикатов речевых интонаций различны. Например, в следующем ряду эта возможность сходит на нет: 1) *сообщаю, спрашиваю, клянусь, заверяю, объявляю, нарекаю, предупреждаю, обещаю, прошу, приказываю, славлю, (не) согласен, утверждаю, отрицаю* — 2) *командую, указываю, побуждаю* — 3) *хваляю, одобряю, поощряю* — 4) *восхищаюсь, восторгаюсь, поражаюсь удивлен* — 5) *грозю, упрекаю, стыжусь, хую, ругаю, оскорбляю, критикую, шантажирую, поношу, привечаю* — 6) *очаровываю, унижаю, позорю, дискредитирую, веселю, смешу, одобряю, черню, ославляю* и т. д.

Первая группа — явные перформативы. Они, безусловно, отвечают критерию перформативности: в ответ на вопрос о цели высказывания «зачем он это говорит?» мы получаем ответ с тем же предикатом, что в высказывании. Ср. «сообщаю о приезде» — «зачем он это говорит?» — «чтобы сообщить о приезде».

Вторая группа — тоже перформативы, ср. «командую: вперед!», но перформативное употребление заметно заслоняется неперформативным, оно не вполне нормативно в силу того, что норма выражения данной речевой интенции связалась с другими синонимами, ср. *приказываю, требую, велю, команду, указываю, побуждаю* и т. п.

В третьей группе на вопрос о цели высказывания может последовать не только простой повтор предиката, но и осложненный глаголом «выражать». Ср. *одобряю твое усердие — он говорит это, чтобы одобрить его усердие*, или же: *он говорит это, чтобы выразить одобрение*. Здесь совершается переход от предикатов интенционально-речевых к предикатам психического состояния, т. е. мы имеем дело с предикатами смешанной, промежуточной семантики между интенцией и состоянием.

Психическое состояние и интенция — близкие, но не тождественные психические категории. Первое порождает воле, второе побуждает к действию. Состояние выражается во внешних проявлениях, интенция осуществляется в действиях — они экстериизируются по-разному.

Четвертая группа уже выходит за пределы типичных перформативов. Это явно предикаты психических оценочных состояний, и перформативны они настолько, насколько состояния преобразуются в интенции, а интенции реализуются в речевых действиях. Мера перформативности таких оценочных предикатов определяется дистанцией между чувством и его проявлением. Дистанция невелика, а зависимость сильна, поэтому выражение, например, восхищения, в том числе словесное, почти то же, что акт восхищения. Словесное выражение оценочного состояния становится практически равноценным социально значимому действию, и предикаты подключаются к периферии поля перформативов.

Пятая группа, очевидно, никакие не перформативы. Между тем все они обозначают интенционально-речевые действия и вполне уместны, как ответы на вопрос «зачем это он говорит», ср. *чтобы пригрозить, хулить, (вы)ругать, (вы)бранить(ся), оскорбить, критиковать* и т. д. Однако, чтобы стать перформативом, им как будто не хватает главного: диагностирующие высказывания с этими глаголами квалифицируют какие-то речевые действия по соответствующему речевому намерению, но сами исключены из их множества, свидетельствуя только интенцию сообщения. В этом их отличие от типичных перформативных высказываний, которые, как уже говорилось, являются и сообщением о речевом намерении, и речевой реализацией намерения. Когда же говорят: «я критикую Вас» или «я угрожаю тебе», — то это лишь сообщения о критике (угрозе), но не акты критики (угрозы).

Сходным образом обстоит дело в последней группе, где сведены каузативные интенциональные глаголы. Их значение — каузация определенных состояний и действий посредством речевых действий, намеренно на это направленных. Приведенные в пример действия осуществляются одни

только в словесной форме, ср. *чернить, ославлять*, другие — не только в словесной форме, но и в словесной тоже и поэтому могут быть поставлены в ряд с первым, ср. *очаровывать, унижать, позорить, дискредитировать, смешить, веселить* и т. д.

В интересующем нас плане эту группу вполне можно объединить с пятой, разве только в них еще более резко проявлено исключение диагностирующего высказывания с интенционально-речевым каузативным глаголом из множества высказываний, образуемого той самой интенцией, которая этим глаголом называется: «я унижаю его» реализует только интенцию сообщения, но не унижения и тем самым исключено из множества высказываний, интенцию которых оно называет, ср. *он тупица, он бездарен, он подл, он трус, ему нельзя ни в чем верить* и т. п.

Как видим, и в пятой, и в шестой группах целенамеренные речевые действия и квалификация их по цели — намеренно разведены в разных высказываниях. Ср. «я сделаю из тебя отбивную» — «я угрожаю тебе», «я верю в тебя» — «я ободряю тебя».

Это подводит нас к основной загадке перформативности: что требуется от слова, какие качества оно должно обнаружить, чтобы благодаря ему сочетались коммуникативно-прагматическая интенция высказывания с ее констатацией, или, иначе говоря, чтобы интенция высказывания совпадала с его денотативным значением, или, еще иначе, чтобы высказывание сообщало собственную интенцию?

Разумеется, первое условие перформативности — семантическое: перформатив должен обозначать интенционально-речевые действия. Но как можно было видеть, одного этого еще недостаточно. Не следует ли поискать еще дополнительных особенностей в значении, которые бы выделили перформативы среди слов интенционально-речевой семантики. Не связана ли перформативность, например, с интенциями более простой структуры, элементарными или по меньшей мере прагматически более важными, социально более значимыми, некаузативной структуры и т. п.?

По-видимому, поиск видовой семантической специфики перформативов бесперспективен, они не образуют особого семантического подкласса в классе номинативных единиц интенциональной семантики. Перформативность не собственная, а сообщенное свойство языковой единицы. К этому выводу нас побуждает то обстоятельство, что в группах эквонимов (напомним, что эквонимы, или согипонимы, — имена видовых понятий одного уровня обобщения при одном родовом понятии (в рамках одного рода), гипонимов-гиперонимов, синонимов и антонимов этого круга одни слова перформативны, у других перформативность ослаблена, у третьих ее нет. Ср. *приказываю — командую — распоряжаюсь* (что-то сделать); *порицаю — ругаю* (критикую, поношу); *хваляю — ругаю*; *благодарю — не благодарю*. Ср. также *одобряю, не одобряю, поощряю, не поощряю* — все перформа-

тивны с тем, однако, различием, что «поощряю ваше упорство» и «поощряю вас путевкой на юг» — оба перформативны, в то время как «не поощряю ваше упорство» — перформативно, а «не поощряю вас путевкой на юг» — не перформативно.

«Поощряю, жалую, награждаю» перформативны, но их антоним «наказываю» — сомнительный перформатив, поскольку «наказываю вас ссылкой» говорится не затем, чтобы наказать, а затем, чтобы объявить о наказании, наказание же — ссылка. «Наказываю» и «лишаю», очевидно, гипероним и гипоним, однако «лишаю» — явный перформатив, ср. «лишаю вас орденов и званий». «Наказываю вас лишением орденов и званий» имеет тот же смысл, что «лишаю вас орденов и званий», и является тем же речевым актом лишения, равно как сообщением об актах лишения и тем самым наказанием — сообщением о наказании, но еще не самим наказанием: наказание — вещь более осязаемая, чем простое объявление о нем, даже сделанное лицом с необходимыми полномочиями (хотя, понятно, с этого все начинается).

Итак, слово может быть перформативом, но из этого еще не следует, что его синонимы, антонимы, эквонимы, гипонимы и гиперонимы тоже обязательно будут обладать той же способностью. Очевидно, ни нужная семантика (интенционально-речевое значение), ни нужные условия актуализации (предикация этого значения как речевого действия говорящего в момент речи) еще не исчерпывают необходимых условий перформативизации.

По-видимому, перформативность все-таки — дополнительное качество, сообщаемое высказываниям о прагматико-речевых интенциях говорящего посредством конвенции об их интеракциональном усилении. Эти конвенции обычно возникают спонтанно, но могут быть и результатом намеренной договоренности, даже игровой. Высказывания при этом становятся социально обязывающими, приобретают характер социально значимого факта, возводятся на уровень поступка и маркируются отдельно от пропозиционально-денотативного ряда сообщений. Интенция говорящего сама становится предметом сообщения, денотатом высказывания и, что еще более важно, выходит за пределы информационного обмена и связывает участников коммуникации заречевыми следствиями (тем, что Остин называл перлокутивными эффектами).

По существу перформатизация высказываний основана на второй конвенции знаковой деятельности: первая конвенция — конвенция означивания, или именования, дополняется конвенцией социализации (социальной активации) знаков-высказываний.

Итак, перформативность есть интеракциональная маркированность высказываний о речевых интенциях говорящего. Возникая конвенционально из потребностей общения и категоризируя интеракциональные потребности общения, она в конечном счете связывается со словами, преимущественно глаголами, соответствующей семантики.

Вендлер видел в перформативных глаголах подкласс иллокутивных. Последние все обозначают иллокутивные цели говорящих, но не все способны к перформативному употреблению. Терминологически это не точно. Иллокутивность — не свойство семантики, а дополнительное качество, особый прагматический аспект содержания высказываний — дополнительный к их когнитивному значению.

Содержательно он равен представлению о назначении данного акта коммуникации, заключаемому в высказывание и усваиваемому из него на значимом фоне его употребления. Однако особенность иллокуции не в представлении об интенции речи, а в деятельностном качестве речи: речь становится действием, осуществляющим интенцию говорящего.

Поэтому нельзя называть иллокутивными глаголы, которые обозначают интенционально-речевые действия, но не равнозначны самому действию (т. е. их употребление никогда не равнозначно осуществлению интенции). Термин «иллокутивный глагол» может обозначить не более чем «глагол с иллокутивной силой», а это означает то же, что перформативный глагол. В целом имеется следующая цепочка терминов с последовательным включением объемов понятий: «глаголы с семантикой речевых действий (глаголы речи)» — «глаголы с семантикой интенционально-речевых действий (интенционально-речевые глаголы)» — «перформативные глаголы». Не все интенционально-речевые глаголы перформативны.

Перформативно немаркированное высказывание также является речевым актом, т. е. интенциональным речевым действием.

Уже говорилось, что содержание, которое говорящий связывает в высказывании, а слушающие извлекают из него, расслаивается прежде всего на следующие части: 1) когнитивный смысл, прямо или косвенно (переносно), эксплицитно и имплицитно выраженный; 2) эмотивно-оценочный смысл — субъективные отношения говорящего ко всем элементам своего высказывания (к себе, к денотатам, к адресатам речи, к собственной речи и т. д.), также выражаемый прямо или косвенно, непосредственно или попутно, эксплицитно или имплицитно; 3) коммуникативно-целевой смысл — эксплицитное или имплицитное, прямое или косвенное выражение интенций речи.

Интенциональность, таким образом, представляет собой один из содержательно-функциональных аспектов высказывания, то, что делает его речевым актом. Перформатизируя речевой акт, говорящий открыто объявляет о своем речевом намерении и переворачивает нормальную структуру высказывания: его предметом (денотатом) становится интенция речи, а внеречевой денотат (пропозиция) ставится в зависимую позицию как целевое содержание интенции.

Открытая предикация речевой интенции «юридически» связывает говорящего, он принимает на себя ответственность за возможные следствия речевого акта.

Перформативные высказывания переводят намерения говорящего из сферы речи в сферу социально обязывающих действий. Здесь он должен «отвечать за свои слова». Интеракциональность имеет то отношение к перформатизации высказываний, что высказывание перестает быть просто информационным действием говорящего, но затрагивает деятельностную сферу общающихся и требует от них практических поведенческих реакций.

Перформатизация высказываний — маркированная, обязывающая форма открытой социализации интенций говорящего. Прибегнуть к ней говорящего побуждают некоторые особые, впрочем, весьма разнообразные обстоятельства коммуникативного акта. Ими, в частности, могут быть ритуализированный характер речевого акта, необходимость особо подчеркнуть общественную значимость речевой интенции, даже достаточно очевидной, обязывающую силу речевого акта, снять его возможную неочевидность, двусмысленность, уточнить его разновидность (например, род, интенсивность, значимость требования, просьбы и т. п.), заявить полномочность говорящего на данный речевой акт и т. д. В конечном счете они сводятся к главному тезису перформативности — идентифицировать и маркировать речевую интенцию говорящего как социально значимый акт.

Напротив, отсутствие перформативного индикатора — указателя прагматической интенции высказывания — оставляет вопрос о ней и соответственно о характере речевого акта открытым. Слушающий сам определяет, ограничивается ли дело коммуникативно-информационной интенцией сообщения или вопроса или за ними стоят акционально-речевые интенции говорящего. Последние устанавливаются им из того, как соотносится эксплицитное значение высказывания со значимым фоном речи.

При повелительной форме высказывания (императив глагола и его аналоги, например, инфинитив, множественное число I лица, интонация и т. д.) интенция изначально определена как побуждение к действию и предстоит лишь уточнить на той же основе конкретный характер и интенсивность побуждения (приказ, повеление, требование, пожелание, просьба, мольба и т. п.).

С позиций говорящего «сокрытие» речевой интенции, а точнее сказать, ее непрямовыраженность, имплицитный характер могут быть предпочтительными по многим причинам. Если характер речевого акта в контексте очевиден, то в силу вступает фактор экономии. Другими причинами служат нежелание говорящего связать себя объявлением своей интенции, если, например, есть вероятность конфликта, неудовольствия, нерасположенности слушателей к сотрудничеству, нежелательных умозаключений насчет говорящего и т. д. и т. п. Как фактор может действовать необходимость активизировать участие слушателей в речевом взаимодействии, побудив их к самостоятельному осознанию и осмыслению интенций говорящего.

До сих пор речь шла о случаях, когда одна и та же интенция в одних обстоятельствах речи для успешного осуществления требует открытого провозглашения, а в других — осуществляется, оставаясь в подтексте. Но возможны и такие интенции, а скорее разновидности интенций, для успешного осуществления которых требуется, чтобы они оставались в тени в том только смысле, что 1) смысл интенции безусловно ясен из высказывания, даже будучи не назван, и что, более того, 2) эксплицитное объявление интенции отнюдь не способствует, а напротив, губительно для ее осуществления, вредит тому перлокутивному эффекту, на который нацелено высказывание. Перформатизация высказываний с подобными интенциями ведет к их «иллокутивному самоубийству» (Вендлер). Примерами, как известно, служат акты угрозы, критики, похвалы, осмеяния и т. д.

Отчего зависит невозможность перформативного употребления для некоторых глаголов интенционально-речевой семантики? Причина указана З. Вендлером — наличие «подрывного фактора» в семантике глаголов, идущего в разрез с иллокутивной целью высказывания. Как общий принцип это объяснение безусловно должно быть принято. Более того, как показал З. Вендлер, на этой основе легко разрешаются все логические парадоксы, которые возникают отнюдь не в естественном языке с прагматикой, в формализованных языках без оной и в силу отсутствия оной.

Однако некоторые существенные моменты относительно реальной природы «подрывного фактора» требуют существенного уточнения. Анализ Вендлера не всегда достаточно тонок и точен. Он переоценивает роль конкретной глагольной семантики и недооценивает роль внешних по отношению к лексической семантике глагола факторов — условий ее проявления, а именно помещения ее в «высказывающий контекст» конструкции I лица настоящего времени, смысл которого — «обнаруживаю и осуществляю свои намерения через речь». Помещение интенционального глагола в «высказывающий контекст» обрушивает на глагол, на высказывание и в конечном счете на говорящего все социально значимые импликации такого употребления. В этих условиях говорящий должен считаться с тем, насколько перлокутивный эффект отвечает его интересам и соответствует его речевой интенции.

Таким образом, подрывной фактор проявляется в силу взаимодействия семантики интенционального глагола в «высказывающем контексте» с социально значимыми детерминантами речевого общения тогда, когда результат этого взаимодействия не соответствует ожиданиям говорящего. Антиципация такого результата накладывает запрет на реализацию высказывания: речевые фильтры не допускают его проявления — по меньшей мере для данных целей иллокуции.

Покажем это на примерах.

Хвастовство, похвальба, нескромность, выпячивание своих успехов и достоинств предосудительны, потому у высказывания «(я) хвастаюсь (тем-

то)» нет шансов перформативного употребления в качестве речевого акта объявления о (таких-то) достоинствах говорящего, и дело именно в социальном запрете на бахвальство, а не на валентности этих глаголов на сомнительные предосудительные достоинства (это ошибочно акцентировано у Вендлера). Осуждается всякое самолюбование и тем более самовосхваление, поэтому требуется более тонкая тактика, чтобы привлечь внимание на собственные успехи, не вызывая антагонизма и осуждения. Нарушение социального запрета смягчают разными уловками: оговаривая, что вообще-то осознают и признают его («нескромно, но похвалюсь»), «все-таки похвалюсь»), обращаясь за разрешением сделать исключение и нарушить правило («если позволительно похвастаться»), сообщая не прямо о хвастовстве, а всего лишь о желании или даже необходимости похвастаться («я хочу похвастаться», «не могу не похвастаться»). Достаточно предосудительно простое хвастовство без открытого объявления, что оно намеренно и осознается говорящим как таковое. Перформатизация речевого акта снимала бы последнее оправдание — неосознанности поступка — и была бы явным вызовом общественному кодексу. Предосудительны и подлежат сокрытию такие интенции, которые асоциальны по природе, так что для успеха намерения их лучше не выставлять на показ, не называть, иначе сработают отрицательные оценки и коннотации, способные только усилить неприятие целей говорящего. Ср. «я тебя шантажирую (тем-то)»: перформативное употребление в качестве акта шантажа невозможно (шантажировать — угрожать в неблагоприятных целях раскрытием порочащей тайны), возможно лишь осмысление в качестве сообщения о шантаже: говорящий сообщает, что квалифицирует речевые действия как шантаж.

По сходным причинам избегают появляться в перформативном фокусе многие другие интенции, в той или иной мере балансирующие на грани срыва в конфликт, ср. *путать, сбивать с толку, пробивать (провоцировать, подстрекать, подталкивать), пилить, придираться, подпускать шпильки, дразнить, подтрунивать, иронизировать, вышучивать, инсинуировать, издеваться* и т. п. В той или иной мере все указанные речевые акты, а некоторые явно и в полной мере (ирония, шутка, намек, инсинуация и т. п.) — речевые акты со скрытными интенциями. Интенция говорящего здесь имеет сложную структуру. Она никак не исчерпывается интенцией самого высказывания, ее значимая часть имплицитна и выявляется из взаимодействия эксплицитного значения высказывания с его значимым фоном. Причем это взаимодействие может перечеркивать прямой смысл высказывания (как в случае иронии) и существенно наращивать его (нарек, инсинуация). При этом говорящий стремится довести имплицитный смысл до сознания слушателя, но отнюдь не стремится к авторству этого смысла. Сокрытие интенции входит в семантику предикатов таких речевых действий, и это исключает для них возможность перформативного употребления. Только в случаях этого рода «подрывной фактор» прямо вмонтирован

в семантику интенционально-речевого предиката. Нельзя рассчитывать на тайну умысла, открыто объявляя о том, что осуществляешь тайный умысел. По сути дела, в подобных случаях не подрывается, а начисто отсутствует возможность перформативного употребления, оно исключено изначально. Никакая социализация не поможет перформатизировать такие высказывания в качестве актов иронии, намека и т. п.

Безусловно, что намеренное сокрытие интенции само по себе является достаточной причиной неперформативности соответствующих глаголов независимо от признаков конфликтности ситуации общения. Намек, лесть, шутка, обман, а также ирония (если говорящий направляет ее не на слушателя, а на себя, события и третьих лиц) не обязательно чреваты конфликтом (хотя, понятно, и могут обернуться им), но все это речевые акты со скрытой интенцией). Кроме того, у шуток, обманов и иронии есть и другая общая черта — несоответствие высказываний подлинному знанию и оценкам говорящего, тому, что он на деле знает, думает и имеет в виду про себя.

Шутки как речевые акты представляют собой мыслительно-речевые игры с наложением мнимым миров на действительный в целях забавы. Не-что мнимое, нежелательное выдается за реальное так, чтобы создать проблему, но в пределах разрешимого, а игровая конвенция полностью снимает ее: проблема оказывается мнимой. Интенция речевого акта — пошутить = позабавиться, способ ее осуществления — мнимые умеренно неприятные утверждения при игровой конвенции.

Обман — намеренное осознанное порождение ложных представлений о положении дел в действительном мире и/или порождение необоснованных ожиданий. В первом случае делаются осознанно ложные утверждения, во втором — делаются обещания, которые не собираются выполнять. Интенция обманного речевого акта — породить ложные представления и/или ожидания — составляет лишь начальную часть сложной цели говорящего «... и тем самым осуществить такое-то тайное намерение».

Сравнительно с логикой, прагматика сдвигает акценты во лжи с несоответствия высказывания (суждения, утверждения) действительному положению вещей на сознательное искажение его. Ложь в логике становится ложным и включает не только и не сколько намеренные искажения истины, сколько любые несоответствия ей, включая ошибки, заблуждения, дурное знание и т. п. Прагматика, однако, не знает речевых актов ошибки или заблуждения. Ложное для нее не случайно, она ищет ему целевое объяснение и превращает его в ложь как целенамеренное речевое действие — разновидность обмана.

Ирония основана на конфликте эксплицитного значения высказывания с его значимым фоном, разрешаемом в пользу последнего: буквальный смысл высказывания перечеркивается как несоответствующий действительности. Интенция иронического высказывания как речевого акта

состоит в том, чтобы неявно поменять буквальную положительную оценку на противоположную — отрицательную — посредством указанного конфликта.

Лыстец скрывает также свои истинные намерения. Лесть — речевой акт с интенцией сложной структуры. Ее явная часть совпадает с интенцией высказывания — дать высокую оценку качеств и свершений адресата, а скрытая состоит в том, чтобы этим расположить к себе адресата. Лесть не обязательно преувеличивает чьи-то достоинства, хотя не гнушается и этим, находя даже несуществующее. Главное — она их отмечает и доводит до сведения с корыстной целью. Это, конечно, не разновидность конфликтного общения, во всяком случае, в силу человеческой слабости риск для льстеца не велик. Важно то, что существенная часть интенции скрывается — за прозрачной маской комлиментарных констатаций. Оттого перформативная противопоставлена этому речевому акту.

Намек стоит не полдороге от открытых к скрытым речевым актам. На одном полюсе он граничит с открытой подсказкой, на другом — с инсинуацией, скрытым, предосудительным актом злорадного имплицирования малоприятных для вторых и третьих лиц фактов и предложений. Между полюсами лежит множество разнообразных промежуточных случаев, обусловленных широким спектром причин и нацеленных на широкий спектр эффектов. Но во всех случаях от подсказки до инсинуации намеки сходятся в общей интенции намекающего высказывания — подтолкнуть мысль к нужному результату, оставив окончательную формулировку за слушателем.

Намек использует для этих целей импликационный процесс, он рассчитан на импликационные способности слушателя — извлечь необходимые выводы и прийти к нужным заключениям на основе сообщенной информации и имеющихся знаний. Напротив, подсказка, будучи благонамеренным действием, прибегает к самым разным приемам — вплоть до формулирования части требуемой мысли.

Подсказка предполагает проблемную ситуацию: адресат уже «озадачен», он озабочен поисками ответа, он испытывает затруднения с решением задачи. Намек может начинаться с проблемного нуля, «озадачивая» адресата. Вместе с тем проблемная ситуация может быть предпослана ему, и тогда намек накладывается на область подсказки. И подсказка, и намек, конечно, входят в намерения говорящего (кроме невольных), что же касается адресата, то с его позиций и то, и другое могут совпадать, и расходиться с его желаниями. Естественно, что когда адресат просит намекнуть ему о чем-то в проблемной ситуации, то намек тут — то же, что подсказка.

Отсюда следует, что перед нами случай смешанной семантической оппозиции — явление в лексике весьма обычное. «Намек» отчасти способен нейтрализовать свое отличие от «подсказки», и тогда он выступает как

родовое слово (привативная оппозиция). Вместе с тем, противопоставляясь «подсказке», «намек» вступает с ней в эквиполентную оппозицию, и тогда «намек» в отличие от «подсказки» означает скрытое интенционально-речевое действие провоцирования определенных импликаций. Для намека несущественно, какие причины побуждают к сокрытию интенции. Но что же тогда и как скрывает говорящий? Он скрывает одно — то, что его высказывание не простая констатация, а детонатор логических следствий (здесь в широком смысле — выводов, заключений, инференций, импликатур и т. п.).

В общем виде структура всех речевых актов со скрытой интенцией и механизм их осмысления выглядят следующим образом. Высказывается некоторая мысль-импликатор. В силу импликационных зависимостей, актуализация которых стимулируется значимым фоном общения, она призвана вызвать в сознании другую мысль — импликат. Актуализация мысли-импликата входит в интенцию говорящего, однако по тем или иным причинам он не склонен выражать интенцию явно. Таким образом, говорящий и скрывает интенцию, и косвенно доводит ее посредством импликационного процесса, не принимая на себя прямой и полной ответственности за авторство. Мысль-импликат оказывается скорее как бы продуктом слушающего, чем говорящего.

Возвращаясь к глаголу «намекать», укажем, что перформативная функция для него невозможна по той же причине, как и для всех глаголов, обозначающих скрытые интенционально-речевые действия, — она исключена изначально семантикой глагола. Повторим как общее правило: нельзя произвести речевое действие со скрытой интенцией, открыто объявив ее. Глагол «намекать» способен только отнести некоторые высказывания к классу намеков. Тем самым он делает тайное явным, и остается только сформулировать мысль-импликат намекающего высказывания, ср. «у него красный нос, и этим я на что-то намекаю» — «упоминанием о красном носе я намекаю на склонность к выпивке».

Обратим внимание на то, что в случаях скрытой речевой интенции вообще нечего подрывать. Это явление иного порядка, чем подрыв способности произвести речевой акт с той же интенцией, что семантика интенционального глагола. О подрывных факторах имеет смысл говорить только применительно к открытым интенциям, как, например, угрозе. В целом, таким образом, мы имеем дело с тремя категориями глаголов интенционально-речевой семантики, относительно возможности перформативной функции. Во-первых, те, для которых такое употребление вполне нормативно и сравнительно с идентичным неперформативным речевым актом нагружено дополнительными значениями. Во-вторых, те, для которых такое употребление ненормативно, так как подрывается внешними по отношению к семантике глаголов факторами. И, в-третьих, те, для которых перформативное употребление не только не нормативно, но и невозможно

в силу особенностей их семантики — обозначения ими скрытых речевых интенций. При этом интенциональная «открытость» перформативного высказывания оказалась бы логически несовместимой со скрытым характером обозначаемой интенции.

Тем самым предлагается различать две пары понятий: «открытость — скрытость речевого акта» и «перформативность — неперформативность высказывания (и речевого акта)». Акт открыт, если говорящий не скрывает интенции, осуществляемой посредством речи (речевой интенции). В этом случае его интенция совпадает с интенцией высказывания и в этом смысле имеет простую структуру. Все перформативные высказывания — открытые речевые акты. Но и неперформативные высказывания тоже могут быть открытыми — постольку, поскольку говорящий не маскирует своего намерения в речи, ср. угрозы и т. п. При этом, понятно, уже возникает возможность разночтений речевого акта, но только в пределах разновидностей речевого акта определенного типа, ср. побудительные речевые акты.

Речевой акт скрыт, если говорящий намеренно маскирует свои интенции, рассчитывая, однако, на их осуществление посредством речи. В этом случае интенция речевого акта имеет сложную структуру и содержит части эксплицитную (собственная интенция высказывания) и имплицитную (конечная интенция речевого акта — интенция говорящего). Обе части находятся в отношении способа и цели, поэтому скрытый речевой акт есть косвенный речевой акт, т. е. род не прямой стратегии осуществления говорящим своих намерений посредством речи. Содержание конечной интенции выявляется, как уже говорилось, из взаимодействия эксплицитного значения высказывания со значимым фоном.

Высказывание перформативно, если его интенция названа, предсказана и высказывание служит действием, ее осуществляющим. Высказывание неперформативно, если не выполнены эти условия. Все скрытые речевые акты выражаются неперформативными высказываниями. Уже сказано, что все перформативные высказывания выражают открытые речевые акты. Открытые речевые акты могут выражаться как перформативными, так и неперформативными высказываниями в зависимости от того, выполнены ли в них условия перформативности.

Все виды скрытых речевых актов — столько же виды речевых актов, сколько виды речевых стратегий, как и все косвенные речевые акты, к которым они относятся. В самом деле, в любом косвенном речевом акте конечная цель говорящего скрыта и извлекается посредством импликаций из взаимодействия эксплицитного значения высказываний со значимым фоном их употребления (включая контекст, ситуацию общения, знания мира, языка и того, как язык используется). При этом эксплицитная интенция высказывания составляет лишь часть сложной интенциональной структуры речевого акта, большая и существенная часть которой имплицитна. В та-

ких условиях высказывание интенционально несамодостаточно, не автономно от контекста, и речевой акт опирается на высказывание + значимые условия и обстоятельства его реализации.

Перформативность — качество, санкционируемое дополнительной социальной конвенцией. Когда речевой акт идет вразрез с социальным регламентом, трудно ожидать общественного согласия на то, чтобы интенциональный глагол получил бы еще статус перформатива. Это бы общественно узаконило право на такой акт. Вот почему высказывание с таким глаголом остается в рамках сообщения, т. е. остается только знаковым действием, но не практическим поступком.

Очевидно, что перформативная форма речевого акта вторична по отношению к немаркированному, не квалифицированному открыто речевому акту. Она представляет собой специальный, заостренный вариант речевого акта, когда говорящий в определенном социальном смысле (в смысле выявления своей позиции в акте общения) сжигает за собой мосты, ставит точки над *i*, «подставляет себя» (*commits himself*).

В отличие от Остина Вендлер справедливо считает перформативное употребление глаголов вторичным. Однако в этом пункте его мысль дважды сбивается. Он распространяет ее на все глаголы говорения, а справедлива она лишь относительно глаголов с семантикой интенционально-речевых действий. Как было указано выше, есть немало глаголов говорения, которые не входят в эту группу, ср. *произносить, артикулировать, шептать, разговаривать, рассказывать, болтать, декламировать, диктовать* и т. д.

Еще важнее другое. Вендлер противопоставляет перформативное употребление глаголов говорения дескриптивному, последнее Вендлер считает первичным и сводит к их использованию для передачи речевых актов других людей. Однако то, что названо дескриптивным употреблением глагола (сигнификативное значение), всегда остается с ним, а при описании интенциональным глаголом речевого действия говорящего оно составляет содержание коммуникативной функции сообщения.

Иначе говоря, высказывания с предикацией интенционального глагола как речевого действия говорящего, как минимум, сообщают о таком действии. Но перформативными такие высказывания и глаголы становятся только при условии, что интенция высказывания совпадает с семантикой интенционального глагола.

Ср. 1) *Я скоро уезжаю* (неперформативное высказывание — речевой акт сообщения); 2) *Сообщаю, что скоро уезжаю* (перформативное высказывание — речевой акт сообщения); 3) *Мне нужна твоя помощь* (неперформативное высказывание — речевые акты сообщения — просьбы); 4) *Помоги!* (неперформативное высказывание — речевой акт побуждения-просьбы); 5) *Прошу твоей помощи* (перформативное высказывание — речевые акты просьбы и сообщения о просьбе); 6) *Мне смешны эти потуги*

(неперформативное высказывание — речевые акты сообщения-осмеяния); 7) *Я смеюсь над этими потугами* (неперформативное высказывание — речевой акт сообщения).

Как видим, перформативное высказывание сочетает интенционально-речевое действие с сообщением о нем. Вместе с тем анализ живой речевой практики, несомненно, показывает размытость границ между речевыми актами: 1) сопряженными импликационно (сообщение о просьбе — просьба, объявление об увольнении — увольнение, угроза — запугивание, угроза — обязательство и т. п.); 2) близкородственными (требование — просьба — мольба и т. п.); 3) перформативными — неперформативными высказываниями и 4) стандартной (1 лицо настоящего времени изъявительного наклонения глагола) и нестандартными формами перформативности (ср. *я порицаю Вас за эту идею — я критически отношусь к этой идее — я критически оцениваю эту идею — эта идея заслуживает критики — я критикую эту идею*).

Продолжим анализ подрывных факторов, запрещающих высказывания «иллокутивного самоубийства». Уточнения требуют также причины, по которым «я угрожаю (тем-то)» неперформативно (не может быть актом угрозы). Вендлер, конечно, не точен, квалифицируя угрозу как побуждение. Побудительный фактор здесь вторичен или даже третичен — после запугивания: угрожать — пугать — побуждать. Даже запугивание не исчерпывает полностью целей угрожающего высказывания. Прагматическая интенция такого высказывания — агрессивное объявление намерения причинить значительный вред. Инструментальное назначение угрозы, несомненное во множестве случаев (напустить страху, заставить скорректировать поведение, планы, оценки и т. п.), все же вторично и относится к следственным эффектам этой разрушительной эмоции. В самом деле, вполне возможна угроза, не принимающая искупления.

Надо обратить внимание на то, что больше всего «иллокутивных самоубийц» среди интенционально-речевых глаголов, относящихся к конфликтным ситуациям общения, непорядку в социальном взаимодействии, нарушениям общественных норм поведения и общения, ср. *угроза, шантаж, ругань, критика, хвастовство, высмеивание, вышучивание, подтрунивание, подраживание, передрачивание* и т. д. В отличие от большинства (но, конечно, не всех) нормативных и ритуальных общественных актов, требующих речевого исполнения, все конфликтные речевые акты нагружены эмоциями и эмоциями отрицательными. Эмотивно-экспрессивные ситуации общения больше переживаются, чем описываются. Объявляется намерение, но не род намерения. Характер и импликации намерения в эмотивно острой ситуации конфликтного общения необходимо представляются как самоочевидные. Их идентификация разрушала бы эффект воздействия: она переводила бы высказывание в эмоционально нейтральный регистр. В этом и скрывается общая причина, подрывающая перформатив-

ное осмысление этих глаголов: перформативное высказывание сочетает действие с его идентификацией-обозначением. Эффект последнего может быть губителен для требуемой от высказывания силы воздействия, и тогда действие-перформатив может не состояться. За высказыванием остается только информационная функция сообщения об интенции.

К примеру, если *х* страшно обозлен на *у*, то эффекту его эмоционального всплеска «я сотру тебя в порошок!» вряд ли поможет указание, что сие есть угроза: «я угрожаю стереть тебя в порошок».

Положение изменится, если в конфликтной ситуации говорящий занимает позицию выразителя коллективной нормы, ревнителя порядка, поборника общественных установлений, этического и иного авторитета. Именно такой образ стоит за перформативами конфликтных ситуаций типа обвиняю, клеймлю, порицаю, осуждаю. В подобных случаях конфликт на равных переносится в плоскость конфликта с обществом, с его установлениями и нормами, выразителем которых выступает говорящий.

Ранее мы видели, как тот же принцип — примат общей нормы над индивидуальным волеизъявлением — отдает предпочтение той форме в качестве перформативного высказывания, которая обосновывает волевое социальное действие говорящего ссылкой на должное: 1) *стыжу за опоздание* (неперформативно: неприемлемо как упрек, только сообщение) — 2) *стыдно опаздывать* (перформатив упрека) (ср. в том же ключе: *выговариваю вам за опоздание* (неперформативно, малопринемлемо как замечание, только сообщение о замечании) — *негоже вам опаздывать* (перформатив — замечание — с отсылкой к нарушенной норме)) — 3) *объявляю (делаю) вам замечание за опоздание* (перформатив — замечание, предполагает право на объявление замечаний — в отличие от 2, где право дается нормой и не отчуждено от нее как чья-то прерогатива).

Чем более жестка социальная регламентизация речевых актов, тем более жестка регламентизация формы перформативов — вплоть до ритуального публичного клише с обязательным предикатом интенции. В менее жестких формах, как 2, предикат интенции вообще явно не представлен, интенция прямо не названа, но высказывание жестко, однозначно связано с определенным речевым актом сверх сообщения и в силу этого интенция говорящего открыта и совпадает с интенцией высказывания.

Таким образом, соответствие речевого акта общественным нормам, установлениям, правилам поведения, этикету ритуала и кодам социальных интеракций, в том числе нормам ролевых отношений, поощряет констатацию интенционально-речевых действий как свидетельство конформности, гармонии, «правильного поведения». Ср. *приветствую, поздравляю, кланяюсь, освящаю, награждаю, присуждаю* и т. п. Если же, напротив, такая констатация наталкивается на общественный запрет или усиливает дисгармонию отношений, не способствуя осуществлению намерений говорящего, то перформатизации высказываний избегают, даже если, как мы ви-

дим, осуществленное намерение представляет собой общественно значимое достижение: требование скромности запрещает перформативное употребление глаголов самовосхваления. То же относится к множеству других глаголов, вроде *смею* (анекдотами), *восхищаю* (рассказами), *поражаю* (памятью) и т. п.


Успех речевого акта — в осуществлении заключаемого в высказывании намерения говорящего. Перформатизация высказывания должна способствовать этому. Иногда она — необходимое условие успеха (ритуальные, этикетные, «уставные» формы общения), иногда она просто увеличивает шансы на успех (прояснение и эмфатизация намерения).

В иных же случаях, напротив, перформатизация подрывала бы шансы говорящего на успех в речевом общении, шла бы вразрез с его целями и интересами, была бы вредна, нецелесообразна, невыгодна или просто излишня. Тогда диагностирующая конструкция не конвенциализируется социумом говорящих в качестве интенционально-речевого действия. Она остается только сообщением о таком действии, но не приравнивается к самому действию с вытекающими из него социальными интеракционными последствиями. Конкретные основания для этого, как мы видели, разнообразны и переплетены в клубок взаимозависимых причин и следствий: нежелание уточнять разновидность акта, стремление оставить речевую интенцию амбивалентной, стремление скрыть интенцию, социальные табу, неблагоприятность интенции, ее отрицательная оценочность, дурная коннотативность, забота говорящего о своем образе, стремление избежать конфликта, снижение экспрессивности, эмоционально-воздействующей силы речевого акта за счет идентифицирующего сознания перформативных высказываний (в силу стилистической нейтральности последнего). Возможны, конечно, и другие конкретные причины и их комбинации.

Этими общениями можно завершить настоящие заметки. Остается, пожалуй, лишь пояснить с изложенных здесь позиций один небольшой момент. Он касается глаголов, вроде *выбалтывать* (*проболтаться*, *проговориться*, англ. *blurt out*), *утверждать голословно* (англ. *allege*) и других подобных им глаголов. Вендлер рассматривает их среди «иллюкутивных самоубийц». Но присмотревшись к ним внимательнее, мы не найдем в них никакой интенциональной семантики. В интенцию говорящего скорее входит сохранить тайну, чем проболтаться (если только он, конечно, не хочет сыграть ненамеренное выбалтывание секретов, но игровое общение управляется совсем другими правилами). Выбалтывание — речевое действие, но отнюдь не интенциональное речевое действие, т. е. не речевой акт. Осознается оно отнюдь не как действие по замыслу, а как неосторожность и осознается как таковое либо со стороны, либо говорящим, но с запозданием. Поэтому и у глагола нет никаких притязаний на иллюкутивную силу, а следовательно, нет и причин к самоубийству из-за перформативной импотенции.

Сходным образом у говорящего не может быть интенция утверждать что-либо голословно, а могут быть намерения обмануть, ввести в заблуждение, заставить поверить, выдать желаемое за действительное и т. п. Квалифицируя какие-то утверждения как голословные, мы устанавливаем отнюдь не интенцию речевых актов, а несоответствие когнитивного значения высказываний действительности. Не следует торопиться с зачислением всех глаголов с семантикой речевых действий в глаголы интенционально-речевых действий.

Отчего возникла эта ошибка? Она связана с тем, что критерий иллюстрации Вендлер усматривал в вопросе к высказыванию «Что это? What is it?» (Вендлер), тогда как более точен вопрос «Зачем это? What is it for?».

 *Апресян Ю. Д.* 1) Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурной лингвистики // Проблемы структурной лингвистики. 1963. М., 1963; 2) Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М., 1976.

Аспекты семантических исследований / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, А. А. Уфимцева. М., 1980.

Белявская Е. Г. Семантика слова. М., 1987.

Богданов В. В. Семантико-синтаксическая организация предложения. Л., 1977.

Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.

Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.

Вольф Е. М. Грамматика и семантика прилагательных. М., 1978.

Воронин С. В. Основы фоносемантики. Л., 1982.

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1976.

Кацнельсон С. Д. 1) Содержание слова, значение и обозначение. М.; Л., 1965;

2) Типология языка и речевое мышление. М., 1972.

Клаус Г. Сила слова. М., 1967.

Колшанский Г. В. 1) Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984;

2) Контекстная семантика. М., 1980.

Комлев Н. Г. Компоненты содержательной структуры слова. М., 1969.

Кубрякова Е. С. 1) Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981; 2) Части речи в ономастологическом освещении. М., 1978.

Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. М., 1965.

Литвин Ф. А. Многозначность слова в языке и речи. М., 1984.

Медникова Э. М. Значение слова и методы его описания. М., 1974.

Морковкин В. В. 1) Идеографические словари. М., 1970; 2) Опыт идеографического описания лексики. М., 1977.

Налимов В. В. Вероятностная модель языка. М., 1974.

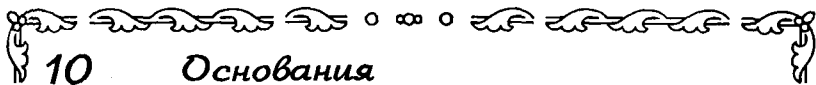
Никитин М. В. 1) Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974; 2) Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). М., 1983; 3) О семантике метафоры // ВЯ. 1979. № 1.

Новиков Л. А. Семантика русского языка. М., 1982.

Новое в лингвистике. М., 1960 (Вып. I); 1962 (Вып. II); 1970 (Вып. V).

Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978 (Вып. VIII); 1981 (Вып. X); 1982 (Вып. XI и XIII); 1983 (Вып. XII и XIV).

- Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971.
- Плотников Б. А. Основы семасиологии. Минск, 1984.
- Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
- Сачков Ю. В. Введение в вероятностный мир. М., 1971.
- Селиверстова О. Н. Компонентный анализ многозначных слов. М., 1975.
- Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. М., 1971.
- Семантические типы предикатов. М., 1982.
- Степанов Ю. С. 1) В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985; 2) Имена, предикаты, предложения. М., 1981.
- Стерин И. А. Лексическое значение слова и речи. Воронеж, 1985.
- Сусов И. П. Семантическая структура предложения. Тула, 1973.
- Уфимцева А. А. 1) Лексическое значение. М., 1986; 2) Слово в лексико-семантической системе. М., 1986; 3) Типы словесных знаков. М., 1974.
- Чахоян Л. П. Синтаксис диалогической речи современного английского языка. М., 1979.
- Чейф У. Л. Значение и структура языка. М., 1975.
- Шаховский В. И. Эмотивный компонент значения и методы его описания. Волгоград, 1983.
- Шафф А. Введение в семантику. М., 1963.
- Шмелев Д. Н. 1) Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964; 2) Проблемы семантического анализа лексики. М., 1976.



Введение

Когнитивная семантика — важнейший раздел когнитивной лингвистики, вводящий ее в когнитивную науку в качестве основного исследовательского инструмента последней. Когнитивная наука (когнитология или когнитивистика) оформилась как самостоятельное междисциплинарное научное направление в последние десятилетия прошлого, XX столетия в связи с острой необходимостью заполнить зияющий пробел в исследовании структур и закономерностей реального, «живого» человеческого мышления. В это время было осознано, что те науки (прежде всего логика, психология, философия, теория познания), которые — каждая по-своему и со своей стороны — имели дело с этим предметом, не в состоянии удовлетворительно описать и объяснить процессы категоризации мира и его сущностей, формирования структур знания, аксиологических систем, картин и моделей мира, равно как удовлетворительно описать и объяснить мыслительные процессы и способы, результатом которых является определенное видение мира (менталитет), оценка его сущностей и «положений дел» в нем, принятие решений и поведенческие реакции на него.

Что касается логики, то из признания того факта, что реальное мышление не ограничивается логическими формами, проистекает необходимость прояснить, каковы эти другие формы (мышление интуитивное, образное, поэтическое, аналогическое, мифологическое и др.), сколько их, какова их специфика, их взаимопроникновение-взаимодействие и дифференцированные формы. Эти сложнейшие вопросы выходят за пределы возможностей и задач логики и требуют комплексного интердисциплинарного решения на более широкой методологической основе. Возникновение и расцвет когнитивистики в значительной мере объясняется недостаточностью логики как науки о законах и формах мышления и неадекватностью

предлагаемых ею чрезмерно идеализированных решений применительно к реальности живого мышления.

Психология при обращении к проблемам сознания-мышления также склонна ограничивать свою задачу определенным аспектом: ее заботят не отдельно сами мыслительные процессы и их идеальные результаты, сколько их протекание, связь и зависимость от материального субстрата психической деятельности. Это наглядно отразилось в характере и структуре ее ответвлений, ср. зоопсихология, нейропсихология, патопсихология, психогенетика, психофизиология и др.

Что касается философии, то ее подход к проблематике сознания-мышления противоположен психологическому. В теории познания (гносеология, онтология и эпистемология) она занимает позицию на другой стороне спектра: ее подход максимально обобщен и абстрактен, устанавливаемые ее закономерности мышления носят универсальный характер и максимально удалены от конкретных средств и способов их деятельности объективации и знаковой репрезентации (определенная оговорка может быть сделана относительно так называемой лингвистической философии, в особенности в духе Дж. Остина и М. Блэка).

Напротив, когнитивная наука берет на себя труд выявить процессы и результаты мыслительной деятельности в непосредственной реальности их осуществления. В ее задачу входит установить способы категоризации мира в сознании, описать реальные процессы когниции и оценки и возникающие в результате их концептуальные структуры сознания в их соотношении с миром и деятельностью человека. Центральными для когнитологии являются взаимосвязанные понятия концепта, концептуальной структуры и ментального мира. Подробно о них будет сказано далее. Пока же достаточно самого общего представления. Концепт — дискретная содержательная единица сознания, формирующаяся в нем как результат креативной способности сознания строить ментальные миры. Концепты, сочетаясь, образуют концептуальные структуры разного уровня сложности, при том что и сами сочетающиеся концепты, каждый на своем уровне холистической иерархии, обладают собственной структурой (включая и сам мир сознания как часть действительного мира).

Базисным, или первичным, среди миров сознания является ментальный мир, связанный необходимостью соответствовать отражаемому (объективному) миру действительности. Наряду с ним и на его основе сознание конструирует многообразные мнимые миры разной меры сложности и в разной мере свободные-зависимые от требования соответствовать реальному миру. В этом смысле все ментальные миры сознания, от базисного до чисто мнимых, носят смешанный характер, но различаются степенью сочетания элементов действительного и мнимого и жесткостью обязательства соответствовать реальности непреложного мира. Крайнюю позицию на

шкале мнимых миров занимают иррациональные миры сознания, вольно или невольно легализирующие существование невозможного.

Как соотносятся понятия концепта и ментального мира? Ментальные миры и их фрагменты — это области осуществления концептов. Зависимость между ними двусторонняя: с одной стороны, концепты формируются как обобщение-отождествление и различие сущностей в действительном мире, а с другой — концепты своим содержанием, связями и взаимодействиями формируют структуру ментального мира. Таким образом, действительный мир, проецируясь в сознание, формирует концепты и их структуру, а концепты в свою очередь своими связями и зависимостями формируют структуру ментальных миров. В базисном ментальном мире сознания концепт вторичен и произволен по отношению к действительности, а в мнимых ментальных мирах он первичен по отношению к ним как их генерирующее начало.

Концепт вне мира, т. е. взятый сам по себе, изъятый из ментальных миров своего возможного осуществления, предстает как некая абстрактная связка составляющих эти миры элементов, как обобщенное представление вещей, признаков и событий в этих мирах. Концепт в том или ином ментальном мире, как элемент этого мира, принимает форму сущего (сущности) в этом мире с ее признаками (свойствами и отношениями).

В задачу когнитивной семантики как части когнитологии входит исследование концептов и концептуальных структур по показаниям средств их объективации и репрезентации в языке и других семиотических системах. Сознание в этом случае предстает в виде так называемого «черного ящика», о внутреннем устройстве которого судят по тому, что дается на выходе. Проблема здесь состоит в том, что между концептами и средствами из языковой репрезентации (скажем, между понятием и словом) нет прямой, однозначной корреляции, так чтобы концептуальный ряд изоморфно отображался в десигнаторном ряду. Между тем соблазн велик, и наука полна свидетельств прямого отождествления структуры языка как формы с устройством «черного ящика», т. е. со структурой сознания и его единиц. В этом пункте когнитология и когнитивная семантика выходит на одну из центральных своих проблем, проблему большой давности и больших разногласий — соотношения сознания-мышления и языка. Одно из решений ее, как известно, предложено в известной концепции лингвистической относительности и ее радикальном варианте — концепции лингвистического детерминизма. Для уяснения оснований когнитологии существенно ответить на вопрос: насколько обоснованы и в каком смысле допустимы широко используемые понятия «языковые значения», «языковые концепты», «языковое сознание», «языковая картина» и «языковая модель мира».

Есть еще другой путь к раскрытию содержания и структуры концептов: реальная структура концепта и самого сознания выявляется в анализе

содержания и структуры мира и человеческой деятельности на тех или иных участках. В отличие от языкового, этот способ несравнимо более трудоемок. Вместе с тем, как и первый, он не дает прямых однозначных ответов. Надежность анализа существенно повышается, когда оба подхода явно или неявно используют вместе, во взаимодействии. На практике это обычно и имеет место, даже если в этом не отдадут себе отчета.

В задачу этой книги входит уяснить в рамках целостной концепции основания когнитивной семантики как лингвистической дисциплины, исследующей значения языковых единиц в их отношении к концептуальным структурам сознания. Иными словами, в задачу входит рассмотрение базисных понятий когнитивной семантики в целостной структуре исследовательского аппарата этой дисциплины. Стержень работы, диктующий ее содержание и логическую структуру, круг рассматриваемых тем и полноту их освещения, определяется центральной для лингвистической семантики (и не только для нее) проблемой соотношения между когнитивными структурами сознания и формальными структурами языка (структурами языка как формы) на нынешнем уровне ее разработки. При этом рассматриваются и разрабатываются преимущественно те аспекты этой многогранной проблемы, существующие решения которых сомнительны и поэтому требуют пересмотра с новых позиций. Особенность работы состоит в том, что решения центральной ее проблемы — характера зависимости между структурой сознания и структурой языка как формы — оцениваются по их логическим следствиям, по тому, что они дают в приложении к разным сторонам предмета, а именно по тому, насколько приемлемы и доказательны вытекающие из них выводы.

Заметим еще, что «основания (когнитивной семантики)» — не то же самое, что «основы (когнитивной семантики)»: «основы» дают начальное представление о предмете, а «основания» излагают теоретический базис предмета, отправные представления о нем.

Соответственно изложение последовательно движется от проблем организации и генезиса сознания, механизмов отражения и категоризации действительности к проблемам природы и типологии значения и средств его знаковой репрезентации. На этой теоретической базе рассматриваются и существенно уточняются базисные понятия лингвистической семантики — денотата, концепта и значения в их системной взаимозависимости, разрабатываются представления о механизмах взаимодействия концептов в процессах функционального варьирования значения языковых единиц. В заключение подводится общий итог рассмотрения проблемы о характере зависимости между когнитивными структурами сознания и десигнаторными структурами языка и с позиций развиваемой автором концепции оценивается, насколько обоснованы и приемлемы возродившиеся ныне представления об особом промежуточном уровне «языкового сознания» и

производных от него представлений о «языковой картине (модели) мира», «языковых концептах» и «языковых значениях» (релятивных означаемых в духе Ф. де Соссюра).

Работа сводит в целое размышления автора над этой проблематикой начиная с 70-х годов теперь уже прошлого века. Содержащиеся в ней идеи по частям и в разное время публиковались в виде статей и разделов книг на близкие темы. Здесь они получили развитие и объединены общим замыслом освещения оснований когнитивной семантики с позиций целостной авторской концепции.

Изложение построено с тем расчетом, чтобы обеспечить возможность использования книги в виде учебного пособия по общему языкознанию и в качестве основы для построения спецкурсов по лингвистической семантике. В этих целях для облегчения задачи читателя отправные положения концепции, ее исходные понятия и термины каждый раз с углублением в предмет поясняются заново по мере необходимости, но в сжатом виде. Тем самым обеспечивается самостоятельное освещение каждой отдельной темы в рамках целостной концепции оснований когнитивной семантики.

Раздел 1

Ментальные миры сознания

1.1. Мышление рационально-логическое, фидейное и фантазийно-игровое

Представляется, что потенциал духовной деятельности человека, его способность и тяга к духовному творчеству и потреблению: сотворению и восприятию идей, образов, планов, проектов, замыслов, прогнозов, фантазий, игры ума и т. п. — в основе своей одинаково велики у *homo sapiens* со времен кроманьонца, но различны формы, пути, интенсивность, результаты и удельный вес тех или иных составляющих духовной жизни людей прежде всего в силу того, что на каждый момент различна материальная база духовности — сотворенная и творимая человеком культура в ее овевающих продуктах.

Во все времена потенциал духовного творчества реализует себя в двух соотносимых, но самостоятельных и, более того, полярных видах духовной деятельности — рационально-логической и фантазийно-игровой. Различаются они по их отношению к действительному миру. Первая решает задачи существования *homo sapiens* в непреложном мире причин и следствий, в

мире обязательных жестких и вероятностных зависимостей, связей и взаимодействий. Поэтому она связана соответствием миру: ее утверждения принимают на себя требование доказательности и обязательство верифицируемости. Вторая же представляет собой духовную сторону игровой деятельности человека — *homo ludens*. Поэтому она осознает себя свободной от соответствия объективному миру. Обязательство верифицируемости и требование доказательности не имеют к ней отношения. Известную силу для нее имеют лишь условия и правила, принятые в тех мнимых мирах, которые ею конструируются.

В первом случае объективный мир своими закономерностями диктует человеку правила мышления и поведения. Во втором — человек сам устанавливает правила своей деятельности — духовных и овеществляемых игр, сообразуясь, однако, с тем, что и игра в той мере, в какой она претендует на воплощение, должна считаться с предметной средой своего осуществления. Однако между двумя полюсами духовной деятельности — рационально-логической и фантазийно-игровой — лежит обширная область знания неполного, сомнительного или ложного, где человек волей-неволей действует на основе интуиции, веры или обмана. Эта область духовной деятельности лежит на переходе от чисто фантазийной игры ума к строгому мышлению. Центральным, объединяющим тут является понятие веры, поэтому в целом этот вид и область ментальной активности можно назвать фидейным сознанием, или фидейным мышлением. В отличие от игрового, фидейное сознание строит свои миры с оглядкой на непреложный, данный в опыте мир: своими средствами и на свой манер оно тоже стремится описать и объяснить его. Игровое сознание расширяет, дополняет действительный мир своими построениями, устанавливая свои правила автономно от него. Фидейное мышление, напротив, ориентировано на непреложный мир опыта и стремится по-своему, своими средствами объяснить, постигнуть, интерпретировать его. Однако его средства — интуиция, вера и обман — специфичны. Хотя они, несомненно, обладают собственными достоинствами, делающими их во многих обстоятельствах предпочтительными перед другими, во множестве других случаев они, в отличие от средств строгого мышления, порождают не только прозрения, но вводят в заблуждение, искажают действительность и возводят в ней иллюзорные построения.

Есть градация между интуицией, верой и обманом. В интуиции достаточно велик элемент веры, но ее прозрения все же опираются на опыт, хотя и не препарированный до конца разумом. Достоинство интуиции становится очевидным всякий раз, когда опыт недостаточен или не может быть полностью обработан логически — случай в человеческой практике вполне заурядный.

Из всех фидейных форм сознания интуиция ближе других стоит к истине. Обман же максимально удален от нее, так как предполагает созна-

тельное искажение действительного положения вещей в предосудительных или благовидных целях. Но он также связан с верой, как доверием, поскольку требует для своего успеха, чтобы в него поверили.

Из трех форм фидейного сознания интуиция более других озабочена достоверностью своих суждений и поэтому не столь экономна в том смысле, что, опираясь на специфически усвоенный опыт, предполагает определенные энергетические затраты на его получение и обобщение для будущих целей. Вера полагает для себя вопрос о достоверности решенным изначально и поэтому в принципе не только не требует никаких усилий для верификации, но освобождает от них, что и делает ее экономной, с одной стороны, и недостаточно надежной — с другой.

Что касается обмана, то знание действительного положения вещей заботит его только в той мере, в какой это надо учитывать для внушения неверных представлений о ней.

Интуиция и вера сходны в том, что способ их действия — откровение, внезапное, неожиданное, как бы немотивированное и незатратное открытие истины. Но это сходство маскирует принципиальное различие между ними: интуиция открывает мир человеку через него, человека, самого, а в случае веры — некий высший авторитет открывает человеку истины мира. Поэтому откровение в первом случае носит характер озарения, а во втором — внушения. Однако сходство по результату — прозрению — субъективно добавляет вес вере: внушаемая извне часть принимается за собственное интуитивное прозрение истины.

Как видим, духовная сознательная жизнь человека течет тремя потоками, смыкающимися на своих границах: рационально-логическое сознание смыкается с фидейным, а фидейное — с игровым. Человек во все времена достаточно четко осознавал переход от рассудочного мышления к фантазийно-игровому, и наоборот. Вместе с тем и в области фидейного сознания ему постоянно приходится решать вопрос, как ментальные построения, основанные на вере, соотносятся с действительностью, насколько они достоверны или являются чисто фантазийной игрой ума.

Таким образом, при том, что человек достаточно четко различает, в какой из двух полярных духовных областей — рационально-рассудочной или фантазийно-игровой — протекает его ментальная деятельность, реальная структура духовной деятельности намного сложнее уже за счет того, что между ними помещается обширная область ожидаемого с зыбкими границами — область фидейного сознания и мышления. Истинное знание увеличивает объем до знания истинностного, т. е. полагается истинным, с неустановленной границей между тем и другим. Детерминистское знание прирастает за счет знания вероятностного, бесспорное за счет возможного и перетекает опять же без установленной границы в знание сомнительное и неполное в разной степени.

Вера, так или иначе, лежит в основе фидейного знания и сознания, и без нее не обойтись. Истинное знание доказательно, но доказательство часто непосильно, и тогда действует на основе веры: вера вступает в свои права в разных ипостасях от интуиции до наитий, верований, внушений и так далее до предрассудков и суеверий. Вера подает свои мыслительные продукты как объективно обоснованные, как подлинное знание, представляет их не просто как психический опыт, но как образ существующего. Нередко так оно и есть, как и в случаях интуитивных прозрений, озарений и догадок, но далеко не всегда. Даже близкая к опытной истине интуиция нередко ошибается, а вера отнюдь не вся сводится к интуиции. Когда вера заблуждается, остается утешаться ее терапевтическим эффектом на психику или тем, что на фидейную ошибку был затрачен минимум усилий.

В основе свободной фантазии лежит игра, но игра в ее ментальном аспекте, со стороны ее мыслительного обеспечения, т. е. игра ума в широком смысле. Ныне в науке достаточно осознан категориальный характер игры как одного из универсальных и сущностно характерных для человека видов его духовной и предметной деятельности. Однако ряд важных моментов нуждается в пояснении. Игра — широко распространенный, весьма разнообразный и регулярный род человеческой деятельности и родовая черта всех существ с достаточно развитым сознанием. Игровая деятельность в ее духовном и предметном аспектах категория весьма широкая. Она включает в себя и позволяет увидеть в должной перспективе среди прочих ее видов и проявления и то, что известно теперь как карнавализация (М. М. Бахтин) и смеховой мир (Д. С. Лихачев и др.).

Нас здесь интересует, понятно, не предметный, а ментальный аспект игры и, более того, собственно духовные игры, для которых вещественная сторона, материальная реализация не существенны, т. е. то, что в широком смысле называют игрой ума, игрой воображения, плодом фантазии. Функции духовных игр, как и функции игр вообще, весьма многоплановы. Они служат целям упражнения ума в построении мнимых миров, профилактики духовной сферы, отдыха и забавы, снятия тревоги и подготовки к стрессовым ситуациям, целям духовного раскрепощения, освоения и примирения с тем, что трудно постижимо, вызывает страх и неподвластно контролю. В целом они составляют важный, многообразный и необходимый компонент духовной деятельности.

Ментальный аспект предметных игр служит для них планом (схемой, сценарием) их осуществления. Предметная игра реализует, воплощает свой идеальный замысел. Иначе обстоит дело с чисто духовными играми. Они могут замыкаться духовной сферой, не требуя для себя, хотя и не исключая, вещественной реализации. Воплощение для них не обязательно, однако требуется объективация, как минимум, в той или иной форме репрезентации.

1.2. Миф в структуре сознания

Миф — большая и многоаспектная проблема, и начать нужно с уточнения того, каким целям служил и служит миф в общественном сознании.

Во-первых, мифы отвечают общественной потребности объяснить мир на уровне высоких и на этот момент еще непосильных абстракций и общих представлений о его происхождении, развитии, об управляющих им силах и закономерностях. В этом случае миф своими средствами компенсирует недостаток знаний и незрелость пытливого разума. Через миф человек пытается уяснить себе мир, свое место в нем и утвердить свое право на место в мире.

Во-вторых, в той же референтной области, замещая непонятное, неподвластное контролю и часто ужасное квазиобъясненным, миф тем самым компенсирует страхи тревожного состояния. В этом случае миф выполняет психотерапевтическую функцию.

В-третьих, миф есть упражнение и продукт фантазийного сознания в одной из высших форм ума, поскольку предмет его лежит в той же области высоких эмпирей. Этой своей стороной миф относится к духовным моделирующим играм.

В-четвертых, за мифом стоит интуитивное осознание людьми императивов их жизни, частной или общественной, осознание того, что стучится в массовое сознание как оправданная или ложная необходимость, того, что бессознательно или сознательно диктует нормы и вектор коллективных реакции и поведения, и миф дает выход и форму этим интуитивным устремлениям. Этой своей стороной миф оказывается конкретно-образной повествовательно-фантазийной разработкой и обоснованием императивов массового сознания — первичным языком коллективного подсознания, механизмом перевода его в осознанное. Характерным примером служат мифы о божественном происхождении власти, мифы о героях, в образную, исторически обусловленную форму которых воплощались представления о необходимости общественного порядка, законности, справедливости.

Есть еще пятый аспект мифа, особенно наглядно выявленный в мифах древности, — его социализирующая функция. Миф служит целям этнической самоидентификации людей на уровень рода, племени, племенного объединения, народа, этноса, социальных групп (социумов) и т. д. Человеку это было и до сих пор важно, поскольку род, клан и т. п. поддерживают своих членов. В этом плане функция мифа — обеспечить духовное родство, единство ценностных представлений и обязательств людей друг перед другом и перед своим родом, его традициями и установлениями на разных уровнях этнической общности за счет осознания общности корней, истории, обычаев, богов и героев.

Наконец, в-шестых, с мифом связывают целый этап в развитии человеческого сознания и мышления, который якобы предшествовал современ-

ному этапу мышления рационально-логического и ранее целиком определял способ видения, постижения мира и поведения человека в нем. Этот взгляд на историю духовной жизни человечества был выдвинут в начале XIX в. немецкими философами-романтиками и филологами в связи с изучением народно-художественного творчества, прежде всего эпического. Миф в этом случае постулируется как необходимая стадия и фантазийная форма конкретно-образного постижения общих закономерностей мира и управляющих им сил. На пути к отвлеченно-обобщенному познанию мира в рационально-рассудочных формах, непосильных для наивного сознания, оно как будто первоначально должно пройти этап мифологического мышления, когда оно способно постигать абстракции, в особенности абстракции высокого порядка, якобы исключительно в нестрогом фантазийно-персонифицированном антропоморфно-моделированном виде в конкретно-личностных образах богов, полубогов, героев, духов и т. п. Мышление на мифологическом этапе в силу его конкретно-образного характера оказывается сродни поэтическому.

Идеи романтиков о золотом веке поэтического восприятия мира, о мифе как форме и способе миропонимания получили широкое распространение и прочно утвердились в науке и в расхожих представлениях о первобытном мышлении. И ныне еще отстаивается представление о «всеобщем господстве мифологии в первобытном мировоззрении», объясняемом «всеобщностью общинно-родовых связей и отношений, перенесенных на природу и весь мир, который воспринимается и трактуется как универсальная родовая община» (Эстетика: Словарь. М., 1989. С. 207). Даже при самом умеренном и даже критическом взгляде на роль мифа в структуре первобытного сознания в мифологии, как минимум, видят «своеобразную форму проявления мировоззрения древнего общества» (Философский словарь. М., 1980. С. 220).

Но так ли это? В какой мере это справедливо? Не оставляем ли мы первобытного человека с таким сознанием беспомощным перед лицом суровой действительности его дней? Как удавалось ему — и в конечном счете вполне успешно — решать сложные повседневные задачи выживания, накопления опыта и знаний и подчинения себе природы? Как согласуется это с наблюдениями за современными примитивными народами и культурами?

Эти вопросы серьезно подрывают доверие к научной состоятельности романтических представлений о «всеобщем господстве мифологии в первобытном мировоззрении», о мифологизме как стадии в развитии человеческого сознания, предвещающей современное рационально-рассудочное мышление. Очевидно, что этот взгляд отражает романтические устремления его протагонистов и сложился он не на основе целостной реконструкции первобытного сознания в полноте его функций и структуры, а как гиперболлизация одной его стороны, той, что нашла отражение и оказалась

доступной исследователям в дошедших до Нового времени памятниках эпических преданиях седой древности. Остальные же свидетельства повседневной работы сознания естественным образом как будто ушли в небытие. Время донесло до нас только самые впечатляющие образцы духовной жизни наших праотцов, которые поражали воображение и поэтому передавались из поколения в поколение. Но разве свидетельства других сторон духовной жизни, помимо фантазийно-игровой, не дошли до нас пусть не и прямом отражении, но в результатах в накопленном знании о мире?

А если так, то надо признать, что мифологизм не был доминантой духовной жизни наших далеких предков и не играл определяющей роли в структуре первобытного сознания. Миф никогда не определял целиком картину действительного мира, не преломлял, как призма, искажая полностью видение его — миф не подавлял и не подчинял полностью себе объективно обоснованное знание.

По-видимому, это наиболее универсальные и долговременные факторы, обуславливающие распространенность, устойчивость и принципиальную однородность мифологических представлений в пространстве и времени. Естественно, что они должны были с особой силой проявить себя в древности, в донаучные времена, обеспечивая расцвет мифа как особой, четко выявленной, развитой формы фидейного духовного творчества.

Как объяснение мира, миф апеллирует к вере и страшится проверки опытом. Сочетая в себе разные стороны и функции, миф обращен к непреложному миру, но, объясняя его, пользуется средствами фантазии и доказательство заменяет верой. Он стоит на переходе от фантазийно-игрового к фидейному сознанию. Люди верят и не верят мифам и держатся начеку, поскольку авторитет мифа содержится не в нем самом, а в его протагонистах, традиции и распространенности. Однако в любом случае миф впечатляет значимостью своего предмета, игрой ума и изобразительной силой.

До того времени, пока научное знание как таковое отсутствует, существуя в зародышевом виде как знание практическое, потребность в объяснении мира довольствуется минимально необходимой психологической защитой перед лицом величественного, непостижимого и устрашающего. Человек психологически осваивается в непреложном мире неподвластных ему верховных сил, укладывая в сознание их конкретно-образные, антропоморфно смоделированные формы и давая им имена. Признавая их могущество и даже наделяя их сакральным характером, он категоризирует их и ищет подступы к ним, довольствуясь до поры до времени суррогатом знания.

Такова природа человеческого сознания, в него встроены механизмы психологической защиты, которые были особо необходимы ему на заре его истории, когда создаваемая им вокруг себя артефактная среда была еще весьма тонкой и недостаточно защищала его от угроз внешнего

мира. И обратим внимание: человек не только заслоняется мифом на уровне страшного и непостижимого, но параллельно моделирует его в образной форме, упражняя свои способности конструирования мнимых миров. В этом аспекте миф проявляет и развивает проективную способность мышления.

Соответственно духовная деятельность и ее продукты при всем их разнообразии и наличии промежуточных и смешанных форм подразделяются прежде всего на те, что совершаются с оглядкой на действительность, и те, что свободны от установки на соответствие ей или коротко — на истинностно зависимые и истинностно независимые. Первые, так или иначе, нацелены на непреложный мир, имеют конечной своей задачей на том или ином уровне, в той или иной части, в той или иной мере постижение и описание реального мира и видят в этом свою ценность и назначение. Они референционно ориентированы и, в свою очередь, подразделяются по способу обоснования истинности на рационально-логические (или рассудочные) и фидейные. Первые, как уже сказано, возводят свою истинность к опыту и строгому мышлению и готовы к верификации, вторые опираются на веру и проистекающий из нее императив думать так и не иначе: «на том стою и не могу иначе».

Идя дальше, рационально-логические концепты (суждения, утверждения, положения, умозаключения, рассуждения и пр.) можно разделить на отражательные и проективные (конструктивные). Первые — наблюдения (опыт, практика) и основанные на этом выводы, обобщения, заключения. Вторые строят мир артефактов и поступков, основываясь на первых (замыслы, проекты, прогнозы, планы, гипотезы). Первые видят мир таким, каков он есть, вторые — таким, каким он будет или должен быть.

Наконец, в области чистой фантазии мысль свободна, насколько это возможно, от оков непреложного мира, она внереференционна и поэтому истинностно-независима, она творит мнимые миры, не заботясь о том, возможные это миры или нет: ее денотаты могут не покидать головы, т. е. существуют лишь идеально, а значит, и не существуют вполне (пустые классы). Это область чистой игры ума, фантазийно-игровой деятельности сознания. Ее продукты многообразны и, объективируясь для всех, составляют целые фольклорные и литературные жанры или входят органичной частью в них (сказка, фэнтэзи, анекдот, басня, триллер, детектив, *англ. fiction* и т. д.).

Те мифы, которые составляют предмет наших рассуждений, — мифы донаучного (сознания) — определенно лежали на поддороге между фантазийной игрой и истинностно-зависимым фидейным мышлением, и это предопределило их судьбу: повязав себя фантазией, вера подрывает свой шанс стать знанием. Отличаясь, быть может, большей значимостью своего предмета и большим фидейным авторитетом за счет, прежде всего, выхода в сферу сакрального, миф относится к тому ряду фидейно-фантазийного творчества, что и разного рода предания, в том числе религиозные, расска-

зы о чудесах, сказания, саги, легенды, были, народные баллады и многие иные произведения народного эпоса.

Родовая черта жанров истинностно-независимого ряда в том и состоит, что они изначально не претендуют на фактуальность: фантазия не связывает своего полета соответствием действительности и свободна комбинировать ее элементы вне рамок возможного, это принимается всеми как коммуникативная презумпция жанров этого рода.

Напротив, фидейная коммуникация и ее жанры ставят себя в более сложное положение: они истинностно-зависимы, хотя и не связывают себя доказательством своих представлений, предлагая — а в случае мифа требуя — принять их на веру. Ведь без веры все равно не обойтись в собирании знаний: разве громадная часть того, что мне известно, не известно мне от других?

Такова принципиальная картина. Но, понятно, ее рамки вмещают богатое разнообразие частных случаев: возможно множество вариантов сочетания строгого знания с приблизительным, достоверного — с мнимым, правильного — с ошибочным, реального — с вымыслом. Достоверное и мнимое в продуктах духовного творчества и в формах как истинностно-зависимой, так и истинностно-независимой коммуникации проявляет себя в разнообразных комбинациях не только на уровне сочетания вещей — признаков — событий, но и на разных уровнях сочетания индивидуального и типичного, случайного и характерного, частного и общего. За примерами далеко ходить не приходится: с одной стороны, реальные денотаты и события изображаются попеременно и во взаимодействии с несуществующими, а с другой — мнимые денотаты и события достоверны, но не на уровне фактуального, а на уровне типического и характерного.

Но все это многообразие комбинаторики достоверного и мнимого, фактуального и вымышленного никак не отменяет, а, напротив, становится возможным и совершается в рамках и на фоне принципиального различия двух диаметральных установок в мышлении и коммуникации — на зависимость или автономию от состояния дел в реальном мире.

На первом этапе фантазия, порождая миф, отступает перед верой в его действительную значимость. Но время не приносит доказательств его правоты, наука и опыт развенчивают и опровергают его, и он вырождается в сказку, возвращаясь в область истинностно-независимых фантазий. Фантазийно-игровой и художественно-эстетический элементы, первоначально игравшие в нем подчиненную роль, теперь выдвигаются на первый план. Объяснительная функция мифа выветривается, и если он продолжает впечатлять, то только как часть ритуала, значение которого важно, но темно. Теперь он держится силой традиции и художественной фантазии.

Уже в античном мире, который уверенно на тысячелетия вперед утвердил рационализм как магистральный путь развития общественного сознания, миф не был органическим компонентом миропонимания, из него

исчезал сакральный дух, рассеявшись в потемках перед христианством: в последнем случае религиозное сознание опиралось не на собрание выветрившихся им персональных мифов, а на созвучный времени целостный миф о Сыне Божьем и живую проповедь новой религиозной доктрины из уст Христа и его учеников. Миф переставал быть содержательно значимой частью ритуальных таинств, он приобретал характер формально-обрядовый, традиционно-значимый и художественно-декоративный. В конечном счете миф и его компоненты вторично семиотизируются как эстетические символы.

Вся история мифа — это история «редукции» фидейного сознания под натиском рационально-логического мышления. Миф уступает науке функцию объяснения мира в той мере, в какой вера исчерпывает кредит доверия. Но уступая науке в одних областях, прежде всего в сфере точного и естественнонаучного знания, она сохраняет достаточно места для своего приложения: не все открыто науке, по крайней мере в данный момент, и есть много сложных областей, где мало строгого или какого-либо вообще знания, не говоря уже о неизбежной ограниченности индивидуального (со)знания. В трудные времена в особенности люди укрепляют свой дух верой и охотно впускают в свое сознание мифы, в особенности мифы инспирационные, мифы надежды и веры, ибо известно, что вера и надежда умирают последними, а обман мало чему учит. Знание слабо сопротивляется внушению и плохо противостоит желанию.

Общий итог наших размышлений можно проиллюстрировать анализом конкретного примера. Когда кому-то когда-то доведется столкнуться с утверждением вроде «Я — волк», то в зависимости от обстоятельств коммуникации с ним могут быть связаны разные смыслы и комбинации их:

- чисто фантазийно-игровой смысл, предполагающий выход из непреложного мира действительности: например, приглашение поиграть «в волков», как в детской песне;
- метафорический смысл: например, попытку обозначить нечто реально или мнимо общее с волками;
- идентификационный смысл: указание родовой или просто клановой принадлежности, тотемных корней со всеми вытекающими из этого социально значимыми следствиями;
- фидейный смысл: например, вопреки реальности говорящий отождествляет себя с волком, по той или иной причине уверовав в это, например, по причине помешательства, подобно тому как тронувшийся умом мельник в «Русалке» А. С. Пушкина считал себя вороном;
- обманный смысл: имеет место, например, когда кто-то пугает детей, объявив себя волком. Эффект и воздействие этого приема обусловлены одновременным осмыслением его в нескольких смыслах: вопреки очевидности игра простодушно смешивается с реальностью; заявлению верят и не верят; и даже не веря, на всякий случай остерегаются.

Такова сложная многоаспектная реальность человеческого сознания. В зависимости от обстоятельств разные его стороны порознь или вместе, солидарно или конфликтно проявляют себя в мыслительных процессах. Нет серьезных оснований полагать, что в эпоху мифотворчества люди были намного простодушнее, чем современные дети. Просто они располагали несравнимо меньшими знанием мира и властью над ним. Но и в этих обстоятельствах аналогия, при всей ее огромной значимости в мыслительном моделировании мира, контролировалась и направлялась рационально-таксономической логикой и играла подчиненную роль в построении той части умственной картины (модели) мира, которая была сколько-то практически значима для человека. Аналогии давалась воля в тех высоких эмпириях мира, которые хоть и требовали объяснения для психологического комфорта людей, но были вне их власти и за рамками их созидательной деятельности.

1.3. Пространство и время в ментальных мирах

Среди ментальных миров сознания первичным, как сказано, является тот, который принял на себя обязательство соответствовать действительному миру, быть его мыслительным коррелятом. Это — базисный мир сознания, и строится он, при всех его заблуждениях и неполной адекватности, на принципах истинности и верифицируемости. Все прочие ментальные миры вторичны по отношению к нему, они строятся на его основе и оцениваются с оглядкой на него. Иначе и нельзя, так как психика не отвечала бы своему назначению — обеспечивать успешную ориентацию и существование субъекта в действительном непреложном мире (Никитин, 1998).

Концепты онтологического пространства и времени относятся к числу центральных в системе базисных представлений о мироустройстве, каким оно видится обыденному сознанию. Эта наивная философия мира исходит из принципа вещецентризма, полагая, что вещь первична, а признаки — вторичны и не существуют сами по себе, но отвлекаются от вещей как то, что делает вещи сходными и различными. Вещи населяют пространство мира и существуют во времени. Они вступают в отношения и меняются со временем сами по себе и/или как результат отношений.

Формирование и освоение абстрактных обобщенных представлений, к каковым относятся и концепты пространства и времени, проходят, как известно, с опорой на их более конкретные прототипические проявления и более наглядные аналоги. Прототипическим образом пространства служит некий объем с неопределенными открытыми границами — скорее всего образ раздвигаемого без предела в трех измерениях куба, а не сферы, что связано с необходимостью координатного позиционирования вещей и со-

бытий в нем. Более того, это базисное представление о пространстве люди склонны сводить к двумерному — представлению о поверхности со слабо разработанным третьим измерением высоты (и еще более слабо разработанным измерением глубины), что, несомненно, обусловлено обстоятельствами и опытом привычного существования людей на земной тверди.

Так или иначе, в этой первородной, наивно-обобщенной модели мира пространство представляется как пустое неограниченное вместилище, заполняемое в разных своих частях-местах вещами. Вещи помещаются в нем, движутся в нем и со временем меняются. Меняются они не только по своему положению в пространстве относительно координат отсчета (перемещение как пространственное изменение, изменение положения вещи в пространстве), но меняются и сами по себе в результате происходящих в них процессов и в результате тех отношений, в которые они вступают (собственное изменение сущностей мира). Само пространство при этом нейтрально по отношению к вещам, оно их вмещает, но не взаимодействует с ними: вещи сами находят себе место или их помещают в нем.

Это наиболее конкретный обобщенный образ пространства, которым люди руководствуются в своей практической обыденной деятельности. Он одинаков у всех людей независимо от языка и составляет один из центральных, системообразующих концептов в наивной философии мироустройства — в базисной ментальной картине (модели) действительного мира. От этой базисной модели пространства начинается «отсчет» модификаций и трансформаций идеи пространства во всех иных, вторичных, ментальных мирах — фидейно-мифологических и фантазийно-игровых — (Никитин, 1998) в разнообразных их вариантах, включая художественные.

Иначе обстоит дело с научными физическими концепциями пространства, а также и времени, которые должны считаться с данными опыта, выходящими далеко за пределы обыденного мира человеческого существования, вступающими в противоречие с наивной философией мира и потому требующими ее преодоления (ср. концепции пространства и времени в теории относительности и квантовой механике).

Что касается семантического варьирования слова «пространство», то оно совершается по обычным моделям тропеизации (в широком смысле термина) — метонимической (синекдохальной) и метафорической. В одном случае слово обозначает не только пространство вообще как целое, но некую ограниченную часть пространства, становясь синонимом «места». При этом, однако, «пространство» тяготеет к обозначению обширных нечетко ограниченных пространств, ср. «безвоздушное пространство», но «место встречи» и т. п. Каждый язык добавляет к этому свои нюансы в семантическом «картографировании» концептуальных структур. Так, английское *space* в партитивном значении склонилось к обозначению частей незанятого пространства — свободных промежутков. Вместе с тем в рус-

ском языке при обозначении внеземного пространства предпочтение отдано «космосу» и т. д.

В переносном смысле «пространство» ныне готовно предлагает себя для метафорического обозначения разнообразных, ментальных и иных тематических областей, образуемых действием некоего категориального признака, полей, стягиваемых в целое неким общим принципом, ср. «правовое/экономическое пространство (поле)» и т. п.

Время — вторая, наряду с пространством, среда, в которую обыденное сознание «помещает» вещи и события. Точнее сказать, время представляется нам не как вторая среда, а как другая сторона, другой аспект той единой среды, в которой существуют сущности, происходят события и совершаются изменения. Время — категория еще более абстрактная и сложная для постижения, чем пространство, и постигается оно через последнее. Объяснение этому лежит в особенностях механизмов осознания. Пространство потому «роднее» сознанию как основа мыслительных операций, что оно статично. Осознание мира и в его статике, и в его динамике требует всякий раз «останавливать мгновения», расчленять поток восприятия на кадры, с тем чтобы фиксировать их в памяти и получать время на анализ. Непрерывные секвенции мира сознание преобразует в раскадрированные секвенции осознаваемого. Непрерывная динамика мира осваивается сознанием как секвенция статических состояний.

Понятие времени онтогенетически осваивается людьми как готовая данность вместе с освоением языка, а филогенетически понятие о нем является как предельное обобщение наблюдений за изменениями. Всякое изменение требует времени, совершается и разворачивается во времени. Время — максимально обобщенная абстракция от изменений, то общее, что сводит их вместе, сколько разнородными они бы ни были. Но начинается формирование этого непростого концепта на более наглядной основе пространственной динамики — изменения положения вещей в пространстве. Представление о времени начинается с перемещения, и далее этот концепт расширяет свой экстенционал, охватывая всякие изменения в отвлечении от их качественных различий единой категорией времени как самой общей их чертой. В качестве такой максимально обобщенной и качественно выхолащенной характеристики время сводит воедино все и всякие изменения — изменения пространственного положения вещей, т. е. внешние изменения координат вещи по отношению к другим вещам, и собственные изменения вещи, т. е. внутренние изменения вещи по отношению к другим ее состояниям. В этом смысле изменение запускает механизм времени.

До этого момента, привязывая время к изменению, наивная философия мироустройства не расходилась бы существенно с пониманием времени в современной физике (теория относительности) как четвертого измерения вещей, если бы не был сделан следующий шаг. Подобно тому, как в обыденных представлениях о привычном геоцентрическом мире допустим

в его ограниченных пределах, практически удобен и принимается принцип вещецентризма и вместе с ним происходит «отрыв» вещей от пространства и абсолютизация последнего как нейтральной, «безучастной» к населяющим его вещам и событиям среды их обитания, аналогичным образом абсолютизируют время, отрывая его от меняющихся вещей и происходящих событий в качестве нейтральной среды их осуществления.

Необходимость в измерении скорости изменений, и прежде всего скорости и длительности механических движений (перемещений), длительности процессов и длительности состояний (отсутствий изменений), требовала введения меры времени. Введение же меры времени отрывает время от качественной специфики изменений и приводит к его абсолютизации.

В поисках мер времени человек закономерно обратился к наиболее устойчивым циклическим процессам и нашел их в микромире (смена фаз луны, восходы и заходы солнца, приливы и отливы, смена времен года, изменения в положении небесных светил и т. д.). Макромир космоса демонстрировал наибольшую стабильность своих циклических процессов и не только лучшим образом служил для измерения времени, но и укреплял в убеждении, что время абсолютно, независимо от вещей и образует, наряду с пространством, еще одно, динамическое, измерение мира.

Общая идея времени с трудом дается обыденному сознанию в своем максимально абстрактном виде. В отличие от пространства, время настолько абстрактно, что в объеме этого понятия нет некой более конкретной и наглядной части, на которую сознание могло бы опереться в качестве прототипа — пусть не исчерпывающей, но характерной части всего объема усваиваемого понятия. Время постигается человеком скорее интуитивно, чем посредством разума. Как обычно в ситуациях подобного рода, человек прибегает к помощи метафор для уяснения сложного понятия. Интуиция достаточно четко очерчивает ему границы и содержание абстрактного концепта и обеспечивает должный отбор аналогических средств описания. Ср. *время не остановишь; время идет, течет* (при субъективном переживании времени: *время бежит, тянется, остановилось* и т. п.).

Самым частым и максимально изобразительным аналогом времени, по-видимому, надо считать метафору потока (необратимость вектора движения, плавность вечного течения, неосязаемая, но неумолимая сила подхвата). А в качестве символа необратимости времени служит изображение стрелы — обычная метафора однонаправленных векторных процессов.

Что касается многозначности слова «время», то его семантическая структура несколько более разветвлена сравнительно с «пространством», но в обоих случаях есть принципиальное сходство в структуре полисемии. Общая идея абстрактного пространства и времени варьирует по синекдохальной и — шире — метонимической основе, так что «время» также обозначает некоторую свою часть (ср. *времени не хватит*), некий момент на

временной оси (*время пришло*) и некую временную длительность совместно с ее вещным и событийным наполнением (*дурное время, экономить время*).

Таким образом, необходимость в определении положения вещей и места событий относительно друг друга и в некоторой широкой, не сказать универсальной, координатной сетке породило один удобный, полезный и операционно вполне удовлетворительный конструкт — концепт открытого пространства какместилища вещей. Вместе с тем потребности в измерении длительности процессов и состояний и определении их места на некоторой максимально протяженной оси, в определении их положения (отстояния) относительно друг друга на этой оси породило другой удобный, полезный и операционно вполне удовлетворительный конструкт — концепт времени как изменения, максимально отвлеченного от какой-либо качественной специфики, но зато доступного измерению.

Надо напомнить, что эта наивная концепция времени была подкреплена авторитетом философов уже в античные времена (Демокрит, Эпикур и др.) и продержалась в науке (в том числе в естественных науках) вплоть до XX столетия, когда под давлением новых фактов в теории относительности была радикально пересмотрена зависимость пространства-времени от масс и скоростей. Но наивные конструкты никуда не исчезли, остались в обыденном сознании и языке.

Оба эти конструкта, как сказано, отрывают пространство и время от вещей в качестве нейтральной и независимой от них среды. В этих пунктах наивная философия мира, как и во многих других, не согласуется с современным научным знанием, но в ограниченных пределах привычного нам мира они со своими задачами справляются, и человек не спешит с ними расставаться: недостаточность их не ощущается, а достоинство налицо — возможность определять положение вещей и моменты времени, измерять протяженности, длительности и др.

Кроме того, полное отвлечение от качественной специфики изменений позволяет ставить отсутствие изменений на одну доску с изменениями и измерять и то, и другое в терминах времени как длительности. Тем самым состояния получают временную характеристику. Однако с принятых позиций абсолютного времени как универсальной среды изменений отсутствие изменений осознается как частный и временный случай, вторичный на фоне изменения: изменение вечно, покой недолговечен. И здесь обнаруживается органическая противоречивость наивной философии времени: в мире вечно покоя время не исчезает, так как оно предпослано изменениям, но оно становится пустым и лишается измерения: нет изменений, нечего измерять.

Но так же обстоит дело с наивной концепцией пространства. Оно предпослано вещам, и без вещного наполнения не исчезает, но, становясь пустым, лишается измерений: нет вещей, нет расстояний, координат, скоростей, взаимодействий и пр.

Обе абстракции наивной философии негласно предпосылаются вещам и изменениям и молчаливо признаются независимыми от них, но смысл они приобретают только при условии наполнения их вещами и изменениями. Так называемый здравый смысл упирается в парадокс: пустые пространство и время возможны, но так не бывает.

Таким образом, во всех ментальных мирах обыденного сознания пространство и время, пока они не становятся специальным объектом уразумения и теоретизирования (ср. *космогоническая мифология*), представляются совокупно чем-то вроде вечного и бесконечного ристалища, безразличного к тому, какие фигуранты появляются и сменяются на его поле и какие действия на нем разыгрываются. Обыденное сознание принимает такие пространство и время как данность, не представляющую особого интереса. Интересует же его отраженный в нем образ заполненного (населенного) пространства и времени — этот единый топохрон(ос) вместе с тем, что его населяет, взаимодействует и калейдоскопически изменяется в нем.

Пространственно-временные закономерности существования вещей в действительном непреложном мире получают, наряду с другими, должное отражение в базисном ментальном мере сознания в виде вероятностных моделей обязательного, возможного и недопустимого. Эти модели (фреймы, схемы, энграммы, планы и т. п.) в силу их принадлежности к базовым когнитивно-прагматическим структурам сознания, обеспечивающим ориентацию и успешное существование субъекта в реальном мире, столь же непреложны по определению, как и сам этот мир. Они составляют обязательную часть привычного ментального мира сознания и не могут быть выведены из сознания и заменены другими. Они лишь модифицируются, видоизменяются и углубляются, но не по абберрации или фантазийно-игровой прихоти сознания, а в процессах познания мира. В таком своем качестве они составляют неустранимый фон любого вторичного ментального мира, его подспудную основу — основу, с которой соотносят и сверяют и в терминах которой интерпретируют, оценивают, содержательно реконструируют и восстанавливают реальные картины, образы наполненного (населенного) топохроноса независимо от того, как он подан вербально.

Топохронос как образ некоего фрагмента единого пространства-времени, наполненного и меняющегося в соответствии с законами реального мира, противостоит бахтинскому хронотопу, как форме подачи (репрезентации, изображения) пространственно-временных отношений, обусловленной спецификой протекания мыслительных процессов, обстоятельствами и условиями коммуникации, прагматическими задачами общения, исторически сложившимися моделями вербальной, устной и письменной, коммуникации (системы жанров, стилей и т. п.).

Топохронос и хронотоп, таким образом, соотносится как содержание (смысл) и форма сообщения в той его части, которая касается его пространственно-временных параметров, характеристик и отношений. Топохронос един, и его содержание не меняется от того, как оно представлено в поверхностных структурах сообщений. Поверхностное значение хронотопа переводится на глубинный смысл топохроноса. На «языке» топохроноса восстанавливаются реальные пространственно-временные характеристики денотатов в сообщениях: их расположение, пространственно-временные связи, зависимости и динамика их изменений, протяженности вещей и длительности событий, их последовательности и совмещенности, локализация в пространстве и времени и т. п. Вместе с тем результирующий смысл сообщения осложняется обертонами за счет неслучайного различия в содержательных структурах поверхностного хронотопа и глубинного топохроноса.

В речемыслительных процессах и их вербальных произведениях реальные картины населенного топохроноса репрезентируются в трансформированном виде, и это неизбежное и необходимое следствие природы и назначения этих процессов. Реальный топохронос как реконструкция пространственно-временной стороны сообщений о мире может разительно отличаться от того, как он подан хронотопом, т. е. от буквально выраженных содержания и структуры вербальных форм. В сравнении с реальным топохроносом хронотоп неизбежно редуцирует его содержание, помещая многое в область имплицитных пресуппозиций. И это не самое главное. Хронотоп по-своему структурирует, но отнюдь не пространство и время как таковые, а их речемыслительную репрезентацию, т. е. структурирует ментальный процесс речевого отображения топохроноса в каком-то конкретном случае.

Надо сказать, что тут мы сталкиваемся с весьма распространенной иллюзией: различия в речемыслительной подаче пространственно-временных характеристик описываемого мира приписывают самому миру и соответственно представлениям людей о пространственно-временном устройстве мира, их специфическому пониманию закономерностей реального топохроноса. На деле же задача должна быть смещена от видения мира, пространства и времени к установлению причин и целей, обуславливающих выбор той или той модели хронотопического описания мира. Наличие у говорящих принципиально единообразных представлений об устройстве реального топохроноса как необходимое условие обеспечивает принципиально единообразное понимание, нивелируя различия в хронотопических моделях и схемах описания.

Речь идет о случаях, когда за конкретным эксплицитно выраженным хронотопом исследователи теряют из виду имплицитно стоящий за ним топохронос — объективный образ пространственно-временного устройства описываемого мира. отождествление хронотопа с топохроносом искажает

реальный мыслительный процесс создания и понимания текста, обедняет многослойность его содержательной структуры и приводит к ложным утверждениям о природе пространства и времени и роли пространственно-временного компонента в содержательной архитектонике художественного текста.

Следует иметь в виду, что хронотоп своей формой производит мнимую, чисто ментальную, субъективную переструктуризацию объективного пространства-времени, которая, однако, обусловлена какими-то причинами и преследует какие-то цели. Достижимые при этом эффекты и называют художественным временем. Структура хронотопа переключает текст с описания мира, как он есть, на развертывание мыслительных процессов описания мира. Идя дальше по этому пути, художественная литература уходит в современную психологическую прозу, в которой денотат описания уступает место описанию как денотату: отражающий ментальный мир переключает внимание на себя с отражаемого мира действительности.

Пока же отражаемый мир не исчез еще из поля зрения, а лишь выходит из фокуса внимания. Но стоит сделать еще один радикальный шаг, и он теряется из виду. Это происходит, когда в объективных категориях отражаемого действительного мира видят всего лишь субъективные свойства отражающего ментального мира. Применительно к понятиям пространства и времени существует давняя, принятая в ряде философских направлений (классический немецкий идеализм, интуитивизм А. Бергсона, феноменализм Э. Гуссерля, экзистенциализм, философский иррационализм и др.) традиция отказывать пространству и времени в объективности и помещать их в число прирожденных свойств сознания, упорядочивающих содержание нашего опыта.

Другая, еще более важная, причина, по которой пространству и времени склонны отказывать в объективности, отыскивается в абсолютизации субъективного восприятия и переживания реального топохроноса в человеческой психике (так называемое психологическое время). В результате «кажимость» тех или иных объективных фрагментов населенного пространства и времени в восприятии приравнивают к проявлениям самого пространства-времени, так что некие конечные протяженности и длительности представляются «бесконечными» или, напротив, «пролетают незаметно».

Тем самым выражения с семантикой «психологического времени» порождают весьма распространенную среди исследователей иллюзию: психологические «кажимости» субъективного восприятия и оценочного переживания пространственно-временных параметров событий напрямую отождествляют с характеристиками объективного топохроноса, приписывая ему способности стягиваться и расширяться, замедляться и ускоряться (разумеется в обыденном понимании, а не в смысле релятивистской физи-

ки), останавливаться и приходить в движение и т. п. (ср. З. Я. Тураева, 1979, 1982).

На деле же выражения эти не должны пониматься прямозначно, так как относятся они не к каким-то пространственно-временным характеристикам и параметрам вещей и событий, а являются попыткой метафорически описать обусловленные ими психические реакции, представления и переживания.

Еще одним источником мифологизации и мистификации представлений о пространстве и времени, приписывания им самых невероятных свойств служат непрямозначные тропеические выражения с этими словами, понятыми в прямом смысле. Ошибка проистекает из буквального их осмысления, тогда как их следует семантизировать гораздо более сложным образом — по правилам не прямой номинации. Речь идет о выражениях вроде «трехмерное пространство языка, время — деньги, время лечит и калечит, время все расставит на свои места, время не пощадило его» и т. п. Семантика их сложнее, чем может показаться на первый взгляд: в свернутом виде, тропеически они представляют события достаточно сложной структуры.

В приведенных примерах «пространство» — метафора трехчастной структуры языка, и это простейший случай. «Время» в других примерах метонимически обозначает огнюдь не само время, а действия и события, заполняющие временные протяженности; именно они, а не время как таковое производят указанные в выражениях следствия. Между тем сплошь и рядом в тропеизмах этого рода видят основание для того, чтобы наивно приписывать времени напрямую, например, качество агента и наделять его «способностью воздействовать на события» (Спицына, 2001).

Разумеется, нет никаких оснований протестовать против использования слов «пространство» и «время» в тропеических значениях. Они уже закреплены узусом. Дело в другом. Есть все основания решительно протестовать против тропеического осмысления самих пространства и времени, т. е. переносить на денотаты и их концепты способ непрямозначного их обозначения и выражения. Концепты первичны по отношению к знакам и достаточно автономны от них: они складываются и различаются в сознании не столько на основе выражающих их знаков, а на более капитальной основе — как отражение структур мира и деятельности. Единство класса денотатов, равно как тождество и различие концептов, не извлекается из знаков. Семантическое единство многозначного знака свидетельствует не о едином концепте, а о деривационном ассоциировании разных концептов.

В целом, как можно видеть, иллюзорные представления о пространстве и времени, искажающие и мифологизирующие эти фундаментальные категории бытия, порождаются рядом взаимосвязанных ошибочных теоретических предпосылок:

— неразличением поверхностного значения и глубинного смысла языковых структур, хронотопа и топохроноса, буквального прямого и реального переносного значений языковых выражений (как в случае «художественного времени и пространства»): реальная зависимость между теми и другими искажается, и в результате имеет место необоснованная инверсия реальной зависимости между ними — обратная проекция первых на вторые);

— инверсией (обратной проекцией) отражающего мира в мир отражаемый (как в случае «психологического времени и пространства»);

— неучетом иерархии ментальных миров — базисного первичного ментального мира как отражения непреложного мира действительности и вторичных фантазийно-игровых миров сознания (Никитин 1997, 1998), в большей или меньшей степени отклоняющихся или прямо нарушающих модели того, что возможно в реальном топохроносе и что фиксировано сознанием как вероятностная норма действительного мира; в результате снова искажается реальная зависимость между ними и имеет место неправильная инверсия ментальных миров, обратная проекция мнимых фантазийно-игровых миров в базисный мир отражения действительности (характерные примеры семантических сдвигов и концептуальных различий в толковании понятий пространства и времени, а также примеры многочисленных их разновидностей читатель найдет, например, в работах: Гуревич, 1968; Лихачев, 1962, 1967; Лотман, 1968, 1987; Мостепаненко, 1969, 1974; Мотылева, Ржевская, 1969; Топоров, 1983; Тураева, 1978, 1982; Уитроу, 1964; Clark, 1973. См. также более обширный список литературы в конце: в названиях работ широко используются возможности семантического варьирования терминов «пространство» и «время»: «язык пространства и пространство языка», «сюжетное пространство (русского романа)», «пространства кинематического типа», «семиотика пространства и пространство семиотики», «языковые модели пространства и времени», «риторическое пространство» и т. п.).

Диапазон возможного в реальном топохроносе, т. е. диапазон того, как и чем может быть населено пространство и время действительного мира, каковы возможные взаимодействия и изменения вещей и систем в этом мире, разумеется, чрезвычайно широк. Тем не менее и на своем пространственно-временном уровне вероятностный мир действительности управляется вполне определенными закономерностями той же вероятностной природы. Эти закономерности достаточно четко осознаются как норма базисного ментального мира. Равным образом осознаются намеренные нарушения этих норм в многообразных мнимых мирах сознания, которые оно строит для разных целей и по разным причинам, — осознаются и создают разнообразные комплексы содержательных эффектов, игровых, комических, познавательных, обучающих и т. д., как, например, в малых

фольклорных формах с шутливой перекройкой мира. Ср. *Ехала деревня мимо мужика. / Вдруг из-под собаки лают ворота...*

Подведем итог основным идеям:

1. Действительный мир — это единство линейно связанных и закономерно взаимодействующих в пространстве и времени сущностей. Металльный мир — отраженное и/или сконструированное сознанием единство линейно связанных и взаимодействующих ментальных сущностей. Действительный мир един и непреложен, мыслительные (ментальные) миры многообразны и образуют иерархию. В основе этой иерархии лежит базисный ментальный мир как отражение действительного непреложного мира с его жесткими и вероятностными связями и закономерностями. Все прочие ментальные миры суть мнимые миры с разной, никогда не абсолютной, мерой автономии от базисного мира, миры возможные и невозможные (иррациональные), в том числе фантазийно-игровые.

Поскольку вторичные ментальные миры никогда абсолютно не свободны от первичного в иерархии ментальных миров базисного мира, они представляют собой в большей или меньшей степени комбинацию элементов того, что возможно и невозможно в действительности.

2. В наивной философии устройства действительного мира, покоящейся на принципе вещечентризма и отразившейся как универсалия в семантической структуре естественных языков, пространство и время представляются как открытые, неконечные, нейтральные вместилища взаимодействующих между собой и меняющихся вещей — одно статическое, трехмерное (пространство), другое — динамическое, однопавленное, с необратимым вектором (время). Пространство и время в силу их неразрывной связи образуют статико-динамическое единство (пространство-время).

3. Такое понимание пространства и времени как абсолютных, неизменных и независимых от вещей констант мира складывается интуитивно и складывается отнюдь не потому, что сами пространство и время составляют предмет интереса для обыденного сознания, а по той причине, что оно отвечает потребности в локализации вещей и событий в пространстве и времени. Людей в первую очередь интересует населенное пространство и время и пространственно-временные характеристики вещей и событий. Их интересует топохронос — статика и динамика населенных участков мира. Абсолютные, неизменные и независимые от вещей пространство и время позволяют локализовать населяющие его вещи и события по месту и времени относительно условных мер и точек отсчета, т. е. по их количественным пространственно-временным параметрам.

4. Информационная обработка впечатлений от мира в мозгу не моментальна, а требует какого-то времени. Поэтому динамика непрерывных изменений раскадрирована в сознании на ряд нетождественных статических картин населенного пространства. В силу этого пространственная статика

«роднее» сознанию, а усвоение понятия времени оказывается для него более сложной задачей, которую оно первоначально решает на основе пространственных представлений, переводя (собственно — пересчитывая) временные характеристики в их временные корреляты, например, длительности событий в протяженности расстояний. Абстрактное понятие времени усваивается на основе понятия об изменениях — в положении или состоянии вещей. Интуитивное принятие концепции абсолютно неизменного и независимого от вещей и событий времени мотивировалось насущной потребностью в измерении времени (длительности и временной локализации) событий посредством условной, но универсальной меры, безотносительно к качеству изменений.

5. За исключением особых случаев (физика, философия, психология восприятия времени и т. п.), природа реального пространства и времени (так называемое физическое пространство-время) не входит в круг забот ни обыденной практики, ни большинства наук, включая лингвистику и литературоведение. Достаточно довольствоваться интуитивными представлениями того рода, о которых говорилось выше. Другое дело пространственно-временные характеристики вещей и событий в населенном пространстве-времени и их отражение в сознании, а именно:

- картины и модели топохроноса в базисном ментальном мире;
- субъективно-оценочное переживание и впечатления от мира на уровне топохроноса;
- способы репрезентации топохроноса для другого сознания, содержание и структура объективного топохроноса, преобразованного в субъективный хронотоп сообразно условиям, целям и задачам коммуникации.

Поэтому когда говорят напрямую о пространстве и времени, их свойствах и особенностях у тех или иных авторов, в текстах и жанрах того или иного рода, то реально имеют в виду не пространство и время как таковые, а пространственно-временные признаки вещей и событий в населенном пространстве-времени, характер их субъективно-синестезического восприятия и субъективную реструктуризацию топохроноса. «Пространство» и «время» выступают тут в качестве экононых непрямозначных обозначений — метонимий и метафор. Денотаты этих слов переключают предмет мысли с пространства и времени как таковых на пространственно-временную организацию изображаемых миров, на пространственно-временные параметры и характеристики вещей и событий в отраженном и отражающем мирах.

И в этом нет никакой беды, но лишь до поры до времени — пока метонимия и метафора не вводят в соблазн буквального, прямозначного их понимания. Происходит незаметная аберрация понятий пространства и времени, и им присваивают такие свойства, какие принадлежат не им самим, а миру, вещам и событиям в нем применительно к их пространственно-временной организации и характеристикам.

Тогда тропеизм оборачивается отрицательной своей стороной, и в пору от восторгов — в целом вполне оправданных — по поводу его многообразных, в том числе когнитивных, достоинств обратить внимание на связанные с ним опасности для когниции. Метафоры и метонимии, в особенности последние, не только помогают понять мир и обозначить его сущности, но, принятые без должной осторожности, оказываются источником иллюзий и заблуждений на предмет обозначаемых ими денотатов. В случае метонимии эти заблуждения могут быть особенно велики и незаметны, так что есть основание говорить об искушении метонимией — метонимическом соблазне, подстерегающем чрезмерно доверчивых приверженцев языковой формы.

1.4. Категоризация мира в сознании

1.4.1. Тождества и различия с когнитивных позиций

Говоря о языке (vs. речь) и понимая под ним структуру языка как формы, Ф. де Соссюр не без основания полагал, что в языке нет ничего, кроме тождеств и различий (Соссюр). Но это положение универсально и должно быть распространено далеко за пределы языка. Всякого рода ориентация в мире и категоризация его сущностей, т. е. всякая практическая и исследовательская деятельность, начинается с отождествлений и различений. Этого достаточно, чтобы оправдать интерес к разработке этой темы с более широких, чем логические, когнитивных позиций. В нашу задачу здесь входит когнитивная типология тождеств.

В основе простейшего представления о тождествах лежит представление о пространственно-непрерывной (континуальной) цельности физического тела в пространственных границах. Физическое тело в «наследуемых» им пространственных границах считается одним и тем же объектом, остается тождественным самому себе при условии континуальности границ его пространственного вместилища независимо от того, какие изменения со временем претерпевают эти границы и сам объект в пределах этих границ, его облик, форма, содержание и сама сущность (качество). Это наиболее наглядный и конкретный вид тождественности — континуальное тождество физического тела: объекта или комбинации объектов с пространственной границей.

Прототипический характер тождеств этого рода, безусловно, связан с той принципиальной особенностью обыденного сознания («здорового смысла») и принимаемой им моделью мира, согласно которым вещь первична, а признаки (свойства и отношения) — вторичны, не существуют сами по себе, а лишь мысленно отвлекаются от них как абстрактные пред-

меты мысли. События также вторичны по отношению к вещам, как результат того, что вещи со своим качеством (про)являют себя и вступают в отношения друг с другом. Принцип вещесентризма заставляет обыденное сознание до конца держаться за пространственные тела и их комбинации как наиболее наглядный случай носителей свойств и отношений. Отсюда и представление о континуальном тождестве вещи-тела как о прототипическом случае тождества, невзирая на все изменения, которые конкретный предмет претерпевает со временем.

Однако континуальность объекта в его пространственном «контейнере» далеко не единственный вид тождества. Отождествлению подвергаются как отдельные проявления одного объекта (денотата — на знаковом уровне), так и разные объекты (денотаты). Континуальное тождество — тождество во времени — иллюстрирует первый случай, о других речь пойдет ниже. Всякий раз отождествление производится по какому-то определенному основанию — признаку, по которому объекты сводятся в тождества. Одна и та же вещь (уже отождествленная!) может входить в несколько тождеств по разным основаниям, и некоторые из этих отождествлений могут входить в конфликт друг с другом. Перечень оснований очерчивает круг возможных тождеств. Как будет показано далее, основания отождествления коррелируют с типом объекта. Этим определяется типология тождеств.

Сами отождествляемые объекты могут быть сущностями как материальными (физическими), так и идеальными (ментальными, мыслительными), а представления о признаках — основаниях отождествления не только могут быть пассивными ментальными отображениями — абстракциями от их объективной основы, но и могут иметь характер ментальной первоосновы — активных замыслов, управляющих порождением своих материальных воплощений.

В каждом языке есть свои маркеры тождественности, и на них можно с успехом ориентироваться с учетом, разумеется, возможной их неоднозначности и переносного употребления. В русском языке наиболее универсальным маркером служат выражения: *(один и) тот же (самый, что)*; ср. также англ. *the same*, нем. *derselbe*, фр. *le mème*.

Хотя отождествление тоже предполагает сравнение, но в отличие от обычного сравнения отнюдь не всякий признак может стать основанием отождествления объектов. Перечень их ограничен, на них, как сказано, строится типология тождеств, и выбор их зависит от когнитивной природы объектов (денотатов), а именно от особенностей их осмысления в обыденном сознании, «философия» которого, как известно, отразилась в строении естественного языка. Наш анализ показал, что в качестве оснований отождествления могут выступать, помимо пространственно-континуального, следующие признаки объектов: непрерывность дискретных объектов во времени, функция (назначение), место (роль) в не-

кой структуре (системе) отношений, качество класса и качество проявления объекта, содержание и сущность объекта, количество как содержание объекта, воплощенность и знаковость. Соответственно им строится когнитивная типология тождеств, и в этом порядке они будут рассмотрены далее.

Принцип континуальности как основание для отождествления, распространяясь со своей прототипической базы — объектов с пространственной границей, охватывает более широкий круг дискретных непрерывных предметов, например конечных временных протяженностей, так что достаточным основанием для отождествления дискретных объектов, не являющихся телами с пространственной границей, может служить признак временной непрерывности в пределах их границ; ср.: *в тот же год, день, час и т. п.*

Тождественными по функции могут считаться физические и иные телеологические объекты, специально предназначенные для выполнения этой функции (функциональные объекты), при условии, что их различия по прочим признакам принимаются за нерелевантные. В таком случае оказывается, что некий класс (подкласс) единого назначения состоит как бы целиком из тождественных представителей, хотя за вычетом общей функции и детерминируемых ею свойств в объектах можно отыскать массу несходств. Таковы, например, все поезда одного маршрута и одного и того же времени отправления-прибытия: сколько бы ни было составов, функционально все они — один и тот же поезд. Понятно, что функциональное тождество может прийти в конфликт с континуально-пространственным тождеством физических объектов. Поэтому вполне осмысленно такое, например, выражение: «Они приехали одним и тем же поездом, но в разные дни, так что, можно сказать, и не совсем одним и тем же».

Близким к тождеству по функции можно считать тождества по месту и роли объектов в разных структурах (системах). Оно распространяется на всякого рода сущности, отграниченные друг от друга не только в пространстве, но и во времени, однако и в том, и другом случае занимающие одно и то же место и играющие одинаковую роль в однородных структурах-системах. Ср.: «Это происходит каждый год в один и тот же день».

Тождество недискретных физических объектов — пространственных и временных протяженностей, т. е. объектов, не замкнутых во времени или пространстве (объеме, площади, линии), устанавливается иначе, а именно по качеству их проявлений: всякий раз, когда качество их проявлений оценивается как одинаковое, они могут считаться тождественными и о них можно говорить как об одном и том же, даже если проявления их не континуальны, а дискретны; ср.: «Всю ночь луна светила тем же тусклым светом» (континуальность) и «Снова вспыхнул тот же неровный свет» (неконтинуальность).

Аналогично недискретным физическим объектам осмысливается тождество абстрактных предметов физической природы, т. е. признаков физических тел и их комбинаций, мысленно отвлеченных от вещей — их носителей и представленных как самостоятельный предмет мысли. Речь идет о нементальных денотатах абстрактных существительных; ср.: «Снова раздался тот же звук — тот же голос с той же хрипотцой». Действительно, пространственно-временная дискретность/недискретность таких сущностей также иррелевантна для установления их тождественности: проблему решает оценка качества проявления. Если качество не меняется, проявления отвлеченной сущности расцениваются как тождественные.

Здесь попутно надо заметить, что неопредмеченные признаки (свойства и отношения) в силу того, что в речемыслительных актах они не составляют отдельного предмета мысли (и соответственно отдельного участника высказываний-предложений), а лишь «воссоединяются» с каким-то из тех денотатов, от которых они были отвлечены, вообще не осмысливаются с позиции тождественности-нетождественности, т. е. с позиций «тот же самый», а только с позиции сходства-подобия, даже очень большого, а именно, в терминах-маркерах «(точно) такой же, как»; ср. «Снова послышался тот же голос, такой же хриловатый, как раньше».

Этот факт, очевидно, говорит в пользу того представления, что тождественность — категория не жесткая, а градуируемая, и в дополнение к моделям (видам) тождеств надо еще добавить понятие меры (степени) тождественности: тождество возникает на переходе от «такой же» к «тот же» и движется от шкалы подобия по шкале тождественности «почти такой же — такой же — точно такой же > почти один и тот же — тот же самый — безусловно тот же самый».

В несколько ином смысле категория качества служит основанием отождествления также применительно к дискретным классообразующим объектам разной физической природы, включая наиболее наглядные из них — физические тела с пространственной границей. Качество в этом случае имеет тот (философский) смысл, что объект обнаруживает характерные, сущностные, обязательные для его класса признаки — те признаки, которые составляют интенционал понятия о данном классе объектов. Качество в таком понимании предстает как категория классообразующих признаков, признаков, конституирующих класс, и оно также может составить основание для отождествления объектов данного класса при условии, что по обстоятельствам когнитивной ситуации можно пренебречь индивидуальными различиями объектов.

Хороший пример находим у А. С. Грибоедова: «Всегда готовые к журбе, поют все песнь одну и ту же...». Песни-речи тут, конечно, разные, но одного класса-качества — одной идейной направленности.

Та же категория качества (еще пример на тождество!) применима для отождествления разных (про)явлений одного и того же дискретного объек-

та (и снова тождество — весьма частотная категория в речи и рассуждениях!). В этом случае понятие качества также несущественно модифицирует свой смысл и означает, что единичное при всех своих модификациях содержит нечто стабильное — основополагающее качество. До тех пор пока этот стержень в единичном сохраняется, он дает основание к отождествлению разных ипостасей единичного — сведения их воедино как (про)явлений единой сущности-качества. Ср.: «Как бы ни меняло его время, он остался тем же человеком» (попутно заметим, что здесь качественное тождество совпадает с континуально-пространственным, но последнее в этом случае несущественно.)

Таким образом, качество как основание отождествления сущностей проявляет себя в трех разновидностях; качество проявления опредмеченных признаков — абстрактных предметов, качество (сущность) класса в его представителях и качество (сущность) единичного в его (про)явлениях.

Основанием тождества мыслительных сущностей служит содержание мысли; ср.: «это одна и та же мысль, только иначе выраженная»; «ту же самую идею встречаем и у других авторов» и т. п.

Если мыслительная сущность того рода, что предполагает материальные воплощения и служит для них мыслительной моделью, руководством к действию и их созданию, то она определяет и ограничивает диапазон варьирования своих возможных реализации. На этой основе индивидуальные воплощения общей идеи (плана, алгоритма, замысла и т. п.) могут отождествляться, их индивидуальные различия нивелируются для сознания. Они воспринимаются как одно и то же.

Если, например, терминам «морфема» и «алломорф» придать максимально обобщенный смысл, выйдя далеко за пределы лингвистики, и связывать с ними любое разграничение единиц уровней замысла и воплощения (так называемые эмический и этический уровни), то можно сказать так: сознание склонно отождествлять алломорфы, поступаясь их материальными различиями в пользу их принадлежности к одной и той же идеальной единице морфемы как ее реализации, особенно если эта морфема сама входит в некую систему противопоставлений. По этой причине мы видим, например, одну и ту же букву в разных вариантах ее написания, слышим один и тот же звук речи в разных реализациях фонемы.

Эту важную и своеобразную разновидность тождеств по содержанию назовем воплощательным тождеством (тождеством воплощений). Содержательное тождество — более широкое понятие, и различие между ним и тождеством воплощений состоит в том, что воплощательное тождество — это тождество материальных воплощений единой идеальной сущности — замысла, в то время как при содержательно-сущностном тождестве идеальное содержание, будучи осознаваемой идеальной сущностью, не является концептом-замыслом, т. е. не служит планом, руководством к исполнению. Поэтому отождествляемые единицы с единым содержанием могут принад-

лежать как материальному, так и идеальному уровням существования. Так, о каких-то камнях мы скажем: «это один и тот же камень — гранит», и при этом отождествим материальные предметы, соотнеся их с идеальным понятием о граните как об общей для них сущности. Вместе с тем сказав о каких-то словах, что они одна и та же часть речи — существительное, мы и в том и в другом случае имеем дело с идеальными сущностями, поскольку часть речи есть абстракция общего от слов, а слово — абстракция общего от словоформ и т. д.

Еще одной разновидностью тождеств по содержанию надо считать количественное тождество. Это тождество единиц, содержанием которых является одинаковое количество, например, в этом смысле тождественны $(8 - 2)$, $(3 + 3)$ и 6 ; $(a + b) \times (a + b)$ и $(a \times a + 2ab + b \times b)$.

После того как установлены условия и модели отождествления материальных и ментальных сущностей, несложно представить себе, как обстоит дело со знаками. В силу билатеральности знаков для их тождества требуется, чтобы условиям тождественности одновременно удовлетворяли обе его стороны — материальная и идеальная (форма и значение) в единой связке. Одного тождества значения, т. е. тождества по содержанию, недостаточно для отождествления знаков (ср. абсолютные синонимы), требуется еще тождество формы. Вместе с тем одно тождество формы (здесь воплощенное тождество) тоже не делает знаки тождественными, требуется еще тождество содержания (ср. полные омонимы). Таким образом, семиотическое тождество соединяет в себе требования к тождеству ментальных сущностей с требованиями к тождеству воплощенных материальных сущностей как следствие особой природы знака, соединяющего в своей структуре идеальное и материальное отношениями концептуализации объекта — означивания концепта — воплощения знака со стороны говорящего и отношениями концептуализации манифестированного знака (узнавание знака) — семантизации знака и референции концепта (значения знака) со стороны слушающего.

Таким образом, мы отметили по меньшей мере восемь видов (моделей) тождеств, различающихся тем, какого рода объекты отождествляются и что кладется в основание отождествления объектов и их проявлений. Напомним их в порядке рассмотрения:

- пространственно-континуальное — тождество физического пространственно отграниченного тела по признаку континуальности (*тот же самый шкаф*);

- функциональное — тождество физических объектов с одинаковой функцией при иррелевантности прочих различий (*тот же самый поезд* — два основания для отождествления, функциональное и континуальное);

- структурное — тождество элементов по их месту и роли (в том числе функции) в какой-то структуре-системе (*в тот же самый час день спутя*);

— качественное — тождество объектов по одинаковому качеству их проявлений при иррелевантности различий между ними (*тот же самый голос*);

— содержательное — тождество по содержанию сущностей (по их сущности, качеству — в философском смысле терминов, по существу, сути — в обыденном смысле слов) как «разные грамматические формы одного и того же слова»;

— количественное — разновидность тождества по содержанию, тождество по одинаковому количеству, имеет место между разными численными выражениями одного и того же количества (5 плюс 3 и 8 минус 3);

— воплощательное — тождество по воплощению ментальных сущностей — замыслов, идей в пределах иррелевантного варьирования материальной формы, важная разновидность тождества по содержанию (*это одна и та же буква в разном написании*);

— семиотическое — специфически знаковое тождество по совокупной общности содержательного и воплощательного оснований (значения и формы) при условии иррелевантности возможных различий («стол» и /стол/ — одно и то же слово в графическом и фонетическом вариантах, /кентавр/ и /центавр/ — одно и то же слово в двух фонетических вариантах, т. е. при том, что допустимо отождествление /к/ и /ц/, professor и prof. — полный и сокращенный варианты одного слова).

Все рассмотренные выше виды тождеств носят когнитивный характер. Они возникают как результат когнитивных процессов, нацеленных на то, чтобы сгруппировать дискретные образы наблюдаемого, испытываемого и вспоминаемого на известном общем основании в зависимости от когнитивной специфики объекта и вместе с тем в определенных пределах и для определенных целей отвлечься от особенного в разных объектах в одно и то же время и/или в одном и том же объекте в разное время. Отождествление сокращает для сознания «населенность» мира объектами. В его основе лежит то допущение, что в некоторых релевантных отношениях члены тождества одинаково прогнозируемы, сущностно одинаковы и проявляют действие одних и тех же закономерностей. Тождество более, чем простое сходство, и даже более, чем принадлежность к одному классу, «сокращает нам опыты быстротекущей жизни».

Тождество идет рука об руку с классификацией и идет далее нее. Они вместе трудятся над систематизацией и упорядочиванием мира и тождество доходит в этом деле до крайней черты. Тождество предполагает классификацию вещей, она ему предпослана: отождествлять начинают после того, как вещи так или иначе, хорошо или плохо разнесены по рубрикам. Но между ними есть еще одно важное различие. Классификация статична в том смысле, что систематизирует мир на каком-то синхронном срезе. Напротив, тождество не исключает фактор времени и временное измерение объектов. Отождествляться могут не только одновременные, но и разно-

временные (про)явления объектов — по функции, месту и роли в структурах, качеству, содержанию и воплощению, а базовый случай континуальной тождественности объекта вообще предполагает его движение по оси времени и даже изменение.

Завершая краткий перечень основных случаев когнитивного тождества объектов, отметим, не входя в обсуждение, несколько дополнительных моментов.

Во-первых, укажем на уже отмеченную возможность отождествления одновременно по нескольким основаниям, которые при этом либо дополняют друг друга, либо, как было замечено, входят в конфликт по цели коммуникации.

Во-вторых, надо иметь в виду, что когнитивное тождество — это в меньшей степени объективная данность, а больше результат мыслительной операции по предельному обобщению, более жесткому, чем классификация, хотя, понятно, в самих отождествляемых объектах и в их проявлениях всякий раз должно обнаруживаться что-то, что дает основание к неразличению их как особых сущностей. Такое неразличение предполагает, что различиями можно поступиться как чем-то иррелевантным для данных обстоятельств когниции и коммуникации.

Невысокая значимость собственных различительных признаков вещей для операции отождествления с особой наглядностью обнаруживается в том факте, что возможно отождествление на чисто прагматическом, оценочном основании, т. е. по субъективному критерию прагматической ценности объектов при полном забвении принципиальных когнитивных различий между ними. Это еще один, последний, вид тождества, но уже не когнитивной, а оценочно-прагматической природы; ср. случаи типа *муж и жена — одна сатана; пойдешь направо, налево, вперед, назад — все одно (и то же)*, и т. п. Однако эти темы могут быть здесь только заявлены на предмет последующей разработки.

В заключение подчеркнем главный результат рассмотрения категории тождественности с когнитивных позиций, т. е. с позиций реального мышления. Обнаруживается, что формальная логика чрезмерно конструктивизирует для своих целей и применительно к операциям реального мышления выхолащивает понятие тождества, как, впрочем, и многие другие. Представление о тождестве как «равенстве предмета, явления с самим собой (самому себе? — М. Н.), сохранении на всем протяжении существования предмета одних и тех же устойчивых черт» (Кондаков) далеко отстоит от реальных мыслительных операций отождествления и мало пригодно для установления и описания разновидностей и моделей этих процессов.

На деле тождественность далека от того, чтобы свидетельствовать «равенство предмета с самим собой» благодаря тому, что они «сохраняют на всем протяжении своего существования одни и те же устойчивые черты». Этого нет даже в простейшем прототипическом случае континуаль-

ных тождеств, где предмет может претерпеть самые радикальные изменения, а для признания его «равенства с самим собой» достаточно одного признака пространственной континуальности.

Реально установление тождества отнюдь не требует максимально возможного совпадения объектов по набору свойственных им признаков. Нет необходимости видеть в тождестве предельный случай минимального различия объектов. Тождественность предполагает лишь два условия: наличие у объектов (или их проявлений) сообразно их когнитивному классу определенных общих признаков-оснований и отсутствие необходимости считать релевантными различия в сопоставляемых объектах для целей когниции и оценки на данный момент. На этой основе за счет «подавления иррелевантного» сознание решает для себя задачу сведения к единому образу-концепту результатов своих нередко многочисленных «встреч с объектами (денотатами)», экономно считая, что они являют ему одно и то же.

И последнее. Когнитивный анализ тождеств приводит также к выводу, что среди всех прочих признаков объектов (денотатов) — с учетом распределения объектов на когнитивные классы по моделям отождествляемости — особое, весьма значимое для когнитивных процессов место занимают те, что могут служить основанием для отождествления объектов, а именно пространственная и временная континуальность, функция, место и роль в структурах-системах, качество, содержание-сущность и воплощенность, знаковость и количественный параметр. Равным образом среди многих возможных разбиений объектов (денотатов, а также их имен) по когнитивным характеристикам особого внимания заслуживают те, что коррелируют с типологией тождеств по признакам-основаниям, а именно разбиения объектов на тела/нетела, дискретные/недискретные, функциональные (в том числе артефакты)/нефункциональные (таксономические), структурированные/неструктурированные, с проявленным/непроявленным качеством-сущностью-содержанием, воплощаемые/невоплощаемые, ментальные (идеальные)/физические (материальные), предметные (конкретные)/отвлеченные (признаковые), знаковые/незнаковые, объекты-количества/объекты-качества.

1.4.2. Вещецентризм обыденного сознания.

Вещи, признаки (свойства и отношения)

Семантическая структура естественных языков имеет в своем основании так называемую житейскую философию здравого смысла. Это такой взгляд, согласно которому в устройстве мира, среди его сущностей первична вещь как физическое тело с пространственной границей. Мир населен такими телами и разнообразными их комбинациями, связанными в нечто целое. Вместе они составляют первичные предметы мира. Предметы,

или вещи, обладают признаками, за счет которых они отождествляются и различаются на уровне единичного (одной и той же вещи) и класса (одного и того же класса вещей). Признаки — вторичные сущности мира, так как они не существуют сами по себе, а отвлекаются от вещей. Даже имея некую субстанциальную основу, они составляют часть субстанции вещей.

Здравый смысл склонен различать собственные признаки вещей и признаки-отношения вещей, даже если при последующем рассмотрении он обнаруживает, что какие-то из собственных признаков вещей на поверку оказываются продуктом отношений. Собственный (имманентный, внутренний) признак вещь как будто не делит с другими вещами, хотя он может быть одинаково свойствен разным вещам, но каждой порознь. Отношение — такой признак, который существует во взаимодействии (связи, соотнесенности, зависимости) вещей. Он предполагает, как минимум, две вещи — аргументы отношения. Отношение и есть связь вещей-аргументов, оно опирается в них своими концами.

Вещецентризм обыденного сознания и порождаемой им философии здравого смысла, которая, в свою очередь, обуславливает категориальные черты устройства естественного языка, имеет то следствие, что при рассмотрении связей и взаимодействий, ситуаций и событий, явлений и фактов отношение как бы исчезает из вида как автономная от них сущность: в поле зрения остаются энергетически взаимодействующие в связке вещи с их собственными признаками и признаками, обусловленными отношением вещей, их связями и взаимодействиями. Поэтому, помимо отношений, необходимо еще ввести понятие относительных (релятивных, реляционных) признаков — признаков, обусловленных в вещах их отношениями. Релятивные признаки суть проекция отношения на вещи, которые в нем участвуют, это характеристика вещей-аргументов по связывающему их отношению, по их участию и статусу в этом отношении. Отношение проявляет себя в вещах в виде релятивных признаков.

Поскольку в отношении участвуют не менее двух вещей, их статус в отношении, т. е. относительный признак, может быть одинаков, только если отношение симметрично, как, например, отношение соседства между *A* и *B*, где соседними равно являются *A* и *B*.

Чаше же отношения несимметричны, тогда статус *A* и *B* в отношении различен, т. е. различны их парно связанные относительные признаки. Соответственно семантика релятивного слова в таком случае не ограничивается идеей отношения (плюс признаковая функция), но осложнена представлением о том, как денотат определяемого участвует в нем, как он «прописан» в его структуре. Так, «далекий» несет не только идею отстояния, но идею большого отстояния как характеристику вещи относительно некоторой точки отсчета. Заметим, что это обстоятельство маскирует от исследователя релятивный характер семантики этих слов (в приведенном примере идею пространственного отношения отстояния).

Иначе говоря, в силу синтаксической специализации признаков слов они ориентированы на определяемое и в описание вещей берут его сторону, так что релятивное признаковое слово обозначает, как правило, нечто большее, чем отношение, а именно отношение с позиций определяемого, с позиций его роли и места в структуре отношения. Обозначается не просто отношение безотносительно к его аргументам, а относительный признак — один из аргументных концов отношения. Только в случае симметричных отношений семантика прилагательных и глаголов исчерпывается идеей отношения (плюс представление о признаковой функции). Ср. *соседний* = соседство + признаковая функция соседства.

Введение понятия относительного признака противопоставляет отношения признакам: отношение выводится из числа признаков и составляет антипод вещей. Это связано с альтернативной возможностью описания мира — не от вещей через признаки к отношениям, т. е. по одному возможному пути, который избран обыденным сознанием, естественным языком и субстанциальной традиционной (аристотелевской) логикой с ее формулой *S-P*, а от отношений через признаки к вещам, т. е. по другому возможному пути, которым следует релятивная философия, логика отношений, символизируемая формулой *xRy*, и аргументно-предикатный синтаксис.

Обозначение несимметричного отношения в чистом виде, свободном от привязки к одному из аргументов, возможно, но возможно не всегда и более посредством существительных, чем прилагательных и глаголов. Ср. *торговля* (= продажа + покупка), но *торговать* чем-либо (= продавать что-либо, устарело в значении покупать что-либо, например, *торговать коня*).

Важно отметить еще один существенный момент — различие между отношением и соотносением. В логике и то, и другое обычно объединяются в одной категории отношения. Между тем они принадлежат к разным планам — онтологическому и эпистемологическому, и это различие должно быть закреплено терминологически. Отношению соответствуют линейные связи сущностей в мире, действительном или мнимом, и эти связи принимают вид воздействия, взаимодействия, создания, разрушения, сохранения, зависимостей пространственных, временных, причинно-следственных, связей между вещами и их признаками и отношениями, между частями целого, между целым и частями и т. д.

Соотнесение сущностей происходит, напротив, в мыслительных актах сравнения, сопоставления, идентификации, отождествления, различения и т. п. Сущности соотносятся в эпистемологическом плане для познания, но между ними может отсутствовать какая-либо реальная или мнимая линейная связь взаимодействия, обусловленности, соположения, следования и т. п. Соотнесениями, но не отношениями в таком смысле являются, например, утверждения с предикатами сравнительной и превосходной степеней, вроде «Москва больше Санкт-Петербурга и находится южнее его».

Для здравого смысла существенно выявлять признаки характерные, существенные, обязательные, постоянные, стабильно наблюдаемые у какой-то вещи или класса вещей, независимо от того, являются ли они собственными (внутренними, имманентными) признаками или ее отношениями. Характерные признаки называют свойствами вещи и противопоставляют признакам преходящим, окказиональным, нестабильным, нехарактерным, несущественным. Нетрудно видеть, что три части речи: глагол—прилагательное—существительное последовательно закрепили за собой (но только в общей тенденции) различные участки шкалы характерности признаков для вещей — мера характерности возрастает от глагола через прилагательное к существительному.

Вещи и признаки — наиболее общие категории сущностей, извлекаемых сознанием из анализа и обобщения структур, в которых ему является действительный мир, а именно из анализа и обобщения того, что — с разными оттенками смысла — называют событиями, ситуациями, явлениями, фактами, положениями дел. Концепты (понятия и представления) вещей и их признаков совокупно с их связями и зависимостями составляют, так сказать, операционные «словарь и грамматику» сознания (англ. *the mind*). Работающее сознание, т. е. мышление, приводит в действие и порождает мысли, которые, получая языковое выражение, оказываются — за некоторыми существенными вычетами — высказываниями о существовании вещей или высказываниями о существовании признаков, включая признаки-отношения. Иначе говоря, они оказываются высказываниями о событиях, ситуациях, явлениях и т. п. С языком мысль пробегает путь от наблюдения и анализа структуры фактов, соотнесения мыслительных структур с языковыми к выражению положений дел, действительных и мнимых, в форме высказываний.

Однако на онтологическую грамматику здравого смысла, которая в центр представлений об устройстве мира ставит предмет, по необходимости накладывается эпистемическая грамматика знания. Всякая сущность, включая признаки, может и должна стать предметом рассмотрения, и у нее могут быть обнаружены свои признаки, благодаря которым возможно ее отождествление и различение. Если в признаке открываются признаки, он становится эпистемической вещью. Идя этим путем, мы поднимаемся с одного уровня на другой, и с каждым уровнем у «вещей» становится все меньше признаков, пока не останется единственный (сомнительный) признак — их существование (действительное или мнимое).

Таким образом, в эпистемической грамматике сознания всякая сущность может предстать как вещь и признак в зависимости от того, рассматривается ли она как носитель признаков или же как признак какой-то сущности. Лишь некоторые сущности — физические тела — предстают исключительно как вещи. Существенно то, что языковая грамматика ориентирована прежде всего на эпистемическую грамматику знания и толкует

предмет как эпистемическую вещь, закрепив это представление в части речи существительного. Категориальная специфика существительного (так называемое грамматическое значение предметности) заключена в способности этой части речи представлять идею как предмет речи. Что же касается прилагательных и глаголов, не говоря уже о наречиях, то все они заранее синтаксически специализированы в признаковой функции — описывать некий денотат, представленный в речи другим словом.

Соответственно признаковыми словами мы называем слова, обозначающие признаки и грамматически (синтаксически) специализированные в признаковой функции: употребляясь, они не просто называют признак, но называют чей-то признак; им не свойственно представлять признак как эпистемическую (и грамматическую) вещь.

Признаковые слова иначе называют предикатными. В принципе есть существенное различие между понятиями предиката, с одной стороны, и признакового, или предикатного, слова — с другой, даже если этим различием во многих случаях можно пренебречь без особого ущерба для рассуждений, как это часто делается. В отличие от слова, предикат не двусторонняя единица, не соединение означающего с означаемым, т. е. не знак, а только концепт, идея, мысль о признаке — о том, что есть общего и различного в вещах. Этот концепт может совпадать со значением признакового слова, но может быть и так, что он составляет только часть его лексического значения, осложненную разными семантическими множителями, как, например, в каузативных глаголах, где идея некоторого признака осложняется категориальной семой каузации, ср. *сидеть* — *сажать*, *лежать* — *класть* и т. п.

Признаковые слова — это прежде всего прилагательные и глаголы (но не все прилагательные и глаголы). Общей характеристикой признаковых слов является то, что все они, как сказано, специализированы в признаковой функции и отмечают это своей грамматической формой. Выполнять признаковую функцию и выражать признак — не одно и то же. Многие прилагательные, как, например, относительные, равно как и многие глаголы, как, например, модальные, отнюдь не выражают признаки в сколько-нибудь строгом смысле слова, но все они несут признаковую функцию — определенным образом описывают денотат, обозначенный другим словом.

Глагол своим грамматическим значением к признаковой функции добавляет временную спецификацию признака (действия, воздействия, взаимодействия, процесса, состояния, движения, превращения, изменения и т. п.).

Прилагательные — признаковые слова, и в основание их семантической классификации естественно положить различия в денотативной природе называемых ими признаков. Однако тут же необходимо сделать несколько важных оговорок.

Во-первых, применительно к признаковым словам термин «денотат» имеет двойной смысл. В аспекте номинативном (словарном, внесинтаксическом) денотатом собственно признакового слова является некоторый признак в отвлечении от вещей или событий, у которых он наблюдается. Взятое же в своей признаковой функции, в сочетании со своим определяемым собственно признаковое слово в силу своей предуготованной синтаксической специализации становится безденотатным: оно описывает денотат, обозначенный существительным. В синтаксическом аспекте понятие денотата применительно к собственно признаковому слову теряет смысл: у него нет своего денотата, денотативная функция передана определяемому существительному в силу того, что и сами признаки не существуют независимо от вещей, а выявляются в их взаимодействии и сопоставлении.

Во-вторых, не все прилагательные обозначают признаки. Эту часть речи объединяет не идея признака, а идея признаковой функции вне временной характеристики (вне привязки ко времени). Признаки выражаются только, так сказать, первородными прилагательными, например, качественными, которые действительно обозначают признаки в собственном смысле слова и вместе с тем синтаксически специализированы в признаковой функции (признак плюс признаковая функция), т. е. именуя свой денотат, сразу же своей формой указывают, что служат для описания какого-то вещного денотата как его признак.

Иные прилагательные, как, например, многие относительные, сохраняя за собой признаковую функцию, обозначают отнюдь не признак, а нечто иное — строго говоря, они обозначают не признак, а вещь, связанную некоторым отношением с денотатом определяемого, ср. *звездная ночь*, *утро туманное*, *директорская дача*, *президентский лимузин*, *речная пристань*, *солдатский паек* и т. д. и т. п.

Действительно в подобных случаях признаком определяемого является отношение, второй аргумент которого назван прилагательным, причем само отношение отдельно не поименовано и должно быть домыслено, ср. *солдатский паек* — паек для питания солдат, *речная пристань* — пристань, расположенная на реке и т. п.

Поэтому с самого начала среди прилагательных надо выделить прилагательные аргументно-признаковые, т. е. прилагательные с семантикой «вещь в признаковом отношении (признаковой функции)». Само отношение при этом не специализировано, не составляет часть семантики аргументно-признакового прилагательного. Оно домысливается имплицитно в сочетаниях такого прилагательного с определяемыми и может быть разным при одном и том же прилагательном, но различных определяемых денотатах, ср. *земляничная поляна* и *земляничное варенье*.

В частном случае аргументно-признаковые прилагательные вступают в партитивные отношения с определяемым — отношения имени целого к

части, и наоборот, ср. *глазное яблоко, спутниковое телевидение* и т. п. Двум именам в таких словосочетаниях соответствуют два денотата, но из всего возможного многообразия отношений денотатов их связывает партитивная связь (разумеется, и это хорошо известно, аргументно-признаковое относительное прилагательное может развивать качественное значение в своей семантической структуре и тогда уже обозначает признак в собственном смысле слова, т. е. нечто, не составляющее особой вещи относительно какой-то рассматриваемой вещи).

Соответственно сказанному сочетания прилагательных с существительными распадаются на экспликационные, где есть один денотат — вещь и ее признак, и элизионные, где есть два денотата (две вещи), причем один из них (определение) поставлен в признаковое отношение к другому (определяемому) при пропуске (элизии) имени отношения, ср. *материнское* (= нежное, заботливое) *чувство и материнское поле*.

Промежуточное положение между аргументно-признаковыми и собственно-признаковыми надо отвести прилагательным субстантно-признаковым. Это прилагательные, которые обозначают субстанцию, из которой образован денотат-определяемое: субстанция принимает форму денотата, она им сформирована, ср. *деревянный стол* (*стул, столб* и т. д.). Промежуточный характер этой семантической категории прилагательных становится очевидным, если задаться вопросом, сколько денотатов стоит за словосочетанием вещественного прилагательного с существительным. Ответ, конечно, один, т. е. как в случае с первородными, собственно признаковыми прилагательными в отличие от сочетаний с аргументно-признаковыми прилагательными.

Собственно признаковые прилагательные по семантике распадаются на реляционные и нереляционные. Первые обозначают относительно обусловленные признаки (релятивные признаки), вторые — признаки вещи собственные в том смысле, что они не образуются отношениями данной вещи к другим вещам, а считаются имманентными, заложенными в ней самой как ее внутренняя черта. Имманентные признаки иногда называют свойствами вещей, но это расходится с обыденным представлением о свойстве: свойство — характерный, стабильный, постоянный признак вещи в отличие от признаков случайных, непоказательных, преходящих. В обыденном представлении свойство может быть как имманентным признаком вещи, так и характерным признаком-отношением, например, свойство магнита притягивать к себе проявляется в отношении к железу.

Традиционная грамматика разграничивает прилагательные относительные и качественные, полагая, что первые обозначают признак по отношению к той вещи или субстанции, которая указывается основой прилагательного, а вторые обозначают качества, т. е. признаки, варьирующиеся по интенсивности (количественно варьирующиеся признаки). Основание такого разграничения намечено весьма приблизительно. По существу, дело

сводится к разграничению двух категорий прилагательных — тех, что не изменяются, и тех, что изменяются по степеням сравнения. Остается, однако, открытым вопрос, насколько способность к изменению по степеням сравнения коррелирует с реляционностью (относительностью) — имманентностью (качественностью) признака.

Еще существеннее то обстоятельство, что многие относительные прилагательные, как сказано, обозначают отнюдь не признак, а некую вещь в признаковом отношении (аргументно-признаковые прилагательные). Само же отношение как признак определяемого в таких случаях не названо и его конкретный характер должен домысливаться для каждого случая. Единственно, что содержат эксплицитно в своей семантике такие прилагательные сверх указания вещи-аргумента некоторого отношения, это признаковая функция этого аргумента: он находится в некотором отношении и этим описывает, специфицирует денотат определяемого слова. Он лишь часть признака-отношения.

Итак, признаки могут быть реляционными и нереляционными. Соответственно и собственно признаковые прилагательные разбиваем на реляционные и нереляционные, причем реляционные прилагательные — это отнюдь не относительные прилагательные традиционной грамматики.

Далее следует заняться разграничениями внутри этих двух семантических классов собственно признаковых прилагательных, т. е. семантической категоризацией реляционных и нереляционных прилагательных. Однако в рамках этой статьи будут рассмотрены только разряды реляционных прилагательных.

В отличие от аргументно-признаковых реляционные прилагательные называют не аргументные концы отношений, а сами отношения, а точнее сказать, называют отличия вещей по отношениям. Последние, естественно, весьма разнообразны, но все они по определению не признаки вещей самих по себе, не их имманентные признаки, а всякого рода характеристики вещей по их отношениям, ср. *далекый — близкий, здешний, тогдашний, первый — последний, средний, зависимый — независимый, прошлый — настоящий — будущий, условный — безусловный, левый — правый, подлинный — ложный* и т. д. и т. п.

Многие реляционные прилагательные, по сути дела, — многоместные предикаты, однако в большинстве случаев им свойственно маскировать и редуцировать свою поли(дву)валентность, так что из аргументов остается один (выражен определяемым), а другой обычно уходит в тень, прямо не выражается и должен домысливаться как нечто самоочевидное, ср. *далекая (от кого?) звезда, независимое (от кого?) государство*. Все же в подобных случаях реляционное прилагательное способно так или иначе формально проявить свою поливалентность и тем самым обнаружить реляционную природу своей семантики. В иных же случаях она спрятана так основательно, что второму аргументу отношения не оставлено никакой возмож-

ности формального выявления. Ср. *левая* (от стрелка) *мишень*, но *левый глаз* (относительно центральной оси наблюдаемого объекта на его стороне, принимаемый за лицевую; различие левого и правого смоделировано антропоморфно на основе лицевого различения сторон тела, где находится сердце и наиболее активная и умелая — у большинства людей — рука).

При всем разнообразии признаков-отношений, их можно изначально упорядочить (а следовательно, и семантически упорядочить обозначающие их признаковые слова) следующим образом. Одну группу образуют конверсивные признаки и соответственно признаковые слова конверсивной семантики. Конверсивные признаки — наиболее яркий случай релятивности. Он обусловлен и появляется у вещей только тогда, когда они вступают, в несимметричное отношение, т. е. такое отношение, в котором статус вещей-аргументов различен. Соответственно конверсивные признаки характеризуют вещи по их роли в данном отношении, причем наличие признака P_1 у вещи D_1 , вступающей в отношение R с другой вещью D_2 , предполагает появление у нее противоположного конверсивного признака P_2 . Они взаимно обуславливают друг друга. Реляционный характер конверсивных признаков очевиден: вещь сама по себе вне отношения R их не обнаруживает. Они появляются вместе с отношением и им обусловлены. До этого вещь может лишь проявлять признаки, обеспечивающие ее способность вступить в такое отношение.

Как известно, выражение конверсивных значений свойственно прежде всего глаголам в виде лексических пар или грамматических форм актива и пассива. Прилагательному, в особенности обозначающему эмоциональные состояния, нередко свойственно сочетать два полярных конверсивных значения в одном слове (род энантиосемии), ср. *печальный* 1) *опечаленный*, напр., *печальная дева*, 2) *печальщий*, напр., *печальные поляны*.

В сочетаниях конверсивных прилагательных существительное называет один из аргументов отношения, поименованный вне этого отношения, другой аргумент, если и выражен, то за рамками бинарного словосочетания. Само отношение, а также понятие о нем, составляет часть лексического значения прилагательного на правах гиперсемы (родового признака), в то время как другая его часть, гипосема (дифференциальный признак), равна понятию о статусе аргумента в данном отношении.

Другую группу релятивных прилагательных составляют прилагательные типа «далекий (близкий), известный (неизвестный), интересный (неинтересный), знакомый (незнакомый), родной (неродной), свой (чужой)» и т. п. Здесь прилагательное в сочетании со своим главным словом также называет не собственный признак денотата последнего, а признак, образуемый неким отношением к другому аргументу, причем последний также выведен за пределы бинарного словосочетания, а часто и вовсе не упоминается, а лишь подразумевается. Однако, хотя валентность на этот второй аргумент ослаблена, именно относительно его устанавливается качество

релятивного признака, а для количественно оцениваемых признаков — и их относительное количество. Это и образует специфику данной группы релятивных признаков сравнительно с другими: «внешний» по отношению к прямой валентности прилагательного аргумент служит отправной точкой, относительно которой квалифицируется реляционный признак у денотата главного слова. Поэтому эту группу признаков и прилагательных можно назвать релятивными векторными.

Конверсивные признаки квалифицируются один относительно другого, а конверсивные отношения взаимнообратимы, хотя бы и не симметрично. В данном же случае отношению задан вектор, и релятивный признак квалифицируется относительно одного, исходного аргумента. Относительно его определяется качество, а при необходимости — и мера признака. Так, далекая звезда является таковой по отношению к наблюдателю, который задает вектор отношения, определяет его качество — расстояние (а точнее сказать, отстояние как векторно отмеченный признак, поскольку расстояние безразлично к направлению отсчета признака) и относительную его меру — большую. При этом несущественно, что наблюдатель находится на таком же расстоянии от звезды. Чтобы это стало релевантно, надо поменять точку отсчета и вектор.

В случае немерных признаков реляционный признак квалифицируется по качественной оппозиции: свой-чужой, знакомый-незнакомый, интересный-неинтересный — и только в дальнейшем, внутри каждого члена оппозиции может получить ту или иную количественную оценку (обычно приблизительно количественную).

Следующую группу образуют координатные релятивные признаки и прилагательные типа левый-правый, верхний-нижний, передний-задний, центральный-периферийный, внешний (наружный)-внутренний, прошедший-будущий и т. п. Особенность данного случая — в том, что вещи квалифицируются и противопоставляются относительно некой, хотя бы условной, координаты, часто только подразумеваемой, но прямо не выражаемой. В принципе эта координата выполняет ту же роль, что аргумент, задающий вектор квалификации вещей в предшествующем случае, но валентность на нее еще более ослаблена, и выявление ее природы нередко требует анализа.

Так, левый и правый, как сказано, различаются расположением относительно условной срединной оси на лицевой стороне антропоморфно моделируемых объектов: левая сторона изначально та на лицевой стороне, где расположено сердце, а правая — где наиболее умелая и активная рука. Верхний и нижний противопоставлены по положению относительно направления земной тяжести. Передний и задний — на той же основе различения лицевой и тыльной сторон, начало и конец — вектором времени, первый и последний — вектором времени применительно к порядку рассмотрения и счета вещей и т. д.

Следующую, четвертую, группу образуют оценочные релятивные признаки и прилагательные. Оценка, как известно, может быть качественной и количественной, когнитивной (интеллективной) и прагматической (эмотивной). Сперва речь пойдет о прагматической (эмотивной) оценке вещей и событий по признакам типа хороший-плохой, приятный-неприятный, полезный-вредный, благородный-низкий (низменный) и т. п., т. е. по базовым категориям прагматических структур сознания, обеспечивающих ценностную ориентацию субъекта в мире (подробнее об оценочных категориях см. далее 1.3.4).

Нетрудно видеть, что такие оценочные признаки не имманентны, не коренятся в вещах самих по себе, но возникают на пересечении собственных свойств вещи с чьими-то интересами и потребностями. Безусловно, оценочный признак соотнесен в вещи с признаком-основанием оценки, но первый не тождествен второму: именно признак-основание оценивается с прагматических позиций субъекта. Хорошая книга может быть хороша по разным причинам: достаточно интересна для чтения; достаточно толста, чтобы подойти под шаткий стул; достаточно тонка, чтобы войти в портфель, содержит яркие картинки, чтобы отвлечь ребенка, и т. д. и т. п. Основание прагматической оценки оценивается по параметру оценки, т. е. относительно одной из фундаментальных универсальных аксиологических категорий.

Как и всякие релятивные признаки, оценочные признаки оппозитивны, т. е. имеют противоположные корреляты.

Особенность эмотивно-оценочных релятивов очевидна: она состоит в том, что объект оценки (его выражает определяемое оценочным прилагательным существительное) соотнесен с субъектом оценки. Оценка определяется относительно того, кто ее производит, причем опять-таки валентность прилагательного на этот аргумент ослаблена, он вынесен за рамки бинарного сочетания прилагательного с существительным и чаще лишь подразумевается, но не выражается.

Прагматические (эмотивные) оценки имеют под собой чувственную основу, и в силу корреляций и размытости границ между эмоциями они часто недостаточно дифференцированы, синкретичны и накладываются одна на другую. На верхнем уровне их относительно немного (добро-зло, польза-вред, приятно-неприятно и т. п.), а универсальным двуполюсным предикатом служит, как известно, хорошо-плохо. На более низких ступенях обобщенные оценочные предикаты дифференцируются по количеству и качеству параметров оценки. На ступенях качественной дифференциации к прагматическим параметрам оценки подсоединяются представления о когнитивных основаниях оценки в силу корреляции между категориями прагматических и когнитивных структур сознания. Результатом является многочисленная группа слов (прилагательных и иных частей речи), в значении которых совмещены прагматические и когнитивные начала в разной

пропорции преобладания одного над другим — от прагматико-когнитивных до когнитивно-прагматических оценочных предикатов. Все они остаются оценочными словами в той мере, в какой они продолжают соотноситься с представлениями о хорошем-плохом. Однако их принадлежность к релятивным предикатам зависит от того, релятивен или имманентен тот признак, который составляет когнитивный компонент их содержания, дополнительный к прагматическому. Ср. с этой точки зрения доступный-недоступный (когнитивно-прагматический релятив с фоновой коннотацией хорошо-плохо) и прилежный-ленивый (нерелятивный признак плюс фоновая прагматическая оценка).

Однако помимо чисто прагматических оценочных признаков и признаков смешанной оценочной природы с преобладанием того или иного компонента оценки — прагматического или когнитивного, на другом полюсе отмечается еще, хотя и не столь многочисленная, но важная группа релятивных предикатов и прилагательных чисто когнитивной оценки. Они достаточно специфичны и должны быть выделены в особую группу оценочных когнитивных релятивов. Примерами их служат слова *настоящий, действительный, подлинный, истинный, наличный* и их антонимы *не настоящий, мнимый, фальшивый, поддельный, ложный* и т. п.

Очевидно, что они также не называют собственные признаки вещей, их семантика релятивна: эти признаки представляют собой когнитивную оценку денотатов по отношению их собственных качеств к идеальным конструктам нормы, идеала, типического или по их отношению к миру действительности или воображения. Вещи и события оцениваются по их соответствию-несоответствию прототипическим, нормативным, аксиологическим и иным представлениям о классах вещей и событий, оценивается их реальный или мнимый характер, соответствие-несоответствие суждений действительному положению вещей. При этом аргумент-ориентир когнитивных оценок вовсе не выражен, очевидно, по причине его большой отвлеченности, обобщенности и размытости (во многих случаях он постигается интуитивно). Он присутствует имплицитно как мнение, знание или вера утверждающего.

Еще одна, специфическая, но также релятивная группа признаков выражается адъективными (и адвербиальными) словами деиктической семантики: *здесь-там, сегодня-вчера-завтра, нынешний-прошлый-будущий, этот-тот* и т. п. Невыраженным «аргументам», относительно которых задается признаковая квалификация определяемых здесь, понятно, служат постоянные компоненты структуры речевого акта.

Релятивные признаки оппозитивны в том смысле, что в каждом своем классе (по каждому родовому основанию) сознание упорядочивает их методом противопоставления по качеству или количеству. Соответственно и релятивные прилагательные оппозитивны в силу их семантики, и это отличает их от аргументно-признаковых прилагательных, поскольку последние

обозначают отнюдь не признаки, а аргументы отношений в признаковой функции и если и развивают вторично признаковое значение, то отнюдь не релятивное, а имманентно-признаковое (качественное).

Разумеется, внутри каждой из оппозитивных пар возможна дальнейшая детализация оппозитивного признака на разных уровнях по его количеству, ср. *хороший*: довольно хороший — просто хороший — весьма хороший — чрезвычайно хороший — отличный — превосходный и т. д. Эта детализация, впрочем, мало свойственна координатным релятивам. Кроме того, и на начальном уровне детализации возможно превращение бинарной оппозиции в тернарную, когда при необходимости обозначается среднее, промежуточное состояние признака между оппозитивами, ср. *прошедшее—настоящее—будущее, начало—середина—конец* и т. п. Такое положение вещей чаще наблюдается у координатных релятивов, где среднее значение признака иногда совпадает с координатой.

На этот момент мы выделили шесть групп релятивных признаков и выражающих их прилагательных: конверсивные (1), векторные (2), координатные (3), оценочные прагматические (4) и когнитивные (5) (плюс смешанные), деиктические (6). Для всех них свойственно выражать не собственные (ингерентные, имманентные, независимые от отношений) признаки, а признаки, обусловленные отношениями вещей, признаки, которые появляются и исчезают вместе с отношением. Понятно, что у вещей могут быть собственные свойства-способности, потенциально располагающие к тем или иным отношениям, и в них могут оставаться какие-то признаки — следы этих отношений. Но это в принципе не мешает вычленению релятивных признаков, непосредственно связанных с отношениями, реализующихся вместе с отношениями и являющихся прямой проекцией отношения на его аргументы.

Различия между группами релятивных признаков сводятся в целом к следующему. Наличие полярных признаков P_1 и P_2 у вещей D_1 (P_1) и D_2 (P_2) может быть обусловлено: 1) квалификацией D_1 (P_1) и D_2 (P_2) непосредственно по отношению R между ними, как в случае конверсивных признаков; 2) квалификацией D_1 (P_1) и D_2 (P_2) по отношению к некоторой третьей вещи, принимаемой за основу и исходную точку качественной квалификации и количественной оценки D_1 и D_2 , как в случае векторных релятивных признаков; 3) квалификацией D_1 (P_1) и D_1 (P_1) относительно некой, часто условной, координаты, как в случае координатных релятивных признаков; 4) квалификацией D_1 (P_1) и D_2 (P_2) относительно субъекта прагматической оценки, его интересов и потребностей, как в случае оценочных прагматических признаков; 5) квалификацией D_1 (P_1) и D_1 (P_1) относительно фундаментальных параметров когнитивной оценки денотатов (модус существования денотата — действительный или мнимый, соответствие представлением о прототипе, норме, идеале, должном и необходимом для данного класса и т. п.); 6) квалификацией D_1 (P_1) и D_2 (P_2)

относительно фундаментальных компонентов структуры коммуникативного акта, как в случае дейктических релятивных признаков.

В конечном счете различия определяются, как видим, характером аргумента — основы квалификации: является ли он одним из участников отношения R между $D1$ и $D2$ или же $D1$ и $D2$ прямо соотнесены не друг с другом, а каждый с $D3$ и лишь через него друг с другом. В последнем случае различия определяются природой $D3$: $D3$ или задает вектор отношения к $D1$ и $D2$, или выступает в качестве координаты, относительно которой определяется место $D1$ и $D2$ в признаковом пространстве, или играет роль того, кто судит о прагматической ценности $D1$ и $D2$, или того, кто производит оценку $D1$ и $D2$ по базовым когнитивным параметрам, или, наконец, $D3$ принадлежит к базовым компонентам в структуре коммуникативного акта: *я-здесь-сейчас*. В любом из этих случаев аргумент-основа квалификации денотатов вынесен за рамки атрибутивного сочетания прилагательного с существительным, валентность на него проявлена слабо и часто он домысливается из контекста или общих соображений.

Есть ли еще другие семантические разновидности относительных признаков? Безусловно, есть. Той же природы порядковый признак, выражаемый числительными и прилагательными порядковой семантики «первый, начальный, первоначальный, второй, другой, третий, средний, n -ный, последний, предыдущий, последующий» и т. п. Очевидно, что порядковые предикаты называют не собственный признак денотата определяемого, а относительный — образуемый его местом относительно единицы и вектора отсчета. Порядковые релятивы близки векторным с тем различием, что они отмечают не относительную меру или качество признака, а его порядок — место в векторно ориентированном ряду.

Поскольку в случае конверсивных признаков $D1$ ($P1$) и $D2$ ($P2$) соотнесены прямо друг с другом, а во всех прочих случаях $D1$ ($P1$) и $D2$ ($P2$) соотнесены через $D3$, это обуславливает еще одно, производное, различие между конверсивными и прочими релятивными признаками. Оно выражается следующей формулой: только в случае конверсивного отношения наличие $D2$ ($P2$) обусловлено наличием $D1$ ($P1$), т. е. $D2$ имеет $P2$, потому что есть $D1$ с $P1$, в то время как во всех случаях неконверсивных отношений наличие $D1$ ($P1$) отнюдь не обуславливает наличие $D2$ ($P2$), а только предполагает наличие некой общей шкалы количественной или качественной квалификации $D1$ и $D2$ по некоторому параметру относительно $D3$. Иначе говоря: если $D2$ квалифицируется как берущий, то это потому, что есть $D1$ дающий, но $D2$ квалифицируется как близкий или интересный не потому, что $D2$ далек или неинтересен, а потому, что так они оба квалифицируются на соответствующей параметрической шкале относительно $D3$.

Структуры с релятивным предикатом-прилагательным могут быть не только двуместными, но и трехместными, ср. *горный воздух полезен легочникам своей чистотой, он всем приятен своей обходительностью*.

Как будто бы возникает проблема выбора: какой из двух актантов за пределами атрибутивного словосочетания ориентирует отношение, устанавливая его качество и меру? Ответ, однако, прост: тот, который не кореферентен с денотатом определяемого. В самом деле, один из «вынесенных» аргументов является предикатным актантом и называет тот самый признак денотата определяемого, который обуславливает отношение к нему.

1.4.3. Категоризация таксономическая и аналогическая.

Логика и аналогия в генезисе мышления

Здесь будут высказаны сомнения в справедливости одного важного и давно укоренившегося мнения относительно раннего этапа развития человеческого сознания-мышления. Значимость этих сомнений оценят специалисты, но автору они представляются достаточно существенными, чтобы вывод из них поставить на правах равноценной гипотезы рядом с ныне превалирующим убеждением. Речь идет о так называемом дологическом синкретизме мышления на ранней стадии его генезиса, которая предшествовала современному его этапу — этапу рассудочно-логического рационалистического мышления.

Прямой постановкой тезис о дологической стадии первобытного мышления обязан Л. Леви-Брюлю (Леви-Брюль, 1930). Однако истоки этого взгляда были заложены гораздо ранее, и первым его сформулировал Джамбаттиста Вико, выпустивший в 1725 г. книгу «Основания новой науки об общей природе народов». В ней он, в частности, подводя итог своим размышлениям над античными мифами, пришел к выводу о «поэтической мудрости» раннего, «примитивного» человека, мышление которого, по его заключению, основывалось на метафизике метафоры, символа и мифа, трудно постижимой для современного рационалистического человека с его «цивилизованной природой».

Сходные идеи развивались в конце XVIII — начале XIX в. в немецкой романтической литературно-философской школе. Тогда же они получили широкий резонанс как выражение и созвучие умонастроениям эпохи романтизма. Впоследствии, начиная со второй половины XIX в. и далее, они отступили на задний план под напором естественнонаучных философских воззрений, позитивизма и неопозитивизма, формализации научных теорий и т. п. Попутно заметим, что полностью романтизм (в широком смысле) никогда не исчезал не только из человеческих голов, но и из науки. К примеру, структурализм в различных своих ответвлениях (этнология, антропология, культурология, мифология, лингвистика, семиотика, литературоведение и т. д.) охотно наполнял свои жесткие «геометрические» схемы вольными гипотезами, прозрениями и фантазиями вполне в романтическом

духе, не связывая себя строгим доказательством (ср. теоретические построения К. Леви-Стросса, Р. Барта, У. Эко, А. Прието, Греймаса, Ц. Тодорова, Ю. М. Лотмана и других структуралистов и семиотиков).

Той же позиции о качественно-стадиальном характере отличия первобытного мышления как мышления аналогического держался и К. Леви-Стросс (Леви-Стросс), хотя его больше занимали аналогии другого рода — поиск оппозиционных структур мысли в античной мифологии и системах родства, подобных тому изоморфизму, который структурная лингвистика обнаружила в языке и стремилась распространить в качестве универсального эпистемического принципа на все области знания.

К концу XX столетия воззрения этого рода вышли из тени и получили новый импульс в связи с общим разочарованием в возможностях научного познания мира, общества и человека и изменения их на рациональных основаниях. Невозможность полной формализации знания, опасные издержки технологического и научного прогресса, обострение национально-этнических и экономических противоречий в мире, дисгармония менталитетов и аксиологических систем разных уровней — все это стимулировало общий откат к иррационализму, особенно в сфере гуманитарного знания. Для теоретической науки экспансия иррационализма означает необязательность причинно-следственного обоснования теорий и допущение мистической интерпретации явлений.

Если домыслить и привести в систему представления о дологическом синкретическом этапе раннего мышления, то его качественные отличия видят в том, что оно носило характер фидеистски-мифологической (vs. научно-доказательный), конкретно-образный (vs. абстрактно-обобщающий), анимистический (vs. объективистский) и метафорический (vs. прямозначный). Нетрудно видеть взаимообусловленность и взаимозависимость этих качеств. Суммарно их объединяет противопоставленность мышлению на научно-опытной логической основе: примат веры над доказательным знанием, конкретики образа над обобщающей абстракцией, персонификация сил, свойств и закономерностей вместо познания их объективной природы и, наконец, примат метафорического (аналогического, уподобительного) способа постижения сущности вещей перед классификационным (таксономическим родо-видовым).

Синкретизм раннего мышления усматривают не в наличии и противоборстве двух указанных начал, дологического и логического, а в отрицании не то что ведущей, решающей и направляющей, но хотя бы просто равноправной роли рассудочно-логического принципа. Не он, полагают, руководил мышлением и деятельностью дологического человека, не им определялась картина и модель мира у людей того благословенного «золотого века», когда человек еще не противопоставил себя миру, но жил в нерасчлененном слиянии его психики с природой. Не он определял — хотя бы в конечном счете — оценки, ментальность и поведение людей.

В те далекие времена человек как будто предпочитал ставить веру выше знания, объяснять мир мифами, а не опытом. Его как будто больше устраивало осваивать природу и вещи, одухотворяя их и подчиняясь им, а не взаимодействуя с ними и подчиняя их себе. Наконец, сталкиваясь с многообразием мира, он почему-то предпочитал систематизировать вещи не на основе их сущностных признаков, а на основе аналогического уподобления.

Поскольку с позиций рассудочно-логического мышления, как будто бы единственно данного и доступного нам, трудно найти общее обоснование и разумное объяснение таким предпочтениям, дологический способ мышления приходится определять не интенционально, из себя, а контрадикторно, через свою противоположность, через отрицание черт логического мышления — как мышление не просто дологическое, но алогическое.

И здесь возникает первое серьезное сомнение как в обоснованности такого взгляда на раннее мышление, так и в самой идее стадийности генезиса мышления. В любом случае не следует отказываться от причинно-следственных объяснений, пока не испробованы все возможности описания динамики событий в терминах их обусловленности, сообразности и зависимости от тех условий и обстоятельств, в которых они совершаются. Наука не располагает какими-либо однозначными свидетельствами и аргументами в пользу сдвига в качественных характеристиках мышления, его радикального преобразования с фронтальным переходом от дологических технологий мыследеятельности к логическим.

Все дело в интерпретации того, что есть, — древних текстов и наблюдений за языком (речедетельностью) и поведением (в широком суммарном смысле) людей в сообществах на первобытно-общинной стадии развития. Представляется, что интерпретации синкретического характера не выдерживают строгой критики: заключение о качественной специфике, дологической природе раннего мышления чрезмерно гиперболизирует некоторые его исторически обусловленные черты. Представления о синкретизме мышления как характерной черте начальной мифопоэтической стадии в его генезисе малодоказательны и беллетристичны (в общем плане надо заметить, что из двух пороков ученого изложения («письма» по Р. Барту и иже с ним), а именно тяжелого наукообразия, с одной стороны, и лихого беллетризма — с другой, структуралисты и семиотики в конечном счете определенно склонились к последнему).

Но если бы синкретическое мышление древних было реальностью, каким же был бы его когнитивный механизм? Сторонники этой стадии в развитии мышления останавливаются на полпути и не доводят анализ до логического завершения. Сделаем это за них, но тут же возникнет повод для сомнения в возможности синкретической стадии в эволюции мышления, равно как и в стадийном характере этой эволюции в целом. Признание синкретизма в качестве стадии умственного развития человека означа-

ет, что на раннем этапе своей истории концептуальная категоризация мира производилась не на сущностной, а на аналогической основе, не посредством выявления существенных для жизнедеятельности людей свойств вещей, а посредством поверхностного их уподобления по внешним менее значимым признакам. Иначе говоря, представления и понятия о классах вещей и событий, о свойственных миру закономерностях и зависимостях не вскрывали бы подлинной структуры мира, реально значимых его связей и обусловленностей, а последовательно формировались бы на побочном сходстве и поверхностном уподоблении.

Такие концептуальные структуры плохо служили бы человеку в решении насущных повседневных задач. Уходя в фантазийные миры сознания, они плохо ориентировали бы его в непреложном мире действительности. В лучшем случае синкретические концепты классов вещей соединяли бы в себе существенно значимое полезное знание о мире с причудливыми фантазиями, годящимися не для дела, а для фантазийных игр сознания. При таком качестве мышления оставалось бы только поражаться жизнестойкости человека и заложенному в него запасу прочности, которые как-то позволили ему не только выжить, но и подчинить себе мир. Или в истории человечества пришлось бы видеть не последовательное экспоненциальное движение к современному состоянию, а два преемственно не связанных этапа: долгий дологический этап прозябания сознания в мнимых, далеких от действительности фантазийных мирах и внезапно сменивший его этап деятельного логического отрезвления. Увы, по всей вероятности, не было в сколько-нибудь чистом виде ни того, ни другого — ни полного синтеза логики с аналогией, ни полного логического отрезвления. Логика всегда побеждает, но не сразу и не полностью, а только в конечном счете и с запозданием.

Суть проблемы заключается в реальном соотношении и взаимодействии мышления логического (рационального) и аналогического (метафорического). Возможен ли в принципе на каком-либо этапе генезиса человеческого сознания примат аналогического способа категоризации мира и классификации его сущностей над способом таксономическим? На этот вопрос следует ответить отрицательно по той простой причине, что это было бы пагубно для рода человеческого и означало бы отказ психики служить тому назначению, ради которого она возникла и развивалась. Для успешной ориентации в мире необходима в качестве базисной максимально прогностичная и информативная рациональная система классов и категорий, максимально близко соответствующих природе вещей. Такой является таксономическая классификация, отражающая распределение связей признаков в сущностях мира на разных уровнях иерархии обобщений. Таксономическая классификация не задает заранее признаки-основания для сведения сущностей в классы. Она органична в том смысле, что следует за миром. Она исходит из того, что классы заданы до классификации и,

вскрывая то, что лежит в основе их общности, надо следовать природе вещей, ср. биологические и — шире — природные таксономии. Результатом являются представления (концепты, понятия) о классах, максимально прогностичные и информативные относительно связей свойств и закономерностей, которые следует ожидать у представителей таких классов. В этом смысле они максимально рационалистичны.

Аналогические классификации вторичны и дополнительные по отношению к таксономическим. В определенном смысле это «классификации поперек» таксономических: аналогический класс сводит вместе тех представителей из различных таксономических классов, которые обнаруживают у себя некий признак сверх таксономической связки. Аналогические классы составляют часть чрезвычайной обширной и разветвленной системы вторичных, нетаксономических классификаций сущностей на разнообразных основаниях. Особенность аналогических классов — в способе осмысления и обозначения классообразующего признака (основаниях классификации): аналогический класс осмысливается и обозначается метафорически — посредством уподобления другому. При этом осознается, что общий признак P денотатов D_1 и D_2 недостаточен для отнесения D_2 к классу K_1 (имя N_1), так что, даже распространяя имя N_1 на класс $K_2(P)$, остерегаются ожидать, что D_1 и D_2 должны обнаруживать больше общего сверх признака P — основания уподобления. Практически это означает, что по отношению к D_2 (K_2 , имя N_1) ведут себя иначе, чем по отношению к D_1 (K_2 , имя N_1), несмотря на подобие и общее имя: D_2 (N_1 = метафора) в таком случае значим для интерпретатора совсем не так, как D_1 (N_1 = первичная номинация).

Сторонники синкретизма первобытного мышления не просто развенчивают обобщение на рационально-таксономической основе и возвеличивают роль аналогии. Они первое подчиняют и вводят в структуру второго как более высокую синкретическую стадию духовного освоения мира. Реальный приоритет логики и аналогии оказывается перевернутым с ног на голову. Такая «рокировка» реальной значимости мыслительных форм: разума и чувства, знания и интуиции, строгой логики и прихотливой аналогии вообще свойственна романтизму и иррационализму. Сходным образом и структурная антропология заявляла приоритет аналогической «логики» перед логикой рациональной (Леви-Стросс).

Мнению о стадийности, предполагающему сдвиг, качественную прерывистость в генезисе мышления на разных этапах истории человечества, можно с неменьшим основанием противопоставить гипотезу о непрерывной его эволюции со времен кроманьонца. Эта эволюция имела накопительный, аккумулятивный характер, и в силу этого экспоненциально расширялись горизонты освоения знания и методов его приобретения, но качественные основы человеческого мышления в его отношении к непреложному миру действительности не претерпевали радикального измене-

ния. Диапазон сознания-мышления расширялся, оно углублялось в суть вещей и закономерностей и оттачивало свои аналитико-синтетические процедуры и операции, раздвигалась сфера планирования и замышления, фантазии и воображения, мыслительной игры и конструирования мнимых миров, возможных, невозможных и смешанных. Но при всем пространственно-временном разнообразии мыслительных продуктов мышление само по себе и в своих результатах неизменно сохраняло свою качественную основу.

И эта стабильность качества мышления была абсолютно необходима человеку. Она одна гарантировала человечеству не просто выживание, но возрастающий успех в мире. Нам же предлагают генезис мышления поделить на две стадии, причем непонятно, каким образом на первой стадии человек мог благополучно обходиться только иллюзорными представлениями о мире и на основе их успешно ориентироваться и решать практические задачи своего существования в нем. Ведь все это время он не только обеспечивал свое выживание, но во все возрастающем масштабе распространял свое влияние на мир, совершенствуя и пополняя арсенал орудий труда, увеличивая запас знаний, умений и навыков, и непрерывно — не без издержек для себя — расширял зону артефактного окультуренного мира.

Другое серьезное сомнение в «аналогической алогичности» раннего мышления порождается тем, что эта концепция несистемна: она не вписывается в общую систему представлений и фактов генезиса человечества. Во-первых, она полностью оторвана и не согласуется с материальной историей человечества — динамикой последовательного экспоненциального прогресса в создании артефактной среды — овеществленного мира культуры. С позиций стадийности мышления следовало бы ожидать, что эта сторона человеческой истории, как сказано, должна распадаться на два этапа, дологический и логический — длительный этап стагнации материального творчества и после внезапного ментального кризиса этап производственной активности (параллельно, увы, с прогрессирующим духовным отчуждением от мира).

Однако материальная история человечества в целом свидетельствует — при всех исторически обусловленных различиях судеб отдельных народов — о непрерывном, медленном вначале, но постоянно ускоряющемся прогрессе в производстве материальных ценностей. Более того, народы, оказавшиеся по каким-то причинам на обочине общего движения человечества, не оправдывают надежд протагонистов аналогического синкретизма первобытного мышления. Даже обнаруживая типические для предыстории человечества черты в мифологии, верованиях, предрассудках и суевериях, они решают все жизненно важные проблемы своей практической деятельности в отношениях с действительным миром, прежде всего средствами того же рационально-логического мышления. Их деятельно-

практическое видение мира, хотя и ограничено более узким горизонтом достигнутого ими знания, не обнаруживает специфической склонности к аналитической категоризации мира в ущерб логике и не подталкивает их пренебрегать сущностью — таксономическими свойствами вещей. Аналогия в их мышлении представлена столь же широко, как и у современного цивилизованного человека, но так же как и у нынешнего *homo sapiens* она вторична, дополнительна и подчинена сущностно-таксономической логике в построении целостной многомерной модели действительного мира — картины населяющих его сущностей с присущими и распределенными между ними признаками, с объединяющими их связями и отношениями.

Что же касается мифов, верований, предрассудков, суеверий и т. п., то они в неменьшей мере свойственны и современному человеку, хотя, понятно, в другом наборе и отчасти в другом качестве. Знание, в особенности научное, теснит их, но не способно вытеснить. Они всегда находят себе пристанище в человеческой душе, а через нее — и в самой науке. И кто может измерить, стало ли их в общем объеме меньше или столько же, как раньше? Просто они меняются по составу и воздействию на человека, а меньше их становится лишь относительно возрастающего объема знания. Само по себе их наличие и характер не определяют стадиальную специфику, целостный характер и способ мировосприятия (о мифе см. также дальше).

Равным образом не связаны напрямую с общим характером мышления и различия в менталитете разных народов, этносов и социумов. Речь идет о различиях — нередко весьма радикальных — в практическом понимании и деятельностном наполнении общекатегориальных абстрактных понятий, прежде всего аксиологических, таких, как добро и зло, вина и грех, должное и допустимое, долг и право, свобода и зависимость, свое—чужое и т. п. Сама действительность допускает значительную вариативность в практическом, обычно интуитивном осмыслении этих категорий и жизнеспособную (для общества), допустимую их комбинаторику. История показывает, что эти категории, при всей их устойчивости для данной культуры и этноса, претерпевают со временем существенные изменения и перекombинируются в системе. Но ни способ их осмысления, ни изменения в их содержании не имеют прямого отношения к типологии мышления (иное мнение, впрочем, см.: Феоктистова, Стеблин-Каменский).

Но главное не в этом. Наличие в совокупной мыслительной деятельности людей мифологических, мистических, фантазийных построений — не какая-нибудь особенность мыслительной деятельности людей на каком-то историческом этапе, а постоянная ее черта, универсалия человеческого сознания, такого, какое оно есть. И эта сторона человеческой ментальности неотступно сопровождала человека на всем протяжении его истории как нечто органически ему присущее. Стадиальная гипотеза развития челове-

ческой мысли резко противопоставляет логику и аналогию, образ и абстракцию, духовный синтез и мыслительный анализ. Она жестко разводит веру и знание, прозрение и доказательство, интуицию и опыт, проективность из мира и проективность в мир, фантазию и отражение. Тем самым эта гипотеза чрезмерно схематизирует структуру сознания. В ее основе лежит упрощенное представление о его строении и функционировании. На деле надо признать, что мышлению изначально свойственно наличие указанных антитез, их одновременное, на равных правах существование и взаимодействие (см. подробнее о структуре сознания далее).

С приведенным выше возражением тесно связано другое. Гипотеза стадияльного генезиса мышления основывается на узкой и специфической части мыслительных продуктов из тех, что оставило нам прошлое в прямом или косвенном отображении. Во внимание приняты только специфические свидетельства художественной культуры: обобщения относительно специфики раннего мышления строятся на материале мифов, легенд, верований и т. п., т. е. тех форм мыслительного творчества, в которых в силу их особого назначения наиболее ярко проявляется фантазийно-игровой компонент. Не только должным образом не учитываются, но фактически сброшены со счета все многообразные и многочисленные, прямые и косвенные, чисто духовные и овеществленные свидетельства и продукты мыслительной деятельности, непосредственно связанные с реальным миром, зависящие от него и призванные обеспечивать существование человека в нем. Узость стадияльной гипотезы прямо обусловлена узостью ее предметной базы.

Странным образом с позиций стадияльной гипотезы надо признать, что первобытный человек был менее логичен в своих отношениях с миром, чем животные. В самом деле, если быть последовательным и принять системные следствия из этой гипотезы, человек, выйдя из животного мира, на своем пути к овладению — среди прочего — и этим миром, не стал развивать рационально-таксономические начала в духовном освоении мира, но первым делом отказался и от тех задатков разумно-прагматического отношения к миру, которыми он был изначально наделен вместе с высшими и иными животными.

Все приведенные выше сомнения представляются настолько значимыми, что заставляют отвергнуть саму допустимость жестокой антитезы дологического и логического как разных стадий в генезисе мышления. Но если это так и наши доводы справедливы, то необходимо существенно уточнить представления об операциональной структуре мышления в его отношении к непреложному миру действительности — к тому, что изначально и в конечном счете определяет и оправдывает назначение самого мышления. Разработка этой проблемы была предпринята нами (Никитин, 1998), и в этой своей части статья будет опираться на изложенные (там) идеи.

I

Эти заметки о лингвистическом аспекте оценки опираются на замечательные работы на эту тему Н. Д. Арутюновой (Арутюнова, 1988) и Е. М. Вольф (Вольф, 1985), а также работ (Арутюнова, 1983 и 1985; Вендлер, 1981; Ивин, 1970; Стивенсон, 1985; Хэар, 1985; Halden, 1957; Perry, 1964; Wright, 1963a and b, 1972), а точнее сказать, отталкиваются от них. Заметки складываются из двух частей. Предмет этой первой части относится к общей теории оценки. В задачу ставится уяснить с лингвистических позиций некоторые существенные моменты в самом исходе этого понятия, а именно в части, касающейся объема и сущности оценки как мыслительного действия, обуславливающего специфику оценочных значений (целью второй части заметок будет уточнение структуры оценочных отношений, структуры и типологии оценочных значений).

Денотаты имен в отличие от обозначаемых ими вещей описываются не только онтологически по их признакам (свойствам и отношениям) в среде их существования (онтологические признаки), но и по другим специфическим признакам, которые обусловлены их внеобъектными отношениями к человеку. Эти признаки могут описывать вещь-денотат относительно процессов когниции, в которых человек выступает субъектом (по)знания (эпистемические признаки, ср. *известный — неизвестный, простой — сложный для понимания, ясный — неясный* и т. п.). Вещи-денотаты составляют предмет интереса и источник эмоционального переживания людей, и в этом отношении к субъекту речемыслительной деятельности в них выявляются признаки прагматические и эмотивные, ср. *хороший — плохой, приятный — неприятный* и т. п. Наконец, денотаты могут характеризоваться в семиозисе относительно процессов их знаковой репрезентации и в этом отношении у них обнаруживаются репрезентационные признаки, такие, как *обозначенный, упомянутый, названный, умалчиваемый, указанный* и т. п.

Таким образом, потенциально сфера признаков вещи и сфера признаков денотата не тождественны и вторая шире первой за счет того, что составляется из признаков не только онтологических, но еще эпистемических, прагматических, эмотивных и репрезентационных.

Это деление признаков достаточно очевидно, хотя некоторую сложность в анализ привносит то обстоятельство, что одно и то же признаковое слово может совмещать в качестве разных своих значений принадлежность к разным признаковым сферам в силу корреляции между ними. Тем самым маскируется само различие сфер. Ср. *простой* 1) *простой по природе, строению* (онтологический признак: *простой аппарат, простой человек*); 2) *простой для понимания* = *явный* (эпистемический признак: *достаточно простого отказа; ты просто меня не знаешь*).

Оценка имеет место на всех пяти уровнях описания денотатов — онтологическом, эпистемическом, прагматическом, эмотивном и репрезентационном. На каждом уровне она достаточно своеобразна, но общим для всех случаев является то, что оценка представляет собой мнение о качественных или количественных признаках вещей и событий в диапазоне выше предположения и ниже твердо установленного знания. Оценка судит о вещах на основе интуитивных критериев без верификации, поэтому она дает знание вещей и событий обычно, но не всегда достоверное, достаточно, но не вполне точное. Оценка требует от своего субъекта определенного запаса прочности на случай возможных ошибок и погрешностей. Это первичный механизм ориентации живых существ в вероятностном мире перед их реакцией на этот мир, механизм, выработанный в них долгим опытом. Оценочное знание довольствуется симптоматическими представлениями, при определении качества объектов оно не требует опытной проверки, а при установлении количества обходится без измерения. Оценочное знание опирается на интуицию, поэтому оно весьма экономно по способу получения, но не вполне надежно по результату.

Важно уяснить себе, что оценка — один из важнейших моментов в структуре отражательной деятельности сознания: она составляет целый самостоятельный уровень этой деятельности. Оценочная деятельность сознания — это последующий после ощущения и восприятия этап (уровень) интуитивно-ориентировочной информационной обработки объектов в поле актуальных и потенциальных интересов субъекта оценки, предшествующий и перетекающий в рационально-логическую обработку информации, с тем чтобы достичь достаточного знания об объекте (или хотя бы убеждения в этом).

По своему методу и уровню (характеру) знания мира наше мышление является по преимуществу оценочным, т. е. мыслительная деятельность в большей своей части совершается на уровне и в форме оценок. Способность к оценке определяет меру вписанности организма в среду обитания. Можно сказать, что способность к оценочной деятельности встроена в организм и встраивает его в мир органической частью.

На дологическом уровне сознания оценке соответствуют рефлекторные интуитивно-чувственные оценочные ощущения и представления. На уровне понятийно-умозаключающего сознания оценка принимает вид суждений мнения (с возможной модусной частью «полагаю, думаю, что...»; «представляется, что...» и т. п.). Оценка занимает диапазон представлений о вещах и событиях после «кажется» и до «знаю». В отличие от суждений, основанных на вере (фидейных суждений), оценка не претендует на безусловную достоверность (вера на это претендует, хотя нередко заблуждается на свой счет).

Особенность оценки как духовного действия состоит в том, что объект оценки соотносится по какому-то своему признаку или параметру (ос-

нованию оценки) с некоторой шкалой или эталоном количественного или качественного сравнения объектов, имеющих в распоряжении субъекта оценки, и ориентировочно определяется относительно этих координат по месту в них. Этим оценка отличается от других форм духовного постижения объектов — квалификации и классификации, идентификации и отождествления, анализа и синтеза. Квалификация предполагает установление признаков у объектов любым эвристическим способом — интуитивно, посредством измерения, опытным порядком, с верификацией или без нее и т. д., классификация — поиск места объекта в иерархических системах, образуемых сравнением объектов по общности наличных у них признаков. Отождествление — сведение разных (про)явлений или разных образов объекта к одному объекту. Идентификация — обратная сторона отождествления: при отождествлении исходят из предположения общего в различном и возводят различное к единому, а при идентификации исходят из предположения различий в едином и низводят общее к частному случаю.

Что же касается анализа и синтеза как мыслительных операций, то здесь мы переходим из области соотношений «частное—общее» в область отношений «часть—целое», от сравнения сущностей к их связям. Анализ и синтез, понятно, тоже взаимнообратимы: в одном случае имеют дело с декомпозицией целого на части (анализ), а в другом — (ре)конструируют из частей целое (синтез).

В чем же состоят особенности оценки на указанных выше пяти уровнях описания денотатов? На онтологическом уровне оценка решает задачи ориентации в том вероятностном мире, в котором мы живем. Ее назначение здесь — установить, насколько это требуется для целей ориентации, во-первых, вероятность и модус существования-наличия тех или иных объектов в определенных обстоятельствах (экзистенциальная оценка, ср. *в то время, должно быть, шла война; детей у нее как будто не было*); во-вторых, установить вероятность и модус существования — наличия тех или иных признаков у денотатов, и в частности правомерность той или иной квалификации наличного объекта (квалификативная оценка, ср. *ребенок как будто проснулся; он, по-видимому, врач*); в-третьих, установить симптоматически количество градуируемого признака у наличных денотатов (количественная оценка, ср. *их было наверняка немало; подъем был, должно быть, крутой*).

При всем многообразии языковых маркеров онтологической оценки центральную роль в этом обширном поле, как нетрудно видеть, занимают модальные слова с семантикой меры и модуса возможности-вероятности и единицы со значением симптоматического количества.

На эпистемическом уровне оценка имеет своим предметом меру адекватности эпистемических констатаций относительно денотатов как предметов мысли. Иначе говоря, на этом уровне ориентировочно оценивается мера истинности суждений их соответствия действительности, мера слож-

ности мыслительных задач, корректности и эвристичности мыслительных процессов и их результатов, мера правильности представлений об объектах, мера соответствия денотатов норме и идеалу и т. п. Ср. *это не совсем так; это вроде бы не так; это представление не вполне справедливо; это далеко не простая задача; это безусловно ошибочный вывод; совершенно блестящее решение; подлинный мастер своего дела.*

Сходным образом на репрезентационном уровне оценке подвергается адекватность знаковой репрезентации выражаемой мысли и содержащихся в ней денотатов и сигнификатов, т. е. в конечном счете — ориентировочная мера адекватности выраженных значений выражаемой мысли. Ср. *объект назван не совсем точно; мысль понятна, но выражена, кажется, весьма приблизительно; он говорит как-то проще.*

Здесь мы подошли к центральному пункту наших заметок. Мы оставили в стороне прагматические признаки денотатов и соответственно — прагматическую оценку, оценочные предикаты и значения. Останавливаться на них здесь нет необходимости, они достаточно рассмотрены в указанной выше литературе. Проблема, однако, состоит в том, что в лингвистике оценку и оценочные значения этим и ограничивают: в лингвистике принято связывать оценку, оценочные предикаты и оценочные значения исключительно с ценностными прагматическими представлениями, организуемыми вокруг двух соотнесенных полюсов *хорошо—плохо* (*хороший—плохой, лучше—хуже*). Между тем оценка нуждается в более широкой научной перспективе: требуется общая теория оценки и ее места в структуре духовной деятельности как одной из центральных операций сознания, своеобразной по цели, средствам и методу.

Мы стремились показать, что оценка — мыслительная операция гораздо более широкого плана: она безусловно представлена, занимает центральное место и играет структурообразующую роль в области ментальной прагматики — интуитивной аксиологии сознания, но и выходит за ее пределы — в область интуитивной когниции, проявляясь как ориентировочная когнитивная оценка и когнитивные оценочные значения.

И онтогенетически, и филогенетически сознание начинается с формирования прагматических структур, обеспечивающих полезностную оценку, ценностную ориентацию и оптимальное реагирование на среду. Но возможности такого взаимодействия с миром безмерно увеличиваются с наращиванием когнитивных структур объективированного знания, знания впрок, коррелирующего с прагматическими структурами сознания. Последние первичны в том смысле, что напрямую связаны с удовлетворением жизненных потребностей и интересов, но диапазон их успешного действия настолько велик, насколько широко и глубоко развиты когнитивные структуры сознания.

Методом, способом и орудием действия прагматических структур сознания является интуиция со всеми ее достоинствами и недостатками.

Сама интуиция — следствие включенности организма в среду его обитания и результат его взаимодействия с миром. Оценка и интуиция соотносятся как цель и способ (метод) мыслительного действия. Интуиция порождает оценочные представления, представления ориентировочного характера. Эти представления принадлежат частью к области когниции, т. е. объективированного знания (ориентировочная когнитивная оценка, качественная и количественная), а частью — к области прагматики — субъективированных представлений о мире с позиций интересов и потребностей человека (прагматическая оценка).

Интуиция действует как озарение, как бы без видимых мыслительных усилий и вне рамок и правил строгого рационально-логического (рассудочного) процесса. Она действует быстро и экономно как непосредственная мыслительная реакция на предметы и события, и в этом ее достоинство. В силу этого интуиция лучшим образом прямо предназначена для безотлагательных реакций на мир — для оценочного решения актуальных задач прагматической ориентации в мире.

Таким образом, интуиция изначально и прежде всего предназначена служить инструментом прагматических структур сознания. Сознание начинается с прагматических структур, их функция — оценочная прагматическая ориентация, их способ действия — интуиция, а результат — прагматическая оценка: продукт прагматических структур носит характер оценочный и интуитивный.

Понятно поэтому, почему в лингвистике понятие оценки, оценочных предикатов и значений оказалось зауженно жестко привязано к наиболее характерному проявлению оценки — прагматической оценке. Но в теории оценки надо найти место и для когнитивной ее разновидности, тоже основанной на интуиции, но приложенной к объективированным представлениям о мире — внеполезностным симптоматическим (ориентировочным) суждениям о вещах, событиях и их признаках.

В области когниции интуиция соседствует и взаимодействует с рассудочным (рационально-логическим) мышлением. У интуиции, как известно, есть не только достоинства, но и недостатки: она не дает гарантии, что ее суждения обязательно справедливы. Рассудочное мышление при необходимости берет на себя трудоемкую задачу корректировать, уточнять и верифицировать оценочные суждения интуиции.

II

В задачу этой, второй, части заметок входит уточнение с лингвистических позиций представления о структуре и компонентах оценочного отношения и о типологии оценочных значений и слов.

Вначале изложим в тезисной форме исходные положения общей теории оценки, рассматриваемой в первой части «Заметок» (там же указаны

работы, на которые опираются и от которых отталкиваются настоящие «Заметки»).

1. Оценка — мыслительное действие на интуитивной основе с целью ориентировочно (в диапазоне от догадки до убеждения) установить наличие тех или иных признаков у вещей и событий (включая наличие самих вещей и событий). Результат оценки — мнение о наличии, количестве и качестве признаков у вещей и событий и о наличии каких-то вещей или событий в какой-то ситуации.

Оценка и интуиция соотносятся как цель и метод (способ, средство) мыслительного действия. Интуиция как орудие оценки отличает ориентировочные оценочные представления от более строгих рационально-логических (рассудочных) форм мышления. Последние предполагают доказательность суждений средствами измерения, счета (суждения о количестве), опытной проверки (индуктивные суждения) и корректного логического вывода (дедуктивные умозаключения).

2. Оценочные суждения относятся к суждениям мнения. Последние лежат в области промежуточной между сомнением и убеждением, между предположением и установленным знанием, между верой и доказательством. Оценка не дает гарантий знания окончательного, полного и точного (хотя нередко она таковым оказывается), претендовать она может только на знание ориентировочное, возможное, но предварительное, знание на прикидку. Достоинство оценочного знания состоит в том, что оно получено весьма экономным образом — с «внутреннего голоса» интуиции. Недостаток же проистекает из того же источника: интуиция, а с ней и оценка не дают гарантии достоверного знания.

Денотаты имен в отличие от обозначаемых ими вещей описываются не только онтологически по их признакам в среде их существования (онтологические признаки), но и по другим специфическим признакам, обусловленным их внеобъектными отношениями к человеку. Эти признаки могут описывать вещь-денотат относительно процессов когниции, в которых человек выступает субъектом (по)знания, и в этом случае мы имеем дело с эпистемическими признаками, ср. *известный—неизвестный, простой—сложный* (для понимания), *таинственный, загадочный* и т. д. Вещи-денотаты составляют также предмет интереса и источник эмоционального переживания, и в этом отношении к субъекту речи они наделяются признаками прагматическими и эмотивными положительного или отрицательного свойства, ср. *хороший—плохой, приятный—неприятный* и т. п. Наконец, денотаты могут характеризоваться в семиозисе — относительно процессов их знаковой репрезентации — и в этом отношении обнаруживают признаки репрезентационные, такие, как *обозначенный, упомянутый, умалчиваемый, указанный* и т. п.

Таким образом, потенциально сфера признаков вещи и сфера признаков денотата не тождественны и вторая шире первой за счет того, что со-

ставляется из признаков не только онтологических, но еще эпистемических, эмотивных и репрезентационных.

Оценка возможна на каждом из этих признаковых уровней.

На всех уровнях, кроме одного, утверждения о наличии признаков, вещей или событий могут быть высказаны как фактуальные или оценочные. Однако на прагматическом уровне ценностные суждения о признаках денотатов могут носить только оценочный характер. Таким образом, на прагматическом уровне, в отличие от всех прочих, оценка может быть двойной: во-первых, как констатация некоторого ценностного признака у денотата, ср. *он — хороший человек*, и, во-вторых, модальная констатация того, насколько вероятной (возможной) представляется справедливость (истинность) ценностного суждения, ср. *он вроде бы хороший человек*.

Здесь наглядно обнаруживается различие двух видов оценки: 1) универсальной модально-истинностной (ориентировочные представления о вероятности (возможности) наличия некоего денотата в какой-то ситуации или вероятности (возможности) наличия некоего признака у денотатов-вещей или событий; 2) ценностно-прагматической (представления о ценностных достоинствах денотатов по тому или иному основанию). Заметим, что в лингвистике оценка связывается только с последним случаем.

Таким образом, на онтологическом (включая экзистенциальный), эпистемическом и репрезентационном уровнях оценочные суждения носят только модально-истинностный характер (но зато на этих уровнях возможны утверждения не только оценочные, но и фактуальные). Что же касается прагматического уровня, здесь возможны только оценочные утверждения — ценностные и модально-истинностные.

Почему же на прагматическом уровне суждения о наличии ценностных признаков (ценностная квалификация денотатов) не могут «дотянуть» в полную меру до констатации факта — стать безоговорочно фактуальными? Почему они практически всегда остаются в области мнения как диктальная часть при модусах — предикатах оценочного отношения «(я) считаю/полагаю/думаю, что...» и т. п., а выражения, вроде «я (абсолютно) убежден/несомненно, что он хороший человек» должны считаться не только констатацией убеждения, но и ручательством?

Дело, вероятно, в том, что прагматика и прагматическая оценка — область жизненно важных актуальных интересов человека. Она разработана им с максимальным тщанием. Еще бы — от этого зависит не только успех его деятельности, но часто и само существование. Здесь необходим максимально широкий учет всех факторов, прежде чем решиться на суммарное заключение. Здесь необходима максимальная осторожность и взвешенность суждений при том, что приходится считаться с множеством разнородных и разнонаправленных факторов. В условиях того, что называют диалектикой жизни, строгая логика умозаключений бывает неадекватной,

так как не может рассчитывать на достаточную, препарированную для ее механизмов информацию. Она (логика) часто играет лишь подсобную роль, и сознанию бывает надежней и экономней опереться на примордиальную интуицию. В области прагматики интуитивная оценка в целом действует верней, чем рассудочная логика. Неполная фактуальность оценочных суждений не позволяет сознанию разоружаться и держит дверь открытой для того, чтобы скорректировать или даже дезавуировать начальное мнение.

Оценочное отношение — род ментального познавательного отношения между субъектом и объектом когниции. Субъект оценки может быть индивидуальным и коллективным. В первом случае в оценке проявляются индивидуальные, в том числе личностные и одномоментные факторы и особенности оценивающего. Во втором — отражает коллективно и общественно сложившиеся и признанные нормативы и установки. Что касается объектов оценки, они весьма многообразны и могут быть представлены как единичное или как класс, как часть или целое, как признак любого из уровней и т. д. Но все это предметное многообразие сводится при оценке к ограниченному числу оценочных шаблонов, модально-истинностных и ценностных. Помимо субъекта и объекта, в структуре оценочных отношений выявляются также следующие компоненты: основание, модус, норматив и релятор оценки.

Основание оценки — это та сторона или признак денотата, которые подвергаются оценке. Основание оценки может лежать в области онтологических (включая экзистенциальные), эпистемических, прагматических и репрезентационных признаков денотатов.

Модус оценки — один из возможных видов оценки, определяемых целью оценочного рассмотрения денотата. Этих целей может быть несколько: 1) ориентировочно установить вероятность наличия денотата в некоторой ситуации (экзистенциальный, или бытийный, модус оценки); 2) ориентировочно установить класс денотата (классификационный модус); 3) ориентировочно на уровне единичного идентифицировать денотат (идентификационный модус); 4) ориентировочно установить наличие некоего признака у денотата (дескриптивный, или квалификационный, модус); 5) ориентировочно установить количество денотатов или количество некоего градуального признака у денотата (количественный модус); 6) установить прагматическую ценность (значимость) денотата по тому или иному основанию (качественная прагматическая оценка); 7) ориентировочно установить меру прагматической ценности денотата (количественная прагматическая оценка); 8) ориентировочно установить вероятность той или иной ценностной квалификации денотата (вероятностная квалификационная прагматическая оценка); 9) ориентировочно установить меру ценностного признака у денотата (вероятностная количественная прагматическая оценка).

Примеры: 1) там, вероятно, был обвал; 2) он, по-видимому, учитель; 3) это, вероятно, был Петров; 4) он, должно быть, спит; 5) рукав, пожалуй, короток; 6) басня хороша моралью; 7) дела из рук вон плохи; 8) басня вроде бы хороша моралью; 9) дела вряд ли так уж из рук вон плохи.

Как нетрудно видеть, оценочные модусы подразделяются на когнитивные (п. 1–5) и прагматические (п. 6–9); качественные (п. 1–4, 6 и 8) и количественные (п. 5 и 7); вероятностные, или модально-истинностные (п. 1–5, 8 и 9) и жесткие оценки (п. 6 и 7). Когнитивные оценки относятся к области объективированного знания, прагматические — к области ценностных представлений. Все разновидности когнитивных оценок носят вероятностный характер (речь тут идет, понятно, о так называемой житейской вероятности ориентировочных оценок, не имеющих строгого количественного выражения). Вероятностные оценки этого рода связаны с модальностью возможности наличия тех или иных вещей, признаков и событий в определенных обстоятельствах, они и есть оценка этой вероятности. В этом смысле их можно назвать модально-истинностными. Жесткие оценки как будто претендуют на истину, но только по форме, истину по заявлению, поэтому они не истинны, а лишь истинностны, т. е. только связывают себя требованием содержать истину, но не обязательно содержат ее, тем более что всякая оценка по природе приближительна.

Наконец, качественная оценка имеет целью ориентировочно установить качество денотатов, т. е. отнести вещи и события к определенному классу или установить свойственные им признаки, а количественная оценка — ориентировочно установить количество денотатов или меру градуальных признаков.

Норматив оценки. Вначале заметим, что классификация объектов предполагает заранее заданную иерархическую систему размещения сущностей по уровням общности обнаруживаемых у них признаков, в определенные места которой (системы) помещают объекты классификации. Идентификация и отождествление тоже предполагают соотнесение объектов с ранее сложившимся в сознании образом — эталоном сравнения.

Сходным образом оценка предполагает заранее заданный норматив, относительно которого оценивается объект. Оценочным нормативом служат либо шкала приближительных количественных оценок градуальных признаков, либо шкала приближительных оценок вероятности признаков, вещей или событий в определенных обстоятельствах, либо шкала приближительных оценок меры качества.

Релятор оценки. Оценочные слова весьма многочисленны и существенно разнообразны. В основе этого разнообразия, конечно, лежит многообразие оснований оценки — сторон и признаков денотатов, подлежащих оценке. Но было бы ошибкой считать, что разнообразие оценочных предикатов образуется прямой проекцией системы оснований на систему оценок, что вторая есть функция первой. Напротив, основания, взятые сами по

себе, вне оценочного отношения, лишь в той мере обуславливают типологию оценочных предикатов, в какой различия в основаниях по вероятности их наличия и ценностной характеристике прагматически существенны для человека. Основания оценок сами являются объектом приложения к ним системы истинностных и ценностных оценок и ею систематизируются.

Основание оценки должно быть пропущено через призму оценочного отношения, обработано оценочными механизмами сознания, и тогда оно получает ориентировочную квалификацию по вероятности наличия в некотором фрагменте некоторого мира и по прагматической значимости. Собственные, вне оценки, признаки денотатов, их свойства и отношения, системные характеристики в сфере их бытования безотносительно к субъекту не определяют прямо их оценочную квалификацию. Система оценочных предикатов формируется не извне, а изнутри — из субъекта оценки. Отдельные оценочные предикаты, хотя и фиксируют некое положение дел вне субъекта оценки, но фиксируют его относительно субъекта оценки.

Реально диверсификация оценочных слов и их семантическая типология начинаются с модусов оценочных отношений — с разграничения и комбинаторики оценочных модусов когнитивных и прагматических, качественных и количественных, жестких и вероятностных. Наложение качественных модусов на шкалу приблизительных количественных оценочных нормативов приводит к еще большему разветвлению системы оценочных слов.

Но главную роль в этом разветвлении системы, в диверсификации оценочных предикатов играет фактор, условно обозначенный как релятор оценки. Что это за фактор? Оценочный релятор действует в сфере ценностных представлений, соотнося (отсюда название) основание оценки с одной из базисных ценностных сфер, в совокупности составляющих ценностную структуру сознания. Онтология денотата при этом перелагается в ценностную прагматику субъекта. Оценочное отношение к денотатам актуализирует в сознании соответствующие ценностные сферы вместе с присущими им оценочными нормативами шкалами. Основание оценки транспонируется в оценку основания и самого денотата.

Ценностные структуры сознания обеспечивают направление прагматической обработки информации о денотатах, что необходимо для успешной ориентации человека в мире. Оценочные реляторы по существу суть ментальные механизмы отнесения представлений о денотатах с их признаками к соответствующим базисным оценочным сферам. Реляторы могут быть обозначены по этим сферам, хотя назначение их в том, чтобы перекидывать мостик к ним на переходе от онтологии оснований к прагматике субъекта, от объективированного знания о денотате — к субъективному ценностному представлению о нем.

В целом оценочный процесс имеет иерархическую уровневую структуру. Начинаясь с ощущения, восприятия и наблюдения, он проходит на-

ческую синкретическую стадию, на которой прагматическая и когнитивная составляющие оценочного процесса слиты еще воедино и существуют в свернутом, неразработанном виде как побуждение к оценке. На этом предварительном этапе предмет оценки попадает в поле внимания как значимостно релевантный. Иными словами, первоначально устанавливается, заслуживает ли он почему-либо внимания и следует ли сознанию настроиться на него. Это значимостная стадия оценочного процесса (*significance stage*), предвещающая оценку как его результат. На последующей стадии совершается переход к собственно когнитивным и прагматическим оценкам предметов и явлений (событий). Поскольку оценочный процесс имеет иерархическую ступенчатую структуру, он предполагает вначале некую систему базисных оценок — базисных оценочных сфер.

В области собственно прагматических оценок базисных оценочных сфер по меньшей мере пять: 1) сфера оценок по линии «хорошо—плохо» с разной степенью градации этих оценочных признаков (условно — сфера хорошего, *goodness sphere*); 2) сфера оценок по линии «полезно—вредно» с градацией этих оценочных признаков (условно сфера пользы, *benefit sphere*); 3) сфера оценок по линии «приятно—неприятно» с разной степенью градации этих оценочных признаков (условно — сфера приятного, *pleasure, or comfort sphere*); 4) сфера оценок по линии «интересно—неинтересно» с возможной градацией этих оценочных признаков (условно — сфера интересного, *attendance sphere*); 5) сфера оценок по линии такой, как следует (как должно) — не такой, как следует (как должно) с градацией этих оценочных признаков (условно — сфера соответствия, или сообразности, — с ударением на втором «о», *accordance sphere*).

Система базисных прагматических оценок имеет двухуровневое строение. Высшим, максимально обобщенным и минимально детализированным уровнем является сфера оценок хорошо-плохо. Это уровень изначальной простейшей оценочной оппозиции и вместе с тем уровень максимальной редукции оценок, хотя и здесь, понятно, вполне возможна количественная градация базисной оценки. Все прочие базисные оценки образуют второй уровень ценностной структуры и в конечном счете могут быть выведены на этот, высший уровень и редуцированно интерпретированы в терминах хорошего-плохого, но не наоборот, ср. *это плохо, потому что вредно/неприятно/неинтересно*, но логически некорректно сказать *это вредно/неприятно/неинтересно, потому что плохо*. Именно в силу этого хорошее-плохое является универсальной максимально обобщенной оценочной категорией сравнительно с более узкими категориями полезного-вредного, приятного-неприятного, должного-недолжного (сообразного-несообразного).

Следует еще заметить, что нет обязательной корреляции хорошего с полезным/приятным/интересным/должным, равно как плохого с вредным/неприятным/неинтересным/недолжным. Вполне возможно и такое

положение дел, когда, например, нечто вредное будет оценено как хорошее в какой-то ситуации. Но равным образом и между прочими оценочными категориями возможны разнообразные корреляции оппозитивных пар — левых с левыми и левых с правыми. Например, нечто вредное может быть приятным, хотя ему вроде бы «положено» быть неприятным при гармонии вещей.

Каждая из базисных оценочных сфер построена на оппозиционной основе: хорошее vs. плохое, полезное vs. вредное, приятное vs. неприятное и т. д. Эти оппозиции все качественные (а не количественные), т. е. члены оппозиций разнонаправлены, имеют противоположные векторы возрастания качества. Как это вообще свойственно качественным оппозициям в отличие от количественных, им, за редкими исключениями, не свойственно иметь ближайшее родовое обозначение — обобщенное наименование данной качественной оппозиции. Поэтому для того, чтобы назвать качественную оппозицию на ее уровне, приходится, как правило, приводить оба оппозитивных термина: категория добра—зла, пользы—вреда и т. п. (в случае же количественных оппозиций ближайший родовой термин обычно имеется; так, в противопоставлении короткого длинному речь идет о длине, легкого тяжелому — о весе и т. п.).

Поскольку мы имеем дело с оппозициями ценностно-прагматического характера, очевидна соотнесенность оппозитивных членов: одних — с благополучием, успехом, комфортом субъектов оценочного отношения, осознанием и прагма-знанием ими мира, а других — с неблагополучием, неудачей, дискомфортом и т. п.

Конкретно в пояснение каждой из оценочных сфер надо добавить следующее. Сфера хорошего — плохого имеет своим психическим субстратом в сознании состояние желания — в том смысле, что денотаты в этом случае квалифицируются как хорошие или плохие, если они с какой-то стороны отвечают (или соответственно не отвечают) желаниям субъекта оценки, отвечают его представлениям о желательном (желаемом) или, напротив, нежелательном (не желаемом) в каких-то обстоятельствах. За хорошим-плохим в денотатах стоит желание-нежелание в сознании субъекта. Иначе говоря, если какие-то признаки денотата в той или иной мере удовлетворяют желанию, то денотат оценивается и квалифицируется как хороший в соответствующей степени. В противном случае он считается плохим.

Психической основой и побуждением к оценке денотатов как полезных или вредных является, конечно, ощущение потребностей и представления об условиях благополучия субъектов оценки: вещи и события оцениваются какими-то своими сторонами как полезные или вредные, если какие-то их качества способствуют или, напротив, препятствуют благополучному существованию субъекта, удовлетворяют или идут вразрез с его потребностями.

Приятное-неприятное в денотатах обусловливается, конечно, их способностью вызывать положительные или отрицательные ощущения и эмоции, т. е. характером их чувственного усвоения и переживания при восприятии. Этими оценками квалифицируются денотаты, доставляющие приятные или неприятные ощущения, переживания и эмоции, положительные или отрицательные в той или иной степени: *удовольствие, радость, наслаждение, счастье, эйфорию, экстаз или неудовольствие, неприятность, печаль, уныние, депрессию, горе, отчаяние* и т. п.

Оценки «интересно-неинтересно» базируются на психическом феномене внимания — актуального осознания: интересно то, что обращает на себя внимание.

Строго говоря, оценке подвергаются не предметы сами по себе, а явления предметов, т. е. события с предметами-участниками, и если все же говорят об оценке предметов, то имеют в виду, очевидно, характерные, типичные, массовидные, наиболее частотные и значимые их проявления, аргументы со значимыми предикатами, вещи с теми или иными их признаками (свойствами и отношениями). Это особенно наглядно проявляется в случае оценок по линии «интересно—неинтересно». Оценки этого ряда предполагают фактор новизны: событие пропускают через структуры наличного знания с целью установить, содержится ли в нем нечто новое, так или иначе отличное от фиксированного памятью и любопытное в познавательном отношении.

Во всех этих случаях отношение между основанием и результирующей оценкой носит каузативный характер, т. е. основание действует как фактор, обуславливающий оценку: какие-то признаки денотатов соотносятся с определенными сферами оценки и обуславливают соответствующие оценочные квалификации. Иначе говоря, денотаты какими-то своими сторонами обуславливают (каузируют) их желательность-нежелательность для субъекта оценки, его благополучие-неблагополучие, внимание-невнимание к ним со стороны субъекта, положительную или отрицательную эмотивно-чувственную реакцию на них. При том, что оценочный релятор связан с оценочными сферами, здесь наглядно обнаруживается отличие понятий релятора и оценочной сферы: релятор действует на переходе от онтологии вещей к ценностной прагматике субъекта, от оснований к оценкам. Релятор переключает мысль из области когниции (объективированного знания) в область субъективных значимостей, соотнося одно с другим.

Особо надо пояснить последнюю из выше названных оценочных сфер — сферу должного (такого, как следует/*vs.* не такого, как следовало бы). Условно она была названа как сфера соответствия, или сообразности, *accordance sphere*. В этом случае оценивается соответствие денотата установочным и нормативным представлениям опережающего сознания. Речь идет о том, насколько денотат соответствует положенным для него норме,

образцу, стандарту, оригиналу, эталону, идеалу, цели, функции, замыслу, правилу, установлению, закону и т. п. Образ денотата соотносится с образом должного, ожидаемого и градуированно оценивается соответствие, сообразность первого второму.

Вот некоторые примеры оценок соответствия, разнесенных реляторами по категориям оснований:

1) соответствие-несоответствие нравственным, этическим нормам и общественным идеалам: *добродетельный — порочный; честный — бесчестный; благоразумный — легкомысленный; экономный — расточительный; верный, надежный — ненадежный, неустойчивый, предатель(ский); достойный — недостойный* и т. д.;

2) соответствие оригиналу, подлиннику, эталону, образцу, идеалу: *подлинный, истинный, настоящий, неподдельный — фальшивый, поддельный* и т. д.;

3) соответствие норме, качеству вещи: *классный, первоклассный, изумительный — приемлемый, удовлетворительный, терпимый, допустимый — неприемлемый, неудовлетворительный, отвратительный, ужасный* и т. д.;

4) соответствие требуемой мере количества и качества вещей: *точный — приблизительный — неточный* и т. п.;

5) соответствие установлению, правилу, закону: *законный, правильный, легитимный, санкционированный — незаконный, несправедливый, нелегальный, нелегитимный* и т. д.

В зависимости от практической значимости для человека любая ценностная сфера разработана в сознании и языке с требуемой мерой глубины и детализации, качественной и количественной вариативности. Совокупность оценочных предикатов отражает иерархию и системные связи прагматически релевантных оснований в их привязке к оценочным сферам сознания. Проекция онтологических систем оснований оценки на систему оценочных сфер определяет структуру значения оценочных слов. Именно это взаимодействие когниции с прагматикой, компонование онтологических признаков с ценностными обеспечивает максимальную диверсификацию оценочных понятий и оценочной лексики.

Прагматический оценочный признак занимает разное место и играет разную роль в структуре лексического значения слов, и соответственно этому группируется оценочная лексика. Во-первых, оценочный признак может исчерпывать лексическое значение слова (или по меньшей мере одно из его значений), и в таком случае имеем дело с чистыми оценочными предикатами — универсальными, как *хорошо — плохо*, или специальными, как *полезно — вредно, приятно — неприятно, интересно — неинтересно, такой, как должно — не такой, как должно*. На этом уровне возможно лишь количественное варьирование меры первичных оценочных признаков, осложняемое разнообразными коннотационными (функционально-стилевыми и иными) приращениями, ср. *хорошо — очень хорошо — пре-*

восходно — чудесно — высший класс! — сила! — клево — блеск! и т. п., а также *плохо — очень плохо — из рук вон плохо — скверно-прескверно* и т. д. Ср. по другой линии: *приятно — очень приятно — блаженство! — кайф!* — *я тащусь!* и т. д., а также *неприятно — очень неприятно — неприятно — противно — гадко — мерзко* и т. п.

Далее собственно оценочные признаки в семантике слов начинают комбинироваться с разнообразными признаками-основаниями, и при этом многообразие оценочных слов возрастает лавинообразно: обобщенный базисный оценочный признак осложняет представление об основании оценки — о той стороне, качестве денотата, которая получает оценочную квалификацию. Слово, таким образом, привязывает оценку к определенной предметной области, к определенной категории признаков-оснований оценки, к денотатам, в которых такая категория признаков отмечается.

Примеры оценочных слов с такой комбинированной семантикой уже даны выше при рассмотрении одной оценочной сферы — сферы должного (сферы соответствия). Теперь следует охватить все оценочные сферы, с тем чтобы наметить общую для всех их типологию оценочных значений по соотношению в их структуре этих двух семантических компонентов: признака-основания оценки и собственно оценочного признака. При этом можно выделить по меньшей мере три группы оценочной лексики, с той, однако, оговоркой, что границы между ними размыты, как это вообще свойственно категоризации слов с оценочной, эмотивной и обобщенно-абстрактной семантикой.

Вначале можно выделить достаточно обширную группу слов, у которых признак-основание очерчен лишь приблизительно, его экстенционал размыт, в силу чего эта группа оценочных слов незаметно смыкается с группой базисных оценочных предикатов, расширяя и расцветивая ее многообразными эмотивными оттенками смыслов, отдаленно привязанных к каузирующей базе эмоций. В силу размытости основания оценки слова этой группы свободно мигрируют из своей предметной области в область обобщенных внепредметных оценок, размещаясь в разных местах всей протяженности оценочной шкалы, положительной или отрицательной. Сравнительно с базисными предикатами эти слова метафоричны (синестезия), эмотивны и экспрессивны. Показательным примером их в русском языке могут служить «сила» и производные «сильный-сильно». В оценочно-эмотивном значении эти слова далеко уходят от исходной идеи силы (основание оценки) и выражают не силу денотата, а силу (= высокую меру) впечатления от него как чего-то очень хорошего. Другие примеры этой группы: *божественно, вонючий, гиблый, гнилой, грязный, добрый, дорогой, дрянь-дрянной, дурной, капитально, классный, кошмар, крепко, милый, низкий, прекрасно, свежий, серьезно, скверный, слабый, совершенный, трудный, убогий, ужасный* и т. д.

Далее эта группа незаметно переходит в еще более многочисленную, где уже достаточно определенно выявлено основание оценки и вместе с тем оценочный компонент представлен настолько ярко, что остается возможность расширительного чисто оценочного употребления на синестезической основе с выходом за экстенциональный предел основания, т. е. с нейтрализацией его. Для иллюстрации можно взять прилагательное и наречие «печальный-печально», которые как гиперболы со стороны говорящего — всего лишь формальная дань значимости события, а по реальной ситуации «не дотягивают» даже до простого сожаления. В состав этой группы можно, по-видимому, отнести такие слова, как *безобразие, благородно, бессовестно, верный — неверный, вкусный, волевой — безвольный, вульгарный, дефективный, душевный, душистый, затхлый, здоровый-нездоровый, злобный, злой, изменчивый — неизменный, искренний — лживый, катастрофический, коварный, надежный, невинный, неряшливый, опасный, открытый, поддельный, порочный, послушный, правдивый, предательский, примерный, сердечный, серьезно, терпимо, удачный — неудачный, урод — уродливый, ущербный, фальшивый, фатальный, честный, элегантный* и др.

Также незаметно, с размытой периферией, совершается переход к последней группе слов, где оценочный компонент перифериен: здесь он не входит в ядро лексического значения, а содержится в импликационале значения, т. е. относится к тем коннотациям, которые, не будучи обязательными, лишь с определенной вероятностью связываются со словом как фоновая дополнительная информация о денотате. В значении таких слов доминирует когнитивный компонент, а оценочные семы отодвинуты на задний план как фон привычных, но не обязательных ассоциаций. Эти слова находятся на периферии оценочной лексики. Их количество велико и не поддается учету. К ним относятся слова разных частей речи. Оценочный компонент в их семантике настолько стабилен, насколько устойчивы положительные или отрицательные оценочные ассоциации, привычно связываемые с денотатами этих слов. У иных они достаточно прочны и составляют импликациональную часть словарной семантики слова, у других — проявляются как функция контекста.

Поскольку оценочный компонент в этой группе слов не выпячен, а существует как бы неявно, они с успехом эксплуатируются записными ораторами, виршеплетами, политиками и прочими категориями практических стилистов, не исключая и серьезных художников слова, в целях скрытого речевого воздействия: непрямого аргументации, косвенного убеждения, подспудного формирования установок, мнений и оценок.

Для иллюстрации достаточно немногих примеров (на положительной стороне оценочной шкалы): *волна, волшебник, волшебный, душа, сердце, ласка, ласкать, лелеять, мечта, мечтать, милый, нежность, нежный, нежить(ся)* и т. д. и т. п.

Такова общая картина структуры и типологии оценочных отношений, оценочных значений и оценочных слов, которая, конечно, требует дальнейшей детальной прорисовки и разработки.

Раздел 2

Концепт и значение

2.1. Развернутые тезисы о концептах

1. Концепт — дискретная многофакторная ментальная единица со стохастической (вероятностной) структурой. Его единство и отдельность обеспечиваются тождеством того денотата, с которым он соотносится в каких-то ментальных мирах. Отдельность концепта не абсолютна и определяется мерой вычлененности соответствующего денотата в мирах его осуществления.

2. Концепт связан многообразными концептуальными связями и взаимодействиями с другими концептами. На первом уровне членения концептуальные связи подразделяются на импликационные (импликативные), категориальные (классификационные) и семиотические (знаковые). Импликативные связи — ментальный рефлекс и аналог линейных связей сущностей действительного мира, их зависимостей, взаимодействий, пространственных и временных сопряженностей. Категориальные связи концептов — мыслительный аналог распределения признаков в сущностях объективного мира на разных уровнях обобщения. Они отражают глубинную структуру мира, но не на линейном уровне (проявлений) сопряженностей, а в «поперечном разрезе» сходств и различий, таксономий и аналогий.

Что же касается семиотических концептуальных связей, то это связи между двумя концептуализированными (психическими) сущностями, образующими знак, — двумя сторонами знака, десигнатором (означающим) и десигнатом (означаемым, значением).

3. Концептуальные взаимодействия — динамический аспект концептуальных связей, их проявление в действии, в мыслительных процессах и их результатах. Это в первую очередь процессы и результаты соотношения и сравнения концептов, их сличения и различения, сближения и разведения, анализа и синтеза, системного упорядочения, уподобления и интеграции, объединения в импликативные и категориальные структуры разных уровней сложности, а также прагматическая обработка (processing) концептов.

4. Содержание концептов, их внутренняя структура и внешние разграничения, их системные связи, а в более широком плане — содержание, структура и членение сознания на концептуальные единицы обусловлены в

конечном счете структурой действительного мира и еще более — структурой и содержанием совокупной деятельности общественного человека в действительном мире: структура и членения ментальных миров сознания не определяются структурой и членениями языка как формы. Даже черпая свои концепты и обогащаясь через посредство языка, сознание повергает и сообразует их с базисными представлениями, сформировавшимися в нем в непосредственных деятельностных контактах с миром.

5. Импликативные связи концептов формируются как отражение линейных (причинно-следственных, пространственно-временных, холлопартитивных и иных подобных) связей сущностей отражаемого мира, но далее сами они становятся основой для построения множества ментальных миров сознания, реальных, мнимых и смешанных; возможных, ирреальных и смешанных; рационально-логических, фидейных и фантазийно-игровых. Первичным в иерархии ментальных миров сознания выступает тот, который принимает на себя обязательство соответствовать действительному миру, быть его мыслительным коррелятом. Это базисный мир сознания, и строится он — при всех его заблуждениях и неполно-достаточной адекватности — на принципах истинности и верифицируемости. Все прочие ментальные миры вторичны по отношению к нему, строятся на его основе и оцениваются с оглядкой на него. Иное не возможно, так как иначе психика не отвечала бы своему назначению — обеспечивать успешную ориентацию и существование субъекта в непроложенном действительном мире.

6. Всякий концепт так или иначе входит в качестве элемента в каждую из двух коррелирующих структур сознания — когнитивную и прагматическую (оценочно-прагматическую) и как следствие соединяет в своем содержании два коррелирующих компонента — когнитивный и прагматический. Первый «прописывает» концепт в координатах системы совокупного объективированного знания, второй — в координатах системы полезностных оценок.

7. Концепт — ментальное образование стохастической структуры. Стохастический характер концепта обусловлен вероятностной природой отражаемого им мира (заметим, что речь идет о житейской вероятности обыденного сознания — приблизительных, но достаточно единообразных количественных оценках встречаемости сущностей и событий). В содержательном плане концепты представляют собой разной степени сложности структурированные совокупности признаков (свойств и отношений, которые полагают характерными для сущностей данного класса — от обязательных до несовместных). Обязательные признаки составляют ядро концепта — его интенционал. Интенционал вписывает концепт как элемент в глобальную когнитивную структуру знания (гиперсема концепта в ее вертикальном измерении по уровням обобщения) и очерчивает собственное его место в этой структуре (гипосема концепта). Периферийное инфор-

мационное поле концепта образуется его импликационалом — совокупностью признаков, с разной мерой вероятности имплицитивно связываемых с его интенциональным ядром. Импликационал вписывает концепт в глобальную структуру знания в ее горизонтальном (линейном) измерении — как звено общей системы связей, зависимостей и взаимодействия сущностей.

Признаки в содержании концепта структурированы на трех основаниях: 1) в меру их общности — на родо-видовой основе (интегральные и дифференциальные признаки); 2) на основе имплицитивных, прежде всего причинно-следственных, зависимостей; 3) в меру вероятности их совместной встречаемости.

8.1. Семиотическое значение — концепт, связанный знаком. Значение являет концепт. Концепт — целостная структура, но с этого момента — момента означенности (семиотизации) концепт существует в ипостаси определенных речемыслительных модусов.

Дело в том, что концепт — как и само сознание (а равным образом и психика в целом) — образование функциональное (телеологическое в этом смысле) и как таковой концепт предназначен выполнять определенный круг приспособительных (надо сказать, жизненно важных для благополучия субъекта) задач. Операциональные модусы концепта-значения представляют собой функциональные модификации концепта, подструктуры в его глобальной структуре. Модусы реализуют определенные функции концепта в речемыслительной деятельности и актуализируют определенные части его потенциального содержания.

8.2. Модусы распадаются на три группы. Первая группа модусов — это модусы концептуальной систематизации мира и его сущностей. Соответственно их можно назвать систематизационными модусами — это модусы категоризации сущностей, структуриации класса сущностей и опознания класса сущностей.

Категоризация, или классификация, сущностей мира — важнейшая мыслительная операция, необходимое условие систематизации мира в сознании. Результатом ее является известная конструктивизация мира, более жестокая картина его, допускающая в определенных пределах отвлечение от вероятностной природы его сущностей. Результатом являются так называемые логические понятия как функциональный модус концепта, обеспечивающий системное упорядочивание мира в сознании.

Логическое понятие представляет класс как монотонное множество качественно однородных сущностей. Однако даже в рамках одного класса его представители в разной мере проявляют качество этого класса. Поэтому в меру необходимости класс структурируется внутри, не выходя за его пределы, и в рамках единого концепта возникает представление о нормативных и экстремальных представителях класса соответственно градациям качества класса.

Наконец, необходимость в экономной, по возможности простой и наглядной процедуре установления принадлежности сущностей к классу порождает в глобальной структуре концепта прототипический образ класса (а также и образ единичного) как опознавательный модус концепта (подробнее о систематизационных модусах см.: Никитин, 1996).

Поскольку онтологическая вещь обнаруживает неконечное число признаков, она может быть классифицирована многократно по разным основаниям. Однако признаки-основания классификации различаются мерой информативности, т. е. позволяют прогнозировать большее или меньшее количество иных, имплицитивно связанных признаков. На этой основе классификации, хотя и не жестко, делятся на первичные, таксономические, и вторичные, нетаксономические. Первые максимально информативны и прогностичны, т. е. имплицитируют и предвосхищают максимально широкий объем возможных признаков у вещей данного класса сверх тех, что заложены в основание классификации. О таких классификациях весьма неточно и бессодержательно говорят как о классификациях на основе существенных признаков.

Таксономические классификации следуют за миром и стремятся вскрыть те членения, которые существуют в нем до того, как приступают к классификации. В этом случае исходят из того, что класс задан заранее, и надо установить те признаки, которые обеспечивают его природное единство как органичный элемент целостного мира.

Нетаксономические классификации вторичны по отношению к таксономическим и опираются на них как классификации «поперек» таксономий. В этом случае постулируется признак — основание классификации, и ему подыскивается класс вещей, отвечающих заданному основанию. В силу неорганичности эти классификации менее информативны и менее прогностичны относительно объема иных возможных для вещей данного класса признаков имплицитируемых из признака-основания. Но, разумеется, для своих, весьма разнообразных, целей они не только полезны, но и необходимы. В совокупности и те, и другие отражают сложную разветвленную систему многообразных связей, взаимодействий и зависимостей мира, надстраивающихся на базе первичной таксономатики.

8.3. Вторую группу модусов составляют вещный и признаковый модусы концепта. Вещный модус модифицирует содержание концепта идеей предметности (вещности), а именно представлением о денотате как носителе признаков: концепт нагружается мыслью о чем-то описываемом. Напротив, признаковый модус осложняет концепт функциональным представлением о признаковости: концепт служит описанию чего-то — некой вещи, признаком которой он является.

Дело в том, что естественные языки построены на философии вещноцентризма: вещи первичны, признаки вторичны, признаки не существуют сами по себе, а лишь мыслительно отвлекаются от вещей как общее и раз-

личное в вещах. При этом неявно принимается, что есть сущности, которые выступают исключительно как вещи, никогда не являясь признаками. Таковыми являются физические тела с пространственными границами и разнообразные их комбинации. Все остальные сущности выступают как признаки, если они описывают что-либо, и как вещи, если им, в свою очередь, приписываются какие-то признаки. Тем самым концепты вещи и признака оказываются относительными, и возникает необходимость различения вещей и признаков онтологических и эпистемических. Онтологические вещи — это первородные вещи, вещи *per se*, они ничем иным ни в каком отношении не являются.

Онтологическими признаками считаются все сущности, кроме онтологических вещей. Эпистемические вещи — онтологические признаки, которым приписаны признаки второй, третьей и т. д. степени. Таким образом, концептам онтологических признаков свойственны оба модуса — признаковый и вещный, а концептам онтологических вещей — только вещный модус.

Как можно видеть, в основе модусов второй группы лежит различие аргументной и предикатной функций концепта в суждениях (пропозициях): выступает ли концепт как репрезентант того, что описывается, как актуальный или возможный предмет мысли, как аргумент некоего отношения или же концепт выступает как описание предмета мысли, как предикат в признаковом мета-отношении к какой-то вещи-аргументу. Соответственно модусы можно назвать еще аргументным и предикатным.

8.4. Третью группу образуют модусы экстенсии предмета мысли. Это модусы общего (класса) и единичного, они очерчивают область и род приложимости концепта и соответственно осложняют содержание концепта референционным компонентом, поэтому их следует именовать экстенциональными (референционными) модусами.

Модус общего — не только понятие о классе в отвлечении от его представителей, но и понятие о признаке (свойстве или отношении) в отвлечении от вещей — носителей признака. В случае признаков модусу общего противостоят представления о конкретных разновидностях — проявлениях признака. Модусы общего и единичного и возможный промежуточный между ними модус частного (модус подкласса или разновидности общего) дополняют содержание концепта представлением об объеме и условиях денотативной приложимости (предметной отнесенности) концепта (и его имени), т. е. по существу это экстенсиональные (референционные) модусы.

8.5. Каков бы ни был модус концепта в речемыслительном акте, всякий раз имеем дело с одним и тем же концептом, но в той или иной функционально обусловленной модификации.

Функциональные различия модусов подкрепляются определенными содержательными различиями: всякий раз из глобального содержания кон-

цепта в модусную подструктуру отбирается определенная комбинация признаков.

Речемыслительные процессы актуализируют концепт в ипостаси тех или иных модусов порознь или в сочетании нескольких модусов одновременно.

Функциональная природа и речемыслительная обусловленность наиболее наглядно проявляют себя в случае классификационного, структурационного и опознавательного модусов.

Классификационная и сопряженная с ней описательная функции концепта и обусловленные ими модусные подструктуры в содержании концептов относятся к числу первичных, базисных и наиболее необходимых для сознания. Соответственно эти содержательные подструктуры универсальны и наиболее развиты в том смысле, что охватывают весь круг концептов и наиболее ярко разработаны в глобальной структуре ментального стохастизма. Мера зависимости и четкости прочих модусов зависит от значимости соответствующей мыслительной функции для общественной практики в том или ином кругу денотатов и предметных областей.

9. Подобно тому как семантические связи словесных знаков распадаются на парадигматические и синтагматические, концептуальным системам сознания свойственна своя парадигматика и синтагматика. Более того, парадигматика и синтагматика семантической системы языка возникает как проекция концептуальных связей на языковую материю, так что первичны концептуальные системы сознания: они объективируются и выявляются в семантическом членении языковых форм, в их содержательном анализе и системном упорядочивании.

Соответственно, говоря о видах взаимодействия концептов, следует различать концептуальные взаимодействия парадигматические и синтагматические. В обоих случаях типология взаимодействия концептов — та же, что типология семантических связей словесных единиц. Это и не удивительно, поскольку вторые объективируют первые в знаковой форме, т. е. попросту выражают их. Отличие же между ними следует усматривать в том, что семиотизация (означивание) концептов, «привязка» их к языковым формам — десигнаторам (в том числе к единицам разных уровней языковой структуры) имеет для исследователя тот побочный отрицательный эффект, что в силу асимметрии языкового знака затемняет и искажает для него реальные членения в концептуальных системах — концептуальное тождество разных знаков и концептуальные различия (многозначность) в содержании одного и того же знака.

Кроме того, неизбежно скрадывается иерархия концептуальных связей и мера их содержательных сходств — различий (семантическая близость/дистантность знаков).

Разумеется, анализ концептуальных систем и связей невозможно полностью освободить от «десигнаторной зависимости», его нельзя

осуществить в чистом, свободном от языковой формы виде. Но к этому надо стремиться в том максимальном объеме, в каком возможен и осуществим мета-семантический анализ форм и выражений языка-объекта, подкрепляемый при необходимости анализом структуры их денотатной сферы. Сняв ложные подсказки языковой формы относительно тождеств и различий мыслительных единиц, можно получить более точную и развернутую картину членений и связей в концептуальной системе и установить более полную типологию концептуальных зависимостей и взаимодействий.

10. Значение — концепт, связанный знаком. Но в чем состоит их различие? Оно есть и весьма существенное. Концепт обращен к миру и его объектам. Он их отражение, и это справедливо не только относительно действительного непреложного мира, но и относительно мышления креативного и фантазийно-игрового, так как и в этом случае концепты конструируются из отображенных элементов реального мира и если даже не подчиняются вполне, то по меньшей мере соотнобразуются с его общекаатегориальными закономерностями.

Значение же обращено к выражающему и называемому концепт знаку: значение обращает концепт к знаку. Обращенный к знаку концепт становится значением: концепт становится содержательной стороной знака.

Все отличия значения от концепта проистекают из того, что он связывает свое бытование со знаком: на концепт-значение проецируются статутные характеристики знака, обусловленные его местом в той знаковой системе, элементом которой знак является. Один и тот же концепт может связываться с разными знаками, в том числе и со знаками разных уровней языковой структуры. Он может составлять все значение языковой формы или только элемент ее значения, и тогда он комбинируется с другими концептами как независимое целое (ср. значение флексий), как элемент деривационной семантической структуры (многозначность) или как часть сложного концепта (семы в структуре значения).

Вместе с тем разные концепты могут связываться с одним и тем же знаком в качестве разных значений или частей значения последнего.

Асимметрия знака создает предпосылки не только к выявлению концептуальных связей, но и к тому, что в одном значении конситуативно может просвечивать другой концепт за счет тождества или близости десигнаторов (полисемия и паронимия). Внутренняя форма знака, память о его узуальной истории и современная его «прописка» в живой речевой практике накладываются как обертоны на его значение и очерчивают границы его употребления, равно как возможности его коннотативного использования. Всякое значение знака характеризуется, помимо прочего, определенным языковым статусом — совокупностью положенных в данном языке дозволений и ограничений на то, чтобы выразить данный концепт данным знаком (подробнее см.: Никитин, 1974, 1983).

11. Чем отличаются концепты-значения и концептуально-семантические системы разных языков? Суммарно главные их отличия сводятся к следующему. Во-первых, в силу разных причин, и прежде всего в силу различий в среде обитания и обстоятельств истории народов, существуют заметные различия в концептуальных тезаурусах: в одних есть то, чего нет в других. Во-вторых, в силу тех же и иных причин возможно заметное содержательное различие в денотатно тождественных или близких концептах: языки рисуют мир на разных его участках с разной мерой обобщения и детализации. В-третьих, языки заметно различаются способами выражения одних и тех же концептов, их распределением по значениям лексическим и грамматическим, прямым и переносным, по единицам однокомпонентным (лексическим) и многокомпонентным (сочетательным) и т. п. В-четвертых, в силу разных причин, и прежде всего в силу различий в среде обитания, истории, культурах и базисных аксиологических системах (системах базисных ценностных представлений), в языках достаточно своеобразна комбинаторика собственно когнитивных компонентов в структуре концепта (и соответственно в значении словесных знаков) с компонентами оценочно-прагматическими. Наконец, к сказанному надо еще добавить, — но уже не с позиций самих концептов, а с позиций их выражения, — что в языках весьма своеобразна сама комбинаторика концептов при их «привязке» к знакам.

Конечный результат этих различий сводится к тому, что «карты членения» одних и тех же предметных областей могут существенно различаться в разных языках. Языки набрасывают на мир и сознание сети с разным узором ячеек. Но это не может служить основанием для концепций лингвистической относительности и ее радикального варианта — концепции лингвистического детерминизма. При всех различиях в концептуальных структурах сознания рисуемые ими картины мира намного более сходны в принципиальных чертах, чем отражение мира в членениях языковой формы. Люди наполняют языковые единицы тем содержанием, которое диктуется им не членениями языковой формы, а структурами мира и структурами деятельности людей в мире, отложившимися в их голове как концептуальные структуры сознания.

12.1. Весьма сложной и до сих пор удовлетворительно не разработанной является проблема типологии концептов. Существующие классификации их довольно приблизительны, не охватывают всех типов концептов и смешивают разные принципы выделения классов.

В общей сложности выделяют следующие типы концептов: конкретно-чувственный образ, схема, понятие, представление («мыслительная картинка»), прототип, пропозициональная структура (пропозиция), фрейм, сценарий (скрипт), гештальт (см., напр., Болдырев, 2000). Хотя и полагают, что эта типология строится на основе содержания и абстрактности концептов (Болдырев, 2000), уже из перечня видно, что типология строится:

– то по особенностям отраженных в концептах объектов — денотатов (например, «простые» концепты одиночных вещей vs. «сложные» концепты многочленных структур — фреймов, статические фреймы vs. динамические сценарии);

– то по характеру мыслительных операций, образующих концепты конкретного наглядного и абстрактного ненаглядного (конкретно-чувственный образ, схема, представление vs. понятие);

– то на основе противопоставлений визуального восприятия конкретного наглядного объекта (схема) суммарному сенсорному восприятию (конкретно-чувственный образ) и, таким образом, по различию разных сторон одного и того же (класса) конкретных предметов;

– то на основе противопоставления единичного общему, классу (конкретно-чувственный образ vs. схема, представление, прототип);

– то на основе противопоставления расчлененно-аналитического отображения предмета, явления в сознании отображению целостно-синтетическому (конкретно-чувственный образ, схема, представление, прототип, понятие vs. гештальт);

– то по функции (назначению) концепта в познавательно-практической деятельности человека (ср. функционально не нацеленное представление vs. прототип, служащий целям опознания).

Нетрудно видеть, что подобные типологии осциллируют между отображаемыми сознанием объектами (денотатами) и характером их отображения в сознании. Результат отображения зависит и от природы отображаемых объектов, и от отображающей системы. Но нельзя терять из виду, что единство, целостность концепта обеспечивается тождеством отображаемого объекта, а не характером отображения. В результате этой подмены типами концептов объявляют то, что на деле является разными сторонами одного концепта, возможным компонентами в содержательной структуре концепта. Наличие или отсутствие тех или иных составляющих в структуре единого концепта зависит от типа отображаемого им объекта (класса объектов). Типология концептов в конечном счете есть типология объектов (денотатов), взятых в отношении к отображающему их сознанию.

12.2. В зависимости от типа отображаемых объектов в структуре концептов в разной комбинации могут быть представлены или отсутствовать в качестве составляющих их содержание такие «концепты», как чувственный образ, отвлеченное понятие, имплицативный потенциал и оценочно-прагматическая значимость — каждый с разной мерой выявленности, разработанности и доминирования над другими.

Чувственный образ в структуре концепта складывается на сенсорной, преимущественно визуальной, основе как результат стохастического усреднения чувственного опыта, непосредственного или опосредованного, взятого, так сказать, из чужих рук. Это вероятностный конкретно-чувственный или обобщенно-чувственный образ объекта на уровне разных

проявлений единичного или на уровне класса. В рамках образа в меру необходимости формируются операциональные (функциональные) подструктуры для целей идентификации, отождествления и различения, классификации, воплощения и воспроизводства на уровнях единичного и класса (идеальные модели, схемы, прототипические представления о классах объектов или разных проявлениях одного объекта).

Понятие (логическое понятие) — необходимый компонент в глобальном структуре концепта, абстрактный операциональный конструкт, «прописывающий» объект — денотат в мироустройстве среди других объектов по общности/различию свойственных им признаков. Понятия — узлы в системе распределения признаков в сущностях мира на разных уровнях общения.

Понятия выполняют в сознании функцию систематизации мира. Они формируются в результате отвлечения от конкретности вещей и событий и помещают их на определенных уровнях родо-видовых и холо-партитивных иерархий и в определенных местах эквонимических общностей.

Импликативный потенциал концепта — это закрепленный в памяти информационный рефлекс связей того объекта-денотата, отображением которого является данный концепт. Иначе говоря, это систематизированное обобщенное представление о структуре возможных связей, отношений, зависимостей и взаимодействий, потенциально прогнозируемых для данного (класса) объектов. Его следует представлять себе в виде информационной ауры, поля тяготения, окружающего данный концепт и вписывающего его в многомерную систему импликативных связей с другими концептами.

Импликативный потенциал концепта образуется как структурированное вероятностное множество признаков, импликативно связываемых с интенциональным ядром концепта. Подобно валентностям химических элементов, импликативный потенциал предопределяет сочетаемость свойства данного компонента, его роль и место в пропозициях, фреймах и сценариях.

Генетически импликативный потенциал произведен от (про)явлений, событий, ситуаций, их умственного анализа, типизации и последующей проекции их на концепт как импликативная часть его информационной структуры.

Коротко этот компонент в структуре концепта был ранее обозначен нами как (когнитивный) импликационал (Никитин, 1974).

Оценочно-прагматический компонент в структуре концепта представляет собой транспозицию когнитивных параметров отображаемой концептом сущности в эмотивно-оценочную сферу сознания — совокупность эмотивно-оценочных импликаций из объектированного знания о предмете. Несколько короче его можно обозначить как прагматический импликационал (в пару когнитивному импликационалу концепта).

Все четыре указанные категории: образ, понятие, когнитивный и прагматический импликационалы — представляют собой, как уже указано, не различные типы концептов, а разные их стороны, аспекты. Они могут быть в той или иной комбинации, с той или иной мерой выявленности, разработанности и доминирования представлены в одном и том же концепте в зависимости от того, каков тип отображаемого концептом объекта-денотата. Следует еще раз подчеркнуть, что тождественность (единство) концепта, равно как его структура и особенности определяются тождеством и типом отображаемой им сущности.

12.3. После этих пояснений можно непосредственно обратиться к типологии концептов. С самого начала следует иметь в виду, что возможны типологии на разных основаниях и с разной глубиной иерархического построения. При этом базисной, конечно, является типология концептов в обыденном сознании, с которого вместе с языком начинается и разворачивается абстрактно-обобщающее постижение (моделирование) мира человеком.

Прежде всего, как уже отмечалось (8. 3), на первом уровне членения — в силу принятого обыденным сознанием принципа вещецентризма — разграничиваются концепты онтологических вещей и признаков. Онтологические вещи — это разного рода физические тела — объекты с пространственной границей, а также разнообразные их комбинации. Они прямо или опосредованно (инструментально) доступны органам чувств, лично или по чужому описанию наблюдаемы, так что в структуре концепта содержатся и конкретно-чувственные образы единичных представителей класса и обобщенно-чувственные стохастические образы — прототипы опознавательного назначения и абстрактно-обобщенное понятие о них с функцией систематизации объектов по их месту в мире.

Концепты этого рода в меру практической освоенности и значимости, отображаемых ими объектов обрастают аурой когнитивных и оценочных импликаций.

Концепты признаков вторичны в силу того, что сами признаки представляются обыденному сознанию не существующими самостоятельно вне вещей-тел, а только в мыслительном отвлечении от последних. В силу этого экстенсиональная составляющая признакового концепта специфична: представление о конкретном проявлении признака является не единичным представителем класса, а скорее разновидностью признака, вообще. Признаковый класс, класс (множество) вещей с данным признаком, тоже специфичен: он не таксономичен в том смысле, что представляет собой результат вторичной, «поперечной» классификации по данному признаку вещей, которые уже ранее были классифицированы на разнородных иных основаниях. Так, класс красных вещей составляется как пересечения разнородных классов, в которых есть «красные подклассы»: красные платья, лица, знамена и т. д.

Среди признаков, естественно, есть как «наглядные» сенсорно наблюдаемые (признаки цвета, формы, размера и всякие иные воспринимаемые визуально, акустически, тактильно, на вкус, запах и т. п.) и «ненаглядные», наблюдаемые не прямо в ощущениях, но опосредованно — в их проявлениях (например, признаки — способности, предрасположенности, разного рода духовные качества и т. д. и т. п.). На других основаниях они делятся на ингерентные признаки-свойства и признаки-отношения. Первые представляются «замкнутыми» в самой вещи как ее собственное «достояние», вторые существуют в соотношениях и взаимодействиях вещей. Как и всякие сущности, признаки могут быть простыми и сложными. Последние представляют собой связку признаков, образующих целостную признаковую структуру.

Между признаками, как и между вещами и событиями, существуют зависимости сопряженной встречаемости одновременной или разновременной, односторонней или двусторонней, односторонней или двусторонней обусловленности, взаимоисключения и т. п. Поэтому признаки различаются имплицитивным потенциалом в том смысле, что разные признаки позволяют прогнозировать наличие у вещи данного класса разное, большее или меньшее, количество других признаков. Иначе говоря, положенные в основание класса признаки обладают разной информативной ценностью: из них следует большее или меньшее число импликаций о том, какие еще признаки возможны или невозможны у сущностей одного класса и с какой вероятностью. Именно этот смысл и следует вкладывать в различие признаков существенных и несущественных — различие в мере имплицитивно-прогностической ценности классообразующего признака.

Концепты онтологических вещей и онтологических признаков (свойств и отношений) принципиально отличаются тем, что первые информационно одновекторны, «смотрят» только в сторону своих признаков, в том числе признаков-отношений с другими вещами, так что всякое высказывание (суждение) об онтологической вещи может быть исключительно суждением об обнаруживаемых, проявляемых его свойствах или отношениях в силу того, что она — вещь по природе и признаком быть не может. По этой причине «прописка» вещи в фреймах и сценариях ее бытования, ее место в линейно связанных фрагментах мира (в его предметных областях) определяется посредством суждений о ее признаках-отношениях, т. е. по ее отношениям к другим вещам в данном фрейме или сценарии.

Напротив, концепт онтологического признака содержательно двустороннен. С одной стороны, в нем могут содержаться отсылки к своим признакам, признакам, так сказать, второй очереди (например, белизна может быть ослепительной, храбрость — безрассудной, а протяженность — очень большой и т. п.), и тогда мы говорим о признаках как об эпистемических вещах — предметах мысли. С другой стороны, признак не может не вызы-

вать представлений о предметной базе своего существования, о вещах, у которых он обнаруживается, у него есть собственный фрейм бытования (например, белизна обнаруживается у снега, краски, ткани, она появляется на лице в случае испуга, уместна как цвет наряда невесты и т. п.). Все дело, однако, в том, что вещи с одним и тем же признаком, например, все белые вещи, не образуют нечто связанное линейными отношениями, это не онтологическое целое, а чисто ментальное объединение, класс без внутренних «природных» связей между его элементами, классификационное множество вещей, а не статический фрейм или динамический сценарий.

Напротив, вещь (или тот же признак) в составе фреймов или сценариев — элемент онтологических структур, хотя бы и разной меры внутренней спаянности, связанный с другими вещами (или признаками) внутренними линейными зависимостями обусловленности или хотя бы простой совместной встречаемости, жесткой или вероятностной (если A , то B).

В принципе все концепты сами по себе, как и отображаемые ими объекты, имеют какую-то структуру и являются сложными образованиями, различаясь мерой, уровнем простоты/сложности. Разделение их на простые и сложные, таким образом, не абсолютно, а относительно и зависит от вектора рассмотрения. Если какой-то концепт рассматривается относительно другого концепта и входит как часть в содержание последнего, то первый из них — простой концепт, а второй — сложный. Если же вектор рассмотрения поменять на противоположный и углубиться в структуру концепта, то тот же первый концепт окажется сложным, сравнительно с концептами, входящими в его структуру на правах более простых частей его структуры.

Это замечание имеет прямое отношение к понятиям фрейма и скрипта — сценария. Фрейм — род сложного концепта, но сложен он не сам по себе, по своей природе, а в силу того, что этому понятию изначально задан вектор от простого к сложному, т. е. ему по определению задан ход мысли от концепта-элемента к концепту-структуре более высокого порядка.

Аналогично обстоит дело с понятиями скрипта и сценария с той разницей, что понятие фрейма соотносят со статикой структурно сложных объектов, оно атемпорально, а понятия скрипта-сценария относят к динамике структурно сложных объектов, к происходящим в них изменениям.

Фреймы и сценарии формируются на имплицативной основе как отражение линейных связей сущностей, их зависимостей, взаимодействий, пространственных и временных сопряженностей и соположенностей. Эти связи могут быть как жесткими (обязательными), так и вероятностными. Фреймы и сценарии объединяют некоторое множество более простых (по отношению к нему) концептов, спаянных как части в имплицативное целое. Это структурированный фрагмент знания мира на каком-то его участке, сложившийся в сознании вокруг какой-то сущности как обобщенное суммарное представление о сфере ее бытования. Фреймы организованы

каждый вокруг своей сущности, а совокупность соотнесенных фреймов образует сводную когнитивную модель мира — целостную многомерную и многоуровневую структуру знаний о мире, так что сам мир в сознании отображается как фрейм наивысшего предельного уровня сложности.

Важно еще раз подчеркнуть, что в центре каждого фрейма стоит концепт некой сущности, irradiирующий импlicative связи и за счет этого создающий вокруг себя «поле когнитивного тяготения». Это поле захватывает концепты других сущностей и сводит их в целостную ментальную структуру — фрейм как населенное когнитивное пространство бытия центрального концепта. Концепт мира — единственный концепт без собственного фрейма и сценария, так как мир — предельное целое: у него есть структура и в нем есть части, но сам он не является частью чего-либо.

Специфическую проблему представляет пропозиция, в которой нередко видят отдельный тип концептов. Однако это не так. Разумеется, можно с полным основанием говорить о концепте (понятии) пропозиции вообще, но нельзя считать сами пропозиции особым типом концептов. Пропозиции не пополняют типологию концептов еще одной категорией, они относятся к динамике концептов, их взаимодействию, проявлению и констатации их связи — по той простой причине, что представляют собой утверждения об устройстве мира и его объектов. Пропозиции не конструируют новый тип концептов, а обнаруживают их операциональную сторону. Это целенамеренные мыслительные действия с концептами, назначение которых — в том, чтобы актуализировать и вывести в фокус сознания то, что составляет потенциал содержательной структуры концептов или, напротив, ввести новые элементы в содержание и структуру концептов или, наконец, обеспечить формирование новых концептов сверх тех, что наличествуют в сознании.

В конечном счете функция пропозиций состоит в том, чтобы утверждать наличие (или отсутствие) каких-то признаков-свойств и признаков-отношений у тех или иных объектов (денотатов) или же утверждать наличие (или отсутствие) каких-либо объектов (денотатов) в тех или иных обстоятельствах или, наконец, производить когнитивную и прагматическую оценку вещей, признаков и событий.

13. Типология концептуальных взаимодействий или, что то же самое, концептуальных связей, не содержит в себе ничего загадочного, но только с точки зрения их обнаружения (а не с точки зрения механизмов этого взаимодействия). Дело в том, что взаимодействие концептов в мыслительных процессах находит непосредственное отражение в языке — в семантической типологии синтаксических структур разных уровней, от производных и сложных слов, словосочетаний, предложений, синтаксических единиц все более высокого формата. Анализ всех этих структур с концептологических позиций в конечном счете позволяет заключить, что взаимодействие концептов на самом обобщенном уровне совершается в следую-

щих взаимосвязанных целях и приводит к следующим взаимосвязанным результатам:

- соотнесение концептов для установления сходств и различий между ними на разных уровнях их содержательных структур; результатом является систематизация концептов — одноуровневая и иерархическая, количественная и качественная: гипонимическая (родо-видовая) и партитивная (по линии «целое — часть»), эквонимическая (согипонимы) и аналогическая;

- признаковый синтез (формирование) и признаковый анализ концептов, их отождествление и разграничение;

- соотнесение на имплицативной основе концептов вещи и ее признаков и формирование пропозитивных структур;

- формирование на основе имплицативных связей между концептами вещей сложных многоуровневых когнитивных комплексов — фреймов и сценариев, сводящихся в суммарные обобщенные картины и модели мира в статике и динамике;

- интеграция концептов имеет место тогда, когда в классификационной системе нормативно различающей в каком-то классе K подклассы $K1$ и $K2$, обнаруживаются элементы, сочетающие в себе конститутивные признаки $K1$ и $K2$, так что осмысление этих элементов требует конъюнкции признаков $P1 (K1)$ и $P2 (K2)$.

В результате классификационная схема класса K раздвигается влечением ненормативного подкласса $K3 (P1 \wedge P2)$ между нормативными подклассами $K1 (P1)$ и $K2 (P2)$. На концептуальном уровне это означает интеграцию концептов $C1 (K1)$ и $C2 (K2)$ в новом концепте $C3 (K3)$ посредством конъюнкции признаков: $P3 (K3) = P1 (K1) \wedge P2 (K2)$. При этом пересечение (накладывание друг на друга) экстенсионалов $K1$ и $K2$ образует новый внеположенный им класс $K3$, так что об этих элементах можно сказать, что они и принадлежат, и не принадлежат к $K1$ и $K2$, и уж точно принадлежат к $K3$, ср. *кентавр, сирена, слесарь-водопроводчик, играющий тренер*.

Особый случай интеграции концептов находим в оксюморонах типа *женатый холостяк*. Ими обозначаются ненормативные представители некоего класса, которым свойственны не характерные для этого класса имплицативные признаки, а, напротив, характерные признаки антонимического класса: *женатый, а ведет себя как холостяк* (или с возможным противоположным осмыслением — *холостяк, а ведет себя как женатый*). Нетрудно видеть, что в таких оксюморонах интенционал слова в прямом значении ненормативно комбинируется с импликационалом другого слова, взятого в переносном смысле.

Результатом является погашение нормативного импликационала прямозначного слова и замена его на импликационал слова с противоположным значением: прямозначное слово сохраняет свой интенционал, но не-

нормативно комбинирует его с импликационалом антонимического слова. При этом из суммарного смысла словосочетания исключаются импликационал прямозначного и интенционал непрямозначного слов.

В классификационную схему бинарного матримониального членения взрослых мужчин на женатых и холостяков, отражая диалектику реального мира, дополнительно вклиниваются два промежуточных подкласса. Помимо типичных «женатиков» и холостяков появляются еще две нетипичные категории: мужчин, женатых юридически, но, увы, не вполне фактически, и еще мужчин, юридически свободных от семейных оков, но благородно принимающих на себя обязанности женатого человека. Концепты женатого и холостяка интегрируются в два новых концепта за счет перекомбинации одних компонентов своего содержания и отсеечения других.

Специфика оксюморонной интеграции состоит в том, что она строится на основе не конъюнкции, а дизъюнкции двух концептов. Конъюнктивная интеграция предполагает в производном концепте множественную сумму признаков сочетающихся концептов. Напротив, оксюморонная интеграция перекомбинирует и разносит суммарное содержание взаимодействующих логически несовместимых концептов по двум новым концептам, промежуточным между двумя новыми полюсами.

Строго говоря, речь должна идти не о теоретико-множественной (логической) дизъюнкции (и конъюнкции), а о когнитивной несовместимости (и совместимости) признаков в одном объекте-денотате. Когда имеют дело с приписыванием как будто несовместимых признаков, то, сохраняя презумпцию коммуникативного доверия к говорящему, воспринимают это как сигнал особого положения дел в мире, как пограничный случай диалектического мира — возможность невозможного, совместимость несовместимого.

Кроме того, заурядным случаем интеграции концептов в практике индивидуального сознания как на уровне единичного, так и на уровне общего (класса) является ложное или ошибочное смешение разных концептов в одном в силу незнания или намеренно ради разных целей. Но здесь мы вступаем в область динамики индивидуального сознания и его взаимодействия с сознанием общественным (подробнее об интеграции концептов см.: Никитин, 2002).

Интеграция концептов расширяет репертуар концептуальных взаимодействий. Суммарно их результатом могут быть не только системы парадигматических соотношений и не только системы их синтагматических зависимостей, но также интеграция концептов как отражение особого положения дел в денотируемом мире. В первом из указанных случаев концепты объединяются в категориальные общности, во втором — сочетания концептов образуют сложные концептуальные структуры имплицативного типа. Наконец, результатом интеграции концептов является появление нового концепта, пополняющего парадигму взаимодействующих кон-

цептов: по определению интеграция имеет место тогда, когда взаимодействие двух сущностей одного класса порождает третью — того же класса, что первые две.



Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. Тамбов, 2000.

Никитин М. В. Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974.

Никитин М. В. Лексическое значение слова. Структура и комбинаторика. М., 1983.

Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1996.

Никитин М. В. Метафора: уподобление vs. интеграция концептов // С любовью к языку. М.; Воронеж, 2002.

2.2. Денотат – концепт – значение

В задачу этих кратких заметок входит прояснить понимание и соотношение трех вынесенных в заголовок понятий, как они представляются автору. Ни по одному из них в лингвистике не достигнуто сколь-нибудь достаточного согласия, и часто каждое из них толкуется вне логической зависимости от других. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в соответствующие статьи «Лингвистического энциклопедического словаря» (ЛЭС).

Начнем с денотата, имея в виду, что эта тема тут же повлечет за собой и вместе с собой все остальные. Главные сомнения, которые надо разрешить в связи с понятием денотата, состоят в следующем: в ряду каких единиц следует числить денотат, входит ли он так или иначе в структуру знака как определенная часть его значения на уровне языка или речи или же в отличие от концепта он в любом случае выведен за пределы знака, хотя и соотносен с ним. Где искать его — среди единиц мира означающего или мира означаемого?

Кажется вполне естественно понимать денотат как то, что знаком обозначается, т. е. как тот же объект (вещь, признак, событие), но взятый не сам по себе, а в отношении обозначения к знаку и тем самым получивший дополнительный релятивный признак объекта обозначенного. Поскольку сплошь и рядом в речи фигурируют как объекты, у которых есть реальные корреляты в действительном мире, так и объекты в той или иной мере вымышленные, то из положения выходят так, что об одних знаках говорят как имеющих денотат, а о других — как такового не имеющих или же имеющих мнимый денотат. При этом оказывается, что во многих текстах реальные денотаты взаимодействуют в ситуациях с денотатами мнимыми, не говоря уже о том, что описание реальных денотатов часто существенно расходится с действительностью и компанует признаки реальные с мнимыми. Выход из положения видят в том, что вводят дополнительно термин

«референт» для реальных денотатов, причем «денотат» остается родовым термином для обозначаемых объектов, реально существующих и мнимых.

Не требуется большого усилия ума, чтобы понять, что при таком понимании денотата мы попадаем в логическую ловушку: мы оказываемся в реальном мире с провалами, своего рода «черными дырами», заполненными фикциями несуществующих объектов. Это ситуация логического парадокса, когда несуществующее существует во взаимодействии с существующим. Она реализуется, например, в пьесах мистического абсурдизма, где мертвые действуют на одинаковых правах с живыми, или в любых построениях по принципу «что было бы тогда, если бы». Но речевые произведения такого рода в отличие от рассматриваемой концепции денотата не претендуют на описание реального мира каким он есть, они не скрывают, что их миры — мнимые конструкты сознания, в лучшем случае частично возможные.

Рассматриваемый подход к денотату можно назвать объективистским: теория строится относительно реального мира, адекватное отражение его — в центре ее забот, и в этом ее оправдание. Это тот путь, который был задан теории познания античным рационализмом и которому она следовала, подчиняясь постулатам и конструктам формальной логики. Мыслящему человеку как субъекту познания отводилась роль бесплотного, бесстрастного носителя разума, независимого регистратора внешнего мира, его объектов и событий, свойств и отношений, связей и закономерностей. Недостаточность этого подхода обнаруживается всякий раз, когда необходимо считаться с субстанциональной природой самого регистратора, с «возмущающим воздействием» так называемого человеческого фактора (в самом широком смысле слова) на отношения между объектом и субъектом речемыслительного процесса.

При объективистском подходе денотат как бы разрывается между мирами отражающим и отражаемым, ориентируясь все же на этот последний. В случае мнимых объектов денотат не довольствуется местом в идеальном мире воображения, но резервирует для себя хотя бы пустое место в мире действительном: его не может полностью устроить статус чисто идеальной сущности вне отражательного отношения к действительности. Здесь денотат — часть концептуального аппарата мета-языка, предназначенного для описания действительного непреложного мира (Никигин-1).

Но положение радикально меняется, как только установка на внешний отражаемый мир отходит на второй план и интересен сам рисуемый сознанием идеальный мир, его устройство и единицы безотносительно к функции отражения. Все дело в том, что хотя начальным и конечным назначением психики бесспорно является достаточно адекватное отражение и знание действительного мира, поскольку без этого невозможно было бы обеспечить ориентацию и благополучие человека в этом мире и не было бы нужды в самой психике, тем не менее на развитом уровне сознания оно

может позволить себе весьма высокую меру автономии от тягот непреложного мира действительности и действует не только в целях отражения, познания, планирования, прогноза, конструирования в рамках закономерностей действительного мира, но и за рамками этого мира — в целях умственных игр и чистых фантазий, создавая не только идеальные аналоги, картины и модели действительного и возможных миров, но и разнообразные построения миров чисто фантастических, возможных, невозможных иррациональных и смешанных.

В процессах научного познания и шире — в любых формах мыслительной деятельности, непосредственно направленной на действительный мир, т. е. в любых формах референтно-релевантной деятельности, — мышление обязано считаться с отражаемым миром. Сознанию при этом непозволительно замыкаться в самом себе, оно обязано так или иначе, с той или иной мерой и образом соответствия, полноты и точности моделировать своими построениями отражаемый мир. Но применительно к речемыслительной деятельности это требование в общем плане не обязательно, поскольку во многих случаях эта деятельность содержательно не референционна, а носит фантазийно-игровой характер (Никитин-1). Сплошь и рядом мы строим и выражаем в речи мнимые, возможные и невозможные, миры без оглядки на действительное положение вещей. Фигуранты таких миров, их действия и отношения и среда их обитания часто ничего не отражают и как целое не претендуют на воплощение. Они замкнуты миром воображения и не выходят за его пределы.

Тем самым сравнительно с многовековой логической традицией анализ замыкается мирами, творимыми сознанием и выражаемыми языком в речи. Референциальное мышление и его языковые рефлексy выносятся за скобки как последующий, особый (и практически наиважнейший!) этап мыслительной деятельности, на котором творения мысли, рисуемые ею картины и модели миров оцениваются в соотношении с непреложным миром действительности. Пока же на дореференциальном уровне мыслительной деятельности (с важной оговоркой относительно условного, ограниченного характера разграничения этих двух уровней даже при том, что оно реально имеет место) сознание может осуществлять завоеванную им меру автономии от отражаемого мира и строить собственные миры в широком диапазоне зависимости/независимости от своих референциальных истоков.

Понятие денотата относится именно к этим идеальным мирам дореференциального уровня речемыслительной деятельности. Референт же, там, где он есть и вступает в игру, является его коррелятом в действительном мире — постольку, поскольку соотношение с ним идеального денотата необходимо.

Подчеркнем важный момент: денотат — принадлежность актуального, а не виртуального знака, т. е. знака, задействованного в речемысли-

тельном процессе, знака в речи, а не лексиконе языка. За вычетом особых случаев у виртуальных знаков нет еще денотатов, они ими обзаводятся в речемыслительных процессах порождения, «заселения» и выражения идеальных миров. Денотация — речевая функция имен, аспект их значения, которым они наделяются в речи, репрезентируя участников описываемых в ней ситуаций (событий, явлений, положений дел). Указанный аспект речевого значения актуализированных имен называют их денотативным значением, а когнитивный процесс соотнесения их с описываемой реальностью при выходе за пределы идеального речемыслительного мира называют, как известно, референцией. И в таком понимании денотация принципиально отлична от референции. Даже с учетом того, что первая может находить продолжение во второй и генетически они взаимозависимы, они принадлежат к разным мирам — миру идеальных репрезентаций и миру того, что ими репрезентируется.

В силу того, что естественные языки строятся на философии вещецентризма (Никитин-2), способность обозначать, т. е. соотноситься с денотатом, получают имена вещей (в широком смысле) — партиципантов ситуаций, но не имена в признаковой функции. Последние лишь описывают то, что обозначено именами партиципантов.

Денотативное значение противопоставляют сигнификативному. Различие между ними надо видеть в том, что денотативное значение очерчивает область его приложения, того, с чем оно соотнесено и что им обозначено. Соотнесенность может быть узкой (единичное) или широкой (класс), определенной по составу или неопределенной и т. д. (ср. денотативные статусы имен у Е. В. Падучевой). Различия в характере денотации обуславливают различия в денотативном значении имен. Сигнификативное значение — значение в терминах признаков. Имя в этом случае не очерчивает, а описывает свой денотат, указывая признаки обозначаемого. Различие между денотативным и сигнификативным значением отчасти передается смысловым противопоставлением глаголов «обозначать» (*denote*) и «означать» (*mean, signify*).

Имена по их способности к денотации и/или сигнификации делятся на три группы. К первой относится идеальное имя собственное, способное только обозначать, ничего не описывая. Реально, однако, им обычно свойственна сигнификация вторичного происхождения — за счет того, что разные имена собственные закрепляются, хотя и не жестко, за определенными классами денотатов, и понятие об этом классе просвечивает в имени сверх его речевого денотативного значения. Ко второй группе — если условиться называть именами все знаменательные слова, включая глаголы и наречия, — относятся все признаковые слова, т. е. слова, не только называющие признаки, но и выступающие в речи в признаковой функции (не служащие именами партиципантов). Именам этой группы свойственно только сигнификативное значение, а функцию денотации они передают

тем субстантивными словам, с которыми они синтаксически соотнесены. У слов этой группы, взятых как словарные единицы вне синтаксических связей, способность обозначать существует лишь потенциально как сводное представление о классе вещей с данным признаком, что обнаруживается при их субстантивации. Кроме того, у слов этой группы могут быть особые формы с денотативной функцией: субстантивированные прилагательные, инфинитивы, герундии и т. п.

Наконец, к третьей группе относятся имена, которым в одинаковой мере свойственно и обозначать свой денотат, и описывать его. Это нарицательные существительные. Во всех случаях своего употребления они несут сигнификативное значение, а в иных случаях сочетают его с функцией обозначения, т. е. имеют и денотативное значение. Иначе говоря, для нарицательных имен вполне свойственно и чисто признаковое безденотатное употребление, когда они только описывают некий денотат, репрезентированный в речи другим именем. Это случаи употребления нарицательных имен в функции предикатива, приложения и в иных подобных случаях безденотатного кореферентного употребления. Вместе с тем обозначая денотат, нарицательное имя вместе с тем описывает его по признакам того класса, к которому оно относит свой денотат.

Возвращаясь к именам собственным, заметим следующее. Поскольку для идеального имени собственного в принципе безразличен класс денотата, то, не будь привязки определенных имен к определенным классам денотатов, о которой было сказано выше, они вообще не имели бы никакого значения, кроме чисто дифференциального. Как словарные единицы они бы ничего не сообщали о своем денотате, а будучи закреплены за определенным денотатом, они приобретали бы — как это вообще свойственно им — качество отличительной меты денотата, некоего дополнительного признака, по которому его условились опознавать. При этом наглядно обнаруживался бы заявленный выше принцип: денотация есть не словарный аспект значения виртуального имени, а речевая функция и свойство актуального имени в контексте его употребления. Имена собственные маскируют этот принципиальный момент в силу того обстоятельства, что среди денотатов имени есть лица, вещи и события исключительные, особо примечательные и выдающиеся. Они на слуху и в памяти людей и предъявляют особое право на данное имя. Тем самым конкретный денотат связывается с именем уже на уровне словаря и затемняется принципиальное свойство денотации как речевой функции имени, актуализируемого в конкретных обстоятельствах коммуникации.

Отнесение денотатов к идеальным мирам речемыслительных процессов позволяет проще решить проблему их типологии, поскольку в этом случае нет необходимости входить в референтный мир действительности и отношений между ним и сознанием в познавательных процессах. В конечном счете проблема эта, понятно, никак не снимается, но переводится на

другой уровень, где сознание встречается с необходимостью (или, быть может, лучше сказать: возвращается к ней).

С учетом этого можно говорить о следующих основных (но отнюдь не всех) типах денотации. Денотатом имени может быть единичное при определенной или неопределенной соотнесенности имени с ним с позиций говорящего и/или слушающего. Им также может быть класс в полном или частичном объеме его представителей. Это простейшие хорошо известные разновидности денотации. Более сложным представляется еще один тип денотации с отнесенностью имени как будто к классу (идее, концепту класса), но в отвлечении от его объема и конкретных представителей, ср. *Радио было изобретено Поповым*. Очевидно, денотатом «радио» надо считать саму идею радио, принцип радио в отвлечении от возможных воплощений класса. Денотатом имени, таким образом, может быть сама сущность класса, то общее, что объединяет всех его представителей.

Таковы основные виды денотации. Кроме них, несомненно, могут быть и другие на уровне особых видов или их разновидностей.

По ходу рассуждений о денотате уже возникали понятия концепта и значения, и теперь надо заняться уяснением их. Вместе с распространением когнитивизма как междисциплинарного принципа концепт прочно прописался среди научных понятий, относящихся к исследованию структур знания, познавательных процессов, категоризации мира и содержательной стороне языка. В отечественном языкознании он был введен как родовый термин «гипероним» для понятия как мысли об общем и представления как мысли о единичном. При этом и концепт, и понятие изначально толковались не как жесткие логические конструкты (так называемые логические, строгие, научные понятия), а как дискретные сущности реального сознания — идеальные стохастические образования типа неконечных множеств со сложной структурой, в которой вычлениаются операционные модусы (Никитин-3). Тем самым вероятностная структура концепта связывалась с вероятностной природой отражаемого им мира, а операциональные модусы в глобальной структуре концепта получали функциональное объяснение — как реализация основных функций концепта в психике, выполнять которые он предназначен. Это создавало основу для объективной научной разработки понятия концепта, типологии концептов, исследования концептуальных связей и концептуальных структур, динамического взаимодействия концептов в познавательных и речемыслительных процессах, закрепления (семиозис) концептов за знаками в качестве их значений и т. д.

В последнее время, однако, в связи с общим разочарованием в возможностях науки, в особенности в областях гуманитарного знания, проявилась тенденция к чисто спекулятивному и даже мистифицированному толкованию концепта вне всякой телеологии и причинно-следственных обоснований (Ляпин). Имеет место не только чрезмерная гипертрофия

принципа лингвистической относительности и его радикальной версии — принципа лингвистического детерминизма, но и просто гносеологическая необязательность. Однако даже при том, что вполне возможны самые фантастические концепты и что возможны весьма существенные различия в концептах и концептуальных системах одинаковой предметной отнесенности, общую теорию концептологии и родовое определение концепта нельзя строить без рационального обоснования.

Денотат и концепт оба принадлежат идеальному миру сознания, оба являются идеальными сущностями. Различие между ними начинается с того, что первый обращен к обозначающему его знаку, а второй — к отражаемому им миру. Денотат вторичен по отношению к концепту и представляет собой одну из его актуализированных речемыслительных форм, а именно является реализацией концепта, спроецированного в некий фрагмент некоего выражаемого мира в качестве некоей сущности — аргумента в этом мире. Денотат принадлежит к динамическому плану актуализации мысли, к области задействованного сознания (= мышления). Концепт же до того, как он задействован и актуализирован в речемыслительном процессе, относится к статическому плану сознания как сокровищницы отложившихся в ней идеальных сущностей и структур, которые вступают в дело сообразно целям и обстоятельствам (рече)мыслительных процессов.

Как видно из сказанного выше, можно указать по меньшей мере две основные «превращенные формы» актуализации концепта, две его трансформации, которые он претерпевает, реализуясь в речемыслительном процессе. Одна из этих форм была рассмотрена выше — это денотат как речемыслительная трансформация концепта в содержательную вещную (предметную) сущность тех идеальных миров, которые рисуются высказываниями и текстами. При трансформации концепта в денотат он наделяется признаком предметного существования (или несуществования) в некоем мире и определенным денотативным статусом (экстенциональной характеристикой). Из суммарного содержания концепта в денотат отбираются признаки, обеспечивающие его качественную определенность, а в случае единичности известного денотата признаки класса дополняются индивидуальными признаками.

Другой формой речемыслительной реализации концепта является сигнификат. Как уже отмечалось, имя в этом случае не претендует на то, чтобы репрезентировать что-либо в речи, а ограничивается описанием уже представленного в ней денотата. Тем самым концепт функционально специализируется в признаковой функции как содержательная часть более сложной концептуальной структуры. Соответственно его содержание специализируется за счет отсеечения потенциальных ассоциаций — признаков, несовместимых с денотатами этой структуры.

Концепт формируется в сознании из разнообразных источников и разными способами и сводится в единое, отличное от других, идеальное обра-

зование посредством механизмов отождествления — различения предметных сущностей (Никитин-4). Иначе говоря, концепт складывается в целое и держится как отличное от других целое за счет единой предметной отнесенности. Отражая вероятностную природу мира и ассоциативный характер мыслительных структур, концепты, как и их «превращенные», актуализированные речемыслительные формы, представляют собой разной меры сложности нечеткие множества — стохастические структуры (речь идет о стохастизмах обыденного сознания) (Никитин-5).

Есть три базовых источника, взаимодействие которых обеспечивает формирование концептов и концептуальных систем. Это действительный мир с его структурами, это структуры предметной и ментальной деятельности людей в действительном мире и это человеческая природа (природная специфика человека) в их трехстороннем взаимодействии. Человек имеет дело, с одной стороны, с заданными сущностями действительного мира, варьирующимися в диапазоне своих свойств, с другой — он сам творит предметные сущности и создает вокруг себя второй предметный мир артефактов разной степени сложности. При этом он сознательно, а во многих принципиально важных для его жизнеустройства случаях бессознательно пробует разные возможные варианты устройства этого второго мира, варьируя качество своих творений в широком диапазоне терпимого.

Наконец, в своей ментальной деятельности человек выходит за пределы необходимого и, реализуя специфические потребности своей природы, творит условные фантазийно-игровые миры. Эти миры он населяет денотатами, концепты которых образованы из сознания сообразно замышляемым мирам как комбинация свойств и отношений, отвлеченных от объектов непреложного мира действительности. Эти концепты, если и отражают действительность, то только в этом опосредованном смысле. Автономизируясь, креативное сознание делает дальнейший шаг от наблюдения и опыта действительности к ее обобщению и далее — через этап прогнозирования — к играм фантазии.

Заметим, что в отличие от всех референтно ориентированных наук, включая не только естественные, общественные, но и точные науки, логику и философию, для лингвистики референтный характер концепта, денотата и изображаемого мира иррелевантен, и с ее позиций мнимое существует на равных правах с реальным.

Отражая вероятностную структуру отражаемого мира, концепт и сам, как сказано, представляет собой сложную вероятностную структуру, образуемую вероятностными оценками обыденного сознания — оценками приблизительными, но сходными у членов однородного социума. В глобальной структуре концепта вычленяются когнитивная и прагматическая (эмотивно-оценочная) части, коррелирующие между собой своими элементами. В каждой из этих частей, в свою очередь, как уже упоминалось вы-

ше, вычлениаются операциональные модусы — функциональные подструктуры концепта, обусловленные теми функциями, для выполнения которых концепт как родовая идеальная сущность предназначен (подробнее о структуре концепта-значения см. Никитин-6).

Концепты и концептуальные системы непосредственно заявляют о своем существовании и обнаруживают себя как сложившиеся сущности сознания в деятельности ментальной и управляемой ею деятельности практической. Но связав себя со знаками и знаковыми системами, концепты обнаруживают и объективируют себя так же, как значения выражающих их языковых средств — всякий раз не прямо, полностью и без остатка, а в некоторой «превращенной», актуализированной форме денотата, сигнификата или денотата плюс сигнификата или еще иначе сообразно тем трансформациям, которым концепт подвергается при конструировании воображаемых миров.

Состав и структура концепта как виртуальной сущности сознания, его содержание и составляющие структуру элементы, принадлежащие разным частям этой виртуальной стохастической структуры, выявляют себя, актуализируясь в значении разнообразных языковых форм. Само значение языковых форм есть концепт, связанный знаком и трансформированный его ролью в речемыслительном процессе. Ядро концепта, как правило, выявляет себя в прямом значении имен, элементы концептуальной структуры обнаруживают себя в процессах тропеизации, словообразования, фразеологизации, в сочетаемостных комбинаторно-семантических процессах, во взаимодействии эксплицитных и имплицитных смыслов, в превращении и модификации суммарного значения высказываний и текстов за счет этого взаимодействия.

Таким видится в принципиальных чертах соотношение трех (или четырех, если добавить сигнификат) категориальных понятий речемыслительных процесса — денотата (и сигнификата), концепта и значения. Из них концепт относится к виртуальному уровню этого процесса. Концепт, актуализируя и объективируя себя в деятельности умственной (мышление), предметной (практика) и знаковой (семиозис), представляет собой исходную идеальную базу порождения актуальных смыслов и картин тех идеальных миров, которые выстраиваются мышлением и выражаются языком в речи. Денотат (и сигнификат) относится к уровню актуализации этих процессов, являясь результатом трансформации концептов в образы того, что «населает» воображаемый и/или порождаемый сознанием мир. Наконец, значение принадлежит и тому, и другому уровню. Оно связывает концепт во всех его ипостасях со знаком и посредством знака объективирует актуальные модусы концепта в знаковой деятельности.

В следующем разделе наши рассуждения о концепте иллюстрируются анализом концепта души.

2.3. Душа в заветной лире

Переключим пушкинский образ в область национального самосознания и получим то, что составляет предмет наших размышлений — представления русского (русско-культурного) народа о душе, о том, что она есть, какой она предстает перед нами и какой она должна быть. Душа или то, что под ней широко, выходя за всякие доктринальные пределы, понимают, — один из красугольных камней национального менталитета. Она — элемент той системы базисных когнитивных представлений и ценностных установлений, которые сложились и приняты в духовной культуре данного народа как суммарный итог его прошлого и как судьбоносный императив его будущего. То, что люди реально связывают с концептом души, наглядно отражает специфику видения и понимания мира и специфику их установочной аксиологии.

А что же «заветная лира»? Здесь это метафорс национального языка как средства объективации и выражения представлений о душе на уровне констант национальной духовной культуры. Духовный мир народа выявляет свое устройство двояким, непрямо согласованным образом: вещественно — в действиях и их материальных продуктах, результатах и следствиях и в языке — в семантической структуре его значимых единиц. И то, и другое непросто для анализа в силу скрытности и множественности взаимодействующих факторов, отчего выводы и заключения о менталитете народов, основаниях и специфике национальных духовных культур на уровне базисных генерирующих когнитивно-аксиологических систем обычно поспешны, пристрастны и не доказательны.

Из двух подходов содержанию и структуре национального сознания (и сознания вообще) как «черному ящику» — через рефлексy в деятельности людей и в их языке — первый несопоставимо более сложен и трудоемок. Имеет смысл начать со второго — исследовать представления о душе через отражение этого концепта в семантике языковых единиц и прежде всего рассмотреть семантику самого слова «душа», структуру его полисемии, его словообразовательные, парадигматические и синтагматические связи.

Результатом такого анализа могут быть некоторые обобщения относительно специфики национального концепта души во взаимозависимости с особенностями национального менталитета, но выводы не могут претендовать на что-либо больше гипотез. Они могут оказаться интересными, заманчивыми и многообещающими, но сами по себе не имеют доказательной силы, и, как и всякие обобщения о структуре сознания и содержания ее единиц, основанных на показаниях языка как формы.

Выводы и заключения о константах национального сознания, о национальной картине мира, специфике национального видения и понимания мира, специфике базисной аксиологии народа — обо всем этом, что сум-

марно именуется менталитетом, духом или душой народа, всякий раз, когда они делаются на основе особенностей языка народа, нуждаются в поддержке, согласовании и корректировке со стороны того, что обобщенно можно назвать деятельностью историей и практикой этого народа.

Концепты как сложившиеся ментальные сущности операционально проявляют себя на трех взаимосоотнесенных уровнях: рефлексорном, интуитивном и аналитическом. Мера значимости того или иного уровня зависит от природы того объекта-денотата, отражением которого является данный концепт (вещи и признаки, свойства, отношения, события, сущности физические и духовные, конкретные и абстрактные, простые и комплексные и т. п.) Рефлексорный уровень — закрепленный в памяти комплекс чувственных реакций, обуславливаемых объектом-денотатом. Интуитивный уровень — целостное доаналитическое знание объекта-денотата, интуальный образ, позволяющий на дорассудочном уровне отождествлять и различать объекты-денотаты, оценивать высказывания о них и правильно единообразно со всеми употреблять их обозначения. По сути дела, это уровень «умной собаки», которая, однако, не только все знает и умеет, но еще знает и умеет говорить об этом всем. Наконец, аналитический уровень владения концептом — рассудочный уровень теоретизирования обо всем в мире, уровень объяснения мира, включая и то, что объясняет мир — представления (концепты) о нем.

Для наших целей существенно то, что анализ любого языкового концепта, в том числе и концепта души, должен ограничиваться языковой данностью — тем, что составляет отсеившуюся семантику языковых единиц данного содержательного круга.

Предметом анализа и целью теоретизирования является не денотат, а имя, не душа, а означаемые «души», не какие-либо концепции души, а только то представление о ней (языковой концепт), которое просматривается за разными значениями означающего, сводя их в целостную семантическую структуру. Тем самым в силу высокой абстрактности и «ненаглядности» денотата, сочетающейся с высокой его прагматической значимостью, мы имеем в качестве предмета своих размышлений такую концептуальную давность, которая в обыденном языковом сознании явлена преимущественно на интуитивном уровне постижения.

Первым результатом, который дает лингвистический анализ русской души, является весьма высокая частотность и широкая сочетаемость русской «души» сравнительно, например, с английской *soul*. Не надо ли в этом видеть свидетельство того, что у русских душа — первая забота в отличие, например, от тех же англичан или американцев, поскольку у них, по-видимому на кончике языка, как они выражаются нечто иное? Однако с выводом об особой русской духовности торопиться не стоит, а высокая частотность и широкая сочетаемость, вообще говоря, может быть следствием большей многозначности слова, и тогда проблема свелась бы к про-

стому общеизвестному факту: в каждом языке своя своеобразная система распределенная концептов — значений по десигнатором (словам, морфемам, словосочетаниям и т. д.). Иначе говоря, семантические системы в языках совпадают лишь частично. Но даже если бы наборы значений корреспондирующих слов (слов-аналогов, т. е. слов с одинаковыми исходными прямыми значениями) в двух языках совпадали в большой степени, это само по себе еще не решало бы проблемы. Значения могут совпадать, но существенно различаться языковым статусом — частотностью употребления, словообразовательной продуктивностью, словосочетательным потенциалом, стилистической широтой, употреблением в составе фразеологизмов и т. п. Иначе говоря, они могут существенно различаться своим номинативным потенциалом — способностью выразить свой концепт без существенных на то системных ограничений разного рода.

Какова же структура полисемии русской «души» в сопоставлении с английским *soul*? Вначале займемся русским материалом, начнем с того, что дадим неклассифицированную подборку характерных словосочетаний, с тем, чтобы читатель вольно или невольно задал работу своей мысли и мог бы затем соотнести первые интуитивные результаты своего чтения полисемии слова душа с тем, что ему будет затем предложено. Итак, зададимся на прикидку вопросами: в каких приведенных ниже примерах значения слова «душа» одинаковы, в каких различны и сколько у него разных значений; насколько значения близки и далеки, какова связь между значениями и в чем состоит их сходство и различия?

Ср. *Взять грех на душу; владеет сотней душ; в чем душа держится; в нем много души* (В. И. Даль); *в душе он плут; в сватовстве спрашивают не о душе, а о душах* (В. И. Даль); *грешное тело и душу съело; душа-девица, душа-человек; душа компании; душа ревизская; душа не принимает; души (в ней) не чают; душа не сосед: пить-есть просит* (В. И. Даль); *душа христианска, да совесть цыганска* (В. И. Даль); *душа пузыри пускает* (отрыгается, — В. И. Даль); *душа с Богом беседует; душа не принимает, а глаза все просят; душа моя!; душа меру знает; душа отлетела; дух выше души* (В. И. Даль); *душа есть бесплотное тело духа* (В. И. Даль); *душа гордая/властная сильная/слабая/ничтожная/грешная/мятущаяся/заблудшая; душа всего дороже; душе с телом мука; есть ли душа у животных; захочет (что-то) в душе; кругом ни души; муж голова, жена душа* (В. И. Даль); *как нет души, так что хошь пиши* (В. И. Даль); *не лезь (мне) в душу; на душе легко/тяжело; на душе мутит (=тошнит — В. И. Даль); не тужи по голове: душа жива* (В. И. Даль); *не стой над душой; не мучь христианской души довеку; на всяку душу Бог зарождает (хлеба — В. И. Даль); отпустить грешную душу на покаяние; отдать богу душу; отвести (на чем-то) душу; он от нее без души; от души (=совести) не уйдешь; покривить душой; положить (за кого-то) душу; (это мне) по душе / не по душе; плоть душе враг* (В. И. Даль); *рад душой (рад ду-*

шевно); *растлевать* душу; *скажи по душе* (= искренне); *с души скинуло* (= вырвало. — В. И. Даль); *сторонись, душа, оболью!* (В. И. Даль — говорит пьяница при принятии спиртного); *своя душа не холоп* (= себя жалко (В. И. Даль)); *свищи, душа, через нос!* (= спи. — В. И. Даль); *хлеба с душу, денег с нужу, платья с ношу* (В. И. Даль); *хоть мошна пуста, да душа чиста; это дело на твоей душе лежит; это мне на душу легло*.

Производные и сложные слова: *бездушный, душевный, душевно; душевредный; душенька, душечка, душака; душегрейка, душенгрея; душегуб, душегубка, душегубство, душегубительный; душеживительный, душепитальный, душеполезное (чтение etc.); душелюбивый (человеколюбивый); душеприказчик; душерастлитель; душеспасительный; душеубийца* и др.

Можно видеть, что в семантике слова «душа» рудиментарно как семантический пережиток сохранились дохристианские, языческие представления о душе как духе — жизненной силе, входящей извне в его тело с первым вдохом и покидающей его с последним. Представления о душе как наматериальном духе, поселяющемся в груди человека, смыкается с дыханием — ближайшим материальным аналогом невещественных духов. Фантазийное создание раннего человека, беспомощного перед грозными силами природы, терзаемого страхами незнания и уповающего на милости случая, населяет мир деятельными и могущественными духами — бесплотными аналогами сил природы, требующими умилования. И он приобщается к ним, поселяя их в себе.

След этих верований остался в тех вариантах значения слова «душа», которые выставляют ее:

- как условие биологической жизни человека (ср. *в чем душа держится, отдать богу душу, положить за кого-то душу*). Отсюда один шаг к синекдохальному расширению значения часть — целое: душа — человек (ср. *кругом ни души, есть тут живая душа?*), а затем к последующему сужению целое — часть; человек — крепостной человек, человек податного сословия (ср. *мертвые ревизские души, сто душ во владении, в сватовстве спрашивают не о душе, а о душах*);

- как орган восприятия переработки чувственной информации и реакции на нее (ср. *душа замирает, душа трепещет*);

- как орган оценки (анализатор и индикатор) физиологического, эмоционального и духовного состояния человека (ср. *с души скинуло* = вырвало, *на душе мутит* = тошнит; *на душе легко/тяжело, отвести на чем-то душу; душа меру знает; душа не принимает, а глаза все больше просят; это мне по душе, душевно рад; она в нем души не чает, он от нее без души*).

Ассоциируясь с дыханием (дых — дух), душа язычника, естественно, помещалась в грудной клетке, и это вызывало опасение у горьких пьяниц, подносивших чарку ко рту: *сторонись, душа, оболью!* Такую душу, как и ее вместилище, требовалось согревать, отсюда — *душегрейка*. Она дышала

(свищи, душа, через нос), нуждалась в (душа не сосед: пить-есть просит, на всяку душу Бог зарождает хлеба. — В. И. Даль), ее запросы надо удовлетворять полной мерой (сколько душе угодно; хлеба с душой, денег с нужу, платья с ношу; своя душа не холоп = себя жалко. — В. И. Даль).

Но это все прошлое «души», пережиточно сохранившееся в структуре полисемии слова, языковом узусе и памяти народа. Основным своим современным значением во всех его вариантах слово обязано христианству в его православной версии, его многовековой доктринальной разработке, научительству и практикованию. В ходе долгой истории народ связывал с этим словом представление о духовной сущности личности, определяющей его нравственное качество, моральные свойства (так называемый моральный облик) и меру соответствия личности идеалу общественного человека.

В обыденном языковом сознании душа представляет собой духовное начало в человеке в противоположность его физической (телесной, плотской) стороне, но стоит она все же на полдороге между ними — между абстрактным трансцендентальным божественным духом и его телесной оболочкой. Первый, дух, находится за пределами обыденного знания и выводит его в область научных (философских) концепций и религиозных (теологических) построений. Поэтому дух не выходит прямо в содержание языкового концепта души, а представлен в нем разве что потенциально как имплицативный (пресуппозитивный) фон для размышлений досушего схоласта, поверхностно знакомого с христианско-философской догматикой. Равным образом и представление о бессмертии души относится к периферии языковой семантики слова, смыкающей ее с специальным знанием.

Диаметральный антипод духа — плоть, и душа оказывается на полдороге между духом и телом.

С одной стороны, она выступает реализацией духа в человеке и просто символизирует одно из его начал — духовное, первичное по важности, необходимое условие жизни. Этот смысл обнаруживается в словоупотреблениях; вроде *есть ли душа у животных?*; *душа тяжела*; *затаить что-то в душе*; *лезть в душу*; *душа с Богом беседует*. В этом значении слово утрачивает часто сопутствующие ему оценочные обертоны и просто обозначает образ мысли и умственные действия сознания, ср. также *чужая душа потемки*; *душа христианска, да совесть цыганска!*; *не мучь христианской души до веку* (= до смерти); *не стой над душой!*

С другой стороны, душа представляется конкретным воплощением духа в конкретном человеке. Она обнаруживает конкретные качества и свойства, различные у разных людей. Она подвергается плотским соблазнам, нередко уступает им, вступает в конфликт с телом и в этой борьбе либо отстаивает свою божественную сущность, либо терпит поражение. Она может быть по природе, изначально или в исходе борьбы сильной или слабой, непорочной или греховной. Поэтому она нуждается в помощи, в руко-

водстве, наставлении, поддержке и самоутверждении. Ее оценивают, бранят или хвалят, ср. *дух выше души, душа есть бесплотное тело духа. покривить душой, взять грех на душу, душонка, душегуб, душеспасительный, плоть враг, грешное тело и душу съело, душе с телом мука; хоть мошна пуста, да душа чиста; как нет души, хошь пиши, в душе он плут; в сватовстве спрашивают не о душе, а о душах; люблю как душу, трясусь как грушу; жить душа в душе; у него нет ничего за душой.*

В лексической семантике было отмечено, что имена, предполагающие качественную оценку своих денотатов по линии классообразующего признака, часто развивают дополнительное значение, обозначая представителей класса с высокой мерой классообразующего признака, ср. *обзавелся детьми, а отцом* (= хорошим отцом) *так и не стал*. Аналогичным образом «душа» может употребляться в положительном оценочном смысле без всяких спецификаторов, ср. *как нет души, так что хошь пиши* и т. п. Очевидно, что это значение напрямую связано и производно от рассмотренного ранее (Никитин, 1997; Смит).

Это положительно-оценочная линия развития семантики находит продолжение в метоническом переносе имени «душа» — хорошая душа — человек высоких душевных качеств (синекдоха: часть — целое). Ср. *душа моя!* (обращение) *душа-человек, душа-девица, душечка, душенька, душа компании* (дела) *предприятия*. Последний пример иллюстрирует, помимо положительной оценки и синекдохального расширения, подключение к значению имплицативных признаков души — интегративное значение, способность служить организующим центром целого.

Среди всех качеств души христианское вероучение, в особенности в его православной версии, подчеркнуло и выдвинуло на передний план совесть — способность личности к нравственной самооценке действий и помыслов по их общественной значимости и соответствию христианскому этическому идеалу, способность к глубокому духовному переживанию всяких возможных отклонений от этической нормы и готовность осознать их, покаяться и исправиться.

Движение концепта в этом доктринально важном направлении имело результатом сближения концептов души и совести, так что в определенных контекстах «душа» вполне синонимична «совести» и может числить это значение структуре своей полисемии. Ср. *покривить душой, взять грех на душу, это дело на твоей душе лежит, скажи по душе, от души* (= совести) *не уйдешь, душа чиста, на душе свербит*.

Подведем определенный итог рассмотрению семантической структуры слова «душа». Полисемия этого слова, различаемые в нем значения и деривационно-семантические связи между ними в их нынешнем состоянии сложились из трех источников: внедоктринальных представлений о мире и человеке (обыденной философии в ее историческом развитии) и двух доктринально-религиозных традиций, языческой и христианской, в их перепле-

тенции и взаимодействии. Все три источника сходились в явном или неявном понимании духовного и материального как двух противоположных начал, объединение которых составляет необходимое условие жизни, но расходились в представлениях о природе этих начал, границах между ними и характере их взаимодействия.

Телесное начало больше принималось за некую данность, в то время как духовное представлялось (и до сих пор представляется) гораздо более загадочным, малопонятным и даже пугающим по природе, истокам и потенциалу.

Все три источника так или иначе оставили свой вклад в формировании языкового концепта души и отобразились в объеме и особенностях семантической структуры слова «душа». Действие трех указанных факторов связывается в том, что семантика слова соединяет в себе широкий спектр достаточно размытых и перетекающих друг в друга, жестоко не разграниченных представлений о духовной стороне человека в разных ее аспектах: от вместилища сознания, мысли, эмоций и оценок до эманации божественного духа в брненное тело, чтобы указать ему путь истины.

В целом можно с достаточным основанием разграничивать следующие значения в слове «душа»:

1) душа как духовная сторона личности в самом общем плане («есть ли душа у животных» и т. п.);

2) душа как человек метонимическое производное от № 1: синекдоха «часть — целое»;

3) душа как крепостной человек (*ревизская душа* и т. п.);

4) душа как вместилище и орган ощущений, чувств, оценок (*на душе тяжело, душа замирает* и т. п.);

5) душа как бессмертная духовная сущность, вселяемая в человека при рождении и покидающая его тело при смерти (*душа отлетела* и т. п.);

6) душа как духовно-нравственная сущность личности (*в душе он плут* и т. п.);

7) душа как духовно-нравственный идеал, «качественная», ср. *нет в нем души*, высоконравственная, отзывчивая и/или заражающая жизненной силой и энергией (*нет в нем души, душевный*);

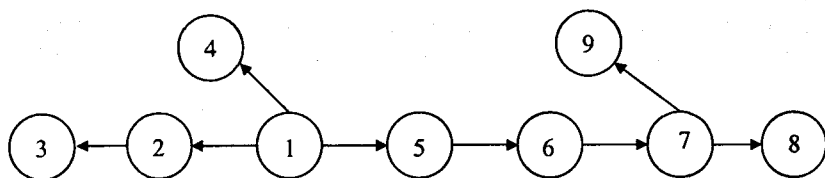
8) душа как человек замечательных душевных качеств — метафора от значения 7 (*душа моя!* — обращение, *душа общества*);

9) душа как совесть (*покривить душой, разговор по душам* и т. п.).

Разумеется, подобные перечни, вообще свойственные словарям при подаче значений многозначных слов, основательно огрубляют реальную картину семантических структур, и надо принимать с учетом размытости границ между значениями, неизбежной для абстрактных слов, в особенности тех, содержание которых формировалось из разных источников, в том числе, как здесь, под сильным долговременным воздействием доктринальных факторов. Кроме того, надо учитывать, что значения различаются не

только понятийно, но их языковым статусом, мерой выявленности в языке и представленности в узусе.

Структуру полисемии можно нагляднее представить посредством графа деривационных связей между значениями (пронумерованы, как в перечне, без указания модели деривации):



Спросим теперь себя, какую из этих девяти «душ» имел в виду А. С. Пушкин в своем «Памятнике». Очевидно, № 1 — душа как духовная сторона личности в комплексе всех ее интеллектуальных и нравственных качеств, но все дело именно в переключке с другими значениями: душа как бессмертная духовная сущность (№ 5), как духовно-нравственная сущность личности в ее индивидуальном своеобразии (№ 6) и как духовно-нравственный и интеллектуальный идеал (№ 7). «Душа» — хороший пример «плотный» полисемии тесно спаянных, перетекающих друг в друга значений, различаемых в меру осознания и практической значимости отдельных сторон в целостном детонате.

Из всех сторон духовной деятельности человека христианство выделило и акцентировало две — отношения с Богом (богопочетание) и отношения с людьми, включая самого себя (христианская этика), и это было вполне оправданно постоянной целью на том уровне самосознания людей, с которым оно имело и имеет дело. Но это неизбежное ограничение главным имело то следствие, что христианская традиция, сравнительно с внедоктринальной мирской и даже доктринальной языческой, сужала «аспектологию души», оставляя в стороне такие стороны духовной деятельности, как мыслительные и психофизические процессы. Результат наглядно отразился в семантической структуре слова: правая сторона деривационной схемы наследует христианской доктрине. Концепт души вошел в противопоставление с концептами разума, ума, рассудка, интеллекта и вслед за религией отошел от науки и логики (ср. у В. И. Даля *муж голова, жена душа*).

Английский *soul* обнаруживает в целом практически тот же набор значений, что русский «душа», и этого следовало ожидать в силу принципиальной общности культурно-религиозной базы двух народов — европейско-христианской. Существенные различия в менталитете, базисной аксеологии, системах вероотправления и официальной идеологии, стремительно накапливавшихся с Нового времени (и даже ранее), не обнаруживаются на уровне семантических структур, и языковые рефлексy их, несо-

мненно, доступные для анализа, надо искать более сложным образом — на комплексном уровне речемыслительной деятельности видно с данными внеязыковой реальности.

Главные наблюдаемые отличия уже отмечались. Это существенно более низкая частотность *англ.* *soul* суммарно на уровне слова различия в частотности отдельных словозначений и различия в языковом статусе (употребительности, сочетаемости, потенциале ограничения на реализацию) отдельных значений, наряду с общей заметно более низкой словообразовательной и фразеологической продуктивностью. Все это, конечно, не может служить основанием для заключения о меньшей душевности англичан (и уже тем более американцев, канадцев, австралийцев и других англоговорящих народов). Различия в поведенческих моделях и реакциях несомненно есть, и пресловутая сдержанность и замкнутость англичан — безусловный факт (хотя бы их прошлого), но судить о них надо на той же комплексной основе — по речам и поступкам (речевому поведению). Из других, более мелких, различий отметим, что в семантике *soul* нет значения *крепостной человек* в русском оно есть, и появляется соблазн связать наличие этого историзма в слове с поздней отменой крепостного права в России. Но торопиться не следует. Это верно лишь отчасти: то же значение отмечается во *фр.* *âme* и *нем.* *Seele*, а в английском есть свое слово для того же понятия *serf*, в английском хотя чуть сильнее интеллектуальный аспект «души» (*the great souls of antiquity*), но и тут он в целом, как и в русском, оттеснен в область идиоматического словоупотребления, ср. но *great souls of antiquity*.

Эмотивно-оценочное употребление *soul* в обращениях обособленных квалификативных приложениях и т. п., как правило, предполагает ситуации превосходства, хотя бы и сочувственного, комплиментарного, ср. *there's a good soul*. Напротив, в русском «душа» как апеллатив связана (пожалуй, была связана — в прошлом) с выражением сердечного расположения, большой приязни и т. п.

Как некоторый курьез отметим еще сходство между эмотивно-оценочным зарядом русского слова с употреблением его английского аналога в афро-американской субкультуре, ср. *soul brother*, *soul sister*, *soul music*.

Если обратиться к другим европейским языкам, найдем сходную в принципиальных чертах картину.

Наиболее близким «душа» концептуально и деривационно является, конечно, «дух». Отчасти два слова перекрываются семантически, соприкасаясь или совпадая в некоторых своих значениях, так что оказываются взаимозаменяемы как синонимы. Сопоставление и размежевание семантики интересно еще тем, что может натолкнуть на определенные гипотезы (но, разумеется, не более чем гипотезы) относительно формирования и деривационно исторр двух концептов.

Вообще в развернутой семантике слова «дух» отмечаются следующие значения:

1) дыхание (ср. *перевести дух*) — значение ныне не главное, но наиболее конкретные, этимологически исходны;

2) запах (ср. *ни духом, ни слухом; здесь русский дух, здесь Русью пахнет*) — перенос имени по гиперо-метонимической схеме: дыхание > дуновение > запах. Значение имеет тенденцию к дальнейшему обобщению: «запах» — характерное проявление, качество (свойство), по которому что-либо узнают. Так, «русский дух» уже имеет более общий и абстрактный смысл личности, сущностного качества. Происходит контаминация с значением № 6 (см. ниже) в его развитии от духа вещи, места к их личности, качеству, сущности, идее;

3) воздух, пар (от дыхания), жар; порывы ветра; ноздри (и шире — дыхательные пути); слухи, сплетни; напряжение, усилие (это все пережиточные, областные, профессиональные и смысловые дериваты на метонимической основе от исходного словозначения № 1, см. примеры В. И. Даля);

4) настроение, душевное состояние (*состояние души!*) с отсчетом от состояния спокойного, нормального, уравновешенного, гармоничного (ср. *быть не в духе*);

5) душевные силы (*сила души!*), душевная собранность, сила власти, решимость (ср. *как у тебя хватило духу?! собраться с духом*).

Значение 4 и 5 ныне идиоматически связаны, но хорошо иллюстрируют семантику слова на переходе от особенности, сущностного качества. Происходит контаминация со значением № 6 (см. ниже), которое в его развитии, от «духа» вещи, места, к ее особенности, качеству, идее, сущности от конкретного к абстрактному, от дыхания к духу, равно как и сам имплицативный (метонимический — в широком смысле термина) механизм этого перехода;

6) сверхтелесностная сущностная сторона материальных объектов, проявляющая себя в их отношениях к человеку (ср. *дух родимой колокольни*) пережиточное значение времен анимизма, вытесненное доктринальным влиянием официальной религии. Это значение снова претерпело долгий путь развития вместе с изменением первоначально связанного с ним представления: от того, что римляне называли *genius (loci)* «дух (местности), дух-хранитель человека, народа, к современному вполне употребительному его значению «сущностное духовное качество чего-то» (ср. *дух нации* и близкое ему *душа народа*);

7) то же, что «душа» (ср. *испустить дух* — метоном от дыхания), но особенно в значении *духовное качество личности* (ср. *духом окрепнем в борьбе, неколебим духом, пытки сломили его дух*).

Значение 4 и 5 и 7 смыкают «дух» с «душой», указывая на дух как основополагающее качество души, причем в последнем из них «дух» синонимичен «душе»;

8) бестелесная, бесплотная сущность, обитающая в темном мире, но вне тела, т. е. духи — призраки, привидения и т. п.;

9) нематериальные (про)явления верховной надматериальной сущности, создающей и управляющей миром (ср. *Дух Божий, Божья воля, Святой Дух, добрый/злой дух, дух света/тьмы*);

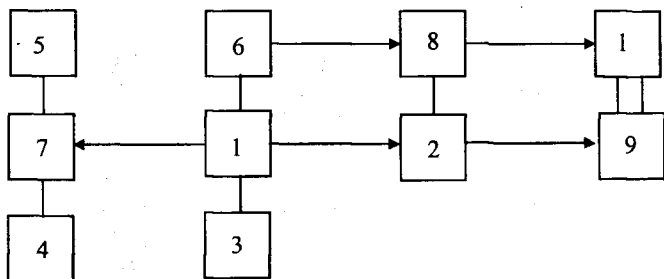
10) суть, смысл, основополагающая идея, ср. *дух и буква закона, в духе новых веяний, в этом же духе*. Значение возникает на базе и в развитие анимистических представлений о духах как незримый, но действенный и более того сущностной, главной, определяющей, направляющей силе вещей;

11) исповедь (ср. *как на духу, духовник*);

12) значение № 12 имеет место в атрибутивных словосочетаниях типа *дух вольности/сопротивления/несогласия* и т. п. Второе имя в этих словосочетаниях обозначает то, что в логике называют абстрактными предметами, а здесь некие состояния, качества, ощущения и т. п., при том что на них сосредоточены духовные силы субъекта, будь то отдельный человек или целый народ, они — в фокусе внимания. Тем самым «дух» в этом случае означает духовную энергию в состоянии концентрации, сосредоточенности, если угодно, «заикленности» на какой-то отвлеченной идее.

Но путь, которым язык пришел к обозначению такого духовного состояния, начался с тех же анимистических представлений о духе, как скрытый за материей вещей нематериальной сущностью. Как и в близких, но более конкретных случаях типа «дух народа» (значение № 7) слово утратило прежний прямой анимистический смысл, но форма выражения выдает его истоки.

Деривационные связи значений (комплексов значений) слова «дух» могут быть в первом приближении представлены следующим образом (на схеме значения указаны по их номерам):



Понятно, что такая схема не отражает с необходимой полнотой скрытые промежуточные ходы ассоциирования и трансформации концептов, совершавшиеся с новым пониманием мира. Однако график зависимостей в

структуре более нагляден, чем простой линейный перечень концептов-значений.


Первобытный анимизм и языческий пантеизм хотя и были радикально переосмыслены и преобразованы под совокупным (хотя и не согласным) воздействием христианства и науки, все же просвечивают сквозь буквализм и форму языковых выражений. Человек начинал теоретическое постижение мира с простейшей практической прагматики с необходимым минимумом знания вещей. Понятие о классе вещей первоначально, с трудом обрываясь от конкретности отдельной вещи, и представление об их сущности принимало форму наивного, прагматически заряженного персонифицированного образа бестелесного, но деятельного духа. Потребовались долгие тысячелетия, прежде чем конкретика образов трансформировалась в абстракции сущности, физического и духовного и сути, идеи и смысла, свойства и закономерности. Свидетельства этих когнитивных сдвигов до сих пор обнаруживаются в семантической структуре слов этого круга.

Обобщенно многовековой процесс постижения духовной составляющей мира представляет собой движение от духа к душе и от души — к психике, от духа как персонифицированных духовных сущностей вне человеческой психики к душе как индивидуализированном духе, помещенном в телесную оболочку, и к психике как вместилищу всех и всяких духовных процессов.

Перекличка «духа» и «души», как можно видеть из сравнения семантически двух слов, обусловлена именно изначальным представлением о душе как индивидуальной реализации духа. Соответственно и семантическое размещение двух слов за вычетом области наложения идей по тем направлениям, которые концепт духа сохраняет за собой, развивает и трансформирует после вытеснения из него концепта души. В целом дух представляется как нечто первичное, изначальное, всеобъемлющее и вместе с тем внешнее по отношению к душе. Он абсолютен, имперсонален и бесплотен, а душа изменчива, индивидуальна и зависит от своей телесной оболочки в том смысле, что должна отстаивать свою духовную чистоту.

И последнее. Говоря о более высокой частотности русского слова «душа» сравнительно с другими языками, большей его языковой и речевой (дискурсивной) значимости, нельзя не указать, что времена былого фавора и для слова, и для самого концепта уходят в прошлое вместе с XIX веком и началом XX века, так что держатся они оба больше силой и инерцией культурной традиции, чем привязанностью к ним обоим наших современников. Узус в отличие от словаря свидетельствует, что, в целом, несмотря на усилия церкви и возрождения православия, и душа, и «душа» — стойкая, но, увы, уходящая натуры, совсем иная, чем в веке XIX и ранее. На смену им пришли психика (характер) и «характер» («психика») — это ли не свидетельство тектонического сдвига в современном ментали-

тете, общественном и массовом сознании в их стихийном, с издержками, движении к материализму с их неодолимой — с издержками — тягой к материализму.

 *Арват Н. Н.* Концептосфера лексемы душа в русском языке // Русское слово в мировой культуре. Концептосфера русского языка: константы и динамика изменений. СПб., 2003.

Буянова Л. Ю., Ерошенко А. Р. Константы «жизнь», «душа», «любовь» как основа русской ментальности и культуры: специфика вербализации // Русское слово в мировой культуре. Концептосфера русского языка: константы и динамика изменений. СПб., 2003.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. 2-е изд. СПб.; М., 1880.

Никитин М. В.

1) Основания когнитивной семантики. СПб., 2003;

2) Миф в структуре сознания // Актуальные проблемы стилистики etc. СПб., 1988;

3) Об отражении картины мира в языке // *Studia linguistica*. Вып. VIII. СПб., 1999;

4) Концепт и метафора // *Studia linguistica*. Вып. X. СПб., 2001;

5) Денотат — концепт — значение // Современные проблемы лингвистики, перевода etc. СПб., 2002;

6) Что рисуют нам «картины мира» // Вестник РГПУ им. А. И. Герцена. Вып. I. СПб., 2003;

7) Метафора: уподобление vs. интеграция концептов // С любовью к языку. Воронеж, 2002;

8) Курс лингвистической семантики. СПб., 1997.

Ружицкий Н. В. Русская картина мира и русский менталитет в языке писателя (на материале «Словаря языка Ф. М. Достоевского») // Русское слово в мировой культуре. Концептосфера русского языка: константы и динамика изменений. СПб., С. 339–344.

2.4. Концепт и метафора

Среди когнитологических проблем, относящихся к организации (со)знания, в план первостепенной важности вышли проблемы типологии концептуальных структур и моделей когнитивных процессов, в частности процессов категоризации. В условиях наступившего ныне когнитивистского бума эти две проблемы в силу их взаимосвязи нередко не различают с должной четкостью, но подменять их одну другой не следует. В случае концептуальных структур имеем дело с результатом — с концептами как сложившимися дискретными единицами сознания и их внутренним строением. В случае же когнитивных процессов — с концептуальными связями, с взаимодействием и взаимоотражением концептов в целостной системе сознания и его подсистемах. Переключка двух указанных проблем возникает оттого, что результаты моделированного взаимодействия концептов отражаются в их содержании и структуре, равно как в содержании и структуре значения выражающих их знаков.

В центре нашего внимания будет именно взаимосвязь этих двух сторон — процесса и результата, когнитивных процессов и концептуальных структур. При этом нас будет занимать только лингвистическая сторона дела, а именно когнитивные модели в отражении на содержание и структуру значений, т. е. содержание и структуру концептов, связанных знаком. В конечном счете занимающая нас проблема сводится к моделям взаимодействия наличных в сознании концептов и их структурных частей при формировании новых концептов и при проявлении одних концептов через другие. Чтобы перевести проблему с мыслительного уровня на лингвистический (знаковый), достаточно — с несущественным здесь огрублением — подставить вместо концептов значения, а вместо объектов — денотаты.

Начнем с проблемы моделей категоризации, т. е. способов, посредством которых в сознании сличаются, различаются и «каталогизируются» результаты ментальной регистрации того, что наблюдается, ощущается или вспоминается, — предметов (включая идеи), признаков (включая свойства и отношения), связок предметов и признаков (включая события).

Категоризация относится к тому ряду мыслительных процессов (ментальных операций), который наряду с ней включает также классификацию, идентификацию, отождествление. Всем им предшествует операция сравнения (в широком смысле термина и в разных ее видах) с некоторыми мыслительными шаблонами-образцами, и они являются ее (операции сравнения) результатом — каждая в соответствии со своей задачей.

Категоризация близка классификации, поскольку в обоих случаях в объекте (а в случае семиозиса — объекте-денотате) усматривают некий признак (признаки), по которому его относят к классу (категории) объектов, конституируемый этим признаком. Близость основания приводит к тому, что оба термина нередко употребляют взаимозаменяемо, притом что в последнее время стали отдавать предпочтение «категоризации» как термину более обобщенному. На долю «классификации» остается более узкий специальный смысл — таксономической (часто иерархической) категоризации некоего заданного круга объектов по некоему заданному же основанию, хотя бы и скрытому, ср. биологические таксономии. Категоризация в узком смысле оказывается вторичной по отношению к классификации. В таком случае она совершается после классификации как «классификация поперек» таксономических классов: объекты вначале сводятся в таксономические классы — классы по максимально прогностическим (наиболее существенным) признакам (т. е. признакам, позволяющим прогнозировать в объекте большее число других признаков — свойств и отношений), а затем они категоризируются, т. е. сводятся в классы — категории «поперек» таксономического членения по общности у них других, менее прогностических признаков. Так, если взять близкий пример из лингвистики, слова вначале классифицируют на существительные, прилагательные и т. д., а

затем идут «поперек» этой классификации и устанавливают среди слов этих частей речи общности — категории на уровне грамматических форм слова по числу, падежу, а на уровне слова — по грамматическому роду. Заметим, что в случае рода понятие категории сближается с понятием класса, так как грамматический род существительных — не столько категория в узком смысле термина (как, например, у прилагательных), сколько подкласс существительных.

Что же касается других членов родственного ряда, то тут дело, очевидно, обстоит следующим образом. Идентификация предполагает установление «изотопности» образов разных проявлений одного и того же объекта — того, который устанавливается, с теми, которые так или иначе уже фиксированы в памяти ранее. Идентификацию теперь нередко отождествляют с отождествлением (именно так, каламбур неслучаен). Делается это, по-видимому, под влиянием английского словоупотребления (ср. *identity, identify, identification, identical*), подкрепляемого семантикой заимствованного в русский язык прилагательного «идентичный», означающего согласно толковым словарям русского языка «тождественный», «полностью совпадающий». Между тем наличие двух терминов идентификация vs. отождествление в русском языке понадобилось для того, что высветить тонкое различие двух понятий: 1) изотопность образов единого объекта, т. е. их отнесение к одному и тому же объекту как разных его проявлений (идентификация) и 2) эквивалентность (равноценность, равнозначность) разных объектов в силу совпадения у них релевантных признаков (крайний случай — равнозначность самому себе).

Но вернемся к проблеме категоризации и ее моделей. Одно из решений этой проблемы, получившее достаточно широкий резонанс, по меньшей мере в лингвистике, было предложено Дж. Лакоффом. По его мнению, различаются четыре модели процессов категоризации:

- 1) пропозициональные модели;
- 2) схематические модели образов (траектории, длинные и тонкие формы, вместилища);
- 3) метафорические модели (переход от моделей 1 и 2 к соответствующим структурам другой области);
- 4) метонимические модели (модели 1, 2, 3, дополненные указанием функций (Лакофф и Джонсон, 1990)).

В работах Е. Г. Беляевской идеи Дж. Лакоффа преломились в трехчастную типологию когнитивных структур (Беляевская, 2000):

- 1) когнитивные модели образ-схематического типа аналогичны гештальтам в психологии (но не образ-схемы типа «контейнер», «центр-периферия»);
- 2) метафорические концепты;
- 3) концептуальные схемы, представляющие собой иерархические системы, состоящие из элементарных, или «базовых», концептов.

При значительном отличии этих двух концепций важно принципиальное их сходство в исходных посылках и общем подходе к установлению типологии когнитивных структур. Направление было задано Дж. Лакоффом, и постулаты, на которых оно базируется, содержатся в его концепции наиболее ярко и последовательно. Суть этих исходных неявно выраженных представлений сводится коротко к следующему. Концепты лежат на полпути между сознанием и языком. Сознание стоит ближе к языку, чем к миру, данному в деятельности людей, и соответственно концептуальные структуры формируются и типологизируются в прямой зависимости от способа их языковой репрезентации (ср. метафорические и метонимические концепты). Иными словами, сознание структурировано не только и столько структурой действительности и структурами человеческой деятельности, не в прямой зависимости от них, сколько с оглядкой на язык и системные отношения в нем. Концепты оказываются достаточно автономными от деятельности, опыта и мира; они выстраивают свои системные связи и отношения друг с другом, оцениваются и типологизируются по содержанию, сходству и различиям не относительно отражаемых ими миров, а относительно способа их языкового выражения.

На этой методологической основе и появляются не только понятия метафорических и метонимических концептов, но и более широкие понятия базовых метафор и метафорических концептов. Способ языковой репрезентации концепта возводится в содержательный тип концепта. Однако обоснованность такого подхода и его продуктивность могут быть оспорены. Никак не подвергая сомнению значимость аналогии и метафоризации как речемыслительного процесса, нисколько не принижая их каталитической роли в осмыслении и категоризации мира, в «вызревании мысли» на переходе от конкретного и массовидного в опыте и деятельности и потому представляющемуся простым и освоенным к абстрактному, сложному и редкому, следует все же держаться того представления, что структура сознания обуславливается в своей основе структурой деятельности общественного человека в структурированном мире действительности. Поэтому процессу метафоризации предшествует изначально некая мысль о денотате метафорически обозначаемого, оформившаяся в сознании с той или иной мерой четкости как отправной момент этого процесса. В этом смысле концепт-1 непрямомерно обозначаемого денотата начинает свое существование до метафоры и вызревает с ней, а сама метафора предьявляет собой поиск достаточной аналогии, т. е. поиск такого денотата (или классов денотатов) с их прямыми именами, концепт-2 которого обеспечивал бы определенными своими признаками требуемую меру моделирования и прояснения концепта-1.

Концепт-2 с его прямым именем осуществляет свою когнитивную функцию относительно концепта-1 с оглядкой на этот последний в меру его сформированности и в рамках, им задаваемых: из содержания

концепта-2 отбираются в структуру концепта-1 те признаки, которые надо проявить, прояснить и/или выразить в размытом образе предвосхищаемого концепта-1. Роль и действие концепта-2 подобны тем, что выполняет фотопроявитель. В принципе в структуре светочувствительного слоя необработанной пленки уже содержится все то, что оставил на ней свет, отраженный от объекта съемки, но изображение надо еще сделать доступным и явственным глазу.

Методологически существенно относить концепты и метафоры к разным, хотя и тесно взаимодействующим, планам в структуре сознания-мышления: концепты (какими бы они ни были) как дискретные содержательные единицы сознания и система концептуальных связей — к статическому плану готовых результатов когниции, базе мыслительных действий вообще и когнитивных процессов в частности; динамический план когнитивных процессов, моделированное взаимодействие концептов, посредством актуализации сложившейся в сознании системы концептуальных связей (метафоры и др.). Это означает, что по существу нет концептов метафорических и неметафорических, а есть концепты и модели их взаимодействия, в том числе метафорические. Таким образом, строго говоря, метафора — это не концепт, а определенная модель взаимодействия концептов, а именно моделированное взаимодействие концептов на аналогической основе (о модели метафорического взаимодействия концептов см. (Никитин, 1974; 1979; 1997).

Важно заметить, что когнитивные процессы метафорического осмысления формируемого сознанием концепта существенно различаются у адресанта и адресата речи. Для говорящего это поиск моделирующих аналогов зародившейся мысли, оптимально высвечивающих ее содержание и структуру. Имена же приходят вслед за и вместе с концептами-аналогами. Напротив, слушающий в начале когнитивного процесса целиком зависит от имени, его значения и контекста (конситуации), в котором имя употреблено. Концепт же формируется вслед за именем в результате мыслительных усилий преодолеть неуместность имени при прямозначном его осмыслении: для этого нужно, опираясь на знание мира и языка, гипостазировать такую предметную область сообщения и такую ситуацию в этой новой предметной области, в структуру которых вписался бы денотат должным образом переосмысленного имени.

Таким образом, в когнитивно-метафорическом процессе говорящего ведет концепт денотата, требующий прояснения и обозначения, и средством этого служит моделирующая аналогия. Слушающего же в этом процессе ведет имя, а средством служит гипостазирование и аналогическое соотнесение ситуаций (сценариев, фреймов), через структуру которых постигается концепт и переосмысливается имя.

Если же имеют дело с уже усвоенными концептами, то когнитивная (познавательная) сторона метафорического словоупотребления упрощает-

ся и дело сводится к их актуализации в сознании. При этом на первый план выдвигаются коммуникативная и прагматическая функции метафорического обозначения денотатов. В первом случае метафора не просто актуализирует некий известный концепт, но выполняет коммуникативную задачу — рематизировать, высветить и вывести в фокус сознания определенные стороны, признаки денотата. Во втором она служит для того, чтобы выразить разнообразные прагматические сознания, в том числе эмотивно-оценочные.

Впрочем, надо иметь в виду, что все три функции — когнитивная, коммуникативная и прагматическая — совмещены в одном метафорическом словоупотреблении.

Наконец, в отношениях между метафорой и концептом, кроме трех указанных (формирование — проявление концепта, его актуализация — спецификация и прагматизация), возможен еще один случай: метафора может оказаться темна и непонятна адресату, превышать его возможности дешифровки и даже выходить за пределы моделированного осмысления тропов. В подобных случаях автор плохо считается с адресатом, речь его эгоцентрична, замкнута внутри его духовного мира и не принимает в необходимой мере общественно принятые — хотя бы и на пределе — нормы означивания для чужого сознания. Как и в первом случае (формирование нового концепта), слушателю приходится пробиваться к понятию, но не через недостаточное знание мира, а через ненормативность авторского идиолекта и специфичность авторской картины (видения) мира.

За иллюстрациями далеко ходить не приходится. Все четыре случая метафоризации лежат на поверхности. Наука в новых своих областях содержит множество примеров метафорического термино-творчества, где метафора служила не только обозначению нового понятия, но моделировала процесс его становления и вызревания в сознании.

Поэтический язык доставляет неисчерпаемый материал на тему всех четырех случаев. Так, «жизни выцветший ковер» (В. Кривич), очевидно, означает не просто утрату радостей жизни, но еще высвечивает ту их сторону, что изначально впечатления от нее были многоцветными и яркими, но потускнели от повторения. В другом примере из того же поэта: «Смеются палевые дали. И плачут матовые льды» — «плачут» дополнительно к идее таяния рематизирует капель. Вместе с тем слово «смеются» в предшествующей строке мало что сообщает о своем денотате, но назначено передать эмотивно-оценочное переживание его автором — радуют взор. Сходным образом «твое весеннее лицо» (В. Кривич) несет весьма размытое и неопределенное когнитивное содержание, требующее ситуативного домысливания (тронутое свежим загаром, посвежевшее, оживленное?), но достаточно определенно в прагмасемантическом, оценочно-эмотивном плане — производящее радостное впечатление, внушающее надежды, приятно выглядящее.

Невнятность выражения, а с ним и самой мысли, непроявленный характер концепта — случай вполне обычный и должен восприниматься спокойно, ибо не всегда мысли удастся выйти на свет, стать явно осознанной и тем более удачно выраженной. В хорошей поэзии не скрывают, если концепт не проявлен и не выразим с должной ясностью. Ср. у А. Заболоцкого:

...И пусть ее черты нехороши
И нечем ей прельстить воображение, —
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движении.
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Предмет поиска — концепт красоты; задача — уяснить на конкретном примере соотносительную ценность в красоте телесного и духовного начал; способ прояснения концепта — метафора как аналогическое моделирующее уподобление. Телесная красота прежде всего качество телесной оболочки, поверхностная форма, служащая вместилищем души. Поэтому первая уподоблена сосуду, а вторая — огню в сосуде. В обоих случаях — и в телесном, и в духовном — одинаково говорят о красоте как двух ее ипостасях, и в этом проблема. Автор изначально, уже в исходе поиска склонен в пользу духовной красоты и не просто как высшей формы красоты, а как сущностного ее признака. Тем самым в противовес расхожему более широкому пониманию и словоупотреблению концепт истинной красоты помещается среди духовных категорий: для красоты не обязательно, чтобы она помещалась в красивую (!) оболочку.

Не мешает заметить, что обе метафоры — и сосуд, и огонь — проясняют свои концепты способом отбора нужных признаков из числа возможных для них коннотаций. Это важно, и это возможно лишь при том условии, что некая идея концепта, некий его модус уже предпослан, зарожден и существует в некой форме до того, как его начинают прояснять метафорически. Только так можно управлять поиском аналогий, оценивать метафоры, производить отбор нужных признаков прямых значений имен и формировать переносные их значения.

Попутно заметим еще, что «сосуд» отнюдь не означает красивый сосуд, а просто сосуд, и этой дополнительной коннотацией «красивый» слово обязано сочетаемостью — референционным ограничением на его употребление, что и позволяет высветить оценочную сему в метафорическом смысле. Сходным образом и «огонь», опираясь на контекст и заявленную в нем антитезу двух ипостасей красоты, входит в противопоставление с «сосудом» и формирует переносное значение — прекрасная душа. При этом высокоценностная коннотация у «огня» появляется не только в силу кон-

текстуальной антитезы двух начал прекрасного, но и за счет собственных когнитивных референционно-сочетаемых ресурсов этого слова, отложившихся в его семантической структуре.

Иначе, увы, обстоит дело в плохой поэзии: аморфность мысли, несформированность концепта сплошь и рядом маскируют пустышками тропического глубокомыслия, упоая на долготерпение метафоры и внушаемость благонастроенного читателя.

С появлением знака, т. е. с переходом на знаковый уровень, сознание получает мощное подспорье для памяти — инструмент сличения-различения впечатлений — образов единичного, возведения их посредством знаков на уровень общего и образования упорядоченной системы понятий о классах. Знак не только помогает сознанию устойчиво и упорядочено хранить и извлекать из памяти образы тождественного на уровне единичного и класса, но и сводит в единый концепт ощущения, полученные от объекта через разные каналы восприятия — зрительный, слуховой, осязательный, обонятельный и др. Разные стороны восприятия объекта представлены в концепте как его сенсорные компоненты, сплавляясь воедино с другими составляющими в его содержательной структуре. На знаковом уровне сенсорные компоненты составляют часть значения соответствующего знака и как семы могут получить то или иное выражение при толковании значения, хотя при этом, как известно, неизбежны информационные потери: значительная часть сенсорной информации не может получить эксплицитного выражения на уровне единичного: в силу обобщающей природы слова язык имеет меньшую разрешающую способность на уровне единичного сравнительно с чувственным восприятием.

Для нас здесь существенно то, что концепты, а следовательно, и значения соответствующих имен весьма различаются наличием и долей тех или иных сенсорных компонентов в структуре их совокупного содержания, и эти их различия непосредственно связаны с возможностями и моделями их взаимодействия в когнитивных процессах. Определенность (цельность, единство) концепта обеспечивается, конечно, не характером составляющих его компонентов, а тождеством объекта (денотата) на уровнях класса или единичного, иначе говоря, привязкой концепта к референту-денотату, референтной (денотативной) отнесенностью. Поэтому типологию концептов в интересующем нас аспекте моделей их когнитивного взаимодействия надо строить не столько исходя из перцептивно-апперцептивной природы компонентов в содержательной структуре концепта, сколько из природы и характера стоящего за ним денотата. Иначе говоря, типологию концептов надо изначально основывать на типологии денотатов с последующим учетом отражения способов их восприятия в целостной структуре концепта. Природа денотата определяет наличие-отсутствие и удельный вес сенсорных и метасенсорных компонентов в концепте. Могут быть максимально конкретные концепты, построенные

на чисто сенсорной основе; могут быть максимально абстрактные концепты, исключая чувственный компонент; и могут быть концепты смешанной природы, сочетающие в своей структуре оба компонента, их большинство.

Первые — это концепты-образы, они наглядны в широком смысле слова — визуально, акустически, тактильно, моторно и т. д., в основе их лежит то или иное ощущение или комбинация ощущений, ср. концепты разнообразных физических тел, т. е. объектов с пространственной границей, а также их наблюдаемые (воспринимаемые, ощущаемые) свойства.

Вторые — это безобразные (с ударением на *о*) концепты ненаглядного, куда относится все, что не дано в конкретном наблюдении, а является обобщающей абстракцией свойств и отношений конкретного. Концепты этого рода больше других нуждаются в опоре на знак, они возникают и существуют на знаковом уровне сознания в результате обобщения и отвлечения от конкретности концептов-образов в их знаково выраженной форме.

На знаковом уровне сознание практически не оперирует с концептами-образами и концептами-абстракциями в чистом виде. На этом уровне все концепты имеют смешанный характер, различаясь мерой и значимостью наглядно-образного и отвлеченно-абстрактного, сенсорного и сверхчувственного в их содержательных структурах. Концепт вырастает из простейших, базисных сенсорных форм сознания и сохраняет их на высшем уровне понятийно-дискурсивного мышления как основание и дополнение к пропозиционно-логическому компоненту концепта-понятия. Поэтому на этом уровне сознания, строго говоря, речь надо вести не о типологии концептов самих по себе, а о функциональных компонентах в единой сложной структуре концепта-понятия.

Сохранение и интеграция в единой концептуальной структуре компонентов разных уровней мыслительной деятельности возможно не только в силу их референциальной тождественности (отнесенности к одному и тому же объекту или классу объектов), но и потому, что они закрепляют за собой разные необходимые операции единого когнитивного процесса. Каждый компонент в сводной структуре концепта выполняет определенную функцию, обеспечивая целостное знание объекта — денотата — и прописывая его в глобальной когнитивно-ценностной архитектонике сознания. Компоненты представляют собой необходимые функциональные части, операциональные подструктуры, позволяющие концепту выполнить те задачи, для которых он предназначен как телеологическая сущность.

Эти подструктуры складываются как фиксация сознанием отдельных аспектов функционирования концепта, некоторых типичных существенных моментов его применения при решении людьми мыслительных и практических задач. Поэтому они имеют операциональный характер, являются операциональными модусами концепта некоей еди-

ной предметной отнесенности. Это функционально обусловленные типичные разновидности действующего, практически ангажированного, работающего концепта.

Такие подструктуры нередко сами называются понятиями, ср. *логическое понятие, житейское понятие, нестрогое понятие* и т. п., но фактически они являются аспектами, модусами единого понятия одной предметной отнесенности (референциально тождественного понятия-концепта).

Полный состав операциональных модусов концепта еще предстоит выяснить. Главные из них — логическое понятие (интенционал), понятие-образ и понятие-норма (нормативное понятие).

С самого начала следует иметь в виду, что не все модусы в полном наборе обнаруживаются в каждом концепте, а будучи представлены у него, они выявляются с разной мерой полноты и яркости. В этом нет ничего неожиданного, так как сами эти подструктуры формируются в непосредственной зависимости от того, как предстают те или иные вещи и явления человеку, какие их стороны существенны в совокупной деятельности людей. Поскольку разные классы вещей и явлений по-разному даны людям в опыте, по-разному используются и участвуют в формировании мира людей, среды их деятельности и существования, то и их отражение в сознании заметно разнится. Однако в совокупности должен составиться суммарный перечень операциональных модусов, отмечаемых вместе или порознь в структурах концептов разного рода.

Будучи операциональными подструктурами, модусы формируются в недрах глобального концепта единой предметной отнесенности. Они возникают на скрещении объективированного знания о мире, его сущностях на уровнях классов и единичного с практикой вещественной и мыслительной (материальной и идеальной) деятельности людей. При этом суммарное знание сущностей отстаивается, приводится в формы, наиболее пригодные для решения типических познавательных-практических задач. Короче говоря, они представляют собой формы структуризации целостного знания для операциональных целей. Модусы концепта складываются как результат препарирования накапливаемого знания о мире на определенных его участках сообразно типическим целям, для которых концепты предназначены. Самое общее назначение концептов разных уровней обобщения и абстракции, низшего (представления) и высшего (понятия), — ориентация в мире в целях оптимизации поведения. Это чрезвычайно емкое назначение, и оно распадается на взаимосвязанные функции, формирующие соответствующие модусы в цельной структуре концепта.

О каких функциях идет речь и как они распределены среди концептуальных модусов? Основных — взаимосвязанных, но различных — функций понятия по меньшей мере три. Это функции систематизации мира, узавнавания его сущностей и структуризации класса сущностей. Функции взаимозависимы, предполагают друг друга, но в основе своей различны и

находят воплощение каждая в своем модусе понятия или в соответствующей разновидности модуса.

Функция систематизации — выявление общего и различного в сущностях, классификация их, установление того, как распределены в них признаки, и соответственно выявление свойственных им закономерностей. Эта функция наименее прагматична, но только в том смысле, что предполагает максимально возможную объективацию знания, максимально возможное отвлечение от сиюминутных потребностей и оценок. Иначе говоря, это препарация знания безотносительно к его возможному использованию. Эта функция формирует то, что называют логическим понятием, т. е. формирует логический модус понятия как одну из его операциональных подструктур.

Тесно связана с классификацией, но отлична от нее как ее оборотная сторона функция узнавания (опознавания, распознавания, в том числе идентификации и отождествления). Различие, как можно видеть, в векторе мыслительного действия — от сущностей к их систематизации в одном случае и от готовой мыслительной сетки к помещению в нее тех или иных наблюдаемых объектов. Систематизация основана на сличении вещей по общности-различию признаков с учетом меры общности-различия признаков и конститутивной роли общих-различных признаков в структуре вещей. Узнавание предполагает сличение вещей с готовым концептом-образом вещи, ее мыслительным коррелятом, который может быть или представлением, если задача узнавания решается на уровне единичного (идентификация, отождествление и концептуализация единичного), или понятием, если задача узнавания решается на уровне общего, класса (отношение к классу, помещение в классификационную сетку).

Операционально задача распознавания решается человеком с учетом доступных ему возможностей восприятия. Ему бывает удобнее отказаться от сущностного анализа вещи и опираться на ее побочные, поверхностные, отличительные признаки, если последние легче поддаются наблюдению и вместе с тем столь же привычно связываются с данной вещью или классом вещей. На этой основе в глобальной структуре понятия формируется операциональный опознавательный модус с возможными его вариантами — понятие-образ, понятие-символ, понятие-стереотип, прототип, отличительное понятие. Структурация класса и нормативный модус концепта. Класс часто представляется не как монотонное множество абсолютно единообразных единиц (это упрощение, однако, допускается при систематизации разнородных сущностей, и оно формирует, как уже говорилось, понятие в его логическом аспекте). Изначально учитывается разнообразие относимых к классу объектов. Учет этого разнообразия приводит к структуризации класса в сознании и усложнению понятийной системы.

Наконец, структурация класса может быть основана на отражении различий его элементов по наличным у них признакам, и результатом будет членение класса на подклассы, а подклассов — на подклассы и т. д.

В итоге возникает множество понятий, находящихся в иерархическом (родо-видовом) отношении друг к другу по вертикали и эквонимическом — по горизонтали. Существенно заметить тут, что родовое и видовое понятия — не одно, а разные понятия, несмотря на содержательную близость и принадлежность классификационной схеме.

Однако здесь нас интересует структурация иного типа. Модусы понятия сами по себе не составляют разных понятий. В отличие от классификационных понятий они не имеют объема (экстенционала). Это операционные модусы единого понятия, функциональные подструктуры общей глобальной понятийной структуры. Они суть формы, которые принимает работающее понятие, его операциональные проявления. Представления о норме и полюсах (экстремумах) класса по прямому своему назначению устанавливают меру типичного-нетипичного и сверхтипичного для класса и лишь как побочный результат распределяют элементы класса по этим трем категориям. Класс при этом структурируется в рамках одного и того же понятия сообразно мере качества класса в разных его представлениях. Поэтому в отличие от предметной классификации эта структурация класса может быть названа качественной, а нормативный и экстремальный модусы — качественными.

Таким образом, формирование качественных модусов понятия обусловлено тем обстоятельством, что в силу вариативности, диалектичности, текучести мира элементы некоего класса в разной мере типичны для него; сущностные, категориальные признаки класса выявлены в вещах с разной силой. Это обуславливает необходимость в обобщенной качественной структурации классов. Качественная структурация — первичное, грубое членение классов, и производится оно с разной мерой четкости и яркости — в каждом случае сообразно тому, насколько такая структурация конкретного класса значима и деятельностно-практическом отношении.

Из чего складывается содержание операционально-качественных модусов понятия? Оно формируется добавлением к интенциональным признакам признаков сильного импликационала (Никитин, 1997).

Возьмемся теперь к опознавательной функции и соответствующему модусу концепта — образу. Этот модус лежит на полдороге между сущностью и ее обобщенном отражении в концептуальной системе. Он составляет часть процесса концептуализации вещей, признаков, явлений, а точнее — служит инструментом этого процесса, мыслительной формой понятия на переходе от мира к его обобщенному мыслительному представлению, и наоборот, от понятийных систем сознания к действительности. Способ, которым сознание решает задачи концептуализации, — образ. Образ — родовое обозначение опознавательных модусов, общее название промежуточных вспомогательных подструктур — функциональных частей глобального понятия, перебрасывающих мостик от конкретности вещи к абстрактной идее класса.

Само понятие — мысль об общем, о классе сущностей (вещей, признаков и явлений — ситуаций). Как живая операциональная форма мысли понятие имеет сложную структуру, в которой отложились его назначение и генезис, функции и формирование. Образ как составная часть глобальной структуры концепта привязывает понятие к чувственно воспринимаемой конкретности, наглядности мира и вместе с тем преобразует конкретные параметры ощущений в конкретно-обобщенную мыслительную форму, промежуточную на пути к абстрактно-отвлеченной форме логического понятия о классе.

Концептуализация — осознание класса ощущаемой сущности. Тот же процесс в обратном направлении от понятия о классе к наблюдаемой сущности — экзemplификация класса. На полпути между крайними точками этого процесса — абстрактно-идеальной и конкретно-материальной — лежит, как сказано, промежуточное идеальное образование — образ как операциональный модус концепта.

Память хранит образы единичного. Сознание конструирует из них образы класса и также помещает их в память. Образы единичного конкретны, в них отобраны и сохранены некоторые конкретные признаки единичного в конкретных значениях (= величинах) их параметров. При этом признаки скомпонованы так, что их набор, параметризация и структура связей образует целостную идеальную модель единичного. Но хранимые и при необходимости извлекаемые из памяти образы единичного возникают не только из отражения реально существующего, но и творятся из сознания как его конструируемые, причем один и тот же образ единичного может соединять в себе черты как реально наблюдаемого, так и домысленного, в том числе и притворенного и мнимого. На этом, в частности, основано создание литературных художественных образов.

Нас, однако, интересуют образы иного порядка — не конкретные образы единичного, а обобщенно-конкретные образы классов. Они также образуются двояким путем: 1) как конструируемые из образов единичного, обобщение первого порядка, не порывающее с чувственно-наглядной основой конкретных образов, и 2) как обобщенно-конкретный конструируемый образ сознания, творение фантазии на уровне класса, ср. например, каким рисуется массовому сознанию образ инопланетянина — конкретный, но вариативный, вариативный, но узнаваемый. Надо полагать, что проблема образа класса — это проблема отбора отличительных конкретных, чувственно воспринимаемых признаков и допустимого для них диапазона вариативности — одних вместо других и одних и тех же, но разной количественной меры.

Реальность концепта-образа убедительно доказывается способностью людей достаточно единообразно различать классы вещей даже при достаточно широких диапазонах вариативности их признаков. Мыслительный механизм этой чудесной способности остается в значительной мере загадкой для современной науки. Разработка теории распознавания образов и

попытки кибернетического моделирования этой способности наталкиваются на серьезные трудности. Но сама способность не может быть подвергнута сомнению, и в основе ее лежит концепт-образ. Чувственные восприятия вещей, конкретные образы единичного соотносятся с образом класса как его эталоном еще на целостном, преданалитическом уровне осознания, на уровне интегрального восприятия и концептуализации того, что дано в ощущениях и памяти.

Итак, располагая доказательством психической реальности, структурной вычлененности модусов как элементов глобальной структуры понятия, мы не располагаем пока детальными знаниями об их внутренней структуре, механизмах формирования и функционирования, равно как не располагаем и аппаратом для описания структур такого рода. Очевидно, что это, — как и само глобальное понятие, частью которого они являются, — психические структуры стохастической природы. Входящие в их состав признаки заданы не жестко, а вероятно, равно как вероятностны и возможные количественные значения признаков. Речь идет, понятно, не об онтологических вероятностях онтологических признаков, а об отраженной вероятности отраженных признаков, о признаках и вероятностях, как они осознаются человеком и отражены в его психике (так называемая житейская вероятность в отличие от математической).

Таким образом, вероятностны (в указанном смысле) как состав, так и количественные значения компонентов, образующих структуру образа класса. Можно полагать, что и в этом случае действует следующая закономерность, ограничивающая объем возможного варьирования образа без утраты им тождественности самому себе: чем больше число одновременно варьирующихся признаков, тем уже должен быть диапазон их количественного варьирования с тем, чтобы варьирующиеся образы принимались бы за образы одного и того же класса. И наоборот, чем меньше число одновременно варьирующихся признаков, тем шире может быть диапазон их параметров без утраты тождества.

Как идеальная сущность образ класса занимает промежуточное положение между конкретными концептами единичного и абстрактными концептами общего. Он обеспечивает переход сознания от конкретного наблюдения на уровень обобщающих абстракций и обратное движение мысли от общего к единичному. Возникая на переходе отражения от единичного к общему, от конкретного — к абстрактному, от конечного — к переменному, образ класса связывает понятие с реальностью и операционально обеспечивает две функции понятия — осуществлять концептуализацию вещей и очерчивать тождество класса.

Образ класса моделирует в виде идеального стохастизма наличные в представителях классов чувственно воспринимаемые признаки в их структурных взаимосвязях, оценивая вероятность их наличия и вероятность возможных для них значений. Вместе с тем чувственно-наглядная кон-

твердый — 1) прочный, 2) верный, стойкий; *вянуть* — 1) терять свежесть, 2) стареть, 3) утрачивать энтузиазм, энергию, желание, интерес; *ломать* — 1) нарушать целостность физических тел изгибанием, 2) радикально менять что-либо, и т. п.

Подведем общий итог, и, опираясь на изложенное выше как на теоретическую базу, представим в заключение и саму проблему — соотношение концепта и метафоры, — и ответ на нее в самом простом, наглядном и вместе с тем обобщенном виде. Нынче и у нас, и на Западе водитель иной раз может видеть на багажнике впереди идущей машины надпись «Не целуй меня! / Don't kiss me!» Смысл понятен: ситуация переключает значение глагола из области интимных отношений в область дорожно-транспортных происшествий, так что «поцелуй» метафорически обозначает род наезда с иронически-игровой — по обстоятельствам контекста — импликацией роковой, разрушительной страсти. Глагол переосмысливается закономерно по типичной для метафоры модели (Никитин, 1974; 1979; 1997).

В прямом значении «целовать» означает — да простят нас художники слова! — намеренное действие, производимое губами (гиперсема) + способ действия, т. е. некоторым определенным образом (гипосема), + обычно являющееся свидетельством и/или знаком любви и др. (импликационал). Семантические признаки «интимный характер действия, плотно, страстно» и т. п. также относятся к потенциальным вероятностным импликациям этого действия. В ситуации дорожного движения они-то и формируют иронически мыслимую игровую гипосему переносного значения. Что же касается гиперсемы нового значения — наезд, то она подсказывается моделированным переключением (в рамках общекатегориальной семантики действия) структуры ситуации поцелуя в предметную область структур возможных дорожно-транспортных происшествий. Остается конкретизировать особый характер наезда, специфицировать частный его случай, что и составляет содержательную задачу метафоры.

В итоге адресат этого высказывания должен однозначно понять его как игровое предостережение — призыв не забываться и держать дистанцию. Если же взглянуть на дело с позиций адресанта, то он начинал с замысла — предостеречь от наезда, но не в императивном тоне правил дорожного движения, а в иной прагматике отношений между водителями — иронически-игровой.

Принципиальным здесь является ответ на вопросы: 1) сколько и какой природы концептов задействовано в таком высказывании, 2) как сложился его совокупный смысл и 3) какая часть совокупного смысла приходится на слово-метафору. Эти вопросы взаимосвязаны, нас здесь прежде других интересует первый.

Концептов может быть либо два (поцелуй и наезд — в прямом значении этих слов), либо три (поцелуй, наезд и что-то вроде поцелуй как наезд, или, если угодно, наездпоцелуй — все в прямозначном выражении).

То, что присутствуют и взаимодействуют два концепта — поцелуй и наезд, не подлежит сомнению. Но есть ли место для третьего, синкретического концепта? Возникает ли он в этом взаимодействии и существует ли как концептуальная сущность особого рода, как «метафорический концепт» — контаминация поцелуя и наезда? Ведь только в таком случае выражение «метафорический концепт» означало бы особый тип концепта, а не просто «метафорически выраженный концепт».

Сомнения в том, что уподобительное сближение концептов может породить концептуальные гибриды, иметь результатом «межвидовое скрещивание» концептов, а не модификацию (спецификацию) наличного концепта, начинаются с семантической невразумительности попыток их прямозначного выражения, ср. выше. Но есть другая, более серьезная причина, почему два концепта, денотаты которых находятся в отношении подобия, не могут синтезироваться в третий концепт особого типа. Причина эта состоит в том, что у этого концепта в отличие от первых двух нет и не может быть своего денотата ни в тексте (в речи), ни в словаре. Такой концепт ничего не репрезентирует и ничего не описывает, кроме разве что иррациональных фантазий в чьих-то рассуждениях.

Мы должны обратить внимание на то, что в рассматриваемой нами речемыслительной ситуации, в той ее части, которая репрезентирована глаголом «целовать», есть только один денотат — наезд в некой его разновидности, второму же денотату (поцелуй) нет места в этой ситуации, и он если как-то и присутствует, то только на словарном уровне как денотативный потенциал глагола. «Целовать» в такой речемыслительной ситуации осмысляется по метафорической модели и означает, как и положено по этой модели, некую разновидность наезда — наезд как свидетельство и/или знак разрушительной страсти. Адресант неординарно выразил свой замысел, но не вышел за рамки метафорической модели. Своей специфике эта метафора обязана тому, что коммуникация носит иронически-игровой характер.

Метафора сама по себе, таким образом, не создает концептов особого типа, но аналогически формирует, проясняет и выражает один концепт через другой, концепт обозначаемого в речи через концепт означенного в языке, по определенной модели их взаимодействия. При порождении концептов метафора, фигурально говоря, играет роль не роженицы, а повивальной бабки, помогая концепту проявиться в сознании и получить обозначение в речи. Выражение «метафорический концепт» надо относить не столько к типологии концептов как статической данности, сколько к динамике взаимодействия концептов, и тогда под ним следует понимать не особый тип концепта, а просто концепт, выраженный особым образом — метафорически.

2.5. Метафора: уподобление vs. интеграция концептов

1. Речь здесь снова пойдет о когнитивно-семантических механизмах образования и осмысления метафорических выражений, но в контексте сопоставления с альтернативными подходами. Эта давняя проблема получила интересное развитие в последние десятилетия, связываемое прежде всего с именами Дж. Лакоффа и М. Джонсона (теория концептуальной метафоры) (Lakoff and Johnson, 1980, русский перевод в сб. Теория метафоры, 1990; Лакофф, 1995) и чуть позднее — М. Тернера и Ж. Фоконье (теория концептуальной интеграции) (Turner and Fauconnier).

Однако серьезные импульсы к продвижению в этой области были заданы в ряде других зарубежных работ (см., например, MacCormac, 1985; Metaphor and Thought, 1988).

Одновременно в нашей стране теория метафоры подвергалась разносторонней оригинальной разработке — более всего с когнитивных позиций (см. среди многих других: Арутюнова, 1979; Жоль, 1984; Метафора в языке и тексте, 1988; Беляевская, 1987, 2000; Петров, 1990; Теория метафоры, 1990; Скляревская, 1993; Гудков, 1994; Лапшина, 1998).

Проблема механизмов семантической вариативности слова занимала автора этих заметок с начала 70-х годов. При этом внимание преимущественно отдавалось именно когнитивной стороне дела, тому, что лежит в основе этих процессов — концептуальным связям, механизмам и моделям ассоциативного взаимодействия концептов (см.: Никитин, 1974; 1979; 1983; 1988; 1996; 2000; 2001; 2001a; 2001b; 2002).

Наша задача здесь — суммарно изложить в виде цельной концепции представления автора по заявленной проблеме с учетом альтернативных решений. Для этого первоначально приводятся в тезисной форме отправные положения авторской концепции, затем критически оценивается теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона и теория концептуальной интеграции (смешения, *blending*) М. Тернера и Ж. Фоконье, после чего обосновывается альтернативное понимание интеграции концептов и подводится итог сопоставления разных подходов.

2.1. Концепт — дискретная содержательная единица сознания вероятностной структуры (стохастизм). Дискретность концептов обуславливается и обеспечивается в меру тождества их предметных коррелятов — вещей, признаков и событий, с которыми они соотносятся в ментальных мирах сознания.

Ментальные миры могут быть как отражением мира действительного (базисный ментальный мир), так и конструироваться сознанием (вторичные ментальные миры — мнимые и смешанные). Сообразно этому концепты могут быть как отражением сущностей действительного мира, так и в той или иной мере конструктами самого сознания.

2.2. Компоненты содержательной структуры концептов на первом уровне членения подразделяются на когнитивные и прагматические. Первые относятся к описанию мира и «населяющих» его сущностей, вторые — к их полезностной оценке и эмотивному переживанию субъектами сознания. Первые коррелируют со вторыми. Тотальная структура концепта складывается из операциональных взаимосвязанных подструктур — модулей, обусловленных теми функциями, которые концепт призван выполнять (классификация сущностей, структуризация класса сущностей, опознание сущности как единичного и по классу и оценка). Ядро когнитивной структуры концепта (и равным образом ядро значения выражающего его знака) составляют признаки, принимаемые за обязательные для всех сущностей данного класса (интенционал концепта — значения), периферию — признаки, импликационно связанные с ядром (импликационал концепта — значения). Интенционал, реализуя классификационную функцию концепта, жестко конструктивизирует мир. Импликационал переводит концепт в разряд вероятностных структур — нечетких множеств. Определенные комбинации интенциональных и импликациональных признаков реализуют прочие функции концепта, формируя в его глобальной структуре модули нормы, класса, его прототипа и др. (Никитин, 1974; 1996).

2.3. Состав и структура импликациональной ауры концептов обнаруживают себя в свойствах и особенностях, прямолично выражающих их словесных знаков, а именно в их номинационном (денотативном) потенциале, сочетаемости, диапазоне тропеического варьирования, словообразовательных и иных семантических связях слов (синонимических, антонимических, эквонимических, гипонимических и партитивных).

2.4. Метафорический перенос имен предполагает аналогическое сходство денотатов, т. е. сходство не по линии гиперсемы (родовой части) исходного значения, а по признакам из области его импликационала и гипосемы. Иными словами, метафора изначально предполагает внеположенность сравниваемых денотатов, их принадлежность к разным предметным областям.

В общем виде механизм (модель, формула) метафорического словопреобразования состоит в том, что при аналогическом сходстве двух денотатов (классов денотатов) какой-то признак или связка признаков из области импликационала (а также гипосемы) исходного значения составляют гипосему (дифференциальный признак) производного метафорического значения, а гиперсема последнего берется из той новой предметной области, в которую смещается метафорический концепт (Никитин, 1974; 1979).

При этом общий семантический признак — основание метафоры может быть разной природы: сходство денотатов может быть онтологическим, структурным, синестезическим и эмотивным (Никитин, 1996).

2.5. Среди многих возможных назначений метафоры ее когнитивные и прагматические функции взаимосвязанно сводятся к тому, чтобы, во-

первых, способствовать становлению концепта в сознании, его формированию и прояснению (собственно познавательная, когнитивная функция метафоры); во-вторых, обеспечивать актуализацию наличного концепта в сознании и рематизацию определенных его сторон в речемыслительном процессе (коммуникативная функция) и, в-третьих, акцентировать эмотивно-оценочные обертоны в содержании высказываний (прагматическая функция).

Выбор метафорического обозначения адресантом и его осмысление адресатом предполагают отбор нужных семантических признаков из множества, предлагаемых прямозначным выражением. Произвести такой отбор возможно лишь при том условии, что в любом случае, даже при формировании нового концепта, некий его образ уже предпослан процессу метафоризации: метафорически выражаемый концепт уже зарожден в сознании, в какой-то форме, хотя бы интуитивно уже существует в нем. Только при этом условии возможен направленный поиск и отбор признаков, конгруэнтный метафорически обозначенному денотату.

Станным образом это достаточно очевидное положение ускользает из внимания во многих концепциях метафоры. Между тем концепт порождается не метафорой, а деятельностью. В познавательном плане метафора не генерирует новые понятия и представления, а служит повиальной бабкой, помогая им выйти на свет из сумерек сознания (Никитин, 2001б; 2001в).

2.6. Потенциал метафорического (и шире — тропеического) варьирования весьма различен у слов разных лексико-семантических и лексико-грамматических разрядов. Существенные различия имеются в метафоризации предметных и признаков слов. Моделирующий потенциал предметных метафор размещается в диапазоне от одного до многих признаков, служащих основанием уподобления денотатов. При этом предметные прямозначные имена могут служить базой метафорического описания как одного денотата по одному или многим признакам, так и многих разных денотатов по разным признакам.

Метафоризация признаков слов обнаруживает тесную зависимость от общих и частных особенностей признаковой семантики. Легко, по разным направлениям метафоризируются признаковые слова сенсорной семантики, порождая множественные синестезистические метафоры. Напротив, признаковые слова с первичной эмотивно-оценочной семантикой не метафоризируются, а пополняют свой состав за счет эмотивно-оценочного переосмысления когнитивно (денотативно) значимых слов, так что метафоризация направлена к ним, а не от них.

Метафоризация прочих разрядов первородных признаков слов идет по разным линиям аналогического ассоциирования признаков, но не прямую от прямого их значения, а от предметно-признаковых связей — от сочетаний признаков слов с предметными именами. Поиск и отбор ме-

тафорических средств выражения какого-то одного признака, идентичного у разных классов денотатов, может совершаться из разных источников, т. е. за счет метафоризации признаков слов с различной исходной семантикой (метафорическая конвергенция). Вместе с тем поиск и отбор метафорических средств описания одного денотата с разных его сторон (по разным его признакам) также совершается из разных источников (Никитин, 2001б; 2001в).

3. Взгляды Дж. Лакоффа и подключившегося к нему М. Джонсона в области теории метафоры получили такую широкую известность и нашли столько сторонников и продолжателей, что, пожалуй, не нуждаются в подробном изложении. Скорее они нуждаются в оценке. Главное достоинство работ Дж. Лакоффа и М. Джонсона состоит в том, что впервые метафорика в языках предстала не как собрание случаев переноса имен, объединенных общим принципом семантической деривации, но внутренне разрозненных, а в гораздо более упорядоченном виде — сгруппированных в блоки метафоризации, организуемые посредством так называемых базовых концептуальных метафор. Тем самым было существенно продвинуто понимание моделирующей роли метафоры как когнитивного орудия, уяснен гораздо более регулярный и в значительной мере закономерный характер процессов метафоризации, особенно в той сфере непрямозначной вторичной номинации, которую можно назвать областью обыденной метафоры.

Вместе с тем концепция отнюдь не универсальна. Она не описывает и не объясняет все случаи метафоризации. По существу она относится только к одному случаю языковой метафорики, а именно к тому случаю смешанной предметно-признаковой метафоры, когда предметное имя с высоким метафорическим потенциалом используется в качестве базы метафорического описания и аналогического моделирования другого денотата (денотатов) по ряду признаков последнего. В метафорике этого рода денотат (или класс однородных денотатов) аналогически уподобляется другому денотату — базе сравнения по ряду признаков в силу их (денотатов) схожести. В результате метафорически переосмысляются имя $N1$ денотата $D1$ и имена его признаков $P1, P2 \dots Pn$ ($D1$), так что $N1$ ($D1$) метафорически обозначает также $D2$ и, возможно, ряд других, родственных с $D2$ денотатов (понятно, что при этом $N1$ не только обозначает $D2$, но и переносно выражает концепт $C2$ ($D2$), т. е. приобретает новое, метафорическое значение). Одновременно переосмысляются и имена признаков $P1, P2 \dots Pn$ ($D1$), будучи приложены к описанию денотата $D2$.

Например, класс однородных денотатов, объединенных общим понятием (концептом) «строение (сооружение, постройка, здание и т. п.)» вместе с общими для них предикатами (возводить, закладывать фундамент, разрушать, восстанавливать, укреплять, перестраивать и т. д.) служит моделью для аналогического моделирования и метафорического описания множества абстрактных предметов — разнородных человеческих отноше-

ний и качеств, сходных в том, что все они, как и строения, «имеют свою историю» и в большой мере «фрукотворны», т. е. не вполне самопроизвольны, а творятся людьми, — таких, как дисциплина, порядок, дружба, связь и т. д. К примеру, дисциплину, подобно некоему сооружению, укрепляют, разрушают, подрывают, расшатывают, разваливают, устанавливают, расстраивают и т. п.

Тут же, однако, надо сделать два существенных замечания, впрочем, достаточно очевидных. Во-первых, в меру практического освоения метафорически описываемых денотатов имена их свойств тут же теряют метафоричность и становятся их прямозначными обозначениями без оглядки на их первоначальный смысл. Во-вторых, метафорические предикаты описания *Д2* могут столь же легко рекрутироваться из многих других источников — в меру специфики и схожести *Д2* с другими аналогами. Так, «отношения налаживаются, связи разрываются, дружба крепнет» и т. д.

Рассмотрение всей совокупности метафорически выраженных предикатов, относящихся к обширной области абстрактных предметов, наталкивает на важное обобщение. Метафоры абстрактных сущностей и их признаков не привязаны жестко к какому-то одному конкретному концепту и слову — базе сравнения, а к целой родо-видовой иерархии концептов (и называющих их прямозначных слов): метафоры для адекватного описания различных абстрактных предметов и их признаков отвлекаются и комбинируются в меру необходимости на разных уровнях исходной концептуальной иерархии (в нашем примере: жилье — строение — сооружение — функциональный артефакт вообще).

4. Концепция М. Тернера и Ж. Фоконье возникла из убеждения, что все предшествующие теории метафоры, включая и теорию Дж. Лакоффа и М. Джонсона, не дают полного представления о процессах и механизмах метафоризации и потому не в состоянии удовлетворительно объяснить более сложные случаи сближения и взаимодействия концептов на аналогической основе, как например, в анализируемом ими примере: *If Clinton were the Titanic, the iceberg would sink.* — Будь «Титаником» Клинтон, потонул бы айсберг.

С самого начала надо заметить, что пример, избранный авторами для подтверждения их представлений о когнитивной стороне процессов метафоризации, хоть и ярок, но без необходимости осложняет суть дела привходящими моментами. В примере фактуальный мир действительности смыкается с фантазийным иррационально-условным миром. Переход в мнимо-условный мир освобождает от необходимости считаться с фактическим положением дел (реальным исходом скандальной истории Клинтона). Но и в ином случае, оставаясь в пределах фактуального мира и противореча ему, метафора все равно имеет хороший шанс состояться: метафора может довольствоваться даже малой мерой аналогического сходства, хотя и теряет при этом в моделирующей способности. Мнимый мир, однако, в

значительной мере свободен от непреложностей действительного мира, и это косвенным образом могло повлиять на анализ, подкрепляя ложную мысль об отождествлении денотатов (Клинтон — Титаник, айсберг — Левински, гибель судна — отрешение президента) и, как следствие, подталкивая к ложному выводу об интеграции концептов в метафорическом процессе.

Кроме того, едва условие сходства между президентом и лайнером заявлено, как оно тут же подрывается в существенном пункте: финал у Клинтона и «Титаника» противоположен настолько, что потонуть должен был айсберг. Метафора, конечно, не исчезает. Оставшихся черт сходства для нее вполне достаточно. Авторы достигают своей цели в той части, что демонстрируют, насколько широк, сложен и даже причудлив диапазон метафорического выражения мысли. Однако целям анализа, построения и презентации когнитивной теории метафоры с большим успехом могли послужить иллюстрации, не осложненные хотя и эффектными, но побочными моментами.

В частности, в анализе своего примера авторы должным образом не учли и во всяком случае эксплицитно не отметили одно важное основание метафоры — подобие структур двух ситуаций — с президентом и «Титаником». Клинтон и Левински, с одной стороны, «Титаник» и айсберг — с другой, всего лишь участники ситуаций со структурным подобием. Они играют в них сходные роли. Подобие структур — одно из важных оснований для метафорического сближения, наряду, как сказано (см. п. 2.4.), с онтологическим сходством денотатов, а также синестезическим и эмотивно-оценочным сходством восприятия и переживания денотатов (Никитин, 1996). Одного сходства структур может быть достаточно для метафоры. Вместе с тем сходство структур денотатов (как в примере), усиливает моделирующую способность и прагматический эффект. Сходство судеб Клинтона (чуть было) и «Титаника» — всего лишь метафора структурного сходства ситуаций, которые они претерпели. На них же спроецированы фоновые знания как база понимания метафорических выражений.

Пример нехорош еще тем, что метафор в нем, строго говоря, нет, а есть, так сказать, только заготовки к ним. По тексту ни имя «Клинтон» не употреблено в смысле Титаника, ни «айсберг» — в смысле Левински. Структура «Будь "Титаник" Клинтоном» может быть понята как «Если бы на месте (вместо) Титаника оказался Клинтон» (ср. расхожее *If I were you*), и тогда надо признать, что речь следует вести не об отождествлении Клинтона с «Титаником» (и айсберга с Левински), а только о тождестве двух ситуаций (одной реальной, другой воображаемой) со сменой актантов.

Но не будем чрезмерно придирчивы. Метафоры в примере нет, но заготовки имеются, и она легко могла бы состояться при таком, например, эксплицитном или имплицитном, во внутренней речи, продолжении: «Но

наш "Титаник" (сиречь Клинтон), отделавшись пробоиной (сиречь угрозой импичмента), остался на плаву (сиречь сохранил свой пост)».

Обратимся к сути концепции М. Тернера и Ж. Фоконье. Авторы представляют свой подход как теорию концептуальной интеграции (смешения) и распространяют его за пределы метафоры: по их мнению, интегративные процессы этого рода широко представлены в разнообразных видах мыслительной деятельности: мышлении и языке, литературе, искусстве и кино, рекламе и фотографии и т. д. Концептуальная интеграция как будто имеет прямое отношение к содержательной стороне таких процессов, как аналогия, комбинаторика концептов, грамматизация, фантазийное мышление и др.

В концепции развивается то положение, что тропеические процессы не ограничиваются взаимодействием двух концептов — одного из исходной области и другого — из области цели, а вовлекают четыре ментальные зоны (mental spaces) — две на входе информации — (input spaces I and II) и две на уровне ее обработки сознанием. Как можно себе представить, первые две представляют собой ассоциативные структуры сознания, в центре которых находятся образы (концепты) того, что надо выразить, и того, что служит этой цели посредством уподобления. Обе сферы — данности, подлежащие обработке сознанием.

Две другие сферы, сфера обобщения и сфера смешения, — операциональные, динамические структуры сознания, возникающие в нем в ходе обработки исходной информации. На этом этапе в результате проекции одной исходной области на другую происходит интеграция концептов и появляются промежуточные мыслительные образования, обеспечивающие мыслительный процесс и понимание речи на переходе от одного значения имени к другому (хранятся в краткосрочной памяти). Соответственно наложение исходной сферы на сферу цели формирует, по мысли авторов, сферу обобщения (generic space) с концептом, соединяющим в своем содержании общее для концептов на входе. В примере с «Титаником» и Клинтоном это, очевидно, представление о тех, кто подвержен опасности потерпеть крушение (причем в этом классе Клинтон представляет тех, кто максимально способен противостоять: он «непотопляем»). Что же до айсберга и Моники Левински, то общим для них будет представление о том, что (кто) при плотном (вариант — плотском) контакте грозит катастрофой.

Метафоризация, действительно, связана с обобщением и имеет одним из своих результатов образование операционального обобщенного концепта. Эта ее особенность уже была отмечена и описана ранее (Никитин, 1979). М. Тернер и Ж. Фоконье дают весьма поверхностное и неточное представление об этом процессе. Начать с того, что этот процесс характерен только для метафоры предметной, но не признаковой. Для наглядности опишем его на конкретном примере. Ядро концепта и соответственно ин-

тенсионал значения слова *медведь* составляет тот стохастизм-образ этого животного, на основании которого отличают это животное от других видов. Ядро значения окружено аурой импликационных признаков, не обязательных для данного класса, но стереотипно связываемых с его представителями, таких, как неуклюжий, туповатый, простодушный, сладкоежка и т. п. Когда эти признаки порознь или в связке усматривают в человеке, они аналогически наводят на образ медведя и служат основанием метафоры (сходные аналогии могут поставить *слон*, *бегемот* и др.). Концепт неуклюжего человека не порождается, а выражается метафорой: *медведь* в переносном смысле обозначает подкласс неуклюжих и т. п. в классе человек. Слово в переносном значении уже обобщает, но это обобщение того же уровня, что у того же слова в прямом значении.

Классификационный момент в переносном значении слова (подкласс в классе людей) в каком то смысле есть «классификация поперек» относительно его первичного значения, т. е. метафорой обозначается не подкласс в классе медведей (это было бы сужением значения — гипонимией), а подкласс людей (по относительно малосущественному признаку). Предметная метафора подыскивает свой класс, так «сказать, на стороне», среди всех тех классов, в которых возможны подклассы по признакам — основаниям сравнения. Именно в этом и состоит способность предметной метафоры к обобщению. В самом деле, слово «медведь» может быть отнесено не только к неуклюжему мужчине, но конситуативно к любому неуклюжему существу — ко всем, кто неуклюж. Начав с единичного и его класса (*неуклюжий человек*), предметная метафора (*медведь*) способна расширить свой экстенционал, потенциально объединяя и обобщая в одно множество все классы, в которых как сказано, возможны подклассы по признакам — основаниям сравнения. Именно в этом и состоит способность предметной метафоры к обобщению. В самом деле, слово «медведь» может быть отнесено не только к неуклюжему мужчине, но конситуативно к любому неуклюжему существу — ко всем, кто неуклюж. Начав с единичного и его класса (*неуклюжий человек*), предметная метафора (*медведь*) способна расширить свой экстенционал, потенциально объединяя и обобщая в одно множество все классы, в которых, как сказано, возможны подклассы по основанию уподобления (всякий, кто неуклюж etc.).

Другой пример рассмотрим с позиции адресата:

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами.
Где надо действовать умом,
Он только хлопает ушами.

Н. А. Крылов

Адресат устанавливает для себя предметную область сообщения из языка и знания мира: денотат не осел, а человек, поскольку его, бывает, на-

граждают орденами. «Хлопает ушами», как будто, возвращает нас к ослу (впрочем, не вполне — в силу паронимической аттракции: хлопать — прохлопать). Сравнение денотатов выявляет общее между концептами осла и человека из области того, что весьма характерно, хотя и не обязательно для ослов. Поскольку речь идет о людях, становится понятным о каких — тупых, упрямых, тугодумах. Тем самым сформировано значение слова для данного контекста. Однако в силу того, что предметная область метафорически обозначаемого денотата устанавливается не из слова, а из описываемой ситуации, предметное метафорическое имя способно обобщить свое значение и потенциально обозначить тупых etc. упрямец в любом классе существ, где таковые отмечаются. Ограничение тут одно — заикленность человека на себе и себе подобных.

Вернемся, однако, к М. Тернеру и Ж. Фоконье. Они полагают, что кроме двух зон на входе и зоны обобщения формируется еще зона смешения (*blended space*) представлений об аргументах — того, что сравнивают, и того, с чем сравнивают. Именно здесь происходит интеграция исходных концептов в некое временное операциональное образование: в результате смешения исходных концептов на время возникает промежуточная ментальная структура — смешанный концепт, на время сочетающий в себе и отбирающий для себя признаки, необходимые и достаточные для осмысления события и понимания сообщения о нем — сверх тех, что являются общими для двух денотатов. Эти признаки отбираются из фоновых знаний, с которыми говорящие вступают в общение, но не все они идут в дело, а только те, что релевантны для целей наложения концептов — иные нейтрализуются и выходят из коммуникационной игры.

Зона смешения как область интеграции концептов — самый уязвимый пункт построений Тернера и Фоконье. Если довести их мысль до логического завершения и не скрывать конечный вывод, то надо признать, что метафора всякий раз, хотя бы на время и в операциональном плане, порождает противоестественных концептуальных уродцев, таких, как Титаникоклинтон (Клинтонотитаник), Айсбергомоника (Моникоайсберг), отрешение от должности как гибель корабля (и гибель корабля как отрешение от должности), адюльтер президента как столкновение с айсбергом (и столкновение с айсбергом как адюльтер президента).

Становится ясным, что зона смешения и интеграция концептов, как они понимаются М. Тернером и Ж. Фоконье, содержат мало нового. В иной терминологии они возвращают нас к хорошо известному и достаточно распространенному заблуждению, что в случае живой метафоры мы имеем дело с когнитивно-семантическим процессом не в два, а в три шага: например, путь от *свиньи* (как животного) к *свинье* (как крайне неопрятному человеку) ведет через промежуточную ступень (свиночеловека).

Источник этой иллюзии надо, по-видимому, искать в чрезвычайной многозначности связочной синтаксической структуры (т. е. конструкций с

глаголом-связкой), которая вмещает широкий спектр отношений между субъектом и предикатом — от значений чисто определительных и классификационных до значений идентификации, тождества, подобия и иных, в том числе смешанных). Соединение связкой имен злосчастного лайнера и американского президента никак не свидетельствует об их отождествлении. Напротив, связку допускают именно потому, что изначально, основываясь на постулате когнитивно-коммуникативного доверия к адресанту, исключают возможность отождествления и уверенно предполагают единственное осмысление — значение некоего подобия денотатов.

5. Сказанное выше никак не означает, что интеграция концептов вообще не возможна. Напротив, она не только возможна, но и достаточно широко представлена в речемыслительной деятельности и ее продуктах. Не составляет большого труда обнаружить образования этого рода как в фантазийно-игровом, мифологическом, так и в обыденном и научно-профессиональном мышлении и речи — там, где мир обнаруживает свою бесконечную вариативность и диалектичность, а фантазия — неистощимость, а именно там, где мир сталкивает нас с явлениями межсущностной (разносущностной) и даже противоположной природы, совмещающих на равных правах в едином целом разнородные, в том числе полярные качества. Примерами подлинных интегративных концептов могут служить реальные и мнимые образы вторичного объединения первичных сущностей в одно денотатное целое на равных основаниях, ср. *кентавр* (одинаково и человек, и лошадь), *сирена* (и дева, и рыба), *слесарь-водопроводчик* (и слесарь, и водопроводчик), *играющий тренер* (и игрок, и тренер) и т. п. и т. д.

(Но, например, не *рак-отшельник* или *отец-одиночка*, тем более не *красавец-мужчина* и т. п., где не постулируется новый класс сущностей наряду с раками, отцами и мужчинами, а очерчиваются границы некоторого подкласса в этих классах. В отличие от этого интеграция понятий «учреждает» не подклассы в классах, а особые самостоятельные классы: *сирены* ни люди, ни рыбы, а и люди, и рыбы, т. е. рядоположены с рыбами и людьми как особый класс, их множества не пересекаются. Однако различие интеграции и ограничения концептов, различие интегративных и атрибутивных (включая аппозитивные) словосочетаний и сложных слов — непростые проблемы, требующие отдельного рассмотрения. Здесь же достаточно указать общий принцип).

Интегративные классы накладываются на нормативную систему рядоположенных непересекающихся классов: между двумя классами K_1 и K_2 нормативной классификации встраивается еще один дополнительный рядоположенный, непересекающийся с ними класс K_3 денотатов, которые ненормативно сочетают в себе признаки K_1 и K_2 .

Реальная интеграция концептов обусловлена определенными условиями и совершается, как можно видеть, не там, где ее увидели Тернер и Фоконье. К метафоризации она не имеет отношения. Само понятие инте-

грации предполагает, что есть две или более сущности и они взаимодействуют так, что на их месте (вместо них) возникает нечто целое, одна сущность, даже если и остаются следы их бывшего раздельного существования. Условием, при котором сознание принимает интегративный концепт, является наличие у концепта своего денотата, не тождественного денотатам сочетающихся концептов. Условие выполнимо и концепт обзаводится своим особым денотатом, когда он «прописан» в каком-то ментальном мире, будь то отражающем реальный мир (базисный ментальный мир) или мнимом ментальном мире (см. также: Никитин, 2001б).

Предельным случаем концептуальной интеграции, по-видимому, можно считать оксюмороны, сталкивающие в описании денотата несовместимые признаки. В игру вступают два слова и два концепта — значения, каждое со своим интенционалом и импликационалом; суммарное значение оксюморона возникает как результат перекомбинации и интеграции в целое двух частей значения сочетающихся слов — интенционала и импликационала: интенционал одного слова интегрируется с импликационалом другого, нормативно ему не положенного, ср. *женатый холостяк*, *заклятый друг*. Поскольку в комбинаторике по два участвуют четыре семантических компонента — два интенционала и два импликационала, — оксюморон имеет два противоположных осмысления: *женатый холостяк* 1) формально женатый, но холостяк по поведению, 2) юридически холостяк, но ведет себя как женатый; *заклятый друг* — 1) друг по сути, враг по видимости; 2) враг по сути, друг по видимости (Никитин, 1988; 1996).

Можно еще, хотя и с существенной поправкой на специфику, отнести к интеграции концептов те случаи, когда в один образ сплавляются ошибочно, по незнанию или намеренно, с какими-то целями черты разных, но однородных денотатов на уровне единичного или класса. Так, один мало сведущий сторонник ленинизма соединял в своих портретах лысину и бороду В. И. Ленина с усами И. В. Сталина. Пример забавен, но на деле за ним стоят важные когнитивные процессы, относящиеся к взаимодействию индивидуального и общественного опыта и (со)знания.

К метафоре, однако, эти случаи не имеют отношения: между денотатами и здесь есть сходство, но денотаты тут не разнородны, как в случае метафоры (аналогия), а однородны (эквонимия) — они сходны как представители одного рода.

В процессах метафоризации имеет место взаимодействие концептов, сличение их суммарных структур и направленный отбор признаков из суммарного знания о базе сравнения. Направляется он концептом уподобляемого и преследует цель прояснить содержание и структуру последнего, акцентировать какие-то его черты и ценностные качества. Это взаимодействие имеет характер именно направленного сопоставления и уподобления, а не смешения и интеграции концептов. Этот процесс не порождает

даже операционально, на время некий концепт — гибрид, а проявляет, высвечивает и именуется один из имеющихся.

В заключение подчеркнем главный вывод, вытекающий из анализа когнитивной стороны процессов метафоризации. Он важен не только для теории метафоры, но для теории когнитивных процессов в целом. В соответствии со своим назначением сознание более озабочено сличением и различением концептов, взаимодействием и интеграцией различающихся концептов в концептуальные структуры более высокого порядка, чем интеграцией — смешением концептов. Даже на операциональном уровне метафоризации взаимодействие концептов не порождает смешанных концептов. Интеграция концептов как слияние двух концептов в один — явление вполне возможное, но периферийное и специфическое. Это род классификации над классификацией (*superimposed classification*), предполагающей наличие миров с классами денотатов в промежутках первичной классификации, т. е. денотатов, сочетающих конститутивные признаки двух классов. Концепты такого рода отвечают условию интеграции: две ментальные единицы не просто взаимодействуют, но образуют целое — единый концепт со своим денотатом.



Арутюнова Н. Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика / Отв. ред. В. П. Григорьев. М., 1979.

Беляевская Е. Г. Проблемы когнитивных исследований: принципы моделирования семантики языковых единиц // Когнитивная семантика. Материалы II международной школы-семинара. Ч. I. Тамбов, 2000.

Беляевская Е. Г. Семантика слова. М., 1987.

Гудков Л. Д. Метафора и рациональность. М., 1994.

Жоль К. К. Мысль, слово, метафора. Киев, 1984.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990.

Лакофф Дж. Когнитивное моделирование // Язык и интеллект. М., 1995.

Лапшина М. Н. Семантическая эволюция английского слова. СПб., 1998.

Никитин М. В. Денотат — концепт — значение // Чествуя филолога: Сб. Орел, 2002.

Никитин М. В. Знак — значение — язык. СПб., 2001а.

Никитин М. В. Концепт и метафора. // *Studia linguistica*. Проблемы теории европейских языков. Вып. 10. СПб., 2001б.

Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1996.

Никитин М. В. Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974.

Никитин М. В. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). М., 1983.

Никитин М. В. Метафора лексическая и грамматическая // Современные проблемы теории языка. 2000.

Никитин М. В. Метафорический потенциал слова и его реализация. // *Studia linguistica*. Проблемы теории европейских языков. Вып. 10. СПб., 2001в.

Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения. М., 1988.

Петров В. В. Метафора: от семантического представлений к когнитивному анализу // Вопросы языкознания. М., 1990. № 3.

- Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб., 1993.
 Lakoff G., Johnson M. *Metaphors we live by*. Chicago; London, 1980.
 Mac Cormac E. R. *A cognitive theory of metaphor*. Cambridge, 1985.
 Metaphor and thought. Cambridge. Ed. by A. Ortony, 1988.
 Turner M., Fauconnier J. *Metaphor, Metonymy and Binding // Metonymy and Metaphor*, ed. by A. Barcelona, 1998.

Раздел 3.

Заключение: язык – мир – сознание

3.1. Об отражении мира в языке

Со второй половины XIX в. на протяжении по меньшей мере столетия гуманитарные науки и лингвистика вместе с ними согласовывали свой методологический идеал с науками естественными и точными и не уклонялись от требований достоверности, верификации и опытной проверки своих утверждений, хотя бы в конечной перспективе (Гипотеза, 1980). Однако в последние десятилетия наступило общее разочарование и утвердилось серьезное сомнение в возможностях научного рационализма, хотя причины этого отнюдь не в потенциале и методологии самой классической науки, включая ее современные направления, а в том, как люди используют науку. Что касается лингвистики, то в ней со всей очевидностью проявился откат к тем представлениям о соотношении языка и сознания-мышления, которые были выдвинуты в конце XVIII — начале XIX в. немецкими романтиками — философами и филологами, а затем отстаивались в различных вариантах концепции лингвистического детерминизма — лингвистической относительности (Гумбольдт, 1985; Потебня, 1989, 1990; Уорф, 1960; *Selected writings*, 1949, 1951; Worf 1966; Weisgerber, 1953. Анализ и критику см.: Брутян, 1968; Васильев, 1974; Новое в лингвистике, 1960; Постовалова, 1982).

Речь идет прежде всего о так называемой языковой картине мира и о «языковых значениях» как об особом концептуальном уровне сознания, единицы и структура которого обусловлены языком как формой (варианты общего решения проблем: тип мышления, соотношение языка и сознания, языковая модель и картина мира — см.: Величковский, 1983; Гачев, 1967; Дышлевый, 1983, 1984; Иванов, 1965, 1982; Колшанский, 1985; Комлев, 1981; Леви-Брюль, 1930, 1937; Леви-Строс, 1985; Лурия, 1979; Маковский, 1992, 1997; Никитин, 1998; Постовалова, 1988; Роль, 1988; Почепцов, 1990; Тарасов, 1984; Топоров, 1992; Цивьян, 1990; Яковлева, 1993. Об отражении картины мира в жанрах фольклора и литературы см.: Волоцкая, 1992; Головачева, 1993; Гронская, 1998; Каза-

кова, 1997; Мелетинский, 1991; Мифы, 1991, 1992; Никитина, 1993; Пропп, 1976; Розина, 1993; Элиаде, 1995).

«Язык как форма» (иначе — «строй, или покров, языка») продолжает ряд понятий о разных сторонах языка, ср. язык как система, язык как норма, язык как узус, язык как социальное явление, эгоцентризм языка, человеческий фактор в языке и т. п. В отличие от других это понятие стоит на переходе от родовых свойств (всеобщих универсалий) языка к особенностям языков разного типа (частным универсалиям) и к особенностям строения отдельных языков.

Здесь нас, понятно, интересует семантический аспект строя языков (семантическая форма языка), т. е. строй языка на уровне значимых единиц (второго членения языка, по А. Мартине). В этом плане под языком как формой понимается своеобразная в каждом языке система корреляций между языковыми единицами разных уровней и концептами, которые являются их значениями).

Из двух указанных выше взаимосвязанных проблем — языковой картины мира и языковых значений — сосредоточимся на первой (сто же касается второй, то за нашим ответом на нее отошлем читателя к: Никитин, 1971, 1988, 1997).

Говоря о языковых картинах мира, следует с самого начала предостеречь от возможных заблуждений, способных породить иллюзорные теоретические построения.

Во-первых, картина (образ) мира — структура духовная (идеальная, ментальная) и существует собственно не в языке, а в сознании; язык же представляет и объективирует ее в своих речевых построениях, причем структура этих построений отображает структуру мысли, не говоря уже о структуре мира (денотата), весьма неполно и даже отдаленно. Собственная же структура языка со всеми особенностями индивидуального покрова отдельных языков вообще имеет лишь косвенное отношение к структуре мира: она ближе стоит к структуре сознания, чем мира, и обусловлена она в своих принципиальных чертах не миром, а телеологией языка, его коммуникативным назначением — служить транслятором значений от говорящего к слушающим.

Поэтому, хотя само выражение «картина мира» наводит на мысль о прямом отражении неких принципиальных, сущностных черт строения мира, своеобразно преломляемых каждым языком, на деле речь в лучшем случае может идти только о каких-то частных моментах в представлениях об устройстве мира на каких-то его участках, к тому же о представлениях, получаемых не из строения всех уровней языковой системы, а из строения его частных семантических подсистем.

Во-вторых, поскольку то, что называют языковой картиной мира, существует, строго говоря, не в языке, а в голове говорящих, то как всякий идеальный образ действительного мира он должен быть в конечном счете

объективно обусловлен и практически оправдан. В той части, в какой это касается отражения действительного, непреложного мира (Никитин, 1998), идеальный образ не может быть простой игрой ума, он может быть сколь угодно вариативен, но только в тех пределах, пока он не лишается главного и необходимого своего достоинства — быть практически полезным человеку, т. е. так или иначе, с тем или иным допуском правильно ориентировать человека относительно действительного мира. Образ мира может следовать за формой языка лишь постольку, поскольку эта форма не искажает непреложный мир непоправимо и гибельно для человека.

Поэтому когда говорят о «языковой картине мира», вполне правомерно спросить, о каком мире идет речь. Очевидно, прежде всего о том, который существует объективно и сам по себе одинаков как точка отсчета для всех людей, но с той или иной мерой своеобразия, по существу сходно и в частности различно, отражается в их головах, — о действительном непреложном мире, мире обязательных вероятностных связей и зависимостей, в которые, как в поток, погружен каждый из нас со своим сознанием. Если принять концепцию «языковой картины мира», то надо признать и то, что язык доминирует над индивидуальным сознанием и своей формой навязывает всем говорящим на нем общие контуры устройства объективного мира. Сообразно покрою своей формы язык якобы имплантирует в сознание говорящих общий для них портрет мира, в котором они живут.

Между тем посредством языка речь рисует множество иных миров, кроме действительного. Сознание творит, а речь передает в многообразных комбинациях картины миров реальных и ирреальных, действительных и мнимых, возможных и невозможных и смешанных (термины в этих антонимичных парах отчасти экстенционально перекрываются). Идентифицируются они и оцениваются, очевидно, относительно мира действительного. Если же принять, что представления об этом последнем скроены по меркам языка, то правомерно задаться вопросом, насколько идиозмичны фантазийные миры и насколько тенденции фантазийного менталитета того или иного народа (мифы, легенды, сказки, поверья, языковые игры и т. п.) обусловлены не совокупной культурой народа в ее исторической обусловленности и средой его обитания в широком смысле слова, а формальной структурой конкретного языка.

В-третьих, знания о мире в подавляющей своей части получены человеком через посредство языка, и если бы язык своей формой задавал бы особое видение мира, то следовало бы с ходом времени ожидать увеличения разнообразия в представлениях об устройстве мира у разноразличных народов. Этого, однако, не происходит, скорее наоборот — при всех различиях в национальных культурах и языках со временем происходит выравнивание в знаниях о мире, по меньшей мере физическом. Одного этого соображения достаточно, чтобы обосновать наличие в сознании механизма коррекции тех представлений о мире, которые могли бы сложиться в

сознании, если бы оно безвольно следовало за предписаниями языковой формы, своеобразной в каждом случае.

В роли этого могущественного механизма коррекции выступает, очевидно, универсальный предметно-образный «язык» сознания, первичный и конечный репрезентант мысли. Структуры этого «языка» складываются как непосредственное отражение структур человеческой деятельности в действительном мире. Он служит медиатором разнородных разноуровневых, первичных и вторичных знаковых систем, на которые опирается сознание. Действуя как координатор этих систем, он сводит их в единую пан-знаковую базу сознания, регулируя и корректируя процессы порождения и выражения смыслов.

Но дело не только и не столько в том, что, признав зависимость национального видения мира от языка, надо ответить на связанные с этим вопросы: как соотносятся телеология языка и обусловленная ею структура языка с рисуемыми им в речи картинами мира, как соотносится единая для говорящих форма данного языка с особенностями индивидуального сознания, как соотносятся форма языка и фантазийное творчество и т. д. Есть более серьезные сомнения и более очевидные доводы против прямой проекции формы языка на картину мира, представляющуюся сознанию.

Первый довод. Те картины мира, которые усваивает адресат «языковых посланий», складываются не только из кодифицированных эксплицитных значений языковых средств, но дополняются и модифицируются за счет домысливаемых имплицитных смыслов, поэтому картина в сознании оказывается более богатой и иной сравнительно с буквальным значением языковых выражений. Это становится возможным благодаря тому, что сверх знания языка располагают еще большим знанием — знанием мира, сложившимся как отражение структур человеческой деятельности в действительном мире и на основе этого знания домысливают гораздо более полные и верные картины денотатов языковых выражений.

В качестве простого примера можно сослаться на тот общеизвестный факт, что видо-временные системы весьма своеобразны в разных языках и сами по себе прорисовывают структуру глагольных действий с разной полнотой, но всякий раз в дело вступают структуры знания и независимо от языка люди единообразно домысливают содержание языковых форм, рисуя сходные образы ситуаций.

Имплицитные приращения смысла к кодифицированным эксплицитным значениям могут значительно превосходить последние в суммарном объеме информации, извлекаемой из языковых выражений. И отношения между ними также различаются от случая к случаю: имплицитные смыслы не только дополняют и осложняют эксплицитные значения, но могут вступать в конфликт с ними, модифицируя суммарное содержание высказываний и текстов.

Имплицитные смыслы в конечном счете проистекают из знания мира, людей и речевой деятельности — знания, составляющего значимый фон всякого высказывания. Конкретно же их источники весьма разнообразны. Ими, в частности, служат вероятностная природа самих кодифицированных значений языковых единиц, пресуппозиции, намеренная ненормативность выражений (например, речевые импликатуры, как результат намеренного нарушения максим речевого общения), разнообразные случаи компрессии синтаксических структур, включая контракцию словосочетаний и семантические лакуны, импликационный и моделированный подтексты и т. д. (подробнее см., напр., Никитин, 1988).

Второй довод. Помимо домысливания и параллельно с ним действует еще механизм переосмысления языковых форм сообразно тому, что ими обозначается. В старые меха своих форм язык (а точнее сказать, мысль) вливает новое содержание. Не изначальный смысл языковой формы искажает картину мира на новом участке вопреки опыту, а действительность навязывает себя языку, модифицируя должным образом значение словесных знаков.

Механизмы переосмысления столь же многообразны — от моделированных и регулярных до частных и окказиональных. Это и эволюция семантики словесных знаков как отражение эволюции их денотатов (особенно в области имен функциональных классов-артефактов разного рода, но не только их одних), это и эволюция представлений о неизменных денотах, это и сдвиги в интенционалах значений по линии род — вид, целое — часть (в обоих направлениях) при сужении/расширении по той или иной причине их экстенционалов. В этот же перечень входят идиоматизация выражений и семантическое варьирование слов в метафорическом и метонимическом полях, а также многое другое.

Совокупное действие механизмов домысливания и переосмысления радикально меняет характер зависимости между языком как формой и созданием. По этой же причине, хотя язык и составляет необходимое условие продвижения сознания на уровень сознания понятийного (обобщающего и абстрагирующего), люди видят в мире больше и видят не совсем то, что предлагает им в высказываниях язык своей формой, а видят они ровно столько и так, как обусловлено совокупной структурой человеческой деятельности и структурой того мира, в котором разворачивается их деятельность.

Эти аргументы существенно подрывают теоретическую базу концепции лингвистического детерминизма — лингвистической относительности. Сторонники этой концепции чрезмерно жестко привязывают себя к языку как форме и более того — к прямым буквальным кодифицированным значениям и этимологическим значениям языковых форм и категорий, игнорируя регулярные модификации и приращения их смысла в речи. Для того чтобы установить реальную меру участия языка в формировании картин

действительного мира, нельзя идти этим простейшим путем — прежде надо, как минимум, принять во внимание регулярную — и в особенности референционно и контекстно обусловленную — вариативность семантики языковых форм.

В противном случае нельзя уйти дальше гипотетических в лучшем случае или просто сомнительных утверждений о различиях в типе мышления, национальном характере, миропонимании и о различиях в системах ценностных представлений, вроде тех, что делались или до сих пор делаются, исходя из эргативно-номинативного характера строя языков, наличия-отсутствия в них безличных предложений, преобладающего способа выражения грамматических значений (флективного, агглютинативного или аналитического) и на основе сопоставления слов в разных языках с абстрактно-категориальной семантикой (судьба, суждено, рок; жизнь, существование; свобода, воля и т. п.).

Различия в национальном видении и понимании мира, общества и человека несомненны. Вскрыть их суть, корни и содержание чрезвычайно важно для благополучия человечества. Естественно поэтому стремление отыскать наиболее доступный показатель, общий наглядный источник этих различий, чем устанавливать их природу и значение по их результатам. С этой целью, предельно упрощая задачу, обращаются к языку: ищут ответ не в совокупной массе свидетельств о мышлении, доставляемых языком — речью — речевой деятельностью в контекстах культуры, а ограничиваются показаниями языка как формы исходя, очевидно, из постулата о содержательности формы. Увы, такое упрощение чрезмерно. Отношение между формой языка и выражаемым на этом языке содержанием далеко от гомоморфного и заключать напрямую о втором на основе первого чревато заблуждениями.

Разумеется, никак не возбраняется высказывать гипотезы о видении мира на основе данных языка, в том числе языка как формы, но их следует для начала проверять хотя бы на узуально закрепленный потенциал возможного переосмысления и домысливания. И это лишь первый этап проверки лингвистических гипотез о национальном менталитете: о специфике видения и понимания мира и специфике национальной установочной аксиологии (системе базовых ценностных установлений). В дальнейшем они должны быть согласованы и подтверждены совокупностью данных об истории этноса, природной среде его обитания, его материальной и духовной культуре во всех ее характерных проявлениях.

Возможность домыслить и переосмыслить кодифицированные значения языковых единиц и структур обеспечивает языкам достаточно широкий выбор возможных вариантов устройства их лексико-семантических и категориально-грамматических систем, так что при всем своеобразии покрова (формы) того или иного конкретного языка каждый из них может успешно выполнять свои функции. При этом в своих отношениях с непре-

ложным миром действительности всякий язык, независимо от избранного им покрова, послушно следует за этим миром в том смысле, что в конечном счете своими высказываниями он рисует в сознании такие картины мира, которые согласуются с полученным из опыта знанием в меру полноты/неполноты, истинности-иллюзорности последнего. Импульс к знанию и пониманию непреложного действительного мира поступает не от языка, а из мира, данного в деятельности.

И даже в области фантазийно-игровой духовной деятельности (Никитин, 1998), когда посредством языка рисуют и передают картины всякого рода мнимых миров, возможных и невозможных, реальных, ирреальных и смешанных, форма языка не имеет прямого отношения к делу: фантазия тоже творит, не связывая себя языком как формой. Не говоря уже о том, что не эти миры имеют в виду протагонисты гипотезы лингвистического детерминизма — лингвистической относительности.

3.2. Что рисуют нам картины мира

Картины, разумеется, ничего не рисуют сами (разве что в метонимическом смысле) — на них что-то кем-то нарисовано. Но здесь речь идет о выражении — о тех смыслах, которые стремятся выразить словосочетанием «картина мира». Выражение это ныне широко распространилось, и, очевидно, оно полезно и удобно для многих целей и по разным причинам. В лингвистике оно тоже в ходу, но со спецификацией — «языковая картина мира».

Популярность этого обозначения и потребность в нем обусловлены радикальным сдвигом в научной парадигме — осознанием принципиальной значимости субъективно-эпистемического фактора в познавательных и деятельностных отношениях человека с миром, обществом и самим собой. Сознание как идеальное устройство с креативной способностью не сводится к пассивному отражению действительного мира, но способно к порождению в разной мере автономных от него ментальных миров, которые, в свою очередь, объективируются в деятельности людей, их поведении, речи, в создаваемых ими материальных и духовных артефактах.

Обозначение полезно, за ним стоит тенденция, новая научная парадигма, но до термина оно пока не доросло и остается расхожей метафорой: смысл ее размыт и варьирует у разных авторов и у одного и того же автора в разных контекстах в широком диапазоне и с нечеткими границами. Поэтому всякому, кто с энтузиазмом принимает его, следует всякий раз осмотрительно спрашивать себя и пояснять читателю: что собственно и в каком смысле принимается. Это и составляет нашу задачу: показать диапазон семантической вариативности «картин мира», указать смысло-

вые аналоги выражения в разных контекстах и меру информативной предпочтительности одних перед другими и, наконец, установить, сводимы ли смысловые варианты выражения «картина мира» к какому-то единому родовому понятию.

За примерами контекстов надо обратиться к работам, которые, не будучи метатеорией понятия «картина мира», оперируют им в его проявлениях, связях, зависимостях и исторической динамике.

Но начать надо с уяснения референционной семантики всего словосочетания и составляющих его слов. Какой мир имеют в виду, когда говорят о «картинах мира»? Оказывается, этих миров по меньшей мере несколько, и они разные. Следовательно, необходимо изначально отдавать себе отчет, о каком мире ведется речь в каждом конкретном случае, в чем состоят различия миров и как они соотносятся друг с другом.

Прежде всего высказывания и тексты могут относиться к действительному непреложному миру, и высказывающий связывает себя условием существования (несуществования) денотатов (вещей, признаков и их связей — событий и ситуаций). Он принимает — хотя бы в принципе — обязательство верификации истинности своих утверждений о мире. Тем самым в рамках рационально-логического мышления построение ментальных миров должно согласовываться с «внешним», отражаемым миром действительности посредством механизмов референции.

Но возможен иной, противоположный первому «мир» чисто ментальных построений, когда сознание не заботится о корреляции идеальных сущностей с действительным миром, когда оно творит внутри себя, создавая и связывая идеальные концепты и населяя ими идеальные же «миры». Сравнительно с первым случаем слово «мир» уже не прямозначно, а является метафорой. Тут мы имеем дело с мнимыми мирами. Какие-то из них возможны, но не осуществились, другие же иррациональны.

Наконец, в силу того, что человеческое знание относительно и ничто не открыто человеку в полном прямом и окончательном знании, и в силу того, что многое из того, что не осуществилось, но все же хотя бы теоретически возможно, человек сплошь и рядом творит в своем сознании смешанные миры, где действительное и мнимое в разной пропорции соединено и взаимодействует с мнимым возможным и даже невозможным.

Первая и принципиальная граница лежит, как мы видели (гл. 1), между миром действительным и идеальным (духовным, ментальным). При этом действительный мир первичен в том смысле, что все начинается с него и его коррелята в сознании — базисного ментального мира. Они вместе образуют точку отсчета для всех идеальных миров. В конечном счете отражаемый-отраженный реальный мир образует точку отсчета для всех идеальных миров, они полностью или частично принимают его во внимание, прямо или косвенно считаются с его устройством, и различаются они относительно него.

Но следует признать, что мера зависимости (мера проективности, обусловленности) идеальных миров от действительного варьирует от референциального следования последнему до полной автономии в существенных частях. Сознание проходит путь от прямого отражения действительного мира, как он есть, переходит к прогнозированию, домыслению и планированию, к созданию смешанных идеальных миров, сочетающих в сознании реальное с мнимым, далее — к созданию мнимых возможных миров и заканчивает свой путь сотворением чисто фантазийных и игровых ментальных построений.

В мыслительной деятельности людей различаются три магистральных потока, и различение их жизненно необходимо в общей перспективе человеческой деятельности, т. е. при всех возможных сомнениях, заблуждениях и намеренном обмане человеку важно знать и осознавать, к какому из этих стержневых видов или их комбинаторных форм относятся те или иные продукты мыслительной деятельности.

Различаются эти три магистральных потока мыследеятельности по их отношению к реальному непреложному миру, а именно по их соответствию положению дел в реальном мире и в конечном счете — по истинности и верифицируемости утверждений о нем и, следовательно, по реальной информационной ценности. По этому критерию противопоставлены мышление рационально-логическое, фидейное и фантазийно-игровое.

Рационально-логическое мышление, как сказано выше (гл. 1.1.1), от самых его практически-конкретных форм до форм абстрактно-отвлеченных, связывает себя обязательством соответствия действительному миру и не уклоняется от требований истинности и верифицируемости своих утверждений о нем. Фидейное мышление основано на вере. Оно также стремится к подлинному знанию, но на пути к нему вверяет себя авторитетам и, выигрывая в широте, полноте, глубине знания и экономии эвристических усилий, оно попадает в зависимость от надежности своих авторитетов. Наконец, фантазийно-игровое мышление изначально не связывает себя соответствием действительному непреложному миру и строит свои ментальные миры, исходя из комплекса весьма разнообразных побуждений человеческой природы, далеких от познавательных задач и онтологической строгости, — игровых, эстетических, экспрессивных, эмотивно-прагматических и иных подобных.

Мыслительные, в том числе речемыслительные, произведения представляют собой либо относительно чистый продукт одного из указанных направлений мыследеятельности, либо разнообразные их комбинации — с разной мерой соответствия действительному миру и с разной мерой осознания людьми меры этого соответствия. И всякий раз, понимая себя или других, человек должен и стремится знать, в каком из трех указанных потоков мыследеятельности, своей или чужой, он находится в данный момент, даже если ему и не удастся сделать это с необходимой определенностью.

Из сказанного следует тот вывод, что в рассуждениях о картинах мира необходимо начинать с уяснения, идет ли речь о картинах, сообразующихся с действительным миром как его отражения или замыслы, или же речь идет о полетах фантазии и ментальных играх, свободных, насколько это возможно, от оков непреложного мира. В первом случае актуально задаваться вопросом о степени и причинах соответствия/несоответствия ментальных конструкторов устройству действительного мира на тех или иных его участках. Во втором случае эта проблема не релевантна, и на первый план выходит задача отыскать систему и мотивации того или иного вида фантазийно-игровой ментальной деятельности и затем установить возможные его проективные свойства относительно действительного мира.

До сих пор мы имели дело с прямым значением слова «мир» и говорили лишь о референционном варьировании слова в этом значении — то ли это действительный мир вне сознания, то ли ментальный мир в сознании.

Для полноты картины надо указать и на производные значения в узусе слова. Как результат синекдохального варьирования слово часто означает не мир в целом, а какие-то относительно целостные его фрагменты, ср. «Мир Кристины» (название живописного полотна).

Широко представлено также другое значение с отвлечением или приглушением идеи целого или части целого как множества элементов, спаянных внутренними линейными связями (пространственно-временными, причинно-следственными и иными связями совместной встречаемости) в единую структуру. В этом случае «мир» означает уже не некоторое онтологическое единство — структуру, а чисто мыслительное единство вещей одного класса с общими классообразующими признаками независимо от линейных (структурообразующих) связей между ними. При этом, однако, подчеркивается мысль о достаточно полном охвате класса на уровне типичных его представителей, т. е. широкой представленности наличных в нем подклассов (видов и разновидностей), ср. *мир книги, игрушки, цветов* и т. п. (эпистемические классы).

Возможно также и такое употребление слова, которое соединяет обе линии семантического варьирования — цельность онтологической структуры и однородность эпистемического множества, ср. *мир животных, мир танца* и т. п.

Заметим, что в обоих этих случаях, в отличие от интересующего нас словосочетания «картина мира», «мир» переместился в позицию главного слова.

Займемся теперь первым словом в нашем словосочетании, имея в виду, что наш интерес обращен не столько к словам, сколько к стоящим за ними понятиям. «Картина» в «картине мира» — очевидная метафора, и ближайший аналог среди прямозначных выражений этой идеи — «образ». Семантические возможности этого слова весьма велики и могли бы ус-

пешно удовлетворить номинативной потребности в нашем случае, если бы узус можно было бы склонить к расширению его смысла в сторону большей абстрактности. При этом не было бы нужды в метафоризации его прямого значения, так как оно уже лежит в области идеальных сущностей. Однако предпочтение явно отдается «картине» и, как это ни парадоксально, именно в силу наглядной конкретности первичного значения. «Картина» не может быть принята в прямом смысле, требуется переключение в область идеальных сущностей, и метафора реализует главное свое достоинство: включается механизм самостоятельного аналогического домысливания сложного отвлеченного концепта на базе простого конкретного.

Другими прямозначными претендентами на выражение той же идеи выступают «модель (мира), представление (о мире), понятие (о мире)» — каждый со своим смысловым оттенком.

Широкая употребительность этой группы концептов в современной науке, их безусловная полезность и необходимость объясняются, как отмечалось, тем, что ныне за развитым сознанием признано качество высокой креативности при большой мере проективной автономии от действительного мира. В своем движении сознание далеко уходит от пассивного отражения реального мира, в значительной мере автономизируется от него и развивает способность творить собственные ментальные миры, в разной степени согласующиеся с устройством объективной реальности — от гипотетически возможных до проективно фантазийных.

Однако исследование всего разнообразия ментальных миров и выражающих их текстов требует большей точности в исходных представлениях и понятийно-терминологическом аппарате, чем это можно наблюдать сейчас. Обзор весьма многочисленных ныне, с энтузиазмом выполняемых работ на тему «картин (моделей) мира» обнаруживает ряд характерных погрешностей против научной строгости. И эти погрешности в рассуждениях, как увидим, «санкционированы» той размытостью семантики слов, о которой говорилось выше и которая вполне свойственна естественным языкам. Неосторожный исследователь, не замечая того, легко становится ее заложником.

Во-первых, рассуждая о картинах мира, не всегда отдают себе отчет, о каких мирах идет речь — ментальных или действительном, и рассуждают о тех и других как о едином предмете, тогда как разные виды ментальной активности в разной мере включены в действительный деятельностный мир человека, с разной мерой «плотности» встроены в жизненно необходимые для людей и общества функции, имеют разную меру ценности в непосредственных взаимодействиях человека с миром, в его физической, социальной и духовной практике.

В одних случаях отрыв ментальных моделей, образов и картин от реального устройства действительного мира, от реального положения вещей был бы губителен для человека. В других — позволительна заметная дис-

танция и вариативность, обусловленные не столько действительностью и контактами с ней, сколько родовой спецификой человеческой природы, традицией и случайностью. Здесь в дело вмешиваются способность сознания творить ментальные миры из себя и надстраивать, дополнять ментальными артефактами — плодами фантазийно-игрового творчества сознания более строгие и обоснованные представления, картины и модели действительного мира. Здесь действует принцип, что в конечной перспективе человек держится достаточно строгих, эмпирически подтверждаемых представлений о мире, его устройстве и закономерностях в той мере и в тех пределах, которые диктуются сферой прагматически важного, практически существенного для него — сферой его деятельностных интересов. За рамками безусловно и однозначно необходимого для данного этапа жизнедеятельности общества вполне дозволены на время вариативные фантазийные представления о тех сторонах непреложного действительного мира, которые пока еще не затронуты сколько-нибудь основательно общественной практикой. Приходит время, и фантазийные картины и модели мира уступают место рационально-логическим построениям, согласующимся с природой вещей в возросшем ареале человеческой деятельности.

Пока же этого не случилось, здесь царствует мнение в широком спектре от гипотез, догадок и прозрений до откровений, домыслов и мифов, опирающихся на авторитет вещателей истин. Последние призывают расширить сферу фидейного знания о мире, приняв на веру их фантазийные построения. Проблема для исследователя здесь состоит в том, чтобы установить общее и закономерное в содержании и структурах «преждевременного знания», опережающего деятельностное овладение действительным миром, вскрыть корреляции и зависимости между характером мнимого знания и уровнем подлинного знания, между устройством мнимых миров и устройством действительного мира как деятельностной среды человека.

Последнее следует подчеркнуть особо. Общий недостаток нынешних исследований мнимых миров в культурологии, лингвистике, истории литературы и искусствоведении — отсутствие или примитивизм проекций на действительный мир. Происходит это по той причине, что не на что опереться: отсутствует общая теория проективности мнимых миров, теория опосредованных, непрямых зависимостей между ментальными мирами различной природы, действительными и мнимыми, — зависимостей, обеспечивающих мотивированность и диапазон вариативности мнимого.

Диапазон вариативности в конструировании мнимых миров еще более возрастает, когда сознание творит ментальные миры, не связывая себя оглядкой на действительный мир, т. е. при установке на фантазийно-игровую ментальную активность, на свободный полет мысли. Однако и здесь сознание не способно полностью оторваться от грешной земли объективного мира и его мотиваций. Даже в предельных случаях, когда персонажи с фантастическими свойствами совершают фантастические

поступки в фантастической среде, они все же сконструированы по преимуществу из признаков (свойств и качеств), реально наблюдаемых в действительном мире.

Поэтому общий принцип проективности мнимых миров, их зависимости от практического, деятельностно обусловленного сознания остается в силе и применительно к продуктам фантазийно-игровой ментальной деятельности, хотя бы в форме еще более не прямой, опосредованной и скрытой. Если это так, то в целом подлинная ценность исследования мнимых миров заключена в конечном счете не только и не столько в автономном описании их содержания и структур и даже не в сопоставлении коррелирующих ментальных миров в разные эпохи и в разных культурах, а в установлении их проективной значимости относительно действительных миров, в установлении диапазонов вариативности корреляций и зависимостей между мнением, воображением и фантазией, с одной стороны, и уровнем и содержанием рационально-деятельностного сознания — с другой. Иначе говоря, главное состоит в отыскании необходимого, закономерного и мотивированного в полетах фантазии — с учетом неединственности, возможной случайности и, увы, неравноценности тех выборов, которые вольно или невольно делают народы на своем историческом пути.

Во-вторых, рассуждая о «картинах мира», часто утрачивают целостность понятия и толкует словосочетание столь расширительно, что в нем вообще ничего не остается от каких-либо миров, ни отражаемых, ни замышляемых, ни действительных, ни мнимых. Метафора теряет какое-либо деривационно оправданное содержание, ее семантические границы размываются. В конечном счете за ней скрывают много разного и ничего единого. Она лишь сигнализирует муки слова.

За характерными примерами читатель может обратиться, например, к книге В. С. Жидкова и К. Б. Соколова «Десять веков российской ментальности: картина мира и власть» (СПб., 2001). Авторы сводят под общую шапку разнородные свойства интуитивного национального самосознания, совокупное взаимодействие которых образует качество национальной ментальности (менталитета). В разных местах книги под «картинами мира» понимаются не только «система представлений человека о мире и его месте в нем» (с. 58), но и «жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, способы познания и деятельности, знания, ценностные и духовные ориентиры» (с. 58), а также установочные системы представлений о должном, нравственном, добре и зле в поведении и отношениях людей, устройстве общества и государства и т. д. (с. 168, 186, 170, 171, 258, 275, 340, 554, 569, 574 и многие другие). Картина мира приравнивается к ментальности и обуславливает не только видение мира, но и как установочная система сознания предпослана миру. В этом качестве картина мира предопределяет и то, что видят в мире, и то, как оценивают его, и то, как реагируют и действуют

в нем. В этой логике картина мира (равно как ментальность) одновременно и первична, и вторична по отношению к миру, и это плохая логика и плохое словоупотребление.

В таком понимании картина мира (также и ментальность), с одной стороны, обусловлена миром как его отражение, а с другой — обуславливает видение мира. Не отказываясь от привязки к миру, «картина» истолкована и как образ отраженного мира, и как образ, предпосланный миру. В одном своем качестве она следует миру, в другом — она предшествует ему. Когда мы ставим идеальную сущность (образ, концепт) в зависимость от мира (тем более действительного), мы вправе говорить о «картинах мира», его отражающих и им обусловленных. Когда же идеальные образования берутся вне этой зависимости (и тем более как агентивное начало — регулятор оценок и поведения), говорить о них как о «картинах мира» можно, лишь нарушая логику и грамматику смыслов.

В-третьих. Ныне среди филологов сплошь и рядом говорят о «языковых картинах мира», а также о «культурно-языковых картинах мира» (в последнем случае — преимущественно если предметом служат мнимые миры фантазийного характера, как в мифах, народном героическом эпосе, сказках, легендах, преданиях, баснях и т. п. в аспекте их национального своеобразия, см., напр., Долгова, 2000; Никитина, 1993; Почепцов, 1990; Цивьян, 1990).

Во многих случаях под «языковой картиной мира» не подразумевают какой-либо качественной характеристики образов рисуемого мира, и смысл сочетания равен безобидной формуле: ментальный образ некоего мира (действительного, мнимого или смешанного), выраженный средствами данного языка (ср. с понятием «языкового значения» (Никитин, 1971). Но столь же часто к этому примешивают или целиком ассоциируют с «языковой картиной мира» иной смысл: «языковая картина мира» — это ментальный образ мира, обусловленный особенностями данного языка. Этот взгляд возвращает нас к концепции лингвистической относительности в ее радикальной, губольдтовской версии — лингвистического детерминизма.

Что касается специфики национальных (этнологических) систем миропонимания (видения мира), своеобразия — на полюсах весьма разительного — базисных аксиологических систем и обуславливаемых ими различий в поведенческих реакциях, в «путях, которые мы выбираем», то тут ныне нет оснований для принципиальных разногласий относительно их наличия, и история наших дней, вопреки нивелирующему действию прогресса, дает этому массу подтверждений. Проблема состоит в другом: какое отношение к этому имеет язык, а именно язык как форма, т. е. специфика устройства языков, и в первую очередь — особенности их лексико-семантических и грамматических систем.


Вопрос в конечном счете сводится к тому, что обуславливает структуру сознания: обусловлено ли структурирование сознания структурой совокупной деятельности общественного человека совместно со структурой действительного мира, в котором он действует и с которым он взаимодействует, или же структура сознания обусловлена строением языка как формы, т. е. сложившимися в конкретных языках своеобразными системами корреляций между языковыми формами и распределенными между ними концептами. По-видимому, нельзя найти убедительных доводов в пользу второй точки зрения. Язык, безусловно, не только необходим, но и составляет обязательное условие для того, чтобы сознание возшло на понятийный, обобщающе-абстрагирующий, собственно человеческий уровень, а мысль и память получили бы должную опору, не говоря уже о языке как необходимом средстве общения. Но членение языка как формы весьма неполно, а часто и весьма отдаленно следует за структурой и содержанием мысли.

В то же время структура мира и, что еще более существенно, структура деятельности человека находят достаточно изоморфные отражения в базисных структурах сознания, благодаря чему становится возможным соотносить языковые выражения по смыслу, т. е. устанавливать, в чем и насколько они сходны и различны по значению (более подробную аргументацию см.: Никитин, 1997). Поэтому выражение «языковая картина мира» максимально может претендовать только на то, что это картина мира, выраженная в языке. Осмыслиется оно, как и все, что выражается в языке, в меру знания мира и знания языка как многоярусной системы корреляций между формами языка и концептами сознания.

И в заключение: сказанное не следует принимать как призыв немедленно и безоговорочно отказаться и изъять из словаря лингвистики, фольклористики, литературоведения, когнитивистики и культурологии выражение «картина мира». Оно прижилось, с ним хорошо знакомы, и одного этого достаточно. С ним чувствуют себя вполне комфортно, несмотря, а может быть, благодаря его «номинативной отзывчивости». Цель этих заметок в другом: обратить внимание на связанные с ним — на его нынешнем метафорическом, дотерминологическом этапе — опасности: пуская в широкий оборот выражение «картина мира», следует домысливать и уточнять его содержание с учетом указанных здесь обстоятельств.

Успех метафоры «картина мира» объясняется необходимостью в обобщающем термине для обозначения ментальных образований монтажной природы, а именно для обозначения не разрозненных концепто-образов, а концептуальных структур — концептов, связанных линейными связями в цельные «картины» — ментальные миры с любой мерой автономии от действительности.

В конечном счете «картина мира» в этом широком смысле означает образ некоего мира, как отраженного, так и сотворенного сознанием.

-  *Волоцкая З. М., Головачева А. В.* Языковая картина мира и картина мира в текстах загадок // *Малые формы фольклора. Исследования по фольклористике и мифологии.* М., 1992.
- Гачев Г. Д.* О национальных картинах мира // *Народы Азии и Африки.* 1967. № 1.
- Головачева А. В.* Некоторые аспекты отражения картины мира в текстах загадок // *Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора.* М., 1988.
- Гронская О. Н.* Немецкая народная сказка: язык и картина мира. СПб., 1988.
- Долгова Н. Б.* Культурно-языковая картина мира в английском эпосе. План-проспект докторской диссертации. Рукопись. 2001.
- Дышлевый П. С., Яценко Л. В.* Что такое общая картина мира. М., 1984.
- Жидков В. С., Соколов К. Б.* Десять веков российской ментальности: картина мира и власть. СПб., 2001.
- Маковский М. М.* «Картина мира» и миры образов (Лингвокультурологические этюды) // *Вопросы языкознания.* 1992. № 6.
- Маковский М. М.* Язык — миф — культура // *Вопросы языкознания.* М., 1997. № 1.
- Никитин М. В.* Денотат, концепт, значение // *Англистика в XXI веке. Доклады и сообщения.* СПб., 2001.
- Никитин М. В.* Курс лингвистической семантики. СПб., 1997.
- Никитин М. В.* Миф в структуре сознания // *Актуальные проблемы стилистики декодирования, теории интертекстуальности, семантики слова и высказывания.* СПб., 1998.
- Никитин М. В.* О понятии «языковое значение» // *Ученые записки Владимирского государственного университета. Сер. «Иностранные языки».* Вып. 6. Владимир, 1971.
- Никитина С. Е.* Лингвистическая модель фольклорного мира // *Устная народная культура и языковое сознание.* М., 1993.
- Носик Б. М.* Мир и дар Набокова. СПб., 2000.
- Постовалова В. И.* Картина мира в жизнедеятельности человека // *Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира.* М., 1988.
- Почепцов О. Г.* Языковая ментальность: способ представления мира // *Вопросы языкознания.* М., 1990.
- Тарасов Е. В., Сорокин Ю. А., Уфимцева А. А.* Теоретико-методологические обоснование анализа проблемы «картина мира» // *Типы языковых общностей и методы их изучения.* М., 1984.
- Цивьян Т. В.* Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.
- Яковлева Е. С.* О некоторых моделях пространства в русской языковой модели мира // *Вопросы языкознания.* 1993. № 4.

3.3. Почему мир не текст

1. На одной научной конференции отстаивалось положение, что храм есть род текста. Доклад так и назывался «Храм как текст» (Арутюнян). В максимально обобщенном виде этот постулат — часть глобальной максимы «мир есть текст», так что докладчик пытался реализовать часть заложенной в максиме программы. Сама максима, хотя обязана появлением И. Канту, утвердилась много позднее и совсем в ином, широком смысле — у сторонников семиотики по версии Ч. Пирса как радикальный вывод из его

теории и типологии знаков (Пирс (Peirce)) (вполне возможно, что последователи оказались больше ригористами, чем сам Пирс.)

В поисках универсальной логики Пирс поставил в центр интерпретатора и включил в число знаков индексальные связи и зависимости вещей, признаков и событий. В результате мир «заговорил» с субъектом-интерпретатором напрямую и на равных правах с субъектом-адресантом, а события в мире не только наполнились значением для интерпретатора (что справедливо), но и были приравнены к знакам *per se*. Отлет птиц с этих позиций должен считаться знаком прихода осени и становится в ряд с такими, например, бесспорными знаками, как ношение траура или слова «горюю об утрате» (знаки скорби). Далее оставалось сделать еще шаг, и мир мог быть объявлен текстом для интерпретатора — для того, кто наблюдает мир и принимает заложенную в нем информацию.

Стоит, однако, подумать о логических следствиях из столь широкого понимания знака. Проблема, в конечном счете, как мы видели (гл. 2, 2.3. и 2.4.), сводится к выбору из двух тезисов о соотношении знака и значения:

1) нет знака без значения и нет значения без знака — это понятия равного объема, так что всякая знаковая ситуация значима и всякая значимая ситуация знакова;

2) нет знака без значения, но обратное неверно: значение шире знака, так что всякая знаковая ситуация значима, т. е. несет значение, но не всякая значимая ситуация знакова — вполне возможны незнаковые значимые ситуации — ситуации, где есть значение, но нет знаков.

Автор этих заметок многократно выступал, аргументируя справедливость второго подхода (Никитин, 1969; 1970). Здесь будут высказаны дополнительные доводы в его пользу с позиций от противного — демонстрацией следствий, проистекающих из принятия противоположного взгляда.

2.1. Однако начать надо с уточнения того смысла, который может связываться с утверждением «мир есть текст». Дело в том, что синтаксическая структура, в которой два имени соотнесены через связку (связочная структура), весьма многозначна. Ею могут выражаться порознь или в какой-то комбинации значения метаязыковые, в частности метасемантические и объектно-языковые. При этом способ выражения значений в структуре может быть прямым (прямозначная, или первичная номинация) или непрямым, тропеическим (непрямозначная, или вторичная номинация).

2.2. Метаязыковые значения, как известно, относятся к устройству описывающей мир знаковой системы, а объектно-языковые — к устройству и положению дел в описываемом мире. К числу первых относятся значения (функции) дефиниции, полной или частичной, включая перифразу, синонимизации (дефиниция через синоним и указание синонимичности), пояснение рода (класса) через его виды (подклассы) и др. Очевидно, что их можно сразу исключить из анализа содержания интересующей нас максимы. Ограничимся лишь примерами в пояснение метаязыковых функций

структуры: *мать* — *родитель женского пола* (полная дефиниция), *сорокопуд* — *птица* (неполная дефиниция + классификация), *секрет* — *это тайна* (синонимизация), общественный *транспорт* — *это пассажирские автобусы, троллейбусы, трамваи и т. п.* (пояснение класса через его подклассы, т. е. формирование понятия о классе через общее в его подклассах посредством индуктивного обобщения).

2.3. К числу объектно-языковых значений связочной структуры относятся (также выражаемые порознь или в связке) значения (функции) тождества и идентификации, имплицативные значения, значения классификации и атрибуции признака, включая уподобительную атрибуцию, и оценочное значение.

2.4. Оценочное значение связочной структуры выводит ее из области описания субъекта суждения в сферу прагматики — выражения субъективного оценочного отношения к нему. Обычно это значение дополнительно к той или иной когнитивной функции структуры, но может и доминировать. К нашему анализу субъективная оценка субъекта *S* («мир») не имеет отношения, разве что наоборот: косвенным образом представление о мире облагораживает, повышает прагматическую оценку эмотивно выхожденного предиката *P* («текст»).

2.5. Значение тождества связочной структуры сводится к предписанию совместить в едином концепте два образа как разные (проявления одного объекта (денотата), ср. «Сэр Вальтер Скотт есть автор Уверлея» (Никитин). Близкое тождеству значение идентификации отличается от него вектором мыслительной операции: тут он направлен от объекта (денотата) к концептуальному тезаурусу сознания. Таким образом, идентификация — обратная сторона отождествления: при отождествлении исходят из предположения общего в различном и возводят различное к единому, а при идентификации исходят из предположения различий в едином и низводят общее к частному случаю (Никитин-3).

2.6. Еще одно возможное значение связочной структуры строится на импликациях, т. е. на отражении линейных связей и зависимостей между вещами, событиями, признаками и между вещами и их признаками, когда одно заставляет с большей или меньшей обязательностью полагать существование (наличие) другого. Ср. *жизнь* — *это борьба*; *Пуанкаре* — *это война*; *война* — *это кровь и пот*.

Частным случаем имплицативного отношения надо считать партитивность (партонимию) — отношение между целым и его частями (с обоими векторами) и между частями одного целого. В связочной структуре вектор чаще направлен от субъекта — целого к предикату — части, и тогда целое изъясняется через части. Ср. *Москва* — *это Кремль и Красная площадь*. Реже, но вполне допустимо и обратное — изъяснение части через целое.

Имплицативные отношения между субъектом и предикатом связочной структуры вполне возможны, хотя и ощущаются не вполне нормативными —

на пределе закрепленных за структурой семантико-синтаксических моделей. В силу этого имплицативное значение этой структуры стилистически маркировано и требует некоторого дополнительного умственного усилия, с тем чтобы установить конкретную разновидность имплицативной связи между денотатами субъекта и предиката. Заметим, что имплицативный характер связи обычно опознается возможностью поставить связку значимости «значит» между субъектом и предикатом.

Применительно к нашей максиме нет оснований ограничивать ее смысл только неким имплицативным отношением между миром и текстом. В нее, безусловно, вкладывают гораздо более широкий смысл. В самом деле, когда утверждают, что храм — текст и что мир вообще есть нечто иное, как текст, отнюдь не ограничивают себя мыслью о том, что на стенах храмов и на «скрижалях» мира начертаны тексты-письмена в собственном прямом смысле этих слов. В виду имеют нечто другое — какое-то более общее и более значимое свойство мира во всех его проявлениях.

2.7. Обратимся теперь к классификационной функции связочной структуры. Это одна из ее центральных функций (наряду с атрибуцией признака субъекту), и о ней надо сказать чуть подробнее. Смысл классификации состоит в утверждении того, что субъект суждения — представитель класса, названного предикатным именем: субъект относится к классу и тем самым должен обнаруживать образующие этот класс признаки. Тем самым классификация предполагает не только отнесение к классу, но и атрибуцию классообразующего признака (признаков).

Однако здесь немало тонкостей. Дело в том, что признаки, заложенные в основание класса, различаются мерой своей информативности в том смысле, что позволяют прогнозировать большее или меньшее число других признаков сверх классообразующих у сущностей, относимых к данному классу. Чем более прогностичен комплекс классообразующих признаков, тем таксономичнее класс и тем очевиднее классификационная функция связочной структуры. Наиболее таксономичны, например, классы и имена биологических видов и иных природных объектов. Их качественная определенность представляется заданной самой природой до того, как человек занялся их классификацией, так что объем класса очерчен, прежде чем формируется понятие о нем и о конституирующих его признаках. Задача, таким образом, состоит в том, чтобы отыскать конститутивные признаки класса, не задавая их заранее.

Вместе с тем чем менее прогностичен в указанном выше смысле классообразующий признак, тем явственнее функция атрибуции признака у связочной структуры с таким предикатным именем.

В силу большей информативности и прогностичности классообразующих признаков таксономические классификации сущностей первичны сравнительно с классификациями нетаксономическими. Последние как бы оказываются классификациями «поперек» базисной таксономической сис-

темы. Так, одно и то же существо, в первичной таксономатике одинаково относимое к женщинам, оказывается во множестве вторичных «измерений» матерью, учителем, толстушкой, сладкоежкой и многим другим.

Поэтому даже с учетом совмещенности функций классификации и атрибуции признака целесообразно значение классификации относить преимущественно к связочным структурам с таксономическими предикатами большой информативной емкости, открывающими прогноз на широкий спектр возможных признаков в классифицируемом объекте (денотате). Соответственно в структурах с нетаксономическими предикатами малой прогностичности превалирует функция атрибуции признака субъекту суждения, а не его классификация.

Можно еще сказать так: в случае классификации сообщают класс сущности, а в случае атрибуции сообщают некий признак того, что уже классифицировано. Отчасти именно в силу этого различия субстантив в функции атрибутирующего признак предиката нередко может быть трансформирован (или перефразирован) в признаковое слово (глагол, прилагательное). Для субстантива в функции таксономического предиката это мало свойственно. Ср. *Медведь* — *сладкоежка* > медведь любит сладкое, но *этот зверь* — *медведь* >*.

Заметим, что попытки построить типологию классификаций и классов по значимости предпринимались издавна. Еще в гносеологии XIX в. различались классификации органичные и неорганичные, естественные и искусственные, основные и вспомогательные, построенные на признаках существенных и несущественных. Однако добиться должной ясности в понятиях существенного/несущественного, органичного/искусственного не удавалось, и проблема оснований различения вещей не получала удовлетворительного решения. Когнитивный подход, связанный с поиском реальных механизмов категоризации и концептуализации мира человеческим сознанием, выявил дополнительные сложности, поскольку обнаружилось, что мир сплошь и рядом категоризируется не по правилам формальной логики, а на прототипической основе и в меру так называемого семейного сходства.

Можно полагать, что более перспективен предложенный принцип — построение классификации сущностей и типологии классов на основе информационно-прогностического потенциала конституирующего класс основания, т. е. с учетом объема возможных для сущностей данного класса признаков, открываемого конституирующим класс основанием. Результатом, разумеется, будет не двузначное деление классов на таксономические/нетаксономические, а шкала градаций таксономичности классов — соответственно мере прогностичности основания (классообразующего признака).

Обычная формула классификационной структуры — видо-родовое отношение между субъектом и предикатом: предикат относит субъект к

более широкому классу и описывает его по признакам данного класса. Однако формула может быть перевернута, видовое (или единичное понятие) могут поменяться местами в структуре. Ср. 1) *этот зверь — леопард*, 2) *общественный транспорт — это пассажирские автобусы, троллейбусы и трамваи*. Между двумя примерами есть существенное различие. В первом случае субъект-единичное обозначен через род и далее отнесен к виду в этом роде, т. е. классифицирован как представитель подкласса в классе субъекта. Тем самым в описание единичного к признакам рода добавляются видовые признаки. Второй пример — иной природы и к классификации не относится. Здесь денотатом подлежащего выступает не единичное, а класс (общая отнесенность имени). Связочная структура в этом случае несет мета-языковую функцию и служит формированию понятия о классе посредством индуктивного обобщения — через указание относящихся к нему подклассов и поиск общего у них.

Таков в целом смысл классификационной функции связочной структуры, и задача теперь состоит в том, чтобы определить, в этом ли классификационном смысле употребляют максиму «мир есть текст» и ее производные вроде «храм как текст». Предназначают ли их для того, чтобы *S* (субъект суждения — мир, храм и т. д.) был бы понят как представитель или подкласс более широкого класса *P* (предикат суждения)? Или же назначение максимы видят только в атрибуции некоего признака миру — в том, чтобы обозначить некое существенное, дотоле скрытое, но теперь прямозначно выраженное свойство мира, вещей и событий в нем? Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо пояснить атрибутивную функцию связочной структуры.

2.8. Атрибуция признака может быть, как сказано, функцией связочной структуры, дополнительной к классификации субъекта, а может составлять ее первичное назначение. В наиболее чистом виде атрибутивная функция связочной структуры представлена тогда, когда предикат выражен признаковым словом (прилагательным, глаголом, причастием, притяжательным местоимением и порядковым числительным), а также формами существительного с признаковым значением и т. п. В тех же случаях, когда предикат выражен существительным и возможно совмещение функций описания-классификации и описания-атрибуции, доминирование той или другой обуславливается следующими факторами:

1) если и субъект, и предикат — нарицательные имена и предикат своей семантикой равен или составляет часть гиперсемы субъекта, то это случай явной таксономической классификации, ср. «ягуар — дикая американская кошка». Та же функция имеет место, если, напротив, субъект дублирует своей семантикой полностью или частично гиперсему предиката, ср. *этот зверь — ягуар*;

2) если же предикатное имя описывает денотат субъектного имени по признакам из области свободного импликационала последнего, т. е. по

признакам, которые равным образом могут быть и не быть у денотатов класса, названного субъектом, то это явный случай атрибуции предикатного признака, ср. *сосед наш — неуч* (А. С. Пушкин);

3) наконец, остается тот случай, когда предикатное имя приписывает имени субъекта (точнее — его денотату) признаки из области высокой встречаемости у предметов класса, обозначенного субъектным именем. Это признаки сильной импликации (подробнее см.: Никитин, 1974). Ср. *жизнь — это борьба; медведь — хозяин тайги; муравьи и пчелы — великие труженики* и т. п.

Предикатное имя, как уже отмечалось, может быть прямым обозначением или метафорой. В последнем случае имеем дело с уподобительной атрибуцией признака (вторичная номинация на тропеической основе). Реально никакой классификационной способностью (разве что иллюзорной — для безудержных фантазеров) метафорическое имя в предикативной функции обладать не может в силу условия метафоры — внеположенности экстенсionales субъекта и предиката.

Признаки сильной импликации, хотя и не входят в круг обязательных по определению для данного класса, примыкают к этому кругу и ассоциативно тесно с ним связаны. Импликация (импликативное отношение «если *A*, то *B*» между субъектом и предикатом) здесь производно от интенсionales субъектного имени, т. е. лежит в области признаков сильной импликации. Имена классов, конституируемых такими признаками, будучи употреблены предикативно, «не дотягивают» до классификаторов. Они не таксономичны, и назначение их — атрибуция признака субъекту, хотя при этом может возникать иллюзия классификации за счет формальной аналогии синтаксической структуры. Однако это не простая атрибуция признака того рода, что имеет место в случае свободной импликации. При сильной импликации признак гораздо более значим и характерен, он частотен и более типичен, предикатное имя информативно и прогностично. Поэтому атрибуция таких признаков имеет квалификативный смысл: связочная структура не просто открывает в субъекте некий признак, но признак сущностно значимый для данного класса. Предикат квалифицирует класс субъекта по какой-то важной его стороне.

3. После всех этих пояснений о возможных значениях (функциях) связочных структур можно вернуться к главному вопросу. В чем же состоит тот широкий смысл, который сторонники пирсовской семиотики вкладывают в максимум «мир есть текст», какое ранее неведомое свойство мира открывают они нам этим утверждением? Очевидно, имеет место следующий ход мысли. Мир информативен для наблюдателя в силу импликативной значимости его сущностей: зная связи и зависимости вещей, признаков и событий, наблюдатель-интерпретатор на основе одного заключает об обязательном или вероятностном наличии чего-то другого. Тем самым мир делается значимым для наблюдателя: в силу из-

вестных ему связей и зависимостей одни события и положения дел имплицитно определяют другие, и сознание настраивается на них. В основе значения лежит информационная зависимость концептов в сознании, когда один концепт актуализирует другой и настраивает сознание на этот последний как информационно важный.

До этого момента мысль работает верно, но затем происходит сбой. Возникает иллюзия диалогов интерпретатора с миром за счет расширительного, метафорического толкования терминов «знак, язык, диалог, сообщение» и т. п., как если бы интерпретатор имел дело с сообщениями-знаками на языке природы и общества (мира). Способность («податливость») естественного языка к вторичной тропеической номинации здесь оказывает исследователю дурную услугу. Метафора бывает не только чрезвычайно полезна, но недостаточно критичному уму может и навредить, сбивая мысль на неоправданные сближения и обобщения (в скобках заметим, что еще больше этим грешит метонимия, см. по этому предмету работы М. В. Никитина, а еще раньше — предостережения А. Кожибского и работы приверженцев общей семантики С. Хаякавы, А. Рапопорта, Ст. Чейза и др.)

В рамках нормативно-узуального использования языка и его средств выражение «мир есть текст» может быть понято только как метафора, основанная на уподоблении мира тексту. При всей ее возможной неоднозначности, ее интерпретации лежат в области признаков текста, которые могут быть так или иначе спроецированы на мир как его характеристика; причем однозначно принимается, что объемы двух понятий не перекрываются, и это исключает классифицирующий смысл выражения. У И. Канта уподобление шло по линии понимания: суть мира постигается человеком по его, мира, проявлениям, подобно тому, как мысль автора разворачивается перед читателем из текста. Другие возможные интерпретации метафоры ориентируют несколько отличные комбинации признаков на базе уподобления. Например, мир подобен тексту в том, что восприятие одного наблюдателем, а другого — слушателем (читателем) разворачивается во времени как линейный процесс, но осмысление их сочетает синтагматику «нанизывания смыслов» с углублением в парадигматику знания. Все это примеры кваликативной метафоры.

Иное дело — семиотическая интерпретация максимы. Она строится на убеждении, что за всяким значением, извлекаемым наблюдателем, стоит знак. К знаку приравнивают любые воспринятые субъектом сущности как фактор актуализации в сознании связанных с ними образов-значений. Тем самым знаку отказывают в специфике: интенциональность и отправитель исключаются из основных условий прототипической знаковой ситуации. Достаточно события и интерпретатора, осознающего его значение. Так возникают уже упомянутые выше «диалоги» интерпретатора с миром. Получается, например, что красное зарево не только означает пожар, но и

должно считаться знаком пожара (подробнее на эту тему см. выше, гл. 2, 2.3 и 2.4).

Теперь недалеко до того, чтобы мир приравнять тексту — и не только приравнять, не просто уподобить, но отнести и зачислить в класс текстов как их разновидность: мир тоже знаков, он дан нам в знаковых проявлениях, и эти проявления суть тексты. Так, наряду с текстами в привычном узком и широком смысле (тексты письменные и устные) появляются тексты-миропроявления. События принимаются за текст, а импликации из событий — за их значения. Чем это не знак как билатеральная сущность, объединяющая в себе форму и содержание? — А тем, отвечаем мы, что такие псевдознаки, названные индексальными или симптоматическими, не обнаруживают у себя конститутивных признаков знака — того, что превращает некую материальную форму в сущность иного, семиотического порядка — они не являются интенциональным информативно-волевым действием субъекта-отправителя.

4. Но дело сделано, семиотическая максима высказана, и высказана она именно в классификационном смысле: мир представлен как род текста. Есть два пути, чтобы оценить ее претензии на истину. Первый — ее соответствие определению знака и типологии знаков. Определения и типологии, как видим, могут быть различными, и сомнения на этом пути будут оставаться до тех пор, пока определения и разграничения в этой области не будут получены на более достоверном основании, чем современные спекулятивные построения. Но есть другой путь — оценить максиму по приемлемости логических следствий из нее.

1. Если мир — текст, то встает вопрос, на каком языке написан этот текст, каковы единицы и структура, словарь и грамматика «устройства», порождающего такие «тексты». Вразумительный ответ на эти вопросы не возможен. Иначе отпала бы необходимость во всех науках, и можно было бы обойтись одной семиотикой.

2. Другой круг вопросов: кто, зачем, для кого и как порождает «текстомир», кто адресант, сообщающий значения посредством миропроявлений? Ответы на них даются, но, увы, весьма специфические, так как приходят они из области мистики, религий, верований, суеверий и предрассудков. До сих пор эти ответы мало устраивали науку.

3. Текст как продукт сам по себе мертв в том смысле, что в нем нет мысли вне дискурса и дискурсантов, вне процессов речевой деятельности — порождения и понимания речи. Иначе говоря, в тексте как таком нет движения, он не меняется. Движение мысли совершается в дискурсантах, отчего и возникают различия в интерпретации одного и того же текста (одной и той же кодировки мысли). Напротив, мир изменчив, изменения в нем идут как со стороны действующих в нем агентов, так еще больше из него самого, и этим мир в числе прочего принципиально отличен от текста.

4. Применительно к миру текст находится в отношении отображения: мир гомоморфно отображен в тексте. Если бы мир был текстом, пришлось бы признать, что мир зеркально отображает самое себя — и даже без смежных сторон.

Тем самым, даже если допустить, что «текст» в максиме употреблен в более широком смысле дискурса (речемыслительной деятельности, порождения и осмысления текста), возражение остается в силе: способность мира к изменению, развитию, движению заложены в нем самом, в то время как витальность текста коренится не в нем самом, а в дискурсантах.


5. Определяя мир как текст, занимают позицию крайнего солипсизма, так как исчезает мир сам по себе, вне восприятия и смысловой интерпретации, существование его начинается и прекращается вместе с ними. Дело вкуса, становится ли на философскую позицию субъективного идеализма в его радикальной версии. Против нее, однако, говорит история практической и иной деятельности человечества: эффективнее, экономнее и надежнее держаться противоположного взгляда — мир не только в нас (ментальные миры сознания), но существует прежде всего вне нас и независимо от нас (действительный мир).

6. Если мир во всех его миропроявлениях — тоже текст, то он входит как часть в объем более широкого понятия «текст» наряду с привычными, письменными и устными текстами — отражениями мира в привычном понимании. Однако на деле все обстоит наоборот. Рассмотрение языка (речевой деятельности) с прагмалингвистических позиций добавило к известным антиномиям языка еще одну — в его отношении к миру. Язык как речь и текст выступает по отношению к миру в двух ипостасях одновременно. Отражаемый и выражаемый мир, с одной стороны, и язык как выражение мысли о нем, с другой, соотносятся как две части единого процесса речемыслительной деятельности. Но язык как деятельность, язык в использовании, как поступок составляет часть мира. Таким образом, язык выступает и как нечто особое, параллельное миру, и как часть мира, его продолжение и усложнение (Никитин).

5. Таковы неизбежные логические следствия из семиотической максимы, и свидетельствуют они против нее. Максима «мир есть текст» (а равным образом и ее производные) в ее прямом смысле классифицирует мир, но классифицирует его неприемлемым образом. Она представляет собой ложное утверждение в силу того, что основана на ложном исходном постулате — чрезмерно широком представлении о знаке. Распространение на знаки, вслед за Ч. Пирсом, принципа так называемой индексальности (симптоматичности, по существу — имплицативности) лишает знак родовой специфики и приводит к логически неприемлемым следствиям.

Максимально, что можно оставить за утверждением «мир есть текст», — его изначальный кантовский смысл. Это квалификативная метафора — утверждение относительно неких существенных признаков мира, варьирую-

щее свой смысл в рамках уподобления мира тексту, но отнюдь не в рамках приравнивания мира тексту.

-  Арутюнян Э. Б. Храм как текст // Доклады на Герценовских чтениях 2002 года. Иностранные языки. РГПУ им. А. И. Герцена. СПб., 2002.
- Никитин М. В. — 1.
- 1) Знак — значение — язык. СПб., 2001.
 - 2) К определению знака и к типологии знаков и знаковых систем // Ученые записки Владимирского гос. пед. ин-та. Сер. «Иностранные языки». Владимир, 1969.
- Никитин М. В. — 2. О тождествах с когнитивных позиций // Англистика в XXI веке. СПб., 2002.
- Никитин М. В. — 3. Концепт и метафора // *Studia Linguistica*. Вып. 10. «Проблемы теории европейских языков». СПб., 2001.
- Никитин М. В. — 4.
- 1) О содержательных связях значений в семантической структуре слова // Ученые записки Владимирского гос. пед. ин-та. Сер. «Иностранные языки». Владимир, 1969.
 - 2) Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974.
 - 3) О предмете и понятиях комбинаторной семантики // Проблемы лексической и грамматической семасиологии. Владимир, 1974.
 - 4) О семантике метафоры // Вопросы языкознания. 1979. № 1.
 - 5) Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). М., 1983.
 - 6) Основы лингвистической теории значения. М., 1988.
 - 7) Курс лингвистической семантики. СПб., 1996.
 - 8) Пространство и время в ментальных мирах. СПб., 2002.
- Никитин М. В. — 5. Членение семиотического акта и задачи семиотической дефектологии // Проблемы обучения иностранным языкам. Т. IV, ч. I. Владимир, 1969.
- Никитин М. В. — 6. Имплицитные значения в структуре вербальной коммуникации // Коммуникативные единицы языка. МГПИИЯ им. М. Топеза. М., 1984.
- Пирс Ч. С. Из работы «Элементы логики. *Grammatica Speculativa*» // Семиотика. М., 1983.
- Peirce Ch. S. Collected papers of Charles Sanders Peirce. Vol. II: Elements of logic. Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.), 1960.

3.4. Российский уклон в когнитивной лингвистике

Отечественная наука силами прежде всего лингвистов, психологов и гносеологов приняла самое деятельное и продуктивное участие в разработке идей когнитивистики. Плодотворно развиваются общенаучные представления о структурах человеческого знания, процессах и механизмах реального мышления, способах и результатах категоризации мира и моделях (картинах) отражения мира в сознании и языке, об общем и культурно-специфическом в видении мира.

При всем этом, однако, обнаружилось существенное своеобразие в предпочтениях российской когнитивистики — в общем ее уклоне и преоб-

ладающем акценте, которые заметно отличают ее от когнитивистики западной. Это своеобразие состоит в явном откате на платформу лингвистической относительности вплоть до радикального ее варианта — лингвистического детерминизма. Многие отечественные исследователи в области когнитивной семантики исходят не просто из вполне справедливых положений о своеобразии национальных культур, менталитетов, базисных аксиологических систем, о существенных различиях в концептуальных системах сознания и семантических системах языков, но относят эту специфику на счет различий в устройстве языков, в десигнаторном «покрые» языков. Это связано с принятием основных постулатов гумбольдтианской доктрины:

- десигнаторное устройство языка детерминирует видение мира;
- структурирование сознания, а соответственно и членение мира предопределено структурой языка как формы;
- в сознании, помимо возможного универсального, общего для всех и независимого от устройства языка понятийного концептуального уровня, существует еще особый концептуальный уровень, структурированный языком как формой, так что понимание требует промежуточных операций перевода с одного концептуального уровня на другой в том или ином направлении (это положение свойственно «мягкой», компромиссной версии лингвистической относительности.)

Принятие радикальной концепции лингвистического детерминизма сопряжено с введением целой серии параллельных понятий и терминов, относящихся к устройству и единицам собственно языкового концептуального уровня. Все они дублируют положение дел в «чистом» собственно концептуальном уровне сознания, но сопровождаются квалификационным уточнением «языковой». Набор их теперь достаточно велик: «языковой концепт, языковое значение, языковая концептуальная (концептивная) структура, концептосфера (русского) языка, языковая картина (модель) мира, языковое сознание (мышление)» и т. п. При этом «языковой» в этих терминах обозначает не просто «эксплицитно выраженное в данном языке его средствами», а нечто большее, а именно, «содержательно (концептуально) сформированное и структурированное сообразно десигнаторным формам данного языка».

Постулат прямой детерминации сознания (мышления) языковой формой методологически далеко небезвреден. Искажая реальное соотношение между языком и сознанием, он искажает реальные зависимости между языком и действительностью. Связь между ними мистифицируется. Поиск реальных механизмов отображения одного в другом, возможных причинно-сходственных и иных зависимостей между ними подменяется свободными фантазиями об особенностях национальных менталитетов, объяснение которых лежит даже не столько в своеобразии языков, сколько в личных субъективных пристрастиях авторов этих фантазий.

На деле же для обоснования гипотез об особенностях национальных базисных аксиологических, когнитивных и культурологических систем, о специфике коллективного и индивидуального видения мира и его членения на уровнях общего и частного требуется нечто несравнимо большее, а именно комплексный междисциплинарный анализ взаимодействия и взаимоотражения множества факторов, как-то: природная среда обитания, культурологическая, производственная и социально-политическая история народа, принятые им в пределах допустимой свободы варьирования базисные ценностные, религиозные, этические и мировоззренческие системы вместе с отражением их в продуктах и результатах фантазийно-игровой деятельности сознания.

Учет этих и иных факторов в совокупности позволит должным образом скорректировать те гипотезы об особенностях национального мышления, которые могут появляться на базе чрезмерно прямолинейных заключений от языкового материала. Разумеется, путь комплексного междисциплинарного анализа более трудоемок, но только таким образом можно подправить и сделать языковые данные научно-значимыми для целей когнитологии.

Надо заметить, что и сами понятия «языкового концепта, языковой нормы (модели) мира, языкового сознания» и т. п. не являются чисто лингвистичными, но нуждаются в обосновании с позиций смежных дисциплин «ментального цикла», т. е. психологии, психолингвистики, нейропсихологии, нейролингвистики, гносеологии и т. п. Обозначаемые этими терминами сущности должны быть «прописаны» в концептуальном аппарате этих наук и укоренились в общей системе ментальных образований. Между тем они просто «вбрасываются» в науку без обоснования и разработки и не прослеживаются в их связях в концептуальных структурах. Без обоснования и доказательств остается главное — само их существование, реальность и функциональная потребность в них как психических сущностей особого рода.

Следует особо указать, что в рассуждениях о соотношении языка и сознания (мышления), о значении языка для сознания-мышления абстрактно-обобщающего понятийного уровня нередко должным образом не разграничивают два аспекта их взаимодействия. Один, относящийся к формированию понятийного сознания и его тезауруса, и второй, относящийся к мере зависимости единиц и структур сознания-мышления от форм и средств их объективации.

Что касается формирования понятийного сознания и роста его концептуального тезауруса, то ни то, ни другое без языка невозможно, и тут нет вопроса. Что же касается второго аспекта, то есть достаточно свидетельств и аргументов в пользу того, что равно как мыслительные процессы понятийного (абстрактно-обобщающего и умозаключающего) уровня совершаются не единственно в логических формах, так и вербально знаковая

репрезентация и объективация не составляет неперемного условия для существования и функционирования концептуальных единиц и структур понятийного уровня. Раз сложившись на знаковой основе и постоянно имея под собой эту опору, ментальный мир обнаруживает достаточную автономию от средств знаковой объективации. Не следует упускать из виду, что духовный мир объективирует себя не только посредством языка, но еще другим и изначально гораздо более важным способом — через деятельность мыслящих субъектов. Именно в деятельностных контактах с действительностью изначально и определяющим образом формируется и структурируется сознание мыслящих субъектов. Язык же с его формальной структурой, с членением его форм в этих процессах вторичен и подчинен им.

Безусловно, знание большей частью приходит через язык. Роль языка в обогащении тезауруса концептов, равно как в его упорядочивании и систематизации, первостепенна. Однако и тут надо обратить внимание на два момента. Во-первых, новое знание и новые концепты поступают человеку со стороны по большей части уже обработанными общественным опытом и систематизированными относительно тех участков мира, к которым они принадлежат. Растет тезаурус, а вместе с ним растет и углубляется структурированное пространство охватываемого сознанием мира. И, во-вторых, освоение сознанием принципиально новых денотатов, а с ними и новых концептов, в силу диалектики общего и частного опирается и вырастает на базе и в согласии с тем, что нам известно о мире и его устройстве.

Есть внешнее объяснение общему крену общественной когнитивистики в сторону наиболее радикальной версии гумбольдианства. Помимо естественной реакции против догматической узости жесткой официальной идеологии прошлых лет, нивелировавшей в угоду принципа интернационализма всякое своеобразие национальных менталитетов и базисных аксиологических и этических систем, свою роль, несомненно, сыграли неудачи и тяготы реформирования прежней социально-политической системы. Эти неудачи и тяготы обнаружили поразительную жизнестойкость этносов и свойственных им базисных систем мировосприятия и поведенческих реакций на него.

Язык, разумеется, участвовал во всех этих процессах, но отнюдь не обуславливал их. Вины языка в том, что события приняли не лучший оборот, нет. Ответственность за последствия должны принять на себя те, кто использовали его как инструмент для своих целей. Его могли использовать иначе и для иных целей, и результат мог быть иным.

«Покрой языка», особенности формальной (десигнаторной) структуры языка, выявляемые как значимости его единиц в соотношении с выражаемыми ими значениями, во всяком случае не имеют отношения к тому, как люди видят мир и как расположены действовать в нем. Между тем принцип лингвистического детерминизма, будучи принят, методо-

логически, как сказано, далеко не безвреден, так как располагает к ошибочным заключениям.

Во-первых, раз укрывшись за авторитетом языка и приняв значимости его десигнаторов за их значения, считают это достаточным аргументом для спекулятивных выводов о специфике национального мышления и видения мира. Немало характерных примеров этому читатель может найти, например, среди докладов и сообщений X Конгресса международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы «Русское слово в мировой культуре. Концептосфера русского языка: константы и динамика изменений» (СПб., 2003).

Во-вторых, в сложившейся ныне тенденции не принято утруждать себя подтверждением, согласованием и корректировкой языковых гипотез более широкими интердисциплинарными соображениями с привлечением данных из антропологии, психологии, истории, сравнительной культурологии и т. д. Скоропалительные заключения о своеобразии национальных менталитетов не только не принимают во внимание возможную вариативность процессов исторического развития народов, но и не считаются с возможными стадийными различиями в уровнях исторического развития, достигнутого тем или иным этносом. В качестве характерной иллюстрации читатель может обратиться, например, к литературе (В. С. Жидков, К. Б. Соколов).

В-третьих. Что касается аппарата изложения, то работы этого круга отличаются подкупающей беззаботностью: теоретические позиции не заявляются, их справедливость принимается без обсуждения. Методическая сторона, как правило, элементарна: отбор материала и его интерпретация подносятся как самоочевидные. Какой-либо методический инструментарий, известный из лингвосемантики, психосемантики и психологии, вроде методов семантического дифференциала, семантического радикала, лингвистического эксперимента, анализ словарных дефиниций, толкований значений и т. п., не используется.

В-четвертых, для нынешнего состояния когнитологии свойственно дробление целостного представления людей о мире на множество обособленных моделей — обыденные, научные, религиозные, фантазийно-игровые, художественные, коллективные vs. индивидуальные, универсальные vs. идиоэтнические и т. д. Между тем большую ценность представляют когнитивные концепции синтеза: установление механизмов целостного взаимодействия и взаимопроникновения частных моделей, их иерархия, комплексный характер, проективность моделей, переплетение общего (универсального) с частным и особенным. Пока же когнитология находится на уровне расчленения, а(на)томизации и анализа целостного предмета — содержания, структуры и функционирования сознания.

И последнее — то, что подводит общий итог российского «тренда» когнитивной лингвистики. Отечественная когнитивистика в силу целой

совокупности импульсов, идущих не только и даже не столько из лингвистики, но еще больше по причинам, относящимся на счет событий во внутренней и внешней истории страны последних лет, вполне обоснованно озаботилась поиском причин, которые так властно и драматически предопределили и направили ход событий. События действительно взяли оборот самый драматический и нежелательный. Источник бед увидели в языке — не в сложнейшем комплексе разнородных причин и факторов — исторических, этнографических, конфессиональных, культурологических, климатических и географических, социобиологических и прочих, — а в устройстве языка, в том неосознанном когда-то сделанном выборе в пользу одного из множества возможных вариантов определенного покроя его семантической системы. Выбор был сделан, и потомкам якобы не осталось ничего иного, как испытать на себе его далеко идущие последствия.

Однако такой ответ узок и не верен по существу. Идя этим путем, лингвокогнитология изолирует себя от междисциплинарного научного сотрудничества и замыкается в кругу привычных, но ложных фантомов. Поэтому возврат к радикальному гумбольдтианству методологически ошибочен. На этом пути нельзя получить научно обоснованных ответов о духовном своеобразии народов.

Разумеется, не может быть речи о нивелировке духовных различий ни на уровне общего, универсального, ни на уровне частного и особенного, ни на уровне коллективных представлений об устройстве мира и базисных аксиологических систем, ни на уровне индивидуальных различий в концептах и этико-прагматических смыслов. Они велики и значимы, в них корень множества конфликтов. Они должны быть поняты, описаны и учтены в практике общественных взаимодействий между людьми, социумами и этносами.

Но нельзя заикливаться на одной стороне в ущерб другой — на значимых различиях в ущерб не менее значимым общностям духовной жизни. Всеу свое место и в должной мере. Недостаток обозначившегося уклона в нашей лингвокогнитологии, впрочем, даже не в одностороннем акценте на национальном культурологическом своеобразии, на концептуальный аксиологической особенности российского мировидения.

Ошибка — в отправной позиции, в материале и методе поиска отличий. Материалом служат, как сказано, значимостные особенности языка как формы, т. е. специфика распределения десигнатов (означаемых) по десигнаторам (означающим). А метод интерпретации замыкается показаниями десигнаторной формы языка, в то время как требуется комплексный междисциплинарный анализ. В результате заключения на этой узкой основе субъективны, гипотетичны и нуждаются в обосновании и перепроверке на более серьезной методологической основе.

Общий крен в сторону ложного постулата лингвистического детерминизма не только подталкивает к спекулятивным мистифицированным за-

ключениям о специфике языкового сознания и национального видения мира, к отказу от попыток комплексного междисциплинарного объяснения семантических фактов на причинно-следственной основе, но имеет еще одно пагубное для лингвокогнитологии и когнитивной науки в целом последствие. Ренессанс гумбольдтианства мешает видеть общенаучную перспективу когнитивизма как новой исследовательской парадигмы, уяснить причины, обусловившие успех и популярность этого направления, его подлинное назначение, цели и задачи. Ясности на этот счет нет даже у учредителей и энтузиастов нового направления (см., например, показательные в этом плане материалы первого номера журнала «Вопросы когнитивной лингвистики»).

Между тем назначение и успех когнитивизма объясняются очевидной причиной. Когнитивизм возник из необходимости заполнить вакуум в научных представлениях о реальном мышлении, о реальных механизмах и результатах живых ментальных процессов, об отражении мира в сознании, способах его концептуализации, категоризации и результирующих структурах знания. В этом и состоит центральная идея, *raison d'être* и назначение когнитивной науки. Дело в том, что во второй половине XX века была окончательно осознана недостаточность тех средств, которые предлагали для решения этих задач логика, психология и философия (теория познания).

Что касается логики, то в Новейшее время она последовательно устранилась от содержательной стороны мыслительных форм и законов мышления и замыкалась проблемами формализованной оценки истинности/ложности цепочек рассуждений. Было признано, что реальное мышление не ограничивается логическими формами, и из этого проистекала необходимость прояснить, каковы эти другие формы (мышление интуитивное, образно-поэтическое, аналогическое, мифологическое и иное), сколько их, какова их специфика, их операциональные механизмы, взаимодействие — взаимопроникновение и дифференциация. Эти сложные вопросы выходят далеко за пределы возможностей и задач формальной логики и требуют комплексного интердисциплинарного решения «с чистого листа» и на более широкой методологической основе.

Таков был вызов, принятый когнитивной наукой. Возникновение и расцвет когнитивистики в значительной мере обусловлены недостаточностью формальной логики в качестве науки об общих законах и формах мышления и неадекватностью предлагаемых ею чрезмерно идеализированных решений применительно к реальности живого мышления.

Психология при обращении к проблемам сознания — мышления также склонна ограничивать свою задачу определенным аспектом: ее заботят не столько мыслительные процессы и их идеальные результаты сами по себе со стороны их всеобщности, сколько их протекание, связь и зависимость от материального субстрата психической деятельности в

тесной привязке к индивидуально-личностным особенностям субъекта. Это наглядно отразилось в характере и структуре ее ответвлений, ср. зоопсихология, нейропсихология, патопсихология, психогенетика, психофизиология и др.

Что касается философии, то ее подход к проблематике сознания — мышления противоположен психологическому. В теории познания (гносеология, онтология и эпистемология) она занимает позицию на другой стороне спектра: ее подход максимально обобщен и абстрактен, устанавливаемые в гносеологии закономерности мышления носят универсальный характер и максимально удалены от конкретных систем, средств и способов их объективации и знаковой репрезентации.

Напротив, когнитивная наука берет на себя труд заполнить зияющую брешь в научных представлениях о процессах и формах духовной деятельности, о содержании, структуре и механизмах реального мышления. И решение этой задачи требует комплексного междисциплинарного анализа, сочетающего анализ средств знаковой репрезентации мыслительных процессов с анализом их деятельностной объективации (Никитин).

Таково назначение, цели и место когнитивистики в современной науке. Очевидно, что гумбольдтианский уклон в когнитологии никак не способствует верному пониманию причин, обусловивших расцвет этого междисциплинарного направления, ни правильному представлению о его предмете и масштабе стоящих перед ним задач.



Вопросы когнитивной лингвистики—2004. Тамбов, 2004. № 1.

Жидков В. С., Соколов К. Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власть. СПб., 2001.

Никитин М. В. Основания когнитивной семантики. СПб., 2003.

Русское слово в мировой культуре. Концептосфера русского языка: константы и динамика изменений. X конгресс МАПРЯЛ. СПб., 2003.

3.5. О понятиях «языковое сознание», «языковая картина (модель) мира», «языковой концепт», «языковое значение» — что это значит?

Цель всякой речи состоит в передаче значений. Сделать это возможно, лишь прибегнув к знакам. Универсальной первичной знаковой системой является естественный язык. Генетически язык выступает в качестве необходимого условия, обеспечивающего абстрактный обобщающий уровень сознания. Однако отношение между десигнаторами (означающими) и десигнатами (означаемым, значением) далеко от одно-однозначного. Между ними существуют сложные перекрещивающиеся отношения (ср. явления полисемии, омонимии, синонимии). Знак обеспечивает понятийно-умоза-

ключающий, человеческий уровень сознания; без языка невозможны высшие структуры связей в мозгу, соответствующие этому уровню сознания. Но, сложившись, эти структуры обладают достаточной самостоятельностью по отношению к механизму, который обеспечил их формирование и в котором они выявляются, — к языку. Концептуальные единицы разного рода, говорим ли мы о концептах, понятиях и представлениях, говорим ли мы о значениях, опираются на знак, но содержательно ориентируются на действительность, опыт, деятельность. В указанном смысле значения независимы от десигнаторов. Внутренние соотношения десигнаторов, построенные исключительно на их форме, не имеют самостоятельной ценности. Они имеют смысл постольку, поскольку отражают известные соотношения значений. Отвлекаясь от генезиса сознания и языка и имея в виду сложившееся сознание и язык, можно сказать, что десигнаторы необходимы постольку, поскольку они способны сигнализировать определенные значения. Любая система десигнаторов, какими бы ни были в ней внутренние формальные соотношения, будет хороша, если она достаточно экономно (а предел колебаний, надо оказать, весьма широк!) обеспечивает эту функцию, в том числе и такая, в которой формальные соотношения десигнаторов не вполне упорядочены (т. е. неоднозначно повторяют соотношения значений). Строгая коммутация единиц планов выражения и содержания является никогда недостижимым идеалом в естественных языках и существует больше в развитом воображении некоторых лингвистов, чем и действительности. Попытки установить последовательный изоморфизм между единицами планов выражения и содержания, между структурами первого и второго приводят к тому, что, отталкиваясь от выражения, приписывают сознанию несуществующие единицы содержания и несуществующие структуры единиц содержания. Идеи этого рода коренятся в отождествлении языка с сознанием, свое крайнее выражение они находят в гумбольдтианских представлениях о том, что структура языка предопределяет структуру мышления (В. Гумбольдт, Э. Кассирер, И. Трир, неогумбольдтианство, Э. Сепир, Б. Уорф). Исходя из этих позиций, приходится всякие случайности в составе и строении языка возводить в ранг закономерных особенностей его структуры и считать их показателями «национального мышления».

На деле же концепты имеют структуру, системную организацию, называемую в конечном счете структурой отражаемого мира и глубиной его разработанности в опыте, в совокупном содержании и суммарной структуре вещественной и духовной деятельности общественного человека. Между структурой концептов и структурой форм, их выражающих, нет последовательного изоморфизма. Отсутствие упорядоченной коммутации единиц плана выражения (десигнаторов) и плана содержания (значений, десигнатов) особенно наглядно у номинативных единиц языка (слова и словосочетания).

Но иначе и не может обстоять дело в естественном языке. В общественной практике людей происходят непрерывные изменения, осмысляемые сознанием. Язык наследует свой материал и структуру от предшествующих эпох, но должен выражать нечто постоянно изменчивое по составу и объему. Для этого он использует старый свой материал, подчиняя его новым задачам выражения, или вводит новые единицы. Его система не может быть ни изоморфной сознанию, ни завершенной. Она вынуждена постоянно перестраиваться. Завершенная система плоха тем, что недостаточно динамична в условиях непредсказуемых изменений.

Структурализм, безусловно, ценен тем, что открыл в языке новый аспект — аспект системности его единиц, но он также плох тем, что гиперболизировал этот аспект сверх меры. Характеристика единиц через их соотношения в системе может быть достаточной, только если имеем дело с завершенной системой. Следует ясно представить себе, что системность в языке есть результат корреляций его единиц с концептами-значениями. В естественных языках нет до конца упорядоченной корреляции между единицами формы и смысла, нет последовательной коммутации единиц плана выражения с единицами плана содержания, а значит, нет и последовательно системных соотношений внутри единиц плана выражения. Гипертрофированное представление о системности языка вынуждало структуралистов ставить значимость на место значения.

Но если нет до конца упорядоченной корреляции между десигнаторами и десигнатами и, как результат, нет последовательно системных соотношений между десигнаторами, то изучение последних тем более невозможно без обращения к значению. Этот вывод никак не парадоксален, если учесть, что в условиях неполной системности внутреннего, через систему, характеристика единицы не может быть достаточной.

Лингвистика докогнитивистских времен сложилась преимущественно как наука о десигнаторах словесных знаков. Формальной стороне отдается предпочтение перед содержательной. Классификационные схемы строятся преимущественно исходя из формы, а не значения. К примеру, если одно слово имеет несколько значений, то за исключением особых случаев (омонимия) считается, что они оставляют одну единицу. Напротив, если несколько разных слов выражают одинаковые или близкие значения (синонимия), они признаются разными единицами. Однако в классификациях грамматических морфем предпочтение отдается значению перед формой (например, в английском языке *-es*, *-en*, а также некоторые чередования звуков объединяют в одну морфему множественного числа по общности значения, несмотря на различие десигнаторов: *box—boxes*, *ox—oxen*, *goose—geese*). Равным образом и супплетивные грамматические формы объединяют в одном слове. Русское *крестить* имеет значения: 1) «обращать в христианство» и 2) «осенять крестом», которые по общности десигнатора лексикограф склонен рассматривать как два значения одного слова.

Те же значения в английском языке передаются двумя десигнаторами 1) *baptize*, 2) *cross* и считаются разными словами. Денотаты русск. *кишка* в английском могут быть названы словами 1) анатом. *intestine, gut* и 2) *hose* (рукав для полива, шланг). Лексикограф определяет число слов соответственно числу десигнаторов, причем слову «кишка» будут приписаны два, а то и одно значение.

Можно предположить, что в перспективе развития лингвистики два подхода: от десигнаторов к концептам и от концептам к десигнаторам — будут уравнены в правах. В самом деле, изучение структуры языка, безусловно, не имеет самостоятельной ценности. Не следует упускать из виду прагматическую, полезностную перспективу лингвистических штудий. Непосредственным назначением лингвистики является изучение корреляций между формой и содержанием, десигнаторами и концептами-значениями в словесных знаках. Знание этих корреляций необходимо человеку для совершенствования знаковой коммуникации. С этой целью и занимаются углубленным изучением всех уровней структуры языка. До сих пор эти корреляции изучались преимущественно под углом зрения десигнаторов. Существуют словари слов-десигнаторов, но только начинается создание словарей концептов. Создан синтаксис слов-десигнаторов, но нет еще синтаксиса значений. Между тем противоположный подход имеет право на существование, и это подтверждается современным развитием лингвистики. Словари синонимов и антонимов, тематические словари отталкиваются от концептов, компонентный анализ в известном смысле создает морфологию значений, ведутся исследования по композиционной семантике сложных знаков. Обратим еще внимание на то обстоятельство, что толковые или двуязычные словари стремятся дать справа от десигнаторов слов не просто синонимы, толкования или переводы слов, но сигнализировать, «подать» именно концепты-значения (а также указать особенности употребления слова в его значениях).

Концепты, а вместе с ними и значения в достаточной мере автономны от десигнаторов. Содержательная дискретизация концептов обусловлена действительностью и опытом (хотя в генетическом плане десигнаторы и собственно знаки составляют неперенное условие значений понятийного уровня). Между значениями и десигнаторами существуют сложные, перекрещивающиеся соотношения. Актуализация и манифестация этих соотношений соответственно коммуникативной задаче и составляет существо речевой деятельности. Эти два положения имеют методологический характер и должны учитываться при решении всех проблем когнитивной семантики и лингвистической теории значения.

Отражающий аппарат в живых системах способен не только к восприятию ощущений, но и к их сличению. В функцию нервной системы входит не только восприятие внешних раздражений, но и сличение, сравнение,

отождествление и различение ощущений. Иными словами, кроме механизма ощущений, имеется механизм ощущения собственных ощущений. Живой организм, очевидно, ориентируется в физиологических процессах собственной нервной системы. Этот механизм, естественно, развит пропорционально типу нервной системы. Без этого механизма у человека (т. е. на знаковом абстрактно-обобщающем уровне сознания) не было бы утверждений, вроде «помню, не помню, хорошо (плохо) помню, понимаю, не понимаю, хорошо (плохо) понимаю, знаю, не знаю, хорошо (плохо) знаю» и т. п. Память принадлежит к этому вторичному механизму центральной нервной системы, составляя основу его. Именно на субстратной основе развитого механизма вторичных ощущений происходит идентификация одного и того же предмета, классификация предметов по общим признакам, различение индивидуальных предметов и классов, устанавливается степень сходства/различия предметов и свойств.

Одно из подтверждений реальности механизма вторичных ощущений находим в нашем восприятии и обозначении недискретных объектов, например, в освоении ребенком основных цветообозначений. Ребенок осваивает систему основных цветообозначений на основе ограниченного числа примеров. При этом ему каждый раз указываются предметы со специфическим оттенком данного цвета. В дальнейшем ребенок называет некий цвет как, скажем, «зеленый» по сходству ощущения, даже если данный оттенок им наблюдается впервые.

В этой связи следует также упомянуть синестезию. Безусловно, что отражающая система не вполне изоморфна отражаемому миру, она имеет свой субстрат, свою организацию, и некоторые ее особенности обусловлены ее субстратом. За счет некоторых особенностей материального субстрата отражающей системы некоторые разные свойства объективного мира отражаются в ней как одинаковые или сходные, близкие. Это сходство устанавливается механизмом вторичных ощущений, а затем оно фиксируется в семантических структурах и употреблении соответствующих слов: *острый нож, слух, голод, острое зрение* и т. п.

Значение — концепт, связанный знаком (Никитин, 1974). Когнитивные значения знаков — те же концепты, понятия и представления, поставленные в связи с десигнаторами. Как и всякие результаты отражения, значения обрабатываются механизмом вторичных ощущений и в результате образуют определенные структуры нервных связей в мозгу. Такова субстратная основа установления тождества/различия значений, определения, синонимичности/антонимичности знаков, степени близости — различия значений, определения поля применимости знака (его семантического потенциала). Механизм вторичных ощущений производит, таким образом, оценку значений по содержанию, определяет их взаимные связи и соотношения и их распределение в семантическом пространстве. Именно этот механизм составляет субстратную основу интуитивного отождествле-

ния/различения значений, определения предела полисемии и отграничения полисемии от омонимии и т. д.

Механизм вторичных ощущений — субстратная (материальная) основа формирования системных связей в сознании. Его существование несомненно. Однако ни о самом этом механизме, ни о структурах нервных связей в мозгу пока не известно достаточно. Их исследование возможно методами психофизиологии, психологии, нейропсихологии и нейролингвистики, психолингвистики и лингвистики. В последнем случае модели системных соотношений значений создаются на основе собственно лингвистических критериев, исходя из того, что эти соотношения спроецированы в речь и достаточно в ней выявлены.

Насколько отчетливо разграничиваются значения? Насколько четко и глубоко разработана в человеческой деятельности и опыте соответствующая денотатная область, насколько важны и резко проводятся различия в самой человеческой практике. Степень упорядоченности, разграниченности и систематизированности значений зависит от структуры человеческого опыта и деятельности в соответствующей предметной области. Значений в некотором континууме выделяется столько, сколько подразделений в нем существенны для человеческой практики. И значения эти настолько дискретны, насколько существенна и отработана в опыте дискретизация соответствующего участка денотативной сферы. Известно, что мысль испытывает возрастающие трудности на пути от конкретного к абстрактному, от частного к общему все более высокого порядка, от понятия о вещах к понятиям о свойствах (признаках и отношениях). Ее четкость на этом пути в общем затемняется, а границы понятия как бы размазываются. Соответственно этому имена вещей (часть существительных — имена нарицательные, кроме абстрактных) обнаруживают, как правило, более четкий семантический состав, чем имена свойств (прилагательные, наречия, глаголы, часть существительных).

Описание семантики слов, фиксирование свойственных им значений неизбежно связано с известным огрублением, конструктивацией, схематизацией действительного положения вещей. Следует быть готовым к тому, что некоторые из проведенных различий значений и некоторые определения содержания значений неизбежно окажутся более жесткими, чем реальность речевой деятельности.

Кроме того, разницу в значении некоторых словесных знаков часто бывает затруднительно сформулировать по той причине, что в них отражена незаконченная дифференциация понятия. Лингвисты нередко подчеркивают исключительную важность языка в осуществлении духовной жизни людей, и это справедливо как по существу, так и по соображениям престижа лингвистики, которого она заслуживает. Но вместе с тем надо признать, что, во-первых, некоторые формы в языке соответствуют прошлому духовной жизни, во-вторых, некоторые формы приспособлены для

нового содержания и, наконец, содержание языковых форм выявляется настолько определенно, насколько разработан в деятельности и духовной жизни людей соответствующий участок действительности.

Концепты, как и всякого рода другие идеальные (психические) сущности, производные, вторичны по отношению к действительности и человеческой практике. Это принципиальное положение не отменяется тем, что многие из концептов являются в той или иной мере конструктами сознания, а некоторые и просто фантастичны. В сознании человека все дано и дифференцировано так, как в деятельности человека. Концепты важны как звено деятельности человека, обеспечивающей ему возрастающую независимость от природы. Людей в конечном счете интересуют денотаты значений, но для того чтобы ориентироваться среди денотатов, надо ориентироваться среди значений. Таким образом, всякий пользующийся языком подготовлен к тому, чтобы практически различать и отождествлять значения единообразным образом. Он подготовлен к этому всем опытом его коммуникативной деятельности как части общей совокупной человеческой деятельности. Он практически различает и отождествляет единообразно с другими людьми в той мере, в какой он сам включен как часть в коллективную деятельность людей; индивидуальная «система значений» в той мере однородна норме коллективного языка, в какой индивид включен, разумеется, в широком смысле, в деятельность коллектива. Вместе с тем первая составляет часть второй.

Итак, основания отождествления и дифференциации значений коренятся в структуре и дискретизации практики. Общность действительности, общность опыта у разных людей, общность коммуникативной деятельности обеспечивают достаточно единообразную картину дискретизации семантических континуумов у разных людей и обеспечивают достаточную общность содержательного наполнения значений. Напротив, различия в указанных факторах соответствуют определенным различиям в составе и строении индивидуальных семантических систем и в содержательной глубине значений. Способность отождествлять/разграничивать значения языковых форм коренится в структуре человеческой практики, фиксированной сознанием. В этом смысле словарь является некоторой моделью разрешающей способности человеческого сознания. Языковые (лингвистические, в том числе лексические) значения не составляют каких-либо особых когнитивных (мыслительных, познавательных) форм, отличных от понятий и представлений. Заблуждения на этот счет, широко, надо сказать, представленные в лингвистике, также и отечественной, питаются за счет двух источников. В их основе лежит, во-первых, понимание понятий в духе платоновской философии как предустановленных независимых от человеческой деятельности сущностей и, во-вторых, отождествление языка и мышления (сознания) в духе идей В. Гумбольдта. Кроме этого, имеет также место неоправданное расширение термина «значение» у некоторых авторов.

В первом случае полагают, что лексические значения, если и относятся к понятиям, то к понятиям содержательно бедным, построенным только на характерно-отличительных свойствах вещей. С этой целью противопоставляют понятия повседневные, обыденные, понятия здравого смысла, формальные понятиям научным, энциклопедическим, содержательным. Первые и есть значения слов в языке, они могут быть специфичны от языка к языку. Вторые суть достояние науки, они вненациональны, содержательно глубоки и раскрывают существенное в вещах.

Однако языковые значения — это отнюдь не определения или толкования в толковых словарях, а понятия также не сводятся к строгим и развернутым определениям в научных трактатах. И то, и другое имеет местонахождение в голове человека, и они не отличаются друг от друга как мыслительные формы разного рода и разного уровня. Человек не образует о вещи понятий двоякого рода: одно обиходное, достаточное для отличения данной вещи от других и только, а другое — ученое, глубокое, построенное на существенных признаках вещи, отражающее множество признаков вещи в их взаимных зависимостях и соотношениях. У него есть единое понятие, глубина и содержательность которого обусловлена содержательностью его опыта данной вещи, характером всей его деятельности, относительно которой данная вещь выступает как объект. Новое, более глубокое знание реже отвергает старое знание, оно чаще включает его, указывая его ограниченность. Человек не созерцает вещи, а осваивает их. Для этого ему мало знать отличительные свойства, а надо знать существенные свойства, и он не проводит специального различия между теми и другими и не образует двух понятий о вещи — он углубляет одно понятие. Естественно, что в его памяти разные свойства вещи могут быть представлены с разной отчетливостью и выпуклостью, но ведь и тут не проводится различия между просто отличительными и существенными свойствами — ярким предстает то, что больше всего навязывается практикой, опытом, деятельностью.

Вненациональных понятий как идеального вневременного эталона не может быть. Но равным образом нет и национальных понятий, если под этим подразумевается «собственное видение мира», «специфическое членение действительности», не мотивированное условиями жизни данного коллектива.

Понятия, безусловно, являются исторической, развивающейся категорией. Мысль имеет такие членения и такое содержание, какие обуславливаются общественной практикой людей в известный исторический период и условиями того участка объективного мира, в которых развертывается деятельность людей. И если развитие и углубление понятий совершается единообразно, то это обусловлено единством вещного мира и общностью магистрального направления развития человеческой деятельности и самого человечества, а вовсе не стремлением реализовать заранее предустанов-

ленный эталон. Увы, такого эталона нет, и самое научное понятие не исчерпывает сущности вещи. Оно лишь более или менее удовлетворительно для определенного уровня общественной практики людей. История науки показывает, что формулирование новых, более глубоких понятий, решая одни познавательные проблемы, открывает еще более широкий фронт проблем.

В сознании людей могут быть разные составы понятий, люди могут иметь превратные, ошибочные понятия, у них могут быть различные понятия об одном и том же, их понятия могут быть более или менее глубокими и содержательными, они могут закреплять в понятии существенные или несущественные общие свойства, наконец, у них могут быть понятия о чем-то несуществующем и т. д., но понятие во всех случаях остается понятием, т. е. определенным типом мыслительных форм, обобщающей абстракцией. Понятия одинаковой предметной направленности могут различаться их содержательностью, адекватностью сущности вещей, но нет оснований противопоставлять «обыденные» понятия («здравый смысл») и научные понятия как мыслительные формы разного уровня. В сознании человека нет двух миров: мира строгих, глубоких научных понятий и поверхностных понятий о вещах, достаточных лишь для их различения. Наука, понятно, предъявляет повышенные требования к значению своих терминов, но принципиального различия между научными и «обыденными» понятиями не должно быть. Могут быть временные размолвки и известная дистанция. Наука постоянно подтягивает здравый смысл до своего уровня, но это было бы невозможно сделать, если бы они отличались одно от другого как мыслительные формы разного рода и уровня. Еще меньше оснований видеть в лексических значениях слов исключительно выражение обыденных понятий. Разграничение в содержании понятий обыденного и научного — занятие, невыполнимое с самого начала.

Нет также оснований пойти в решении вопроса о природе языковых значений по пути, предложенному В. Гумбольдтом. Попытки доказать, что язык формирует мировоззрение людей, создает собственную метафизику, предопределяет характер понятий о мире, заставляет членить мир соответственно своему покрою, определяет структуру плана содержания, — все эти попытки не убедительны. Иногда языковые значения объявляют категорией, отличной от понятий и значение максимально «разлучают» с концептом. Значение при этом подменяют формальными (не содержательными) характеристиками слова. Так значимость, т. е. парадигматическую характеристику десигнатора, называют также его дифференциальным значением. Валентность десигнатора и шире — его дистрибутивно-валентностную, т. е. синтагматическую характеристику, — называют также его синтаксическим значением. В некоторых семасиологических концепциях разграничение языковых и внеязыковых значений производят не на основе различий в когнитивных формах (такое разграничение трудно

согласовать с современными научными представлениями), а на основе разграничения сфер компетенции лингвистики и прочих наук. Полагают, что значения, выраженные в словаре естественного языка, распадаются на две группы: те, что принадлежат собственной системе естественного языка, — языковые значения, и те, что принадлежат искусственным языкам наук и других терминологических областей, внеязыковые значения. Первые входят в предмет лингвистики, вторые — компетенция прочих наук и лингвиста не должны интересовать.

Вся трудность состоит, однако, в том, чтобы очертить круг языковых значений. Ведь при этом подходе к ним нельзя отнести никакие значения, которые так или иначе связаны со знанием, хотя бы эти знания и не подходили под ригористическую схему наук.

До сих пор мы рассматривали правомерность разграничения внеязыковых и языковых значений применительно к лексическим значениям слов. Но следует также обратиться к грамматическим значениям. Не наталкивают ли различия в грамматическом строе языков и выражаемых ими грамматических значениях на мысль о разграничении внеязыковых и языковых значений?

Прежде всего надо заметить, что сам факт различий в грамматическом строе языков непосредственно свидетельствует не о различиях в выражаемых языками концептах-значениях, а лишь о различиях в способе выражения значений, о различиях в языковом статусе значений. Противопоставление лексического и грамматического значений основано на степени синтаксической автономии соответствующих языковых единиц. Грамматические значения не номинированы в речи отдельно от лексических, они лишь модифицируют последние (например, словоформа *Петру* не номинирует представление о Петре + понятие об адресате — последнее понятие номинировано словами *адресат, получатель* и т. п., — эта словоформа номинирует представления о *Петре-адресате*). Лексическим является языковой элемент и его значение, если он обнаруживает достаточную синтаксическую автономию, способность употребляться и выражать свое значение в достаточной мере самостоятельно, независимо, без помощи других элементов (к примеру, он способен составить эллиптическое предложение). Грамматическим является языковой элемент и его значение, если он не обладает достаточной синтаксической автономией и не способен номинировать в речи присущее ему значение без помощи других элементов (подробнее см.: Никитин, 1973).

Общеизвестно, что языки различаются выражаемыми в них грамматическими значениями: 1) то, что в одном языке выражено грамматически, может не иметь регулярного и обязательного показателя в другом; 2) однородные грамматические значения в двух языках могут быть полностью тождественными, а обнаруживают «видовое своеобразие». Но ни то, ни другое обстоятельство не дает оснований для того, чтобы

усматривать в грамматических значениях особый вид или уровень концептуальных единиц.

Итак, подводя итог этому вопросу, приходится признать, что всякая попытка установить существенное различие между языковыми и внеязыковыми значениями ставит лингвиста перед необходимостью ответить на вопрос: в чем состоит своеобразие языковых значений, сравнительно с внеязыковыми, в когнитивном, познавательном плане? Составляют ли они особую форму отражения мира особый концептуальный уровень на переходе от мысли к языку как форме и какой потребностью обусловлена, чем и как оправдан такой особый концептуальный уровень? Что и как им отражается? Ответ на эти вопросы уже был дан выше. Обособив языковые значения, отдав преимущество в корреляциях между мыслью и выражением десигнатора, мы должны или неправомерно расширить понятие значения (подменив его значимостью) или же приписывать сознанию несуществующие единицы и структуры — несуществующие, поскольку они не мотивированы никакой потребностью и необъяснимы с точки зрения функционального назначения сознания (психики).

Нельзя представлять себе естественный язык как механизм для приема и передачи нестрогих, интуитивных, обыденных, малосодержательных значений и противопоставлять его в этом плане языкам наук. Естественный язык является первичной универсальной знаковой системой, при его посредстве происходит становление у человека (в филогенезе и онтогенезе) абстрактно-обобщающего сознания. Значения, для которых естественный язык служит в качестве транслятора, варьируют от полурефлекторных актов создания до абстрактно-обобщенных понятий строго фиксированного содержания. Так называемые языки наук противопоставляются естественному языку постольку, поскольку часть может быть противопоставлена целому. Действительно противопоставлены не естественный язык и языки наук, а естественный язык как первичная универсальная знаковая система и вторичные знаковые системы (так называемые коды, или искусственные языки). Вторичные знаки и знаковые системы интерпретируются в терминах первичного языка и возникают в условиях коммуникативной недостаточности или неэкономности первичных, т. е. словесных, знаков. Именно по той причине, что естественный язык и языки наук соотносятся как целое и части, естественный язык может служить инструментом при синкретизации наук и понятий единой объектной отнесенности.

Иным представляется соотношение естественного и формализованного языка. Естественный язык складывается под воздействием многих влияний, в том числе влияний разнородных и противоречивых. Его категории и синтаксические структуры могут отражать прошлые мысли, корреляции между содержанием и десигнаторами могут быть излишне осложненными, непоследовательными и даже двусмысленными, что может осложнять работу мысли (особенно в целях умозаключений) и взаимное

понимание. Вместе с тем естественный язык доставляет средства для осознания и выражения собственных недостатков, непоследовательностей и противоречий (метаязык). Поскольку эти средства содержатся в самом естественном языке, формализованный язык логики в идеале является не более и не менее как улучшенным вариантом естественного языка на уровне глубинных структур, но в узком диапазоне специальных целей мыслительности.

Подводя итог обсуждения вопроса о правомерности вычленения языковых значений в противовес внеязыковым, следует еще раз отметить, что источником заблуждения является представление о понятиях как предустановленных «эталонных» сущностях, отчуждение их от человека, его опыта и деятельности. Научные понятия (быть может, точнее будет сказать, понятия специалиста) наиболее содержательны, и поэтому полагают, что они и есть эталон или во всяком случае близки к нему (полезное убеждение, однако оно не подтверждается историей науки — история ставит все научные понятия в общий ряд рабочих абстракций, достаточных лишь для определенного времени и определенного уровня знания и потребностей). На долю же языка при этом приходятся значения, остающиеся за вычетом всякого специального знания. Однако обыденное знание не отгорожено непреодолимой стеной от специальных знаний, напротив, в современном мире наука все более широко охватывает те области, которые ранее освещались только слабым — и нередко неверным — светом здравого смысла. Что остается в таких условиях делать сторонникам разграничения языковых и внеязыковых явлений? Во-первых, предположить, что существуют два вида понятий-значений при одинаковой предметной соотнесенности: 1) внеязыковые, научные, энциклопедические, специальные, универсальные, глубокие, содержательные, раскрывающие сущность вещи и структурные соотношения свойств в ней и 2) языковые, формальные, национальные, построенные на отличительных свойствах вещи. Однако в таком случае непонятно, чем обусловлено наличие значений второго вида, что в практике людей мотивирует их. Кроме того, отсутствуют какие-либо свидетельства о систематическом противопоставлении таких двух видов понятий в сознании и, как следствие, неясны основания для их содержательного различия. Во-вторых, предположить в духе гумбольдтианства и этнолингвистики, что существует некоторый «промежуточный мир» сознания, образуемый языком. Структуры десигнаторов возводятся в ранг национального мировоззрения.

Наконец, можно предположить, что непрерывное распространение и рост удельного веса специальных научных знаний в жизни людей приводят к постоянному сужению сферы естественного языка в семиотической деятельности человека в том смысле, что в речи все больше передаются специальные научные понятия, а не так называемые языковые значения. Подобное решение также неприемлемо. Языковые значения оказались бы

полностью оторванными от прогресса знаний, роль естественного языка в развитии сознания оказалась бы приниженной. Представляется более конструктивной толковать соотношение естественного языка и специально-научных языков как соотношение целого и частей. В таком случае прогресс знания не ведет к разрыву между естественным языком и языками наук на семасиологическом уровне, а имеет результатом постоянное подтягивание первого до уровня вторых. Являясь первичной универсальной знаковой системой, естественный язык тем самым выступает также в качестве медиатора по отношению к специально-научным языкам и служит в качестве инструмента для синкретизации разноаспектных научных понятий одинаковой объектной направленности.

Общий вывод сводится к тому, что не удастся найти разумных оснований, которые бы оправдывали существование таких ментальных структур, как «языковой концепт» и «языковое значение», а вместе с ними и существование «языкового сознания» в собственном смысле этих слов. Иначе говоря, не удастся оправдать необходимость в особом, собственно языковом концептуальном уровне сознания, который бы членился на единицы сообразно членениям языка как формы и который был бы необходимым промежуточным звеном на пути от языка к тем единицам и структурам сознания, которые формируются в нем как результат непосредственного взаимодействия с миром, как отражение структур этого мира и структур деятельности человека в этом мире. Существование системы концептуальных единиц, промежуточных между реально выявленными мышлением и языковым выражением, не мотивировано никакой потребностью и не подтверждается практически в сколько-нибудь строгом анализе. Концепты-значения не конституируются языковой формой: они ею объективируются и выражаются. Сознание структурируется в конечном счете вещественной и духовной деятельностью общественного человека в действительном мире и отражает структуру того мира, в котором эта деятельность разворачивается.

Выражения «языковое сознание» и идеологически по смыслу производные от него выражения «языковая картина» и «языковая модель мира», «языковой концепт» и «языковое значение» вряд ли оправданы в смысле «концептуальные структуры, отличные от собственно мыслительных, соответствующие и обусловленные членениями языковой формы». Если эти выражения и имеют право на употребление, то только в смысле (начнем с конца): 1) языковое значение — значение (концепт), выраженное в языке (плеоназм); 2) языковой концепт — концепт как значение языковой формы (т. е. приблизительно то же, что «языковое значение»); 3) языковая картина (модель) мира — образ (модель) мира, рисуемый (актуализируемый) в сознании в результате осмысления языковых выражений; 4) языковое сознание — сознание понятийного (т. е. абстрактно-обобщающего) уровня, обеспечиваемого освоением языка.



ЛЭС: Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990 (см. статьи: «Грамматическое значение», «Денотат», «Лексическое значение», «Понятие», «Референт», «Референция», «Семантика», «Семасиология», «Сигнифика» и др.).

Никитин-1: Никитин М. В. Миф в структуре сознания // Актуальные проблемы стилистики декодирования, теории интертекстуальности, семантики слова и высказывания. СПб., 1998.

Никитин-2: Никитин М. В. Об основаниях семантической классификации прилагательных: что надо относить к относительным прилагательным // *Studia linguistica*. Вып. 6. СПб., 1998.

Падучева Е. В. Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 1985.

Никитин-3: Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1996. С. 149 и след.

Ляпин С. Х. Концептология: к становлению подхода // Концепты: Сб. научных трудов. Вып. 1. Архангельск, 1996.

Никитин-4: Никитин М. В. О тождествах с когнитивных позиций (Рукопись). 2001.

Никитин-5: Никитин М. В. Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974. Разд. 3; Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения. М., 1988. С. 49 и сл.

Никитин-6: Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1996. Гл. 2.

Список рекомендуемой литературы

Апресян Ю. Д. 1) Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974; 2) Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурной лингвистики // Проблемы структурной лингвистики. М., 1963.

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М., 1976.

Аспекты семантических исследований / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, А. А. Уфимцева. М., 1980.

Белявская Е. Ф. Семантика слова. М., 1987.

Богданов В. В. Семантико-синтаксическая организация предложения. Л., 1977.

Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.

Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.

Вольф Е. М. Грамматика и семантика прилагательных. М., 1978.

Ворохин С. В. Основы фоносемантики. Л., 1982.

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1976.

Кацнельсон С. Д. 1) Содержание слова, значение и обозначение. М.; Л., 1965;

2) Типология языка и речевое мышление. М., 1972.

Клаус Г. Сила слова. М., 1967.

Колишанский Г. В. 1) Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984;

2) Контекстная семантика. М., 1980.

Комлев Н. Г. Компоненты содержательной структуры слова. М., 1969.

Кубрякова Е. С. 1) Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981; 2) Части речи в ономаσιологическом освещении. М., 1978.

Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. М., 1965.

Литвин Ф. А. Многозначность слова в языке и речи. М., 1984.

Медникова Э. М. Значения слова и методы его описания. М., 1974.

Морковкин В. В. 1) Идеографические словари. М., 1970; 2) Опыт идеографического описания лексики. М., 1977.

Налимов В. В. Вероятностная модель языка. М., 1974.

Никитин М. В. 1) Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974; 2) О семантике метафоры // ВЯ. 1979. № 1; 3) Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). М., 1983; 4) Основы лингвистической теории значения. М., 1988.

Новиков Л. А. Семантика русского языка. М., 1982.

Новое в лингвистике. М., 1960 (вып. I); 1962 (вып. II); 1970 (вып. II); 1970 (вып. V).

- Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978 (вып. VII); 1981 (вып. X); 1982 (вып. XI и XIII); 1983 (вып. XII и XIV).
- Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышление. М., 1971.
- Плотников Б. А.* Основы семасиологии. Минск, 1984.
- Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
- Сачков Ю. В.* Введение в вероятностный мир. М., 1971.
- Селиверстова О. Н.* Компонентный анализ многозначных слов. М., 1975.
- Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. М., 1971.
- Семантические типы предикатов. М., 1982.
- Степанов Ю. С.* 1) В трехмерном пространстве языка. Семантические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985; 2) Имена, предикаты, предложения. М., 1981.
- Стернин И. А.* Лексическое значение слова в речи. Воронеж, 1985.
- Сусов И. П.* Семантическая структура предложения. Тула, 1973.
- Уфимцева А. А.* 1) Лексическое значение. М., 1986; 2) Слово в лексико-семантической системе. М., 1986; 3) Типы словесных знаков. М., 1974.
- Чахоян Л. П.* Синтаксис диалогической речи современного английского языка. М., 1979.
- Чейф У. Л.* Значение и структура языка. М., 1975.
- Шаховский В. И.* Эмотивный компонент значения и методы его описания. Волгоград. 1983.
- Шафф А.* Введение в семантику. М., 1963.
- Шмелев Д. Н.* 1) Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964; 2) Проблемы семантического анализа лексики. М., 1976.